

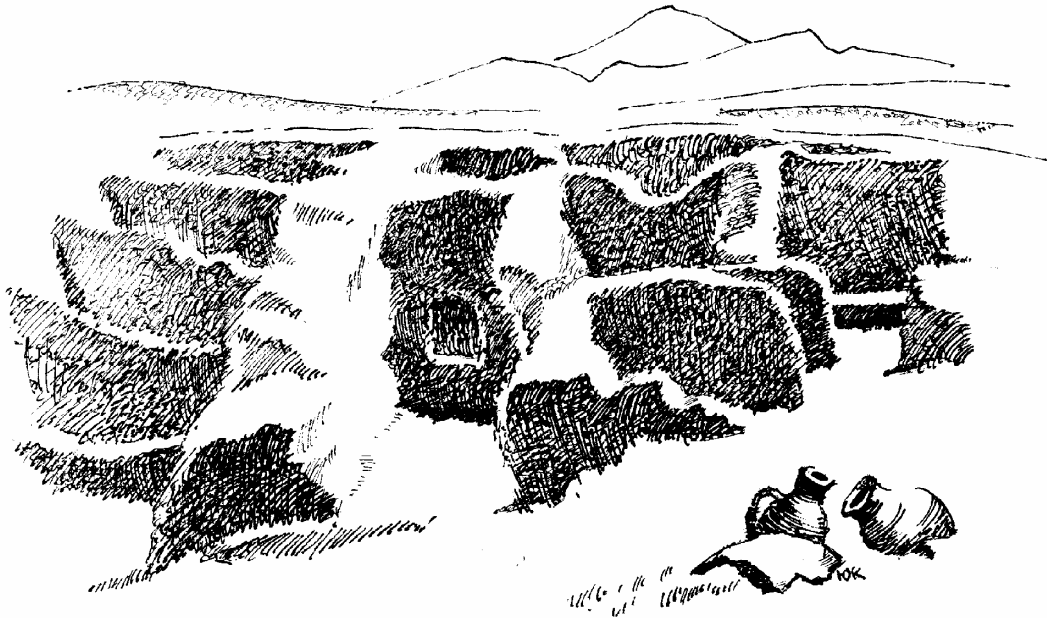
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
ОТ АХЕМЕНИДОВ ДО ТИМУРИДОВ

АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА



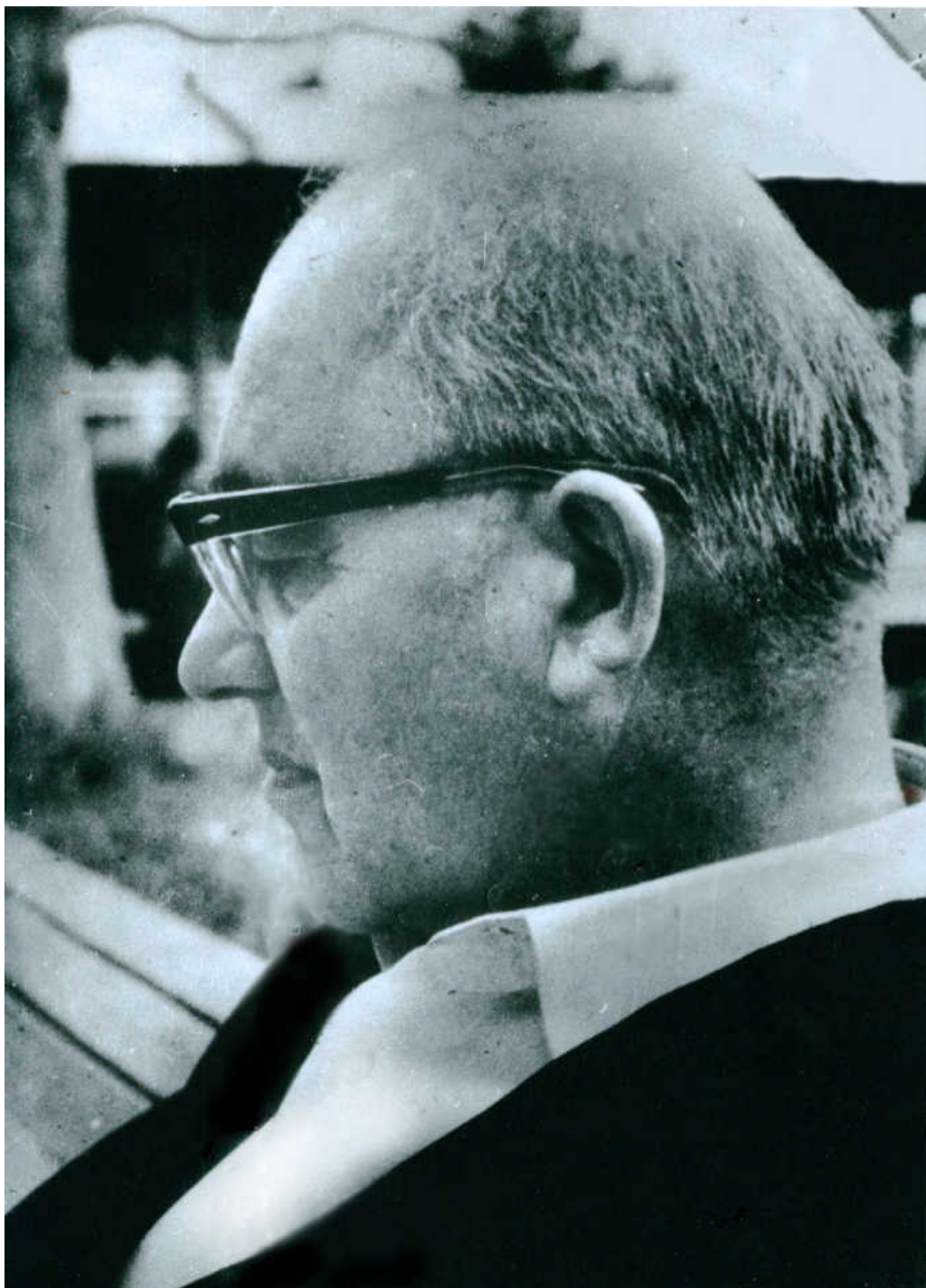
Материалы международной научной конференции,
посвященной 100-летию со дня рождения
Александра Марковича Беленицкого

Санкт-Петербург,
2—5 ноября 2004 года



Настоящий сборник включает в себя краткие и расширенные тезисы докладов, а также статьи, представленные на международную научную конференцию «Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов: археология, история, этнология, культура», посвященную 100-летию со дня рождения выдающегося российского археолога и востоковеда, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Таджикистана Александра Марковича Беленицкого (1904—1993).

Он был не только великим ученым, но и замечательным человеком — добрым, честным, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь нуждающимся и, не взирая на последствия, заступиться за гонимых. Таким он и останется в нашей памяти. Для тех, кому посчастливилось знать его лично, это не просто красивые или дежурные слова



Александр Маркович Беленицкий
(24.03.1904—15.06.1993)
Фотография конца 1970-х годов

INSTITUTE OF THE HISTORY OF MATERIAL CULTURE
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

STATE HERMITAGE

ORIENTAL DEPARTMENT OF THE ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY



CENTRAL ASIA FROM THE ACHAEMENIDS TO THE TIMURIDS

ARCHAEOLOGY, HISTORY, ETHNOLOGY, CULTURE

Materials of an International Scientific Conference
dedicated to the Centenary of Aleksandr Markovich Belenitsky

St. Petersburg, November 2—5, 2004

St. Petersburg

2005

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА



ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ОТ АХЕМЕНИДОВ ДО ТИМУРИДОВ

АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА

Материалы международной научной конференции, посвященной
100-летию со дня рождения Александра Марковича Беленицкого

Санкт-Петербург, 2—5 ноября 2004 года

Санкт-Петербург

2005

ББК 63.3
Ц38

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
Проект № 04-01-14024 г*

Ответственный научный редактор:
В. П. Никоноров

Editor-in-chief:
Valery P. Nikonorov

Редакционная коллегия:

*О. Ф. Акимушкин
В. А. Алёшкин
С. Г. Кляшторный
Б. А. Литвинский
В. М. Массон
Г. Л. Семенов
И. М. Стеблин-Каменский*

Editorial Board:

*Oleg F. Akimushkin
Vadim A. Alyokshin
Sergej G. Klyashtorny
Boris A. Litvinsky
Vadim M. Masson
Grigorij L. Semenov
Ivan M. Steblin-Kamensky*

Ц38 **Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов: археология, история, этнология, культура.** Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Александра Марковича Беленицкого (Санкт-Петербург, 2—5 ноября 2004 года). — СПб.: Институт истории материальной культуры РАН, 2005. — 406 с., ил.

ISBN 5-2010-1233-7

ББК 63.3

Корректор и редактор *Ю. Ю. Дмитриева*

Компьютерная обработка текста выполнена *В. П. Никоноровым*

Подписано в печать 03.12.2004. Формат 59×88 ¹/₈. Гарнитура основного текста «Times New Roman»
Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 300 экз. Объем 50 усл. п. л. Заказ № 65

Отпечатано в типографии Санкт-Петербургского Института истории РАН
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7
тел. (812) 2351586

ISBN 5-2010-1233-7



9 785201 012335

© Институт истории материальной культуры РАН, 2005

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА	9
РАЗДЕЛ 1. Жизнь и научное творчество Александра Марковича Беленицкого	11
<i>Д. Абдуллоев.</i> Основные вехи жизненного пути А. М. Беленицкого	11
<i>Г. А. Беленицкая.</i> Материалы к биографии А. М. Беленицкого (Из семейного архива)	13
<i>В. А. Лившиц.</i> Из воспоминаний об Александре Марковиче Беленицком	16
<i>Б. И. Маршак, В. И. Распопова.</i> Александр Маркович Беленицкий и Пенджикент	19
<i>В. М. Массон.</i> А. М. Беленицкий как эталон творческого союза востоковедения и археологии	22
<i>И. Н. Медведская.</i> День Археолога в пенджикентской экспедиции эпохи Муаллима	24
<i>В. А. Мешкерис.</i> А. М. Беленицкий и проблема изучения доарабской художественной культуры Средней Азии	27
<i>Б. Я. Ставиский.</i> Работа А. М. Беленицкого в Средней Азии	30
<i>И. М. Стеблин-Каменский.</i> Философия Муаллима [с приложением: <i>И. М. Стеблин-Каменский.</i> Стихи, посвященные Муаллиму (Александр Марковичу Беленицкому)]	32
<i>В. Г. Шкода.</i> Несколько встреч с Александром Марковичем Беленицким	39
<i>R. N. Frye.</i> Aleksandr Markovich Belenitsky and al-Biruni	41
<i>Л. М. Всевиов.</i> Список опубликованных работ А. М. Беленицкого	46
РАЗДЕЛ 2. Центральная Азия в древности	55
<i>А. А. Анарбаев.</i> Ахсикет на перекрестке трансконтинентальных дорог	55
<i>Г. Бабаяров.</i> Тюрко-согдийские контакты в период Тюркского каганата (на примере системы управления историко-географическими областями Среднеазиатского Междуречья)	57
<i>К. М. Байпаков.</i> Изучение, сохранение и музеефикация городища Отрар	61
<i>А. С. Балахванцев.</i> Среднеазиатские дахи в IV—II вв. до н. э.: происхождение, хронология и локализация	64
<i>Л. С. Баратова.</i> К истории денежного обращения в Южном Согде	68
<i>С. Б. Болелов.</i> Кушано-бактрийский археологический комплекс по материалам раскопок Кампыртепа	71
<i>Э. Ф. Гюль.</i> К проблеме тюрко-согдийского культурного симбиоза	75
<i>Е. П. Денисов.</i> Эфталиты, Химатала, Хутгаль и Охоан-Хоана в связи с этнической историей Бактрии-Тохаристана	79
<i>В. А. Дмитриев.</i> Географическое описание Средней Азии в «Деяниях» Аммиана Марцеллина	83
<i>М. Добрович.</i> К вопросу о личности главного героя памятника Кюли-чору	86
<i>В. А. Завьялов.</i> Оборонительные сооружения Антиохии Маргианской (Гяур Калы Старого Мерва)	90
<i>С. С. Иванов.</i> Новые находки кинжалов сакского периода в Кыргызстане	99
<i>Дж. Я. Ильясов.</i> Орлатское тавро	102
<i>Т. М. Кармов.</i> Погребения военной знати Западного Предкавказья и проблема происхождения конницы катафрактос у сарматов	104
<i>С. Г. Кляшторный.</i> Древнетюркские рунические памятники как исторический источник	109
<i>А. И. Колесников.</i> Дополнительные источники по истории раннесредневекового Ирана и его восточных соседей	112
<i>Е. Е. Кузьмина.</i> Конь в культуре иранцев	116
<i>В. А. Лившиц.</i> Кеш (Шахриябз) в согдийских текстах и монетных легендах	119
<i>П. Б. Лурье.</i> Счастливый правитель, царь Пенджикента Чегин Чур Билгä	127
<i>А. Мусакаева.</i> Подражание монетам Асбара	132
<i>Е. Нева.</i> Технические особенности ювелирного искусства Средней Азии в древности	136
<i>А. К. Нефёдкин.</i> Военное дело древних иранцев по данным «Сказания о Зарере»	138
<i>В. П. Никоноров.</i> К вопросу о парфянском наследии в сасанидском Иране: военное дело	141

<i>A. B. Омельченко.</i> Влияние природных и антропогенных факторов на систему расселения в предгорных районах Средней Азии в античное время (на примере Восточной Кашкадарьи)	180
<i>B. H. Пилипко.</i> Парфия и Гиркания: соотношение понятий (О «гирканском» мятеже I в. н. э.)	184
<i>B. Ф. Платонов.</i> Многоствольная флейта древнего Пенджикента	187
<i>Э. В. Ртвеладзе</i> К истории Кампыртепа (Александрии Оксианской)	189
<i>Л. М. Сверчков.</i> Александр Македонский в Маргании	191
<i>A. С. Соловьев.</i> Датировка и интерпретация настенной живописи Тавки	194
<i>A. И. Торгоев.</i> Заметки о раннесредневековой керамике Пайкенда	196
<i>Ю. С. Худяков.</i> К истории боевых колесниц в древней Центральной Азии	200
<i>Д. А. Щеглов.</i> Среднеазиатский поход Александра Македонского: цели кампании	207
<i>C. A. Яценко.</i> Персидский костюм от Ахеменидов к Сасанидам: традиции и новшества	210
<i>A. D. H. Bivar.</i> Andragoras: Independent Successor of the Seleucids in Parthia	212
<i>M. Compareti, S. Cristoforetti.</i> Proposal for a New Interpretation of the Northern Wall of the «Hall of the Ambassadors» at Afrasyab	215
<i>J. Gaslain.</i> Arsaces I, the First Arsacid King? Some Remarks on the Nature of Early Parthian Power	221
<i>A. I. Naymark.</i> The Meaning of «Tamghas» on Sogdian Coins	225
<i>M. J. Olbrycht.</i> Creating an Empire: Iran and Middle Asia in the Policy of Seleukos I	231
<i>St J. Simpson.</i> Glass and Small Finds from Sasanian Contexts at the Ancient City-Site of Merv	235
<i>M. Tezcan.</i> The Concept of <i>Qut</i> among the Ancient Turks and its Comparison with <i>X'arena</i> in Ancient Iranians	242
<i>Yu. B. Ustinova.</i> Werewolves and Men's Societies in the Bactrian Art: the Kobyakovo Torque	244
<i>Xinru Liu.</i> Hellenistic Residue in Central Asia, 300—1000 CE	245
РАЗДЕЛ 3. Центральная Азия и ее соседи в исламскую эпоху	249
<i>Г. А. Аззамова.</i> Некоторые вопросы организации военного дела в среднеазиатских ханствах	249
<i>О. Ф. Акимушкин.</i> Байсунгур-мирза, сын Шахруха. Заметки к портрету Тимурида второго поколения	251
<i>A. B. Арапов.</i> Проблема правления султана Халила и Казан-хана в реконструкции чагатайской истории в 1330—1340-е гг.	253
<i>E. A. Беговатов.</i> Заметка по нумизматике прикаспийских государств рубежа X—XI вв. (Саманиды, Ма'муниды, Буиды, Зийариды)	259
<i>A. P. Варданян.</i> К атрибуции знаков на дирхемах Саджидов 282—288 гг. х. из Барда'а и «Арминии»	261
<i>C. B. Дмитриев.</i> Копье Алмамбета	266
<i>B. A. Кольченко.</i> Новопокровский средневековый некрополь (по материалам раскопок 1930 г.)	269
<i>B. H. Настич.</i> Хронограммы на монетах монгольских улусов XIII в.	276
<i>О. А. Папахристу.</i> Археологические материалы по производству тигельных сталей в Средней Азии и глава «О железе» минералогического трактата Бируни: опыт сопоставления	278
<i>A. B. Пачкалов.</i> О распространении джучидских монет в Средней Азии	283
<i>П. Н. Петров, А. М. Камышев.</i> Чуйская долина по нумизматическим данным (XIII — первая половина XIV вв.)	286
<i>Р. Ю. Почекаев.</i> Правовое наследие Монгольской империи в государстве Тимуридов (по данным летописей, нумизматического и актового материала)	291
<i>Дж. Р. Рассел.</i> Жизнь дороги и дорога жизни: отражение одной метафоры в живописи и литературе среднеазиатских культур и армянского средневековья	295
<i>B. Свентославский.</i> Сведения о Центральной Азии в отчетах посланников папы римского Иннокентия IV к хану монголов в 1245—1247 гг.	298
<i>Г. Л. Семенов.</i> Базары Пайкенда	303
<i>З. И. Усманова.</i> К истории мемориальных комплексов Шахрисябза и его округи	306
<i>A. Almaty.</i> Sources on Alano-Khazar Relations	308

<i>P. Brun.</i> The Fortified Farm-Houses of Merv (Turkmenistan) in the 18th — early 20th centuries	311
<i>A. S. Matveev.</i> The Quality v. Quantity: Some Basic Features of the Mongol Military System	315
<i>J. M. Smith, Jr.</i> Mongol Warfare with Chinese Weapons: Catapults — and Rockets?	320
<i>É. de la Vaissière.</i> The Northern Side of the Zarafshan according to Ibn Ḥawqal	323
<i>L. Venegoni.</i> The Reorganization of the Mongol Army under the Heirs of the House of Tolui and the Role of non-Mongol <i>Tümen</i> in the new Portions of the Mongol Empire. A Comparison between İl-Khānīd and Yuan Military Manpower	326
РАЗДЕЛ 4. Религии и культы Центральной Азии	329
<i>К. Абдуллаев.</i> Сердоликовая гемма с изображением Иисуса Христа из Самаркандского музея	329
<i>Б. Аманбаева.</i> Сакральные горы Кыргызстана	331
<i>А. А. Амбарцумян.</i> Пророчества Джамаспа и оракулы Гистаспа. К интерпретации зороастрийских апокалиптических традиций	334
<i>Б. И. Вайнберг.</i> Уникальное терракотовое изделие из древнего Хорезма	340
<i>Н. Ю. Вишневецкая.</i> Штампованные изображения орла на керамических сосудах XI—XII вв. из Самарканда	342
<i>Ш. С. Камолитдин.</i> Из истории домусульманских культов Средней Азии	344
<i>Т. В. Мармونتова.</i> Тенгрианство как традиционная система мировоззрения кочевников	347
<i>Т. К. Мкртычев.</i> Буддийское и небуддийское искусство Бактрии-Тохаристана (I—V вв. н. э.)	350
<i>Н. Б. Немцева.</i> Машады в мемориальном зодчестве Средней Азии	354
<i>Ю. Н. Нуралиев.</i> О сохранившемся в таджикской народной медицине способе приготовления авестийского ритуального напитка <i>хаомы</i>	358
<i>И. В. Пьянков.</i> О погребальном обряде бактрийцев	360
<i>Р. Р. Рахимов.</i> Костер новобрачных у таджиков (поиски истоков особенностей ритуала)	365
<i>Б. П. Шишло.</i> Тамыр — податель и проводник животворной влаги	369
<i>А. Я. Щетенко.</i> Прото-Шива или прото-Брахма: к интерпретации изображений на печатях Мохенджо-Даро	374
<i>F. Grenet.</i> The Cult of the Oxus: a Reconsideration	377
<i>U. Jäger.</i> Rhyta in pre-Muslim Central Asia — Appearance, Form and Use: Libation in Multi-religious Contexts or Simple Drinking Vessels?	379
<i>E. Kageyama.</i> Stone Funerary Bed's Facade in the Victoria & Albert Museum	383
<i>J. A. Lerner.</i> Aspects of Assimilation: the Funerary Practices and Furnishings of Central Asians in China	386
<i>T. Osawa.</i> The Relation between the Deer Cult and the Kingship of the Ancient Turks	391
РАЗДЕЛ 5. Varia	394
<i>Д. Абдуллоев.</i> Доисламская традиция хранения зерна у таджиков (VII—XX вв.)	394
<i>Н. Е. Васильева.</i> Роль А. Н. Оленина в определении научной цели экспедиции Р. Кер Портера в Иран	399
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	404



А. М. Беленицкий (слева) и его товарищ Сулейман в день прихода из Таджикистана в Ташкент (10.08.1929)

ОТ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА

Настоящий сборник включает в себя материалы в виде кратких и расширенных тезисов докладов, а также статей, представленные на международную научную конференцию «Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов: археология, история, этнология, культура», посвященную 100-летию со дня рождения выдающегося российского археолога и востоковеда, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Таджикистана Александра Марковича Беленицкого (1904—1993). Конференция прошла со 2 по 5 ноября 2004 г. в Санкт-Петербурге — городе, с которым была связана большая часть жизни и вся научная деятельность Александра Марковича.

В работе конференции приняли участие более пятидесяти ученых из Российской Федерации, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Франции, Италии, Испании, США, Англии, Германии, Венгрии, Израиля и Японии.

В книгу вошли материалы, объединенные в пять разделов и отражающие самый широкий круг вопросов по тематике конференции:

- жизнь и научная деятельность А. М. Беленицкого, его вклад в исследование древней и средневековой Центральной Азии;
- археология и история оседло-земледельческих и кочевых цивилизаций древней и средневековой Центральной Азии;
- согдийская цивилизация;
- религии и культы доисламской Центральной Азии;
- военное дело в древней и средневековой Центральной Азии;
- Центральная Азия в древней и средневековой письменной традиции;
- искусство древних и средневековых народов Центральной Азии;
- этнография Центральной Азии;
- культуригенез народов Центральной Азии.

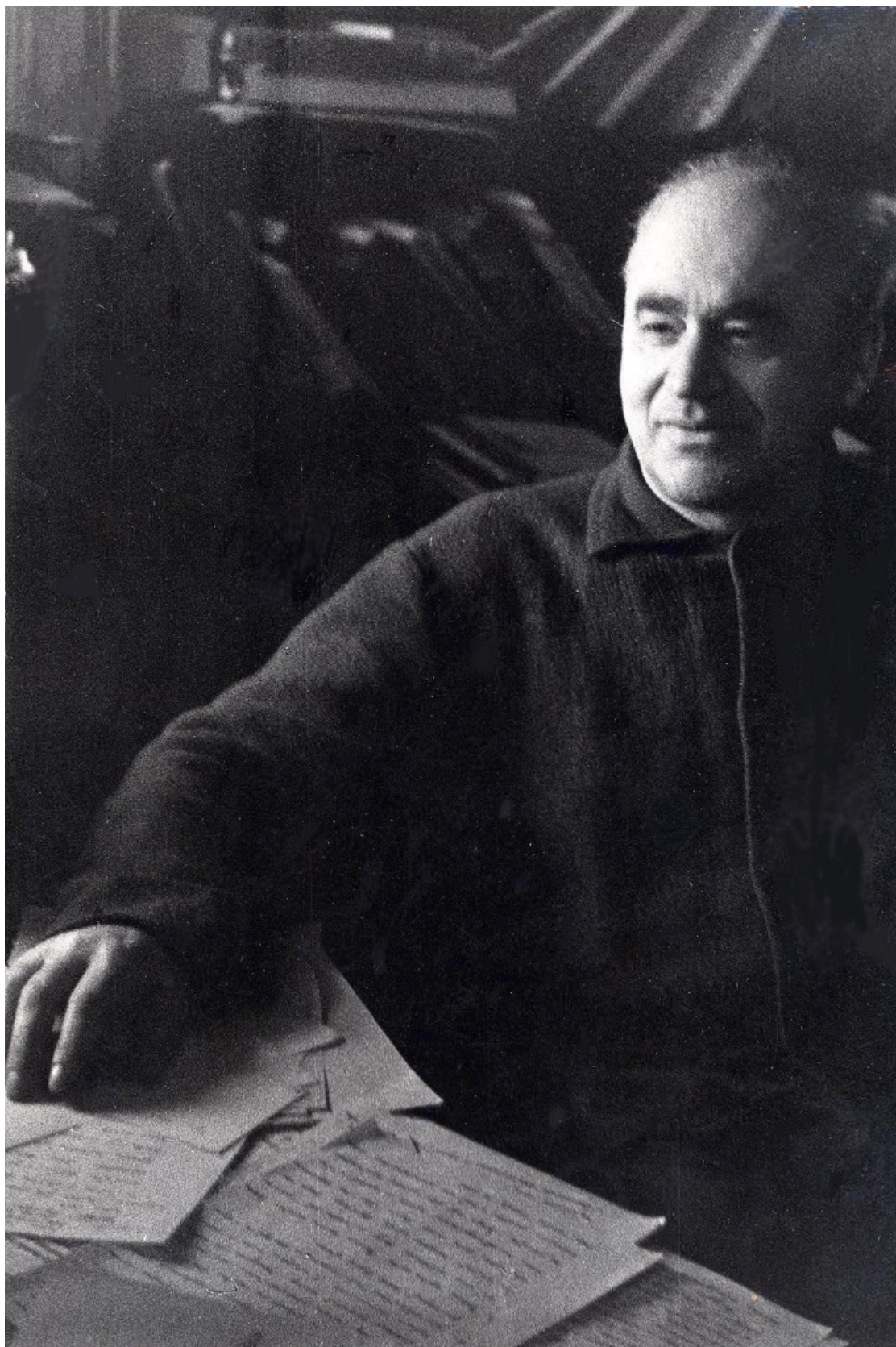
Конференция была подготовлена и проведена Отделом археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной культуры РАН, в котором долгие годы трудился Александр Маркович. Большую помощь в организации этого мероприятия оказал Отдел Востока Государственного Эрмитажа в лице Г. Л. Семенова, В. Г. Шкоды и И. К. Малкиеля.

Оргкомитет конференции благодарит Российский гуманитарный научный фонд за финансовую поддержку, без которой организация конференции и издание ее материалов было бы делом невозможным. Мы также очень признательны Г. А. Беленицкой за предоставление фотоматериалов и документов из семейного архива, использованных в данном издании. Некоторые из опубликованных в нем фотографий принадлежат Д. Абдуллоеву и В. И. Распоповой. Ретуширование некоторых фотографий в необходимом объеме выполнено Ю. Ю. Дмитриевой.

В далеком уже 1954 г. А. М. Беленицкий возглавил археологические исследования на городище древнего Пенджикента, которые проводились под его непосредственным руководством в течение четверти века. Именно при нем Пенджикент превратился во всемирно известный, эталонный памятник эпохи раннего средневековья для всего региона Центральной Азии. Правда, иногда можно услышать мнение, что Александр Маркович был прекрасным востоковедом, но археологом стал поневоле, в силу определенных обстоятельств (не случайно, как шутил он сам, коллеги «за глаза» иногда называли его «лучшим археологом среди востоковедов и лучшим востоковедом среди археологов»). Однако не может быть никаких оснований всерьез сомневаться в профессионализме человека, двадцать пять лет (!) стоявшего у руля одной из лучших среднеазиатских археологических экспедиций и самым прямым образом повлиявшего на судьбы очень многих археологов, прошедших славную школу Пенджикента.

Помимо своей деятельности на поприще археологии, Александр Маркович Беленицкий был превосходным исследователем-востоковедом в истинном значении этого слова, с неизменным успехом изучавшим оригинальные арабские и персидские тексты. Его перу принадлежит большое число работ, написанных на основе глубокого знания средневековых источников, значительную часть важнейшей информации из которых он, по сути, первым ввел в научный оборот.

Александр Маркович Беленицкий был не только великим ученым, но и замечательным человеком — добрым, честным, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь нуждающимся и, невзирая на последствия, заступиться за гонимых. Таким он и останется в нашей памяти. Для тех, кому посчастливилось знать его лично, это не просто красивые или дежурные слова.



А. М. Беленицкий за письменным столом (1960-е годы)

РАЗДЕЛ 1

Жизнь и научное творчество Александра Марковича Беленицкого

Д. Абдуллоев
(Санкт-Петербург,
Российская Федерация)

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ А. М. БЕЛЕНИЦКОГО

24 марта 2004 г. выдающемуся востоковеду, археологу, историку, заслуженному деятелю науки Таджикистана Александру Марковичу Беленицкому исполнилось бы 100 лет. Он родился 24 марта в деревне Лобино Усвятского района Смоленской области в семье крестьянина и проживал там до 1920 г., работая в своем хозяйстве, унаследованном от отца, который умер в 1910 г. В 1920 г. в связи с пожаром вся семья переселилась в город Смоленск. Здесь А. М. Беленицкий устроился чернорабочим на лесопильном заводе и одновременно начал учиться на вечернем рабфаке при Смоленском государственном университете. После окончания рабфака в 1923 г. в течение четырех лет он работал учителем в сельских школах в различных областях СССР.

В 1927 г. А. М. Беленицкий поступил на педагогический факультет Среднеазиатского государственного университета в г. Ташкенте, который окончил в 1930 г. по специальности преподавателя таджикско-персидского языка. После окончания университета он работал преподавателем в средних и высших учебных заведениях городов Сталинабада и Ленинабада (Таджикистан) до 1934 г. Одновременно А. М. Беленицкий вел организационно-методическую работу в органах Наркомпроса Таджикской ССР. Он является автором первого таджикского букваря.

В 1934 г. А. М. Беленицкий поступил в аспирантуру при историческом факультете Ленинградского университета, которую окончил в 1937 г. В начале 1938 г. он защитил диссертацию на звание кандидата исторических наук на тему: «Сербадары в Иране». Еще в 1936 г. он был принят на работу в Институт истории материальной культуры АН СССР (позднее Ленинградское отделение Института археологии АН СССР, с 1991 г. — Институт истории материальной культуры РАН), где проработал всю свою оставшуюся жизнь. Вместе с тем он продолжал педагогическую деятельность. С 1938 г. по 1941 г. А. М. Беленицкий вел на филологическом факультете Ленинградского университета ряд курсов по истории Ирана и Средней Азии.

Великую Отечественную войну А. М. Беленицкий встретил в Ленинграде, где пережил блокадную зиму. Он участвовал в народном ополчении. Александр Маркович вспоминал, что до осени 1942 г. заниматься научной работой фактически не мог из-за дистрофии. С осени 1942 г. по июль 1943 г. А. М. Беленицкий находился в эвакуации в городе Ташкенте. Здесь он работал в местном архиве над разбором фонда документов бухарских эмиров XIX в. В связи с этой работой он сделал доклады: «Городская жизнь феодальной Бухары в XIX в.» и «Амляки и формы землевладения в Бухарском ханстве XVIII—XIX вв.» Кроме того, написал популярную статью «Из истории революционного движения в Средней Азии (Самаркандское восстание 1335/6 гг.)». Однако в скором времени он был мобилизован в РККА и находился на фронте с июля 1943 г. по сентябрь 1945 г. За боевые заслуги А. М. Беленицкий был награжден «Орденом Красной звезды» и медалью «За участие в Отечественной войне», а 11 марта 1985 г. — «Орденом Отечественной войны II степени».

Плодотворная научная деятельность А. М. Беленицкого начинается в послевоенные годы. В 1946 г. вышла из печати его фундаментальная статья «Историческая топография Герата в XV в.», чуть позже — «Историко-географический очерк Хутгальяна». Эти статьи до сих пор являются ценнейшими источниками по истории Средней Азии и Среднего Востока. С 1946 г. А. М. Беленицкий начинает изучение археологических памятников Таджикистана, возглавляя Вахшский отряд Согдийско-Таджикской экспедиции в Южном Таджикистане и одновременно участвуя в раскопках древнего Пенджикента. В 1954 г. он встал во главе Пенджикентской археологической экспедиции и был ее начальником до 1979 г. Благодаря неутомимой деятельности А. М. Беленицкого мировая археологическая наука познакомилась с замечательными памятниками изобразительного искусства, архитектуры, материальной культуры согдийского города поры раннего средневековья. Он является автором более 170 научных работ, посвященных различным проблемам археологии, истории и культуры Среднего Востока, включая фундаментальные труды: «Монументальное искусство Пенджи-

кента» (М., 1973), «Средневековый город Средней Азии» (Л., 1973, в соавторстве с О. Г. Большаковым и И. Б. Бентович) и «Mittelasien — Kunst der Sogden» (Leipzig, 1980). Особое место в научном творчестве А. М. Беленицкого занимает комментированный перевод с арабского языка труда великого среднеазиатского ученого XI в. ал-Бируни «Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия)» (М., 1963). В 1967 г. ему была присвоена ученая степень доктора исторических наук по опубликованным работам, посвященным исследованию древнего Пенджикента.

А. М. Беленицкий неоднократно представлял советскую науку на самом высоком международном уровне. Он был участником XXIV и XXV Международных конгрессов востоковедов, которые проходили в Мюнхене (1957 г.) и Москве (1960 г.), а также V Международного конгресса по археологии и искусству Ирана в Тегеране (1968 г.) и Международной конференции по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху в Душанбе (1968 г.).

А. М. Беленицкий большое внимание уделял воспитанию научных кадров, руководил аспирантами и стажерами. В настоящее время его ученики успешно работают в научных учреждениях России и бывших союзных среднеазиатских республик, ныне независимых государств. Особенно весомый вклад А. М. Беленицкий внес в изучение истории таджикского народа и воспитанию научных кадров для этой республики. Им написан ряд важных разделов в многотомной «Истории таджикского народа» (М., 1965). Он неоднократно награждался почетными грамотами Президиума Верховного Совета и Президиума АН Таджикской ССР. 29 мая 1975 г. Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР за заслуги в развитии исторической науки и подготовке научных кадров для республики А. М. Беленицкому было присвоено почетное звание «Заслуженного деятеля науки Таджикистана».

Умер А. М. Беленицкий 15 июня 1993 г. в возрасте 89 лет. Он остался в нашей памяти не только как выдающийся ученый и мудрый, требовательный и добрый наставник начинающих исследователей, но и как Человек с большой буквы.



А. М. Беленицкий на занятиях в Ташкенте, 1928 (?) г.

Г. А. Беленицкая
(Санкт-Петербург,
Российская Федерация)

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ А. М. БЕЛЕНИЦКОГО
(ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА)

1. Автобиография

Беленицкий Александр Маркович,
кандидат исторических наук,
год рождения — 1904

До 1920 года я проживал в деревне Лобино Великолуцкой области Усвятского района, работал в своем хозяйстве, унаследованном от отца (умер в 1910 г.), принадлежавшем к средняцкому типу хозяйств (10 десятин земли, 1 лошадь, 2 коровы).

В 1920 г., в связи с пожаром, вся семья переселилась в г. Смоленск. Здесь я поступил черно-рабочим на лесопильный завод. Одновременно я поступил учиться на вечерний рабфак при Смоленском Государственном Университете. По окончании рабфака в 1923 году я в течении 4-х лет работал учителем в сельских школах различных районов СССР.

В 1927 году я поступил в Среднеазиатский Государственный Университет (г. Ташкент) на восточный факультет, который окончил в 1930 г., после чего работал преподавателем в средних и высших учебных заведениях Таджикской ССР (в Сталинабаде и Ленинабаде) до 1934 г. Одновременно я вел организационно-методическую работу в органах Наркомпроса Тадж. ССР.

В 1934 г. я поступил в аспирантуру при Истфаке Лен. Гос. Ун-та, которую окончил в 1937 г. В начале 1938 г. защитил диссертацию на звание кандидата исторических наук. С 1936 г. я работал в Институте Истории Материальной Культуры АН СССР, где в настоящее время являюсь старшим научным сотрудником Среднеазиатского сектора.

С 1938 г. по 1941 г. я вел на Филфаке Лен. Гос. Ун-та ряд курсов по истории Ирана и Средней Азии.


С июля 1943 г. по сентябрь 1945 г. был мобилизован в РККА и находился на фронте. Награжден орденом «Красная звезда» и медалью «За участие в Отечественной войне».

Семейное положение: женат, имею двоих детей.

Партийная принадлежность: беспартийный.

Ближайшие родственники: мать на моем иждивении, брат и сестра — в рядах РККА.

13.12.45 г.



А. Беленицкий

Домашний адрес: Ленинград, Басков пер., д. 13/15, кв. 43.

2. Награды А. М. Беленицкого

Орден КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ № 523762

Орден ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ № 280412

Медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг.»

Медаль «ЗА УЧАСТИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Медаль «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг.»
Д № 0403605. 4 февраля 1946 г.

Медаль «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» Д № 447301. 13 сентября 1955 г.

Медаль «В ПАМЯТЬ 250-ЛЕТИЯ ЛЕНИНГРАДА» А № 063985. 18 июля 1957 г.

Медаль участнику войны «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг.» Б № 5802286. 7 мая 1965 г.

Медаль «50 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР». 26 декабря 1967 г.

Памятный Знак «НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА» №5503. 12 сентября 1971 г.

Знак «ПОБЕДИТЕЛЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 1973 г.». 29 января 1974 г.



А. М. Беленицкий на фото с документа военного времени
(1943 или 1944 г.)

Медаль участнику войны «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг.». 25 апреля 1975 г.
Медаль «60 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР». 16 июня 1978 г.
Медаль «ВETERАН ТРУДА» № 392. От 18 июня 1979 г.
Удостоверение УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 гг. Д № 182596. 25 января 1982 г.
Орден ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ № 811832. 11 марта 1985 г.
Медаль участнику войны «СОРОК ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг.». 14 октября 1985 г.
Медаль «70 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР». 28 января 1988 г.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ ТАДЖИКСКОЙ ССР № 101. 29 мая 1975 г.

3. Приказ № 33

по Ленинградскому отделению Института археологии АН СССР г. Ленинград.

29 марта 1974 г.

§ 1

24 марта 1974 г. исполнилось 70 лет одному из ведущих наших работников, старшему научному сотруднику ЛОИА АН СССР, доктору исторических наук Александру Марковичу БЕЛЕНИЦКОМУ.

Оглядываясь на годы, прожитые Александром Марковичем, мы видим его сначала деревенским подростком, с 12-летнего возраста занятым тяжелым земледельческим трудом; затем — рабочим лесопильного завода в Смоленске и рабфаковцем; затем — учителем; потом — студентом Среднеазиатского университета в Ташкенте; далее — преподавателем и методистом Наркомпроса Таджикской ССР; аспирантом исторического факультета Ленинградского университета; с 1936 г. — сотрудником ГАИМК; с 1938 г. — кандидатом исторических наук; в 1941 г. — бойцом народного ополчения; затем — офицером Советской армии; снова — сотрудником нашего института, высококвалифицированным археологом и историком Средней Азии и Ирана, владеющим персидским, таджикским, арабским и несколькими европейскими языками; с 1946 г. — ведущим сотрудником Таджикской археологической экспедиции, а затем — многолетним руководителем прославленной Пенджикентской экспедиции; с 1967 г. — доктором исторических наук, блестящим переводчиком Бируни; автором многочисленных научных трудов, принесших ему известность и вошедших в основные фонды советского и мирового востоковедения. Совсем недавно вышли две больших работы А. М. Беленицкого: «Монументальное искусство Пенджикента» и написанная им часть коллективной монографии «Средневековый город Средней Азии».

Как ученого А. М. Беленицкого характеризует исключительная добросовестность и тщательность в исследовательской работе, основанное на живом интересе и не замутненное никакими побочными влияниями чистое стремление к истине, трудолюбие и благородная неудовлетворенность достигнутым. Но мы все знаем А. М. Беленицкого еще и как доброго, отзывчивого, честного и хорошего человека.

§ 2

В связи с исполнившимся 70-летием от имени всего коллектива ЛОИА АН СССР горячо поздравляю дорогого Александра Марковича Беленицкого, желаю ему здоровья, творческих успехов и за долгую безупречную научную деятельность объявляю ему благодарность.



(В. С. Сорокин)

Вр. и. о. Заведующего Ленинградским отделением Института археологии АН СССР

В. А. Лившиц
(Санкт-Петербург,
Российская Федерация)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АЛЕКСАНДРЕ МАРКОВИЧЕ БЕЛЕНИЦКОМ

22 июня 1941 г. в солнечный день, каких было много в то лето, я отправился на стадион имени Ленина (теперь «Петровский»), где должен был состояться футбольный матч на первенство страны между командами ленинградского и московского «Спартака». В 11 часов утра на стадионе я выслушал речь Молотова — началась война. Вряд ли кто из ленинградцев мог предположить в тот день, что уже 30 августа город окажется в кольце блокады.

В час дня вместе с другими студентами-иранистами первого курса Восточного отделения Филологического факультета ЛГУ я сдал экзамен по исторической географии Ирана Александру Марковичу Беленицкому. Ему было тогда 37 лет, нам же — по 17—18.

Прошло пять лет. В июле — августе 1946 г. я участвовал в работе Вахшского отряда только что созданной Таджикско-Согдийской археологической экспедиции. Начальником отряда был А. М. Беленицкий. Он носил белый пробковый шлем (я видел такие только на фотографиях британских офицеров, служивших в Индии), рубаху с украинской вышивкой, хлопчатобумажные брюки, заправленные в солдатские ботинки. Вахшский отряд обследовал археологические памятники Южного Таджикистана. В селении Файзабад, где местные жители в трудный послевоенный год растаскивали по своим дворам жженный кирпич из развалин дворцового здания XI—XII вв., Александр Маркович отправился к местному секретарю райкома партии, чтобы предотвратить гибель этого памятника. Я сопровождал начальника отряда. Милиционер, стоявший на крыльце райкома, увидев Беленицкого в пробковом шлеме, с папиросой в зубах и полевой сумкой на плече, в ужасе закричал: «Босмачихо омаданд!» («Басмачи пришли!»). Секретарь райкома, узбек по национальности, плохо говоривший по-русски, в ответ на гневную речь Беленицкого сказал: «Раньше здесь было так плохо. Очень. Но теперь работаю я, культурный, цивилизованный *ялдаш* (товарищ. — В. Л.), и все будет хорошо. Очень».

В 1947 г. начались раскопки городища древнего Пенджикента (первым руководителем экспедиции был А. Ю. Якубовский), продолжающиеся до сих пор. Я работал на городище в течение нескольких лет. Особенно запомнился мне сезон 1963 г., когда Александр Маркович собрал замечательный экспедиционный коллектив — в тот год работали И. Б. Бентович, П. И. Костров с бригадой реставраторов настенной живописи из Эрмитажа, В. Г. Луконин, Б. И. Маршак, В. И. Распопова, художники-супруги Кожины, студенты истфака и востфака ЛГУ И. Н. Медведская, М. Б. Пиотровский, Л. М. Всевиов. Для участия в Дне Археолога 15 августа в Пенджикент прибыли Е. В. и Т. И. Зеймали и другие друзья и коллеги (см. заметку И. Н. Медведской ниже). Случилось так, что будучи дежурным по лагерю, я разгневал Беленицкого, и только заступничество Володи Луконина, любимца начальника экспедиции, помогло мне остаться в Пенджикенте до конца августа.

Вот что в первую очередь вспоминается, когда думаешь об Александре Марковиче и его экспедиции...



В. А. Лившиц (слева) и А. М. Беленицкий (1973 г.)



Пенджикент, 1946 г. В первом ряду сидят (слева направо):
А. М. Беленицкий, Е. М. Пещерева и А. Ю. Якубовский
(снимок сделан В. А. Лившицем)



А. М. Беленицкий на прогулке (1950-е годы)

Б. И. Маршак,
В. И. Распопова
(Санкт-Петербург,
Российская Федерация)

АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ БЕЛЕНИЦКИЙ И ПЕНДЖИКЕНТ

Более 30 лет А. М. Беленицкий руководил исследованием раннесредневекового Пенджикента. В 1948 г. он начал работы в храме I и стал начальником Пенджикентского отряда Таджикско-Согдийской экспедиции, во главе которой тогда стоял А. Ю. Якубовский, тоже живший в Пенджикенте в течение полевого сезона. А. М. к тому времени был уже известным историком-востоковедом, открывшим и объяснившим много нового в персидских рукописях. Его археологический опыт был невелик: перед войной он работал в Тали-Барзу под руководством Г. В. Григорьева, а сразу после войны провел археологическую разведку в Вахшской долине — средневековом Хуттале. Надо сказать, что его статьи по Хутталю в 2004 г. были переизданы в Таджикистане отдельной книгой по инициативе Р. М. Масова¹, чтобы противопоставить юбилейной горячке вокруг сколько-то-летия Куляба объективное научное исследование, основанное на источниках, письменных и археологических. А. М. никогда не принимал участия в политико-идеологических кампаниях и часто повторял вслед за Ранке, что историк должен писать только о том, что было в действительности. Презрение А. М. к вздуванию идеологической пены сблизало его с более молодыми сотрудниками Пенджикентской экспедиции. Все помнили о его невероятно смелом по тем временам выступлении в защиту И. Ю. Крачковского на печально знаменитом «проработочном» собрании.

Согдийско-Таджикская экспедиция была одним из тех замечательных археологических коллективов, которые после войны развили свою деятельность по всей Средней Азии. Однако у нее было важное отличие от всех других. В каждой из тех экспедиций крупный ученый работал со своими учениками, а в Пенджикенте А. Ю. Якубовский тогда собрал группу экспертов, каждый из которых был сильнейшим в своей области: А. М. Беленицкий — знатоком персидских и арабских источников, А. И. Тереножкин — лучшим мастером-раскопщиком среди тогдашних археологов Средней Азии, М. М. Дьяконов — выдающимся историком-иранистом и искусствоведом, П. И. Костров — создателем методики реставрации настенных росписей, О. И. Смирнова стала основательницей согдийской нумизматики, а В. Л. Воронина — крупнейшим историком архитектуры. В этой «научной конституционной монархии» не требовали единства взглядов. О. Грабар говорил нам, с каким восхищением и удивлением он, тогда еще молодой американский ученый, обнаружил в 1954 г., что в книге «Живопись древнего Пенджикента», только что вышедшей в Советском Союзе, все авторы — А. Ю. Якубовский, М. М. Дьяконов, А. М. Беленицкий и П. И. Костров — спорят друг с другом.

А. Ю. Якубовский, М. М. Дьяконов и А. М. Беленицкий хотели с помощью раскопок как можно скорее получить материал, который позволит сделать исторические выводы. Перед их глазами был пример С. П. Толстова, по археологическим данным воссоздавшего историю древнего Хорезма. Этот пример вдохновлял, хотя многие идеи С. П. Толстова вызывали их критику. Чтобы побыстрее увидеть цельную историческую картину, в Пенджикенте раскопали очень большие участки в наиболее важных частях городища и пригорода. При этом во многих случаях применялась упрощенная методика, что сделало хронологию приблизительной, а планы раскопок не вполне ясными. Если бы в 1954 г., когда А. М. Беленицкий стал начальником экспедиции, раскопки Пенджикента прервались, эти недостатки остались бы непреодолимыми, как это было на многих памятниках, оставленных археологами после того, как, по их мнению, «сливки были сняты». Однако, как говорил сам А. М., Пенджикент, в конце концов, поправит наши ошибки, если продолжать его раскопки достаточно широко (и, добавим, если постоянно совершенствовать методику). А. М. никогда не боялся копать и не признавал археологии шурфов. Другая его большая заслуга заключается в том, что он был верен памятнику. Мы часто слышали от него, что перед войной появился лозунг «археологам пора слезть с Афрасиаба». А. М. не считал возможным «слезть» с Пенджикента. Его целеустремленность сделала Пенджикент наиболее исследованным раннесредневековым городом во всей Азии. Не случайно там, где работали археологи, прошедшие пенджикентскую школу, — Т. И. Зеймаль, Б. Я. Ставиский и Ю. Якубов, — такие крупные и важные памятники, как Аджина-тепе и Гардани Хисор в Таджикистане были раскопаны целиком.

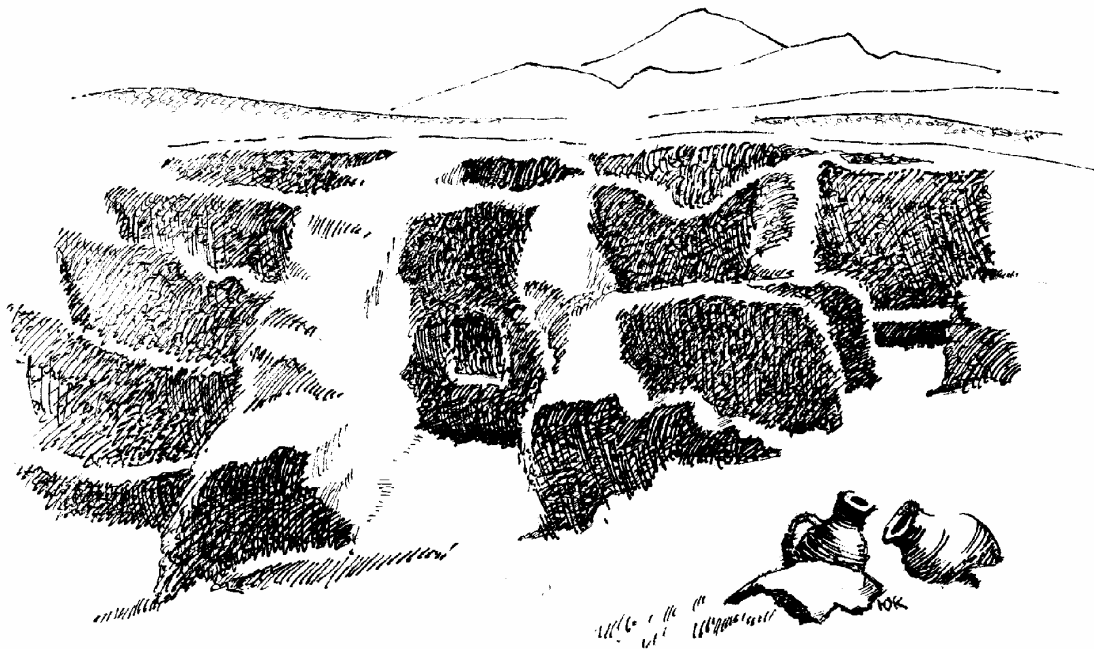
¹ Беленицкий А. М. Историко-географический очерк Хутталя с древнейших времен до X в. н. э. Душанбе, 2004.



А. М. Беленицкий за камеральной обработкой находок с городища древнего Пенджикента (1952 г.)



А. М. Беленицкий, В. И. Распопова и Б. И. Маршак (в первом ряду справа налево) присутствуют при расчистке знаменитого «Зала послов» на городище Афрасиаб в Самарканде в 1965 г.



Вид на раскопы Пенджикента. Рисунок Ю. Ф. Кожина, участника полевого сезона 1963 г.

В годы работы А. М. Беленицкого школу Пенджикента прошли поколения археологов, востоковедов, архитекторов. Очень важно, что он создавал и поддерживал дух экспедиции как коллектива интеллигентов, которые не «дичали в поле». У нас не было общих попок, а за обеденным столом шли разговоры об отвлеченных предметах из области истории, филологии и даже философии, которые часто заводил А. М. Он прививал нам свое искреннее уважение к народной культуре современных таджиков, которых он хорошо знал и любил. В этом отношении его наставления и, главное, его личный пример сделали свое дело. Все это потом помогло нам сохранить экспедицию, не прерывая работ даже в самые тяжелые годы политических бурь.

С Александром Марковичем нам, профессиональным археологам, нередко приходилось спорить. Это было трудно из-за разницы в возрасте, его пылкого темперамента и упрямого характера. Археологические методики иногда казались ему ненужным педантизмом. В тех случаях, когда мы были правы, его удавалось убедить, хотя наша аргументация при этом должна была быть очень прочной. Свое и наше поколение А. М. образно сопоставлял с лошадьми и овцами в снежной степи: лошади, разбросав снег, находят под ним траву, а за ними идут овцы, которым тоже осталась пища.

До сих пор в Пенджикенте идут раскопки ряда, казалось бы, давно исследованных объектов. При этом обнаруживаются очень существенные детали, например, чему являются «Дом Огня» и новые росписи в храмах, структура жилой застройки и многое другое. Надо, однако, признать, что без первоначального размаха работ археологическое изучение города как социального организма оказалось бы просто невозможным.

По инициативе А. М. были проведены сложные и дорогие, но необходимые работы по съемке инструментального топографического плана городища и составлена картотека всех индивидуальных находок с их фотографиями или рисунками. Очень важным делом было создание Пенджикентской археологической базы в качестве научного учреждения, что позволило вести там многие камеральные работы и силами сотрудников базы начать планомерное изучение ряда памятников Пенджикентского района. Использование техники для вывоза отвалов от раскопок тоже началось по инициативе А. М.

Как это делают весьма немногие начальники больших экспедиций, А. М. находился в поле в течение всего сезона. Он ежедневно поутру обходил все раскопы. К этим обходам мы готовились, чтобы показать ему то, что удалось раскопать за день, и попросить сфотографировать самое важное. Надо сказать, что А. М. был прекрасным фотографом. Снимал он только то, что хорошо получалось на фотографиях, считая, что на невнятных снимках все равно никто ничего не увидит. Большое значение А. М. придавал публикации отчетов о раскопках в виде статей, причем жестко требовал от авторов ясности изложения.

Изучение искусства Пенджикента А. М. Беленицкий вел параллельно с исследованием письменных источников. Это касается как частных, вроде изображения осадной машины или «золотых поясов», так и самых основных тем. К успешной разработке таких сюжетов относится открытие «Рустамиады» в пенджикентской живописи. Очень интересен подход А. М. к проблемам истории религии. Хотя от своей идеи о манихейской живописи в Пенджикенте, высказанной в 1954 г., он позднее отказался, его общие соображения о необходимости рассматривать Среднюю Азию V—VIII вв. как поле борьбы мировых религий остаются в силе. В отличие от А. Ю. Якубовского и других ученых, он никогда не пытался растворить учение Зороастра в море народных верований и поэтому ясно показал, что в религии Согда было много незороастрийских элементов.

В своем докладе, представленном к защите в качестве докторской диссертации¹, и в первой части коллективной монографии о средневековом городе Средней Азии² А. М. наметил обобщенную картину согдийского города, каким он стал ко времени арабского завоевания. В этих работах уровень городской жизни оценен как весьма высокий. Из частных выводов напомним два наиболее существенных: 1) в состав городского населения уже тогда входил наряду с «родовой и денежной аристократией слой ремесленников и мелких торговцев»; 2) «Живопись и деревянная скульптура обнаружены, главным образом, в частных домах пенджикентцев и отражают широкий круг культурных запросов, вкусы и интересы городского населения»³.

Благодаря умению и такту А. М. Беленицкого, в Пенджикентской экспедиции сотрудники разных научных учреждений — Государственного Эрмитажа, Ленинградского отделения Института археологии АН СССР (ныне — Институт истории материальной культуры РАН) и Института исто-

¹ *Беленицкий А. М. Древний Пенджикент — раннефеодальный город Средней Азии: Доклад по опубликованным работам, представленным на соиск. уч. ст. докт. ист. наук. Л., 1967.*

² *Беленицкий А. М., Большаков О. Г., Бентович И. Б. Средневековый город Средней Азии. Л., 1973.*

³ *Беленицкий А. М. Древний Пенджикент... С. 20.*

рии, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджикистан — всегда успешно Работали вместе. При нем и после него размер материального вклада каждого из этих учреждений не раз менялся. Теперь единственным источником финансирования стал Эрмитаж, но роль сотрудников обоих институтов остается не менее важной, чем прежде.

Сейчас мы не будем говорить о том, что сделало каждое поколение исследователей Пенджикента, но отметим, что в экспедиции по-прежнему живут славные традиции Беленицкого и его предшественников, успешно сочетающиеся с новациями, характерными для наших дней. В частности, благодаря новейшей технике, подобранной сотрудником экспедиции И. К. Малкиелем и приобретенной Государственным Эрмитажем, мы получили возможность ежегодно и своевременно издавать «Материалы Пенджикентской экспедиции», в том числе последний, седьмой выпуск, посвященный памяти Александра Марковича.

А. М. БЕЛЕНИЦКИЙ — ЭТАЛОН ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И АРХЕОЛОГИИ

Понятие творческого союза различных сфер знания, проявляющегося в комплексной терминологии биофизики и биохимии, в полной мере может служить и для гуманитарного блока научного познания. В Санкт-Петербурге это отчетливо различимо в творческом, фактически персонифицированном союзе классической ориенталистики и археологии. Жизнь и научная деятельность Александра Марковича Беленицкого является воплощением этих прогрессивных начал.

Получив востоковедное образование в Среднеазиатском государственном университете и в аспирантуре Восточного факультета Ленинградского государственного университета, А. М. Беленицкий в ходе практической полевой работы сформировался и как археолог. Другое направление его научной деятельности — исследования письменных источников по средневековой истории Ирана, Афганистана и Средней Азии — продолжали традицию исторического направления отечественного востоковедения с широчайшим тематическим охватом от Аравии до Монголии. Исключительное значение имеет работа по переводу и комментариям труда Бируни по минералогии. Академик Крачковский ярко характеризовал титаническую работу А. М. Беленицкого над этим сочинением. Он говорил, что Бируни писал так же сложно, как и К. Маркс «Капитал», но к тому же еще и на арабском языке. Блестящий перевод, осуществленный А. М. Беленицким, является выдающимся достижением отечественного востоковедения.

Деятельность А. М. Беленицкого приходится на эпоху расцвета отечественной ориенталистики, осеняемой тенью великих востоковедов, и археологии, открывшей неведомый ранее мир доарабских цивилизаций Средней Азии. А. М. Беленицкий вошел в когорту ленинградских востоковедов, которых А. Ю. Якубовский призвал к изучению согдийских древностей. Прозорливо выбранный этим крупнейшим ученым в качестве базового объекта Пенджикент стал подлинной жемчужиной мировой археологии. При этом речь должна идти не только о первоклассных памятниках искусства — живописи и скульптуры. Ленинградская/Петербургская школа археологии раскрыла Пенджикент как процветающий город сложной внутренней структуры и динамичной судьбы, изучить которые позволила тонкая методика, выработанная именно на данном памятнике. Этому в самой значительной степени способствовал А. М. Беленицкий, возглавивший в 1954 г. Пенджикентскую экспедицию. Высококвалифицированные специалисты, выросшие в ходе экспедиционных работ под руководством Александра Марковича в видных ученых, обеспечили этот успех. В перую очередь, благодаря Пенджикенту, феномен согдийской цивилизации стал яркой звездой в плеяде цивилизаций Востока.

Работая с археологическими материалами, А. М. Беленицкий в полной мере использовал свой потенциал востоковеда, вдумчиво работающего с письменными источниками. Образцом этого являются его статьи и монографические труды по искусству и идеологии Согда и Пенджикента.

А. М. Беленицкий является одним из наиболее выдающихся представителей отечественного востоковедения и археологии.



Чествование А. М. Беленицкого в 1984 г.
Рядом с юбиляром стоят: В. М. Массон (фото сверху)
и М. Н. Боголюбов (фото внизу)

ДЕНЬ АРХЕОЛОГА В ПЕНДЖИКЕНТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ЭПОХИ МУАЛЛИМА

День Археолога 1963 г. в Пенджикенте, по отзывам современников, был ярким событием. Впрочем, он и не мог быть иным. Уже за несколько дней до праздника приехали археологи из других экспедиций и отрядов ТАЭ. Прибыло семейство Зеймалей, «дядя Боря» (Б. Я. Ставиский) вернулся в Пенджикент Магианский отряд, руководимый В. Г. Лукониным, приехала очаровательная Зоя Кусургашева — муза пенджикентских поэтов, которая собиралась проследовать с «дядей Борей» на Кара-тепе. Да и местная команда была неслабой. Творческая бригада — Е. В. Зеймаль, Б. И. Маршак, В. А. Лившиц, В. Г. Луконин и художники-супруги Кожины — стали думать. И придумали, как и полагалось в то время, сделать стенгазету к празднику и в ней графическим и поэтическим образом отобразить жизнь и достижения экспедиции. В газете нашлось место каждому — от начальника до первокурсника. Веселые и остроумные стихи передают очень точно атмосферу нашей жизни, описывают смешные события (какими они теперь выглядят, а тогда и плакать случалось), наблюдательный и острый глаз творческой бригады сохранил самое яркое и примечательное в жизни каждого и всей экспедиции в целом.

И начинается этот многометровый газетный свиток, выпущенный ко Дню Археолога (15 августа 1963 г.), со «Слова в похвалу Муаллима» — человека, который хотел и умел собирать вокруг себя талантливых и интересных людей, которыми и был славен Пенджикент той замечательной и романтической эпохи, эпохи Муаллима — А. М. Беленицкого. Ниже идут этот и некоторые другие материалы из столь памятной всем нам стенгазеты.

1) Слово в похвалу Муаллима (автор — В. А. Лившиц):

Во имя создавшего свет и подъем
(В зубах папироска и ночью и днем),
Кто каждому место в раскопе дает,
Нас кормит (не поит!), ведет нас вперед,
Кто правит Зардачкой¹, над Борей² царит,
Он Митру нашел, и Луну, и Нахит³.
Раздумьем мучительным редко томим,
И славный лакаб⁴ у него — Муаллим⁵.
Ты зрения не утруждай: все равно
Под шляпой узнать нам творца не дано,
К нему даже мысль не отыщет пути,
Превыше всех в мире имен его чти.
Того, кто над всем вознесен естеством,
Понять невозможно душой и умом.
Уста его пищи не ведают днем,
А ночью он трудится в доме своем
(Бальзака читает? Гадать погоди —
Он знает фарси, а теперь и сугди⁶!).
Противник невинных девичьих проказ⁷,
Он сам только изредка шлепает в хауз.
В его правоте убежденьем пребудь,
Сомненье и праздные мысли забудь.
Служа ему, истину должно искать,

¹ Зардачка (из тадж. *Зардакио* — «Золотоцарственная») — Люда Зоршикова, студентка Истфака ЛГУ. Так ее звали в экспедиции.

² Б. Я. Ставиский.

³ Митра, Луна, Нахит (Анахит) — персонажи пенджикентских росписей.

⁴ Лакаб (араб.) — «прозвище».

⁵ Муаллим (араб.) — «учитель».

⁶ Фарси — персидский язык, сугди — согдийский язык.

⁷ Т. И. Зеймаль и И. Н. Медведская выкупались в водоеме-хаузе, за что получили сильный нагоняй от Муаллима.



Стенгазета пенджикентской экспедиции, посвященная Дню Археолога (15.08.1963)

В его повеленья душой проникать.
 На троне сидящий, могучий как слон,
 Он шествует к цели — и рядом Яздон ¹!

Фирдоуси. «Шахнаме»
 (цит по «Газетай Муаллимон»)

2) *В. Г. Луконину* (автор — А. М. Беленицкий):

Русский Вовка ², янки Дик ³
 Подружились вмиг.
 Что же крепит дружбу их?
 Чтение текстов пахлавик?
 Нет, наивный человек,
 Любит янки русский водка,
 Виски обожает Вовка!

3) *Стихотворение-эпиграф*
 (автор — Е. В. Зеймаль; см. фото вверху):

Наш таджикский Коллизей —
 Это цирк, а не музей.
 В этом цирке номера
 Начинаются с утра.
 Перед вами, дети, слон.
 Смолоду был грозен он,
 И студентам то и дело
 Наносил удары смело.
 А теперь уже не тот,
 Покричит и отойдет.

¹ Яздон — бог (букв. «боги»).

² В. Г. Луконин.

³ Р. Н. Фрай.

А. М. БЕЛЕНИЦКИЙ И ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ
ДОАРАБСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Фундаментальные труды А. М. Беленицкого в области изучения древнего искусства Средней Азии представляют собой бесценный вклад в осмысление такого нового, до середины XX в. практически неизвестного художественного явления, как согдийский феномен, который отражал процветающую доарабскую культуру среднеазиатского общества в целом и сыграл существенную роль в формировании искусства обширного региона стран Шелкового пути.

Общеизвестно, что в хорошо изученной истории искусства Запада в определении смены исторических стилей вопрос о традициях и новаторстве имел первостепенное значение. Перед историком искусства каждый раз вставал вопрос, является ли тот или иной исторический стиль результатом развития традиций, длительного эволюционного процесса или отрицания мировоззренческих основ предыдущего этапа искусства. Следует напомнить, что, в конечном счете, исследование традиций и новаторских форм искусства легли в основу понимания главных закономерностей процесса развития художественной культуры. Разве не является христианское искусство средневекового Запада мировоззренческим антиподом античного классического наследия, традиции которого были в корне преобразованы в духе нового времени? Разве не тот же вопрос о традициях и новаторстве становится главным в понимании изменений эстетических представлений в эпоху Возрождения, когда традиционные христианские сюжеты в корне преобразуются под воздействием идей реалистического гуманизма? Такие примеры можно было бы преумножить. Вопрос о преемственной наследственности новых качеств раннесредневекового стиля в пределах Средней Азии вряд ли потеряет актуальность и впредь.

Выявление традиционных и новаторских тем, сюжетов и форм раннесредневекового искусства доисламской Средней Азии так же, как и в хорошо изученном западноевропейском искусстве, ведет в конечном счете к пониманию природы и особенностей исторических стилей доарабской эпохи. С момента открытия памятников искусства раннего средневековья встал вопрос о его генезисе. А. Ю. Якубовский и М. М. Дьяконов в своих работах 1954 г. сравнивали произведения искусства раннесредневекового Согда с произведениями искусства дофеодального периода, например, с росписями Хорезма, греко-бактрийскими монетами. В результате были сделаны выводы о том, что феодальному каноническому искусству Согда предшествовал этап «античного реализма». Этот взгляд на разницу двух исторических стилей в пределах доарабской эпохи получает развитие в обобщающих трудах А. М. Беленицкого, Г. А. Пугаченковой и Л. И. Ремпеля, Г. Азарпай, Б. И. Маршака, М. Буссальи. Исследование терракот показывает, что на стыке кушанской и раннесредневековой эпох произошел разительный перелом в искусстве.

Проблема преемственности и инноваций включает важные аспекты изучения исторических стилей. Разница в образном строе хронологических этапов искусства доарабской эпохи, однако, не исключает преемственность между кушанским и средневековым искусством. А. М. Беленицкий наметил в сфере традиционных сюжетов две линии преемственности. Первая прослеживается в каноническом буддийском искусстве, в котором строго соблюдается раз и навсегда выработанная культовая иконография. Иконографическая взаимосвязь буддийского искусства средневековья с кушанским искусством Гандхары бесспорна. Основные каноны культовой иконографии, сложившиеся в кушанское время в Таксиле, Шотораке, Хадде, были восприняты в искусстве Средней Азии. Впрочем, традиционные образы буддизма в эпоху раннего средневековья трактуются иначе. Как отметила Г. А. Пугаченкова, буддийские образы двух эпох различны. Регламентация в иконографии не отражается на изменении эстетического идеала и налицо иные стилевые принципы, отвечающие духу и запросам эпохи. Сравнивая кушанские буддийские образы из Беграма с аналогичными средневековыми образцами из Фундукистана, можно констатировать следующие изменения: на смену приземистым пропорциям приходят удлинённые, стройные; на смену строгой статике появляются свободные жеманные позы и жесты в движении; вместо созерцательной отвлеченной погруженности в ликах светится благодатная умиленность. Образ Будды в росписи Пенджикента трансформируется под воздействием нового согдийского стиля. Особо значим в средневековом искусстве согдийско-уструшанского региона качественно новый по содержанию и стилю пласт образного слоя, выдержанного в традиции индуистской иконографии.

Вторая линия преемственности в трактовке А. М. Беленицкого намечается между «светским» искусством средневековья и кушанским «династическим» искусством, понятие которого сформулировал еще Д. Шлюмберже. Традиции искусства раннего средневековья в сфере светско-династического направления, как установил А. М. Беленицкий, проявились в восприятии искусством раннего средневековья традиционных кушанских сюжетов. Вот их неполный перечень:

А. Богиня или правитель на зооморфном троне (кушанские монеты, Матхура-Варахша, Пенджикент).

Б. Охотник, стреляющий из лука (Беграм, Пенджикент).

В. Персонаж на слоне или на троне с протомами слона (Пенджикент, Варахша, Тумчук).

Г. Чудовище Макара (Беграм, Пенджикент).

Д. Птицы-женщины (Беграм, Пенджикент, Варахша).

Е. Образ грифона (Термез, Беграм, Варахша).

Однако кушанские традиционные сюжеты, образы, иконографические схемы, воспринятые в среднеазиатском искусстве раннего средневековья, не могли определить природу нового стиля эпохи. Образный строй сходных сюжетов в искусстве двух исторических периодов был различный — династийный принцип перерождается в сословный, а визуальная, эмпирическая трактовка уступает место социальной на эпосной основе, обогащенной фольклорными мотивами.

Качественные признаки нового стиля средневековья усматриваются в появлении новых видов и жанров искусства. В частности, в коропластике на смену однотипным культовым кушанским фигуркам, выдержанным в строгих правилах «закона фронтальности», приходят новые виды терракот (плитки, налесты, образки) и видоизмененные статуэтки. Согдийский стиль во всех видах искусства малых и больших форм выражает феодальную идеологию, которая определила «светский» характер трактовки тем, сюжетов, образов.

Вместо прославления деяния предков царя в большой массе появляются сцены эпического характера, прославляющие героинку богоподобных персонажей, хорошо известных по эпическим сказаниям. Отсюда разный подход к изображению человека в древности и в раннем средневековье. В древнем искусстве, связанном с античной традицией, преобладало визуально-эмпирическое изображение человека в естественном состоянии, характеризующимся жизненностью поз, жестов, нормативом пропорций. Основной акцент делается на изображении лица, особенно глаз. В раннем средневековье представление о человеке как выходе из той или иной этнической группы не способствовало индивидуализации образов. Отныне положительным героем становится царь, князь, эпический герой, знатный рыцарь, различия между которыми отражены в одежде, оружии, обстановке.

Изменение образного строя в целом ведет к изменению художественной формы, к появлению новых качественных черт стиля, отражающих изменение эстетических принципов. Вместо изобразительной предметности расчленения стен только на два регистра с крупномасштабной горельефной скульптурой появляется многоярусность, смелая цветовая насыщенность, обильное применение живописных и пластических форм (настенная роспись, рельефы из глины, алебаstra, дерева). Изменения происходят в сфере композиционных построений, в понимании объема и пространства.

Размеренная ритмика пристенных скульптурных композиций, таких, которые мы видим в Халчаяне и Топрак-Кале, сменяется ковровым декором, состоящим из живописных композиций, плоскостных рельефов, сплошь покрывающих стены. Для позднеэллинистического стиля характерны иллюзорно-пространственные решения, которые в той же росписи Мирана, где, как отмечает М. Буссалли, при сдержанной однотонности присутствует светло-теневая пластика, выявляющая объем; где присущи эффекты удаления в решении пространства, увеличение крупных лиц с подчеркнутыми четко очерченными глазами, отдаленно напоминающими глаза фаюмских портретов. В средневековье же появляется плоскостная декоративность, где акцент делается не на лице, а на декоративности цветовой насыщенности силуэтов, на обилии узорчатых предметов одежды и тканей, украшающих интерьер.

Итак, новаторские черты стиля эпохи раннего средневековья являются решающими и трансформирующими традиционные кушанские мотивы, которые теперь выступают лишь в качестве второстепенных, отдельных компонентов цельного стиля.

РАБОТА А. М. БЕЛЕНИЦКОГО В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Сведения о А. М. Беленицком приведены в ряде российских [Грязнов 1964: 170—171, Милибанд 1995: кн. 1, 143] и среднеазиатских изданий [Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 2. Ташкент, 1972: 140 (на узб. яз.); Лунин 1976: т. 1, 103—104; Исаков, Пулатов // «Коммунист Таджикистана» от 6 апреля 1984 г.]. В них сообщается, что Александр Маркович родился в 1904 г. в д. Лобино Великолукского уезда Псковской губернии и покинул нас в 1993 г. Начальное его образование — церковно-приходская школа, среднее — рабочий факультет при Смоленском Гос. университете. В 1930 г. окончил восточный факультет Среднеазиатского (Ташкентского) Гос. университета, где его ближайшими учителями были: член-корреспондент АН СССР и академик АН Узбекской ССР М. С. Андреев (1873—1948) — выдающийся этнограф и языковед, знаток и исследователь жизни и быта таджикского, узбекского и других народов Средней Азии; член-корреспондент АН СССР по отделению исторических наук и филологии (по разряду восточной словесности) А. Э. Шмидт (1871—1939) — видный арабист и исламовед; член-корреспондент АН УзССР и академик АН Таджикской ССР, виднейший советский востоковед А. А. Семенов (1873—1958). После окончания университета А. М. Беленицкий работал методистом при Наркомате просвещения ТаджССР и одновременно преподавателем истории и истории литературы в вузах Душанбе и Ленинабада (Худжанда). В 1934—1937 гг. он — аспирант исторического факультета Ленинградского Гос. университета, где его руководителями были академик И. Ю. Крачковский и профессор (тогда) А. Ю. Якубовский. С 1936 г. он — научный сотрудник Государственной Академии истории материальной культуры (затем Института истории материальной культуры АН СССР). В 1938 г. А. М. защитил кандидатскую диссертацию «Движение сербедаров в Хорасане в 1337—1380 гг.». В 1938—1939 гг. он принимал участие в работах Семиреченской археологической экспедиции. В годы Великой Отечественной войны, как рассказывали мне А. Ю. Якубовский и М. М. Дьяконов, А. М., прекрасно зная немецкий язык, не раз переходил линию фронта, находил вражеские средства коммуникации, подключался к ним и прослушивал телефоны, а, вернувшись обратно, доставлял в штаб ценную информацию.

А. М. Беленицкий с 1954 г. возглавил Таджикскую (позднее Пенджикентскую) археологическую экспедицию, продолжая традицию, основанной не на раскопках, а на сопоставления современного состояния городища, крепости, селения и т. п. со сведениями, почерпнутыми в основном из трудов мусульманских авторов. Эта традиция опиралась на своеобразие археологии Средней Азии и прошла апробацию в работах таких крупнейших востоковедов, как академик В. Р. Розен (1847—1908), профессор В. А. Жуковский (1858—1918) и академик В. В. Бартольд (1869—1930). Верный ученик последнего, А. Ю. Якубовский, арабист и организатор археологических исследований всегда приглашал для ведения раскопочных работ истинного археолога-аса А. И. Тереножкина (1907—1981), который на первых порах консультировал Александра Марковича во время его раскопок пенджикентских храмов¹. Показательно, что на Всесоюзном совещании в Москве в феврале 1945 г., когда фашисты еще яростно сопротивлялись, были намечены объекты будущих археологических исследований, в том числе и в Средней Азии. Тогда-то и было решено создать крупные экспедиции: Хорезмскую археолого-этнографическую во главе с С. П. Толстовым, Киргизскую археолого-этнографическую — с С. В. Киселевым, Согдийско-Таджикскую — с А. Ю. Якубовским и Южно-Туркменистанскую — с М. Е. Массоном, т. е. две московские, одну ленинградскую и одну среднеазиатскую, на базе которых в следующее пятидесятилетие выросли советские школы археологов Средней Азии, обогащавшие друг друга, благодаря тесному общению, в том числе и в вопросе обмена высококвалифицированными научными кадрами. Так, к примеру, сын М. Е. Массона, В. М. Массон — выпускник САГУ — поступил в аспирантуру к М. М. Дьяконову и остался в Ленинграде, а Б. И. Маршак и В. И. Распопова, окончившие МГУ как ученики Л. Р. Кызласова, также переехали в северную столицу России. Дочь еще одного крупнейшего среднеазиатского археолога — В. А. Шишкина — Г. В. Шишкина переехала в московский Музей искусства народов Востока, где сейчас работают и другие выпускники САГУ: Т. К. Мкртычев, О. Н. Иневаткина, С. Б. Болелов.

¹ Кстати, А. И. Тереножкин защитил в 1940 г. в Ленинграде кандидатскую диссертацию «Согд и Чач», в конце 1948 г. переехал на Украину, где возглавил Отдел раннего железного века Института археологии АН Украинской ССР, защитил докторскую диссертацию и был утвержден в звании профессора.



А. М. Беленицкий (крайний слева) знакомит гостей с ходом работ на городище древнего Пенджикента (1970-е годы)

Я много лет очень хорошо (лично) знал Александра Марковича по его работе с 1945 г. в Институте истории материальной культуры АН СССР, затем Институте археологии АН СССР, в секторе Средней Азии, Сибири и Кавказа, куда я приходил к моему (и А. М. Беленицкого) учителю, А. Ю. Якубовскому, руководившему сектором до 1953 г., на научные заседания, открытые для всех студентов ЛГУ и молодых (и не очень) научных работников, для обсуждения моих диссертаций — сперва кандидатской, а спустя 25 лет докторской (А. М. был одним из официальных оппонентов на защите первой из них). Мне довелось также работать с ним в СТАЭ (затем ТАЭ), когда ее возглавлял сам «Маркич» (как любовно звали этого чудесного добряка старшие участники экспедиции). Помню, как во время злосчастной кампании по борьбе с космополитами А. М. Беленицкий, человек чрезвычайно скромный, любящий работу над персидскими и арабскими текстами, награжденный боевым орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени и медалями, с честью представлявший отечественную науку на международных форумах по иранскому искусству и археологии в Ленинграде в 1935 г. и конгрессах ориенталистов, остался вне стен ЛГУ, поскольку был евреем, и нашел пристанище лишь в секторе А. Ю. Якубовского в ИИМКе. Являясь блестящим востоковедом и в то же время человеком чрезвычайно добросовестным и щепетильным, А. М. по долгу службы много занимался полевой археологией. После обязательного обхода раскопов он возвращался на базу и занимался бухгалтерией (у А. Ю. Якубовского для этой цели была прикомандирована сотрудница из Эрмитажа Антонина Воробьева) и только затем самозабвенно углублялся в труды уроженца древнего Хорезма, писавшего по-арабски, великого среднеазиатского энциклопедиста XI в. ал-Бируни. Кроме того, А. М. с большим интересом изучал художественные памятники, находимые в Пенджикенте. В 1967 г. ему была присвоена степень доктора исторических наук по совокупности научных работ. Мне посчастливилось бывать у А. М. Беленицкого дома и общаться с его родными, так что он был для меня поистине старшим близким человеком, а его кончина стала и моей тяжелой личной утратой.

Питер же и Россия, за которые он воевал и которые прославил своей жизнью и работой, пусть сохраняют память о нем!

И. М. Стеблин-Каменский
(Санкт-Петербург,
Российская Федерация)

ФИЛОСОФИЯ МУАЛЛИМА

Выступление на открытии конференции в честь 100-летия Александра Марковича Беленицкого
(Эрмитажный театр, 2 ноября 2004 г.)

Печатный вариант моего выступления предваряется таким эпиграфом:
«Вчера в больнице Муаллим
Сказал мне, что аллах
Тех превращает в букву *мим*¹,
Кто слишком рыан в делах...»

Глубокоуважаемый Михаил Борисович, дорогая Галина Александровна,
уважаемые слушатели и коллеги!

В Средней Азии (имеется в виду, прежде всего, Русский Туркестан — бывшие советские республики) в середине прошлого века Александр Маркович Беленицкий стал известен как *Муаллим* (таджикское из арабского *муаллим* — «Учитель»). Его, как начальника Пенджикентской археологической экспедиции, все уважительно так и величали: *Муаллим*, так привыкли звать его и мы, сотрудники экспедиции. Впрочем, позднее *муаллимами* мальчишки-рабочие стали называть и нас, руководивших раскопками отдельных объектов на городище. А с начала 1970-х годов стали говорить, что *муаллим* — это недостаточно почетно, мол, это просто школьный учитель, настоящего ученого нужно величать *домулло*. Позднее произошла деградация и этого титула (кстати, китайского происхождения, видимо, пришедшего из Кашгара, буквально «большой мулла», о чем писал еще Аурэл Стейн: «...my host “Ta-mullah” to give him this current half-Chinese designation...»². Подтверждается такое объяснение и Гуннармом Йаррингом: «...(da:<ch.) a well educated man, a very learned molla, who have studied in Samarkand and also seen something of India...»³. Вообще таких составных китайско-персидских слов в Китайском Туркестане (Кашгарии) довольно много: *сэй-хана* «погреб для хранения овощей», *лацзи-дан* «перечница» (*лацзи* — «перец») и проч.⁴

Домулло настолько широко вошло в таджикскую и узбекскую (т. е. *сартовскую*) речь, что стал обычным обращением не только среди местной интеллигенции, но и в чайханах и на базарах Душанбе, Самарканда или Ташкента слышится постоянно: *эй, домулло...* Если же нужно высказать особое уважение, то обращаются тавтологическим сочетанием *домуллои калон*, букв: «большой большой мулла».

О *домулле* можно говорить еще много всего, но темой моего сообщения объявлен *Муаллим* — Александр Маркович — востоковед, арабист, иранист и археолог, о замечательных работах которого в этих областях уже много сказано. Но в последние годы жизни он увлекся общественной проблематикой, читал и писал на разные отвлеченные темы, и вот эту сторону его творчества (для краткости именуемую *философией* — понимаемую здесь в этимологическом смысле — «любомудрие»), не всеми воспринимавшуюся адекватно, я и затрону в своем сообщении.

После кончины Муаллима его дочь, Галина Александровна, разобрала оставшиеся рукописи и сдала археологическую часть в архив Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, а еще 15 полных папок мы собирались сдать в Архив востоковедов при Санкт-Петербургском филиале Института востоковедения РАН, но их тоже согласился принять Архив ИИМКа. Первоначальная систематизация, проделанная Галиной Александровной, показала, что эти материалы включают не только заметки и записки на востоковедную тематику, размышления о взаимоотношениях между Востоком и Западом, воспоминания, и дневники, но наблюдения над окружающей действительностью, литературоведческие очерки, переписку. В том числе переписку со средствами массовой информации (как теперь говорят, со СМИ), письма в газеты и журналы.

¹ Примечание к эпиграфу: арабская буква *мим*, в отличие от стройного *алифа*, похожа начертанием на согбенного старца, что иногда обыгрывается в арабографичной поэзии.

² Stein A. Innermost Asia. Vol. II. Oxford, 1928. P. 787. Примечание к эпиграфу: арабская буква *мим*, в отличие от стройного *алифа*, похожа начертанием на согбенного старца, что иногда обыгрывается в арабографичной поэзии.

³ Jarring G. An Eastern Turki-English Dialect Dictionary. Lund, 1964. P. 80.

⁴ См.: Рахимов Т. Р. Китайские элементы в современном уйгурском языке. М., 1970.



А. М. Беленицкий в домашней обстановке (конец 1980-х годов)

Так, например, в «Литературной Газете» 31 мая 1978 г. было опубликовано короткое письмо Муаллима по поводу неправильной атрибуции известного афоризма «Я мыслю — следовательно, существую», приписанному каким-то древним мыслителям. «Между тем, — писал Муаллим, — эти слова принадлежат французскому философу Рене Декарту, жившему в XVII в., то есть более чем тысячелетие спустя древних».

Именно «мыслить», а не просто «существовать» было потребностью Александра Марковича до последних дней его долгой, богатой и событиями и творческими свершениями, плодотворной жизни. Часть своих заметок он сам оформил в сборник, который называл «Эссе» — это более 200 страниц машинописного текста. Отдельные рубрики озаглавлены: «Космос и война», «Народ — дитя», «Свобода», «О Споке, Достоевском и Толстом», «Традиции имперской политики», «О пьянстве на Руси», «Диссидентство на Руси и традиции борьбы с ним», «О лжи», «Об учении Павлова и теории Эйнштейна», «О голоде» и многое другое. Это сборник, несомненно, содержал немало *крамольных* (по тем временам) наблюдений и заключений, и отправляясь в очередной раз в больницу, Муаллим давал мне папку с одним экземпляром на сохранение (ну и для прочтения, конечно). Каюсь, что я эти заметки в лучшем случае перелистывал и прятал куда-нибудь подальше. Думать об их публикации в то время было, разумеется, бессмысленно.

Ну а как сейчас? Мой отец, ровесник Муаллима, с которым Александр Маркович встречался, тоже вел записные книжки, преимущественно в поездках и путешествиях, и незадолго до смерти в 1981 г. подготовил к печати подборку «Из моих записных книжек». Она готовится к публикации в серии «Дневники и воспоминания петербургских ученых». И мой отец, и Александр Маркович прекрасно понимали, что напечатать эти заметки в советское время тогда ни в каком виде было невозможно. И все же готовили их к печати и старались как-то сохранить для будущего. С одной стороны это было, во-первых, свидетельством того, что времена настали более безопасные (распространение самиздата и т. п.), за дневники уже почти не сажали¹. В изданном В. С. Гарбузовой и мною блокадном дневнике коллеги Муаллима — А. Н. Болдырева — «Осадная запись» (СПб., 1998) всякое инакомыслие дано только иносказательно или в зашифрованном виде (по-персидски). Во-вторых, мне кажется, что это было стремлением показать, что и в тех условиях независимая мысль, отличное от официального мнение, самостоятельные суждения, отрицание официальной лжи и лицемерия существовали. Возможно, это было и стремлением как-то оправдаться в глазах мыслящего потомства. Потому что в наступлении другого времени большинство не сомневалось: на теме своего перевода «Минералогии» Бируни Александр Маркович сделал мне надпись: «...Ване... с пожеланием хороших времен...».

¹ Сейчас, кстати, издана подборка блокадных дневников из архивов КГБ, за высказывания в которых — они подчеркнуты следователями — их авторы были расстреляны или репрессированы: Серия «Архив Большого дома». Блокадные дневники и документы. СПб., 2004.

По существу, они ведь чувствовали себя своеобразными внутренними эмигрантами (как иногда себя и называли), хотя в предисловии к заметкам «От автора» Александр Маркович и замечает (может быть, на всякий случай?): «...никакой личной неприязни ни к обществу, ни тем более к властям он [автор] не питает. Однако, некоторые обстоятельства... определили его [автора] склонность к «инакомыслию», которое он не рекламирует, но и не прячет за семью замками...».

Несомненно, свидетельства эти могут и должны быть использованы историками и общественной, и повседневной жизни прошедшей эпохи. К счастью, то, что еще не опубликовано, сохраняется в архивах и доступно для добросовестных исследователей.

Философия Муаллима объемлет такие обширные области и сферы, что даже простой перечень содержания этих двух десятков папок, составленный Галиной Александровной, занимает более десятка страниц. Коснусь лишь двух тем: религиозного спасения и Достоевского, тем более, что именно эти темы часто обсуждались в наших беседах (не скрою, часто и за рюмкой водки — Муаллим, кстати, советскую водку очень ругал и вспоминал старую «казенку»).

После одной из встреч, когда я куда-то уехал, Муаллим писал мне вдогонку (цитирую): «...все религиозные учения включали в себя «науку» (в кавычках) своего времени. Разрыв произошел сравнительно недавно. Но религия — вера включала помимо науки еще нечто очень важное, а именно идею “спасения”, и прежде всего (но не только) очевидно спасения от смерти, как полного исчезновения. Нирвана буддизма интересный поворот этой же проблемы — спасение от жизни с ее неприглядными свойствами... Наука современная (а-религиозная) полностью отказалась от идеи “вечности” (вечное блаженство), к которой религия приобщала человека, заменив ее бесконечностью (бесконечностями — позади и впереди), низводящей человека к величине равной 0 или почти к ничто, и соответственно к такой же величине и его занятия, в том числе и науками. Сейчас проблема, главная, если не единственная, — выдержит ли человеческое сознание такую ликвидацию ценности и значения человеческого существования?...». Далее идут еще несколько рассуждений в том же духе, а в конце письма — приписка в стиле Муаллима: «...и Вам не рекомендую над всей этой мутью задумываться и тратить время...».

Затрагивался в этой связи и иранский материал, в частности описанное в авестийском «Замйад-яште» явление Спасителя-Саошйанта, одного из трех сыновей Заратуштры (которых уверенно отождествляют с тремя магами-волхвами (gois-mages в трех коронах в европейской традиции), принесшими (трехчастные, т. е. чисто зороастрийские) дары-приношения к яслям Младенца Христа). Еще одна немаловажная параллель между зороастрийской и христианской (в том числе, конечно, и православной) традициями тогда не пришла мне в голову и сейчас в память о Муаллиме хочу привести некоторые новые соображения, касающиеся оружия Спасителя.

Как излагается в «Замйад-яште» (в моем стихотворном переводе):

19.89. которое пристало (Хварно — харизма)

Спасителю благовому
И тем, кто с ним идет,
В жизнь превращая создание
Без умирания, без увядания
И без истления,
Вечноживущую, вечно растущую
И самовластную,
Из мертвых восстанут
И явится вживе
Бессмертный Спаситель
И мир претворит.
90. Бессмертными станут
Избравшие Истину,
А Ложь пропадет —
Исчезнет туда же,
Откуда пришла
На праведных гибель
Их рода и жизни,
Исчезнет злодейка,
Исчезнет злодей.

(Следуют обычные заключительные формулы этой строфы и молитвенные воззвания следующей — аналогичные повторам и припевам православных канонов и акафистов...)

92. Восстанет Астват-Эрэта¹
Из озера Кансава²,
Гонец Ахура-Мазды,
Сын Виспатаурвари³.
Размахивая грозным
Оружием победным...

Оружие это, авестийское *vaēda-*, слово на основании сопоставлений с афганскими *wəl-*: *wišt-*, памирскими (шугнанским *wēd-* ишкашимским *wēd-*, йидга *wul-* : *wust-* и т. д.), хотанским *bid-*⁴, ягнобским *wid-* «бросать, кидать, метать», объясняется Тедеско, Моргенстиерне и Гершевичем как «дрот», *javelin* — «метательное копье, по величине большее, чем дротик»⁵. Соответствует этому оружию греческое *dōru*, (gen.) *dorós* «метательное копье, древко с наконечником» — слово, родственное древнеиндийскому *dāru-*, авест. *dāru-* «дерево, древо», индоевропейское *dr-ew*, англ. *tree* и проч. (копьеносец — *dorufóros*, увенчанный боевой славой — *dorustéfanos*).

Напомню, что согласно «Евангелию от Иоанна» (19, 34), распятому и уже испутившему дух Иисусу «...один из воинов пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода...». Кстати, железный наконечник этого копья хранился в Армении (где христианство сменило зороастризм) в скальном монастыре Гегард (что вроде бы и означает «копье»), а сейчас ему можно поклониться в Эчмиадзине.

Но что особенно показательно, так это слова в начале литургии верных (после изгнания из храма оглашенных) перед Великим Входом, когда поется Херувимская песнь: «Иже херувимы, иже серафимы...», а после Великого Входа, после выноса чаши и дискаса поют: «Яко да царя всех подыдем, невидимо ангельскими «дориносима чинми», то есть в переводе на русский: «Подыдем Царя всех, которого невидимо копьеносят Ангельские силы». Называется то же оружие — греческое *dōru*, *dorós*...

Копье (собственно *дрот*), следовательно, ассоциируется с образом Спасителя.

Итак, закончу явление зороастрийского Спасителя:

Оружием победным,
Которое Трайтаона (*Фаридун*)
Носил, когда он
Убил Дахаку Змея... (*Ажи-Дахака*)
93. Которое Франхрасьян (*Афрасиаб*)
Носил, когда убил он
Зловерного Зайнигу;
Которым Хаосрава
Франхрасьяна убил;
Которое Виштаспа
Носил, когда сражался
За Истину с врагами, -
И Ложь этим Оружием
Из праведного мира
Навек он изведет.
94. Он разума глазами
Окинет все творенья
Без безобразной Лжи,
Весь мир увидит плотский
Глазами благодати,
И сделает бессмертным
Взгляд этот плотский мир.
95. За ним, за Астват-Эрэтой,
Придут победоносные,

¹ Имя первого сына Заратуштры, букв. «Воплотивший Истину».

² Озеро, в котором чудесным образом, оберегаемое душами 99 999 праведников, сохраняется семья Заратуштры, выкупавшиеся в нем богоизбранные девы и рожают Спасителей, оно традиционно идентифицируется как озеро Хамун в Сеистане по границе Ирана и Афганистана.

³ Букв.: «Все-победительницы», ср. обращение к Богородице в стандартной молитве (кондаке): «Взбранной Воеводе Победительная... имущая Державу Непобедимую...».

⁴ *Bailey H. W. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979. P. 283b.*

⁵ *Morgenstierne G. A New Etymological Vocabulary of Pasto. Wiesbaden, 2003. P: 87.*

С благими помышленьями
И с добрыми словами,
И с добрыми делами,
Благие, добронравные,
Лжи не произносившие
Ни разу языком.
Преклонится пред ними
И Ярость кровожадная,
Преодолеет Истина
Ложь злую, беспощадную,
Пришедшую из тьмы.
96. Благая Мысль одержит
Победу над Злой Мыслью,
Речь лживая правдивой
Будет побеждена,
А Целость и Бессмертие ¹
Осилят голод с жаждой,
И голод злой, и жажду
Они сразят навек,
А злобный Анхра-Манью ²
Своей лишившись власти,
Бессильный убежит...

Пронзание копьем — орудием Божественного страдания — земного плотского тела Иисуса Христа — это своего рода освобождение («истекла кровь и вода») перед последовавшим воскресением. Примечательно, что у Спасителя в «Замйад-яште» и в «Херувимской песне» — одинаковое оружие — копье (точнее дрот, большой дротик).

Ну и второй (последний) сюжет из философии Муаллима касается русских классиков. В записках Александра Марковича Федор Михайлович Достоевский упоминается очень часто. Я помню, как однажды Муаллим говорил мне: «Ну вот так, как Лев Толстой, если очень-очень постараюсь — я смогу написать, но вот так, как Достоевский, — никогда не смогу!».

А как-то он предложил определить с помощью двух слов — Бог и дурак — суть или мироощущение (не помню точно) творчества великих русских писателей. «Вот, например, Лесков, что говорит: мы — дураки».

А Чехов? «Я — дурак!». Толстой: «Я — бог!». А Достоевский?

«Бог — дурак», — догадался я.

«Правильно», — заключил Муаллим, — «и Бог бы его простил».

Так пусть Бог простит и помилует раба своего Александра, и учинит душу его в селениях праведных и сотворит ему вечную память...

Благодарю за внимание.

Приложение

И. М. Стеблин-Каменский

СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МУАЛЛИМУ (АЛЕКСАНДРУ МАРКОВИЧУ БЕЛЕНИЦКОМУ)

Эти макаронические (таджикско-русские) вирши преподносились Муаллиму по случаю разных торжественных дат и читались на банкетах, например, на защите его докторской диссертации в 1966 г.:

Во имя аллаха, во славу Пророка
Сказали немало поэты Востока.
Прославлен был ими любой падишах
В хороших, плохих и средних стихах.
Но все восхваления эти суть ложь,

¹ *Амеишаспенты* — Бессмертные Святые, покровительствующие Водам и Растениям.

² Злой Дух.

Цена им поэтому ломаный грош.
 Нельзя прославлять сидящих на троне,
 Когда от них все человечество стонет.
 Поэтому, хоть и велик мой *мамдух*,
 Но это величие — разум и дух.
Ба ман шабе гуфт дар хоб малака,
 Что *окиянус* наполняет река.
 Пойдет ли песчинка единая впрок?
 И все же в пустыне есть только песок.
 Из капель воды состоит *Зарафшон*,
В-аз регдонахо состоит *биебон*.
 Пускай же волюются *ашьори факир*
 В поток восхвалений задавшему пир.
Ба даст овардаи унвони илми
Ту мадхи банда благосклонно прими.
Аз гапу хабари дониши Искандар
 В глазах помутилось у *чархи ахзар*.
 Как мудр и велик *муаллим ибн Марк*,
Хикмати олии джахон карда дарк.
Хиради бегахду рухи баланд
Ба ту аз неки бахшид худованд.
Ва нист дар дунье донишманди шабех,
 Который снискал *эхтиром* бы у всех.
Ченин хирадманд надидаст гардун
Аз вакти ки жил на земле Ифлатун.
Ва харгиз набинад то рузи махшар
Монанди хамин муаллим Искандар.
 Нельзя мне касыду закончить без *касда*,
 У нас бескорыстие встретишь не часто.
 Не нужно коня мне, не нужно халата,
 Мне нужен кетмень и нужна мне лопата.
 А также участок невзрытой земли
 Из щедрости чтобы Вы мне отвели.
 Готов перерыть я для Вас *Демавенд*,
 Но лучше возьмите меня в *Пенджикент*!

По случаю дня рождения Муаллима в 1969 г. я подарил ему памирские шерстяные чулки-носки (*джурабы*) и сочинил такой газельный стих:

Прими, Муаллим, эту пару *джуроб*
 И с ней от раба этот жалкий *хитоб*.
 Прославил один недалекий поэт
Шаробу рубобу кабобу китоб.
 Но все эти вещи приносят лишь вред,
 А пользу приносит нам только *джуроб*.
 И с ними на свете ничто не сравнится
 Среди всех существ и предметов на «-об».
 Носить их во время больших холодов
 Есть высшая мудрость и высший *одоб*.
 А если надеть их во время жары,
 То ты все равно *мешави зафарьоб*.
 Без них можно быстро свалиться в постель
 И стать из-за козней шайтана *хароб*.
 А может случиться и хуже того —
 Простудишься так, что из носа *джилоб*.
 Поэтому надо всегда отличать
Харому халол и *халалу савоб*.
 Носки эти следует днем надевать,
 Когда на раскопе ведешь *кофтукоб*.
 И темною ночью их можно надеть —
 Они навевают пленительный *хоб*.

Носки осветят и согреют тебя
И ночью и днем, как *махтоб* и *офтоб*.
Не зря утверждает Ваханский Иван:
Джуроб для здоровья — важнейший *асбооб*.

На 70-летию Александра Марковича был оглашен и преподнесен ему такой древний согдийский документ:

А-16 (Беленицкому — 70)

Бумага привозная импортная (финская), каландрированная («машинной гладкости»), размером 20×30 см, 25 строк текста. На оборотной стороне приписка (см. *verso*). Перевод с согдийского:

Recto:

- (1) От согдийского царя, самаркандского государя Деваштича
- (2) Муаллиму Искандару ибн Марку — здравие, много почтения.
- (3) И, муаллим, после моего письма получения
- (4) Выдай в день юбилея
- (5) Своим людям благовоного вина не жалея,
- (6) И не того «Солнцедара»
- (7) Что твои служанки хлещут.
- (8) Доведешь людей до удара —
- (9) Будешь делать такие вещи.
- (10) И еще пусть съедят твои людишки
- (11) Хлеба кафизов двести,
- (12) А ты собери все излишки
- (13) И припрядь в надежном месте.
- (14) Початые бутылки запечатай,
- (15) Отвези на городище Панча.
- (16) Давай рабочим вместо зарплаты,
- (17) А у фрамандара деньги не клянчи.
- (18) Если ты во время банкета
- (19) Не помянешь меня добрым словом,
- (20) Я тебе отомщу за это —
- (21) Угощу тебя мадмским пловом (*вариант*: отравлю тебя жирным пловом)
- (22) На моих триумфах и крахах
- (23) Ты нажил себе имя и славу,
- (24) И бокал вина в твоих лапах
- (25) Для меня предназначен по праву.

Verso:

(Позднейшая приписка на хорезмийско-таджикско-каракалпакско-узбекском языке почерком «пенджикентик». Дословный перевод с арабского)

- (1) Случайно сей *мактуб хонда*,
- (2) Я понял — это ерунда!
- (3) Деваштич — просто проходимец.
- (4) Продвинулся как дам любимец.
- (5) Деваштич недостоин тоста!
- (6) Кто станет чествовать прохвоста?
- (7) Ибн Марк, Аллах тебя храни,
- (8) Пей за здоровье Бируни!

Приписка на полях. Перевод с верхненижненемецкого:
«Бартольду своего времени:
Бируницкий прав»

Маргиналия В. В. Бартольда

5 апреля 1974 г., Дом Архитектора,
банкет в честь А. М. Беленицкого

НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ С АЛЕКСАНДРОМ МАРКОВИЧЕМ БЕЛЕНИЦКИМ

Память наша избирательна. В голове своей храним самое важное, все остальное отсеивается, но важное хранится. Я запомнил то, что было для меня важным. В действительности этих встреч было гораздо больше, особенно, когда я стал работать в его экспедиции, но несколько встреч я считаю для себя судьбоносными.

Первая встреча была заочной. В 1966 г. я занимался в эрмитажном кружке Б. И. Маршака, и он поручил мне сделать доклад по статье А. М. Беленицкого «Вопросы идеологии и культов Согда. По материалам пянджикентских храмов», опубликованной в 1954 г. в сборнике «Живопись древнего Пянджикента». Задача доклада заключалась в том, чтобы показать, каким образом автор статьи приходит к выводу о принадлежности храмов Пянджикента манихеям, исключая другие конфессии. Я честно просидел во «взрослой» Публичной библиотеке на пл. Островского две недели, но, откровенно говоря, доклада не получилось. Я мало что понял в этой бывшей уже тогда классической статье Александра Марковича — вместо доклада был написан реферат.

Вторая встреча состоялась в том же году, когда Б. И. Маршак представил меня Александру Марковичу на отчетной сессии Эрмитажа и сказал, что этот молодой человек очень хочет поехать в экспедицию в Пянджикент. Признаться, я не очень рассчитывал на положительный ответ. Меня предупредили, что Беленицкий недолюбливает студентов, ну а о школьниках он вообще слышать не хочет. Каковы же были мое удивление и радость, когда Александр Маркович согласился. Иногда мне кажется, что не согласись тогда он, то не пришлось бы мне так долго ездить в Пянджикент (до 2004 г.). Ведь первое впечатление, да еще юношеское, самое сильное. Однако поездка сложилась не вполне удачно. В экспедиции я получил довольно серьезное ранение, предстояла операция, которую надо было делать в Самарканде, и вот тогда Александр Маркович буквально спас меня от смерти. Он обошел своих знакомых в Самарканде и через Давида Натановича Льва (он тогда был доцентом кафедры археологии Самаркандского университета) вышел на врачей 1-й Республиканской больницы, в которой мне сделали операцию. Сидя у моей постели в саду больницы они вдруг заспорили: кто главнее, *домулло* (Лев) или *муаллим* (Беленицкий). Лев шутливо доказывал, что *домулло* («ученый») — это больше, чем *мулло*, это значит два *мулло*. На это Александр Маркович спокойно возражал, что *муаллим* («учитель») — *лакаб* («прозвище») более достойный и понятный. Это была третья встреча с Муаллимом — Александром Марковичем.

Четвертая по счету моя встреча с ним случилась десять лет спустя, хотя все эти годы я ездил на раскопки в Пянджикент. Окончив университет, я почти целый год перебивался случайными заработками и временными ставками. Увидев меня однажды в фоторхиве Ленинградского отделения Института археологии АН СССР (ныне Институт истории материальной культуры РАН), Александр Маркович спросил, имею ли я постоянную работу. «Если нет, — сказал он, — то я поговорю с Владимиром Григорьевичем Лукониным, и Вы будете работать в Отделе Востока Эрмитажа».

С тех пор прошло 27 лет. Я работаю в Эрмитаже и в Пянджикентской экспедиции. В экспедиции мне доверено исследование городских храмов этого древнего и известного теперь на весь мир памятника, над которыми, кажется, витает харизма Беленицкого, первооткрывателя этих объектов.

Муаллим многому нас всех научил и главное, как мне кажется, тому, что, если бы люди больше интересовались археологией, то они меньше бы думали об атомной бомбе.



А. М. Беленицкий на отдыхе в Кисловодске (1955 г.)



Корифеи отечественного востоковедения и археологии (слева направо):
О. И. Смирнова, А. М. Беленицкий и С. И. Руденко (начало 1960-х годов)



А. М. Беленицкий и Б. А. Литвинский (на обеих фотографиях справа):
вверху — в Кайрак-Кумах (Таджикистан) в 1955 г. (подпись на обороте рукой Бориса Анатольевича: «Встреча в Кайрак-Кумах в 1955 г. — символ единения»);
внизу — на банкете в честь 80-летия Александра Марковича в Ленинграде (1984 г.)

ALEKSANDR MARKOVICH BELENITSKY AND AL-BIRUNI

I always thought that Aleksandr Markovich was a Renaissance savant, much as al-Biruni was, and these few lines are dedicated to a remarkable scholar, who in the highly specialized world of today, as myself might be considered a dinosaur. I am happy to have known him. His translation of al-Biruni's book on gems reveals his exceptional regard to details, acquired as a trained archaeologist who spent many years in the field.

Al-Biruni wrote on many subjects, and in his «Chronology of Ancient Nations», as the translation of the work in English was called, he was concerned to understand what he found in sources about the past at his disposal, and further to explain the discrepancies. He was confronted by parallel histories of the past, frequently mixed in his sources, and he sought to disentangle conflicting reports. In the case of ancient Iran, from Zoroastrian mobads he found one account of the past beginning with the Avesta, and completed by Firdosi in his «Shahnameh». Another parallel history might be called a secular or Greek and Biblical account which differed greatly from the eastern, religious or epic tradition.

The primary aim of Biruni's book was to save information from the past, for history was important in his eyes. Although his near contemporary Firdosi wrote history, or so he thought, his aim was to save the Persian language from being lost to Arabic. For him literature, poetry and the epic was the important goal of his composition. Nevertheless he believed he was writing history, and his version was the only one. Biruni, on the other hand, realized that his sources frequently contradicted each other, and when confronted with different versions he followed the model of Tabari and others, who recorded various versions of the same events. But Biruni was not satisfied to merely report what he found. And he went further to try to resolve and explain the contradictions he found, even though some of his suggestions today seem failures. Let us examine in his book the different lists of rulers in the realms of greater Iran.

First, we should consider the mystery about the ancient history of Iran which is the absence of the name of the Achaemenids in all Iranian sources about the history. The names and sequence of rules of the monarchs were also lost in later times, even before the Arab invasion of the seventh century. Long before Biruni's time Iranians had come to regard the account as found in Firdosi to be the true record of their past. Unfortunately, we may only surmise what happened to cause this loss, but a plausible reconstruction may be attempted.

In my opinion, Darius lied in his inscription at Behistun when he claimed Achaemenes as the common ancestor of himself and of his illustrious predecessor Cyrus [Frye 2002]. In spite of probable doubts among some Iranians about the veracity of this government propaganda, as implied in Herodotus, the official account of Darius should have survived. Why did it vanish from the purview of the Iranians?

Scholars have proposed that the rule of Alexander and his successors, the Seleucids, in Iran caused the disappearance of records, and even the memory, of Iranians caused the loss of knowledge about the Achaemenids. But it is difficult to believe that all trace of the rule of the mighty Achaemenids was erased by the Hellenic invaders. Educated Iranians must have been in contact with Greek and Aramaic speaking peoples after the fall of the Achaemenid Empire, but what of the common folk? Less than a century after the death of Alexander the Parni tribe from Central Asia had conquered Parthia, contemporary Khurasan, and had spread over the plateau. Their ancient history was based on that of the Avesta, but considerably embellished with heroic and epic tales. By the minstrels, or *gosan*, this view of the past was spread among the people. Even in the Parthian, or Arsacid as called by Iranians, court some may have accepted this view of the past, but since Greek was known there, it is difficult to believe that the history of the Achaemenids was completely forgotten throughout the rule of the Parthians.

In the 3rd century A.D., the Sasanians from Persis (or Fars) replaced the Parthians, and it is even more difficult to believe that especially in the homeland of the Achaemenids all memory of them was lost. There is no reason to suppose that the Sasanian aristocracy was any more oblivious to the history of their ancestors than among the Parthians. Therefore something must have happened during the rule of the Sasanians which brought about the loss of memory. What was happening at the time of the rise of the Sasanians?

At the end of the 2nd and beginning of the 3rd century A.D. great changes were taking place throughout the Roman and Parthian Empires. Universal religions, especially Christianity, were replacing the ancient polytheistic faiths of the past, and intolerance was replacing the old tolerance of other beliefs. In 212, after the Roman emperor Caracalla opened citizenship to everyone in the empire, the prestige and privilege of being a Roman citizen was replaced by adherence to one of the cults or faiths which flourished

in this age. One's identity was now determined by his religion more than by his political allegiance. Then under Constantine Christianity became the religion of the Roman Empire, foes of the Sasanians. But Christianity had spread, and was spreading in Iran, and it was the faith of the foe.

Professor Shapur Shabazi has convincingly explained that the Iranian «national history», as found in Firdosi, was made the official version of Iran's past in the time of Shapur II as a counter weight to the Christian view of the Roman enemy [Shahbazi 2001]. It became then a matter of faith, as well as a policy of the government, and thus the Achaemenids were officially banned from a place in the later Sasanian account of history. Names and titles from the now ordained «official history», based on the Avesta, became popular, as Shahbazi has shown. Because of the overwhelming influence of Iranian scholars in all fields of knowledge during the early centuries of the Islamic era, the Sasanian/Zoroastrian view of the past was widely accepted by other Muslims, while Firdosi helped to spread this account among Persian speakers. In as much as Islam followed the belief of a universal religion, as the Christians had done, that the past was a time of ignorance, unworthy of investigation, the Iranian version of the past was uncritically accepted by the mass of Muslims. Biruni, and a few others, however, were interested in explaining differences between sources which reported the Iranian version and non-Islamic accounts of the past. This was the problem for Biruni.

Others had sought to identify figures in one tradition with those of another, thus Jamshid of the Iranian was identified as Solomon of the Biblical account. Biruni, however, was not satisfied with this process since it was not consistent and only a few identifications made sense. He surmised that the Iranian list of rulers originated in the east while the list, which included the Achaemenid kings, was founded in western Iran, and those monarchs followed Mesopotamian rulers. So, he concluded that there was a geographical division of domains, yet both lists of kings claimed universal rule over the world, so Biruni proposed that the kings of Mesopotamia, followed by the Achaemenids, which were all called Chaldaeans by western authors, at first powerful rulers, then became governors of the Kayanids of the Iranian national history. As a result nomenclature became corrupted. But then he shows that western writers call the Achaemenids «kings of Persia», and Biruni does not comment on contradictions [Biruni 2002].

Bibliography

Biruni. The edition of Parvis Adhkani, published by the Merkez-e nashir-e meras-e maktub. Tehran, 2002.

Frye R. N. Cyrus was no Achaemenid // Religious Themes and Texts of pre-Islamic Iran and Central Asia: Studies in honour of G. Gnoli. Wiesbaden, 2002.

Shahbazi A. Sh. Early Sasanians' Claim to Achaemenid Heritage // NIB. Vol. 1/1. 2001.



А. М. Беленицкий в Пенджикенте (лето 1959 г.)



А. М. Беленицкий на фотографии конца 1950-х годов



На торжественном заседании, посвященном 80-летию
А. М. Беленицкого (1984 г.)

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ А. М. БЕЛЕНИЦКОГО

1940 г.

1. Из истории участия ремесленников в городских празднествах в Средней Азии в XIV—XV вв. // ТОВЭ. Т. 2. С. 189—201. Рез. фр.
2. Организация ремесла в Самарканде XV—XVI вв. // КСИИМК. Вып. 6. С. 43—47.
3. Рец.: Материалы по истории туркмен в Туркмении. Т. 1. VII—XV вв. Арабские и персидские источники. М.; Л. 1939 // ВАН СССР. № 8—9. С. 86—90.

1941 г.

4. К истории феодального землевладения в Средней Азии и Иране в тимуридскую эпоху (XIV—XV вв.) (Образование института «суюргал») // Историк-марксист. № 4. С. 43—58.

1946 г.

5. Историческая топография Герата XV в. // Алишер Навои. М.; Л. С. 176—202.

1948 г.

6. Из мусульманской эпитафии в Таласской долине // ЭВ. Вып. 2. С. 16—18: ил.
7. К вопросу о социальных отношениях в Иране в хулагуидскую эпоху // СВ. Т. 5. С. 111—128.
8. Хуттальская лошадь в легенде и историческом предании // СЭ. № 4. С. 162—167: ил.

1949 г.

9. Великий средневековый энциклопедист XV в. ал-Бируни о горных богатствах Средней Азии // Природа. № 8. С. 73—77.
10. Картина мира по Бируни // УЗ ЛГУ. Сер. востоковед. наук. № 98. Вып. 1. С. 203—214.
11. О домусульманских культах Средней Азии // КСИИМК. Вып. 28. С. 83—85.
12. Находка железного ключа в Пянджикенте // КСИИМК. Вып. 29. С. 100—105.
13. О появлении и распространении огнестрельного оружия в Средней Азии и Иране в XIV—XVI веках // Известия Таджикского филиала АН СССР. № 15. История и этнография. С. 21—35.
14. О «Минералогии» ал-Бируни // ВЛГУ. № 11. С. 43—54.

1950 г.

15. Мавзолей у селения Саят // КСИИМК. Вып. 33. С. 134—138: ил.
16. Глава «О железе» минералогического трактата Бируни // Там же. С. 139—144.
17. Раскопки здания № 1 на шахристане Пянджикента // МИА. № 15. С. 100—105: ил.
18. Историко-географический очерк Хутталя с древнейших времен до X в. н. э. // Там же. С. 109—127.
19. Отчет о работе Вахшского отряда в 1946 г. // Там же. С. 128—129: ил.
20. Отчет о работе Вахшского отряда в 1947 г. // Там же. С. 140—146: ил.
21. Мавзолей у селения Саят // Там же. С. 207—209: ил.
22. Железный ключ из Пянджикента // Там же. С. 221—223: ил.
23. О «Минералогии» Бируни // Бируни. М.; Л. С. 88—105.
24. О янтаре (кахруба) [Перевод] // Там же. С. 131—139 (комментарии совместно с Г. Г. Леммлейном).

1952 г.

25. О пянджикентских храмах // КСИИМК. Вып. 45. С. 119—126: ил.

1953 г.

26. Бадахшанский лал // ТАН Таджикской ССР. Т. 17. С. 25—31.
27. Геолого-минералогический трактат Ибн-Сины // ИАН Таджикской ССР. Вып. 4. С. 40—54.
28. Из археологических работ в Пянджикенте в 1951 году // СА. Т. 18. С. 326—341: ил.

29. Памяти Александра Юрьевича Якубовского // КСИИМК. Вып. 51. С. 166—172: портр. (совместно с М. М. Дьяконовым).

30. Раскопки согдийских храмов в 1949—1950 гг. // МИА. № 37. С. 21—58: ил.

1954 г.

31. Археологические работы в Пянджикенте [1952 г.] // КСИИМК. Вып. 55. С. 31—47: ил.

32. Памяти Михаила Михайловича Дьяконова // Там же. С. 155—162: портр.

33. Вопросы идеологии и культов Согда по материалам пянджикентских храмов // Живопись древнего Пянджикента. М. С. 25—82: ил.

34. Предварительный отчет о работах Пенджикентского отряда в 1953 г. // ДАН Таджикской ССР. Вып. 11. С. 17—29: ил.

35. Раскопки в Пянджикенте // Доклады советской делегации на XXIII Международном конгрессе востоковедов. Секция Ирана, Армении и Средней Азии. М. С. 25—47.

1955 г.

36. Раскопки на городище древнего Пянджикента // КСИИМК. Вып. 60. С. 80—96: ил.

1956 г.

37. Арабская надпись из Пенджикента // ЭВ. Вып. 11. С. 27—29: ил.

38. О некоторых сюжетах пенджикентской живописи // КСИИМК. Вып. 61. С. 56—62: ил.

39. О работах Таджикской археологической экспедиции в 1954 г. // ТАН Таджикской ССР. Т. 37. С. 3—4.

40. Предварительный отчет о работах Пенджикентского отряда в 1954 г. // Там же. С. 19—32: ил.

41. Раскопки на городище древнего Пенджикента в 1955 г. // ТАН Таджикской ССР. Т. 63. С. 47—56: ил.

42. Сардоба около Куляба // Там же. Т. 63. С. 101—102: ил. (совместно с Е. А. Давидович).

1957 г.

43. [*Belenickij A. M.*] Neue Denkmäler der vorislamischen monumentalen sogdischen Kunst: Vortrag auf dem 24 Internationalen Orientalistenkongress / Akademie der Wissenschaften der U. d. SSR. — М. — 8 с.

44. Александр Натанович Бернштам [Некролог] // СА. № 1. С. 289—290.

45. Археологические заметки: 1. К вопросу о переходной обрядности в домусульманской Средней Азии [о бракетах Средней Азии]. 2. О сосудах с клеймами из Пенджикента // ИООН АН Таджикской ССР. № 14. С. 3—15: ил.

46. Новые памятники искусства Пянджикента // ТД на сессии Отделения исторических наук и на пленуме ИИМК, посвященном итогам археологических и этнографических исследований 1956 г. М. С. 35—37.

47. Рец.: *Монгайт А. Л.* Археология в СССР. — М., 1955. — 436 с. : ил., карт. // СА. № 3. С. 296—297 (совместно с В. М. Массоном).

1958 г.

48. Важнейшие открытия в области изучения искусства Средней Азии // Материалы научной конференции, посвященной 40-летию советского искусствознания. М. С. 138—144.

49. Итоги работ Таджикской археологической экспедиции за 1951—1953 гг. // МИА. № 66. С. 5—10.

50. Общие результаты раскопок городища древнего Пенджикента (1951—1953 гг.) // Там же. С. 104—154: ил.

51. Развитое феодальное общество в Иране (начало X — начало XIII вв.) // История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века. Л. С. 154—160.

52. [*Belenitski A. M.*] Nouvelles découvertes de sculptures et de peintures murales à Piandjikent // ArAs. Т. 5/3. P. 163—182: ил.

1959 г.

53. Древний Пенджикент: (Основные итоги раскопок 1954—1957 гг.) // СА. № 1. С. 195—217.

54. Новое о древнем Пенджикенте // Археологи рассказывают. Сталинабад. С. 50—66: ил. (совместно с Б. Я. Стависким).

55. Предисловие [к сборнику] // Скульптура и живопись древнего Пянджикента. М. С. 5—10.

56. Новые памятники искусства древнего Пенджикента: Опыт иконографического истолкования // Скульптура и живопись древнего Пенджикента. М. С. 13—87: ил.
57. О раскопках городища древнего Пенджикента в 1956 г. // ТАН Таджикской ССР. Т. 91. С. 87—114.
58. Работы Таджикской археологической экспедиции в 1956 году // КСИИМК. Вып. 73. С. 92—98: ил.
59. Раскопки городища древнего Пенджикента в 1956 г. // Материалы Второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. М.; Л. С. 197—204: ил.
60. Результаты работ пенджикентского отряда в 1957 г. // ТАН Таджикской ССР. Т. 103. С. 43—63: ил.

1960 г.

61. Древнее изобразительное искусство и «Шахнаме» — М. — 10 с. (XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР).
62. Новые изображения ритуальных предметов на стенных росписях древнего Пенджикента // ТАН Таджикской ССР. Т. 120. С. 39—46.
63. О коралловой подвеске из Пенджикента // ИООН АН Таджикской ССР. Вып. 1. С. 67—68. Рез. тадж.
64. По поводу каменной гири из Пенджикента // Там же. Вып. 1. С. 95—97: ил. Рез. тадж.

1961 г.

65. Бронзовая пластинка из Кара-Булакского могильника // КСИА. Вып. 86. С. 21—27: ил. (совместно с Ю. Д. Баруздиным).
66. Из истории среднеазиатского шелкоткачества (К идентификации ткани «занданечи») // СА. № 2. С. 66—78: ил. (совместно с И. Б. Бентович).
67. Надписи на деревянных колоннах Хивинской соборной мечети // ЭВ. Вып. 14. С. 3—8 (совместно с В. Л. Ворониной).
68. Об археологических работах Пенджикентского отряда в 1958 г. // ТИИ АН Таджикской ССР. Т. 27. С. 81—99: ил.
69. О работе Пенджикентского отряда ТАЭ в 1959 г. // ТИИ АН Таджикской ССР. Т. 31. С. 73—100: ил.
70. Об исследовании Бируни удельных весов металлов // КСИНА. Т. 44. С. 59—66.

1962 г.

71. Зооморфные троны в изобразительном искусстве Средней Азии // ИООН АН Таджикской ССР. Вып. 1. С. 14—28. Рез. тадж.
72. Результаты раскопок на городище древнего Пенджикента в 1960 г. // ТИИ АН Таджикской ССР. Т. 34. С. 90—117.

1963 г.

73. Абу-Р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (минералогия). — М. — 520 с. / Перевод А. М. Беленицкого (примечания совместно с Г. Г. Лемлейном).
74. Краткий очерк жизни и трудов Бируни // Там же. С. 271—291.
75. Место минералогического трактата Бируни в истории восточной минералогии // Там же. С. 402—418.
76. Камчатные ткани с горы Муг // СЭ. № 4. С. 108—119 : ил. (совместно с И. Б. Бентович и В. А. Лившицем).
77. Ancient Pictorial and Plastic Arts and the Shah-nama // Труды 25-го Международного конгресса востоковедов. Т. 3. М. С. 96—101.

1964 г.

78. Вопросы топографии и социально-экономической структуры раннефеодального города Средней Азии (По данным раскопок городища древнего Пенджикента в последние годы) // ТД на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1963 г. М. С. 56—59.
79. Из истории культурных связей Средней Азии и Индии в раннем средневековье // КСИИМК. Вып. 98. С. 33—42: ил.

80. К истории культурных связей Средней Азии и Индии в раннее средневековье // Индия в древности. М. С. 188—198: ил.

81. Работы Пенджикентского отряда в 1961 г. // ТИИ АН Таджикской ССР. Т. 42. Вып. 9. С. 53—75: ил.

1965 г.

82. Из итогов последних лет раскопок древнего Пенджикента // СА. № 3. С. 178—195: ил.

83. Круг сюжетов раннесредневекового искусства Средней Азии // ТД сессии, посвященной истории живописи стран Азии. Л. С. 3—5.

84. Монументальное искусство древнего Пенджикента // Материалы сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1964 г. в СССР: ТД. Баку. С. 130—131.

1966 г.

85. Клад серебряных монет из Пенджикента // ЭВ. Вып. 17. С. 92—100: ил.

86. Раскопки на городище древнего Пенджикента // АО-1965. С. 182—184.

1967 г.

87. Древний Пенджикент — раннефеодальный город Средней Азии: Доклад по опубликованным работам, представленным на соискание ученой степени доктора ист. наук. — Л., 1967. — 31 с.

88. Раскопки древнего Пенджикента // АО-1966. С. 321—322.

1968 г.

89. [*Belenitsky A.*] *Asie Centrale.* — Paris; Genève; Munich: Nagel. — 253 p.: il., cart. (*Archaeologia Mundi*). — Bibliogr.: P. 237—239 [то же на англ. и нем. яз.: *Belenitsky A. Central Asia; Belenitsky A. Zentralasien*; см. также перс. пер.: № 172).

90. Кушанское наследие в раннесредневековом искусстве // Культура и искусство Средней Азии в кушанскую эпоху: Каталог выставки. Л. С. 57—59.

91. О рабовладельческой формации в истории Средней Азии // Проблемы археологии Средней Азии: ТД. Л. С. 37—39.

92. Результаты раскопок древнего Пенджикента // АО-1967. С. 352—353.

93. Среднеазиатское искусство преарабского времени и его связь с кушанским // ТД и сообщений советских ученых [на Международной конференции по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху]. М. С. 5—7.

1969 г.

94. О генезисе и связях раннесредневекового искусства Средней Азии // ТД на сессии Отделения истории АН СССР, посвящ. итогам полевых археологических и этнографических исследований 1968 г. Л. С. 40—44.

95. Ранняя арабская надпись на черепке из Пенджикента // ЭВ. Вып. 19. С. 38—41: ил. (совместно с А. Исаковым).

96. Раскопки на городище древнего Пенджикента // АО-1968. С. 447—448.

1970 г.

97. О «рабовладельческой формации» в истории Средней Азии // КСИА. Вып. 122. С. 71—75.

98. Раскопки древнего Пенджикента // АО-1969. С. 429—430.

99. Рец.: История, археология и этнография Средней Азии. — М.: Наука, 1968. — 368 с.: ил. // СА. № 4. С. 245—247.

1971 г.

100. Древний Пенджикент. — Душанбе: Ирфон. — 32 с.: ил. (совместно с В. И. Распоповой).

101. Пенджикент // Наука и жизнь. № 8. С. 120—129: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

102. Раскопки древнего Пенджикента // АО-1970. С. 441—443.

103. Средняя Азия и Кавказ в раннем средневековье // ТД сессионных и пленарных заседаний Всесоюзной научной сессии, посвященной итогам полевых археологических и этнографических исследований в 1970 г. Тбилиси. С. 93—95.

104. [Belenitski A. M.] L'art de Piandjikent a la lumière des dernières fouilles (1958—1968) // *ArAs*. Т. 23. P. 3—39: ил. (совместно с Б. И. Маршаком).

105. *Общественные науки в Узбекистане*. 1969. № 8—9 [Обзор] // *СА*. № 4. С. 274—275.

1972 г.

106. Об эфталитском этапе в истории среднеазиатского искусства // *Краткие ТД к пленуму, посвященному итогам археологических исследований*. Л. С. 19—20.

107. Об эфталитском этапе в истории среднеазиатского искусства // *ТД на сессии и пленумах, посвященных итогам полевых исследований в 1971 г.* М. С. 36—37.

108. *Раскопки древнего Пенджикента* // *АО-1971*. С. 543—545: ил.

1973 г.

109. *Монументальное искусство Пенджикента: Живопись. Скульптура*. — М.: Искусство. — 68 с.; 54 л. ил. (Памятники древнего искусства). Рез. англ.

110. *Средневековый город Средней Азии*. — Л.: Наука. — 390 с.: ил., карт.; 1 л. план. — Библиография: С. 353—370 (совместно с И. Б. Бентович и О. Г. Большаковым).

111. *Настенные росписи, открытые в Пенджикенте в 1971 г.* // *СГЭ*. Вып. 37. С. 54—58: ил. Рез. англ. (совместно с Б. И. Маршаком).

112. *Пенджикентские храмы и развитие согдийского культового искусства в V—VII вв.* // *ТД сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 г. в СССР*. Ташкент. С. 157—160 (совместно с Л. Л. Гуревичем и Б. И. Маршаком).

113. *Раскопки на городище древнего Пенджикента (1970 г.)* // *АРТ*. Вып. 10. С. 106—129.

114. *Раскопки на городище древнего Пенджикента* // *АО-1972*. С. 487—488.

115. *Стенные росписи, обнаруженные в 1970 г. на городище древнего Пенджикента* // *СГЭ*. Вып. 37. С. 58—64: ил. (совместно с Б. И. Маршаком).

116. Рец.: *Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б.* *Древний Отрар (Топография, стратиграфия, перспективы)*. — Алма-Ата: Наука, 1972. — 216 с.: ил. // *ИАН Казахской ССР. СОН*. № 3. С. 71—73.

1974 г.

117. *Раскопки древнего Пенджикента* // *АО-1973*. С. 514—515 (совместно с Б. И. Маршаком, В. И. Распоповой и А. Исаковым)

118. Рец.: *Рапопорт Ю. А.* *Из истории религии древнего Хорезма (оссуарии)*. — М.: Наука, 1971. — 128 с.: ил.; 1 л. ил. (ТХАЭЭ. Т. 6) // *СА*. № 2. С. 306—307.

1975 г.

119. *Конь в культах и идеологических представлениях народов Средней Азии и евразийских степей в древности и раннем средневековье (по материалам погребений, памятников изобразительного искусства и письменным источникам)* // *Ранние кочевники Средней Азии и Казахстана*. Л. С. 61—64.

120. *Памятники искусства из раскопок в Пенджикенте: 1970—1974 гг.* // *Новейшие открытия советских археологов: ТД конференции*. Киев. С. 114—115.

121. *Раскопки в Пенджикенте* // *АО-1974*. С. 534—535 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

122. *Раскопки городища древнего Пенджикента* // *АРТ*. Вып. 11. С. 119—142: ил.

123. *Среднеазиатское искусство преарабского времени и его связь с кушанским* // *Центральная Азия в кушанскую эпоху*. Т. II. М. С. 392—395. Рез. англ.

1976 г.

124. *Отчет о раскопках на городище древнего Пенджикента в 1972 г.* // *АРТ*. Вып. 12. С. 85—102.

125. *Раскопки в Пенджикенте* // *АО-1975*. С. 561 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

126. *Социальная структура населения древнего Пенджикента* // *Бартольдские чтения*. С. 14—16 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

127. *Черты мировоззрения согдийцев VII—VIII вв. в искусстве Пенджикента* // *История и культура народов Средней Азии*. М. С. 75—89, 179—186: ил. Рез. англ. (совместно с Б. И. Маршаком).

1977 г.

128. Искусство античных и средневековых городов Средней Азии // Произведения искусства в новых находках советских археологов. М. С. 104—157: ил.
129. Раннесредневековая археология Средней Азии в свете раскопок в Пенджикенте // Ранне-средневековая культура Средней Азии и Казахстана: Тезисы Всесоюзной конференции. Душанбе. С. 9—12 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).
130. Раскопки на городище древнего Пенджикента в 1973 г. // АРТ. Вып. 13. С. 155—188: ил. (совместно с Б. И. Маршаком, В. И. Распоповой и А. Исаковым)
131. Росписи древнего Пенджикента // Декоративное искусство СССР. № 9. С. 38—39: ил.
132. Новые раскопки в Пенджикенте // АО-1976. С. 559 (совместно с Б. И. Маршаком, В. И. Распоповой и А. Исаковым).

1978 г.

133. Древнейшее изображение осадной машины в Средней Азии // Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Л. С. 215—221: ил. Рез. англ. (совместно с Б. И. Маршаком).
134. К характеристике товарно-денежных отношений в раннесредневековом Согде // Бартольдские чтения. С. 11—12 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).
135. Конь в культах и идеологических представлениях народов Средней Азии и евразийских степей в древности и раннем средневековье // КСИА. Вып. 154. С. 31—39: ил.
136. Работы в Пенджикенте // АО-1977. С. 553—554 (совместно с Б. И. Маршаком, В. И. Распоповой и А. Исаковым).
137. Сочинения ал-Бируни как источник для интерпретации искусства древности // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Л. С. 47—55.

1979 г.

138. Вопросы хронологии живописи раннесредневекового Согда // Успехи среднеазиатской археологии. Вып. 45. С. 32—37 (совместно с Б. И. Маршаком).
139. Изображение быка на памятниках искусства древнего Пенджикента: (К истории зооморфизма в древнем изобразительном искусстве Средней Азии) // Этнография и археология Средней Азии. М. С. 88—94: ил.
140. Раскопки в Пенджикенте // АО-1978. С. 574—575 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).
141. Раскопки древнего Пенджикента в 1974 г. // АРТ. Вып. 14. С. 257—294: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).
142. Социальная структура населения древнего Пенджикента // Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. М. С. 19—26.

1980 г.

143. [Belenizki A. M.] Mittelasien: Kunst der Sogden. — Leipzig. — 240 S.: Abb.
144. Ибн Сино и Бируни: (Опыт сравнительной характеристики) // Абуали ибн Сино и его эпоха. Душанбе. С. 161—180.
145. К характеристике товарно-денежных отношений в раннесредневековом Согде // Ближний и Средний Восток. М. С. 15—26 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).
146. Раскопки городища древнего Пенджикента в 1975 г. // АРТ. Вып. 15. С. 213—245: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).
147. Согдийские «золотые пояса» // СНВ. Вып. 22. Кн. 2. С. 213—218: ил. (совместно с В. И. Распоповой).

1981 г.

148. К вопросу об уточнении датировок согдийских монет // КСИА. Вып. 167. С. 9—15 (совместно с В. И. Распоповой).
149. Согдийский город в начале средних веков (Итоги и методы исследования древнего Пенджикента) // СА. № 2. С. 94—110: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).
150. Хорезмийский всадник — царь или бог? // Культура и искусство древнего Хорезма. М. С. 213—218.
151. [Belenitskii A. M.] The Paintings of Sogdiana // Azarpay G. Sogdian Painting. P. 13—77: ill. (совместно с Б. И. Маршаком).

1982 г.

152. Раскопки древнего Пенджикента в 1976 г. // АРТ. Вып. 16. С. 197—221: ил. (совместно с Б. И. Маршаком, В. И. Распоповой и А. И. Исаковым).

1983 г.

153. Работы в Пенджикенте // АО-1981. С. 484—485: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

154. Раскопки древнего Пенджикента в 1977 г. // АРТ. Вып. 17. С. 187—209: ил. (совместно с Б. И. Маршаком, В. И. Распоповой и А. И. Исаковым).

1984 г.

155. Памяти Анатолия Максимилиановича Мандельштама [Некролог] // СА. № 4. С. 315 (совместно с Ю. А. Заднепровским).

156. Работы в Пенджикенте // АО-1982. С. 493—494: ил.

157. Раскопки городища древнего Пенджикента в 1978 г. // АРТ. Вып. 18 (1978). С. 223—262: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой)

158. Рец.: *Пугаченкова Г. А.* Искусство Гандхары. — М.: Искусство, 1982. — 196 с.: ил. (Из истории мирового искусства) // ВДИ. № 2. С. 195—198 (совместно с В. А. Мешкерис).

1985 г.

159. Основные результаты раскопок на городище древнего Пенджикента в 1983—1984 гг. // Всесоюзная археологическая конференция «Достижения советской археологии в XI пятилетке». Баку. С. 84—85 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

160. Раскопки городища древнего Пенджикента // АО-1983. С. 562—563 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

161. Рукописное наследие Я. И. Смирнова // Художественные памятники и проблемы культуры Востока. Л. С. 9—24 (совместно с Е. В. Зеймалем).

1986 г.

162. Змеи-драконы в древнем искусстве Средней Азии // СА. № 3. С. 16—27: ил. Рез. англ. (совместно с В. А. Мешкерис).

163. Раскопки городища древнего Пенджикента в 1979 г. // АРТ. Вып. 19. С. 293—333: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

164. Раскопки городища Пенджикента // АО-1984. С. 477 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

1987 г.

165. Монументальная сырцовая архитектура городищ Средней Азии и проблема ее музеефикации // ИБ МАЙКЦА. Спец. выпуск. С. 95—96 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

166. Основные результаты раскопок на городище древнего Пенджикента в 1985—1986 гг. // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС: ТД Всесоюзной конференции. М. С. 5—6 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

167. Основные результаты раскопок древнего Пенджикента в 1970—1980 гг. // АРТ. Вып. 20. С. 229—254 (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

168. Раскопки древнего Пенджикента в 1980 г. // Там же. С. 255—268: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

1988 г.

169. Раскопки древнего Пенджикента в 1981 г. // АРТ. Вып. 21. С. 149—185: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

1990 г.

170. Работы на городище древнего Пенджикента в 1982 г. // АРТ. Вып. 22. С. 105—143: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).



В кругу коллег на конференции в Пенджикенте в 1977 г.
Слева направо: Г. Ф. Коробкова, Н. Н. Гурина, В. М. Массон, А. М. Беленицкий, Г. А. Федоров-Давыдов

1991 г.

171. Раскопки городища древнего Пенджикента в 1983 г. // АРТ. Вып. 23. С. 363—400: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

1992 г.

172. [*Belenitski A. M.*] *Xurāsān va Māvarā'un-nahr (Āsiyā-yi Miyanā): Mutarjem: duktur Parviz Varjāvand. — Tehrān (перс. пер. № 89).*

173. Основные этапы жизни и научной деятельности Михаила Петровича Грязнова (1902—1984 гг.) // Северная Евразия от древности до средневековья: ТД. СПб. С. 5—9.

1993 г.

174. Раскопки городища древнего Пенджикента в 1984 г. // АРТ. Вып. 24. С. 131—169: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

1994 г.

175. Раскопки городища древнего Пенджикента в 1986 г. // АРТ. Вып. 25. С. 100—130: ил. (совместно с Б. И. Маршаком и В. И. Распоповой).

2004 г.

176. Историко-географический очерк Хутталя с древнейших времен до X в. н. э. — Душанбе. — 104 с.



А. М. Беленицкий в 1979 г. Последний полевой сезон в Пенджикенте...

РАЗДЕЛ 2

Центральная Азия в древности

А. А. Анарбаев
(Самарканд, Узбекистан)

АХСИКЕТ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Столичный город Ахсикет (Ахсикент) возник в III в. до н. э. на площади не менее 40 га. В средние века (IX—XI вв.) его площадь достигает 400 га [Анарбаев 1988; Анарбаев 2000], от которой сейчас сохранилось около 70 га. Руины Ахсикета местным населением именуются как Эски Ахси (Старый Ахси). Археологические исследования на городище Эски Ахси дали возможность пересмотреть вопрос о локализации столичных городов древней Ферганы. Главная столица древней Ферганы (Давани) — город Эрши — теперь локализуется в пределах городища Эски Ахси. Об этом свидетельствуют культурные слои толщиной от 4,5 до 7 м и мощные оборонительные стены, относящиеся к античному периоду. Отметим, что в течение не более ста лет (в последней четверти II—I вв. до н. э.) ширина и высота крепостных стен второго шахристана достигает 20 м [Анарбаев 2002]. К рубежу нашей эры Ахсикет становится городом-крепостью. Это, очевидно, явилось следствием походов китайских войск в Фергану за местными «небесными конями». На других городищах Ферганы аналогичной картины мы не наблюдаем. Например, ширина крепостных стен Мингтепа составляет всего 3,5 м. Со II в. до н. э. устанавливаются постоянные связи с Китаем, и начинает функционировать Великий Шелковый путь. Как свидетельствуют археологические материалы, с этого времени Фергана была главным транзитным центром на Северном пути. Ярким показателем являются археологические находки: прежде всего, бронзовые зеркала, монеты ушу ранних выпусков, стеклянные бусы и шелковые ткани.

В V—VI вв. н. э. и позже были освоены новые трассы Северного пути. Но первоначальный путь, который проходил через Фергану, не потерял своего значения. Об этом свидетельствуют находки из Папского могильника — Мунчактепа: бусины из индийских раковин каури и золотого песка, разноцветного стекла западного происхождения, бурятского чароита, бадахшанского лазурита и остатки китайского шелка [Анарбаев 1991; Анарбаев, Matbabaev 1994]. В это время крепостная стена Ахсикета второго шахристана (Ахси I Б) укрепляется изнутри и снаружи, т. е. возводятся новые стены в виде «рубашки» из пахсы с применением сырцовых кирпичей. Снаружи крепостной стены имелись небольшие двойные рвы. Такие же ремонтно-строительные работы проводились в предрабское время. Эти стены функционировали до середины IX в. Согдийцы в то время торговали по Великому Шелковому пути от Японии на востоке до Средиземного моря на западе и до Вьетнама и Цейлона на юге. В течение VIII в. в Средней Азии укреплялась власть Арабского халифата и распространилась исламская религия.

Анализ письменных и археологических источников дает возможность локализовать город Ферганы (Ферганы), упомянутый ат-Табари (VIII в.) и ибн Хордадбехом (IX в.), на месте Эски Ахси [Анарбаев 2000]. Другими словами, в VIII — первой половине IX вв. главный город долины именовался Ферганой. Только со второй половины IX в. он упоминается как Ахсикет, согласно Мукаддаси, Истахри и Ибн Хаукалю. Эти же арабские авторы писали о трассе Великого Шелкового пути, по которой торговые караваны, идущие из Индии, Ирана и стран Ближнего Востока через Самарканд, сходились в Ходженте, откуда дорога дальше на восток шла по двум направлениям: по первому — через Канибадам, Коканд, Сох, Риштан, Маргилян, Куву, Ош, Узген, Атбаш, перевал Терекдаван и далее в сторону Китая; по второму — через Ашт и Пап на Ахсикет, откуда один путь — через Миан-Рудан («Междуречье») — вел в Узген, а другой — на юг и в Куве соединялся с южной дорогой. В столичный город Ахсикет можно было попасть еще с юга через Центральную Фергану. В XI—XII вв. на караванных путях, которые проходили через Ферганскую долину, происходят некоторые изменения. В частности, в связи с развитием горнорудной промышленности в Сох-Хайдарканском регионе южная ветвь Великого Шелкового пути, ранее проходившая через Ходжент-Риштан, Маргилян, Куву, Ош, Узген, с XI в. шла через Сох, Хайдаркан, Охна, Кадамжой, Водиль и в Маргинане объединялась с северной дорогой. Теперь дорога, идущая из Ахсикета на юг, вела в Маргинан, а не в Куву. Что касается другого пути, который проходил через Миан-Рудан, то он про-

должал функционировать. По этим путям китайский шелк, бронзовые изделия, женская косметика и лак поступали в районы Средней Азии и далее, в юго-западные страны. Оттуда в Китай везли стеклянные изделия, сухофрукты, хлопок, лошадей и различные диковинные предметы. Из Ахсикета вывозили оружие, в частности, мечи. Как свидетельствуют археологические материалы, в IX—XII вв. в Ахсикенте интенсивно развиваются все виды ремесел, особенно металлургическое и металлообрабатывающее производства. В это время металлургам и искусным мастерам-кузнецам Ахсикета был известен секрет выплавки т. н. булатной стали [Анарбаев 1988; Папахристу 1990].

ТЮРКО-СОГДИЙСКИЕ КОНТАКТЫ В ПЕРИОД ТЮРКСКОГО КАГАНАТА
(НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ ОБЛАСТЯМИ
СРЕДНЕАЗИАТСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ)

В 60-х гг. VI в. н. э. эфталиты были разгромлены тюрками, и принадлежавшие первым территории между Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей, а также вдоль этих великих среднеазиатских рек перешли к Тюркскому каганату. С того времени тюрко-согдийские связи получили особенно сильный импульс, что наблюдается, прежде всего, в оазисах самого Согда, а также в приграничных с ним Чаче и Уструшане, где тюрки и согдийцы составляли основную часть местного населения. Об интенсивности этого процесса определенно свидетельствуют дошедшие до нас данные по системе административного управления в названных областях.

Чач. В первые годы после вхождения в состав Тюркского каганата здесь правила местная династия, ведущая свое происхождение от Дома Чжаову. Правление этой династии было прекращено правнуком Истеми-кагана Шегуйханом (610—618) в 605 г., и на престол сел Дэлэ Тяньчжи (Тегин Тяньчжи). Титул тюркской династии, правившей в Чаче с начала VII в. до середины VIII в., как известно из китайских, согдийских и арабо-персидских источников, передавался в форме тюркского *тудун* [Бичурин 1950: т. 2, 313—314; История ат-Табари 1987: 268; Лившиц 1962: 82—84]. Это доказывается находками монет с согдийской надписью «сатачари тудун чачинак» (Чачский тудун Сатачари) и «хвабу тудун» (правитель-*тудун*), датированных этим периодом [Бобоеров 2004: 41]. Как известно из китайских источников, в этот период Чачем управляли такие правители, как Тегин Тяньчжи (605—620), Гань тутунь (Тон тудун, 640—660), Мохэду тутунь (Бахадур тудун, 713—740), Инай тутун кюле (Инай тудун Кюлюг, 741), Дэлэ (Тегин, 743) [Бичурин 1950: т. 2, 313; Chavannes 1903: 140; Малявкин 1989: 270]. Китайские, согдийские и арабо-персидские источники информируют, что в период Тюркского каганата в области Чача наряду с титулами *тудун* (тюрк.) и *хвабу* (согд.), встречались и другие тюркские титулы — *тегин*, *тархан*, *тутук* [Бичурин 1950: т. 1, 292; История ат-Табари 1987: 269]. В VII—VIII вв. в Чаче существовало несколько княжеств, которые чеканили шесть различных типов монет. Специалисты считают, что большинство типов монет в этот период выпускалось тюркскими династиями [Массон 1951: 98; Смирнова 1981: 52—55; Буряков 1978: 24]. В частности, среди них встречаются монеты с титулом *каган*, возможно, имевшие отношение к Тюркскому каганату.

Уструшана. Летопись «Бей-ши» информирует, что правители этой территории происходили от Дома Чжаову, примыкавшего к правителям Кана (Согда). Китайский путешественник Сюан Цзян (VII в.) пишет, что Уструшана была в руках Тюркского каганата [Негматов 1957: 132]. Табари извещает, что в 737 г. в Уструшане правил Хара Бугра [История ат-Табари 1987: 251]. А. А. Грицина считает, что имя Харабугра являлось тюркским и что тюркские племена в образовании новой династии правителей в Уструшане играли важнейшую роль [Грицина 2000: 43]. В «Тан-шу» говорится, что в 742 г. правитель Цао (Кабудон) Гэло-пуло направил послов в Китай [Бичурин 1950: т. 2, 313; Chavannes 1903: 140]. Известно, тюркское слово *кара* по-китайски передавалось как *гэло*, а титул *богра* в форме *пуло*. Так, считаем, что *Гэло-пуло* китайских источников является на самом деле именем Кара Богра. О. И. Смирнова тоже обращает внимание на то, что Хара Бугра в китайских источниках встречается как Гэло-пуло и считает, что эта личность правила в Уструшане в 720—740 гг. и в Кабудане в 740—745 гг. Основываясь на этих материалах, можно предположить, что в Уструшане в этот период властвовала тюркская династия с согдийским титулом *афшин*. Кроме того, при внимательном изучении выясняется, что в Уструшане бытовали и такие титулы, как *богра* и *чор*.

Согд. В этой области сначала Кеш (Шахрисябз), а позже и Самарканд превратились в центры, откуда их правители контролировали области и города на берегах Кашкадарьи и Зерафшана — Кушания, Фай, Маймург, Кабудан, Иштыхан, Пенджикент, Нахшаб. В китайских источниках происхождение правителей Кан (Согд) относится к династии Чжаову [Бичурин 1950: т. 2, 271, 281, 310; Chavannes 1903: 132—134]. Из них же известно, что с последней четверти VI в. до третьей четверти VII в. Самаркандом управляли такие правители, как Шифуби (Тай-ше-би, последняя четверть VI в.), Кюемучжи (600—620), Тонга (645) [Бичурин 1950: т. 2, 311; Chavannes 1903: 132—135, 156; Смирнова 1970: 275—277]. Летопись «Тан-шу» информирует, что во второй половине VII в. в Самарканде произошло изменение правящей династии. В 650-х гг. полководец с именем Фухумань (согд. Авархуман, 650—670) захватил престол. По мнению Л. И. Альбаума, когда один из хаканов

«Он Ок» Юкук Дулухан (Эль-бильге Тюрк-хакан, 638—642), установивший свою власть в этой области в 40-х гг. VII в., уже в 650-х гг. бежал в Тохаристан, один из его сторонников, возможно, Авархуман из рода тюркских *дулу*, захватил власть в Самарканде, объявил себя единственным правителем области Согд и узаконил свое положение [Альбаум 1975: 38]. В последней четверти этого века в Самарканде власть переходит в руки одного из полководцев Дусоботи (согд. Тукаспадак, 690-е гг.). После правления его сына Нинйешиши (698—700), здесь еще раз происходит смена власти. По китайским источникам, в Самарканде с 710 по 738 г. правил его приятель Улэга (Утрак-Гурек). Несмотря на то, что нет точных данных о происхождении этой династии, по генеалогии, данной в труде Абу Хафс Умар ибн Мухаммад ан-Несефи «Ал-Канд фи зикри улама Самарканд» становится ясным, что он был представителем тюркской династии. Ан-Несефи, информируя о том, что один из предков Гурека был знатоком хадисов, приводит его генеалогию в следующем порядке: Абу Хусейн Убейдуллах ибн ал-Марзубан ибн Туркеш Баки ибн Касир ибн Тархун ибн Баничур ибн Гурек ал-Бабдастани [ан-Несефи 1991: 32; Камалиддинов, Мухаммедов 1997: 91—97; Togan 1981: 174—175, 457]. По мнению исследователей, имена Баничур, Тархун, Туркеш Баки в данной генеалогии являются тюркскими [Камалиддинов, Мухаммедов 1997: 91]. В «Тан-шу» сообщается о том, что Улэга (Гурек) назначил правителями своих сыновей: Догэ — в город Цао (Иштыхан) и Мочжо — в город Ми (Маймург). Далее говорится, что Догэ после смерти отца стал правителем Самарканда (738—750) [Бичурин 1950: т. 2, 311]. О. И. Смирнова, считает, что имя Тургар, встречающееся на монетах, является не иранским, а тюркским, и отмечает, что имя второго сына Гурека — Мочжо — не встречается в арабо-персидских источниках [Смирнова 1970: 226]. П. Пельо убедительно доказал, что Мочжо является в действительности тюркским именем в форме Бек-чор [Kafesoğlu 1993: 108, n. 345]. Мы считаем, что Баничур у ан-Несефи и Мочжо (Бек-чор) китайских источников являются одной и той же личностью. Греческие, арабо-персидские и согдийские источники свидетельствуют, что в период Тюркского каганата в Согде был распространен титул *тархан* [Беруни 1968: 129; Гумилев 1967: 240; Пигулевская 1951: 206; Ртвеладзе 1999: 138; Искоков 1992: 27—28; Лившиц, Луконин 1964: 172].

Другие области Согда также управлялись тюркскими правителями, сидевшими в Самарканде. В частности, Пенджикентом в 693—708 гг. правил тюркский правитель Чакин Чор Бильге. Исследователи указывают, что его титул *чор* имел тюркское происхождение [Лившиц 1979: 57—58; Искоков 1992: 16—17; Отахўжаев 2001: 40—42]. На монетах Чакина Чор Бильге встречаются надписи *pncu MRY' bylk' 'ywβ*: «Правитель Панча господин Бильге» [Лившиц 1979: 57—58; Баратова 1995: 45—46].

В области Кеш (Шахрисябз) в VI—VIII вв. также правила тюркская династия, о чем свидетельствуют монеты Кеша [Камалиддинов 1996: 14—15]. На монетах области Нахшаб VII—VIII вв. с изображениями лошадей, S-образных знаков и облика правителей, последние имеют тюркский облик [Смирнова 1981: 26; Кочнев 1983: 195; Баратова 1995: 128; Камалиддинов 1996: 51]. Основываясь на этом, можно утверждать, что в период Тюркского каганата Нахшабом также управляла тюркская династия.

Городом Фай (Нарпай), находившимся в Согдийской области, недалеко от Самарканда, в первой четверти VIII в. управлял тюркский князь. В труде Табари упоминается имя князя этого города — Тюрк-хакан. По мнению О. И. Смирновой, этот правитель имел действительное имя Тюрк-хакан, где вторая часть — *хакан* — не является титулом [Смирнова 1970: 40]. Как известно из летописи «Тан-шу», в городе Кабудан (Цао) в 738 г. правил князь Суду-пуло (тюрк. Суду-Богра) [Малявкин 1989: 80; Смирнова 1981: 425]. Табари фиксирует имя правителя города Хузар — на самой южной границе Согда в форме Су-Бугра [История ат-Табари 1987: 190; Смирнова 1970: 40]. Полагают, что это был тюркский правитель Хузара, правивший в начале VIII в. [Смирнова 1970: 40; Камалиддинов 1996: 27, 31]. Проанализированные данные свидетельствуют о том, что в VI—VIII вв., т. е. в период Тюркского каганата, в различных городах и областях Согдса, наряду с согдийскими титулами *ихшид* и *афшин*, бытовали и тюркские титулы — *тархан*, *тутук*, *тудун*, *чор*.

Бухара (Западный Согд). Как информируют китайские источники, правители этой территории происходили от одной и той же ветви династии Чжаову, правителей Кана (Согда) [Бичурин 1950: т. 2, 272, 282; Chavannes 1903: 136—138; Ртвеладзе 1997: 19]. Но в труде Абу Бакра ан-Наршахи «Тарихи Бухара» нетрудно проследить, что происхождение правителей Бухары велось от Дома «Джамук». Основываясь на информации из произведений Наршахи «Тарихи Бухара» и Фирдоуси «Шахнаме», можно сделать вывод, что в Бухарском оазисе правили династии, связанные своим происхождением с Тюркским каганатом. В частности, Наршахи информирует, что в Бухаре против правителя Абряя тюркский каган Карачурин (Тарду, 576—603) направил свои войска во

главе с сыном Шири Кишваром, который в 587 г. убил Абуруя и установил свою власть [Наршахи 1966: 16]. Он, возможно, являлся наместником тюркского кагана в Бухаре после того, как Бухара была отнята у эфталитов. По мнению Р. Фрая, имя Шири Кишвар является персидской версией тюркского Эл Арслана [Fray 1954: 108, п. 28]. В китайских источниках есть информация о том, что у Карачурина (Тарду) был сын Янг-су Дэлэ (тегин), и Л. Н. Гумилев считал, что он и есть та же самая личность. Согласно его точке зрения, Янг-су тегин поставил наместником в Бухаре своего сына Нили (Йелтегин). После смерти Нили в 603 г. его место занимает его брат Боси Дэлэ (тегин). В 630-х гг. этой территорией управлял Нишу Кана-ше (шад) — сын Тон ябгу [Бичурин 1950: т. 1, 284—285]. Л. Н. Гумилев считает, что это есть тот же самый бухархудат по имени Кана, упомянутый Наршахи [Гумилев 1967: 159, 210; Наршахи 1966: 37]. Наршахи пишет, что в 673 г., когда арабы прибыли в Бухару, здесь правил бухархудат по имени Бидун. Происхождение Бидуна, по мнению Ш. Адилова, велось от Шири Кишвара [Адилов 1998: 29—30]. Табари сообщает, что в 680 г. после того, как был убит Бидун, его место заняла его жена Хатун. По арабо-персидским источникам, Хатун правила Бухарой до 695 г., после чего ее место занял ее сын Тугшада (Тугшад). Он правил до 720 г. и передал власть своему сыну. В летописях есть информация о том, что Тугшада в 726 г. направил в Китай послом своего брата Асилань (Арслан) Дафодан Фали [Бичурин 1950: т. 2, 312; Chavannes 1903: 138].

На некоторых бухарских монетах VI—VIII вв. имеются титул «хакан» и тамги в виде тюркских рун, на других на одной стороне показано изображение правительницы тюркского облика, а на обратной — титул *хатун* [Смирнова 1961: 55—58; 1963: 45, 137]. О. И. Смирнова считает, что эти монеты имеют отношение к тюркской династии Бухары [Смирнова 1981: 59, 61, 447]. Согласно Наршахи, в Бухаре в этот период бытовал согдийский титул *худат*, а также использовались и такие тюркские титулы, как *тегин*, *шад*, *хатун*, о чем свидетельствуют вышеприведенные имена и титулы (Янг-су тегин, Йелтегин, Боси тегин, Кана шад, Тугшад, Хатун).

Все сказанное говорит о том, что тюрко-согдийские этно-культурные связи в эпоху Тюркского каганата становятся весьма интенсивными. Большую роль в этом играло то обстоятельство, что оба эти этноса входили тогда в состав одного государства — Тюркского каганата. Хотя в то время в историко-географических областях Среднеазиатского междуречья (Чач, Фергана, Уструшана, Согд, Бухара, Хорезм, Тохаристан) сохранилась система административного управления, которая существовала до возникновения Тюркского каганата, а именно система оазисного самоуправления, их правители, тем не менее, признавали верховную власть Тюркского каганата и считали себя его наместниками. Сведения письменных источников, в совокупности с данными памятников материальной культуры (нумизматических, эпиграфических и др.), позволяют прийти к заключению, что период правления Тюркского каганата в этих регионах можно разделить на 3 этапа:

1) После разгрома тюрками эфталитов в 60-х гг. VI в. победители управляют подчиненными ранее эфталитам областями при помощи местных династий (вторая половина VI в. — первая четверть VII в.).

2) Назначение тюркскими каганами в качестве правителей целого ряда областей (Чача, Ферганы, Бухары и Тохаристана) лиц, имеющих прямое отношение к правящему ряду тюрков (первая четверть VII в. — вторая четверть VIII в.).

3) Приход к власти в некоторых областях тюркских династий, имевших прямое или косвенное отношение к Тюркскому каганату (конец VII в. — первая половина VIII в.). Такое положение, в частности, наблюдается в Согде (Самарканде, Пенджикенте, Кабудане, Кеше, Нахшабе) и в Уструшане.

Таким образом, анализ тюрко-согдийских этно-культурных связей на примере системы управления эпохи Тюркского каганата позволяет прийти к следующим выводам:

1) В системе управления областей Средней Азии, в которых доминировал оседло-земледельческий тип хозяйствования, наблюдается тесное взаимодействие и этно-культурный симбиоз согдийцев и тюрков, составлявших значительную часть населения этих областей. В управленческой номенклатуре этих областей, наряду с согдийскими титулами — *хвабу*, *худат*, *ихшид*, употреблялись также и тюркские — *ябгу*, *хатун*, *шад*, *тегин*, *тудун*, *тархан*, *чор* и др.

2) Представители Тюркского каганата, взявшие управление в этих областях в свои руки, продолжали использовать согдийский язык и письменность, о чем свидетельствуют чеканенные ими монеты с согдийскими надписями.

3) В этот период тюрко-согдийский симбиоз углубляется, вызывая тем самым ускорение процесса тюркизации согдийцев.

Библиография

- Адилов Ш. Т.* Административно-территориальное устройства западного Согда в раннем средневековье (Письменные источники, историческая топография, топонимика) // ОНУ. 1998. № 6.
- Альбаум Л. И.* Живопись Афрасиаба. Ташкент, 1975.
- [*Наршахи*] Абу Бакр ан Наршахий. «Бухоро тарихи». Форсчадан А. Расулев таржимаси. Ташкент, 1966.
- [*Беруни*] Абу Райкон Беруний. Танланган асарлар. 1 жилд. Ташкент, 1968.
- [*ан-Несефи*] Нажмиддин Абу Хафс имар ибн Мукаммад ан Насафий. «ал Шанд фи зикри Уламо Самаршанд» (на араб. яз.). Мадина, 1991.
- Баратова Л. С.* Древнетюркские монеты Средней Азии VI—X вв. (типология, иконография, историческая интерпретация): Дисс. канд. ист. наук. Ташкент, 1995.
- Бичурин Н. Я.* Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I—II. М.; Л., 1950.
- Бобоеров Г.* Монета с титулом тудун // НЦА. Вып. VII. 2004.
- Буряков Ю. Ф.* По древним караванным путям Ташкентского оазиса. Ташкент, 1978.
- Грицина А. А.* Уструшанские были. Ташкент, 2000.
- Гумилев Л. Н.* Древние тюрки. М., 1967.
- Исқошов М.* Унутилган подшоликдан хатлар (Бир туркум суҳд кужжатларининг сөзбек тилига таржимаси ва изоқлари). Ташкент, 1992.
- История ат Табари.* Избранные отрывки / Пер. с арабского В. И. Беляева. Дополнения к пер. О. Г. Большакова и А. Б. Халидова. Ташкент, 1987.
- Камалиддинов Ш. С.* Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX — начала XIII вв. Ташкент, 1996.
- Камалиддинов Ш. С., Мухаммедов У. З.* Новые данные по истории Средней Азии в эпоху арабских завоеваний // ОНУ. 1997. № 3—4.
- Кочнев Б. Д.* Заметки по средневековой нумизматике Средней Азии. Ч. 6 // ИМКУ. Вып. 18. 1983.
- Ливищ В. А.* Согдийские документы с горы Муг. Вып. 2: Юридические документы и письма. М., 1962.
- Ливищ В. А.* Правители Панча (согдийцы и тюрки) // НАА. 1979. № 4.
- Ливищ В. А., Луконин В. Г.* Среднеперсидские и согдийские надписи на серебряных сосудах // ВДИ. 1964. № 3.
- Малявкин А. Г.* Танские хроники о государствах Центральной Азии. Тексты и исследование. Новосибирск, 1989.
- Массон М. Е.* К вопросу о взаимоотношениях Византии и Средней Азии по данным нумизматики // ТСАГУ. 1951.
- Негматов Н. Н.* Усрушана в древности и средневековье. Сталинабад, 1957.
- Отахәжаев А.* Суҳд шақрининг турк қокими // Шаршшунослик. 2001. № 2.
- Пигулевская Н. В.* Византия на путях в Индию (Из истории торговли Византии с Востоком в IV—VI вв.). М.; Л., 1951.
- Ртвеладзе Э. В.* Великий Шелковый путь. Энциклопедический справочник. Ташкент, 1999.
- Ртвеладзе Э. В.* К истории домусульманской Бухары // ОНУ. 1997. № 9.
- Смирнова О. И.* Заметки о среднеазиатской титулатуре (по монетным данным) // ЭВ. XIV. 1961.
- Смирнова О. И.* Каталог монет с городища Пенджикент. М., 1963.
- Смирнова О. И.* Очерки из истории Согда. М., 1970.
- Смирнова О. И.* Сводный каталог согдийских монет. Бронза. М., 1981.
- Chavannes E.* Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux. СПб., 1903.
- Frye R. N.* The History of Bukhara. Translated from a Persian Abridgment of the Arabic original by Narshakhi. Cambridge, 1954.
- Kafesoğlu İ.* Türk Milli Kültürü. İstanbul, 1993.
- Togan Z. V.* Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul, 1981.

ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И МУЗЕЕФИКАЦИЯ ГОРОДИЩА ОТРАР

Отрарский оазис, центром которого был известный в древности и средневековье город Отрар, занимает в Южном Казахстане в долине Сырдарьи удобное географическое положение. Вокруг него простираются обширные степи, издревле заселенные скотоводами, которые были тесно связаны с земледельцами и горожанами, населявшими плодородную долину Сырдарьи. На протяжении многих тысячелетий река давала жизнь многим племенам и народам. Сырдарья имела несколько названий: Яксарт — в эпоху античности, Йинчу угуз («Жемчужная») у древних тюрок, Кангар — по имени живших здесь кенгересов (кангаров). Ученые считают, что современное название Сыр восходит к ее древнему названию античных авторов [Кляшторный 1953: 189—190].

Отрарский оазис также имел на протяжении столетий разные названия — Отрар, Фараб, а еще раньше — Кангу Тарбан. Менялось и название столичного города, он именовался Тарбан, Турар, Отрарбанд, Отрар, Фараб [Михайлова 1951: 11—12; Кляшторный 1964: 159.; Бартольд 1965: 525].

Уже отмечалось, что оазис находился на стыке двух миров — оседлого городского и кочевого скотоводческого. Взаимодействие и взаиморазвитие Города и Степи составляло основную линию развития района, а в недрах взаимодействия лежат истоки этногенеза казахского народа. Важным фактором развития Отрарского оазиса был Великий Шелковый путь, поскольку Отрар был узловым центром, местом пересечения направлений Шелкового пути. Вверх по Сырдарье к Арыси уходили дороги на юг и восток: в Шаш, Согд, на Средний и Ближний Восток, в Индию, в Испиджаб, Тараз, Суяб, Баласагун и далее через Илийскую долину и котловину Иссык-Куля в Китай, Сибирь, Монголию и на Дальний Восток. Вниз по Сырдарье, через Приаралье, а затем поворачивая на запад, шел путь в Амударью, в Хорезм, далее на Жаик (Урал) в южно-русские степи, на Кавказ и в Европу — в Циркумпонтийскую зону. Выгодное, но в то же время и опасное положение. По Шелковому пути двигались не только дипломаты, купцы, миссионеры, но и войска завоевателей — гуннов, монголов, джунгаров [Бернштам 1951: 82; Байпаков 1998: 47—49].

Тысячелетия, которые пронесли над городами оазисов, войны, стихийные бедствия прервали жизнь крупных городов, и сейчас на месте их остались лишь руины — городища, которые называются *тобе*: Отрартобе, Куйрыктобе, Алтынтобе, Пшакшитобе, Кок-Мардан, Мардан-Куйик... Местоположение одних определили ученые и сопоставили с конкретными городищами. Так, Кедер, который был столицей округа Отрар в IX—XI вв., находился на месте городища Куйрыктобе, Весидж — родина Абу Насра ал-Фараби — отождествляется с городищем Оксус, а Чилик — с городищем Бузук [Байпаков 1986б: 25—26]. Древний ландшафт оазиса до сих пор сохранился на значительных участках, они не распаханы и поэтому до сих пор видны русла больших магистральных каналов, вододелителей, дамб, остатки ирригационных планировок, маркирующих расположение полей, засеянных зерновыми, участки садов и бахчей.

В целом Отрарский оазис и прилегающие к нему регионы были древнейшим центром оседлости, ирригационного земледелия и городской цивилизации Казахстана. Поиски истоков этой культуры привели к древнейшей культуре присырдарьинских племен эпохи поздней бронзы и оседлых саков, обитавших там в первом тысячелетии до нашей эры. В низовьях Сырдарьи, в дельтах высохших рек Жанадарьи и Инкардарьи, были открыты и раскопаны монументальные многокамерные погребальные сооружения саков, относящиеся к VIII—III вв. до н. э. Эти древнейшие мавзолеи типа Тагискен, Баланды 2, Чирик-рабат, Бабиш-мулла 2, с купольным перекрытием, сложенные из сырцового кирпича, свидетельствуют о том, что древнее население Южного Казахстана владело не только техникой изготовления кирпича-сырца, но и сооружало из него культовые здания сложного решения, имело технический опыт строительства. Несомненно, этот опыт и умение были приобретены в результате возведения жилых и хозяйственных помещений, архитектурного оформления поселений и городов.

Археологические данные, показывают, что в первой половине первого тысячелетия нашей эры укрепленные поселения получают распространение по всей территории Южного Казахстана. Так, в низовьях р. Арысь и средней Сырдарьи (Отрарский оазис) зарегистрировано и обследовано более 30 поселений. Раскопы, заложенные на поселениях Костобе (южное), Торткольтобе, Караултобе и Кок-Мардан, открыли их топографию и застройку, выявили уровень хозяйственного и культурного развития. Теперь можно констатировать, что в эволюции южноказахстанского Средневекового города устанавливается генетическая преемственность от ранних поселений I тыс. до н. э. — первой половины I тыс. н. э. до развитого города. Конечно, этот путь развития не был единственно

возможным путем зарождения средневекового города. Но сделанный вывод принципиально важен для изучения генезиса города и установления традиций и инноваций в его культуре.

В период развитого средневековья Южный Казахстан с Отрарским оазисом становится одним из крупнейших центров городской цивилизации Казахстана и всей Центральной Азии. О масштабах экономического и культурного развития оазиса говорят руины свыше 60 поселений и городов, следы мощной и широко разветвленной оросительной системы. По археологическим данным, хронологические пределы жизни Отрара охватывают период с I по XVIII вв. Городище Отрар хранит двухтысячелетнюю и, как свидетельствуют письменные источники, богатую событиями историю Отрара. Все это давно привлекало внимание археологов, которые появились здесь 100 лет назад и провели в 1904 г. первые раскопки городища Отрар. Затем в 1948—1951 гг. в оазисе работала совместная экспедиция археологов Ленинграда и Алма-Аты, а в 1969 г. здесь развернула работы вначале Отрарская, а с 1971 г. Южно-Казахстанская комплексная археологическая экспедиция АН Казахстана. С перерывами эта экспедиция работает уже 35 лет. За это время вскрыты жилые и общественные постройки, дворцовые комплексы и ремесленные мастерские, крепостные стены и башни разных эпох — с рубежа первых веков нашей эры до XVIII в. Раскапывались городища Отрартобе, Куйрыктобе, Алтынтобе, Кок-Мардан, Мардан-Куик, изучалась ирригационная система. Достаточно сказать, что застройка Отрара XVI—XVII вв. была открыта на площади почти в 7 га. Были выявлены уникальные объекты, в том числе жилая застройка V—VII вв., дворец VI—VIII вв., соборная мечеть конца XIV — начала XV вв., баня XIII—XIV вв. [Акишев, Байпаков, Ерзакович 1972; 1981; 1987; Байпаков 1986а; Байпаков, Подушкин 1989; Грошев 1985]. В основном все постройки были сооружены из сырцового кирпича, и из-за ветровой эрозии, дождей и снега, антропогенных факторов они подвергаются разрушению. Имелась реальная угроза их полного исчезновения. Поэтому, учитывая важность Отрара и памятников оазиса как уникального центра на Шелковом пути, был подготовлен и сейчас осуществляется крупный международный проект ЮНЕСКО-Казахстан-Япония «Сохранение и консервация древнего города Отрар».

В августе 2001 г. между Правительством Республики Казахстан и ЮНЕСКО было подписано Соглашение по проекту, включая финансовую помощь, выделяемую через ЮНЕСКО Японией. Правительство Казахстана оказывает поддержку в виде предоставления материальной помощи, обеспечение участия в работах национальных экспертов и технического персонала, а также организует мероприятия по сохранению памятника. Отдел культурного наследия ЮНЕСКО в сотрудничестве с Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Казахстане руководит ходом выполнения поставленных целей и задач, а также координирует работу экспертов. Проект выполняется совместно с Министерством образования и науки, Министерством культуры Республики Казахстан, Институтом археологии им. А. Х. Маргулана, Республиканским научно-исследовательским и проектным Институтом памятников материальной культуры и Отрарским государственным археологическим музеем-заповедником. Проект сохранения Отрара рассчитан на четыре года (2001—2004) и направлен на создание научной документации, популяризацию и использование памятника, а также выработку методов консервации и сохранения. Срочные консервационные работы проводятся как на Отраре, так и на других тобе оазиса. Проект призван также повысить научную квалификацию и знания специалистов, занимающихся сохранением и восстановлением культурного наследия не только в Казахстане, но и в регионе Центральной Азии. Мероприятия по сохранению сырцовых памятников Отрарского оазиса призваны решить ряд проблем. Одним из сложных факторов является резко континентальный климат в регионе — температура варьирует от +40° летом и до -20° зимой. Климат также характеризуется обилием осадков. Все это создает большую угрозу разрушения памятников на территории оазиса. Из-за этих факторов стандартные методы консервации, успешно апробированные в других регионах, не могут быть применены для Отрара. Вторая проблема связана с огромными размерами Отрарского оазиса и масштабом памятников.

В рамках проекта планируется выполнить долговременную программу консервации ряда раскопанных объектов на городище Отрартобе, а также срочные консервационные работы на городищах Куйрыктобе, Алтынтобе и Кок-Мардан.

Цели проекта можно определить следующим образом:

- *Документирование и научные исследования:* провести научную регистрацию археологических объектов и создать компьютерную базу данных.
- *Консервация:* обеспечить сохранение городища Отрартобе, а также провести срочные охранные мероприятия на Куйрыктобе, Алтынтобе и Кок-Мардан.
- *Управление:* разработать мастер-план для городища Отрар и всего оазиса для последующей консервации и сохранения.

- *Обучение*: способствовать повышению профессионального уровня и технического потенциала организаций, отвечающих за сохранение и менеджмент памятников, а также подготовить технических специалистов для выполнения на международном уровне консервации, презентации и менеджмента объектов культурного наследия.
- *Популяризация, отчетность и публикации*: содействовать широкому ознакомлению с ценностями культурного наследия Казахстана, в частности, с городища Отрартобе, а также презентации проекта как в Казахстане, так и на международном уровне.

С целью выполнения поставленных задач ЮНЕСКО были привлечены высокопрофессиональные международные и национальные эксперты. Работы в рамках проекта начались весной 2001 г. Основные усилия экспертов направлены на консервацию мечетей, бани, гончарных мастерских и крепостной стены Отрара, а также дворцового комплекса на территории соседнего городища Куйрыктобе. В апреле 2002 г. на территории Отрарского музея-заповедника был построен корпус, в котором живут и работают научные эксперты в период сезонных работ весной и осенью. В этом корпусе, сделанном в традиционном стиле — из сырцового кирпича и с соломенной крышей, также установлены компьютеры, современное оборудование и лаборатория для проведения различных научных экспериментов. После завершения проекта в 2004 г., важно продолжить работы по поддержанию, управлению и реставрации памятника. В рамках проекта будет разработан всесторонний мастер-план для управления памятником. В этом документе будут также отражены вопросы развития туризма в регионе. Развитие инфраструктуры туризма включает прокладку дорожек для посетителей, установку информационных стендов с картами, публикацию буклетов, а также ограждение вокруг городища с целью защиты от незаконных археологических раскопок и посетителей.

В результате проведения четырехлетней программы консервации, Отрартобе будет сохранен для будущих поколений. Более того, в ходе реализации проекта будут разработаны и апробированы новые методы консервации, а также подход, предполагающий совмещение археологических работ с последующей консервацией. Методы консервации, разработанные для городища Отрар, могут быть применены и для других похожих памятников в регионе. Предполагается музеефикация Отрара и памятников оазиса, превращение их в один из центров местного и международного туризма. За три прошедших года работы по программе ЮНЕСКО-Казахстан-Япония проведена консервация мечети XVI—XVII вв., северной части соборной мечети конца XIV — начале XV в.; гончарной мастерской XIII—XIV вв.; разработаны туристические маршруты по городищу, выпущен буклет. В 2004 г. намечена (и уже проводится) консервация бани XIII—XV в., части городского квартала XVI—XVII вв., участка городской стены у южных ворот. Растет число туристов и паломников. Отрар и Туркестан становятся наиболее значительными центрами, в том числе и международными, на казахстанском участке Великого Шелкового пути.

Работы продолжаются, их значимость повышается в связи с принятием и выполнением государственной программы «Культурное наследие», рассчитанной на 2004—2006 гг.

Библиография

- Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б. Древний Отрар.* Алма-Ата, 1972.
Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б. Позднесредневековый Отрар. Алма-Ата 1981
Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б. Отрар в XIII-XV в. Алма-Ата, 1987.
Байпаков К. М. По следам древних городов Казахстана. Алма-Ата, 1986а.
Байпаков К. М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья. Алма-Ата, 1986б.
Байпаков К. М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. Алматы, 1998.
Байпаков К. М., Подушкин А. Н. Памятники земледельческо-скотоводческой культуры Южного Казахстана. Алма-Ата, 1989.
Бартольд В. В. Фараб // Бартольд В. В. Сочинения. Т. III М., 1965.
Бернштам А. Н. Древний Отрар // ИАН Казахской ССР. Серия археологическая. Вып. 3. Алма-Ата, 1951.
Грошев В. А. Ирригация Южного Казахстана в средние века. Алма-Ата, 1985.
Кляшторный С. Г. Яксарт-Сырдарья // СЭ. 1953. № 3.
Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники. М., 1964.
Михайлова А. И. Новые эпиграфические данные для истории Средней Азии IX в. // ЭВ. Т. V. 1951.

СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ ДАХИ В IV—II ВВ. ДО Н. Э.:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ХРОНОЛОГИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ

В древней истории Средней Азии, наряду с другими кочевыми объединениями, огромную роль сыграли племена дахов (даев). Именно завоевание последними части селевкидской сатрапии Парфиена привело к возникновению здесь Парфянского государства, ставшего впоследствии, наряду с Римом, Великими Кушанами и империей Хань, одной из четырех сверхдержав древнего мира, разделивших между собой всю цивилизованную Ойкумену от Атлантики до Тихого океана. Поэтому вполне очевидно, какое значение для понимания этнополитических процессов, протекавших на территории Средней Азии в древности будет иметь воссоздание подлинной истории дахской конфедерации.

Исследователи по-разному отвечали на вопрос, какие районы Средней Азии были заняты дахами. Так, еще А. А. Марущенко приписал дахам раскопанные им курганы у Кизыл-Чешме и Хас-Кяриза [Марущенко 1959: 116]. А. М. Мандельштам, согласившись с этой точкой зрения, считал, что «одному из племен самих парфян» принадлежал Мешрепитахтинский могильник [Мандельштам 1971: 72; 1984: 174]. Б. А. Литвинский полагал, что дахи обитали к северо-западу от Чордарьинской степи по течению Сырдарьи [Литвинский 1972: 173]. Д. А. Мачинский помещал дахов к северу и востоку от залива Кара-Богаз-Гол [Мачинский 1974: 128—129]. Ю. А. Заднепровский, основываясь на сходстве туркменских и согдийских катакомб, сделал вывод о присутствии дахов в Бухарском Согде [Заднепровский 1997: 101—102]. Б. И. Вайнберг отождествила дахов с носителями чирикрабатской культуры в низовьях Сырдарьи [Вайнберг, Левина 1992: 60—61; Вайнберг 1999: 260—264]. Даже этот, не претендующий на полноту, обзор существующих мнений показывает, что проблема локализации дахов по-прежнему стоит на повестке дня.

Решение вопроса о том, какую территорию в тот или иной период времени занимали дахи, возможно лишь на основе комплексного анализа письменных и археологических источников. Такой подход позволяет сначала на основе сведений античных авторов определить места обитания дахов, а затем увязать исследуемый этнос с распространенными в этих же районах определенными типами погребальных сооружений. Установление такой связи позволит сделать выводы о присутствии дахов и на других территориях, где выявлены аналогичные памятники, причем даже в том случае, если данных нарративной традиции на этот счет явно недостаточно или она вовсе отсутствует.

Наиболее полная информация о дахах относится к 331—328 гг. до н. э. — периоду, когда они оказывали ожесточенное сопротивление войскам Александра Македонского. Ключевым местом для решения вопроса о занимаемых дахами территориях служит замечание Арриана о них, как о «живущих с этой стороны Танаиса» (Арг. *Anab.* III, 28, 8). Употребленное Аррианом выражение: *Δάας τοὺς ἐπὶ τὰδε τοῦ Ταυάϊδος ποταμοῦ ἐλοικοῦντας* — указывает на сторону, более близкую к самому автору и его читателям, т. е. к Элладе [Bosworth 1995: 223]. Таким образом, «эта сторона Танаиса» равнозначна левому берегу Сырдарьи. Вместе с тем, анализ аналогичного словоупотребления, как у самого Арриана (Арг. *Anab.* IV, 22, 6; 28, 6), так и в других источниках (RGDA 20; Syll.³ 762, 24), позволяет придти к выводу, что речь может идти вовсе не о любой территории на левобережье Сырдарьи, но лишь об известных историкам Александра районах, которые лежали на пути следования греко-македонской армии после ее переправы через Окс. Все сказанное выше заставляет отринуть гипотезу Б. И. Вайнберг и признать дахов обитателями Среднеазиатского междуречья.

Для уточнения вопроса о занимаемых дахами районах внутри этого обширного региона следует обратить внимание на ряд обстоятельств. Во-первых, у Арриана, опиравшегося на данные Аристубула [Bosworth 1980: 290], среди отрядов, пришедших по приказу Дария к Гавгамелам, упоминаются согдийцы (Арг. *Anab.* III, 8,3), но при описании боевого порядка персов согдийцы куда-то исчезают, зато вместо них появляются даи (Арг. *Anab.* III, 11, 3). Это, по меньшей мере, позволяет предположить, что даи были жителями Согда. Во-вторых, в кампаниях 329 и 328 гг. до н. э. дахи противостояли македонцам в долине Политимета и окрестностях Мараканд (Curt. VII, 7, 31—39, VIII, 1, 6; Арг. *Anab.* IV, 5, 2—6, 2). В-третьих, даи неоднократно упоминаются вместе с хорасмскими (Iust. XII, 6, 17; Oros. III, 18, 11), но, в отличие от последних, ограничившихся словесными заверениями в своей покорности, попали в настолько прочное подчинение Александру (Curt. VIII, 3, 16), что были вынуждены принять участие в индийском походе (Curt. VIII, 14, 5; IX, 2, 24;

Агг. *Anab.* V, 12, 2). Следовательно, территория дахов была более доступна и уязвима для Александра, чем Хорезм. В-четвертых, согласно Курцию Руфу и Арриану, Александр провел зиму 328/7 г. до н. э. в Наутаке (Curt. VIII, 2, 19; Агг. *Anab.* IV, 18, 1), откуда он собирался двинуться против дахов (Curt. VIII, 3, 1). Редко используемая, но содержащая порой уникальные сведения «Эпитома деяний Александра» утверждает, что царь даже выступил в этот поход из Ксениппы и достиг области дахов (*Metz Epit.* 19—20). Поскольку уже давно установлено, что Ксениппа находилась в низовьях Кашкадарьи, а Наутака занимала верхнюю часть долины этой реки [Кабанов 1962: 53; Bosworth 1980: 372; Grenet, Rapin 2001: 89, п. 42], то сведения «Эпитомы» представляются более точными. Но в таком случае областью дахов может быть только Бухарский Согд. Итак, ввиду всего изложенного выше, связанные с дахами археологические памятники следует искать в долине Зеравшана между Самаркандом и Бухарой, уделяя особое внимание последней.

Вторым районом Средней Азии, в котором находились дахи, является Хорезм, хотя информации об этом в наших источниках содержится значительно меньше. Включая Хорезм в ареал обитания дахов, мы основываемся на следующих обстоятельствах. Во-первых, в найденном в крепости Бурлыккала списке имен присутствует имя Дахакинак — «Меч дахов». Надпись датируется по сопровождающей керамике IV—III вв. до н. э. [Маньолов, Хожаниязов 1981: 44], а по эпиграфическим признакам — III—II вв. до н. э. [Лившиц 2002: 55], что свидетельствует о распространении дахов в Хорезме в этот период. Во-вторых, в 328 г. до н. э. покорность Александру вместе с массагетами и дахами изъявил царь Хорезма Фратаферн (Curt. VIII, 1, 8). Эти дахи, возможно, являлись союзниками Хорезма [Рапопорт 1998: 34] и, конечно, никак не могли быть дахами — обитателями Согда: последние подчинялись не царю хорасмиев, а бактрийскому сатрапу Ахеменидов (Агг. *Anab.* III, 8, 3; 11, 3), и воевать с ними македонцы будут еще несколько месяцев. В-третьих, Страбон (XI, 7, 1; 8, 3), характеризуя ситуацию первой половины III в. до н. э., указывает, что одно из дахских племен — апарны — отделены от Гиркании, Несайи, Парфиены и Арейи безводной пустыней. Если учесть, что при совершении набегов на более южные области апарнам не приходилось переходить Окс, то можно прийти к выводу, что они жили на окраинах Левобережного Хорезма.

Еще одним районом, где нарративные источники не позднее 238 г. до н. э. фиксируют апарнов, является река Ох (Strabo XI, 9, 2). Именно отсюда Аршак повел своих соплеменников на завоевание Парфиены. Поскольку Ох протекает вблизи области парфиенов и через Несайю, а также впадает в Каспийское море южнее Окса (Strabo XI, 7, 3; 11, 5), то им может быть только Атрек. Кочевья же апарнов (парнов) могли охватывать земли по среднему течению Атрека и по его притоку Сумбару. Судя по остраку из Коша-депе, где представлено имя Дахзен — «Оружие дахов», дахи к I в. н. э. [Лившиц 1980: 240—242] расселились по северной подгорной стороне Копетдага.

В археологическом отношении все перечисленные выше территории объединяются наличием таких форм подкурганых могильных сооружений, как катакомбы. В двух регионах (долина Зеравшана и Южное Приаралье), наряду с катакомбами, встречаются погребения в грунтовых ямах и подбоях. Костяки везде ориентированы головами на юг, подбой устроен в западной стенке могильной ямы, а катакомбы относятся к так называемому льявндакскому типу.

Для того, чтобы точно установить связь дахов с данными типами погребальных сооружений, необходимо решить вопрос с их датировкой. Наиболее ранними погребениями Южного Приаралья являются курганы 4 и 3 могильника Каскажол, которые датируются IV в. до н. э. [Ягодин 1978: 158; 1982: 55]. Курганы 17 и 19 юго-западной группы могильника Туз-гыр относятся к IV—III вв. до н. э. [Трудновская 1979: 109]. Курганы 4 и 5 западной группы того же могильника, судя по сопутствующей керамике, должны датироваться кангуйским временем. Курган 42 из могильника Сакар-чага 1 относится к IV—II вв. до н. э. [Яблонский 1999: 25]. Курган 2 могильника Гяур 4, судя по обнаруженному там красноглиняному красноангобированному кувшину, имеющему аналогии в нижнем горизонте городища Хазарасп [Воробьева, Лапиров-Скобло, Неразик 1963: 182], относится к IV в. до н. э. Не противоречат этой датировке обнаруженные в том же погребении железные трехлопастные черешковые наконечники стрел с опущенными жальцами, поскольку данный тип наконечников засвидетельствован уже в IV в. до н. э. [Литвинский 2001: 94]. К IV—II вв. до н. э. относится курган 50 могильника Тумек-кичиджик [Вайнберг 1991: 54]. Сосуд из кургана 41 того же могильника находит ближайšie аналогии в материалах из Коша-депе [Пилипко 1980: 221, рис. 5, 1], которые датируются серединой III в. до н. э. — первой половиной I в. н. э.

В долине Зеравшана наиболее ранним является курган 4 могильника Акджартепе, сооруженный в IV в. до н. э. [Обельченко 1978: 116]. Курган 7 Куюмазарского могильника датируется IV—III вв. до н. э. по обнаруженной в погребении костяной пряжке, имеющей наиболее близкие параллели в Ак-Тамском могильнике в Фергане [Гамбург, Горбунова 1957: 82, рис. 29, 12]. Курган 19

того же могильника датируется по обнаруженному там кинжалу с изломанным перекрестием и волнитообразным навершием не позднее конца IV в. до н. э. Не противоречит этой дате и наличие в кургане меча с прямым перекрестием и без металлического навершия, поскольку мечи такого типа появляются как раз в эту эпоху [Игнатов, Колесник, Мамонтов 1979: 176; Скрипкин 1990: 128]. Красноглиняный кувшин из кургана 30 Куюмазарского могильника, судя по аналогиям из могильника Сакар-чага 1 [Яблонский 1999: 25, рис. 23, 16], должен датироваться IV—III вв. до н. э.

Наиболее ранним в Юго-Западной Туркмении является захоронение в кургане 1 урочища Кизыл-Чешме. Красноглиняный красноангобированный кувшин из этого погребения имеет аналогии в нижнем слое Кой-Крылган-калы и на Гяур-кале 3 (IV—II вв. до н. э.). Шаровидные пряслица из алебаstra встречаются в сарматских погребениях III—I вв. до н. э. на Дону (Ясырев III, курган 1/2) и в Южном Приуралье (Липовка, курган 14/1; Покровка 1, курган 10/9 и 10) [Мошкова, Максименко 1973: 76, рис. 29, 6; Смирнов 1972: 13—14, 23; Яблонский, Трунаева, Веддер, Дэвис-Кимболл, Егоров 1994: 20—21, рис. 40, 8]. Поэтому наиболее вероятная дата захоронения — II—I в. до н. э. Большинство же курганов Юго-Западной Туркмении (Пархайский и Мешрепитахтинский могильники) датируются в широких пределах — I в. до н. э. — II в. н. э. [Мандельштам 1963: 32].

Принадлежность дахам определенных типов погребальных сооружений позволяет прийти к следующим выводам. **Первое:** появление подбойно-катакомбных погребений II—I вв. до н. э. между Узбоем и заливом Кара-Богаз-Гол [Bader, Usupov 1995: 30; Юсупов 1978: 59—60] свидетельствует о начале освоения дахами этого региона, а также о постепенном вытеснении и ассимиляции ими массагетов.

Второе: вопрос о сарматском происхождении дахов, об их связях с раннесарматской (прохоровской) культурой Южного Приуралья дебатруется в науке уже давно [Десятчиков 1974: 9—10; Смирнов 1977: 134—136]. По нашему мнению, конструкция распространенных у дахов погребальных сооружений, расположение в них костяков, сопутствующая пища, многие категории погребального инвентаря позволяют сблизить среднеазиатских дахов с прохоровцами Южного Приуралья; причем наибольшая близость наблюдается с памятниками из восточных районов этого региона (Ново-Кумакский могильник). Степень этой близости настолько велика, что не позволяет объяснить ее лишь влиянием культуры прохоровцев на среднеазиатских дахов, а, скорее, свидетельствует в пользу переселения входивших в состав прохоровцев дахов на юг. Смутные известия об этой миграции сохранились и у некоторых античных авторов (Strabo XI, 9, 3; Curt. VI, 2, 14).

Третье: вопрос о времени этого переселения решается не только на основании датировки отдельных погребений дахов в Левобережном Хорезме и Согде. Следует обратить внимание на то, что погребальный обряд прохоровской культуры III—I вв. до н. э. характеризуется ничтожно малым количеством основных погребений и полным господством впускных [Скрипкин 1997: 181]. Напротив, практически все погребения IV в. до н. э. являются либо основными, либо впускными в курганы более раннего времени; курганы-кладбища с десятью и более захоронениями для этого периода абсолютно неизвестны. Характерно, что точно такая же картина — полное господство основных и, по большей части, единственных погребений под одной курганной насыпью — наблюдается и у среднеазиатских дахов, причем даже среди тех захоронений, которые явно относятся к III—I вв. до н. э. Наиболее логичным объяснением этого феномена может быть то, что миграция (или миграции) дахов в Среднюю Азию, вопреки мнениям О. В. Обельченко [Обельченко 1992: 224] и Ю. А. Заднепровского [Заднепровский 1997: 108—110], имела место в IV в. до н. э., когда обычай сооружения курганов-кладбищ среди прохоровцев еще не возник. Видимо, относительная изоляция дахов от других сарматских племен, вызванная отсутствием притока новых переселенцев с Южного Урала, население которого в III—I вв. до н. э. резко сократилось [Мошкова 1974: 47], способствовала консервации в среде дахов погребального обряда, свойственного их далеким предкам.

Библиография

- Вайнберг Б. И. Изучение памятников Присарыкамышской дельты Амударьи в 70—80-х годах // Скотоводы и земледельцы Левобережного Хорезма. Вып. 1. М., 1991.
- Вайнберг Б. И. Этногеография Турана в древности. М., 1999.
- Вайнберг Б. И., Левина Л. М. Чиркратская культура в низовьях Сырдарьи // Археология СССР. Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992.
- Воробьева М. Г., Латиров-Скобло М. С., Неразик Е. Е. Археологические работы в Хазараспе в 1958—1960 гг. // МХЭ. Вып. 6. 1963.
- Гамбург Б. З., Горбунова Н. Г. Ак-Тамский могильник // КСИИМК. Вып. 69. 1957.
- Десятчиков Ю. М. Процесс сарматизации Боспора: АКД. М., 1974.

- Заднепровский Ю. А.* Древние номады Центральной Азии. СПб., 1997.
- Игнатов В. Н., Колесник В. П., Мамонтов В. И.* Раскопки курганов в Волгоградском междуречье // АО 1978 г. 1979.
- Кабанов С. К.* Керамический комплекс из наслоений древнего городища в Китабе // ИМКУ. Вып. 3. 1962.
- Ливищ В. А.* Парфянские остраки из Коша-депе // СА. 1980. № 4.
- Ливищ В. А.* Три серебряные чаши из Исаковского могильника № 1 // ВДИ. 2002. № 2.
- Литвинский Б. А.* Древние кочевники «Крыши Мира». М., 1972.
- Литвинский Б. А.* Храм Окса в Бактрии. Т. 2. Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. М., 2001.
- Мандельштам А. М.* Некоторые новые данные о памятниках кочевого населения Южного Туркменистана в античную эпоху // ИАН Туркменской ССР. СОН. 1963. № 2.
- Мандельштам А. М.* Мешрепитахтинский могильник // КСИА. 1971. Вып. 128.
- Мандельштам А. М.* Заметки о сарматских чертах в памятниках кочевников южных областей Средней Азии // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1974.
- Маньолов Ю. П., Хожаниязов Г.* Городища Аязкала 1 и Бурлыккала (К изучению фортификации древнего Хорезма) // Археологические исследования в Каракалпакии. Ташкент, 1981.
- Марущенко А. А.* Курганные погребения сарматского времени в подгорной полосе Южного Туркменистана // Труды ИИАЭ АН Туркменской ССР. 1959. Т. 5.
- Мачинский Д. А.* Некоторые проблемы этнографии восточно-европейских степей во II в. до н. э. — I в. н. э. // АСГЭ. Вып. 16. 1974.
- Мошкова М. Г.* Происхождение раннесарматской (прохоровской) культуры. М., 1974.
- Мошкова М. Г., Максименко В. Е.* Сарматские погребения Ясыревских курганов Нижнего Дона // КСИА. Вып. 133. 1973.
- Обельченко О. В.* Мечи и кинжалы из курганов Согда // СА. 1978. № 4.
- Обельченко О. В.* Культура античного Согда. М., 1992.
- Пилипко В. Н.* Парфянский слой поселения Коша-депе у Бабадурмаза // СА. 1980. № 4.
- Рапопорт Ю. А.* Краткий очерк истории Хорезма в древности // Приаралье в древности и средневековье. М., 1998.
- Скрипкин А. С.* Азиатская Сарматия. Саратов, 1990.
- Скрипкин А. С.* Анализ сарматских погребальных памятников III—I вв. до н. э. // Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Вып. II: Раннесарматская культура (IV—I вв. до н. э.). М., 1997.
- Смирнов К. Ф.* Савромато-сарматские курганы у с. Липовка Оренбургской области // Памятники Южного Приуралья и Западной Сибири сарматского времени. М., 1972.
- Смирнов К. Ф.* Савроматы и сарматы // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М., 1977.
- Трудновская С. А.* Ранние погребения юго-западной курганной группы могильника Туз-гыр // Кочевники на границах Хорезма. М., 1979.
- Юсупов Х.* Результаты археологических работ в Северо-Западной Туркмении весной 1973 года // КД. Вып. 7. 1978.
- Яблонский Л. Т.* Некрополи древнего Хорезма (археология и антропология могильников). М., 1999.
- Яблонский Л. Т., Трунаева Т. Н., Веддер Дж., Дэвис-Кимболл Дж., Егоров В. Л.* Раскопки курганных могильников Покровка 1 и Покровка 2 в 1993 году // Курганы Левобережного Илека. Вып. 2. М., 1994.
- Ягодин В. Н.* Археологическое изучение курганных могильников Каскажол и Бернияз на Устюрте // Археология Приаралья. Вып. 1. Ташкент, 1982.
- Ягодин В. Н., Бежанов Е. Б., Маньолов Ю. П., Юсупов Н. Ю.* Древняя и средневековая культура Юго-Восточного Устюрта. Ташкент, 1978.
- Bader A. N., Usupov Kh.* Gold earrings from north-west Turkmenistan // In the Land of the Gryphons: Papers on Central Asian archaeology in antiquity. Firenze, 1995.
- Bosworth A. B.* A historical commentary on Arrian's History of Alexander. Vol. I. Oxford, 1980.
- Bosworth A. B.* A historical commentary on Arrian's History of Alexander. Vol. II. Oxford, 1995.
- Grenet F., Rapin C.* Alexander, Ai Khanum, Termez: Remarks on the Spring Campaign of 328 // BAI. NS. Vol. 12 (1998). 2001.

К ИСТОРИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В ЮЖНОМ СОГДЕ

Физико-географическое расположение Кашкадарьинского оазиса обусловило раннее выделение двух крупных историко-культурных районов внутри области: в восточной части, к югу за Гиссарским хребтом, расположен обширный Шахриябзский оазис; в западной, среди степной равнины — Каршинский земледельческий оазис. В прошлом они составляли южную часть одного из древних историко-культурных регионов Средней Азии — Согда, однако горное окружение обуславливало некоторую обособленность их развития. По сравнению с соседними Восточным (Бухарским) и Западным (Самаркандским), Южный Согд почти не упоминается в письменных источниках доарабского времени.

Первые сведения об областях, расположенных в долине реки Кашкадарья, имеются в античных письменных источниках, рассказывающих о походах Александра Македонского в Согдиану. В описаниях походов, в основном известных по изложениям Курция Руфа и Арриана, события происходили в трех основных областях и городах: Мараканде, Ксениппе и Наутаке, локализация которых остается до настоящего времени спорной. М. Е. Массон считал, что Наутака с одноименным главным городом на месте городища Еркурган располагалась в западной части. Ксениппа же находилась на востоке оазиса, и остатки ее главного города связаны со слоями античного времени в основании современного города Китаба [Массон 1973: 10]. Существует и другая точка зрения, согласно которой Наутака находилась в восточной части долины, а Ксениппа — в западной [Ртвеладзе 1981: 95—102; Сагдуллаев 1981: 34—38]. Позднее, в пору раннего средневековья, западная и восточная области соответственно получили название Нахшеб и Кеш, затем Нахшеб был переименован в Несеф.

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения нумизматического материала, полученного в ходе археологических работ в Южном Согде (Нахшебская коллекция Института археологии АН Республики Узбекистан — более 500 экз.), обобщены данные предыдущих публикаций о единичных находках. Суммируя свидетельства нумизматического материала, известного на данный период, несмотря на меньшее количество монет из Шахриябзского оазиса, по сравнению с Каршинским, можно сделать некоторые выводы по истории денежного обращения в Южном Согде.

Проникновение первых монет в эту область началось, скорее всего, в последние века до нашей эры. Древнейшей монетой, обнаруженной в Каршинском оазисе, является серебряная тетрадрахма Александра Македонского. Драхма — подражание типам монет Александра Македонского — была случайно найдена местными жителями кишлака Бугажиль и на городище Джартепе, расположенном в Китабском районе [Омельченко 2001: 14—16]. Находки монет греко-бактрийских царей известны как в низовьях Кашкадарья (Каршинский оазис), так и в ее верхнем течении — в Шахриябзском оазисе достоверно зарегистрирована медная монета Диодота, определенная М. Е. Массоном [Ртвеладзе 1989: 40]. Сведения о находке в 1906 г. близ Китаба большого клада с оболлами, драхмами и тетрадрахмами Евкратиды [Массон 1928: 280—293], также как и о четырех оболлах Антимаха, обнаруженных в Шахриябзе [Кастальский 1940: 339], говорят о возможно более широком распространении греко-бактрийских монет в верховьях Кашкадарья, чем в ее низовьях. Вслед за греко-бактрийскими монетами в оазисы проникают кушанские монеты, причем, в восточной части известна находка только одной медной монеты Канишки около перевала Ташкурган [Ртвеладзе 1989: 40], а в западной — около десяти, считая монеты плохой сохранности, точно не определяемые, но соответствующие метрическим данным кушанских монет [Баратова 2002: 269—272]. Обнаружение кушанских монет в Южном Согде является новым фактом. Так, еще в начале 1980-х гг. здесь не было известно ни одной находки, имелось лишь устное сообщение В. Л. Вяткина о кладе серебряных монет Сотера Мегаса, обнаруженном где-то в Кашкадарьинской области [Массон 1975: 45]. Находки монет, относящихся к первым векам нашей эры, немногочисленны: так, монеты Гиркода обнаружены в Каршинском и Шахриябзском оазисах. Хронологически к этому периоду относятся и монеты с изображением Геракла и Зевса, найденные в Шахриябзском оазисе. Одна из них — медная — была найдена на городище Малое Кыз-биби [Кабанов 1981: 90]; вторая — серебряная — на городище Турткультепа [Абдуллаев 1997: 9—16, Abdullaev 2000: 147—152]. Выпуск этих монет, по мнению Е. В. Зеймалю, осуществлялся во II—IV вв. н. э. [Зеймаль 1973: 70—75]. Возможным центром их чеканки исследователи считают Южный Согд. В пользу такой локализации служит и находка целого клада монет в Кашкадарьинской области. Монеты клада, к сожалению, разошлись по рукам, однако частично клад изучил Э. В. Ртвеладзе, а 7 экз. — американские коллеги

[Марков, Наймарк 2002: 45]. По их данным, общее количество монет в кладе было 30—35 монет, что удвоило бы количество всех учтенных в настоящее время монет этого типа (38 экз.). В свете последних данных не исключено, что монеты с изображением Зевса и Геракла были наиболее ранней самостоятельной эмиссией Южного Согда. В первые века нашей эры в оазисы проникают и серебряные монеты самаркандской чеканки с изображением лучника. Новым фактом является наличие сравнительно большого количества находок «медных драхм» в Каршинском оазисе. Нахождение медных монет с изображением лучника вместе с «нахшебскими» со сценой единоборства в составе клада № 2 из Еркургана возвращает нас к вопросу об их типологической связи. Изучение «медных драхм» показывает, что иконографически они как бы параллельны самаркандским сериям серебряных монет и повторяют ряд постепенного ухудшения изображений, уменьшения размера и веса. Изображение правителя на медных монетах 1-го типа стилистически аналогично серебряным монетам первого периода их чеканки, так называемым монетам Аштама. Отличительная черта — наличие бороды у правителя. Еще одно отличие — голова правителя показана в традициях скульптурного искусства, с четко очерченной границей основания: этот прием характерен для эллинистического искусства вообще и, в частности, для греко-бактрийских монет и ранних подражаний им. Эта особенность изображения правителя характерна также и для «нахшебских» монет, особенно четко она проявляется на монетах из Еркурганского клада, содержащего, по нашему мнению, экземпляры наиболее ранних эмиссий. Эта стилистическая особенность сближает «медные драхмы» с «нахшебскими» монетами.

Близость этих двух групп монет впервые отметил М. Альрам, поместив их в одном типологическом ряду и отметив, что «по стилю, производству и номиналу они образуют одну общую группу» и далее, что чекан монет «в любом случае определяется в одном и том же месте» [Alram 1986: 276, Taf. 39]. В дальнейшем эту мысль развил А. И. Наймарк, предположив, что медные монеты с изображением лучника — это нахшебские подражания III—IV вв. самаркандским выпускам серебряных монет. Из них впоследствии вырос самостоятельный тип монет со сценой единоборства правителя со львом, начало выпуска которых можно отнести к IV—V вв. [Наймарк 1990: 66—68]. Для подтверждения высказанных гипотез не доставало нумизматического материала, в частности, точно зафиксированных совместных находок монет двух групп в Каршинском оазисе. Совместная находка монет лучника с «нахшебскими» в Южном Согде была зарегистрирована в Шахриябзском оазисе: на памятнике Зиндантепе был найден кладик, состоявший из серебряной монеты лучника третьего периода чеканки (по классификации Е. В. Зеймаля) и двух «нахшебских» монет [Ртвеладзе 1989]. Однако, наличие именно медных монет с лучником на оборотной стороне в составе клада «нахшебских» монет, так же как и отдельные их находки на памятниках Каршинского оазиса, могут быть фактологическим подтверждением умозаключений М. Альрама и А. И. Наймарка.

Наиболее длительным был выпуск медных монет со сценой поединка правителя со львом. Несмотря на то, что монеты данного типа привлекали внимание ученых еще с прошлого столетия, вопросы их исторической интерпретации, датировки, дешифровки монетной легенды остаются до настоящего времени дискуссионными. До сих пор нет даже общепринятого названия для этих монет. В научной литературе последнего времени они называются чаще всего «нахшебскими», что базируется на отождествлении Каршинского оазиса с государством Насэбо или Нашибо, впервые упоминающемся в китайских хрониках Бэй ши («Хроника северных государств») и Вэй ши («Хроника государства Вэй, Тоба Вэй», 386—534) [Малявкин 1989: 250].

Последнее по времени чтение легенды на монетах принадлежит Э. В. Ртвеладзе [2000], который читает ее как KYSN'K MR'Y — «кишанский государь» и предлагает видеть в ней отражение политической ситуации в III—IV вв., когда области Кеша и Нахшеба составляли единое владение, управляющееся кешскими династиями.

Следующим периодом самостоятельной чеканки в Нахшебе является выпуск монет с изображением коня и согдийскими легендами, различающихся оформлением оборотной стороны. Монеты с изображением коня являются последней предисламской эмиссией в Каршинском оазисе и одновременно иллюстрируют переход к чеканке раннемусульманских фельсов, происшедший в середине VIII в. Типология монет с изображением коня предложена Б. Д. Кочневым [1999: 42—46], ему же принадлежит и их локализация и датировка, долгое время остававшиеся спорными [Смирнова 1981a: 26—27; 1981b: 252—253]. Он выделил шесть типов, три первые из которых содержат только согдоязычные легенды на обеих сторонах монет. Переходным типом является четвертый, на Монетах которого при сохранении изображения коня, только идущего в другую сторону, согдийская надпись заменена на слово «Несеф» арабским письмом, оборотная сторона сохраняет согдийскую надпись и S-образный знак. Появление арабографического названия «Несеф» позволило локали-

зывать монеты с изображением коня в Несефе, как со времени арабского завоевания стали называть Нахшеб. В восточной части долины в это время обращались монеты с согдийской легендой «Кешский правитель Ахурпат», начальное и конечное слова в которой разделены знаком в виде трикlesa. Данная группа была окончательно локализована в Кеше Э. В. Ртвеладзе, выпуск монет отнесен ко второй половине VII — началу VIII вв. [Ртвеладзе 1989: 42]. Определенную роль в денежном обращении этого времени играли также бухархудатские драхмы мугского типа с надчеканом S-образной тамги, такой же, как на монетах с конем. По предположению А. И. Наймарка, мугские драхмы чеканились в начале VIII в. (до 722 г.) для выплаты дани арабским завоевателям [Наймарк 2002: 51—53]. Кроме монет самостоятельной чеканки, в долине реки Кашкадарья были также найдены привозные монеты — выпусков Самарканда, Бухары и сасанидского Ирана, что свидетельствует о тесных культурно-экономических и торговых связях областей долины реки Кашкадарья с соседними государствами.

Библиография

- Абдуллаев К.* Монета с изображением Зевса и Геракла из Кашкадарья // НЦА. II. 1997.
- Баратов Л. С.* Привозные монеты из находок в Каршинском оазисе // ИМКУ. Вып. 33. 2002.
- Зеймалъ Е. В.* Раннесогдийские монеты с изображением Геракла и Зевса // СГЭ. XXXVII. 1973.
- Кастальский Б. Н.* 1940, Неизвестная греко-бактрийская тетрадрахма — медаль Антимаха I, битая в честь Евтидема I // ВДИ. 1940. № 3—4.
- Кабанов С. К.* Нахшеб на рубеже древности и средневековья. Ташкент, 1977.
- Кабанов С. К.* Культура сельских поселений Южного Согда III—VI вв. Ташкент, 1981.
- Кочнев Б. Д.* Среднеазиатские куфические фельсы с изображением коня // НЦА. IV. 1999.
- Малявкин А. Г.* Танские хроники о государствах Центральной Азии. Наука: Новосибирск, 1989.
- Марков Д. Б., Наймарк А. И.* Три распыленных клада согдийских монет // 10-я Всероссийская нумизматическая конференция. М., 2002.
- Массон М. Е.* Монетные находки в Средней Азии 1917—1927 гг. // Известия Средне-Азиатского комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы. Вып. III. Ташкент, 1928.
- Массон М. Е.* Столичные города в области низовьев Кашкадарья с древнейших времен. Ташкент, 1973.
- Массон М. Е.* К вопросу о северных границах государства «Великих Кушан» // Центральная Азия в кушанскую эпоху. Т. II. М., 1975.
- Наймарк А. И.* К нумизматической истории Нахшаба // Археология Средней Азии. Ташкент, 1990.
- Наймарк А. И.* Мугские драхмы // 10-я Всероссийская нумизматическая конференция. М., 2002.
- Омельченко А. В.* Подражание драхме с типом Александра Македонского из Южного Согда // НЦА. V. 2001.
- Ртвеладзе Э. В.* Ксениппа-Паретака // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). М., 1981.
- Ртвеладзе Э. В.* Монеты Кеша // История и культура южных районов Средней Азии в древности и средневековье. Ташкент, 1989.
- Ртвеладзе Э. В.* От ответственного редактора // Сулейманов Р. Х. Древний Нахшаб. Ташкент, 2000.
- Сагдуллаев А. С.* Древние пути на юге Узбекистана // ОНУ. 1981. № 7.
- Смирнова О. И.* Сводный каталог согдийских монет. Бронза. М., 1981а.
- Смирнова О. И.* К имени Алмышы, сына Шилки, царя булгар // Тюркологический сборник 1977. М., 1981б.
- Abdullaev K.* A coin from the Kashkadarya valley with representations of Zeus and Hercules // Parthica. 2. Roma, 2000.
- Alram M.* Nomina propria Iranica in nummis. Materialgrundlagen zu den iranischen Personalnamen auf antiken Münzen. Wien, 1986.

КУШАНО-БАКТРИЙСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК КАМПЫРТЕПА

Археологическое исследование городища Кампыртепа ведется под общим руководством академика АН Республики Узбекистан Э. В. Ртвеладзе. Работы начаты в 1979 г. и — с перерывами — продолжают по сей день. За это время вскрыто более чем 4/5 территории «нижнего города». С 2000 г. в раскопках памятника участвует отряд сектора Средней Азии Государственного Музея Востока. За пять полевых сезонов почти полностью раскопано два жилых квартала; получен многочисленный и разнообразный комплекс археологических артефактов, который по нумизматическим находкам датируется в пределах конца I — первой половины II вв. н. э. Объем имеющихся в настоящее время материалов позволяет расширить и уточнить сложившиеся представления о кушано-бактрийском археологическом комплексе на юге Узбекистана в это время. В данном случае археологический комплекс воспринимается как устойчивая совокупность предметов материальной культуры, повторяющаяся как в крупных городах, так и в мелких поселениях и существующая в пределах одной историко-культурной области в определенный период времени. Учитывая небольшой объем публикации, остановимся лишь на отдельных аспектах данной проблемы, которые можно рассматривать с учетом материалов Кампыртепа.

Двухчастный жилой квартал «нижнего города» состоял из небольших блоков, включающих в себя от двух до пяти помещений, соединенных проходами (рис. а—в) и имеющими общий выход в переулочек, являющийся центральной связующей доминантой всего квартала. Г. А. Пугаченкова выделяла два типа жилых домов северной Бактрии: отдельно стоящие жилища рядовых горожан и жилые дома городской верхушки [Пугаченкова 1976: 38—39]. Раскопки на Кампыртепа позволяют говорить еще об одном типе жилого дома — небольшие блоки-секции из 2—5 комнат, связанные между собой проходами и имеющие общий вход. Из таких ячеек складывались кварталы в городах и хозяйственно-жилые комплексы на сельских поселениях в Бактрии.

Наиболее многочисленной категорией археологических находок являются изделия из обожженной глины. Керамический комплекс Кампыртепа указанного периода включает в себя определенный набор форм и обладает характерными особенностями, которые отличают его как от предыдущих по времени, так и следующих за ним керамических комплексов. Прежде всего, отметим довольно высокий уровень стандартизации в керамическом производстве, что выражается в устойчивом сочетании вида орнамента и формы сосуда. Крупные двуручные кувшины украшались крупным редким штампом, горловина и плечики широкогорлых двуручных сосудов покрывались красно-коричневым ангобом и прочерченным волнистым орнаментом (рис. 15). Столовая посуда не орнаментировалась; только красноангобированные столовые миски (рис. 9) с внутренней стороны украшались прочерченным зигзагообразным орнаментом. Подавляющее большинство закрытых форм снабжено двумя ручками, располагавшимися на плечиках сосуда (рис. 10—15). Почти у всех сосудов, предназначенных для хранения или переработки продуктов питания, верхняя часть тулова украшалась зигзагообразным прочерченным орнаментом, а горловина покрывалась красно-коричневым или темно-красным ангобом (рис. 10—12, 14). В комплексе практически полностью отсутствует сероглиняная керамика, которая была широко распространена на территории северной Бактрии в предыдущий период.

Некоторые формы столовой посуды связаны с керамической традицией предыдущего периода (рис. 4, 5, 7). Вместе с тем, появляются и новые типы сосудов. Одной из ведущих форм среди столовой посуды являются цилиндроконические кубки на усеченно-коническом высоком поддоне с округлыми очертаниями резервуара (рис. 2, 3). В то же время, полностью отсутствуют бокалы на высокой ножке, которые считаются наиболее характерным типом столовой керамики кушанского периода. Как показывают материалы Кампыртепа, это заключение правомерно только для раннекушанского периода, не ранее начала I в. до н. э., когда они сосуществуют с бокалами [Пидаев 1978: табл. I, II]. Позднее, по всей видимости, в конце I — самом начале II вв., бокалы почти полностью исчезают. В это же время появляется новая форма столовой посуды, не известная ранее — цилиндроконические кубки на плоском дисковидном поддоне, с четко выраженным округлым переходом от конической части резервуара к цилиндрической (рис. 1). В определенной степени они близки одному из типов кубков Таксилы [Marshall 1951: pl. 124, no. 87, 90]. По некоторым морфологическим и параметрическим признакам, в первую очередь, по форме тулова, эти сосуды схожи с

канфарами северного Причерноморья и Малой Азии позднеэллинистического и римского времени [Парович-Пешикан 1974: 77—84]. Как показывают материалы Кампыртепа, влияние греко-римской керамической традиции в гончарном производстве Северной Бактрии отчетливо проявляется в первой половине II в. Помимо упоминавшихся выше кубков, можно отметить крупные двуручные сосуды и кувшины (рис. 10—12, 15), происхождение которых связывается с амфорами, в том числе широкогорлыми, северного Причерноморья, а также крупные красноангобированные столовые миски (рис. 9), по форме близкие некоторым типам лутерий [Сычева 1978: 253]. К новым формам, появившимся не ранее конца I в. н. э., можно отнести также крупные тагора с массивным подтреугольным в сечении профилированным каннелюрами венчиком (рис. 8) и красноангобированные чаши с округлым дном (рис. 6), прототипом для которых могли послужить деревянные чаши и миски, характерные для скотоводческих археологических комплексов северных областей Средней Азии. На Кампыртепа найдено небольшое количество керамических ритонов, которые заканчиваются протомами быка или барана. Возможно, они были изготовлены как подражания металлическим ритонам с протомами животных, распространенным на территории Ирана.

Одной из составляющих кушано-бактрийского археологического комплекса являются многочисленные зооморфные терракотовые статуэтки. На Кампыртепа они представлены фрагментами всадников и лошадок, изготовленных вручную (рис. 19). Большинство исследователей связывают их с кочевым компонентом кушанской культуры, а именно — культом «степного предка» [Пугаченкова, Ремпель 1982: 75; Массон 1986: 259]. К зооморфным мотивам в кушано-бактрийской коропластике относятся ручки небольших сосудов, изготовленные в виде животных с длинным рыльцем, широкими ушками и изогнутой спинкой (рис. 16—18). По утвердившемуся в археологической литературе мнению, подобные ручки являются фигурками кабанов или вепрей. Среди керамики каунчинской культуры часто встречаются кружки с ручками в виде барана, которые трактуются как воплощение Фарна или Вэртагны. Одной из ипостасей последнего, наряду с бараном, является вепрь. Однако ручек, изображавших это животное на памятниках каунчинской культуры, не найдено. В то же время, они были распространены на территории восточного Крыма — Пантикапей и его округа [Кругликова 1954: 93; Абрамова 1969: 75—77], а появление подобных ручек в западных районах Крыма связывается с проникновением сюда сармато-аланского населения [Яценко 1984: 256—259]. Зооморфные ручки, найденные на территории северной Бактрии, по своим стилистическим особенностям близки ручкам сосудов I—II вв. из восточного Крыма. Сам факт появления ручек в виде кабанчиков на юге Средней Азии в середине II в. н. э. позволяет поставить вопрос о возможности контактов между весьма отдаленными друг от друга историко-культурными областями в это время.

Многолетние исследования на Кампыртепа дали многочисленную коллекцию антропоморфной терракоты, где представлены как типы, выполненные под влиянием эллинистической традиции, так и образцы, изготовленные в юэжжйско-кушанском стиле [Ильясов 2000; там же см. библиографию вопроса]. К последним, в частности, относятся фигурки музыкантов (рис. 20) и статуэтки богини (?) в кафтане-кандизе, наброшенном на плечи (рис. 22). Следует отметить также терракоты, выполненные в комбинированной технике, когда объемное туловище фигурки изготавливалось вручную, а голова или лицо оттискивалось штампом (рис. 21).

В процессе раскопок получена довольно представительная коллекция изделий из металла. К предметам вооружения относятся железные наконечники стрел и дротиков. Наконечники стрел представлены несколькими типами: черешковый трехлопастный, с опущенными или кососрезанными жальцами (рис. 34), черешковый уплощенный, с треугольным контуром головки (рис. 35), черешковый четырехгранный, с квадратным сечением головки треугольного контура (рис. 36), черешковый пулевидный, с круглым поперечным сечением головки. Указанные типы находят себе многочисленные аналогии в археологических комплексах Бактрии первых веков нашей эры, причем последние три относятся к самым редким [Литвинский 2001: 110—114]. Дротики (?) представлены двумя черешковыми наконечниками с боевой частью в виде овального в сечении неправильного конуса. Находки железных наконечников копий и дротиков редки на территории Средней Азии. Единственной, наиболее полной аналогией кампыртепинскому, является фрагментированный, сильно коррозированный наконечник, представленный в коллекции из Храма Окса [Литвинский 2001: 126, 162, табл. 40, 1]. Поворотные ключи с длинным штырем-ручкой и массивной трехзубчатой «бородкой», расположенной под прямым углом к ней, часто встречаются в культурных слоях кушанского периода на различных памятниках Бактрии. Не является исключением и Кампыртепа [Курбанов 2000: 72, рис. 3]. В комплексе представлен целый экземпляр, ручка которого сверху загнута в кольцо (рис. 31). Помимо железных, на Кампыртепа найдены бронзовые ключи, также, по

всей видимости, поворотного действия, но для менее массивных замков (рис. 29, 30). В коллекции изделий из металла широко представлены железные черешковые однолезвийные ножи с округлой спинкой (рис. 32), а также обломки железных гвоздей и штырей, которые, вероятно, использовались для скрепления деревянных конструкций.

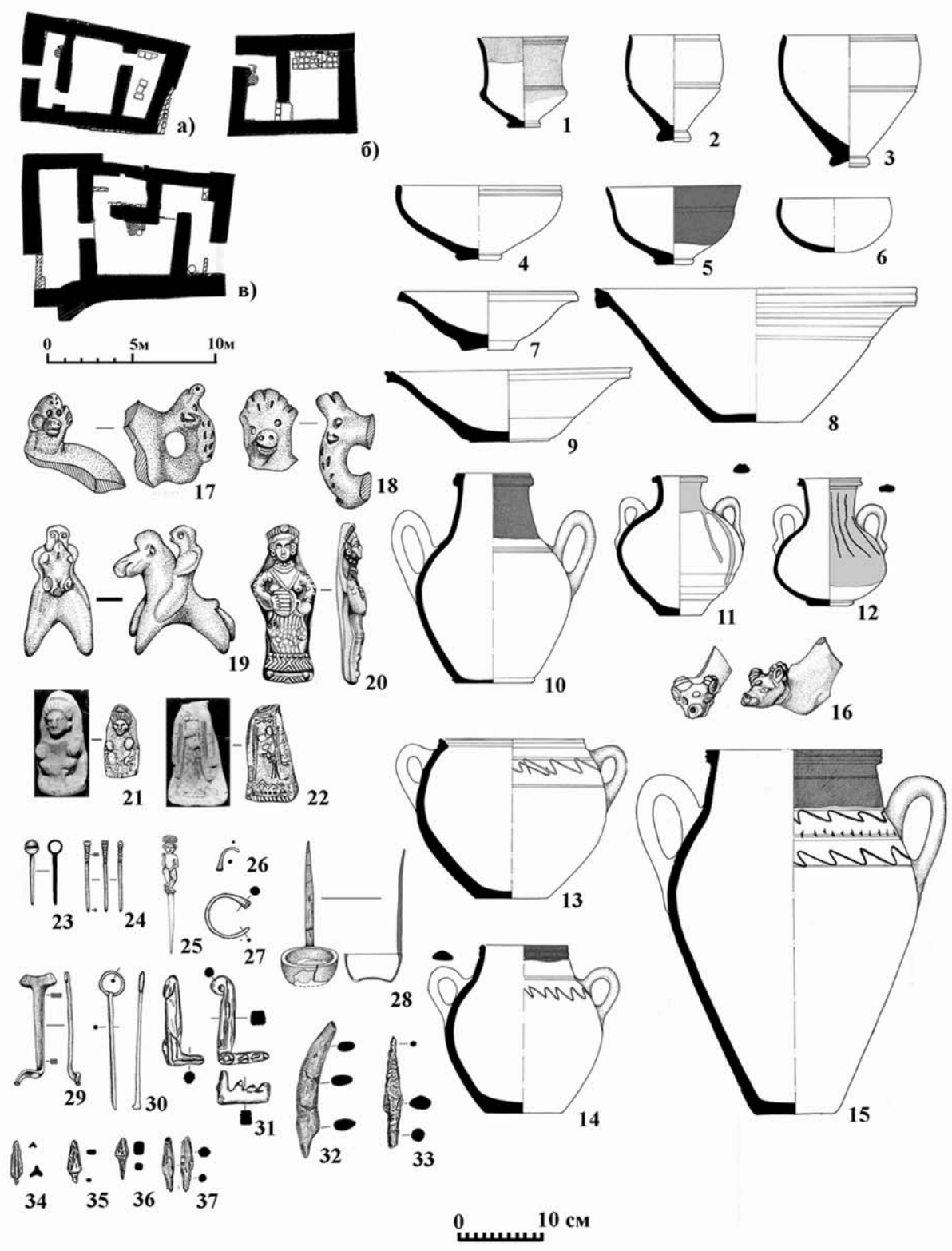
Среди изделий из бронзы преобладают фрагменты украшений. В большинстве случаев, это височные кольца, серьги (рис. 26, 27) и булавки-заколки с шаровидным навершием, выточенным из дерева и обложенным тонкой листовидной медью (рис. 23). Встречаются литые бронзовые накладки с навершием в виде руки, сжатой в кулак (рис. 24). Помимо бронзовых, на Кампыртепа найдены костяные закладки с навершиями в виде плода граната, фигурок пернатых (петуха?), горизонтально расположенных дисков или кисти руки, держащей небольшой предмет, который, на мой взгляд, неверно интерпретируется как амфора [Лунева 2002: 89]. Обращает на себя внимание костяная закладка с навершием в виде полусидящей боком на троне человеческой фигуры (рис. 25), тип причеки которой дает основания отнести ее к ювелирным изделиям парфянского круга.

В ходе раскопок было найдено небольшое количество фрагментов бронзовых сосудов, в основном венчиков и стенок открытых сосудов типа чаш. К этой же категории находок относится небольшой бронзовый черпак-киаф (рис. 28). Находки киафов, датированные I — началом II в. н. э. происходят из южных областей кушанской Бактрии. Все известные до настоящего времени киафы, найденные на территории северной Бактрии, датируются позднекушанским или кушано-сасанидским периодами. Черпак, найденный на Кампыртепа, является наиболее ранним на территории Северной Бактрии и значительно отличается от более поздних киафов [Завьялов, Галибин 1990: 98].

Приведенный выше краткий и далеко не полный анализ отдельных компонентов кушано-бактрийского археологического комплекса дает возможность сделать предварительное заключение о его особенностях и наметить возможные пути его формирования. В комплексе предметов материальной культуры четко прослеживается взаимодействие двух основных культурных традиций: эллинистической, генетически связанной с традициями предыдущего периода, и юэчжийской, трансформировавшейся в эллинистической среде. Кроме того, прослеживается влияние греко-римской традиции, о чем говорят многочисленные аналогии с керамикой Малой Азии и северного Причерноморья первых веков нашей эры. Находки предметов, напрямую связанных с парфянской культурной традицией, а также некоторые параллели, особенно в керамическом производстве, между северо-западной Бактрией и восточными областями Парфянской державы (Маргианой) дают основание поставить вопрос о культурном взаимодействии между этими двумя регионами.

Библиография

- Абрамова М. П.* О керамике с зооморфными ручками // СА. 1969. №2.
Ильясов Дж. Я. Терракоты Кампыртепа // МТЭ. Вып. 1. 2000.
Кругликова И. Т. О местной керамике Пантикапея и ее значении для изучения состава населения этого города // МИА. № 33. 1954.
Курбанов С. А. Археологические исследования цитадели Кампыртепа // МТЭ. Вып. 1. 2000.
Литвинский Б. А. Храм Окса в Бактрии. Т. 2: Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. М., 2001.
Лунева В. Классификация ювелирных украшений из Кампыртепа // МТЭ. Вып. 3.
Массон В. М. Кочевнические компоненты кушанского археологического комплекса // Проблемы античной культуры. М., 1986.
Парович-Пешикан М. Некрополь Ольвии эллинистического времени. Киев, 1974.
Пидаев Ш. Р. Поселения кушанского времени северной Бактрии. Ташкент, 1978.
Пугаченкова Г. А. Новые данные о художественной культуре Бактрии // Из истории античной культуры Узбекистана. Ташкент, 1973.
Пугаченкова Г. А. Бактрийский жилой дом (к вопросу об архитектурной типологии) // История и культура народов Средней Азии. М., 1976.
Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. Очерки искусства Средней Азии. М., 1982.
Сычева Н. С. Античные элементы в керамике северной Бактрии-Тохаристана кушанского времени и проблема связей кушанского царства с греко-римским миром // Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов советского Востока. М., 1978.
Яценко И. В. Зооморфная ручка с городища Чайка в окрестностях Евпатории // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1984.
Marshall J. Taxila. An Illustrated Account of Archaeological Excavations carried out at Taxila under the Orders of the Government of India between the Years 1913 and 1934. Vol. I—III. Cambridge, 1951.



Объекты кушано-бактрийского археологического комплекса из Кампыртепа

К ПРОБЛЕМЕ ТЮРКО-СОГДИЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО СИМБИОЗА

В раннее средневековье одним из центров художественных процессов, наиболее ярко отразивших особенности развития среднеазиатского искусства, становится Согд. В рассматриваемый период здесь отмечается укрупнение городов, активная инфильтрация в систему городских цивилизаций кочевых племен; важную роль в инфраструктуре общества начинает играть торговля. В Согде не было собственной централизованной власти — эта область представляла собой конгломерат самостоятельных владений, однако влияние Согда распространялось по Великому Шелковому пути до Дальнего Востока и Японии на востоке и Византии на западе. Широкие торговые связи были основой для культурных контактов. В социальном отношении верхушку согдийского общества представляла землевладельческая аристократия, богатые купцы и зажиточные горожане, поэтому не случайно искусство Согда характеризуется стремлением к роскоши и изяществу, в большей степени отражает светскую тематику: «эстетическое чувство берет верх над религиозным переживанием» [Ремпель 1984: 35]. О высоком уровне развития искусства Согда свидетельствуют образцы монументального искусства, сохранившиеся в Пенджикенте (VI—VIII вв.), Афрасиабе (VII в.) и Варахше (VII—VIII вв.). Темы живописи исключительно разнообразны и связаны преимущественно с эпическими сюжетами, а также жизнью высшего общества. Светская направленность искусства, полиэтничность общества объясняют также его высокую адаптивную способность по отношению к инокультурным традициям.

По монументальной дворцовой живописи мы можем судить о стиле согдийского искусства. Прежде всего, это фронтальность, условность и обобщенность формы, стремление к передаче объемно-пластической моделировки и, вместе с тем, подчинение изображения плоскости стены, ярусное построение композиции, относительная свобода при передаче сюжетов, наконец, внимание к линии, сообщавшей рисунку необычайную утонченность.

Одна из основных линий развития этнической истории и культуры Согда связана с постепенным преобладанием тюркского компонента. Между 563 и 567 гг. Согд вошел в состав Великого Тюркского каганата. Оседая в его пределах, кочевники начинают играть важную роль в обществе. Согдийская эпоха рассматривалась в науке в основном через призму ее преемственности с античным и взаимосвязей с сасанидским искусством. В этой связи выделение тюркского пласта представляется принципиально важным. На протяжении VI—IX вв. в искусстве центральных районов Средней Азии господствовали тюрко-согдийские традиции, давшие единые плоды, отмеченные синкретизмом идей, тем и образов; это время можно охарактеризовать как период тюрко-согдийского симбиоза.

Если согдийцы обладали развитой традицией рафинированного городского искусства, то художественное наследие тюрков по степени сложности системы не уступало согдийскому. В первую очередь, известно высокое качество оружия и конской сбруи тюрков: говоря о влиянии степи, исследователи отмечают заимствование согдийцами элементов тюркского вооружения. Однако тюркское влияние отразилось и в области искусства. Так, в период VI—IX вв. в Согде, Фергане и Семиречье получают распространение произведения торевтики — вида искусства, достигшего чрезвычайно высокого уровня развития как в среде земледельцев, так и кочевников, коропластики и керамики, в которых исследователи обнаруживают синтез тюркских, иранских, согдийских и танских элементов [Даркевич 1976: 91]. Их слияние было настолько органичным, что исследователям трудно определить, какое из изделий является тюркским, а какое — согдийским¹. В аспекте данных высказываний представляется важным определить собственно тюркские и согдийские черты.

Основной вклад, сделанный тюрками, связан, прежде всего, с тематикой, отражающей жизнь степи, а также стилем изображения, отличающимся необычайной реалистичностью форм, воспитанной той близостью к природе, которая характеризует художественное сознание кочевника, отошедшего от тотемизма, диктовавшего условность стиля, к более высокой системе религиозных воззрений. Так, реалистические изображения животных, характерные для тюркского мира, становятся одной из основных черт декора не только согдийской, но и иранской торевтики, причем именно

¹ Л. И Ремпель [1978]: «утверждать определенно, какие изделия тюркские, а какие согдийские, в настоящее время невозможно...»; Б. И. Маршак [1971]: «трудно отличить то, что сделано кочевниками, от того, что сделано для кочевников, и от того, что сделано оседлыми для оседлых, но под влиянием кочевников».

стиль аналогичных изображений, варьирующий от реалистического тюркского до условно-знакового согдийского и иранского, должен стать критерием при атрибуции памятников. В искусстве тюрков «звериный стиль» все еще сохраняет свое непреходящее значение, но теперь в большей степени выступает лишь как символ степной культуры, теряя свою традиционную роль зооморфного кода, приспособленного для выражения мировоззренческих категорий. Множество тюрко-согдийских сосудов с изображением животных воспринимаются как выражение генетической памяти кочевых племен, чья жизнь была тесно связана с природой. Зооморфные изображения уже лишены той своеобразной, самобытной стилизации формы и лаконизма, удачно найденных и максимально выразительных с художественной точки зрения линий, которые были характерной чертой «звериного стиля» и составили его славу в скифский период, на смену стилизации пришел реалистический способ передачи изображения.

Художественный анализ образцов тюркской пластики, учитывающий вышеназванные черты стиля и иконографии, позволяет определить их генезис. Так, на серебряном сосуде VIII в. мы видим изображение оленя, срывающего листву деревьев, поднявшись на задние ноги. Рисунок — непринужденный по композиции, характер изображения направлен на верное следование натуре, а не на стилизацию формы, т. е. отражает ту специфическую манеру изображения, которая характеризует искусство раннесредневековых тюркских мастеров. Такова же чаша VII в.: в центре, в круглом медальоне, изображена фигура лежащего джейрана. Пейзажный фон образуют стилизованные изображения цветущих кустов. Несмотря на неподвижность позы отдыхающего животного, в нем нет статики и застылости формы. Силуэт реалистичен, а рельефность чеканного изображения словно одухотворяет фигуру, придает ему фактурность и жизненную убедительность. Данной чаше близко по стилю блюдо из села Покровское (VII—VIII в.) с изображением шагающего джейрана. Здесь то же верное следование натуре, убедительность в передаче пластики животного, характеризующее тюркскую манеру.

Вместе с тем, существует группа тюркской пластики с аналогичной тематикой, выполненная в стиле, более близком согдийской монументальной живописи. В этих предметах, с более статичными, условными изображениями, обретшими роль знаков-символов, в полной мере проявляются черты согдийской художественной традиции, испытавшей влияние тюркской тематики.

Говоря о собственно тюркских традициях, следует обратить внимание на мотив всадника, стреляющего на ходу, обернувшись назад, — классический сюжет, отражающий реалии кочевой жизни и популярный во многих видах искусства; появление его в искусстве городов связано с влиянием кочевой среды [Пугаченкова 1981: 56]. Изображение стреляющего на ходу всадника было широко распространено также в согдийском и иранском искусстве, но в разных случаях сюжет получает различную интерпретацию и стилистическую интонацию. Так, для Ирана характерна предельная статичность сюжета, передающего идею сильной монархической власти. Для Согды же все еще сохраняется романтическое понимание образа, передающего, по выражению Л. И. Ремпеля, идеал «степного витязя Средней Азии». Это проявляется в более динамичной, живой трактовке сюжета, экспрессивной выразительности всей сцены; эти черты в согдийском искусстве проявляются в результате тюркского влияния. Классический образец данной группы — блюдо с изображением «согдийского всадника» (VI—VII вв. или начало VIII в., Эрмитаж). Стилистические особенности изображения дают основание рассматривать блюдо как продукт тюрко-согдийской культуры.

Еще один памятник согдийского круга, в котором представлена упомянутая композиция — ганчевая скульптура и живопись Варахши (VI—VIII вв.) — также дает повод для выявления тюркского влияния. Рельефы варахшинского дворца удивительно точно соотносятся со многими памятниками тюркского искусства с изображением сцен звериного гона. В частности, они повторяют композиции и стилистику изображений копенского седла, на котором мы видим бронзовые бляхи в виде фигурок охотящихся всадников и убегающих животных (VI в., Копенский чаатас). Очевидно, декор варахшинского замка формировался под значительным тюркским влиянием, а его мастер или заказчик предпочитал искусство степи, с его характерной тематической и стилистической направленностью. Богатый орнаментальный ганчевый декор дворца — переплетения виноградной лозы, сплошные ковровые композиции абстрагированных растительных мотивов, так же демонстрируют общность тенденций с искусством тюрков Киргизии и Алтая [Федоров-Давыдов 1976: 62]. Декор варахшинского дворца не только демонстрирует традиции искусства тюрков и новые тенденции в развитии тюркского искусства, но и во многом является своего рода предтечей последующего, исламского, этапа искусства, с его направленностью на абстрагированный растительный орнамент (т. е. еще в период раннего средневековья в тюркском искусстве возникли предпосылки к последующей орнаментализации и декоративизации форм). Наконец, богатая палитра тем и обра-

зов — сцены охоты, плещущиеся в воде рыбы, полиморфные существа — демонстрируют тот широкий диапазон мировоззрения, который исторически был присущ ментальности степных народов.

Тюрки, в свою очередь, заимствовали свойственные согдийскому и иранскому искусству канонизированные композиции, востребованные в условиях сильного централизованного государства, стремясь придать предметам искусства «торжественную официальность». Об этом свидетельствует нумизматический материал, образцы торевтики с изображением сцен царской инвеституры. Заимствуя популярный сюжет, они в значительной мере приспособливают его своим идеалам (блюдец VIII—IX в. из собрания Эрмитажа с изображением восседающего правителя). Изображение царя в окружении слуг следует формальному сасанидскому канону, но изменены регалии и костюмы, этнический тип персонажей. В целом, отмечая обращение тюрков к согдийским и сасанидским текстам, нельзя не провести параллель с кушанской эпохой, когда степные племена юэчжей обращаются к традициям оседло-земледельческой бактрийской культуры для формирования династийного искусства. Эти исторические параллели подтверждают высокую адаптивную способность кочевых племен в условиях культурной интеграции.

Согдийская торговая экспансия на северо-восток Средней Азии и основание в долинах Семиречья и Ферганы, где исторически преобладало тюркское население, торговых факторий, также способствовали процессу симбиоза тюрко-согдийских художественных традиций. Более того, историками установлено, что процесс этого взаимовлияния изначально происходил в районах колонизации согдийцами городов на северо-востоке региона, а затем, по мере продвижения тюркских племен на запад, соответственно перемещается и центр взаимодействия культур.

Если традиции искусства степи получили свое распространение в Согде благодаря историческим событиям — оседанию на его территории тюркских племен, то его ориентация на искусство сасанидского Ирана была продиктована идеологическими соображениями, стремлением верхушки тюрко-согдийского общества подражать великолепию иранского двора. Однако вряд ли уместно говорить о преобладающем влиянии Ирана, его глубоком воздействии на местную идеологию и содержание художественных форм; оно проявилось преимущественно на уровне стиля, несшего черты условности и статичности. Например, сюжет терзания, столь экспрессивный в искусстве тюрков, под воздействием сасанидского канона меняет стилистику: на согдийском блюде с изображением льва, терзающего лань (VIII в.), фигуры статичны и лишены пластической выразительности, изначальная динамика уступает место геральдической выстроенности. Кроме того, многие иранские сюжеты, популярные в Согде, не были собственно иранскими по происхождению. В данном случае речь идет о сюжетах-мигрантах — инвеститурных сценах или мифологических темах типа царского пира или охоты, сцен звериного гона или терзания, которые в исполнении иранских мастеров отличались знаковостью форм.

Нередки предметы искусства, которые демонстрируют синтез трех художественных традиций — иранской, согдийской и тюркской. Примеры: согдийский кувшин с изображением крылатого верблюда VIII в., согдийское блюдо V (?) в. с изображением крылатой лошади с тюркской тамгой на бедре [Islamic Art & Manuscripts 2003: 79], светильник VIII в., где традиционный для Ирана прием заключения фигур в медальон с перлами сочетается с широким кругом зооморфных мотивов, присутствием элементов «пейзажного фона», реалистической подачей изображения, присущей тюркским мастерам. Таким образом, говоря о влиянии Ирана, следует иметь в виду определенный стиль, отличавшийся большей статичностью, условностью изображения, а также популярные схемы, носившие прокламативный характер. Распространение последних в тюрко-согдийской среде было обусловлено потребностями молодых династий, нуждающихся в освященных символах власти, гарантов стабильности государства.

В целом, рассматривая характер развития согдийского искусства, можно сделать следующие выводы. Искусство Согда обнаруживало общие точки схода с искусством Ирана и Византии, Индии и Китая (Восточного Туркестана). Историческую роль в этом глобальном диалоге культур сыграл Великий Шелковый путь. Каждый раз те или иные влияния были продиктованы своими определенными причинами, но в целом они были возможны благодаря толерантности эпохи и светской направленности автохтонного искусства. В результате многообразных влияний возникала «кажущаяся множественность стилей» [Пугаченкова, Ремпель 1965: 176], не позволяющая, на первый взгляд, говорить о едином облике искусства. Однако, здесь можно выделить две основные линии развития. Благодаря приоритетному сочетанию согдийского и тюркского начал, искусство Согда, с одной стороны, отражало традиционно восточное понимание художественной формы (фронтальность, плоскостность, условность изображения, линейность), с другой — отличалось динамизмом и живостью, реалистической основой, характерной для искусства степи (торевтика, ганч). Тюрко-

согдийский симбиоз, обусловленный совместным проживанием в городах согдийского и тюркского населения, определил характерные особенности эстетики и стиля художественного ремесла Средней Азии всего средневекового периода.

Анализ тюрко-степного компонента в искусстве раннего средневековья позволяет сделать вывод о том, что его роль была гораздо более значительна, чем было принято считать до сих пор. Степь каждый раз активно заявляла о себе, когда кочевники вливались в жизнь городских цивилизаций, выполняя в искусстве катализирующую миссию. Влияние тюркской художественной культуры проявилось не только в тюркике — виде искусства, традиционно высокоразвитого в среде степных племен, но и в таких сугубо «городских» видах, как ганчевая скульптура (штук Варахши), настенная живопись (Уструшана, Ферганская долина). В первую очередь, оно проявилось в стиле экспрессивного реализма и преобладании зооморфной тематики. В целом, влияние живой и динамичной тюркской манеры и иранского прокламативного стиля придали своеобразие искусству Согда.

Библиография

- Даркевич В. П.* Художественный металл Востока VIII—XIII вв. М., 1976.
- Маршак Б. И.* Согдийское серебро. Очерки по восточной тюркике. Л., 1972.
- Пугаченкова Г. А.* К датировке и интерпретации трех предметов «восточного серебра» из коллекции Эрмитажа // Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. М., 1981.
- Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И.* История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века. М., 1965.
- Ремпель Л. И.* Искусство Среднего Востока. Избранные труды по истории и теории искусств. М., 1978.
- Ремпель Л. И.* Эпос в живописи Средней Азии // Из истории живописи Средней Азии. Традиции и новаторство. Ташкент, 1984.
- Федоров-Давыдов Г.* Искусство кочевников и Золотой Орды. М., 1976.
- Islamic Art & Manuscripts.* London, 2003.

ЭФТАЛИТЫ, ХИМАТАЛА, ХУТТАЛЬ И ОХОАН-ХОАНА В СВЯЗИ С ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИЕЙ БАКТРИИ-ТОХАРИСТАНА

Могильник Ксиров расположен в Дангаринской равнине, в долине реки Кизилсу Хатлонской (бывшей Кулябской) области Южного Таджикистана. Как и погребения усуней в Семиречье и Северном Тяньшане, в Ксирове мы имеем дело, в основном, с обычными могильными ямами без подбоя, и число погребений с подбоями ограничено лишь 8—20% от общего числа памятников. Ориентированы погребальные памятники и там, и здесь на запад (с некоторыми отклонениями на юго-запад и северо-запад), и в качестве исключения в обоих случаях представлена также и восточная ориентация. Эти признаки резко отличают Ксиров от синхронных погребальных памятников кочевников Бешкентской долины, где преобладают погребения с подбоями и северная ориентация могил. Так же, как и в семиреченских погребениях, в Ксирове представлены, среди прочих, погребения с древесным перекрытием. С другой стороны, в Ксирове отсутствуют такие погребения, как, например, захоронения в т. н. «каменных ящиках», которые нередки для памятников Бешкентской долины. Это поразительное типологическое сходство погребений Ксирова с оставленными усунями синхронными погребальными памятниками Семиречья — Северного Тянь-Шаня позволило еще в 1978 г. предположить, что в могильнике Ксиров погребены юэчжи — народ, пришедший, так же как и усунь (по мнению лингвистов, этнолингвистически близкие к юэчжам), с востока Центральной Азии. В 1978 г. в Ксирове было исследовано всего десять погребений. К настоящему времени число исследованных памятников в этом могильнике возросло до 40. Таким образом, мы можем констатировать, что предложенная концепция успешно выдержала проверку временем [Денисов 1989; Денисов 1993; Denisov 1997; Denisov, Grenet 1981; и др.].

В настоящем докладе мы предлагаем анализ письменных источников, относящихся ко времени уже после завоевания Бактрии кочевниками. Тем не менее, как мы увидим ниже, эти данные оказываются довольно интересными для решения вопросов этнической истории более ранней эпохи. В пользу гипотезы, что имя страны «Хутталь» обязано своим происхождением этнониму «эфталиты», высказывались различные исследователи, такие как Р. Гиршман, К. Еноки и Л. Н. Гумилев [Ghirshman 1948: 60; Еноки 1959: 12; Гумилев 1959: 135]. Этому же мнению придерживался в своем фундаментальном исследовании по истории Хуттала и А. М. Беленицкий [1950: 109—127].

1. Химатала и эфталиты-йеда. Рассмотрим сначала сообщение Сюань-Цзяня, где рассказывается о стране Химатала (Химотало, Хсимотало), расположенной в 200 ли от По-то-чуангна — Бадахшана [Hiouen-Thsang 1858: 197]. В 300 ли на запад от Химатала лежит Ки-ли-се-мо или Кит-лит-сит-мо, сопоставляемое В. де Сент Мартен с Ишкешмом (Ишкашим в верховьях р. Пяндж — *Е. Д.*) [Saint Martin, 1858: 423, Hiouen-Thsang 1858]. Г. Юль, Й. Маркварт и А. И. Виндекенс отождествляют город Ки-ли-се-мо или Кит-лит-сит-мо с Кишмом (Кишим, Кешм) [Yule 1873: 107; Marquart 1901: 217, 238; Windekens 1943: 152]. По словам Сюань-Цзяня, «царство Химтала является древней страной царства Ту-хо-ло» (т. е. Тохаристана, курсив мой — *Е. Д.*). Далее сказано, что страна эта представляет собой сочетание гор и долин, земля тучная и плодородная. Замужние женщины носят на своих шляпах рога из дерева, передний рог означает мужа, а задний — мать. Обычай этот известен как обычай эфталитов [Бичурин 1950: 268, 286]. Говоря о населении Химатала, Сюань Цзянь отмечает, что «люди (в этой стране — *Е. Д.*) свирепые и вспыльчивые и не знают разницы между преступлением и добродетелью» [Hiouen-Thsang 1858: 197]. Некогда правивший здесь царь подчинил много других стран, в стране имеются десятки городов [Ibid.: 198].

Имя Химатала Сюань-Цзянем объяснено по-китайски как «сват-шан-хиа» — «под снежными горами» [Marquart 1901: 238]. Это можно интерпретировать так, что страна Химатала должна была соприкасаться, граничить со снежными горами, а следовательно, это — не Хутталь, — предположение о таком отождествлении могло возникнуть в виду того, что, обе страны, очевидно, сыграли особую роль в истории эфталитов. Окружающие же Хутталь горы не слишком высоки. Кроме того, в сообщении Сюань-Цзяня содержится и отдельное описание на пути в Индию собственно Хуттала, — описание Химаталы помещено, напротив, при описании пути из Индии.

А. И. Виндекенс по поводу имени страны Химатала утверждает, что оно представляет собой один из вариантов имени Хефтал, с санскрита же он переводит его как «Снежная страна» [Windekens 1943: 152—153]. Б. Г. Гафуров также говорит, что имя Гимотало — это санскритизированная форма слова «эфталит» или какого-то его варианта [Гафуров 1972: 209]. Буквальный перевод имени Химатало используется в качестве дополнительного аргумента в пользу часто высказываю-

шегося различными исследователями мнения об идентичности тохаров и эфталитов [Deguignes 1756: LXXXIX, 42, n. a; Yule 1873: XXXV—CIV, XL; Wood 1976; Richthoffen 1877: 439, n. 5; Гафуров 1972: 203—210]. Дополнительным аргументом в этом плане является то, что «тухара» или «тушара» в санскритском варианте также означает «снег», «туман», «холод» [Windekens 1943: 152—153]. Большинство исследователей помещали Химаталу на среднем течении р. Кокчи и в отдельных долинах ее левых притоков [Yule 1873: 108; Мандельштам 1957: 117; Enoki 1959: 36]. В. де Сент Мартен отказывался локализовать эту страну [Saint Martin 1858: 423]. Б. Г. Гафуров говорит о «бадахшанской стране Гимотало» [Гафуров 1972: 209], что также не противоречит локализации ее в среднем течении Кокчи. Между тем, Сюань Цзянь оценивает окружность Химаталы в 3000 ли, и оценки Сюань Цзянем территорий княжеств представляются довольно реалистичными. Независимо от того, считать ли протяженность одного ли равную 1/5 или 1/6 английской мили [Yule 1873: 92], в любом случае, Химатала не может быть локализована в среднем течении р. Кокчи. Речь идет о стране большей, чем Бадахшан («окружностью» в 2000 ли). Практически, она тех же размеров, что и Хутталь (Хотуло 1000 ли на 1000 ли). Химатала имеет площадь, немногим меньше трети Тохаристана (Тухоло, 1000×3000 ли), упоминающегося в этом же труде Сюань Цзяня. Описание Химаталы близко описаниям страны Йеда (Идань, Jeh-tah — в «Бейши» и «Суйшу») [Бичурин 1950: 268—269, 286; Marquart 1901: 239], — ясно, что речь здесь идет о стране эфталитов. В «Суйшу» также отмечается, что в Тухоло местные жители живут вместе с «йеданьцами» [Бичурин 1950: 321; Marquart 1901: 239].

Неподалеку от афганистанского Файзабада, на северо-запад от него имеется небольшой район, именуемый Яфтал, чьи жители, соответственно, называются яфталы. В основном они таджики, реже — турки [Koshkaki 1979: 115—117, 326, 327; cart. no. 18 et 27; Enoki 1959: 36, n. 6]. Есть также сведения, что восточнее Файзабада имеется и некое место, называющееся Хафтал [Enoki 1959: 36, n. 6], однако в подробнейшем описании Каттагана и Бадахшана Маулави Бархан ал-дин Хана (данные на 1922 г.), содержащем, в частности, реестр всех населенных пунктов этих областей, ни населенный пункт, ни район с этим или близким по звучанию названием, не представлен [Koshkaki 1979]. Оба топонима, Яфтал и Хафтал, правомерно связывать с именем эфталитов.

Сообщаемые Сюань-Цзянем сведения о стране Химатала свидетельствуют, что речь идет об урбанизированной стране, а никак не о захолустном горном районе. Об этом говорит и значительная площадь, которую занимает эта страна, и упоминание, что здесь располагалась древняя страна Тухоло, и что правитель этой области подчинил много других стран, а также тот факт, что в Химатале имелись десятки городов. Все выглядит значительно естественнее и проще, если перед нами — описание страны, в раннекушанское время известной как княжество Гуйшуань (Кушания). Может ли представлять какую-либо сложность при этом локализация упомянутого Сюань-Цзянем места Ки-ли-се-мо? Думается, что нет. Если фонетически правомочно отождествление этого имени с именем Ишкашима, как это делает Сент-Мартен, то, думается, не должно вызывать возражений и сопоставление Ки-ли-се-мо с Ишкамишем — сравнительно крупным населенным пунктом и одноименной небольшой долиной в восьмидесяти с небольшим километрах юго-западнее Кишма. В этой связи отметим, что на территории города Ишкамиш и в его окрестностях зафиксированы крупные многослойные городища [Ball, Gardin 1982: 128, 129, no. 446, 447; Gardin, Lyonnet 1980: pl. XI, no. 386—389, 398]. Городище, расположенное на северо-восточной окраине этого города, существовало, в частности, в раннем средневековье [Ball, Gardin 1982: 128, no. 446].

По всей видимости, исследователям, обращавшимся ранее к описанию Химаталы у Сюань-Цзяня, характеристика этой области как «древней страны Тухоло» и данные о значительности ее размеров казались по каким-то причинам нелепицей. Однако, на наш взгляд, такая позиция несправедлива. Думается, что скорее спорны предлагаемые идентификации Ки-ли-се-мо как Ишкашима или Кишма, чем свидетельство нашего источника о значительных размерах Химаталы и указание на ее особую роль в истории древнего Тохаристана, указывающие, что перед нами страна, в раннекушанское время известная под наименованием Кушания (Гуйшуань).

2. Тохаристан в узком смысле (согласно «Таньшу»). **О-хоан, Хоана и Хохон-Хахан.** В раннесредневековой китайской хронике «Таньшу» (гл. XLIII/В) среди других среднеазиатских губернаторств, образованных в 661 г., упоминается и губернаторство Юэчжи со столицей в городе О-хоан [Chavannes 1903: 67, n.] или А-хоан [Ibid.: 274]. Имя этого города, по нашему мнению, правомочно сопоставить с упомянутым у Птолемея городом Хоана в Бактрии, располагавшемся в верхнем течении Окса (Ptol. *Geogr.* VI, 11, 7). Согласно Э. Шаванну, О-хоан — то же самое, что и Варвализ, он же Кундуз. Г. Юль располагал этот город на месте Гхори и сопоставлял его имя с упомянутым у Сюань-Цзяня княжеством Хво [Yule 1873: 99]. Территория губернаторства Юэчжи

примерно сопоставима по площади с территорией раннесредневекового округа Тохаристан (именно округа, а не страны).

Необходимо отметить, что имя «Дася» (Бактрия-Тохаристан) фигурирует в этой же главе «Таньшу» лишь как название одного из 24 округов, из которых состоит это губернаторство [Chavannes 1903: 68, n.]. Информация эта также подтверждает гипотезу о существовании, помимо Тохаристана в широком смысле, и небольшого района — Тохаристана в узком значении.

Э. Шаванн, отождествляя О-хоан и Варвализ, не приводит никаких аргументов, будь то историко-географического характера или основывающихся на близости звучания имен. Если справедливо наше отождествление О-хоана (А-хоана) с птолемеевской Хоаной, то, вероятно, предпочтительнее отождествления этого города с Варвализом были бы поиски его на месте или в непосредственной близости от современного кишлака Хохон, Хахан — Khāhān, Qal'a-ye Khāhān, Kwāhān [Koshkaki 1979: 14, 15, 207, 329, 335]. Отметим, что второе «х» в этом имени — это немое «h», которое в разговорном таджикском языке часто опускается, а это еще больше сближает имя данного населенного пункта с О-хоаной и Хоаной. Кишлак Хохон/Хахан расположен на левом берегу реки Пяндж, на границе Рага и Дарваза. Археологические разведки в этом районе, как свидетельствует «Каталог археологических памятников Афганистана», еще не проводились [Ball, Gardin 1982: 297, 559]. На то, что наше предположение справедливо, помимо фонетической близости и соответствиям в локализации этих пунктов, указывает и добавление к имени этого кишлака слова «кала» — «крепость» [= «городище»], а также то, что на некоторых старых картах на этом месте под именем Хохон обозначены развалины. Если столица существовавшего недолгое время китайского губернаторства Юэчжи находилась на месте современного кишлака Хохон, то это является еще одним свидетельством той значительной роли, которую играли восточные районы Тохаристана в доисламской истории этой страны. Локализация же птолемеевской Хоаны на месте кишлака Хохон, в свою очередь, могла бы послужить доказательством, что на карте Птолемея под верховьями Окса обозначены именно верховья реки Пяндж. Окс, согласно Птолемею, имеет меридиональное направление в своем верхнем течении. На обоих берегах этого, довольно длительного по протяженности отрезка у Птолемея помещено четыре города вместе с Хольбисиной (Χολβισινα) (Ptol. *Geogr.* VI, 11, 1; 7; 12, 5 = Ропса 1971: 24, 28, 35). Этот момент — направление Окса с юга на север в его верховьях, согласно карте Птолемея, — особо подчеркивает П. Бернар. При этом он приходит к выводу, что под верховьями Окса Птолемей имел в виду Кокчу [Bernard, Francfort 1978: 5—9].

По нашему мнению, П. Бернар, безусловно, прав, полагая, во-первых, что Птолемей не случайно и безошибочно изобразил верховья Окса как поток, текущий в меридиональном направлении с юга на север, и, во-вторых, что сопоставление этого участка реки с Вахшем невозможно. Однако река Кокча значительно менее полноводная и меньшая по протяженности, чем Пяндж выше слияния этих двух рек. О важности стран, расположенных в верхнем течении р. Пяндж, выше впадения в него Кокчи, в истории Центральной Азии в последние века до нашей эры — первые века нашей эры свидетельствуют данные китайских анналов. Согласно последним, именно здесь располагались два из пяти княжеств, которые составляли захваченную юэчжами Дася (Бактрию), в частности ябгу Хюми (Цзябей), отождествляемое различными исследователями с Ваханом. Нам представляется более вероятным, что под верховьями Окса Птолемей имел в виду Пяндж, который на значительном по протяженности участке пересекает Припамирье именно в меридиональном, с юга на север, направлении. В любом случае, русло Пянжда не менее меридиональное, чем Кокча.

Кроме Хоаны, Птолемей помещает на берегу Окса, в его верховьях, город Сурагана и еще выше — город Фратруа. Если локализация последнего населенного пункта остается загадкой, то город Сурагана Σουραγανα (Ptol. *Geogr.* VI, 11, 7) [ср.: Мандельштам 1957: 152], расположенный у Птолемея как раз посередине меридионального отрезка Окса, можно сопоставить с известным уже в IX в. названием области Шугнан, производным от < ~ *Σουγανανα. Вопрос, какой именно приток отождествлял Птолемей с истоками Окса, важен и в связи с проблемой определения восточной границы между Бактрией и Согдом, поскольку таковой, согласно античным авторам, в том числе Птолемею, был именно Окс.

Все вышесказанное служит свидетельством в пользу локализации княжества Гуйшуан-Кушания в восточной части Бактрии-Тохаристана, примерно в районе современной провинции Тохар на севере Афганистана. Это, в свою очередь, подтверждает нашу атрибуцию кочевников, оставивших могильник Ксиров в современном Дангаринском районе Южного Таджикистана, как юэчжей, поскольку именно эти районы примыкают непосредственно с севера к землям упомянутого ябгу Гуйшуань-Кушания. Сами юэчжи отождествляются нами, хотя и с меньшей уверенностью, с оговорками, с тохарами античных письменных источников.

Библиография

- Беленицкий А. М.* Историко-географический очерк Хутталя с древнейших времен до X в. н. э. // МИА. № 15. 1950.
- Бичурин (Иакинф) Н. Я.* Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. М.; Л., 1950.
- Гафуров Б. Г.* Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М., 1972
- Гумилев Л. Н.* Эфталиты и их соседи в IV в. // ВДИ. 1959. № 1.
- Денисов Е. П.* Загадочные тохары // Памир. 1989. № 12.
- Денисов Е. П.* Изучение памятников античного времени на территории Дангаринского района // АРТ. XXIV. 1993.
- Мандельштам А. М.* Материалы к историко-географическому обзору Памира и припамирских областей с древнейших времен до X в. н. э. // Труды ИИАЭ АН Таджикской ССР. Т. LIII. 1957.
- Ставиский Б. Я.* Хутталь в сообщениях китайских путешественников Сюань-Цзяна и Хой-Чао // ИООН АН Таджикской ССР. Вып. 14. 1957.
- Ball W., avec la coll. de J.-C. Gardin.* Archaeological Gazetter of Afganistan / Catalogue des Sites Archéologiques d'Afghanistan. Т. I—II. Paris, 1982.
- Bernard P., Francfort H.-P.* Études de géographie historique sur la plaine d' Aï Khanoum (Afghanistan). Paris, 1978.
- Chavannes E.* Documents sur les Tou-kiue [Turcs] occidentaux. St.-Petersbourg, 1903.
- Deguignes M.* Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mogols et des autres Tartares occidentaux avant et depuis Jesus Christ jusqu'a present. Т. I—IV. Paris, 1756—1758.
- Denisov E. Ch'i-lien, Mao-Mond, Masken aus den Kurganen von Pazyryk und die Yüetschi/Tocharer — zur Einordnung eines Steinsiegel-Intaglios aus dem Beškent-Tal in Süd-Tadžikistan // AMI. Bd. 28 (1995—1996). 1997.*
- Denisov E. P., Grenet F.* Boucles d'oreilles en or a images de coqs découvertes en Bactriane // SI. Т. 10. 1981.
- Enoki K.* On the Nationality of the Ephthalites // MRDTB. No. 18. 1959.
- Fuchs W.* Huei-ch'ao's Pilgerreise durch Nordwest-Indien und Zentral-Asien um 726 // SPAW. XXX. 1938.
- Gardin J.-C., Lyonnet B.* La prospection archéologique de la Bactriane orientale (1974-1978): Premiers resultants // Mesopotamia. XIII—XIV (1978—1979). 1980.
- Ghirshman R.* Les Chionites-Hephthalites. Le Caire, 1948.
- Hiouen-Thsang.* Mémoires sur les Contrées Occidentales traduit du Sanscrit en Chinois en l'an 648 par Hiouen Thsang et du Chinois en Français par M. S. Julien. Т. II. Paris, 1858.
- Koshkaki M. B.al-din Kh.* Qataghan et Badakhshân // Description du pays d'après l'inspection d'un ministre afghan en 1922. Т. I. Paris, 1979.
- Marquart J.* Eranšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac'i. Berlin, 1901.
- Ronca I.* Claudii Ptolemaios. Geographie 6.9—21: Ostiran und Zentralasien. Т. I. Rom, 1971.
- Richthoffen F. F. von.* China. Ergebnisse eigener Reise. Bd. I. Berlin, 1877.
- Saint Martin V. de.* Fragments d'une Histoire des Arsacides. Ouvrage posthume. Т. II. Paris, 1850.
- Saint Martin V. de.* Mémoire analytique sur la carte de l'Asie Centrale et de l'Inde // *Hiouen-Thsang.* Mémoires sur les Contrées Occidentales traduit du Sanscrit en Chinois en l'an 648 par Hiouen Thsang et du Chinois en Français par M. S. Julien. Т. II. Paris, 1858.
- Windekens A. J. van.* Zur Erklärung der geographischen Benennung Himatala bei Huan-Tsang // AOr. 14. 1943.
- Yule H.* Notes on Hwen Thsang's Account of the Principalities of Tokharistan in which some Previous Geographic l'Identifications are Reconsidered // JRAS. NS. Vol. VI. 1873.
- Yule H.* The Geographie and History of the Upper Waters of the Oxus // *Wood J.* Journey to the Source of the River Oxus. Karachi, 1976.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ
В «ДЕЯНИЯХ» АММИАНА МАРЦЕЛЛИНА

Среди многочисленных известий об Иране, содержащихся в сочинении римского историка IV в. Аммиана Марцеллина, известном под названием «Res Gestae» («Деяния»), важное место занимает информация о географии этой страны. В основном эти сведения сосредоточены в XXIII книге, где имеется пространственный экскурс, посвященный Персии (под которой автор «Деяний» понимал всю известную ему территорию Азии к востоку от Евфрата) (Amm. Marc. XXIII, 6, 1—84). Часть этого экскурса составляет характеристика среднеазиатских областей, локализуемых Аммианом на территории Персии: Парфии, Маргианы, Бактрии, Согдианы, страны саков и Скифии.

Необходимо отметить, что географическое описание той или иной области Персии (как и других описываемых им стран), как было установлено еще В. Гардтхаузенем [Gardthausen 1873: 512], построено Аммианом по единой схеме: 1) географическое положение страны; 2) плодородие; 3) реки; 4) города. К этому следует также добавить, что в ряде случаев (в зависимости от особенностей описываемой территории) Аммиан добавляет в описание названия гор.

Кроме того, В. Гардтхаузену принадлежит еще одно важное наблюдение, согласно которому, подобный схематизм обычно обнаруживается в современных Аммиану латинских географических справочниках и перечнях провинций [Gardthausen 1873: 512, 524]. Это замечание играет в данном случае ключевую роль, поскольку (в отличие от традиционной точки зрения) позволяет утверждать, что в качестве главного источника Аммиан использовал не сам труд Птолемея, а лишь составленное на его основе латинское географическое руководство. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Первая область Средней Азии, описанная Аммианом, — это **Парфия**. Географической характеристике Парфии историк посвящает лишь один параграф (Amm. Marc. XXIII, 6, 43). Он отмечает, что парфяне обитают севернее персов, и называет шесть наиболее значительных, по его мнению, городов Парфии — Энунию (Enunia), Мезию (Moesia), Харакс (Charax), Апамию (Aramia), Артакану (Artasana) и Гекатомпил (Hecatompylos), а также протекающую здесь реку Хоатр (Choatres). Все без исключения названные Аммианом города упоминает и Птолемей (Οἰουνία, Μυρία, Χάραξ, Ἀπάμεια, Ἀρτάκανα, Ἑκατόμυλος βασιλείου) (Ptol. Geogr. VI, 5), однако у последнего их упомянуто не 6, а 25. Заслуживает внимания и упоминание Аммианом о реке Хоатре, названия которой Птолемей в описании Парфии не приводит.

Обращает на себя внимание еще одна деталь. В начале описания Парфии Аммиан подчеркивает, что парфяне обитают в «земле снегов и инея», а завершает он этот отрывок описанием «диких и воинственных» нравов парфян, явно обусловленных суровой природой Парфии. В том же ключе описывает Парфию Страбон: он тоже вначале отмечает бедность этой гористой, по его мнению, страны, а затем говорит о воинственности и дикости ее жителей (Strabo XI, 9, 2). Известно, что данные Страбона (и, видимо, всех более поздних античных авторов) о Парфии основывались на сведениях Аполлодора из Артемиды (о чем упоминает и сам Страбон (Strabo XI, 9, 1) [Münzel 1894; Drijvers 1998]). В связи с этим, можно предположить, что при характеристике географии Парфии Аммиан следует традиции Аполлодора.

Данные о географии Парфии дополнены у Аммиана информацией о расстоянии от Гекатомпила до Каспийских Ворот. Историк оценивает его в 1040 стадий (Amm. Marc. XXIII, 6, 43). Происхождение этих сведений не вполне ясно. Протяженность пути от Гекатомпил до Каспийских Ворот у Аммиана отличается от данных, приводимых в наиболее вероятных (по крайней мере, из числа известных нам) из его возможных источников (сочинениях Страбона, Эратосфена, Аполлодора Артемидского, Плиния).

Открытым остается и вопрос о причинах отсчета расстояния от Каспийских Ворот до Гекатомпил по морскому побережью. Никто из авторов, кроме Аммиана, не использует такой способ определения указанного расстояния. Таким образом, вопрос об источниках Аммиана в данном случае решить окончательно не представляется возможным.

При описании **Маргианы** (Amm. Marc. XXIII, 6, 54) Аммиан возвращается к традиционной для себя схеме. Его информация о Маргиане носит крайне сжатый характер и ограничивается лишь общими замечаниями о пустынности этой страны вследствие недостатка воды и о малом количестве городов, из которых историк называет Ясоний (Jasonion), Антиохию (Antiochia) и Нисею (Nisea).

Эти же наименования мы встречаем и у Птолемея (соответственно Ἰασόνιον, Ἀντιόχεια Μαρυιανή и Νισαία), однако в его списке присутствуют названия еще шести городов (Ptol. *Geogr.* VI, 10).

Более подробно, но в соответствии с приведенной выше схемой, автор описывает **Бактрию** (Amm. Marc. XXIII, 6, 55—58). Сведения о географическом положении Бактрии (§ 55—56) Аммиан дополняет краткой информацией об истории этой страны: «бактрийцы, народ некогда воинственный и могущественнейший и всегда враждовавший с Персией, пока те не покорили все соседние народы и не распространили на них своего имени. В древние времена здесь правили цари, страшные даже для Аршака» (Bactriani, natio antehac bellatrix et potentissima Persisque semper infesta antequam circumscitos populos omnes ad dicionem gentilitatemque traheret nominis sui, quam rexere veteribus saeculis etiam Arsaci formidabiles reges). Описание Аммианом бактрийцев явно перекликается с данными Ктесия, считающего бактрийцев многочисленным и храбрым народом. Это дает основание предполагать, что сведения Аммиана о бактрийцах отчасти восходят к Ктесию.

Кроме того, историк вставляет в географическое описание Бактрии также фразу о том, что «бактрийцам подчиняются многие народы, первыми из которых являются тохары» (gentes isdem Bactrianis oboediunt plures, quas exsuperant Tochari: Amm. Marc. XXIII, 6, 57). Подобных сведений (т. е. информации о покоренных или иных проживающих на описываемой территории народах) о других областях Персии Аммиан не сообщает. Параллель этому месту из сочинения Аммиана можно найти у Птолемея, упоминавшего, кроме многих прочих, «великий народ тохаров» (Τόχαροι μέγα ἔθνος) как проживающий на территории Бактрианы (Ptol. *Geogr.* VI, 11).

Все без исключения названия рек и городов, приводимые Аммианом, встречаются и у Птолемея (Ibid.). Однако, как и в предыдущих случаях, список Птолемея гораздо полнее, нежели перечень Аммиана. У последнего отсутствует, например, упоминаемая Птолемеем река Даргид (Δάργιδος), а также большинство названий бактрийских городов (в списке Птолемея их 17, в то время как у Аммиана — всего 5).

Особый интерес представляет § 59, посвященный описанию **Согдианы**. Приведем его содержание полностью: «<текст испорчен>...у самой подошвы гор, называемых Согдийскими. В их земле протекают две реки, вполне удобные для судоходства: Араксат и Димас, которые стремительно стекают через горы и долины на покрытую лугами равнину, образуя так называемое Оксийское озеро, имеющее большую протяженность в ширину и длину. Из городов известны Александрия, Киресхата и столица страны Дрепса» (Amm. Marc. XXIII, 6, 59). Упоминание Аммиана об Оксийском озере (Oxia palus) достаточно давно привлекает внимание специалистов. Это обусловлено главным образом тем, что в Оксийском озере некоторые исследователи видели первое и единственное в античной литературе упоминание о существовании Аральского моря [Herrmann 1914: 31]. Сторонники этой точки зрения исходят из того, что Аммиан приводит в данном случае независимую, новую по сравнению с Птолемеем информацию, поскольку у последнего Оксийское озеро образовывалось не Араксатом и Димом, а какими-то другими реками, стекающими с Согдийских гор (Ptol. *Geogr.* VI, 12). Однако, исходя из всего сказанного выше, такой вывод представляется ошибочным. Аммиан при описании Согдианы также не был самостоятелен, но целиком и полностью зависел от материала своих источников. В связи с этим, гораздо более обоснованной представляется интерпретация данного отрывка И. В. Пьянковым. Согласно его мнению, Оксийское озеро Аммиана есть не что иное, как Оксианское озеро Птолемея, а расхождения между данными Птолемея и Аммиана исследователь относит на счет небрежного и вольного обращения Аммиана Марцеллина со своими источниками [Пьянков 1997: 274—275]. Еще раньше подобное мнение высказывал Дж. Томсон, считавший, что Аммиан не имел никакого представления о существовании Аральского моря, но что он «просто наделяет большими размерами птолемеёво озеро на Оксе» [Томсон 1953: 501]. Относительно приведенного Аммианом Марцеллином перечня согдийских городов следует отметить, что названия всех их встречаются у Птолемея (Κυρέσχατα, Δρέψα μετρόπολις, Ἀλεξάνδρεια), называющего, правда, и ряд других городов Согдианы (Оксиану, Маруку, Холбисину, Трибактру, Индикомордану) (Ptol. *Geogr.* VI, 12). При этом не совсем понятно, какая именно Александрия имеется в виду у Аммиана, поскольку Птолемею, к которому явно восходят сведения римского историка, называет две Александрии: Оксийскую (Ἀλεξάνδρεια Ὀξειανή) и Крайнюю (Ἀλεξάνδρεια ἐσχάτη) (Ibid. VI, 12).

Описание **страны саков** у Аммиана в общих чертах также согласуется с данными Птолемея. Последний особо указывает, что «землей саков владеют кочевники, населяющие ущелья и пещеры и не имеющие городов» (Ibid. VI, 13). В том же ключе выдержано и сообщение Аммиана Марцеллина, согласно которому саки — «дикий народ, населяющий невозделанную землю, пригодную лишь для скотоводства, и потому не имеющие городов» (XXIII, 6, 60). Заслуживает внимания упоминание

Аммианом Каменной башни (Lithinon pyrgon), название которой в том же качестве (важного пункта на пути в земли серов) неоднократно упоминает и Птолемей (Ptol. *Geogr.* I, 11; 12; VI, 13).

По уже известной нам схеме составлено Аммианом описание **Скифии** (Amm. Marc. XXIII, 6, 61—63). У Птолемея даны отдельные описания для Скифии до Имавских гор и Скифии за Имавскими горами; Аммиан же не использует такого разделения. Кроме того, последний здесь в очередной раз делает вставку (§ 62), заимствуя материал для нее (как и в § 53) у предшественников. В данном случае речь идет о племенах яксартов и галактофагов, которые упомянуты у Птолемея, а о галактофагах неоднократно говорит Страбон, опираясь на данные целого ряда более ранних авторов — Гомера, Эратосфена, Аполлодора (Strabo VII, 3, 6; 7, 9). То, что Аммиан, скорее всего, использовал данные Страбона или его предшественников, следует из того, что информация о галактофагах у него, как и у Страбона, сопровождается цитатой из «Илиады». Список рек Скифии у Аммиана ограничен тремя наименованиями: Римм (Rhymmus), Яксарт (Iaxartes) и Даик (Daicus) (XXIII, 6, 63), которые приводит и Птолемей (Ptol. *Geogr.* VI, 14], хотя у последнего, как обычно, упоминается большее количество локализуемых на территории Скифии гидронимов. Важное для нас замечание содержится в той фразе, где наш историк перечисляет города Скифии: по его мнению, здесь имеется только три города: Аспабота, Хавриана и Сага (Amm. Marc. XXIII, 6, 63). У Птолемея же говорится, по крайней мере, о пяти городах (Ptol. *Geogr.* VI, 14—15).

Таким образом, анализ содержащихся в «Деяниях» Аммиана Марцеллина сведений о географии среднеазиатских областей показывает, что они представляют собой компиляцию, составленную по определенной схеме, с опорой, главным образом, на некий географический трактат, написанный, в свою очередь, на основе «Географии» Клавдия Птолемея. Следует также отметить весьма низкое качество представленных Аммианом данных, их несамостоятельный и устаревший ко времени создания им своего труда характер.

Библиография

Источники

Ammianus Marcellinus. Römische Geschichte. Lateinisch und Deutsch und mit einem Kommentar versehen von W. Seyfarth. Bd. 1—4. Berlin, 1968 — 1971; Аммиан Марцеллин. История / Пер. с лат. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни. Вып. 1—3. Киев, 1906—1908; СПб., 1996.

C. Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII. Vol. 1—5 / Ed. C. Mayhaff. Lipsiae, 1892—1897.

Claudii Ptolemaei Geographica. Vol. 1 — 3 / Ed. C. F. A. Nobbe. Lipsiae, 1843—1845.

Strabonis Geographica. Vol. 1—3 / Ed. A. Meineke. Lipsiae, 1904—1909; Страбон. География / Пер. Г. А. Стратановского. М., 1964.

Исследования

Пьянков И. В. Средняя Азия в античной географической традиции. М., 1997.

Томсон Дж. О. История древней географии. М., 1953.

Drijvers J. W. Strabo on Parthia and the Parthians // Das Partherreich und seine Zeugnisse. The Arsacid Empire sources and documentation. Beiträge des internationalen Colloquiums, eutin (27 — 30 Juni 1996). Stuttgart, 1998.

Gardthausen V. Die geographische Quellen Ammians // Jahrbücher für Philologie. Bd. 6. Leipzig, 1873.

Herrmann A. Iaxartes // RE. Hbd. 17. 1914.

Münzel. Apollodoros (58) // RE. Bd. 1. 1894.

К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ ПАМЯТНИКА КУЛИ-ЧОРУ

Памятник Кули-чору находится на территории Монголии, в 200 км на юго-восток от Улан-Батора и в 30 км на север от Дэлгэрхана. Его точные координаты — 46° 55' с. ш. и 104°33' з. д. Он также известен как памятник Ихе Хушоту и был неонакратно издан [Kotwicz, Samojlovič 1926; Clauson-Tryjarski 1972; Orkun 1938: 135—151; Малов 1959: 25—30; Tekin 1968: 257—258, 293-294; Болд 2000: 132—153].

Памятник Кули-чору не принадлежит прямо династии Ашина, но о его герое известно, что он возглавлял союз тардушей (КЃ E2: [..... isbara bil]gä küli čor tarduš bodunıy eti ayu olurtı), стал пожилым человеком еще при Эльтерише и умер в возрасте восьмидесяти лет (КЃ W3: [..... elteris] qaγan elintä qarıp ädgü äbiñä körti uluy küli čor säkiz on yaşar yoq boltı). Памятник ему, должно быть, был воздвигнут уже после сооружения монументов Кюль-тегину и Тоньюкуку, потому что в тексте встречаются фразы заимствованные из этих двух памятников. Мы не можем согласиться с Клосоном и Трыярским, предположившими, что в тексте памятника речь идет не об одном человеке, а о представителях трех поколений подряд, один за другим имевших то же имя Кули-чора [Clauson, Tryjarski 1972: 22—23]. По их мнению, жизнь и деятельность самого старшего Кули-чора (Uluγ Küli čor) излагаются в 1—3 строках памятника (КЃ W 1—3)¹.

[.....]n üçün [.....] čıqan tonyuquq atıy bermis [.....]

[.....]tduqta yügtürmis, işbara čıqan küli čor bolmis [...]I čor

[.....] [..... elteris] qaγan elintä qarıp äbiñä körti. uluy küli čor säkiz on yasap yoq boltı[ı.....]

«...дали имя Чыкан Тоньюкук

....когда мы возвысили, Ышбара Чыкан Кули-чор сделался ... Кули-чор Тоньюкук ...

...в государстве (Элтерис) кагана состарившись, хорошую вечную память увидел (заслужил?). Великий Кули-чор, прожив восемьдесят лет, умер...».

Жизнеописание второго Кули чура, по Клосону и Трыярскому, находится между 4-ой и 17-ой строками памятника (КЃ W 4—12, E 1—5).

[.....] özlüki boz at ärti kädım b[äñji?] alpı ärdämi anta kükädi türk bodunqa u[.....] γr1 čuluγan yaγıt(t)uqta² [küli čor] [.....]γ sančip ölürip oylın kisisin bulun qı[ltı]

[..... bu] az elig tutdı yer az [.....]rti küli čor kül bodun bäglär [.....]

[..... bi]lgäsin üçün alpın ärdämin [üčü]n q[azy]antı

[.....]lir işbara bilgä küli čor kisi [.....]

[.....] ärti sünüs bolsar čäriγ itär ärdi ab ablasar äram älä täg ärti³

[.....] [.....] sančdı káčändä tümät sükä sünüşdi⁴ küli čor oplayu tägip süsin [.....]

[.....] altı [.....] bes baliqda tört sü[ñüs] sünüşdükda küli čor oplayu tægip bulγayu [.....]

[..... tab]yačqa bunča sünüşüp alpın ärdämin üçün kü bunča tutdı [.....]

[..... işbara bilgä küli čor] oylın [kisis]in uduztuq[ı al]duqı⁵ [...]düki yer alduqı

[..... işbara bil]gä küli čor tardus bodunuy eti ayu olurtı [.....]

[.....]γ özlüki binip o[playu täge]p üç äriγ sančdı t[ümätkä?] sünüşdükda⁶ küli čor özlüki yağrān at binip [.....]

[.....] anta kerü barıp yinčü ögüzüg káčä tämir qarıyqa täzikkä täge sü[.....]jä qazyantı toquz oyuzqa yeti sünüs sünüşdükda [.....]ja tökdi⁷ qıtañ tat[abı.....]dä bes sünüs sünüşdükda⁸

¹ Древнетюркский текст мы цитируем по изданию Т. Текина, а русский перевод — по изданию С. Е. Малова.

² sayır çoluγan yaγıt(t)uqda: «When the Sayır Çoluγan became hostile...» [Clauson, Tryjarski 1972: 21, 29].

³ ärmäli tæg ärti: «he was like a swift horse (?)» [Clauson-Tryjarski 1972: 21, 29]; «he resembled a huge hawk (or, eagle?)» [Tekin 1968: 293].

⁴ káčändä tümän sükä sünüşdi [Clauson, Tryjarski 1972: 21].

⁵ [?qo]ntuqı [Clauson, Tryjarski 1972: 21].

⁶ tü[rgäş] bodun (?) e]tdükda: «After organizing the Türgäş people» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 29].

⁷ Tükädi: «came the perfection» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 29].

⁸ qıtan (sic!) tata[bi ?tapa xaγan sülä]dükda: «When Bilgä Xaγan campaigned against the Qıtañ and the Tatabı» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 29].

[küli č]or taq bilgäsi čabīsī ārti ¹ alpī bökāsi ārti
«...собственная серая лошадь была, его одежда, его геройство и мужество ... народу тюркскому...
Когда он (?) со своим доблестным семейством стал врагом, (Кули-)чур ... победил и убил, его сыновей,
его жен ... он пленил...
управлял государством. Земля ... Кули-чор тюркский народ и бегов...
...ради того, что он был мудрым сотоварищем по геройству и по добродетели
Ышбара Бильгя Кули-чор (?) люди (?)...
...Когда было сражение, он предводительствовал (управлял) войском, когда была охота (на зверей),
он был ... как (?)
...пронзил. В Кечине ... сразился. Кули-чор бросился в атаку; войско свое...
...в Бешбалыке, в четырех сражениях Кули-чор бросившись в атаку, смутившись
...столь много сражался с табгачами, по своему геройству и мужеству он столь много прославился
...своего сына ... отправленный ...
Бильгя Кули-чор управлял народом тардуш...
...на собственную (лошадь) севши, он бросился в атаку, пронзил трех мужей... В сражении Кули-чор
сел на собственную гнедую лошадь...
затем пойдя на запад и перейдя реку Жемчужную до Железных ворот и до тезиков (мусульман),
сража... приобрел; семь сражений дали токуз-огузам.
...разбежались табгачи, татабыйцы. После пяти сражений Кули-чор был таким сподвижником по
знанию и по военной доблести; он был героем и богатырем (его)».

Биография третьего Кули чора начинается с описанием его детства, потом упоминаются те
самые походы, о которых уже говорилось раньше, и, наконец, речь идет о его ранней смерти
(ст. 18—23, КС Е 6—11) и его похоронах (ст. 24—27; КС Е 12—13). [..... kü]li čor yeti yašīna yeg
ār[.....]rti ² [.....]yašīna [...]azīylīy toq[uz ār ö]lürti ³ [qar]luq yaγīt(t)uqda
Ätizdä ⁴ sünüşdükdä
[..... bilg]ä küli č[or] anta kisrā qarluqqa yām[ä idil? aqī]n binip oplayu tägip sanča idip toplu
önti ⁵ yama ayūtīp [.....]
[.....] sü sürti qarluquy káčgint[i] sīmad[ī] ⁶ qarluq tapa [.....]yalī barīp azu ār[än] yana ābiñä
sünüş kigürti qarluq atlantī anča sön ⁷
[.....q]arluq yāgrän armäkig ⁸ arqasın siyu urtī qarluq [n1...n2 turu...]ärtäbär ⁹ özi kälti sir erkin oylī
yegän čor kälti
[.....]yalī sülādi sünüşüp süsin sančdī elin altī oylīn kisisin bu[ln] ad[ī
ant]ay [b]asa ¹⁰ isbara bilgä küli čor [.....]
[.....]rūka tat[ar bul.....] ¹¹ ülūgi anča ārmis ārinč yaγīqa
yalīñus oplayu tägip opulu kirip özi qīsya kārgāk boltī
«К семи годам Кули-чора ... когда карлуки враждовали и сражались в Тезе: ...
Бильгя Кули-чор затем карлукам ... на лошадь сев, бросился в атаку, победил, лошадь погибла (?)

¹ küli čor ančağ bilgäsi čavušī ārti: «Küli: Čor was his Counselor and his Field Marshal...» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 29].

² küli čor yeti yašīna yāgār ölürti: «Küli: Čor at the age of seven killed a young wild female goat» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 29]; у Текина просто: «(Küli) Čor, when he was seven years old...» [Tekin 1968: 294].

³ toquz yašīna azīylīy toñuz ölürti: «At the age of nine he killed a wild boar» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 29]; Текин переводит это предложение как: «(When) ... he was ... years old, he killed nine ferocious men» [Tekin 1968, 294].

⁴ täzdä [Clauson, Tryjarski 1972: 22].

⁵ at u p l u önti: «When his horse was broght down (?), he got up» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 29]; по Текину: «...he stabbed and thrusted (the enemy)» [Tekin 1972: 294].

⁶ qarluqıy ičgintükin sančdī: «He routed the Qarluq until they submitted (?)» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 29], по Текину: «He granted a favor to the Karluk and did not destroy them» [Tekin 1968: 294].

⁷ «A little earlier» [Clauson, Tryjarski 1972: 29]; «At that time» [Tekin 1968: 294].

⁸ yāgrän ārmālig: «He hit the Qarluq chesnut swift (?) horse breaking its back» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 29]; «...the Karluk hit and broke the rump of his reddish-brown baren mare» [Tekin 1968: 294].

⁹ ältäbär [Clauson, Tryjarski 1972: 22].

¹⁰ qarluqıy sa[nč]yalī sülādi sünüşüp süsin sančdī ālin altī oylīn kisisin bulnađtī taγ üzä: «...he campaigned to rout the Qarluq. He fought and routed their army. He took their realm, and took their children and womenfolk into captivity over the mountains (?)» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 29].

¹¹ [..... ?s]ükä tusu bola[y]in tedi: «... he said “may I become a benefit to the army”» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 29].

еще сев (на другую) (?)

...войско он вел, карлуки ... к карлукам ... пойдя ... еще до (своего) дома довел войну, карлуки сели на лошадей; с таким войском...

гнедой ... карлуки ... карлуки ... Эльтебир сам пришел, пришел и его товарищ по делам из мужества, сын Эркина, Йугян-чур.

...мертвые его так были, к врагам он один бросился в атаку, вошел в масу войска и сам был задавлен до смерти».

И о похоронах и о поставлении памятника (ст. 24—27; КС Е 12—13, S 1—3):
[.....]n2 qay[an] inisi yäk čor tegin¹ [kälip] ulayu [tör]t tegin kälip isbara bilgä küli čoru yoylat(t)i bädizin bädizät(t)i olurt(t)i

[.....] üčü]n bu[.....] qazynti, artuq yilqiy igit(t)i

[.....]yäk čor t[egi]n kälti² tad[iqin?]] čoriñ oylı yegän čor kälti³ [.....]

[.....]in üčün bunča bodun qobsarıp yoyladı bän äzip b[iti]dim

[.....] bilmäs biligin biltükümün ödükümün bunča bitig bitidim

«... младший брат кагана ... Чур-тегин пришел, следом четыре тегина пришли, Ышбара Бильгя Кули-чора они погребли, устроили красивое здание и поставили (надписи ?) Для (?) этот ... приобрел; много скота [табунов лошадей. — М. Д.] воспитывал ... два тегина (принца) пришли ... сын чура ... Йигян-чур пришел. ... для, столько народа собравшись, погребли и здание устроили (?) ... не знает; его знание ... мое знакомое, свои наставления так я написал ... печаль...»⁴.

Хотя перевод Малова несколько устарел, из его текста также становится ясно, что наш памятник был поставлен в память только одного героя. Этот член древнетюркской знати умер после 732-го года, в возрасте 80 лет. Поскольку текст памятника Кули-чору имеет прямые связи с текстом монумента Кюль-тегину, он не мог быть поставлен раньше последнего. Из этого следует, что наш герой родился где-то в самом начале 50-х годов VI в. Ему было больше 30 лет, когда Эльтериш-кагану удалось восстановить Тюркский каганат, возраст вполне достаточный для того, чтобы иметь важную должность в империи. Самые активные годы его военной деятельности совпали с великим западным походом древних тюрков, а потом с неудачной борьбой за Бешбалык. Эти события происходили, когда нашему герою было примерно 60—65 лет.

Что же касается двух остальных Кули-чоров, то их просто не было. Вторая часть текста памятника начинается выражением *özlüki* (его конь) и продолжается перечислением заслуг покойного. Третья часть текста памятника, излагающая память о детстве главного героя начинается сказочным или мифологическим сюжетом о семилетнем мальчике уже ведущим себя как взрослый человек. В этом смысле мы можем согласиться с Клосоном и Трыярским, читающими эту фразу как *küli čor yeti yaşıña yägär ölürti* («когда ему было семь лет, Кули-чор убил дикую козу»); но можно принять и чтение Текина [..... kü]li čor yeti yaşıña yeg är[.....]rti. Хотя последний эту фразу полностью не перевел, мы можем дать такой перевод: «Когда ему исполнилось семь лет, Кули-чор (уже) стал наилучшим человеком (воином)». Следующая фраза еще яснее: [.....]yaşıña [...]aziylıy toq[uz är ö]lürti («Когда ему было [неизвестно сколько] лет, он убил девять диких людей»): это чтение и перевод по Текину. Если же прочитать: *toquz yaşıña aziylıy toquz ölürti* («когда ему было девять лет, он убил [дикого] кабана»), то в данном случае древнетюркское слово *aziylıy* («имеющий коренной зуб» или «имеющий бивень») больше соответствует переводу Клосома и Трыярского.

Против мнения Клосома и Трыярского о трех лицах по имени Кули-чор можно сослаться еще и на тот факт, что в нашем тексте не упомянута смерть других людей, кроме главного героя, к тому же у древних тюрков вообще не было принято, чтобы близкие родственники пользовались тем же именем.

Самая важная политическая заслуга Кули-чора заключалась в том, что он организовал и возглавил тардушей (*tarduš bodun*) на западе империи. Что касается востока империи, то В. Е. Войтову [1989], а потом и настоящему автору [Dobrovits 2000] удалось показать, что Онгинский памятник принадлежит одной ветви династии Ашина, основанной младшим братом Эльтериша, Досифу-ябгу. Правда, Войтов, следуя Клоусону [Clauson 1957], делает вывод о двух

¹ хаҕан иниси әл чор тегин: «...the younger brother of Bilgä Хаҕан, Prince Äl Čor...» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 30].

² tegin kälti [Clauson, Tryjarski 1972: 22].

³ *tarduš küli čoriñ oylı yegän čor kälti*: «Yegän Čor, the son of the Tarduš Küli: Čor, came» [Clauson, Tryjarski 1972: 22, 30].

⁴ Последней строки нет ни в издании Клосома и Трыярского, ни у Текина.

поколениях и трех персонажах, упомянутых в тексте памятника. В свою очередь, нам удалось определить три поколения в Онгинском памятнике: герой памятника — Bilgä İšbara Taṃṃan tarqan, отец которого в этом же тексте называется Eletmiš uabū, а в китайских летописях — Досифу. Старший брат героя носил титул İšbara taṃṃan čog uabū. Третье поколение — это сын покойного, имя или звание которого мы не знаем. Из текста известно, что отец героя, благодаря услугам, оказанным кагану, получил звание *шада* (O F6: täṃrikänka išig bertin teyin yarlıqamış. šad atıṃ anta bermiş). Нельзя согласиться с толкованием Войтова, согласно которому, отец героя, т. е. Досифу был лишен звания *ябгу* Капганом (Мочжо), который потом пожаловал ему титул *шада*. Можно утверждать, что звания *шад* и *ябгу* были равнозначными (I E 27 — II E 21: inim kül teḡin birlä eki šad birlä ölü yitü qazıantım). Из текста памятника становится ясно, что речь идет о восстании Кутлуг-чора, будущего Эльтериш-кагана (O F5: ba[sa] tabıaç[d]a yığıya tıg oṃuz ara yeti ärän uayı bolmiş. qanım ... täṃrikän eyin anta yoḡımış išig küčin [bermiş erti]). Памятник, по нашему мнению, датируется 740 г.¹ Из текста монумента Бильге-кагану следует, что *беги* телисов находились спереди (т. е. на восток) от престола (II S13: öṃrä tölis bäḡlär ara tarqan başlayu ulayu šadapit bäḡlär). Во главе их стоял ара tarqan, и представителем между ними и династией был восточный *ябгу* или *шад*. Следовательно, Онгинский памятник указывает, кто правил этими племенами. Однако сам монумент находился не на их территории. Впрочем, данный факт не столь важен, поскольку Онгинский памятник посвящен не *ябгу* телисов, а его младшему брату.

Согласно памятнику Бильге-кагану, тардушские *беги*, возглавляемые Кули-чором, пребывали сзади (т. е. на запад) от престола (II S 13: kisrä tarduṣ bäḡlär kül čog başlayu ulayu šadapit bäḡlär). Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что памятник Кули-чору располагался где-то около центра тардушей. Древнетюркские надписи и китайские источники свидетельствуют о том, что сам Могилян (будущий Бильге-каган) с 699 по 716 г. был *шадом* тардушей, получив эту должность после своего дяди Мочжо (I. E 17; II. E 15; LMT, 163, 218). На этой территории нет памятника члену династии, потому что *шады* тардушей стали каганами.

Конечно же, сам Кули-чор не был рядовым тюркским кочевником по отношению к династии Ашина. Он сам был племянником (čıqan) Эльтерис-кагана, возможно, членом племени Ашидэ и носил тот же титул «Тоньюкук» (čıqan tonyuquq atıṃ bermiş), что и известный деятель тюркской истории, помощник и советник Эльтериш-кагана Ашидэ Юаньчжен или Тоньюкук (toṃuquq)².

Библиография

- Болд Л. Орхон бичгийн дурсгал, Уланбаатар, 2000.
 Войтов В. Е. Онгинский памятник, проблемы культуроведческой интерпретации // СТ. 1989. № 3.
 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.; Л., 1959.
 Кляшторный С. Г. Тоньюкук — Ашидэ Юаньчжен // Тюркологический сборник. К шестидесятилетию Андрея Николаевича Кононова. М., 1966.
 Кляшторный С. Г. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках // Тюркологический сборник 1977. М., 1981.
 Clauson G. The Ongin Inscription // JRAS. 1957.
 Clauson G. Some notes on the Inscription of Tocuquq // Bibliotheca Orientalis Hungarica. XVII. Budapest, 1971.
 Clauson G., Tryjarski E. Inscription of Ikhe Khushotu // Rocznik Orientalistyczny. 34. Warszawa, 1972.
 Dobrovits M. Ongin yazıtın tahlile bir deneme // Tүrk Dili Araıutırmaları Yılları. Belleten. 2000.
 Kotwicz W., Samojlovič A. Le monument turc d' Ikhe-Khuchotu en Mongolie centrale // Rocznik Orientalistyczny. 4. Warszawa, 1926.
 Orkun H. N. Eski Tүrk yazıtları. I. Эстанбул, 1938 (reprint: Ankara, 1986).
 Rybatzki V. The Titles of Tүrk and Uighur Rulers in the Old Turkic Inscriptions // CAJ. 44. 2000.
 Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington, 1968.

¹ Согласно Клоусону, его дата — 731 г., Войтову — 728 г.; Рыбацкий же полагает, что этот монумент принадлежал уйгурам [Rybatzki 2000: 209—213].

² См. о нем: Кляшторный 1966.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ АНТИОХИИ МАРГИАНСКОЙ (ГЯУР КАЛЫ СТАРОГО МЕРВА)

Древний Мерв — центр региона, известного в греко-римских письменных источниках под названием Маргиана (ныне территория Туркменистана), относится к числу хорошо укрепленных мегаполисов эллинистического, парфянского и сасанидского периодов. В ахеменидскую эпоху здесь также располагался центр оазиса, отождествляемый с городищем Эрк Кала, которое позднее становится цитаделью города, выросшего в эллинистическое время и известного сейчас под названием Гяур Кала.

Свидетельства греко-римских письменных источников, касающиеся Мерва, относительно скудны и не позволяют в полной мере восстановить картину политической истории региона [Кошеленко, Губаев, Бадер, Гаибов 1994]. Среди них наибольший интерес представляют сообщения Квинта Курция Руфа, Страбона и Плиния Старшего о строительной деятельности и основании городов в Маргиане. При всей ценности этих сообщений, их интерпретация не всегда однозначна, что порождает острые дискуссии. Археологические свидетельства, безусловно, подтверждают присутствие греков в Маргиане, хотя и не решают вопрос о том, был или не был здесь сам Александр Македонский. Мервский оазис действительно был окружен стеной, изучавшейся сначала ЮТАКЭ [Вязигин 1949: 260—275] и сравнительно недавно Итальяно-Российско-Туркменским проектом [Bader, Gaibov, Koshelenko 1995; Bader, Callieri, Khodzhaniyazov 1998], что подтверждается сообщениями древних авторов.

Другим свидетельством являются оборонительные сооружения Эрк-Калы и Гяур Калы, до сих пор производящие грандиозное впечатление своими размерами. На Эрк Кале в 1963—1979 гг. был осуществлен гигантский разрез шириной 2 м, длиной в нижней части около 75 м (вместе с оплывами — 90 м) и глубиной 25,5 м. З. И. Усманова выделила четыре основных периода постепенного возведения стен. В периодах I и IV отмечены существенные перестройки, обозначенные как IA и IVA. Эллинистический период (II) представлен пахсовой стеной высотой 2,5 и шириной 13 м, возведенной на верхней части стены периода I. С учетом этой надстройки сохранившаяся высота стены составила 18 м. Начало перестройки ахеменидской стены соотнесено автором со строительной деятельностью Антиоха, сына Селевка I. К следующей, парфянской эпохе З. И. Усманова отнесла стену III, возведенную поверх остатков стен I и II, а также массивную башню, пристроенную к внешней грани ахеменидской и эллинистической стен [Усманова 1989: 21—61]. Пристройка башни непосредственно к ахеменидской стене, отсутствие каких-либо датирующих материалов парфянского периода и параллель с монолитными башнями Ай-Ханум позволяют выразить сомнение в ее датировке и интерпретации. Сооружение башни следует относить, по крайней мере, к началу селевкидского периода или даже ранее — ко времени прихода греков в Маргиану, т. е. к последней четверти IV в. до н. э.

В 1957—1958 гг. проводилось первое археологическое изучение фортификации в юго-западном углу городища Гяур Кала, предпринятое другим отрядом ЮТАКЭ АН Туркменистана, возглавляемым Ш. Ташходжаевым. Раскоп заложен на месте уже существовавшего разреза, сделанного техником Батмановым в начале XX в. с целью ввода воды для сельскохозяйственных работ на территории городища. В процессе раскопок было выделено 4 разновременных стены. Сооружение первой стены отнесено к первой четверти III в. до н. э. и связано со строительной политикой Антиоха (280—261). Возведение второй стены предположительно отнесено к раннепарфянскому периоду, к правлению Митридата II (123—87). Третья стена предположительно датирована позднепарфянским периодом. Эта стена подверглась перестройке при Шапуре I (240—272), в процессе которой она надстраивается вверху, а внизу, на накопившихся намывных отложениях к ней пристраивается «цоколь треугольной формы». Строительство четвертой и последней стены, согласно результатам исследований ЮТАКЭ, следует относить к VI в., к правлению Хосрова I (531—579). В строительстве и использовании этой стены выделено два этапа, представленные перестройками [Ташходжаев 1963: 95—117].

В 1997 г. исследования оборонительных сооружений в юго-западном углу городища Гяур Кала были возобновлены Международным Мервским проектом. Результаты исследований IMP существенно дополнили и уточнили ранее полученные данные. Последовательность возведения и

перестроек оборонительных сооружений Гяур Калы в настоящее время можно представить следующим образом.

Фаза 1 (рис. 1). Для возведения первой стены на древней дневной поверхности сооружается платформа высотой не менее 3,50 м. Платформа выступала перед стеной на расстоянии около 12 м. Верхняя ее поверхность постепенно понижалась от основания стены ко рву, который должен был располагаться перед платформой. По-видимому, перед рвом наружный край платформы резко понижался. Изнутри города основание стены оформлено в виде 5—6 (?) ступеней, спускавшихся на расстояние 4,50 м, две верхние из них были шириной 0,75 м и высотой 0,25—0,30 м. Ступенчатое основание стены можно интерпретировать как нижний этаж, предназначенный для более эффективного сообщения с защитниками города на втором этаже и передвижения вдоль стены, возможно, к лестнице, позволявшей подняться на верхние этажи. Высота стены, построенной в основном из сырцовых кирпичей, составляла 10 м от уровня платформы. Наверху стены находилась стрелковая дорожка шириной 1,10 м с парапетом высотой 2 м, тонкая стенка которого построена только из одного ряда кирпичей. Для прочности парапет был укреплен изнутри двумя контрфорсами, расстояние между которыми 2 м. Около северного контрфорса обнаружена, возможно двухступенчатая, амбразура шириной 0,80 м, располагавшаяся на высоте 1,20 м от пола, явно предназначенная для стрельбы по противнику. Еще одна амбразура, по-видимому, находилась к югу от южного контрфорса. Такое сочетание амбразур и контрфорсов свидетельствует о том, что парапет был оформлен мерлонами. Основание верхней стрелковой дорожки лежало на арочных перекрытиях помещений второго этажа, располагавшихся друг за другом перпендикулярно направлению стены. На раскопанном участке второго этажа первой стены выявлено три таких помещения шириной 1,40—1,50 м, высотой не менее 2,30 м, заглубленных внутрь стены на 1,50 м. На полу одного из раскопанных помещений найдено большое количество боеприпасов, представленных разного размера ядрами для пращи и катапульт, что предполагает использование помещений в качестве хранилищ. Позади арочных помещений находилась дорожка шириной 1,10—1,20 м, по которой защитники города могли попадать из одного помещения в другое и передвигаться вдоль стены. Отсутствие бойниц в помещениях второго этажа обороны и, наоборот, присутствие в этих помещениях большого количества боеприпасов предполагает, что для фронтального обстрела противника основная роль на этом участке обороны отводилась верхнему этажу куртин.

Впервые при археологических исследованиях в Средней Азии открыта на полную высоту трехэтажная стена (рис. 3; 4) высотой вместе с платформой около 13,5 м, построенная по канонам военной архитектуры, засвидетельствованном Филоном Византийским позднее ее строительства во второй половине III в. до н. э. Сравнение этой, возводившейся с использованием только сырца, стены с каменными стенами городищ эллинистического времени в Малой Азии показывает очень большое сходство в ряде оборонительных элементов куртин. В частности, очень близкие размеры и аналогичное оформление мерлонами, поддерживаемыми у левого края контрфорсами, засвидетельствованы у парапета, обнаруженного в секторе Н-Ж в оборонительной стене городища Каунас. Сочетание тактических и конструктивных черт в совокупности с другими источниками позволило А. МакНиколлу датировать сооружение этого сектора оборонительных сооружений Каунаса серединой или концом IV в. до н. э. Арочные помещения на втором этаже первой стены Гяур Калы также находят параллели в куртинах каменных оборонительных стен городищ Перге и Сиде, датируемых МакНиколлом не ранее 225 г. до н. э. Использование арок в куртинах отмечалось Филоном Византийским, использовавшим как модель фортификацию на острове Родос. МакНиколл, упоминая этот факт, а также то, что большинство стен Родоса разрушилось при землетрясении 227 г. до н. э., предлагает *terminus post quem* для куртин с использованием арок, описанных Филоном [McNicol 1997].

Все показанные выше архитектурные датированные параллели подтверждают сообщения письменных источников о том, что первая стена Гяур Калы была построена при Антиохе I Сотере. Не исключено, что строительство было начато вскоре после того, как Антиох стал соправителем своего отца Селевка I и начал управлять Верхними провинциями Селевкидской державы в 293 г. до н. э.

Фаза 2 (рис. 2). На втором этапе селевкидская стена кардинально перестраивается. Помещения второго этажа и располагавшаяся за ними дорожка заполняются глиной и сырцовыми кирпичами до уровня пола верхней стрелковой дорожки первой стены. Цель этой закладки — сооружение прочного и более широкого основания для пола верхней стрелковой дорожки второй стены. Ширина дорожки на этом этапе достигает 1,75 м.

Парапет селевкидской стены к югу от южного контрфорса срезается и заново надстраивается уже не в один, а в два ряда кирпичей, достигая ширины 0,80 м и высоты 2,40 м от уровня пола стрел-

ковой дорожки второй стены. Контрфорсы на этом участке, расположенном ближе к угловому бастииону, более не используются. Уровень пола поднимается над самым первым уровнем пола верхней стрелковой дорожки первой стены на 0,30 м. Однако расположенные к северу от перестроенного участка селевкидские мерлоны продолжают использоваться в прежнем виде и лишь заново оштукатуриваются. Между саманными промазками пола обнаружено скопление необожженных ядер для пращи, по-видимому, относящихся к этому этапу.

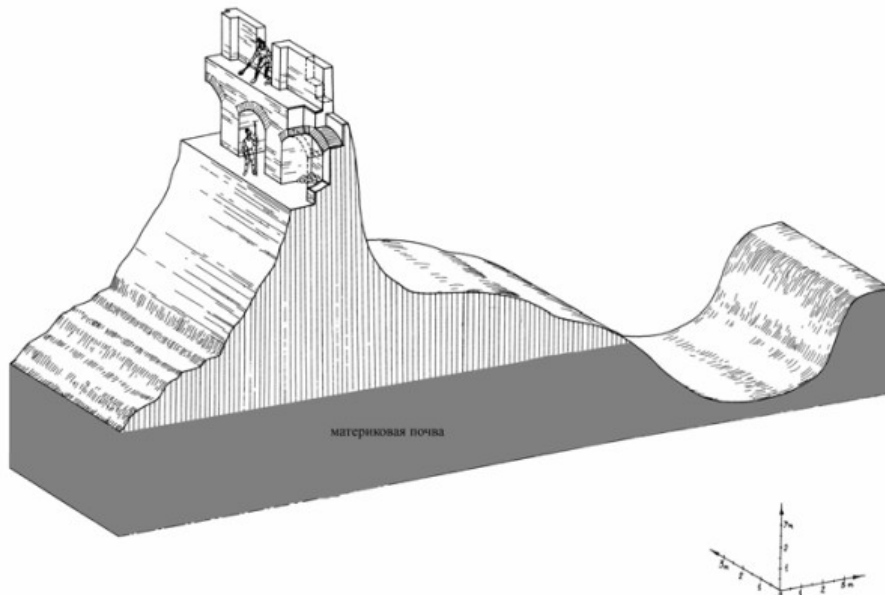


Рис. 1. Реконструкция первой стены Антиохии Маргианской. Фаза 1

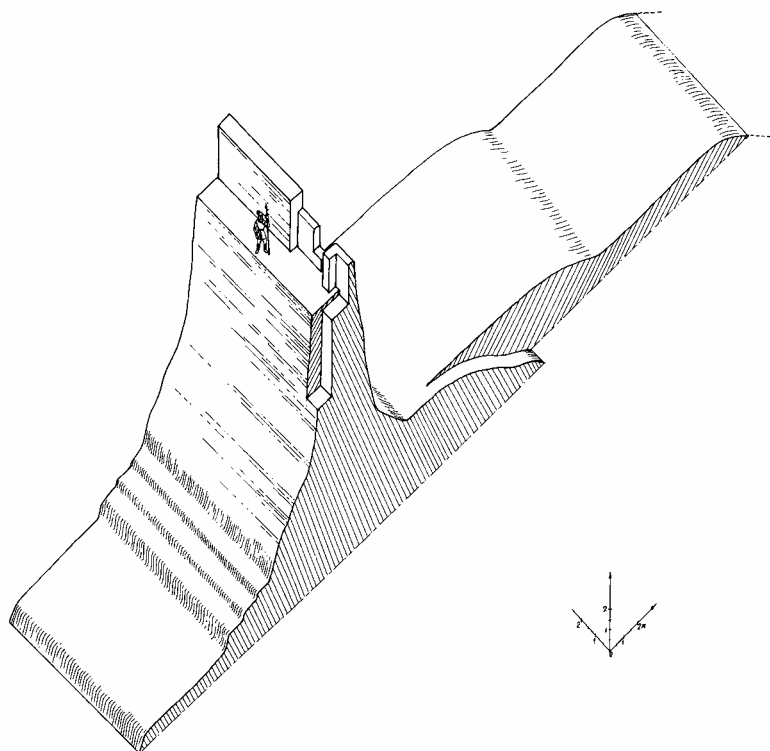


Рис. 2. Реконструкция стены. Фаза 2



Рис. 3. Разрезы стен в юго-западном углу Гяур Калы.
Вид с севера. IMP 2000



Рис. 4. Верхняя стрелковая дорожка и арочные помещения
первой стены. Вид с востока

Укрепляется и существенно видоизменяется наружная платформа. Она выдвигается наружу на 28 м от подножия стены и постепенно понижается ко рву. Примерно в середине платформы, на 11—15 м от основания стены наблюдается дополнительный подъем высотой около 1,5 м. Сооружение этого подъема не только затрудняло доступ к стене, но и давало возможность защитникам города на верхней стрелковой дорожке менять угол обстрела. Следует напомнить, что ширина дорожки на этом этапе увеличивается, видимо, для того чтобы использовать персональную артиллерию, которую стало возможно разместить на верхнем этаже обороны. Ступенчатое основание селевкидской платформы внутри города также модифицируется и наращивается в высоту на 0,5 м, но только в самой нижней части. Эта новая ступенька выдвигается на 5,5 м внутрь города и перекрывает две нижние ступени внутренней платформы первой стены. Три верхние ее ступени, возможно, сохраняются в прежнем виде. Первоначальный вид наружной грани селевкидской стены, за исключением перестроенного парапета и приподнятой наружной платформы, видимо, существенно не меняется, она лишь оштукатуривается. Таким образом, вторая стена становится двухэтажной, сплошной и, по крайней мере, на 1 м выше. Кардинальные изменения в конструкции стены, по всей вероятности, следует относить к периоду включения Маргианы в состав Греко-Бактрийского царства.

Фаза 3 (рис. 5). В начале третьего этапа к наружному фасу перестроенной стены пристраивается еще одна стена толщиной около 2 м в верхней части и около 3 м в нижней. Она возведена из сырцовых кирпичей, лежавших на двух рядах пахсовых блоков, располагавшихся под кирпичной кладкой. Пахсовые блоки, видимо, были уложены на поверхность следующей наружной платформы, сооруженной поверх греко-бактрийской платформы. Толщина платформы под стеной — 1,75 м. Она продолжается к западу, постепенно понижаясь, и выходит за пределы раскопанного в 2003 г. участка, что ставит вопрос о ее протяженности и соотношении со рвом. В платформе обнаружен край кирпичной кладки высотой 0,75 м, поворачивающей на юг. С запада к этой кладке примыкают слои глины, из которых состоит платформа. Постепенное отклонение кладки к югу предполагает, что она, видимо, образует полукруг, являющийся фундаментом полукруглого бастиона, расположенного южнее и открытого в 1997 г. Внутренний фас первых двух стен облицовывается кладкой из пахсовых блоков, положенных друг на друга. Нижний ряд пахсовых блоков достигал ширины 3 м. Вышерасположенные ряды постепенно уменьшаются в ширину с тем, чтобы образовать наклонную поверхность, которая начинается примерно на середине высоты стены. Это привело к тому, что толщина стены почти удвоилась. В нижней части ширина ее достигала приблизительно 13 м, а в верхней — 4 м. Наверху стены мог располагаться парапет, вероятно, разобранный и удаленный в процессе строительства очередной — четвертой стены. Нижняя часть внутреннего фаса стены, как и в предшествующие периоды, была оформлена в виде трех ступеней, нижняя из которых, шириной 5,5 м выдвигается еще на 1 м внутрь города. По своей конструкции третья стена очень напоминает вторую стену, значительно превосходя ее в размерах. Строительство этой стены производилось, по видимому, в раннепарфянский период.

Фаза 4 (рис. 6). Четвертая стена строится на платформе, сооруженной поверх наружной платформы раннепарфянской стены. Толщина платформы под стеной около 2 м. Верхний ее слой представлен не менее чем пятью пахсовыми блоками высотой 0,75 м, образующими фундамент стены. Фундамент лежит на кладке сырцового кирпича высотой 0,60—0,80 м. Стена пристраивается снаружи к раннепарфянской стене и к угловому полукруглому бастиону. Перед полукруглым угловым бастионом и куртиной стены на платформе возводится протейхизма с бойницами и наружной площадкой шириной 1,50 м, возвышающейся над платформой на 0,45 м. Семь бойниц устроены в протейхизме на разном расстоянии друг от друга и разных направлениях, с целью максимально охватить простреливаемое пространство. Бойницы имели скос книзу и, вероятно, предназначались для лучников, которые могли поражать противника не только на дальнем расстоянии, но и в случае проникновения на платформу. Площадка перед протейхизмой также служила для этой цели. На повороте к угловому бастиону в протейхизме устроен проход, позволявший защитникам осуществлять вылазки наружу к краю платформы и укрываться за протейхизмой в случае необходимости. Наружный край платформы разрушен, вероятно, при рытье канала в начале XX в., вследствие чего судить о ее протяженности наружу не приходится. Высота платформы до уровня современной дневной поверхности около 4 м, а в древности была еще больше.

Пристроенная к бастиону куртина состоит, по крайней мере, из двух галерей — нижней и верхней. В нижней галерее, видимо, располагалась анфилада помещений, верх которых был перекрыт арочными сводами. Расположение их напоминает перпендикулярное расположение арочных помещений на втором этаже селевкидской стены. Однако они были выше, больше и должны были соединяться, вероятно, также арочными проходами. Нами раскопана часть последнего перед бастии-

оном помещения, в котором не обнаружено прохода в бастион. Следовательно, связь с бастионом осуществлялась через верхнюю галерею, в которой обнаружен арочный свод прохода, ведущего из нее во внутреннее пространство углового бастиона. В наружной стене нижней галереи были устроены прямоугольные бойницы шириной 0,40 и высотой 0,80 м (раскопана только одна сохранившаяся из них). Основание бойницы находится на высоте 1,10 м внутри галереи и 2 м от уровня пола на платформе перед стеной. Это обстоятельство позволяет предполагать, что высота протейхизмы была, видимо, чуть более 2 м, иначе было бы невозможно обстреливать противника даже на дальних подступах к стене. Далее к югу, между реальной бойницей и бастионом обнаружена ложная бойница со стреловидным верхом, располагающимся на 1 м выше верха реальной бойницы, что предполагает расположение этих бойниц в шахматном порядке.

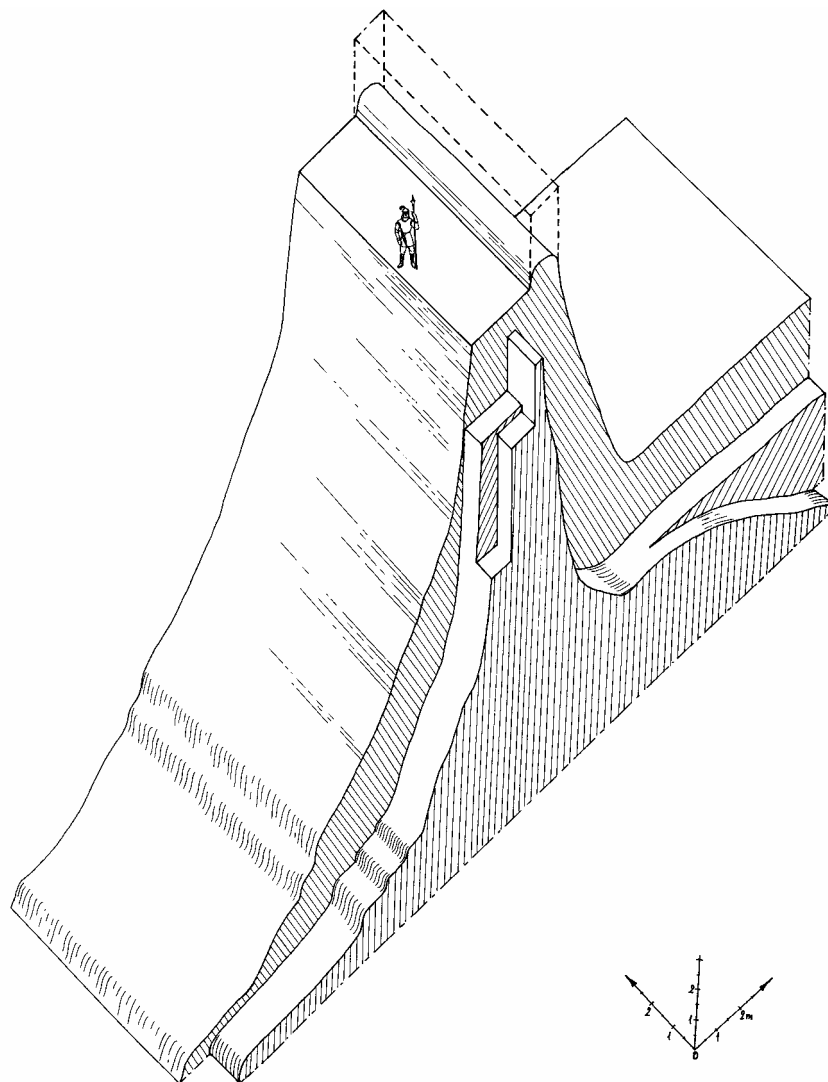


Рис. 5. Реконструкция стены. Фаза 3

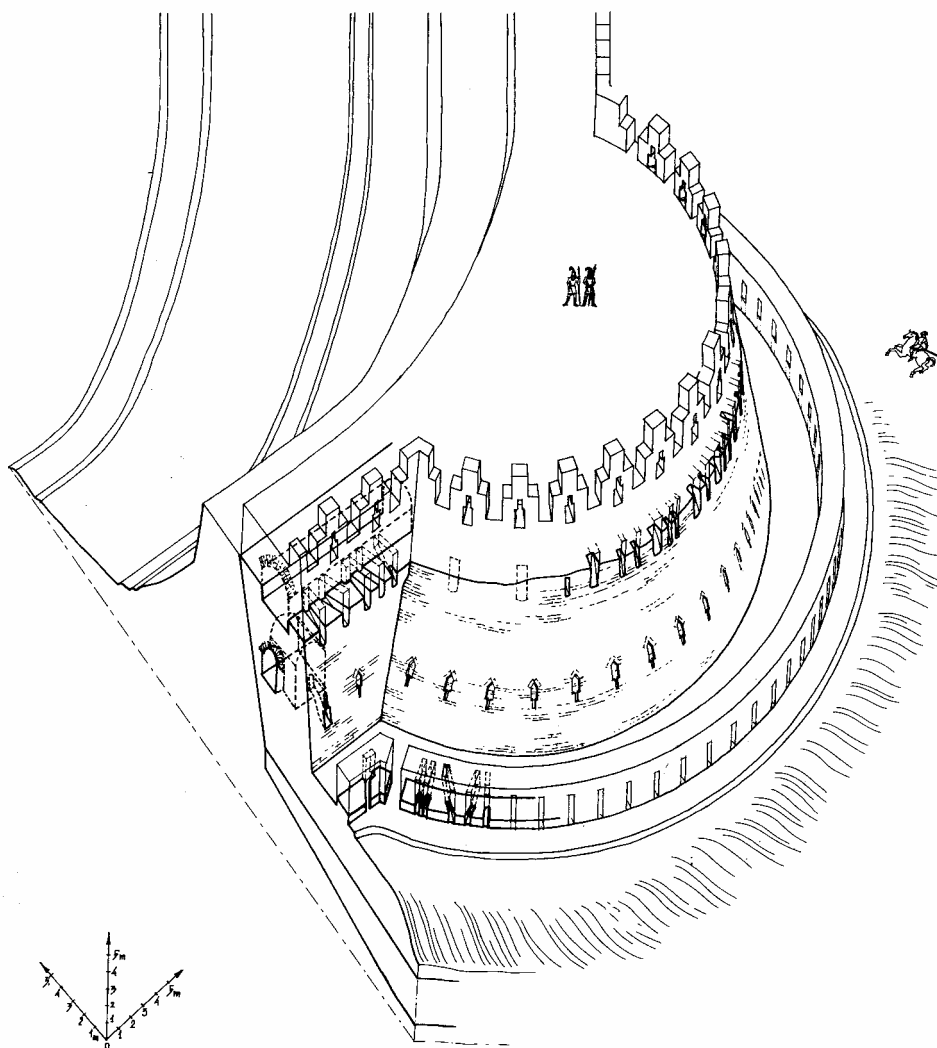


Рис. 6. Реконструкция стены и углового бастиона. Фаза 4

Пол верхней галереи лежал на специально утрамбованной поверхности над арочными сводами помещений нижней галереи. Галерея, видимо, состояла из отсеков, разделенных боковыми устоями, располагавшимися вдоль наружной стены. Устои служили дополнительной опорой для арочного свода, который перекрывал верх галереи. В наружной стене галереи обнаружено 5 бойниц, устроенных таким образом, чтобы поражать противника как на удаленном расстоянии, так и в случае его проникновения на платформу и за протейхизму. Одна из этих бойниц была намеренно приспособлена для обстрела прохода в протейхизме, другая позволяла контролировать пространство между бастионом и протейхизмой. Вполне вероятно, что над верхней галереей располагалась верхняя стрелковая дорожка с парапетом, удаленная в процессе дальнейших перестроек на следующем этапе. Сооружение этой стены предположительно относится к среднепарфянскому времени.

Фаза 5. На пятом этапе среднепарфянская стена кардинально перестраивается. Платформа перед четвертой стеной вновь поднимается с тем, чтобы соорудить на ней берму, заблокировавшую бойницы нижней галереи четвертой стены. Таким образом, нижняя галерея утрачивает свои функции, а в ее внутреннем пространстве совершаются захоронения по зороастрийскому обряду. Верхняя галерея четвертой стены вполне могла использоваться как нижняя галерея новой пятой стены, на что указывает верх бермы, располагающийся непосредственно под бойницами четвертой стены. При сооружении бермы, очевидно, учитывался максимальный сектор обстрела, который обеспечивался скошенными вниз бойницами. В процессе сооружения платформы срезается протейхизма, от которой остается лишь нижняя ее часть, сохранившаяся на высоту 0,40 м. О верхней конструкции этой стены данных не сохранилось из-за дальнейших перестроек. Первую перестройку среднепарфянской стены, вероятнее всего, следует относить к раннесасанидскому времени.

Фаза 6. На шестом этапе нижняя галерея раннесасанидской стены также существенно перестраивается. Вдоль внутренней и наружной ее стен возводятся дополнительные стены, служащие основанием для арочного свода. При этом дополнительная стена, пристроенная к наружной (западной) части галереи, блокирует доступ к бойницам, а сами они закладываются. Ширина коридора внутри галереи составляет 0,90, а его высота — 1,90 м. Коридор по-прежнему предназначался для прохода в угловой бастион. Полы в коридоре обновлялись несколько раз, причем уровень следующего пола поднимали с помощью подсыпки культурного слоя. В результате неоднократного повышения полов самый поздний из них располагался на 1 м выше изначального пола коридора. Передвигаться по такому коридору можно только ползком или на четвереньках. Возможно, защитникам этого угла города пришлось-таки освоить приемы такого передвижения, в пользу чего свидетельствует лаз, обнаруженный близ входа в угловой бастион. Лаз был заблокирован кирпичами со стороны помещения внутри бастиона, вероятно, в начале фазы 7. Верхняя часть стены этого этапа не сохранилась, тогда как нижняя, укрепленная бермой, по-видимому, продолжала использоваться, но уже без бойниц. Столь кардинальные конструктивные изменения предполагают перестройку раннесасанидской стены, в результате чего появилась шестая стена, которую следует относить к среднесасанидскому периоду.

Фазы 7 и 8. Эти фазы предположительно выделяются по результатам работ ЮТАКЭ. Сохранность данной (седьмой) стены в настоящее время не позволяет проверить и подтвердить очень краткие опубликованные сведения. Ясно только то, что эта стена сооружается на высокой платформе (по данным Ш. Ташходжаева, до 10 м), еще далее выдвигается к западу и, похоже, тоже перестраивается.

Фаза 9. Раскопки IMP позади бастиона, уже на южном фазе оборонительных стен Гяур Калы выявили наличие полностью забутованного сырцовыми кирпичами коридора, относящегося, видимо, к седьмой стене, зафиксированной в ходе работ ЮТАКЭ (фазы 7 и 8). Это позволяет предполагать какие-то действия, направленные на подготовку к сооружению следующей стены, которая либо не сохранилась, либо не была построена. Остатки таких поздних стен до сих пор стоят на гребне северного фаса стены городища.

Таким образом, исследования IMP позволяют выделить существование не менее семи фаз строительства и реконструкции стен, защищавших сначала Антиохию, а затем Мерв на протяжении почти тысячелетия. В течение трех фаз — греко-бактрийской, раннесасанидской и среднесасанидской — стены не строились заново, а кардинально перестраивались. Строительство и перестройки оборонительных сооружений Гяур Калы логично рассматривать на фоне исторических событий в этом регионе, известных по сравнительно скудным свидетельствам письменных источников, привлекая археологические данные — керамику и монеты. В нашем распоряжении есть два исторических факта для датировки, не вызывающие особых разногласий среди исследователей: первый — восшествие на престол Антиоха I Сотера (с 293 г. он — соправитель своего отца, а в 281—261 гг. до н. э. — полновластный монарх) и инициированное им строительство укреплений в Мерве; второй — захват Мерва арабами в 651 г. Остальные свидетельства письменных источников могут привлекаться лишь косвенно, с разного рода оговорками.

Монеты, идентифицированные Н. М. Смирновой, обнаружены на раскопе VI в достаточно большом количестве (81 экз.), но только 10 монет найдены в таких стратиграфических условиях, которые могут уточнять датировку выделенных фаз. Диагностические формы керамики, изучаемой Г. Пушигг, дают дополнительные свидетельства для датировки и при отсутствии монет являются основными хронологическими критериями.

Основой датировки селевкидской стены являются свидетельства письменных источников, которые подтверждаются архитектурными параллелями в оборонительных сооружениях Малой Азии. Керамика периода Яз III, по заключению Г. Пушигг, не противоречит этой дате. Если Маргиана действительно вошла в состав Греко-Бактрийского государства, то селевкидский период продолжался в Антиохии до 250 г. до н. э.

Весьма вероятно, что смена власти и соседство Парфии вызвали необходимость ремонта и модификации оборонительных сооружений на втором этапе, в греко-бактрийский период. Другой причиной может быть прогрессивное развитие артиллерии, которое вызвало переход от полой к сплошной стене и увеличение ширины верхней стрелковой дорожки для установки сравнительно небольших катапульта.

Третья стена возводилась, когда Маргиана вошла в состав парфянской империи, видимо, при Митридате I (171—139) или Фраате II (138—129). В одном из пахсовых блоков облицовки внутреннего ее фаса найден медный обол Диодота I или II (250—239), по всей вероятности, более раннего

происхождения, так как все пахсовые блоки изготовлены из культурного слоя. В кладке этой стены обнаружен сырцовый кирпич с надписью греческим письмом, которое, согласно заключению С. Р. Тохтасьева, по написанию букв ближе всего письму на египетских папирусах II—I вв. до н. э. Среди сравнительно многочисленного керамического материала на этом этапе впервые засвидетельствовано появление сероглиняной керамики, однако, как и обол Диодота, она происходит из пахсовых блоков, для изготовления которых использовался культурный слой раннего времени и, соответственно, нельзя исключать ее появления в предшествующий, греко-бактрийский период.

Четвертая стена также относится к парфянскому времени. В кладке самой стены и между кирпичами арочного свода нижней галереи обнаружены две парфяно-маргианские монеты конца I в. до н. э. — I в. н. э., косвенно свидетельствующие о времени ее сооружения. Как предполагает ряд исследователей, примерно в это время Маргиана стремится обрести автономный статус в пределах Парфянской империи, что могло послужить толчком для сооружения новой оборонительной стены. Другая возможная политическая причина — взаимоотношения с Кушанской империей, находившейся на подъеме и стремившейся расширить свои владения.

Пятая и шестая фазы связаны с двумя перестройками четвертой стены, соответственно, произведившимися, возможно, при ранних и средних Сасанидах. В разных контекстах галереи средне-сасанидской стены найдено пять монет, относящихся к чекану Шапура II (309—379), и одна монета Варахрана IV или Кавада. При раскопках ЮТАКЭ седьмой стены обнаружена монета Кавада I (488—531).

Общая тенденция развития фортификации Гяур Калы демонстрирует постоянное увеличение толщины оборонительных сооружений. На первом и втором этапах ширина стены у основания составляла 8,80 м. На третьем этапе она достигала толщины около 13 м. На четвертом этапе ширина стены у основания достигает максимального размера около 15 м. Сравнение с каменными оборонительными сооружениями эллинистического мира показывает не только сходство конструктивных архитектурных элементов, но и существенное отличие, обусловленное строительным материалом. В частности, основания сырцовых стен часто расширяются к низу, тогда как каменные стены, как правило, имеют отвесные края. Вторым отличием является широкое применение далеко выдвинутых наружу платформ и оформление внутреннего основания стен в виде ступеней. К третьему отличию относятся другие возможности для модификации стен, обусловленные легкодоступными и сравнительно дешевыми строительными материалами.

Результаты исследований ИМР фортификации Гяур Калы дают основания утверждать, что первые три стены строились и перестраивались с учетом тенденций военной архитектуры, тактики и стратегии, распространенных в эллинистическом мире. Об этом же говорят связанные с этими стенами довольно многочисленные находки ядер для пращи и разного рода метательных орудий. Оборонительные сооружения Эрк Калы и Гяур Калы демонстрируют развитие фортификации Средней Азии на протяжении почти тысячи трехсот лет, что достаточно уникально и перспективно для дальнейшего изучения оборонительных сооружений этого региона.

Библиография

- Вязигин С. А.* Стена Антиоха Сотера вокруг древней Маргианы // ТЮТАКЭ. Т. I. 1949.
- Кошеленко Г. А., Губаев А., Бадер А. Н., Гаибов В. А.* Древний Мерв в свидетельствах письменных источников. Ашгабат, 1994.
- Таиходжаев Ш. С.* Разрез городской стены Гяур-калы // ТЮТАКЭ. Т. XII. 1963.
- Усманова З. И.* Разрез крепостной стены Эрк-калы Старого Мерва // ТЮТАКЭ. Т. XIX. 1989.
- Bader A., Callieri P., Khodzhanizayov T.* Survey of the «Antiochus' Wall». Preliminary Report on the 1993—1994 Campaigns // The Archaeological Map of the Murghab Delta. Preliminary Reports 1990—95. Roma, 1998.
- Bader A. N., Gaibov V. A., Koshelenko G. A.* Walls of Margiana // In the Land of the Gryphons. Papers on Central Asian Archaeology in Antiquity. Firenze, 1995.
- McNicol A. W.* Hellenistic Fortifications from the Aegean to the Euphrates; with revisions and an additional chapter by N. P. Milner. Oxford, 1997.

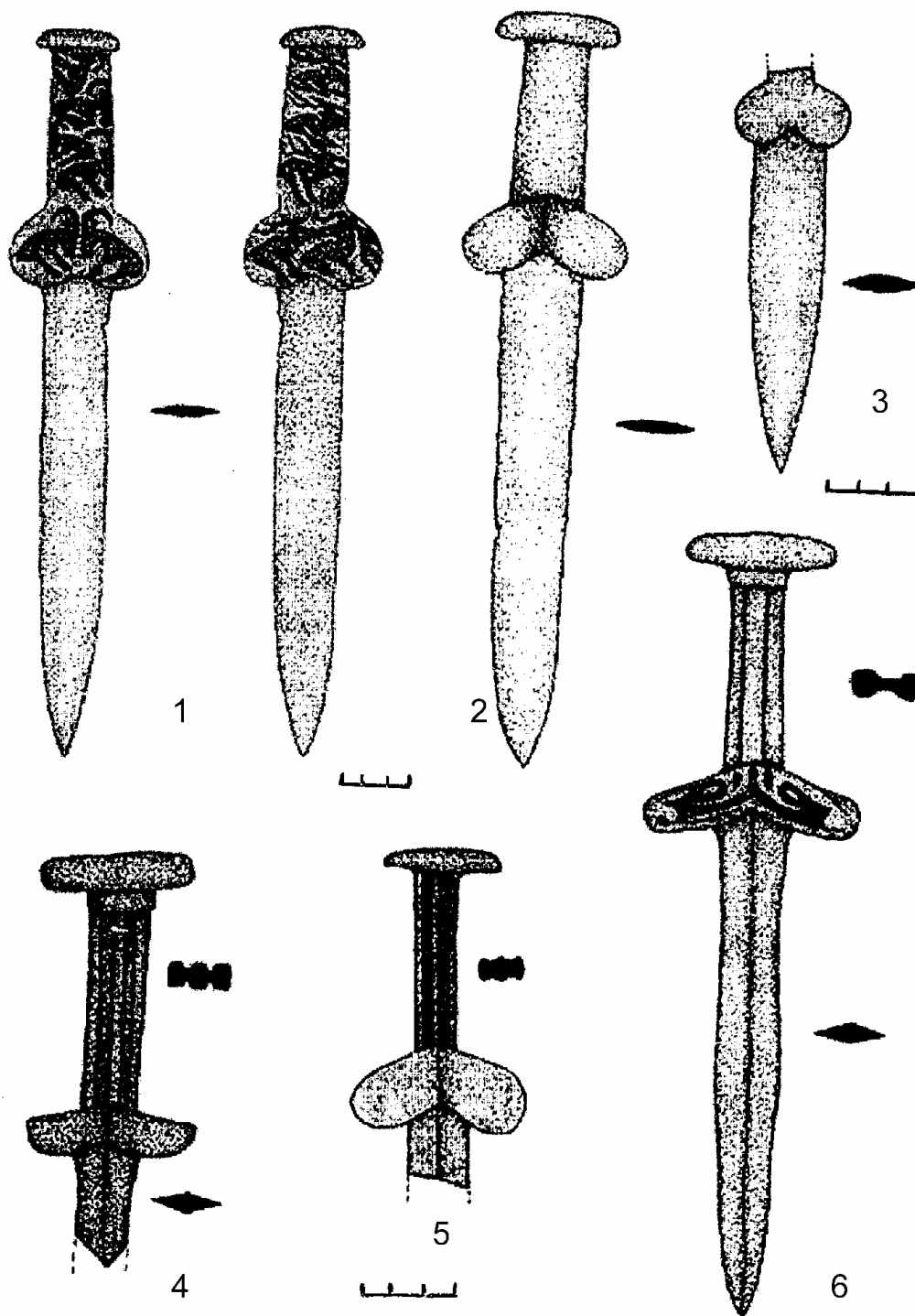
НОВЫЕ НАХОДКИ КИНЖАЛОВ САКСКОГО ПЕРИОДА В КЫРГЫЗСТАНЕ

Кинжалы-акинаки были вторым по значимости видом вооружения древних кочевников Центральной Азии после лука и стрел и основным оружием в условиях ближнего боя. В пользу этого свидетельствует тот факт, что кинжал — достаточно частая находка на собственно сакских территориях, куда входит и Кыргызстан. К настоящему моменту на территории современного Кыргызстана известно более двух десятков бронзовых и железных кинжалов и их фрагментов. Значительная часть их была обнаружена при случайных обстоятельствах, причем, преимущественно в Иссык-Кульской котловине. И только лишь шесть экземпляров происходят из погребальных комплексов. Данный аспект в значительной мере затрудняет установление точных временных границ существования отдельных их групп и типов. За последние несколько лет было найдено еще четыре новых кинжала, что в значительной мере пополнило немногочисленную коллекцию сакского оружия Кыргызстана. Кроме этих акинаков, ниже будут рассмотрены еще два неизданных кинжала, хранящиеся в Кыргызском Государственном Историческом Музее (КГИМ). Однако, к сожалению, нам не удалось выяснить ни место, ни время их нахождения.

Первый кинжал (рис. 1) был случайно найден на южном побережье Иссык-Куля. Он имеет прямое навершие, которое несколько сужается к концам, приобретая грибовидное очертание. Рукоять с одной стороны декорирована тремя четкими рельефными изображениями оленей с подогнутыми ногами, а широкое почковидное перекрестие — двумя такими же фигурками оленей, один из которых обернулся мордой к другому. С другой стороны кинжала изображены в близкой манере четыре горных козла, на перекрестии — еще два. Клинок этого акинака прямой, в сечении линзовидный. Данный кинжал в рамках Центральной Азии уникален и не имеет прямых аналогий. В Южной Сибири ножи с близкими стилистическими изображениями на рукояти датируются VII—V вв. до н. э. [Маннай-оол 1970: 30; Кызласов 1979: 32]. Небезынтересен также тот факт, что трактовка изображений оленей на кинжале близка к изображениям этих же животных на так называемых «оленных» камнях, которые датируются концом эпохи бронзы и началом периода ранних Кочевников [Новгородова 1989: 190—197]. Достаточно раннюю дату дает и навершие кинжала: в скифо-сибирском мире кинжалы с грибовидными навершиями относятся обычно к периоду финальной бронзы и началу времени ранних кочевников, кинжалы с брусковидными навершиями, имеющими грибовидные очертания, — к VII—V вв. до н. э. [Членова 1967: 14—15]. Таким образом, наш кинжал может быть отнесен к VII—VI вв. до н. э..

Второй кинжал (рис. 2) был обнаружен вместе с первым. Он имеет также прямое навершие, но плоскую рукоять и широкое сердцевидное перекрестие. Лезвие кинжала акинака прямое. Длина его рукояти составляет 11,2 см, ширина — 2,8—3 см. Клинок с параллельными, плавно сужающимися лезвиями, в сечении он линзовидный. Длина клинка — 21,3 см, ширина — 3,4 см. Достаточно близкий кинжал сравнительно недавно был обнаружен в Ферганской долине (Узбекистан) и отнесен исследователями к VII—VI вв. до н. э. [Заднепровский, Бушков 1998: 136—138]. Кинжал обнаруживает аналогии также у савроматов — в Приуралье и Поволжье, где они датируются VII—V вв. до н. э. [Смирнов 1961: 10—13]. Суммируя вышеизложенное, кинжал можно датировать VII—V вв. до н. э. Но так как предыдущий кинжал не выходит за рамки даты VII—VI вв. до н. э., то и этот кинжал, скорее всего, относится к тому же периоду.

Третий кинжал (рис. 4) был обнаружен в 2002 г. в районе села Дархан (южное побережье озера Иссык-Куль). Он имеет прямое валиковое навершие и узкое бабочковидное перекрестие. На рукояти кинжала имеются три продольных рельефных валика. В верхней части ручки кинжала есть небольшое сквозное отверстие. Конец клинка обломан, длина сохранившейся части — 3,8 см; клинок в сечении ромбический. Ширина рукояти составляет 2 см, длина вместе с перекрестием — 10,3 см. Кинжалы с рубчатой ручкой и прямым навершием получают широкое распространение в степях Евразии. Несколько похожих кинжалов были прежде найдены в акватории озера Иссык-Куль, а также в Семиречье и отнесены в целом к VI—V вв. до н. э. [Мокрынин, Плоских 1988: 20—22]. Аналогичные кинжалы из Южной Сибири, Западной Монголии и Северного Китая суммарно датируются VI—IV вв. до н. э. [Членова 1967: 16—17; Кубарев 1981: 30—42, Чжун Сук-Бэ 1998: 137—137]. У скифов и савроматов кинжалы и акинаки с бруском-навершием и с рубчатой или рамочной рукоятью считаются наиболее архаичными и датируются VII—V вв. до н. э. [Смирнов 1961: 10—13; Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время 1989: 370]. Таким образом, данный кинжал можно отнести к VII—V вв. до н. э.



Сакские кинжалы: 1, 2, 4, 6 — из района озера Иссык-Куль; 3, 5 — из КГИМ

Четвертый бронзовый кинжал (рис. 6) происходит из района Тюпского залива озера Иссык-Куль. Он имеет прямое брусковидное навершие, рукоять с двумя продольными валиками по ее бокам. На дос-таточно узком бабочковидном перекрестии — несколько нечеткое изображение двух голов каких-то хищных животных (волков?), обращенных мордами друг к другу. Морды хищников застыли в улыбке. Их контуры переданы глубокими линиями, ноздри — удлиненными заостренными овалами, глаза — рельефными эллипсами. Клинок узкий, прямой, плавно сужающийся к острию, в сечении ромбический, его длина 16,3 см. Общая длина кинжала составляет 26,5 см, длина

ручки — 11,2 см, ее ширина 2 см. Данный кинжал является уникальной находкой — на территории Кыргызстана не известно ни одного кинжала с зооморфным перекрестием. Нет их и в сопредельных регионах — Семиречье, Ташкентском оазисе, Памире и Фергане. В то же время акинаки с изображениями двух звериных морд есть в Прикамье, Южной Сибири и Северном Китае, где они датируются в целом VI—IV вв. до н. э. [Членова 1967: 16—17; Чжун Сук-Бэ 1998: 132—137]. Кинжалы с брусковидным навершием и рамочной рукоятью исследователи относят к VII—V вв. до н. э. [Смирнов 1961: 10—13; Мелюкова 1964: 49—51]. Исходя из приведенных аналогий из различных частей евразийской степи для кинжала из Тюпа, его можно отнести к VI—V вв. до н. э.

Первый кинжал из КГИМ (рис. 5) — бронзовый; он имеет прямое ассиметричное брусковидное навершие, очень узкую рукоять, с тремя нечеткими рельефными гофрами и широкое бабочковидное перекрестие. Узкий — до 2 см — ромбический в сечении клинок обломан почти у самого основания. Общая длина сохранившейся части — 11,5 см, из которых 9,5 см приходятся на рукоятку с перекрестием, его ширина — 1,4 см. В данном кинжале, на наш взгляд, удивительно слились традиции западной и восточной частей обширного скифо-сибирского мира: широкие бабочковидные перекрестья более всего характерны для скифских акинаков и мечей; в то время как узкие брусковидные навершия — для восточных регионов степей Евразии [Мелюкова 1964: 49—51, 60; Членова 1967: 16—17]. В целом данный кинжал напоминает четвертый акинак из вышеописанных и может датироваться тем же временем — VII—V вв. до н. э.

От второго кинжала из КГИМ сохранились лишь почковидное навершие и сравнительно короткий прямой клинок, линзовидный в сечении (рис. 3). Его общая длина — 13,7 см, включая 11 см, приходящихся на лезвие, ширина которого 2,6 см. В целом, это оружие можно отнести к VII—IV вв. до н. э., когда бронзовые кинжалы и бытовали на территории Центральной Азии. Однако в свете предположения, что кинжалы с почковидным перекрестием существовали преимущественно в VI—V вв. до н. э., после чего данный вид эфеса начал вытесняться другими перекрестиями [Мелюкова 1964: 60], эту датировку можно сузить до VI—V вв. до н. э.

Таким образом, рассмотренные выше кинжалы в значительной мере расширяют наши знания о вооружении сакской эпохи. Они наглядно отражают направления культурных связей древних кочевников, обитавших на территории современного Кыргызстана, как на восток — со скифоидными культурами Южной Сибири и Северного Китая, так и на запад — со скифами Северного Причерноморья и савроматами Поволжья и Приуралья.

Библиография

- Акишев К. А., Кушаев Г. А.* Древняя культура саков и усуней долины реки Или. Алма-Ата, 1963.
- Заднепровский Ю. А., Бушков В. И.* Предметы кочевников эпохи раннего железа в Эйлатанского района Ферганы // РА. 1998. № 3.
- Исмаилов Р. Б.* Меч скифского типа: истоки происхождения // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. Кемерово, 1980.
- Кибиров А. К.* Археологические работы в Тянь-Шане // ТККАЭЭ. Т. 2. 1959.
- Кубарев В. Д.* Кинжалы из Горного Алтая // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 1981.
- Кызласов Л. Р.* Сакская коллекция с Иссык-Куля // Новое в археологии. М., 1972.
- Кызласов Л. Р.* Древняя Тува. М., 1979. *Литвинский Б. А.* Оружие населения Памира и Ферганы в сакское время // МКД. Вып. 1. 1968.
- Литвинский Б. А.* Древние кочевники «крыши мира». М., 1972.
- Маннай-оол М. Х.* Тува в скифское время (Уюкская культура). М., 1970.
- Мелюкова А. И.* Вооружение скифов. М., 1964.
- Мокрынин В. П., Плоских В. М.* Иссык-Куль: затонувшие города, Фрунзе, 1988.
- Мокрынин В. П., Плоских В. М.* Клады в Кыргызстане: мифы и реальность. Бишкек, 1992.
- Новгородова Э. А.* Древняя Монголия. М., 1980.
- Памятники культуры и искусства Киргизии.* Л., 1983.
- Смирнов К. Ф.* Вооружение савроматов. М., 1961.
- Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время.* М., 1989.
- Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время.* М., 1992.
- Ташбаева К. И.* О датировке кинжалов ранних кочевников Киргизии // Великий Октябрь и некоторые вопросы исторической науки. Фрунзе, 1987.
- Чжун Сук-Бэ.* О связях племен Северного Китая с Южной Сибирью в конце эпохи бронзы и в раннем железном веке (на основе сравнительного анализа ножей и кинжалов): АКД. М., 1998.
- Членова Н. Л.* Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М., 1967.

ОРЛАТСКОЕ ТАВРО

В статье, опубликованной в 1998 г. и посвященной Орлатским поясным пластинам, мы упоминали о знаке (точнее назвать это тавром), нанесенном на круп одного из коней в сцене сражения (рис. 1), и высказывали мнение, что было бы интересно найти соответствие этому знаку среди многочисленных тамг кочевников [Pyasov, Rusanov 1998: 112]. В публикациях, вышедших за прошедшее время, ряд исследователей также обратили внимание на данное тавро. Так, В. П. Никоноров и Ю. С. Худяков упоминают, в связи с наличием тамги на крупе орлатского коня, одну из таштыкских лошадей с тамгой на крупе, изображенную на тепсейских деревянных планках [Никоноров, Худяков 1999: 147, рис. 3/2]. С. А. Яценко приводит в качестве аналогий тамгу на фигурке коня, представляющей собой ручку сарматского серебряного кубка I в. н. э. из погребения в Порогах, а также тамгу, украшающую бедро коня на хорезмийской фляге III в. н. э. с рельефным изображением всадника из Кой-Крылган-Калы. Кроме того, он отмечает, что «в Западном и Центральном Предкавказье, где обычаи, связанные с тамгами, во всех известных элементах восходят к сармато-аланской традиции», манера клеймения коня высоко на левом бедре «еще недавно рассматривалась как свидетельство княжеского достоинства его хозяина» [Яценко 2000: 90, прим. 18, рис. 2/б]. Однако все эти интересные данные касаются самого обычая клеймения, ничего не проясняя относительно той тамги, что украшает коня одного из орлатских всадников. Единственную известную нам попытку интерпретации собственно орлатского знака можно найти в интересной статье М. Моде, опубликованной пока только в электронном варианте. В этой работе автор предполагает, что знак на крупе — это, возможно, часть не сохранившегося полностью знака, широко известного как «сармаркандский» [Mode]. К сожалению, согласиться с этим мы не можем.



Рис. 1 — тавро на Орлатской пластине;
рис. 2—4 — искаженные изображения орлатского тавра в некоторых публикациях; рис. 5—8 — тамги на хорезмийских монетах.

Нужно отметить, что проблемы интерпретации рассматриваемого тавра во многом связаны с не совсем правильным воспроизведением его в первоначальных публикациях, из которых это изображение переходило в последующие. Подчеркнем, что прорисовка изображений на Орлатских пластинах, выполненная А. И. Исламовым, опубликованная впервые Г. А. Пугаченковой и воспроизведенная в ряде работ, в том числе и в наших статьях, в целом, за исключением некоторых деталей, довольно точна. Что касается тамги, то она несколько искажена и на прорисовке А. Савина, фрагмент которой опубликован Э. Иштванович и В. Кульчар [Istvanovits, Kulcsar 1998: fig. 11]. Степень искажения знака в публикациях различна (рис. 2), но ни один из его вариантов не дает основания для некоторых, порою совершенно фантастических изображений данного знака, приводимых в ряде исследований [Яценко 2000: рис. 2/б; Яценко 2001: 97, рис. 28/130] (рис. 3, 4). Эту неточность отмечал М. Моде. Все это, конечно, отнюдь не способствует правильной интерпретации орлатского знака.

Понимая, что исследователи могли быть введены в заблуждение не совсем точной прорисовкой данной детали и не совсем качественными воспроизведениями в различных публикациях, мы приводим здесь прорисовку тамги, сделанную по увеличенной фотографии оригинала и сверенную с самим оригиналом (рис. 1). Надеемся, что это поможет исследователям с большей точностью интерпретировать рассматриваемую тамгу.

Относительно нашей собственной интерпретации, мы можем пока лишь сказать, что, по сути, орлатское тавро представляет собой трехконечный знак, отличающийся и от классического «трискеле», и от различных других вариантов трехконечной свастики. Его отличие в том, что один из концов обращен в противоположную сторону и форма знака несимметрична. Найти ему точную аналогию нам пока не удалось. Из всех известных нам среднеазиатских знаков, орлатский более всего напоминает тамгу, помещенную на некоторых из выпусков медных хорезмийских монет (тамга Т8 по Б. И. Вайнберг), а именно на типах Б²V/5, Б²14—16 [Вайнберг 1977: 35, 40, 54, 56—57, табл. 11, 15, 17, 27, 29] (Рис. 5—8). Тип Б²V/5 относится к чекану царя Вазамара, правившего, по мнению Б. И. Вайнберг, в последней трети III в. н. э. [Вайнберг 1977: 55]. Близкий по форме знак-тавро имеется также на терракотовой статуэтке коня из Халкаджара в Кобадияне, отнесенной А. В. Седовым к кушано-сасанидскому комплексу [Седов 1987: 83, рис. 33/1].

Подчеркнем, что речь идет не об идентичности орлатской тамги и знаков из Хорезма и Кобадияна, но об их относительной близости в пределах доступных автору сравнительных материалов. Миниатюрные размеры орлатского изображения тамги (примерно 2×2 мм) допускают вероятность того, что резчик мог несколько исказить очертания этого знака. С другой стороны, орлатская гравировка отличается очень большой точностью в отображении самых мелких деталей. Следовательно, есть резон продолжить поиск аналогичных орлатскому знаков.

Библиография

- Вайнберг Б. И.* Монеты древнего Хорезма. М., 1977.
Никонов В. П., Худяков Ю. С. Изображения воинов из Орлатского могильника // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Вып. 2. Горизонты Евразии. Новосибирск, 1999.
Седов А. В. Кобадиян на пороге раннего средневековья. М., 1987.
Яценко С. А. Эпический сюжет ираноязычных кочевников в древностях степной Евразии // ВДИ. 2000. № 4.
Яценко С. А. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. М., 2001.
Ilyasov J. Ya., Rusanov D. V. A Study on the Bone Plates from Orlat // SRAA. 5 (1997/98). 1998.
Istvanovits E., Kulcsar V. Some Considerations About the Religion, Tribal Affiliation and Chronology of the Sarmatians of the Great Hungarian Plain // AIUO. Vol. 58/1—2. 1998.
Mode M.: <http://www.transoxiana.com.ar/Eran/Articles/mode.html>.

ПОГРЕБЕНИЯ ВОЕННОЙ ЗНАТИ ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ И ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОННИЦЫ КАТАФРАКТОВ У САРМАТОВ

С I в. до н. э. античными авторами в вооруженных конфликтах у сарматских племен упоминаются «катафракты»¹ — всадники, облаченные в доспехи и оснащенные длинными копьями и мечами. Военное дело сарматов и феномен сарматской тяжеловооруженной кавалерии неоднократно становился предметом отдельных исследований. Некоторые западные ученые склонны считать тяжеловооруженную конницу ираноязычных номадов как прообраз будущего рыцарства [Кардини 1987: 47—55].

Одной из первых работ, заложивших основы сарматского оружиеведения, является сводка К. Ф. Смирнова по вооружению савроматского времени [Смирнов 1961]. Автор на основе археологического материала пытался показать увеличения значения тяжеловооруженной конницы. К. Ф. Смирнов, указывая на распространение длинных мечей в т. н. «савроматских» комплексах, делает вывод о более широком использовании ближнего боя у савроматов (т. е. ранних сарматов), чем у скифов. Им впервые был высказан тезис савромато-сарматского происхождения тяжеловооруженной кавалерии — катафрактов — применительно к территории Юго-Восточной Европы, который в дальнейшем был разработан в исследованиях А. М. Хазанова и М. Г. Мошковой. Согласно его мнению, сарматские катафракты появляются в волжских степях уже с середины II в. до н. э. [Смирнов 1950: 110]. Несколько позже В. Д. Блаватский поддержал эту точку зрения [1954: 115]. Признавая у скифов наличие тяжеловооруженной конницы, он определял для позднего этапа ее существования тактику «кулака», которая, однако, по сокрушительности удара значительно уступала удару сарматской панцирной конницы [Блаватский 1950: 28—29]. В исследованиях А. М. Хазанова, специально посвященных военному делу сарматов, более подробно освещались и вопросы происхождения катафрактов. Поддерживая точку зрения К. Ф. Смирнова, этот исследователь объясняет в качестве основной причины появления такой кавалерии у сарматов их стремление противостоят пехотным построениям греческих и римских войск [Хазанов 1971: 60].

М. Г. Мошкова практически полностью принимает мнение К. Ф. Смирнова и А. М. Хазанова. Она пишет, что новые контингенты в составе сарматских отрядов принесли с собой новые тактические приемы боя, а основной причиной возникновения катафрактов «было бессилие варварского войска перед сомкнутой римской фалангой». Главными признаками катафрактов она считает наличие у конных воинов тяжелого оборонительного доспеха (а часто и у их лошадей), а также употребление ими в качестве главного наступательного оружия пики [Мошкова 1989: 183]. Эта же мысль в общих чертах высказывается и другими исследователями [Шилов 1959: 462; Горончаровский, Никоноров 1987: 210; Лысенко 2002: 201—202].

В. П. Никоноров считает родиной катафрактов регионы Центральной Азии и связывает их появление у ираноязычных кочевников с последствиями военных контактов с армией Александра Македонского на основе местной (среднеазиатской) культурной традиции [Никоноров 1995: 58; Nikonov 1998: 135]. Данный взгляд на вопрос о происхождении тяжеловооруженной копьеносной кавалерии берет свое начало еще с работ С. П. Толстова и Г. А. Пугаченковой. С. П. Толстов [1948: 214] говорит о Хорезме как месте появления катафрактов, Г. А. Пугаченкова [1966: 43] предполагает в качестве такового Парфию и Бактрию. Таким образом, можно говорить об устойчивом и распространенном среди специалистов мнении о восточном происхождении сарматской тяжеловооруженной конницы Северного Кавказа и Причерноморья. Более того, данный тезис используется некоторыми исследователями как этнический идентификатор для пришедших с востока сарматских племен, в частности, алан [Перевалов 1994: 31—33; Гутнов 2001: 125]. Вслед за этим, комплексы с элементами вооружения катафрактов (кольчуги, длинные мечи) археологи истолковывают как показатель увеличения степени сарматизации и влияния номадов на население Западного Предкавказья [Ждановский 1984: 97].

¹ Обычно используемый в отечественной историографии термин «катафрактарий» — не совсем корректен, поскольку в греко-латинских источниках так именовали бойцов только одной из разновидностей тяжеловооруженной конницы у римлян императорской эпохи. Более точным обобщающим обозначением тяжеловооруженной конницы античного мира является другой термин — «катафракты» [см.: Nikonov 1998].

Другой точкой зрения на данную проблему является тезис о преимущественно местном, северопричерноморском происхождении аристократической тяжеловооруженной кавалерии. Сторонники этой гипотезы указывают на наличие в этом регионе в предшествующий период всех необходимых для тяжеловооруженной кавалерии элементов. В. Ю. Мурзин и Е. В. Черненко утверждают, основываясь на археологических материалах, что уже с раннего времени скифским воинам были хорошо известны средства защиты боевого коня и достаточно широко использовались ими [Мурзин, Черненко 1980: 167]. Кроме того, Е. В. Черненко на археологических материалах наглядно показал существование у скифов длинных пик еще до сарматов [Черненко 1984]. Другой исследователь, С. А. Скорый оспорил точку зрения К. Ф. Смирнова и А. И. Мелюковой о савроматском происхождении длинного рубящего меча. Он пишет о том, что традиционное восприятие акинака как короткого меча скифов, а длинного рубящего меча как оружия савроматов по своей сути не верно. Более того, маловероятно, по его мнению, само происхождение длинного скифского меча под савроматским влиянием [Скорый 1981: 24].

В настоящее время, на основании анализа материалов из сарматских погребальных комплексов, исследователи отмечают, что доспехи в сарматском войске были не столь распространены, как это принято считать. Их имела лишь знать, могилы которой сосредоточены преимущественно на Дону, Кубани и Нижнем Поволжье, в то время как для территории Украины они единичны [Симоненко 1986: 11]. А. В. Симоненко, продолжая мысль Е. В. Черненко, отмечал, что сарматы не были новаторами в использовании тяжелой конницы на территории Юго-Восточной Европы. До сарматов такую конницу сходным образом использовали скифы [Там же: 13]. По его мнению, катафракты у сарматов появляются незадолго до нашей эры, но широкое распространение получают в I—III вв. н. э. [Там же: 14]. Некую промежуточную позицию занимает в этом вопросе М. Мельчарек, основываясь на принципе «золотой середины». Он полагает, что тяжеловооруженная кавалерия данного типа появилась у сарматов под влиянием множества факторов. В частности, ее появление на основе центральноазиатской традиции обязано скифскому опыту и греческому импульсу из полисов Северного Причерноморья, возможно, с некоторым влиянием со стороны меотов Северного Кавказа [Mielczarek 1993: 98].

Обратимся к письменным источникам, сведения которых о сарматской коннице весьма противоречивы. По сообщению Страбона (VII, 3, 17), в конце II в. до н. э., в битве с фалангой Диофанта, полководца понтийского царя Митридата VI, сарматы-роксоланы были легкими всадниками [Страбон 2004: 194]. Но уже в 35 г. н. э. Тацит описывает роксоланских всадников как конных латников, с длинными мечами и пиками (*История* I, 79). Во II в. Арриан в своей «Диспозиции против аланов» описывает аланскую копьеносную ударную кавалерию [см.: Нефёдкин 2001: 208], тогда как в конце IV в. Аммиан Марцеллин (XXXI, 2, 21), рассказывая о коннице аланов, сравнивает ее с гуннской, которая, согласно его же описанию (XXXI, 2, 7—9), была легковооруженной [см. также: Никоноров 2002; Никоноров, Худяков 2004]. Наконец, по сообщению в «Гетике» Иордана (§ 261), в битве у реки Недао в 454 г. аланы сражались в тяжелом снаряжении [см.: Никоноров 2002: 265, примеч. 62].

Была высказана точка зрения, что у аланов тяжеловооруженная кавалерия исчезает к IV в. [Мерперт 1955: 159; Каминский 1992: 16]. Впрочем, указанная противоречивость в приведенных выше данных античной традиции не должна все-таки свидетельствовать против наличия тяжеловооруженной кавалерии в составе войск сарматов и аланов в целом, поскольку отсутствие упоминаний о ней в каждом конкретном случае было вызвано теми или иными специфическими причинами (особенностями построения, специфическими условиями боя и т. д.) [Хазанов 1970: 62—63; Нефёдкин 2001: 208].

Доспех во всаднических погребениях является одним из главных признаков тяжеловооруженного кавалериста. Почти все могилы с доспехами содержат предметы роскоши [Симоненко 1986: 11]. Однако не во всех мужских погребениях высокого социального статуса (т. е. содержащих престижные, дорогостоящие предметы) находят доспехи. Как правило, нет их в среднесарматских погребальных памятниках Подонья, где из более чем пятидесяти погребений междуречья Сала и Маныча лишь одно содержит остатки панцирных пластинок [Ильюков, Власкин 1992: 98]. То же самое мы наблюдаем и в богатых нижнедонских курганах. В единственном случае Б. А. Раев упоминает о фрагменте кольчуги в погребении конца II — начала III в. н. э. [Raev 1986: 10]. Это тем более странно, поскольку у соседних, синхронных им памятников Зубовско-Воздвиженской группы и курганов «Золотого кладбища» панцири отмечены в большинстве погребений военной знати. В Зубовско-Воздвиженской группе они встречены почти в каждом комплексе, в «Золотом кладбище» — в 34 случаях [Гущина, Засецкая 1989: 73; 1994: 10]. А. М. Ждановский, следовавший 13

насыпей у ст. Тбилисской, также отмечает высокую концентрацию защитного вооружения в курганах Средней Кубани [Ждановский 1984: 95], включая даже находку в одном из них конского (?) чешуйчатого доспеха [Там же: 92]. Могильник у хут. Городского вообще содержал более чем в половине раскопанных там могил наборы предметов вооружения катафрактов [Сазонов 1992].

На Северном Кавказе (не учитывая материалы Дагестана), в могилах более позднего времени (начиная с III в. н. э.) оборонительные доспехи встречаются редко. Только в двух случаях, в Кишпекке и Терезе были встречены остатки кольчуг [Абрамова 1997: 115]. М. Г. Мошкова также говорит об отсутствии доспехов у поздних сарматов, которые, по ее мнению, тем не менее, несомненно бытовали в их среде [Мошкова 1989: 198].

По мнению специалистов, многие из найденных в могилах сарматского времени доспехов являлись предметами импорта, в частности, комбинированные панцири, в которых кольчужная основа была усилена, очевидно, на груди, бронзовыми и железными чешуйками с вертикальным ребром по оси (Никольский могильник) или полусферическими выпуклостями по нижнему краю (Лысая Гора). Ближайшие им аналогии имеются среди остатков брони, найденных в римских лагерях на территории Великобритании и континентальной Европы, а также на Ближнем Востоке [Симоненко 1989: 67]. Римскую принадлежность зубовско-воздвиженских доспехов отмечал и Е. В. Черненко [1968: 30]. В. Н. Каминский также считает все доспехи аланов догуннского времени римскими импортами [1992: 15]. Повторяет эту мысль и С. П. Кожухов [1999: 168—170]. А. В. Симоненко полагает, что есть все основания считать доспехи Золотого кладбища принадлежащими тому же типу, что и снаряжение парфянского (?) «клибанария» на знаменитом граффити из Дура-Европос [Robinson 1975: 186]. По его мнению, «мы имеем дело с еще одним импортным доспехом — на сей раз парфянским, а его появление у сарматских воинов легко объяснимо в контексте оживленных военно-политических контактов сарматов с восточными соседями Империи» [Симоненко 1989: 69—70].

Кроме оружия, важнейшим носителем информации о социальном (= военном) статусе погребенных среди сопроводительного инвентаря являются предметы роскоши — металлическая посуда и украшения. Поскольку почти вся металлическая посуда представлена римскими импортами [Raev 1986], то наиболее ярким восточным индикатором является наличие в могилах знати изделий полихромного сарматского звериного стиля. К. Ф. Смирнов предполагал, что территорией формирования сарматского звериного стиля были степи Приуралья и Поволжья [Смирнов 1976: 74]. После фундаментальной работы Б. А. Раева, который отнес почти все богатые погребения кочевнической знати Нижнего Дона к узкому хронологическому отрезку — от конца I по первую половину II вв. н. э. [Raev 1986: 69, diagram], вещи полихромного звериного стиля стали считаться импортами преимущественно с востока. Как отмечает М. Б. Шукин, появление и распространение достаточно единого, т. н. «греко-бактрийского» стиля на огромной территории от Индии и Монголии до Северного Причерноморья, Фракии и Ламанша — это своего рода отражения в культуре кочевого мира событий сложной исторической эпохи: от падения Греко-Бактрии до Митридата Евпатора, времени Помпея и Цезаря и дакийского царя Бурбисты [Шукин 1994: 146]. Однако «греко-бактрийский» стиль только на первый взгляд кажется таким единым и монолитным, тогда как при детальном анализе предметы полихромного звериного стиля даже из Зубовского хутора и ст. Воздвиженской могут быть распределены в разные стилистические группы [Мордвинцева 2003: 76]. Поскольку изменения в культуре кочевников Поволжья, так же как Подонья и Прикубанья, связываются, в основном, с миграционными процессами в степном поясе Евразии во II веке до н. э. [Шукин 1994: 140], В. И. Мордвинцева высказывает предположение о некоей первоначальной группе кочевников, которая в конце II в. н. э. принесла в степи Восточной Европы эстетически близкий и понятный им, но чужеродный для окружающей культурной среды стиль. Однако с утверждением новой культуры, вырабатываются новые иконографические схемы, и происходит ассимиляция разных художественных традиций. Таким образом, несколько позже появляется новый стиль, соединяющий в себе бактрийско-центральноазиатскую и северопричерноморскую традиции [Мордвинцева 2003: 77]. На это ранее обращал внимание и М. Ю. Трейстер на основе анализа фаларов из сарматских памятников [Трейстер 2001: 173].

Добавим, что С. И. Безуглов [1997: 137—138] связывает малое количество золотых предметов роскоши в погребениях аристократии и преобладание там серебряных изделий (главным образом, в качестве принадлежностей конской узда и украшений на парадном оружии) с господством дружинной иерархии, а С. А. Яценко [2001: 84] рассматривает это как новый этап развития ремесленного производства и результат воздействия римской культуры, особенно после Маркоманнских войн.

В силу сказанного выше, можно констатировать, что, по данным археологии, происхождение и развитие военной аристократии и, в частности, кавалерии катафрактов у сарматских племен Прикубанья, Поволжья и Подонья, связано более с Западом, нежели с Востоком. Савроматы и ранние сарматы не только не принесли с собой тяжелое всадническое вооружение (они были преимущественно легкими всадниками), но даже позаимствовали его у скифов. Именно чешуйчатый доспех скифского типа бытовал у сарматов вплоть до первых веков нашей эры. Кольчуга являлась римским импортом, а полихромный звериный стиль, за исключением отдельных импортов, в среднесарматское время состоял преимущественно из вещей боспорского производства. Проблема формирования тяжеловооруженной конницы катафрактов у сарматов в силу специфики развития кочевых обществ и в связи с отсутствием у них централизованного государства должна рассматриваться именно в социальном ракурсе. Максимальная концентрация погребальных комплексов военной знати с погребениями тяжеловооруженных всадников фиксируется в среднесарматское время. В это время процесс социальной дифференциации способствовал выделению довольно многочисленной аристократической прослойки, в среде которой и сформировалась конница катафрактов. Она существовала сравнительно короткий период. Еще в догуннскую эпоху, с приходом позднесарматских племен с востока развитие тяжеловооруженной конницы у сарматов этого региона прерывается, так же как ранее оно прервалось у скифов в связи с приходом сарматских племен.

Библиография

- Блаватский В. Д.* О стратегии и тактике скифов // КСИИМК. Вып. XXXIV. 1950.
- Блаватский В. Д.* Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1954.
- Безуглов С. И.* Воинское позднесарматское погребение близ Азова // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1994. Вып. 14. Азов, 1997.
- Горончаровский В. А., Никонов В. П.* Илуратский катафрактарий (К истории античной тяжелой кавалерии) // ВДИ. 1987. № 1.
- Гутнов Ф. Х.* Ранние аланы. Проблемы социальной истории. Владикавказ, 2001.
- Гущина И. И., Засецкая И. П.* Погребения Зубовско-Воздвиженского типа из раскопок Н. И. Веселовского в Прикубанье // ТГИМ. Вып. 70. 1989.
- Гущина И. И., Засецкая И. П.* «Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье. СПб., 1994.
- Ждановский А. М.* Подкурганые катакомбы Среднего Прикубанья первых веков н. э. // Археолого-этнографические исследования Северного Кавказа. Краснодар, 1984.
- Илюков Л. С., Власкин М. В.* Сарматы междуречья Сала и Маныча. Ростов-на-Дону, 1992.
- Каминский В. Н.* Вооружение племен аланской культуры Северного Кавказа I—XIII вв.: АКД. СПб., 1992.
- Кардини Ф.* Истоки средневекового рыцарства. М., 1987.
- Кожухов С. П.* Закубанские катафрактарии // Материальная культура Востока. М., 1999.
- Мелюкова Г. И.* Вооружение скифов. М., 1964.
- Мерперт Н. Я.* Из истории оружия племен Восточной Европы в раннем средневековье // СА. Т. XXIII. 1955.
- Мордвинцева В. И.* Полихромный звериный стиль. Симферополь, 2003.
- Мурзин В. Ю., Черненко Е. В.* О средствах защиты боевого коня в скифское время // Скифия и Кавказ. Киев, 1980.
- Нефёдкин А. К.* Комплектование и состав войска сарматов и аланов в I—IV вв. по данным античных источников // Боспорский феномен. СПб., 2001.
- Никонов В. П.* К вопросу о парфянской тактике (на примере битвы при Каррах) // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово, 1995.
- Никонов В. П.* Военное дело европейских гуннов в свете данных греко-латинской письменной традиции // ЗВОРАО. НС. Т. I (XXVI). 2002.
- Никонов В. П., Худяков Ю. С.* «Свистящие стрелы» Маодуня и «Марсов меч» Атиллы: Военное дело азиатских хунну и европейских гуннов. СПб., 2004.
- Первалов С. М.* Аланы Иосифа, сарматы Тацита в событиях 35 г. н. э. на Кавказе // ТД международной конференции к 200-летию А. М. Щегрена. Владикавказ, 1994.
- Пугаченкова Г. А.* О панцирном вооружении парфянского и бактрийского воинства // ВДИ. 1966. № 2.
- Сазонов А. А.* Могильник первых веков н. э. близ хутора Городского // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1992.
- Скорий С. А.* Скифські довгі мечі // Археологія. 36. 1981.
- Смирнов К. Ф.* Сарматские племена Северного Прикаспия // КСИИМК. Вып. 34. 1950.

- Смирнов К. Ф.* Савромато-сарматский звериный стиль // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976.
- Симоненко А. В.* Военное дело населения степного Причерноморья в III в. до н. э. — III в. н. э.: АКД. Киев, 1986.
- Симоненко А. В.* Импортное оружие у сарматов // Кочевники евразийских степей и античный мир (проблема контактов). Новочеркасск, 1989.
- Толстов С. П.* Древний Хорезм. М., 1948.
- Трейстер М. Ю.* Заметки по поводу дискуссии «Сарматы в I в. н. э.: новейшие открытия» // ВДИ. 2001. № 4.
- Хазанов А. М.* Характерные черты сарматского военного искусства // СА. 1970. № 2.
- Хазанов А. М.* Очерки военного дела сарматов. М., 1971.
- Черненко Е. В.* Длинные копья скифов // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1984.
- Шилов В. П.* Калиновский курганный могильник // МИА. № 60. 1959.
- Яценко С. А.* Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. М., 2001.
- Melczarek M.* Cataphracti and Clibanarii: Studies on the Heavy Armoured Cavalry of the Ancient World. Łódź, 1993.
- Nikonorov V. P.* Cataphracti, Catafractarii and Clibanarii: Another Look at the Old Problem of Their Identifications // Военная археология: оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. Спб., 1998.
- Raev B. A.* Roman Imports in the Lower Don Basin // British Archaeological Reports. International Series. 278. Oxford, 1986.
- Robinson H. R.* The Armour of Imperial Rome. London, 1975.

ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ РУНИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Одним из важнейших компонентов духовной культуры любого народа является его историческая память. Овладение письменной культурой, как правило, влечет за собой письменную фиксацию различных проявлений исторической памяти. С известными оговорками, касающимися неполноты письменного выражения собственной истории в любом архаическом социуме, зафиксированная историческая память определяет временную глубину самой культурной традиции. Вместе с тем, именно в исторической памяти социума таятся в какой-то степени стертые и мифологизированные стереотипы, определяющие пути поиска истоков культурного наследия.

Наиболее важными памятниками древнетюркской культуры являются тюркские рунические памятники Монголии, Южной Сибири и Восточного Туркестана, памятники, обладающие двумя существенными для историка неоспоримыми достоинствами — автохтонностью и аутентичностью. Однако, в какой мере рунические тексты являются носителями исторической памяти? Уже в конце XIX — начале XX вв. выдающиеся востоковеды своего времени — В. В. Бартольд и И. Маркварт — первыми исследовали с этой позиции тюркские памятники, выявили содержащуюся в них значительную долю историографической информации, сопоставили с иными группами источников и очень высоко оценили памятники как носители важных сведений, касающихся истории самих тюрок и созданных ими государств. Были четко определены три основные группы эпиграфических текстов. Это, прежде всего, собственно тюркские памятники Северной Монголии (орхонские памятники), затем немногочисленные тогда, в начале XX в., памятники уйгурской эпохи, найденные там же, где и тюркские, и, наконец, историографически наименее информативные из-за трудностей датирования енисейские памятники древних кыргызов. Начавшиеся в 1960—1970-е гг. дискуссии о жанре памятников и их ценности как исторических источников так и не смогли поколебать уже сложившуюся высокую историографическую оценку рунических текстов. Более того, новые открытия древнетюркских памятников, связанные, в основном, с полевыми исследованиями Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции (1969—1990), принесли неожиданные результаты, касающиеся письменной фиксации исторической памяти у тюркских народов древности. Немало было сделано и в изучении енисейской эпиграфики. Успехи изучения древнетюркской письменности к 1960-м гг. создали ощущение известной завершенности историографической обработки этой сравнительно небольшой группы текстов. Между тем, именно сенсационные результаты начального периода выявили такие труднейшие аспекты историко-культурной оценки памятников, решение которых оказалось надолго отложенным.

Остановимся лишь на некоторых из возникших загадок и тех открытиях, которые способствовали их разрешению. Тюркский каганат возник на территории Монголии в 551 г. и, распространившись от Хинганских гор до Керченского пролива, стал первой евразийской империей, просуществовавшей 8—10 лет. Каганат был разрушен в 630 г., в период максимальной экспансии Танской империи, но через пятьдесят лет возродился и просуществовал еще пятьдесят лет. Все обнаруженные до недавнего времени на территории каганата памятники относились ко второму периоду его существования, к 20—30-м гг. VIII в. Следовало ли, исходя из этого факта, сделать вывод, что Первый каганат не знал ни письменности, ни историографической традиции? Что обычай устанавливать в поминальных комплексах тюркской знати стелы с историко-биографическими текстами возник лишь в эпоху Второго каганата? Такой вывод делался. Приведем мнение выдающегося знатока тюркской археологии Л. Р. Кызласова, опубликованное им в 1965 г.: «Установка вертикальных стел с надписями (у курганов в рядах и одиночно) никогда не практиковалась алтайскими тюрками-тугю и другими племенами, входившими в Первый Тюркский каганат». И тогда никаких прямых доказательств альтернативы не было. А через три года была обнаружена стела с согдийским текстом, которую по месту находки я назвал Бугутской, стела, оказавшаяся частью погребального комплекса четвертого тюркского кагана Таспара. По своему типу и содержанию, стела совершенно подобна появившимся через сто пятьдесят лет орхонским памятникам. Бугутская стела была установлена в 582 г. Среди событий, датированных по двенадцатилетнему циклу, там упомянуто и об учреждении в каганате буддийской сангхи. Теперь несомненно, что Первый каганат знал и обычай установки стел с надписями при княжеских погребениях, и календарь, и свою историографическую традицию, а идеологическая жизнь тюркского социума в VI в. отнюдь не была примитивной. Вместе с тем,

употребление здесь согдийского языка и письменности указывает, по крайней мере, на то, что культура и образованность Средней Азии была для тюрок явлением достаточно обычным и привычным.

Другая историко-культурная проблема связана с ареалом распространения тюркского рунического письма. Почти все найденные памятники концентрировались в центральных районах Северной Монголии и являлись составной частью княжеских поминальных комплексов. Исходя из этого, следовало бы признать, что письменная культура в Тюркском каганате была достоянием узкой аристократической группы, а территория ее распространения была очень ограничена. Во время полевых работ в Монголии в 1970—1980-х гг. докладчик, имея в виду необходимость поиска бесспорных материалов для решения проблемы, осуществил целенаправленные рекогносцировки в Хангайской горной стране, Хэнтэе, Монгольском и Гобийском Алтае, в котловине Больших озер и в Южной Гоби. В ходе рекогносцировок было установлено, что руническая письменность была распространена и активно использовалась во всей зоне обитания древнетюркских племен. А отсутствие профессионализма в исполнении мелких наскальных надписей указывает на значительное число людей, владевших письмом и использовавших его в обыденной жизни. В сравнении с ранне-средневековой Европой, можно считать Тюркский каганат страной сплошной грамотности.

Обратимся теперь к другой группе памятников — памятникам Уйгурского каганата. До 1960-х гг. их было известно всего два — Карабалгасунская надпись и надпись из Могон Шине усу. В ходе работ СМИКЭ были открыты еще три крупных памятника разной степени сохранности. Какова их историографическая составляющая? Две стелы, открытые в Хангайской горной стране, были названы мной по долинам рек, где были установлены — Терхинской и Тэсинской. Они были сооружены в 753 и 762 гг. Историографические разделы обеих надписей, судя по сохранившейся части, достаточно близки по содержанию, и главная идея этих разделов, казалось бы, парадоксальна — уйгурские каганы VIII в., правившие в Монголии и Туве, считали себя наследниками и преемниками древних вождей, которые возглавляли огуро-огузские племена евразийских степей за сотни лет до них. И оба уйгурских государя, Элетмиш Бильге и Бегю, которым посвящено повествование, сочли нужным напомнить об этом своим соплеменникам и своим подданным в высеченных на камнях декларациях. Они возвеличили тех, кто возглавлял племена и создавал Эль — кочевую империю, и они осудили тех, кто разрушал Эль в междуусобных и межплеменных войнах. Память уйгурских историографов охватила несколько эпох созидания и разрушения Элей, включая события более чем двухсотлетней давности. В начальных строках их повествования история слилась с мифом о сотворении и легендами о каганах-основоположниках. Время повествования определяется упоминанием общего кагана тюрок и огузов — Бумына, т. е. серединой VI в., а пространство событий — вся евразийская степь.

Ключевое слово в Тэсинской надписи — термин *бузук*. Сохраненное позднейшей огузской традицией (легендами об Огуз-хане, предке-эпониме огузских племен) и зафиксированное мусульманской историографией (Захир ад-дин Нишапури, Ибн ал-Асир, Рашид ад-дин) устойчивое деление огузов на два крыла, два объединения племен — *бузуков* и *учуков*, как теперь ясно, восходит к глубокой древности. Бузуки, правое крыло, соотносимое с восточной ориентацией, в квази-имперских и имперских структурах огузов имели преимущества старшинства. Только из их среды выдвигался великий хан (каган), номинальный глава всех огузов, а иерархическое положение аристократии бузуков, их племенных вождей, было более высоким, чем статус племенных вождей учуков. Ко времени, о котором говорится в надписях, времени Бумын-кагана и его первых наследников, в двусоставной тюрко-огузской структуре Тюркского Эля, место бузуков занимали десять тюркских племен, одно из которых, Ашина, было каганским племенем. После распада каганата на восточную и западную части, деление на бузуков и учуков в Восточнотюркском, а позднее и Уйгурском каганатах сменилось делением на *телисов* и *тардушей*, восточное и западное крылья, которые вместе с каганским центром-ставкой (*орду*) формировали военно-административную структуру Эля. В Западнотюркском каганате, в «народе десяти стрел» (как они сами себя называли), сложилась или проявилась иная древняя структура — деление на *дулу* и *нушиби*, восточное и западное объединения племен, соперничество между которыми часто приводило к междуусобным войнам. В повествовании автора Тэсинской надписи вся вина за раскол и распрю возлагается на бузуков — вождей собственно тюркских племен, что совпадает с реальной событийной канвой, известной по другим источникам. Более всего в этой распре пострадали западные огузы-огуры, и авторы обеих надписей сочли нужным отметить гибель двоих, назвав их имена и их племена — вождя берсиллов Беди и вождя хазар (*касар*) Кадыра. Оба упоминания позволяют оценить, прежде всего, место обоих племенных союзов в исторической памяти огузов, в той политической картине ушедшего мира, с которой было связано и имперское величие, и крушение тюрко-огузского дуумвирата в евразийской сте-

пи. Другое, не менее интересное наблюдение: и хазары, и берсилы косвенно причислены к учукам, т. е. к западному крылу огузо-огузских племен. Обстоятельство тем более важное, что в позднейшей огузской традиции конца I — первой половины II тыс. берсилы и хазары уже не фигурируют. Так же как *сиры* (*сеяньто* китайских хроник), они выпали из огузских объединений и создали собственные имперские структуры примерно в одно и то же время (сиры — в 630—647 гг.).

Основная трудность, с которой сталкивается историк, интерпретирующий енисейские надписи — проблемы абсолютной датировки и выявление связей с историческим контекстом описываемых в надписях событий. Прорыв обозначился лишь после того, как мне удалось достаточно достоверно датировать две надписи с Алтын-келя, доказав, что мемориант одной из них — кыргызский каган Барс-бег, погибший зимой 710—711 гг. Так же датируется вторая надпись Алтын-келя. Примерно тем же временем датируется надпись именитого военачальника Чабыш Тон-таркана, которого Барс-бег, незадолго до своей гибели, отправил за поддержкой к Кара-хану, т. е. к тюркешскому кагану (надпись Уйбат I). О тех же событиях повествует еще одна енисейская эпитафия (Кызыл Чираа I). Гибель ее героя, имя которого не сохранилось, случилась в сражении с войском Бег-чора. Но Бег-чор — это «мужское (воинское) имя» (*er aty*) Капаган-катана. Китайские династийные хроники так и называют этого кагана — Мочжо, т. е. Бег-чор. А в последней строке надписи мемориант оплакивает не свою кончину, а гибель своего старшего брата, хана кыргызов, т. е. Барс-бега. Назван даже возраст Барс-бега — сорок два года. Напомним, что в эпитафии самого Барс-бега (Алтын-кель I) рассказывается о четырех «высокородных братьях», которых «разлучил Эрклиг», бог подземного мира. Другие особо значимые надписи относятся к совсем иной эпохе, к эпохе мощного взлета кыргызской государственности и доминирующей роли кыргызов в Центральной Азии. Прошло сто тридцать лет с момента гибели Барс-бега и сто лет со времени краха Тюркского каганата, когда окрепшее Кыргызское государство сокрушило в 840 г. прежнего гегемона степей — Уйгурский каганат. Созданная кыргызами империя простиралась тогда от Ангары и Байкала до Алтая и Семиречья, от сибирской тайги до Великой Китайской стены. Овладев Северной и Северо-Западной Монголией, основной территорией уйгуров, кыргызы не остановились. Их власть распространилась на Алтай — в одной из надписей (Уюк-Оорзак III) упомянут кыргызский правитель нового юрта — ябгу Алтая. Но самое интересное сообщение содержит надпись с реки Бегре, правого притока Бий-хема. Ее герой, именуемый не собственным именем, а титулом — *ичреки*, т. е. «доверенное лицо» Тер-апа, рассказывает в своем посмертном повествовании: «в мои пятнадцать лет я ходил на китайского хана. Благодаря моей доблести мужа-воина, своим героизмом я захватил золото и серебро, верблюдов и жен!» Умирая в возрасте 67 лет, мемориант скорбит о разлуке со своей супругой, которую взял в свои 15 лет, т. е. во время китайского похода. Это повествование осталось бы изолированным и непонятым, если бы не другие, на первый взгляд, не связанные с китайским походом сообщения.

До недавнего времени единственным памятником «кыргызского великодержавия» в Центральной Азии (840—918) считалась Суджинская надпись. Она написана неким «сыном кыргыза» Бойла Кутлуг-ярганом, участником победы над уйгурами. В первой строке надписи упомянут Яглакар-хан, которого первоначально посчитали за хана кыргызов и прообраз Манаса. Однако же, как было установлено, Яглакары — это уйгурская ханская династия, и в Суджинской надписи рассказано об ее изгнании и гибели. Между тем, в 1975 г. мною была открыта и прочтена в Северо-Западной Монголии, на р. Тэс, наскальная надпись, принадлежащая кыргызскому военачальнику Тепек Алп Солу. Удалось установить, что Алп Сол несколько раз упоминается в синхронных китайских документах, содержащих отчет о событиях в Центральной Азии в 842 г. Именно Алп Сол руководил кыргызскими отрядами, вторгшимися в китайскую провинцию Ганьсу и в государства-оазисы Восточного Притяньшанья, вел переговоры с китайским министром в пограничной крепости Тяньдэ, а в 843 г. возглавил кыргызское посольство к императорскому двору, в столицу Китая и возвратился с богатыми дарами. Теперь можно утверждать, что единственный за всю историю кыргызов «Великий поход» в Китай состоялся в 842—843 гг., на заре «кыргызского великодержавия», и возглавлял его кыргызский военачальник Алп Сол, чьи земельные владения были на Алтае и в Туве. Прошло много столетий, но тот поход не забылся — он наложился на многие другие события, его герой получил у алтайских кыргызов иное имя — Алп Манаш, и когда в XVI в. они переселились с Алтая на Тянь Шань, сказание о Великом походе и его главном герое Манасе превратилось на новой родине в грандиозный народный эпос, вобравший в себя память о многих веках нелегкой истории кыргызского племени.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ИРАНА И ЕГО ВОСТОЧНЫХ СОСЕДЕЙ

Географическое положение Сасанидского Ирана (224—651) между Римом-Византией и государствами Центральной и Юго-Восточной Азии на протяжении нескольких веков обусловили его активную внешнеполитическую деятельность, которая выражалась в военной и культурной экспансии на запад и восток. Инструментом этой политики выступали профессиональные войска, усиленные наемными отрядами из окраин государства, и зороастрийское жречество. Перипетии завоевательных походов, непродолжительного мирного сосуществования и даже союзнических отношений между соседними странами фиксировались вначале в царских наскальных надписях, а позднее — в официальной историографии, сконцентрированной при Сасанидах в «Книге владык» (*Хвадай-намаг*). Некоторое представление о ней (о ее содержании) дает доисламская часть истории Ирана, изложенная в «Хронике» ат-Табари, полное название которой «История пророков и царей» (*Тарих ар-русул ва-л-мулук*). Поэтическая версия *Хвадай-намаг* реализована в знаменитой «Книге царей» (*Шах-наме*) Фирдоуси.

Достоинством царских хроник и «книг деяний» отдельных монархов является то, что они воспроизводят общую канву событий, их определенную последовательность, передают в известной степени дух эпохи, и в этом смысле хороши для первого (начального) знакомства с историей государства. В то же время, они выражают официальную точку зрения правящей элиты на исторический процесс, который оказывается более сложным и неоднозначным.

Для более глубокого изучения истории исследователи вынуждены обращаться к нетрадиционным источникам, представляющим сферу вспомогательных дисциплин. Для изучения доисламского (сасанидского) Ирана первостепенное значение имеют сочинения современных эпохе сирийских авторов, посвященные истории христианства в Сасанидской державе и политике центральной власти в отношении конфессиональных меньшинств. Сасанидские монеты и монетные клады с территории Ирана и соседних стран являются уникальным источником для изучения денежного хозяйства и международных торговых связей, анализа экономического состояния государства. В то же время, благодаря содержащейся в них информации (имя «монетного сеньора», аббревиатура или полное название места чеканки, дата выпуска по эре царствующего монарха, изменения в символике и проч.), серебряные драхмы дают возможность корректировать официальную хронологию событий и получить информацию о размерах реально контролируемой территории. Позднесасанидские и (особенно) арабо-сасанидские монеты после их тщательного анализа позволяют лучше представить деятельность местной администрации и конфессиональные проблемы в стране.

Официальные печати должностных лиц сасанидского Ирана помогают в реконструкции административного деления державы, но здесь пока приходится говорить об отдаленной перспективе, ибо в руках исследователей и в музеях находится пока ничтожно малая часть некогда обильного материала.

Территория Сасанидского государства на востоке включала часть районов нынешней Центральной (Средней) Азии и современного Афганистана. Попытаемся сопоставить между собой сведения официальной историографии и данные нетрадиционных источников о восточных границах Ираншахра в III—VII вв. н. э. В надписи Шапура I на «Каабе Зороастра» в Накш-и Рустам (Иран), высеченной около 260 г. по случаю победы персов над римлянами, приводится список провинций и областей Ирана, подчиненных царю царей. Назову лишь те, которые расположены на северо-востоке и востоке. Это — Гурган, Мерв, Герат, «весь Абаршахр» (Нишапур и его округа), Керман, Сакастан, Туран, Макуран (Мекран), Парадена, Хиндустан, Кушаншахр «и далее до Пашкибура (Пешавара), Каша (Кашкара?), Согда и Чача» [Васк 1978: 285—288; Луконин 1969: 62]. Если верить надписи, то пределы сасанидского Ирана в III в. простирались до реки Инд и Кашгара. Тот же состав восточных и северо-восточных провинций представлен с небольшими вариациями и в более поздних надписях магупата Картира в Сар-и Машхаде и в Накш-и Рустаме (конец III в.). В них также заметны честолюбивые претензии новой династии сравняться в величии с Ахеменидами путем реальных и мнимых территориальных приобретений. Каковы же были фактические размеры территории Сасанидской державы в III в.? Нетрадиционные источники, не всегда исчерпывающе отвечая на этот вопрос, тем не менее, косвенно свидетельствуют, что она была намного меньше

декларированной в надписи. Так, присоединение империи великих кушан произошло только в IV в., при Шапуре II (309—379), и было ознаменовано эмиссией сасанидо-кушанских монет [Луконин 1987: 207—230].

Нет подтверждающей информации и о завоевании Чача в III в. Единственное упоминание о городе (монетном дворе) Чач встречается на драхме Хормузда IV, выбитой в шестой год его царствования (584—585), и связанной, возможно, с удачной военной кампанией Бахрама Чубина на востоке против тюрков [Mochiri 1977: fig. 317]. И все же, появление спорных названий в списке вряд ли случайно. Как кажется, этому есть свое объяснение. До выхода Сасанидов на историческую арену Парфянская держава состояла из множества удельных княжеств, слабо подчиняющихся центру. Воюя с Аршакидами и одерживая победу за победой, Сасаниды становились фактическими наследниками их владений. Как сообщает сирийский автор «Истории Адиабенской церкви» (VI в.), Шапур I вел успешную борьбу с хорезмийцами, горцами исторической Мидии, гилянцами, дейлемитами и гурганцами [Mingana 1907: 33, 110]. Многие из вассальных правителей приняли сторону Сасанидов в их борьбе с парфянами и тем сохранили себе известную независимость. Упоминание Чача в этом контексте можно расценивать как формальное подчинение на момент высечения надписи. В зависимости от исхода военных действий и развития внешнеполитической ситуации, границы Ираншахра в разное время менялись. Восточная и северо-восточная границы в III—VII вв. были более или менее стабильными по линии Мерв-Герат-Сакастан (Заранг). Об этом лучше других источников свидетельствуют сасанидские монеты, чеканенные на окраинах государства. При Шапуре I (241—272) и Шапуре II (309—379) в Мерве чеканились золотые денары с легендой MLWY на оборотной стороне монет, рядом с изображением аташдана [Mochiri 1977: 34—35, fig. 125/e, 127/f, 131/g; Göbl 1971: pl. VII/112]. Золотая эмиссия на монетном дворе Мерва подчеркивала важное политическое и стратегическое положение города при ранних Сасанидах. Может быть, именно потому он стал именоваться позднее шахским Мервом (перс. *Марв-и шахиджан*), в отличие от Мервруда, название которого переводится как «Мерв-на-реке». Соответственно и монетный двор Мерва обретал статус царского монетного двора. В Мерве регулярно чеканились и драхмы (серебряные монеты, активно обращавшиеся как в самом Иране, так и за его пределами). Перерывы в работе монетного двора приходятся на царствование Варахрана IV (388—399), часть царствования Пероза (457/459—484) и на первую треть правления Кавада I (с 488 по 501 гг.), т. е. на те годы, когда город находился в руках эфталитов [Paruck 1944: 112, no. 112; Göbl 1954: 91, no. 47, 48, Taf. IX].

В контексте военно-политических событий на востоке Герат выступает как опорный пункт Сасанидов в борьбе с кушанами и затем с эфталитами. Первые очевидные следы гератской чеканки относятся ко времени Шапура II, т. е. к IV в. Наиболее интенсивная деятельность монетного двора Герата приходится на первую треть VI в., время Кавада I. Последующий период отмечен значительным сокращением эмиссии, и в первой трети VII в., при Хосрове II (590—628), она сводится к нескольким случайным выпускам драхм [Колесников 1998: 114—115].

Монетный двор Балха, города, расположенного в полутысяче километров к северо-востоку от Герата, следует отнести к категории нерегулярно действующих монетных дворов. Большую часть сасанидской эпохи Балх находился во власти местных правителей из кушан, эфталитов, позднее — тюрков, хотя ранние Сасаниды добирались и до него, как это видно по драхме Варахрана I (276—293) с аббревиатурой BNLY [Nikitin 1999: 263, fig. 2, 2a]. Господствующей религией в Балхе был буддизм, о чем помимо нарративных источников свидетельствуют археологические находки. Появление в позднесасанидском чекане драхм с балхскими монограммами носит случайный характер и всегда связано с удачным походом на восток или временным «мирным» подчинением области. Сасанидская эмиссия балхских драхм заканчивается нерегулярными выпусками Хосрова II в 617, 623, 627 и 628 гг. Балхские монограммы не встречаются на монетах его преемников, что указывает на выход Балха из-под контроля вплоть до завоевания арабами восточных окраин Сасанидского государства [Колесников 1998: 116—117].

Самое раннее упоминание монетного двора Сакастана сохранилось на драхме Варахрана I. Свидетельств деятельности его от времени Шапура II до Пероза (т. е. с 379 по 457 гг.) до нас не дошло. При Перозе и Каваде, т. е. до 531 г. этот монетный двор функционировал от случая к случаю. Наибольшая интенсивность сакастанской эмиссии засвидетельствована для времени Хосрова I и Хормузда IV, т. е. с 531 по 590 гг. Большой перерыв наблюдается при Хосрове II — с 602 по 610 гг. Динамика деятельности монетного двора служила показателем стабильности или нестабильности позиций центра в этом регионе.

Нумизматический материал позволяет конкретизировать направление и время сасанидской военной экспансии в пределы Центральной Азии в конце VI в. Мусульманские историки (ад-Динавари, ат-Табари, ас-Саалиби, Балами), опираясь на данные сасанидской историографии, связывают это событие с походом полководца Бахрама Чубина (будущего узурпатора трона Варахрана VI) против тюрок и датируют 589 г. В их изложении реальные события перемежаются легендами. Критике нарративных источников посвящены несколько публикаций в России и за рубежом (Работы Л. Н. Гумилева, Г. Виденгрена и К. Цегледи). В источниках говорится о взятии Балха, о переходе Бахрама Чубина через Амударью и осаде крепости Пайкенд (Байкенд) в Бухарском оазисе. Возможно, эту информацию и не стоит подвергать сомнению, но нужно учитывать и данные сасанидской нумизматики. А они свидетельствуют, что экспансия в Центральную Азию была и более продолжительной и более масштабной по размерам временно завоеванной территории. Не исключено, что в ней принимала участие не одна армия Бахрама Чубина, а несколько, причем в нескольких походах. Во всяком случае, сохранились драхмы с аббревиатурой SML (Самарканд), чеканенные во второй год Хормузда IV (580—581) и с третьего по пятый годы Хосрова II, т. е. в 592—594 гг. [Гос. Эрмитаж, инв. 11516; Mochiri, 1977: 122—124, fig. 311—316]. На драхме Хормузда IV, датируемой шестым годом его правления (584—585), обозначено полное название Чача — *ՇԱՇ* [Mochiri 1977: 125, fig. 317].

Наконец, только при Хормузде IV (в 581, 584, 586—588 гг.) чеканят драхмы на монетном дворе Хульма — XLM [Ibid.: 118—119, fig. 295—300]. Средневековый Хульм, располагавшийся к востоку от Балха, находился на месте современного Ташкуртана на севере Афганистана [Minorsky 1937].

Уже этих примеров вполне достаточно, чтобы сделать вывод: глубокое изучение истории не может опираться только на официальную историографию, хотя с привлечением нового материала не всегда и не сразу приходишь к ожидаемому результату.

Главным источником сведений об истории христианства в сасанидском Иране являются сочинения средневековых сирийских авторов — составителей церковных хроник и «деяний» несторианских соборов, жизнеописаний христианских подвижников и мучеников за веру. Топография епархий и митрополий лучше всего изучается по деяниям соборов, проходивших в сасанидской столице или в ее окрестностях [Chabot 1902]. Под решениями каждого собора его участники — епископы и митрополиты — ставили свои подписи. Названия и территория епископий и митрополий часто повторяли официальное административное деление страны. Из соборных «деяний» мы узнаем, что, по крайней мере, с 430 г. Мерв становится резиденцией епископов, которые принимают участие в большинстве соборов восточнохристианской церкви [Guidi 1889: 412; Chabot 1902: 43, *passim*]. Кафедра епископа, а с конца VI в. — митрополита — была и в Герате [Guidi 1889: 410; Chabot 1902: 43, *passim*]. Абаршахр как епископия значится уже в деяниях собора 420 г.; на соборе 497 г. один епископ представлял Абаршахр и Тус [Chabot 1902: 37, *passim*]. В соборах V—VI вв. активно участвовали и епископы Гургана и Сакастана [Guidi 1889: 409; Chabot 1902: 43, *passim*]. Среди участников соборов иногда упоминаются епископы небольших городов Хорасана — Баварда (Абиварда), Бадгиса и Мервруда. Судя по их эпизодическому участию, христианские общины в тех городах были немногочисленны и существовали ограниченное время.

Хотя к V—VI вв. появление христианских общин на большей части территории Сасанидского государства стало реальностью, процесс христианизации вовсе не коснулся Балха — его название в деяниях соборов ни разу не встречается. В то же время, отсутствие епископа или митрополита среди участников собора не всегда означало, что в той или иной провинции нет христианской общины. В этом нас убеждают сасанидские драхмы, чеканенные в разные годы правления Хормузда IV и во второй год Варахрана VI, т. е. с 581 по 591 гг., и отмеченные четким изображением креста рядом с зороастрийскими символами. Этих монет немного (пока известно нам несколько десятков), они — исключение, капля в море ортодоксальной чеканки. Но такое исключение (на самом деле — нарушение канона) могло иметь место только при «христоролюбивом», по признанию несториан, шаханшахе, которым оказался Хормузд IV и которому ат-Табари приписывает высказывание: «Как трон не может держаться на одних передних ножках, так и государство не может опираться только на зороастрийцев» [Tabari 1881: 990; Nöldeke 1879: 267].

У нас есть возможность сравнить географию представительства на несторианском соборе Ишюба I летом 585 г. с топографией монетных дворов, чеканивших драхмы с крестом. Под решениями собора имеются подписи 33 духовных лиц — патриарха, митрополитов, епископов, дьяконов. По преимуществу, это епископы из Междуречья и Хузистана. Духовных руководителей восточных провинций (Мерва, Герата, Пушанга и Бадгиса) представляют на соборе их доверенные лица. Не

значатся среди участников епископы из областей центрального Ирана, которые (епископы) часто конфликтовали с патриаршим престолом и имели собственное независимое суждение по поводу отдельных решений большинства собрания и своего места в церковной иерархии. Среди нумизматического материала имеются драхмы, отмеченные крестом и аббревиатурами монетных дворов Стахра, Бишапура, Дарабгерда и Ардашир-хварре — основных городов Парса, колыбели сасанидской государственности. В числе восточных эмиссий Хормузда IV крест встречается на драхмах из Абаршахра, Гургана, Мервруда и Рахвада (Руххаджа) — соответственно тех епископий, которые не участвовали в соборе 585 г. Драхмы Варахрана VI, отмеченные крестом, выбиты в Абаршахре, Герате и Мерве в 591 г.

Таким образом, нумизматический материал расширяет географию христианских общин Ирана через фиксацию тех провинций в центре страны и на ее северо-восточных окраинах, представители которых не участвовали в соборе, либо не разделяли его решений и не подписали их.

Феномен появления креста рядом с зороастрийской символикой на монетах государственной чеканки свидетельствует о реально ощутимой роли христиан Ирана в политической и экономической жизни государства в конце VI в.

В контексте дискуссии о необходимости новых методов исторического исследования привлечение информации из нетрадиционных источников может принести определенную пользу.

Библиография

- Колесников А. И.* Денежное хозяйство в Иране в VII веке. М., 1998.
- Луконин В. Г.* Культура сасанидского Ирана. М., 1969.
- Луконин В. Г.* Древний и раннесредневековый Иран. Очерки истории культуры. М., 1987.
- Back M.* Die sassanidischen Staatsinschriften. Téhéran; Liège, 1978.
- Chabot J. B.* Synodicon orientale ou Recueil de synodes nestoriennes. Publié, traduit et annoté. Paris, 1902.
- Göbl R.* Aufbau der Munzprägung. // *Altheim F., Stiehl R.* Ein asiatischer Staat. Wiesbaden, 1954.
- Göbl R.* Sasanian Numismatics. Braunschweig, 1971.
- Guidi I.* Ostsyrische Bischöfe und Bischofssitze im V., VI. und VII. Jahrhundert // ZDMG. Bd. 43. 1889.
- Mingana A.* Sources syriaques. Vol. 1. Mšiha-zkha (texte et trad.); Bar-Penkaye (texte). Leipzig, 1907.
- Minorsky V.* Ḥudūd al-‘Ālam, «The Regions of the World». A Persian Geography 372 A.H. — 982 A.D. Translated and Explained. London, 1937.
- Mochiri M. I.* Etude de numismatique iranienne sous les Sassanides et Arabe-Sassanides. T. II. Téhéran, 1977.
- Nikitin A. B.* Notes on the Chronology of the Kushano-sasanian Kingdom // Coins, Art, and Chronology. Essays on the pre-Islamic History of the Indo-Iranian Borderlands. Wien, 1999.
- Nöldeke Th.* Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, aus der arabischen Chronik des Tabari übersetzt und mit ausführliche Erläuterungen und Ergänzungen versehen. Leiden, 1879.
- Paruck F. D. J.* Mint-marks on Sāsānian Coins // JNSI. Vol. VI. 1944.
- Tabari.* Annales auctore Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari. Prima series. Lugduni Batavorum, 1881.

КОНЬ В КУЛЬТУРЕ ИРАНЦЕВ

Все, кто лично знал Александра Марковича Беленицкого, помнят его как человека высочайшей порядочности, огромной доброжелательности и заинтересованности в работе своих коллег, в том числе и очень молодых, которым он всегда готов был помочь. Как ученого, Александра Марковича характеризовали большая эрудиция и чисто культурологический подход, основанный на его разносторонних знаниях. Он сочетал изучение археологических материалов с искусствоведческим анализом и привлечением письменных источников, которые знал великолепно. Это позволяло ему делать оригинальные и глубоко аргументированные исторические заключения. Занимаясь самыми разнообразными аспектами истории ираноязычных народов, он не прошел мимо и одного из существенных вопросов культуры иранцев — распространения у них коневодства и культа коня. Статья А. М. Беленицкого «Хуттальская лошадь в легенде и историческом предании» [1948], несмотря на прошедшие полвека, не утратила своего значения. Напротив, роль коня и его культа в культуре и этногенезе иранцев и индоариев сегодня рассматривается как один из ключевых вопросов в индоиранистике.

Еще В. Копперс сказал: «Где нет коня, там не было индогерманцев» [Koppers 1931]. В 1950—1960-е гг. было принято считать, что родиной лошади в Старом Свете в эпоху энеолита были степи Восточной Европы [Громова 1949; Бибилова 1967; 1970; Цалкин 1970; Bökönyi 1994; Benecke 1998]. Гипотеза Ш. Бёкони [Bökönyi 1991] о втором очаге доместикации — Анатолии — отвергалась другими палеозоологами [Boessneck, Driesch 1975; 1976]. Однако сейчас эта точка зрения обрела новых сторонников [Benecke 2002a]. Но даже если эта гипотеза будет принята, она не изменит вывода о степном происхождении культа коня. Древнейшие свидетельства формирования этого культа в эпоху энеолита в IV тыс. до н. э. зафиксированы в Поволжье, в могильнике Съезжее, где открыто ритуальное захоронение черепа коня; а на других памятниках выявлены жертвенники и костяные пластины с изображением лошади [Васильев 1980; Kuzmina 2003].

Важнейшим свидетельством чрезвычайно большого значения коня в культуре и идеологии пастушеского населения Волго-Уралья в XXI—XIX вв. до н. э. по калиброванным датам, или XVII—XVI вв. до н. э. по традиционной хронологии, явилось открытие большого числа могильников, где были обнаружены скелеты взнузданных псалиями коней, обычно положенных парами, иногда со следами колесницы. Они выявлены при захоронении воина, сопровождаемого богатым набором вооружения. Это могильники Синташта, Кривое Озеро, Каменный Амбар, Солнце II на Урале (Генинг 1977; Генинг и др. 1992; Antony, Vinogradov 1992; Виноградов 2003; Костюков и др. 1995; Епимахов 1996), Утевка и Потаповка на Волге [Васильев и др. 1991; 1992; 1994], Пичаевский на Дону [Моисеев 1995]. Эти памятники имеют принципиальное значение, поскольку найденные в них колесницы являются древнейшими в мире. Анализ этих находок в свете данных индоиранской традиции позволил высказать предположение об индоиранской принадлежности воинов-колесничих [Смирнов, Кузьмина 1976; 1977; Gening 1977].

Согласно данным языка, колесничная тактика боя и культ коня, в том числе и его ритуальные захоронения в могилах царей и воинов-колесничих, а также жертвоприношение белого коня, связанное с царским культом — обряд *ašvamedha* — восходят ко времени индо-иранского единства на прародине [Oldenberg 1894; Sylvan Lévi 1898; Dumont 1927; Dumézil 1930; 1954; Koppers 1931; Nuberg 1938; Kane 1946; Brandenstein 1948; 1962; Renou 1954; Gonda 1962; Molé 1963; Pusalker 1963; Dange 1966; Chattopadhyaya 1976; Schmidt 1980; Sparrboom 1985; Иванов 1991; Елизаренкова, Топоров 1995; Елизаренкова 1999 и др.].

По данным письменных источников известно, что именно группа индоиранцев, язык которых, видимо, ближе к арийскому, но включает и некоторые иранские элементы, привела с собой высокопородных коней и навыки их тренинга для колесничной запряжки, что позволило пришельцам распространить новую колесничную тактику боя и занять господствующее положение в государстве Митанни [Ebeling 1951; Thieme 1960; Kammenhuber 1961; 1968; Hauschild 1962; Mayrhofer 1966; 1974; Nagel 1966; Иванов 1968; Дьяконов 1970; 1994; Zaccagnini 1978; Yankovska 1982; Oates et al. 1997].

С Урала, вместе с племенами культуры Андроновы, колесницы распространились в Западный, а затем в Центральный Казахстан: Танаберген, Улюбай, Кенес, Берлик, Сатан [Евдокимов 1981; 2002; Ткачев А. 1987; 1991; Зданович 1988; Ткачев В. 1995; 1998; 2003]. Достигли они и

территории Средней Азии: Б. И. Маршаком было установлено, что костяные фрагменты, найденные в богатой могиле бактрийско-маргианской культуры Зардча-Халифа, принадлежат псалиям [Бобомуллоев 1993; Bobomullov 1997; Бостонгухар (он же Бобомуллоев) 1998; Teufer 1999]. Этот тип псалиев специфичен именно для синташтинских погребений Урала, что дало основание интерпретировать эту находку, как и захоронение жеребенка в Маргиане в могильнике Гонур [Сарианиди 2001], как первую волну миграции индоиранцев на юг [Кузьмина 2000; Kuzmina 2001].

О значении коней и колесниц в культуре и мифологии Средней Азии в эпоху бронзы свидетельствуют их многочисленные изображения по всему Казахстану, Киргизии, Фергане и вплоть до Памира [Максимова 1958; Мандельштам 1961; Бернштам 1962; Жуков, Ранов 1974; Кадырбаев, Марьяшев 1977; Littauer 1977; Шер 1980; Piggott 1983; Марьяшев, Рогожинский 1991; Самашев 1992; Новоженев 1994; Mar'yashev et al. 1998; Рогожинский 2001 и др.]. Характерная особенность этих рисунков состоит в том, что кони и колесница изображены не в профиль, как было принято в искусстве Передней Азии [Nagel 1966], а в плане [Bussagli 1955; Кожин 1966]. В этой связи интересно, что подобная трактовка изображений колесниц типична также для петроглифов Северного Индостана [Allchin et al. 1973; 1982], в том числе — Свата [Olivieri 1998], что позволяет включать Индию в андроновский ареал распространения колесниц и ставить вопрос о том, что эти изображения служат одним из этнических индикаторов, отражающих миграцию дардов в Сват, а индоариев — в Индию. По андроновским данным юга Средней Азии, эта миграция должна была происходить не позже третьей четверти II тыс. до н. э.

На основании данных индо-иранской мифологии исследователями достигнуты большие успехи в интерпретации изображений коней и колесниц, прежде всего, как соляных символов.

Важные изменения в культуре евразийских степей и Средней Азии произошли в последней четверти II тыс. до н. э. Разразился жестокий экологический кризис, резкое похолодание и сокращение биомассы пастбищ [Кузьмина 1997]. Выходом из кризиса могли стать миграция на юг и смена хозяйственно-культурного типа. Данные археологии, особенно юга Узбекистана и Таджикистана [Avanesova 1995; 1996; 1997; 2002; Kuzmina, Vinogradova 1996; Виноградова 2004], ярко отражают миграцию на юг андроновских федоровских племен, продвинувшихся вплоть до Афганистана [Francfort 1989]. В степях же от Дуная до Алтая четко фиксируется смена хозяйственно-культурного типа: переход от оседлого к отгонному скотоводству и появление всадничества. Явления эти взаимосвязаны, поскольку вооруженные всадники необходимы для охраны скота во время сезонных перекочевок. Оба эти процесса вызревали в культуре степей веками. В новых условиях роль лошади в экономике, военном деле и культуре еще возросла. Отражением этого являются зафиксированные по всей степи захоронения воина с конем и жертвенники с черепами коней.

Культура степей и Средней Азии последней четверти II — начала I тыс. до н. э. может рассматриваться как иранская, сформировавшаяся в среде родственного срубно-андроновского населения после ухода части андроновцев в Индостан и миграции срубников в Среднюю Азию, что хорошо фиксируется археологически [Мандельштам 1966а; 1966б; Кузьмина 1988; Отрощенко 2002]. Эта культура так называемой валиковой керамики эпохи финальной бронзы, по мнению специалистов по истории как Украины [Березанская, Отрощенко 1986; Отрощенко 2002], так и Казахстана [Маргулан и др. 1966; Кузьмина 1994; Ткачев 2002; Евдокимов, Варфоломеев 2002], явилась основой формирования культуры ираноязычных народов степей, известных греческим авторам под именем скифов, а в персидских источниках именуемых саками.

По данным ассирийских, эламских и урартских письменных источников [Алиев 1956; Дьяконов 1956; Грантовский 1970; Дандамаев, Луконин 1986], появление иранцев на Иранском плато фиксируется в XI—IX вв. до н. э. Именно с культурой валиковой керамики можно связать появление иранцев в Иране. Была выдвинута гипотеза их генезиса в результате миграции носителей серой керамики из Горгана (Тюренг-тепе, Гиссар III) на запад в эпоху железного века: XIII—IX вв. до н. э. [Vanden Berghe 1963; 1968; Dyson 1965; 1967; С. Young 1965; 1967; Deshayes 1969]. Это предположение категорически оспорено российскими учеными [Мандельштам 1964; Грантовский 1970; 1998; Погребова 1971а; 1971б; 1977а, 1977б; Кузьмина 1971; 1972а; 1972б; Медведская 1977; 1978; Medvedskaya 1982; Дандамаев, Луконин 1980]. Но индикатором смены этноса предложено считать появление в Иране конских захоронений (Л. Ванден Берг) и многочисленных предметов конского убора, псалиев в погребениях Луристана и Сиалка, а также разнообразных изображений лошадей и всадников в иранской торевтике. Они свидетельствуют о кардинальной смене военной тактики, а главное, распространении ранее не зафиксированного культа коня.

М. Н. Погребова [1977] выявила в Закавказье курганы, содержащие большие ямы с деревянными конструкциями, захоронения в которых сопровождаются могилами коней. Эти погребения

родственны по обряду срубным (в последнее время позднесрубные комплексы открыты и в Предкавказье). Погребения Закавказья М. Н. Погребова сопоставила с иранскими захоронениями коней в Хасанлу, Денка-тепе, Марлике, Бабаджане [Ghirshman 1963; 1964; Negahban 1964; Dyson 1965; Muscarella 1968] и находкой частей упряжи в Луристане, а также в Гияне и Сиалке VI [Vanden Berghe 1959; 1968; Maleki 1964; Ghirshman 1939; 1963]. Та же работа независимо была проделана мной [Кузьмина 1977], и это позволило сделать вывод, что появление конских захоронений свидетельствует о приходе нового ираноязычного населения, но не скифов, как первоначально думал Р. Гиршман [Ghirshman 1963], а иранцев первой волны. К тому же заключению ведет анализ изображений пары всадников из Дагестана и Ирана, семантика которых может быть раскрыта на основании индо-иранского мифа о двух братьях-близнецах-конниках [Кузьмина 1973]. Анализ другой группы источников — цилиндрических печатей с изображениями всадников и лошадиных грифонов [Кузьмина 1971; Sarianidi 1998], обнаруженных в Бактрии и Маргиане и датированных концом II — началом I тыс. до н. э., отражает среднеазиатский путь миграции всадников-иранцев, несущих с собой культ коня.

Существенно подчеркнуть, что идеологические представления о лошади были общими у пришедших иранцев и скифов степей. Об этом свидетельствуют многочисленные имена с компонентом *aspa*, одинаковые у западных и восточных иранцев, отчасти и ариев [Justi 1895; Bartolome 1905; Zgusta 1955; Benveniste 1966; Грантовский 1998].

О культе коня у скифов сообщает Геродот (Hdt. IV, 59—62): на праздниках в честь семи богов скифы совершают жертвоприношения коней, а на похоронах царя и его поминках происходит массовое заклинание лошадей (Hdt. IV, 71—72). Еще большую роль играет конь в идеологии массагетов, которые богом «почитают только солнце и ему в жертву приносят коней» (Hdt. I, 216; Strabo IX, 513). Тацит (Tac. Ann. VI, 37) говорит об этом обычае у парфян, а Филострат (Philost. Vita Apoll. I, 31) повествует о том, что парфянский царь Вардан принес в жертву солнцу белого коня лучшей нисейской породы.

В традиции всех индоиранцев, в том числе саков Восточного Туркестана, конь связан с верховным богом и царем [Roes 1933; Pettazoni 1955; Bailey 1958]. В «Ригведе» и «Авесте» солнце носит постоянный эпитет «быстроконное». Представление солнца в виде конной колесницы, или только ее части — колеса или коня — характерно для всех индо-иранских народов и отражено в изобразительном искусстве как Индии [Zimmer 1953; Sastri 1962], так и Скифии [Кузьмина 1977б; 2001б]. Изображение Сурьи в виде коня всегда сопровождается свастикой. То же известно в Скифии и Хорезме (на монетах I в. н. э.), что, учитывая древность общих представлений, позволяет интерпретировать и этот образ как символ солярного высшего божества.

Изображения сегнерова колеса — круга с четырьмя конскими головами — в скифском искусстве (курганы Огуз, Волковцы, Краснокутский) точно воспроизводит тождественные тексты «Авесты» (Михр Яшт X) и «Ригведы» (VI, 51, 1): Митра — «колесница, запряженная четырьмя белыми конями, с одним колесом солнца». Колесо солнца названо глазом Митры-Варуны.

На многих изображениях колесниц, от Кавказа [Pogrebova 2003] до Индии, помещен орел. Ксенофонт (Киропедия, VII, 1, 4) пишет, что на дышле колесницы ахеменидского царя был золотой орел. Семантически тождественен им орлиноголовый конь в сакском искусстве [Литвинский 1972]. Этот образ может быть интерпретирован на основании устойчивого словосочетания «конь-птица», характерного для «Ригведы» [Dave 1946; Zimmer 1947] и иранской традиции [Herzfeld 1968], а также осетинского фольклора [Шанаев 1876]. Этот образ летящих небесных коней существовал в Фергане [Бернштам 1948; Waley 1955] и в Хуттале [Беленицкий 1948].

Проведенный анализ показывает, что в фольклоре ираноязычных народов устойчиво сохранились и нашли воплощение в изобразительном искусстве древнейшие индо-иранские мифологические представления, связанные с конем, культ которого сложился в Средней Азии, а еще раньше — в степях Урала и Волги.

А. М. Беленицкий внес большой вклад в изучение идеологических представлений ираноязычных народов. Сравнительный анализ фольклора и мифологии позволяет не только вскрыть семантику некоторых произведений искусства, но и предложить рассматривать распространение культа коня, его жертвоприношений и появления образов коня, коня-птицы, конной колесницы, как маркеров миграций различных индо-иранских народов.

КЕШ (ШАХРИСЯБЗ) В СОГДИЙСКИХ ТЕКСТАХ И МОНЕТНЫХ ЛЕГЕНДАХ *

Среди согдийских документов, найденных в 1932—1933 гг. в крепости на горе Муг (*Qal'a-i Mūy* или *Mūy Qal'a*, в хронике ат-Табари — *Abar'yar*)¹, один имел необычную судьбу — он был использован во время осады крепости отрядом арабов, бухарцев и хорезмийцев, возглавлявшимся Сулейманом б. Абу-с-Сарй, для обклейки ножен кинжала (эти ножны хранятся в Отделе Востока Государственного Эрмитажа). Текст документа (рис. 1—6) сохранился очень плохо, большая часть его уничтожена, однако ясно, что это письмо, составленное от имени эмира Са'йда б. Абд ал-'Азйза (*xm'yr s'ytt pwn 'βtr'zyz*), наместника Хорасана в 720—721 гг. Адресат письма — *sm'rkndc βy'tyn*² [*βyn*] *ptw* «самаркандский старший (?) жрец», носящий имя *Wxwšw(...)*³ Примечательны упоминания китайского императора — *βγp'wr* (строка 4), согдийцев и кешцев — *sywδy'n'k ZY kšy'n'k* (строка 5), а также сообщение об успешных действиях против войск тюркского хакана и отряда хорезмийцев — [*ZKw*] *x'γ'n mnxw'y ZY ZKw (xwryz)[m...]* «хакана и хорез[мийцев] он разбил» (стк. 6). По-видимому, в письме говорилось о походе Са'йда б. Абу ал-Азйза в Согд⁴.

Прилагательное *kšy'n'k* «кешский, житель Кеша» образовано от согдийского *Kšy* |*Kašši* или *Kišši* «Кеш» (у арабских историков и географов *Kišš*) с суффиксом *-n'k* | *-ānak*, позднее *-āneā*, из древнеиранского **-ān-aka* [Gershevitch 1954: 158, § 1040], такую же структуру имеет *sywδy'n'k* «согдийский, согдиец», образованное от **sywδiya* — «согдиец», ср. в буддийском согдийском тексте (Intoxication sūtra, 37) *sywδy'n'k np'uk* «согдийский текст». Прилагательное *kšy'n'k* «кешский, кешец» засвидетельствовано также в согдийском (возможно, манихейском) «Списке народов» (*n'βn'm'k*) [Henning 1940: 10, 15] и в китайско-согдийской погребальной билингве, начертанной на шиферной стеле, найденной недавно в Сияне (*Xi'an*, в Синцзяне). Начальные 7 строк согдийской версии этой надписи, содержавшей, согласно чтению японского ираниста Ю. Ёшиды [Yoshida 2004: 208—210], 32 строки, гласят: «(В период правления) великого Чу Тай Зана, год второй — год Мыши, первый месяц, в 23-й (день)⁵. Так вот: был человек из кешского рода (*kšy'n'k kwtr'k*) ... из (местности, именуемой) Качан [*kc'n*, кит. Guzang — город в провинции Ганьсу.]. Он получил от китайского императора (титул) *sartpaο*⁶. Он был вельможей в согдийской стране (*sywδukstn*)».

В 1970—1980-х гг. был открыт новый корпус согдийских эпиграфических текстов — наскальные надписи, оставленные купцами (и буддийскими паломниками?) в труднодоступных горных долинах Верхнего Инда. Почти все эти надписи очень кратки, они содержат имя самого начертавшего, его патроним (иногда также имя деда) и прилагательное, образованное от названия города, области или народа, из которого происходил автор надписи. По палеографии согдийские надписи из долины Верхнего Инда можно датировать IV—VI вв. Надпись № 563 гласит: *xwt'wn'tk ZK kš'ukndc* «Хутāвнāмак из города Кеша»⁷. Н. Симс-Вильямс, издатель надписей, точно определил *kš'ukndc* как прилагательное с суффиксом *-č* от **Kišikanθ* [Sims-Williams 1992: 20, 54.], букв. «Кеш-город», ср. *Pnc* и *Pncukndh* «Пенджикент».

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 02-01-00080а.

¹ Ат-Табари. II, 1441. Издатель (M. J. de Goeje) предложил конъектуру *Abyar*, хотя во всех рукописях засвидетельствовано написание *'bynz* [см.: Крачковские 1934: 65].

² Или *βx'tyn*, *βt'tyn*?

³ Вторая часть имени выщелла, прочесть ее мне не удалось. В первой части — *Waxšū*, обожествленное название реки. О согдийских антропонимах, образованных от этого теонима, см.: Sims-Williams 1992: 76—77.

⁴ Ср. ат-Табари III, 1428: «В этом году (102 г.х. = 720—721 гг.) перешел Са'йд Хузайна реку Балха и завоевал Согд. И они (= согдийцы) нарушили договор и помогли тюркам (сражаться) против мусульман. Причиной выступления в этот поход Са'йда, как рассказывают, было то, что тюрки вернулись в Согд. Люди говорили с Са'йдом и сказали: «Ты прекратил завоевательный поход, а между тем тюрки совершили набег, а жители Согда обратились к неверию». Он [Са'йд] перешел ту реку и направился в Согд. Встретили его тюрки и отряд (*nā'ufa*) жителей Согда. Мусульмане разбили их...» [см.: Лившиц 1962: 65, прим. 5; 221].

⁵ Соответствует 23-му февраля 580 г. (24-й день 8-го месяца согдийского календаря).

⁶ *srtp'w*, кит. *sabao* — глава купцов, в китайской администрации V—IX вв. также чиновник, надзирающий за представителями чужеземных религий [см.: Vaissière 2002: 141—143, 173, 208—210].

⁷ Буквальное значение антропонима, по-видимому, «(обладающий) государевым именем».



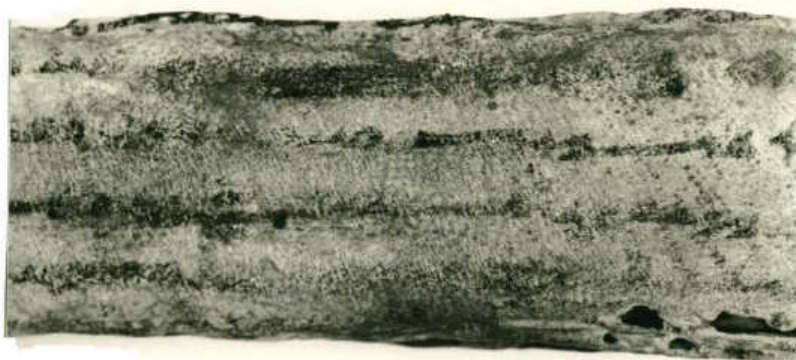
1



2



3



4



5



6



7



8



9



Долина Кашкадарья с городами Кеш (позднесредневековый и современный Шахрисябз) и Нахшеб (более позднее название Несеф, нынешний Карши) причислялась к Согду. В современной исторической литературе эту область принято именовать Южным Согдом, в отличие от Самаркандского (Центрального), Бухарского Согда и Уструшаны (в этой области также жили согдийцы). В «Kitāb al-buldān» ал-Я‘кūбī (Al-Jakūbī 1892: 299, 19) Кеш назван столицей Согда.

Согласно китайским источникам, Кеш (китайские передачи названия области — Цюйша, Цзюйша, Цзеушанна, города — Циши, Шы) был основан в начале VII в. н. э.¹, однако археологические работы, проведенные в последние 40 лет, показали, что в долине Кашкадарья городские поселения существовали уже во второй половине I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. Старейшая из известных в настоящее время согдийских гемм происходит из раскопок Кунджутли-тепе, одного из поселений Южного Согда, расположенного в 1,5 км к востоку от его главного центра — Еркургана. На этой гемме имеется изображение слона с сидящими на нем двумя погонщиками и богини Ники (?). Надпись, начертанная ранним согдийским письмом, содержит имя владельца печати: βγ'n BRY | *Vayān puš uli Vayān zātak*], букв. «сын богов» (ср. древнеиндийское *deva-putra*)².

Долина Кашкадарья расположена между западными отрогами Памиро-Алайской горной системы — Зарафшанским и Гиссарским хребтами. В ее верхней части, окруженной с востока горами, находится обширный Шахрисябзский оазис, в нижней части, среди степной равнины, граничащей на западе с пустыней Кызылкумы, расположен другой крупный оазис — Каршинский. Между этими большими массивами орошенных земель лежат степи, в которые вкраплены небольшие участки земель, освоенных еще в первой половине I тыс. н. э. Кашкадарья образует замкнутый бассейн, который питается ледниками и ключевыми водами. Лишь вдоль русла реки почти сплошной полосой лежат орошенные земли [Кабанов 1977: 5 сл.; Шишкина, Сулейманов, Кошеленко 1985: 273].

Этимологии топонимов Кеш (Кишш, Кишши) и Нахшеб не установлены, но можно полагать, что они согдийские³. Городище Еркурган уступает по площади Афрасиабу и Кок-тепе (расположенному в 30 км к северу от Афрасиаба и лежащему, по-видимому, на месте второй столицы древнего Самаркандского Согда, упоминаемой у историков Александра)⁴, но представляет собой остатки крупного укрепленного городского центра с внушительными храмовыми зданиями; в VI—IV вв. до н. э. городская территория Еркургана составляла 34 га и была обнесена стенами [Массон 1973: 11—12; Сулейманов, Туребеков 1978: 60—65; Туребеков 1981а; 1981б; Исамидинов, Сулейманов 1984]. В Южном Согде обнаружены также многие другие поселения эпохи древности и раннего средневековья (в районе Чимкурганского водохранилища — самое крупное, около Яккабага, у поселка Каунчин и др.) [Шишкина, Сулейманов, Кошеленко 1985: 277]. Период наибольшего развития городской жизни в древнем Кеше приходится на первые столетия нашей эры, в это время Кеш имел максимальную площадь — около 15 га [Кабанов 1962]. В это же время в Южном Согде возникает еще один крупный городской центр, остатки которого представляет городище Калаи-Зохоки-Морон [Туребеков 1979; 1981].

В первой половине VII в. н. э. самаркандский трон занял Шишпир (*šyšpur MLK'* на бронзовых монетах), который, согласно китайским источникам, был правителем Кеша. Его имя — *Šēšpīr* — буквально значит «распространяющий веру», имеется в виду, несомненно, согдийский вариант зороастризма. Шишпир упоминается в китайских хрониках (в передаче Шашеби, среднекитайское, по реконструкции Б. И. Панкратова, *śaśat-pīet*) в связи с посольством, отправленным им в 642 г. к китайскому императору [Смирнова 1963: 27].

На городище древнего Пенджикента найдены бронзовые монеты с погрудным изображением правителя на аверсе, перед лицом которого начертана согдийская курсивная надпись: *prn* [*farn*] «харизма власти; счастье, благодать», и с круговой согдийской (также курсивной) надписью и тамгой на реверсе. В центре реверса в поле посередине — имитация квадратного отверстия, обнесенного четырехугольной широкой рамкой; в рамке курсивная надпись: βγγυ [*vayyi*] «господин», эпитет правителя (рис. 7, 8). О. И. Смирнова, опубликовавшая эти монеты [Смирнова 1963: 129, № 713, рис. 36; 1981: 306—308, № 1356—1359, табл. XXXIII], предложила переводить βγγυ как «божест-

¹ Marquart 1898: 57; 1901: 304; Chavannes 1903: 146; Бартольд 1965: 460—461.

² См.: Абдуллаев, Раимкулов 1994; Livshits 2003.

³ Н. Симс-Вильямс в сентябре 2002 г. сообщил мне, что Нахшеб упоминается в недавно найденных в Афганистане арамейских документах ахеменидского периода.

⁴ О раскопках городища Кок-тепе см.: Rapin, Isamidinov, Khasanov 2001.

венный» или «Бага» (имя божества в древнеиндийском пантеоне), а в круговой надписи на реверсе читала *ryβ'n'k/γwβ/'γwrpt* «Рагфанский князь Ахурпат».

Чтение этой надписи, начинающейся на уровне «7 часов», может быть теперь уточнено. Вместо *ryβ'n'k* следует читать *kšy'n'k* «кешский», далее в надписи содержится титул *xwβ* [*xwβ*], обычный для согдийских князей (*xwv*, вариант *xwvi*, из древнеиранского **xva-bava-* «самоставший», ср. синоним *xwt'w* [*xwtāw*], из **xva-tāviya-* или *xva-tāva-* «самогоуший, самовластный, autocrat»), имя **xwrpt* [*Āxwarpāt* или *Āxurpāt*], впервые представленное в согдийском ономастиконе в этой надписи и в одном из документов с горы Муг, имеет буквальное значение «глава стойла, конюшни», «главный конюший». В первой части этого имени — *āxwar(r)* или *āxur(r)*, из древнеиранского **āxvar(a)na-* «ясли в конюшне, стойло» (ср. согд. **xwyr-* | *āxwēr-*-, из **ā-xvarya-* «вскармливать»), во второй — *-pat*, из **-pati* «глава, господин». Это имя в согдийском заимствовано из среднеперсидского, на это указывает конечное -г (эта буква, возможно, передавала геминированное -гг), поскольку в согдийском сочетание согласных -гг- (др.-ир. **āxvarana-* рано стянулось в **āxvarna-*) не превращалось в -г(г)-, в отличие от среднеперсидского (ср. среднеперс. книжное *xwarrah*, манихейское среднеперс. *farrāh*, новоперс. *farr*, из авестийского *x'arənah-*, др.-ир. **farnah-*, но согд. *farn*, в позднем согд. также *-fan(n)* в антропониме *šyrpn* [*širfan(n)*], букв. «обладающий хорошим фарном, харизмой власти, счастливой судьбой») ¹. Как административный термин, обозначающий чиновника высокого ранга, *āxwar(r)pat* засвидетельствован в парфянской версии трилингвы Шапура I на «Ка'ба-и Зардушт» в Накш-и Рустаме, начертанной между 260 и 262 гг. н. э.: *wrdn 'hwrpty* | *Wardān āxwar(r)pat* | «главный конюший *Wardān*» (строка 24), среднеперсидская версия надписи в этом месте разрушена, в греческой версии (строка 58) — Ὀὐάρδαυ τοῦ ἐπὶ τῆς λάθνης. В книжном среднеперсидском *āxwar(r)* (новоперс. *āxur*) — «ясли в конюшне», *āxwarsālār* «главный конюший» [см.: Gignoux 1972: 45; MacKenzie 1971: 14; Huyse 1999: 55, 90].

Монеты кешского Ахурпата по палеографии надписи могут датироваться VII — началом VIII вв. Мы узнаем, таким образом, имя одного из правителей Кеша в канун или в период арабского завоевания Южного Согда. Более поздние — второй четверти VIII в. — фельсы кешского владельца Ихрида содержат арабскую надпись куфическим письмом на аверсе: «Ихрид, дихкан Кеша», на реверсе: «выбит этот фельс в Кеше» [Смирнова 1963: 138, № 798, рис. 57].

Более сложным является вопрос о монетной эмиссии правителей Кеша в период V—VI вв. Монеты этого времени в течение более чем столетия привлекают внимание нумизматов, историков, археологов и филологов. Они есть в собраниях Государственного Эрмитажа, в музеях Узбекистана и в зарубежных музейных и частных коллекциях, куда они попали от антикваров, имевших доступ к среднеазиатским находкам.

Впервые эти монеты издал и попытался установить их происхождение французский ученый Эдмонд Друэн. В 1899 г. он опубликовал рисунки этих монет, описал их и предложил читать легенду, находящуюся на аверсе, под изображением головы правителя, обращенной влево, как *bohmazdai*, считая это слово передачей иранского *Vohumazdai* «благой маздаясниец» [Drouin 1899: pl. V, fig. 9, 10; рисунки Друэна и его чтение воспроизведены в кн.: Morgan 1923—1926: 425.]. Следует заметить, что ни в авестийском, ни в других древнеиранских, как и среднеиранских языках, такого слова не существовало. К сожалению, определение Э. Друэном этих монет как позднекушанских приобрело немало сторонников в XX в.

На аверсе этих медных посеребренных монет (рис. 9), в круге из точек, помещена, как отмечено выше, голова в профиль, повернутая влево, без бороды и усов, с длинными волосами, падающими прямыми прядями на плечи и на макушке образующие хвостик, перевязанный лентой. Под головой располагается курсивная надпись, начертанная справа налево и состоящая из двух слов. Надпись начинается на уровне «5 часов» и заканчивается на уровне «11 часов». На реверсе, также в точечном круге, изображена сцена борьбы человека (этого же правителя) с львом: он стоит слева, в доходящей до колен рубахе, перевязанной поясом, в руках у него короткий прямой меч, который он вонзает в пасть поднявшегося на задние лапы льва [четкую фотографию монеты см.: Zeimal 1983: pl. 24, no. 18].

Один экземпляр таких монет, с которым был знаком Друэн, считается найденным в Афганистане вблизи Мазари Шарифа, поэтому ареалом их распространения стали полагать Тохаристан. Друэн относил их к «арамео-кушанской» нумизматической группе и предполагал, что их выпускали поздние кушанские князья, современники последних Аршакидов или первых Сасанидов ².

¹ См.: MacKenzie 1971: 96; Nyberg 1974: 221. Об имени *šyrpn* — Livshits 2003: 52.

² История изучения этих монет (до 1976 г.) подробно изложена в статье: Массон М. Е. 1977.

В середине 20-х гг. прошлого века десять экземпляров рассматриваемых монет изучал французский нумизмат и историк Аллот де ла Фюи. На одном из экземпляров он заметил надчекан — алтарь огня, сходный с изображением пирея на медных монетах, которые в то время ошибочно считали хорезмийскими¹. Аллот де ла Фюи, основываясь на сообщении Наршахи, согласно которому серебряные монеты, подражающие сасанидским драхмам, стали выпускаться в Бухаре в период правления Абу Бекра (632—634), предположил, что посеребренные медные монеты с легендой *bohmazdoi* относятся к началу VII в. Следует заметить, что т. н. «бухархудатские» драхмы с согдийской легендой *рwx' r xwβ k' w* [*rixār xuv kāw*] «Бухарский государь-герой (?)» или «(из рода) Кеянидов», являются подражанием драхмам Бахрама V (420—438) и начали чеканиться, очевидно, с 30-х гг. V в.

А. де ла Фюи, основываясь на находке монеты со сценой борьбы с львом в Афганистане, предполагал, что эти монеты выпускались после разгрома эфталитов тюрками и сасанидскими войсками и могли принадлежать к эмиссии одного из вассалов сасанидского шахиншаха Хосрова I Ануширвана (531—578) [Füye 1925: 37—40].

Дальнейшие уточнения ареала распространения и времени эмиссии этих монет стали возможными в результате многолетних раскопок, проведенных С. К. Кабановым на памятниках нижней части долины Кашкадарья — в области Нахшеба (поселение III—VII вв. в районе современного Чимкурганского водохранилища, городища Пирмат-баба-тепе вблизи г. Карши, Кош-тепе 2, Шор-тепе, Аул-тепе, Дагай-тепе, Айтугды-тепе и др.). К началу 1973 г. было найдено 28 экземпляров рассматриваемых монет (из них один на Еркургане)². В верхней части долины Кашкадарья и в самом Кеше (Шахрисябзе) такие монеты, насколько известно, до сих пор не найдены. Свыше десятка экземпляров имеется в собрании Государственного Эрмитажа, несколько экземпляров находится в музейных и частных коллекциях Республики Узбекистан.

О. И. Смирнова, исследовавшая монеты из находок в долине Кашкадарья, определила письмо легенды как «парфяно-согдийское» и предложила читать ее как *kwš['n]k βrz* «кушанский, относящийся к кушанам, великий (*βrz*)»³.

Чтение надписи, предложенное О. И. Смирновой, способствовало, очевидно, тому, что С. К. Кабанов в ряде работ выдвинул версию о существовании в долине Кашкадарья владений поздних кушан, кидаритов и эфталитов. По его мнению, материалы из раскопок кашкадарьянских поселений (в частности, светильники с зооморфными ручками) свидетельствуют о справедливости высказанного другими исследователями предположения о локализации юэчжийского владения Гуйшуань в долине Кашкадарья [см.: Массон В. М., Ромодин 1964: 152; Кабанов 1973: 165].

М. Е. Массон в своем обзоре исследования кашкадарьянских монет пришел к выводу, что они представляют собой эмиссии поздних аршакидских правителей (III или даже IV в.) и усматривал в этих монетах сходство с аршакидскими драхмами, хотя и отмечал, что по весу кашкадарьянские монеты отличаются от аршакидских [Массон 1977: 137].

¹ Эти монеты (медные скифатные, в течение долгого времени относимые к «туранской» группе) выпускались в V—VII вв. князьями Бухарского Согда. На аверсе этих монет, в точечном круге, изображена голова в диадеме со спускающимися концами лент; на реверсе — пирей сасанидского типа (форма его довольно сильно варьирует на разных сериях этих монет). Большинство находок таких монет относится к территории Бухарского оазиса. На реверсе надпись полукругом, согдийским уставным письмом, с начертанием букв *алеф* и *хет*, характерными для согдийских надписей на некоторых монетах и серебряных сосудах, происходящих из Бухарского Согда: *xwβ 'sβ' r* (*xuv Asvār*) «государь Асвār». См.: Лившиц, Луконин 1964: 169. Иные чтения у А. де ла Фюи [Füye 1926: 147] и М. М. Явич [1947: 214, 216]. Имя *Asvār* (*'sβ' r*), букв. «всадник», очевидно, среднеперсидского происхождения, попавшее в Согд из сасанидского Ирана. Надпись на монете этой группы первоначально содержала титул и имя одного из бухарских князей, но позднее стала лишь символом власти его потомков, носивших, несомненно, другие имена.

² Кабанов 1961; 1973; 1977 [см. также публикации С. М. Кабанова, указанные в списке литературы в кн.: Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии 1985: 470; Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья 1999: 228].

³ О. И. Смирнова писала: «Частичное совпадение надписи на нахшебских монетах с надписью на варварских подражаниях кушанским монетам (см. экземпляр Эрмитажа № 0656) позволяет предположить, что на наших монетах упущена (за недостатком места?) средняя ее часть, от которой сохранился один знак. Первые четыре знака допустимо читать как **kš['n]k*, с пропуском слога *-ān-('n)*; равно допустимо чтение *βwyr*. Если письмо надписей, как я полагаю, один из вариантов письма Согдианы, то последнее слово можно прочесть как *βrz* «варз» — титул «великий»» [приведено в статье: Кабанов 1973: 163]. Этот пассаж содержит несколько весьма странных утверждений. Прежде всего, что такое «парфяно-согдийское» письмо? Далее: как объяснить *регулярный* (на всех до сих пор известных экземплярах монет) пропуск букв *- 'n-* в постулируемом *kwš['n]k* «кушанский». Неясно, какие «варварские подражания кушанским монетам» имеются в виду. Наконец, согд. *βrz* [*varz, vərz*] имеет значение «длинный» и не засвидетельствовано в функции титула (*βrz' k k* [*Varzak*] в согдийских «Старых письмах» начала IV в. — личное имя).

Я не буду рассматривать здесь гипотезы о существовании в долине Кашкадарьи юэчжийских, кушанских, парфяньских, кидаритских и эфталитских владений. Замечу лишь, что нумизматические материалы из поселений Южного Согда не подтверждают эти гипотезы.

Медные посеребренные монеты, вызвавшие столько споров относительно их атрибуции и времени выпуска, имеют согдийскую курсивную надпись, и их эмиссия не могла начаться ранее V в. — к этому времени сформировалось согдийское курсивное письмо. В. Б. Хеннинг, выдающийся исследователь иранских языков и иранских эпиграфических памятников, предлагал читать надпись на рассматриваемых монетах как *Bwh'r k'y* («царь Бухары»?) и считал ее одним из старейших образцов согдийского курсивного письма [Henning 1958: 27].

В 1964 г. я предложил видеть в надписи *kušukw k'w* «царь Кешский» [Лившиц, Луконин 1964: 170, примеч. 110]. Просмотр экземпляров монет, хранящихся в Государственном Эрмитаже, позволил уточнить чтение легенды: *kušak MRŪ* | *kišak, kešak* | ¹ *xwv* (или *xwatāw*). Прилагательное *kušak* является вариантом (с другим суффиксом) этнического обозначения, представленного в согдийских текстах и на монетах Ахурпата формой *kšy'n'k*. Суффикс *-ak* (позднее *-aš* из древнеиранского **-aka-*, был одним из самых продуктивных словообразовательных формантов в согдийском [Gershevitch 1951: 144, § 960—967], как и в других среднеиранских языках. Идеограмма *MRŪ* (арамейское *mr̥* «мой господин») позднее в согдийских текстах и монетных легендах представлена в вариантных формах *MR'Ū*, *MRŪ'*².

Трудно определить время прекращения эмиссий этих кешских монет, а также установить перерывы в их выпуске. О. И. Смирнова полагала, что «разница в иконографии и надписях, варьирующих от раздельного письма до письма с курсивными элементами на последних по времени экземплярах, указывает на перерыв в их выпуске, который был достаточно длительным и, вероятнее всего, произошел на рубеже IV и V веков» [приведено в статье: Кабанов 1973: 164.]. Экземпляры монет, которые были доступны мне, не указывают на какой-либо перерыв в их выпуске. Эмиссии этих монет осуществлялись, очевидно, на протяжении, по крайней мере, двух столетий — V и VI — без ощутимых перерывов.

Выпуск кешских монет, на которых надписи не содержат имени правителя, находит аналогию в «бухархудатских» драмах, также безымянных. Несомненно, что упомянутые выше (см. с. 127, прим. 2) медные скифатные бухарские монеты с изображением головы правителя на аверсе и пиреем и надписью на реверсе только в начале их выпуска действительно были эмиссией «князя Асвара»; позднее, во время правлений его преемников, это имя было лишь напоминанием о правителе, начавшем их выпуск.

Библиография

- Абдуллаев К., Раимкулов С. Сцена триумфального шествия на гемме из Кунджутли-тепа (Кашкадарья) // ВДИ. 1994. № 2.
- Бартольд В. В. Кеш // Бартольд В. В. Сочинения. Т. III. М., 1965.
- Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. М., 1985.
- Кабанов С. К. Нахшебские монеты V—VI вв. // ВДИ. 1961. № 1.
- Кабанов С. К. Керамический комплекс из наслоений древнего городища в Китабе // ИМКУ. Вып. 3. 1962.
- Кабанов С. К. Поздние кушаны в Нахшебе // ВДИ. 1973. № 3.
- Кабанов С. К. Нахшеб на рубеже древности и средневековья (III—VII вв.). Ташкент, 1977.
- Крачковские В. А. и И. Ю. Древнейший арабский документ из Средней Азии // Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР. Л., 1934.
- Лившиц В. А. Согдийские документы с горы Муг. Чтение, перевод, комментарий. Вып. II: Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица. М., 1962.
- Лившиц В. А., Луконин В. Г. Среднеперсидские и согдийские надписи на серебряных сосудах // ВДИ. 1964. № 3.
- Массон В. М., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. 1. М., 1964.
- Массон М. Е. Столичные города и области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. Ташкент, 1973.

¹ Возможны и варианты *kiššak, keššak*.

² В согдийских легендах на монетах удельных правителей Чачского оазиса и в согдийских надписях на серебряных сосудах, происходящих из этой области, употребляется только форма *MRŪ'* (деформация написания *MR'Ū*).

- Массон М. Е.* Парфяно-согдийские монеты области долины Кашкадарьи // История и культура античного мира. М., 1977.
- Смирнова О. И.* Каталог монет с городища Пенджикент. М., 1963.
- Смирнова О. И.* Сводный каталог согдийских монет. Бронза. М., 1981.
- Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья.* Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999
- Сулейманов Р. Х., Туребеков М.* Этапы развития фортификационной системы Еркургана // ИМКУ. Вып. 14. 1978.
- Туребеков М.* Археологическое изучение оборонительных сооружений городища Калаи-Зохоки-Морон // ИМКУ. Вып. 15. 1979.
- Туребеков М.* Оборонительные сооружения древних поселений и городов Согда (VII—VI вв. до н. э. — VIII в. н. э.): АКД. М., 1981а.
- Туребеков М.* Раскопки бастиона внутренней крепостной стены Еркургана // ИМКУ. Вып. 16. 1981б.
- Шишкина Г. В., Сулейманов Р. Х., Кошеленко Г. А.* Согд // Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. М., 1985.
- Явич М. М.* Замечания о неисследованном среднеазиатском алфавите // ТОВЭ. IV. 1947.
- Drouin E.* Les monnaies des Grands Kouchans postérieurs // RN. 1899.
- Füye A. de la.* Monnaies incertaines de la Sogdiane et des contrées voisines // RN. 1910. No. 14; 1925. No. 8; 1926. No. 29.
- Gershevitch I.* A Grammar of Manichean Sogdian. Oxford, 1954.
- Chavannes Ed.* Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux. St.-Petersbourg, 1903.
- Gignoux Ph.* Glossaire des Inscriptions Pehlevis et Parthes. London, 1972.
- Henning W. B.* Sogdica. London, 1940.
- Henning W. B.* Mitteliranisch // Handbuch der Orientalistik. 1. Abt. 4. Bd.: Iranistik. 1. Abschn.: Linguistik. Leiden; Köln, 1958.
- Huyse Ph.* Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I. an der Ka'ba-i Zardušt (ŠKZ). Bd. I. London, 1999.
- [*Al-Jakūbī.*] Kitāb al-a'lāk an-nafīsa VII auctore Abū Alī Ahmed ibn Omar ibn Rostah et Kitāb al-buldān auctore Ahmed ibn Jakūb ibn Wadhīh al-Kātib al-Jakūbī [ed. M. J. de Goeje]. Ed. 2. Lugduni Batavorum, 1892.
- Livshits V.* Sogdian Sānak, a Manichaean Bishop // BAI. NS. Vol. 14 (2000). 2003.
- MacKenzie D. N.* A Concise Pahlavi Dictionary. London, 1971.
- Marquart J.* Die Chronologie der alttürkischen Inschriften. Leipzig, 1898.
- Marquart J.* Ērānšahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac'i. Berlin, 1901.
- Morgan J.* Le Manuel de numismatique orientale de l'antiquité et de moyen age. T. 1. Paris, 1923—1926.
- Nyberg H. S.* A Manual of Pahlavi. II. Wiesbaden, 1974.
- Rapin Cl., Isamidinov M., Khasanov M.* La tombe d'une princesse nomade á Koktepe près de Samarkand // CRAIBL. 2001 (janvier-mars).
- Sims-Williams N.* Sogdian and other Iranian Inscriptions of the Upper Indus. II. London, 1992.
- Vaissière É. de la.* Histoire des marchands sogdiens. Paris, 2002.
- Yoshida Y.* Sogdian version of the new Xi'an inscription // Les Sogdiens en Chine. Beijing, 2004.
- Zeimal E. V.* The political History of Transoxiana // CHI. 3 (1). 1983.

П. Б. Лурье,
(Санкт-Петербург,
Российская Федерация;
Вена, Австрия)

СЧАСТЛИВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ, ЦАРЬ ПЕНДЖИКЕНТА ЧЕГИН ЧУР БИЛГÄ

Темой настоящего доклада является титул, присутствующий в одном из согдийских документов с горы Муг, а именно В 8, который может справедливо считаться чемпионом по числу переизданий из всех согдийских текстов. Первоначально документ был издан В. А. Лившицем [1962: 45—53] с важным дополнением, основанном на письме И. Гершевича [Там же: 220]. Затем чтение (без видимых улучшений) было воспроизведено О. И. Смирновой [1970: 108—111]. Новое чтение И. Гершевича было опубликовано в сборнике в честь Э. Бенвениста [Gershevich 1975], а затем еще одно чтение было издано Ф. Грене в приложении к книге о погребальном обряде согдийцев [Grenet 1984: 313—339]. К этим четырем изданиям надо добавить более краткие исправления и дополнения, предложенные В. А. Лившицем, О. И. Смирновой, Б. И. Маршаком, Ю. Ёшидой, И. Якубовичем и другими (о некоторых из них см. ниже).

Краткое содержание документа таково. Двое братьев, Мāхч и Эхшумванде покупают у Ширвахча и Эстамбсарака (также братьев), половину науса (*'sks'k*) с дорогой и огороженным местом, расположенную в местности Пэшход, в «лягушачьей долине». Они и их род обязуются расположить там покойника и совершать оплакивания, а продавцы и их потомки должны оберегать покой купленной половины науса. «Лягушачьей долиной», вероятно, названо кладбище Пенджикента, в настоящее время местность именуется *Dašt-i Ūrdakon*, «Утиная степь». Многочисленные раскопки в этом месте показали, что, действительно, перед наусом мог располагаться огороженный дворик, найден и двухэтажный наус, который, соответственно, мог быть разделен между двумя семьями [Беленицкий, Маршак, Распопова 1980: 242—243; Маршак, Распопова и др. 2002: 68].

Документ датирован 15 годом правления пенджикентского царя Чегина Чура Билгä (далее ЧЧБ), днем Спандармат-роч месяца Жимтич (2 апреля по согдийскому календарю). Этот правитель, имя которого в документе (R2-3) выписано как *sk'yn swr bydk''*¹, известен, кроме того, по двум источникам: пенджикентским монетам (написано *bydk''*²) и позднейшей арабской традиции, где *Dīwāstī* — Деваштич — назван как потомок *Šūr*-ов, т. е. Чура [Лившиц 1979: 66—67]. Деваштич вступил на престол, вероятно, в 708 г., тогда ЧЧБ начал правление не позднее 693 г.; он наследовал царю с именем *ym'wky'n* (или *'m'wky'n*, *cm'wky'n*), память о котором сохранилась только в монетных легендах. Все трое не были родственниками: отца Деваштича звали *uwd'xšytk* (B-4, R6), отца ЧЧБ — *ruswtt* (B-8, R3). Таким образом, B-8 — древнейший документ из всего мугского собрания.

Несколько слов об имени ЧЧБ — несомненно тюркском. Последняя часть имени, *Bilgä* «мудрый», перед ним — *Čur*, распространенное имя собственное или титул. Больше сложностей вызывает первая часть имени, *sk'yn*. В. А. Лившиц сравнивал ее с др.-тюрк. *čiqan* «племянник» (или титул, из кит. *Чу-цюань*), однако в этом случае ожидалось бы написание типа **суγ'n*, ср. *γ'γ'n* «qayān». И. Якубович [Yakubovich, *forthcoming*] предложил видеть в *sk'yn* монгольскую форму *čegin* для тюрк. *tegin* «принц». Вместе с тем, иные заимствования из монгольского в согдийский как будто неизвестны.

Имя отца ЧЧБ читается как *ruswtt*. Оно выглядит тюркским (что-то типа *bīčut?*), хотя этимология остается неизвестной. Тот же Бычут (или его тезка³), как показал Ю. Ёшида, фигурирует в китайской династийной хронике *Суй-шу* в форме *Би-чжо* (閉拙, р.-ср.-кит. *pej^h-tɕwiat*)⁴ из рода *Чжао-ву* как правитель страны *Mu* (米), т. е. Маймурга [Yoshida 1993: 254]. Этот Би-чжо в 658 г.

¹ И. Гершевич [Gershevitch 1975: 205] читает имя в документе как *bydk'h*. Судя по факсимиле, оба чтения одинаково возможны, но я склоняюсь к транслитерации Лившица, поскольку мужское имя с конечным немым *-h*, обычным показателем женского рода, представляется странным.

² О. И. Смирнова [1963: 102; 1981: 256—257] читала его имя как *буду'n*, *будк'n*; чтение *будк''*, т. е. Билгä, предложил В. А. Лившиц. В археологической среде, однако, правителя с этих монет по-прежнему именуют *Бидьян*.

³ Так предполагает Б. И. Маршак [Marshak, *forthcoming*].

⁴ Эмэндация Ю. Ёшиды. Э. Шаванн [Chavannes 1900: 144, 364] читал первый знак как *кай*, 閉拙. Здесь и ниже все раннесреднекитайские формы даются согласно: Pulleyblank 1991.

был назначен китайскими властями правителем южного Ми (Нань-ми, 南謐, там же). Как считает Ёшида, «this nomination by the Chinese government gives a clue to an enigmatic expression *βytyk MLK'* attested in B8» [Yoshida 1993: 254].

Именно «загадочному» выражению *βytyk MLK'* и посвящена настоящая заметка. Оно появляется в самом начале документа и относится к титулатуре ЧЧБ: (1) 'LKŠNT 'YKZY ZKñ *βytyk* (2) *MLK' pncy MR'Y ck'yn cwr* (3) *βydk'*... «Этот год, когда *βytyk MLK'*, Панчского царя ЧЧБ (15 лет правлению есть)...». В. А. Лившиц в своем издании считает возможными (хотя и менее вероятными) чтения *kutyk*, *βštyk*, *kštyk*. На основании сходной формулы, *sywδyuk MLK' sm'rkñδc MR'Y dyw'styc* «согдийский царь, самаркандский государь Деваштич», он понимает рассматриваемое выражение как «*βyt*-ский царь», подразумевая под *βyt* некий топоним. Чтение *kštyk* соответствовало бы названию области *Kist* (читать *Kišt?*) в бассейне Сурхандарьи у Ибн Хурдādбеха (BGA VI, 37). Позднее Лившиц предложил сопоставлять *βytyk* с топонимом نعتان (варианты نعتان, نعيان, نعمار, نعمار) ¹ в персидской версии географического сочинения ал-Истахрī ² и каирской рукописи труда Ибн Хауқаля, которую реконструировал как *بغتان** (*Baytān*). Так названа волость (рустāk), которая некогда принадлежала Самарканду, но затем ал-Афшйн присоединил ее к Уструшане. И. Афшār сравнивал топоним с *Yaūān* (var. نعتان), названием горы около *Иштмхана* у Ибн Хауқаля ³. Со своей стороны, я склонен исправлять نعتان на بقتان* (*Baqñān*) для *Fakñān*, названия рустāка в Уструшане с центром в *Дйзак* (совр. *Джизак*), где тот же ал-Афшйн построил рабāt *Xudaisar*. В другом месте (стр. 258 у Афшāра) *Fakñān* назван в разночтениях بكنار, نلتاز (в тексте فننگان — конъектура) ⁴.

И. Гершевич сравнивал *βyt*- с *Баққатом*, *Ваққатом* (совр. *Вағат*) в Уструшане, название которого он реконструирует как **βyt-kñdh* «город (округа) Вагд» [Gershevitch 1975: 206], однако такое толкование нельзя принять: *Ваққат* вполне однозначно этимологизируется как «город бога, господина» и надежно связан с топонимом *Ваға* в «Походе Александра» Арриана (IV, 17, 4) [ср.: Barthold 1928: 167; Lurje 2003: 187]; кроме того, *Ваққат* расположен слишком далеко от Пенджикента.

Другой топонимической возможностью, на которую намекнул Ю. Ёшида и которую теперь отверг Б. И. Маршак, является связь *βytyk* с топонимом *Бо-си-де* (播息德), столицей Мāймурга (Ми) в китайских хрониках. В действительности, *Бо-си-де* напоминает *βytyk* только в современном пекинском произношении, а особенно — в графическом представлении стандартной романизации (*пинь ин*), где *Bo-xi-de*. Надо учитывать, что в раннесреднекитайский период эти знаки произносились как *pat-sik-tək*. При этом и произношение типа *Бахтук* для согдийского названия ошибочно, ожидаемая транскрипция согд. *βytyk* — /*vaydīk*/ или /*vaxīk*/. Ма Сяо-хе, а вслед за ним Ма Юн [Ma Yong 1989] ⁵ и Ф. Грене с Э. де ла Вэссьером [Grenet, Vaissière 2002: 166] полагают, что *Босиде* — китайское название города Пенджикента. Б. И. Маршак, однако, указывает на несоответствие расстояний между Самаркандом и Босиде с одной стороны (100 ли ⁶ ≈ 30 км), и между Самаркандом и Пенджикентом (60 км) с другой [Marshak, *forthcoming*]. Кроме того, и передача согд. /*Pančt-ka"θ*/ через р.-ср.-кит. *pat-sik-tək* оказывается совершенно неожиданной: конечное *ka"θ* (согд. *kñdh* «город») практически всегда передается слогом *цянь*, р.-ср.-кит. *kīan* (^h) (寢, иногда с ключами); слог, заканчивающийся на *-t* может передавать иранский переднеязычный или *r*, но едва ли *-n* (для передачи которого в китайском есть более легкие способы) ⁷.

¹ Через *хамзу* мы передаем буквы без точек.

² Изд. И. Афшāра, Тегеран, 1340/1961. С. 253.

³ Ed. Cramers: 500, n. 15.

⁴ Я этимологизировал название *Fakñān* как **Fra-kana-āna*- «прокопанный» [Лурье 2004: 69], однако форма с начальным *b* в персидском переводе *Истахрī* заставляет думать о начальном *p*, тогда к **upa-kana*-?

⁵ Статья Ма Сяо-хе мне недоступна.

⁶ Синь Таншу 221 = Chavannes 1903: 144—145.

⁷ Весьма гипотетичным соответствием топониму *Босиде* может выступать название канала *Barš*, *Baraš* в Самарканде со стороны Варагсара (Ибн Хауқал, ed. Cramers, 500; *Истахрī*, BGA I, 319). Арабское *b* для согд. *p*

вполне нормально; для передачи иран. *š* через кит. *c* (р.-ср.-кит. *s*) ср. *Ань-си* (安息, *šan-sik*) «Парфия» из *Aršak*,

Таким образом, этимологизация *βytyk* как прилагательного от топонима оказывается неудачной. Вместе с тем, читая *βytyk MLK'* как «правитель¹ (области) *Vayd*», мы опираемся исключительно на титулатуру Деваштича. Вполне можно допустить, что это выражение указывает на почетное прозвище правителя, не имеющее отношения к его владениям. Тогда значение слова *βytyk* оказывается вполне очевидным: это прилагательное на *-tk* к *βyt*, *βxt* «судьба, удача, счастье».

Согд. *βyt*, *βxt* неплохо представлено в дошедших до нас текстах: *βxtk* «Glück, luck» отмечено в AL, I, R3 [Reichelt 1931: 8—9; Sims-Williams 2004: 102], возможно, сходное значение «fated» имеет *βxtkw* в небольшом тексте, изданном Ю. Ёшидой [Yoshida 1979: 187, n. 14; addenda N. Sims-Williams], сюда же относится прилагательное *βytmync* в *zmny βytmync(h) mrc(w)h* «смерть в (угодное) судьбе время» (по Э. Бенвенисту, «(mort) naturelle» [Benveniste 1940: 2, 1133, 1189]). Значение *βxt* как «положительной» судьбы, «фортуны» подтверждается *ex adverso*: в христианском согдийском *n' bxt* (C2 69V 28 и C33 = TiiT 21 ii R5) передает сир. *hs*, «God forbid» [Sims-Williams 1985: 150]², «not fated» (نا مقدر [Gharib 1995: no. 5732]), ср. также *trβxt-* «without fate, untimely» [о смерти: Benveniste 1940: 2, 6]; Кроме того, это слово формирует ряд имен собственных: *βxt*, *βxt'kk*, *βxtywc* [Sims-Williams 1992: SVV], *βytrud'r* «(рожденный) благодаря судьбе, удаче» [Лившиц 1962: A11], *βytyw'n* «в счастье живущий» [Боголюбов, Смирнова 1963: Б9, 5], *βytw'ch* «говорящий судьбу, кукушка (?)» [Benveniste 1940: 8, 178]³; даже в рассматриваемом нами документе встречается личное имя *βytwrz* «обладающий чудесной судьбой (?)», сюда же, быть может, и *šyrbxc* (если из **šyr-βyt-c*)⁴.

Согд. *βxt*, *βyt* является продолжением др.-ир. **baxta-* «судьба» > «счастье», субстантивированного пассивного причастия прошедшего времени от **bag-*, др.-инд. *bhag-* «делить» (ср. русск. *удел*), как авест. *baxta-*, ср.-перс. *baxt*, н.-перс. *baxt*, хор. *θ-βyN(y)k* «счастливый, благополучный, удачливый», сарм. *βαyδ-* и др. [ср сводку: Расторгуева, Эдельман 2003: 52—54].

Наиболее близкой параллелью к согд. *βytyk* выступает бактр. *βαyδδyγo /vaydīng/*, отмеченное на двух типах монет правителей Тохаристана: *σpι βαγo δδyγo βαyδδyγo καγανο* «Щри Ваг Дева В-ский каган» и *ταδoνo ταρχανο βαyδδyγo ιαροβido* «Тудун Тархан В-ский тысячник»⁵. Н. Симс-Вильямс предпочитает видеть в *βαyδδyγo* прилагательное от некоей территории («of Baghd»), Давари же связывает слово с **baxta-* «удача», хотя и сомневался в значении конечного *-iggo*. В настоящее время сомневаться в значении *-iggo /-īng/* не приходится, это рефлекс композитного суффикса прилагательных **-aina-ka-*, как *σyγyγo* «серебряный».

Как теперь мы видим, в текстах на двух близкородственных языках, согдийском и бактрийском, присутствуют прилагательные от др.-ир. **baxta-* «судьба», «удача» в титулатуре правителей. Можно полагать, что речь идет об общем иранском наследстве, однако соблазнительно другое объяснение: в обоих случаях обладателями титула были тюрки и, вероятно, *βytyk* и *βαyδδyγo* являются кальками тюркского титула.

В первую очередь, можно думать о др.-тюрк. *qut-luy* «счастливый, обладающий удачей, славой», отмеченном во множестве титулов и имен собственных. Именно так понимала некогда *βytyk* О. И. Смирнова, но затем отказалась от этого чтения⁶. Но, во первых, др.-тюрк. *qut* постоянно

Ršak. Оставшаяся часть топонима, *-(i)k-tēk* может передавать согд. *ktk* «дом» (ср. топонимы *Kadak*, *Naukadak* под Самаркандом) [Lurje 2003: 200] или быть рефлексом согд. *tx* «поток» + суффикс прилагательных *-tk*.

¹ Здесь мы оставим в стороне дискуссию о согдийских соответствиях идеограммам *MLK'* и *MR'Y / MRY'*, которые обе указывают на титул правителя.

² Там же ссылка на неопубликованный C33.

³ В том же тексте упомянуты имена *k's* «Свинья», *mwš'kk* «Мышь»; глагол *w'c* тогда должен продолжать др.-ир. **wāk-*, **wāč-* «говорить», как и в композите *zntw'ch 'mry'* «singing bird» [Gershevitch 1954: § 1138].

⁴ Согласно принципам восточноиранской фонологии, др.-ир. *baxta-* должно было дать */vayd/*, а не */vaxt/*, однако именно на вторую форму указывает христианское *n'-bxt*. Эту форму можно объяснять как вторичную, образованную по аналогии с пассивным причастием прошедшего времени на *-t*, *βxt* от глагола *βxš* «делить» с инхоативным суффиксом *s* в презенсе. Впрочем, такого рода глаголы проявляют нерегулярность в причастиях на */xt/* и */yd/* даже в пределах одной (манихейской) писцовской традиции [Gershevitch 1954: § 56]. Таким образом, вокализации */vayd/* и */vaxt/* оказываются одинаково вероятными.

⁵ Наиболее полное издание монет: Göbl 1967: 244/1—16 Rev-2; 245/1—6 Rev; последнее чтение: Sims-Williams 2002: 235; ср. также: Davary 1982: 170—171, где указаны все более ранние чтения монетных легенд; М. Альрам считает *βαyδyγo* скорее именем собственным, чем титулом [Algram 1986: 338].

⁶ Это толкование, насколько я могу судить, ни разу не обосновывалось в литературе и приведено со ссылкой на Смирнову (и тут же отвергнуто на основе параллелизма титула Деваштича) В. А. Лившицем [1962: 49]. Вероятно, оно было высказано устно во время одного из экзаменов-диспутов по чтению Мугских документов между

калькируется через согд. *prn* «счастье, харизма»¹, а во-вторых, *qutlu* представлено в «раскрытом» написании *хотолоуо* в бактрийском [Sims-Williams 2002: 235].

В этой связи можно предложить иной тюркский источник для согд. *bytyk* и бактр. *βαυδδγγο*, а именно, *ülüg-lüg* «имеющий долю > удачливый > счастливый». Это слово достаточно часто выступает парным к *qutlu*, встречается в монументальных текстах, именах собственных (*Ülügdü*) и, что особенно важно, имеет ту же семантику: *ülüg* — имя от глагола *ülä* «делить», как **baxta-* от **bag-*².

Таким образом, мы предлагаем понимать выражение *bytyk MLK' pncu MR'Y ck'yn cwr bydk'* как «счастливый правитель, государь Панча Чегин Чур Билгä».

Библиография

- Беленицкий А. М., Маршак Б. И., Распопова В. И. Раскопки городища Древнего Пенджикента в 1975 г. // АРТ. Вып. XV. 1980.
- Боголюбов М. Н., Смирнова О. И. Согдийские документы с горы Муг. Вып. III: Хозяйственные документы. М., 1963.
- Лившиц В. А. Согдийские документы с горы Муг. Вып. II. Юридические документы и письма. М., 1962.
- Лившиц В. А. Правители Панча (согдийцы и тюрки) // НАА. 1979. № 4.
- Лурье П. Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии (диссертация). СПб., 2004.
- Маршак Б. И., Распопова В. И. и др. Отчет о раскопках городища Древнего Пенджикента в 2001 г. СПб., 2002.
- Расторгуева В. С., Эдельман Дж. И. Этимологический словарь иранских языков. Т. II (*b-*d). М., 2003.
- Смирнова О. И. Каталог монет с городища Пенджикент. М., 1963.
- Смирнова О. И. Очерки из истории Согда. М., 1970.
- Смирнова О. И. Сводный каталог согдийских монет. Бронза. М., 1981.
- Alram M. Nomina Propria Iranica in Nummis [Iranisches Personennamenbuch. IV]. Wien, 1986.
- Bailey H. W. Zoroastrian problems in the ninth-century books. Oxford, 1943.
- Barthold W. Turkestan down to the Mongol Invasion. London, 1928.
- Benveniste E. Textes Sogdiennes. Paris, 1940.
- Bombaci A. Qutluḡ bolzun! A Contribution to the History of the Concept of «Fortune» among the Turks // UAJ. Bd. 36/3—4. 1965.
- Bombaci A. Qutluḡ bolzun! A Contribution to the History of the Concept of «Fortune» among the Turks (2) // UAJ. Bd. 38. 1966.
- Chavannes Ed. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux. St.-Petersbourg, 1903.
- Davary G. D. Baktrisch. Ein Wörterbuch. Heidelberg, 1982.
- Gershevitch I. A Grammar of Manichean Sogdian. Oxford, 1954.
- Gershevitch I. Sogdians on a Frogplain // Mélanges linguistiques offerts à Émile Benveniste. Paris, 1975.
- Gharib B. Sogdian Dictionary (Sogdian—Persian—English). Tehran, 1995.
- Göbl R. Dokumente zur Geschichte der Iranischen Hunnen in Baktrien und Indien. Bd. II. Wiesbaden, 1967.
- Grenet F. Les pratiques funéraires dans l'Asie Centrale sédentaire de la conquête grecque à l'islamisation. Paris, 1984.
- Grenet F., Vaissière É. de la. The Last Days of Panjikent // SRAA. VIII. 2002.
- Lurje P. B. The Element *kand/kaθ* in the place-names of Transoxiana // SI. T. 32/2. 2003.
- Ma Yong. The Chinese inscription of the «Da Wei» envoy of the «Sacred Rock of Hunza // Antiquities of Northern Pakistan. Reports and Studies. Vol. 1: Rock Inscriptions in the Indus Valley. Mainz, 1989.
- Marshak B. I. Panjikand // EI (forthcoming: web edition).
- Pulleyblank E. G. Lexicon of Reconstructed Pronunciation in Early Middle Chinese, Late Middle Chinese, and Early Mandarin. Vancouver, 1991.

М. Н. Боголюбовым и О. И. Смирновой, с одной стороны, и В. А. Лившицем, с другой, которые неоднократно проводил И. А. Орбели. В переиздании В-8 О. И. Смирнова об этой интерпретации не упоминает.

¹ *MN byyṣty prnbyrty = tāngridā qutbulmīš* «получив удачу от богов», *prnxwntkyh = qutlu* в Карабалгасунской надписи [Yoshida 1990: 120], то же (*prnbyrty, prnxwnty*) в позднем письме, написанном уйгуром по-согдийски [Sims-Williams, Hamilton 1990: 66, G, 1—2; ср. также: Bombaci 1965: 291; 1966: 39], где сравниваются тюрк. *burqan qutī* и согд. *pwty'kh prn* «слава Будды». Впрочем, одним из вариантов перевода тюрк. *qut* в словаре Махмуда Кашгарского выступает перс. *baxt*, но это более поздний текст [см.: Bombaci 1966: 27]; в пехлевийской и армянской традиции *farr, xwarra (p'ar'k')* и *baxt (baxt)* иногда выступают синонимами [Bailey 1943: 34 f.].

² Bombaci 1965: 289.

- Reichelt H.* Die soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums. II: Die nicht-buddhistischen Texte. Heidelberg, 1931.
- Sims-Williams N.* A Christian Sogdian Manuscript C2. Berlin, 1985.
- Sims-Williams N.* Sogdian and other Iranian Inscriptions of the Upper Indus Valley. London, 1992.
- Sims-Williams N.* Ancient Afghanistan and its invaders // Indo-Iranian Languages and Peoples. London, 2002.
- Sims-Williams N.* Towards a New Edition of Sogdian Ancient Letters // Les Sogdiennes en Chine. Actes du colloque internationale en Beijing, 23.04.2004—25.04.2004.
- Sims-Williams N., Hamilton J.* Documents turco-sogdiens. London, 1990.
- Yakubovich I.* Marriage Sogdian Style // Proceedings of the Conference «Iranistik in Europa: gestern, heute, morgen» (Graz, February 2002) (*forthcoming*).
- Yoshida Y.* On the Sogdian Infinitives // JAAS. No. 18. 1979.
- Yoshida Y.* Some new readings of the Sogdian version of Karabalgasun inscription // Documents et archives provenant de l'Asie Centrale. Kyoto, 1990.
- Yoshida Y.* Rev. of: *Sims-Williams N.* Sogdian and other Iranian Inscriptions of the Upper Indus. I // III. No. 36. 1993.

ПОДРАЖАНИЕ МОНЕТАМ АСБАРА

Монеты Асбара впервые стали предметом исследования в 30—40-х гг. XIX в. Х. М. Фрэна, Э. Томаса, Уильсена и Принсепа, А. Борнса, а в 80-х гг. — В. Тизенгаузена. В начале XX в. они были изучены Аллотом де ла Фюи. После начавшихся в 1930-х гг. раскопок на городище Варахша произошел качественный скачок в их исследовании. В. А. Шишкиным отмечено около 200 экз. монет этой серии в коллекции Варахши. В 1940-х гг. М. М. Явич даны были датировка монет Асбара и попытки чтения легенды. Далее ими занимались Р. Кесати, В. А. Шишкин, в 1960—80-х гг. — В. А. Лившиц, С. К. Кабанов, О. И. Смирнова, Е. В. Зеймаль. Однако отсутствовал классификационный анализ монет, не были выделены подражания им.

Монеты Бухарского Согда II—VII вв., в основной своей массе медные, составляют основу денежных отношений данного региона. В серию «туранских» монет нами были включены монеты из серебра с изображением алтаря; из меди с алтарем и головой Ормузда в пламени; медные монеты Асбара с тамгой, передающей алтарь; подражания им; локальные чеканы — монеты с портретами разных правителей и оборотными сторонами от подражаний Асбару.

На основе исследования монет «туранской» серии из коллекции Государственного Эрмитажа, Государственного музея истории Узбекистана АН РУз, Института археологии АН РУз и частично Бухарского музея был проделан классификационный анализ. Из всей массы материала были выделены монеты Асбара и подражания им, в генезисе которых было прослежено четыре периода.

Монеты Асбара

Л. ст. Портрет правителя вправо в диадеме с полумесяцем над лбом, концы диадемы повязаны за головой бантиком и опускаются вниз. Концы диадемы переданы в виде двух полос, покрытых множеством горизонтальных штришков. Прическа в виде прямых волос, остриженных до уровня скулы правителя, в отличие от длинных волос на монетах Мовака и медных монет с алтарем.

Об. ст. Тамга, имитирующая алтарь огня. Она состоит из круга с четырьмя отростками (по паре внизу и сверху), направленными в разные стороны. Над верхней парой отростков имеется стилизованное изображение пламени. По кругу справа сверху вниз идет согдийская легенда бухарским письмом: «Правитель Асбар» (чтение В. А. Лившица).

Подражания монетам Асбара

В подражаниях монетам Асбара было выявлено четыре периода развития. Типологические отличия, наблюдаемые в изменении написания легенд, в форме тамги-алтаря и др., стали основой выделения подражаний по периодам.

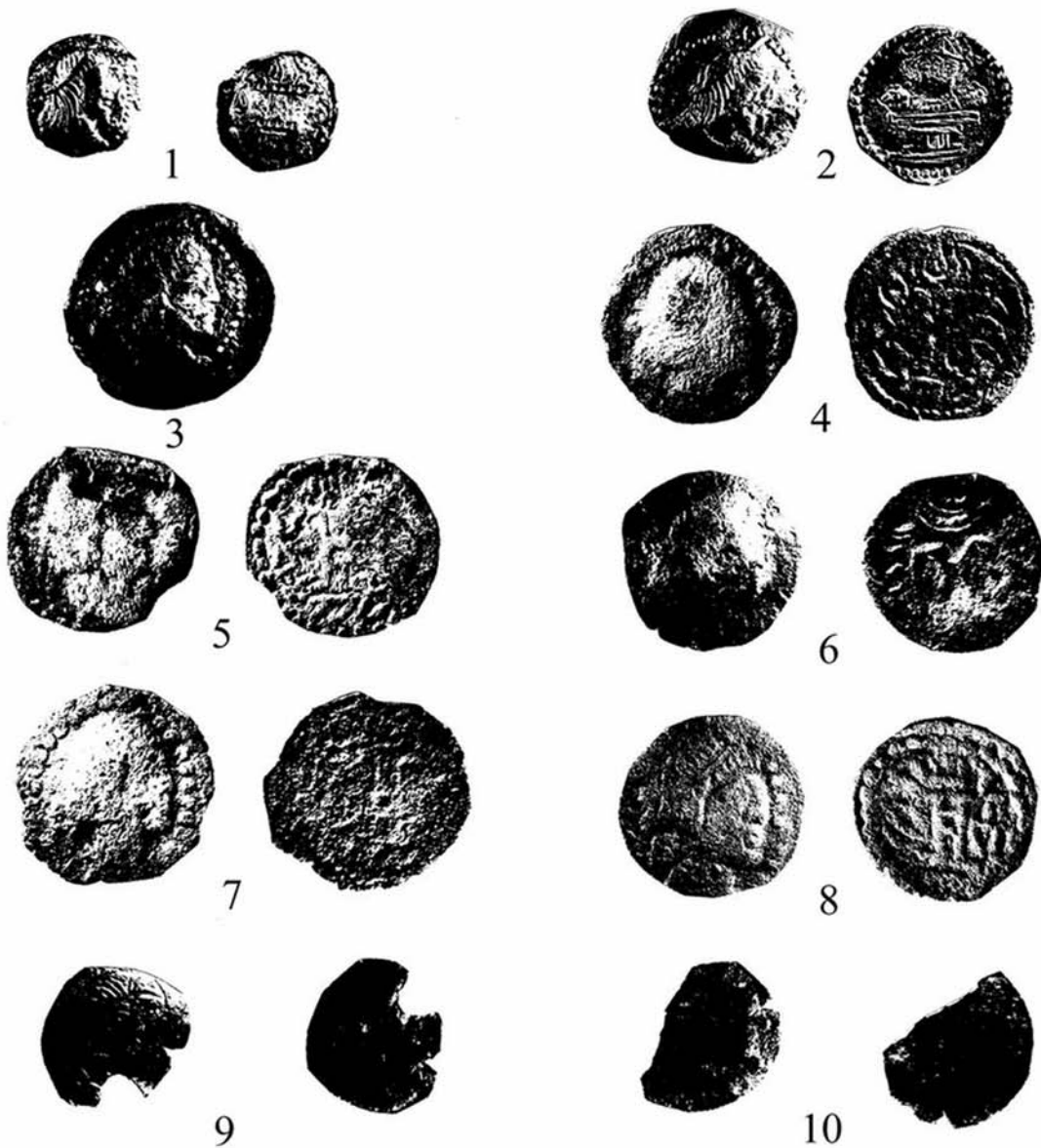
Период I. Монеты этого периода содержат в целом пока читаемые легенды, но выписанные с ошибками, наблюдается стилизация отдельных знаков. Внутри периода выделены четыре этапа:

Этап 1

1. В целом, более небрежное написание легенд.
2. Исчезает вторая буква в титуле.
3. Изменения наблюдаются в написании буквы «бетты», верхняя ее шляпка то выписана зигзагом, то сплошной, слегка прогнутой скобкой.
4. В отдельных случаях «бетта» соединяется с «алифом».
5. Наблюдаются изменения в написании буквы «С», она становится мельче, асимметричнее.

Этап 2

1. Исчезает первая буква в имени при полном титуле.
2. Происходит стилизация первой буквы, уменьшается боковая скобка, превращаясь в треугольник или кружочек.
3. Буквы выписаны неровно.
4. Вторая буква титула «вав» получает новую деталь: треугольник сверху слева или штришочек.
5. Наиболее резкие изменения заметны в написании буквы «С», она уплощается, верхний штришок пересекает вертикальные и удлиняется.
6. В отдельных случаях наблюдаются изменения написания «бетты», зигзаги верхней части закругляются.



1 - монета Мовака; 2 - медная монета с головой Ормузда; 3 - монета Асбара; 4-8 - подражания монетам Асбара; 9, 10 - локальные чеканы с искаженными тамгами-алтарями от об. ст. монет по типу Асбара

Этап 3

1. При полном титуле теряется вторая буква имени, либо она заменяется двумя крючочками.
2. В целом, более стилизованное написание легенды, чем на монетах предшествующих этапов.
3. В целом, все буквы мельчают.
4. «Алиф» соединяется с последней буквой титула, в отдельных случаях они заменяются нечитаемыми скобками.

Этап 4

1. В целом, все буквы выписаны более грубо, стилизованнее.
2. Наибольшие изменения касаются последней буквы в легенде, она то исчезает, то выписана непонятным зигзагом.
3. В отдельных случаях не читается «алиф».

Период II

1. Буквы в целом выписаны еще более грубо, стилизованнее, чем на монетах первого периода, титул остается читаемым.
2. «алиф» исчезает или, если и остается, то в искаженном виде.
3. В имени последняя буква исчезает или неузнаваема, имеются экземпляры, на которых имя выписано так, что без предшествующих экземпляров его невозможно было бы распознать.

Период III определяют следующие черты:

1. В целом, искажены все буквы, легенда нечитаема.
2. Отдельные буквы — «алиф», «С», «Р» — узнаваемы.

Период IV

Этап 1

Если в третьем периоде отдельные буквы были узнаваемы, то в четвертом они уже искажены и не распознаются вовсе. Лишь изредка можно узнать «алиф», «С». Легенда выписана зеркально и искажена. Тамга с двумя шариками и точками внутри.

Этап 2. Первая линия

Легенды искажены, не зеркальные, узнаваемы лишь «алиф» и «Р», остальное лишь скобки и крючки.

Имеются экземпляры, выделяющиеся из общего состава техникой изготовления (литье). Зеркальные искажения легенды, наблюдаются заметные изменения и для л. ст. Неестественно увеличен бант диадемы на затылке, он передан в виде полумесяца, от него вниз — крупные штришки, расположенные елочкой. Их назначение и смысл остались бы неясными, не будь предшествующих оригиналов. Наблюдается повышение веса.

Вторая линия

Наблюдаются более грубо переданные портреты, лицо укрупнено, сильно вытянуто, заметна деформация головы. Концы диадемы соединены в один круг неровной формы. Если раньше портрет был погрудный и просматривались гривна, часть одежды, то здесь видна только шея. С диадемы исчезает полумесяц.

Параллельно этим признакам лицевой стороны имеются изменения и на оборотной стороне монет: тамги стилизованы до такой степени, что без предшествующих экземпляров они были бы нераспознаваемы. Легенда — продолжение искажений зеркального варианта ее написания этапа I.

Этап 3. Первая линия

Выделенные монеты этого этапа передают легенду, измененную до такой степени, что в ней от букв остается лишь набор скобок, штришков, только на одном экземпляре можно узнать «алиф». Тамга может терять пламя и изображаться без него, кроме того, пламя изображается не строго над тамгой, а значительно правее или левее нее.

Вторая линия

На лицевой стороне прослеживается деформация головы и еще более грубо, чем на втором этапе, выполненный портрет. Диадема без полумесяца. Имеется серьга в виде шарика на подвеске. Легенда: набор штришков и точек, тамга искажена до неузнаваемости.

Типология тамг

На монетах Асбара выделено более 30 видов тамг, отличающихся формой передачи пламени. Среди них можно выделить 4 основных типа:

1. Тамга с прямым пламенем.
2. Тамга с фигурным пламенем с треугольником внутри.
3. Тамга с фигурным пламенем, со множеством скобок и каплей внутри.
4. Тамга с фигурным пламенем из двух скобок и каплей с отходящим вниз отростком.

На монетах-подражаниях Асбара наблюдается тенденция к упрощению пламени: вместо множества штрихов, фигурных скобок появляется треугольник с двумя скобками или с двумя штрихами. На монетах периодов III и IV отмечаются упрощенные формы передачи пламени. На монетах второго и третьего этапов периода IV упрощение пламени максимально, имеются лишь некоторые штришки, наиболее искаженные экземпляры теряют пламя вовсе, на них остаются лишь искаженные тамги.

Весовые графики монет Асбара показали вершину с весом в 1,80 г. Весовые графики подражаний монетам Асбара дали вершину с весом в 2 г. Монеты с грубыми лицами второй линии второго этапа периода IV весят 2 г и более. Литые монеты второго этапа периода IV весят 4,20 г и 4,40 г. В целом, подражания дают повышение веса.

Типологический анализ показал хронологические изменения серии монет Асбара от оригиналов к подражаниям четырех периодов. Наличие четырех периодов в развитии подражаний монетам Асбара говорит о значительных изменениях в иконографии. Однако изменения портретов (л. ст.) прослеживаются лишь в конце периода IV, и это свидетельствует о том, что деградация типов происходила быстро, учитывая, что штемпели оборотных сторон быстрее выходили из строя. В этой связи, оборотные стороны более подробно отражают развитие серии в целом.

Эти изменения, столь явные для оборотных сторон, быстрые и резкие, не кажутся случайными, если обратиться к политической истории региона. Как известно, IV—VI вв. в истории Средней Азии отмечены крупными передвижениями племен: кидаритов, хионитов, эфталитов, тюрков.

Начало «туранской» серии — это монеты с алтарями, на л. ст. которых правители показаны с прическами в виде длинных волос до уровня плеч и в диадемах с полумесяцем; они датируются III—IV вв., и в их иконографии отмечаются сасанидские влияния. Монеты Асбара IV—V вв. близки им. Они передают, на наш взгляд, тот же этнический тип, но с измененной прической, волосы укорочены до уровня скул правителя. Алтарь заменяется тамгой, имитирующей его изображение. Появление тамг исследователи связывают с приходом кочевых племен. Так, на подражаниях монетам Евтидема II в. до н. э. тамга трактовалась как приход к власти племен «сарматоидного» круга в Бухарский Согд. Вслед за надчеканенными тамгой монетами появляются подражания тетрадрахмам Евтидема. Появление тамги-алтаря отражает, вероятно, начало передвижения племен хионито-эфталитского круга. При всем том, однако, портрет передает изображение правителя местной династии. Подражания монетам Асбара — свидетельство завоевания Бухарского Согда кочевыми племенами. Согд был завоеван во второй половине 80-х гг. V в. эфталитами. Подражания Асбару можно датировать этим временем. Во второй половине VI в. сюда приходят тюрки (563—567), это наиболее поздняя граница распространения подражаний. Причем появление «грубых» лиц на монетах отражает передачу нового этнического типа правителя кочевого круга.

С. К. Кабанов отмечает находку на Шор-тепе монеты с «бухарским» надчеканом. Судя по фото, это подражание монетам Асбара периода IV, нахшебские же монеты, возможно, несколько старше, либо передают изображение владетелей, над которыми на какой-то момент возобладали бухарские правители (из одного из родов того же круга хионито-эфталитских племен).

Локальные чеканы «туранской» серии, а их автором выявлено более 13 видов с различными портретами на лицевых сторонах, на оборотных сторонах имеют изображения с искаженными зеркальными легендами монет Асбара. Эти локальные выпуски, на наш взгляд, маркируют приход к власти тюркских племен и датируются 60-ми гг. VI—VII вв.

Любопытно, что все правители этих локальных чеканов принимают искаженные оборотные стороны подражаний монетам Асбара: таким образом они, вероятно, старались передать легитимность своей власти, свою «принадлежность» к древней местной династии. В этой связи, любопытно известие «Таншу» и «Бейши» о том, что род бухарского владетеля царствует не менее 400 лет, о чем было доложено бухарским послом китайскому императору. Существование «туранской» серии с III по VII вв. с общим предком, возможно, отражает это сообщение китайских хроник о древности рода владыки Бухары.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА СРЕДНЕЙ АЗИИ В ДРЕВНОСТИ

Дошедшие до нас древние ювелирные изделия и их фрагменты, а также сохранившиеся литейные формы и заготовки свидетельствуют о том, что большинство украшений выполнялось в технике литья. Так, к примеру, различные по форме кольца (из Амударьинского клада и Тилля-тепе) могли отливаться в литейных формах из сепии или мелкого песка¹. Когда требуется отлить более крупные предметы или большее количество медалей, то для этого используют литье в формах из песка. Фор-мы из сепии можно применять только один раз, иначе сепия выгорит. Мы можем только предположить, что тогдашние ювелиры использовали формы из сепии, так как это очень древний способ. Известно, что сепии и сейчас употребляют в ювелирном деле для литья колец. Сепия — это известковые овальные раковины морского моллюска-каракатицы, который водится во всех морях Европы и, в частности, в Адриатическом море. В затвердевшем сухом состоянии они с одной стороны заполнены мягким известковым веществом. Раковину сепии разрезают в продольном направлении на две половины или на три части (в зависимости от модели кольца и высоты каста-короны). Известковое вещество сепии вырезают ножом, затем обрабатывают отдельные части на широкой поверхности, например, напильника, и трут одну часть о другую до тех пор, пока обе половины тесно не примкнут друг к другу (третью часть пришлифовывают снизу). Модель кольца вдавливают посередине одной части головкой вниз только до половины продольной оси и т. д.²

Литые из двух половинок височники (видны швы соединения, частично закрытые кастами и бляшками) дорабатывались легкой чеканкой. Во время такой работы мастер держит и ведет чеканку левой рукой, а в правой держит чеканочный молоток и слабыми или, при необходимости, более сильными ударами по чекану моделирует форму согласно рисунку³. Многочисленные нашивные украшения часто выполнялись в технике штампа. Штампы целых изделий или отдельных частей готовятся специальными инструментами. Для отбивки рисунка используют выпуклые или углубленные штампы (см. нашивные бляшки из Тилля-тепе). По весу и размерам височники с изображением Анахиты (из Тилля-тепе), например, могли быть изготовлены методом вдавливания. На деревянную основу с вырезанным ответом накладывался тонкий лист металла, и затем под определенным давлением он «загонялся» в пространство заданной формы. Такой способ обработки придавал изделию матовость и не очень отчетливую форму контуров.

Для придания украшениям изящности применяли зернь (грануляцию). Техника зернения известна с древнейших времен многим народам, знакомым с металлообработкой вообще и ювелирным делом в частности. Так, в IV в. до н. э. она была известна в Ольвии, и ею пользовались ювелиры Средиземноморья; для периода VI—IV вв. до н. э. она присутствует в искусстве саков, а позже усуней. В раннем средневековье этой техникой определенно пользовались в Сирии (VI—VII вв.) и Византии (X в.)⁴. На территории Средней Азии зернение сохранилось до наших дней, причем это один из отличительных приемов декорирования украшений южных областей, например, Таджикистана (Куляб). Надо думать, что сохранившиеся приемы зернения могли быть аналогичными и в эпоху древности: первый и наиболее простой способ получения зерни заключается в том, что мелко растолченный уголь (древесный), смешанный с кусочками (серебра, золота) плавят в тигельке из огнеупорной глины, затем содержимое тигля опрокидывают на железный лист или в посудину с холодной водой. В результате получаются мелкие шарики — серебряные или золотые, которые употребляются для отделки украшений (ожерелье из Тилля-тепе). Зернь напаивалась на изделия в форме треугольников, ромбов, пирамид и крепилась на естественные смолы; при ее напаивании применяли горн, что подтверждает ее плотное прилегание. Известен и другой способ приготовления зерни: проволока сечением 1—2 мм, вытянутая через волочильную доску, нарезается на мелкие кусочки, длиной 1—2 мм. Диаметр проволоки и размеры кусочков определяли качество и величину зерни. Для получения зерни хорошего качества лили каждое зернышко отдельно, для чего в куске древесного угля мастер просверливал небольшие углубления, которые закладывал подготовленными обрезками серебра или золота, смоченными в растворе буры. Этот уголь ставился в горн, где он раска-

¹ Тойбл К. Ювелирное дело. М., 1982. С. 54.

² Там же. С. 55.

³ Там же. С. 81.

⁴ Сулейманов Э. Традиции обработки металлов у киргизов. Фрунзе, 1982. С. 7.

лялся до тех пор, пока не начинали плавиться кусочки металла. В этот момент мастер щипцами доставал из горна горящий уголь и вытряхивал расплавленные серебряные и золотые капельки в ванночку с холодной водой, где, остывая, они приобретали форму мелких зерен. Этот способ при значительной трудоемкости давал хорошие результаты — зернь получалась правильной формы. На наш взгляд, именно последним из описанных способов пользовались мастера при изготовлении зерни в украшениях Тилля-тепе. Известно, что для изготовления зерни высокого качества требуется большое профессиональное мастерство, которым, как мы видим, и отличались древние ювелиры.

Другая техника, использовавшаяся как в древности, так и в средневековье, — это тиснение. Его могли производить на бронзовом или медном бруске, на нижней стороне которого наносилось нужное изображение; затем пластину помещали на наковальню и ударами деревянного молоточка набивали орнамент. Применялось тиснение при изготовлении поясных пряжек: например, в слое VII в. Пенджикента была найдена бронзовая матрица удлиненной формы с каплевидным концом и слегка согнутыми боковыми сторонами, верхняя сторона которой была покрыта рельефным растительным орнаментом, использовавшимся для тиснения поясных наконечников¹. Раскопки Пенджикента показали, что в VII—VIII вв. там существовали многочисленные мастерские металлообработки. На территории только одного этого города было открыто 28 мастерских, где выполнялось тиснение из тонких листов металла по бронзовым матрицам². Согдийский ремесленник арендовал лавку или мастерскую у богатого горожанина, где производил и реализовывал свой товар. В городах существовали кварталы ремесленников, и особым почетом среди них пользовались ювелиры. И сегодня в названиях улиц городов сохранились названия таких профессий, как «заргар» (ювелир).

По-видимому, прежде чем создать какое-либо ювелирное изделие, мастера делали предварительные рисунки, на которых тщательно продумывали композицию будущей вещи, обрабатывали ее детали. Затем изготавливалась форма литья, восковая модель или матрица. На ней прорабатывались все детали изделия, а после отливки украшения полировались, «одевались» полудрагоценными или драгоценными камнями. В отдельных случаях украшения дорабатывались резцом или пуансоном³. Места для вставок на отдельных изделиях делались заранее. Мастер отбирал точное количество камней необходимой конфигурации и подготавливал в форме для литья места для вставок — как, например, на тилля-тепинских застежках в виде амурах на дельфинах. Для усиления художественного эффекта использовали прочеканку сверху. Драгоценные металлы, как известно, хорошо поддаются чеканке. Обычно этот способ применяют для работ объемно-скульптурного характера, так как в основе прочеканки лежит тщательная проработка наружной поверхности изделий. Для чеканки, как правило, используют листовой металл толщиной 0,40 мм, всю поверхность которого закрепляют в мастике на чеканочном полушарии. Литые массивные предметы закрепляли в тисках. Возможно, так было при изготовлении литых височников в виде царицы из Тилля-тепе.

Краткий анализ технологии древних ювелирных изделий позволяет сделать следующие выводы: 1) способы, приемы и методы художественной обработки металлов и изготовление ювелирных изделий находились тогда на значительной ступени развития; 2) мастера владели техникой штампа, литья, ковки, гранулирования (зернения), гнутья, пайки, вдавливания и др. Современный опыт приобретения навыков показывает, что только ювелир с 25-летним стажем работы мог с таким совершенством соединять плоскость и объем и применять декорировку, как это можно видеть на примере украшений из Тилля-тепе. Как показывает практика, первые три года ювелиры учатся работать на плоскости, овладевая, таким образом, первой ступенью мастерства. Затем они пытаются создавать объемные изделия — это уже второй этап освоения ремесла ювелира. И только проработав десять лет, мастер осуществляет попытку соединения объема и плоскости.

Разумеется, далеко не все ювелирные украшения исследуемого периода (IV в. до н. э. — IV в. н. э.) могут считаться шедеврами, однако многие из них демонстрируют высочайший уровень мастерства в соединении объема и плоскости в изделиях. Ремесло ювелиров, как и другие ремесла в древности, было тесно связано с религией, ритуалами, обрядами, что нашло отражение в использовании характерных сцен и сюжетов, орнаментов, определенных камней, количества вставок и т. д., имевших глубокое символическое значение, и систему специфических знаков, которые объясняли мировоззрение мастера.

¹ Раснопова В. И. Византийские поясные пряжки в Согде // КСИА. Вып. 114. 1968.

² Раснопова В. И. Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л., 1980. С. 108.

³ Надо отметить, что используемая нами терминология обозначения методов, приемов и способов художественной обработки металлов взята из более поздних исторических периодов, т. к. от эпохи древности не сохранилось каких-либо письменных источников, знакомящих нас с технологией ювелирного дела.

ВОЕННОЕ ДЕЛО ДРЕВНИХ ИРАНЦЕВ ПО ДАННЫМ «СКАЗАНИЯ О ЗАРЕРЕ»

Военное дело восточных иранцев в доахеменидский период практически не известно. В этом смысле очень важно «Сказание о Зарере» (далее — СЗ) — памятник древнеиранской эпической поэзии, сохранившийся в среднеперсидской рукописной традиции VI в.¹ Сами события, о которых повествует СЗ, датируются различно. Согласно одному из мнений, генеральное сражение эранцев с племенем хйонов состоялось в 603 г. до н. э. [Амбарцумян 1997: 3—9]. Эран-шахр, царство Виштаспа, расположенное на территории Сеистана, представляло собой небольшое государственное образование с определенным набором должностных лиц. Хотя Зарер, главный герой СЗ, являлся полководцем, крупные военные кампании возглавлял сам царь Виштасп. Система приказов была следующая: царь повелевал военачальнику, а тот распоряжался по своему «ведомству» (§ 23). Для проведения мобилизации полководец зажигал огни на вершинах гор и рассылает гонцов. Видимо, огни были сигналом опасности, а гонцы должны были разъяснить подробности. Мобилизация, естественно, объявлялась заранее и в течение примерно месяца воины должны были собраться в сборном пункте — в столице, около царского дворца (СЗ § 25). Согласно Фирдоуси (IV, 2267, 2299), поход назначался на месяц Дей (январь—декабрь). Воины все должны были являться со своим оружием (СЗ § 25), следовательно, восточной системы государственного обеспечения оружием еще не существовало, и простой народ не был разоружен. Вместе с тем, Фирдоуси (IV, 2403) упоминает выдачу доспехов и двухгодичного жалования войскам. Действительно, царь приказал выступить в поход всем мужчинам с 10 до 80 лет (СЗ § 24). Верхняя и нижняя граница возраста призванных необычны. Вспомним, что позднее, в эпоху Ахеменидов, персы служили в войске с 20 до 50 лет (Strabo XV, 3, 19) или с 26 до 50, тогда как с 16—17 до 26 лет юноши считались «эфебами» и лишь обучались военному делу (Хен. Сур. I, 1, 2—14). Однако уже с пяти лет персы упражнялись в стрельбе, метании копья и верховой езде (Strabo XV, 3, 19; ср.: Хен. Сур. I, 2, 8), а ветераны не отправлялись воевать в чужие страны (Хен. Сур. I, 2, 14), но, очевидно, при необходимости могли служить в своей стране. Десятилетний мальчик, согласно СЗ, вполне мог сражаться верхом на коне (§ 95), тогда как семилетний еще плохо стрелял из лука и скакал верхом (§ 80, 100). Видимо, десятилетний возраст считался у эранцев совершеннолетием (§ 80), т. е. тем возрастом, начиная с которого мальчик считался воином. Следует признать, что это очень ранний возрастной ценз. Отметим интересную деталь: жрецы-маги не должны служить в армии (§ 24). Таким образом, царь Виштасп призвал в войско практически все мужское население страны — это говорит о серьезной опасности, нависшей над царством, когда на карту было поставлено все, и остается только одно: победить или умереть. Все мужчины должны были прийти в войско, и за неявку грозила смертная казнь (СЗ § 25), причем не принимались в расчет ни болезнь, ни семейное положение. Существовал жесткий принцип комплектования армии: народ-войско.

Как было организовано ополчение эранцев, в тексте СЗ не говорится. Однако при упоминании количества войск счет ведется на мириады (§ 6, 54—59, 64—65, 69, 111). Видимо, 10 000 воинов и было высшей тактической единицей, как и у персов эпохи Ахеменидов. В «Авесте» также не упоминаются подразделения более мириады (Яшт IX, 51). Скорее всего, у эранцев существовала типичная для индоевропейцев десятичная система военной организации, в которой были и более мелкие подразделения (тысячи, сотни, десятки). Так, в «Яштах» (IX, 51; XIV, 17, 53) упоминаются количество уничтожаемых воинов в 100, 1000, 10 000 человек (ср.: Фирдоуси, IV, 2392). Вероятно, эти людские потери эквивалентны численности воинских подразделений. В тексте СЗ описывается походная колонна: корнаки едут на слонах, всадники — на конях (точнее, на верховых животных), а колесничие — на упряжках (§ 27). Фирдоуси (IV, 2360—2369) говорит об авангарде и арьергарде. Пехота в походном порядке не упоминается, что весьма странно. Возможно, конечно, что пехотинцы ехали на верховых животных, как, например, в византийской армии середины X в. (Nisèph. Strat. p. 5, l. 28—29 [ed. Kulakovskij]; 2, 1 [ed. McGeer]), но, может быть, в действительности большинство в эранском войске сражалось на конях. Впрочем, «Яшты» (XIII, 99—110) называют в

¹ Для работы был использован перевод «Сказания о Зарере», сделанный А. А. Амбарцумяном. При необходимости перевод нужных мест был еще раз уточнен, за что автор приносит переводчику свою искреннюю благодарность. Мною также использован следующий перевод «Шахнаме» Фирдоуси: Фирдоуси. Шахнаме. Т. IV / Пер. Ц. Б. Бану-Лахути. М., 1994.

войске Виштаспа, помимо колесничих и всадников, еще и пехотинцев¹. Упоминание такого специфического рода войск, как слоны, создает определенную проблему: либо эранцы применяли на войне этих животных по примеру индийцев, приручивших слонов в начале I тыс. до н. э. (и тогда это *terminus post quem*), либо это интерполяция сасанидского времени. Фирдоуси (IV, 2317, 2347) упоминает слонов, с которых посредством цимбал управляли боем, а также слона, на котором был закреплен царский стяг (IV, 2822—2824). Колесницы в данном пассаже упоминаются как род войск, но в описании битвы в СЗ не встречаются. Более того, Зарер лишь на марше едет в колеснице (§ 33), в бою же он сражается на коне (§ 84, 106). Следовательно, тут мы наблюдаем последнюю фазу развития колесничного военного дела, когда колесница уже стала представительским средством транспорта [Нефёдкин 2000]. Это же имело место и в империи Ахеменидов, когда реальными боевыми машинами стали серпоносные квадриги, а обычные колесницы служили средством транспорта и охоты. У восточных иранцев процесс замены боевых колесниц конницей мог произойти уже вскоре после начала использования всадников в военном деле (в начале I тыс. до н. э.). В целом, в походной колонне упомянуты только наиболее почетные рода войск (ср.: *Art. Ind.* 17, 1—2; *Strabo XV*, 1, 55; 69). Пехота, по-видимому, оставлена без внимания в соответствии с традицией сасанидской эпохи, когда она набиралась из простых крестьян и занимала приниженное, в сравнении с кавалерией, место в составе армии (*Amm. Marc.* XXIII, 6, 83; XXIV, 6, 8; *Procop. Bell.* I, 13, 25).

В описании похода в СЗ упоминаются предметы вооружения: копья, колчаны со стрелами, сверкающие (т. е. металлические) и четвертные (возможно, четырехслойные, т. е. неметаллические) панцири (§ 28)². Главным оружием воинов были лук (§ 75—76) и копье (§ 25, 31). Всадники сражались метательным копьем или стрелами (§ 100, 103—105). У конных героев основным оружием являлся меч (§ 70). Однако, возможно, это — не более, чем героическая черта. Согласно Фирдоуси (IV, 3095—3097), витязь и его конь были в броне, главным оружием ему служило копье; упоминается также аркан. Интересную подробность находим в СЗ о военачальнике эранцев Грамиг-карте, который держит в зубах знамя и сражается обеими руками (§ 106). У Фирдоуси же Герами (т. е. Грамиг-карт) поднял упавшее царское знамя и держал его в зубах, так как одной рукой он сражался, а вторую потерял в бою (IV, 2505—2507, 2825—2838). Очевидно, в то время еще не существовало прикрепление древка ни к седлу, ни его ношение за плечом на петле. Возможно, Грамиг-карт стрелял из лука или же бился в ближнем бою обеими руками, держа в одной меч, а в другой — кинжал. Эти виды клинкового оружия имел в походе сам царь Виштасп (§ 51—52).

В тексте нашего памятника есть сведения и о военной музыке. Перед отправлением в поход и на марше войска бьют в барабаны, играют на флейтах и трубах в виде бычьего хвоста (§ 26). В бою звуки музыкальных инструментов специально не упоминаются. Отметим, что знатные эранцы обучали детей верховой езде, стрельбе из лука, игре на музыкальных инструментах и произнесению ритуальных молитв [Амбарцумян 1998: 71]. Видимо, многие мужчины-воины умели играть на инструментах, делая это, в том числе, и перед отправлением в поход у царского дворца. Музыка должна была воодушевлять воинов. Возможно, что передача тактических сигналов при помощи музыкальных инструментов в ходе битвы еще не использовалась. Вместе с тем, Фирдоуси (IV, 2317, 2347) упоминает цимбалы для управления боем [ср.: Никоноров 2000: 173; Nikonogov 2000: 75]. Фирдоуси упоминает многочисленные знамена, принадлежащие царю (IV, 2348, 2405, 2497, 2822—2824), его военачальникам (IV, 2362, 3228—3229) и отрядам (IV, 2414). Впрочем, вряд ли тогда существовала столь развитая система, обозначающая место человека или отряда в строю и на поле боя: скорее всего, это поздняя реминисценция. Противники уславливаются выбрать для боя равнину, на которой было удобно развернуть войска (СЗ § 19). Выбор места и времени противостоящими сторонами — это характерный элемент «войны по правилам», которую обычно ведут между собой соседние племена, знающие своего противника и его тактику. Фирдоуси также сообщает (IV, 2657—2659, 2721), что войско выступало утром, тогда же начинался бой. Этот же обычай сохранялся в ахеменидскую и более поздние эпохи (*Xen. Anab.* III, 4, 35; *Plut. Anton.* 47; *Herodian.* IV, 15, 1; 4; *Procop. Bell.* I, 13, 19). Царь со свитой и гвардией располагался на холме (СЗ § 69, 111; Фирдоуси IV, 2696—2697). Позднее и мидийские, и ахеменидские, и сасанидские правители руководили боем с возвышенности. Если в СЗ данная деталь не является анахронизмом, то это показывает высокую организацию военного управления. Царь сам не бросался в битву и поэтому контролировал ее ход; он руководил боем, посылая туда своих полководцев. В племенных же обществах, как правило, правитель сражается сам. Кроме того, рядом с царем находился значок, который показывал воинам местонахождение предводителя и воодушевлял их на борьбу: они

¹ О всадниках в «Авесте» см.: Амбарцумян 2001.

² О терминологических сложностях пассажа см.: Tafazzoli 1994: 188; Амбарцумян 1998: 71, 73.

видели значок, и это означало, что царь жив и думает о них (Фирдоуси IV, 2405, 2497, 2822—2824; ср.: СЗ § 93). Согласно Фирдоуси (IV, 2822—2824), царское знамя располагалось на слоне.

О построении войск информации в СЗ нет, но, по всей видимости, армия Виштаспа была разделена на три отряда: правый, левый и центр. Такое построение характерно для ахеменидской эпохи (Хен. *Anab.* I, 8, 22; Агг. *Anab.* II, 8, 11). К такому выводу можно прийти на том основании, что в ходе битвы упоминаются три военачальника. Зарер, как командующий, должен был руководить центром — наиболее важным участком боевого порядка (ср.: СЗ § 70), флангами же командовали Спандьяд и Грамиг-карт; можно предположить, что после гибели Зарера Спандьяд принял командование и над центром войска, которое он позднее передал сыну Зарера Баствару (§ 111). Фирдоуси (IV, 2353—2356, 2679—2690, 2700—2721, 3236—3239) неоднократно упоминает два фланга и центр войска. О тактике боя мы можем судить лишь по некоторым пассажам СЗ. В тексте, как и в эпосе вообще, действие ведут герои, которые сражаются между собой (§ 73—105). Фирдоуси (IV, 2731, 2777—2782, 2850—2854) также акцентирует свое внимание на конных поединках героев. Они сначала сражаются стрелами, а затем оружием ближнего боя (Фирдоуси IV, 3204). Бой в основном шел метательный: когда был убит Зарер, умолкли крики и хлопки луков (§ 75—76; ср.: Фирдоуси IV, 2732—2739). Следовательно, можно полагать, что противники, находясь на значительном расстоянии друг от друга, перестреливались, некоторые же лихие всадники в это время атаковали врага и завязывали стычки. Когда кончались стрелы, завязывалась рукопашная схватка (ср.: Herodot. I, 214). Однако до этого, судя по всему, на этот раз дело не дошло. Спандьяд, оставив часть войск Баствару, атаковал холм, где находился царь хйонов Арджасп, согнал его оттуда в направлении отряда Грамиг-карта, который, в свою очередь, бьет их и гонит на силы Баствара. Как результат, вражеское войско разгромлено, а его предводитель взят в плен (§ 111—112). Данный маневр напоминает охотничий прием, когда зверей гонят в сторону охотников. Вместе с тем, такая тактика требует координации действий отрядов, о чем полководцы Виштаспа могли договориться заранее. Главный удар наносился по царскому отряду противника с целью лишить вражеское войско его главы, чтобы оно потеряло управление, а воины бежали, как это обычно случалось с войсками после смерти их предводителя.

Как эпический памятник, СЗ концентрирует свое внимание на подвигах и поединках героя, тогда как остальные войска служат лишь фоном, на котором действуют витязи. Вероятно, именно поэтому в бою не упоминаются те рода войск, которые перечисляются на марше. В бою действуют конница и, скорее всего, пехота. Уровень военной организации эранцев довольно высок: царь выступает организующей и направляющей силой всей кампании. Хотя некоторые детали эпоса, возможно, являются интерполяциями сасанидского периода и переложениями других древнеиранских преданий, значительный блок информации из СЗ все же представляет нам военное дело восточных иранцев, живших в первой трети I тыс. до н. э. на территории, весьма отдаленной от центров тогдашней цивилизации. Об этом, в частности, свидетельствуют упоминания железа как металла, с которым можно сравнить копыта коней (§ 48), и стали для выделки клинкового оружия.

Библиография

Амбарцумян А. А. К проблеме датировки первой битвы иранцев и хйона (конец VII в. до н. э.) // XIX научная конференция по историографии и источниковедению истории стран Азии и Африки: ТД. СПб., 1997.

Амбарцумян А. А. 1998. Некоторые военные реалии по данным древнейшего фрагмента иранского эпоса («Айадгар и Зареран» — «Сказание о Зарере») // Военная археология: Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. СПб., 1998.

Амбарцумян А. А. Конь в «Авесте» и пехлевийской литературе // Роль ахалтекинского коня в формировании мирового коннозаводства. Материалы международной конференции. Ашхабад, 2001.

Нефёдкин А. К. Основные этапы развития боевых колесниц в древности // Взаимодействие культур и цивилизаций: В честь юбилея В. М. Массона. СПб., 2000.

Никоноров В. П. Парфянские литавры // ΣΥΣΤΙΤΑ. Памяти Юрия Викторовича Андреева. СПб., 2000.

Tafazzoli A. A List of Terms for Weapons and Armour in Western Middle Iranian // SRAA. 3. 1994.

Nikonorov V. P. The Use of Musical Percussion Instruments in Ancient Eastern Warfare: the Parthian and Middle Asian Evidence // Studien zur Musikarchäologie. II: Vorträge des 1. Symposiums der International Study Group on Music Archaeology im Kloster Michaelstein, 18.—24. Mai 1998. Rahden, 2000.

К ВОПРОСУ О ПАРФЯНСКОМ НАСЛЕДИИ В САСАНИДСКОМ ИРАНЕ: ВОЕННОЕ ДЕЛО *

Вопрос о парфянском влиянии на государственные институты и культуру Ирана эпохи Сасанидов очень актуален по той причине, что еще в древности сложилось, да и по сей день существует мнение, что Сасаниды — персы родом из Парса (Персиды) на юге Иранского плато, — сокрушив парфянскую династию Аршакидов, рассматривали себя в качестве наследников своих великих предшественников и соплеменников — Ахеменидов — и стремились восстановить созданную теми могущественную империю¹. На первый взгляд, Сасаниды действительно имели определенное представление о славном ахеменидском прошлом Ирана [Shahbazi 2001: 66—69]. Более того, некоторые ахеменидские институты нашли отражение в их практике [Frye 1983a]. Однако это вовсе не означает, что они и в самом деле проводили четко осознанную и целенаправленную политику следования ахеменидским традициям. Наоборот, есть все основания полагать, что в самых разных областях своей деятельности Сасаниды очень многое восприняли именно от своих непосредственных предшественников — парфян, как это убедительно показал Э. Яршатер [Yar-Shater 1971]². Полностью разделяя эту точку зрения, я хотел бы ниже подкрепить ее аргументами из сферы военного дела.

Начну, естественно, с характеристики военного искусства и военной организации самих парфян. Комплексный анализ вещественных, иконографических и письменных источников показывает, что парфянское военное дело находилось на очень высоком для своего времени уровне развития [см.: Никоноров 1987]. Главную роль в нем играли элементы, связанные своим происхождением со степью, что объясняется кочевым происхождением основателей Парфянской империи — апарнов (парнов) из племенной конфедерации дахов (даев), обитавших в степном ареале между Каспием и Аралом [см.: Olbrycht 1998: 51—76]³. Эти номады, придя в Иран, самым радикальным образом

* Эта тема, никогда всерьез не ставившаяся в научной литературе, была очень кратко затронута мною в кандидатской диссертации «Вооружение и военное дело в Парфии», защищенной в 1988 г. Хорошо помню, как А. М. Беленицкий проявил к моей диссертации неподдельный интерес и, внимательно ознакомившись с ее содержанием, положительно оценил работу в целом, а также оказал мне моральную поддержку, тогда чрезвычайно важную. С того времени и ведет отсчет наша с ним дружба, которая продолжалась до самой его смерти в 1993 г. Настоящая статья посвящается светлой памяти Александра Марковича. В предварительном, кратком виде она была представлена в качестве доклада на международной конференции «Spätantike in Mittelasien: Archäologie, Geschichte, Kunst (3.—8. Jahrhundert)», состоявшейся в Университете Тюбингена (Германия) в июле 2004 г. При ее доработке большую помощь мне оказали мои друзья-колеги М. Я. Ольбрыхт, А. И. Колесников и П. Скупневич, за что я выражаю им свою искреннюю благодарность. Разумеется, за содержание этой работы ответственность несет только ее автор.

¹ Ссылки на античные и восточные средневековые источники, а также современную библиографию см. в работах Э. Яршatera и А. Ш. Шахбази [Yar-Shater 1971: 517—518; Shahbazi 2001: 62—64]. Вот характерный для сторонников этой теории пассаж, принадлежащий выдающемуся археологу-иранисту Р. Гиршману: «Пять с половиной веков спустя после падения Ахеменидов персидский народ вновь обрел власть, и новая династия (Сасанидов. — В. Н.) в качестве законного наследника Ахеменидов обеспечила непрерывность иранской цивилизации» [Ghirshman 1954: 290—291]. Справедливости ради следует отметить, что этот исследователь утверждал также следующее: «Возрождением иранского духа и своей успешной внешней политикой парфянские Аршакиды подготовили путь для Сасанидов... Связь между ними и Ахеменидами была обеспечена парфянами» [Ibid: 288].

² Основной тезис Э. Яршatera: «Если Сасаниды и были наследниками кому-либо, то, как кажется, скорее парфянам, чем Ахеменидам» [Yar-Shater 1971: 531; о библиографии в его поддержку см.: Shahbazi 2001: 65, 71—72]. Следует отметить, что и другие исследователи также уже обращали внимание на элементы явно парфянского происхождения в идеологии, искусстве и бытовой культуре сасанидского Ирана [см., например: Кошеленко 1971: 216; Vanden Berghe 1987; Levit-Tawil 1993: 152, 154—155, 161; Goldman 1993: 201—212].

³ М. Я. Ольбрыхт и автор этих строк исходят из того, что апарны-дахи вместе с другими, родственными им ираноязычными кочевыми племенами Средней Азии, оказали самое серьезное воздействие на историю и культуру Парфянского государства. Это мнение основывается на сообщениях достоверной письменной традиции, восходящей к «Парфянской истории» Аполлодора Артемидского [см.: Nikonov 1998a], а также на археологических материалах с территории Парфии и Гиркании — места сложения ядра будущей империи Аршакидов — и из прилежащих к ним степных пространств. Еще раньше важные идеи о серьезном значении факта кочевнического завоевания для социального развития Парфии высказывали И. Вольский и Г. А. Кошеленко [см., например: Wolski 1964: 380; Košelenko 1980]. Однако не так давно столь крупный авторитет по культуре и религии древнего Ирана, как М. Бойс, фактически отвергла саму возможность сколько-нибудь значительного влияния кочевников на процессы формирования парфянской государственности и культуры [Буосе 1994; см. также: Schiprmann 1987: 532; Грантовский 2004: 87]. Поскольку в рамках настоящей статьи, естественно, нет возможности вести полемику по данному вопросу, предлагаю читателю ознакомиться с аргументами, приведенными в недавней работе М. Я. Ольбрыхта [Olbrycht 2003].

изменили, в соответствии со стандартами, выработанными на их родине, вооружение, структуру войск и военной организации, стратегию и тактические приемы использования войск⁴. Преобладающая роль кочевнического компонента в военном деле государства Аршакидов была определена не только самим фактом апарно-дахского завоевания, но и тем постоянным влиянием, которое оказывала на Парфию степная периферия при посредстве наемных отрядов, набравшихся Аршакидами среди кочевых племен Средней Азии (Iust. XLII, 1, 2; 5, 5—6; Lucian. *Macrob.* 15; Tac. *Ann.* VI, 44, 1; XI, 8, 4; Ios. *Ant. Iud.* XVIII, 100; Strabo XVI, 1, 16) и Северного Кавказа (Tac. *Ann.* VI, 33, 2—3) и активно участвовавших в их внутри- и внешнеполитических мероприятиях [см.: Кошеленко 1963; Olbrycht 1998]. Вместе с этими контингентами в Парфию попадали последние достижения народов евразийских степей в области военного дела.

Отряды номадов, служивших за плату (mercede: Iust. XLII, 1, 2; Tac. *Ann.* VI, 33, 2—3; 36, 3], были важной составной частью армии парфян, являясь, по сути, единственной реальной вооруженной силой Аршакидов, на которой в условиях большой самостоятельности знатнейших парфянских фамилий, располагавших собственными войсками, покоились власть и авторитет правящей династии [Wolski 1965]. Иноземные наемники формировали ядро аршакидского войска — отборный конный отряд, постоянно находившийся при царской особе⁵, в состав которого также входили молодые парфянские воины аристократического происхождения⁶. Вопреки существующему мнению [Kennedy 1996: 84], он был весьма многочисленным, поскольку в одном из наших источников сообщается, что своим присоединением к действующей армии, сражавшейся против Марка Антония в 36 г. до н. э., царский отряд серьезно увеличил ее численность (Plut. *Ant.* 44, 2)⁷. Ближайшие к царю члены клана Аршакидов также могли иметь при себе значительные вооруженные силы: известно, что когда правитель Армении Тиридат, брат парфянского царя Вологеза I, в 66 г. н. э. направился на свою коронацию в Рим, то его сопровождали три тысячи всадников (Dio Cass. LXIII, 2, 1).

В случае войны, следуя монаршему повелению, в назначенное время и место прибывали вместе со своими войсками представители парфянской аристократии — как высшей, в лице Сурены (Plut. *Crass.* 21, 4—9; etc.), Синнака (Tac. *Ann.* VI, 37, 3), Карена (Ibid. XII, 12, 3; 13, 1; 14, 2), так и не столь родовитой; при этом действовало правило: чем богаче нобиль, тем больше всадников он поставляет своему царю (Iustin. XLI, 2, 6)⁸. Усиление парфянской полевой армии происходило и за счет подкреплений, приводимых царскими наместниками крупных областей. Так, в ходе кампании против Марка Красса (в 54—53 гг. до н. э.) сатрап Месопотамии Силлак [см.: Karras-Klapproth 1988: 159—161] сначала безуспешно пытался с небольшим конным отрядом противостоять римскому вторжению (Dio Cass. XL, 12, 2), а затем выступил совместно с Суреной против армии Красса (Plut. *Crass.* 21, 4; Flor. I, 46, 8; Fest. 17; Oros. VI, 13, 3). В качестве другого примера можно назвать Орноспада, служившего в той же самой должности [Karras-Klapproth 1988: 99—100], который в 35 г. н. э. «со многими тысячами всадников» под своим началом перешел на сторону римского ставленника Тиридата, боровшегося за трон Аршакидов (Tac. *Ann.* VI, 37, 3).

В стратегическом и тактическом отношении парфянская армия представляла собой высоко мобильную и маневренную силу, которая состояла в основном из конных частей двух видов — значительной массы легковооруженных лучников и гораздо меньшего по численности отряда пикей-

⁴ См. также мнение Дж. Коулстона о том, что парфяское завоевание Ирана и Месопотамии привело к замене там древнеперсидской практики военного дела степной [Coulston 1986: 70].

⁵ Tac. *Ann.* VI, 36, 3: externorum corpori custodes; XV, 2, 4: prompta equitum manus, quae regem ex more spectatur; Plut. *Ant.* 44, 2: οἱ περὶ αὐτὸν [sc. βασιλέα] ἀεὶ τεταγμένοι; Arr. *Parth.* fr. 98: ἐπιλεκτός στρατία; Hdn. IV, 11, 5: δορυφόροι; Strabo XVI, 1, 16: τὸ Σκυθικὸν φύλον καὶ στρατιωτικόν. Этот контингент расквартировывался в местах проживания парфянских царей, которые зиму проводили в Ктесифоне, рядом с Селевкией на Тигре, а лето — в Экбатанах (Мидия) и Гиркании (Strabo XVI, 1, 16).

⁶ Известно, что после поражения и гибели Артабана IV его corps d'élite из знатной парфянской молодежи (παῖδες) вместе с армянами и мидийцами успешно противостоял в Армении вторжению сасанидской армии, возглавляемой Ардаширом I (Dio Cass. LXXX, 3, 3) [Widengren 1971: 758].

⁷ Для сравнения: личный конный отряд армянского царя Артавазда I (55/54—34), кавалерия которого явно была организована по парфянскому образцу (см.: Plut. *Ant.* 50, 4; ср.: ibid. 52, 2—3; Plut. *Crass.* 19, 1; Strabo XI, 14, 9; ср.: ibid. XI, 4, 4), насчитывал 6000 так называемых «царевых стражей и сопровождающих» (φύλακες καὶ προπομπῆ βασιλέως; Plut. *Crass.* 19, 1). О численности парфянского царского контингента в известной степени можно судить по пехлевийской «Книге деяний Ардашира сына Папака», дошедшей до нас в версии VI в., в которой мобильное войско под началом Артабана IV оценивается в 4000 всадников (КнАрд. IV, 8; 18; 24).

⁸ Сурена в битве при Каррах в 53 г. до н. э. командовал собственным войском из 10 000 всадников (Plut. *Crass.* 21, 7). Возможность парфянской знати средней руки косвенно демонстрирует пример богатого вавилонского еврея Замариса, который в сопровождении отряда из 500 конных лучников ушел от парфянских властей в Сирию и затем к царю Иудеи Ироду Великому (ум. в 4 г. до н. э.) (Ios. *Ant. Iud.* XVII, 24—29) [Kennedy 1977: 529; 1996: 84].

щиков, закованных в доспехи вместе со своими конями. Первые (греч. ἰπποτοξῶται, лат. equites sagittarii) были очень подвижны и могли вести меткий и длительный обстрел неприятеля из своих дальноточных сложносоставных луков. Изображения легких конных стрелков парфянского типа широко представлены на памятниках позднеантичной иконографии из Дура-Европос и других мест сирийско-месопотамского приграничья⁹ (рис. 1, 5; ср.: 3, 9—12). Аршакиды были в состоянии собрать под свои знамена очень значительные силы легкой кавалерии. Сообщается, что в 36 г. до н. э. Фраат IV повел против Марка Антония 50 000 всадников, из которых только 400 были «свободными» (liberi: Iust. XLI, 2, 6), т. е. знатными воинами, сражавшимися в рядах панцирной конницы катафракттов (о них см. ниже), остальные же в своем большинстве были конными лучниками. Плутарх в рассказе о тех же событиях говорит, что у Фраата было не менее 40 000 всадников (Plut. Ant. 44, 2). Во время гражданской войны 69 г. н. э. в Римском государстве парфянский царь Вологез I предлагал Веспасиану в качестве военной помощи 40 000 конных стрелков (Tac. Hist. IV, 51, 1; Suet. Div. Vesp. 6, 4): разумеется, это была лишь часть имеющихся в его распоряжении бойцов.

Парфянские броненосные кавалеристы-пикейщики, именуемые в античных источниках катафракттами (греч. κατάφρακτοι, лат. cataphracti/catafracti)¹⁰, стяжали себе особую славу в античном мире и хорошо известны как по описаниям в греко-латинской традиции¹¹, так и по памятникам изобразительного искусства¹² (рис. 1, 1—4, 6). Катафракты набирались преимущественно из представителей мелкой знати — «рыцарства», называемых в письменной традиции «свободными» (= «благородными») и «всадниками» (см. ниже), и в численном отношении серьезно уступали легкой кавалерии лучников. Так, если при Каррах войско Сурены насчитывало 10 000 воинов, то из них только 1000 были катафракттами (всего $\frac{1}{10}$ от общего числа) (Plut. Crass. 21, 7). В парфянской армии, противостоявшей Антонию, из 50 000 солдат лишь 400 были «свободными» (= катафракттами; т. е., они составляли $\frac{1}{125}$) (Iust. XLI, 2, 6). Размещенный в 40 г. до н. э. в Иерусалиме парфянский отряд из 210 всадников включал 10 «свободных» ($\frac{1}{21}$) (Jos. Ant. Iud. XIV, 342; ср.: Jos. Bell. Iud. I, 255). Тем не менее, в парфянском тактическом искусстве роль катафракттов была чрезвычайно важной. В число их основных задач входили: 1) фронтальная атака в тесно сомкнутом строю с целью прорыва боевого порядка неприятеля; 2) сдерживание контратак с его стороны; 3) завершающий натиск на врага, серьезно деморализованного метким и непрерывающимся обстрелом из луков [Никоноров 1995: 55—58; Nikonorov 1997, vol. 1, 51]¹³. В то же время следует подчеркнуть, что ни катафракты, ни конные лучники не могли решить исход сражения по отдельности: суть парфянского тактического искусства заключалась в строгой координации их действий, что обеспечивало парфянам победы в боях с первоклассной тяжелой пехотой эллинистических государств и Рима (самый громкий из дошедших до нас примеров применения такой тактики — это битва при Каррах¹⁴).

⁹ Cumont 1926: fig. 3, 4; Rostovtzeff 1931: pl. XLI, 2; XLIII, 2; 1933: pl. XXI, 1, 2; 1935: fig. 63, 64, 71, 79; 1936: fig. 23; 1943: pl. XVIII, XIX; Hopkins 1934: pl. XXXV, 3, 4; 1939: pl. LVI, 1—3; Cumont, Rostovtzeff 1939: pl. XIV, XV; Goldman 1999: 22—37/A.1, 2, 4—10, 11, B.1—3; Wilcox 2003: 8, 18.

¹⁰ Подробно о броненосной коннице античного мира см.: Mielczarek 1993; Nikonorov 1998b; о парфянских катафрактах: Mielczarek 1990; 1993: 51—64; 1998. Вероятнее всего, катафракты появились в конце IV — начале III в. до н. э. как результат военной реформы, проведенной в среде степных племен Средней Азии на основе опыта их поражений от армии Александра Македонского в ходе его восточной кампании [см.: Nikonorov 1997: vol. 1, 20—23].

¹¹ Plut. Crass. 18, 3; 21, 7; [24, 1]; 25, 5; 6; [25, 7—9; 27, 2]; Dio Cass. XL, 15, 2; XLIX, 20, 2; 26, 2 [ср.: XL, 22, 2—3]; Propert. III, 4, 8; 12, 12; ср.: IV, 3, 8; Hdn. IV, 14, 3; 15, 2; [Iust. XLI, 2, 10; Arr. Parth. fr. 20 = Suid. s. v. ὀβραῖ]; Naz. Paneg. 24, 6 [ср.: Front. Princ. hist. 16].

¹² Gall 1990b: 11—30, Abb. 1, 3, 10, Taf. 1—8; 1996: 68—71, Abb. 4; Rostovtzeff 1933: pl. XXII; Kraeling, Welles 1967: 93—94, fig. 10; Хазанов 1971: табл. XXIX, 4, 5; Wilcox 2003: 7, 17; Goldman 1999: 32—34/A.14. Следует отметить, что конные лучники и катафракты, которые изображены на граффити, дипинти и терракотах, происходящих из античных слоев древних городов Сирии и Месопотамии (см., например, рис. 1, 3—5), обычно рассматриваются в научной литературе как образы парфянских воинов. В настоящей статье я придерживаюсь этой атрибуции, поскольку данные памятники искусства отражают именно парфянскую практику военного дела, даже если их персонажи и не являются этническими парфянами (ср. рис. 3, 9—12, где, скорее всего, показаны конные стрелки из числа местных жителей Дура-Европос и Хатры). Особо следует сказать о знаменитом граффити из Дура-Европос с изображением атакующего катафракта (рис. 1, 4). Этот рисунок был нанесен на стену частного дома, построенного в 232/3 г. н. э., а в 240-е гг. перестроенного в христианскую церковь. Граффити было начертано в первый период существования этого здания [Kraeling, Welles 1967: 37—39], т. е. уже 10—15 лет спустя после падения династии Аршакидов, однако представленный на нем тип военного снаряжения является, несомненно, парфянским.

¹³ В качестве еще одной боевой задачи катафракттов называется окружение вражеского строя [Хазанов 1971: 72], однако такой тактический метод никак не зафиксирован в древней письменной традиции, и, более того, он едва ли был возможен по причине их сравнительной малочисленности.

¹⁴ Наиболее детально ход этого сражения описан Плутархом и Дионом Кассием (Plut. Crass. 23, 8—27, 2; Dio Cass. XL, 21, 1—24, 1); о его собственно военном аспекте и парфянской тактике см.: Никоноров 1995; Nikonorov

В качестве дополнительного ресурса пополнения конницы парфянских царей служили вооруженные силы их союзников и вассалов — прежде всего, царей Армении, которые располагали большим числом как катафрактов, так и конных лучников (Plut. *Crass.* 19, 1; Plut. *Ant.* 50, 4; Strabo XI, 4, 4; 14, 9). Серьезную подмогу всадниками могли оказать Аршакидам также и обладавшие значительными силами кавалерии правители Мидии (Strabo XI, 13, 2; Plut. *Ant.* 52, 3; ср.: *ibid.* 39, 9) и небольших северомесопотамских государств Адиабены (Jos. *Ant. Jud.* XX, 86) и Осроены¹⁵. Кроме того, Аршакиды и их вассалы иногда получали поддержку со стороны отдельных правителей аравийских арабов (Dio Cass. LXVIII, 22, 2).

Парфянская пехота была, как правило, немногочисленной и состояла в основном из лучников (πεζοὶ τε ὀλίγοι... τοξόται), набравшихся из более бедных (ἀσθενέστεροι), чем кавалеристы, людей (Dio Cass. XL, 15, 2) — это сообщение определенно говорит не только о незначительной тактической роли пеших солдат в аршакидской армии, но и об их приниженном социальном статусе. В этой связи заслуживает внимания следующий пассаж из «Истории» Помпея Трога в передаче Юстина (Iust. XLI, 3, 4): у парфян внешнее различие между людьми благородными («свободными»: *liberi*) и зависимыми от них («рабами»: *servi*) заключается в том, что первые ездят на конях, а вторые ходят пешком. Естественно, не следует воспринимать эту информацию буквально, однако она вполне отражает социальную и военную организацию парфянского общества, сложившуюся в восточной части империи Аршакидов, в рамках которой представители разных в иерархическом и имущественном отношении категорий населения, связанных своим происхождением с кочевыми основателями Парфянской державы, служили исключительно в коннице (см. ниже, с. 147)¹⁶. В аршакидскую эпоху термин «всадник» принял значение «знатный человек», «рыцарь» как противопоставление слову «пехотинец», которое стало синонимом понятия «простолудин» [Shahbazi 1987b: 728].

Приниженное положение пехоты в войске Аршакидов, конечно же, не означало, что ее роль в военных кампаниях была и вовсе незначительной: помимо исполнения вспомогательных обязаннос-

1997: vol. 1, 51; ср.: Brizzi 1983: 9—30; Mielczarek 1990; 1993: 42—44. О скоординированном взаимодействии легкой и тяжелой кавалерии как основополагающем тактическом принципе применения катафрактов см. также: Пугаченкова 1966: 31, 43; Хазанов 1971: 75, 93; Gabba 1974: 31—32; Coulston 1986: 60—61; ср.: Shahbazi 1987a: 498. Замечу, что в исследовательской литературе часто встречается неправильное понимание парфянской тактики. Так, было высказано мнение, что именно катафракты, благодаря своим пикам и лукам, позволявшим им одинаково успешно сражаться как в ближнем бою, так и на дистанции, принесли парфянам победу при Каррах [Толстов 1948: 211—227; Блаватский 1954: 114, примеч. 8; Мелюкова 1964: 84]. С другой стороны, считается, что главную роль тогда сыграли конные лучники [Тарн 1930: 89—91; Hildinger 1997: 46—47], а парфянские бронированные всадники использовались «скорее для психологического воздействия, чем в качестве основной силы» [Фрай 1972: 268—269]. Согласно еще одной точке зрения, решающими в битве при Каррах оказались ложный маневр парфян и ошибки самих римлян, а «не технологическое превосходство или тактика парфянских катафрактов» [Eadie 1967: 164].

¹⁵ Согласно косвенным данным, правители населенной арабами Осроены имели в своем распоряжении многочисленную тяжелую и легкую конницу: в 115 г. н. э. Абгар VII предложил в дар римскому императору Траяну коней, 250 катафрактов, панцири для всадников и лошадей, а также 60 000 стрел (Agr. *Parth.* fr. 47). Во время римско-парфянских конфликтов осроенские династы обычно, тайно или явно, принимали сторону парфян (Plut. *Crass.* 21, 1—4; 22, 1, 3—5; 28, 5—7; Dio Cass. XL, 20, 1—21, 1; 22, 1; 23, 1—2; Tac. *Ann.* VI, 44, 5; XII, 12, 2; 3; 14, 1).

¹⁶ Эта особенность организации вооруженных сил Парфии, конечно же, коренилась в специфике военного дела древних кочевников Центральной Азии и в их менталитете. Они не только предпочитали сражаться конными, но и вообще не рассматривали пеший бой как доблесть, а хождение пешком для мужчины считали делом непристойным и даже позорным (Amm. Marc. XXXI, 2, 20: об аланах) [см. также: Никоноров 2002a: 247, примеч. 31]. Весьма показательным, что в античной, армянской, арабской и персидской письменных традициях неоднократно подчеркивается, что для армянских и персидских царей сам факт спешивания во многих случаях являлся актом очень серьезного унижения [Garsoïan 1976: 217—219, n. 53, 54], а из эпической традиции, отражающей реалии сасанидского и более раннего времени, следует, что иранская знать вообще презирала ходьбу пешком даже на короткое расстояние [Shahbazi 1987b: 729]. Небезынтересно отметить в этой связи, что в зороастрийском апокалиптическом сочинении «Джамаспнамак», некоторые материалы из которого, видимо, восходят к парфянскому времени [см.: Воусе 1989: 127], среди страшных потрясений, ожидающих Иран, предсказывается и такой противоестественный, с точки зрения его автора, социальный катаклизм: «Всадник (*asbār*) станет пешим (*padak*), а пеший — всадником. Рабы (*bandakān*) взойдут на путь знатных (*āzātān*)» (ДжН: § 35—36) [Tafazzoli 2000: 14]. Правда, Ксенофонт в своем псевдоисторическом романе «Киропедия», написанном между 386 и 355 гг. до н. э., утверждал, что еще со времен Кира Великого (550—530) персы благородного происхождения передвигались исключительно на лошадях (Xen. *Cyr.* IV, 3, 23). Однако хорошо известно, что персы ахеменидской эпохи, включая знать, служили не только в конных, но и в пехотных элитных частях (Hdt. VII, 41), и все они в возрасте от 20 до 50 лет как кавалеристы и пешие участвовали в кампаниях в качестве воинов и командиров (Strabo XV, 3, 19). Да и сам царь Дарий I (522—486) в своей надписи из Накш-и Рустама (DNb 41—45) с гордостью говорит, что он одинаково хороший боец и как пехотинец, и как всадник [Kent 1953: 139, 140]. Для иранского владыки парфянского или сасанидского времени подобное заявление, в силу бытовавших тогда представлений о том, что воинская доблесть — это сражаться только в качестве кавалериста, было бы немислимо.

тей (служба при обозе, инженерно-строительные работы и т. п.), пешее воинство было незаменимо во время боевых действий в горных местностях и при осадах городов. При необходимости парфянские цари могли собирать под своими знаменами очень значительные силы пехоты (Ios. *Ant. Iud.* XX, 86), покрывая свои потребности в ней, как правило, за счет своих вассалов и союзников. Так, армяне могли предоставить парфянам не менее 30 000 пехотинцев (Plut. *Crass.* 19, 1), а правители Мидии Атропатены вообще были в состоянии выставить на поле боя до 40 000 пеших воинов (Strabo XI, 13, 2). Античные источники (Тас. *Ann.* XII, 13, 1; 14, 1; XV, 2, 4; 4, 3; ср.: Dio Cass. LXVIII, 22, 2) и сирийская «Хроника Арбелы» (VI в.) [Пигулевская 1956: 84—85, 90; Алемань 2003: 501—502] отмечают деятельное участие в военных кампаниях парфян отрядов из Адиабены, причем в «Хронике Арбелы» рассказывается, что в 135 г. н. э. в поход против аланов (?) выступила 20-тысячная армия парфян и адиабенцев, которая, поскольку воевать предстояло в горах, целиком состояла из пехотинцев. В составе войск последнего аршакидского царя царей Артабана IV упоминаются дейлемиты — воины из горной области Дейлем (Дейламан) на юго-западном побережье Каспийского моря (КнАрд. VII, 5; ШН: V/стк. 4657) [Widengren 1971: 742, 743, 775, 776; Tafazzoli 2000: 6], которые были хорошо вооруженными пехотинцами, успешно сражавшимися в ближнем бою и прекрасно подготовленными к военным действиям в горных условиях и к осадным операциям¹⁷.

Время от времени Аршакиды привлекали к службе в пехоте пленных селевкидских и римских солдат. Так, в 128 г. до н. э. Фраат IV после победы над селевкидским царем Антиохом VII ввел в свою армию захваченных в плен воинов последнего и бросил их в бой против вторгшихся в пределы Парфии кочевников-скифов, однако греки в самый решающий момент сражения, когда враги стали одолевать парфян, перешли на их сторону и «осуществили долгожданную месть за [свой] плен, [уничтожив] в кровавой резне парфянское войско и самого царя Фраата» (Iust. XLII, 1, 4—5). Другой известный пример: после разгрома Марка Красса в 53 г. до н. э. пленные римские легионеры были поселены в далекой Маргиане (Plin. *NH* VI, 47; Solin. 48, 3), и, по крайней мере, часть из них была задействована на парфянской военной службе (Flor. II, 20, 4—5; Vell. Pat. II, 82, 2; ср.: Hor. *Carm.* III, 5, 5—9; Dio Cass. LIV, 8, 1; Iust. XLII, 5, 11)¹⁸. Очевидно, та же участь поджидала и тех римлян, которые были взяты в плен в ходе других неудачных кампаний против парфян, в частности, Марка Антония¹⁹. Наконец, из талмудической литературы известно, что экзилархи (главы) иудейских общин Северной Месопотамии в случае войны были обязаны посылать вспомогательные контингенты в армию парфян [Бокщанин 1966: 137; Луконин 1987: 136]. По-видимому, эти отряды состояли преимущественно из пехотинцев, хотя некоторые зажиточные евреи из Вавилонии располагали и собственными конными дружинами (см. примеч. 8).

Впрочем, какой бы значительной ни была порой роль пехоты в военных кампаниях парфян, главное место в их военном искусстве безоговорочно принадлежало конному воинству. Не случайно современники утверждали, что вся мощь парфян заключается в их кавалерии (τὴν ἵππων, ἢ μόνη Πάρθων ἀλκή; Plut. *Crass.* 19, 1). Без столь боеспособной военной организации, которую создали Аршакиды, естественно, было бы невозможно ни установление их политического контроля над многочисленными народами и землями, вошедшими в состав Парфянской империи, ни в целом успешное противостояние в войнах с могучим Римом²⁰.

¹⁷ Именно так описывают дейлемитов византийские источники VI в., когда те в качестве оплачиваемых союзников сражались в составе сасанидских войск (Procop. *Bell.* VIII, 14, 5—10, 12; Agath. III, 17, 6—9; ср.: *ibid.* 28, 6—7) [Felix 1996; Bosworth 1999: 160, п. 405].

¹⁸ В документе Nov 280 из архива Старой Нисы фигурируют два лица, носящие звание *tgmdr* («начальник тагмы»), состоящее из двух частей — греч. *τάγμα* («отряд») и парф. *dār* («начальствующий»). Предполагается, что это звание — калька с римского военного термина в греческой передаче *ταγματάρχος* («командир отряда»), появившееся в парфянском военном лексиконе как раз в связи с депортацией воинов Красса в восточные районы Парфии, где они были организованы в отряды под началом парфянских тагмадаров и, в том числе, трудились на сельскохозяйственных работах [Дьяконов, Лившиц 1966: 148—152; ср.: Bader 1996: 269—270]. Кстати, слово «тагма» в пехлевийской форме *thmu* как обозначение воинского подразделения зафиксировано в надписи, оставленной сасанидскими солдатами в синагоге Дура-Европос [Луконин 1987: 266, примеч. 62].

¹⁹ Существует мнение, что пленные селевкидские и римские солдаты служили парфянам в качестве наемников [Wolski 1965: 107], однако вовсе не исключено, что они несли службу на принудительной основе, получая определенное содержание от государства как за свой ратный труд, так и за хозяйственную деятельность в мирное время.

²⁰ В своих недавних работах по истории римской армии А. К. Голдсуорси дает довольно уничижительную характеристику военного дела парфян. В частности, он пишет: «Эффективность парфянской армии в значительной степени переоценена, главным образом из-за неправильного понимания битвы при Каррах. Одной из причин поражения при Каррах было то, что Красс руководил несбалансированной армией... Если сбалансированная армия держится вместе и не делает ошибок, даже двигаясь в боевом порядке, то парфянское войско не могло надеяться побить ее даже на открытом пространстве» [Goldsworthy 1998: 67]. Такое заключение специалиста по римским военным

Влияние парфян на военное дело ранних Сасанидов было обусловлено двумя основными факторами: (1) переходом глав знатных парфянских родов вместе со своими вооруженными силами на сторону победителей их вчерашних сюзеренов-Аршакидов, и (2) сохранением в Иране при Сасанидах в целом той модели военной организации общества, которая сложилась еще в парфянскую эпоху. Первый фактор достаточно очевиден в свете текстов надписей сасанидских шаханшахов второй половины III в. н. э. — Шапура I на Каабе-и Зардушт в Накш-и Рустаме (составлена между 260 и 262 гг.) и Нарсе в Пайкули (между 293 и 296 гг.). Согласно этим данным, знатнейшие парфянские фамилии, среди которых, в первую очередь, следует назвать Каренов и Суренов, даже после падения Аршакидов (ок. 224 г.) занимали в иерархической структуре государства первых Сасанидов самое почетное место, уступая первенство только персидской элите, связанной родством с правящей династией [Huysse 1999: Bd. 1, 54—55, 58; Bd. 2, 135—137, 155; Skjærvø 1983: 33—34, 42—43; Фрай 1972: 288—289, 295—296; Frye 1984: 295—296, 316; Луконин 1987: 120, 165]. Из пайкульской надписи известно, что парфянская аристократия во время политического кризиса 293 г. выступила на стороне Нарсе и помогла ему захватить сасанидский трон, причем парфяне всегда упоминаются в ее тексте в дуэте с персами, на втором месте [Skjærvø 1983: 29, 31, 33—34, 42—43, 63, 64, 67, 68; Луконин 1987: 163, 165, 168]. Не может быть никаких сомнений в том, что Ардашир I и его наследники только при поддержке крупнейших фамилий парфянского происхождения смогли осуществить программу быстрого объединения всего Ирана под своей эгидой, а также успешно воевать с грозными противниками — Римом на западе и Кушанами на востоке. По всей видимости, Ардашир имел своей главной целью ликвидацию правящей династии Аршакидов с тем, чтобы вместе со своим родом занять ее место. Едва ли он намеревался искоренить всю систему парфянской власти, тем более что в своей антиаршакидской деятельности он довольно быстро нашел сторонников в лице богатейших парфянских аристократов²¹, явно недовольных положением, сложившимся в государстве при последних Аршакидах — Вологезе VI и Артабане IV, и не желавших жертвовать собой ради защиты их интересов. Результат состоявшегося династийного переворота должен был их устроить: место ослабевшего от непрерывных внутренних и внешних войн правящего клана Аршакидов теперь занял амбициозный персидский род Сасанидов, что, в свою очередь, привело к усилению Ирана в военно-политическом отношении; сама же высшая парфянская знать сохранила свои богатства и прежнее привилегированное положение, что можно наблюдать на примере блистательной судьбы Суренов и Каренов в сасанидское время²². Так называемая «антипарфянская реакция»

древностям, в высшей степени необъективное, является результатом его односторонней интерпретации данных греко-римской письменной традиции и весьма поверхностных представлений о парфянском военном деле вообще [см.: Goldsworthy 1998: 60—68; 2000: 131—136]. Позволю себе в этой связи лишь заметить, что даже в 166 г. н. э., т. е. всего за 60 лет до крушения Парфянского государства, знаменитый римский оратор Марк Корнелий Фронтон, безусловно, хорошо осведомленный в современных ему военных реалиях, утверждал, что из всех народов только парфяне являются достойными противниками Рима (*solī hominū Parthi adversus populum Romanum hostile nomen haud utquam contemnendum gesserunt*: Front. *Princ. hist.* 6). Известно также, что римляне, столкнувшись с очень серьезными проблемами в борьбе против парфянских катафрактов и легких конных лучников, были вынуждены разрабатывать специальные тактические приемы для совладания с ними [см.: Campbell 1987: 24—27, 29; 1993: 217—218].

²¹ Согласно «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци, Ардашира поддерживали почти все могущественные парфянские кланы, за исключением Каренов, которые остались верными последнему аршакидскому царю Артабану и были за это почти поголовно истреблены персами (MX II, 71—74; 87). Впрочем, эта информация едва ли достоверна, поскольку род Каренов в действительности сохранил свое высокое положение и при Сасанидах (см. примеч. 22). Гораздо более правдоподобно утверждение другого древнеармянского источника, Агафангела, о том, что вся без исключения парфянская аристократия приняла сторону персов [Халатьянц 1903: 121; Widengren 1971: 779; Тер-Мкртчян 1979: 41]. Хоренаци же, базируясь в своем повествовании о борьбе армянского царя Хосрова I против Ардашира I в основном на данных из труда Агафангела, в то же время добавляет от себя некоторые детали, в том числе и очень сомнительный рассказ о разгроме первым Сасанидом рода Каренов [Халатьянц 1903: 123].

²² О самых знатных иранских фамилиях парфяно-сасанидского времени см.: Nöldeke 1879: 437—440; Herzfeld 1932: 52—85; Christensen 1944: 18, 20, 25—26, 103—105; Фрай 1972: 262; Frye 1984: 226; Karras-Klapproth 1988: 48—49, 165—171; Garsoian 1989: 382—383, 409—410. Члены рода Суренов, чей главный домен располагался на востоке Ирана, в Сеистане, были особенно влиятельны при дворе как Аршакидов, так и Сасанидов. Самый известный парфянский Сурена — победитель Марка Красса при Каррах — занимал «по богатству, происхождению и славе второе место после царя» (Plut. *Crass.* 21, 6). Глава этого клана имел чрезвычайно престижную привилегию короновать парфянских монархов из рода Аршакидов при их вступлении на престол (Plut. *Crass.* 21, 8; Tac. *Ann.* VI, 42, 4). Предполагается, что при Аршакидах и первых Сасанидах (до Шапура II) Сурены исполняли обязанности «начальника кавалерии» всего царства [Chaumont 1961: 298—304, 310—313] (об этой должности см. ниже, с. 149—150). В сасанидское время наибольшую известность получил Сурена, являвшийся главнокомандующим армией шаханшаха Шапура II (309—379): в частности, он возглавлял персидские войска, противостоявшие римскому вторжению в 363 г. (Amm. Marc. XXIV, 2, 4; 3, 1; 4, 7; 6, 12; XXV, 7, 5; XXX, 2, 5; 7; Zosim. III, 15, 5; 19, 1; 20, 4; 25, 5; 31, 1; Malal. XIII,

действительно имела место в Иране, но уже при поздних Сасанидах и по вполне прозаическим причинам²³.

Теперь относительно второго фактора. Специальные исследования, приоритет в которых принадлежит Г. А. Кошеленко, показывают, что в коренных, восточных областях Аршакидской империи военная организация парфянского общества, по сути, совпадала с социальной структурой. Она была детерминирована самим фактом кочевнического завоевания и отражала ту систему общественной иерархии апарно-дахов, которая сложилась на их степной родине еще до прихода на северо-восток Ирана. Самую верхнюю часть социальной пирамиды занимал правящий клан Аршакидов, сосредоточивший в своих руках всю верховную власть в государстве. За ним следовали «всадники» — потомки апарно-дахских завоевателей, которые делились на две группы: (1) аристократы, в том числе представители высшего парфянского нобилитета (Сурены, Карены и др.), определяемые в источниках как «свободные», «азаты» и участвовавшие в военных кампаниях в качестве катафрактов; (2) члены рядовых апарно-дахских родов, составлявшие основной по численности контингент аршакидского войска — легковооруженных конных лучников. В нижней части социальной лестницы располагались две группы эксплуатируемого населения — зависимое общинное крестьянство автохтонного происхождения («пелаты») и рабы, представлявшие самые различные варианты рабской зависимости [подробно см.: Košelenko 1980; Гаибов, Кошеленко, Сердитых 1992: 47—49].

Хотя с предложенным Г. А. Кошеленко вариантом социальной структуры Парфянского царства можно согласиться не во всех деталях [см.: Никоноров 1992; Olbrycht 2003: 77—89], тем не менее, следует признать важность хорошо аргументируемого им вывода о существовании в Парфии слоя военной знати — «всадников» (правда, с той оговоркой, что этот термин, скорее всего, не распространялся на воинов-простолюдинов апарно-дахского происхождения, служивших в легкой кавалерии²⁴). К нему, в частности, принадлежал «всадник» — *ʾsbʾr(y)* (= *asbār*) — по имени Сасан, который упомянут в парфянской остраке № 1669 (= Nov. 280-bis), датированном 72 г. до н. э., из винохранилища Старой Нисы [Дьяконов, Лившиц 1966: 141—142; Diakonoff, Livshits 1998: 148; Лившиц 1979: 99; Bader 1996: 270, 271]. Там записано, что Сасан сделал взнос вина «от себя», т. е., скорее всего, уплатил в казну подать (арендную плату) с полученного им за службу земельного надела [Лившиц 1979: 99]. Интересно, что слово «всадник» в этом документе приведено в древнеперсидской форме *asabāra*, известной еще по надписям Дария I (DB 2.71; 3.41, 72; DNb 41—42, 44, 45) [Kent 1953: 122, 124—128, 139, 140; Bader 1996: 271; Olbrycht 2003: 81]. Впрочем, этот термин

р. 335, 7; 11; 336, 1). Подобно своему далекому предку, прославившемуся при Каррах, этот Сурена также считался вторым лицом в государстве после царя (Амм. Марс. XXIV, 2, 4; XXX, 2, 5). Члены дома Суренов часто выполняли обязанности военачальников и наместников подвластных персам земель (MX III, 64; 65; Фавстос IV, 33; 36; V, 38; Мен. Fr. 6, 1; 16, 1; Theophyl. Sim. III, 5, 14; 6, 3; 9, 9; Theophan. Byz. Fr. 3). Представители другой очень знатной фамилии парфянского происхождения — Каренов, чьи владения находились в Мидии, — тоже верно служили Сасанидам. В частности, один из Каренов в 368—371 гг. командовал персидской армией, действовавшей в Армении (Фавстос IV, 55; 58; V, 1). Отпрыск этого рода Сухра прославился в кампании против эфталитов после гибели шаханшаха Пероза (484) и играл чрезвычайно важную роль при дворе его преемников Валаша и Кавада I (Табари: 120—121, 126—128, 130—133, 135, 138—140, 271 [N] = 110—111, 116—118, 120, 126—128, 130—132, 302 [B]) [Christensen 1944: 294—297, 336]. В VI в. Карен по имени Джибали исполнял обязанности наместника Хорасана (Динавари: 125—126) [Колесников 1970: 54, 63]. В период арабского завоевания Ирана (вторая треть VII в.) члены этого клана приняли активное участие в обороне Сасанидского государства [Колесников 1982: 57, 145, 211]. Последний из известных Каренов, Мазиар, вскоре после принятия им ислама выступил против тахиридских наместников Хорасана и был казнен в 225 г. х. (840 г.) [Bosworth 1999: 117—118, п. 298]. Наконец, высокое место в военно-политической жизни сасанидского Ирана занимал парфянский по происхождению род Михран (см. примеч. 23 и 30).

²³ Сугубо отрицательное отношение сасанидских владык к парфянам было инициировано Кавадом I (488—531) и его сыном Хосровом I (531—579) в качестве идеологического обоснования их стремления к усилению монаршей власти за счет уменьшения влияния крупнейших аристократических фамилий, часть которых имела парфянские корни. Антипарфянский антагонизм, очевидно, особенно усилился в правление Хосрова II (591—628), поскольку власть у него оспаривал Бахрам Чубин, который принадлежал к роду Михран, родственному парфянскому правящему дому Аршакидов [Nöldeke 1879: 139—140, Ann. 3, 438—439; Bosworth 1999: 131, п. 340], и выступал под лозунгом возвращения Аршакидов на трон владык Ирана (ШН: VI/стк. 15 137—15 154) [Shahbazi 1989: 521]. В результате в позднесасанидской идеологии парфянский период стал рассматриваться как время разлада и хаоса, а в окончательно сложившейся тогда же официальной истории Ирана, известной как *Khvadāy-nāmag* («Книга царей»), его аршакидскому прошлому было отведено ничтожно мало места [см.: Yarshater 1983: 473—476].

²⁴ Аналогичным было деление войска в аршакидской Армении: там, наряду с кавалерией из членов знатных родов (*azatani ayruji*), существовала также конница из простолюдинов (*tamik ayruji*) [Периханян 1983: 17; ср.: Garsōian 1989: 573—574]. Важно отметить в этой связи, что на военную организацию Армении парфянский Иран оказал очень сильное влияние [см.: Chaumont 1987b: 436—437], а античная традиция определенно свидетельствует о схожести вооружения и тактики парфянской и армянской конницы еще в I в. до н. э. (см. примеч. 7).

существовал и в собственно парфянском написании: как *³spbrk* (= *aspwārag*) он зафиксирован на парфянском острове III в. н. э. из Гяур-калы в Старом Мерве [Livshits, Nikitin 1991: 116—117; Bader 1996: 271] и как *³spw³r* (= *aspwār*) — в 3-й книге среднеперсидской энциклопедии X в. «Денкарт» (Денкарт: 241/l. 17) [Widengren 1957: 170, n. 2; Дьяконов, Лившиц 1966: 142; Olbrycht 1993: 81].

В «Книге деяний Ардашира сына Папака» (VI в.) «всадники» (*aswārān*) неоднократно упоминаются в составе свиты и войска как последнего парфянского царя Артабана IV, так и первого сасанидского шаханшаха Ардашира I и некоторых из союзников и врагов последнего (КнАрд. II, 13; 15; IV, 18; 24; VI, 5; 7; VIII, 2; 7; X, 1; 9; 17; XI, 8; XII, 6; 15; XIII, 15; 16; XVII, 1; 4; 7; 8; 10; 15). Помимо среднеперсидских, арабские и греческие источники также определенно говорят о сасанидских «всадниках» (араб. *asāwirah*, греч. *καβαλλάριοι*) как об особой социальной группе в смысле знатных воинов, «рыцарства» [Nöldeke 1879: 441; Christensen 1944: 112, 265, 368—369; Widengren 1957: 170—176; 1976: 287—292; ср.: Bosworth 1987; 1999: 101, n. 258; Skjærvø 1987]. В т. н. «Сасанидском судебнике», составленном около 620 г., несколько раз речь идет о «списке всадников» (*aswār-nipēk*) (Судебник A16, 11, 13, 15—16; A17, 1; A19, 2—5; ср.: ШН: V/стк. 5971—5972; 6085; VI/стк. 1928) [Периханян 1973: 359, 360, 365, 440; Perikhanian 1997: 276, 277, 280, 281, 328, 339]. Важно отметить, что в этом юридическом сборнике упоминается «вещь, которая предоставляется (начисляется) на обмундирование всаднику» (*xwāstag pad ēmōčan hangārišn ō aswār*: Судебник 77, 6): в данном пассаже имеется в виду земельный надел, выдававшийся царской казной конному воину в пожизненное условное владение [Периханян 1973: 230, 440, 469; 1983: 142; Perikhanian 1997: 188, 189, 339, 356; Лившиц 1979: 99]. Это, в свою очередь, заставляет нас вспомнить парфянского «всадника» Сасана из нисийского документа № 1669. В аршакидском и сасанидском Иране «всадники» представляли собой многочисленную мелкую знать в рамках привилегированного сословия воинов²⁵, члены которого носили иранское наименование *āzātān* («благородные», «знатные») ²⁶, тогда как в античных нарративных и документальных источниках они назывались «свободными» ²⁷. Они получали от имени монарха или богатейших аристократов земельные наделы на правах пожизненной аренды и были обязаны за это нести военную службу в рядах тяжелой конницы катафрактов ²⁸.

²⁵ Хотя понятие «сословный строй» обычно ассоциируется с Сасанидами, однако вполне вероятно, что сословия, включая военное, появились в Иране уже при парфянах, и это было связано с приходом туда создателей империи Аршакидов — среднеазиатских кочевников-дахов, принесших с собой то сохранившееся в их среде сословное деление, которое возникло у иранских племен еще в авестийскую эпоху, но было затем утрачено в самом Иране в мидийско-ахеменидское время [см.: Новосельцев 1980: 123—125]. Воинское сословие в парфяно-сасанидском Иране, состоявшее из азатов (о них см. примеч. 26), имело довольно сложную внутреннюю структуру, что, в частности, наглядно демонстрируют триумфальные рельефы Шапура I (240—272) в Бишапуре (Бишапур III и II), где изображены приветствующие шаханшаха конные процессии из представителей военной знати, которых по особенностям их парадного облачения и некоторым другим признакам можно отнести к разным иерархическим группам [Hertmann 1980: 15—26, 36—40, fig. 1—3, pl. 1, 3, 16—40; Herrmann, Mackenzie 1983: 19—21, 24—25, fig. 2, pl. 9, 20—22]. Согласно «Письму Тансара» (VI в.), воинское сословие подразделялось на семь рангов, причем в его рамках аристократы стояли выше выходцев из менее знатных слоев общества, и последним для повышения в звании необходимо было пройти по служебной лестнице, начиная с самых нижних чинов (ПТанс.: 48—49) [Tafazzoli 2000: 15].

²⁶ О социальном значении этого термина и классе азатов в древнеиранском обществе см.: Christensen 1944: 111—112; Nyberg 1974: 41; Периханян 1983: 14—17; Blois 1985; Колесников 1987: 183—185; Chaumont 1989; Garsoïan 1989: 512—513; Olbrycht 2003: 81—84. В «Лексиконе» Гезихия (V или VI в. н. э.) это слово переводится как «самые ближайшие к царю [люди]» (*οἱ ἐγγύτατοι τοῦ βασιλέως*; Hesych. s. v. *ἄζῆται*). В принципе, термин «азаты» покрывал представителей всего воинского сословия, в том числе и аристократов самого высокого ранга, но на деле он обычно использовался для обозначения многочисленной служилой мелкой знати — «всадничества» (= «рыцарства»). Помимо парфяно-сасанидского Ирана, класс азатов существовал в аршакидской Армении [Новосельцев 1972: 75—80; 1980: 196—198; Toumanoff 1989a], а в раннесредневековую эпоху — также в Согде [Смирнова 1970: 69—86], Кавказской Албании [Новосельцев 1980: 198—199] и Грузии, причем в последней под наименованием «азнауров» [Новосельцев 1980: 200—202; 1972: 80], которые формировали социально привилегированное сословие «всадников» («мхэдрэби») [см.: Новосельцев 1972: 80—81].

²⁷ Лат. *liberi*: Iust. XLI, 2, 6; греч. *ἐλευθεροί*: Ios. *Ant. Iud.* XIV, 342; Ios. *Bell. Iud.* I, 255 (ср.: Hesych. s. v. *ἄζῆται* *ἐλευθερία*). В долговом контракте из Дура-Европос, составленном на греческом языке в 121 г. н. э. (пергамент № 10), упомянут Манеч, парфянский сановник очень высокого ранга, в титулатуре которого, несмотря на имеющуюся там лакуну (стк. 5), явно присутствовало выражение *τῶν ἐλευθέρων*: «из [сословия] ‘свободных’ (= азатов)» [Rostovtzeff, Welles 1931: 6, 52; Welles 1959: 112—113, 115, 116; Хуршудян 2003: 43—44]. В данном контексте слово *liberi/ἐλευθεροί* следует понимать в значении «благородные», а не как «свободные в противопоставлении рабам».

²⁸ Показательно, что, согласно «Сасанидскому судебнику», «всадники» получали наделы на «обмундирование», т. е. дорогостоящее вооружение, в первую очередь, оборонительное. В рассказе византийского историка Феофилакта Симокатты о событиях правления Хормизда IV (579—590) сообщается, что персидский царь распределял земли между воинами, каждый из которых в мирное время вел хозяйство на своем участке, обеспечивая тем самым свои продовольственные нужды (Theophyl. Sim. III, 15, 4). В другом месте наш источник упоминает «воинские

Помимо самих «всадников», в источниках упоминаются должностные лица в званиях «главный начальник конницы» и «начальник конницы». Интерпретация этих титулов представляет собой проблему, трудноразрешимую при нынешнем состоянии наших источников: не очень ясно, занимали ли их носители руководящие посты внутри всаднического сословия, служили ли они во время боевых действий в качестве высших офицеров, или же выступали в обоих этих качествах. Как «главный начальник конницы» — *mzn ʿsppty* (= *mazan asppat*) — некий Тиридат фигурирует сразу в 13 хозяйственных документах из Старой Нисы (№ 1646—1658, причем на № 1646—1653 сохранилась дата — 76 г. до н. э.) [Дьяконов, Лившиц 1960: 19, 87, 92, 100; 1966: 141; Diakonoff, Livshits 1998: 146—147; Chaumont 1987c: 791; Bader 1996: 270]. В другом документе из нисийского архива (№ 2685) упоминается *ʿspp(ty)* (= *asppat*) — «начальник конницы», личное имя которого не известно [Diakonoff, Livshits 2001: 178; Bader 1996: 270; Olbrycht 2003: 81]. Римский историк Тацит при описании событий 62 г. н. э. говорит о парфянском «начальнике конницы» (*praefectus equitatus*) по имени Вазак (Тас. *Ann.* XV, 14, 2). Интересно также отметить, что в древнекитайской буддийской традиции сообщается об Ань Сюане, последователе буддизма парфянского происхождения, который в качестве торговца в 180-е гг. н. э. прибыл в Китай, где «его по заслугам стали величать “Предводитель кавалерии”» (ГСЧ: 108)²⁹. Под несомненным парфянским влиянием должность «начальника кавалерии» (*aspet*) существовала в аршакидской Армении, являясь прерогативой знатного рода Багратуни, глава которого пользовался почетнейшим правом возлагать корону на голову царя, как это делали в Парфии Сурены [Chaumont 1961: 298—304; 1967: 472—474, 478, 479, 486; 1987b: 435, 436—437; 1987c: 791; Toumanoff 1987; 1989b: 419; Garsoïan 1989: 509] (см. примеч. 22).

Значителен объем информации о «начальниках конницы» для сасанидского Ирана. Так, высокопоставленный военный чиновник в таком звании — среднеперс. *ʿsppt*, парф. *ʿsppty* (= *asppat*), греч. ἄσπιλιδης — по имени Пероз присутствует в списке высшей знати при дворе Шапура I на Каабе-и Зардушт (ок. 260 г.) [Huysse 1999: Bd. I, 57—58, Bd. II, 155; 2002: 207; Chaumont 1987c: 791; Garsoïan 1989: 509]. От Аммиана Марцеллина, участника персидской кампании императора Юлиана (363 г.), мы слышим о «начальнике конного воинства» (*equestris magister militiae*) по имени Мерена (Амм. Марс. XXV, 1, 11)³⁰ и о «начальниках всадников» (*magistri equitum* = *vītaxae*), которые управляли обширными областями в пределах державы Сасанидов (Ibid. XXIII, 6, 14). Ранневизан-

выплаты» (στρατιωτικαὶ ἐπιδόσεις), которые сасанидский монарх предоставлял военным за их службу (Ibid. III, 16, 13; ср.: ibid. III, 18, 14: τὰ κατὰ τὸ εἶωθὸς τοῖς συντάγμασι ὑπὸ τῶν βασιλικῶν πρυτανείων διανεμόμενα), — по видимому, речь здесь идет о денежных вознаграждениях (ср.: χρῆματα: ibid. IV, 9, 2) [см. также: Whitby 1994: 254—255]. Интересно, что в контексте этих сообщений Симокатты войско персов именуется тяжеловооруженным (τὸ ὀπλιτικόν: Theophyl. Sim. III, 15, 5; 16, 13): данный термин, естественно, означает не пехоту в тяжелом снаряжении в греко-византийском смысле (которую Сасаниды никогда не имели), а панцирную кавалерию, бойцы которой, по крайней мере, со времени военной реформы, проведенной Хосровом I в VI в. (см. примеч. 39), получали от государства средства на свое содержание. Вообще же система наделения воинов, в том числе конных, земельными участками от имени царя за службу в армии существовала уже в империи Ахеменидов. Под названием *hapru* она зафиксирована в документах второй половины VI—V вв. до н. э. из Вавилонии. Эта система землепользования носила характер военной колонизации и распространялась на солдат, находившихся на персидской службе, — как иноземцев (саков, египтян, индийцев, фригийцев, лидийцев и др.), так и персов и мидийцев. Владельцы наделов, помимо отбывания воинской повинности, были обязаны сами обрабатывать землю и платить в казну денежную и натуральную подать [Дандамаев, Луконин 1980: 157—161, 237—238; Dandamayev 1989: 331, 333; Лившиц 1979; Нефёдкин 2001: 412—427]. В известной степени институт *hapru* может рассматриваться в качестве модели для парфяно-сасанидской практики наделения «всадников» землей. Однако здесь следует иметь в виду два принципиальных момента: 1) этот институт представлял собой разновидность ахеменидской военной колонизации *неиранских* областей; 2) между военными организациями Ахеменидов, с одной стороны, и Аршакидов и Сасанидов, с другой, были серьезные различия. Предположение о том, что сословие «всадников» существовало уже в государстве Ахеменидов, поскольку форма слова «всадник» в документе № 1669 из Старой Нисы — *ʿsbʿr* (*asbār*) — заимствована из древнеперсидского языка [Дьяконов, Лившиц 1966: 142; ср.: Лившиц 1979: 99—100], не находит поддержки в дошедших до нас данных об ахеменидском обществе: в его структуре, строго говоря, не засвидетельствовано присутствие каких-либо сословий, в том числе воинского [Frye 1972: 85—87; Новосельцев 1980: 123—124; Olbrycht 2003: 88—89].

²⁹ Ань Сюань был, скорее всего, выходцем не из самой Парфии, а из индо-парфянских владений на северо-западе Индийского субконтинента [см.: Мкртычев 2002: 29—30]. Вполне вероятно, что еще до переезда в Китай Ань Сюань занимал на своей родине высокий военный пост «начальника конницы».

³⁰ Этот Мерена, возможно, был главой сасанидского всаднического сословия, на что как будто бы намекает состав воинства, выступившего под его началом против римлян: два царских сына и большое число «знатнейших» (*optimates*), все закованные в железные доспехи (Амм. Марс. XXV, 1, 11—12). Он принадлежал к роду Михран — одному из великих семейств Ирана парфянского происхождения. Проконий Кесарийский говорит о военачальнике из этого клана по имени Пероз, возглавлявшем персов в сражении при Даре в 530 г., однако его родовое имя (Μιρράνης) он передает как должность (Procop. *Bell.* I, 13, 16; 14, 1; 5; 7; 11; 13; 20; 29; 44; 17, 26), хотя в другом месте своего труда упоминает перса по имени Мирран, возглавлявшего гарнизон крепости Петра в Лазике (Ibid. II, 30, 7).

тийские историки, очевидно, по ошибке приводят титул Ἀσπεβέδης и Ἀσπαβέδης (= «начальник конницы») в качестве личных имен высокопоставленных персидских вельмож в царствование Кавада, Хосрова I и Хосрова II (Theophan. *Chron.* A. M. 6013; Procop. *Bell.* I, 9, 24; 11, 5; 23, 6; Theophyl. *Sim.* IV, 3, 5) [Huysse 2002: 207]³¹. Феофилакт Симокатта также указывает, что кавалерию у персов возглавлял (ἡγεῖσθαι τῆς ἵππου) представитель пятого из семи знатнейших родов Ирана (Theophyl. *Sim.* III, 18, 9)³². Звание «начальник конницы» — *aswārān sālār* — зафиксировано также в пехлевийском тексте позднеасанидского времени «Объяснение шахмат и изобретение нардов» (ВЧ § 10) [Christensen 1944: 368; Tafazzoli 2000: 13]. Сасанидские «главы всадников» и «великие из всадников» упомянуты и в арабских источниках (Динавари: 133, 134).

Особо следует отметить, что в настоящее время известны печати нескольких крупнейших военачальников (*spāhbed*) Ирана, осуществлявших во второй половине VI в. высшее военное командование в одной из четырех частей Сасанидской империи — северной, южной, восточной и западной, причем некоторые из них имели дополнительные титулы: «персидский начальник конницы» (*asped ī pārsīg*) — он же спахбед юга; «парфянский начальник конницы» (*asped ī pāhlaw*) — он же спахбед востока; «начальник конницы царства (другой вариант: «начальник царской конницы»)» (*šahr asped*) — он же спахбед севера [Gyselen 2001: 23—27, 36, 39, 45, 46]. Точное военно-административное значение этих высоких кавалеристских званий остается неясным, но, возможно, что их носители, являясь главнокомандующими на вверенной им территории, одновременно руководили чем-то вроде региональных «отделений» сословия «всадников» (так же как и *vitaxae/magistri equitum* Аммиана Марцеллина?). «Персидский» и «парфянский» начальники конницы, видимо, подчинялись «начальнику конницы царства» (подобно тому, как в парфянскую эпоху «главный начальник конницы» должен был занимать иерархически более высокое место, чем просто «начальник конницы»).

Завершая тему парфянского и сасанидского «всадничества», хотелось бы обратить внимание на следующее. Социально и имущественно привилегированные «классы всадников», представители которых несли службу в кавалерии, определенно существовали в центрах античной цивилизации — Греции (в Афинах) и Риме³³. Однако необходимо подчеркнуть, что афинские и римские «всадники» никогда не играли роли главного рода войск своих государств, где первое место безраздельно принадлежало тяжеловооруженной пехоте гоплитов и легионеров соответственно. Если не углубляться в очевидные специфические различия между системами социальных отношений в Греции и Риме, с одной стороны, и в Иране, с другой, то уже это второстепенное военное значение афинских и римских «всадников» принципиально отличает их от парфянских и сасанидских. Следует также сказать и несколько слов в поддержку тезиса о кочевнических корнях иранского «всадничества». В этой связи в высшей степени примечательно, что из Бактрии, т. е. региона, подвергшегося, подобно Парфии, завоеванию номадами из центральноазиатских степей (правда, позднее — во второй половине II в. до н. э.), происходят две надписи, содержание которых напрямую перекликается с приведенными выше данными о всадническом сословии в парфяно-сасанидском Иране. Первая — на гемме-печати (хранится в Государственном Эрмитаже), изготовленной около середины IV в. н. э. [Ставиский 1961; Stavisky 1960: 103—106, pl. III, 2—2a], — выполнена бактрийским курсивным письмом и передает звание «начальник конницы» — ΑΣΒΑΡΟΒΙΔΟ [Henning 1962; Davary 1982: 110, 163—164, s. v.; Лившиц 1969: 66]. Вторая надпись — письмом кхароштки на фрагменте кера-

³¹ Впрочем, Феофилакт Симокатта отмечает, что персы предпочитают, чтобы их называли согласно занимаемой ими должности, а не именем, данным им от рождения (Theophyl. *Sim.* I, 9, 6).

³² Этот же автор сообщает о том, как Солхан, правитель Нисибина и союзник Хосрова II в его войне с Бахрамом Чубином, снабдив некоего Росаса (Хормизда) конным войском (ἰπλικῆ λερφράζας ἰσχυί), послал его против Задеспрата, сторонника узурпатора (Theophyl. *Sim.* V, 1, 9). В другом пассаже, повествующем об этом же событии (Ibid. V, 13, 4), упоминается о посылке «всадников» вместе с их предводителем (καβαλλάριους μετὰ ἄρχοντος), т. е. Росасом, чье звание в греческой передаче (ἄρχων) следует понимать только как «командир отряда конных воинов», а не «начальник конницы» (хотя воины под его началом были именно «всадниками»-рыцарями). Очевидно, то же самое следует сказать и об одном из «знаменитейших у персов» по имени Вафриз, которого Нахораган, главнокомандующий сасанидскими войсками в Закавказье, оставил в качестве командира (ἰλάρχης) над большей частью своей конницы после поражения от византийцев у Фасиса в 555 г. (Agath. III, 28, 10; ср.: Theophyl. *Sim.* III, 18, 10: στρατῳτικῆς ἰλῆς ἡγεμόνων). Вопреки мнению М.-Л. Шомон [Chaumont 1961: 313], Вафриз едва ли являлся начальником всей кавалерии Сасанидского государства, а, вероятнее всего, исполнял функции командующего полевыми конными частями на закавказском театре боевых действий. Не исключено, что он идентичен Вахризу, одному из «всадников» (*asāwiratīhi*) Хосрова I, которого тот направил в Йемен во главе военной экспедиции против абиссинцев, а после победы над ними поставил тамошним наместником (Табари: 223—227, 230—237, 257—258, 263—264 [N] = 239—242, 245—252, 289, 294 [B]) [но ср.: Frye (*forthcoming*)].

³³ Об афинских ἵπλιτες см.: Bugh 1988; Spence 1993; о римских equites: McCall 2001.

мического сосуда из Кара-тепе в Старом Термезе — содержит р. п. от слова *asvavhara*- («всадник») [Вертоградова 1995: 74—75]; по палеографическим признакам она датируется III — началом IV в. н. э. [Там же: 26—28]. Этот же термин (скорее всего, в качестве титула представителей знати) в формах *asavārika*-, *asavāraka*- и др., явно заимствованных, как и слово из Кара-тепе, из иранской лексики, встречается в надписях из Индии [Вертоградова 1995: 75; Лившиц 1969: 66, примеч. 95; Davary 1982: 164]. Исходя из того факта, что возникновение Кушанской империи, которая на пике своего могущества (в конце I — первой половине III вв.) охватывала Бактрию и Северо-Западную Индию, явилось следствием вторжения центральноазиатских кочевников, можно предположить, что воинское сословие «всадников» сложилось также и в государстве Кушан (прежде всего, в самой Бактрии) на основе предыдущего социального опыта его основателей, имевших кочевое происхождение (другими словами, подобно тому, как это произошло ранее в Восточной Парфии в результате ее завоевания апарнами) [Nikonov 1997: vol. 1, 51]. Две упомянутые выше надписи, хотя они и относятся уже к посткушанскому времени, как кажется, содержат намек на это. Кроме того, в надписи на оссуарии из Ток-калы в Хорезме, датируемой VII — началом VIII в. н. э., также упоминается «глава всадников» (*ˁsβʳpt*) [Лившиц 1979: 100]. Присутствие титулов, имеющих отношение ко «всадничеству» (в смысле сословия), в военно-социальной номенклатуре Парфии, Бактрии и Хорезма, т. е. регионов, чья история в эпоху древности была самым тесным образом связана со степным миром Центральной Азии, скорее всего, отражает те серьезные изменения в военной и социальной сферах, которые произошли в этих областях в последние века до нашей эры под самым непосредственным воздействием кочевников³⁴.

Интересные сведения о правилах комплектования войск при одном из последних Аршакидов, Вологезе V (190/191—207/208), и при первом сасанидском царе, Ардашире I (224—240), приводит их современник, римский историк Геродиан (ок. 165 — ок. 250). Так, описывая события 193 г. н. э., он сообщает, что у парфян «нет солдат, служащих за плату (*μισθοφόροι*), и постоянной армии (*συνεστὸς στρατιωτικόν*)», а само войско собирают, когда это необходимо, правители областей (*σατράπαι*) по приказу царя (Hdn. III, 1, 2). Об особенностях мобилизационной практики персов во время войны с римлянами в 231—232 гг. он говорит следующее: они «не используют солдат, служащих за плату (*μισθοφόροι*), подобно римлянам, нет у них и регулярных и постоянных лагерей для того, чтобы упражняться в военном искусстве; но у них собираются все мужчины, а иногда и женщины, как только прикажет царь. Когда война заканчивается, каждый возвращается к себе домой, получив из добычи то, что ему досталось» (Ibid. VI, 5, 3). Распущенное по домам войско персов, пишет далее наш автор, «нелегко собрать вновь, поскольку оно не является ни организованным, ни постоянным (*μὴ συντεταγμένον μηδὲ συνεστὸς*), представляя собой скорее толпу, чем армию; и запасов продовольствия у них имеется столько, сколько каждый, приходя, приносит с собой для собственной необходимости; с трудом и неохотно покидают они детей, жен и родную землю» (Ibid. VI, 7, 1).

В целом данные Геродиана, существенно дополняя друг друга, свидетельствуют о большом сходстве основных принципов военной мобилизации в Иране в позднепарфянский и раннесасанидский периоды. В то же самое время необходимо пояснить, почему этот автор столь категорично утверждает о том, что парфяне и персы не используют солдат, служащих за плату. Дело в том, что

³⁴ Правда, определенную роль в социально-политической жизни оседло-земледельческих областей Средней Азии всадничество играло еще с ахеменидского времени. Историки Александра Македонского неоднократно упоминают всадников из Бактрии, Арэи (Арии) и Согда (*ἰπλεῖς*: Агг. *Anab.* III, 11, 3; 21, 4; 25, 7; 28, 10; Diod. XVII, 78, 2; equites: Curt. IV, 12, 6; V, 8, 4; VII, 4, 30; 6, 15; VIII, 2, 15—16), которые, как полагают некоторые исследователи, могли формировать что-то вроде привилегированного воинского сословия [Briant 1984: 82—84; ср.: Пьянков 2001; 2003: 133]. В самом деле, эти всадники были хорошо обученными военному искусству профессионалами, отличавшимися от основной массы своих соплеменников более высоким имущественным (= общественным) статусом [см.: Щеглов 2001: 80—81]. В то же время они вряд ли представляли собой класс «всадников» (= «рыцарей») по парфяно-сасанидскому образцу, поскольку при Ахеменидах в оседло-земледельческой Средней Азии (как и в самом Иране) не существовали еще условия для деления общества на классы-сословия, которые начали формироваться там не ранее эпохи Аршакидов. Термин *ἰπλεῖς*/equites в данном случае следует понимать не в социальном смысле, а только в качестве технического обозначения конных воинов, как его применяют те же историки Александра по отношению к бойцам кавалерии у персов, македонян, скифов и др. В этой связи показательным, что бактрийским всадникам (*Βάκτριον ἰπλεῖς*) в рассказе Арриана о битве при Гавгамелах в 331 г. до н. э. (Агг. *Anab.* III, 11, 3) соответствует бактрийская конница (*Βακτριανὴ ἵπλος*) в сообщении Плутарха о том же событии (Plut. *Alex.* 32, 5). Бактрийские, согдийские и арэиские всадники, о которых идет речь, скорее всего, служили в дружинах правителей тех административно-территориальных округов (= оазисных и горных районов), где они проживали. Эти правители (*ἄρχαι*: Агг. *Anab.* IV, 1, 5; 21, 1; 9; satrapae: Curt. VIII, 2, 19; 4, 21) отвечали за боевую подготовку своих воинов и по приказу и под верховным командованием ахеменидского наместника вели их в походы или на общевойсковые смотры, по завершении которых те возвращались в свои деревни (*vici*: Curt. VII, 4, 20) [см.: Nikonov 1997: vol. 1, 24—25].

под термином *μισθοφόροι* у Геродиана надо понимать не наемников вообще, поскольку последние в действительности привлекались за деньги на парфянскую службу (но только набирались они обычно за пределами царства Аршакидов — см. выше, с. 142), а воинов постоянной армии, находившихся на государственном жалованье, как это было в Римской империи³⁵.

Второе утверждение Геродиана — у парфян и персов вообще нет постоянного войска — следует объяснить незначительностью воинских контингентов, существовавших у них на регулярной основе, по сравнению с огромной по численности римской профессиональной армией. Впрочем, хотя в парфянскую эпоху в Иране и в самом деле не было регулярной войсковой организации в общепринятом смысле, ее отдельные элементы существовали уже тогда. Это были упомянутые выше (с. 142) царский отряд и войска под началом царских наместников больших областей аршакидского государства, таких как сатрапы Месопотамии Силлак и Орноспад. Кроме того, в стратегически важных местах, прежде всего, на приграничных землях Парфянской державы располагались крепости и форты (*φρούρια*: Dio Cass. XL, 13, 1; 14, 1; LXXIX, 26, 3; ср.: *ibid.* XLIX, 25, 1; *τείχη*: *ibid.* XL, 12, 2; 14, 1; *oppidum munitum*: Plin. *NH* VI, 119; *Parthica oppida*: Tac. *Ann.* VI, 41, 2; *castellum*: *ibid.* XII, 13, 2), сторожевые посты (*φρουρά*: Philostr. *VA* I, 21) и укрепленные поселения (греч. *κώμη*, парф. *diz*) во главе с комендантами — греч. *φρούραρχος* (Dio Cass. LXVIII, 22, 3) [Rostovtzeff, Welles 1931 4, 6, 7, 54—55; Welles 1959: 111, 115], *σατράπης* (= *βασιλέως ὀφθαλμός* — «царево око»³⁶: Philostr. *VA* I, 21) и парф. *dizpty* (= *dizpat/dizpet*) [Дьяконов, Лившиц 1960: 18, 22, 80, 101, 108; Лившиц 1999: 115]³⁷, командовавшими стоявшими там постоянными гарнизонами³⁸.

Точно такая же картина наблюдалась и в сасанидском Иране, где тоже не было регулярной армии в западном (римском) смысле этого термина³⁹, однако имелись те же самые элементы постоянной военной организации, что и у парфян: 1) царский конный отряд⁴⁰; 2) войска под началом

³⁵ См. также заявление Диона Кассия о том, что парфяне не могут вести постоянные войны из-за того, что у них, в том числе, не выплачивается воинское жалованье (*μισθοφόροι*: Dio Cass. XL, 15, 6)

³⁶ Для ахеменидского и последующего времени это звание засвидетельствовано в древнегреческих источниках [см.: Hirsch 1985: 101—139], а также встречается в литературных памятниках, восходящих к пехлевийской традиции сасанидского периода (ПТанс.: 49—51). Его буквальное значение как будто бы намекает на главу (?) царской секретной службы [ср.: Frye 1972: 89; 1983a: 248—249; 1984: 108—109]. По-видимому, в парфянский период в должности «царева ока» пребывал, выражаясь современным языком, офицер госбезопасности, возглавлявший приграничный сторожевой пост и отвечавший за прилегающую к нему территорию.

³⁷ В парфянских документах I в. до н. э. из Старой Нисы должность «дизпат» упомянута 127 раз [см.: Diakonoff, Livshits 2001: 190].

³⁸ В парфяно-сасанидской бюрократической номенклатуре существовал титул *argbed* (*hargbed*), который в научной литературе понимается двояко: как «начальник крепости» [Nöldeke 1879: 5, Anm. 1, 3; Christensen 1944: 107; Chaumont 1962; 1987a; ср.: Tafazzoli 2000: 11—12] и как «глава налогового ведомства» [Лившиц 1999].

³⁹ Утверждение о том, что постоянная армия в Иране была создана уже первым сасанидским монархом Арташиром I [Shahbazi 1987a: 496], не только противоречит сведениям Геродиана, но и не находит поддержки в каком-либо другом источнике. Более того, даже в середине VI в. византийский писатель Иоанн Лид утверждал, что персы, в отличие от римлян, не содержат никаких специальных войск, находящихся в полной готовности для вступления в войну (Lyd. *De mag.* III, 34). Правда, как и в случае с Геродианом, подобное заявление не следует воспринимать буквально [см. также: Greatrex 1998: 56—57]. Определенную попытку создания в Иране армии на регулярной основе предпринял Хосров I (531—579), военная реформа которого была направлена, в первую очередь, на улучшение организации и боевой подготовки войск. Согласно его указаниям, нуждающиеся из числа «всадников»-рыцарей получали за свою службу коней, снаряжение и денежное содержание от государства, а все воинство, конное и пешее, должно было проходить регулярные смотры, являясь туда в полном вооружении, включая, кстати, и самого шаханшаха. При этом воины в числе других привилегированных сословий были освобождены от подушного налога (Табари: 156, 164, 246, 248—249 [N] = 150, 157, 259, 262—263 [B]; Бал'ами: 600; ШН: VI/стк. 1891—2036; КнАнуш.: 20/Éр. VII) [Christensen 1944: 367—372; Frye 1983b: 154; 1984: 326; Shahbazi 1987a: 498; Whitby 1994: 254—255; Rubin 1995; Greatrex 1998: 54]. Впрочем, у нас нет достаточных оснований утверждать, что в результате нововведений Хосрова I персидская армия в своем большинстве превратилась в регулярную.

⁴⁰ *Regius equitatus*: Amm. Marc. XXV, 5, 9; *regis auxilia*: *ibid.* XXIV, 7, 7; см. также: Фавстос IV, 31. Ср.: Amm. Marc. XXIV, 4, 31, где говорится о многочисленном персидском конном контингенте, вместе с «благороднейшими» (*optimates*) и под началом царского сына вышедшем навстречу наступающим на Ктесифон римлянам. Возможно, что в этом пассаже речь также идет о царском отряде. Последний под названием *jund šahānšah* и численностью в 4000 воинов фигурирует в арабских источниках [Tafazzoli 2000: 5]. Столько же всадников, согласно пехлевийской традиции, насчитывало и личное войско Ардашира I (КнАрд. IX, 1; XIII, 9; 15; 16). Сасанидская царская конница, по всей видимости, упоминается у армянского писателя V в. Егишэ под названием «основного полка» (*gund matean*: Егишэ V, 115; 117; ср.: Фавстос III, 8, где тот же термин среднеиранского происхождения в форме *matenik gund* прилагается к ядру армянского войска) [Nyberg 1974: 129; Chaumont 1987b: 430; Garsoïan 1989: 544—545, 574]. С другой стороны, греческие и сирийские источники, освещающие события V и VI вв., отмечают наличие в составе войск Сасанидов 10-тысячного корпуса «бессмертных» (*ἀθάνατοι*: Socr. Schol. VII, 20, 5; 6; 11; Theophan. *Chron.* A. M. 5918; Procop. *Bell.* I, 14, 31; 44; 45; 49; XMC VIII, 3) [Christensen 1944: 208; Frye 1983a: 247—248; Shahbazi 1987a: 497;

областена начальников⁴¹; 3) гарнизоны⁴², оборонявшие крепости⁴³, города и городские цитадели⁴⁴ и возглавлявшиеся комендантами⁴⁵.

Сасаниды полностью переняли от своих парфянских предшественников и организационную структуру вооруженных сил. В состав персидской армии, помимо ее ядра — царской конницы, — входили войска крупнейших аристократов, называемых в источниках «главнейшими полководцами» (*potissimi duces*: Amm. Marc. XXIV, 6, 12; XXV, 3, 13)⁴⁶. Что касается численности войск представителей высшей знати, то, к примеру, известно, что Карен Джибали, бывший в VI в. наместником Хорасана, располагал 30 000 конными и пешими «своего войска» (Динавари: 126).

Главную роль на войне играла кавалерия: по словам Аммиана Марцеллина, персы «больше

Sekunda 1990: 70]. Свое название сасанидские «бессмертные» получили от знаменитой 10-тысячной царской гвардии Ахеменидов, которая, однако, состояла исключительно из пеших бойцов (Hdt. VII, 31; 41; 83; 211; VIII, 113; ср.: ibid. VII, 215—218; 225; Diod. XI, 7, 4; Athen. XII, 8 [= 514 B]) [Дандамаев, Луконин 1980: 233—234; Shahbazi 1987a: 492—493; Sekunda 1989: 84; 1990: 69—70; 1992: 6—9; Barkworth 1992: 151, 154—155; Head 1992: 10—12], тогда как первые, бесспорно, были кавалеристами. Отождествление «бессмертных» сасанидской армии с «основным полком» армянской традиции [см.: Frye 1983a: 248; Chaumont 1987b: 430; Greatrex 1998: 53] вполне возможно, поскольку они формировали ядро царского конного войска на постоянной основе [Greatrex 1998: 57]. Есть мнение, что вариант сасанидского обозначения полка «бессмертных», известного только по упомянутым выше армянским источникам, — *mādiyān-razm* — присутствует в постсасанидском пехлевийском «Бундахишне» [Henning 1942: 233, 241; Tafazzoli 2000: 17]; согласно другой точке зрения, он именовался *Vartragnikan* [см.: Fukai, Horiuchi, Tanabe, Domyo 1984: 74]. Кроме корпуса «бессмертных», в состав сасанидского царского войска должна была также входить личная охрана монарха, упомянутая в среднеперсидской традиции под наименованием *pušābān* (КнАрд. XV, 9) [Tafazzoli 2000: 12], в армянской — «гвардейского отряда из азатов» (Фавстос IV, 53), а в греческой — «царских телохранителей» и проч. (βασιλέως σωματοφύλακες: Theophyl. Sim. III, 18, 10; IV, 3, 1; 11; 15; V, 13, 1; ὑπασπισταί: ibid. IV, 9, 11; 10, 7; βασιλική δορυφορία: ibid. IV, 15, 12; φρουρά: V, 10, 7; δορυφόροι: ibid. V, 3, 7:). Как и у Аршакидов (см. с. 142), сасанидская царская гвардия телохранителей состояла из иранской знатной молодежи и чужеземцев-наемников. Что касается последних, то хорошо известно, что на службе Хосрова II находились телохранители, предоставленные ему византийским императором Маврикием, в том числе отряд в количестве 1000 человек (Theophyl. Sim. V, 3, 7; 11, 9; 13, 1). Впрочем, это был экстраординарный случай, и обычная численность телохранителей персидских царей даже во время боевых действий не превышала 500 человек (Ibid. V, 10, 7). Следует отметить, что полк при царской особе существовал также и в Армении, где он засвидетельствован как для парфянского (см. примеч. 7), так и сасанидского (Фавстос V, 37; ср.: III, 8) периодов.

⁴¹ Vitaxae (= magistri equitum: Amm. Marc. XXIII, 6, 14), satrapae/σατράπαι (Amm. Marc. XIX, 6, 13; XXIII, 6, 14; XXV, 3, 13; Zosim. III, 27, 4; 29, 2; ср.: Theophyl. Sim. I, 15, 1; IV, 3, 15; 8, 2; 12, 1; V, 13, 7); duces (Amm. Marc. XVI, 9, 3; XIX, 9, 5).

⁴² Lecta manus et copiosa (Amm. Marc. X XIV, 4, 11); φυλακή (Procop. Bell. I, 7, 33; II, 19, 3; 48); φυλακτήριον (ibid. II, 30, 7; 15; VIII, 12, 17; 21); φρουρά Персῶν τῶν μαχίμων (Procop. Bell. VIII, 16, 16); οἱ περιφρουροῦντες Πέρσαι (Theophyl. Sim. II, 5, 7); διαφρουρά (Theophyl. Sim. II, 8, 7); см. также: Zosim. III, 14, 2; 29, 2; Theophyl. Sim. IV, 12, 6; 9; 15, 10; ср.: Amm. Marc. XXIV, 4, 26; Zosim. III, 22, 6.

⁴³ Munimentum (Amm. Marc. XXIV, 1, 6; 9; 2, 2; 5, 7); castra (ibid. XXIV, 2, 1; 2); castellum (ibid. XXIV, 5, 6; 11; XXV, 3, 14); φρούρια (Zosim. III, 14, 2; 3; 20, 2; 21, 1; 3; 22, 5—7; 23, 1; 3; 29, 2; 4; 30, 2; Liban. Or. XVIII, 218; 219; 235; 236; 241; 243; Socr. Schol. III, 21, 3; Procop. Bell. I, 23, 20—21; II, 19, 4; 24; 47; 28, 33; Theophyl. Sim. II, 7, 6; 8, 7); κάστρα Περσικά (Malal. XIII, p. 330, 6—7; XVIII p. 435, 15; 469, 13) = καστέλλια Περσικά (Malal. XVIII, p. 469, 7—8; 16—18).

⁴⁴ Πόλισμα (Theophyl. Sim. II, 5, 7; IV, 15, 10); arx (Amm. Marc. XXIV, 2, 3; 12; 13; 22); ἀκρόπολις (Zosim. III, 18, 3; Procop. Bell. VIII, 11, 63; 12, 1; 15—17).

⁴⁵ Упомянуты в надписи Шапура I на Каабе-и Зардушт (среднеперс. *dzpty*, парф. *dzypty*, греч. καστελλοφύλαξ) [Huysse 1999: Bd. 1, 59, 141—142; Bd. 2, 160; Лившиц 1999: 116; Tafazzoli 2000: 10—11] и в позднеантичной нарративной традиции (praefectus: Amm. Marc. XXIV, 1, 9; 2, 21; praesidorium magister: ibid. XXIV, 4, 26; ἡγούμενος: Zosim. III, 14, 4; ἀρχιφύλαρχος: ibid. III, 22, 6; φρουράρχος: ibid. III, 23, 4; ἄρχων: Procop. Bell. I, 7, 33; ср. φυλακτηρίου ἥρχεν: ibid. II, 30, 7; πολιοῦχος: Theophyl. Sim. IV, 15, 7).

⁴⁶ Из них в связи с кампанией императора Юлиана (363 г.) упоминаются Сурена (Amm. Marc. XXIV, 2, 4; 3, 1; 4, 7; 6, 12; Zosim. III, 15, 5; 19, 1; 20, 4; 25, 5; 31, 1), Ногодар (Amm. Marc. XIV, 3, 1; XVIII, 6, 16; 8, 3; XXV, 3, 13), Мерена (Ibid. XXV, 1, 11; 3, 13), Нарсе (Ibid. XXIV, 6, 12), Пигран (Пигракс) (Amm. Marc. XXIV, 6, 12; Zosim. III, 25, 5) и Анарей (Zosim. III, 25, 5). Как правило, в греческих источниках главнокомандующие персов именуются στρατηγοί (Zosim. III, 25, 5; Socr. Schol. VII, 18, 10; Theophan. Chron. A. M. 5918; Procop. Bell. I, 12, 10; 13, 16; 21, 27; 23, 21; II, 17, 4; 10; 18, 9; Agath. III, 2, 1; IV, 30, 10; Men. Fr. 20, 3; 26, 1; Theophyl. Sim. I, 12, 3; 14, 7; II, 4, 11; 9, 10; III, 4, 1; 3; 6, 3; 7; 8, 2; 10, 7; 18, 11; IV, 3, 1; 2; 8, 5; V, 1, 1; 12; 13; 15; 2, 1), χαναράγγης (Procop. Bell. I, 5, 4; 21, 4; 15; 23, 16; 21), καρδαριάν (Theophyl. Sim. I, 9, 5—6; 12, 3; 14, 6; II, 2, 1; 2, 6; 3, 3; 4, 4; 13—14; 5, 7—8; 10; 8, 7), σατράπης (Theophyl. Sim. I, 12, 1; II, 2, 2; 3, 3), στρατιάρχος (Theophyl. Sim. II, 4, 14) στρατηλάτης (Malal. XVIII, p. 461, 10) и πρώτος ἔξαρχος (Malal. XVIII, p. 452, 22), а военачальники рангом ниже — ἄρχοντες (Procop. Bell. I, 13, 16; II, 8, 30; 17, 9; 12; 26, 44; 27, 5; 29; 46; 28, 32; 30, 32; 43; VIII, 8, 34; 14, 43), ἡγεμόνες (Theophyl. Sim. IV, 9, 2), ἔξαρχοί (Malal. XVIII, p. 452, 23; 453, 8; 464, 20; 465, 19; 468, 20; 469, 2; 19 = στρατηγοί: Malal. XVIII, p. 442, 5—6; 468, 12).

всего полагаются на храбрость конницы, в которой усердно служит вся [их] знать и элита» (*maximis equitatus virtute confisi, ubi desudat nobilitas omnis et splendor*: Amm. Marc. XXIII, 6, 83; ср. *optimates*: *ibid.* XXV, 1, 11; 3, 13). Речь здесь идет о тяжеловооруженных всадниках, именуемых в античной традиции катафрактами⁴⁷, изображения которых представлены на сасанидских наскальных рельефах и буллах⁴⁸ (рис. 1, 6; 2, 1—7).

Помимо тяжеловооруженной конницы, армия персов включала в себя многочисленных конных стрелков в легком снаряжении⁴⁹. Как и в парфянской время, в легковооруженную кавалерию набирались воины незнатного происхождения; в ее состав также входили контингенты из числа союзных и подвластных персам народов⁵⁰. В корне неверно утверждение, что Сасаниды не имели

⁴⁷ Catafracti: Amm. Marc. XVIII, 8, 7; XIX, 7, 4; XX, 7, 2; XXIV, 6, 8; [7, 8]; XXV, [1, 12—13]; 3, 4; 6, 2; XXIX, 1, 1; *κατάφρακτοι*: Eunap. *Fr.* 27, 8; Heliod. IX, 14, 3; [15, 1—6]; 16, 3; 17, 2; 18, 2; 20, 1; ср.: Iul. Or. II, 63 B: *ἰππεῖς οἱ ὠρακοφόροι*; Liban. *Or.* XVIII, 265 [см. также: Michalak 1987; Mielczarek 1993: 64—67]. Другое наименование тяжеловооруженной конницы, приводимое в греко-латинских источниках, — «клибанарии» (*κλιβανάριοι/clibanarii*) — вопреки распространенному мнению, вообще не прилагается древними авторами к собственно сасанидской броненосной кавалерии. Правда, есть одно исключение — весьма сомнительный пассаж из жизнеописания императора Александра Севера, приписываемого Элию Лампридию, в котором утверждается, что римляне во время войны с Ираном в 232—233 гг. убили 10 000 (sic!) персидских «катафрактариев, которых они (персы. — *B. H.*) называют клибанариями» (*catafractarios, quos illi [sc. Persae] clibanarios vocant*: SHA XVIII, 56, 5). Однако здесь обязательно следует иметь в виду, что приводимое в этой биографии описание персидской кампании Александра Севера (SHA XVIII, 55—57), в отличие от соответствующего рассказа Геродиана (*Hdn.* VI, 4, 5—6, 3), недостоверно как в целом, так и во многих деталях [Rawlinson 1876: 44—45, п. 4; Jardé 1925: 76—85; Rösger 1978; Syme 1968: 41, 45—47]. Что же касается процитированной выше фразы, то она явно была заимствована биографом Александра из труда Аммиана Марцеллина, в котором говорится, что всадников-катафрактатов называют клибанариями (*catafracti equites, quos clibanarios dicitant*: Amm. Marc. XVI, 10, 8) [Syme 1968: 39—41]. В то же самое время, при сравнении этих цитат хорошо видны два существенных различия между ними: 1) Аммиан использует термин «катафракты», а Лампридий — «катафрактари», тогда как эти наименования только на первый взгляд кажутся синонимами, но на самом деле означают разные виды панцирной конницы — соответственно восточного и римского образцов [Nikonogov 1998b: 137]; 2) Аммиан — и это особенно важно — вовсе не утверждает, что катафрактатов называют клибанариями именно персы: он употребляет безличную форму глагола в третьем лице множественного числа (*dicitant*), имея в виду, скорее всего, самих римлян. Между прочим, фраза Лампридия о тождестве терминов — римского «катафрактарий» и якобы персидского по происхождению «клибанарий» — породила теории о том, что второй являлся греко-латинской калькой со среднеперсидского в формах *tanūrīg* [[Nöldeke 1879: 164—165, Ann. 5; Christensen 1944: 207, п. 4] или *grīwbānwar* [Rundgren 1958: 31—52; Michalak 1987: 76—77; Huyse 2002: 219; ср.: Bivar 1972: 277—278, п. 28]. Следует отметить, что оба этих обозначения сконструированы лишь гипотетически. Так, *tanūrīg* образован от слова *tanūr*, которое, подобно сирийск. *tannūr(ā)* (а также греч. *κλίβανος* и лат. *clibanus*), могло иметь два значения — 1) «печь»; 2) «доспех» [см.: Michalak 1987: 76]. *Grīwbānwar* («тот, кто носит защиту для шеи») имеет в своей основе слово *grīwbān* («защита для шеи»), известном по «Пехлевийскому комментарию к “Вендидаду”» (14, 9) [Jackson 1894: 118; Malandra 1973: 272; Tafazzoli 1994: 188—189] (то же самое арм. *grivpan* — «часть панциря, которая защищает шею» [Benveniste 1966: 63]). Отсутствие терминов *tanūrīg* и *grīwbānwar* в каком-либо из дошедших до нас среднеперсидских текстов серьезно ослабляет аргументацию вышеназванных гипотез, не говоря уже о том, что лежащая в их основе сентенция из биографии Александра Севера вообще не вызывает доверия. Поэтому иранская этимология термина «клибанарий» должна быть поставлена под сомнение. Вероятнее всего, по своему происхождению он связан с латинским словом *clibanus* (*clivanus*), но не в его первоначальном значении «печь» (как переводится его греческий прототип — *κλίβανος/κλίβανος*), а в более позднем, начиная с IV в. н. э., — «более полный панцирный доспех», по сравнению с обычным латинским обозначением панциря — *lorica* (в ранневизантийской военной лексике в этом же смысле употреблялись слова *κλίβανον*, *κλιβανον* и *κλιβάνιον*) [см.: Nikonogov 1998b: 132].

⁴⁸ 1) Рельефы: Gall 1990b: 20—47, Abb. 3—6a, Taf. 5—16; Herrmann 1977: 6—9, fig. 1, pl. 1—7; Fukai, Horiuchi 1972: pl. XXXIV—LVI; Fukai, Horiuchi, Tanabe, Domyo 1984: 68—79; 2) буллы: Gyselen 2001: 7—8, 35—45; Gignoux 1991: 68—69, pl. XXI.

⁴⁹ *Sagittarii* (Amm. Marc. XXV, 1, 13); *ἰππεῖς οἱ τοξόται* (Iul. Or. II, 63 B); *ἰπποτοξόται* (Men. *Fr.* 23, 1).

⁵⁰ Персы активно использовали в военных мероприятиях конные контингенты вассальных им государств Закавказья — Армении, Иберии и Кавказской Албании [Хуршудян 2003: 99], а также тех воинственных племен, которые со всех сторон окружали Сасанидскую империю, — хионитов, сегестанов, арабов, эфталитов, кадисинов, савиров и др. [Greatex 1998: 55—56]. За исключением армян (Фавстос IV, 20; ср.: IV, 55) [см. также: Garsoïan 1989: 573—574] и савиров (Agath. III, 17, 5; ср.: *ibid.* III, 18, 4), располагавших значительными контингентами конных латников, войска других народов в своем большинстве состояли из легковооруженных всадников. Особенности военного дела восточных соседей Сасанидов — хионитов, кидаритов и эфталитов — в известной степени характеризуют сцены охоты на серебряных чашах второй половины IV—V вв., найденных в Вереино [Тревер 1940: табл. 22—24; Иванов, Луконин, Смесова 1984: 24, ил. 42, 43; Nikonogov 1997: vol. 2, fig. 46] и в долине Свата [Dalton 1964: 53—55, pl. XXIX—XXXI; Маршак, Крикис 1969: 67—71, рис. 9, 10; Bivar 1972: 282, fig. 20—22; Harper, Meyers 1981: 129, fig. 44; Nikonogov 1997: vol. 2, fig. 47, b—d; Grenet 2002: 211—212, pl. Va, VI]: там изображены конники в легком снаряжении, действующие сложносоставными луками, копьями и длинными мечами. Кроме того, из письменных источников известно, что в боевой экипировке эфталитов лук занимал очень важное место (Procop. *Bell.* I, 7, 8)

своей легкой кавалерии, а в качестве таковой использовали конные отряды воинственных племен (хионитов, сегестанов, эфталитов и др.), сражавшиеся на правах союзников или наемников под началом своих вождей [Shahbazi 1987a: 497]. Не говоря уже о том, что появление самых первых из этих контингентов на персидской службе относится ко времени не ранее второй половины 350-х гг. (Amm. Marc. XVIII, 4, 1; 6, 22; XIX, 1, 7—11; 2, 1; 3; 6) [Felix 1992], вообще с трудом можно себе представить, чтобы сасанидское военное руководство, прекрасно осознавая важность легкой кавалерии в его тактических замыслах, полагалось в этом вопросе исключительно на чужеземные войска. В данной связи очень важно следующее свидетельство Менандра Протиктора: в 578 г. Хосров I послал в Месопотамию конную армию (στρατιὰ ἰπλική) численностью примерно в 20 000 бойцов, из которых около 12 000 были персами, экипированными как щитоносцы (θυρεοφόροι)⁵¹ и конные лучники (ἰπλοτοξόται), а остальные 8000 — сарацинами (арабами) и савирами (Men. Fr. 23, 1).

Что касается сасанидской пехоты, то римский император Юлиан утверждал, что она, по сути, бесполезна с точки зрения методов ведения боевых действий, которые используются персами, и по этой причине они сами низко ее оценивают, в том числе и в своих законах (Iul. Or. II, 63 C). Другие позднеантичные авторы особо подчеркивают униженное положение пехоты в составе персидских войск. По словам Аммиана Марцеллина, персидские пехотинцы, «вооруженные наподобие мирмиллонов⁵², выполняют приказания в качестве обозных (calones). Эта [их] толпа всегда следует [за конницей], словно обреченная на вечное рабство и никогда не поддерживаемая ни жалованьем, ни подачками» (Amm. Marc. XXIII, 6, 83). Не менее выразительна соответствующая характеристика у Прокопия Кесарийского: «Ведь вся их [персов] пехота — не что иное, как толпа достойных сожаления мужиков (ὄμιλος ἀγροίκων ἐστὶν οἰκτρῶν), которые вступают в боевой строй только для того, чтобы подкапывать стены, а также грабить убитых и в остальном прислуживать воинам [кавалерии] (τοῖς στρατιώταις ὑπηρετεῖν). Поэтому они не имеют никакого оружия, которым могли бы наносить вред врагу; они выставляют высокие щиты только для того, чтобы меньше поражаться неприятелем» (Procop. Bell. I, 14, 25—26; ср.: I, 14, 52). Менандр Протиктор также нелестно отзывался о персидских пехотинцах, называя их «мужицкой толпой» (ὄμιλος ἀγροίκων) и «безродным множеством» (πλήθος ἀγεννές), совершенно бесполезным на поле боя, и противопоставляя их «самым воинственным и наилучшим образом вооруженным» (μαχηώτατοι καὶ εὐοπλότατοι), т. е. конным бойцам (Men. Fr. 20, 3)⁵³. И хотя не позднее времени правления Хосрова I (531—579) солдаты персидской пехоты были включены в состав воинского сословия (ПТанс.: 38) [Tafazzoli 2000: 12—13], их дискриминация, тем не менее, продолжалась, ибо кавалерист в зависимости от своих профес-

[Altheim 1960: 269; Litvinsky 1996: 139]. Как правило, в доспехах сражалась только племенная знать, оснащенная для ближнего боя копьями — такое снаряжение засвидетельствовано для хионитов (Amm. Marc. XIX, 1, 7; XIX, 2, 6) и эфталитов (Табари: 126 [N] = 116 [B]; см. также: Себеос XXVI — о «кушанах», т. е. эфталитах [Тревер 1954: 142, 143; Тер-Мкртичян 1979: 61]).

⁵¹ Щитоносная персидская конница в сообщении Менандра, несомненно, представляла собой одетых в латы воинов, защитное снаряжение которых дополнял щит. Раннесасанидские катафракты его не имели, но не позднее VI в. щит становится обязательным предметом экипировки тяжеловооруженного всадника, что зафиксировано в письменной традиции (Табари: 249 [N] = 263 [B]; Бал'ами: 600; ср.: Agath. III, 25, 5; 7; 9; 28, 5; Theophyl. Sim. II, 6, 11; ХК § 62) [Bivar 1972: 275—276, 291] и наглядно иллюстрируется знаменитой статуей конного пикейщика из «Большого айвана» в Так-и Бустане [Fukai, Horiuchi 1972: pl. XXXIV—LVI; Fukai, Horiuchi, Tanabe, Domyo 1984: 68—79; Gall 1990b: 38—47, Taf. 15, 16], которую большинство исследователей атрибутирует Хосрову II (591—628) [см.: Harper 1987: 588]. Интересно, что в «Стратегиконе» Псевдо-Маврикия утверждается, что у персидских всадников нет щитов (Maugis. XI, 1, 12). Если эта информация восходит к Урбикию, служившему между 498 и 503 гг. военным магистром Востока [см.: Шувалов 2002: 85], то появление этого вида доспехов у персидских катафрактов должно относиться ко времени уже после 503 г. Впрочем, следует оговориться, что далеко не все данные автора «Стратегикона» о персах выглядят достоверными: так, в одном месте он объективно указывает, что персидские кавалеристы облачены в панцири и вооружены мечами и луками (Maugis. XI, 1, 6), однако в другом добавляет, что у них нет не только щитов, но и пик, и что они вообще не любят сражаться на открытой местности и к тому же не владеют такой важной тактической уловкой, как притворное отступление с последующим возвращением в бой (Ibid. XI, 1, 12—13). Подобные заявления явно противоречат тому, что известно о военном деле персов в эпоху Сасанидов из надежных источников, поэтому сведения «Стратегикона» по этому вопросу следует рассматривать с разумной степенью осторожности [но ср.: Bivar 1972: 287—291].

⁵² Mугмиллоны — римские гладиаторы, лишь частично защищенные доспехами, из которых самым важным был большой прямоугольный щит типа scutum, широко использовавшийся римской легионарной пехотой [см.: Daszewski 2001: 76—79].

⁵³ Добавлю, что Агафий Миринейский упоминает присутствие в персидских войсках рабочих (ἐργολόνοι), слуг (ὑπηρέται) и носильщиков тяжестей (ἀχθοφόροι), которые, не имея никаких навыков в военном деле и не участвуя непосредственно в боях, занимались заготовкой древесины для нужд армии (Agath. III, 24, 6; 28, 1—3; IV, 30, 7).

сиональных качеств мог получать в виде жалованья до 4000 дирхемов, тогда как пехотинцу был гарантирован минимум всего в 100 дирхемов (Табари: 249 [N] = 263 [B]; Бал'ами: 600) [Tafazzoli 2000: 15]. Другими словами, разница в оценке и оплате их ратного труда более чем впечатляющая!

Важно подчеркнуть, что эти сведения переключаются с приведенные выше данными о незначительной тактической роли и низком социальном статусе пехоты в армии парфян. Это обстоятельство, в свою очередь, резко контрастирует с той важной ролью, которую играли пешие контингенты, включая наемных греческих гоплитов, в военном деле Ахеменидов [см.: Shahbazi 1987a: 491—494; Sekunda 1989; 1992; Head 1992; Barkworth 1992]⁵⁴. Другими словами, налицо еще одно свидетельство того, что Сасаниды следовали в военной сфере именно парфянской модели. Поэтому нет никаких оснований утверждать, как это делает А. Ш. Шахбази, что первый сасанидский шаханшах, Ардашир I якобы восстановил военную организацию Ахеменидов [Shahbazi 1987a: 496].

Тем не менее, как и в случае с парфянами, не стоит абсолютно занижать значение пехоты в военном деле Сасанидов. Более того, у персов она играла даже бóльшую роль, поскольку они самое серьезное внимание уделяли развитию навыков осадной войны, успех в которой был немислим без привлечения больших масс пеших войск. В тех случаях, когда исход кампании решался не в полевом сражении, а у стен вражеских крепостей, сасанидская пехота выходила на первый план [см.: Арзуманян 1971]. В круг ее обязанностей входили инженерно-технические работы — сооружение осадных валов (Amm. Marc. XIX, 6, 6), подкоп стен (Procop. *Bell.* I, 14, 25) и т. д., а также прикрытие атаки на римские укрепления при помощи больших заградительных щитов (Amm. Marc. XIX, 7, 4; ср.: Procop. *Bell.* I, 14, 26; ср.: I, 14, 52). Важное место в пехотных порядках сасанидских войск принадлежало иноземцам, в частности, дейлемитам, отлично приспособленным к войне в горах и против вражеских укреплений (см. с. 145). В полевом сражении пешие отряды персов, прикрываясь продолговатыми и выпуклыми щитами, сплетенными из прутьев и покрытыми сырой кожей, наступали в плотно сомкнутом строю (*manipuli... peditum contecti scutis oblongis et curvis, quae texta vimine et coriis crudis gestantes densius se commovebant*) вторым эшелоном, вслед за конницей катафрактов, но впереди боевых слонов (Amm. Marc. XXIV, 6, 8). Вряд ли эти пехотинцы были лучниками, как это порой утверждается [Shahbazi 1987a: 497]: характер их боевого порядка и наличие у них щитов не говорят в пользу такого предположения; их строй, скорее, служил прикрытием пешим стрелкам, которые, возможно, представляли другие народности в сасанидском войске.

Армия Сасанидов была организована в соответствии с т. н. «десятичной системой», т. е. ее структурными единицами были подразделения, последовательно насчитывавшие десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч воинов. На это явно указывает сообщение о персидском хилиархе (*χιλιάρχος*: «командир тысячного отряда»), погибшем в сражении с византийцами у Евфрата в 531 г. (Malal. XVIII, p. 463, 21). Несмотря на то, что десятичная система применялась уже в ахеменидском войске [Shahbazi 1987a: 492], ее заимствование Сасанидами из этого источника маловероятно. Образцом для них должны были послужить войсковые соединения парфян, число бойцов в которых всегда было кратным 10 (см. выше, с. 143), причем каждый парфянский отряд численностью в 1000 воинов имел свой боевой штандарт в виде дракона (Lucian. *Quom. hist.* 29). В свою очередь, появление этой системы у парфян было связано с влиянием из степей Центральной Азии, где ее не позднее III в. до н. э. начали применять кочевники-хунну (сюнну), улучшив тем самым организационно-тактическую структуру и дисциплину своих конных орд [см.: Никоноров 2002a: 239, примеч. 16].

Как уже отмечалось выше, в аршакидское время в военном деле Ирана утвердился принцип строгого тактического взаимодействия между легковооруженной и катафрактной конницей, решавших свои боевые задачи на поле боя в органическом единстве. Эти же строго скоординированные действия панцирной кавалерии и конных стрелков лежали в основе и сасанидской тактики (Amm. Marc. XXV, 1, 12—13) [Gabba 1974: 31]⁵⁵. Достаточно наглядно (хотя и косвенно) эту тактику демонстрирует начальный период римско-персидской войны 297—298 гг., когда цезарь Галерий, переправившись с армией через Евфрат у Каллиника, двинулся по направлению к Каррам и вскоре встретился там с войском шаханшаха Нарсе. В третьем по счету сражении персы сумели нанести римлянам сокрушительное поражение, причем сам Галерий едва спасся бегством (Eutrop. IX, 24;

⁵⁴ Большое место в боевой практике Ахеменидов занимал и такой специфический род войск, как серпоносные колесницы, выполнявшие на поле боя функцию ударного кулака [Нефёдкин 2001: 268—358, 410—448]. У парфян и Сасанидов боевые колесницы как раз отсутствовали, а сообщение Элия Лампридия о сасанидских серпоносных колесницах (*falcati currus*: SHA XVIII, 55, 2; 56, 4) является несомненным вымыслом.

⁵⁵ А. Ш. Шахбази полагает, что исход битв обычно решался атакой сасанидской ударной кавалерией, оснащенной тяжелыми пиками, при поддержке лучников, обрушивавших на врага множество стрел [Shahbazi 1987a: 498], однако это всего лишь упрощенный взгляд на тактику с использованием катафрактов (см. выше, с. 143).

Fest. *Brev.* XXV; Vict. *Caes.* XXXIX, 34; Iulian. *Or.* I, 18A; Oros. VII, 25, 9; Theophan. *Chron.* A. M. 5793; Zonar. XII, 31). Латинские авторы (Евтропий и Фест) объясняют поражение римской армии ее малочисленностью в сравнении с персидской, однако, как кажется, важную роль в этом сыграли тактический и природный факторы: на голой месопотамской равнине сасанидская кавалерия имела неоспоримое преимущество перед римской пехотой (как это было в битве парфян с римлянами в той же местности у Карр в 53 г. до н. э.)⁵⁶. Только после того, как Галерий повел наступление против персов в Армении, чей гористый рельеф был неудобен для неприятельской конницы, римляне смогли одержать победу [Rawlinson 1876: 119—123].

Сасанидская кавалерия славилась своими скоростными качествами (Amm. Marc. XIX, 8, 10—11; Procop. *Bell.* I, VIII, 17). Персы обычно нападали на неприятельские отряды с тыла (Amm. Marc. XIX, 8, 10; XXIV, 4, 7; Zosim. III, 27, 4; 28, 2; 4; Eunap. *Fr.* 27, 8; Liban. *Or.* XVIII, 265), а когда тем приходилось отступать, они сопровождали их походную колонну и постоянно тревожили ее своими атаками, стремясь во время боя окружить вражеский боевой порядок, но соблюдая при этом осторожность на случай контратак противника (Amm. Marc. XXV, 3, 1—4; 5, 1; Zosim. III, 30, 4—5; Liban. *Or.* XVIII, 268; Theophyl. Sim. II, 9, 10—13). Все эти действия во многом схожи с оперативными мероприятиями парфянских войск при аналогичных обстоятельствах (Plut. *Ant.* 39, 3; 41, 6—8; 42, 5; 45, 1—7; 12; 47, 4—5; 49, 1; Dio Cass. XLIX, 28, 3—4; 29, 2—3; Frontin. *Strat.* II, 3, 15; 13, 7; ср.: Flor. II, 20, 3—6; Vell. Pat. II, 82, 2).

Широко использовалась персидскими всадниками эпохи Сасанидов и т. н. «парфянская стрела» — стрельба из лука назад в преследующего их противника, что нашло свое отражение в письменной традиции (Amm. Marc. XXV, 1, 18) и в охотничьих сценах на предметах т. н. «сасанидского серебра» (рис. 3, 8)⁵⁷. Она применялась с очень большой эффективностью ираноязычными кочевниками — скифами и саками, а также тесно связанными с ними своим происхождением парфянами⁵⁸. Персы позаимствовали этот прием скорее от последних, чем от современных им всаднических народов из туркестанских степей, как это предполагал Т. Сулимирский [Sulimirski 1952: 459]. Правда, еще Ксенофонт отмечал высокое искусство стрельбы с поворотом назад, которое демонстрировали конные лучники в войсках ахеменидских сатрапов Малой Азии (Xen. *Anab.* III, 3, 10). Впрочем, остается неясным, были ли они этническими персами, ибо в указанном сообщении они именуется «варварами», тогда как хорошо известно, что в вооруженных силах Ахеменидов служили представители многочисленных подвластных и союзных персам народов, в том числе и те, которые славились своими конными стрелками (прежде всего, среднеазиатские саки). Как бы там ни было, мотив «парфянская стрела» в исполнении всадников иранского облика встречается на объектах глиптики т. н. «греко-персидского» стиля, датируемых в пределах второй половины V — начала IV вв. до н. э. [Boardman 1970: 316—318, 326, pl. 904, 929]. Естественно, если персы и в самом деле мастерски владели этим приемом еще с ахеменидской эпохи, то данное обстоятельство должно было только способствовать их лучшему восприятию парфянской тактики.

Источники вообще говорят об очень высоком уровне мастерства персов эпохи Сасанидов в стрельбе из лука (Amm. Marc. XXV, 1, 13; ср.: *ibid.* XIX, 6, 9; XX, 11, 12; XXIV, 2, 5; 8; 13; 15; 17; 5, 6; XXV, 3, 11; Liban. *Or.* XVIII, 228; 266). Известно, например, что во время римско-персидской войны 231—232 гг. [см.: Rawlinson 1876: 42—49] войско Ардашира I окружило на равнине южную группировку армии императора Александра Севера и расстреляло ее из луков (Hdn. VI, 5, 9—10). В конце IV в. персы сумели нанести значительный урон вторгшемуся в их пределы гуннскому войску, забросав его множеством стрел (Prisc. *Fr.* 11, 2). Все это напоминает чрезвычайно эффективное ведение стрелкового боя парфянами. В частности, их конные стрелки внесли весомую лепту в победу над армией Марка Красса при Каррах [Medinger 1933]. Наш основной источник, Плутарх, специально отмечает, что луки парфян были большими и мощными (τόξα κραταῖα καὶ μεγάλα), и лучники, круто натягивая их, с огромной силой посылали стрелы в цель (Plut. *Crass.* 24, 4), легко пробивая щиты римской легионарной пехоты (*Ibid.* 25, 6; ср.: 18, 3). Парфянское стрелковое оружие имело

⁵⁶ В представлении древних, парфяне всегда предпочитали биться на равнине (Plut. *Ant.* 46, 6—7; Mauric. VIII, 2, 75), что было свойственно и персам эпохи Сасанидов: по свидетельству очевидца, их кавалерия, сражавшаяся на открытом пространстве, была чрезвычайно опасна для всех народов (Amm. Marc. XXIV, 4, 2).

⁵⁷ Ссылки на иллюстративный материал см. в примеч. 63. См. также пассаж из одного из писем западно-римского автора Сидония Аполлинара, которое датируется 461 г., где упоминается парфянин (т. е. перс), стреляющий в бегущих животных с оборотом назад (Sidon. *Epist.* IX, 13, 28—32 [Harper, Meyers 1981: 48—49, n. 45]).

⁵⁸ Скифы и саки: Plut. *Crass.* 24, 5; Clem. Alex. *Strom.* IV, 8, 62; парфяне: Plut. *Crass.* 24, 5; Iust. XLI, 2, 7; Hor. *Carm.* II, 13, 17—18; Verg. *Georg.* III, 31; Serv. *Comm. Georg.* III, 31; Propert. IV, 3, 66—67; Stat. *Theb.* VI, 596; Hdn. III, 4, 8; ср.: Catull. 11, 6 [см. также: Rostovtzeff 1943; Sulimirski 1952: 455—458; Никонов 2002a: 262—263].

сложносоставную конструкцию и восходило к образцам из центральноазиатской степной традиции, к которой принадлежали и луки т. н. «сасанидского» (или «кушано-сасанидского») типа — с двумя упругими плечами и характерными длинными концами-«рогами»⁵⁹ (рис. 3, 1). Самые ранние их изображения можно видеть на костяном изделии из Калалы Гыр 2 в Хорезме (Вайнберг и др. 2004: 185—187, рис. 5/24)⁶⁰, на кушанских монетах второй половины II в. н. э. [Gardner 1886: pl. XXVIII, 7; Nikonov 1997: vol. 2, fig. 43, d] (рис. 3, 2) и на костяных пластинах из Тахт-и Сангина [Литвинский 2002: рис. 1—6; Nikonov 1997: vol. 2, fig. 27] (рис. 3, 3) и Орлата [Plyasov, Rusanov 1998: pl. IV, XIII; Никонов, Худяков 1999: рис. 3—6] (рис. 3, 4—6)⁶¹. Показаны такие луки и на многих памятниках изобразительного искусства позднепарфянского и раннесасанидского времени из Дура-Европос, Хатры и Халабийи-Зенобии⁶² (рис. 3, 9—12), но наиболее хорошо они известны по изображениям на предметах сасанидского серебра, благодаря которым и получили свое условное наименование «сасанидские»⁶³ (рис. 3, 8). Кроме того, луком рассматриваемого типа вооружен сасанидский правитель на одном из рельефов в Бишапуре [Heilmann 1981: 6, fig. 1, pl. 1, 4, b] (рис. 3, 7). Упоминания этого грозного оружия, из которого персы посылали во врага губительные стрелы, встречаются в позднеримской литературе (Amm. Marc. XXII, 8, 37; XXIV, 2, 5; 13; XXV, 1, 13; Sidon. *Carm.* II, 138—140; ср.: Liban. *Or.* XVIII, 248) [Maenchen-Helfen 1973: 231]⁶⁴.

Кроме луков «сасанидского» типа, персидский боевой арсенал унаследовал от парфянского и некоторые другие предметы боевого снаряжения. Из наступательного вооружения, в первую очередь, следует назвать длинную⁶⁵ и тяжелую пику (греч. *κοῦτός*, лат. *contus*) — главное⁶⁶ и чрезвы-

⁵⁹ О «сасанидских» луках подробно см.: Brown 1937: 9, fig. 3, b; Paterson 1969; Хазанов 1971: 34; Maenchen-Helfen 1973: 228—232; Каминский 1982; Coulston 1985: 240—241; Nikonov 1997: vol. 1, 52—53; Никонов 2002а: 279, примеч. 80; Литвинский 2001: 42—45, 50—58; Zimmer 2003.

⁶⁰ В вышедшей совсем недавно полной публикации материалов раскопок на Калалы-гыр 2 мнения ее авторов относительно хронологии этого памятника разделились: в то время как Б. И. Вайнберг и С. Б. Болелов по своим археологическим наблюдениям относят его к IV—II вв. до н. э. [Вайнберг и др. 2004: 9, 17, 93, 147, 241—242], В. А. Лившиц, исходя, прежде всего, из данных эпиграфики, предлагает дату в пределах от второй половины или конца III в. до н. э. до II в. н. э. [Там же: 188].

⁶¹ Датировка пластин из Тахт-и Сангина и Орлата является предметом оживленной дискуссии, наиболее активными участниками которой в последнее время являются Б. А. Литвинский и Дж. Я. Ильясов. Первый, основываясь на наблюдениях К. Танабе [см.: Tanabe 1990: 55—58], относит эти памятники искусства к III в. н. э. [Литвинский 2002: 189—201], тогда как второй отстаивает их дату в пределах I—II вв. н. э. [Plyasov 2003: 274—300].

⁶² Cumont, Rostovtzeff 1939: pl. XIV, XV; Rostovtzeff 1933: pl. XXI, 3; 1935: fig. 63, 64, 71, 79, 85; 1936: fig. 23; Hopkins 1934: pl. XXXV, 4; 1939: LVI, 1, 2; Goldman 1999: 24/A.6, 30, 36, 37/B.3, 85—87, fig. 3, 6, 8, 12, 16; Ricciardi 1998: fig. 4, 5, 7.

⁶³ Тревер, Луконин 1987: ил. 6—9, 13, 17, 19—29, 31, 34, 35; Harper, Meyers 1981: X, XII, XIII, XVI, pl. 8—10, 14, 15, 17—19, 22, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 38; Harper 1978: 33, 39, 40, 48; Халилов, Кошкарлы 1985: рис. 1.

⁶⁴ С теорией А. Бивара об упадке боевой конной стрельбы из лука в иранском мире в период, начиная примерно с 200 и вплоть до 350 гг. н. э., когда персы вошли в контакт с племенами «гуннского» (центральноазиатского) происхождения, воины которых были превосходными всадниками-лучниками [Bivar 1972: 278—284], категорически нельзя согласиться. Уже одна кампания Ардашира I против Александра Севера наглядно показывает, какую важную роль в раннесасанидском военном деле играли лучники. Кроме того, Шапур I предстает в своих надписях-биллингвах из Хаджибада и Танг-и Бурака как умелый стрелок из лука [Mackenzie 1978], а его отец Ардашир I изображен таковым в греческой версии «Истории армян» Агафангела [Widengren 1971: 781], что свидетельствует о том большом значении, какое первые Сасаниды придавали этому виду воинского искусства. И при поздних Сасанидах персидские воины продолжали наводить ужас на врагов своим очень эффективным, массированным и плотным обстрелом из луков (Procop. *Bell.* I, 14, 35; 18, 31; II, 8, 10; 15; 17, 15; 13, 19; VIII, 14, 11; Agath. III, 22, 2; 24, 9—25, 1; 26, 8; Theophyl. *Sim.* I, 12, 4—5; II, 9, 11—12; III, 14, 6—7). Правда, греческие авторы VI в. высоко оценивали только скорострельность персов, тогда как сами их луки считали слабыми по сравнению с византийскими (Procop. *Bell.* I, 18, 32—34; Mauric. XI, 1, 6; ср.: Procop. *Bell.* I, 14, 36; VIII, 8, 34). По-видимому, персидские луки «сасанидского» типа уступали тогда в пробивной силе более тяжелым лукам т. н. «гуннского» типа, которые под воздействием европейских гуннов приняли на вооружение восточные римляне [Никонов 2002а: 279, примеч. 80]. Интересно, что сам же А. Бивар отмечает серьезное отличие между персами, с одной стороны, и гуннами, византийцами и арабами, с другой, в способах натягивания тетивы [Bivar 1972: 284—286; ср.: Иностранцев 1909: 68—71]. Таким образом, персы оказались менее восприимчивыми, чем византийцы, к исходящим из центральноазиатских степей военным влияниям и продолжали полагаться на свое традиционное стрелковое оружие, в глазах их византийских современников теперь уже не столь грозное. К тому же, на качество персидских луков оказывали влияние и климатические условия — зимой они выходили из строя по причине высокой влажности воздуха (Mauric. XI, 1, 12; ХЗР VII, 3).

⁶⁵ Согласно письменной традиции, катафракты были вооружены пикой, более длинной, чем обыкновенное копье (*κοῦτῶν μεῖζονι λόγχης*: Heliod. IX, 15, 1); считается, что она достигала в длину 3—4 м [Симоноенко 2002: 116—119].

⁶⁶ Ремарку Плутарха о том, что «единственная сила катафрактов — это пика» (*Μία ἄρα ἀρκή τῶν καταφράκτων κοῦτός*: Plut. *Lucull.* 28, 3), вовсе не следует понимать буквально. Ее правильнее интерпретировать как указание на первостепенную важность этого наступательного оружия в снаряжении катафрактов, которое никогда не

чайно грозное оружие бойцов катафрактной конницы, которым они на полном скаку могли с одного удара пронзить сразу двух неприятельских воинов (Plut. *Crass.* 27, 2; Heliod. IX, 15, 6; ср.: Dio Cass. XL, 22, 3). Технику владения этим оружием у персидских конных латников приводит Гелиодор⁶⁷, а изображения самих пик хорошо представлены в иконографии позднепарфянского и сасанидского времени с территории Ирана и Месопотамии⁶⁸ (рис. 1, 1—4, 6; 2).

В последние века до нашей эры на Среднем и Ближнем Востоке появились скобы-пронизки, изготавливавшиеся из нефрита, камня, металла и других материалов, которые крепились к плоскости ножен длинного меча для его подвешивания к поясу посредством продетого сквозь них портупейного ремня (рис. 4, 1—4)⁶⁹. Самая ранняя находка такой скобы-пронизки (англ. scabbard-slide) в пределах названного региона (из Южной Бактрии, т. е. совр. Северного Афганистана) имеет дату не позднее I в. до н. э. [Trousdale 1988] (рис. 4, 1). При помощи такого же приспособления подвешен меч одного из персонажей, изображенных на парной золотой застежке того же времени из погребения № 3 некрополя Тилля-тепе в Южной Бактрии [Sarianidi 1985: il. 81—84; Сарианиди 1989: 73—77, рис. 28; Nikonogov 1997: vol. 2, fig. 24, f] (рис. 4, 5)⁷⁰. Обе находки из Афганистана, таким образом, представляют собой недостающее звено в гипотезе, согласно которой скобы-пронизки для подвески меча появились на западе Азии вместе с юэчжами [Trousdale 1975: 70, 71, 118—119; ср.: Maenchen-Helfen 1957]. Эта деталь воинской амуниции была широко распространена на территории созданной юэчжами Кушанской империи: ее вещественные находки, датируемые второй половиной I в. н. э., происходят с городища Сиркап в Таксиле (совр. Пакистан) [Trousdale 1975: 71—73, 230—232, pl. 17, d] (рис. 4, 2, 3), а изображения присутствуют на скульптурных памятниках из Бактрии и Северо-Западной Индии, а также на монетах Великих Кушан [Trousdale 1975: 71—85; Nikonogov 1997: vol. 2, fig. 38, e, f, 39, c, 40, b, 42, b, d, e, g] (рис. 4, 6).

В конце II в. до н. э. — первой половине I в. н. э. в западной части Бактрии было очень значительным политическое влияние парфян [см.: Rtveldze 1995: 187—190; Olbrycht 1998: 99—100, 105, 125—128], они уже в тот период могли перенять у осевших в бактрийском регионе кочевников способ прикрепления ножен меча к портупее при посредстве скобы-пронизки. Косвенно это подтверждается инвестируемым рельефом царя малоазийского государства Коммагены Антиоха I (ок. 69—31 гг. до н. э.) на западной террасе комплекса в Нимруд Даге: там меч самого Антиоха подвешен на левом боку при помощи такой скобы [Humann, Puchstein 1890: 315 ff., Taf. XXXVI, 2; Gall 1990a: 108—109, fig. 6; Jacobs 1997: 173, Taf. 17, 1] (рис. 4, 7). Поскольку в этой сцене, скорее всего, показана

было у них единственным [но ср.: Mielczarek 1993: 61—62, 90; Vorearachchi, Sachs 2003: 333]. Катафракты, несомненно, использовали луки (см., к примеру, рис. 1, 2, 6, где ясно видны колчаны), а также мечи (Heliod. IX, 15, 1: *κοπίς*; см. рис. 1, 4, 6, где вполне различимы выступающие из-за спин всадников рукояти мечей). Попутно следует отметить, что мечи (*ἀκινάκια*) определенно имела и парфянская легкая кавалерия лучников (Dio Cass. XLIX, 29, 3—4). Во время атаки пика уже с первого удара могла застрять в теле неприятеля, сломаться и т. п., после чего бронированный всадник и пускал в ход свой клинок. Не имея же меча и потеряв по той или иной причине пика, он фактически оказывался безоружным и не мог вести ближний бой. Поэтому нельзя согласиться с утверждением [см.: Mielczarek 1993: 61—62], что меч был добавлен в комплекс вооружения катафрактов только в поздний период эволюции этого рода кавалерии.

⁶⁷ Он указывает, что пика крепилась к шее и крупу коня, и всаднику во время движения на неприятеля только оставалось направлять ее острие для нанесения страшного таранного удара (Heliod. IX, 15, 6). Впрочем, такая техника управления пикой была далеко не единственной и, более того, иконографически она не засвидетельствована. Поскольку стремян в античную эпоху не было вовсе, катафракты атаковали с опорой на седло жесткой конструкции, снабженное упорами в виде выступов-«рогов» по его углам или передней и задней лук, которые надежно фиксировали посадку седоков и препятствовали их падению в момент нанесения неприятелю удара пикой [см.: Nikonogov 2003; 2002a: 295—296, примеч. 102; 2002б]. Недавнюю попытку С. М. Перевалова обосновать тезис о существовании в древности особой, т. н. «сарматской» посадки, якобы позволявшей (по сути, вопреки всем законам физики) всаднику в доспехах действовать пикой без опоры на стремяна или седло (последнему, как это ни странно, он вообще не уделяет никакого внимания) [Перевалов 1999], следует признать неудачной [см.: Симоненко 2002: 110—121].

⁶⁸ Gall 1990b: Abb. 1, 3—5, 10, Taf. 1—18; Little 1933: pl. XVII, XVIII; Goldman, Little 1980: fig. 2, pl. I—VII; Rostovtzeff 1935: fig. 82, 83; Kraeling 1956: pl. LV; Ricciardi 1996: fig. 7.

⁶⁹ Об этом элементе крепежа ножен к портупейному ремню см.: Maenchen-Helfen 1957; Хазанов 1971: 25—27; Trousdale 1975; 1988; Литвинский 2002: 191—193; James 2004: 151—153.

⁷⁰ Это захоронение по найденной в нем золотой монете римского императора Тиберия, чеканенной в 16—21 гг. в Галлии [Сарианиди, Кошеленко 1982: 313—315, рис. 1, 4], следует датировать второй четвертью I в. н. э., тогда как рассматриваемое ювелирное изделие было изготовлено явно раньше. Его декор, «скифо-эллинистический» по своему содержанию, т. е. сочетающий в себе черты греко-бактрийского искусства и элементы скифо-алтайского (пазырыкского) стиля, сложился в Бактрии под влиянием центральноазиатских кочевников-юэчжей, которые в последней трети II в. до н. э. приняли участие в разгроме государства бактрийских греков [Сарианиди 1988: 104; 1989: 77], что, в свою очередь, намекает на дату застежки едва ли позднее конца I в. до н. э.

передача Антиохом символа власти своему сыну, данный рельеф (оставшийся к тому же еще и незавершенным) должен датироваться последними годами его царствования [Young 1964: 34]. Для нашей темы важно отметить следующее обстоятельство: Антиох Коммагенский был очень тесно связан с аршакидским Ираном в культурном и политическом отношениях [Widengren 1987; Weiskoff 1993], и, вероятно, именно от парфян он и позаимствовал новый элемент портупейной гарнитуры.

Скоба-пронизка хорошо различима на ножнах меча главной фигуры правой части рельефа в Хунг-и Аждар (Хунг-и Наврузи) в Элимаиде, который был высечен в конце II — начале III в. н. э. [Kawami 1987: 119—125, 209—213, fig. 25, pl. 57—60; Mathiesen 1992: 119—121, fig. 1; Invernizzi 1998] (рис. 4, 8). При помощи этой детали подвешен меч запечатленного в терракоте знатного парфянина из Ашшура, чье изображение датируется тем же временем [Mathiesen 1992: 194, fig. 47]. Несомненно, через посредство парфян скобы-пронизки в первые века нашей эры попали в римскую Сирию, откуда происходят их вещественные находки и изображения [Trousdale 1975: 85—87, 91, 236—237, pl. 18, c, d, 19, a—b; Seyrig 1937: fig. 6, pl. IV, V; 1971: 118—120, fig. 4], не говоря уже об их появлении в зависимых от Аршакидов областях — Осроене [Jacobs, Schütte-Maischatz 1999: Taf. 40—42, 2], Хатре [Homès-Fredericq 1963: pl. IV, 1; Winkelmann 2003: Abb. 11] и Парсе. На родине ниспровергателей парфянской гегемонии самые ранние изображения скоб-пронизок зафиксированы на граффити из «гарема» в Персеполе (начало III в. н. э.), где показаны первые представители рода Сасанидов [Overlaet 1989: 742, fig. 2] (рис. 4, 9). Затем эти детали ножен очень часто встречаются на иранских памятниках материальной культуры уже собственно сасанидской эпохи⁷¹ (рис. 4, 10—13). Судя по этим материалам, меч, подвешенный к поясу рассматриваемым способом, являлся очень важным представительским атрибутом персидской знати. Значение меча не только в военной, но и в повседневной культуре персов подчеркивается Аммианом Марцеллином: по его словам, всех без исключения персов даже на пирхах и в праздничные дни можно видеть опоясанными мечами (*omnes tamen promisce vel inter epulas festosque dies gladiis cincti cernuntur*: *Amm. Marc.* XXIII, 6, 75).

Другой вид клинкового оружия — кинжалы — парфяне обычно носили в ножнах, прикрепленных всей своей плоскостью к бедру [Seyrig 1939: 178, fig. 1; Goldman 1993: fig. 39, a; Curtis 1993: 63, 65; Vogelsang-Eastwood 2000: 43, fig. 13] (рис. 4, 15), что явно отражает традицию, идущую из мира кочевников Центральной Азии [Goldman 1993: 212—213]. От парфян этот способ ношения кинжалов был заимствован в Коммагене, Пальмире, Осроене и Хатре [Goldman 1993: 212, fig. 40, f—h; Seyrig 1937: fig. 10, pl. I; Jacobs, Schütte-Maischatz 1999: Taf. 40—41]. Естественным образом он был унаследован и их преемниками, Сасанидами [Goldman 1993: 211—212, fig. 40, a—c; Masia 2000: 219—220, fig. 1, o, y, 5, pl. 2] (рис. 4, 16, 17).

Сасанидские воины восприняли от парфян и некоторые виды защитных металлических доспехов. В частности, это были шлемы с приплюснутой с боков тульей. Принадлежавшее персидскому солдату железное боевое наголовье такой формы было обнаружено в крепости Дура-Европос в Сирии, в археологическом контексте 250-х гг. н. э. Оно состояло из двух скорлупообразных половин, соединенных друг с другом при помощи продольной полосы, своего рода «конька» (англ. *ridge*); шлемы этого типа имели восточное происхождение и послужили образцом для позднеримских «коньковых» шлемов [James 1986: 120—128; 2004: 101, 104—105] (рис. 4, 18—21). Представлен такой головной доспех и на матрице (*кальте*) для тиражирования терракотовых статуэток, изо-

⁷¹ 1) Рельефы: Herrmann 1981: fig. 1—3, pl. 1, 5, 8, 12, 17, 18, 25, 27; Herrmann, Mackenzie 1983: fig. 2—4, pl. 9, 10, 13—16, 18, 19, 25, 27, 30, 31, 33, 36—40a; 1989: text fig. 2, 4, 6, fig. 1, 2, pl. 1, 7—9; Trousdale 1975: fig. 67—73, 78; Harper, Meyers 1981: fig. 9, 18, 25, 27, 43; Masia 2000: fig. 3; 7—9, pl. 2, 4—13, 15; 2) изделия художественного металла: Тирация 1960: 479—482, рис. 4, 5; Trousdale 1975: fig. 76, 77; Тревер, Луконин 1987: ил. 8, 9, 18—21; Harper, Meyers 1981: XIII, pl. 14, 18, 19, 33, 34, 36, 37; Harper 1978: 39, 80, 88, 89; Overlaet 1989: fig. 4, d—f; Masia 2000: fig. 1, i—k, v; 3) монеты: Trousdale 1975: 90, fig. 74; Göbl 1983: pl. 25, 9, 12; 4) резные камни: Trousdale 1975: 90, fig. 75; Gall 1990b: 56—59, Taf. 19; Harper 1978: 147. Этот же способ ношения меча показан на произведениях коропластики, демонстрирующих бесспорную зависимость от раннесасанидской иконографии, которые были найдены в южных областях Средней Азии, входивших в орбиту сильного политического и культурного влияния государства Сасанидов, — в Бактрии [Пилипко 1977; 1985: 95—97, 213—214 (кат. № 113), рис. 23, табл. XXXII, 113] (рис. 4, 14), Маргиане [Пугаченкова 1962: 156, рис. 24, 25; Пилипко 1977: 18, рис. на с. 17; Gajbov, Košelenko, Novikov 1991: 94, pl. XXXIX, fig. 25] и Согде [Кабанов 1981: 100—101, рис. 51; Сулейманов, Исамиддинов 1990; Isamididov 1991: 174—175, pl. LXXI, LXXII, fig. 5; Пугаченкова, Ремпель 1965: ил. 61, 62; Trousdale 1975: 82—83, fig. 59, 60]. Кроме того, обломок нефритовой скобы для подвески меча был найден в «кушано-сасанидском» слое (IV—V вв.) на поселении Ак-тепе II в Кобадiane (Северо-Восточная Бактрия) [Седов 1987: 59—60, табл. I, 5]. Самые же ранние для территории Средней Азии скобы-пронизки, по-видимому, представлены находками из кургана № 2 Орлатского могильника [Шуафов, Rusanov 1998: 117, 121—123, pl. III, IV, I; XIV, 3; Никоноров, Худяков 1999: 142, 145, рис. 1, 19, 3, 2, 5, 2] (рис. 3, 5; 4, 4), которые датируются первыми веками нашей эры (см. примеч. 61) и напрямую связаны не с сасанидской, а со степной традицией.

бражающих вельможу раннесасанидского облика, которая была найдена где-то на побережье Средней Амударьи [Пилипко 1977; 1985: 95—97, 213—214 (кат. № 113), рис. 23, табл. XXXII, 113] (рис. 4, 14). Более поздние сасанидские шлемы рассматриваемой формы происходят из Ниневии-Куюнджика в Месопотамии, но конструкция их куполов несколько иная [Werner 1950: 184, 188, Taf. 4—7; Grancsay 1963: 256, 258, fig. 5, 7, 8; Overlaet 1981: 192, 193, pl. V; James 1986: 117—118, fig. 10]. Самое же раннее изображение парфянских шлемов «с приплюснутой» тульей встречается не позднее II в. н. э., а именно на терракотовой статуэтке из Селевкии на Тигре [Dollfus 1968: 63—64, 68, fig. 1—3] (рис. 4, 24). Все перечисленные боевые наголовья явно подражают форме головных уборов, известных по портретам аршакидских царей Вологеза III (105—147) и Вологеза IV (147—191) [Ghirshman 1954: pl. 33, a; Sellwood 1971: no. 79/51, 84/105] (рис. 4, 22, 23). Правда, существует мнение, что как эти, так и похожие шапки других царственных особ на парфянских монетах и рельефах, именуемые в литературе тиарами⁷², не были шлемами [Sellwood 1983: 297; Olbrycht 1997: 41—42]; но, как бы там ни было, их форма определенно послужила образцом для головных доспехов, которые представлены на позднепарфянской терракоте из Селевкии на Тигре и в вещественных находках сасанидского происхождения из Дура-Европос и Ниневии⁷³.

Еще в аршакидскую эпоху в Иране появились некоторые важные элементы боевого конского снаряжения. Парфянские катафракты бились на конях, защищенных металлическими попонами (Plut. *Crass.* 24, 1; Arr. *Parth.* fr. 20 = Suid. s. v. θόραξ; Iust. XLI, 2, 10), аналоги которым известны в иконографических и археологических материалах [Brown 1936: 440—449; James 2004: 113—114, 129—134; Никоноров 1985: 32—33] (рис. 1, 2, 4). Такой же доспех использовался и в кавалерии Сасанидов (Heliod. IX, 15, 4). В ней применялись и кожаные попоны (Amm. Marc. XXIV, 6, 8; рис. 2, 1—4), в том числе армированные накладными металлическими эмблемами, как на рельефе в Фирузабаде (рис. 1, 6) [Robinson 1967: 22], где, впрочем, ими укрыты кони не только персов, но и Артабана IV (крайний справа), что, в свою очередь, говорит в пользу их парфянского происхождения.

Другим нововведением было жесткое седло с четырьмя упорами в виде «рогов», которые располагались по его углам и обеспечивали всаднику прочную посадку, что было особенно важно при нанесении им удара пикой (см. примеч. 67). Седла этого вида были наглядно реконструированы П. Коннолли на основе римского вещественного и иконографического материала [Connolly 1987; см. также: Herrmann 1989: 763—764, 768—769, fig. 6, 7, a, d, pl. XV, a; 1980: 13, 43, fig. 1, pl. 8b—10] (рис. 5, 2, 3). Выявлены они и на изображениях позднепарфянского и раннесасанидского времени из Ирана и Сирии [Herrmann 1989: 763—769, fig. 7, b, c, e, pl. III, a, V—VIII, X, b, XII—XIV, XV, b; см. также: Bivar 1959: 12, fig. 3; Ghirshman 1973: 103, 106, fig. 5, 6; pl. XLVIII, 3, LI; Harper, Meyers 1981: 50, 51, pl. 8, 9] (рис. 5, 4—6; 4, 10). К этому следует добавить, что «роговое» седло угадывается на граффити I в. до н. э. из «Здания с квадратным залом» на городище Старая Ниса в Северной Парфии [Пилипко 1996: 69, табл. 45/1, 46/A; Никоноров 2002б] (рис. 5, 1). Следует согласиться с выводом, что импульсом к развитию седла рассматриваемой конструкции «стало, вероятнее всего, появление тяжелой кавалерии... к началу парфянского периода» [Herrmann 1989: 764].

При парфянах начали использоваться и строгие удила мундштучного типа, улучшившие контроль всадников над своими скакунами. Они состояли из язычка, подбородочного стержня и двух боковых изогнутых рычагов, боковые рычаги на обоих концах были снабжены кольцами. Верхние кольца крепились к нащечным ремням, нижние — к поводу. Мундштучные удила, в сравнении с простыми, давали возможность более строгого управления конем: при натягивании повода боковые рычаги передвигались в направлении наездника и вниз, оказывая посредством язычка давление на всю нижнюю челюсть и язык лошади, что значительно усиливало болевые ощущения и заставляло животное быстрее реагировать на повод и подчиняться седоку. Согласно вещественным находкам (из погребения В-IV могильника Норузмахале в Дейламане и из Суз⁷⁴) и изобразитель-

⁷² О них см.: Mathiesen 1992: 81; Peck 1993: 410—412; Olbrycht 1997; Curtis 1998. Парфянские и сасанидские тиары (τίαραί) упоминаются в греческих источниках (соотв.: Анаст. 27 [26^b] и Theophyl. Sim. III, 6, 4). Изображения тиар приплюснутой с боков формы известны в скульптуре позднепарфянского времени из Хатры [Homès-Fredericq 1963: pl. VI, 1; Mathiesen 1992: 210, fig. 80; Curtis 1998: pl. IV, a; 2001: pl. X, c, XI, b].

⁷³ В качестве конструктивного прототипа сасанидского шлема из Дура-Европос (и изображенного на терракоте из Селевкии на Тигре?) можно рассматривать боевые наголовья всадников-катафрактов на рельефном панно из дворца в Халчаане (Северо-Западная Бактрия) [Пугаченкова 1971: 67, № 34, 55, ил. 77, 80; 1966: 40, рис. 11; Никоноров 1997: vol. 1, 53—54, vol. 2, fig. 28, d, 30, a], которое датируется концом первой половины I в. н. э. [Грине 2000]. Их шлемы представляют собой двусоставный купол с продольной полосой-«коньком», что и позволяет видеть изначальное среднеазиатское (кушано-бактрийское?) влияние на иранские головные доспехи типа найденного в Дура-Европос и — через них — на римские шлемы «конькового» типа [см.: Никоноров 2002а: 291, примеч. 96].

⁷⁴ Некрополь Норузмахале относится к позднепарфянскому времени [Egami, Fukai, Masuda 1966: 14—18; Hori

ным данным, описанные строгие удила появились в Иране в позднепарфянский период и продолжали применяться там (возможно, с перерывом примерно в 100 лет — от середины III до середины IV в. н. э.) до позднеасанидского времени включительно [Herrmann 1989: 758—763, fig. 1—3, 4, *d, e*, pl. I—III, VI, VII, XVI, XVII, XX; Keal 1989: pl. 18; Egami, Fukai, Masuda 1966: 11, pl. VII, 1, XVII, 11, XL, 18, Ghirshman 1977: fig. 1, *G. S. 2426*, pl. I, 2, 3] (рис. 5, 7, 8, 10—12; 1, 4, 6). Обычно они использовались в сочетании с металлическими нахрапниками/намордниками (англ. noseband/muzzle), что мы и наблюдаем в парфяно-асанидской иконографии; археологически же они засвидетельствованы для IV в. н. э. (бронзовый и железный экземпляры, найденные в Сузах) [Ghirshman 1977: fig. 1, *G. S. 2425*, *G. S. 2428*, pl. I, 1; Herrmann 1989: 760, fig. 4, *c*] (рис. 5, 9—12).

Внедрение в конское снаряжение жесткого «рогового» седла и комплекта из мундштучных удил и нахрапника/намордника позволило парфянским и сасанидским кавалеристам очень эффективно вести бой в катафрактном и легком стрелковом вооружении. Что же касается стремян, то они появились в Иране уже в постасанидское время ⁷⁵.

Сасанидское воинство восприняло от парфян и их методы психологического воздействия на противника, переняв такой впечатляющий инструмент военной музыки, как литавры, вдохновлявший на поле боя своих воинов и устрашавший недругов. Персидские литавры (греч. τύμπανα) упоминаются в рассказе Агафия Миринейского об осаде сасанидскими войсками крепости Фасис в 555 г. (Agath. III, 25, 7), а их изображения прослеживаются на одном из рельефов охотничьего цикла в Так-и Бустане (начало VII в.), показывающем, скорее всего, военный оркестр Хосрова II [Farmer 1938: 404—405; fig. 8, 10; Fukai, Horiuchi 1969: pl. LXXXVII, XCI; Fukai, Horiuchi, Tanabe, Domyo 1984: 189]. Хотя эти данные относятся к позднеасанидскому периоду, появление литавр у персов, несомненно, произошло много раньше, поскольку до них на поле боя этот ударный инструмент использовали парфяне. Античные авторы именуют парфянские литавры τυμπανα/τύμπανα (Just. XLI, 2, 8; Plut. *Crass.* 26, 4; Hdn. IV, 11, 3) ⁷⁶ и ρόπτρα (Plut. *Crass.* 23, 9) ⁷⁷, сами же парфяне, согласно Гезихию, называли их «табала» (ταβάλα, ταβήλα; Hesych. s. v.) [Huysse 2002: 206; Schmitt 2004]. По всей видимости, литавры ⁷⁸, неизвестные в Иране в доаршакидскую эпоху, принесли туда со своей степной родины еще апарны-дахи [подробно см.: Никоноров 2000; Nikonogov 2000].

Приведенные выше примеры со всей определенностью говорят о том, что парфянское влияние на военное дело Ирана при Сасанидах было разносторонним и весьма ощутимым, проявившись в заимствовании персами организации, тактических принципов и боевого снаряжения аршакидского воинства. Конечно же, речь не идет о том, что военно-техническое оснащение и военное искусство парфян при Аршакидах и персов при Сасанидах были совершенно идентичными. Между ними существовали определенные различия, диктуемые, прежде всего, дальнейшим развитием военной технологии как в самом Иране, так и за его пределами. Под несомненным воздействием римлян персы

1981: 45—48]. Элементы конской сбруи из Суз датируются серединой IV в. н. э. [Ghirshman 1977: 1].

⁷⁵ Самое раннее упоминание в письменных источниках о применении стремян в Иране относится только к концу VII в. н. э. [White 1966: 18—19], нет и их изображений в сасанидской (не говоря уже о парфянской) иконографии [Никоноров 2003: 265]. Поэтому мнение о том, что сасанидское воинство использовало стремяна [Overlaet 1993: 93; Nicolle 1996: 30], должно быть отвергнуто. Правда, в новоперсидской версии исторического труда Табари, написанной Бал'ами, среди предметов экипировки позднеасанидского воина фигурируют также и стремяна (Бал'ами: 600), однако они отсутствуют в аналогичном списке арабского оригинала (Табари: 248—249 [N] = 262—263 [B]) [Bivar 1972: 291], т. е. этот элемент всаднического снаряжения был добавлен уже самим Бал'ами, причем для его обозначения он использовал заимствованный из арабского термин *rakīb* [Bivar 1972: 291].

⁷⁶ Литавры-тимпаны использовали на войне также индийцы (Арт. *Ind.* 5, 9; 7, 8; 9; Curt. VIII, 14, 10; Strabo XV, 1, 8; 58; 62; ср.: XV, 1, 52: τυμπανιστάι; Suid. s. v. τύμπανα; σάλπιγξ), эфиопы (Heliod. IX, 17, 1), авары (Men. *Fr.* 12, 3) и византийцы (Leo Diac. III, 1; VI, 13; VIII, 4; IX, 9).

⁷⁷ В контексте войны римского императора Траяна против Парфии (114—117) писатель VI в. Иоанн Малала приводит еще одно греческое обозначение ударных музыкальных инструментов типа литавр или барабана — ταυρέα (букв. «обтянутый бычьей кожей»: Malal. XI, p. 272, 17; 22). В его сообщении в них били жители Антиохии в Сирии, желая таким образом изгнать из своего города злых духов погибших от их рук солдат «персидского» (т. е. парфянского) гарнизона. Поскольку сведения Малалы о захвате парфянами Антиохии в начальный период их войны с Траяном, как и его рассказ обо всей этой кампании в целом, явно недостоверны [Lepper 1993: 19—22, 54—83; Jeffreys 1990: 56], трудно поверить и в реальность указанного эпизода с барабанным боем во время похода Траяна. Тем не менее, антиохийцам наверняка были знакомы как сами барабаны, так и описанный ритуал с их использованием, который, видимо, был заимствован из персидского обряда очищения [см.: Jeffreys 1990: 60, n. 7]. По всей вероятности, упомянутые ударные инструменты также попали в Антиохию из Ирана.

⁷⁸ Для полноты картины необходимо добавить, что литавры и барабаны (среднеперс. *tumbag*, новоперс. *kūs*, *tabīra*) фигурируют в военном контексте в эпических памятниках средневековой персидской литературы, таких как «Предание о сыне Зарера», «Шахнаме» Фирдоуси и «Вис и Рамин» Гургани, сюжеты и некоторые из реалий которых восходят, в том числе, и к парфянскому времени [см.: Никоноров 2000: 173; Nikonogov 2000: 75].

обладали явно бóльшими, чем парфяне⁷⁹, навыками в искусстве осады городов (полиоркетике), включая использование таких орудий и устройств, как тараны, баллисты, передвижные башни и др., и в строительстве фортификационных сооружений [Christensen 1944: 212—213; Garsoïan 1983: 580—581; Shahbazi 1990: 592]. Сасаниды в большом объеме использовали пехоту, а также боевых слонов [Rance 2003; Coulston 1986: 61], что также отличало их от парфян. Заимствовав у своих предшественников литавры, персы на полях сражений, кроме того, дули в трубы (Amm. Marc. XIX, 7, 3; ср.: XX, 7, 6; 11, 21; XXIV, 4, 15; Heliod. IX, 17, 1; Agath. III, 25, 7; Theophyl. Sim. I, 8, 8; III, 14, 3; V, 10, 7), которыми парфяне как раз не пользовались (Iust. XLI, 2, 8; Hesych. s. v. ταβάλα· ταβήλα)⁸⁰.

Согласно очень спорной точке зрения Дж. Коулстона, контакты со степью способствовали появлению на вооружении сасанидских воинов скоб-«пронизок» для подвешивания меча и отдельных элементов стрелкового и защитного снаряжения, а хиониты и эфталиты, к тому же, серьезно повлияли на персидское искусство стрельбы из лука [Coulston 1996: 61, 70]. Однако гораздо больше оснований утверждать, что кочевой мир Центральной Азии оказал воздействие на военное дело государства Сасанидов, особенно на ранней стадии его существования, в первую очередь, благодаря парфянам. Как мы видели выше, скобы-«пронизки» стали известны в Иране в парфянский период, тогда же туда проникли и большие сложносоставные луки, а раннесасанидские шлемы типа найденного в Дура-Европос, имеющие, скорее всего, среднеазиатское происхождение (см. примеч. 73), также оказались на Иранском плато еще при парфянах. Если же говорить о непосредственном влиянии степняков на персов, то следует иметь в виду, что в прямое соприкосновение с самыми ранними из них (хионитами) на своей восточной границе персы пришли только при Шапуре II, в 356—358 гг. (Amm. Marc. XVI, 9, 3—4; XVII, 5, 1) [Felix 1992]. С этого момента и вплоть до конца существования династии Сасанидов вооружение и конское снаряжение степного происхождения действительно некоторым образом влияли на Иран [см.: Bálint 1978; ср.: Bivar 1972: 281—284; Overlaet 1993: 92], однако это влияние не стоит переоценивать. Военное искусство пришлых с северо-востока народов строилось на тактике преимущественно дистанционного конного боя в легком снаряжении, основанной на использовании мощных и дальнобойных сложносоставных луков, тогда как доспехи были лишь у сравнительно небольшого числа воинов знатного происхождения⁸¹. Эта новая тактика, принципиально отличная от строго скоординированного взаимодействия лучников и катафрактов, не оказала сколько-нибудь серьезного воздействия на военное искусство Ирана, где и в позднесасанидское время броненосная кавалерия, набиравшаяся из представителей служилой знати («всадников»), продолжала сохранять свое значение в составе персидских войск: это надежно засвидетельствовано в различных письменных традициях — византийской (Mauric. XI, 1, 6; Procop. Bell. I, 5, 5; 13, 36; Theophyl. Sim. III, 14, 2; ср.: Agath. III, 25, 5; 7; 28, 5)⁸², сирийской (ХИС § 62; ХЗР IX, 5) и

⁷⁹ По словам Юстина, парфяне «не умеют брать городов путем осады» (Iust. XLI, 2, 7; см. также: Dio Cass. XL, 29, 1—2; Tac. Ann. XI, 9, 4; XV, 4, 3). Правда, трудно объяснить, каким же образом, не умея штурмовать укрепленные пункты, парфяне сумели создать свою великую империю. Очевидно, здесь мы имеем дело со сравнением римской и варварской практик осадного искусства с точки зрения самих римлян, которые (и не без основания) рассматривали свою собственную как технологически гораздо более развитую. Парфяне, несомненно, обладали определенными навыками в этой отрасли военного дела: так, Сурена — победитель Красса — во время штурма Селевкии первым взшел на ее стену (Plut. Crass. 21, 8). Другое дело, что осадная техника аршакидской армии (вернее, союзных отрядов в ее составе, сами же парфяне из-за необходимости поддержания мобильности своих подразделений, скорее всего, таковой не располагали) не только не соответствовала лучшим образцам своей эпохи, но и не всегда использовалась с достаточной эффективностью (Tac. Ann. XV, 4, 3).

⁸⁰ Отмечу, однако, что исследователи часто подчеркивают серьезные различия в позднепарфянском и раннесасанидском комплексах оборонительного вооружения на примере рельефа в Фирузабаде (рис. 1, б), где сасанидские и парфянские витязи одеты в панцири-кирасы, но персы носят их поверх кольчуг с длинными рукавами, тогда как у их противников таковых нет, да и шлемы первых явно отличаются от головных доспехов вторых [Пугаченкова 1966: 36; Bivar 1972: 275, 278; Shahbazi 1987a: 496; Mielczarek 1993: 64; Overlaet 1993: 91]. Как кажется, этот иконографический факт все же вряд ли означает, что в кольчуги на самом деле облачались одни лишь персы, а парфяне их вовсе не имели, и что каждый из этих народов носил только специфические для него типы шлемов. Надо полагать, что автор фирузабадского рельефа, по-видимому, хотел особым образом подчеркнуть разницу между победителями и побежденными, в том числе и за счет различия в их боевой экипировке, и поэтому изобразил персов в более прогрессивных и надежных, по его мнению, доспехах, которые на практике использовали как те, так и другие.

⁸¹ Это тактическое новшество в последние века до нашей эры было внедрено в практику военного дела Центральной Азии народом хунну и не позднее IV—V вв. н. э. распространено родственными им гуннами в западной части степного пояса Евразии [см.: Никоноров, Худяков 2004; Никоноров 2002a]. Носителями этой тактики наверняка были эфталиты, в боевом снаряжении которых луку принадлежало важное место (см. примеч. 50).

⁸² См. также: Agath. III, 28, 5, где среди снаряжения, снятого византийцами с убитых знатных персидских воинов, фигурируют доспехи (щиты и панцири); ср.: Theophyl. Sim. II, 6, 11 — там речь идет о раздаче наград византийским полководцем своим воинам, и в числе этих наград (взятых, по всей вероятности, из захваченной у персов

арабо-персидской (Табари: 248—249 [N] = 262—263 [B]; Динавари: 121, 123, 124, 127, 129; АЗ § 28; ВЧ § 32; Бал'ами: 600; ШН: VI/стк. 1915—1918, 1937—1945) [Jackson 1894: 107—108; Иностранцев 1909: 78; Bivar 1972: 275—276, 291; Shahbazi 1987a: 497; Tafazzoli 1994: 194—195; Bosworth 1987: 706]. Кроме того, очень выразительные изображения полностью закованных в доспехи персидских всадников-пикейщиков передают буллы VI в. [Gyselen 2001: 7—8, 35—45; Gignoux 1991: 68—69, pl. XXI] и знаменитая конная статуя шаханшаха конца VI в. (?) из «Большого айвана» в Так-и Бустане (см. примеч. 51), а из Катифского оазиса на северо-востоке Саудовской Аравии происходит часть свинцовой статуэтки коня, укрытого панцирной попоной позднеасанидского (?) типа [Potts 1993]. Фрагменты металлической панцирной брони были найдены в сасанидской крепости Каср-и Абу Наср близ Шираза, в слое, датированном после 500 г. [Whitcomb 1985: 101, 169, fig. 63/ee, pl. 47 (о дате: 103—104); Grancsay 1963: 260, fig. 13], а также среди материалов позднеасанидского времени, обнаруженных на поселении Тоголок-депе в Южном Туркменистане [Вдовин, Никоноров 1991] и в погребении I в Джабал ал-Эмалахе на Оманском полуострове [Potts 1997: 133, 135, fig. 8]. Как уже указывалось выше, стрельба из лука на полях сражений сохраняла свое важнейшее значение у персов и при поздних Сасанидах, при этом внешний фактор в лице центральноазиатских степных народов не оказал на нее сколько-нибудь определяющего воздействия (см. примеч. 64).

Само собой разумеется, что настоящая статья никоим образом не претендует на детальное рассмотрение военного дела сасанидского Ирана, которое еще ждет своего всестороннего исследования. Тем не менее, проведенный выше сопоставительный анализ письменных, изобразительных и вещественных данных позволяет ее автору утверждать, что парфянское наследие во многом определяло военное развитие государства Сасанидов, причем не только в ранний, но и в поздний период его существования.

Библиография

А. Издания греческих и латинских источников

- Agath. — *Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque* / Rec. R. Keydell. Berolini, 1967.
 Amm. Marc. — *Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt* / Ed. W. Seyfarth. Vol. I—II. Leipzig, 1978.
 Anacr. — *Anacreontis Teii quae vocantur Συμλοιακὰ ἤμιμβια* ex Anthologiae Palatinae volumine altero nunc Parisiensi post H. Stephanum et J. Spalletti tertium edita a V. Rose. Lipsiae, 1876.
 Arr. *Anab.* — *Arriani Alexandri Anabasis // Flavii Arriani Quae exstant Omnia* / Ed. A. G. Roos. Vol. I. Lipsiae, 1967.
 Arr. *Ind.* — *Arriani Indica // Flavii Arriani Quae exstant Omnia* / Ed. A. G. Roos. Vol. II: Scripta minora et fragmenta. Lipsiae, 1928.
 Arr. *Parth.* — *Arriani Parthica // Flavii Arriani Quae exstant Omnia* / Ed. A. G. Roos. Vol. II: Scripta minora et fragmenta. Lipsiae, 1928.
 Athen. — *Athenaei Deipnosophistae* / E rec. A. Meineke. Vol. II: Libri VII—XII. Lipsiae, 1858.
 Catull. — *Catulli Veronensis Liber* / Rec. A. Baehrens. Lipsiae, 1876.
 Clem. Alex. *Strom.* — *Clementis Alexandrini Stromatum I—IV // Clementis Alexandrini Opera* / Ex rec. G. Dindorfii. Vol. II. Oxonii, 1869.
 Curt. — *Quintus Curtius. History of Alexander. Vol. I—II* / With an English Translation by J. C. Rolfe. London; Cambridge (Mass.), 1971—1985.
 Dio Cass. — *Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum Quae supersunt* / Ed. U. Ph. Boissevain. Vol. I—III. Berolini, 1895—1901.
 Diod. — *Diodore de Sicile. Bibliothèque Historique. Livre XI* / Texte étab. et trad. par J. Haillet. Paris, 2001; *Livre XVII* / Texte étab. et trad. par P. Goukowsky. Paris, 1976.
 Eunap. — *Eunapius // Blockley R. C. The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus. Vol. II. Liverpool, 1983.*
 Eutrop. — *Eutropii Breviarium Ab Urbe condita* / Rec. C. Santini. Leipzig, 1979.
 Fest. *Brev.* — *The Breviarium of Festus* / Ed. by J. W. Eadie. London, 1967.
 Flor. — *L. Annaei Flori Epitomae libri II* / Ed. O. Rossbach. Lipsiae, 1896.
 Front. *Princ. hist.* — *Frontonis Principia historiae // M. Cornelii Frontonis Epistulae* / Ed. M. P. J. van den Hout. Leipzig, 1988.
 Frontin. *Strat.* — *Iuli Frontini Strategematon libri quattuor* / Ed. G. Gundermann. Lipsiae, 1888.
 Hdn. — *Herodiani Ab excessu divi Marci libri octo* / Ed. C. Stavenhagen. Stutgardiae, 1967.

добычи) упоминаются персидский конь, серебряный шлем и колчан, щит, панцирь и копья.

- Hdt. — Hérodote. Histoires. Liv. VII; VIII / Texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand. Paris, 1986; 1973.
- Heliod. — Héliodore. Les Éthiopiennes (Théagène et Chariclée). T. III / Texte étab. par R. M. Rattenbury, T. W. Lumb et trad. par J. Maillon. Paris, 1943
- Hesych. — Hesychii Alexandrini Lexicon / Ed. min. cur. M. Schmidt. Jenae, 1867.
- Hor. *Carm.* — Horati Carmina // Q. Horati Flacci Opera / Ed. F. Klingner. Leipzig, 1970.
- Ios. *Ant. Iud.* — Flavii Iosephi Antiquitarum Iudaicarum libri XI—XX // Flavii Iosephi Opera / Ed. B. Niese. Vol. III; IV. Berolini, 1955.
- Ios. *Bell. Iud.* — Flavii Iosephi De bello Iudaico libri VII // Flavii Iosephi Opera / Ed. B. Niese. Vol. VI. Berolini, 1955.
- Iulian. — Iuliani imperatoris Quae supersunt praeter reliquias apud Cyrillum Omnia / Rec. F. C. Hertlein. Vol. I. Lipsiae, 1875.
- Iust. — M. Iuniani Iustini Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi. Accedunt Prologi in Pompeium Trogum / Ed. O. Seel. Stutgardiae, 1972.
- Leo Diac. — Leonis Diaconi Historia / E rec. C. B. Hasii // Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Pars XI. Bonnae, 1828.
- Liban. — Libanii Opera / Ed. R. Foerster. Vol. II: Orationes XII—XXV. Lipsiae, 1904.
- Lucian. *Macrob.* — Luciani Macrobiani // Luciani Opera / Rec. M. D. Macleod. T. I: Libelli 1—25. Oxonii, 1972.
- Lucian. *Quom. hist.* — Luciani Quomodo historia conscribenda sit / Rec. M. D. Macleod. T. III: Libelli 44—68. Oxonii, 1980.
- Lyd. *De mag.* — Ioannis Lydi De magistratibus populi Romani libri tres / Ed. R. Wuensch. Lipsiae, 1903.
- Malal. — Ioannis Malalae Chronographia / Ex rec. L. Dindorfii. Bonnae, 1831.
- Mauric. — Mauricius. Arta militară / Ed. H. Mihăescu. București 1970.
- Men. — The History of Menander the Guardsman / Introduct. Essay, Text, Transl., and Historiogr. Notes by R. C. Blockley. Liverpool, 1985.
- Naz. *Paneg.* — Panegyricus Nazarii dictus Constantino Augusto // XII Panegyrici Latini / Rec. R. A. B. Mynors. Oxonii, 1973.
- Oros. — Pauli Orosii Historiarum adversum paganos libri VII / Ex rec. C. Zangemeister. Lipsiae, 1889.
- Philostr. *VA* — Philostrati Vita Apollonii // Flavii Philostrati Opera auctiora / Ed. C. L. Kayser. Vol. I. Lipsiae, 1870.
- Plin. *NH* — C. Plini Secundi Naturalis Historiae libri XXXVII / Rec. L. Janus. Vol. I: Libri I—VI. Lipsiae, 1870.
- Plut. *Alex.* — Plutarque. Alexandre // Plutarque. Vies. T. IX / Texte étab. et trad. par R. Flacelière et É. Chambry. Paris, 1975.
- Plut. *Ant.* — Plutarchi Antonius // Plutarchi Vitae parallelae. Vol. III/1 / Iterum rec. K. Ziegler. Leipzig, 1971.
- Plut. *Crass.* — Plutarchi Crassus // Plutarchi Vitae parallelae / Rec. C. Lindskog, K. Ziegler. Vol. I/2. Lipsiae, 1914.
- Plut. *Lucull.* — Plutarque. Lucullus // Plutarque. Vies. T. VII / Texte étab. et trad. par R. Flacelière et É. Chambry. Paris, 1972.
- Prisc. — Priscus // *Blockley R. C.* The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus. Vol. II. Liverpool, 1983.
- Procop. *Bell.* — Procopii De bellis libri I—VIII // Procopii Caesariensis Opera omnia. Vol. I—II / Rec. J. Haury. Lipsiae, 1962—1963.
- Propert. — Propertius. Elegies I—IV / Ed. by L. Richardson, Jr. Norman, 1977.
- Serv. *Comm. Georg.* — Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii Carmina commentarii. Vol. III/1: In Bucolica et Georgica commentarii / Rec. G. Thilo. Lipsiae, 1887.
- SHA — Scriptores Historiae Augustae / Ed. E. Hohl. Vol. I. Lipsiae, 1965.
- Sidon. *Carm.* — Gai Sollii Apollinaris Sidonii Carmina // C. Sollius Apollinaris Sidonius / Rec. P. Mohr. Lipsiae, 1895.
- Sidon. *Epist.* — Gai Sollii Apollinaris Sidonii Epistularum libri IX // C. Sollius Apollinaris Sidonius / Rec. P. Mohr. Lipsiae, 1895.
- Socr. Schol. — Socratis Scholastici Ecclesiastica historia / Ed. R. Hussey. T. I—II. Oxonii, 1853.
- Solin. — C. Iulii Solini Collectanea rerum memorabilium / Rec. Th. Mommsen. Berolini, 1895.
- Stat. *Theb.* — P. Papinii Statii Achilleis et Thebais. Fasc. II: Thebais / Rec. Ph. Kohlmann. Lipsiae, 1884.
- Strabo — Strabonis Geographica / Rec. A. Meineke. Vol. II; III. Lipsiae, 1877; 1866.
- Suet. *Div. Vesp.* — Suetoni Divus Vespasianus // C. Suetoni Tranquilli Opera. Vol. I: De vita Caesarum libri VIII / Rec. M. Ihm. Ed. minor. Lipsiae, 1908.
- Suid. — Suidae Lexicon / Ed. A. Adler. Pt. II; IV. Lipsiae, 1931; 1935.
- Tac. *Ann.* — Taciti Ab excessu divi Augusti (Annales) // Cornelii Taciti Libri qui supersunt / Ed. E.

Koestermann. T. I. Lipsiae, 1965.

Tac. *Hist.* — Taciti Historiarum libri // P. Cornelii Taciti Libri qui supersunt / Ed. E. Koestermann. T. II/1. Leipzig, 1969.

Theophan. Byz. — Theophanis Byzantii Fragmenta // Historici Graeci Minores / Ed. L. Dindorfius. Vol. I. Lipsiae, 1870.

Theophan. *Chron.* — Theophanis Chronographia / Rec. C. De Boor. Vol. I: Textum Graecum continens. Lipsiae, 1883.

Theophyl. Sim. — Theophylacti Simocatae Historiae / Ed. C. De Boor. Lipsiae, 1887.

Vell. Pat. — M. Vellei Paterculi Ex historiae Romanae ad M. Vinicium cos. libris duobus quae supersunt / Rec. F. Haase. Lipsiae, 1884.

Verg. *Georg.* — P. Vergilii Maronis Georgica / Hrsg. und erkl. von W. Richter. München, 1957.

Vict. *Caes.* — Sexti Aurelii Victoris Liber de Caesaribus / Rec. F. Pichlmayr. Lipsiae, 1966.

Xen. *Anab.* — Xenophontis Expeditio Cyri (Anabasis) / Ed. C. Hude. Leipzig, 1972.

Xen. *Cyr.* — Xenophontis Institutio Cyri (Cyropaedia) / Ed. W. Gemoll, J. Peters. Lipsiae, 1968.

Zonar. — Ioannis Zonarae Epitome historiarum / Ed. L. Dindorfius. Vol. III. Lipsiae, 1870.

Zosim. — Zosimi comitis et exadvocati fisci Historia nova / Ed. L. Mendelssohn. Hildesheim, 1963.

Б. Источники на других древних языках (переводы)

АЗ — Предание о сыне Зарера (Айядгар-и Зареран) // Пехлевийская божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Вираз намаг) и другие тексты / Введ., транслитерация пехлевийских текстов, пер. и коммент. О. М. Чунаковой. М., 2001.

Бал'ами — *Бал'ами*. История Табари (цит. по: *Лахути Л.* Примечания // *Фирдоуси*. Шахнаме. Т. VI / Пер. Ц. Б. Бану-Лахути и В. Г. Берзнева. М., 1989).

ВЧ — Объяснение шахмат и изобретение народов (Визаришн-и чатранг уд ниhiшн-и нев-ардашир) // Пехлевийская божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Вираз намаг) и другие тексты / Введ., транслитерация пехлевийских текстов, пер. и коммент. О. М. Чунаковой. М., 2001.

ГСЧ — *Хуэй-цзяо*. Жизнеописания достойных монахов (Гао сэн чжуань) Т. I (Раздел I: Переводчики) / Пер. с китайского, исслед., коммент. и указатели М. Е. Ермакова. М., 1991.

Денкарт — The Complete Text of the Pahlavi Dinkard. Pt. I: Books III—V / Published... under the supervision of D. M. Madan. Bombay, 1911.

ДжН — Джамасп-намак: *Bailey H. W.* To the Žāmāsp-Nāmak. I // *Bailey H. W.* Opera Minora. Articles on Iranian Studies. Vol. 1. Shiraz, 1981.

Динавари — Русский перевод арабского текста из «Книги длинных известий» Абу Ханифы ад-Динавари // *Колесников А. И.* Иран в начале VII века (источники, внутренняя и внешняя политика, вопросы административного деления). Л., 1970.

Егишэ — *Егишэ*. О Вардане и войне армянской / Пер. с древнеарм. И. А. Орбели. Подг. к изд., предисл. и примеч. К. Н. Юзбашьяна. Ереван, 1971; *Ejishē*. History of Vardan and the Armenian War / Transl. and Comment. by R. W. Thomson. Cambridge (Mass.); London, 1982.

КнАнуш. — Карнамак Ануширвана: Le Kār-nāmag d'Anūšīrwān // *Grignaschi M.* Quelques spécimens de la littérature sassanide conservés dans les bibliothèques d'Istanbul // JA. T. CCLIV/1 (1966). 1967.

КнАрд. — Книга деяний Ардашира сына Папака / Транскрипция текста, пер. со среднеперс., введ., коммент. и глоссарий О. М. Чунаковой. М., 1987.

МХ — *Мовсес Хоренаци*. История Армении / Пер. с древнеарм. яз., введ. и примеч. Г. Саркисяна. Ереван, 1990; *Moses Khorenats' i*. History of the Armenians / Transl. and Comment. on the Literary Sources by R. W. Thomson. Cambridge (Mass.); London, 1978.

ПТанс. — Письмо Тансара: The Letter of Tansar / Transl. by M. Boyce. Roma, 1968.

Себеос — История епископа Себеоса / Пер. с четвертого испр. арм. изд. Ст. Малхасянц. Ереван, 1939; The Armenian History attributed to Sebeos / Transl., with notes, by R. W. Thomson. Historic. comment. by J. Howard-Johnston. Assistance from T. Greenwood. Pt. I—II. Liverpool, 1999.

Судебник — *Периханян А. Г.* Сасанидский судебник «Книга тысячи судебных решений» (Mātakdān ī hazār dātastān). Ереван, 1973; *Perikhanian A.* Farraxvart ī Vahrāmān. The Book of A Thousand Judgements (A Sasanian Law-Book). Costa Mesa; New York, 1997.

Табари — *Табари*. История пророков и царей: *Nöldeke Th.* Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der arabischen Chronik des Tabari. Leiden, 1879 [= N]; *Bosworth C. E.* The History of al-Tabarī (*Ta'rikh al-rusul wa'l-mulūk*). Vol. V: The Sāsānids, the Byzantines, the Lakhmids, and Yemen. Albany, 1999 [= B].

Фавстос — История Армении Фавстоса Бузанда / Пер. с древнеарм. и коммент. М. А. Геворгяна. Ереван, 1953; The Epic Histories Attributed to P'awstos Buzand (*Buzandaran Patmut'iwnk'*) / Transl. and Comment. by N. G. Garsoian. Cambridge (Mass.), 1989.

ХЗР — Хроника Захарии Ритора // *Пигулевская Н. В.* Сирийские источники по истории народов

СССР. М.; Л., 1941.

ХИС — Хроника Иешу Стилита // *Пигулевская Н. В.* Месопотамия на рубеже V—VI вв. н. э. Сирийская хроника Иешу Стилита как исторический источник. М.; Л., 1940.

ХК — Хосров, сын Кавада, и его паж (Хусрав-и Кавадан уд редаг-е) // Пехлевийская божественная комедия. Книга о праведном Виразе (Арда Вираз намаг) и другие тексты / Введ., транслитерация пехлевийских текстов, пер. и коммент. О. М. Чунаковой. М., 2001.

ХМС — Хроника Михаила Сирийца: *Chronique de Michel le Syrien, Patriarche Jacobite d'Antioche* (1166—1199) / Éd. pour la première fois et trad. en français par J.-V. Chabot. Т. II. Paris, 1901.

ШН — *Фирдоуси*. Шахнаме. Т. V; VI / Пер. Ц. Б. Бану-Лахути и В. Г. Берзнева. М., 1984; 1989.

В. Исследования и комментированные переводы источников

Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. М., 2003.

Арзуманян Н. А. Пехота сасанидской армии при полиоркетике (Осада) // ВОН АН Армянской ССР. 1971. № 9.

Блаватский В. Д. Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1954.

Бокщанин А. Г. Парфия и Рим (Исследование о развитии международных отношений позднего периода истории античного мира). Ч. II: Система политического дуализма в Передней Азии. М., 1966.

Вайнберг Б. И. и др. Калалы-гыр 2: Культурный центр в Древнем Хорезме IV—II вв. до н. э. М., 2004.

Вдовин В. Ю., Никоноров В. П. Фрагменты панцирного доспеха позднесасанидского времени из Тоголок-депе // ИАН Туркменской ССР. СГН. 1991. № 4.

Вертоградова В. В. Индийская эпиграфика из Кара-тепе в Старом Термезе: Проблемы дешифровки и интерпретации. М., 1995.

Гаиров В. А., Кошеленко Г. А., Сердитых З. В. Эллинистический Восток // Эллинизм: восток и запад. М., 1992.

Грантовский Э. А. Пути развития социально-экономического строя древнего Ирана (К проблеме сложения государственности) // Государство на Древнем Востоке. М., 2004.

Грене Ф. Новая гипотеза о датировке рельефов Халчаяна // ВДИ. 2000. № 2.

Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980.

Дьяконов И. М., Лившиц В. А. Документы из Нисы I в. до н. э. Предварительные итоги работы. М., 1960.

Дьяконов И. М., Лившиц В. А. Новые находки документов в Старой Нисе // Переднеазиатский сборник. II: Дешифровка и интерпретация письменностей древнего Востока. М., 1966.

Иванов А. А., Луконин В. Г., Смесова Л. С. Ювелирные изделия Востока. Древний, средневековый периоды. Коллекция Особой кладовой отдела Востока Государственного Эрмитажа. М., 1984.

Иностранцев К. А. Сасанидские этюды. СПб., 1909.

Кабанов С. К. Культура сельских поселений Южного Согда III—VI вв. Ташкент, 1981.

Каминский В. Н. О конструкции лука и стрел северокавказских аланов // КСИА. Вып. 170. 1982.

Колесников А. И. Иран в начале VII века (источники, внутренняя и внешняя политика, вопросы административного деления). Л., 1970.

Колесников А. И. Завоевание Ирана арабами (Иран при «праведных» халифах). М., 1982.

Колесников А. И. Государство и сословная структура общества сасанидского Ирана (III—VII вв.) // Государство в докапиталистических обществах Азии. М., 1987.

Кошеленко Г. А. Внутриполитическая борьба в Парфии (вторая половина I в. до н. э. — начало I в. н. э.) // ВДИ. 1963. № 3.

Кошеленко Г. А. Царская власть и ее обоснование в ранней Парфии // История Иранского государства и его культуры (к 2500-летию Иранского государства). М., 1971.

Лившиц В. А. К открытию бактрийских надписей на Кара-тепе // Буддийские пещеры Кара-тепе в Старом Термезе. Основные итоги работ 1963—1964 гг. М., 1969.

Лившиц В. А. Нововавилонское *ḫat(a)ru* // ВДИ. 1979. № 4.

Лившиц В. А. «Глава податей» в парфянском и сасанидском Иране // Подати и повинности на Древнем Востоке. СПб., 1999.

Литвинский Б. А. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 2: Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. М., 2001.

Литвинский Б. А. Бактрийцы на охоте // ЗВОРАО. НС. Т. I (XXVI). 2002.

Луконин В. Г. Древний и раннесредневековый Иран. Очерки истории культуры. М., 1987.

Маршак Б. И., Крикис Я. К. Чилекские чаши // ТГЭ. Т. X. 1969.

Мелокова А. И. Вооружение скифов. М., 1964.

Мкртычев Т. К. Буддийское искусство Средней Азии (I—X вв.). М., 2002.

- Нефёдкин А. К.* Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI—I вв. до н. э.). СПб., 2001.
- Никоноров В. П.* Развитие конского защитного снаряжения античной эпохи // КСИА. Вып. 184. 1985.
- Никоноров В. П.* Вооружение и военное дело в Парфии: АКД. Л., 1987.
- Никоноров В. П.* О структуре воинского сословия в Парфянском государстве // Мерв в древней и средневековой истории Востока. III: Мерв и парфянская эпоха: ТД. Ашгабат, 1992.
- Никоноров В. П.* К вопросу о парфянской тактике (на примере битвы при Каррах) // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово, 1995.
- Никоноров В. П.* Парфянские литавры // ΣΥΣΣΙΤΙΑ. Памяти Юрия Викторовича Андреева. СПб., 2000.
- Никоноров В. П.* Военное дело европейских гуннов в свете данных греко-латинской письменной традиции // ЗБОРАО. НС. Т. I (XXVI). 2002а.
- Никоноров В. П.* К вопросу о седлах парфянской кавалерии // Военное дело кочевников Северной и Центральной Азии. Новосибирск, 2002б.
- Никоноров В. П.* К вопросу о роли стремян в развитии военного дела // Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Михаила Петровича Грязнова. Кн. 2. СПб., 2003.
- Никоноров В. П., Худяков Ю. С.* Изображения воинов из Орлатского могильника // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Вып. 2. Горизонты Евразии. Новосибирск, 1999.
- Никоноров В. П., Худяков Ю. С.* «Свистящие стрелы» Маодуня и «Марсов меч» Аттилы: Военное дело азиатских хунну и европейских гуннов. СПб.; М., 2004.
- Новосельцев А. П.* Страны Закавказья и среднеазиатского регионов // *Новосельцев А. П., Папуто В. Т., Черепнин Л. В.* Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М., 1972.
- Новосельцев А. П.* Генезис феодализма в странах Закавказья (Опыт сравнительно-исторического исследования). М., 1980.
- Перевалов С. М.* Сарматский контоп и сарматская посадка // РА. 1999. № 4.
- Периханян А. Г.* Сасанидский судебник «Книга тысячи судебных решений» (Mātakdān ī hazār dāstān). Ереван, 1973.
- Периханян А. Г.* Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. М., 1983.
- Пигулевская Н. В.* Города Ирана в раннем средневековье. М.; Л., 1956.
- Пилипко В. Н.* Терракотовое изображение сасанидского вельможи с побережья Средней Амударьи // ПТ. 1977. № 2.
- Пилипко В. Н.* Поселения Северо-Западной Бактрии. Ашхабад, 1985.
- Пилипко В. Н.* Старая Ниса. Здание с квадратным залом. Москва, 1996.
- Пугаченкова Г. А.* Керамика древнего Мерва // ТЮТАКЭ. Т. XI. 1962.
- Пугаченкова Г. А.* О панцирном вооружении парфянского и бактрийского воинства // ВДИ. 1966. № 2.
- Пугаченкова Г. А.* Скульптура Халчаяна. М., 1971.
- Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И.* История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века. М., 1965.
- Пьянков И. В.* «Всадники» древней Средней Азии // Роль ахалтекинского коня в формировании мирового коннозаводства. Материалы международной научной конференции. Ашхабад, 2001.
- Пьянков И. В.* Социальный строй древнеземледельческих народов Средней Азии (опыт исторической реконструкции) // Центральная Азия: Источники, история, культура. ТД конференции, посвященной 80-летию Е. А. Давидович и Б. А. Литвинского. Москва, 3—5 апреля 2003 года. М., 2003.
- Сарианиди В. И.* Ювелирное искусство ранних кушан // ИБ МАИКЦА. Вып. 15. 1988.
- Сарианиди В. И.* Храм и некрополь Тиллятепе. М., 1989.
- Сарианиди В. И., Кошеленко Г. А.* Монеты из раскопок некрополя, расположенного на городище Тилля-тепе (Северный Афганистан) // Древняя Индия: Историко-культурные связи. М., 1982.
- Седов А. В.* Кобадиян на пороге раннего средневековья. М., 1987.
- Симоненко А. В.* Некоторые дискуссионные вопросы современного сарматоведения // ВДИ. 2002. № 1.
- Смирнова О. И.* Очерки из истории Согда. М., 1970.
- Ставиский Б. Я.* Хионитская гемма-печать // СГЭ. XX. 1961.
- Сулейманов Р. Х., Исамиддинов М. Х.* О находке серийной продукции коропласта Еркургана // Культура Среднего Востока — развитие, связи и взаимодействия (с древнейших времен до наших дней). Изобразительное и прикладное искусство. Ташкент, 1990.
- Тер-Мкртчян Л. Х.* Армянские источники о Средней Азии V—VII вв. М., 1979.
- Тиранян Г. А.* Уточнение некоторых деталей сасанидского вооружения по данным армянского

- историка IV в. н. э. Фавста Бузанда // Исследования по истории культуры народов Востока. Сборник в честь академика И. А. Орбели. М.; Л., 1960.
- Толстов С. П.* Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М., 1948.
- Тревер К. В.* Памятники греко-бактрийского искусства. М.; Л., 1940.
- Тревер К. В.* Кушаны, хиониты и эфталиты по армянским источникам IV—VII вв. (К истории народов Средней Азии) // СА. Т. XXI. 1954.
- Тревер К. В., Луконин В. Г.* Сасанидское серебро. Собрание Государственного Эрмитажа. Художественная культура Ирана III—VIII веков. М., 1987.
- Фрай Р.* Наследие Ирана. М., 1972.
- Хазанов А. М.* Очерки военного искусства сарматов. М., 1971.
- Халатьянц Г. А.* Армянские Аршакиды в «Истории Армении» Моисея Хоренского. Опыт критики источников. Ч. I: Исследование. М., 1903.
- Халилов Д. А., Кошкарлы К. О.* Иконография двух серебряных блюдец из Азербайджана // Художественные памятники и проблемы культуры Востока. Л., 1985.
- Хуришудян Э. Ш.* Армения и сасанидский Иран (Историко-культурологическое исследование). Алматы, 2003.
- Шувалов П. В.* Урбикий и «Стратегикон» Псевдо-Маврикия (часть 1) // ВВ. Т. 61 (86). 2002.
- Щеглов Д. А.* Восстание Спитамена в Согдиане (329—327 гг. до н. э.): причины, характер и участники движения // Античное общество IV: Власть и общество в античности. Материалы конференции антикведов 5—7 марта 2001 г. СПб., 2001.
- Altheim F.* Geschichte der Hunnen. Bd. II: Die Hephthaliten in Iran. Berlin, 1960.
- Bader A. N.* Parthian Ostraca from Nisa: Some Historical Data // Convegno internazionale sul tema: La Persia e l'Asia Centrale da Alessandro al X secolo. Roma, 1996.
- Bálint Cs.* Vestiges archéologiques de l'époque tardive des Sassanides et leurs relations avec les peuples des steppes // AArchASH. Т. XXX/1—2. 1978.
- Barkworth P. R.* The Organization of Xerxes' Army // IA. Vol. XXVII. 1992.
- Benveniste É.* Titres et noms propres en iranien ancien. Paris, 1966.
- Bivar A. D. H.* Details and «Devices» from the Sassanian Sculptures // OAr. NS. Vol. V/1. 1959.
- Bivar A. D. H.* Cavalry Equipment and Tactics on the Euphrates Frontier // DOP. No. 26. 1972.
- Blois F. de.* «Freemen» and «nobles» in Iranian and Semitic languages // JRAS. 1985. No. 1.
- Boardman J.* Greek Gems and Finger Rings: Early Bronze Age to Late Classical. London, 1970.
- Bopearachchi O., Sachs Chr.* Armures et armes des Indo-Scythes d'après leurs émissions monétaires et les données archéologiques // Topoi. Vol. 11/1 (2001). Lyon, 2003.
- Bosworth C. E.* Asawēra // EIr. Vol. II. 1987.
- Bosworth C. E.* The History of al-Ṭabarī (*Ta'riḫ al-rusul wa'l-mulūk*). Vol. V: The Sāsānids, the Byzantines, the Lakhmids, and Yemen. Albany, 1999.
- Boyce M.* Ayādgār ī Jāmāspīg // EIr. Vol. III. 1989.
- Boyce M.* The Sedentary Arsacids // IA. Vol. XXIX. 1994.
- Briant P.* L'Asie centrale et les royaumes proche-orientaux du premier millénaire (c. VIII^e — IV^e siècles avant notre ère). Paris, 1984.
- Brizzi G.* Studi militari romani. Bologna, 1983.
- Brown F.* Arms and Armor // EDE PR 6th. 1936.
- Brown F.* A recently discovered compound bow // Seminarium Kondakovianum. IX. Praha, 1937.
- Bugh G. R.* The Horsemen of Athens. Princeton, 1980.
- Campbell B.* Teach Yourself how to be a General // JRS. Vol. LXXVII. 1987.
- Campbell B.* War and diplomacy: Rome and Parthia, 31 B.C. — A.D. 235 // War and Society in the Roman World. London; New York, 1993.
- Chaumont M. L.* Recherches sur les institutions de l'Iran ancien et de l'Arménie. I. Les fonctions d'intronisateur royal et de chef de la cavalerie chez les Arsacides et les Sassanides // JA. T. CCXLIX/3. 1961.
- Chaumont M. L.* Recherches sur les institutions de l'Iran ancien et de l'Arménie. II. Le titre et la fonction d'argapat et de dizpat // JA. T. CCL/1. 1962.
- Chaumont M. L.* L'ordre des préséances à la cour des Arsacides d'Arménie // JA. T. CCLIV/3—4 (1966). 1967.
- Chaumont M. L.* Argbed // EIr. Vol. II. 1987a.
- Chaumont M. L.* Armenia and Iran. II. The Pre-Islamic Period // EIr. Vol. II. 1987b.
- Chaumont M. L.* Aspbed // EIr. Vol. II. 1987c.
- Chaumont M. L.* Āzād. I. In Ancient Iran // EIr. Vol. III. 1989.
- Christensen A.* L'Iran sous les Sassanides. 2-ème éd. rev. et augm. Copenhagen, 1944.
- Connolly P.* The Roman Saddle // Roman Military Equipment: The Accoutrements of War. Proceedings of the Third Roman Military Equipment Research Seminar. Oxford, 1987.

- Coulston J. C.* Roman archery equipment // The Production and Distribution of Roman Military Equipment. Proceedings of the Second Roman Military Equipment Research Seminar. Oxford, 1985.
- Coulston J. C.* Roman, Parthian and Sassanid Tactical Developments // The Defence of the Roman and Byzantine East. Pt. I. Oxford, 1986.
- Cumont F.* L'Uniforme de la Cavalerie Orientale et le Costume byzantin // Byzantion. T. II (1925). 1926.
- Cumont F., Rostovtzeff M. I.* The Pictures of the Late Mithraeum // EDE PR 7th and 8th. 1939.
- Curtis V. S.* A Parthian Statuette from Susa and the Bronze Statue from Shami // Iran. Vol. XXXI. London, 1993.
- Curtis V. S.* The Parthian Costume and Headdress // Das Partherreich und seine Zeugnisse. Beiträge des Internationalen Colloquiums, Eutin (27.—30. Juni 1996). Stuttgart, 1998.
- Curtis V.* Parthian Belts and Belt Plaques // IA. Vol. XXXVI. 2001.
- Dalton O. M.* The Treasure of the Oxus with Other Examples of Early Oriental Metal-Work. 3rd ed. London, 1964.
- Dandamayev M. A.* Babylonia. I. History of Babylonia in the Median and Achaemenid Periods // EIr. Vol. III. 1989.
- Daszewski W. A.* Les gladiateurs à Chypre. Remarques à propos d'une figurine de Nea Paphos // Studia Archaeologica. Prace dedykowane Profesorowi Januszowi A. Ostrowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków, 2001.
- Davary G. D.* Baktrisch. Ein Wörterbuch auf Grund der Inschriften, Handschriften, Münzen und Siegelsteine. Heidelberg, 1982.
- Diakonoff I. M., Livshits V. A.* Parthian Economic Documents from Nisa. Texts I: pp. 81—160 [Documents nos. 996—2323] (= CIr. Pt. II. Vol. II). London, 1998.
- Diakonoff I. M., Livshits V. A.* Parthian Economic Documents from Nisa. Texts, I: pp. 161—215 [Documents nos. 2324—2723, XXII, II-I—VI]; Glossary; Reverse Index (= CIr. Pt. II. Vol. II). London, 2001.
- Dollfus G.* La statuette d'époque parthe AO 1493 et les figurines apparentées du Musée du Louvre (Antiquités orientales) // RAAO. Vol. LXII/1. 1968.
- Eadie J. W.* The Development of Roman Mailed Cavalry // JRS. Vol. LVII/1—2. 1967.
- Egami N., Fukai S., Masuda S.* Dailaman II: The Excavations at Noruzmahale and Khoramrud, 1960. Tokyo, 1966.
- Farmer H. G.* The Instruments of Music on the Ṭāq-i Bustān Bas-Reliefs // JRAS. 1938. 3rd Quart.
- Felix W.* Chionites // EIr. Vol. V. 1992.
- Felix W.* Deylamites. I. In the Pre-Islamic Period // EIr. Vol. VII. 1996.
- Frye R. N.* The Institutions // Beiträge zur Achämenidengeschichte. Wiesbaden, 1972.
- Frye R. N.* Achaemenid Echoes in Sasanian Times // Kunst, Kultur und Geschichte der Achämenidenzeit und ihr Fortleben. Berlin, 1983a.
- Frye R. N.* The Political History of Iran under the Sasanians // CHI. 3 (1). 1983b.
- Frye R. N.* The History of Ancient Iran. München, 1984.
- Frye R. N.* Oupharizes // EIr. (forthcoming).
- Fukai S., Horiuchi K.* Taq-i-Bustan. I: Plates. Tokyo, 1969.
- Fukai S., Horiuchi K.* Taq-i-Bustan. II: Plates. Tokyo, 1972.
- Fukai S., Horiuchi K., Tanabe K., Domyo M.* Taq-i Bustan. IV: Text. Tokyo, 1984.
- Gabba E.* Per la storia dell'esercito romano in età imperiale. Bologna, 1974.
- Gajbov V., Košelenko G., Novikov S.* Nouveaux documents pour une histoire des religions dans le Turkménistan méridional à l'époque parthe et sassanide // Histoire et cultes de l'Asie Centrale préislamique. Sources écrites et documents archéologiques. Paris, 1991.
- Gall H. von.* The Figural Capitals at Taq-i Bustan and the Questions of the so-called Investiture in Parthian and Sasanian Art // SRAA. 1. 1990a.
- Gall H. von.* Das Reiterkampfbild in der iranischen und iranisch beeinflussten Kunst parthischer und sasanidischer Zeit. Berlin, 1990b.
- Gall H. von.* Die parthischen Felsreliefs unterhalb des Dariusmonumentes // Bisutun: Ausgrabungen und Forschungen in den Jahren 1963—1967. Berlin, 1996.
- Gardner P.* The Coins of the Greek and Scythic Kings of Bactria and India in the British Museum. London, 1886.
- Garsoïan N.* Prolegomena to a Study of the Iranian Aspects in Arsacid Armenia // HAm. Jg. XC/1—12. 1976.
- Garsoïan N.* Byzantium and the Sasanians // CHI. 3 (1). 1983.
- Garsoïan N. G.* The Epic Histories Attributed to P'awstos Buzand (*Buzandaran Patmut'iwnk'*). Cambridge (Mass.), 1989.
- Ghirshman R.* Iran: From the Earliest Times to the Islamic Conquest. Harmondsworth, 1954.
- Ghirshman R.* Notes Iraniennes. XIII: Trois épées sassanides // ArtAs. Vol. XXVI, 3/4. 1963.

- Ghirshman R.* La selle en Iran // IA. Vol. X. 1973.
- Ghirshman R.* Le harnais de tête en Iran // Studies in Memory of Gaston Wiet. Jerusalem, 1977.
- Gignoux Ph.* A propos de quelques inscriptions et bulles sassanides // Histoire et cultes de l'Asie Centrale préislamique. Sources écrites et documents archéologiques. Paris, 1991.
- Göbl R.* Sasanian Coins // CHI. 3 (1). 1983.
- Goldman B.* The Later Pre-Islamic Riding Costume // IA. Vol. XXVIII. 1993.
- Goldman B.* Pictorial graffiti of Dura-Europos // Parthica. 1. Pisa; Roma, 1999.
- Goldman B., Little A. M. G.* The Beginning of Sasanian Painting and Dura-Europos // IA. Vol. XV. 1980.
- Goldsworthy A. K.* The Roman Army at War: 100 B.C. — A.D. 200. Oxford, 1998.
- Goldsworthy A. K.* Roman Warfare. London, 2000.
- Grancsay S. V.* A Sasanian Chieftain's Helmet // The Metropolitan Museum of Art Bulletin. Vol. XXI/8. 1963.
- Greatrex G.* Rome and Persia at War, 502—532. Leeds, 1998.
- Grenet F.* Regional interaction in Central Asia and Northwest India in the Kidarite and Hephthalite periods // Indo-Iranian Languages and Peoples. London, 2002.
- Gyselen R.* The Four Generals of the Sasanian Empire: Some Sigillographic Evidence. Roma, 2001.
- Harper P. O.* The Royal Hunter: Art of the Sasanian Empire. New York, 1978.
- Harper P. O.* Art in Iran. V. Sasanian // EIr. Vol. II. 1987.
- Harper P. O., Meyers P.* Silver Vessels of the Sasanian Period. Vol. I: Royal Imagery. New York, 1981.
- Head D.* The Achaemenid Persian Army. Stockport, 1992.
- Henning W. B.* An Astronomical Chapter of the Bundahishn // JRAS. 1942.
- Henning W. B.* A Bactrian seal-inscription // BSOAS. Vol. XXV/2. 1962.
- Herrmann G.* Naqsh-i Rostam 5 and 8. Sasanian Reliefs attributed to Hormizd II and Narseh. Berlin, 1977.
- Herrmann G.* The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur: Pt. 1. Bishapur III, Triumph attributed to Shapur I. Berlin, 1980.
- Herrmann G.* The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur. Pt. 2: Bishapur IV, Bahram II receiving a Delegation; Bishapur V, The Investiture of Bahram I; Bishapur VI, The Enthroned King. Berlin, 1981.
- Herrmann G.* Parthian and Sasanian Saddlery. New Light from the Roman West // Archaeologia Iranica et Orientalis. Miscellanea in honorem Louis Vanden Berghe. Vol. II. Gent, 1989.
- Herrmann G., Mackenzie D. N.* The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur: Pt. 3. Bishapur I, The Investiture/Triumph of Shapur I?; Bishapur II, Triumph of Shapur I and Sarab-i Bahram, Bahram II enthroned; The Rock Relief at Tang-i Qandil. Berlin, 1983.
- Herrmann G., Mackenzie D. N.* The Sasanian Rock Reliefs at Naqsh-i Rostam: Naqsh-i Rostam 6, The Triumph of Shapur I (together with an account of the representations of Kerdir); Kerdir's Inscription (synoptic text in transliteration, transcription, translation and commentary). Berlin, 1989.
- Herzfeld E.* Sakastān, Geschichtliche Untersuchungen zu den Ausgrabungen am Kūh ī Khwādja // AMI. Bd. IV/2. 1932.
- Hildinger E.* Warriors of the Steppe: A Military History of Central Asia, 500 B.C. to 1700 A.D. New York, 1997.
- Hirsch S. W.* The Friendship of the Barbarians: Xenophon and the Persian Empire. Hanover; London, 1985.
- Homès-Fredericq D.* Hatra et ses sculptures parthes: étude stylistique et iconographique. İstanbul, 1963.
- Hopkins C.* The Temple of Azzanathkona. Details of Individual Rooms // EDE PR 5th. 1934.
- Hopkins C.* Drawings of Hunting Scenes (Inscr. Nos. 931—933 // EDE PR 7th and 8th. 1939.
- Hori A.* Dailaman and Shahpir — Re-examinations of their Chronology // BAOMus. Vol. III. 1981.
- Humann K., Puchstein O.* Reisen in Kleinasien und Nordsyrien. Berlin, 1890.
- Huyse Ph.* Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I. an der Ka'ba-i Zardušt (ŠKZ). Bd. 1—2. London, 1999.
- Huyse Ph.* Sprachkontakte und Entlehnungen zwischen dem Griechisch/Lateinischen und dem Mitteliranischen // Grenzüberschreitungen. Formen des Kontakts zwischen Orient und Okzident im Altertum. Stuttgart, 2002.
- Ilyasov J.* Covered Tail and «Flying» Tessels // IA. Vol. XXXVIII. 2003.
- Ilyasov J. Ya., Rusanov D. V.* A Study of the Bone Plates from Orlat // SRAA. 5 (1997/98). 1998.
- Invernizzi A.* Elymaeans, Seleucids, and the Hung-e Azhdar Relief // Mesopotamia. XXXIII. Firenze, 1998.
- Isamidin M. X.* Chapelles cultuelles au quartier des ceramists d'Erkurgan // Histoire et cultes de l'Asie Centrale préislamique. Sources écrites et documents archéologiques. Paris, 1991.
- Jackson A. V. W.* Herodotus VII. 61, or the Arms of the Ancient Persians illustrated from Iranian Sources // Classical Studies in Honour of Henri Drisler. New York; London, 1894.
- Jacobs B.* Beobachtungen zu den Tuffskulpturen vom Nemrud Daği // IM. Bd. 47. 1997.

- Jacobs B., Schütte-Maischatz A.* Statuette eines Adligen aus der nördlichen Osroëne // IM. Bd. 49. 1999.
- James S.* Evidence from Dura-Europos for the Origins of Late Roman Helmets // Syria. T. LXIII/1—2. Paris, 1986.
- James S.* The Excavations at Dura Europos conducted by Yale University and the French Academy of Inscriptions and Letters, 1928 to 1937. Final Report VII: The Arms and Armour and Other Military Equipment. London, 2004.
- Jardé A.* Études critiques sur la vie et le règne de Sévère Alexandre. Paris, 1925.
- Jeffreys E.* Malala's World View // Studies in John Malalas. Sydney, 1990.
- Karras-Klapproth M.* Prosopographische Studien zur Geschichte der Partherreiches auf der Grundlage antiker literarischer Überlieferung. Bonn, 1988.
- Kawami T. S.* Monumental Art of the Parthian period in Iran. Leiden, 1987.
- Keal E.* The Art of the Parthians // The Arts of Persia. New Haven; London, 1989.
- Kennedy D. L.* Parthian Regiments in the Roman Army // Limes. Akten des XI. Internationalen Limeskongresses (Székesfehérvár, 30. 8.—6. 9. 1976). Budapest, 1977.
- Kennedy D.* Parthia and Rome: eastern perspectives // The Roman Army in the East. Ann Arbor, 1996.
- Kent R. G.* Old Persian: Grammar, texts, lexicon. 2nd ed., rev. New Haven, 1953.
- Košelenko G. A.* Les cavaliers parthes. Aspects de la structure sociale de la Parthie // ALUB. 251. 1980.
- Kraeling C. H.* The Excavations at Dura-Europos. Final Report VIII/1: The Synagogue. New Haven; etc., 1956.
- Kraeling C. H., Welles C. B.* The Excavations at Dura-Europos. Final Report VIII/2: The Christian Building. New Haven, 1967.
- Lepper F. A.* Trajan's Parthian War. With a translation of Arrian's *Parthica* by J. G. DeVoto. Chicago, 1993.
- Levit-Tawil D.* Re-dating the Sasanian Reliefs at Nang-e Qandil and Barm-e Dilak: Composition and Style as Dating Criteria // IA. Vol. XXVIII. 1993.
- Little A. M. G.* The Sassanian Fresco // EDE PR 4th. 1933.
- Litvinsky B. A.* The Hephthalite Empire // History of civilizations of Central Asia. Vol. III: The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750. Paris, 1996.
- Livshits V. A., Nikitin A. B.* The Parthian epigraphic remains from Göbekli-depe and some other Parthian inscriptions // Corolla Iranica. Papers in honour of Prof. Dr. David Neil MacKenzie on the occasion of his 65th birthday on April 8th, 1991. Frankfurt am Main; etc., 1991.
- Mackenzie D. N.* Shapur's shooting // BSOAS. Vol. 41/3. 1978.
- Maenchen-Helfen O. J.* Crenelated Mane and Scabbard Slide // CAJ. Vol. III/2. 1957.
- Maenchen-Helfen O. J.* The World of the Huns: Studies in Their History and Culture. Berkeley; Los Angeles; London, 1973.
- Malandra W. W.* A Glossary of Terms for Weapons and Armor in Old Iranian // IJ. Vol. XV/4. 1973.
- Masia K.* The Evolution of Swords and Daggers in the Sasanian Empire // IA. Vol. XXXV. 2000.
- Mathiesen H. E.* Sculpture in the Parthian Empire. A Study in Chronology. Vol. I—II. Aarhus, 1992.
- McCall J. B.* The Cavalry of the Roman Republic: Cavalry combat and elite reputations in the middle and late Republic. London; New York, 2001.
- Medinger P.* L'arc turquoise et les archers parthes à la bataille de Carrhes // RA. 6-e Sér. T. II. 1933.
- Michalak M.* The Origins and Development of Sassanian Heavy Cavalry // FO. T. XXIV. 1987
- Mielczarek M.* Die parthische Panzerreiterei bei Carrhae. Aus den Studien über Plutarchus, Crassus XXIV—XXVII // FAH. Fasc. IV. 1990.
- Mielczarek M.* Cataphracti and Clibanarii. Studies on the Heavy Armoured Cavalry of the Ancient World. Łódź, 1993.
- Mielczarek M.* Cataphracts — a Parthian element in the Seleucid art of war // Ancient Iran and the Mediterranean World: Proceedings of an international conference in honour of Professor Józef Wolski held at the Jagiellonian University, Cracow, in September 1996. Kraków, 1998.
- Nicolle D.* Sassanian Armies: The Iranian Empire, early 3rd to mid-7th centuries A.D. Stockport, 1996.
- Nikonorov V. P.* The Armies of Bactria, 700 B.C. — 450 A.D. Vol. 1—2. Stockport, 1997.
- Nikonorov V. P.* Apollodorus of Artemita and the date of his *Parthica* revisited // Ancient Iran and the Mediterranean World: Proceedings of an international conference in honour of Professor Józef Wolski held at the Jagiellonian University, Cracow, in September 1996. Kraków, 1998a.
- Nikonorov V. P.* Cataphracti, Catafractarii and Clibanarii: Another Look at the Old Problem of Their Identifications // Военная археология: Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. Материалы Международной конференции (2—5 сентября 1998 г.). СПб., 1998b.
- Nikonorov V. P.* The Use of Musical Percussion Instruments in Ancient Eastern Warfare: the Parthian and Middle Asian Evidence // Studien zur Musikarchäologie. II: Vorträge des 1. Symposiums der International Study Group on Music Archaeology im Kloster Michaelstein, 18.—24. Mai 1998. Rahden, 2000.

- Nöldeke Th.* Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der arabischen Chronik des Tabari. Leiden, 1879.
- Nyberg H. S.* A Manual of Pahlavi. Pt. II: Ideograms, Glossary, Abbreviations, Index, Grammatical Survey, Corrigenda to Pt. I. Wiesbaden, 1974.
- Olbrycht M. J.* Parthian King's Tiara — Numismatic Evidence and Some aspects of Arsacid Political Ideology // *NNum.* T. II. 1997.
- Olbrycht M. J.* Parthia et ultiores gentes. Die politischen Beziehungen zwischen dem arsacidischen Iran und den Nomaden der eurasischen Steppen. München, 1998.
- Olbrycht M. J.* Parthia and Nomads of Central Asia. Elements of Steppe Origin in the Social and Military Developments of Arsacid Iran // *Oht.* Ht. 12. 2003.
- Overlaet B. J.* Contribution to Sasanian Armament in connection with a Decorated Helmet // *IA.* Vol. XVII. 1982.
- Overlaet B. J.* Swords of the Sasanians, Notes on Scabbard Tips // *Archaeologia Iranica et Orientalis. Miscellanea in honorem Louis Vanden Berghe.* Vol. II. Gent, 1989.
- Overlaet B. J.* Organisation militaire et armement // *Splendeur des Sassanides. L'empire perse entre Rome et la Chine [224—642].* Bruxelles, 1993.
- Paterson W. F.* The Sassanids // *JSAA.* Vol. 12. 1969.
- Peck E. H.* Crown. II. From the Seleucids to the Islamic Conquest // *EIr.* Vol. VI. 1993.
- Perikhanian A.* Farraxymart ī Vahrāmān. The Book of A Thousand Judgements (A Sasanian Law-Book). Costa Mesa; New York, 1997.
- Potts D. T.* A Sasanian Lead Horse from Northeastern Arabia // *IA.* Vol. XXVIII. 1993.
- Potts D. T.* Late Sasanian Armament from Southern Arabia // *Donum Amicitiae. Studies in Ancient History published on occasion of the 75th Anniversary of Foundation of the Department of Ancient History of the Jagiellonian University.* Kraków, 1997.
- Rance Ph.* Elephants in Warfare in Late Antiquity // *AAASH.* T. XLIII/3—4. 2003.
- Rawlinson G.* The Seventh Great Oriental Monarchy or the Geography, History, and Antiquities of the Sasanian or New Persian Empire. London, 1876.
- Ricciardi R. V.* Wall Paintings from Building A at Hatra // *IA.* Vol. XXXI. 1996.
- Ricciardi R. V.* Pictorial graffiti in the city of Hatra // *Ancient Iran and the Mediterranean World: Proceedings of an international conference in honour of Professor Józef Wolski held at the Jagiellonian University, Cracow, in September 1996.* Kraków, 1998.
- Robinson H. R.* Oriental Armour. New York, 1967.
- Rösger A.* Die Darstellung des Perserfeldzugs des Severus Alexander in der Historia Augusta // *BHAColl.* 1975/1976 (1978).
- Rostovtzeff M. I.* Graffiti showing Parthian Warriors // *EDE PR* 2nd. 1931.
- Rostovtzeff M. I.* Graffiti // *EDE PR* 4th. 1933.
- Rostovtzeff M. I.* Dura and the Problem of Parthian Art // *YCS.* Vol. V. 1935.
- Rostovtzeff M. I.* The House of the Roman Scribes (L7 A) // *EDE PR* 6th. 1936.
- Rostovtzeff M. I.* The Parthian Shot // *AJA.* Vol. XLVII/2. 1943.
- Rostovtzeff M. I., Welles C. B.* A Parchment Contract of Loan from Dura-Europos on the Euphrates // *YCS.* Vol. II. 1931.
- Rtveladze E. V.* Parthia and Bactria // *In the Land of the Gryphons. Papers on Central Asian archaeology in antiquity.* Firenze, 1995.
- Rubin Z.* The Reforms of Khusro Anūshirwān // *The Byzantine and Early Islamic Near East. III: States, Resources and Armies.* Princeton, 1995.
- Rundgren F.* Über einige iranische Lehnwörter im Lateinischen und Griechischen // *OS.* Vol. VI (1957). 1958.
- Sarianidi V. I.* Bactrian Gold from the Excavations of the Tillya-tepe Necropolis in Northern Afghanistan. Leningrad, 1985.
- Schmitt R.* Hesychius // *EIr.* Vol. XII. 2004.
- Schippmann K.* Arsacids. II. The Arsacid Dynasty // *EIr.* Vol. II. 1987.
- Sekunda N.* The Persians // *Warfare in the Ancient World.* New York; Oxford; Sydney, 1989.
- Sekunda N.* Achaemenid Military Terminology // *AMI.* Bd. 21 (1988). 1990.
- Sekunda N.* The Persian Army, 560—330 B.C. London, 1992.
- Sellwood D.* An Introduction to the Coinage of Parthia. London, 1971.
- Sellwood D.* Parthian Coins // *CHI.* 3 (1). 1983.
- Seyrig H.* Antiquités syriennes. 20. — Armes et costumes iraniens de Palmyre // *Syria.* T. XVIII/1. Paris, 1937.
- Seyrig H.* Antiquités syriennes. 26. — Le grande statue parthe de Shami et la sculpture palmyrénienne // *Syria.* T. XX/3. Paris, 1939.

- Seyrig H.* Antiquités syriennes. 94. — Quatre images sculptées du musée d'Alep // Syria. T. XLVIII/1—2. Paris, 1971.
- Shahbazi A. Sh.* Army. I. Pre-Islamic Iran // EIr. Vol. II. 1987a.
- Shahbazi A. Sh.* Asb. I: In Pre-Islamic Iran // EIr. Vol. II. 1987b.
- Shahbazi A. Sh.* Bahram. VII. Bahrām VI Čōbīn // EIr. Vol. III. 1989.
- Shahbazi A. Sh.* Byzantine-Iranian relations. I. Before the Islamic conquest // EIr. Vol. IV. 1990.
- Shahbazi A. Sh.* Early Sasanians' Claim to Achaemenid Heritage // NIB. Vol. 1/1. 2001.
- Skjærvø P. O.* The Sassanian Inscription of Paikuli. Pt. 3/1—2. Wiesbaden, 1983.
- Skjærvø P. O.* Aswār // EIr. Vol. II. 1987.
- Spence I. G.* The Cavalry of Classical Greece. A Social and Military History with Particular Reference to Athens. Oxford, 1993.
- Stavisky B. J.* Notes on Gem-Seals with Kushāṇa Cursive Inscriptions in the collection of the State Hermitage // JNSI. Vol. XXII. 1960.
- Sulimirski T.* Les archers à cheval, cavalerie légère des anciens // RIHM. No. 12. 1952.
- Syme R.* Ammianus and the Historia Augusta. Oxford, 1968.
- Tafazzoli A.* A List of Terms for Weapons and Armour in western Middle Iranian // SRAA. 3 (1993/94). 1994.
- Tafazzoli A.* Sasanian Society: Warriors, Scribes, Dehqāns. New York, 2000.
- Tanabe K.* Positive Examples of Sasanian Influence on Gandharan Art // Makaranda: Essays in honour of Dr. James C. Harle. Delhi, 1990.
- Tarn W. W.* Hellenistic Military and Naval Developments. Cambridge, 1930.
- Toumanoff C.* Aspet // EIr. Vol. II. 1987.
- Toumanoff C.* Āzād. II. Armenian azat // EIr. Vol. III. 1989a.
- Toumanoff C.* The Bagratids // EIr. Vol. III. 1989b.
- Trousdale W.* The Long Sword and Scabbard Slide in Asia. Washington, 1975.
- Trousdale W.* A Kushan Scabbard Slide from Afghanistan // BAI. NS. Vol. 2. 1988.
- Vanden Berghe L.* L'héritage parthe dans l'art sasanide // Transition Periods in Iranian History. Actes du Symposium de Fribourg-en-Brisgau (22—24 mai 1985). Leuven, 1987.
- Vogelsang-Eastwood G.* The Clothing of the «Shami Prince» // Persica. No. XVI. Leuven, 2000.
- Weiskoff M.* Commagene // EIr. Vol. 6. 1993.
- Welles C. B.* 20. Antichretic Loan // The Excavations at Dura-Europos. Final Report V/1: The Parchments and Papyri. New Haven, 1959.
- Werner J.* Zur Herkunft der frühmittelalterlichen Spangenhelme // PZ. Bd. XXXIV/V (1949/50). Hlf. 1. 1950.
- Whitby M.* The Persian King at War // The Roman and Byzantine Army in the East. Proceedings of a colloquium held at the Jagiellonian University, Kraków in September 1992. Kraków, 1994.
- Whitcomb D. S.* Before the Roses and Nightingales: Excavations at Qasr-i Abu Nasr, Old Shiraz. New York, 1985.
- White L.* Medieval Technology and Social Change. Oxford, 1966.
- Widengren G.* Recherches sur les féodalisme iranien // OS. Vol. V (1956). 1957.
- Widengren G.* The Establishment of the Sasanian dynasty in the light of new evidence // Atti del Convegno Internazionale sul tema: La Persia nel Medioevo. Roma, 1971.
- Widengren G.* Iran, der große Gerner Roms: Königsgewalt, Feudalismus, Militärwesen // ANRW. II. Bd. 9/1. 1976.
- Widengren G.* Antiochus of Commagene // EIr. Vol. 2. 1987.
- Wilcox P.* Rome's Enemies (3): Parthians and Sassanid Persians. Oxford, 2003.
- Winkelmann S.* Eurasisches in Hatra? Ergebnisse und Probleme bei der Analyse partherzeitlicher Bildquellen // OHt. Ht. 9. 2003.
- Wolski J.* Aufbau und Entwicklung des parthischen Staates // Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt. Bd. I: Alter Orient und Griechenland. Berlin, 1964.
- Wolski J.* Le rôle et l'importance des mercenaires dans l'état Parthe // IA. Vol. V/2. 1965.
- Yar-Shater E.* Were the Sasanians Heirs to the Achaemenids? // Atti del Convegno Internazionale sul tema: La Persia nel Medioevo. Roma, 1971.
- Yarshater E.* Iranian National History // CHI. 3 (1). 1983.
- Young J. H.* Commagenian Tiaras: Royal and Divine // AJA. Vol. 68/1. 1964.
- Zimmer M.* Versuch über Elemente einer «Form» im Bogenschließen im Bildraum herrscherlich-sasanidischer Mobilität // OHt. Ht. 9. 2003.

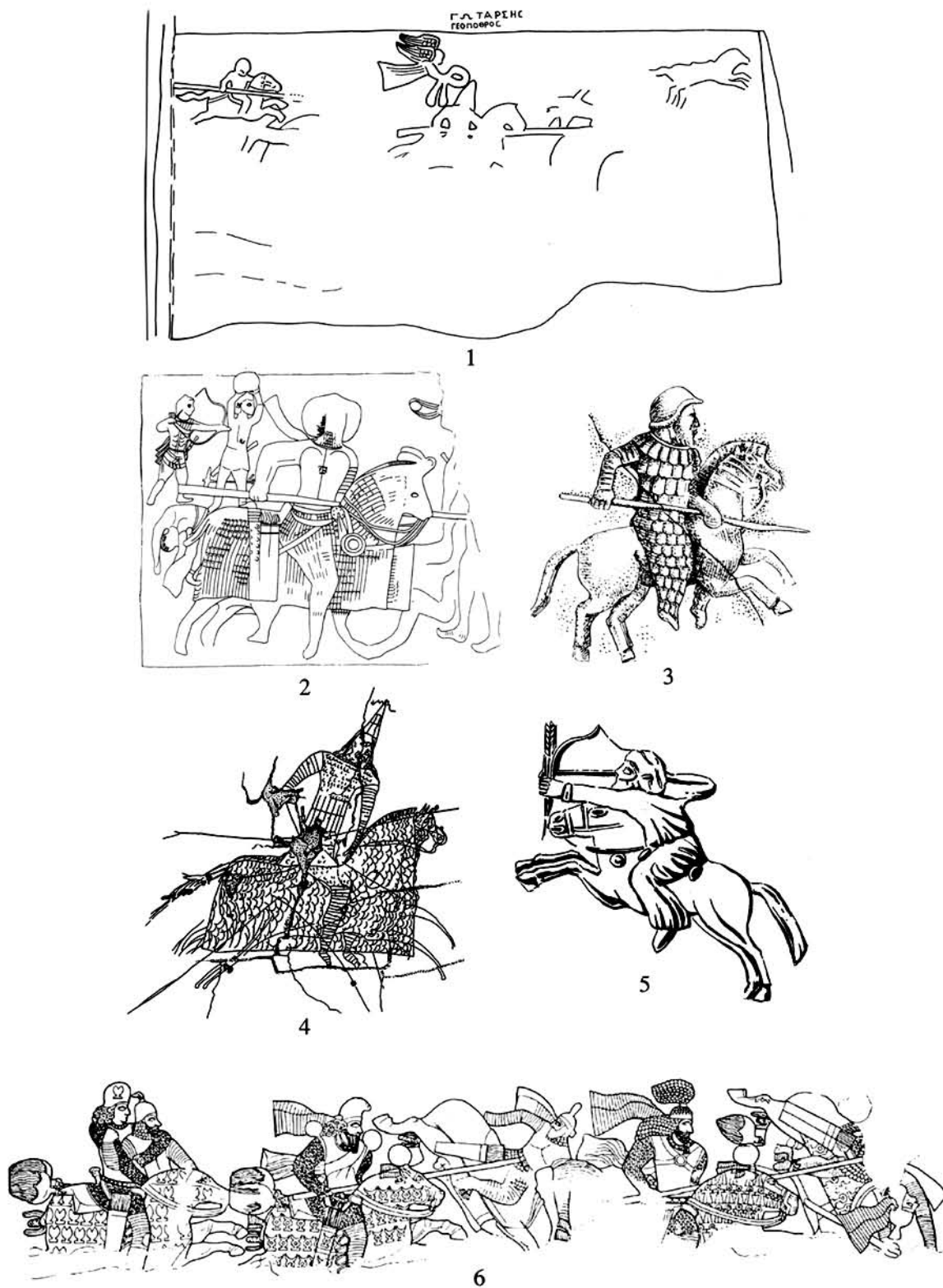


Рис. 1. Изображения конных воинов в позднепарфянской и раннесасанидской искусстве: 1 — рельеф в Бисутуне, I в. н. э. [Gall 1996]; 2 — рельеф в Танг-и Сарвак, конец II — начало III в. н. э. [Gall 1990b]; 3 — терракота из Британского музея, первые века нашей эры [Хазанов 1971]; 4 — граффити из Дур-Европос, 230-е гг. [Неттманн 1989]; 5 — терракота из Музея исламского искусства в Берлине, первые века нашей эры [прорисовано по: *ibid.*]; 6 — рельеф близ Фирузабада (высечен в 230-х гг.), символизирующий победу Сасанидов над парфянами в битве при Хормиздагане в 224 г. (во всех трех сценах единоборств персы показаны слева) [Gall 1990b]

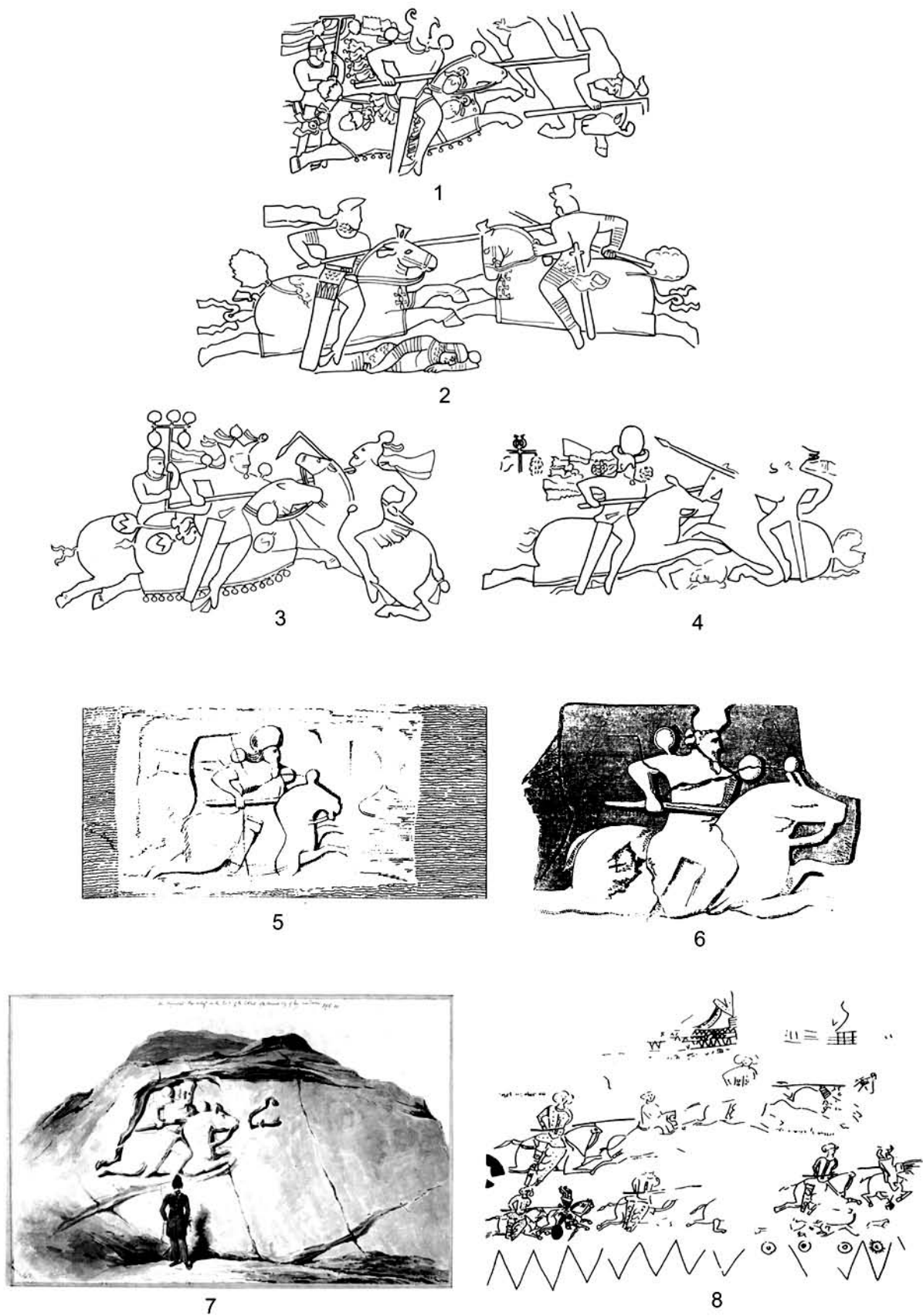


Рис. 2. Персидские конники на сасанидских наскальных рельефах второй половины III—IV вв. (1—4 — в Накш-и Рустаме, рельефы № 5, 7, 3 соответственно; 5—7 — утраченный монумент в Рее по рисункам европейских путешественников второй декады XIX в. [Gall 1990b]) и на сасанидской фреске середины III в. из Дура-Европос (8) [Goldman, Little 1980]

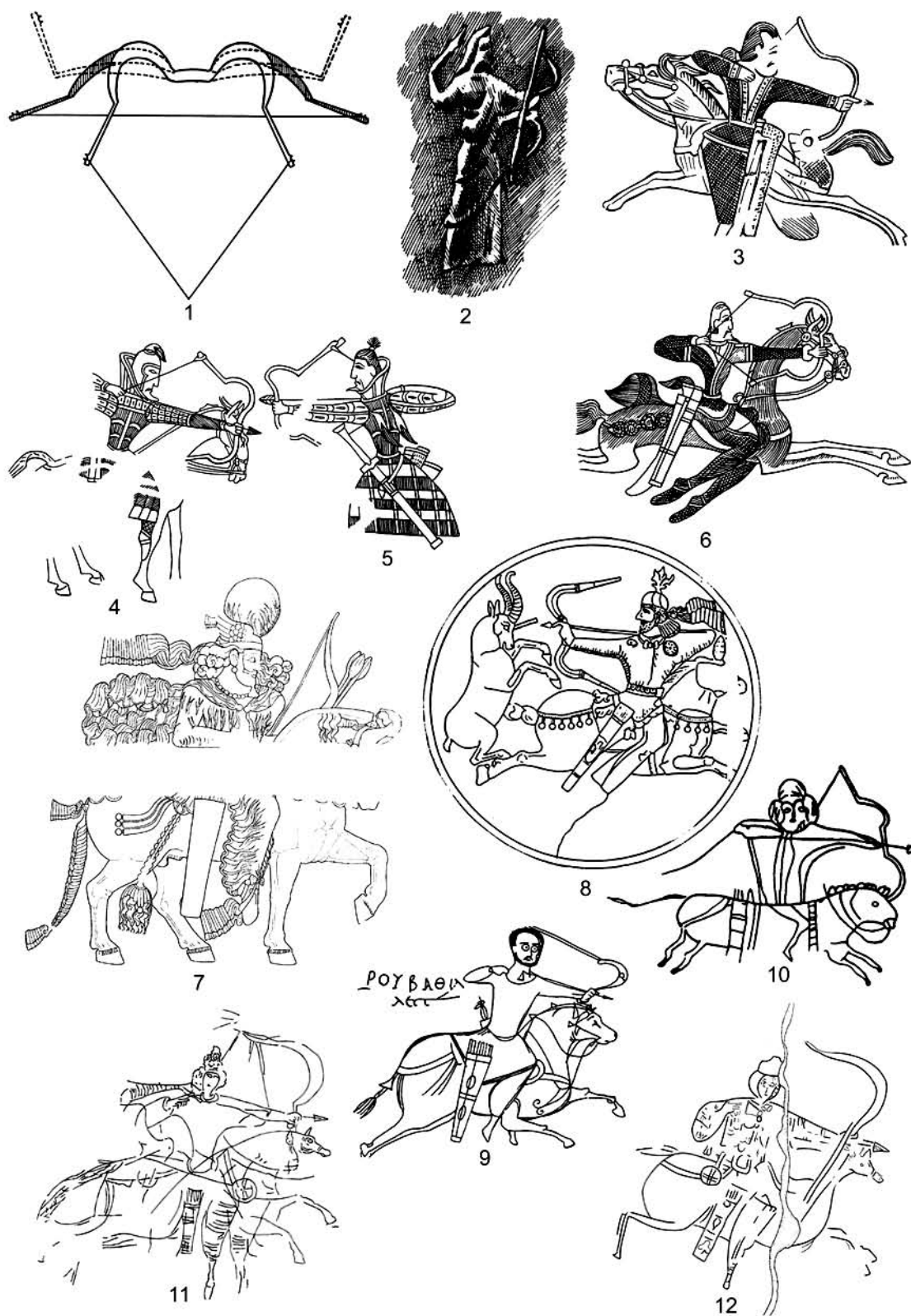


Рис. 3. Луки «сасанидского» типа — реконструкция (1) [Brown 1937] и изображения (2—12): 2 — монета кушанского царя Хувишки, ок. 146—184 [Nikonov 1997]; 3 — костяная пластина из Тахт-и Сангина, Северная Бактрия, первые века нашей эры [Литвинский 2002]; 4—6 — костяные пластины из Орлатского могильника, первые века нашей эры [Никоноров, Худяков 1999]; 7 — сасанидский рельеф Бишагур IV, последняя четверть III в. [Негтманн 1981]; 8 — сасанидское блюдо из Шемахи, конец III — начало IV в. [Халилов, Кошкарлы 1985]; 9, 10 — граффити из Дура-Европос, вторая половина II в. н. э. [Goldman 1999]; 11, 12 — граффити из Хатры, раннесасанидский период (не позднее 240 г. н. э.) [Ricciardi 1998]

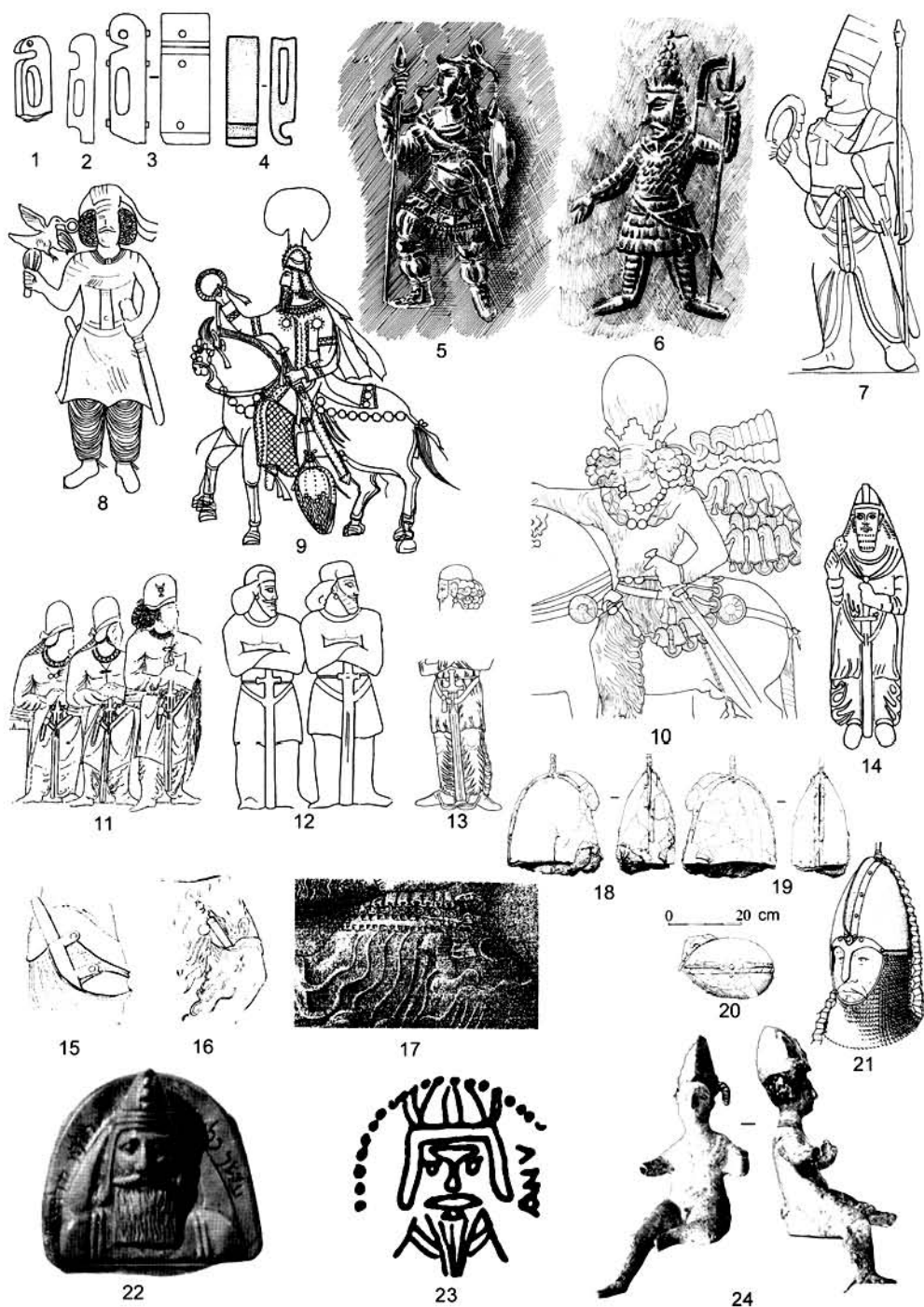


Рис. 4. 1—4 — скобы-пронизки (*не в масштабе*): 1 — из Северного Афганистана, I в. до н. э. [Пуясов, Rusanov 1998]; 2, 3 — из Таксилы, вторая половина I в. н. э. [Ibid.]; 4 — из Орлатского могильника, первые века нашей эры [Никоноров, Худяков 1999]; 5 — персонаж на золотой пряжке из Тилля-тепе, I в. до н. э. [Nikonov 1997]; 6 — изображение на монете кушанского царя Васудевы (ок. 184—220) [Ibid.]; 7 — фрагмент рельефа из Нимруд Дага, 30-е гг. I в. до н. э. [Gall 1990a]; 8 — фрагмент парфянского рельефа из Хунг-и Аждар, конец II — начало III в. н. э. [Invernizzi 1998]; 9 — граффити первой четверти III в. н. э. из Персеполя [Overlaet 1989]; 10—13 — детали изображений на сасанидских рельефах второй половины III в. (соответственно: Накш-и Рустам 6, Накш-и Раджаб, Бишагур VI и IV) [Herrmann, Mackenzie 1989; Herrmann 1981]; 14 — оттиск по матрице конца III—IV в., найденной на побережье Средней Амударьи [Пилипко 1977]; 15 — фрагмент бронзовой статуи из Шами, I в. н. э. (?) [Goldman 1993]; 16, 17 — детали сасанидских рельефов из Накш-и Раджаба и Дарабгирда, ок. 240 г. [Goldman 1993; Masia 2000]; 18—20 — сасанидский шлем из Дура-Европос, середина III в.; 21 — его реконструкция [James 1986]; 22, 23 — портреты парфянского царя Вологеза III (105—147) на терракоте и монете [Ghirshman 1954; Sellwood 1971]; 24 — статуэтка из Селевкии на Тигре, II в. н. э. [Dollfus 1968]

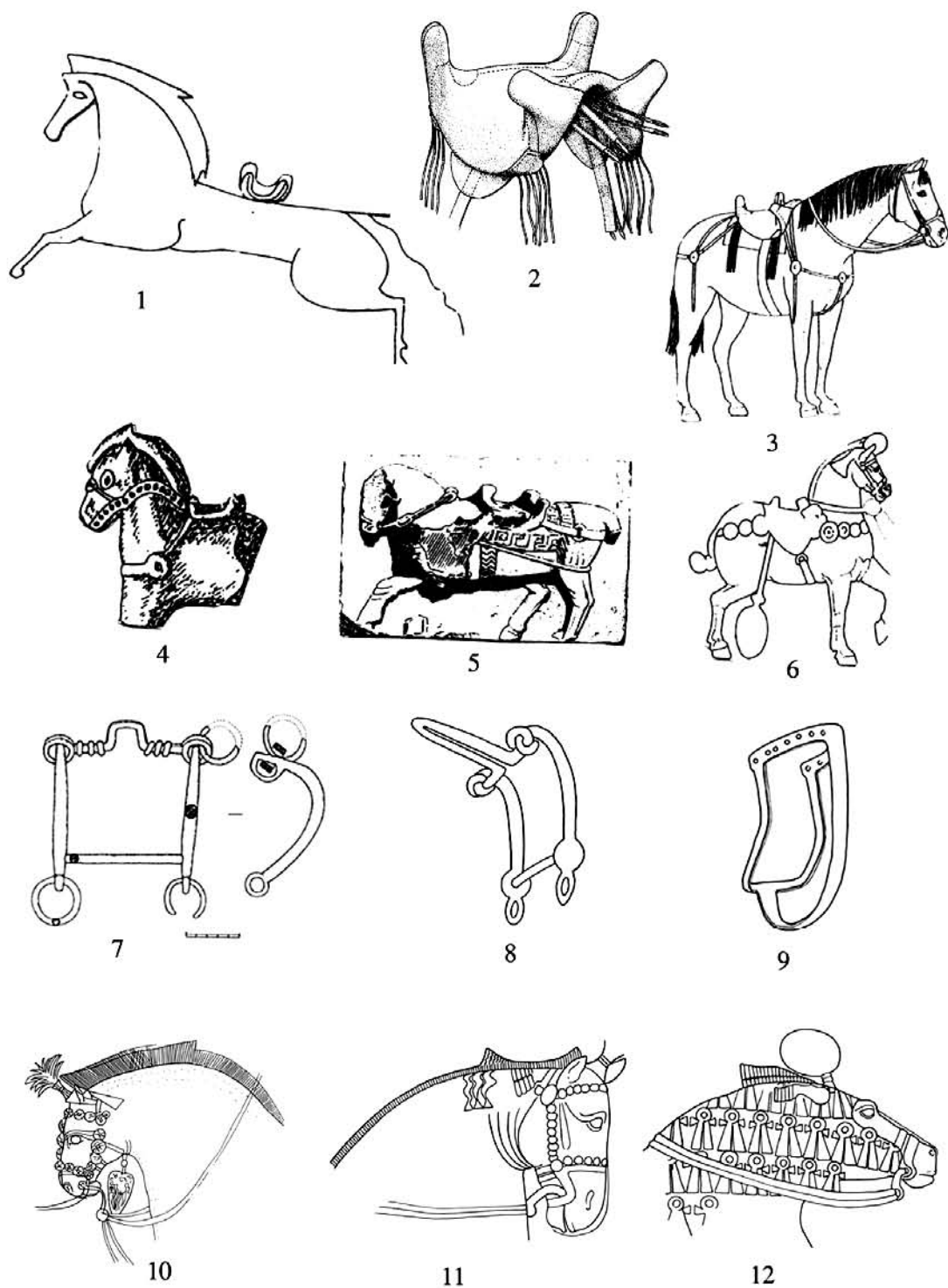


Рис. 5. 1 — граффити из Старой Нисы, I в. до н. э. [Пилипко 1996]; 2 — реконструкция римского кавалерийского седла I в. н. э.; 3 — реконструкция снаряжения для римского боевого коня I в. н. э.; 4 — фрагмент терракотовой фигурки парфянского времени из Масджид-и Сулейман; 5 — рельеф из храма Баалшамина в Хауране, I в. н. э.; 6 — царский конь на сасанидском рельефе второй половины III в. н. э. (Бишагур VI); 7 — железные мундштучные удила из Норузмахале, I—III вв. н. э.; 8, 9 — железные мундштучные удила и бронзовый нахрапник из Суз (*не в масштабе*), середина IV в. н. э.; 10 — фрагмент граффити из Персеполя, первая четверть III в. н. э.; 11, 12 — детали сасанидских рельефов второй трети III в. (Дарабгирд и Фирузабад) [2—12: Негтманн 1989]

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СИСТЕМУ РАССЕЛЕНИЯ
В ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ В АНТИЧНОЕ ВРЕМЯ
(НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ КАШКАДАРЬИ)

К Восточной Кашкадарье (в древности — Наутака-Су-Се-Кеш) относятся пять районов Кашкадарьинского вилоята на юге Узбекистана, охватывающие территорию примерно 100×85 км. Чакылкалянские и Каратепеинские горы (продолжения Зарафшанского хребта на северо-востоке) и водораздел, проходящий по Джамской степи, служат естественной границей между долинами Кашкадарьи (Южный Согд) и Зарафшана (Центральный Согд). Гиссарский хребет с Сумсар-Ширдагом отделяет изучаемый район от Таджикистана, отроги Гиссара — хребты Яккабаг и Чакчар — от Сурхандарьинской области Узбекистана (Северная Бактрия). Горы постепенно понижаются к Китабо-Шахрисабзской котловине, образуя систему низкогорий, благоприятных для обживания человеком [Пославская 1987: 16—17]. Для района характерен более мягкий климат и обилие осадков, в отличие от западной степной Карши-Гузарской части долины. В оазисе наблюдается многообразие типов природного комплекса, что оказывало влияние на сложение в древности различных форм хозяйства.

Китабский район, где проводились основные археолого-топографические исследования, находится по правому, северному берегу Кашкадарьи. Большая его часть относится к Кокдалинскому агроклиматическому району, развитие поливного земледелия в котором затрудняется сложным рельефом местности. Реки Шуробсай, Макридсай, Аякчисай, Калкамасай проложили свои русла на большой глубине (5—20 м), и использование их вод для самотечного полива, за исключением отдельных участков, сейчас практически невозможно. Наличие джаров — глубоких русловых каньонов — ограничивает и переброску воды из Кашкадарьи.

Примечательно, что очень мало памятников до V в. н. э. в междуречье Аксударьи и Танхаздарьи (в среднем и нижнем течении) — самой обводненной территории оазиса. «Эффект непрерывного орошения» мог привести к уничтожению большинства древних поселений, но их почти полное отсутствие объясняется, в первую очередь, спецификой хозяйствования древних коллективов, расселяющихся ближе к предгорьям. На наш взгляд, это связано с тем, что большая роль в древности принадлежала богарному земледелию. Определяющим фактором для его развития являются абсолютные отметки, на которых располагаются поля. В Восточной Кашкадарье 84% поселений ахеменидского и 75% античного времени лежат на высотах 600 м над уровнем моря и выше (рис. 1), где риск неполивного земледелия при относительно высокой увлажненности практически равен нулю. Материалы области, как и Средней Азии в целом [Гумилев 1980: 37—38], также говорят о более благоприятных условиях в древности: большое количество поселений расположено у пересыхающих или уже не функционирующих саев. Даже сейчас случаи «воздушной засухи» — самого опасного для древних земледельцев явления — в предгорных районах Восточной Кашкадарьи составляют не более 5% в столетие. Значительные сборы кормов с адыров и по долинам рек обеспечивают развитие стойлового животноводства молочной направленности [Лобач 1956: 109—119]. Эти данные хорошо согласуются с результатами анализа остеологических остатков с поселений Сангыртепа, Подаятактепа и Узункыр в Шуробсайском оазисе Китабского района [Ермолова 1987: 100]. Для него и для Яккабага исследователи отмечают и исторически сложившееся развитие виноградарства и садоводства на богаре [Донцова 1956: 141—145], что опять же нашло подтверждение в ходе археологических раскопок и палеоботанических исследований.

Подобный ХКТ был характерен для соседних предгорных областей Северного (Уструшана) и Центрального Согда, где вплоть до XIV—XV вв. площадь поливных земель зоны орошения канала Даргом возле Самарканда равнялась площади богарных участков [Бартольд 1965: 144] (арабские источники IX—XI вв. подчеркивают сходство природных условий верхнего и среднего течения Зарафшана и Кашкадарьи [см.: Бетгер 1957: 14]). В Восточной Кашкадарье обязательно орошаться искусственно должны только территории ниже 450 м [Шульц, Шаталова 1956: 29—46], которые лежат узкой полосой в 8—12 км возле современного Чимкурганского водохранилища. Эта специфика, наряду со сложным рельефом котловины, объясняет отсутствие крупных магистральных каналов в оазисе в ранние периоды его освоения. Вполне были достаточны локальные сети, что сказывалось и на характере расселения древних коллективов.

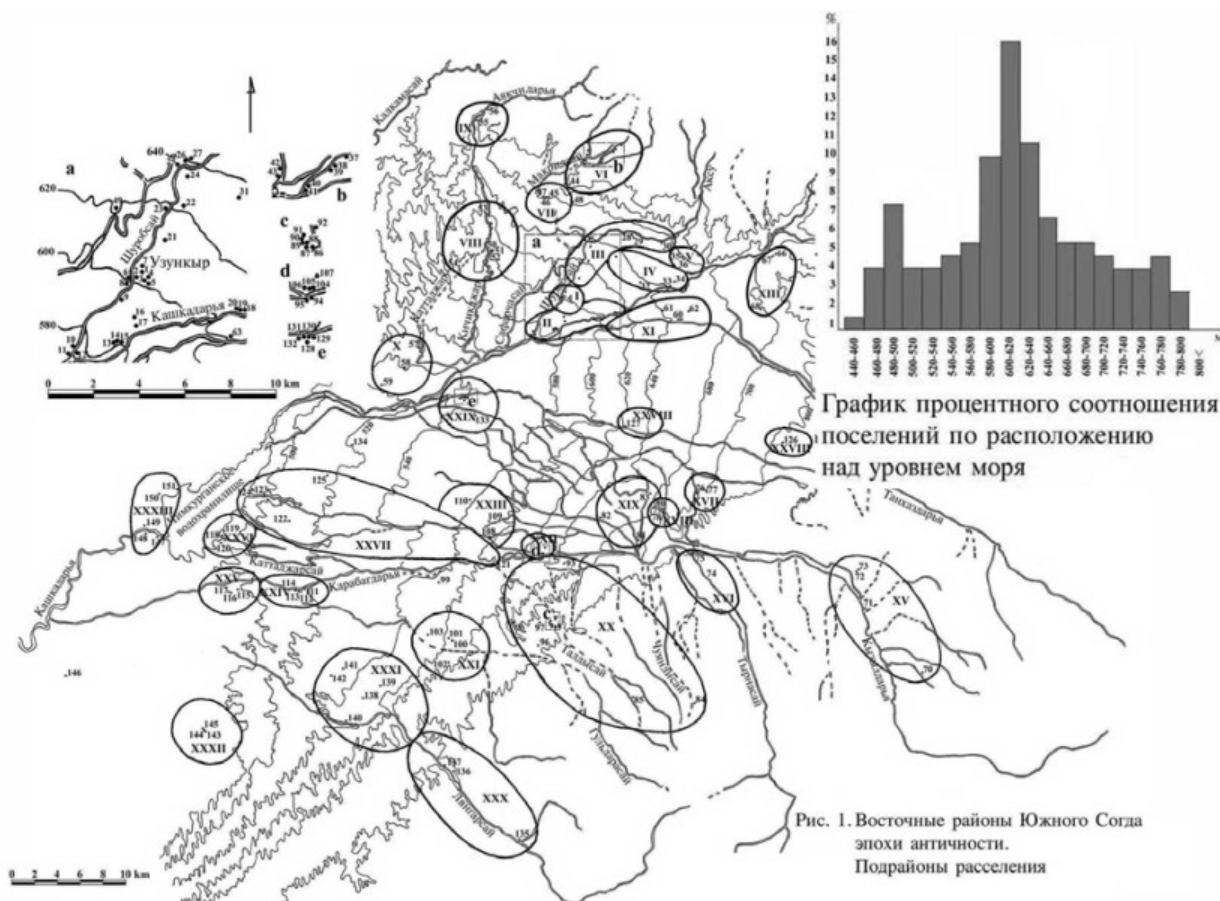


Рис. 1. Восточные районы Южного Согда эпохи античности. Подрайоны расселения

Существенное нарастание антропогенного воздействия на ландшафт отмечается с начала широкого земледельческого освоения долины, в эпоху поздней бронзы и раннего железного века, племенами — выходцами из соседней Северной Бактрии [Сагдуллаев 1987: 7]. Однако последовательное развитие ряда оазисов Восточной Кашкадарьи прерывается в III в. до н. э.: в упадок, например, приходят несколько поселений в предгорьях Яккабага и древний центр в районе Узункыра-Наутаки. Ранее этот факт объяснялся исследователями переносом столичного центра на р. Аксу, на территорию современного г. Китаба. Действительно, процессы обживания более полно-водных, чем сая, рек отмечаются в античный период и в других областях Средней Азии, что было связано с качественными преобразованиями в сельском хозяйстве и особенно ирригации [Ртвеладзе, Хакимов 1973: 33]. Однако ряд данных указывает на еще один, пожалуй, важнейший фактор. В предгорьях Средней Азии на протяжении последних пяти веков до нашей эры, по-видимому, происходит глобальное изменение гидрогеологической ситуации. Ближе к III в. до н. э. оставляется часть орошаемых земель по течению канала Булунгур к северу от Зарафшана [Ахунбабаев 1983: 157], покидаются жителями поселения в Северном Согде, например, Нуртепа, в округе которого отмечено резкое падение уровня воды в саях¹. К югу от отрогов Гиссарского хребта это обстоятельство ранее вызвало переселение жителей Миршадинского оазиса ближе к руслу реки Сурхандарьи. Судя по топографии поселений, более многочисленными в эпоху, предшествующую античной, были и родники в таджикских районах Северной Бактрии [Гафуров 1989: 201]. К югу от Амударьи из-за изменения водного режима происходит запустение освоенных земель в Дашлинском оазисе [Кругликова 1984: 50]. С чем были связаны эти процессы, без привлечения палеоклиматических и геологических данных ответить трудно. Возможно, наряду с аридизацией, имело место усиление горообразования. До сих пор на востоке Средней Азии, в том числе вокруг Китабо-Шахрисябзской котловины, идет поднятие, в которое вовлечены предгорные районы [Пославская 1987: 17].

Для предгорий характерна также естественная аккумуляция эолового лесса, которая вместе с ирригационными наносами еще более увеличивала разницу между зеркалом воды и уровнем поливных площадей. Это явление отмечено, например, в Шиберганском оазисе Афганистана [Сарианиди, Ходжаниязов 1980: 117—118]. В Восточной Кашкадарье слои ряда пунктов времени Яз II (стоянка в

¹ Выражаю благодарность Т. В. Беляевой за устное сообщение.

районе Узункыра и Курганча в Яккабагском районе) находятся сейчас под 5—6-метровыми отложениями лесса.

Важнейшим фактором антропогенного воздействия является усиление процессов оврагообразования. Геологическое строение правобережья р. Кашкадарьи (четвертичные отложения с небольшими участками неогеновых, палеогеновых и меловых отложений) и характер почв (светло-коричневые почвы карбонатные, глинистые или суглинистые) [Кашкадарьинская область 1959: 145; Орлов 1956: 80—82] определяли и определяют высокий уровень эрозионно-аккумулятивных процессов. В Восточной Кашкадарье большинство древних каналов в настоящее время представляет собой глубокие каньоны. Расширение ирригационных систем, подключение дополнительных водных источников, что увеличивало дебит воды и ее скорость, убыстряли «врезание» рек и саев в лессовые основания. Наглядным примером может служить также район Афрасиаба — древнего городища Самарканда. Первые освоенные здесь участки совпадали с поймой [Буряков 1974: 53—55], в то время как сейчас городище окружено глубокими русловыми обрывами. То же самое происходило и с искусственными каналами, если они прокладывались под слишком большим углом. В результате, в Северном Согде каналы размывали свои русла до галечникового основания, причем ряд из них сейчас принял вид саев [Билалов 1980: 108, 139]. Похожая ситуация была отмечена в Вахшской и Гиссарской долинах Таджикистана [Зеймаль 1971: 47, 55]. Даже на равнинах имела место быстрая глубинная эрозия из-за нерационального сооружения каналов (перепад высот 7—8 м на 1 км) [Мухамеджанов и др. 1988: 8—9]. Другим фактором, усиливавшим интенсивность оврагообразования, были сели, связанные с вырубкой древесных массивов в долинах [Шульц 1963: 183]. Все это делало невозможным использование каналов для самотечного полива и вело к замиранию арычной сети. Наличие залежных, неосвоенных земель позволяло поначалу вести «внутреннюю колонизацию», однако ее возможности в условиях Средней Азии были ограничены.

Таким образом, давление человеческой деятельности на среду, наложившееся на климатические изменения, достигает первой «критической точки», по нашему мнению, накануне античной эпохи, что приводит, к своего рода «малой экологической катастрофе». Старая ирригационная система, основанная на эксплуатации небольших отводов из быстро текущих горных речушек, приходила постепенно в упадок. В этих условиях выход мог быть найден только в выведении каналов выше по течению или в межбассейной переброске воды из соседних оазисов.

После запустения Узункыра часть жителей уходит вверх и вниз по Шуробсаю, где на периферии старого микрооазиса складываются новые подрайоны расселения. Одной из основных таких территорий было междуречье Кашкадарьи и Шуробся (к востоку от слияния с Аксударьей). Сюда из Кашкадарьи выводится канал Пистахон длиной около 8 км. О плотности заселения района говорит количество тепа (28) по его берегам. Выше по течению канал строится возле кишлака Халабад, водой которого пользовались не менее 8 поселений (рис. 1, а). Все каналы велись параллельно или с небольшим отклонением от русел рек, что характерно для ирригационных сооружений других областей Средней Азии. Однако увеличение дебита воды из-за развития арычной системы вновь вызывало эффект глубинной эрозии, особенно заметный на примере Халабадского канала.

В целом, оросительные сооружения Восточной Кашкадарьи до рубежа нашей эры соответствуют II ступени формирования ирригационных систем Средней Азии, на которой на востоке региона осваивается нижний пояс предгорной степи [Латынин 1959: 25]. Широкое строительство каналов разворачивается в области в первые века нашей эры, как и в Бухарском, Самаркандском, Ташкентском и Ферганском оазисах. Завершающим этапом развития ирригационных сооружений в Восточной Кашкадарье в эпоху античности стало строительство каналов, перебросивших воду из Кызылдарьи в Танхаздарью, а также позволивших освоить западные районы долины (около совр. Чимкурганского водохранилища). Характерно, что тогда же, в результате межбассейной переброски возникают новые участки расселения высокой плотности в соседней Северной Бактрии [Массон 1977: 141]. Отличительной чертой позднеантичных каналов было их более рациональное устройство — они не столь мощные, но более разветвленные. Положение поселений в междуречьях показывает, что ложа проводились с минимальными перепадами высот, необходимыми для самотечного полива, это не давало возможности быстро развиваться оврагам. Таким образом, к III—IV вв. н. э. в основном был найден путь минимизации воздействия человека при существующих технических условиях на процессы эрозии.

Анализ системы расселения свидетельствует о постепенном росте численности жителей и последовательном освоении Восточной Кашкадарьи на протяжении всего античного периода. В результате, в ряде районов формируется оазисы в виде непрерывной полосы поселений и сельскохозяйственных площадей. Общая площадь пунктов, функционировавших одновременно в первые

века нашей эры, достигает 130 га. Если применить предложенный для синхронных поселений Северной Бактрии принцип подсчета [Ртвеладзе 1978: 111, 114], то число жителей оазиса Су-Се-Кеша составляло в этот период около 36 тысяч человек, а вместе с центральным городом на территории Китаба (селетибная территория — 26 га) — примерно 43 тысячи. Однако, учитывая наличие разрушенных поселений и присутствие кочевых групп, можно предположить, что эта цифра была значительно больше (около 60 тыс. человек). Общее число известных пунктов — более 160 — характеризует расселение в предгорных районах Южного Согда как мелкооазисное. Эта специфика, обусловленная местными природно-географическими условиями, становится особенно заметной в пору поздней античности и раннего средневековья. В это время, на наш взгляд, при сохранении в целом паритета между потребностями общества и возможностями природы, достигается максимальное освоение всех районов области в древности.

Библиография

- Ахунбабаев Х. Т.* Археологическое изучение Булунгурского района в 1979—1980 гг. // ИМКУ. Вып. 18. 1983.
- Бартольд В. В.* Согд // *Бартольд В. В.* Сочинения в 9 т. Т. 3. М., 1965.
- Бетгер Е. К.* Извлечение из книги «Пути и страны» Абу-л-Касыма Ибн-Хаукаля // ТСАГУ. Вып. 111. 1957.
- Билалов А. И.* Из истории ирригации Уструшаны // Материальная культура Уструшаны. Вып. 4. Душанбе, 1980.
- Буряков Ю. Ф.* Некоторые материалы к исторической топографии шахристана Самарканда // Афрасиаб. Вып. 3. Ташкент, 1974.
- Валиев А.* Древнейшие этапы формирования антропогенных ландшафтов Сурхандарьинской котловины // Бактрийские древности. Л., 1976.
- Гафуров Б. Г.* Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Т. I. Душанбе, 1989.
- Гумилев Л. Н.* История колебания уровня Каспия за 2000 лет (с IV в. до н. э. по XVI в. н. э.) // Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене. М., 1980.
- Донцова З. К.* Некоторые особенности садоводства и виноградарства Кашкадарьинской области // ТСАГУ. НС. Географические науки. Вып. 80. Кн. 8. 1956.
- Ермолова Н. М.* Костные остатки из памятников эпохи раннего железного века юга Узбекистана // Сагдуллаев А. С. Усадьбы древней Бактрии. Ташкент, 1987.
- Зеймаль Т. И.* Древние и средневековые каналы Вахшской долины // СНВ. Вып. X. 1971.
- Кашкадарьинская область.* Том I. Кн. 14: Природа // ТСАГУ. НС. Географические науки. Вып. 155. 1959.
- Кругликова И. Т.* Десять лет работы Советско-Афганской экспедиции // КСИА. Вып. 180. 1984.
- Латынин Б. А.* Некоторые вопросы методики изучения истории ирригации Средней Азии // СА. 1959. № 3.
- Лобач Х. С.* Животноводство Кашкадарьинской области // ТСАГУ. НС. Географические науки. Вып. 80. Кн. 8. 1956.
- Массон В. М.* Зар-тепе — кушанский город в Северной Бактрии // История и культура античного мира. М., 1977.
- Мухамеджанов А. Р., Адылов Ш. Т., Мирзаахмедов Д. К., Семенов Г. Л.* Городище Пайкенд. К проблеме изучения средневекового города Средней Азии. Ташкент, 1988.
- Орлов М. А.* Почвы Кашкадарьинской области // ТСАГУ. НС. Географические науки. Вып. 80. Кн. 8. 1956.
- Пославская О.* В горах Южного Узбекистана. Ташкент, 1987.
- Ртвеладзе Э. В., Хакимов З. А.* Маршрутные исследования памятников Северной Бактрии // Из истории античной культуры Узбекистана. Ташкент, 1973.
- Ртвеладзе Э. В.* О численности населения кушанских населенных пунктов Северной Бактрии // История и археология Средней Азии. Ашхабад, 1978.
- Сагдуллаев А. С.* Памятники материальной культуры Южного Согда эпохи железного века // Культура юга Узбекистана в древности и средневековье. Ташкент, 1987.
- Сарианиди В. И., Ходжаниязов Т. Х.* Продолжение работ на Тилля-тепе // КСИА. Вып. 162. 1980.
- Шульц В. Л.* Реки Средней Азии. Ч. 1. Л., 1963.
- Шульц В. Л., Шаталова Л. И.* Режим рек и распределительный характер речного стока на территории бассейна Кашкадарьи // ТСАГУ. НС. Географические науки. Вып. 80. Кн. 8. 1956.

ПАРФИЯ И ГИРКАНИЯ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
(О «ГИРКАНСКОМ» МЯТЕЖЕ I В. Н. Э.)

Начиная с ахеменидского времени, Парфия (Партава) и Гиркания (Вркана) упоминаются как две взаимосвязанные области. У многих древних авторов они рассматриваются как одно целое, причем в роли доминирующего компонента выступает Парфия. В Ахеменидском государстве существовала иерархия административных единиц. Наиболее крупной дефиницией был податный округ, часто включавший в свой состав несколько сатрапий. Затем следовали сатрапии, по тем или иным причинам игравшие важную роль в жизни государства, причем эта роль не обязательно определялась размерами или экономическим потенциалом. К числу таких областей относится Парфия, по словам Страбона, небольшая и бедная страна.

О причинах частого упоминания Парфии и парфян в надписях ахеменидских царей можно только гадать. Возможно, это было обусловлено важным стратегическим положением области, выполнявшей роль моста между западным и восточным Ираном. Вес парфянам могла придавать их принадлежность к западноиранским племенам. Наконец, престиж Парфии мог объясняться ее связью с правящей династией. По сообщению Бехистунской надписи, при Дарии I она находилась под управлением его отца Виштаспы.

Гиркания по своему политическому значению уступала Парфии. Ее можно относить к сатрапиям второго порядка, которые не удостоивались упоминания в общем перечне стран, подчинявшихся «царю царей». В этом отношении она сходна с Маргианой (Маргуш), которая в документах ахеменидского времени фигурирует как составная часть Бактрии. Гиркания в административном отношении обычно рассматривалась как часть Парфии. Причины этого объединения, вероятно, были чисто географические. Археологические исследования показывают, что по облику своей материальной культуры Гиркания ближе к Мидии, но последняя по своим размерам и так была огромна. Вероятно, по этой причине ахеменидские администраторы с целью создания относительно соразмерных структурных единиц предпочли объединить Гирканию с Парфией. Это единое административное управление в дальнейшем, видимо, способствовало реальному сближению населения этих сатрапий.

В период господства греков и македонян административное положение Гиркании не изменилось. Она по-прежнему составляла единое целое с Парфией. В греческой надписи, найденной в Гиркании, упоминается Андрагор, который по нарративным источникам больше известен как правитель Парфии. После образования Аршакидского государства, которое первоначально возникло именно как Парфянское царство, Гиркания, видимо, продолжала рассматриваться как составная часть Партавы, даже после того, как Аршакиды превратили свое государство в огромную империю. Подтверждением этому может служить отсутствие в Гиркании собственного монетного двора.

В источниках, освещающих раннюю историю Аршакидов, Гиркания упоминается редко. Для периода образования государства сообщается только, что после захвата Партавы Аршакиды вскоре овладели и Гирканией. Подобная ситуация представляется вполне естественной, если предполагать, что основной базой апарнов (племени, породившего Аршакидскую династию) были Нижний Узбой и Балхан. Как показывают исторические исследования, кочевые племена, базировавшиеся в указанных местах, всегда стремились овладеть низовьями Атрека и Горгана, предоставлявшими лучшие условия для зимовок.

В римской историографии в связке Парфия-Гиркания ведущую роль начинает играть Гиркания, точнее, Парфия-Партава исчезает из исторических повествований. Прологом к этому служит уже «География» Страбона, где Парфия и Гиркания рассматриваются как равнозначные области, и высказывается мнение о принадлежности Нисайи к Гиркании. В этих заметках нет возможности заниматься проблемой локализации Нисайи, но ее связь с Гирканией при любых вариантах представляется довольно странной.

Особая роль Гиркании отводится в сочинениях Тацита и Иосифа Флавия, наших основных источников по истории Парфии I—II вв. н. э., Партава в них вообще не фигурирует, а Гиркания играет важную политическую роль. В начале I в. н. э. она явилась опорной базой для Артабана II, а затем послужила оплотом Готарза во время его борьбы с Варданом. В третьей четверти I в. н. э. Гиркания становится центром сепаратизма, шлет послов в Рим, рассчитывая на поддержку в борьбе

за независимость. Эта ситуация представляется феноменальной: область, в течение многих столетий бывшая опорой династии, выходит из повиновения.

Судя по римским источникам, восстание было успешным, и должны быть материальные следы существования «независимой» Гиркании. В условиях политической жизни того времени, одним из важнейших символов независимости была самостоятельная монетная чеканка. Но таковая в Гиркании отсутствует.

В этих условиях попытаемся дать иную интерпретацию указанным сообщениям. Совместное правление Фраатака и Музы положило начало глубокому кризису в парфянском обществе. В правящем его слое выявились две основные политические силы. Одна партия делала ставку на сохранение трона за прямыми потомками линии Синатрука, уже долгие годы жившими в Риме. Эта партия вольно или невольно ориентировалась на сотрудничество с Римом. Однако правление Ванона, с его откровенно проримской политикой, вызвало сопротивление консервативной части общества, ратовавшей за сохранение иранских, парфянских ценностей. Ее ставленником стал Артабан II. Борьба была ожесточенной, но, в конечном счете, победили сторонники Артабана. Платой за победу стали значительные уступки региональным кланам, поддержавшим нового правителя. При Артабане, видимо, был нарушен основной принцип аршакидского правления. Со времен своего образования Аршакидское государство воспринималось как единое и неделимое наследие Аршака Основателя. Поэтому во всех предшествующих внутренних усобицах претенденты всегда сражались до последнего, раздел государства на части считался принципиально невозможным.

При Артабане этот принцип, вероятно, продолжал провозглашаться, но реально Парфия из централизованного государства превратилась в конфедерацию. Практически все восточные области вышли из беспрекословного повиновения парфянскому царю царей и стали проявлять политическую самостоятельность. Особенно наглядно это прослеживается в нумизматических материалах. До правления Фраата IV включительно по всему государству работали монетные дворы, чеканившие денежные знаки с портретом верховного правителя. Самостоятельный чекан имели лишь некоторые полунезависимые царства, считавшиеся союзниками Аршакидов.

С начала I в. н. э. ситуация резко изменилась. Чеканка монет общегосударственного образца сосредотачивается практически на двух дворах. В Селевкии чеканят тетрадрахмы, в Экбатане — драхмы. Большинство восточных монетных дворов прекращает свое существование. В Сакастене и Арахозии род Сурена, представители которого ранее повязывали диадему вновь избранному царю царей, создали самостоятельное политическое образование — царство Гондофара, чеканившее собственную серебряную монету. Где-то в восточных, вероятно, приамударьинских областях империи сначала происходит надчеканка монет Фраата IV, а затем выпускаются имитации его монет с ложными надчеканами. Правители Мерва не решаются чеканить серебряную монету, но на бронзовых заявляют о своем царском достоинстве и даже иногда именуют себя «царями царей». Монетные выпуски Партавы также приобретают черты своеобразия. На западе также появляются новые полусамостоятельные царства — Месена и Адиабена. Все это свидетельствует о том, что реальная власть «царя царей» распространялась только на Мидию и Месопотамию. Примечательно, что в некоторых сасанидских источниках под Парфией понимается именно Мидия.

В условиях этой повсеместной демонстрации суверенитета Гиркания, о мятежности которой сообщают римские источники, собственной монеты не чеканит. Почему? Возможно, это обусловлено ее теснейшей связью с Партавой. С давних времен эти области в административном отношении воспринимались как одно целое. В ахеменидский и раннепарфянский периоды ведущую роль в этом объединении играла Партава. В римской историографии предпочтение отдано Гиркании. Одной из причин этой метаморфозы могло стать неудобство приложения одного названия и к империи, противостоявшей Риму, и к небольшой области, входившей в состав этой империи. Греки из данного затруднения пытались выйти с помощью использования разных окончаний. В отличие от «Большой Парфии», область коренного обитания парфян пытались называть Парфиеной, а ее жителей — парфиями. Но это не решало полностью проблемы, и когда в Рим прибыла делегация из коренной Парфии, добивавшейся автономии в рамках парфянской конфедерации, противоречие этих терминов стало особенно нетерпимым, и на Партаву было перенесено название тесно связанной с ней Гиркании.

Попытаемся найти этому объяснению подтверждение в сохранившихся источниках. Первый и наиболее важный аргумент уже приводился. Претензии на автономию, или независимость, в те времена обычно подкреплялись самостоятельным монетным чеканом. В Гиркании его нет, а в Партаве — есть. Причем здесь, в отличие от Маргианы, пытались чеканить не только бронзовую, но и серебряную монету. Следует обратить внимание, что качество монет, чеканенных в Нисе и

Митридаткерте, резко ухудшается. Это свидетельствует о том, что связи с центральной властью, которая обеспечивала свои монетные дворы профессиональными резчиками монетных штемпелей, были прерваны.

Раскопки Старой Нисы и изучение найденных на этом памятнике парфянских письменных документов свидетельствуют, что к началу I в. н. э. царская администрация, занимавшаяся управлением местного династического комплекса, неожиданно прекращает свою деятельность.

Тацит сообщает, что после посещения Рима гирканское посольство было препровождено римлянами до Красного моря для того, чтобы оно имело возможность вернуться на родину в обход парфянских владений. Интерпретация данного сообщения вызывает затруднения у современных историков. Представляется странным — каким образом это могло способствовать благополучному возвращению в Гирканию, с юга и востока окруженную владениями, которые были верны аршакидскому царю царей. Но, если под мятежной провинцией понимать Гирканию вместе с Партавой, то смысл этой фразы становится более понятным и приемлемым. Партава на юге граничила с обширной пустыней и через нее с Карманией. Безусловное подчинение последней парфянам не доказано, во всяком случае, следует принимать во внимание, что от их владений она была отделена полунезависимым Парсом. Из Кармании гирканская делегация по хорошо известному торговому пути относительно спокойно могла достигнуть Партавы.

Это сепаратистское движение в Гиркании-Партаве, как правильно заметил М. Ольбрыхт, проходило при активном участии кочевников (дахов или уже аланов). Косвенным указанием на это может служить совершенно «варварский» вид партавских монет третьей четверти I в. н. э. Они выпускались в условиях упадка прежних культурных традиций.

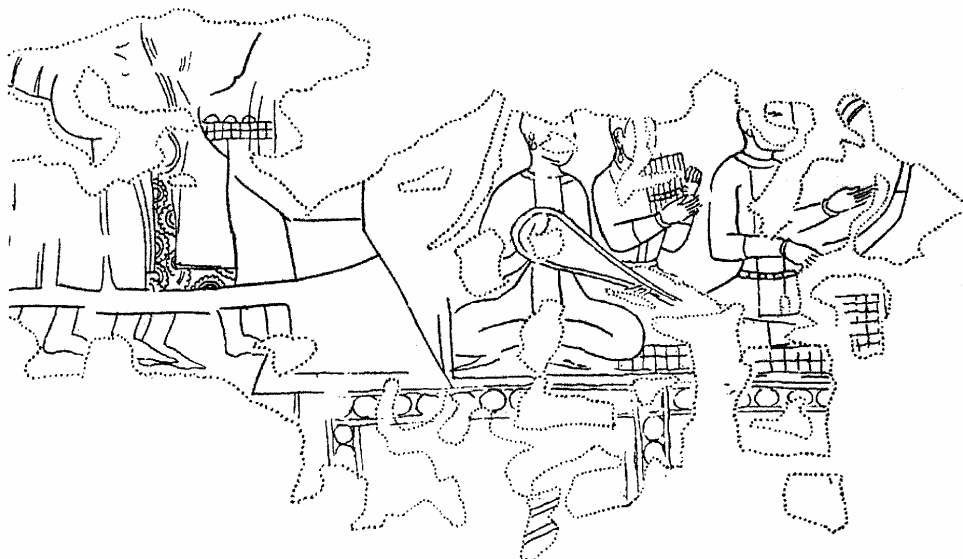
Конец этим сепаратистским устремлениям, вероятно, положил Вологез I. Монетные дворы в Нисе и Митридаткерте были закрыты, а мятежная область, надо полагать, значительно урезана в размерах. Западные ее районы (Гиркания и Кумис) могли отойти под управление Мидии, а Серахс и восточная часть подгорной полосы Копетдага переподчинены более лояльным царям Мерва. Эти административные переделы, возможно, нашли отражение на карте Птолемея, где не только подгорная полоса Копетдага, но и вся территория до Каспийского моря включена в состав Маргианы.

МНОГОСТВОЛЬНАЯ ФЛЕЙТА ДРЕВНЕГО ПЕНДЖИКЕНТА

Из общего количества памятников искусства раннего средневековья, обнаруженных в Пенджикенте, небольшом согдийском городе на левом берегу реки Заравшан (в 68 км от Самарканда), первое место принадлежит настенной живописи. В частности, фрагмент росписи, открытый в помещении 13 объекта VI, представляет собой изображение инструментального ансамбля. Это помещение, раскопанное в 1953 г., «значительно отличается своей планировкой от других помещений с росписями... Южная часть его возвышается в виде невысокой “эстрады”... Наличие возвышения типа эстрады... позволяет думать, что оно имело какое-то особое назначение. Вполне вероятно, что оно было предназначено для проведения каких-то театрализованных действий, музыкальных или танцевальных представлений... На северной стене росписи сохранились на сравнительно крупном участке... Несмотря на малоудовлетворительное состояние росписей этого участка, их содержание восстанавливается достаточно ясно. Здесь можно установить наличие двух сцен, видимо, не связанных между собой по содержанию. На первой из них (справа) изображена группа музыкантов, состоящая из трех человек. Форма двух инструментов не вызывает сомнений. Один из них струнный инструмент типа лютни», но с сильно удлинненным корпусом, постепенно суживающимся в верхней части. «Другой... своеобразный тип арфы» [Беленицкий, 1959] — «инструмента, который совсем не характерен для Средней Азии. Это так называемая дуговая арфа, распространенная в странах Юго-Восточной Азии» [Вызго 1980]. «Форма третьего инструмента не ясна... он, по-видимому, принадлежит по типу к флейте Пана» [Беленицкий 1959].

Название этого инструмента — «флейта Пана» — восходит к древнегреческому мифу о боге Пане и нимфе Сиринге, превращенной в тростник, из которого Пан сделал пастушескую флейту, соединив несколько тростниковых трубочек при помощи воска, которую и назвал *сиринкс* («свирель»). Согласно принятой в современном инструментоведении классификации музыкальных инструментов Э. Хорнбостеля и К. Закса, флейтой Пана называют собственно аэрофоны, т. е. такие духовые музыкальные инструменты, в которых колеблющийся столб воздуха ограничен самим инструментом. Они представляют собой набор N-ого количества различно настроенных продольных флейт, соединенных в один инструмент — многоствольную флейту. Флейты, входящие в такой набор, в отличие от собственно продольных флейт, не имеют грифных отверстий. Из каждой такой флейты можно извлечь только один звук. Исполнитель направляет струю воздуха на острый край верхнего отверстия трубки — «дульца». Струя воздуха, рассекаемая острым краем стенки ствола, и создает колебания заключенного в нем воздушного столба. Дульце, как правило, имеет горизонтальный срез, но иногда, как, например, у литовского *скудучай* — инструмента, родственного флейте Пана, — серповидную форму. Продольные флейты, образующие флейту Пана, соединяются друг с другом тремя основными способами: в один, два ряда и в форме пучка, в соответствии с которыми подразделяются на два вида: однорядные или двухрядные плотовые и пучковые флейты. Самую длинную продольную флейту, находящуюся в середине, окружают другие, постепенно укорачивающиеся по длине. Форма плотовых флейт в основном скошенная, напоминающая крыло птицы, реже — прямоугольная и (как у современного молдавского *ная*) дугобразная. Продольные флейты соединяются между собой при помощи разнообразных по форме завязок, склеиваются смолой или воском, или, как стволы китайской многоствольной флейты *пайсяо*, вставляются в специальную подставку, а иногда просто удерживаются рукой или руками исполнителя (например, *кугиклы* — русская пятиствольная флейта). Продольные инструменты, образующие флейту многоствольную, могут состоять из набора закрытых, имеющих т. н. «дно», флейт, и открытых — не имеющих такового, или же комбинированного набора, состоящего из открытых и закрытых флейт.

Многоствольная флейта — это аэрофон, нехарактерный для Средней Азии. Тем не менее, его изображения встречаются на ритонах из Старой Нисы. Их анализ дал возможность сделать следующие выводы: «Парфянские многоствольные флейты II в. до н. э. представляли собой пяти-, семиствольные флейты, которые состояли из закрытых продольных флейт, подобранных параллельно в ряд и соединенных между собой завязками в двух местах в форме плота. Трубки закрытых продольных флейт при одинаковой длине имели разную глубину внутренних каналов, что давало возможность флейтистам Парфии исполнять разнообразную в ладовом отношении музыку...» [Платонов 1999].



Фрагмент стенной росписи из помещения VI/13 Пенджикента

Музыкальный инструментарий пенджикентских росписей представляет собой редкий для искусства Средней Азии пример воздействия на него музыкальной культуры не Парфии, а Восточного Туркестана. И здесь «можно говорить не только об общности, но иногда даже о полном тождестве музыкальных инструментов» [Вызго 1980]. Если арфа и лютия восточнотуркестанских росписей напоминают нам пенджикентские инструменты, то и многоствольная флейта Пенджикента вряд ли могла сильно отличаться от аэрофонов Восточного Туркестана. Многоствольные флейты, изображенные на ритонах из Старой Нисы, представлены только одним видом: плотовыми пяти- и семиствольными инструментами прямоугольной формы. Многоствольные флейты Восточного Туркестана гораздо разнообразнее, что отражено в хотанских терракотах II—III вв. н. э., где представлены все виды известных нам многоствольных флейт: плотовые в форме скошенного плота, состоящие из пяти или шести продольных флейт; плотовые в форме прямоугольника, состоящие из трех-шести (?) продольных флейт одинаковой длины, но с разной глубиной внутренних каналов; наконец, многоствольные флейты в форме пучка [Дьяконова, Сорокин 1960; Кибирова 1996].

Какой же инструмент изображен на рассматриваемой пенджикентской росписи? В том, что это аэрофон, не может быть никаких сомнений: видно, что «музыкант держит его у рта» [Беленицкий 1959], где можно держать только инструменты семейства щипковых варганов, либо флейты. В нашем случае это, конечно же, флейта. Основным конститутивным признаком многоствольной флейты является политоновость. Он является общим как для многоствольных флейт эпохи неолита, так и для согдийских и современных аэрофонов этого типа. На росписи музыкант, находящийся в центре, держит двумя руками семь связанных между собой продольных флейт, образующих плотовую, однорядную семиствольную флейту. Форма плота, к сожалению, не поддается определению, так как нижняя часть инструмента перекрыта рукой исполнителя. Возможно, он прямоугольный, но нельзя исключать и его скошенной формы. По рисунку также нельзя определить, какую многоствольную флейту изобразил неизвестный живописец, — открытую или закрытую.

Таким образом, в свете всего вышесказанного мы можем предложить пока только такую атрибуцию пенджикентского аэрофона начала VIII в.: это многоствольная плотовая флейта — лабиальный (губной) аэрофон, сконструированный в форме плота, состоящего из семи связанных между собой и различно настроенных продольных флейт.

Библиография

- Вызго Т. С. Музыкальные инструменты Средней Азии. Исторические очерки. М., 1980.
 Беленицкий А. М. (ред.). Скульптура и живопись древнего Пенджикента. М., 1959.
 Дьяконова Н. В., Сорокин С. С. Хотанские древности. Л., 1960.
 Кибирова С. Н. Музыкальные сюжеты в терракоте древнего Хотана // Традиционная музыка Азии. Алматы, 1996.

Платонов В. Ф. Парфянские многоствольные флейты на ритонах из Старой Нисы // Изучение культурного наследия Востока. СПб., 1999.

К ИСТОРИИ КАМПЫРТЕПА (АЛЕКСАНДРИИ ОКСИАНСКОЙ)

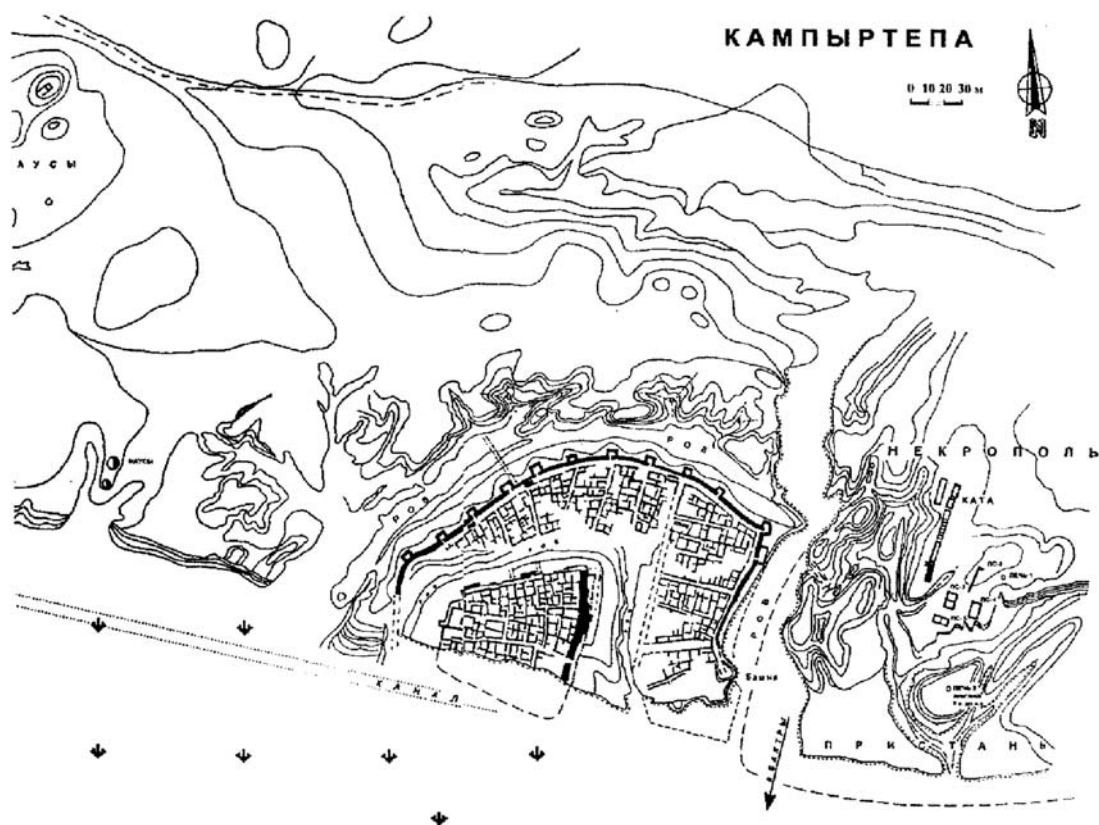
Кампыртепа принадлежит к числу наиболее исследованных археологических памятников Средней Азии [см.: МТЭ. Вып. 1—3. 2000—2002]. В ходе его изучения впервые удалось выявить полную планировку городища кушанской эпохи, его градостроительную и социальную структуру, периодизацию и функциональные изменения. Также были получены интереснейшие материалы по материальной и художественной культуре его населения. Самый ранний населенный пункт на месте Кампыртепа возник в конце IV в. до н. э., после прекращения жизни на крепости ахеменидского времени Шортепа, расположенной в 500 м к западу от Кампыртепа и разрушенной при вторжении Александра Македонского. Пока неясно, что представлял собой Кампыртепа в конце IV в. до н. э. В его самом нижнем слое, с внешней стороны восточной стены цитадели, у ее подошвы, были открыты несколько больших параллельных друг другу, помещений, сложенных из сырцового кирпича размерами 50×41×10 см, с керамикой периода КТ-1, причем их стены прорезаны рвом, выкопанном, вероятно, в III в. до н. э. Остается неясным, что представляли из себя эти помещения (портовые сооружения?), и были ли они возведены одновременно с оборонительной стеной цитадели, или же та была построена несколько позднее.

При Селевкидах и греко-бактрийском правлении Кампыртепа состоял из крепости — арка (верхнего города) и расположенного у ее подножия с южной стороны, в пойме Окса (Амударьи), нижнего города, от которого сейчас почти ничего не осталось. К востоку от крепости находилась гончарная мастерская. Оборонительная стена крепости была возведена на краю высокой террасы на очень плотном материке. Она состояла из основной стены шириной 5 м и выступающей вперед на 5,5 м бермы высотой 1,8 м. В основании стена до высоты бермы сложена из сырцового кирпича 41×41×12 см, 42×42×12 см, тогда как выше — из кирпича 38×38×11—12 см. Внешний восточный край бермы представлял собой подрубленный материк-ступень высотой 1,8 м, далее шла ровная площадка длиной 4,5 м, заканчивающаяся второй ступенью подрубленного материка высотой 1 м, далее — еще одна ровная площадка длиной 6 м, заканчивающаяся третьей ступенью, являющейся стеной рва. Первый период возведения стены датируется концом IV — началом III в. до н. э. В юго-восточном углу крепости выявлены ворота шириной 1,2 м, защищенные с двух сторон мощными предвратными башнями. Южная башня, прямоугольная в плане (6,1×3,5 м), сохранилась на высоту 1,6 м, контуры северной башни выявлены пока лишь с одной стороны. Она возведена из того же кирпича 41×41×12 см, 42×42×12 см, что и в основании стены. Во второй период нижняя площадка этого места начинает обживаться, что выразилось в накоплении здесь культурного слоя толщиной 1 м с двумя хумами. В верхнем слое этого периода найден халк Евтидема (230—200 г. до н. э.) с высоким рельефом изображения, свидетельствующим о том, что он вышел из обращения, скорее всего, во время его правления. Комплекс керамики из этого слоя также раннеэллинистический, не позднее III в. до н. э. В третий период (первая половина II в. до н. э.) на этих двух площадках были возведены помещения из сырцового кирпича того же размера (38×38×12 см), что и в оборонительной стене второго этапа строительства. Назначение этих помещений между стеной и рвом перед воротами, неясно (предвратный комплекс?). Такого рода мощная фортификационная система конца IV — начала III вв. до н. э. не обнаружена ни в Термезе, ни в Ай-Ханум, ни где-то еще в долине Окса, и поэтому есть веские основания полагать, что именно на месте Кампыртепа, располагалась Александрия Оксианская, упомянутая Птолемеем и другими античными источниками.

При юечжах оборонительная система Кампыртепа приходит в упадок — южная предвратная башня была превращена в хумхану, у стен были возведены жилые помещения. Затем, в I в. до н. э. крепость захватывают парфяне, возможно, при Ороде II (57—37 гг. до н. э.), о чем свидетельствуют находки более 10 парфянских халков. Однако существовала ли в это время стена — пока неясно, на ее сохранившейся плоскости найден комплекс керамики с подражанием оболам Евкратиды, находившимся в обращении с конца II в. до н. э. до середины I в. н. э.

По данным нумизматики, кушаны завоевали Кампыртепа при Сотере Мегасе (Виме Такто), в процессе их общего наступления с юга, из Кабулистана и Гандхары на север. Монет Куджулы Кадфиза, во множестве найденных в тех областях, не найдено ни на Кампыртепа, ни на других городищах Северной Бактрии.

Город включал в себя следующие структурные части:



План городища Кампыртепа. Составитель Э. В. Ртвеладзе

а) цитадель, утратившую при Кушанах (Кадфизе II и Канишке) первоначальные военно-административные функции и превратившуюся в огромный жилой и складской комплекс, в котором хранились запасы продовольствия для obsługi проходивших к переправе караванов;

б) жилой комплекс — «верхний» город, обведенный мощной крепостной стеной с прямоугольными башнями и состоявший из одиннадцати блоков-домов (каждый из которых насчитывал 20—30 помещений), разделенных между собой улицами-галереями шириной 1,2—1,5 м. Не исключено, что таких домов-блоков (по-видимому, подобных домам большой патриархальной семьи, известным по документам из Топрак-калы) было больше, так как южная часть городища смыта;

в) «пригородную» часть, состоявшую из двух больших некрополей — восточного и западного, включавших погребальные постройки (*ката, наусы*) зороастрийского характера;

г) «нижний» город (условно названного нами также пристанью) торгово-ремесленного назначения, который располагался непосредственно в пойме Амударьи; судя по данным шурфов на сохранившемся его участке, эта территория стала обживаться после греко-бактрийского времени, в середине или во второй половине II в. до н. э.

Систематические археологические исследования позволяют в деталях восстановить облик материальной и художественной культуры, быт и хозяйство жителей Кампыртепа. Отсутствие слоев после времени Канишки и наличие большого числа монет в культурных отложениях позволяет теперь датировать, к примеру, керамические комплексы временем правления одного царя, а это, в свою очередь, делает Кампыртепа эталонным памятником для датировки находок кушанского периода. Эти же исследования выявили функциональные изменения города в процессе его исторического развития. Если первоначально это была мощная крепость, возведенная эллинистическими правителями Бактрии на важнейшей тогда переправе через Окс, на дороге из Бактр в Мараканду (Самарканд), то в кушанское время ее функции изменились. Она превращается в своеобразный пункт таможенного надзора и торгово-складского назначения для обслуживания караванов. Об этом свидетельствуют структурные изменения, большое количество помещений с хумами и огромное количество монет — более 500 экз. — это больше, чем на любом кушанском городище Бактрии, даже превосходящих Кампыртепа в размерах.

Город погибает при Канишке в середине II в. и больше не обживается. Причиной этого, вероятно, стал разлив Амударьи, смывший «нижний» город и нижнюю часть «верхнего» города.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ В МАРГАНИИ

Весной 328 г. до н. э. войско Александра, перейдя реки Ох и Окс, прибыло к городу в области Маргания. «Поблизости были выбраны места для основания шести крепостей, для двух из них — к югу, для четырех — к востоку от этого города, на близком расстоянии друг от друга, чтобы не искать далеко взаимной помощи. Все они были расположены на высоких холмах; прежде как узда для покоренных племен, ныне, забыв о своем происхождении, они служат тем, над кем когда-то господствовали» (Курций Руф VII, 10, 15). Еще в XVI в. было высказано мнение, что Маргания — это известная область Маргиана в дельте р. Мургаб (Мервский оазис). Мнение это, повторяясь вновь и вновь, постепенно превратилось в расхожую истину, хотя, следует признать, оснований для подобного отождествления не так уж много.

Как обычно бывает в тех случаях, когда основным, если не единственным источником информации являются только тексты древних авторов, в среде ученых по поводу местонахождения Маргании возникла разногласица мнений, связанная, прежде всего, с определением места переправы через Ох и Окс армии Александра весной 328 г. до н. э. В результате были названы, пожалуй, все переправы — от Чарджоу до впадения р. Кокча в р. Пяндж, более того, ввиду бесперспективности зашедшей в тупик дискуссии, была поставлена под сомнение достоверность информации Курция Руфа. Все это нашло отражение в недавней обобщающей статье Г. А. Кошеленко, В. А. Гаибова и А. Н. Бадера «Александр Македонский в Маргиане»¹. В полемике с И. Н. Хлопиным, ее авторы вновь подвергли тщательнейшему анализу все виды источников, и, казалось бы, поставили точку в нескончаемом споре: город в Маргании-Маргинии-Маргиане — это Эрк-кала (Мерв), река Ох — Келифский Узбой. Но уже через год, в 2001 г. выходит в свет статья Ф. Грене и К. Рапена², вновь возродившая дискуссию о местонахождении Маргании и шести крепостей, построенных там Александром. Авторы попытались найти некий компромисс мнений А. Б. Босворта и П. Бернара. По А. Б. Босворту, армия Александра переправлялась сначала через реку Ох/Кундуз, там, где позже возникает Айханум, затем через реку Окс/Пяндж; следовательно, Марганию надо искать где-то между Айханум и «Железными воротами» у Дербента, может быть, в долинах рек Вахш или Кафирниган. П. Бернар полагает, что Александр в 328 г. до н. э. избрал более прямой маршрут из Бактр в Мараканду, переправившись через Окс/Амударью или в Келифе, или восточнее, но не дальше Термеза; название области Маргания-Маргиния должно означать именно Маргиану с центром в Мерве, об основании которого Александром писал Плиний Старший.

Не отрицая возможность военных действий в Мервском оазисе, Ф. Грене и К. Рапен вновь обращают внимание на тот очевидный факт, что ключом к решению проблемы является точное определение места переправы армии через реки Ох и Окс. Они провели детальный анализ происхождения названий рек Окс и Ох, в результате чего Окс отождествляется с правым истоком Амударьи — рекой Вахш, а Ох соответствует ее левому истоку — реке Пяндж. Древнее название Пянджа реконструируется как Вах и сохранилось в имени левой, основной составляющей — Вахандарья, которая, сливаясь с р. Памир, образует Пяндж. Впрочем, по данным Н. А. Аристовой, прежде вся река Пяндж, вплоть до слияния с Вахшем, называлась Вахан. Важно подчеркнуть, что отождествления Окс = Вахш и Ох = Пяндж ни в чем не противоречат информации об этих реках, содержащейся в «Географии» Страбона. Как следует из доводов Ф. Грене и К. Рапена, переправа войск Александра через Ох/Пяндж должна была происходить в районе порта Шерхан, западнее г. Имамсахиб; через Окс/Вахш — возле городища Тахти-Сангин. Отсюда Александр с частью армии пришел в Марганию, городу которой, по мнению авторов, соответствует Термез, а четыре из шести крепостей располагались на месте Фаязтепа, Каратепе, Чингизтепа 1 и Чингизтепа 2. Таким образом, Маргания — «Луговая страна» — это обозначение местности вокруг Термеза, а сам Термез — «брод, место переправы» — город Маргании, где Александр, как предполагают (вслед за У. Тарном) Ф. Грене и К. Рапен, основал Александрию Оксианскую.

До попытки отождествления района Термеза с Марганией, доводы Ф. Грене и К. Рапена вполне логичны и последовательны, но последующие рассуждения не представляются убедительными и вызывают нарекания в среде археологов, особенно тех, кто ведет раскопки на городище

¹ Кошеленко Г. А., Гаилов В. А., Бадер А. Н. Александр Македонский в Маргиане // ВДИ. 2000. № 1. С. 3—15.

² Grenet F., Rapin C. Alexander, Ai Khanum, Termez: Remarks on the Spring Campaign of 328 // BAI. NS. Vol. 12 (1998). 2001. P. 79—89.

Старого Термеза. Тем не менее, мы должны быть благодарны Ф. Грене и К. Рапену за блестящий анализ всех имевшихся в их распоряжении видов источников, попытку синтеза самых разнообразных и, порой, взаимоисключающих точек зрения, а, самое главное, за возрождение интереса к, казалось бы, исчерпавшей себя и закрытой для дискуссий теме. Более того, авторы, как кажется, ближе всех подошли к решению вопроса о локализации Маргании.

Таким образом, как представляется автору этих строк, суть проблемы заключается в следующей триаде возможных идентификаций:

1. Маргания идентична Маргиане в долине р. Мургаб — т. е. Мервскому оазису.
2. Маргания располагалась в округе современного г. Термез.
3. Существовали две почти одноименные области — Маргиана в Мервском оазисе и Маргания в правобережье Амударьи, причем сообщение Курция Руфа относится ко второй из них.

В обоснование третьей точки зрения, нужно вспомнить, что топоним «марг» — «луг» — иранского происхождения и имеет самое широкое распространение не только в долине р. Мургаб и Фергане (Маргинан/Маргелан), но и в верховьях р. Зерафшан, и, вероятно, отражен в названиях местности Маймург между Бухарой и Несефом (Карши) и владения Маймург к югу от Самарканда (Ургутский район). На территории последнего в 730—731 гг. произошло крупное сражение, и, в этой связи ат-Табари упоминает рустак ал-Мургаб, надо понимать, Маймург. Китайские хроники дают нам поразительные примеры переноса реальных исторических событий из Мерва (Му) в тот же самаркандский Маймург (Ми). Не был ли таким же образом введен в заблуждение и Плиний Старший, писавший об основании Мерва Александром Македонским? Положение усугубляется еще и тем, что свой Маймург существовал и где-то в Сурхандарьинской области, на правом берегу Амударьи: в XII в. ас-Самани упоминает местность Маймург; Йакут называет его городом. В такой, казалось бы, безнадежной ситуации выход видится только в привлечении данных археологических исследований, однако результаты многолетних работ как в Мервском оазисе, так и в Старом Термезе оптимизма не прибавили. Ни одной из шести крепостей там обнаружить до сих пор так и не удалось, отчего исследователи стали искать скрытый смысл в информации Курция Руфа: Александр, выбирая места для будущих укрепленных объектов, якобы только предполагал возвести здесь укрепления, но позже необходимость в этом отпала.

Однако в 2001 г. вскользь промелькнуло сообщение о выявлении слоев конца IV — начала III вв. до н. э. в шурфе в южной части кушанской крепости Поенкурбан, расположенной в 5 км к югу от г. Байсун [Абдуллаев 2001]. В 2003 г. в 7 км к югу от Поенкурбана, на том же, правом берегу Байсунсая (Бандыхансая) была обнаружена круглая в плане крепость конца IV — начала III вв. до н. э. — Курганзол (диаметр — 35 м, высота — 3,5 м). Раскопки выявили два уровня полов и связанные с ними остатки стен (периоды 1 и 2), перекрытые двумя слоями культурных напластований того времени, когда крепость уже не использовалась по прямому назначению и, по сути, была заброшена (периоды 3 и 4). Терраса к северу от крепости на площади около 1 га несет следы обживания, вскрытый здесь культурный слой достигает 40—50 см. Керамический материал с полов Курганзола идентичен комплексу «переходного периода» Джигатепе в Северном Афганистане конца IV — начала III вв. до н. э. [Пидаев 1984]. Материалы с двух верхних, крошащихся уровней Курганзола по всем признакам относятся к так называемому комплексу «айханумского» типа раннего этапа (первой половины — середины III в. до н. э.). Примечательно, что в Средней Азии памятники, располагающиеся материалами «переходного периода», впервые выделенного Ш. Р. Пидаевым 30 лет назад на Джигатепе, исчисляются единицами: это Курганзол в Бактрии и Коктепа в Самаркандском Согде [Исамиддинов 2002]. Имеется некоторое сходство с комплексом периода 1 Кумышкенттепа, отдельные признаки улавливаются в смешанных материалах из Ходжента и Нуртепа в Северном Таджикистане. Вряд ли можно сомневаться в наличии керамики конца IV в. до н. э. на городищах Тахти Сангин и Тахти Кубад в Южном Таджикистане, однако ни в Ай Ханум, ни в Термезе, ни в Кампыртепа, ни в Мерве ничего подобного обнаружено не было. Основание последних связано, вероятнее всего, с деятельностью Антиоха I. Количество памятников со слоями конца IV в. до н. э. никак не соотносится с известиями о грандиозной строительной деятельности Александра Македонского, что, наверное, относится к области позднейших мифов и легенд. Поскольку избирательность человеческой памяти ориентирована, как это ни прискорбно, более на образ разрушителя, нежели создателя, так и реально возникшие и отстроенные города и селения Средней Азии стали соотноситься не с именами селевкидских и греко-бактрийских правителей, а с личностью Александра. Объективные археологические свидетельства говорят о кризисе жизни в правобережье Амударьи уже в позднеахеменидский период, а те селения, которые продолжили свое существование, были вскоре разорены греческими войсками. Лишь на отдельных из них, как указывалось, имеются при-

наки жизни в конце IV в. до н. э., индикатором чего служит керамический материал «переходного периода», впервые, как уже говорилось выше, выявленный на Джигатепа и теперь обнаруженный в крепости Курганзол. Комплекс демонстрирует симбиоз позднеахеменидских и раннеэллинистических традиций с явным преобладанием первых. Нечто подобное, но в металле, можно видеть на примере знаменитого Амударьинского клада, происходящего, скорее всего, с городища Тахти Кубад (Александрии на Оксе?).

Сейчас материалы из Курганзола и из нижних слоев Поенкурмана являются самыми древними в Байсунском районе, хотя совершенно ясно, что дорога от Шерабада до Дербента функционировала и раньше. Слои VI—IV вв. до н. э. могут быть обнаружены и в Мунчактепа (киш. Мунчак), и в Калаи Хисор (киш. Сайроб), и в Дербенте (Султанкультепа и Капчигайтепа), и во фланкировавших Дербентский проход (Железные ворота) крепостях Узундара (горы Сусистаг) и Мачайкурман (горный массив Сарымас). Но в самой Байсунской предгорной котловине памятников VI—IV вв. до н. э. нет, что ставит под сомнение сложившееся представление о вхождении этой территории в состав Паретаки.

Паретака-Паретакена («Поречье») соотносится с Верхнесурханской котловиной, где располагаются две группы памятников (оазисы — по Э. В. Ртвеладзе): Халкаджарская и Сангардак-Туполангская. Первая группа включает крупный центр Кизилтепа с окружающими его усадьбами, плюс еще три поселения VI—IV вв. до н. э., а также несколько обособленное поселение в киш. Обишир. После исследований 2000—2002 гг. в Денауском районе (Сангардак-Туполанг), кроме известных материалов из нижних слоев городища Халчаян, было найдено еще 13 памятников VI—IV вв. до н. э. [Страйд, Сверчков 2004]. Освоение Верхнесурханской котловины началось еще в эпоху бронзы, причем еще на ранних этапах сапаллинской культуры, — именно здесь складывалась историко-географическая область Паретака.

Первые признаки обживания долины Байсунсая-Бандыхансая (за исключением, разумеется, находок каменного века) зафиксированы только на подступах к Байсунской предгорной котловине, у ее юго-восточной окраины, в пределах современного г. Бандыхан. Здесь, в нижнем слое известного поселения Бандыхан I выявлен комплекс позднего этапа сапаллинской культуры, отделенный от вышележащих слоев периода Яз I прослойкой песка [Сагдуллаев 1978]. К интересующему нас времени, VI—IV вв. до н. э., относятся: верхние слои поселения Бандыхан II (площадь 13 га), в том числе крепость Киндыктепа (40×30 м); Газимуллатепа (Бандыхан III) площадью около 10 га; остатки непонятной двухметровой платформы, сложенной из квадратного сырца размером 30×30×8 см, 32×30×8 см поверх заброшенного поселения Бандыхан I. Хотя стратиграфия и, особенно, хронология комплекса Бандыхан I—III недостаточно разработаны, и существует некоторое противостояние мнений авторов раскопок (Э. В. Ртвеладзе и А. С. Сагдуллаева), в Сурхандарье поселение Бандыхан для периода VI—IV вв. до н. э. является вторым по величине после Кизилтепа и, несомненно, имеет право на отождествление с городом Маргании. В этом случае, маршрут Александра в 328 г. до н. э. представляется следующим образом: переправа через Ох (Вах/Пяндж) и Окс (Вахш) и выход к группе памятников в низовьях р. Кафирниган — Калаи Мир, Мунчактепа и Хирмантепа; переправа через Сурхандарью у кишлака Ходжа, где на правом берегу Бандыхансая, чуть ниже позднесредневекового моста Искандара располагалось крупное поселение VI—IV вв. до н. э.; приход к поселению Бандыхан — «городу Маргании»; далее — путь вверх по Бандыхансаю (Байсунсаю), через проход Кизирикдара сквозь невысокую горную гряду в холмистую местность Байсунской котловины — «область Марганию», где расположены крепость Курганзол и, должно быть, аналогичное сооружение в нижнем слое Поенкурмана.

Наблюдая реконструируемый маршрут — от переправы возле порта Шерхан на юго-востоке до Дербента на северо-западе, мы видим прямую линию, лишённую каких-либо невнятных и петлеобразных отклонений, как было бы в случае с Термезом и тем более Мервом. Укрепление операционной линии от Бандыхана до Дербента обуславливалось постоянной угрозой правому, северо-восточному флангу со стороны беспокойной и сильной Паретаки. Таким образом, тот «Гордиев узел», который представляла собой область правобережья Сурхандарьи, состоявшая из обособленных и полунезависимых владений, был рассечен ясным и логичным ударом в направлении к Железным воротам, к Согдиане, что вполне соответствует стилю и характеру самого Александра.

ДАТИРОВКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАСТЕННОЙ ЖИВОПИСИ ТАВКИ*

Развалины раннесредневекового таможенного пункта Тавка были обнаружены в 1987 г. Э. В. Ртвеладзе южнее Железных ворот, у выхода в долину Шерабадарьи со стороны Согда. Его раскопки проводил в 1989—1993 гг. Ш. А. Рахмонов. Центральным строением таможенного пункта была резиденция его начальника, располагающаяся на вершине скалы. К ней вел пандусный подъем с укрепленными помещениями для небольшого гарнизона. Резиденция двухэтажная. На первом этаже располагались два хранилища, на втором — вестибюль, жилое помещение и приемный зал, украшенный настенной живописью [Рахмонов 2001: 4—29; 96—108; Рахмонов, Реутова 2001: 13—16]. Раскопки Тавки не дали монетных находок, поэтому Ш. А. Рахмонов привлек для датировки памятника керамику. Сравнивая ее с датированной керамикой из других памятников, он пришел к выводу о том, что основной период ее функционирования относится к концу VI—VII вв. [Рахмонов 2001: 122]. Такую датировку он принял и потому, что придерживается первоначальной даты балалыктепинской живописи [конец V — начало VI в.], которая, по его мнению, непосредственно предшествовала по времени живописи Тавки. К. Сильви Антонини в новом исследовании, посвященном настенной живописи Центральной Азии, датировала живопись Тавки VII—VIII вв. К такому выводу она пришла, анализируя детали одежды женских персонажей этой живописи [Silvi Antonini 2003: 101—102]. На мой взгляд, датировка, предложенная итальянской исследовательницей, более верная, но ее можно значительно сузить, привлекая для этого также керамику. Морфология сосудов, найденных при раскопках Тавки, и некоторые детали, например, концентрические валики с пальцевыми вдавлениями под венчиком у тагора и в месте перехода от тулова ко дну у хумов, характерны для керамики Северного Тохаристана первой половины VIII в. [Соловьев 2002: 10—11].

Первоначально стены приемного зала были украшены орнаментальной росписью, нанесенной непосредственно на штукатурку. Затем стены забелили и нанесли живопись со сценами праздничной охоты и пира знатных тохаристанцев. Динамичная сцена охоты всадников на джейранов изображена в нижнем ярусе. Кони показаны в летящем галопе, их сбруя украшена золотыми бляшками. Всадники стреляют из луков в бегущих животных как перед собой, так и обернувшись назад. На одном из фрагментов живописи сохранилось изображение всадника, подъезжающего к крупному зайцу. Он свесился с седла, нагнулся и протянул руку в сторону испуганного животного.

Сцена пира была изображена в верхнем ярусе живописи. В нем участвуют более 20 персонажей — мужчин и женщин, разделившихся на две группы, расположенные одна напротив другой. Видимо, как и в живописи Балалыктепа [Альбаум 1960], здесь изображены супружеские пары. Их взоры, очевидно, обращены на пожилую женщину, держащую в вытянутых руках ожерелье из бус и крестовидных подвесок. Ее фигура располагалась в центре композиции. Такие же ожерелья украшают шею самой пожилой женщины и некоторых других женщин, присутствующих на пиру. Женщины одеты в платья с глухим круглым воротом, поверх них — шелковая накидка с правосторонним отворотом. В мочках их ушей — серьги, иногда с шаровидными подвесками. Женские прически разнообразны: у некоторых из них вдоль щек спускаются вниз клиновидные пряди волос; у одной из женщин пряди волос, обернутые вокруг головы, образуют на лбу завиток. У плеча женщины держат крупные белые цветы на длинной ножке. У мужчин на голове — обмотанная вокруг шапки-колпака чалма, конец которой спускается до уха. У женщин головные уборы более разнообразны по форме, но все они представляют собой вариант чалмы.

Полагаю, что сцены охоты и пира связаны с реальными свадебными празднествами тохаристанской знати, уже принявшей ислам [Соловьев 2003: 150—152]. Всадники не случайно охотятся на джейранов, потому что до недавнего времени большие стада этих животных водились в межгорных долинах региона, в котором расположен таможенный пункт Тавка. В верхнем ярусе, скорее всего, изображен один из свадебных обрядов — украшение невесты. Он иллюстрирует аналогичный обряд, существующий у горных таджиков, сопровождаемый песнями. В обрядовых песнях жителей Каратегина и Дарваза есть такой куплет:

* Заметка опубликована при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 04-01-00010а.

Невеста-цветок, надень ожерелье,
Настало время отправляться.

У жителей Муминобада и Ховалинга бытует похожий вариант этого куплета:

Невеста-цветок, надень ожерелье,
Завтра наступит время отправляться.

При этом одевать и украшать невесту должна пожилая женщина, имеющая достаток [Нурджанов 1976: 45—46]. Свадебные празднества, изображенные в живописи Тавки, были настолько важны для устроителей, что их запечатлели на стенах приемного зала опытные художники. Этим живопись напоминает современные свадебные фотографии.

Интересным является фрагмент тавкинской живописи, на котором сохранились изображения всадника и зайца. Заметно стремление всадника сохранить жизнь животному. Бактрийцы почитали зайца как благопожелательное животное [Litvinsky 2001]. Поэтому не случайно охотники щадят зайцев в сцене охоты на костяных пластинах, найденных в храме Окса на Тахт-и Сангине. Оттуда же происходит и костяная пластина, на которой изображены мирно сосуществующие человек и крупный заяц. В основе такого отношения к зайцам была их плодовитость. Благодаря такому качеству, эти животные пользуются уважением у жителей Сурхандарьи и в наши дни. Местные женщины в случае бездетности носят туморы, изготовленные из костей зайцев (информация краеведа Ш. Устаева). Заяц, изображенный в сцене охоты из Тавки, видимо, предназначался в качестве символического подарка брачующимся.

В этой связи необходимо обратиться к интерпретации, предложенной Е. Е. Кузьминой для сцены охоты, изображенной на серебряном умбоне щита из Амударьинского клада, в которой три охотника (или один охотник в трех эпизодах) охотятся на горных козлов и оленей. Сюжет включает и фигурку бегущего зайца, и именно его и охотника исследовательница связывает с эпизодом из нартского эпоса, посвященного Хамыцу, который во время весенней охоты встретил небывалого белого зайца и долго преследовал его [Кузьмина 2002: 199—207]. Вполне оправданные сомнения по поводу этой интерпретации высказал Е. В. Зеймаль. В частности, он совершенно прав в том, что «не получает никакого объяснения композиция на диске в целом, так как для двух остальных эпизодов в “генетической легенде” нет места» [Зеймаль 1979: 44—46].

На мой взгляд, возможна и другая интерпретация сюжета на умбоне щита. Все три животных, на которых охотятся всадники (или всадник), почитались в Бактрии как фарны, поэтому они и оказались неуязвимыми для оружия. За фигурками козлов и оленей видны сломанные дротики или копья, которые в них метали. Заяц также изображен бегущим, т. е. живым.

Библиография

- Альбаум Л. И.* Балалык-тепе. К истории материальной культуры и искусства Тохаристана. Ташкент, 1960.
- Зеймаль Е. В.* Амударьинский клад: Каталог выставки. Л., 1979.
- Кузьмина Е. Е.* Мифология и искусство скифов и бактрийцев (культурологические очерки). М., 2002.
- Нурджанов Н.* Семья. Свадьба // Таджики Каратегина и Дарваза. Душанбе, 1976.
- Рахмонов Ш. А.* Тавка (К истории древних таможенных сооружений Узбекистана). Ташкент, 2001.
- Рахмонов Ш., Реутова М.* Монументальная живопись крепости Тавки // San'at. 2001. № 2.
- Соловьев В.* Настенная живопись Тавки // San'at. 2002. № 4.
- Соловьев В. С.* Сцена свадебного пира в изобразительном искусстве раннесредневекового Тохаристана // Центральная Азия. Источники, история, культура: ТД конференции, посвященной 80-летию Е. А. Давидович и Б. А. Литвинского. М., 2003.
- Litvinsky B. A.* The Bactrian Ivory Plate with a Hunting Scene from the Temple of the Oxus // SRAA. 7. 2001.
- Silvi Antonini C.* Da Alessandro Magno all'Islam. La pittura dell'Asia Centrale. Roma, 2003.

ЗАМЕТКИ О РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ КЕРАМИКЕ ПАЙКЕНДА

Классификация раннесредневековой керамики Пайкенда была разработана Ш. Т. Адьловым к 1988 г. [Мухамеджанов и др. 1988], основывалась она на материале из шурфов на шахристанах города и цитадели. За последние годы широкомасштабных раскопок города на шахристане I получены материалы, позволяющие уточнить хронологию ряда керамических форм.

Цель настоящей заметки — это только уточнение хронологии некоторых керамических форм, а не пересмотр существующей классификации. При работе над заметками использовались материалы из всех керамических комплексов, полученные в результате раскопок раннесредневекового квартала (Раскоп Ш-1). Все использованные материалы изданы по комплексам в ежегодно публикуемых отчетах Бухарской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа [см.: Раскопки в Пайкенде в 1999 г.; Раскопки в Пайкенде в 2001 г.; Раскопки в Пайкенде в 2002 г.].

Прежде надо сказать о стратиграфии квартала. Во всех раскопанных домах квартала обнаруживаются следы большого пожара. Следы пожара с сильно обгоревшими строительными остатками, выброшенными из дома I, фиксируются на центральной улице и улице 4. Кое-где строительные остатки периода пожара полностью разрушены более поздней застройкой, полы которой часто заглублены ниже уровня полов периода пожара. Эта ситуация хорошо прослежена на площади занимаемой домом II а, где полы т. н. «банно-прачечного комплекса» X—XI вв. заглублены ниже полов раннесредневековой застройки. Но, в целом, в помещениях, где этот слой сохранился, материал из него однообразен, свидетельствуя тем самым о одновременности пожара квартала. Монетный комплекс из слоя пожара представлен ранее не встречавшимися в Пайкенде монетами с изображениями тюркского правителя на аверсе и конем на реверсе. Эти монеты пока не известны в слоях, предшествующих пожару. На полах помещений периода пожара встречены монеты с квадратным отверстием и монеты Асбара. Последние, возможно, являются более ранними по своему залеганию. Есть случаи, когда монеты Асбара встречены вместе с монетами с квадратным отверстием, чего ранее не фиксировалось [Наймарк 1995: 31]. Но и не исключено, что монеты Асбара обслуживали внешний рынок восточных районов Бухарского оазиса и в VII — начале VIII вв. Монетный комплекс, судя по наличию согдийских монет с квадратным отверстием, свидетельствует в пользу начала VIII в. как наиболее приемлемой даты этого пожара. Впрочем, следует отметить, что весь комплекс раннесредневековых монет Пайкенда нуждается в уточнении хронологии, поэтому большую важность приобретает сравнительный анализ керамики. Для сравнения может быть привлечена керамика эталонного для раннесредневекового Согда городища Пенджикент, где керамика VII—VIII вв. изучена лучше всего и хорошо распределена по комплексам.

В Пайкенде, в отличие от Пенджикента, нет возможности достоверно отличить керамику VII в. от керамики VIII в. На шахристане I слой VII в. достаточно беден находками и пока слабо затронут раскопками. В 2003 г. была выяснена планировка помещения, которое прорезал шурф 1981 г. (дом III) и которое в более ранний период было большим залом с суфами. Полы этого зала, залегают непосредственно на материковом галечнике. Сходная ситуация наблюдается и в большом зале дома I и в доме Va, где полы наиболее раннего строительного периода также залегают на материке. В помещении Va-1 наиболее ранний пол перекрывал вырубленную в материке яму, заполненную керамикой и костями животных. Керамика из этой ямы в настоящий момент является наиболее ранним керамическим комплексом квартала [Раскопки в Пайкенде в 2002 г.: 50—51, рис. 49, 50]. Судя по аналогиям керамике из этих комплексов, она датируется пределах VII в. (хотя некоторые формы, как, например, чаша с перегибом бортика и желобками [Раскопки в Пайкенде в 2002 г.: рис. 49, 4], кажутся несколько более поздними).

В настоящий момент раскопки на шахристане I не затронули слоев, которые могут быть уверенно датированы V—VI вв. На этом основании кажется преждевременным говорить и о керамике этого времени. Керамические комплексы V—VI вв. в Пайкенде известны только по раскопкам на цитадели. Та керамика, которая приведена в коллективной монографии «Городище Пайкенд» и датирована концом V — первой половиной VII вв. [Мухамеджанов и др. 1988: 148—171, рис. 11], уже не может быть отнесена к этому времени. Чаши с коническим корпусом [Там же: рис. 11, 13, 15] характеризуют керамический комплекс периода пожара и появляются со времени не ранее VII в.; это же относится и к фрагменту венчика горшка с волнистым орнаментом по плечикам и углублением под крышку на венчике [Там же: рис. 11, 10].

Остальная керамика (горшки с клювовидным в сечении венчиком, горшок с отогнутым наружу венчиком), также хорошо известна в комплексах периода пожара [Там же: рис. 11, 1, 4, 7, 8]. Что касается хумов с потеками краски («кызылкырского» типа — по Ш. Т. Адьлову), то эта форма, по которой были датированы ранние слои шахристана I, в настоящий момент не может быть признана надежным хронологическим индикатором. Хумы такого типа, как массовый материал, встречаются в комплексах, хорошо датированных серединой VII—VIII вв., и даже в более позднее время. Два целых хума с потеками краски, один из которых даже с оттиском округлорамчатой пряжки с хоботковидным язычком, найдены в помещении X в. на шахристане II [Раскопки в Пайкенде в 2002 г.: рис. 74]. Тарная керамика, ввиду слабой изменчивости формы и, часто, очень долгого использования в быту, не может считаться хорошим хронологическим индикатором.

По-видимому, с конца VII — начала VIII вв. в Пайкенде происходит стандартизация керамических форм. Набор керамики VII — начала VIII вв. относительно небольшой и повторяется в комплексах времени большого пожара. Столовая керамика представлена столовыми кувшинами эйнохоевидной формы с овальной в сечении ручкой (рис. 2, 8), и кувшинами со «смятым» сливом (рис. 2, 9, 11), чашами с коническим туловом (рис. 2, 1, 2) и чашами с перегибом бортика (рис. 2, 3, 4). Генезис последнего типа чаш пока не вполне ясен, но, судя по стратиграфии раскопанных помещений, наиболее ранними следует считать изделия с прогибом закраины вовнутрь. В комплексах периода пожара и непосредственно после него наблюдаются такого же типа чаши с прямой закраиной, часто с желобками по ней (рис. 2, 4). В более раннее время (до пожара) такого типа чаши не встречены.

Из тарной керамики небольшого объема часто встречаются, сочетаясь в комплексах с вышеуказанными формами столовой посуды, горшки с углублением под крышку на венчике и с четырьмя отверстиями под ним, волнистым орнаментом на плечиках (типа горшков из комплексов Пенджикент VI) (рис. 2, 5), а также горшки с цилиндрическим горлом и клювовидным в сечении венчиком (рис. 2, 6). В комплексах периода пожара встречены сосуды с подпрямоугольным в сечении венчиком с глубокой бороздкой на верхней плоскости. В комплексах после периода пожара появляются, наряду с упомянутыми формами, широкогорлые горшки с подквадратным в сечении венчиком, с подрезкой нижней плоскости венчика.

Кухонная керамика, в отличие от столовой и тарной, полностью лепная и крайне малочисленна. Представлена она, в основном, котлами и крышками. Отличительной особенностью кухонной керамики этого времени является примесь дробленого шлака и шамота. Котлы — очень небольшие по размерам, вытянутой формы, с сужающейся кверху горловиной. Встречается формовка низа котла в чаше (рис. 2, 7). Любопытно отметить, что в раскопанных раннесредневековых домах не встречено ни одного очага для приготовления пищи. В «кухонных блоках» каждого дома встречаются только тандыры в виде перевернутых вниз верхних частей хумов, иногда с глиняным бортиком, или же тандыры в виде невысоких глиняных цилиндров. Вероятно, это должно свидетельствовать о том, что в Пайкенде уже в раннесредневековый период выработалась традиция изготовления жидкой пищи в горячей золе тандыров — та самая традиция, которая наиболее хорошо представлена в Пайкенде саманидско-караханидского времени [Семенов 2002: 35].

В комплексах этого времени полностью отсутствует такая форма, как кружки. Кружки, судя по стратиграфии раскопанных домов, появляются в Пайкенде только после пожара. Все экземпляры, найденные в Пайкенде, изготовлены на гончарном круге из светлого теста, у некоторых отмечается небольшая примесь дутика. Кружки встречаются двух типов: с фестончатым краем и биконическим корпусом с кольцевой ручкой.

В керамических комплексах периода пожара встречены немногочисленные фрагменты достарханов на трех ножках. Этот тип керамики появляется в Согде не ранее начала VIII в., в предшествующее время эта форма не встречается, что в какой-то мере может дополнительно свидетельствовать в пользу датировки пожара началом VIII в.

Из специальных керамических форм следует упомянуть о курильницах (или светильниках?) на высокой ножке (рис. 2, 10). Тесто курильниц напоминает тесто котлов, но с большей примесью отощителя (песка, дробленого шлака и шамота); их обжиг, как правило, неравномерный и неполный, изготавливались они преимущественно из красножгущейся глины. Курильницы подобного типа характерны для более раннего времени. В Пайкенде они известны по раскопкам на цитадели, из слоев конца первой половины I тыс. н. э.

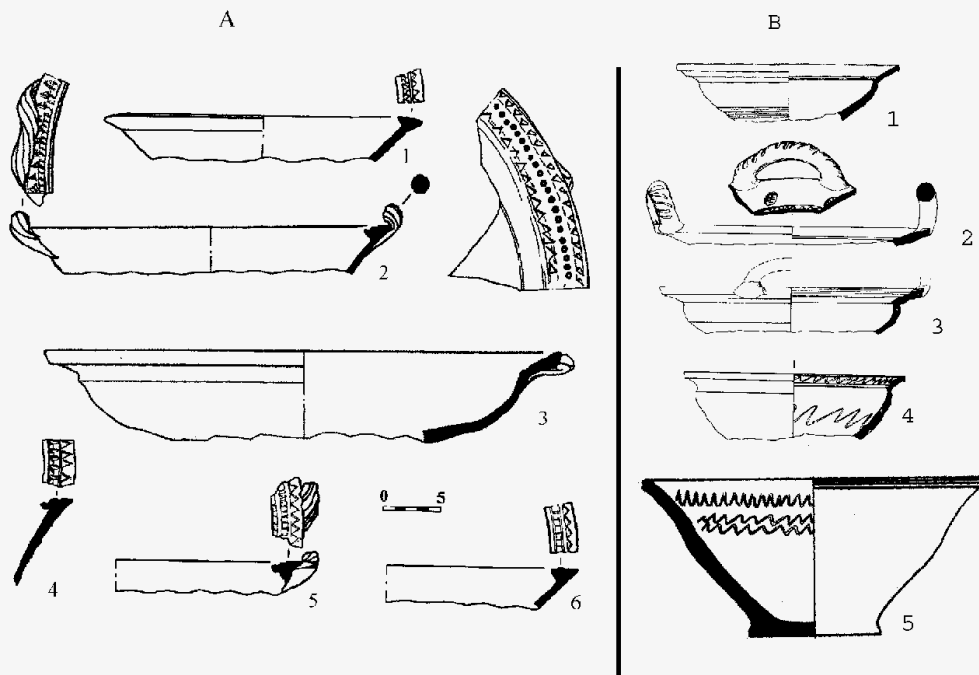


Рис. 1.
 А - Столовые тагора Пайкенда из комплексов VII–начала VIII вв.
 В - Столовые тагора с поселений Бактрии эпохи кушан

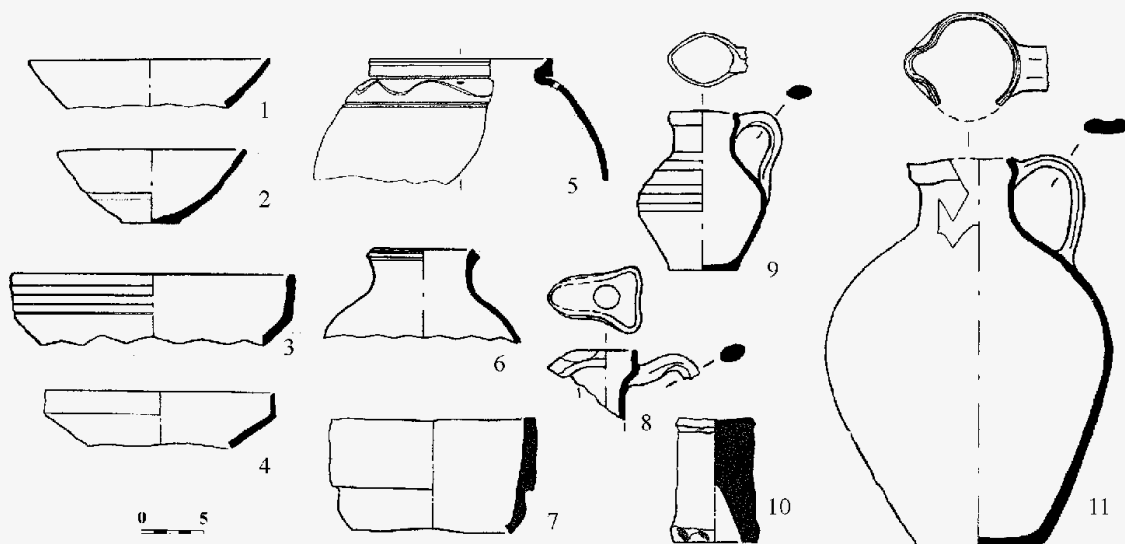


Рис. 2. Характерный набор керамики второй половины VII–начала VIII вв.

В комплексах VII—VIII вв. продолжает существовать ряд форм, характерных для более раннего времени. К таким формам следует отнести столовые тагора. Назрела необходимость уточнить хронологию этого типа керамики, так как за последние годы встречено достаточное количество фрагментов этих сосудов в комплексах (рис. 1). Столовые тагора всегда находятся в комплексах, предшествующих пожару, и только фрагмент из пом. Па-7 происходит с пола периода пожара (рис. 1А; 4). Этот тип сосудов является характерной формой для керамики Бактрии-Тохаристана кушано-сасанидского времени (не позже V в.). В единичных экземплярах он встречен на Топрак-кале в Хорезме [Городище Топрак-кала 1981: рис. 44, 17]. Пайкендские столовые тагора по форме тулова можно разделить на два варианта: с полусферическим туловом (рис. 1А, 3) и сосуды с коническим туловом (рис. 1А, 1, 2, 4—6). Венчик этих сосудов подтреугольный в сечении с утолщением вовнутрь и рельефной площадкой, украшенный прорезным орнаментом. Орнаментация однообразна — это ряды насечек, в сочетании с пояском зубцов, никакой орнаментации на стенках сосуда как внутри, так и снаружи на найденных фрагментах не зафиксировано. Ни один фрагмент не ангобирован. Очевидно, что в Пайкенде этот тип сосудов встречен в одном комплексе с керамикой VI—VIII вв. [Раскопки в Пайкенде в 2001 г.: 33—34], хотя для керамики раннесредневекового Тохаристана эта форма уже не характерна. В. С. Соловьев, посвятивший монографию раннесредневековой керамике Северного Тохаристана, ни разу не отметил присутствие этого типа сосудов в керамических комплексах, начиная с конца V в. [Соловьев 1994]. Нам известен единственный случай находки фрагмента этого типа сосудов в керамическом комплексе верхнего периода на поселении Чакалак-тепе в северном Афганистане, который, благодаря находкам монет, датируется VII в. [Снаqалаq теpe 1970: 13, fig. 35].

Сравним теперь столовые тагора из вышеуказанных комплексов с сосудами, происходящими с поселений Бактрии-Тохаристана кушано-сасанидского времени. Ранние столовые тагора в подавляющем большинстве случаев имеют орнаментацию в виде волнистой линии по внутренней поверхности, венчик их часто имеет зубчатый налп, велико разнообразие вариантов венчиков и ручек (рис. 1В, 1—5) [Пидаев 1978: 65—66, рис. 38; Литвинский, Седов 1986: табл. XIV, 14, 15; Седов 1987: 54—55, рис. 119]. С ранними вариантами этого типа сосудов сопоставимы фрагменты, происходящие из комплекса второго пола северо-западной башни цитадели [Семенов 1996: 138, рис. 64], там фрагменты также имеют орнаментацию по внешней поверхности и налепы на венчике. Этот комплекс достаточно надежно датируется второй половиной IV—V вв. [Семенов 1996: 138]. Фрагменты столовых тагора, происходящие из комплексов VII—VIII вв, не имеют орнаментацию по внешней поверхности, ни на одном из фрагментов венчиков не зафиксировано столь характерного для сосудов кушано-сасанидского времени зубчатого налпа; кроме того, венчики всех сосудов стандартны как по профилю, так и орнаментации, ручки сосудов также все одного типа — ложновитые, вертикальные. Таким образом, проведенное сравнение показало ряд отличий, и поэтому можно считать, что этот вариант столовых тагора, встреченных в раннесредневековых слоях Пайкенда, является более поздним и должен датироваться VII в. (не исключена и первая половина VIII в.). Ее появление в Бухарском оазисе, безусловно, связано с бактрийским влиянием.

В заключении следует отметить, что производство керамики в Пайкенде в VII—VIII вв. находилось в руках профессиональных мастеров: на это указывает стандартность набора форм и абсолютное преобладание станковой посуды.

Библиография

- Городище Топрак-кала.* М., 1981.
Литвинский Б. А., Седов А. В. Тепаи-Шах. Культура и связи Кушанской Бактрии. М., 1988.
Наймарк А. И. О начале чеканки бронзовой монеты в Бухарском Оазисе // НЦА. I. 1995.
Мухамеджанов А. Р. и др. Городище Пайкенд. Ташкент, 1988.
Пидаев Ш. Р. Поселения кушанской Бактрии. Ташкент, 1978.
Раскопки в Пайкенде в 1999 г. СПб., 2000.
Раскопки в Пайкенде в 2001 г. СПб., 2002.
Раскопки в Пайкенде в 2002 г. СПб., 2003.
Седов А. В. Кобадан на пороге раннего средневековья. М., 1987.
Семенов Г. Л. Согдийская фортификация V—VIII вв. СПб., 1996.
Семенов Г. Л. Медный город // Из истории культурного наследия Бухары. Вып. 8. Бухара, 2002.
Соловьев В. С. Раннесредневековая керамика Северного Тохаристана. Елец, 1994.
Чаqалаq теpe. Kyoto, 1970.

К ИСТОРИИ БОЕВЫХ КОЛЕСНИЦ В ДРЕВНЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Велика была роль колесного транспорта в освоении древними скотоводами степных ландшафтов Евразии. До распространения верховой езды запряженные колесные повозки являлись основным средством передвижения и транспортировки. Они широко использовались в военном деле, применялись для ведения боя на открытой местности.

Изучение боевых колесниц древней Центральной Азии привлекало многих исследователей. В специальных работах неоднократно затрагивались вопросы изучения этого важнейшего вида древней военной техники и особого рода войск [Кожин 1968: 35—42; 1987: 109—126; Новгородова 1978: 192—206; Горелик 1985: 426—432; Хойслер 1986: 384—390; Варенов 1987: 33—39; Нефёдкин 2001]. Основным источником для работ на данную тему были петроглифы. В меньшей степени изучены другие виды источников, такие как монументальные поминальные и погребальные сооружения, а также предметы вооружения, относящиеся к периоду развитой бронзы на территории Монголии и юга Сибири. Анализ всех имеющихся материалов должен способствовать выявлению и оценке комплекса боевых средств колесничных войск, его динамики во времени и пространстве.

Ранее нами было предложено выделение в единый культурный комплекс каменных курганов с оградой — херексуров, оленных камней, петроглифов с изображением колесниц, бронзового оружия, данный комплекс был соотнесен с европеоидным кочевым населением, обитавшим в Центральной Азии на рубеже II и I тыс. до н. э. [Худяков 1987: 136—162]. Распространение херексуров, оленных камней и бронзового оружия на обширной территории степной Азии стало возможным в результате наступившего превосходства носителей данного культурного комплекса над своими соседями в военной области.

Комплекс боевых средств воинов-колесничих включал колесницы и разнообразный набор оружия дистанционного и ближнего боя. Судя по изображениям на петроглифах, боевые колесницы представляли собой одноосные и однодышловые повозки с легким кузовом и высокими колесами. Дно кузова имело округлую, полукруглую, овальную, прямоугольную или квадратную форму. Борты кузова не показаны, но, видимо, он должен был иметь высокий передний и боковые борты, служившие для защиты ног колесничего и опоры при езде. Кузов располагался на центральной части оси и был соединен с дышлом. На оси изображены колеса с высокими спицами и ободом. Количество спиц различно, что связано со схематичностью изображения. Дышло увенчано ярмом, в которое запряжена пара коренных лошадей. Ярмо и ось соединены с дышлом откосами, образуя систему, препятствующую смещению оси по отношению к ходу колес. Пристяжные лошади впряжены не в ярмо, а в постромки. На некоторых петроглифах изображены вожжи.

Лишь на одном рисунке изображена сложная колесница, к кузову которой прикреплена вторая ось с двумя колесами [Кожин 1987: рис. 22]. Высказывалось мнение, что это четырехколесная повозка, захваченная в качестве трофея, боевая колесница. Несомненно одно: у второй повозки отсутствует кузов и дышло, вероятнее всего, это грузовая повозка. В кузове колесниц показан, как правило, один колесничий, совмещавший функции возницы, стрелка, воина. Очень редко изображались два человека — возница и воин-стрелок. Часто люди и лошади вообще отсутствуют на этих рисунках (рис. 1).

Изображения колесниц отчасти дополняются конструктивными особенностями погребальных сооружений херексуров, которые в плане напоминают колесо с осью и спицами. Угловые стелы могут символизировать ножи и косы на ободе колеса, а квадратные ограды — дополнительное рамчатое крепление. Расположение скелетов на боку в вытянутом положении напоминает людей, стоящих на колесницах, лицом по ходу колес.

Набор вооружения воинов-колесничих хорошо передают оленные камни (рис. 2; 3). Оружие дистанционного боя представлено луком и стрелами. Судя по изображениям, в распоряжении колесничих имелись сложносоставные рефлектирующие луки с круто загнутыми концами, выгнутыми плечами и вогнутой серединой. Нередко они изображены с надетой тетивой в налучьях или горитах, или же в боевом положении со стрелой на тетиве. Гориты имеют прямоугольную или коническую форму с треугольным выступом на днище. Аналогичны колчаны со стрелами, узкие длинные, прямоугольной формы с выступом на днище. Этот выступ, вероятно, представлял собой кисть или петлю, поскольку он свободно свисает с днища колчана.

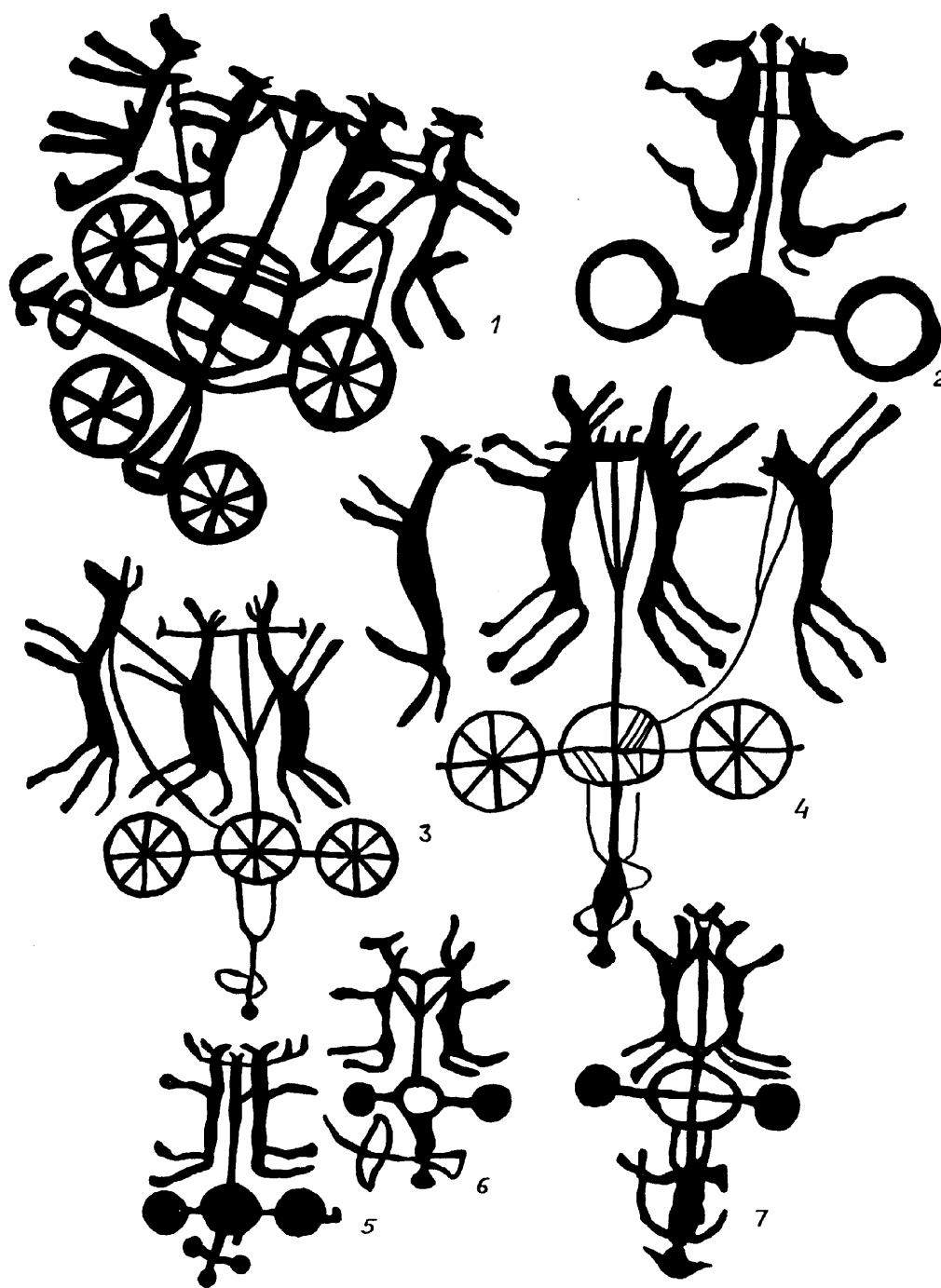


Рис. 1. Изображения боевых колесниц из Монголии:
 1 — Тэбш-Уул; 2 — Дарви-сумон; 3, 4 — Ханын хад; 5—7 — Чулут
 (по В. В. Волкову, Э. А. Новгородовой, П. М. Кожину)

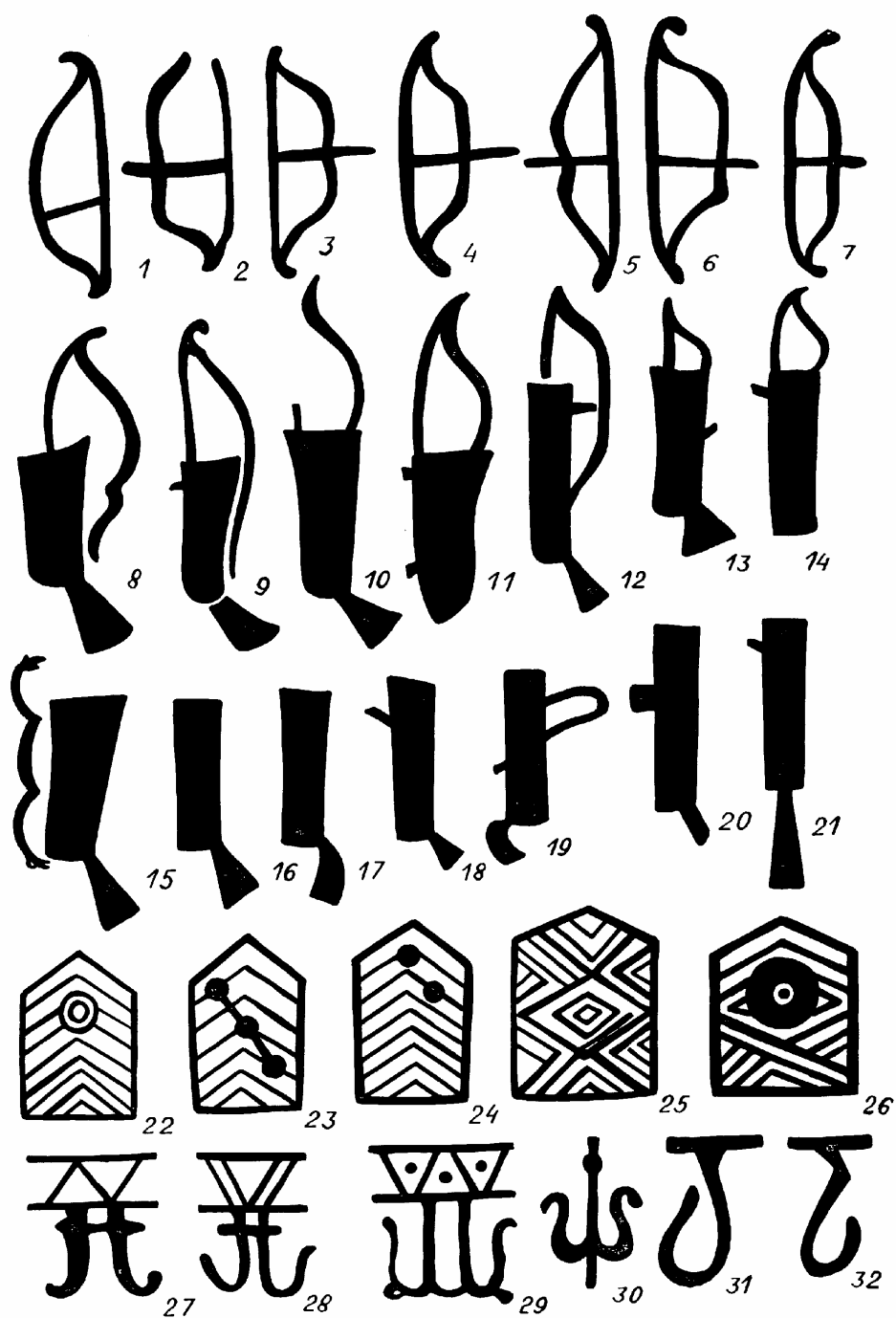


Рис. 2. Изображения оружия и снаряжения на оленных камнях Монголии:
 1—7 — луки; 8—14 — луки в налучьях; 15—21 — налучья и колчаны;
 22—26 — щиты; 27—30 — колесничные пряжки; 31—32 — крюки



Рис. 3. Изображения оружия на оленных камнях Монголии:
 1—21 — кинжалы; 22—30 — клевцы; 31—36 — секиры и кельты; 37—39 — копья;
 40—42 — многозубчатые наконечники (по В. В. Волкову)

Детали луков этого времени не найдены, но среди находок бронзовых втульчатых двухлопастных наконечников стрел имеются типы, которые могут относиться к эпохе развитой бронзы. Это двухлопастные, овальные, со скрытой и выступающей втулкой наконечники. Основная масса бронзовых наконечников стрел с территории Монголии и юга Сибири относится к более позднему времени [Волков 1962: рис. 3, 4; Наваан 1975: табл. II, III, VIII].

В ближнем бою колесничие применяли копья с бронзовыми втульчатыми наконечниками и двулопастным пером, служившие для нанесения колющего удара. Находки таких копий и их изображений известны в материалах Центральной Азии. Интересны копьё-багры с крючком на втулке, которые могли использоваться для стаскивания противника с кузова колесницы, вырывания щита и др. На древках копий, изображенных на петроглифах и оленных камнях, показаны знамена и штандарты, служившие опознавательными знаками и призванные сигнализировать передачу команд в ходе боя, воодушевлять воинов и т. д. В ходе ближнего боя колесничий, находясь в кузове колесницы, мог пользоваться разнообразным набором ударных орудий: чеканами, кельтами, многозубчатыми наконечниками. Часть этих предметов найдена на территории Центральной Азии. В частности, неоднократно находились кельты — втульчатые клинки боевых топоров. Судя по изображениям, они применялись в качестве ударного оружия на длинной изогнутой рукояти [Волков 1981: 231, рис. 5, 6]. Клевцы — узколезвийные втульчатые боевые топоры на длинной рукояти с заостренным наконечником-втоком на конце — типичное оружие колесничих. Изображения их многочисленны и разнообразны. Встречаются рисунки чеканов с длинным обухом — противовесом. Есть изображения клеветов с рукоятью, разделенной на ячейки. Вероятно, это цельнолитые с рукоятью бронзовые предметы. У многих клеветов изображены петли для подвешивания. Известны реальные находки клеветов с длинным узким, плоским бойком с нервюрой, втулкой и обухом с петлей [Гришин 1984: рис. 68, 1]. Изредка на изображениях встречаются боевые топоры с широким лезвием — секиры [Волков 1981: 231, рис. 14.]. В этой связи следует отметить, что бронзовая широколезвийная секира с втулкой, обухом и петлей имеется среди подъемных материалов в Монголии.

По-видимому, колесничие пользовались особым видом ударного оружия — многозубчатыми наконечниками. Такие одно- и двухсторонние многозубцы зафиксированы на оленных камнях. Среди вещественных находок они пока не представлены.

Воины-колесничие имели набор средств для рукопашного боя в спешном строю: бронзовые мечи, кинжалы и ножи колющего действия. У мечей были длинные бронзовые клинки с нервюрой, короткие выступы-шипы перекрестия и изогнутые рукояти с ребристой насечкой для более прочного хвата. Такой клинок не мог использоваться для нанесения рубящих ударов. Им пользовались только как колющим оружием в рукопашном бою. Перекрестие являлось ограничителем для ладони руки от соскальзывания на лезвие. Загнутая крюком рукоять служила для выдергивания клинка из пораженного тела.

Находки кинжалов и ножей достаточно многочисленны и разнообразны. Широкий спектр типологического разнообразия этого вида оружия свидетельствует о его важности на заключительной фазе боя, о его интенсивной технологической разработке.

В наборе вооружения колесничих имелись и защитные средства. Прежде всего, это были щиты — прямоугольные с треугольным выступом наверху и умбоном в центре. В момент езды и стрельбы с колесницы щит крепился на ремнях на спине воина. Не случайно щиты всегда изображали на торцах с тыльной стороны оленных камней [Волков 1981: 231, рис. 7]. По-видимому, щит должен был прикрывать голову и тело воина до колен. Он был достаточно легким, изготавливался из деревянных струганных реек, продетых в кожаную основу. В месте крепления на левой руке имелся умбон для нанесения удара в щит противника, сдвигания его в сторону и нанесения колющего удара кинжалом.

Использовался для защиты и пояс из металлических или костяных пластин, в составе которого имелась защитная колесничная пряжка с двумя крюками для закрепления вожжей в тот момент, когда необходимо было освободить обе руки, например, для стрельбы. Защитный пояс прикрывал от болезненных ударов в живот кинжалом во время рукопашного боя. На пояс подвешивалось оружие: меч, кинжал, нож, горит, колчан, а также вспомогательное снаряжение, в частности, оселок для заточки лезвий затупившегося колющего и ударного оружия. На оленных камнях имеются изображения оружия, оселков и крючков для подвешивания, прикрепленных на подвесных ремешках. Помимо собственно военной амуниции, в экипировку воина-колесничего входил набор украшений, характеризующий этнический и социальный статус воина-колесничего. Прежде всего, головной убор, в состав которого входила металлическая диадема-околыш, охватывающая голову

со лба на затылок и высокий спереди, срезанный к затылку верх, который мог быть короной из перьев, аналогично поздним шаманским коронам.

Лицо воина покрывала татуировка или боевая раскраска из трех косых линий. Боевая раскраска лица повторяла геометрический узор защитных поясных пластин и щита, а также должна была, вероятно, символизировать неуязвимость воина. В ушах воины носили кольчатые серьги: большие кольца вдевались в мочки, малые — в раковины. Шею и грудь украшало ожерелье из бусин с клыком или рогом в центре. Все тело воина покрывали изображения животных: оленей, лошадей, кабанов, козлов, пантер и др. Это либо татуировка, либо украшения вышивкой или аппликацией на одежде (рис. 4).

Облик бойца характеризовал как его принадлежность к своему этносу, так и к своей социальной группе, по сути, военной аристократии — богатым скотоводам, формировавшим из своей среды отряды боевых колесниц. Можно думать, что оленные камни изображают не пеших воинов, а колесничих, стоящих в кузове колесницы. Примечательно, что оленные камни были поставлены в один — два ряда, что соответствует построению отряда боевых колесниц в одну или две шеренги.

Колесницы — достаточно сложный и дорогостоящий для своего времени вид боевой техники — вряд ли мог применяться в массовом масштабе, аналогично пехоте или коннице. В составе племенных ополчений скотоводов, носителей культуры херексуров и оленных камней далеко не каждый мог снарядить себе в поход колесницу. В составе войска, наряду с ударными отрядами боевых машин, имелась пехота. Легкая пехота, вооруженная луками и стрелами, выполняла функции разведки, обнаружения местонахождения, расположения и построения противника. Она же начинала бой, обстреливая боевой порядок противника. Имелась, вероятно, и пехота, вооруженная копьем, чеканом, кинжалом и щитом, которая была способна к ведению ближнего боя.



Рис. 4. Реконструкция облика воина-колесничего восточной части степного пояса Центральной Азии в эпоху развитой бронзы

Впрочем, главную ударную часть войска составляли отряды боевых колесниц. На широких открытых степных пространствах колесницы могли атаковать противника в разряженном одно- и двухрядном строю, ломая его построение, внося панику, преследуя бегущих. Отряды колесничих могли оперативно перемещаться на большие расстояния. Ударная мощь и мобильность древних войск с появлением отрядов боевых колесниц значительно возросла. Это позволило носителям культуры херексуров и оленных камней в краткие сроки завоевать обширные степные пространства к востоку от мест их первоначального обитания в Монгольском Алтае, достигнуть Забайкалья, Великой Китайской равнины. Отдельные группы кочевников проникали по степному поясу далеко на запад вплоть до Центральной Европы. Захватив обширные пространства степей Центральной Азии, носители культуры херексуров и оленных камней оказали определенное влияние на племена северной периферии, распространив комплекс предметов вооружения карасукского облика, вступили в контакты с земледельческим населением Восточной Азии. Многолетние миграции, перемещение скотоводов и стад на большие расстояния способствовали закреплению навыков подвижного образа жизни, отрыву от мест постоянного обитания, возрастанию роли военной добычи в ресурсах жизнеобеспечения. Это способствовало созданию экономических и социальных форм организации жизнедеятельности, характерной для культурно-хозяйственного типа кочевых скотоводов.

Решающий поворот к кочевому скотоводческому хозяйству произошел на рубеже бронзового и раннего железного века. В это время получила повсеместное распространение верховая езда и новый род войск — конница. В кочевом мире распространились массовые конные армии, вытеснившие из сферы военного дела боевые колесницы, которые утратили свое преимущество на поле боя. С распространением кавалерии возросла мобильность и военизация всего кочевого общества.

Библиография

Варенов А. В. Этнокультурная принадлежность, семантика, датировка изображений колесниц в горах Монголии // V Международный конгресс монголоведов. Доклады советской делегации. Вып. III. М., 1987.

Волков В. В. Бронзовые наконечники стрел из музеев МНР // Монгольский археологический сборник. М., 1962.

Волков В. В. Оленные камни Монголии. Улан-Батор, 1981.

Горелик М. В. Военное дело скотоводов Центральной Азии в древности (основные этапы развития) // Олон Улсын монголч эрдэмтний IV. Их хурал. Бот 1. Улаанбаатар, 1985.

Гришин Ю. С. Памятники неолита, бронзового и раннего железного веков лесостепного Забайкалья. М., 1984.

Кожин П. М. Гобийская квадрига // СА. 1968. № 3.

Кожин П. М. Колесничные сюжеты в наскальном искусстве Центральной Азии // Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск. 1987.

Наваан Д. Дорнод монголын хурлийн уе. Улаанбаатар, 1975.

Нефёдкин А. К. Боевые колесницы и колесничие древних греков (XVI—I вв. до н. э.). СПб., 2001.

Новгородова Э. А. Древнейшие изображения колесниц в горах Монголии // СА. 1978. № 4.

Хойслер А. К дискуссии относительно изображения колесниц на петроглифах МНР // Олон Улсын монголч эрдэмтний IV. Их хурал. Бот III. Улаанбаатар, 1986.

Худяков Ю. С. Херексуры и оленные камни // Археология, этнография и антропология Монголии. Новосибирск. 1987.

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ПОХОД АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО: ЦЕЛИ КАМПАНИИ

В данной работе я попытаюсь обосновать следующее предположение:

- 1) истинной целью, которую преследовал Александр в ходе среднеазиатской кампании 329 г. до н. э., была подготовка похода против скифов — кочевников, контролировавших территорию по правую сторону от Сырдарьи на границе с Согдианой;
- 2) проект этого похода возник, возможно, уже осенью 330 г. до н. э.;
- 3) причиной появления такого проекта, вероятно, послужила угроза, которую кочевники представляли для границ персидской империи, унаследованной Александром.

Ряд прямых свидетельств, а также сама логика развития событий показывают, что Александр приступил к реализации плана похода в Скифию сразу, как только весной 329 г. до н. э. он прибыл в Согдиану. Ключевое свидетельство приводит Страбон (XI, 11, 6): «[нам не известны походы против] самых северных кочевников, на которых Александр взялся вести войско, когда преследовал Бесса и Спитамена, но когда Бесс был захвачен в плен и приведен назад, а Спитамен убит варварами, он отказался от этого плана».

Казалось бы, взяв в плен Бесса, приняв знаки покорности от местной аристократии и заняв Мараканды, Александр мог бы считать миссию в Согдиане завершённой. Однако его действия свидетельствуют об ином. Не останавливаясь в Маракандах, Александр целенаправленно двигается к Танаису (Сырдарье), на берегу которой он строит Александрию (Крайнюю). Именно это становится причиной его конфликта со «скифами из-за Танаиса» — так источники называют кочевников, контролировавших территорию на другой стороне Сырдарьи. Конфликт заканчивается сражением, самым значительным и кровопролитным для захватчиков после битвы при Гавгамелах. Тем не менее, скифы терпят поражение.

Подробности этих событий, которые приводят источники, недвусмысленно характеризуют суть происходящего. На пути от Мараканд к Сырдарье к Александру приходят послы скифов (Агг. *Anab.* IV, 1, 1—2). Тот велит им передать, чтобы без его разрешения скифы не переходили реку Танаис, границу своей области (Curt. VII, 6, 11—13; надо полагать, что до того они ее переходили), и отправляет ответное посольство «под предлогом заключения дружественного соглашения, настоящее же назначение этой миссии было в том, чтобы выведать природу земли скифов, их численность и обычаи, а также вооружение, с которым они выходят на войну» (Агг. *Anab.* IV, 1, 2), т. е. провести всестороннюю военную разведку.

Вот как Арриан объясняет строительство Александрии на Танаисе: Александру «казалось, что и местность подходит для города, который станет расти, и, что основан он будет в удобном месте для похода на скифов, если он когда-либо состоится, и для защиты от набегов живущих по ту сторону реки варваров» (IV, 1, 3—4). Неудивителен моментальный ответ со стороны оппонентов: «царь скифов, держава которого простиралась по ту сторону Танаиса, считал, что город, основанный македонцами на берегу реки, является ярмом на его шее. Он послал брата по имени Картасис с большим отрядом всадников разрушить этот город и отогнать македонское войско далеко от реки» (Curt. VII, 7, 1).

О намерении Александра напасть на скифов неоднократно упоминает и Курций Руф (Curt. VI, 3, 13—14; VII, 6, 12—13; 7, 2—5), который при этом излагает географические представления, которых придерживались в македонском штабе. Согласно этим представлениям, Сырдарья и Дон считались единой рекой Танаисом, территория к северу от Сырдарьи — Северным Причерноморьем, а местные кочевники — европейскими скифами. Если исходить из этой концепции, то завоевание всей Скифии от Сырдарьи до Дуная с возвращением в Македонию представлялось вполне осуществимым делом.

Из всего изложенного можно сделать следующие выводы:

- 1) придя в Согдиану, Александр занялся подготовкой войны со скифами;
- 2) произошедший конфликт имел объективные причины, вероятно, связанные с некими территориальными притязаниями скифов, причем эти причины были известны обеим сторонам конфликта;
- 3) судя по скорости и необратимости развития событий, трудно допустить, чтобы план скифского похода возник у Александра *ad hoc*, только когда он вступил в Согдиану; более вероятно, что этот план сформировался намного раньше.

Анализ предшествующих событий позволяет предположить, что подготовка этого похода была начата Александром уже осенью 330 г. до н. э., после того как он подавил мятеж в Арии. Напомним, что после отдыха в Гиркании Александр поставил перед армией новую задачу — ликвидировать Бесса — и быстрым маршем двинулся на Бактры. Когда он был уже на границе Бактрии, у него в тылу, в Арии вспыхивает мятеж. Подавив его, Александр почему-то отказывается от первоначального плана прямого удара по Бактрии и предпочитает медленно двигаться долгим обходным путем через Дрангиану, Арахосию и горы Паропамис. Обычно считается, что на протяжении всего этого этапа похода стратегической задачей, которую ставил перед собой Александр, продолжала оставаться подготовка к схватке с Бессом.

Однако и сама перемена планов Александра, произошедшая после мятежа в Арии, и все его дальнейшие действия ставят эту идею под сомнение. Можно отметить четыре обстоятельства, которые противоречат тому мнению, что Александр продолжал считать Бесса своей главной мишенью.

1) Обычно южный маневр объясняется желанием Александра, наученного уроком Арии, перед вторжением в Бактрию обезопасить свой фланг со стороны другого союзника Бесса, Барзаента — сатрапа Дрангианы и Арахосии. Но Дрангиана и Арахосия не оказали сопротивления. Южный маневр Александра не способствовал укреплению фланга, напротив, он открыл тыл для ударов Бесса, чем тот немедленно воспользовался, послав своих ставленников в Арию и Парфию (Арг. *Anab.* IV, 7, 1).

2) Александр везде делает длительные стоянки: в Дрангиане — около месяца (Curt. VI, 7, 1), у ариаспов — два месяца (Ibid. VII, 3, 3), а у подножия Гиндукуша он вообще расположился на зимние квартиры. Это разительно отличается от молниеносного движения на Бактрию до мятежа в Арии.

3) Александр сознательно распыляет силы своей армии. Во время стоянки в Гиркании армия насчитывала 23 000 человек (Plut. *Vita Alex.* 47). Затем 4600 человек были оставлены в Арахосии (Арг. *Anab.* III, 28, 1), 7000 — в Александрии Кавказской (Curt. VII, 3, 23), еще 3000 — в соседнем с ней городе (Diod. XVII, 83, 2), 6600 человек были отправлены для подавления мятежа в Арии (Curt. VII, 3, 2), а в виде подкреплений было получено только 6500 (Curt. VII, 6, 35). Можно представить, с какими силами Александр появился в Бактрии. И. Г. Дройзен оценивал его армию на тот момент в 10 000 воинов¹. В любом случае, численность македонской армии никогда еще настолько не снижалась.

4) Поражает то, что Александр предпочел вторгнуться в Бактрию через Гиндукуш, хотя первоначально имел возможность пройти в нее с запада, через равнины. Источники рисуют страшные картины страданий воинов во время этого перехода (Curt. VII, 3, 12). В итоге, когда Александр прибыл в Бактрию, его армия была в таком состоянии, что если бы она встретила тогда боеспособное войско, то это могло бы стать для македонцев очень серьезной опасностью.

Можно дать только два объяснения действий Александра: либо он сознательно вел свою армию к гибели, либо он был полностью уверен в том, что Бактрия не окажет ему сопротивления. И действительно, Бактрия не оказала никакого сопротивления: Бесс бежал, его сторонники разошлись. Анализируя события, можно заключить, что уже восстание в Арии выявило полную несостоятельность Бесса, который не смог оказать повстанцам никакой поддержки. В этой связи очень показательны, что, когда Сатибарзан вторгся в Арию с целью поднять ее против Александра, то его сопровождали те же самые 2000 всадников, что и были с ним с самого начала (Арг. *Anab.* III, 28, 2; Curt. VI, 6, 22; Diod. XVII, 78, 2). Другими словами, Бесс не прислал ему на подмогу ни одного солдата. Все это позволяет предположить, что уже после мятежа в Арии Александр мог убедиться в том, что Бесс не является серьезной проблемой. Неудивительно, что именно после этого мятежа резко меняется характер его действий. Возможно, что в ходе южного маневра Александр руководствуется уже совсем иными, новыми стратегическими планами.

Все странные действия Александра выглядят продуманными и логичными, если допустить, что он уже тогда начал планировать скифский поход. Действительно, перед вторжением в Скифию Александр должен был укрепить свою власть в тех окраинных частях бывшей империи Ахеменидов, которые еще не были под его контролем. Для этого он предпринимает поход на юг, делая долгие стоянки и оставляя большие гарнизоны, и только потом идет в Бактрию. В противном случае, если бы Александр воспользовался коротким путем в Бактры, ему пришлось бы затем дважды пересекать Гиндукуш.

¹ Дройзен И. Г. История эллинизма. Т. I. СПб., 1997. С. 212.

План похода в Скифию имел объективные причины. В качестве основного фактора, определяющего ситуацию в Средней Азии на момент похода Александра, в источниках выступают некие скифы, занимающие земли на границе с Согдианой. Эти скифы выделяются среди других кочевников: только они имеют царя и сатрапов (Агг. *Anab.* IV, 5, 1) и вступают в открытую борьбу с Александром. Скифский царь — единственный, кто предложил Александру заключить матримониальный союз (Агг. *Anab.* IV, 15, 3; Curt. VIII, 1, 9).

Эти скифы описываются как основной источник напряженности во всей Средней Азии. Отмеченные выше факты позволяют предполагать, что они претендовали на левобережье Сырдарьи, принадлежавшее персам. Именно вопрос о контроле над берегом Танаиса стал причиной конфликта. Есть все основания полагать, что Александр, будучи преемником персидских царей, унаследовал этот конфликт от них. О том, что претензии скифов на левый берег Сырдарьи восходят к предшествующему периоду, говорит то, что в том районе, где была основана Александрия, уже имелось семь персидских крепостей, очевидно, возведенных для той же цели, что и город Александра (Агг. *Anab.* IV, 2—3).

Есть основания предполагать, что скифы находились в конфликте с жителями соседнего Хорезма, хорасмиями. Летом 328 г. к Александру приходит царь хорасмиев, с предложением помочь Александру, если он задумает «подчинить народы, простирающиеся вплоть до Понта Эвксинского» (Агг. *Anab.* IV, 15, 4) — т. е. тех же самых европейских скифов, согласно географическим представлениям македонского штаба. Другими словами, целью миссии Фарасмана было заключение с Александром военного союза против скифов.

Под влиянием скифов, возможно, находились и среднеазиатские кочевники-саки: Курций Руф сообщает, что саки верили в непобедимость скифов и отправили послов к Александру только после того, как узнали об их поражении; (Curt. VII, 9, 17).

Итак, главным фактором, определяющим ситуацию в Средней Азии к 330 г., была могущественная группировка кочевников, занимавшая степи к северу от Сырдарьи и являвшаяся основным источником напряженности, оказывая давление на соседние народы и на северо-восточные границы Ахеменидской империи, унаследованной Александром. После разгрома Персии Александр, вероятно, узнает о ситуации в Средней Азии и в свойственной ему манере решает разрубить этот «Гордиев узел». План похода на скифов вступает в действие после подавления мятежа в Арии, когда становится ясной слабость Бесса. Планируемый поход, вероятно, должен был иметь такой же масштаб, как и последовавшее затем вторжение в Индию и неосуществленные аравийская и средиземноморская экспедиции.

ПЕРСИДСКИЙ КОСТЮМ ОТ АХЕМЕНИДОВ К САСАНИДАМ: ТРАДИЦИИ И НОВШЕСТВА

В существующей литературе популярны утверждения о традиционности и консерватизме костюма Ирана в древности и раннем средневековье. Однако аргументация этого положения в развернутом виде никем не приводилась. Попробуем проверить справедливость подобных утверждений на основе материалов недавней докторской диссертации автора, в которой впервые достаточно полно и системно характеризовался костюм трех великих иранских империй доисламской эпохи — Ахеменидов, Аршакидов и Сасанидов — на протяжении 1200 лет.

Между правлением Ахеменидов и завоеванием областей Ирана Аршакидами пролегли больше полутора веков господства македонян в лице самого Александра и его преемников-Селевкидов. Вместе с тем, в Иране сохранялись многие элементы традиционной культуры, и мы были бы вправе ожидать заметной преемственности в костюме Ахеменидов и Аршакидов. Однако детальное сопоставление по всем микроэлементам этих ожиданий не оправдывает. В мужском костюме наиболее очевидным элементом преемственности можно считать верхнюю нераспашную одежду (рубаху) типа ахеменидского *sagaris*, которая украшена вертикальной полосой с сетчатым орнаментом и с дугообразным вырезом на подоле. Столь же очевидно сохранение прически с накладными «буклями» с боков и завивки волос. Редкий у Ахеменидов мотив орнаментации тканей в виде сетки ромбиков с точкой внутри в парфянское время становится обычным. Изредка известны башлыки с облегающим голову верхом и широким назатыльником, но этот тип вообще широко представлен у иранских народов. В женском же костюме мы не наблюдаем ни одного элемента сходства.

Не менее важен вопрос о преемственности между имперским костюмом Аршакидов и костюмом следующей династии Сасанидов, восставшей против первой, победившей ее и проводившей во многом иную политику, опираясь на древние традиции Персиды. Сопоставление костюма Ирана времени Младших Аршакидов (12—225 гг. н. э.) и ранних Сасанидов (в период с первой половины III по V вв.) показывает, что количество сходных микроэлементов в первое время (особенно в течение III в. н. э.) было еще достаточно большим, причем некоторое их число бытовало и много позже. Так, отец основателя династии Арташира I, Папак, бывший жрецом храма Анахиты и, предположительно, изображенный на известном граффити из т. н. «гарема» в Персеполе, как и некоторые другие персонажи оттуда представлены в верхней нераспашной «тунике» с вертикальной декоративной полосой, причем такая полоса сохранялась в мужском костюме и при поздних Сасанидах. В одном случае видим рукава, расширяющиеся книзу до локтя. Мальчики же по-прежнему носили верхние рубахи с очень короткими рукавами. В ранний период правители иногда еще одевали запахнутые налево кафтаны. Как и раньше, носились как женское платье на бретельках (правда, оно снова вошло в моду в поздний период и отмечено у лиц низких рангов — например, музыкантш), так и два платья, нижнее из которых было длиннее, а также платья с треугольным вырезом ворота и женский драпируемый длинный шарф. У мужчин сохранялись отдельные традиции декора штанов, а именно: с вертикальной полосой отделки спереди рядом круглых бляшек; полосой, окруженной двумя рядами мелких круглых бляшек; штанины из серии узких горизонтальный полос. Плечевая одежда также иногда украшалась рядами золотых бляшек с подвесками. Формы блях и медальонов парфянских поясов в раннесасанидское время можно увидеть у шаханшахов. Сохраняются и прическа мужчин-аристократов с накладными волосами, образующими два овальных выступа по бокам, а также ряд форм с завивкой волос. То же можно сказать об использовании в женской прическе завивки и сложных узлов. Многочисленные банты на одежде Сасанидов генетически связаны с крупными бантами на позднепарфянских мужских диадемах и женской прическе. Очень редкие в позднепарфянское время высокие сапоги с треугольным вырезом под коленом в позднеасанидское время неожиданно получают широкое распространение. Сохраняется и декор горизонтального ворота нераспашной одежды полосой с рядом круглых бляшек у царей, высшего жречества и других знатных лиц, а также украшение крупных предметов одежды вертикальными рядами круглых бляшек с каплевидными подвесками и декор тканей в виде сетки ромбов с кружком внутри каждого — документирован и у рядовых персонажей (охотник-простолудин). Однако все это — лишь отдельные элементы прежней костюмной традиции на фоне господства новых форм. Их больше, чем ахеменидских форм у Аршакидов, что объясняется в последнем случае непосредственной сменой династий (в то время как между Ахеменидами

и Аршакидами пролегла эпоха греко-македонского владычества), когда местные автономные правители Персиды (Парса) не могли не заимствовать отдельные элементы костюма имперской парфянской знати.

В целом, мы приходим к выводу о весьма динамичном развитии костюмных комплексов ираноязычной знати Ирана в античное и раннесредневековое время. При этом женский костюм, хотя он и документирован много беднее мужского, изменялся более радикально, и на каждом очередном этапе в нем оставалось меньше старых форм, чем в мужском. При Ахеменидах и Сасанидах наиболее важные «костюмные реформы» были проведены при смене династий, при первом правителе, т. е. в начальный период утверждения новой элиты (Кир II, Арташир I). Исключения из этого правила редки (изменения при Перозе предположительно в 60-х гг. V в. н. э.). К сожалению, арабское завоевание не сохранило нам источников о «костюмных инициативах» отдельных сасанидских шаханшахов. Весьма любопытны отдельные попытки возрождения древних, ахеменидских костюмных форм при Сасанидах. К ним можно отнести, например, мужские пелерины, разрезы спереди на подоле женских платьев и использованием шариков на концах кос.

Совершенно особой была ситуация при Аршакидах. У них (почти исключительно на нумизматических материалах) зафиксированы костюмные новшества не менее 10 правителей на разных этапах парфянской истории, причем далеко не все они вошли в историю как наиболее активные и могущественные в политическом отношении. Даже на погрудных изображениях на реверсе серебряных монет детальнейшим образом подчеркивались важные элементы декора кафтанов и прически. Несомненно, нам пока известны далеко не все свидетельства подобных новшеств. Почему же именно парфянское время было столь богато костюмными инновациями? Это может объясняться сочетанием двух факторов. Во-первых, это весьма сложная структура государства (частично представлявшего собой федерацию автономных этнических княжеств, сохранявших собственные династии, монетную чеканку и оригинальные черты в парадной одежде). На западе Парфянской державы сохранялись автономные греческие города, заметным был экономический и культурный вклад семитских этносов. Поэтому одной из задач в рамках укрепления единства страны, вероятно, было создание относительно единого общеимперского интернационального придворного костюма. В отличие от Ахеменидов, такой костюм теперь носился не только представителями господствующего народа, но и, видимо, частично насаждался у иноэтничной знати вассальных княжеств. Он неоднократно «корректировался» верховной властью, и локальные элиты должны были приспособляться к этому. Во-вторых, парфянские владыки долго проводили «филлелинскую» политику и частично ориентировались на соседние эллинистические монархии Селевкидов и Птолемеев.

Заметную роль в развитии комплекса одежды древнего Ирана сыграли костюмные заимствования. Так, введение при первом ахеменидском правителе — Кире Великом, в процессе оформления придворного костюма империи, большой серии элементов одежды мидийцев и, отчасти, эламитов оказало заметное влияние на дальнейшее развитие одежды не только персов, но и соседних народов. При Аршакидах перенимались женские платья на бретельках, жреческие плащи типа himateon, ряд форм причесок и ткани с греческими орнаментальными мотивами и изображениями божеств. При Сасанидах наблюдается заимствование восточноримских провинциальных элементов (наплечные медальоны, мужской подол с полуовальным выступом спереди) и единичные элементы, связанные с тюрками (ряд подвесок к наборному поясу).

Необходимо отметить определенную преемственность в костюме всех трех великих доисламских династий в течение 1200 лет, прежде всего у мужчин. В плечевой одежде она проявилась в преобладании верхних нераспашных форм, употреблении для них различных «фигурных» (негоризонтальных) подолов и редком использовании стеганых одежд, в ношении парадных длинных широких плащей, завязанных на груди. Распространена была и вертикальная полоса декора. Укажем также на бытование золотых поясов и кушаков, скрепленных на животе «узлом Геракла», головных уборов, повязанных по нижнему краю лентами со свисающими сзади концами, причесок с завивкой и париками. Весьма популярными были пестрые ткани с простыми геометрическими узорами, прежде всего — сетчатые (в том числе с точкой внутри каждого квадрата) и с различными комбинациями из кружков.

ANDRAGORAS: INDEPENDENT SUCCESSOR
OF THE SELEUCIDS IN PARTHIA

The empire of the Seleucid kings, Macedonian successors of Alexander the Great in Asia, ranks amongst the largest of historical times. It extended from Sardis in western Turkey to Balkh in Afghanistan, and on to Khojend on the Syr Darya. Despite the establishment of regional capitals at Sardis, at Antioch — present-day Antakiya in Syria — at Seleucia on the Tigris near Bagdad, and at Balkh, it is surprising that any sort of integrated rule could have been maintained over such huge distances. Yet during the time of the first three Seleucid kings, from 312 to 248 B.C., the reigns of Seleucus I, Antiochus I and Antiochus II, relatively settled government was maintained throughout this territory. Individual provinces were placed under the control of powerful and carefully selected governors, the satraps, veteran administrators of the regime. They were capable, whatever the location and distance of the royal court, of maintaining the policies of the rulers, collecting the revenue, and enforcing an occasionally anxious peace among the subject populations.

The crisis, when it came, derived not from the problems of distance, but from fatal contradictions at the heart of the dynasty. Antiochus II resolved to settle the intermittent war of his kingdom against that of the Ptolemies in Egypt by divorcing his beloved wife Laodice, and marrying Berenice, sister of Ptolemy III, King of Egypt. A treaty of friendship was to be contracted with Egypt, and his new bride would bring a opulent dowry — no doubt provinces still held by the Ptolemies along the coast of Turkey, and important financial resources. Laodice was relegated to Sardis, while Antiochus resided at Antioch with his new bride, to whom, before long, a son was born, whose advent would endanger the prospects of Laodice's children.

None the less, Antiochus could not bear separation from his former queen. Soon he had returned to her at Sardis, leaving Berenice alone at Antioch with her infant son. In 248 B.C. he was dead, and Laodice was striving to restore her previous supremacy. Despite the sympathy of the citizenry at Antioch, first her son, and then Berenice herself were killed by the partisans of her rival. Though Ptolemy III mounted a great expedition to save his sister, they arrived too late. But they still gained control of Antioch, and even, it seems, dispatched a force to the east to take possession of the eastern provinces. According to the enigmatic *Inscription of Adulis* in present-day Eritrea, a monument lost today but read by the fifth-century A.D. Byzantine geographer Cosmas Indicopleustes, Ptolemy's detachment not only occupied Babylon, but even claimed control of Media and Bactria. For a moment, the eastern provinces were isolated from the Seleucid court. They could not have known who was the effective Seleucid king, or whether there was a Seleucid king at all. Amongst those faced by this difficult dilemma were Diodotus, satrap of Bactria, and Andragoras, veteran satrap of Parthia and Hyrcania, a province overlapping the present-day frontier of Turkmenistan and Iran.

According to the *Inscription of Adulis*, the provinces eastward of Babylonia all accepted the suzerainty of the Egyptian king. It is not clear whether Ptolemy himself actually accompanied his forces to Babylonia, and personally summoned these provinces to obedience. It seems much more likely that he did not hazard the risks of so arduous and remote a journey, but sent a subordinate. In any event, the Ptolemaic forces did not stay long in Babylonia. An intriguing possibility is that they might have found ships in Babylonia, and returned to Egypt by sea. This could account for so ambitious an expedition being recorded only in an inscription close to the shores of the Red Sea. Yet without supporting evidence it would be rash to suppose this. Evidence for these far-reaching historical events is extremely scanty, and we cannot assume any reconstruction beyond the bare facts stated in the limited sources.

In any event, the Seleucid satraps in the East were obviously in a difficult situation. Although after some months the Ptolemaic forces in Asia withdrew, and evacuated Antioch, all communication of Andragoras and his colleagues with the now disorganized Seleucid court in Asia Minor would have been interrupted. The new Seleucid king, Seleucus II, was afflicted by a series of defeats: against the Egyptians in Palestine; again at the battle of Ancyra — present-day Ankara — where his army was destroyed by the immigrant Gauls. Again, he was waging constant war against his younger brother, Antiochus Hierax. What was left of the Seleucid kingdom was in confusion. Commentators often maintain that Andragoras, and his eastern neighbour Diodotus, had rebelled against their overlord, Seleucus II. Perhaps indeed they had nominally submitted to Ptolemy III when his armies were strong in the east. Perhaps they did not know who was now the effective Seleucid ruler. Whatever the cause, both were now to announce their independence. Diodotus, satrap of Bactria, assumed the title of king, and issued his own coinage not only in

silver, but also in gold, the usual indication of sovereignty. Andragoras also issued coinage in both metals, but bearing simply his name, and without any outright assertion of royalty.

An inscription discovered several decades ago in northern Iran shows that, at the time when he asserted his independence and issued his coinage, Andragoras had served in the Seleucid administration for many years. The text may be translated as follows:

Evander to Andragoras
and to Apollodotus greetings.
We have enfranchised Hermaeus
liberated for the merit of King
Antiochus and Queen
Stratonike and their children,
dedicated to Sarapis, and we have set
up in the temple the deed of his release and
that of his personal belongings.
(Year... month) Gorpaios. Farewell.

Although the date of the inscription has been defaced, the royal titles mentioned show that the document originates from the reign of Antiochus I (280—262/1 B.C.). Although the exact year cannot be determined, it was probably close to 266 B.C. From the wording of the inscription, Andragoras at this time was apparently the sub-governor, or hyparch, administering the province of Parthia, under the authority of the satrap who controlled both Parthia and Hyrcania — the last being the Persian province of Gurgan. Parthia was indeed a very large province. Its centre best-known today is Nisa, here a few miles west of Ashgabat. However, at later periods, at any rate, it included the whole of the present-day Persian province of Khurasan, comprehending Nishapur, Tus, and, south of the Elburz mountains, extending west to Semnan and beyond. Where Andragoras resided at the time of the inscription is not known. The stone is thought to have come from somewhere in Iran's Gurgan province, but its find-spot is something of a mystery, and since the photograph obtained by Ghirshman was taken, the object has not been reported again, and its whereabouts are unknown.

The career of Andragoras is briefly described by the historian Justin, who mentions the name in two passages of his *Epitome of Trogus' Philippic History*. In 41, 4, 7 he relates the satrap's overthrow by Arsaces. In 12, 4, 12 he describes him as a Persian nobleman, which we shall see has every possibility of being correct. However, the statement that he was appointed by Alexander the Great must be an anachronism. His official career, which we shall see was long, could not have extended over ninety years, and this statement must be one of Justin's many misunderstandings.

Since the issuing of coins by Andragoras could not have taken place before the death of Antiochus II in 247 B.C., his career in the Seleucid administration was evidently longer than 19 years, and possibly, since he might still have been in power in 238 B.C., as long as 28 years or more. It seems unlikely that such a veteran supporter of the Seleucid kings would have spontaneously rebelled against the dynasty, and it is likely that only the disruption of the dynasty's rule, and its confused succession, obliged the satrap to strike out on his own. The name Andragoras has every appearance of being Greek, and historians have long tended to assume that he was a Greek official. However, an article by the late Dr. Ghirshman has raised an interesting new possibility. First, he notes that on his coins Andragoras is portrayed bearded, whereas the fashion among the Hellenistic princes was to be shown clean-shaven. The name Andragoras has every appearance of being Greek. It may be interpreted as meaning «Of manly speech», «famous amongst men», or even «addressing men in the assembly». At the same time, this name is curiously equivalent to a well-known Iranian name, Narseh, from the older Nairyō-sanha, also interpreted as «Of manly utterance» again with alternative explanations. It may be noticed that in other Classical texts, different versions of Andragoras's name are given, corresponding perhaps to variant translations of the Persian original. Thus in the fragments of Arrian's *Panhica* he is called Pherecles («The bearer of glory»), and in chronicles of Eusebius he appears as Agathocles («He of good fame»).

There seem thus good grounds for suspecting that Andragoras was not himself a Greek, but an Iranian member of the Seleucid bureaucracy, who for official purposes had his name translated to a very apposite Greek equivalent, while other sources adopted different renderings of his Iranian name. There is, moreover, an Iranian source which also suggests that Narseh may have been the original version of this governor's name. A Pahlavi text entitled *Shahristanha i Eran*, compiled in the Abbasid period, but drawing on earlier Sasanian sources, gives traditional accounts of the founding of the principal provincial capitals of Iran. Some of these foundations are ascribed to legendary personalities of the epic past, and others to well-

known historical personages. In Section 17 of this text we are told: «In Gurgan the city which they call Dehistan was built by Narseh the Ashkani». There was indeed no Arsacid king called Narseh, and the foundation of other cities is also attributed to this mythical personage. None the less, it is quite possible that this attribution of the founding of a city in the Gurgan region to Narseh could actually refer to some historical establishment set up by Andragoras under his Iranian name. His government preceded by only a short time the coming of Arsaces and the Parthian dynasty, by whom he was finally defeated and slain. In popular memory, more especially if he was Iranian, and as is quite possible, himself from the same province, he might have been regarded as one of the first of the Arsacids.

The «City of Dehistan» is of course the regional centre of the district immediately east of the Caspian Sea, where the later Islamic site has been renamed Mashhad-i Misriyan. This area is within the territory of Turkmenistan. I believe that archaeological study there has been largely concerned with the Islamic remains, and whether there are also significant pre-Islamic traces I do not know. It would be interesting to find out whether, as of course at Marv, whether there are actually Hellenistic remains at this site.

So far as I am aware, there have so far been no finds relevant to Andragoras in Turkmenistan itself. The find-spots of his coins are widely distributed. For many years, the only known specimens came from the Oxus Treasure in Tajikistan, where they had obviously been carried by ancient travellers. Subsequently one or two specimens have been reported from Iran, though the actual find-spots are unrecorded. With regard to the inscription in which he mentioned, we have seen that its exact find-spot is unknown. It is thought to have been found somewhere in Gurgan province, possibly in the neighbourhood of the provincial capital, but the stone itself has now disappeared from sight. One might naturally connect it with the ancient fortress of the city, known as the Qala' Khandan, where part of the great mound seems to have been dug away by modern building work; but that is purely a guess.

The inscription of Andragoras raises one other interesting question, in connection with the enfranchisement of a slave. The liberated slave, Hermaeus, is said to have been «dedicated to Sarapis, and the deed set up in the temple». This, presumably was a temple of Sarapis. Scholars hitherto have regarded Sarapis as an Egyptian god, and reports of his worship outside Egypt have been dismissed as baseless. Recently, however, I have argued that this idea is a misconception. A case can be made that Sarapis was one of the planetary gods of Mithraism, a cult which I believe was important in Iran during Median times, before the rise of the Zoroastrian Achaemenids. Scholars have been much puzzled at this occurrence of a Sarapis cult far away from Egypt in Gurgan, but this would have been only natural if this worship was indigenous in northern Iran. We can imagine that if Mithraism was discountenanced in the Achaemenid heartlands, it could have lingered on in outlying provinces, and could well have been favoured by Alexander and the Hellenistic kings. There is other evidence that the Sarapis cult had connections with the ritual for the enfranchisement of slaves. Possibly then this was an ancient cult that lingered on in the province governed by Andragoras.

Basic Bibliography

- Bivar A. D. H.* The personalities of Mithra in archaeology and literature. New York, 1998.
- Ghirshman R.* Un tetradrachme d'Andragoras de la collection de M. Foroughi // Near Eastern numismatics, iconography, epigraphy and history: Studies in honor of George C. Miles. Beirut, 1974.
- Justin:* O. Seel (ed.). *M. Juniani Iustini Epitoma Historiarum Philippicarum.* Teubner, Stuttgart 1972; J. C. Yardley (transl.). *Justin: Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus.* Atlanta, 1994.
- Markwart J.* A catalogue of the provincial capitals of Eranshahr (Pahlavi text, version and commentary). Roma 1931.
- Robert L.* Inscription hellénistique d'Iran // *Hellenica.* Vol. XI—XII. Paris, 1960.

M. Compareti
(Naples, Italy),
S. Cristoforetti
(Rome, Italy)

PROPOSAL FOR A NEW INTERPRETATION OF THE NORTHERN WALL
OF THE «HALL OF THE AMBASSADORS» AT AFRASYAB

In China, the fifth day of the fifth month of the lunar calendar is dedicated to a very ancient festival called *Duanwujie*, known among the Westerners as the «Dragon-Boat Festival». Even today during the celebrations, naval races take place with special boats in the shape of a dragon. During the *Duanwujie* spectators participate: they feed the fish with rice dumplings wrapped in bamboo leaves (the so-called *zongzi*) prepared the days before the festival.

According to a popular legend, the *Duanwujie* was originated soon after the suicide of the poet Qu Yuan (c. 340—278 B.C.), who was also a minister of the king of Chu during the period of the Warring States (453—221 B.C.). Qu Yuan committed suicide by drowning himself in the River Miluo (Hunan Province) after being denounced by his enemies and unjustly banished by his king. When the people of the state of Chu realised what had happened, they started to search the corpse in the water but without result. Later they threw food into the river to tempt the fish away from where they thought the body was. The *Duanwujie* festival recalls this episode every year. Usually it takes place between the end of Spring and the beginning of Summer.

Most likely, the *Duanwujie* is an amalgam of different festivities which provided for human sacrifice: in fact the boat race actually recalls naval battles at the conclusion of which was the killing of the losing crews. Later the festival was connected to the cult of suicides, who were considered to be the protector spirits of water where they died. Qu Yuan was just the most famous [Bodde 1975: 314]. Offerings were made to these protector spirits to beg them to allow those who drowned to be at peace. The dragon boats are now considered replicas of the original boats that searched for Qu Yuan [Bodde 1975: 315]. The *Duanwujie* can be found in historical sources since the fall of the Han Dynasty (A.D. 220) and its association with Qu Yuan was recorded since this time. The Afrasyab Paintings. During the Tang Dynasty (618—906) the *Duanwujie* was certainly known to be popular among every social class in China. The Tang period represents China's Golden Age. In that epoch the Middle Kingdom was opened to all the neighbouring countries and every exoticism was welcome at the imperial court. This was one of the consequences of the policies of the aggressive early Tang government, which sought to enlarge the imperial boundaries of China at the expense of parts of South-East Asia, Mongolia and Central Asia. Its relations with the latter region were particularly intense, especially with Sogdiana. From at least the period of the Northern and Southern Dynasties (386—581) the Sogdians had started to be employed in the imperial administrations and had become very rich through the trade of luxury goods [Rong 2000]. Recently, several tombs belonging to powerful strangers of Iranian extraction have been excavated in the area of Chang'an, the ancient Wei (535—557) and Tang capital. The funerary outfits discovered during these excavations allow us to identify other objects coming into the antiquary market and attributed to rich Sogdians active in 6th century China [Marshak 2001]. Just after the middle of 7th century Sogdiana submitted to the Tang Empire after the destruction of the Western Turks [Chavannes 1903: 267—268; Compareti 2002: 376—377]. The king of Samarkand, Varghuman, was proclaimed sovereign of all Sogdiana by the Emperor Gao Zong (649—683) [Kageyama 2002: n. 1]. The influence of Chinese art is attested at the main Sogdian sites of this period and in particular at Afrasyab, the pre-Islamic Samarkand. Here, the building discovered in 1965 and commonly known as the «Ambassadors' Hall» has showed paintings of Chinese court life and also a certain knowledge by the Sogdian artists of typical Chinese painting formulae [Kageyama 2002]. The Chinese envoys are represented together with the ambassadors from several Asiatic kingdoms in the Western Wall paintings at Afrasyab in the scene commonly identified with the celebration of the Iranian New Year, or Nawruz (fig. 1). The Northern Wall is totally dedicated to a Chinese scene and, we maintain, the same emperor Gao Zong (represented as bigger in size than his attendants) takes part in it (fig. 2). The scene is divided into two parts separated by the vertical line of the water. On the left there is an aquatic scene with both male and female figures. The focus of the entire composition in this part of the painting is the lady, bigger in size than the others, on the dragon-head shaped boat who, most likely, is the Empress.

On the right a hunting scene is represented with only male figures, including the Emperor, taking part in it¹.

The interpretation of the scene on the Northern Wall, commonly accepted until now, has been that of a generic reflection of Chinese life. This identification, in our opinion, cannot be accepted because, in our view it represents an episode in a particular Chinese festival — namely, the Duanwujie — which was celebrated around the period of the Sogdian New Year. The Western and Southern Wall (fig. 3) depict the Sogdian New Year festival which scholars have (almost) always accepted [Silvi Antonini 1990: 118; Mode, 1993; Marshak 1994: 14; Grenet 2003: 124—125]. In the mid-7th century Sogdiana the Nawruz was celebrated around the middle of June², a date roughly corresponding to the Chinese celebration of the Duanwujie. In one Chinese source the habit was reported of rendering homage to his ancestors on the occasion of the New Year by the king of Chach. This habit could be considered acceptable also for the rest of Sogdiana and, in fact, it is present at Afrasyab in the Southern Wall paintings [Marshak 1994: 14—15].

In the reconstruction of the aquatic scene on the Northern Wall, the lady who is bigger in size has the left hand opened as if dropping something in the water (fig. 2). In fact, among the animals³ and the monsters in the water below the boat there are also some fishes represented realistically while eating the food which had been thrown in by the noble lady. In the upper part, on the right of the boat, two other fishes are represented in the same attitude. In the second boat on the right there are only three male attendants and a fourth one is represented while getting on the boat directly from the water. Two other half-naked male figures with their hair tied are dipping feet in the water in the bottom half of the scene: the first one seems to be searching for something in the water with a stick, while the second one is turning two horses in the direction of the boat with the ladies on. The boat of the male figures does not present the dragon-head shape so it seems correct to consider it as the transportation for the attendants of the lady bigger in size. The two other half-naked figures are probably other attendants employed to search in the water, in which are swimming two horses. These last details do not seem to be present anymore in the modern celebration of the *Duanwujie* festival⁴, so the Afrasyab paintings could be very useful to sinologists for the reconstruction of its ancient stages since there are no reproductions of the *Duanwujie* in Tang arts⁵. In fact, as E. Kageyama suggested for the paintings of the West Wall, these scene could have been reproduced by Sogdian artists according to Chinese formulae and not because of direct knowledge [Kageyama 2002]. The same hypothesis could be considered correct for the hunting scene on the Northern Wall: the Sogdian artists could have simply reproduced another stage of the celebration of the original *Duanwujie*, now forgotten, or they could have chosen a martial attitude for their main ally and protector: the Chinese Emperor. Two elements of Sasanian art are present: the horses of the hunters are represented in the «flying gallop» and the quarry of the Emperor is doubly depicted both at the point of being killed with a spear and already dead under the horse [Francovich 1984: 89—97].

Some figures in the hunting scene are not represented as riding on horses because, most likely, they are attendants. The person represented holding a baggage tight with the help of his right foot could be considered an attendant of the lady in the dragon-head shaped boat who is going to prepare something for

¹ The Afrasyab paintings have been the subject of several studies: Альбаум 1975; Belenitskii, Marshak 1981: 47—49, 61—63; Silvi Antonini 1990; Mode 1993; Marshak 1994; Silvi Antonini 1994; Майтдинова 1994; Мотов 1999; Kageyama, 2002; Silvi Antonini 2003: 171—185; Yatsenko 2004; Grenet (*forthcoming*); see also Pugachenkova, Rtveldadze 1985. Figure 2 is a reconstruction proposed by F. Ory and F. Grenet in a small brochure published by the Museum of Afrasyab [Grenet, Samibaev 2002: 6—7]. Another reconstruction of the same scene by M. Mode can be seen in Internet: <http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/afras/north.htm>. For a tentative reconstruction of the West Wall (by F. Ory), see: <http://www.afrasiab.org/ambassador2.html>. For a slightly different interpretation of some details in the West Wall, see: <http://www.eurasianhistory.com/data/articles/a02/422.html>. reconstruction proposed by F. Ory and F. Grenet in a small brochure published by the Museum of Afrasyab [Grenet, Samibaev 2002: 6—7]. Another reconstruction of the same scene by M. Mode can be seen in Internet: <http://www.orientarch.uni-halle.de/ca/afras/north.htm>. For a tentative reconstruction of the West Wall (by F. Ory), see: <http://www.afrasiab.org/ambassador2.html>. For a slightly different interpretation of some details in the West Wall, see: <http://www.eurasianhistory.com/data/articles/a02/422.html>.

² To be precise the *Nawruz* during the 7th century fell between June 9 to 17, that is around the Summer Solstice: Cristoforetti 2000: 149, 155.

³ It is worth noting that nowadays, during the Duanwujie, members of the crew of the boats dive in the water to catch the ducks confused by the fireworks. These ducks will be eaten later by their own hunters. Is this the memory of an ancient phase of Duanwujie in which also a hunt took place?

⁴ For very interesting connections between horses and water sacrifices in pre-Tang China: Riboud 2003: 153.

⁵ Among the most ancient Chinese paintings with the reproduction of the Dragon-Boat Festival, there are at least two handscrolls attributed to Wang Zhenpeng (c. 1280—1329), one kept in the Palace Museum (Beijing) the other kept in the Metropolitan Museum of Art (New York): Yang, Nie, Lang, Barnhart, Cahill, Hung 1997: 149—150, fig. 138; Lee, Ho, 1968: fig. 201. The scenes represented in these paintings are completely different than the celebration represented at Afrasyab.

the celebration of the festival. Probably, the baggage was not put in the boat before because of lack of space. It is clear that the attendant is going to dip in the water because his legs are naked in the same way as the person with the stick who has already put one foot in the water. Close to these attendants there is another (not reproduced in the reconstruction of fig. 2) represented while taking off his shoes, a clear reference to his imminent dipping (fig. 4).

Calendrical data. To support the explanation given above about the interpretation of the paintings in the Hall of the Ambassadors there are some calendrical calculations to be taken into consideration. We have long known that the painting on the Western Wall is a representation of the Nawruz and that the Southern Wall is in relation with it, because the ancestors' cult was performed in the last days of the year just before the Nawruz. The present authors suggest that the four walls are connected by a common theme. Most scholars up to the present have accepted that they must be dated to after the fall of the Western Turk Empire by the Tang (658—659) when Chinese influence was at its zenith in Sogdiana. What has not been established has been the exact date of their execution. However, it is well known that the Nawruz shifted slightly from just after the Summer Solstice to slightly before it during the 7th century. We know from early Islamic sources that the Muslim authorities continued the practice of the Sasanians in combining the beginning of Summer with the starting point of the fiscal year (*iftitah al-kharaj*).

In order to calculate the date of the Nawruz for Sogdiana it is necessary to consider the five day discrepancy mentioned by al-Biruni in the «*Athar al-Baqiya*» [Al-Biruni 1923: 233—234] by the calendar used in Persia and those used by its close neighbours (Sogdiana, Chorasmia, Armenia). This discrepancy (the origin of which is a matter that has not been resolved) caused the Sogdian *Nawruz* to correspond with the 6th day of the 1st month (*Farwardin*) of the Persian calendar.

In 658 AD (27 *Yazdgardi*) the *Nawruz* of the Persian calendar fell on the 10th June and the following year as well. Because of the loss of six hours every year the date of the *Nawruz*, in Julian terms, falls one day before every four years. So the *Nawruz* fell in 659 on the 10th June, in 660—663 on the 9th June and so on. On this basis the Sogdian *Nawruz* five days later fell on the 15th June in 659 and on the 14th June during the years 660—663. These dates coincide approximately with the date of the Summer Solstice, which was considered falling on the 18th June (Julian calendrical terms = the 21st June in Gregorian calendrical terms). By the 11th century, in the Islamic period, the *Nawruz* ceremony was celebrated earlier in the year and transformed into a Spring Festival as it would have been in ancient Iranian culture [Cristoforetti 2003: 155—161].

On the West Wall in the Hall of the Ambassadors in Afrasyab are seen several ambassadors giving homage and gifts to an unknown ruler (or divinity). This was a common element of the Summer Solstice Festival of *Nawruz* which was celebrated throughout the Iranian world. As the *Nawruz* was celebrated in the 7th century at the Summer Solstice, we must ask ourselves the question: is the Chinese scene on the North Wall connected to it? At this period the Festival of *Duanwujie* corresponded approximately to the Sogdian *Nawruz*, falling always on the 5th day of the 5th month of the Chinese lunar-solar calendar. Then, the *Duanwujie* was a water festival and in the *Nawruz* the water element was as important as light and rebirth [Cristoforetti 2002: 249—272]. The Chinese calendar is a lunar-solar one, that is to say that the Solar years are divided into twelve lunations, which become thirteen in intercalary years. In modern times the *Duanwujie* shifts between 28th May and 27th June. The median date is June 12th/13th in the Gregorian calendar which corresponds to June 9th/10th in the Julian one during the 7th century. It is the festival, which indicates the approach of the Xiazhi, one of the twelve lunar *Zhongqi* or the Summer Solstice. For the Chinese calendar this fell on average on the 18th June in the 7th century.

If our hypothesis is correct, the paintings on the North, South, West Walls at Afrasyab depict two festivals, one Han, one Sogdian, that sometimes coincided in date with each other. Between 676 and 683 the Sogdian *Nawruz* fell only on the 10th and then the 9th of June. By using the Academia Sinica website ¹ we found the following results for the *Duanwujie* of the years following the fall of the Western Turk Empire in 658—659 to the death of the Emperor Gao Zong (D = *Duanwujie*; N = *Nawruz*; SN = Sogdian *Nawruz*; the two *Nawruz*'s dates remain the same for four years):

659 D: 31 May N: 10 June; SN: 15 June

660 D: 18 June; N: 9 June; SN: 14 June

661 D: 7 Jun

662 D: 27 May

663 D: 15 June

¹ See: <http://www.sinica.edu.tw/~tdbproj/sinocal/luso.html>.

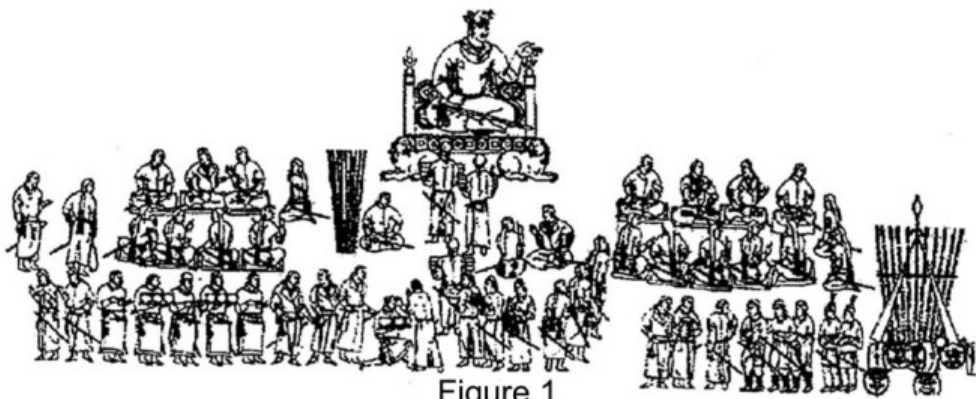


Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

664 D: 4 June; N: 8 June; SN: 13 June
665 D: 23 June
666 D: 12 June
667 D: 2 June
668 D: 19 June; N: 7 June; SN: 12 June
669 D: 8 June
670 D: 29 May
671 D: 16 June
672 D: 5 June; N: 6 June; SN: 11 June
673 D: 26 May
674 D: 14 June
675 D: 3 June
676 D: 21 June; N: 5 June; SN: 10 June
677 D: 10 June
678 D: 30 May
679 D: 18 June
680 D: 6 June; N: 4 June; SN: 9 June
681 D: 22 May
682 D: 15 June
683 D: 5 June

Only in 677 did the Sogdian *Nawruz* correspond exactly with the Chinese *Duanwujie*. In any case, there was more years in which the two festivals proximity was close. We do not have historical reports about celebrations of Sogdian *Nawruz*. So could be useful to consider two more possibilities.

The first — showed in the graphic — concerns the *Nawruz* of the 1st Farwardin, i. e. the New Year Day of the Iranian calendar (Yazdgerdi). In this case, the coincidence/proximity period between *Nawruz* and *Duanwujie*'s medial date is the one included between 656 and 663 (*Nawruz* of the 1st Farwardin on the 10th — 9th June). The second one — not showed in the graphic — concerns a problematic Narshakhi's passage about a second *Nawruz* celebrated in Bukhara five days later than Sogdian *Nawruz* [Cristoforetti (*forthcoming*)]. And that extends much more the coincidences opportunities. Leaving out for the moment that second possibility, we can extend the period for research from 656 to 683.

Conclusion. If this hypothesis is considered convincing then the identification of the Emperor Gao Zong and his court is confirmed and that they are represented on the North Wall of Afrasyab as participating in the *Duanwujie*.

Why 677 could be justified is that bands of Arabs had made incursions into Sogdiana between 673—676 at the time when the rulers of Sogdiana were Chinese vassals and probably already in 654 when the Western Turks controlled Central Asia [Compareti 2002: 378]. Perhaps they asked for help to repeal the invaders and the Afrasyab paintings represent the homage of the ruler of Samarkand to the Tang Emperor following their expulsion [Grenet (*forthcoming*)]¹. In the year 677 the *Duanwujie* and the *Nawruz* coincided exactly. However, it is worth remembering that when Sa'id b. Uthman conquered Samarkand in 676 he found no king there [Frye 1954: 40]. So it can be considered that Varghuman's reign had already finished before 676 and that the paintings at Afrasyab most likely were finished sometime between 656 and 675/676. Recently, S. Yatsenko proposed specifically 662 [Yatsenko 2004].

Furthermore, there seems to be an Indian connection on the East Wall. Although unfortunately it is badly preserved, it could be that the Indian scene had a connection with both the *Duanwujie* and the *Nawruz*. More investigations have to be conducted before definitive conclusions can be made.

Bibliography

- Альбаум Л. И. Живопись Афрасиаба. Ташкент, 1975.
Майтдинова Г. К интерпретации живописи Афрасиаба VII в. н. э. (сцена в лодке) // ИООН АН Таджикской ССР. 1994. № 2.
Мотов Ю. А. Изображение мистерий праздника Михраган в настенных росписях афрасиабского дворца // История и археология Семиречья. Алматы, 1999.
[Al-Biruni.] *Abu al-Rayhan Mohammad b. Ahmad al-Biruni al-Khuwarazmi*. Al-Athar al-Baqiya'in Qurun al-Khaliya / Ed. E. C. Sachau. Leipzig, 1923.

¹ Also G. Verardi agrees with this hypothesis from a historical and an archaeological point of view but referring to the whole of Central Asia [Verardi 2002; Verardi, Parapatti 2004: 97—102]. Specifically on Sogdiana see: Compareti (*forthcoming*).

- Belenitskii A. M., Marshak B. I.* The Paintings of Sogdiana // Azarpay G. Sogdian Painting. The Pictorial Epic in Oriental Art. Berkeley; Los Angeles; London, 1981.
- Bodde D.* Festivals in Classical China. New Year and Other Annual Observances During the Han Dynasty 206 B.C. — A.D. 220. Princeton, 1975.
- Chavannes E.* Documents sur les Tou-Kieu (Turks) Occidentaux. St. Petersburg, 1903.
- Compareti M.* Introduction to the History of Sogdiana // *Güzel H. C., Oğuz C. C., Karatay O.* (eds.). The Turks. Vol. I: Early Ages. Ankara, 2002.
- Compareti M.* Traces of Buddhist Art in Sogdiana // Papers presented to the conference: Secondo Convegno Napoletano di Studi sul Buddhismo, Naples 16th June 2004 (*forthcoming*, to be published in: Buddhist Asia. 2).
- Cristoforetti S.* Forme «neopersiane» del calendario «zoroastriano» tra Iran e Transoxiana. Venezia, 2000.
- Cristoforetti S.* Il Natale della Luce. Il Sade tra Baghdad e Bukhara tra il IX e il XII secolo. Milano, 2002.
- Cristoforetti S.* Izdilaq: miti e problemi calendari del fisco islamico. Venezia, 2003.
- Cristoforetti S.* Calendrical Data in Narshakhi's «History of Bukhara» (*forthcoming*, to be published in: Papers Presented to the International Conference «The Bukhara Oasis. Antiquity and Middle Ages», Bukhara 26th—27th September 2003).
- Franco G. de.* Il concetto della regalità nell'arte sasanide e l'interpretazione di due opere d'arte bizantine del periodo della dinastia macedone: la cassetta eburnea di Troyes e la corona di Costantino IX Monomaco di Budapest // Persia, Siria, Bisanzio e il Medioevo artistico europeo. Napoli, 1984.
- Frye R. N.* The History of Bukhara Translated from a Persian Abridgement of the Arabic Original by Narshaki. Cambridge, 1954.
- Grenet F.* L'Inde des astrologues sur une peinture sogdienne du VII^e siècle // Religious Themes and Texts in Pre-Islamic Iran and Central Asia. Studies in Honour of Professor Gherardo Gnoli on the Occasion of His 65th Birthday. Wiesbaden, 2003.
- Grenet F.* The Self-Image of the Sogdians (*forthcoming*, to be published in: «Sogdians in China. New Studies in History, Archaeology and Philology», Beijing 22nd — 25th April 2004).
- Grenet F., Samibaev M.* Hall of Ambassadors» in the Museum of Afrasiab (middle of the VIIIth Century). Samarkand, 2002.
- Kageyama E.* A Chinese Way of Depicting Foreign Delegates Discerned in the Paintings of Afrasiab // Iran questions et connaissances. Vol. I: La période ancienne. Paris, 2002.
- Lee Sh. E., HoWai-kan.* Chinese Art Under the Mongols: the Yüan Dynasty (1279—1368). Cleveland, 1968.
- Marshak B. I.* Le programme iconographique des peintures de la «Salle des ambassadeurs» à Afrasiab (Samarkand) // ArAs. T. XLIX. 1994.
- Marshak B. I.* La thématique sogdienne dans l'art de la Chine de la seconde moitié du VI^e siècle // CRAIBL. 2001. Fasc. 1.
- Mode M.* Sogdien und die Herrscher der Welt. Türken, Sasaniden und Chinesen in Historienmalereien des 7. Jahrhunderts n. Chr. aus Alt-Samarqand. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien, 1993.
- Pugachenkova G. A., Rtvladze E. V.* Afrasiab // EIr. Vol. I. 1985.
- Riboud P.* Le cheval sans cavalier dans l'art funéraire sogdien en Chine: à la recherche des sources d'un thème composite // ArAs. T. 58. 2003.
- Rong Xinjiang.* The Migrations and Settlements of the Sogdians in the Northern Dynasties, Sui and Tang // China Archaeology and Art Digest. 4/1. 2000.
- Silvi Antonini C.* The Paintings in the Palace of Afrasiab (Samarkand) // RSO. LXIII (1989). 1990.
- Silvi Antonini C.* Afrasiab // Enciclopedia dell'Arte Antica Classica e Orientale. Secondo Supplemento 1971—1994. Vol. I. Roma, 1994.
- Silvi Antonini C.* Da Alessandro Magno all'Islam. La pittura dell'Asia Centrale. Roma, 2003.
- Verardi G.* Diffusione e tramonto del Buddhismo in Kirghisistan // Pastori erranti dell'Asia. Popoli, archeologia e storia nelle steppe dei Kirghisi. Napoli, 2002.
- Verardi G., Parapatti E.* Buddhist Caves of Jaghuri and Qarabagh-e Ghazni, Afghanistan. Rome, 2004.
- Yang Xin, Nie Chongzheng, Lang Shaojun, Barnhart R. M., Cahill J., Hung Wu.* Three Thousand Years of Chinese Painting. New Haven; London; Beijing, 1997.
- Yatsenko S. A.* The Costume of Foreign Embassies and Inhabitants of Samarkand on Wall Paintings of the 7th c. in the «Hall of Ambassadors» from Afrasiab as a Historical Source // Transoxiana. 8. 2004 [http://www.transoxiana.org/0108/yatsenko-afrasiab_costume.html].

ARSACES I, THE FIRST ARSACID KING?
SOME REMARKS ON THE NATURE OF EARLY PARTHIAN POWER

In two recent articles [Assar 2005; Gaslain (*forthcoming/a*)], the beginnings of the Arsacid monarchy are the subject of investigations which had given way to no less interesting reviews concerning the later periods of the Parthian History after J. D. Lerner's 1999 thesis. Except for a few related articles [Olbrycht 2003: 69—109; Wolski 2003: 373—389], together with some on the archaeological site of Nisa in modern Turkmenistan [Invernizzi 2001: 295—315; Bader et al. 2002: 9—45], and another one directly linked with the Origins, Foundation and Commemoration of the Arsacid Dynasty [Lippolis 2004: 66—71], scholars had primarily concentrated their efforts on the «post-creation» epoch of the empire following the death of Mithradates I. For quite some time, the latter had been considered as the true founder of the Parthian power and the first Arsaces who brought sovereignty and independence to his kingdom. Before Mithradates I, it was believed that there were only nomadic chieftains who held sway over the Parthian territories and vigorously defended their authority in western Central Asia [Schippmann 1980: 22].

There is little doubt that the period from Arsaces I through Phraates I forms the «first Dark Age» of the Parthian History. Therefore, it is not surprising to note that Phriapatius' period of influence in Parthia is as obscure as the precise spelling of his name! Even so, thanks to the early Parthian rulers, the Arsacid power began to rise between the middle of the 3rd century and the first half of the 2nd century B.C.E [Schippmann 1986: 526].

Recently, fresh interpretations of the Greco-Latin literature, coinage, and epigraphic evidence [Diakonoff, Livshits 1976—2003] have enlightened the circumstances of the birth of the Parthian State and considerably clarified the genuine role and pre-eminence of the early Arsacids. Nevertheless, it is necessary to recognize that the historical phenomena concerning the transformation of the Parthians into Arsacids have not yet been fully explored. New analyses, however, tell us more about these early figures, their reigns, military exploits, and contacts with the Seleucid empire and Greco-Bactrian Kingdom [Olbrycht 2000: 181].

What is clear at the outset is that the founder of the Parthian dynasty is attested at Nisa as *Arshak* and not *Arshak MLK*'. It is therefore imperative to establish whether or not he was the first Arsacid King. In this regard, the numismatic evidence is unambiguous, since we do not find the royal epithet ΒΑΣΙΛΕΩΣ on the reverse of the coins of Arsaces I [Sellwood 1980: 21—26]. This is obviously contrary to the monetary practices of the contemporary Diodotid dynasty of Bactria. On the other hand we encounter a different *Arsaces* in our extant literary sources: a chieftain, a ruler, and, according to Justin (XLI, IV, 8), a «master of two kingdoms» of Parthia and Hyrcania but not as King of Parthia. We also have the statement of Isidore of Charax who claims that Arsaces was crowned in Asaak (*Parthian Stations* 11). Does this imply that Arsaces assumed the title King or did Isidore misinterpreted a status such as satrap?

It is quite difficult to accept that while Arsaces exercised control over Parthia and Hyrcania during the period 238—210 B.C.E he was not recognized as king. This point of view can only be maintained if we abandon the Greek perspective of Parthian ascendancy. Certain references and details in the literary sources and on extant ostraca strongly imply that Arsaces I was King and that his patronymic authority confirms his adoption of the imperial title.

It should also be pointed out that during his reign, Arsaces I instituted a charismatic identification based on a Central Asiatic conception of the supreme designation, aiming to break away from the Seleucid traditions completely. This is sufficient to elevate him (and his son) to the status of king. In the Parthian sphere, Arsaces I was a *de facto* sovereign and therefore saw no necessity to style himself ΒΑΣΙΛΕΩΣ even on his coinage [Gaslain (*forthcoming/b*)]. The epithets *autokrator* and *karanos* are «la revendication volontaire et affichée d'un titre d'autorité parthe» [Bernard 1994: 502]. Arsaces was, within the Parthian milieu and in the eyes of his neighbours, the first author of the Arsacid kingship which began effectively during the second half of the 3rd century B.C.E.

Arsaces I and Nisa ostraca. These documents are unanimous in one point: the founder of the dynasty is not styled king. Instead he is presented as *'rsk*, that is to say Arsaces. This is attested in at least two cases. Ostrakon 2-L gives: King Arsaces, great-grandson of Arsaces [Livshits 2003], and ostrakon 2638 (1760) sets out: Year 157. King Arsaces, grandson of Friyapatak, son of the nephew of Arsaces [Diakonoff, Livshits 2003: 174]. Given these important genealogical records and the fact that the Nisa scribes did not style Arsaces I as *MLK*', one is inclined to assume that the founder of the Arsacid dynasty never adopted

the regal epithet ΒΑΣΙΛΕΩΣ. However, it is imperative to point out that the prime objective of the Nisa scribes was not to clarify the status of the earlier Parthian kings. Rather they intended to record the accession of the ruling monarch and then trace his ancestry back to the founder of the dynasty in a simple but clear fashion. Accordingly, the ruler who was the subject of an accession text was always styled King Arsaces. This was then followed by one of the commonly known genealogical links such as son (*BRY*), grandson (*BRY-BRY*), or great-grandson (*BRY-npt*) whose function was to connect the intended king with Arsaces I. However, in the case of a ruler from the collateral branch of the Parthian dynasty, the link between him and Arsaces I had to go through Friyapâtak who was son of the nephew of Arsaces I (*BRY-'HY-BRY*).

Now, although many royal names are attested at Nisa [Schmitt 1998; Weber 2003: 127], Arsaces and Phriapatius are exclusively mentioned in the extant genealogical records on ostraca. This strongly implies that because of their status it was not obligatory for the Parthians to refer to *Arsaces* and *Friyapâtak* as king. In other words, even without the title *MLK'* on ostraca 2-L and 2638 (1760) Arsaces I was acknowledged as the dynastic creator and King. Likewise, *Friyapâtak* was considered as King in the texts of ostraca 2638 (1760) and 2640 (Nova 307) even though his title was omitted.

On a further ostrakon [Livshits, Pilipko 2004: 139] we can tentatively restore: «(...) King Arsaces, son of king Arsaces (...)». Although this is an incomplete text, we may assume that the second Arsaces is Phriapatius and the first Mithradates I or his brother Phraates I. This in turn shows that *Friyapâtak* had been crowned as king but he was not styled so in the texts of ostraca 2638 (1760) and 2640 (Nova 307).

Another important point concerns the absence of a named reference to Arsaces II in the genealogical record on Nisa 2-L ostrakon. This naturally casts some doubt over his status as king. However, as in the case of Phriapatius, we can show that Arsaces II had, too, adopted the title king. At the same time, we can argue that his omission from the text of ostrakon 2-L had little impact on his royal status. We have already noted that Mithradates I (or II) the Great is absent from the genealogy of the *King Arsaces* of 157 AE (91 B.C.E) on Nisa ostrakon 2638 (1760). However, this neither diminishes the importance of Mithradates I (or II) nor implies that the great Parthian monarch did not adopt the title king. Therefore the exclusion of Arsaces II from Nisa 2-L record does not necessarily suggest that he was not king. It only confirms that the scribes presented an abbreviated genealogy of the ruling monarch and then found a simple way of linking him with Arsaces I without the need to mention the intervening generations. Accordingly, we can argue that for the sake of clarity the Nisa scribes deliberately excluded the title of Arsaces I in their records in order to maintain his status as the founder of the dynasty. Obviously, in the absence of a date, if the genealogy on Nisa 2-L ostrakon had been given as *King Arsaces great-grandson of King Arsaces*, this would have led to serious problems of identification for both the contemporary and later users of that document. Similarly, if Phriapatius had been presented as the "son of the brother's son of King Arsaces" in the text of Nisa 2638 (1760) ostrakon dated 157 AE (91 B.C.E), we would never have been able to identify him as the grandnephew of Arsaces I.

The coin legends of the first Arsacids: king without basileus. The assumption that Arsaces I and by implication Arsaces II adopted the title king is also corroborated by our numismatic evidence. The extant coinage of Arsaces I shows three types of legends: ΑΡΣΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ, ΑΡΣΑΚΟΥ *krny* and ΑΡΣΑΚΟΥ (S. 1 to S. 5) without the royal title ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Yet these inscriptions leave little doubt that Arsaces was certainly the proper name of the man who took power in Parthia. Soon after Arsaces' appearance on the political scene, his name achieved unprecedented application among the Parthians. It confirmed the simple fact that only a legitimate king could be an Arsaces. This then shows that Arsaces was not only an honorific specification of a political supremacy. It was a royal designation and a recognition of the importance of the first Arsacid ruler as related by Justin (XLI, V, 6). However, we must consider that ΒΑΣΙΛΕΩΣ for the Greeks had the same connotation as ΑΡΣΑΚΟΥ for the Parthians in the second part of the third century B.C.E, as Caesar and Augustus for the later Romans. Moreover, we must recognize that in using his name in Greek in conjunction with the designations ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ and Aramaic *krny* [Wiesehöfer 2001: 61], that is to say *KARANOS* [Briant 1996: 29], Arsaces I clarified and stressed his position as an *autocrat* (ruling by one's own authority). Therefore, on the one hand he was the founder of an independent territory, an original *imperator*, and on the other his power was based on a military function [Livshits, Pilipko 2004: 163, 165]. This then leaves little doubt that Arsaces was King: an autonomous and sovereign leader able to assume, without any superior authority, the administration of his conquests. The last coins of the first Arsacid King confirm that the name Arsaces had been understood by everyone to convey kingship, the legend ΑΡΣΑΚΟΥ alone being then sufficient to confirm the royal status of the ruler. Arsaces I was initially a Parthian King not from a Hellenistic standpoint but in an oriental context as in the case of the Kushan rulers [Bernard 1994: 501]. The requirement for the Arsacids to be cal-

led ΒΑΣΙΛΕΩΣ was not realised under the first two kings but implemented by Phriapatius. The break in the Arsacid genealogical structure with the coming of the latter, who ruled after the second Arsaces, compelled Phriapatius to confirm on coins his affiliation with the Arsacid family and his political standing. He had to placate both the Parthians and the Greeks because he was genealogically far from the direct lineage and so had to justify his rank. Hence the evolution on his coinage from ΑΡΣΑΚΟΥ to ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ (from S. 7 to some S. 10 types) showing a parallel emancipation between the Arsacid King and his kingdom. To satisfy every subject and to clarify his unprecedented appearance on the throne, Phriapatius was compelled to legitimise his position with progressive coin legends leading to the adoption of the title ΒΑΣΙΛΕΩΣ.

Finally, it should be stated that the presence of the omphalos, after the application of a throne, on the reverses of the Arsacid coins is not a testimony of a Seleucid political influence on the Parthian Kings. Rather it must be seen as an obligation for the successors of the first two Arsacid monarchs to make their standing recognized.

Arsaces' Power in the Literary Sources. Unfortunately, we have no contemporary information about the nature of Parthian power during the reign of Arsaces I. All we know in this respect is derived from such classical literary sources as those written by Strabo, Polybius, Justin, Arrian, etc. most of which are incomplete. However, these usually cover a «Mediterranean» conception of the Parthian History [see various articles about sources in Wiesehöfer 1998] even though their original sources offer a more «Parthian» version of the events [Nikonov 1998: 108]. For example, Arsaces is perceived as a chieftain, governor of a nation, and master of two kingdoms by Justin (XLI, 4). On the other hand, Strabo (XI, 9, 2—3) refers to the first Arsaces as a Scythian (or a Bactrian) master of Parthia while Ammianus Marcellinus (XXIII, 6, 2) identifies him as a brigand chief. Arsaces I is thus seen as a military leader who employs a nomad army to control the upper Seleucid satrapies. This was achieved in the middle of the 3rd century B.C.E. But following the supremacy of these troops and their leader, perhaps after the victory over Seleucus II in 228 [Gaslain (*forthcoming/a*)] we note a coherent change in Arsaces' responsibility. He is not only the leader of the Parni, he is also the official representative of a nation of various peoples whose support significantly influence the administration of his dominions. Following the elimination of Andragoras [Дьяконов, Зеймаль 1988], perhaps about 245 B.C.E the status of satrap could no longer have affirmed the new pretensions of the Arsacids for what they represented. This was probably fully realised after the conquest of Hyrcania when the nomadic aspirations and sedentary realities had to be combined. That is why Arsaces I had to transform his influence in a legitimate establishment with no vassal link to a superior ruler. Therefore, his approach to producing this new and original state had to involve the progressive formation of a blend between an Arsaces nomad and an Arsaces sovereign [Olbrycht 2003: 71—77]. Thus, after the ethnic chief in the literary sources, we are reminded of a different Arsaces: the Arsacid King who organizes his kingdom. Then, his son succeeds him to the throne, also as a king, and assumes his father's status. Hence the statement by Justin (XLI, 5, 6—8) that Phriapatius was the «third King of the Parthians». Furthermore, although Arsaces I appears as «the good king» in Ammianus Marcellinus [Drijvers 1999: 196], the most significant information about his royal status comes from Isidore of Charax who declares that Arsaces was crowned as king in Asaak (perhaps in 238 B.C.E). It is inconceivable that this was invented or that it was simply an error of judgement by Isidore. This event was an authentic investiture whereby Arsaces definitively celebrated the beginning of his authority as an independent sovereign. Presided between the Seleucid kingdom and the new Greco-Bactrian power, Arsaces I must have been obliged to inaugurate his realm and monarchy in order to establish his undisputed authority. With the accession of Arsaces II as the ruler of Parthia and Hyrcania, the new king inherited both his father's designation and responsibilities as King. It is, therefore, logical to maintain that Arsaces I created the Parthian Kingdom, Phriapatius validated the Arsacid State and Mithradates I guaranteed its emancipation.

Bibliography

- Дьяконов И. М., Зеймаль Е. В. Правитель Парфии Андрагор и его монеты // ВДИ. 1988. № 4.
 Assar G. F. Genealogy and Coinage of the Early Parthian Rulers // Parthica. 6 (2004). 2005.
 Bader A., Gaibov V., Gubaev A., Koshelenko G. A., Lapshin A., Novikov S. Ricerche nel complesso del tempio rotondo a Nisa Vecchia // Parthica. 4. 2002.
 Bernard P. L'Asie Centrale et l'empire séleucide // Topoi. 4. 1994.
 Briant P. Histoire de l'Empire Perse. Paris, 1996.
 Diakonoff I. M., Livshits V. A. Parthian Economic Documents from Nisa. London, 1976—2003.

- Drijvers J. W.* Ammianus Marcellinus' image of Arsaces and early Parthian history // The late Roman world and its historian. Interpreting Ammianus Marcellinus. London; New York.
- Gaslain J.* Réflexions sur la signification des armes des premières monnaies Arsacides // Proceedings of the International Conference of Arms and Armament in Parthian and Sasanian Times (Wittenberg, November 2003) (*forthcoming/a*).
- Gaslain J.* A propos du bachlik des monnaies parthes au portrait imberbe (*forthcoming/b*).
- Lerner J. D.* The Impact of Seleucid Decline on the Eastern Iranian Plateau. Stuttgart, 1999.
- Invernizzi A.* Arsacid Palaces // The Royal Palace Institution in the first millennium BC — Regional Development and Cultural Interchange between East and West. Aarhus, 2001.
- Lippolis C.* La célébration d'une dynastie. Nisa forteresse arsacide // Histoire Antique. Hors Série. N.º7. 2004.
- Livshits V. A.* Three New Ostraca Documents from Old Nisa // Transoxiana.com. Webfestschrift B. I. Marshak. 2003.
- Livshits V. A., Pilipko V. N.* Parthian ostraca from the central Building complex of old Nisa // ACSS. 10/1—2. 2004.
- Nikonorov V. P.* Appolodorus of Artemita and the date of his *Parthica* revisited // Ancient Iran and the Mediterranean World. Kraków, 1998.
- Olbrycht M. J.* Central Asia and the Arsacid Kingdom // Взаимодействие культур и цивилизаций: В честь юбилея В. М. Масона. СПб., 2000.
- Olbrycht M. J.* Parthia and Nomads of Central Asia. Elements of Steppe Origin in the Social and Military Developments of Arsacid Iran // Oht. Ht. 12. Halle/Saale, 2003.
- Schippmann K.* Grundzüge der Partischen Geschichte. Darmstadt, 1980.
- Schippmann K.* The Arsacids. II: The Arsacid Dynasty // EIr. Vol. 2/5. 1986.
- Schmitt R.* Parthische Sprach- und Namenüberlieferung aus arsakidischer Zeit // Das Partherreich und seine Zeugnisse — The Arsacid Empire: Sources and Documentation. Beiträge des Internationalen Colloquiums, Eutin (27. — 30. Juni 1996). Stuttgart, 1998.
- Sellwood D.* An Introduction to the Coinage of Parthia. London, 1980.
- Weber D.* Notes on some Parthian Names from Nisa // Parthica. 5. 2003.
- Wiesehöfer J.* (ed.). Das Partherreich und seine Zeugnisse — The Arsacid Empire: Sources and Documentation. Stuttgart, 1998.
- Wiesehöfer J.* Ancient Persia. London, New York, 2001.
- Wolski J.* Schöpften Strabon und Justinus aus der gleichen Quelle bei der Darstellung der frühen Geschichten Parthiens // Latomus. 62. 2003.

THE MEANING OF «TAMGHAS» ON SOGDIAN COINS

The Onion of Aleksandr Markovich Belenitsky. I never really got a chance to work with Aleksandr Markovich Belenitsky. By 1978, when I joined the Panjikant expedition, he had already retired from the actual excavation process and spent most of his field season at the expeditionary base. His short periodical visits to the site were more a tribute to an old habit, sometimes combined with a walking exercise: instead of coming with others on the morning truck, he went to the Panjikant bazaar and then up to the site on foot. He stopped at different excavation spots, placidly listened to the daily archaeological «news,» but rarely came up with any comments other than little jokes. Most of all his presence was felt at the dinner table: I remember how during his last season, he borrowed a copy of «Wallenstein», which I by chance had acquired in Samarqand, and constantly amused his younger collocutors by skillful insertions of Schiller's highly dramatic verses in common daily conversations. That is how he remained in my memory — a dignified, relaxed and witty old man, who insisted with his entire behavior that he had done his life's job and earned the right to enjoy his remaining years.

While my acquaintance with Belenitsky the scholar is thus limited to his numerous publications, his image as a man was complemented by lively stories told by older colleagues. One such episode, narrated by Aleksandr Markovich two years before he himself passed away, I would like to retell here, because it is a genuine, eyewitness account elucidating the life tests befallen the unlucky generation, and because it throws light on Belenitsky the Man.





In the spring of 1991, Valery Nikonorov and I were enjoying «past times» stories in the dining room of Belenitsky's Leningrad apartment, when Aleksandr Markovich said: «I have one sure onion (*lukovka*) that will be taken into consideration *there*». As the allegory was not readily apparent to us, Aleksandr Markovich reminded us of a tale included in the «Brothers Karamazov» by Dostoevsky: an angel tried to save a woman from Gehenna by extending her an onion, which she had once given to a beggar [Достоевский 1976: 318—319]. Then the old scholar described how some time in the late 1940s the famously grave Soviet «scientific atheist» Lucian Klimovich gave a talk at the Leningrad Branch of the Institute of Oriental Studies. Camouflaged as a scholarly lecture, this was a political speech specifically designed to bring down Ignatii Iulianovich Krachkovsky, one of the most respected leaders of the old academic elite. The tone of Klimovich infallibly meant that the invisible *they* had already taken the decision to destroy Krachkovsky. As to the audience, it was «expected» to keep the silence of sheep, if not to burst in the enthusiastic applause. Yet, when the content and the function of this «sponsored» action became apparent, Igor' Mikhailovich D'iakonov demonstratively stood up and left the hall with the words: «This has nothing to do with scholarship». Belenitsky stood up as well and followed D'iakonov out of the hall.

While listening to this simple narrative, a thought struck me that in the relatively free political climate of the early 1990s one already needed some degree of imagination to understand why a major scholar standing at the threshold of a tomb remembered this act of passive protest as one of his major moral merits. And of course I was greatly impressed by the courage shown by D'iakonov and Belenitsky at the face of the unpredictable and possibly fatal consequences that such a public protest could bring. Finally, I thought that it was this strong moral stand of defenseless people like Aleksandr Markovich Belenitsky that made my 1991 freedom possible. This fact, however, pertains to the 20th century Russian history, while the present conference is gathered to commemorate Belenitsky's contribution into the history of Medieval Central Asia, and to this latter theme I now turn.

A Few General Words about Sogdian Monetary «Tamghas». The use of special signs, apparently forming a special visual language in some aspects parallel to that one of coin legends, constituted one the most characteristic features of the Sogdian monetary tradition from the beginning of the 5th to the third quarter of the 8th centuries. Modern scholars call these signs «tamghas» and interpret them as the family badges of various Sogdian ruling houses. The latter notion, however, is by no means derived for the «behavior» of the «tamghas» on Sogdian coins themselves, but is based on a historical argument.

Indeed, similar signs were widely used by multiple nomadic neighbors of Sogdiana. Their most basic function was to serve as a property mark — a brand on the skins of livestock. Yet at least by the Sarmatian period it was expanded to embrace more complex social function of tribal/clan/family signs. Since the majority of Sogdian dynasties had nomadic origin, an interpretation of similar signs on Sogdian coins as dynastic badges seemed to be quite logical.

Table I. Tamghas on the Coins of Panjikant

	Ruler's name	Father's name	Coin legend	Tamghas
1	<i>γ'm'wky'n</i> Gamaukian		<i>pncy MR'Y</i> <i>γ'm'wky'n</i>	
2	<i>ck'yn cwr fylk''</i> Chakin Chur Bilga	<i>pycwtt</i> Bichut	<i>pncy MR'Y</i> <i>fylk'' γwb</i>	
3	<i>δyw'styc</i> Divashtich	<i>ywδ'γšytk</i> Yodkshetak	<i>pncy nn δβ'mpnh</i> and <i>pncy nn δβnpnh</i>	
4				

This interpretation undoubtedly fits the case of the early Bukharan coins imitating the type of Euthydemus' tetradrachms: the «tamgha» that replaced the distorted Greek monogram on one of the types of the 1st century B.C.E.¹ constitutes a version of the most common shape used by various contemporary tribal leaders and principalities from Khotan in the East to Khorezm in the West. As no more «tamghas» appeared on Sogdian coins during the next four centuries and the Bukharan type in question remains the single isolated instance, one can say that tamghas did not strike a root in the Sogdian monetary tradition.

The next appearance of a tamgha in Sogdian numismatics dates to the first decades of the 5th century². There seem to be two sources of this innovation: the principal compositional device — a tamgha in the center of the reverse surrounded by a circular legend — came from Khorezm, while the shapes of the tamghas themselves imply a connection with the Hephtalites³. This time the tamgha settled to become an immanent feature of the Bukharan coinage. As Bukharan monetary designs were the most influential during the 5th and 6th century, the tamgha started to be the common feature of coin reverses on the coins of Chach; and with the beginning of massive Sogdian copper coinage in the end of the 6th and 7th centuries we find tamghas virtually everywhere. Yet the question arises, as to whether the tamgha retained the same meaning in the highly urbanized and not kingship-oriented environment of Sogdiana. A sober look at the numismatic material shows that it did not.

«Tamghas» on the Coins of Panjikant. The most convenient starting point for our discussion is the coinage of Panjikant, because it is best known archaeologically [Беленицкий, Маршак, Распопова 1980; Беленицкий, Распопова 1981] and because it constitutes the only case when the numismatic data can be directly juxtaposed with the information of contemporary and authentic documentary sources.

Three last lords of Panjikant issued their own coins. The first of them, Gamaukian [Лившиц 1979: 57], whom we know solely from the coins, was likely to be a Sogdian. By 693 the throne of Panjikant passed to a Turk named Chagin Chur Bilga, the son of Bichut. Besides coin legends [Лившиц 1979: 57—58], Bilga appears in the documents of the Mug archive [Лившиц 1962: 45—53]. Most likely in 708 he was succeeded by Devashtich, son of Yodhshetak, whose personal domain was situated in Pargar, a mountain region to the East of Panjikant [Лившиц 1979: 60]. The coins of Panjikant issued during the reign of Devashtich [Распопова 1976: 43—47; Беленицкий, Распопова 1981: 13, табл.; Распопова 1990: 19] do not carry his name, but mention Nana, the Mistress of Panch. Most likely this is an invocation of the name of the goddess Nana, the supreme deity of the Sogdian pantheon [Henning 1965: 252, n. 67—68; Смирнова 1967: 34—36; Лившиц 1979: 65]. Less likely, albeit possible, is another interpretation, accord-

¹ Coins of this type are fairly rare. I am aware of three specimens in Museum collections: Hermitage [Зеймаль 1978: табл. II, no. 5]; Berlin Munzkabinet [no. 3496]; Bibliotheque Nationale [Bopearachchi 1992: 21, 60]. Two more I know from publications: Bopearachchi [1992: 21, 59] with mistaken reference to the British Museum collection; Schulman auction catalogue (July 25—26, 1972, no. 310). Finally, there is an unpublished unique specimen in the Pushkin Museum of Fine Arts [inv.: 232538], which carries a Sogdian legend and thus belongs to a much later stage in these five early imitations.

² It occupies the center of the reverse type on the so far unpublished coins bearing portrait of Mawak on the obverse. Unfortunately, the legend surrounding the tamgha cannot be fully reconstructed from the five specimens known to me. Typologic considerations suggest for them a place between the regular issues of Mawak and those of Asbar, implying the date sometime around the first quarter of the 5th century [on the dates of Mawak's and Asbar's reigns see: Наймарк 1995].

³ A tamgha identical to the one on the aforementioned Bukharan issue appears on a seal bearing a Bactrian inscription with the name of Khingila [Callieri 2002: 121, 135, fig. 1]. «Hephtalite» coins provide a number of parallels to Sogdian tamghas [compare, for example: Смирнова 1958: табл.; and Gobl 1967: Taf. 17].

ing to which Nana was a theophoric name of Divashtich's wife [Беленицкий, Маршак, Распопова 1980: 21; Marshak 1993: 335]. The uncertainty in this last question does not undermine Livshits' important conclusion that «the known Panjikant rulers — Gamaukian, Bilga and Divashtich — were not relatives» and thus did not constitute the «dynasty of Panjikant» [Livshits 1979: 61].

What kind of tamghas we find on Panjikant coins? Gamaukian, whose coin style derives from that of the last coin issue of Varkhuman [Смирнова 1981: 112—3, 101], and whose coinage seems to be at least partially synchronous with that of Urk Vartarmak [Смирнова 1981: 217—227, № 657—732], placed two tamghas on his coins [Tabl. I, 1]. The coins of Bilga reproduce only one of them in slightly modified version [Tabl. I, 2]. From the coins of Bilga the same tamgha moved to the coins with the name of Nana, issued under Divashtich [Tabl. I, 3—4]. In other words, one and the same tamgha appears on the coins of three different rulers, who certainly did not belong to one family. This consideration casts a great doubt on the interpretation of the tamghas as family/clan signs. On the other hand, the only common denominator that can be detected in this case is that all three were the rulers of Panjikant, hence the «tamgha» is likely to serve as the badge of the city of Panjikant.

«Tamghas» on the Coins of Samarqand. The formal approach to the tamghas featuring on the copper coins of Samarqand (end of the 6th century — 750s) reveals a similar albeit somewhat more complex picture. According the tamghas used, the entire history of this coinage could be divided into four distinctive periods. Presently I am aware of seven different coin types which can be attributed to the first period (end of the 6th — first third of the 7th century): the five types with three-quarter portraits¹ and one cash type reproducing the design of *kaiyuan-tongbao* on one side and carrying the single word *bgy* in Sogdian cursive on another [Смирнова 1981: 101—103, № 43—47]. All six types bear only one Y-shaped tamgha [Tabl. II, 1—6]. The title, when appeared on the coins of this period, is a merely a princely one: *bgy* «master, lord» or *xwb* «prince, duke».

The coins of the second period bear two tamghas: the same Y-shaped sign and a *triskelion* [Tabl. II, 7—11] and were issued in the name of successive five kings (*MLK'* of the legend) whose rule stretched from the 630s to 698: Shishpir, Tanuka, Varkhuman, Urk Vartarmak and Mastich Unash [Смирнова 1981: 103—130, № 48—190, 217—227, № 657—732]². There are no definite materials that could reveal the family relations within this group, although Livshits once suggested that in the Great Afrasiab inscription Ikhshid Varkhuman carried the family/clan name Unash, identical with the one that Mastich Unash placed on his coins [Лившиц 1973], while Marshak's interpretation of the paintings in the Hall of Ambassadors at Afrasiab suggests the existence of a dynastic cult in Samarqand [Marshak 1994: 5—20].





























The coins of the third period routinely retain a Y-shaped tamgha, but instead of a *triskelion* they all carry variants of a new tamgha based on a rhombic figure [Tabl. II, 12—15]. These were issued in the names of four kings (*MLK'* of the legend) who ruled in Samarqand from 698 to the 750s: Tukaspadak, Tarhun, Ugrak and Turgar [Смирнова 1981: 131—217, № 191—656]. From Chinese sources we know that, prior to his election as a king, Tuqaspadak carried some high, but not princely, title [Chavannes 1903: 135; 1904: 25], which gives us reason to believe that he was not a member of the preceding dynasty. The Persian Qandiyya says that Ugrak was Tarkhun's younger brother [Бартольд 1898: 48; Насафи-Вяткин 1906: 241], while the Samarqand treaty calls Ugrak «the son of Ikhshid» [Смирнова 1960], thus making both Tarkhun and Ugrak either the sons of Tukaspadak or the sons of Tukaspadak's son and heir, the short-ruled Ninie si si. Finally, Turgar is known to be the son of Ugrak [Chavannes 1904: 58—59]. In other words, the four rulers of Samarqand who placed the rhomboid tamgha on their coins certainly belonged to one family [cf. Лившиц 1973].

Two types form the fourth period: 1) Coins with a portrait of a crowned ruler in three-quarter turn on the obverse and Sogdian horizontal inscription in two lines on the reverse (...irt *MLK'*) [Смирнова 1981: 308—311, № 1360—1364]; 2) Coins with a similar portrait, but carrying an Arabic inscription on the reverse (*bismillah...*) [Смирнова 1981: 415, № 1660]. Typologically close to them are the shahada fulus of Samarqand governor al-Ash'ath b. Yahya, minted in 144/761—762 [Смирнова 1963: табл. XVI—XVII, № 833—863]. On all of these three types a Y-shaped tamgha is placed horizontally (!) under the inscription of the reverse [Tabl. II, 16—18].

¹ Smirnova published all the relevant types, but she incorrectly reconstructed the sequence in which they were issued [Смирнова 1981: 20—22, 88—100, № 1—41]. Based on iconographic, paleographic (transition from uncial to cursive script) and technological criteria (gradual transition from striking to casting) the order of these issues looks as follows: I. Smirnova's group 2 [Смирнова 1981: № 33—36]; II. Group 3, type I [Смирнова 1981: № 37]; III. Group 3, type II [Смирнова 1981: № 38—41]; IV. Group 1, type II [Смирнова 1981: № 30—32] and type I [Смирнова 1981: № 26—28]; V. non-epigraphic coins [Смирнова 1981: № 1—25].

² On the sequence of their rule see Наймарк 2004.

Table II. Tamghas on the Coins of Samarqand

Date	Coin legend	Chinese historical transcription/Arabic	Family relations	Tamghas
1. end of the 6 th century	<i>γωβ mwrnyu (?) γnšδu (?)</i>			
2.	<i>βγγ γωβ prn (?)</i>			
3.	non-epigraphic			
4.	<i>γωβ twr'k</i>			
5.	non-epigraphic			
6.	<i>βγγ</i>			
7. after 631; mentioned in 642	<i>MLK' šyšpyr</i>	šiāu-siēt-piet		 
8. mentioned in 645	<i>MLK' twrk'</i>	d'ung-xā		 
9. mentioned in 656-660	<i>MLK' 'βr γwm'n; MLK' βr γwm'n;</i>	piuēt-yuo-muân		 
10.	<i>MLK' 'wrk wrtrmwk'</i>			 
11.	<i>MLK' m'stc 'wnš</i>			 
12. elected 696; died 698	<i>MLK' twk'sp'δ'k</i>	tuok-sâ-p'jie-d'iei	did not belong to previous dynasty	 
13. by 711 was in power for at least 10 years	<i>MLK' tr γwn</i>	t'uēt-xuēn Turkhūn	older brother of Ghūrak	 
14. elected 711 died by 738	<i>MLK' 'wyrk</i>	'uo-lək-ka Ghūrak	son of a king; younger brother of Turkhūn	Type I   Type II  
15. enthroned 738	<i>MLK' twr γ'r</i>	tuēt-yât	son of Ghūrak	 
16. ?	<i>... yrt MLK'</i>			
17. ?	<i>Bismillah ...</i>			
18. 144 A.H./ 761-2 C.E.	<i>al-Āsh'as b. Yahya</i>			

With this in mind, let us turn to the meaning of tamghas. As we can see, the Y-shaped tamgha appears on the coins of all four periods. Its very use on the fulus of the Arab governor could indicate that it represented the realm of Samarqand, rather than serving as a dynastic sign. Yet even more support for this interpretation is provided by the fact that Y-shaped tamgha was retained on the coins after Tukaspadak, who did not belong to the previous dynasty, came to power.

Of the two supplementary tamghas, the rhomb-shaped one clearly pertains to the coinage of the dynasty founded by Tukaspadak: it appears on his coins, and persists on all the coins of his successors.

Although we do not know much about the connections between the five Ikhshids of the 7th century, some data allow us to offer an explanation of the origin and consequently of the meaning of the triskelion on their coins. Chinese chronicles mention an embassy to China [Chavannes 1903: 146], sent by a Kesh ruler whose name, Sha-se-pi, corresponds too well to the name Shishpir on coins to be ignored. In her early works, Smirnova put an equation mark between the two [Смирнова 1952: 14], but as it became absolutely clear that Shishpir's coins constituted a part of the Samarqand monetary circulation, she rejected this idea being unable to explain the seeming discrepancy with the information of Chinese sources which described Sha-se-pi as the ruler of Kesh. She sought another solution of the problem [Смирнова 1981: 36—37] by identifying Shishpir with Shih-fu-pi, who ruled in Samarqand some time between 575/6 and 603 [Chavannes 1903: 51, n. 132]. Okamoto advanced Smirnova's theory further by showing that the spelling Shih-fu-pi of the Chinese chronicle is a scribal mistake for Shih-shih-pi [Okamoto 1984]. Yet such a coincidence in names is not sufficient for the identification of two personages — they could simply be namesakes. Such identifications are especially dangerous when we know names only from Chinese transcription¹. Meanwhile, the attribution of Shishpir's reign to such an early date disagrees with everything we know about the paleography and typology of Shishpir's coins as well as about the stratigraphy of the finds.

Zeimal² suggested a different and apparently more probable solution for this puzzle, namely that Shishpir, originally a Kesh ruler, became the king of the entirety of Sogd [Зеймаль 1999: 202]. One recent discovery provides a good proof of Zeimal's theory. Long time ago Smirnova suggested a connection between the *triskelion* on the coins of Shishpir and his successors and the one on the coins of Ahurpat [Смирнова 1958: табл. VI, № 8—11 and 17]. Yet this observation did not bring any further conclusions because Smirnova incorrectly read the toponymic part of Akhurpat's title [Смирнова 1963: 129; 1981: 306]. The indisputable new reading of this word as Kashianak [Лившиц 2003: 85] and the topography of recent finds [Ртвеладзе 1988: 39—42] firmly attributes the coins of Akhurpat to Kesh and prompts his identification with the ruler of this realm Hubiduo, who sent an embassy to China in 727 C.E. [Наймарк 2004]. It therefore appears, that Sishpir, who founded the second Samarqand dynasty known to us was originally the ruler of Kesh.

Either a union of the two realms or some special position that Kesh enjoyed among the Sogdian principalities [cf., for example Enoki 1955: 51] gave Shishpir the right to accept the higher title of *MLK'* = *ikhshid* = king instead of the common Sogdian title *MR'Y* = *xwb* = duke, which had been used by his predecessors on the Samarqand throne. This may also explain Ikhshid Ugrak's claim of the realm of Kesh, which is reflected in the Samarqand treaty with the Arabs signed three-quarters of a century later [Смирнова 1960].

It would be quite logical to suggest that the secondary tamghas (the *triskelion* and the rhomboid one) were the badges of the realms, which joined the kingdom of Samarqand when their rulers became Samarqand kings. The fact that Chinese sources mention the Kesh ruler Shi Ahe simultaneously with the Samarqand Ikhshid Varkhuman during the delimitation of the Western Lands in 656—660 cannot be taken for the proof that the *triskelion* was a dynastic sign: Shi Ahe could be a vassal of Samarqand, or the Samarqand Ikhshids could have kept the Kesh sign on their coins as the manifestation of their political pretensions.

Regardless of the solution of this last problem, it seems to be quite clear now that, despite the general statements of Chinese chronicles about the great antiquity of the Samarqand ruling clan, three different consecutive dynasties replaced one another during the 7th and the first half of the 8th centuries.

Conclusion. It appears that at least in some areas of Soghd, coin tamghas the 7th and 8th centuries served as the signs of polities rather than dynastic badges. When the tamghas acquired this meaning, and

¹ The names of Samarqand ruler *twk'sp'd'k* (Sogdian legend on coins) and Bukhar Khuda Tughshada (Arabographic transcription in the *Tarikh-i Bukhara*) were rendered in Chinese as Dusaboti (*tuok-sa-p'jie-d'iei* in the historical transcription) [Смирнова 1953: 205—210]. The names of the ruler Shi-Ahe of Kesh and his contemporary Shi-Ahe of Kabudan constitute another such «pair» [Смирнова 1981: 425].

how we should interpret the signs on the coins of the 5th and the 6th centuries remains unclear.

Bibliography

- Бартольд В. В.* Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Т. I (текст). СПб., 1998.
- Беленицкий А. М., Маршак Б. И., Распопова В. И.* К характеристике товарно-денежных отношений в раннесредневековом Согде // Ближний и средний Восток. Товарно-денежные отношения при феодализме. М., 1980.
- Беленицкий А. М., Распопова В. И.* К вопросу об уточнении датировок согдийских монет // КСИА. Вып. 167. 1981.
- Достоевский Ф. М.* Братья Карамазовы // *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 14. Л., 1976.
- Лившиц В. А.* Согдийские документы с горы Муг. Вып. II: Юридические документы и письма. М., 1962.
- Лившиц В. А.* Правители Согда и «цари гуннов» китайских династийных историй // Письменные памятники и проблемы истории культуры Востока. IX годичная научная сессия ЛОИВ АН. М., 1973.
- Лившиц В. А.* Правители Панча (согдийцы и тюрки) // НАА. 1979. № 4.
- Лившиц В. А.* Кеш (Шахрисябз) в согдийских текстах и на монетных легендах // Центральная Азия. Источники, история, культура. ТД конференции, посвященной 80-летию Е. А. Давидович и Б. А. Литвинского. М., 2003.
- [*Насафи-Вяткин*] Кандия Малая / Пер. В. Л. Вяткина // Справочная книжка Самаркандской области. Вып. VIII. 1906.
- Наймарк А. И.* О начале медной чеканки в Бухарском Согде // НЦА. I. 1995.
- Наймарк А. И.* О датировке монет кешского царя Ахурпата // Transoxiana. История и культура. Ташкент, 2004.
- Распопова В. И.* Отливка монет в мастерских Пенджикента рубежа VII—VIII веков // КСИА. Вып. 147. 1976.
- Распопова В. И.* Жилища Пенджикента. Л., 1990.
- Ртвеладзе Э. В.* Монеты Кеша // История и культура южных районов Средней Азии в древности и средневековье. Ташкент, 1988.
- Смирнова О. И.* Материалы к сводному каталогу согдийских монет // ЭВ. VI. 1952/
- Смирнова О. И.* К имени согдийского ихшида Тукаспадака // ТАН Таджикской ССР. Т. XVII. 1953.
- Смирнова О. И.* Монеты древнего Пенджикента (материалы 1948—1954 гг.) // МИА. № 66. 1958.
- Смирнова О. И.* К истории Самаркандского договора 712 г. // КСИВАН. XXXVIII. 1960.
- Смирнова О. И.* Каталог монет с городища Пенджикент (материалы 1949—1956 гг.). М., 1963.
- Смирнова О. И.* Нумизматические заметки // ЭВ. XVIII. 1967.
- Смирнова О. И.* Сводный каталог согдийских монет. Бронза. М., 1981.
- Зеймаль Е. В.* Политическая история древней Трансоксианы по нумизматическим данным // Культура Востока. Древность и раннее средневековье. Л., 1978.
- Зеймаль Е. В.* Монеты раннесредневековой Средней Азии // Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999.
- Vopearachchi O.* The Euthydemus' Imitations and the Date of Sogdian Independence // SRAA. 2 (1991/92). 1992.
- Callieri P.* The Bactrian Seal of Khingila // SRAA. 8. 2002.
- Chavannes E.* Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux. St.-Petersbourg, 1903.
- Chavannes E.* Notes additionnelles sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux // T'oung Pao. 1904
- Enoki K.* Sogdiana and the Hsiung-nu // CAJ. I/1. 1955.
- Göbl R.* Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen in Baktrien und Indien. Band IV. Wiesbaden, 1967
- Henning W. B.* A Sogdian God // BSOAS. XXVIII. 1965.
- Marshak B. I.* Dewashtich // EI. VI. 1993.
- Marshak B. I.* Le programme iconographique des peintures de la «Salle des ambassadeurs» à Afrasiab (Samarkand) // ArAs. T. XLIX. 1994.
- Okamoto T.* Chronology of Kings of Sogd // The Toyo Gakuho. Vol. 65/3, 4. March 1984 (in Japanese).

CREATING AN EMPIRE: IRAN AND MIDDLE ASIA
IN THE POLICY OF SELEUKOS I

Introduction. The early history of the Seleukids has inevitably tended to be studied from the Mediterranean and Babylonian perspectives, for the main sources relating are of Greek and Babylonian origin¹. Consequently, attempts can be observed which are not free of exaggerated focus on Syria or Babylonia². Such approaches, applicated in a number of studies, seem, however, to a large extent not to be sufficient for any coherent reconstruction of the Seleukid period, especially of its early developments.

In the phase reaching from 312 until 301 B.C., i. e. from the return to Babylonia to the battle of Ipsos, Seleukos was creating his empire. Initially, he had a slight chance of success. He had to make efforts to defende himself against the attacks of Nikanor, Demetrios, and Antigonos, and to extend as well as secure his rule in Babylonia and Iran. The position of Seleukos seemed desparate, and his overthrow a matter of time. Surprisingly, Seleukos not only defeated his powerful enemies, but he also managed to create a strong state with a formiddable military potential. How was it possible that Antigonos, being in the period 320 up to 301 the most successful and powerful of the Diadochs, and having his sights firmly set on uniting the former empire of Alexander, failed to eliminate Seleukos? And what were actually the decisive factors which contributed to Seleukos' rise to power? The following study attempts to reconstruct the policy of Seleukos (I) in the phase 312—301, focusing on the role of the Iranians. Evidence, from many angles, presents us with a period of rapid changes.

Seleukos in Babylonia and in the Upper Satrapies (312—301). After the battle of Gaza (312 BC), the hegemony of the Antigonids in Levant was temporarily shuttered. Seleukos, being supported by Ptolemaios, went to Babylonia with a tiny army of 1,000 soldiers. When Seleukos reached Babylonia, most of the inhabitants declared themselves on his side and promised support (Diod. 19, 91, 1). Actually, Seleukos was not a stranger there. At the conference of Triparadeisos in 320, he was appointed satrap of Babylonia, and remained in his office until 315. In Babylonia Seleukos had to face military dangers on two fronts: in the west, by Antigonos' troops, and in the east, by the army of Nikanor, Antigonos' appointee in Iran with the title strategos of the Upper Satrapies³.

After his surprising victory over Nikanor, Seleukos was able to make substantial territorial gains. Diodoros emphasizes that Seleukos demonstrated his magnanimity (*philantropia*) and easily won over Susiana, Media and «some of the adjacent lands» (Diod. 19, 92, 5). Seleukos, in fact, had to eliminate some centres of resistance in Media and to capture Nikanor himself. But his superiority in the Iranian satrapies remained vast, mainly due to the support of the local populations. In Persis, favourable to Seleukos, there was the hatred towards Antigonos felt by many of the Persian elite. The same is true in the case of Media. It seems that also the Parthians accepted — at least nominally — the rule of Seleukos.

After the long struggles with Antigonos and his son Demetrios, conducted mainly in Babylonia and west Iran (311—308), Seleukos prepared to launch a great expedition to east Iran and Middle Asia⁴. The political situation in east Iran and Middle Asia about 307, on the eve of Seleukos' eastern campaign, can be reconstructed only fragmentary. Parthia had been under Nikanor's control, and after his defeat this country must have been subjugated by Seleukos. Hyrcania probably formed one satrapy together with Parthia. In Areia/Drangiane, Antigonos was able to install satrap Euitos, and then Euagoras in 315, but it is improbable that Nikanor still controlled this remote region. Lands stretching to the east of Parthia and Areia/Drangiana, i. e. Margiana, Baktria, Sogdiana, and Arachosia remained beyond the realm of Nikanor. In 316—315, Antigonos failed to intervene in these countries and had to accept the status quo there. Diodoros, relating to the position of the satraps Tlepolemos in Karmania and Stasanor in Baktria, stresses that Antigonos was not able «to remove them by sending a message since they had conducted themselves well towards the indigenous inhabitants (*enchoroi*) and had many supporters» (Diod. 19, 48, 1). Both satraps conducted thus a

¹ On the beginnings of the Seleukos's state see: Wolski 1999: 19—27; Schober 1983: 94—193; Marasco 1984; Mehl 1986: 104—193; Sherwin-White, Kuhrt 1993: 7—39; Scharrer 2000.

² See, e. g. Seyrig 1970; Sherwin-White, Kuhrt 1993: 9: «A key to Seleucus' rise to power and to the future endurance of his kingdom was Babylonia, on which his territorial power was based».

³ On Nikanor's function see Diod. 19, 100, 3; App. *Syr.* 55/278; cf. Schober 1983: 89 f.

⁴ The literature on the eastern Anabasis of Seleukos is rich, but it mainly focuses on the Indian section of the campaign [see Schober 1983: 140—151 (Iran and Middle Asia), 151—193 (India); Mehl 1986: 134—137 and 166 f. (eastern Iran and Middle Asia), 156—193 (India)].

policy which aimed at gaining the support of the native Iranian populations. East Iran and Middle Asia became after 323—322, in fact, independent, the satraps there ruled as local dynasts.

In Bactria, Seleukos met a strong resistance, but the scanty sources are not specific. Justin (15, 4, 12.) maintains that Seleukos «Bactrianos expugnavit» and uses the term «Bactriani» to designate both the native Bactrians (2, 3, 6; 30, 4, 5) and Bactrian Greeks (41, 4, 5; 6, 3.). According to Orosius, «Bactrianos novis motibus adsurgentes perdomuit» (3, 23, 44)¹. Obviously, the Bactrian Greeks were not willing to accept Seleukos' suzerainty, thus it is probable that Seleukos had to fight the local Greek satrap. It is quite likely that a part of the native Bactrians supported Stasanor against Seleukos, as earlier against Antigonos. Thus, Seleukos' skilful policy, so effective in Babylonia and west Iran, proved to be a failure in Bactria. The Bactrian Greeks and parts of the native Bactrians tended obviously to establish their own independent realm. Seleukos' military threat forced the Bactrians to capitulation. But the feelings of autonomy and independence remained strong in Bactria: in about 60 years after Seleukos' anabasis, the Greeks of Bactria founded their own kingdom.

It seems that the Graeco-Macedonian presence in Sogdiana after Alexander's death was initially limited or almost annihilated by the pressure of the native Iranians and that of the nomads. It should be, however, remembered that the spouse of Seleukos, Apame, was daughter of the former Sogdian leader Spitamenes. This circumstance must have made easier for Seleukos to negotiate with the local lords and to gain their support. Nonetheless military actions were certainly made, and the Seleucid general Demodamas crossed the Syrdarya river, striking a blow to the nomadic tribes bordering the sedentary areas.

Seleukos' rule in the east reached Bactria, Sogdiana, Parthia (Parthyaia), Areia, Karmania and perhaps Drangiana. Arachosia, Paropamisadai, and Gedrosia remained Indian. After finishing his eastern campaign, Seleukos set out against Antigonos. Together with Ptolemaios, Kassandros, and Lysimachos he created a mighty coalition in 302.

Iranians in the battle of Ipsos (301). The main thing needed by Seleukos in 312—301 was an army able to fight against the mighty rivals. By 301, he could recruit just several thousands soldiers of Macedonian and Greek origin. The potential of Iran and Middle Asia was much bigger. Nikanor's army numbered 17,000 men, but Seleukos must have had much more for he was supported by Median and Persian elites. The potential of Persis in 318—317 under Peukestas numbered 14,000 soldiers, including 13,000 Iranians. The potential of the Kossaioi can be estimates as 10,000 soldiers at least, of Media as 5,000 horse (the battle in Gabiene). Taking into account these rather lowered numbers, in can be assumed that already by 308 Seleukos could recruit at least 30,000 Iranians, including superior cavalry, excellent light infantry (archers and slingers), and pantodapoi (phalanx soldiers) from west Iran and possibly Parthia. After his conquest in east Iran and Middle Asia, Seleukos was able to enlarge his military forces on the basis of the new Iranian recruits. In consequence, when in 302 Seleukos appeared in Kappadokia, his army was for the most part Iranian, supported by a huge number of Indian elephants.

Seleukos joined Lysimachos and at Ipsos Antigonos fell before their combined power (301). Diodoros provides more details on Seleukos' troops (20, 113, 4): they numbered 20,000 foot, 12,000 horse, including mounted archers (*hippotoxotai*), 480 elephants, and more than 100 scythed chariots. Striking is the huge number of cavalry in Seleukos' army. King's son Antiochos commanded a mighty cavalry division. A picture of the battle itself can be gained mainly from Plutarch (*Demetr.* 29, 3 f.). The encounter began when Demetrios' cavalry charged Antiochos' troops and drove them back in flight. Having cut off Demetrios' cavalry from the main battle field, and «observing that his enemies' phalanx was unprotected by cavalry», Seleukos took his light horse-archers (*hippotoxotai*) and javelineers (*akontistai*) and kept Antigonos' phalanx in fear of a charge by continually riding around and harassing them. A large part of Antigonos' soldiers surrendered, the rest were mostly routed. Only few could escape joining Demetrios in his flight to Ephesos. Antigonos, abandoned by his friends and attendants, went down in a cloud of javelins.

At Ipsos, Seleukos employed tactics rarely used in the Hellenistic art of war. Against the phalanx he directed his light cavalry. But the point is that amongst them there were mounted archers and javelineers who could harass the enemy from a distance, and the phalanx was powerless in the face of such a tactics. The *hippotoxotai* played a particular role in the encounter. Their tactis was a devastating combination of speed and maneuverability coupled the most effective missile weapon of the day. Alexander the Great used them as an elite military force to strike a first blow and to harass the enemy during the Indian war. In such a function they were employed in the battle on the Hydaspes. The *hippotoxotai* were able to inflict heavy losses upon the enemy, but they remained in a safe distance from him. Alexander quickly estimated the value of the mounted archers from amongst the Dahae and Sakai after the experiences of the war in Sogdiana, in-

¹ I suppose that the Christian author must have drawn from reliable sources, perhaps even from Trogus.

cluding the Macedonian defeat on the Polytimetos. The tactics, based on the principle of defeating the phalanx by light cavalry forces, was successfully employed by Peithon in the wars between Antigonos and Eumenes.

From all this it follows that Seleukos' cavalry, forming two divisions: the one under Antiochos, the other under Seleukos, decided about the result of the battle. The cavalry was the main mobile offensive force. The role of the phalanx in the allied army was limited, it is not sure, whether it really fought in the battle. Important were to some extent the elephants, but they were used mainly as defensive force.

Amongst the *hippotoxotai* one can assume both the Dahae, the best soldiers of that type, and the Parthians. Additionally, Media, Sogdiana and Bactria had a huge manpower and it is very likely that large parts of Seleukos' cavalry forces came from those countries. As a whole, there can be no doubt that the Seleukos' army — including the infantry — was for the most part Iranian.

Attention should be paid to the role played by Antiochos in the battle. Commanding the cavalry division opposite to Demetrios' cavalry, he was undoubtedly put on the spot. The pretended flight of Antiochos and his cavalry was a manoeuvre typical of Middle Asian nomads, including the Dahae and Massagetae, living in the steppe areas on the borders of the Upper Satrapies. Such a manoeuvre required a high degree of training both from the horsemen and their commander. This, of course, leads to the logical conclusion that Antiochos must have gained practical and first-hand military experience before Ipsos, i. e. during the eastern campaign of Seleukos in Middle Asia.

Conclusion. In a number of contemporary studies, Babylonia is defined as the real mainstay of Seleukos' power in his attempts to create a state. It seems that such a concept do not stand up if the known events and relating sources are examined. True, in Babylonia Seleukos could count on the strong support of the indigenous population. But soon after his arrival at Babylon in 312, he had to leave the city to fight against Nikanor. After the surprising victory on the Tigris, Seleukos remained in west Iran and subjugated Susiana, Media, and Persis. Probably Parthyaia also recognized his suzerainty. What were real reasons for such a success? The main factor was indeed the attitude of the native Iranians towards the satraps and the Diadochs. In Media, the satrap Peithon was supported by the natives, like Peukestas in Persis and Seleukos in Babylonia till 315. All these satraps were removed from their posts by Antigonos. And in all these lands, especially in west Iran, Antigonos encountered a strong resistance of the natives. In Antigonos' policies, the native populations did not play any role. This attitude was the most important reason for Antigonos' failure in Iran and in Babylonia. This claim can be exemplified by the behaviour of Nikanor's Iranian soldiers — they did not forget Antigonos' offending treatment and went over to Seleukos¹. The Iranians were not enough strong to throw off the Macedonian supremacy. But they were able to choose and support the most suitable ruler who guaranteed them an extent autonomy and real influence in the system of rule. Thus, in 312/311 they gave aid to Seleukos. The difference between Seleukos' and Antigonos' attitude towards the Iranians can be showed in the treatment of the Kossaioi. In 316/315, Antigonos was not willing to accept their autonomy and struggled through their country with heavy losses. Seleukos — on the contrary — gained the Kossaioi apparently by a special agreement.

The known sequence of events leads to the conclusion that between 312 and 308 Seleukos was not in a position to rule effectively in Babylonia for the most part of this period. Babylonia was fully devastated by the invading armies, its economic potential was destroyed. The Babylonians did not appear as soldiers in the armies of the Hellenistic period. Decisive factor in Seleukos' efforts to establish his rule and to create a state proved to be the Iranians.

Having west Iran and Babylonia as his footholds, Seleukos was able to defend himself against Demetrios and Antigonos and to dislodge them from his satrapy. Having extended his potential with east Iran and Middle Asia, Seleukos was able to annihilate the power of the Antigonids — he played the decisive part in the battle of Ipsos. Seleukos' army at Ipsos was dominated by the Iranians, and it was the Iranian cavalry which gave victory to the king. The composition and structure of military forces determined the fundamentals of the empire created by Seleukos I in 312—301 BC for it was military power which really mattered in the Hellenistic world, especially in the Diadoch period. Thus, the Iranians played a decisive role in the establishment of Seleukos' empire.

¹ After Peithon's execution, his own supporters as well as supporters of Eumenes, Macedonians, Greeks and Iranians, joined their forces and fought together against Antigonos (Diod. 19, 47, 1—4).

Bibliography

- Marasco G.* La fondazione dell'imperio di Seleuco I: Espansione territoriale e indirizzi politici // *Rivista Storica Italiana*. 96. 1984.
- Mehl A.* Seleukos Nikator und sein Reich. Lovanii, 1986.
- Mehl A.* Zwischen West und Ost/Jenseits von West und Ost: Das Reich der Seleukiden // *Zwischen West und Ost*. Hamburg, 2000.
- Seyrig H.* Antiquités Syriennes. 92. Séleucus I et la fondation de la monarchie syrienne // *Syria*. T. 47. Paris, 1970.
- Sherwin-White S., Kuhrt A.* From Samarkhand to Sardis. A New Approach to the Seleucid Empire. London, 1993.
- Scharrer U.* Seleukos I. und das babylonische Königtum // *Zwischen West und Ost*. Hamburg, 2000.
- Schober L.* Untersuchungen zur Geschichte Babyloniens und der Oberen Satrapien von 323—303 v.Chr. Frankfurt/M., 1983.
- Wolski J.* The Seleucids. The Decline and Fall of Their Empire. Kraków, 1999.

GLASS AND SMALL FINDS FROM SASANIAN CONTEXTS
AT THE ANCIENT CITY-SITE OF MERV

Nine seasons of archaeological excavations were undertaken at ancient Merv from 1992 to 2000 and under the auspices of the International Merv Project. Annual preliminary reports have been published in «Iran», the Journal of the British Institute of Persian Studies, and a series of final reports are in preparation. Among the key goals was a better understanding of the character of the Sasanian period at this important city-site. Discoveries of ostraca written in Middle-Persian, Sogdian, Bactrian and Brahmi, the excavation of the Buddhist *sangharama*, and written sources attesting Zoroastrian, Christian and Manichaean communities strongly suggest a cosmopolitan society at Merv, and the unbroken sequence of locally minted Sasanian coins testify to the strength of political domination of the city and its oasis hinterland. The present excavations focused on five areas of the site, of which three were exclusively or partly Sasanian in date. These consisted of a house in the eastern part of the citadel at Erk-Kala (henceforth referred to as MEK 1), a sprawling mound located approximately 250 m. due south of the north gate into the lower city, Gyaur-Kala (MGK 5), and the fortifications near the south-west corner of Gyaur-Kala (MGK 6) of which more detail as been outlined in this conference by my colleague, Dr V. A. Zavyalov.

Even after nine seasons our excavated sample is admittedly small and we cannot even begin to compare the architectural exposures with the results of longer-term projects at sites such as Panjikent, Paikend or Zar-tepe. However, it is useful given the paucity of good-quality archaeological data from equivalent Sasanian sites, and in this case the quality of excavation and finds retrieval and recording was carefully controlled from the outset. The fact that we had up to three numismatists in a trench on any particular day guaranteed exceptionally high recovery rates for coins at Merv (for instance some 280 coins from one part of MGK 5 alone). An added effect was excellent recovery of other small objects, and the fact that all sherds and animal bone were also kept rather than being immediately discarded meant that further small finds were recognized during the processing of these bulk finds. For this reason the number of ostraca, inscribed vessel sherds, flat moulded figurine fragments, and inscribed or worked bone was higher than expected, and enables reliable quantification of these categories. Although this is common practice on excavations today, it is significant when comparing the results with some of the earlier excavations at the Merv site. The most significant information on architectural organisation and site-formation processes came from MGK 5. Following a resistivity survey, an area totalling 14,525 sq. m. was cleared to expose the broad plan of seven mudbrick houses separated by alleys and occasional wider open spaces, and mainly dating from the 4th — 5th centuries. After initial scrape-planning, one house (Structure C) was fully excavated through a number of phases of architectural modification. These houses appear to have varied in size from approximately 120 sq. m. to over 315 sq. m. Each structure consisted of several interconnecting rooms with doorways measuring 0.80—1.10 m. across but rarely fitted with door-sockets, a feature likewise noted in MEK 1, and suggesting that fixed doors were scarce and hanging drapes may instead have been the normal way of ensuring internal privacy. Significantly, there was no evidence for courtyards, staircases, vaulting or *iwans*. Unlike the two-storey houses characteristic of Panjikent, these houses therefore appear to have been one-storey buildings with flat or gabled roofs made of perishable materials supported on poles. The combination of building materials and the organisation of space have fundamental effects on site-formation processes, and thus patterns of refuse-disposal and finds recovery. The absence of internal courtyards in MGK 5 prevented the digging of refuse pits or wells into which refuse could later be dumped: sweeping out into open drains or transporting solid waste to communal dumps, either directly or possibly through refuse-collectors, were the only remaining options. Evidence for both processes were found, both as physical remains in the alleys and through the indirect process of periodic deliberate infilling within rooms: the result was the loss of primary context for finds and in most cases those that were recovered strictly derive from tertiary contexts.

Two-metre wide alleys were maintained between each of the structures at MGK 5. This was too narrow for wheeled traffic yet was sufficient for pedestrians, small hand-barrows, riders and pack animals. Their narrowness must have also allowed a degree of shade and shelter, and is similar to those at recorded at several Sasanian sites in Mesopotamia, namely Kish (Area SP-7), Veh Ardashir (Coche) and Tell Dhahab near Ctesiphon, although at Merv there is no evidence that these were permanently covered over as they were at Panjikent. The occasional provision of a brick threshold across the entrance of some of the alleys in MGK 5 implies that they could be closed at night, the significance of which is discussed below. The appearance of the deposits within the street and alleys in MGK 5 was the same, namely a central

refuse-filled gully heavily stained with greenish organic residues flanked by low bricky pavements. The latter were constructed but doubtless were added to through the gradual melt of adjacent wall plastered faces. Similar pavements have been noted in excavated streets at Panjikent, Paikend, Bishapur and Qasr-i Abu Nasr. The pavements functioned as raised walkways whereas the function of the gullies was to channel surface run-off during the rainy season away from the bases of the walls, these being a vulnerable part of any mudbrick building. These gullies also served as domestic drains into which the household refuse was swept. Excavated sections through the predominantly greenish and/or ashy lensing street deposits suggest the disposal of organic and non-organic refuse into these areas followed by trampling and gradual wear; heavily worn areas were periodically in-filled with «hardcore» consisting of fragments of reddish-brown fired brick or vitrified clay «slag», plausibly added during the wet season, and the levelling of ruts in the streets is mentioned in the Babylonian Talmud [Oppenheimer 1983: 181]. The evidence of dog gnawing on discarded animal-bones, coupled with the absence of house courtyards, implies that dogs were a common sight in the streets of Merv, and the occasional presence of coprolites in the drains therefore probably represent canine activity as well as the likely emptying of Sasanian chamber-pots. The original appearance of these Sasanian alleys at Merv is illustrated by Kramer's description [1982: 88] of a traditional Iranian mudbrick village:

alley surfaces are embedded with animal bone, ceramic and glass sherds, shoe and textile fragments, and fragments of broken ovens, beehives, and bins. When not on roofs, dogs are often encountered in the alleys just outside their houses, as is their excrement.

The discovery that the alleys provided a convenient place of disposal for household refuse and «night soil» explains one of the key characteristics of the Sasanian city. Comparison with pre-modern Middle Eastern and Central Asian cities and villages gives a vivid impression of the appearance (and smell) of these public spaces. Another 19th-century author describing Shiraz in 1875 wrote that:

the streets during the summer months emit fetid odours, arising from the entire absence of sanitary arrangements. The refuse of each house is thrown indiscriminately before the doorway. No notice is taken of the accumulation of so rank a nuisance until the road becomes impassable; it may then be removed to some less-frequented place until some pestilential epidemic brings it to the notice of the authorities. In winter the nuisance exists in but a worse condition. The snow is shovelled from off of the roofs of the houses into the streets below, and this, combined with the continuous filthiness, impregnates the atmosphere with putrid fumes, which carry disease and death in every direction. In the capital itself no precautions are taken to avoid the dreaded plague which periodically visits the more thickly populated towns of Persia. Sanitary boards are as yet unknown by the subjects of the Shah, and a Persian depositing the rubbish of his house in the street adjacent imagines he has fulfilled all that is required of him, either by law or decency [Anderson 1888: 63—64].

Thus this quarter of Sasanian Merv conformed to a classic definition of an Oriental city, and probably part of a much earlier urban tradition in Central Asia and the Near East. At Merv, the alleys were periodically in-filled along their full length with mudbrick rubble. This process is unlikely to have been conducted by a single household as it impinged on all adjoining properties as well as affecting wider means of access, and it is likely that the whole quarter or perhaps even the municipal authorities were therefore involved in at least the decision-making process, if not the actual hire of men and materials to effect the necessary work. Stratified coins suggest that the levelling-up led to an average increase of approximately a metre for each century, thus offering a crude yardstick for estimating longevity of occupation.

This infilling was followed by the raising of the adjoining door thresholds in order to prevent dust and dirt from entering houses from the public spaces. This is very important as it illustrates a key factor in the creation of site stratigraphy, namely that the rate of accumulation in the alleys and streets dictated the pace of reconstruction of adjoining properties. The repeated raising of the thresholds of doorways facing onto the adjacent alleys may be mistaken for permanent door blockings and explains why some earlier excavators at Merv and elsewhere have published excavated plans without doorways, and occasional interpretations of these rooms as cellars containing debris fallen from (the non-existent) upper storeys. This re-modelling of the doorways in turn also necessitated the regular raising of floor-levels within the buildings, particularly in those rooms directly entered from the street, and, where necessary, the construction of steps down into those further away until such a time when these were in-filled to the same height. Finally, as rigid property boundaries prevented infringement on public spaces, it is not surprising to find that the walls themselves were regularly truncated, usually to a few courses above floor-level to serve as a foundation for

a rebuild on exactly the same alignment, and highlighting the necessity of removing wall-plaster and articulating the mudbricks.

Within MGK 5, some buildings were carefully in-filled with laid mudbricks to form solid platform-like masses of brickwork. In other cases the infilling was carried out using bricky rubble or simply earth containing high amounts of domestic refuse (mainly broken pottery and animal bone but also the occasional coin, broken figurine, fragmentary bone pin, bead or worn sherd disc). The date-range of the coins in this last variety of infilling implies a certain degree of residuality which is supported by the presence of some earlier potsherds and small finds, such as an imported glass «Baubo» pendant of the 1st century BC — 1st century AD [Simpson (*forthcoming/a*)]. However, as the coins were all small, light and low-denomination coppers, it is unlikely that they circulated for more than a few years as their value was low and they were easily lost. Although time prevented exhaustive reconstruction of the excavated sherds at MGK 5, it should be noted that there did not appear to be a very high degree of reconstructability and none of the inscribed vessel sherds were successfully matched with other parts of the same vessel. The implication is that much, if not all, of the infilling material was procured from outside the household, particularly in the absence of internal courtyards which might otherwise have furnished a ready source of building material.

The range of other finds from MGK 5 or MEK 1 was not particularly great, yet it may be regarded as representative of Sasanian inorganic material culture as perishable materials are not normally preserved in the damp and saline conditions at the site. Excluding ceramic vessels, the most common category was made of clay. Apart from ceramic vessels, there was very limited evidence for containers or table/serving-ware, and yet precious metal tablewares and utilitarian containers of iron, bronze, brass or lead may be assumed and the Late Sasanian «Merv Vase» depicts two types of fluted or ribbed silver bowls and a pitcher, together with what may be an iron tripod-footed cauldron [cf. Manassero 2003: tav. III—VII]. Wood, leather and woven basketry containers were doubtless also used although the evidence simply does not survive.

Figurines. Apart from a small number of animal figurines and separately modelled horse-and-rider figurines, which were presumably toys, these consisted of mould-pressed depictions of standing male figures holding a sword between their legs, and female figures wearing double-knob hairstyles or tall decorated headdresses and long gowns, often decorated with appliqué discs or medallions. Interestingly, these resemble the style of dress worn by the prone figure depicted on the «Merv Vase» [cf. Manassero 2003: tav. VI]. These female figures were usually standing but others included seated riders; in both cases they invariably held a handled mirror in the right hand. A much more heavily stylised version of the standing type was found in Late Sasanian contexts in MEK 1. The late survival of this terracotta figurine tradition at Merv is unusual compared to other parts of the Sasanian Empire where horse-and-rider figures appear to be the only significant type [Invernizzi 1979], but is part of a wider Central Asian cultural characteristic. The figurines were occasionally covered with a red slip or were decorated after firing with a water-soluble red and/or black pigment. These were identified in the British Museum Department of Scientific Research as common red ochre (haematite) and lamp black, i. e. soot. The latter was the most commonly used black pigment in antiquity, and was typically gathered by burning linseed oil in a covered lamp until the oil was totally consumed, collecting the soot with a feather, and sieving it to create a fine powder. Such pigments wear off with regular handling, let alone washing or erosion. This suggests that we may underestimate the degree to which all or most of such figurines may originally have been painted. The pigments used were in-expensive and this underlines the fact that these objects were mass-produced, as is implied by the standard use of moulds for the anthropomorphic figures. The figurines were evidently mostly used in domestic contexts as that is where they were excavated or found on survey in deflated deposits. Their function is more controversial. Some were probably toys, whereas others may have been apotropaic, in which case it is perhaps a mistake to combine both categories together in analysis. The female plaques belong to the well-known type known in the Soviet literature as the «Great Margiana Goddess», with a distribution extending from the Merv oasis to possibly as far east as Balkh, and presumably representing a deity [Пугаченкова 1959; 1962]. This has been previously interpreted as possibly representative of Anahita, but an alternative is that it represents an apotropaic figure, whose mirror symbolised the reflection of evil back onto itself, and who was valued for her protection of the household and its contents. This would explain the large number of these figurines, either within this residential quarter or as surface finds across Gyaur-Kala. Rather than being evidence for organized (let alone Zoroastrian) religious belief, they may be considered a manifestation of folk superstition and may have been similar to the so-called «magic bowls» found in Late Sasanian domestic contexts in Mesopotamia or the much earlier terracotta figurines found in ancient Mesopotamian cities.

Metal. Within either MEK 1 or MGK 5, actual iron objects were scarce but they included a single-edged curved iron knife-blade, an iron spearhead and a single complete iron nail with square section and circular head. Copper alloy objects other than coins were likewise scarce, and the most diagnostic was a short pin with a head decorated with inlaid chips of lapis lazuli. The high number of low-denomination coins has already been remarked on, but the absence of any silver drachms, complete or clipped, was noteworthy. A number of whetstones were recovered which testify to the regular need to sharpen knives and other edged metal implements. These whetstones were often long, tapered and carefully worked, with a single perforation at one end for suspension at the belt, or were repeatedly used hand-held whetstones selected from *ad hoc* pieces of stone. More surprising was the total absence of the metal buckles, strap-ends or fittings which are so typical of Late Antique assemblages, either in Late Roman urban context at sites such as Corinth, Sardis and Antioch or in contemporary nomad or village cemeteries. This is particularly striking given their propensity on the dress depicted on Sasanian rock reliefs, and the «Merv Vase» again appears to illustrate the wearing of segmented belts by the principal male figures [cf. Manassero 2003: tav. III, VIII]. The reason for this scarcity of metal objects and total lack of items of precious metal must lie in intensive recycling of metal in antiquity, although the scarcity of nails (which are such a bulk category find at European sites) probably simply reflects the overwhelming use of mudbrick rather than wood as a building material.

Glassware. There is a small but growing body of archaeological information for the production and circulation of Sasanian glass. It appears to have been rare outside its production zone, whereas the dispersal of pieces via the Iranian art market has had an effect of distorting this picture by implying that it was more common on the Iranian plateau than the archaeological evidence otherwise infers. The greatest region of circulation was Mesopotamia although it was also shipped along the Persian Gulf [cf., e. g.: Price, Worrell 2003]. This may be regarded as direct continuity of a very old Mesopotamian tradition and a parallel tradition to the popularity for glassware in the Roman Empire. In other regions of the Sasanian Empire glass may have had different connotations. Prior to the current excavations at Merv, remarkably little glassware had either been reported from the site or survived in storage in Ashgabat. This pattern appears to extend to other sites in Central Asia where Sasanian glassware appears to be very rare although this is the likely route of overland dispersal eastwards through northern China into Korea and Japan.

The present results have certainly been very illuminating. A total of 16 sherds were recovered from domestic contexts in MGK 5 and none were found in MGK 6, whereas 89 sherds were recovered from Late Sasanian contexts in MEK 1. These figures give an idea of the absolute frequency (or infrequency) of glassware in these Sasanian contexts at Merv, particularly when compared with the figure of 59,168 pottery sherds from MEK 1. It also suggests greater consumption of glass in the citadel, which as the seat of the elite would not be surprising given the higher status and relative price of these imported vessels. However, the possibility cannot be excluded that the difference may be chronological with a possible increase in frequency of imported glassware in the 6th — 7th centuries. In any case it may be noted that the proportion of faceted to other types of glassware was constant, as it constituted between 1%—2% in both mid-Sasanian contexts in MGK 5 and Late Sasanian contexts in MEK 1.

Theoretically, broken glassware could have been gathered for recycling and thus the statistical reliability of these figures may be questioned. However, the absence of any evidence for a glass industry at Merv (or indeed any city in highland Iran) before the 8th or 9th century renders this unlikely. The decomposition and weathering of fragmented vessel glass is certainly a problem but the survival of the thickened portions of rim, base or handle probably allows us to safely reconstruct the original minimum number of vessels. The recovered types mostly belonged to open table-wares and some probable discarded product packaging. There was no evidence for window-glass which only appears in Early Islamic Merv, when there must have been a local glass industry to manufacture this highly fragile commodity. Specific glassware types recovered from MGK 5 included one possible base of an unguentarium with a low push-up, a second base and the rim of an open bowl (?), all in semi-transparent glass with light greenish tinge; two other sherds belonged to the rim of a vessel 8—9 cm. across or a base with a low off-centre pontil-mark; another had a wheel-abraded line on the exterior; two had blue fabrics with yellowish weathering that is identical to a fabric found in MEK 1, and the last sherd belonged to a faceted vessel. In MEK 1, the sherds included two clear with light brownish tinge and decorated with cut decoration; several light blue with yellowish corrosion, apparently belonging to bowls; one dark green applied oval disc; one mould-blown re-blown ribbed bottle or similar; and one sherd with so-called «nip't damond waies» decoration formed by pincering the hot vertical mould-blown ribs to create a pattern of sinuous lines on the exterior of the vessel.

These fabrics and forms conform to Sasanian types known from excavations in Mesopotamia [e. g. Negro Ponzi 1984; Simpson 2004] as well as complete examples represented from the art market. Their

relative frequency suggests that glassware did circulate within urban contexts far from the production zones but whether this applies to all regions of the Sasanian Empire or beyond, or to settlements of lesser importance, is still unknown. The reason for the disparity between the quantity found in these excavations and the very low figures evident from previous excavations at Merv must reflect different excavation and retrieval techniques. The fact that some pieces had also almost totally decomposed to an opaque whitish colour and a highly fragile state further explains why these would be under-represented on projects lacking glass specialists.

Personal ornamentation. Textual sources provide occasional hints at some of the exotic materials used in personal jewellery, and Sasanian seals, silverwares and stuccoes offer useful albeit highly stylised depictions of individuals in the upper echelons of society. The available sources for jewellery in general, and the evidence for beads in particular have been summarised elsewhere [Simpson 2003]. Quantifiable evidence for the range of materials and shapes of Sasanian beads can be gleaned from excavation reports although graves offer the best idea of relative quantities and stringing patterns. Unfortunately few of these reports have been written by bead specialists, and the stated material identifications and exact shapes are not always accurate or sufficiently detailed to enable detailed comparison.

A total of only 56 or so beads were recovered from all Sasanian contexts in MGK5 and MEK1, plus several more from Sasanian contexts in MGK6. Bead materials include red, orange and pinkish coral perforated longitudinally or transversely near one end; thick shell discs; turquoise; limestone/marble; greenstone; irregular spherical carnelian occasionally drilled from a concavity at one end (a feature observed on contemporary beads from the Persian Gulf), and exceptionally lapis (MGK6, ctx 135). The coral beads belong to *Corallium rubrum* and were imported from the Mediterranean or Red Sea. They appear to be more typical of the 4th — 5th century contexts, which resemble a pattern previously noted from the North Caucasus and Khorezm. They also appear for the first time in the Persian Gulf at about this period where they occur together with imported South Indian micro-beads made of red glass. The shell beads also appear to be more typical of this mid-Sasanian phase at Merv. However it is curious that no purposefully etched carnelian beads were recovered from any of the three excavation areas although they are familiar finds from the Merv necropolis and Sasanian graves in Mesopotamia [Simpson 2003: 65—66]. One implication is that these may have been considered “special” and therefore either greater care was taken to retrieve them, or they may have been worn on special occasions and thus were statistically less likely to be lost. A similar disparity between those sorts of beads worn on particular occasions such as weddings and births, and those which were placed with the deceased in the grave, has been noted elsewhere in connection with the more recent past in the Middle East, and it is likely that such traditions have very long histories [Simpson 1995: 245—46].

Only one bone bead was found (MGK6, ctx 125). Bone beads have been reported from a small number of Sasanian sites, mostly graves, in Mesopotamia and Iran but, as at Kush, in very small numbers compared to the overall bead assemblages [Simpson 2003: 67]. This is despite the evidence for horn and bone-working at Merv at this period. This implies that bone beads were not highly valued and that they formed a very minor sideline of bone-working activities, either in workshops or even household level. The reason for this scarcity may simply reflect the fact that beads are typically prized for their colour symbolism and material and/or size as a sign of status, whereas bone afforded neither.

The glass beads were dark, light or turquoise blue or green in colour, although some were too heavily weathered to determine their original appearance. Shapes were simple, and were spherical, slightly flattened or flat circular. All were apparently furnace-wound and therefore made as individual beads, rather than being moulded or snapped from long drawn sections of cane; one unstratified mosaic-glass bead was recovered from MEK1. Yet despite careful hand-recovery and occasional use of 1/2 cm. mesh dry-sieving and flotation, there was an absence of glass micro-beads. This strongly contrasts with the pattern found at contemporary sites involved with trade with South India via the Indian Ocean, i. e. the sites of Kush in the Persian Gulf, Aksum in East Africa, and Berenike in the Red Sea [Simpson (*forthcoming/b*)]. This difference suggests a fundamentally different pattern of bead use. Whereas the latter region appears to have favoured multi-strand necklaces or huge numbers of micro-beads sewn onto clothing or threaded into the hair, the evidence from Merv suggests a preference for smaller numbers of beads, with an emphasis on the colourful and occasionally the large and thus perhaps an emphasis on these being signs of status and amuletic power. This supports contemporary representations on Sasanian seal portraits etc which suggest the wearing of prominent beaded necklaces by adults of both genders.

Bone pins. Pins were used extensively in antiquity to fasten loose cloaks and tunics, as well as being used in women’s hairstyles. Despite their functional simplicity, they can be surprisingly diagnostic of a given period, and identical forms are often copied in alternative materials. Metal pins were scarce yet a

total of fifteen bone pins were recovered from Sasanian contexts. These pins therefore form part of a very widespread fashion which was popular throughout the Roman Empire and extended eastwards to Kushano-Sasanian sites in Bactria during the 4th — 5th centuries [Завьялов 1993]. They had been presumably cut from the limbs of large ungulates, although any characteristic signs of identification were removed during the working and more precise identification to species is impossible. The complete pins measured 10.5—12 or more cm. in length, which is comparable to the 10—13 cm. range of comparable pins published from Sasanian contexts at Kish [Moorey 1978]. At Merv they appear to have been common in 4th — 5th century contexts as nine were recovered from MGK5 and four were found in mid-Sasanian contexts in MGK6, whereas only two were recovered from MEK1 (both from secondary contexts). This suggests that there may have been a change in fashion during the Late Sasanian period.

Craft production. Small amounts of craftsmen's debris were also found, in the form of worked bone, chopped horn-cores, and several fragments of what appear to be clay moulds for the casting of coin flans. The casting of pendants and personal crucifixes etc is certainly implied by the discovery of the halves of two moulds, each made of clay. One was designed to cast a leaf-shaped object, and the other to cast crucifixes and frog-shaped amulets [cf. Herrmann, Kurbansakhatov et al. 1994: 68, pl. V/d). Smithing-hearth bottoms were also occasionally recovered from MGK5. These resemble finds previously made in Z. I. Usmanova's so-called «House of a Parthian craftsman» in Gyaaur-Kala [Усманова 1963], and at the Merv oasis site of Göbekly-depe where they were described as «iron ingots» [Gaibov, Koshelenko, Novikov 1990: 58]. «Iron slag» has likewise been reported from Italian excavations of the North block in the so-called «Artisans' Quarter» of Coche (Veh Ardashir) [Venco Ricciardi, Negro Ponzi Mancini 1985: 102]. However, it should be noted that all of the smithing-hearth bottoms found in MGK5 were from re-deposited contexts where they had been used along, with large storage jar sherds and broken fired bricks, as hard core infilling of damp patches along the centre of the alleys. They are evidence of metal-working somewhere at the site but not necessarily in this quarter. As none of the craft activity waste was found in primary contexts, it is unlikely that they represent domestic activities taking place within the excavated houses but instead they probably derive from another part of the site. The absence of furnaces or other installations reinforces this impression. «Denkard» includes references to different Sasanian ironsmiths or blacksmiths making spades and axes, «one who casts or moulds iron», and «one who makes small ironware» [Tafazzoli 1974: 193—194]. Although passing references in the Babylonian Talmud suggest that craftsmen's stalls were occasionally situated in residential areas in Babylonia, as indeed were some street markets [Newman s. a.: 33—36], most were probably located in bazaar areas either situated close to city gates or near the city centre.

Spindle whorls are one of the few categories of archaeological find which are a reliable indicator of household production, and specifically for the role of the woman in the house as suggested by the stereotypical Roman and Palmyrene depictions of women holding distaffs and spindles on funerary portraits. Recycled potsherds and bone appear to have been the preferred materials, although others may have been made of wood which do not survive. Although lightly domed plain glass spindle whorls were also used in Mesopotamia during this period, none were found at Merv.

The bone spindle whorls were lathe-turned, hemispherical and usually decorated on top with drilled dotted circles. The tradition of making lightly domed bone spindle whorls with dotted circle decoration in the Near East appears to begin by the 3rd century AD, with examples published from the Sasanian sites of Coche (Veh Ardashir) and Qasr-i Abu Nasr. Red pigment survives on several of the examples from MGK5 and confirmed by scientific analysis to be red ochre, whereas black pigment is present on other examples excavated at Kish and Susa. The decoration implies that the whorls were mounted near the top of the spindle with the convex side uppermost, where the decoration would have been visible, and the fibres would therefore have been wound around the lower portion of the spindle. Their generally rather light weight and the narrow inferred diameters of the spindles themselves might suggest that they may have been used for the spinning of light fibres, perhaps flax or cotton (the local importance of which is confirmed by the present archaeobotanical evidence of accidentally carbonised seeds). Woollen fibre may instead have been spun using heavier wooden spindles. However, an alternative explanation is that their lightness was compensated by the use of heavier spindles made of metal rather than wood. In short, the material of the whorl was not as important as some archaeological literature implies, a fact which MacGregor [1985: 186—187] has likewise observed in the case of Roman and later material from Europe.

Conclusions. The source of the finds discussed above have typically been from infilling contexts within houses or discarded refuse within alleys. The most likely source of the various materials used in the infilling must lie in communal refuse deposits or open zones within or on the edge of residential and craft areas. It is to such dumps that the Babylonian Talmud surely refers when it contrasts «the refuse heaps of

Mata Mehasya» with «the mansions of Pumbadita» [Oppenheimer 1983: 417]. This suggests the existence of municipal dumps which provided a ready resource not only for builders, but also for farmers concerned with adding manure to their fields (for which there is evidence from texts and surface surveys in Mesopotamia) and scrap merchants. Recycling is not a modern Western concept but is deeply rooted in human behaviour and economic practice. The scarcity of metal finds or even broken glass in the excavated infilling contexts at MGK5 thus may reflect scavenging and sorting at these dumps in order to remove recyclable or sharp items. Metalware does not break easily, least of all into small fragments, and it can therefore be easily picked out of refuse whereas the reuse of thick-walled sherds, ground stone, fired bricks and vitrified clay, etc. scavenged from other parts of the site are a common feature of mudbrick villages today. It is ironic that, although most of the finds excavated in any particular house therefore probably derive from several other households, the reliability of the assemblage as a whole is enhanced. This pattern applies to any archaeological site where the principal building material is mudbrick, although the site-formation processes of these are often overlooked or misunderstood and assumptions frequently made that any contents derive from the household in question. Sadly at sites such as Merv, archaeology alone cannot wholly reconstruct the material culture as much has either perished or been physically removed from the archaeological record. A more critical understanding of the processes of site-formation help the appreciation of what remains and why. Written sources, contemporary representations and judicious use of analogy also remain crucial tools in any attempt to reconstruct the full range of ancient material culture.

Bibliography

- Завьялов В. А.* Костяные предметы туалета из памятников Средней Азии кушанского и посткушанского времени // КСИА. Вып. 209. 1993.
- Пугаченкова Г. А.* Маргианская богиня // СА. Т. XXIX—XXX. 1959.
- Пугаченкова Г. А.* Корoplastика древнего Мерва // ТЮТАКЭ. Т. XI. 1962.
- Усманова З. И.* Раскопки мастерской ремесленника парфянского времени на городище Гяур-кала // ТЮТАКЭ. Т. XII. 1963.
- Anderson T. S.* My Wanderings in Persia. London, 1888.
- Gaibov V., Koshelenko G., Novikov S.* 1990. Chilburj // BAI. NS. Vol. 4. 1990.
- Herrmann G., Kurbansakhatov K. et al.* The International Merv Project. Preliminary report on the second season (1993) // Iran. Vol. 32. 1994.
- Invernizzi A.* 1979. Figurines de terre cuite de Choche (Ctesiphon) // AMI. Ergänzungsbd. 6. 1979.
- Kramer C.* Village Ethnoarchaeology. Rural Iran in Archaeological Perspective. New York; London, 1982.
- MacGregor A.* Bone, Antler, Ivory and Horn. The Technology of Skeletal Materials Since the Roman Period. London; Sydney, 1985.
- Manassero N.* Il vaso dipinto di Merv // Parthica. 5. 2003.
- Moorey P. R. S.* Kish Excavations, 1923—1933. Oxford, 1978.
- Negro Ponzi M. M.* Glassware from Choche (Central Mesopotamia) // Arabie Orientale, Mésopotamie et Iran méridional de l'âge du fer au début de la période islamique. Paris, 1984.
- Newman J.* The Commercial Life of the Jews in Babylonia between the years 200 CE and 500 CE. London, s. a.
- Oppenheimer A.* Babylonian Judaica in the Talmudic Period. Wiesbaden, 1983.
- Price J., Worrell S.* Roman, Sasanian, and Islamic glass from Kush, Ras al-Khaimah, United Arab Emirates: a preliminary survey // Annales du 15e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre (New York — Corning, 2001). 2003.
- Simpson St J.* Death and Burial in the Late Islamic Near East: Some Insights from Archaeology and Ethnography // The Archaeology of Death in the Ancient Near East. Oxford, 1995.
- Simpson St J.* Sasanian beads: the evidence of art, texts and archaeology // Ornaments from the Past: Bead Studies after Beck. London; Bangkok, 2003.
- Simpson St J.* Sasanian glass from Nineveh // Annales du 16e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre (London, July 2003). 2004.
- Simpson St J.* «Baubo» at Merv // Parthica. 6 (forthcoming/a).
- Simpson St J.* The small finds // Excavations at Kush (forthcoming/b).
- Tafazzoli A.* 1974. A List of Trades and Crafts in the Sassanian Period // AMI. NF. 7. 1974.
- Venco Ricciardi R., Negro Ponzi Mancini M. M.* Coche // The Land between two rivers. Twenty years of Italian archaeology in the Middle East. The treasures of Mesopotamia. Torino, 1985.

THE CONCEPT OF *QUT* AMONG THE ANCIENT TURKS AND ITS COMPARISON
WITH *X^vARENA* IN ANCIENT IRANIANS

In Orkhon Inscriptions dated to the 8th century, the opinion of the royalty in the Ancient Turks was expressed with the term of *Qut*. And according to this concept of sovereignty the right of power belonged to the qaghan (king of the Turks), who descended from one honorable family and was believed that he was given a *qut* by the Tängri (the God, Heaven). Tängri had donated it to him as a kind of «heavenly fortune». The sovereignty was the sovereignty because the Tängri gave him *qut* and he was representative of the Tängri in the Earth, responsible for governing the whole people. The main origin of the right and authority of governing the state was the Tängri who had given *qut* to him. To make clear this «heavenly» speciality since the Xiongnu and especially beginning from the Turks in the 6th — 8th centuries, in both Chinese and ancient Turkic texts were used to either the word *qut* or some expressions in which the term *qut* was mentioned such as *tengli qutu*, *Idiqut*, *Tängriqut*, *qut bulmish*, *qutlug bolsun* etc. One meets with the word *qut* in some literary works from the period of Uighur Kaghanate and in the titles of the Turkish rulers. For example, *Qutadgu Bilig*, the famous work in Qarakhanid Turkish in the 11th century was named as to this *qut*, and its meaning is not «knowledge giving the fortune» as once claimed, on the contrary, «knowledge reaching to the *qut*», being made from the infinitive *qutad-* that means «to please, make happy» in ancient Turkic, but from the point of view of concept of the government, it also means «to govern». Thus, *Qutadgu Bilig*, in its wider sense, means «knowledge of governing the state». As it known, after the Turks became Islam, the word *daulat* («state») was also used as already seen in the statement «*daulat qushi*» («the bird of the state») as synonyms of the words *bakht*, *talih*, *saadat*, *qut* («fortune» in a general mean) in Turkish, which reflects a kind of concept of people, in general. In this meaning, the word *qut* in Turkish means «power of the political sovereignty» maybe from the very beginning times, and the other meanings like «*fortune*» are secondary ones and were acquired later.

In the ancient Turks, this *qut* given to the ruler by the Tängri passed from the father to the son through heredity. A male baby who was newly born, was born together with a *bäglig* (principality) which meant a kind of *qut*, and who inherited the *qut* just as the throne, crown, titles etc. of his father. Being heredity the *qut* was coming with a service generally. And one of other characteristics of *qut* was that it had a «vital force» to be able to become ruler and that the ruler owning the *qut* was unique owner of the whole things between the Sky and Earth. Even when a ruler lost the sovereignty or was taken away from the throne it was believed that his *qut* was received back from his hands by the Tängri.

There were an interesting fact and relations between the word and concept of *qut* and the mountain (*tag* in ancient Turkic texts). For example, the Uighur Turks had so important legend so-called *Qutlu-Tag* (the «Saint Mountain»).

It is also possible to see some resembling forms of this word *qut* and its concept in Ancient China, India, Iran, Greece and the Kushan Kingdom, under different names, and to fix some similarities in the outlines although there are also some important differences in details among them. In this connection, it would be more suitable to say that the concept of *qut* was one of an international general conception rather than to say that it was a concept of the state and sovereignty only special to the ancient Turks.

It is only an example to resembles in conceptions of sovereignty and power in ancient Turks and Iranians that in the Ancient Iran and some nations under the ancient Iranian culture, the *qut* (power of governing the state, together with the meaning of royal fortune) come out as *x^varenah*, *farrah* or *farn* (the personification of power and material prosperity) in Iran, *Pharro* or *Pharo* on Kushan coins, and *urna* in Buddhist texts. Though it is not clear how the *qut* seems in ancient Turks as a material symbol of the sovereignty, it seems on both statues and coins of the rulers of the Parthian and Kushan empires as a little circle on forehead, temple or between two eyebrows, or, as a wart on the face, and as a «a symbol of divine kingship and nobility or royal blood» given by the God and inherited from the father to the sons or brothers. And at the time of Sasanian empire which effected the Turks deeply this sign of *h^varena* became a «beribboned ring given by Ahuramazda [the Supreme God] to the Sasanian kings». This physical sign of *h^varena* on the pictures of the sovereign or king was a symbol of «the divine kingship» and gave to him a kind of legitimacy, just as in the Ancient Turks. Just as the ancient Turks in the Iranians, we see that *h^varena* incarnates in the shape of a bird of prey, such as falcon and eagle, or takes the form of a ram, as seen in the Kushan and Sasanian coins and their designs. And in some literary texts under the Iranian cultural influences the *h^varena* and *farnah* were «royal and divine attributes» and, according to Professor

Gh. Gnoli [1999], later they acquired the meanings «fortune», «(good) fortune» and they were «certainly a secondary etymological development» just as already seen in Turkic examples as well.

In the time of Achaemenids who had also a concept of charismatic kingship, i. e. within the 6th — 4th centuries B.C., *h^varena* and *farro* represented a «divine splendour» and according to Iranian government and sovereignty tradition, «no king could rule successfully without it. It was only by virtue of the *xvarenah* that the mighty achieved fame and glory. Its presence brought success and symbolized legitimacy. Its absence changed men's fortunes, indicating divine disfavour and often auguring imminent fall or defeat». However, differently from those in the ancient Turks the *h^varena* had not been central and «vital principle», «vital force», and «in fact, it is not mentioned in the Achaemenid inscriptions, of which the focal point is the divine investiture of the king «by the favour of Ahura Mazda» (just as seen in the Turkic inscriptions (*Tängri qut birtük üçün* = «because the God gave me *qut*», *qutum bar üçün* = «because I have *qut*», etc. and in Mongol texts (*möngke tengri-yin küçündür qaghan-u sudur* = «by the might of the eternal Heaven, by the fortune of the Qaghan»).

There was a kind of connection between the *h^varena* and the mountain just as some authors found a parallelism between the Turkic concept *qutlu-tag* (the «Saint Mountain») and the Iranian *h^varena* and the mountains [Gnoli 1982].

Although there are some parallelism and eventual relations between the Turkic concept of *qut* and Persian one of *h^varena* and *farnah* it needs to point out an important matter: according to ancient Turkic concept of heavenly sovereignty the *qut* was given only to the rulers by the Tängri, whereas, in the Iranian traditions of divine kingship, just as already seen in *Qutadgu Bilig*, it passed over sometimes another persons as well, for example, to the vizier, the prime minister (in *Qutadgu Bilig* the political power, that is the *qut* is represented by *Ay-Toldy*, the vizier).

Although there are some speculative opinions about origin of the word *qut* from an Iranian one, this fact is outside of this paper.

Basic Bibliography

Bombaci A. Qutlug bolzun! A Contribution to the History of the Concept of «Fortune» among the Turks (1—2) // UAJ. Bd. 36. 1965; Bd. 38. 1966.

Gnoli Gh. Qut e le montagne // *Studia Turcologica Memoriale Alexii Bombaci dicata.* Napoli, 1982.

Gnoli Gh. Farr(ah), X^varənah // *EIr.* Vol. IX. 1999.

Duchesne-Guillemin J. Zoroastrian Religion // *CHI.* Vol.3 (2). 1983.

Tanabe K. Iranian Xvarnah and the Treasure of Shosoin at Nara in Japan // *IA.* Vol. XXIII. 1988.

Tanabe K. Iranian Origin of the Buddhist *Urna* // *BAOMus.* Vol. VIII. 1986.

WEREWOLVES AND MEN'S SOCIETIES IN THE BACTRIAN ART:
THE KOPYAKOVO TORQUE

A recently published torque from a Sarmatian tumulus features a battle between a dragon and three monstrous canine-headed and canine-legged armed creatures, which probably symbolize a group of werewolves or warriors wearing wolf masks. In the centre of the torque a bearded man is portrayed, seated on a mat with his eyes closed. This first-century B.C. torque appears to originate from Bactria. In the mythology and poetry of several Indo-European peoples, warriors and especially members of male pre-adult groups were described as packs of furious wolves or dogs. Warriors wearing wolf skins are portrayed on artifacts of various cultural provenances, representing scenes from myths about young warriors' exploits. These scenes seem to be connected with initiation ceremonies undergone by youths on the verge of the manhood. Written sources attest the existence of men's societies in several Iranian-speaking cultures, among them the Scythians and other semi-nomads of the South Russian steppes. Several texts refer to the self-identification of these bands of young warriors as packs of dogs. Thus, the torque appears to depict a scene from the mythology of Iranian warrior societies.



HELLENISTIC RESIDUE IN CENTRAL ASIA, 300—1000 CE

Islamic scholars in the Middle Age translated many Greek, Persian, and Sanskrit literature into Arabic, thus helped preserving the cultural heritages of those ancient civilizations. The case of Greek heritage was especially important because many of the achievements of classical age would be forever lost to humanity had not Muslim scholars preserved the texts in Arabic language. Meanwhile, Islamic scholars could not have made all the achievements in natural sciences, technology, mathematics, astronomy, geography, literature, and history without the knowledge they acquired from Greek, Persian, and Indian scholars. Given the well known facts, the question is where and how Islamic scholars acquired their knowledge from the classical traditions. Obviously, a simple answer cannot solve this complicated and broad question. In this short essay, the author tries to draw attention to a special corner of the medieval Islamic world, Central Asia, a land produced many outstanding Muslim scholars during the Middle Age, much out of proportion, in number and in achievement, of its geographic and demographical scope.

The beginning of Greek influence in Central Asia was the brief invasion of Alexander of Macedonia to India. After the Greek army retreated from the Indus valley in 326 BCE, garrison towns, with the name of Alexandria, remained in Bactria and even further east, namely modern north Pakistan, Afghanistan, and Uzbekistan. After the death of Alexander, his successors established Hellenistic states on the conquered territory. One of them, Seleucus I Nicator, controlled the territory of the former Persian Empire including its territories in South Asia and Central Asia. On the direction of India, he soon encountered the offense from the Mauryan Empire rising on the Ganges plain. Afghanistan and Gandhara in northern Pakistan became territories of the Mauryan Empire during the third century BCE. The Greek speaking towns apparently maintained their cultural heritage under the Mauryans, as the Mauryan king Ashoka chose to issue his edicts in Greek or Aramaic inscriptions, both in language and in script, in the northwest frontier of his empire.

To the north of the Mauryan territory, in Bactria and in Transoxiana (the region between the Oxus/Amudarya and the Syrdarya rivers), Greek garrison towns flourished. Of the many Hellenistic cities, Ai-Khanoum on the Oxus preserved all the major institutions of a Greek polis, such as a gymnasium, an amphitheater, temples, and a palace [Bernard et al. 1973]. In the last decade, archaeologists dug into the lowest level of settlement at Samarkand, Uzbekistan, and found foundations of Greek colonies in Maracanda/Afrasiab [Bernard et al. 1996: 331—365]. Greeks, at least Greek soldiers, indeed settled there and maintained their culture.

In the following centuries, the large scale and frequent migrations of nomadic peoples on the Eurasian steppe swept over the transoxiana region and north Afghanistan. One may assume that the nomads, namely, the Parthians, Sakas, and Yuezhi/Kushans wiped out the Hellenistic traditions of the region. However, as most of the nomads did not developed a writing system before they came to the region, and most of them decided to settle in there to rule the sedentary agricultural societies, they soon learned to adopt local languages and writings, Greek was among the living languages and valid writing systems. The Sakas, who migrated from Central Asia to Afghanistan then India around the beginning of the first century CE, under the pressure of the Kushans, adopted Greek language and script for official purposes. Saka kings had their coins casted with Greek legends and image of Greek deities. For example, the famous Saka King Maues gives himself a title in Greek legend ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΥΟΥ. Though the language and writing is in Greek, the style is very Central Asian: «King of kings, Great King». On the reverse side the coin, Kharoshthi script gives the same title of the king, but the image is the Greek goddess Nike [Gandhara Sculpture from Japanese Collection 1985: 81, pl. 96—98]. The Parthians, a nomadic people who pushed the Hellenistic Seleucids out of Iran and extended their power to Afghanistan, adopted the same linguistic strategy in the former Hellenistic country. When the Kushans conquered Bactria, the nomadic people decided to stay there to rule the sedentary country. The early Kushan rulers of Bactria adopted the both Greek language and script on their coins, same as the Sakas and Parthians. However, from Kanishka I, the Kushans changed to linguistic preference. They used only Greek letters to record the local Prakrit language. On their coins the titles of the kings was no longer ΒΑΣΙΛΕΩΣ, but PAO. Several inscriptions by the Kushan kings also use Greek letters to denote local Prakrit language. Six of the seven inscriptions found in the Kushan temple at Surkh Kotal, Afghanistan, are written with Greek letters in a Prakrit language [Fussman 1989: 196]. The inscription of Kanishka found at Rabatak, near Surkh Kotal, is a lengthy text of 22 lines, all with Greek letters in Bactrian Prakrit [Sims-Williams 1996: 633—649]. It

seems that Hellenistic tradition in the region lingered even well after the Bactrian Greek cities had been lost from the control of the Greeks in the mid-second century BCE.

The Kushan rulers, though abandoned Greek language as the official language of the regime, did not give up Greek script. To the end of the Kushan regime, Greek letters appeared on the coins, at least one side. One of good reasons to continue to use Greek letters was that the Kushans were trading with the Romans and made great profit from the Silk Road trade. The Roman traders, mostly Greek speaking Egyptians, arrived at the ports on the Indus and the Gulf of Cambay via the Arabian Sea in the first century CE. They were delighted to see Greek coins and writing were available in the port areas. According to «The Periplus Maris Erythraei», a Greek manual for sailors from the Red Sea to Indian coast, «there are to be found on the market in Barygaza even today old drachmas engraved with the Inscriptions, in Greek letters, of Apollodotus and Menander, rulers who came after Alexander» [Casson 1989: 81]. The «Periplus» was written around 70 CE, when the power of the Kushans had not extended all the way to the Gulf of Cambay, where the port of Barygaza was located. However, this was a couple hundred years after the downfall of Greek rule in Bactria and northwest region of South Asia, and the Hellenistic power never reached the shore of the Gulf of Cambay. If the «Periplus» was telling the truth, then the Greek coins with the name of Greek kings on them had been circulated hundreds of years in regions much larger than the territories of former Hellenistic states. Therefore it is not a surprise that the Kushan rulers kept Greek script on their coins to facilitate the trade with the Greek-speaking Roman traders.

Even after the Sassanids from Iran conquered the Kushan kingdom, Greco-Roman elements remained in the former Kushan Central Asian territory, namely Tukharistan, for centuries to follow. Although those elements were only residues of the past glory of Hellenistic culture in Central Asia, their persistent presence provided opportunities for the revival of Greek influence on the thoughts of people there for centuries to come.

When the Sassanids extended their power to Afghanistan at the cost of the Kushan Empire around 230 CE, some of the residents of the former Kushan core region probably migrated to oases of Takla Makan Desert. A surge of Kharoshthi documents deposited in the oasis sites during the period suggests commercial contacts, Buddhist missionary activities, and probably immigrations from west to east [Lin Meicun 1988: 12]. The Kharoshthi scripts on the documents express a variety of Prakrit languages. The bulk of the documents, mostly found in Niya on the southern edge of the Takla Makan, contained many non-Indian loan words that render great difficulties for translation. The complexity of the language probably reflects the cosmopolitan phenomenon of the former Kushan territory and that of the oases, which received many Kushan immigrants. In addition to Indian, Saka, and Chinese elements in the population, Greek personnel and culture could still be discerned. No. 324 of Niya is a record of arbitration on a dispute caused by a slave transaction. The parties involved in the dispute include the *Supis*, apparently a nomadic group which raided the oasis from time to time; a Chinese who paid two golden staters and two drachmas for a slave looted by the *Supis*, and a certain Vasu Yonu [Burrow 1940: 60—61]. Here the money used was Greek, and the name «Yonu» is very possible «Yona», the Prakrit appellation for the Greeks.

If the migrants in the Takla Makan oases maintained traces of Greek culture and usage, how did the Hellenistic culture survived in Tokharistan, or Bactria, the former Hellenistic and the Kushan core regions? It seems that the Hellenistic elements disappeared totally along with the Kushan culture after invasions of the Hephthalites and Turks. However, when Xuanzang visited the area in 630, he noticed that in Tokharistan, though also under the control of the Turks, as were all other Central Asia countries he had passed by so far, the language was different, and the language was recorded in 25 signs, which combined into words. Reading of the writing is from the left to right, which is different from the Kharoshthi writing from right to left, and even more different from Chinese which was written in vertical lines from above to the bottom of a piece of paper. Written documents were quite numerous, even more than that of Sogdian region to the north [Ji Xianlin et al. 1985: 100]. Therefore, in Tokharistan, the written language could not be anything else but Greek. Literary tradition impressed Xuanzang to the extent that he claimed that the literatures were even more numerous than in Sogdiana, the homeland of the famous trading community of Central Asia. Thus the region, by the mid-seventh century, was still a stronghold of Greek literature.

Arabs started the conquest of the Transoxiana region in 704, and finished the campaign by 751 at the Talas battle with the army of Tang China. This process began only a few decades and finished about a hundred years after Xuanzang's visit of the strongly Buddhist region. Buddhism survived in the region under the Islamic regime for a while, but what about Greek language and writing? After the region entered Islamic cultural sphere, did the Greek cultural remains in the Transoxiana region contribute to the Islamic cultural developments?

Under the Abbasid Caliphate, Islamic scholars absorbed classical Greek, Persian, and Indian knowledge, and made great achievements in mathematics, science, technology, art, etc. During the golden age of the Abbasid Caliphate, i. e. the 8th and 9th centuries, scholars from Transoxiana region made their journey to Baghdad to join the House of Wisdom or House of Knowledge; after the caliphate lost control on regions far from the center, Islamic scholarship continued to develop in the transoxiana region, and was still based on the knowledge from Greek, Persian and Indian literatures.

In Baghdad, the famous Barmaki family who served the Abbasid Caliphate for several generations came from the city of Balkh, the city called Bactra in Hellenistic times. According to Mas'udi, the historian of the Abbasid Caliphate, Barmak the Elder managed the *Nawbahar* in Balkh before he joined the Islamic cause [Lunde, Stone 1989: 131]. The *Nawbahar* of Mas'udi is likely *navavihara* in Sanskrit, namely the New Monastery. Xuanzang called it *nafusengjialan* in Chinese, or *nava sangharama* in Sanskrit. According to Xuanzang, the New Monastery was the most prestigious and wealthy Buddhist center in Balkh. All its hall and statues of Buddha were richly decorated with precious jewels which often invited robberies by greedy chiefs and kings. Nevertheless, due to the protection of Vaishravana-deva, the Buddhist deity who guarded the northern heaven, the monastery survived many robbing attempts. In the most recent incident, as Xuanzang heard, a prince of the powerful Kehan of the Turks stationed his troop nearby in order to rob the monastery. The prince saw the guarding god piecing his chest with a long pike in dream, and died of a heart attack after he woke up from the dream [Ji Xianlin et al. 1985: 117]. So that even the Turkish power who controlled the region at the time of Xuanzang did not succeed to rip off the treasures of the monastery. In charge of the most prestigious and powerful institution of Balkh, the Barmaki family weathered many invasions to the region and managed to keep themselves and the wealth of the monastery intact.

There is no information about how the Barmaki family survived the initial attacks of Arab military force to Central Asia. Maybe moving to Baghdad to serve the Abbasid caliphs was also one of the strategies to protect the family's interests in Afghanistan. The Barmakis certainly held great power in the court of caliphs after they migrated to Baghdad, while keeping frequent contracts with their homeland. No one knows exactly when and how the Barmakis converted to Islam, but their contribution to establishing the state structure and culture of the Abbasid caliphate is well known. Mas'udi spent many pages detailing activities of several generations of Barmakis in the service of the caliphate. To build a bureaucratic system for the caliphate, the Barmakis probably were even responsible of bringing paper making, among many inventions in the east, from Central Asia to Baghdad [Bloom 2001: 49].

The Barmaki family, as vazirs of the caliphs, supported many cultural activities, including collecting and translating Persian, Greek and Sanskrit literatures into Arabic. There is no way to ascertain their knowledge of Greek literature, but at least they were aware of the significance of Greek literature enough to make the effort to have it collected and translated. Following the steps of the Barmakis, many scholars from Central Asia went to Baghdad to seek their future.

Al-Khwarizmi (c. 780—850), who modified the Indian digitals into Arabic numerals and invented Algorism and Algebra, came from Khwarizm of the Transoxiana region. In Baghdad, he worked in the House of Knowledge which was the center of translating Greek, Persian and Sanskrit works into Arabic. The knowledge of those languages was a prerequisite of the scholars working in that facility. Al-Khwarizmi was familiar with the geography of Ptolemy and corrected many mistakes of Ptolemy [Bloom 2001: 145]. Presumably, Al-Khwarizmi acquired the language skills in Transoxiana before he set out for Baghdad.

Among the renowned philosophers in Baghdad, Al-Farabi (d. 950) was from a Turkish military family of Transoxiana. He studied in Baghdad following Hellenistic Christian teaching, i. e. school of Alexandria. He considered himself a Muslim but considered religion was the matter of commoners in a good society. The society believing in a single god should have been the place to build a political ideal society, as adopted from Plato [Hodgson 1977: 433—437]. In addition to Plato, he translated and studied many Greek works, both philosophy and literature. The first half of the 10th century, the period when Al-Farabi was active in Baghdad, saw the strong presence Turkish Mameluk or slave troops there. Arisen from Eurasian steppe, Turkish military power came to the center of Islamic empire with violent force. Al-Farabi, however, represented another face of Turkish culture from Central Asia, the culture preserved in Transoxiana region in spite of many invasions from the steppe.

During the 11th century, the central power of the Abbasid caliphate was in shatters, many scholars from Transoxiana no longer went to Baghdad to look for jobs but seeking patronage from local sultans and amirs. Separated from the Byzantium, the only major source of Greek literature of that time, those scholars were still very familiar with sciences of Greek authors. Al-Biruni (973 — c. 1050) came also from the Khwarizmian region. He was captured by Mahmud of Ghazni in Afghanistan and was sent to India to study

astronomy and other sciences. In his book about India, he compared every theory in Indian sciences with the respected Greek theory.

The heathen Greeks, before the rise of Christianity, held much the same opinions as the Hindus; their educated classes thought much the same as those of the Hindus; their common people held the same idolatrous views as those of the Hindus. Therefore, I like to confront the theories of the one nation with those of the other simply to account of the close relationship, not in order to correct them [Sachau 1910/1983: 24].

Al-Biruni made this statement in the first chapter of his book, as he felt it was a difficult job to explain the complicated thinking written in difficult Sanskrit language to his fellow Muslim scholars. He felt compelled to compare Hindu philosophy and sciences with those of the Greeks. He and his Muslim scholarly audience obviously were familiar with all important Greek works and authors.

Ibn-Sina, or Avicenna in western literature (980—1037), a contemporary of Al-Biruni, never went to Baghdad either. His life story illustrates how education of scholars was carried out in 11th century Central Asia. His father was born in Balkh, then moved to Bukhara (in present Uzbekistan) where Ibn-Sina was born. His father hired tutors to teach him the «Koran», and *adab*, or Arabic secular literature. Then he studied philosophy, geometry, and Indian mathematics under various teachers. He learned the geometry of Euclides quickly, but had real hard time with the metaphysics of Aristotle. He read the book 40 times and remembered every word, but still could not understand it. Finally, he was enlightened by an introductory book of Aristotle, written by Al-Farabi, which he bought from the local market [Lewis 1987: 177]. The «Canon of Medicine» by Ibn Sina was the text of medicine both in Middle East and Europe of that time and for centuries to come. Education and accessibility of scholars and books from several classical traditions in the Transoxiana region paved the way for Ibn Sina to accomplish the works that had influence to a large area of Eurasia.

The Transoxiana region produced many outstanding scholars for the Islamic world. Greek authors and writings were an essential component of their knowledge structure. The sources of the Greek knowledge could have been the contemporary Byzantium. Meanwhile, the tradition of Greek knowledge of the Transoxiana region, the western part of Central Asia, never totally ceased to exist from the days of the Hellenistic state of Bactria to the 11th century, i. e. the hey day of Islamic scholarship. Thus, the Transoxiana region was probably also a source of Greek scholarship in the Islamic world.

Bibliography

- Bernard P. et al.* Fouilles d’Ai-Khanoum. Paris, 1973.
Bernard P. et al. Maracanda-Afrasiab, colonie grecque // La Persia e l’Asia centrale da Alessandro al X secolo. Rome, 1996.
Bloom J. Paper before Print. New Haven, 2001.
Burrow T. A Translation of the Kharosthi Documents from Chinese Turkestan. London, 1940.
Casson L. (ed. and transl.). The Periplus Maris Erythraei. Princeton, 1989.
Fussman G. The Mat *devakula*: A New Approach to its Understanding // Mathura: The Cultural Heritage. New Delhi, 1989.
Gandhara Sculpture from Japanese Collection, the Museum Yamato Bunkakan. Nara, 1985.
Hodgson M. G. S. The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization. Chicago, 1977.
Ji Xianlin et al. (ed.). DaTang Xiyu Ji Jiaozhu [Edited Version of Xuanzang’s Travel to the West Region]. Zhonghua Shuju, 1985.
Lewis B. Islam. Oxford, 1987.
Lin Meicun. Zhongguo suochu Qulu Wenshu [Karosthi documents found in China]. Beijing, 1988.
Lunde P., Stone C. (transl. and ed.). Mas’udi. The Meadow of Gold. Kegan Paul International, 1989.
Sachau E. C. Alberuni’s India, An account of the religion, philosophy, literature, geography, chronology, astronomy, customs, laws and astrology of India about AD 1030 [originally published in 1910 by Kegan Paul; reprinted in 1983 by Oriental Books Reprint Corporation].
Sims-Williams N. Nouveaux documents sur l’histoire et la langue de la Bactriane // CRAIBL. 1996 (april—june).

РАЗДЕЛ 3

Центральная Азия и ее соседи в исламскую эпоху

Г. А. Агзамова
(Ташкент, Узбекистан)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОГО ДЕЛА В СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ХАНСТВАХ

Организация военного дела являлась важной составной частью деятельности всех среднеазиатских правителей. Они всячески старались оберегать государство, охранять его пределы и территориальную целостность, вести последовательную политику против междоусобиц внутри страны. Во всем этом они опирались как на военные силы, так и на традиции по организации военного дела, сложившиеся на протяжении многих столетий.

В среднеазиатских ханствах сложилась определенная система управления военными силами. На самой верхней ступени этой сложной иерархической структуры находились верховные правители — *ханы* и *эмиры*. Хотя официально они считались верховными главнокомандующими, во многих случаях управление войсками осуществлялось другими чиновниками высокого ранга. Например, в Бухарском эмирате, согласно данным источников XVIII—XIX вв., одним из таких военных должностных лиц был *тупчибаши*, который являлся командиром конных отрядов и артиллерии. В текстах этого периода встречается множество фактов, свидетельствующих о выполнении *тупчибаши* роли главнокомандующего бухарским войском. В Хивинском ханстве регулярные войска действовали под командованием *ясавулбаши*, а в Кокандском ханстве имелась еще должность *мингбаши*.

Как свидетельствуют материалы Бухарского и Кокандского ханств, относящиеся к первой половине XIX в., в обоих этих государствах военные части, состоящие из 500 воинов, управлялись *пансаджабаши* («пятисотниками»), сто — *юзбаши* («сотниками»), пятьдесят — *панжаджабаши* («пятидесятниками»), десять — *унбаши* («десятьниками»).

Согласно материалам XIX в. из архива хивинских ханов, военные силы Хивинского ханства имели схожую структуру. Здешнее войско делилось на сотни и десятки, которыми командовали *юзбаши* и *унбаши*. Они находились в подчинении у *мингбаши*, который, в свою очередь, был подотчетен главнокомандующему — *ясавулбаши*.

Носители многих должностей в центральном государственном управлении и в области военного дела имели соответствующие чины. Например, по свидетельству Е. К. Мейендорфа, посетившего Бухарский эмират в 20-х гг. XIX в., обладатель такого чина, как *туксоба* являлся «командиром полка», *дадхо* — «командиром нескольких полков», *парваначи* — «маршалом» и т. д. В эмирате эти лица назывались общим термином *саркарда*.

Планирование военных действий и правильное распределение военных сил во время военных столкновений были одним из основных обязанностей *накибов*. Согласно сведениям источника конца XVIII в., в Бухаре *накиб*, являвшийся, по сути, начальником штаба, должен был обладать достаточными знаниями в области военного дела. Он был обязан довольно четко знать структуру войска и уметь правильно расположить военные подразделения, обеспечить их продвижение и организовать снабжение воинского состава различными видами оружия, а также знать тактику боя.

Особо отличившиеся во время военных действий чиновники награждались денежной суммой, землей, недвижимостью и другими ценностями. Известно, что такие лица, в соответствии с их должностью и чином, одаривались парчовыми (*зарбафт*), шелковыми и хлопчатобумажными халатами, тюрбанами, ножами, саблями, поясами. Во многих случаях предметы наградного снаряжения были украшены золотом и драгоценными камнями.

Одним из важных вопросов организации военного дела в позднесредневековых среднеазиатских ханствах являлась забота о здоровье военных. Следует отметить, что, хотя военнотружущим, пострадавшим во время боевых действий, медицинская помощь централизованно не оказывалась, однако на их лечение из ханской казны выделялись денежные компенсации. Это подтверждается данными архивных материалов из Хивинского и Кокандского ханств. Например, в одном из хивинских документов зафиксировано, что в 1866—1867 гг. из ханской казны было

выделено по пять *тилла* неким Ибадулле и Болтанияз бахадиру, получившим ранения на войне, а каждому раненому из «тридцати четырех стрелков» дали по три *тилла*. Обычно раненые, получившие такие компенсации, шли с этими деньгами к *табибам* (лекарям).

Правительством также покрывались необходимые расходы, связанные с похоронами погибших воинов. В частности, в одном из документов из архива кокандских ханов, относящихся к 1872—1875 гг., говорится о выдаче «денег и белой материи для похорон *сарбаза*», а в другом — о выделении «денег и материи» для похорон *йавара* («сотника пушкарей»). В третьем документе приводится распоряжение хана некоему Гайбулла-*йавару* о выдаче денег для похорон служившего в его подразделении Аманбая-*сарбаза*.

Со стороны государства выделялись средства и для похорон членов семей военнослужащих. Подтверждением тому являются архивные материалы, датированные 1871—1872 гг. В одном из них сообщается, что была выделена определенная сумма денег служившему в Кокандском войске Гадой-батыру для похорон его жены. Согласно другому документу этого же времени, для похорон жены пушкаря Кокандского войска Жумабая *тунчи* была выдана «ткань». Эти сведения позволяют сделать вывод о том, что, хотя государство и старалось покрыть расходы, связанные с захоронением членов семьи своих военнослужащих, положение этих семей было бедственным. В этой связи не случаен упомянутый факт, что государство выделило самое необходимое для похорон — белую ткань.

В большинстве случаев, денежные компенсации платились и за лошадей, павших во время военных столкновений. В частности, согласно одному хивинскому документу, относящемуся к 60—70 гг. XIX в., потерявшему свою лошадь *нукеру* выплатили компенсацию в размере 10 *тилла*.

Необходимым атрибутом войска среднеазиатских ханств были знамена (*туг*, *байрак*), которые были разного цвета и размера. Об этом свидетельствует сообщение историка Баяни в связи с описанием военного похода Мухаммад Рахима в 1848—1849 гг.: впереди войска несли пять знамен — Пахлаван-ата, Элтузар-хана, Мухаммад Рахимхана и другие государственные *туги* и *байраки*. Помимо них, также несли *туги* двадцати пяти родов — кунградов, каракалпаков, явмудов, чоударов, мангытов, кипчаков и др.

Такое разнообразие знамен было и в Бухарском эмирате. Е. К. Мейендорф отмечал, что бухарские воинские подразделения, состоящие из пятисот солдат, под предводительством своего военачальника-*пансадбаши* вступали в бой со знаменем меньшего размера (*байрак*), а рядом с *мингбаши* несли большое знамя под названием *туг*. Наличие знамен в боевых частях среднеазиатских ханств подтверждается и на примере ташкентских *караказанов* — частей иррегулярного войска. Русские горные инженеры Т. Бурнашев и М. Поспелов в 1800 г. отмечали, что полки *караказанов*, числом «от 200 до 1000», имели свои знамена.

В среднеазиатских ханствах проводились ежегодные смотры войсковых частей. Один из них, согласно данным начала XIX в., проводился вблизи столицы Бухарского эмирата — в Бахаутдине. Он длился две недели. В отсутствие верховного правителя смотр проводил первый министр эмирата — *кушбеги*. В вилаетах подобные военные смотры проводились их правителями — *хокимами*. Военные старались активно участвовать в таких смотрах. Каждый день в подобных смотрах участвовало по несколько сот воинов.

Военные смотры проводились и в других ханствах. Об одном из них свидетельствует архивный документ 1873 г., согласно которому, в Кокандском ханстве военные, проходившие смотр (*куруик*), регистрировались в специальной книге (*дафтар-и куриик*). В частности, было отмечено, что во время *куруика* для войска под командованием Мулла Умар Узока основное внимание было уделено оружию и лошадям.

Как правило, во время походов действующая армия сопровождалась ремесленниками и торговцами. Они своей деятельностью способствовали решению проблем нелегкого походного быта, снаряжения и т. п. Например, идущие следом за армией хлебопеки пекли хлеб для солдат, обувщики производили ремонт обуви военных, а торговцы во время остановок армии устраивали своеобразный базар, где шла торговля продуктами питания, предметами одежды и т. д. Следует отметить, что большинство солдат были бедняками, которые не могли воспользоваться услугами этих ремесленников и купцов. Вместе с армией шли и рабочие. Они должны были рыть землю, строить и ремонтировать дороги и мосты. Как свидетельствуют источники, во время похода бухарского эмира на Коканд в 1842 г. его армию сопровождали 2000 рабочих.

БАЙСУНГУР-МИРЗА, СЫН ШАХРУХА.
ЗАМЕТКИ К ПОРТРЕТУ ТИМУРИДА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Личность внука Тимура и третьего сына Шахруха (ум. 13 марта 1447 г.) и Гаухар-Шад Ага (уб. 31 июля 1457 г.) Гийас ад-Дина Байсунгур-мирзы (15 сентября 1397 г. — 20 декабря 1433 г.) не вызвала сколько-нибудь значительного интереса у отечественных востоковедов-мидиевистов, и они обделили Байсунгура вниманием в своих исторических разысканиях. Однако роль, которую сыграл в истории культуры Ирана первой трети XV в. этот энергичный и талантливый представитель второго поколения Тимуридов, оказалась столь существенной и яркой, что уже историки классической персидской литературы, а также средневековой культуры и искусства не могли не отметить ее и обращались только лишь к этой стороне его многогранной деятельности. Известно, что практически во всех серьезных трудах, посвященных Фирдоуси (940—1020-е гг.) и его «Шахнаме», Низами Ганджави (ум. 1209 г.) и его «Хамсе», литературному наследию и творчеству Хусрава Дихлави (1253—1325), а также поэтам «гератского круга» — его современникам, обязательно упоминается Байсунгур-мирза (не говоря еще о том, что он создал при своем дворце знаменитое *китабхане*, собрав в нем подлинное созвездие из выдающихся мастеров книжного рукоделья).

Известно, что Тимур (ум. 18 февраля 1405 г.) рассматривал созданную им империю как лично-семейную (и, отчасти, клановую) собственность. Поэтому будущее созданного государства и, соответственно, судьбу основанной династии он связывал не столько со своими сыновьями, сколько со внуками, которых у него к моменту смерти насчитывалось 27 и еще 23 правнука. Отсюда и его пристальное внимание к вопросам их воспитания и образования. Тимур отчетливо представлял себе, что внукам предстоит управлять государственными образованиями, основанными на базе двух социальных составляющих структур: на а) тюркской военно-феодальной кочевой системе, с присущей ей тенденцией к анархической вольности, которую держал в узде дисциплины только авторитет победоносного и удачливого предводителя, и б) оседлом городском и сельском населении (главным образом, персоязычным), тесно увязанным и сцементированным административно-государственной бюрократической мусульманской традицией. В этой связи, дело воспитания и образования внуков рассматривалось Тимуром как мероприятие весьма серьезного государственного значения, и их сызмальства готовили к амплу самостоятельных и единоличных правителей. Все внуки проходили воспитание в рамках единой традиции, и исключений никому не делалось. Во-первых, потому что не существовало еще определенной и четко отлаженной системы легитимированного объявления наследника, а, во-вторых, каждому внуку уже был уготован личный удел, в границах которого они обладали всеми властными полномочиями.

Сразу же после рождения Байсунгур-мирза получил, благодаря правилу, введенному его дедом Тимуром, отменное образование, в котором сочетались тюркские военно-кочевые навыки и племенные традиции с обычаями и этикетом, принятыми при дворах правителей средневекового Ирана: он владел пером и разнообразным оружием, разбирался в тонкостях поэзии и в достоинствах скакуна, участвовал в литературных диспутах и руководил облавной охотой, писал стихи по-персидски и по-тюркски и водил войска в походы, профессионально ценил музыку и управлял «высшим диваном», был отменным каллиграфом в почерковых стилях *мухаккак* и *сулс* и считался тонким ценителем миниатюрной живописи. Приходится только сожалеть, что мы так еще и не получили возможности заглянуть в ту интенсивную переписку, которую, согласно источникам, вели между собой по всем этим вопросам Улугбек, Ибрахим-султан и Байсунгур-мирза. Байсунгур-мирза был наиболее ярким представителем складывавшегося нового пласта мусульманской культуры, в синтезе которой приняли участие как персидский, так и тюркский этнические структурные элементы. Результатом такого синтеза явился, в известной степени, феномен Герата конца XV — начала XVI вв.

Не подлежит сомнению факт, что Шахрух связывал с личностью Байсунгура немалые надежды в качестве своего преемника на троне Хорасанского султаната, и тот, следует признать, эти надежды оправдывал. С юношеского возраста (в 13 лет он был назначен отцом своим заместителем в Герате — *ка'им-и макам-и ан хазрат*) Байсунгур-мирза постоянно находился в центре событий: либо состоя при отце в Герате, либо замещая его в качестве правителя, либо сопровождая его во время военных кампаний, либо выполняя различные миссии, ему порученные. Источники, сообщающие в этой связи о принятых им решениях и действиях, позволяют нам сделать вывод, что

он был человеком политически решительным, смелым и целеустремленным, обладавшим несомненными качествами лидера и руководителя, умевшим разбираться в мотивах человеческих поступков и подбирать себе дееспособных помощников. Именно Байсунгур-мирза заложил организационные начала той двухуровневой структуры управления хорасанским султанатом Тимуридов, которая окончательно сложилась при Хусайне Байкаре (1469—1506), т. е. административной системы двух уровней: «высший диван» (*диван-и а'ла*), который возглавлял амир (или бек), занимавшийся делами (включая налогообложение) тюркских племен, а, следовательно, и воинскими формированиями, и финансовое ведомство (*диван*), во главе которого стоял вазир (либо два вазира), в функции которого входили контроль за поступлением налогов с податного оседлого населения и отслеживание Фискальной деятельности региональных диванов. *Диван* административно подчинялся *диван-и а'ла*. Поэтому Байсунгур-мирза, будучи *амир-и диван-и а'ла*, никогда не был вазиром. Точно так же, как он не был и гражданским правителем (*хаким*) Герата. Проявил себя Байсунгур-мирза и как военачальник. Возглавляемые им войска дважды (в 823/1420 и 832/1429 гг.) брали Табриз — во время кампаний Шахруха против Кара-Йусуфа и Искандара Кара-Койунлу.

Около 823/1420 г. Байсунгур-мирза создал при своем дворе библиотеку-мастерскую, значительно расширенную им впоследствии. По меркам того времени эта *китабхане* была грандиозным заведением, она была создана с размахом, присущим самому Тимуру — деду ее организатора, а в ее стенах работали лучшие мастера, создававшие для своего патрона высокохудожественные рукописные книги. 17 списков из их числа дошли до наших дней и находятся ныне в различных книгохранилищах мира. Известно, что в конце 20-х гг. XV в. в ней работало 5 каллиграфов, 2 художника-миниатюриста, 13 оформителей рукописи (декораторы и орнаментисты), 3 переплетчика и 2 мастера, специально разрабатывавшие дизайны узоров (*таррах*). Общее число — 25 мастеров. Помимо мастеров книжного рукоделья, в состав *китабхане* входили также архитекторы, строители и ткачи. Поэтому *китабхане* по широте своих функций более походила на объединение придворных ремесленно-художественных и строительных мастерских (*кархане*).

Источники, уделив фигуре Байсунгур-мирзы значительно больше внимания, чем другим сыновьям Шахруха, ни разу не назвали его официально провозглашенным, *де-юре* признанным наследником Хорасанского султаната. Он был таковым *де-факто*, занимая после отца высшие посты в государстве, администрации и войске и являясь его «вторым эго». Несомненно, как политический деятель, администратор, военачальник и меценат, Байсунгур-мирза заслуживал не меньшего (если не большего) внимания историков, чем Улугбек, который получил широкую известность исключительно лишь за свое увлечение астрономией и математикой. Приходится только сожалеть, что В. В. Бартольд, посвятивший два блистательных исследования Улугбеку и Алишеру Навои, не удостоил внимания Байсунгур-мирзу.

Источники

- Хафиз-и Абри*. Зубдат ат-таварих. Дж. 1—2. Тегран, 1372/1993 [С. 1112 (индекс)].
- Маджму'а-йи мараси* [Байсунгур-наме]. Рук. Кетабхане-йе Мелли-йе Табриз. № 2967.
- Фасих Ахмад ибн-и Джалал ад-Дин Мухаммад ал-Хавафи*. Муджмал-и Фасихи (Фасихов свод). Пер., предисл., прим., указатели Д. Ю. Юсуповой. Ташкент, 1980 [170, 179—180, 203, 208—209]; рук.: СПб Филиал ИВ РАН. С. 800.
- 'Абд ар-Раззак Самарканди*. Матла' ас-са'дайн ва маджма' ал-бахрайн. Лахор, 1360—1368/1941—1949 [176, 259, 298, 319, 346; 365, 399-400, 584—5, 589—590, 600—608]; рук.: СПб. Филиал ИВ РАН. С. 443.
- Гийас ад-Дин б. Хамам ад-Дин Хвандамир*. Хабиб ас-сийяр фи ахбар афрад башар. Тегран, 1333/1954 [Дж. 3—4, 582, 588, 592, 596, 615—620].
- Дуст Мухаммад ал-Катиб*. Мукаддима. Рук. Топкапы-Серай. Стамбул. № Н 2154 [л. 156 — 16а].
- Сам-мирза Сафави*. Тазкира-йи Тухфа-йи Сами. Тегран, 1355/1976 [89].
- Казн Ахмад Куми*. Гулистан-и хунар. Тегран, 1352/1973 (26, 27, 29); рук.: ГМИНВ Оч. 156 (Москва) [С. 27—29]; рук.: СПб. Филиал ИВ РАН. В 4722 [л. 3а—б].
- The Tadhkiratu 'sh-Shu'ara' («Memoirs of the poets») of Dawlatshah bin 'Ala'u'd-Dawla Bakhtishah al-Ghazi of Samarqand*. London; Leiden, 1901 [161, 171, 240, 295, 350—351, 382].

ПРОБЛЕМА ПРАВЛЕНИЯ СУЛТАНА ХАЛИЛА И КАЗАН-ХАНА В
РЕКОНСТРУКЦИИ ЧАГАТАЙСКОЙ ИСТОРИИ В 1330—1340-Е ГГ.

История Чагатайского улуса с середины XIII в. и вплоть до захвата власти амиром Тимуром до сих пор содержит множество «белых пятен». Среди наиболее сложных для научного анализа временных отрезков — 1330-е — 1340-е гг., для которых имеются особенно сильные противоречия письменных источников между собой и с нумизматическими материалами. По поводу этого времени еще В. В. Бартольд признал, что «установить в дальнейшем отдельные события почти невозможно, так как между сообщениями историков, пожалуй, малодостоверными в этом вопросе, и рассказом, также романтически окрашенным, путешественника Ибн Баттуты существует непримиримое противоречие» [Бартольд 1964: 543]. Поэтому для исторической реконструкции представляется возможным использовать здесь более доступные данные, относимые к более позднему времени правления амиров Казагана, Хусейна и Тимура, а также более раннему периоду правления Чагатаидов дома Дувы-хана, с последующей интраполяцией их на внутренний временной интервал.

Султан Халил и Казан-хан. Хорошо известно, что главной и наиболее влиятельной женой амира Тимура была Сарай-Мульк-Ханум — вдова его предшественника амира Хусейна и дочь чагатайского хана Казана (Qazan). Благодаря ей, он получил титул ханского зятя — Гураган. С ее именем было связано строительство медресе и мавзолея в центре Самарканда, и даже центральная соборная мечеть стала в память о ней называться мечетью Биби-Ханым. Когда после гибели Хусейна амир Тимур на правах победителя решал судьбу его вдов, то у него был выбор. У Хусейна было две жены чингизидского рода. Старшей была Севинч Кутлук ага — дочь Тармаширин-хана. Но амир Тимур для себя выбрал именно дочь Казан-хана, а дочь Тармаширин-хана отдал амиру джалаирав Бахраму. Безусловно, для Тимура в вопросах женитьбы главным были не симпатии, а политический расчет. Почему же он выбрал родство с Казан-ханом?

Казалось бы, Чагатаид Тармаширин-хан из дома Дувы — намного более масштабная фигура. Достаточно назвать тот факт, что именно при нем в 1327 г. чагатаи совершили последний большой поход в Индию [Синха, Банерджи 1954: 175]. О Казан-хане же тимуридские историки отзываются достаточно негативно. Йазди сообщает, что он, «став ханом в улусе Чагатая, начал творить жестокости и бесчинства... От его дурных деяний народ стал изнывать... ежели он приглашал какого-либо бека, то тот шел к нему, попрощавшись с семьей и детьми и сделав завещание» [Йазди 2004: 56]. В итоге, против Казан-хана восстал амир Казаган, которому удалось в 1347 г. одержать победу в сражении у Карши. Казаган захватил власть и выдвинул подставного хана сначала из дома Кайду, а затем — Дувы. Восточные чагатаи, не признав Казагана, провозгласили своего хана и образовали самостоятельное государство — Моголистан.

Когда пытаешься разобраться с личностью Казан-хана, то неожиданно приходится иметь дело не с одной, а сразу с двумя историческими персонами. У Казан-хана, оказывается, есть политический «двойник» — султан Халил, или Халил Аллах. При этом ни письменные источники, ни монетный чекан пока не дает однозначного ответа: это два разных человека или одно лицо? Так, анализ нумизматического материала этого периода, начатый еще М. Е. Массоном [1957: 69] и продолженный в последние годы П. Н. Петровым и В. Г. Кошеваром [Петров, Кошевар 2003; Петров 2003; и др.], выявил следующие факты. Монетный чекан Казан-хана осуществлялся в 742, 743 г. х. (1341—1343) и 746 г. х. (1345—1346). Причем, судя по чекану 742—743 г. х., в это время его уделом были области Бадахшана и Термеза. В 742 г. х. в Отраре чеканились дархемы, где наряду с именем Казана стояло имя Халил. Именно от имени султана Халила вели в 742—743 г. х. чекан серебряных динаров центральные монетные дворы Мавераннахра в Бухаре и Самарканде [Петров 2003: 105]. По личной информации П. Н. Петрова, известны монеты этого периода, чеканенные в Алматыке и Термезе, где также упомянуты оба имени: Халил и Казан. Монеты Казана и Халила имеют общий тип тамги (рис. 1). Монеты султана Халила чеканятся и в 744 г. х. (1343—1344), после чего их выпуск прекращается. В 746 г. х. Бухара, Самарканд, Термез и Бадахшан чеканят монеты Казан-хана.

Если разделять персоны Халила и Казана, то получается, что это два родственных правителя. В 742—744 гг. х. центральной фигурой был Халил, который занял центральные области Мавераннахра, а Казан в это время владел только южными территориями — Бадахшаном и Термезом. Факт чеканки ими совместных монет в восточных землях (Алмалык и Отрар) и Термезе свидетельствует о том, что в масштабе улуса они были соправителями. После ухода Халила с политической сцены,

Казан занимает его место и подчиняет своей власти Мавераннахр, что и отражает его чекан. Если же отождествлять эти персоны, то два имени у одного правителя могут означать (как вариант): Казан — собственное (тюркско-монгольское) имя, а Халил — имя, принятое при обращении в ислам.



Рис. 1. Тамга на монетах Султана Халила (Халил Аллаха) и Казан-хана [Петров 2003: 105]

Караунасы и дом Никудера. В ряде современных исторических работ Казан-хана автоматически относят к дому Дувы-хана. Однако есть основания считать его представителем совсем другой ветви правящего рода Чагатаидов. Наиболее подробные сведения о султани Халиле сообщает Ибн Баттута, который называет его сыном Ясавура. Шарафуд-Дин Йазди и Фасих Хавафи также называют Казан-хана сыном Ясавура или Йасура. Обратим внимание, что в хронике Фасиха, посвященной 1320-м гг., фигурирует чингизид Ясавур Никудери, или Ясавур-оглан — глава караунасов, которые с конца XIII в. уже около двадцати лет были подданными Чагатаидов [Арапов 2004].

Известно, что после смерти Дува-хана его сыновья отстояли трон отца. Преодолев внутренние смуты, новый хан Есунбуга (1309—1316) возобновил грабительские походы и в 1312—1313 гг. осуществил набег на Хорасан. В ответ войска ильхана Олджейту (1304—1316) ограбили Мавераннахр и захватили южные чагатайские владения. Война двух улусов в 1313—1315 гг. велась на территории Хорасана. Чагатайская армия дважды вторгалась в эти области, захватила окрестности Герата, а в 1315 г. одержала важную победу при Мургабе. Но тут пришло сообщение о нападении со стороны Китая монгольских императорских войск и Есунбуга-хан срочно отозвал основные силы на восток.

В этот момент на исторической сцене и появляется Ясавур Никудери, который поднял мятеж против власти дома Дувы и заключил союз с ильханом Олджейту. Возглавляемые Ясавуром караунасы покинули чагатайскую армию и соединились с войсками Олджейту. Сначала они изгнали чагатаев из Хорасана, а затем в 1316 г. сами вторглись в Мавераннахр. Ими были разорены Бухара, Самарканд, Термез, большинство жителей которых Ясавур увел в свои владения. После смерти Олджейту Ясавур восстал и против Хулагидов. В 1317 и 1318 гг. он вторгся в Хорасан, добился контрибуции от Герата и вынудил ильхана Абу Саида заключить с ним мир. В 1318 г. он напал на Систан. В 1319—1320 гг. Ясавур снова осадил Герат, а затем ограбил Мазандаран. На сторону Ясавура перешли владельцы Бохарза, Фараха и Исфазара [Фасих 1980: 43—46, 48—49]. Из этого следует, что в 1316—1320 гг. караунасы во главе с Ясавуром Никудери были одной из главных военно-политических сил Центральной Азии. Вероятным центром их владений, судя по направлениям походов, были области Кабула и Кандагара. В противовес Ясавуру, ильхан Абу-Саид возвратил власть в Герате султану Гияс ад-Дину Карту (1307—1329). Тот заключил союз с чагатайским ханом Кепеком (1318—1326), и в результате их совместных действий в 1321 г. Ясавур был убит [Массон В. М., Ромодин 1964: 315].

Для уточнения ситуации вокруг караунасов и Ясавура сделаем еще один исторический шаг назад. Согласно Рашид ад-Дину Никудер-оглан — это монгольский полководец, внук Чагатая. В «Та'рих-и Систан» сообщается о том, что в 1249 г. он был отправлен в поход в Индию и даже принял на себя командование армией. Здесь упоминается об осаде Никудером систанского города Ниха [Та'рих-и Систан 1974: 370, 374]. В начале похода Хулагу Никудер вместе с Китбукой-нойном возглавлял левое крыло его армии, а при ильхане Абака (1265—1282) имел владения в Грузии и командовал туменом. В 1270 г. он поддержал чагатайского правителя Борак-хана в выступлении против Абака и потерпел неудачу. Посредником между Бораком и Никудером был знаменитый Мас'уд-бек, отправленный с посольством к Абака-хану. В итоге, Никудер потерял свое высокое положение и вынужден был бежать на юг в земли караунасов, хорошо известные ему по индийскому походу. Караунасами с последней четверти XIII в. стали называться новые этнические группы, образованные в результате метисации военных монгольских отрядов. Они консолидировались на юге Хорасана и Афганистана в землях, прилегающих к Систану и Керману, а также в области Кабула и частично к северу от Гиндукуша — в областях Кундуза и Баглана.

Поскольку, согласно завещанию Чингиз-хана, улус Чагатая имел на юге пределом индийские владения, то формально Чагатаид Никудер имел права на эти земли. Здесь возникает военнокочевое объединение караунасов во главе с домом Никудера, которое иногда называют Никуде-

рийской ордой. Она прославилась набегами на области Хорасана, Систана, Фарса, Кермана, вплоть до портов Ормузского пролива, а также на Северную Индию. К концу XIII в. в Центральной Азии произошло усиление группы чагатайских племен во главе Дува-ханом (ок. 1274—1306). В 1295 г. они совершили поход в восточные области Ирана, разорили Хорасан, Мазандаран и Йезд. В 1297—1298 гг. чагатаи захватывают Восточный Афганистан, а затем вторгаются в пределы Делийского султаната. Согласно Рашид ад-Дину, в этом походе Дува-хан покорил южные области караунасов и поставил во главе их своего сына Кутлуг-Ходжу [Рашид-ад-дин 1946: 29, 92, 234]. Когда в начале XIV в. Дува-хан основал независимое Чагатайское государство, то земли караунасов стали его южной частью, а Чагатаидский дом Никудера, судя по всему, признал верховенство дома Дувы. Не исключено, что именно присоединение караунасов и подчинение дома Никудера обеспечило дому Дувы победу над чингизидским домом Кайду. Земли караунасов стали удобным плацдармом чагатаев для регулярных набегов на Северную Индию. Опираясь на караунасов, чагатаи производят в 1299 г. новые вторжения в Пенджаб, Мультиан, области Дели, а затем повторяют набеги ежегодно в 1303—1306 гг.

По своему этническому типу и пассионарному потенциалу караунасы Центральной Азии близки к тюрко-монгольской группе мамлюков, синхронно пришедшей к власти в Египте в конце XIII в. На тот же этнический тип стал ориентироваться и Делийский султанат, набравший в начале XIV в. в свою армию для защиты от вторжений чагатаев и караунасов около 30 000 тюрко-монгольских воинов. Обращает на себя внимание, что и у мамлюков Египта, и в реформированной по монгольскому образцу армии Делийского султаната в качестве организующего нормативного начала использовались «Ясса» и «Билик» Чингиз-хана. Ко времени мятежа Ясавура караунасы уже на протяжении полувека были исключительно дееспособной военно-политической силой Центральной Азии, превосходившей более патриархальные, но этнически более целостные тюркско-монгольские племена. Занимая стратегические области в окрестностях Гиндукуша и Кандагара, они контролировали основные трассы между Индией, Центральной Азией и Ираном.

В нашей реконструкции на протяжении 40—50 лет с конца XIII в. и до 30-х гг. XIV в. военно-политическая группировка караунасов имела своим лидером одного из представителей дома Никудера, являвшегося частью рода Чагатая. Первоначально караунасы-никудерийцы ориентировались на Хулагидов, а затем признали власти Чагатаидов. Военный рейд армии ильхана Олджейту в 1313 г. в южные чагатайские владения выявил слабость центральной власти Чагатаидов. Давуд-Ходжа — преемник Кутлуг-Ходжи — был вынужден отступить на север за Гиндукуш. Успех Олджейту и поражение чагатаев дало шанс Ясавуру заявить о независимости от правящего дома Дувы-хана. Мятеж 1316 г., похоже, фиксирует первую попытку дома Никудера вмешаться в борьбу за власть внутри Чагатайского улуса. Сначала Ясавур для борьбы с Есенбугой вступил в союз с ильханом Олджейту, а затем брат Есенбуги Кепек вступил в союз с ильханом Абу Саидом и Картами для борьбы с Ясавуром. Ясавур проиграл и погиб. Но караунасы явно сохранили свой военный потенциал, хотя и оказались на время зависимы от Картов. В том же 1321 г. войска Картов и караунасов совершают совместное вторжение в Фарах. Уже военный поход Тармаширин-хана в Индию не мог осуществляться без участия караунасов-никудерийцев.

Наше базовое предположение заключается в том, что султан Халил и Казан-хан являлись детьми мятежного Ясавура или, по крайней мере, принадлежали к чагатаидскому дому Никудера. Об этом нет прямых данных, но косвенным подтверждением этого служит их опора на караунасов.

Ибн Баттута и султан Халил. Когда в первой половине 30-х гг. XIV в. арабский путешественник пересек Среднюю Азию проездом из Золотой Орды в Индию, то он имел встречу с ханом Тармаширином. Этот чагатайский правитель исповедовал ислам и держал ставку в Мавераннахре. Происламская ориентация Тармаширина вызвала его конфронтацию с беками восточных чагатайских племен. Они обвинили его в отступлении от «Ясы» Чингиз-хана и, в частности, в том, что он перестал собирать курултай Чингизидов. Восточные чагатаи подняли мятеж и, избрав на курултае 1333—1334 гг. своего хана Бузуна, выступили под его началом в Мавераннахр. Тармаширин пытался бежать, но был схвачен. По утверждению Ибн Батуты, ему удалось скрыться и уйти в Индию. После этого ханская ставка Чагатаидов была перенесена в Семиречье, что означало смещение политического центра улуса на восток, в неискламские земли.

Ибн Баттута сообщает, что хан Бузун «стал притеснять мусульман, несправедливо обращался с подданными и позволял христианам и иудеям строить храмы». Это и послужило поводом для выступления против него мусульман во главе с сыном Ясавура султаном Халилом. Султану Халилу оказали помощь правитель Герата (султан Му'из ад-Дин Карт (1331—1370) и правитель Термеза (худавандзаде Ала ал-Мулк). Поход против Бузуна носил характер *газавата* — священной войны с

противниками мусульман, и при первом столкновении чагатайские войска Бузуна перешли к Халилу. Бузун-хан был пленен и удушен тетивой лука. В смотре войск, проведенном в Самарканде, численность армии Халила составила 80 000 воинов. Войско Картов было отпущено в Герат, а худавадзаде назначен везирем.

Против султана Халила выступило новое войско, мобилизованное беками восточных чагатаев. Но армии Халила удалось одержать победу над ними в сражении близ Тараза. Потом был захвачен Алмалык, а затем, как утверждает Ибн Баттута, был совершен дальний восточный поход — вплоть до Бешбалыка и Каракорума. Худавадзаде был оставлен с войсками на восточной границе в Алмалыке, а султан Халил вернулся в Мавераннахр. Позднее султан Халил заподозрил своего везира в измене, отозвал и казнил его. Захватив трон и укрепив свою власть в Чагатайском улусе, султан Халил потребовал подчинения со стороны правителя Герата. Султан Му'изз ад-Дин Карт ответил отказом. Тогда Халил начал войну, но потерпел поражение от армии Картов и был взят в плен. Ибн Баттута утверждает, что в 1347 г. Халил еще оставался при гератском дворе [Ибрагимов 1988: 87—92].

Таким образом, в описании Ибн Баттуты представлена достаточна крупная политическая фигура, испытавшая значительные победы, затем поражение и смирение при дворе его победителя. Казалось бы, описанные исторические коллизии должны пользоваться повышенным интересом и вниманием средневековых историков, но те молчат об этом. Такие тимуридские историки, как Шараф ад-Дин Йазди и Фасих Хавафи, ничего не знают о султани Халиле и утверждают, что в 1332—1333 гг. чагатайский трон перешел к дому Никудера в лице сына Ясавура Казан-хана, который правил до 1346—1347 гг. [Йазди 2004: 56; Фасих 1980: 57, 74]. В начале XX в. английский ученый С. Лэн-Пуль, хотя и называет свою реконструкцию предположительной и достаточно сомнительной, смещает приход к власти Казан-хана на 1343 г., а между ним и Тармаширином умещает четырех правителей из дома Дувы и одного потомка Угэдэя — Али-султана [Лэн-Пуль 1996: 462—463].

Однако, в свете вышеизложенного о караунасах и роде Никудера, красочный рассказ Ибн Баттуты выглядит вполне допустимым, хотя он с неизбежностью ведет к пересмотру сложившихся представлений о чагатайской истории [Арапов 2003]. Версия Ибн Баттуты сходится с версией Тимуридских историков в том, что в 1330-е — 1340-е гг. дом Никудера одержал верх над домом Дувы и на время захватил центральный чагатайский трон. Однако возникает вопрос датировки и стыковки с нумизматическими материалами. Нет монет, которые бы подтверждали факт правления султана Халила и Казан-хана с 733 г. х. В этот год и до 741 г. х. известны имена нескольких ханов, занимавших престол — Тармаширин, Дженкши, Есун-Тимур, Мухаммад, а также Алисултан. Возможно, что Ибн Баттута, который и в момент свержения Тармаширина, и спустя 10 лет находился вдали от Центральной Азии, не совсем удачно соединил факты, и под противником Халила должен фигурировать более поздний восточно-чагатайский хан. У Ибн Баттуты такие неточности встречаются. Вспомним, что могилу имама ал-Бухари, находящуюся под Самаркандом, он «посетил» в Бухаре.

Можно также предположить, что Халил и Казан действительно уже с 733 г. х. могли быть правителями в территориях караунасов, однако, в силу своего политического статуса, еще не имели прав на чеканку монет. Только захват домом Никудера центральной власти в Чагатайском улусе позволил начать им свой именной чекан. Как уже говорилось выше, рассказ Ибн Баттуты сходится с версией тимуридских историков в том, что в 1340-е гг. дом Никудера одержал верх над домом Дувы. Это явилось воплощением многолетних северных военно-политических амбиций караунасов-никудерийцев, заявленных еще Ясавуром. Если раньше Чагатаиды дома Дувы поддерживали Картов в борьбе с Ясавуром, то теперь Карты поддержали его сына Халила в борьбе с восточными Чагатаидами. Одной из причин потери информации о султани Халиле и Казан-хане мог быть урон, причиненный городской культуре Центральной Азии «великой чумой» 40—50-х гг. XIV в.

Амир Тимур, караунасы и никудерийцы. Вернемся снова к амиру Тимуру и обратим внимание на следующие факты:

1) В 1362 г., будучи полностью вытесненными из пределов Мавераннахра моголами, амиры Хусейн и Тимур ушли на юг за Гиндукуш в сторону Кандагара и нашли убежище у Тумана — старшего бека тысячи никудерийцев. Отсюда два амира со своими отрядами выступили как наемная военная сила в интересах правителя Систана [Йазди 2004: 18а, 18б].

2) Родственником главы никудерийцев Тумана был ближайший соратник Тимура — амир Ходжа Сейф ад-Дин. Это один из самых крупных военачальников Тимура. Ходжа Сейф ад-Дин возглавлял правый канбул в походах 1391 и 1395 гг. против Тохтамышша. В 1379—1380 гг. именно он был отправлен к Гийас ад-Дину Карту с требованием об участии в курултае в Самарканде. Он же

в 1382—1383 гг. вместе с амиром Ак-Бугой подавлял восстание гератцев [Фасих 1980: 102, 107]. В 1383—1384 гг. армия Ходжи Сейф ад-Дина взяла Кандагар и казнила его правителя — того же амира никудерийцев Тумана.

3) Другой ближайший соратник амира Тимура Чеку Барлас в самом начале правления в 1372 г. был назначен правителем Кабула, Кундуза и Баглана и тем самым получил командование над сформировавшейся здесь каранаусской армией из 3 туменов. После смерти в 1383—1384 гг. ему наследовал сын Джаханшах, который принял на себя командование каранаусами и в битвах при Тереке (1395) и Дели (1399) возглавлял левое крыло войска Тимура. Показательна также мобилизация военных сил в индийском походе 1398—1399 гг. Авангардный кул формировался в Кандагаре, а левое крыло — в Кабуле. Напомним также, что после смерти Мухаммад-Султана амир Тимур объявил своим преемником другого сына Джехангира — Пир-Мухаммад Кабули, уделом которого были центральные области современного Афганистана.

4) По сути, в первое десятилетие правления амира Тимура именно караунасы были его главной опорой. Помимо противоборства с джете Моголистана, Хорезмом и ордой Урус-хана, ему пришлось постоянно сталкиваться с сопротивлением главных племен Мавераннахра и их вождей. Один из наиболее крупных мятежей возглавил тот самый амир джалаирав Адил-шах Бахрам, который получил в жены дочь Тармаширина. В 1376 г. во время похода Тимура в Хорезм армия мятежных амиров даже осадила Самарканд. Все эти годы относительно спокойным для амира Тимура, его военным тылом (кроме удела барласов) был только юг — области караунасов. Большой военно-политической удачей Тимура было то, что ему удалось использовать потенциал караунасов для обретения лидерства в Чагатайском улусе в противостоянии с домом Дувы, базой которого стал Моголистан.

5) Теснейшая связь успехов амира Тимура с караунасами, похоже, подтверждает факт, содержащийся в его так называемой «Автобиографии», где сообщается, что уже в молодые годы он выдвинулся на службе у амира Казагана и даже получил в жены его внучку. К этому времени относится установление его контактов с Хусейном и другими амирами караунасов, а также, возможно, и первые походы на юг — за Гиндукуш.

Все эти обстоятельства фиксируют важное военно-политическое значение караунасов в государстве амира Тимура, а также существование некоторой политической преемственности по линии «Ясавур→Халил и Казан→Казаган и Хусейн→Тимур». Отсюда, видимо, и исходит матримонимальное решение амира Тимура в пользу Сарай-Мульк-Ханум. Похоже, что дом Никудера был уничтожен в период правления амира Казагана, но южные караунасы в области Гармсира и Кандагара сохранили за собой этноним «никудерийцы». Наиболее активную роль стали играть северные караунасы из областей Кабула, Баглана и Кундуза, во главе которых встал дом амира Казагана.

Султан Халил и Халил-ата. Обратим внимание еще на один момент. Борьба коалиции дома Никудера и Картов с восточными Чагатаидами была *газаватом* против неверных. Победа дома Никудера, видимо, и отражает окончательную победу мусульманской религиозной традиции в западной части Чагатайского улуса. В мусульманской литературе имеются также сведения о правлении в Мавераннахре султана-дервиша шейха Халил-ата. Этот шейх принял посвящение от шейха «яссавийя» Тадж-Ходжи и являлся одним из наставников Баха ад-Дина Накшбанда (1317—1389) [Тримингэм 1989: 58—59]. Можно допустить, что шейх Халил-ата и султан Халил — одно лицо.

В предполагаемые годы правления султана Халила в Мавераннахре (1341—1344 гг.) Баха ад-Дину Накшбанду было 24—27 лет, что хорошо соответствует возрасту ученичества. Возможно, и султан Герата, уважая сан шейха, дал ему, как побежденному правителю, шанс осуществить смирение в суфийском уединении. Обратим внимание, что из трех путешествий Баха ад-Дина Накшбанда два были связаны с хаджем, а одно — с посещением двора Му'изз ад-Дина Карта, который проявил интерес к его учению. Считается, что шейх Халил умер в 1347 г., что стыкуется с информацией Ибн Баттуты. Практически к тому же выводу о Халил-ата пришел и историк суфизма А. Д. Кныш, который уверенно отождествляет его с Казан-ханом (Кадан/Газан Ханом) [Кныш 2004: 250—251].

Поскольку одним из соратников султана Халила был глава священного рода термезских сеййидов — худавадзаде Ала ал-Мулк, то это также может быть признанием высокого духовного статуса Халила. Термезские сеййиды, похоже, имели особое почитание в среде караунасов. Тогда понятно, почему такое большое значение имела их поддержка для амира Тимура. Вспомним роль, которую сыграли худавадзаде Термеза на решающем курултае накануне свержения амира Хусейна. Видимо, не случайно и то, что вплотную к мавзолею отца Тимура в Шахрисябзе находится мавзолей «Гумбези Сеййидон», где находится несколько погребений термезских сеййидов.

Окончательного решения проблемы правления Халила и Казана еще нет. Здесь изложены только некоторые идеи реконструкции исторических событий, которые могут быть предложены к обсуждению. Они несколько меняют традиционные представления как о чагатайской истории, так и об основаниях, которые позволили прийти к власти амиру Тимуру. Многие моменты еще далеки от ясности. Необходимо сверить эти подходы с более широким кругом исторических источников и нумизматическими данными. Но целый ряд совпадений дают все же основания считать, что «истина где-то рядом».

Библиография

Источники

- Йазди Шаруфуддин Али*. Зафарнаме / Пер. со староузб. А. Ахмедова (Рукопись).
Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. III / Пер. с перс. А. К. Арндса. М.; Л., 1946.
Та`рих-и Систан («История Систана») / Пер., введ. и коммент. Л. П. Смирновой. М., 1974.
Фасих Ахмад ибн Джалал ад-дин Мухаммад Хавафи. Муджмал-и Фасихи (Фасихов свод) / Пер., пред., прим. и указат. Д. Ю. Юсуповой. Ташкент, 1980.

Исследования

- Арапов А. В.* «Чудеса» путешествия Ибн Баттуты по Средней Азии // Эхо истории. 2003. № 3—4.
Арапов А. В. Караунасы-никудерийцы и их роль в чагатайской истории // ОНУ. 2004. № 2—3.
Бартольд В. В. Сочинения. Т. 2. Ч. 2. М., 1964.
Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. М., 1988.
Кныш А. Д. Мусульманский мистицизм: краткая история. СПб, 2004.
Массон В. М., Ромодин В. А. История Афганистана. Т. I: С древнейших времен до начала XVI века. М., 1964.
Массон М. Е. Исторический этюд по нумизматике Джагатаидов (по поводу Таласского клада монет XIV в.) // ТСАГУ. НС. Вып. CXI. 1957.
Лен-Пуль С. Мусульманские династии // Абуль-Гази-Багадур-хан..., Иоакимф..., Лен-Пуль Стэнли... М.; Ташкент; Бишкек, 1996.
Петров П. Н. Смута 1340-х гг. в государстве Чагатаидов (нумизматические данные) // 11-ая Всероссийская нумизматическая конференция: ТД. СПб., 2003.
Петров П. Н., Кошевар В. Г. Клад № 5 и отдельные нумизматические находки из Киргизии // Нумизматика. 2003.
Синха Н. К., Банерджи А. Ч. История Индии. М., 1954.
Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе. М., 1989.

ЗАМЕТКА ПО НУМИЗМАТИКЕ ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
РУБЕЖА X-XI ВВ. (САМАНИДЫ, МА'МУНИДЫ, БУИДЫ, ЗИЙАРИДЫ) *

В 2001 г. в районе с. Билярска Алексеевского района Республики Татарстан археологической экспедицией Казанского университета был найден клад куфических монет рубежа X—XI вв. Ниже описаны некоторые из них.

1. Ма'муниды. 'Али б. Ма'мун. Ал-Джурджанийя, 389 г. х.

Л. с. В поле $\overline{\text{A B Z}} \text{A} / \overline{\text{B}} \text{ } \overline{\text{ji}} \overline{\text{A}} \overline{\text{a}} / \overline{\text{E}} \overline{\text{z}} \overline{\text{B}} \overline{\text{A}} \overline{\text{I}} \overline{\text{S}} / \overline{\text{z}} \overline{\text{B}} \overline{\text{X}} \overline{\text{E}} \overline{\text{A}} \overline{\text{U}} \overline{\text{E}} \overline{\text{A}} \overline{\text{U}}$, вверху — украшение. Во внутренней круговой легенде — выпускные сведения: $\overline{\text{O}} \overline{\text{B}} \overline{\text{A}} \overline{\text{R}} \overline{\text{E}}' \overline{\text{A}} \overline{\text{B}} \overline{\text{E}} \overline{\text{C}} \overline{\text{n}} \overline{\text{M}} \overline{\text{O}} \overline{\text{B}} \overline{\text{U}} \overline{\text{J}} \overline{\text{t}} \overline{\text{B}} \overline{\text{A}} \overline{\text{Q}} \overline{\text{f}} \overline{\text{A}} \overline{\text{M}} \overline{\text{E}} \overline{\text{J}} \overline{\text{y}} \overline{\text{E}} \overline{\text{A}} \overline{\text{N}} \overline{\text{I}}$. Внешняя круговая надпись: Коран.

О. с. В поле $\overline{\text{I}} \overline{\text{A}} \overline{\text{I}} \overline{\text{I}} \overline{\text{I}} \overline{\text{I}} \overline{\text{A}} \overline{\text{f}} \overline{\text{J}} \overline{\text{S}} / \overline{\text{f}} \overline{\text{I}} \overline{\text{n}} \overline{\text{A}} \overline{\text{J}} \overline{\text{I}} \overline{\text{z}} \overline{\text{U}} \overline{\text{A}} \overline{\text{E}} \overline{\text{B}} \overline{\text{I}} \overline{\text{E}} \overline{\text{B}} \overline{\text{X}} \overline{\text{E}} \overline{\text{A}} \overline{\text{z}} \overline{\text{I}} \overline{\text{m}} \overline{\text{I}} \overline{\text{f}} \overline{\text{A}} \overline{\text{S}}$, вверху $\overline{\text{z}} \overline{\text{A}} \overline{\text{S}}$, внизу — украшение, слева и справа — орнаментальные значки. Круговая надпись: Коран.

2. Ма'муниды. 'Али б. Ма'мун. Ал-Джурджанийя, 389 г. х.

Л. с. Как № 1.

О. с. В поле $\overline{\text{I}} \overline{\text{A}} \overline{\text{I}} \overline{\text{I}} \overline{\text{I}} \overline{\text{A}} \overline{\text{f}} \overline{\text{J}} \overline{\text{S}} / \overline{\text{f}} \overline{\text{I}} \overline{\text{n}} \overline{\text{A}} \overline{\text{J}} \overline{\text{I}} \overline{\text{z}} \overline{\text{U}} \overline{\text{A}} \overline{\text{E}} \overline{\text{B}} \overline{\text{I}} \overline{\text{E}} \overline{\text{B}} \overline{\text{X}} \overline{\text{E}} \overline{\text{A}} \overline{\text{z}} \overline{\text{I}} \overline{\text{m}} \overline{\text{I}} \overline{\text{f}} \overline{\text{A}} \overline{\text{S}}$. Вверху $\overline{\text{z}} \overline{\text{A}} \overline{\text{S}}$, внизу орнаментальный значок. Круговая надпись: Коран.

По-видимому, обломок такого же дирхема, но без имени 'Абд ал-Малика и указания года, опубликованный А. К. Марковым, содержится в Крешено-Барановском кладе, найденном в 1905 г. в 15 км от с. Билярска [Марков 1909: 88, № 20].

Легенды дирхемов отражают сложную, порой трагическую, обстановку на политической арене прикаспийских государств 380—390 гг. х. Монеты Ма'мунидов (хорезмшахов II династии) и Саманида 'Абд ал-Малика необычайно редки, а данный вариант, по-видимому, вообще неизвестен. Малолетний эмир Абу-л-Фаварис 'Абд ал-Малик правил всего несколько месяцев в 389 г. х. (февраль—октябрь 999 г.). При нем страна была фактически разделена между Караханидами и Газневидами. После пленения и гибели 'Абд ал-Малика его брат Абу Ибрахим Исма'ил ал-Мунтасир совершил несколько неудачных попыток вновь овладеть страной и был убит в 395 г. х. (1004) [Бартольд 1963: 327—332. Бейхаки 1962: 565—566. Григорьев 1841: 8]. В 999 г. правитель Хорезма, находившегося на границе Мавераннахра и Хорасана, возможно, опасаясь караханидского или газневидского завоевания, решил поместить на своих монетах имя эмира погибающего государства.

Роковую роль в истории последних лет существования саманидского государства сыграли сыновья правителя Хорасана и сипахсалара Саманидов Абу-л-Хасана б. Симджура (умер в 989 г.) — Абу 'Али и Абу-л-Касим, которые пытались не только завладеть Хорасаном, но и разделить государство Саманидов. После нескольких поражений от эмира Газны Себук-тегина и его сына Махмуда первый из братьев очутился в темнице Себук-тегина, где и умер в 997 г. Судьба второго сложнее. В 997 г. умер эмир Буидов Фахр ад-даула, и на престол взшел малолетний Маджд ад-даула. «Царство таких [людей], как Фахр ад-довле <...> попало в руки женщины и [ее] неспособного сына» [Бейхаки 1962: 58]. В это время в Джурджане находился Абу-л-Касим, который воспользовался такой ситуацией и осмелился чеканить дирхемы только от своего имени. В кладе имеются несколько таких дирхемов.

3. Симджуриды. 'Али б. Наср ад-даула, Абу-л-Касим. Джурджан ($\overline{\text{A B J U}}$), 387 г. х.

Л. с. В поле $\overline{\text{A}} \overline{\text{n}} \overline{\text{A}} \overline{\text{I}} \overline{\text{A}} / (\overline{\text{?}} \overline{\text{I}} \overline{\text{n}} \overline{\text{A}}) \overline{\text{J}} \overline{\text{I}} \overline{\text{z}} \overline{\text{U}} \overline{\text{A}} / \overline{\text{E}} \overline{\text{S}} \overline{\text{I}} \overline{\text{J}} \overline{\text{Q}} \overline{\text{U}} \overline{\text{E}} \overline{\text{Y}} \overline{\text{E}} / \overline{\text{E}} \overline{\text{A}} \overline{\text{U}} \overline{\text{E}} \overline{\text{A}} \overline{\text{U}}$. Круговая надпись: выпускные сведения.

О. с. В поле $\overline{\text{O}} \overline{\text{E}} \overline{\text{t}} \overline{\text{A}} \overline{\text{J}} \overline{\text{U}} \overline{\text{B}} \overline{\text{A}} \overline{\text{I}} \overline{\text{I}} \overline{\text{S}} / \overline{\text{E}} \overline{\text{A}} \overline{\text{C}} \overline{\text{O}} \overline{\text{N}} \overline{\text{X}} \overline{\text{E}} \overline{\text{A}} \overline{\text{z}} \overline{\text{I}} \overline{\text{m}} \overline{\text{I}} \overline{\text{f}} \overline{\text{A}} \overline{\text{S}}$, вверху $\overline{\text{E}} \overline{\text{A}}$. Круговая надпись: Коран.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 02-06-80205.

К АТТРИБУЦИИ ЗНАКОВ НА ДИРХЕМАХ САДЖИДОВ
282—288 ГГ. Х. ИЗ БАРДА'А И «АРМИНИИ»

По сведениям арабских источников Ибн ал-Асира и ат-Табари, в 276 г. х. халиф ал-Му'таид биллах (270—289 г. х.) назначил Мухаммада Абу-л-Саджа (276—288 г. х.) наместником Армении и «Азербайджана» (Ibn al-Athīr VII, 436; At-Tabaṭī III, 2137). Придя к власти, Саджиды начали чеканку своих монет в подвластных им городах [Defremery 1847: 409—446]. Эмиссия их монет была из золота и серебра и осуществлялась в наиболее крупных городах региона, таких как Марага, Урмия, Барда'а, монетных дворах «Арминия» и «Азербайджан» [Фасмер 1927: 3—32]. Медные монеты этой династии, чеканенные в рассматриваемый период, пока не известны.

Монет Мухаммада Абу-л-Саджа сохранилось мало. Его первыми монетами были дирхемы «Азербайджана» 282 г. х., на л. ст. которых под Калимой помещено «ал-Афшин», имя, под которым Мухаммад Абу-л-Садж появляется на своих монетах, а на об. ст. имеется имя тогдашнего халифа ал-Му'таид биллаха [Piisch 2001: 11—13] (фото 1). Монеты этого типа были также чеканены в 285 г. х. в Барда'а и Мараге. Однако с начала 80-х гг. х. 3-го в. х. в монетном деле Саджидов происходят изменения. Наряду с монетами, которые содержат имя «ал-Афшин», появляются дирхемы, на которых имя саджидского правителя целиком отсутствует. Были выпущены и так называемые «дирхемы чисто халифского типа», когда на монетах помещалось только имя халифа. Монеты такого типа были чеканены в Барда'а и «Арминии». При этом, исключая дирхемы «Арминии» 284—286 гг. х., на всех остальных дирхемах, выпущенных в Барда'а и «Арминии», на об. ст. под именем халифа встречается непонятный знак, напоминающий арабскую букву *ya*. В частности, она есть на дирхемах «Арминии» 286—287 гг. х. (фото 2, 3), а также на тех, что были чеканены в Барда'а в 282, 285, 286 и 288 гг. х. (фото 4—6). На дирхемах же Барда'а 287 г. х. на об. ст. вновь под именем халифа помещены два знака, очень похожие на арабские буквы *dal* и *ra* (фото 7). По крайней мере, такое чтение предлагал Е. А. Пахомов [1963: 150].

На первый взгляд, достаточно трудно объяснить значение этих букв и причины их появления на монетах халифского типа, выпущенных на монетных дворах Барда'а и «Арминии». Возможно, объяснение феномена кроется в исторических хрониках, в которых имеется детальное описание истории интересующего нас региона. Для выяснения природы и причин появления этих знаков нам пришлось обратиться к сведениям арабских и армянских авторов того времени. В первую очередь, нас интересуют сведения о возможных местных правителях в городах северных провинций саджидского эмирата. Речь идет о городах Двин и Барда'а, которые, несомненно, играли важную роль в политической, экономической и культурной жизни региона. Двин был столицей арабской провинции «Арминия» [Le Strange 1930: 182], в то время как Барда'а — Аррана (Ibn Naṭṭāq II, 337). Поскольку Мухаммад Абу-л-Садж сам вряд ли оставался в те годы в этих городах, а, по-видимому, в основном находился в Ардабиле или Мараге (по сведениям Табари Марага в те годы была столицей Саджидов) (At-Tabaṭī III, 2146), то несомненный интерес вызывает вопрос, кто мог управлять Барда'а и Двином в те годы от имени саджидского эмира.

Основными армянскими источниками того времени, детально иллюстрирующими историю Армении периода Саджидов, являются повествования Католикоса Йованнеса Драсханакертци и Т'овмы Арцруни, которые были современниками тех событий. В повествовании Драсханакертци, в контексте описания четвертого похода Мухаммада в Армению, имевшего место около 900 г., мы встречаем следующее сообщение: «Когда востикан увидел, что невозможно пленить царя Смбата... тогда он направился в Двин... Он оставил там своего сына Дивдада и **великого начальника евнухов** за себя, а сам поспешил вернуться в Атрпатакан» (Драсханакертци 1980: 186). Т'овма Арцруни дает нам более подробное сообщение об этом начальнике евнухов. Он говорит: «Грек по имени Йовсеп', который служил Афшину, был евнухом и сменил свою веру... Это был жестокий, свирепый человек, искусный вояка; он вселял в людей ужас, и именно его руками осуществлялась власть и воля Афшина». Чуть далее у того же Арцруни мы находим, что когда Афшин был в Мараге, Йовсеп' восстал против него, покинул Барда'а и направился в Сирию (Арцруни 1978: 249—250). Похожее сообщение имеется у Ибн ал-Асира: «Слуга Мухаммада Абу-л-Саджа, прозванный Васифом, отложился от Афшина, и, покинув Барду, отправился в Малатию, где попытался добиться от халифа ал-Му'таида биллаха назначения на должность правителя пограничной области ас-Сугур.



Однако халиф скоро узнал об истинных планах Васи́фа, послал армию против него и разбил его близ египетской границы». Эти события описаны у Ибн ал-Асира под 287 г. х. (Ibn al-Athīr VII, 497—498). У Мас'уди также встречается описание этого похода, но в отличие от Ибн ал-Асира и Табари, датируется 288 г. х. [Mas'ūdī VIII, 196—198]. И, наконец, Драсханакертци (1980: 187) сообщает: «Когда царь Смбат возвращался из Тайк'а, то встретил он великого начальника евнухов неподалеку от крепости Ани, что на берегах реки Ахурян, чтобы заключить с ним мир. Когда великий начальник евнухов увидел царя, то признался ему, что до сих пор не видел ему равного. И с тех пор стал начальник евнухов сподвижником, союзником и соратником царя... Приняв множество даров от Смбата, начальник евнухов отправился в город П'айтакаран. А сын Афшина остался в Двине».

Из этих источников становится видно, что великий начальник евнухов грек Йовсеп' играл важную роль в северных провинциях Саджидского эмирата. Тер-Гевондян, основываясь на данных источников, считает, что в те годы Йовсеп' был наместником Мухаммада в Барда'а [Тер-Гевондян 1965: 120]. Здесь следует выяснить, с какого времени Йовсеп' мог быть наместником Барды, и кто мог управлять Двином до назначения Дивдада управляющим городом в 900 г. Самое раннее упоминание о Васифе, что является арабской версией армянского имени Йовсеп', встречается в трудах Табари и Мас'уди. Последний сообщает, что после того, как в 278 г. х. умер ал-Муваффах Биллах, Мухаммад Абу-л-Садж и его раб Васиф стали играть важную роль в Халифате (Mas'ūdī VIII, 109). Как Мас'уди, так и Табари сообщают, что в 281 г. х. евнух Мухаммада Васиф, полное имя которого Абу 'Али Васиф ал-Хадим, воевал с Абу-дулафидом 'Умаром ибн 'Абд ал-'Азизом, владельцем Исфахана. Разбив того, Васиф вернулся к своему хозяину (Mas'ūdī VIII, 203; Tabarī III, 2104). У Драсханакертци мы встречаем описание третьего похода Саджидов в Армению. Историк говорит, что Афшин предпринял его сразу же после поражения Смбата от Шайбанида Ахмада ибн 'Исы около села Т'улх и его бегства в область Багреванд, что в Тайк'е. Затем востикан прошелся маршем через гавар Утик', вошел в Гугарк' и появился в Вананде, осадив крепость Карс, где скрывалась царица Армении с женами рамиков. Хранитель крепости Хасан Гндуни вскоре был вынужден открыть ворота, и Афшин вошел в город. Пленив царицу и жен князей, он с большим количеством добра удалился в Двин (Драсханакертци 1980: 179—180). Ценная информация об этом походе имеется у Мовсеса Каланкатваци. Он говорит: «Когда Великий ишхан Гагик Абумрван был убит своими же воинами, в тот же год надменный Тачик прибыл в Армению, и по его приказу выступил **евнух** из партавского дворца, чтобы двинуться в Армению. Когда же евнух достиг Армении, то царь Смбат сразу же бежал. Евнух захватил его крепость, пленил царицу, жен рамиков с их детьми, захватил множество святых книг, утвари и добра и все это унес с собой» (Каланкатваци 1860: 168).

Из сообщений Драсханакертци и Каланкатваци становится видно, что оба автора имели в виду одно и то же событие. Однако Каланкатваци конкретизирует полководца, лично предпринявшего поход в Армению и захватившего Карс. Под наименованием *Тачик* следует, по-видимому, понимать самого Мухаммада, по приказу которого *евнух* выступил из своего дворца в Барда'а и направился в Армению. Отсутствующая информация у Драсханакертци дополняется отрывком повествования Каланкатваци, из которого следует, что Йовсеп' захватил Карс и пленил царицу с женами рамиков. Из хроники же Драсханакертци узнаем, что пленные были затем уведены в Двин. Подтверждение сказанному находится далее у Драсханакертци, уже в контексте его упоминания о восстании Йовсеп'а против Мухаммада. Он сообщает, что на пути в Сирию Йовсеп', уже отложившись от Афшина, освободил из плена и вернул царю Смбату членов его семьи, которых Афшин полонил во время своего похода на Армению (Драсханакертци 1980: 188). Поскольку Гагик Абумрван был убит в 895 г., а поражение Смбата от Шайбанида Ахмада имело место в конце 895 — начале 896 гг., то поход Йовсеп'а на Карс следует датировать приблизительно тем же временем, т. е. около 283 г. х.

Соответственно Йовсеп' армянских и Васиф арабских источников мог находиться у власти в Барда'а и Двине уже с 283 г. х., а, принимая во внимание некоторые более ранние сведения о нем, встречающиеся у Мас'уди и Табари, возможно и до этого года. Сказанное фактически подтверждается нумизматическим материалом. Арабская буква *yaу*, изображенная на об. ст. халифских дирхемов, чеканенных в период 282—288 гг. х. в Барда'а и «Арминии», должна означать начальную букву имени Васиф. Ценное замечание Каланкатваци о походе Йовсеп'а против Смбата в 896 г./283 г. х., а также его другое свидетельство, что в те годы Йовсеп' находился в Барда'а, доказывает, что дирхемы Барда'а, выпущенные в 282, 285, 286 и 288 гг. х., были чеканены ее наместником Йовсеп'ом, который уже с 282 г. х. был правителем города. Буква *yaу* стала также изображаться на дирхемах «Арминии» 286 г. х., и это доказывает, что в том году Васиф также закрепился и в Двине. Поскольку имеются дирхемы «Арминии» 284—286 гг. х. без каких-либо знаков на них, то следует считать, что до того года власть Васифа на Двин не распространялась. Следовательно, переход города в руки Васифа имел место где-то в 286 г. х. (около 899 г.). Последний раз его инициал появляется на монетах «Арминии» в 287 г. х. Имеются дирхемы «Арминии» того же года, но уже без инициала Васифа, что подтверждает исторические сведения о том, что в том году Васиф восстал против Афшина и покинул Барда'а.

Инициал Васифа также не появляется на дирхемах Барда'а 287 г. х., что объясняется назначением в том году Дивдада наместником Двина и Барда'а Мухаммадом Абу-л-Саджем. В том году Дивдад выпустил монеты со своим инициалом — буквой *да*ль. Значение же буквы *ра*, прочитанной Пахомовым, пока не ясно. Инициал Дивдада появляется только на дирхемах 287 г. х., и это, с одной стороны, подтверждает информацию о том, что Дивдад был назначен правителем Двина именно в

том году, и в то же время свидетельствует, что его правление длилось только год. На дирхемах 288 г. х. из Барда'а и «Арминии» его инициалов нет. Напротив, на монетах Барда'а 288 г. х. вновь появляется инициал Васифа. Этот факт несколько непонятен, поскольку по Ибн ал-Асиру еще в 287 г. х. халиф разбил Васифа у египетской границы. Однако у Ибн ал-Асира и Табари имеется сообщение, что Васиф был пленен в битве и умер только в следующем году, в месяце Дзул-Хиджа 288 г. х. (Ibn al-Athīr VIII, 510; At-Tabarī III, 2205). Мас'уди же свидетельствует, что битва между Хаканом ал-Муфлихи, полководцем халифа, и Васифом произошла только в 288 г. х., а казнь его состоялась в Мухарраме 289 г. х. (Mas'ūdī VIII, 197—8, 202]. По Мас'уди, Васиф был привезен в кандалах в Багдад в Сафаре 288 г. х. (Mas'ūdī VIII, 202). В месяце Раби'а 288 г. х. умер Мухаммад Абу-л-Садж. Однако между смертью Афшина и казнью Васифа имеется интервал времени в девять месяцев. Соответственно хронологически приблизительное время чеканки таких монет может быть помещено между отбытием Дивдада из Двина в Ардабиль в связи со смертью его отца в месяце Раби'а 288 г. х. и смертью Васифа в самом начале следующего года. И если принять сведения Мас'уди более достоверными, то можно предположить, что ко времени чеканки дирхемов Барда'а 288 г. х. Васиф еще был жив и, возможно, наместник Барда'а, которого Васиф оставил за себя при отбытии в Сирию, мог осуществлять эмиссию таких монет с инициалом Васифа.

Таким образом, монеты халифского типа, чеканенные в Барда'а и «Арминии» в 282—288 гг. х., следует отнести к саджидским выпускам. Очевидно, в тот период саджидские правители и их наместники в областях не имели права помещать свое имя на монетах и использовали инициалы — как правило, начальные буквы своих имен — для обозначения владельца чекана данного монетного двора. Монетные материалы показывают, что в период 282—288 гг. х. в Барда'а монеты чеканил ее наместник, внук Йовсеп'. Судя по этим монетам, где-то в 286 г. х. в сфере его влияния оказался и Двин, до того года ему не принадлежавший. В 287 г. х. Двин и Барда'а перешли к новому наместнику, Дивдаду, сыну Мухаммада Абу-л-Саджа, который проставлял на своих монетах свой инициал в виде арабской буквы «даль». Монеты же Барда'а 288 г. х. в некоторой степени подтверждают сведения Мас'уди о том, что Васиф в том году еще был жив и был казнен, по-видимому, только в начале 289 г. х. Увы, монеты пока никак не объясняют значение буквы *pa*, которая встречается на тех же дирхемах Барда'а 287 г. х., чеканенных Дивдадом. Думается, дальнейшие исследования по истории северных провинций саджидского эмирата, а также новые нумизматические находки конца 3-го в. х. помогут вскоре раскрыть эту загадку.

Библиография

Источники

- Абу-л-Фида* // Арабские источники об Армении и сопредельных странах. Ереван, 1965 (на арм. яз.).
Арцруни, Т'овма и Аноним. История Васпураканского царства. Ереван, 1978 (на арм. яз.).
Драсханакертци, Йованнес. История Католикоса Йованнеса Драсханакертци. Нью-Йорк, 1980 (на арм. яз.).
Каланкатваци, Мовсес. История Алванка. Париж, 1860 (на арм. яз.).
Якут ал-Хамави // Арабские источники об Армении и сопредельных странах. Ереван, 1965 (на арм. яз.).
At-Tabarī, Abū Ja'far ibn Djarīr at-Tabarī. Tārīkh. Vol. I—X. Lugduni Batavorum, 1879—1901.
Ibn al-Athīr, Abū-l-Hasan ibn Muḥammad. Al-Kāmil fī at-Tārīkh. Vol. I—XII, Beyrouth, 1965—1966.
Ibn Haūqal, Abū al-Qāsim. Kitāb Sūra al-Ard. Lugduni Batavorum, 1967.
Mas'ūdī. Les Praries d'Or. Vol. VIII. Paris, 1874.

Исследования

- Пахомов Е. А.* Монеты Азербайджана. 2. Баку, 1963.
Тер-Гевондян А. Н. Арабские эмираты в Багратидской Армении. Ереван, 1965.
Фасмер Р. Р. О монетах Саджидов // ИООИАз. 1927. № 5.
Defremery C. Memoire sur la famille des Sājides // JA. Vol. IX, X. 1847.
Ilisch L. Ein Donativ des al-Afšīn Muḥammad ibn Abī-Sāg // Münzsammlung der Universität Tübingen. Jahresber. 2000 (2001).
Le Strange G. The Lands of Eastern Caliphate, Mesopotamia, Persia and Central Asia from the Moslem Conquest to the Time of Timur. Cambridge, 1930.

Таблица 1. Знаки и символы на саджидских монетах 282—322 гг. х.

Годы х.	Азербайджан	Ардабиль	Армения	Барда'а	Марага	Урмия
282	𐌒𐌔𐌕 [EQ]			Ü		
284			○			
285			○	Ü Ü ḥ 𐌒𐌔𐌕 EC	𐌒𐌔𐌕 EC	
286			○ Ü	Ü		
287			Ü 𐌒𐌔𐌕𐌔𐌕𐌔𐌕 ○	i ḥ		
288			𐌔	Ü		
289		○	○	○		
290				○		
291		○				
292				○		
293			𐌔	○		○
294		○		○		
295				○		
296					○	
297		○				
298		○	○	○		○
299		○	○	○		
300			○	○	○	
301			○			
304	𐌔		○			
316		○ 𐌔		○		
322				𐌔		

○ = Монеты, не содержащие знаков и символов

КОПЬЕ АЛМАМБЕТА

Вооружение средневековых кочевников среднеазиатских степей — киргизов и казахов — состояло из луков со стрелами, которые позднее заменили ружья, топоров, нагаек, булав, реже сабель. Особенно распространены были копья или пики. В разных источниках мы встречаем описание этого оружия. Пика у казахов и киргизов чаще всего изготовлялась из сосны или ели, иногда в эпосе в качестве материала называется дуб [Кабланды-Батыр 1975: 316]. Заготовки для пик привозились из мест, богатых этими деревьями, в первую очередь, из Сибири, затем они распространялись по всей степи, и поставки эти, таким образом, имели стратегическое значение.

Пика могла быть как с наконечником, так и без него. Наконечники отличались друг от друга в зависимости от места изготовления. А. Диваев [1896: 351, примеч. 4] пишет, что были наконечники пик двух видов — кокандские (четырёхгранные) и алдчин-джаббасские (кинжалообразные). Длина такого наконечника достигала 6—7 вершков (примерно 26—32 см). Копье Манаса в одноименном эпосе было восьмигранным [Манас 1988: 494]. Г. И. Семенюк упоминает трехгранные наконечники [1969: 266].

Длина соснового древка пики была различной. Разные авторы называют размеры от 150—195 см [Семенюк 1969: 266] до 5,5 м и более (8 аршин) [Диваев 1896: 351, примеч. 4], они были «длинные-предлинные», как свидетельствуют очевидцы [Абаза 1902: 6]. Однако слишком длинные древки пик сами по себе были очень слабыми: они легко переламывались не только от сабельного удара, но даже, по утверждениям казахов, от хорошего удара плетью [Мейер 1993: 291]. Несмотря на это, каждый казах, по словам очевидцев, стремился длиной своей пики перешеголять товарища [У-р, барон 1848: 181—182].

Так как такие длинные копья можно было легко вышибить из рук наездника, то казахи и киргизы постоянно упражнялись во владении ими [Арнольди 1885: 143; Небольсин 1856: 10]. Такие упражнения могли, например, происходить во время перекочевки. Вот как описывает увиденное купец Я. П. Жарков: «Два молодых парня отделились от других и понеслись по степи. Они перегоняют друг друга и выделывают разные фокусы-покусы долгими своими копьями; то бросают их кверху, то протягивают вперед, словно нападение какое учиняют, то, взявши за середку, вертят ими около руки. А лошади не боятся этих палок и по-прежнему гордо опережают друг друга». В ходе этих упражнений к молодым всадникам приблизился батыр. Он «стал обгонять первых двух молодцов, и то крутил своим копьем, то кидал его кверху и ловил на лету, то спускался с седла одной ногой, повисал на другом стремях и обхватывал шею своего воронка» [Жарков 1852: 40].

В боевых условиях Центральной Азии пика считалась наиболее эффективным оружием. Так, русские офицеры во время продвижения России в этот регион, неоднократно подчеркивали ее преимущества, по сравнению с теми же саблями, так как те не могли пробивать кольчуги, ватные халаты и шубы казахских воинов, вывернутые ворсом наружу. Поэтому казаки были вынуждены, отложив в сторону свои сабли и шашки, добывать у казахов в рукопашную их пики, или же пользоваться своими кинжалами [Описание действий Кавказских отрядов 1881: 14; Описание действий Оренбургского отряда 1881: 28].

Кроме описанных выше пик, древки которых изготавливались из сосны и ели, в эпических произведениях казахов и киргизов упоминаются и пики другого вида. В «Манасе», где речь идет о копье Алмамбета, мы читаем:

Искусным обточено резчиком,
С обшитым слоной шкурой древком,
С пестрой кисточкой под острием,
Окованное сталью кругом,
Чтобы меч не рассек его,
Чтоб сохранить навек его;
Звеневшее под легким щелчком,
Под комариным хоботком,
Пропитано желтым клеем насквозь,
Чтоб не было ломким оно,
Чтобы было стройней соломки оно,
В правой своей руке я (т. е. Алмамбет — С.Д.) держал

Сокровище китайской казны —
Отца моего, Азиз-хана, копьё...
[Манас 1946: 184]

Подобное же копьё самого главного героя эпоса, Манаса, в другом месте описывается так:

«Поговорим о копьё сейчас.
Самых сильных людей отобрав,
Чтобы срезали камыши,
Мощных верблюдов потом отобрав,
Чтобы возили камыши,
Копейщик, знавший дело свое,
Так разукрасил это копьё:
Камышами покрыл его,
Клеем снаружи скрепил его,
Жилом обкрутил его!»

[Манас 1946: 326; см. также: Манас 1988: 494;
Садыков 1984: 51]

Алмамбет, сподвижник Манаса, как полагают, был родом калмык или, что более вероятно, китаец. Копьё его, таким образом, по преданию связано своим происхождением с Китаем. Именно в стычках со своими восточными соседями киргизы и казахи в бою приобретали высоко ценимые ими копия подобной конструкции — по-видимому, именно поэтому одно из таких копий оказывается у Манаса. Текст эпоса, уходящий своими корнями вглубь веков, дает лишь общее представление о конструкции китайского копья. Однако традиции его изготовления и применения доживают до Нового времени, когда центральноазиатский регион попал под влияние России. Эти присоединенные во второй половине XIX в. районы, как и сопредельные территории, самым подробным образом изучались офицерами российского генерального штаба, прежде всего в военном отношении. Некоторые из этих офицеров, а также некоторые дипломатические чиновники оставили довольно подробные записки, в которых нашли отражение и предметы вооружения китайцев, в частности, их пики.

Известный российский востоковед, консул в Кашгаре Н. Ф. Петровский кратко сообщает, что эти пики клеились из узких полосок бамбука и были они как у пехотинцев, так и кавалеристов [Петровский 1886: 26]. Капитан Генштаба Галкин уточняет их размеры: у пехотинцев — 10 аршин (т. е. более 7 м), а у кавалеристов — 8 (5,5 м) [Галкин 1886: 146]. Примерно такие же размеры приводит со ссылкой на генерала Г. М. Фриде подполковник Бутаков [1883: 47], а также известный путешественник поручик Б. Л. Громбчевский [б. г.: 42].

Относительно конструкции китайских пик можно сказать следующее. Для приготовления древка пик брали длинные полосы разрезанного бамбука около полудюйма шириной и в четверть дюйма высотой и склеивали их между собой при помощи особой мастики или смолы. Полученную таким образом тонкую жердь обтягивали *матой* (толстой бумажной материей, другое название — *даба*, или *бязь*). После этого на жердь снова накладывали такие же полоски бамбука, приклеивая их к ней при помощи мастики и снова обматывали лентой из маты. Прodelывая ту же операцию несколько раз, получали древко необходимой толщины (около 1 вершка, т. е. примерно 4,5 см).

Таким образом, при склеивании между собой тонких пластинок преодолевалась внутренняя пустота бамбука, чем увеличивалась крепость пики. При обертывании снаружи матой и осмаливании достигалось максимальное соединение между собой отдельных слоев бамбуковых пластин. В результате, пики были очень легкие (вес их не превышал 10 фунтов, т. е. чуть более 4 кг), достаточно гибкие и неломкие. Кроме того, оклеенная подобным образом пика предохранялась от расклеивания при сырой или ненастной погоде. На один конец пики насаживали железный наконечник [Громбчевский б. г.: 42; Галкин 1886: 146], в пехотном варианте для упора в землю пика была снабжена железным наконечником и с другой стороны [Бутаков 1883: 47; Громбчевский б. г.: 42]. Делались пики в Кашгаре в особой мастерской, в помещении командующего войсками [Громбчевский б. г.: 42].

В трех местах, начиная сверху, на расстоянии одного аршина друг от друга по древку укрепляли пучки конских волос, окрашенных в красный цвет [Громбчевский б. г.: 42]. Кроме того, к ним прикрепляли куски шелковой материи в виде больших и малых флажков, на которых иногда изображались имена начальников или символические названия войск, например, «юанские тигры», «грозные воины Гань-су» и т. д., но, по большей части, эти флажки были без всяких знаков и надписей [Бутаков 1883: 47].

С точки зрения офицеров российской армии конца XIX в., это оружие, в сущности, представлялось довольно безвредным: оно было чересчур длинным, и китайские воины при фехтовании или в учебном бою брали его за конец так, что оно сильно гнулось. В это время, по мнению тех же офицеров, уже сами китайцы рассматривали их в основном в качестве декоративных элементов. При этом они ссылались на слова высших китайских начальников, которые говорили, что если в мирное время пехотные части выходили на парады и церемонии, имея 20 таких пик на 100 человек, а конница 4 значка на 50, то в военное время в походе пехота и конница использовали 2 знамени на 100 человек и 2 на 5 человек соответственно [Бутаков 1883: 47]. Впрочем, наши информаторы, по видимому, не учитывали того, что подобные значки были важнейшим способом сигнализации в китайских войсках.

Библиография

- Абаза К. К.* Завоевание Туркестана. СПб., 1902.
- Арнольди М.* В Закаспийском крае в 1877 году (Воспоминания офицера) // Военный сборник. 1885. № 9.
- Бутаков.* Вооруженные силы Китая и Японии // Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. 3. СПб., 1883.
- Галкин.* Современное состояние вооруженных сил в Восточном Туркестане // Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. 24. СПб., 1886.
- Громбчевский Б. Л.* Отчет о поездке в Кашгар и южную Кашгарию в 1885 году (на правах рукописи). Н. Маргелан, б. г.
- Диваев А.* Причитание // Туркестанские ведомости. 1896. № 83.
- [*Жарков Я. П.*] Записка Саратовского купца Я. П. Жаркова о киргизах // Библиотека для чтения. Т. СХV. 1852.
- Кабланды-Батыр.* Казахский героический эпос. М., 1975.
- Манас.* Киргизский эпос. Великий поход. М., 1946.
- Манас.* Киргизский героический эпос. Кн. 2. 1988
- Мейер К. А.* Путешествие по Джунгарской Киргизской степи. Дневник путешествия по Киргизской степи к Нор-Зайсану и Алтын-Тюбе в 1826 г. // Ледебур К. Ф., Бунге А. А., Мейер К. А. Путешествие по Алтайским горам и Джунгарской Киргизской степи. Новосибирск, 1993.
- Небольсин П.* Очерки торговли России со странами Средней Азии, Хивой, Бухарией и Коканом (со стороны Оренбургской линии). СПб., 1856.
- Описание действий Кавказских отрядов в хивинскую экспедицию 1873 г.* Ташкент, 1881.
- Описание действий Оренбургского отряда в Хивинскую экспедицию 1873 г.* Ташкент, 1881.
- [*Петровский Н. Ф.*] Отчет консула в Кашгаре Н. Петровского (1885 г.) // Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. 22. СПб., 1886.
- Семенюк Г. И.* Оружие, военная организация и военное искусство казахов в XVIII—XIX вв. // Вопросы военной истории России XVIII и первой половины XIX веков. М., 1969.
- Сыдыков А.* Героические мотивы в эпосе «Манас». Фрунзе, 1984.
- У-р, барон.* Четыре месяца в Киргизской степи // Отечественные записки. 1848. Ч. III. № 9—10.

НОВОПОКРОВСКИЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ НЕКРОПОЛЬ
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 1930 Г.)

В Чуйской долине в разные годы XX в. изучалось три крупных раннесредневековых некрополя — Новопокровский в 1930 г. [Виноградова 1930], Беловодский в 1978—1979 гг. [Мокрынин, Заурова 1979; Мокрынин 1982], Краснореченский в 1978—1984 гг. [Горячева 1989] — и достаточно большое количество разрозненных погребений и их мелких групп на нескольких городищах [Тереножкин 1935: 142; Бернштам 1941: 56; Чуйская долина 1950: 30—31; Кызласов 1959: 230—231, 233—235]. Однако информация о них зачастую сводится к упоминанию о факте исследования и констатации типов погребений. Относительным исключением из этого правила является работа В. Д. Горячевой об итогах изучения Краснореченского некрополя, правда, лишь его верхнего слоя [Горячева 1989].

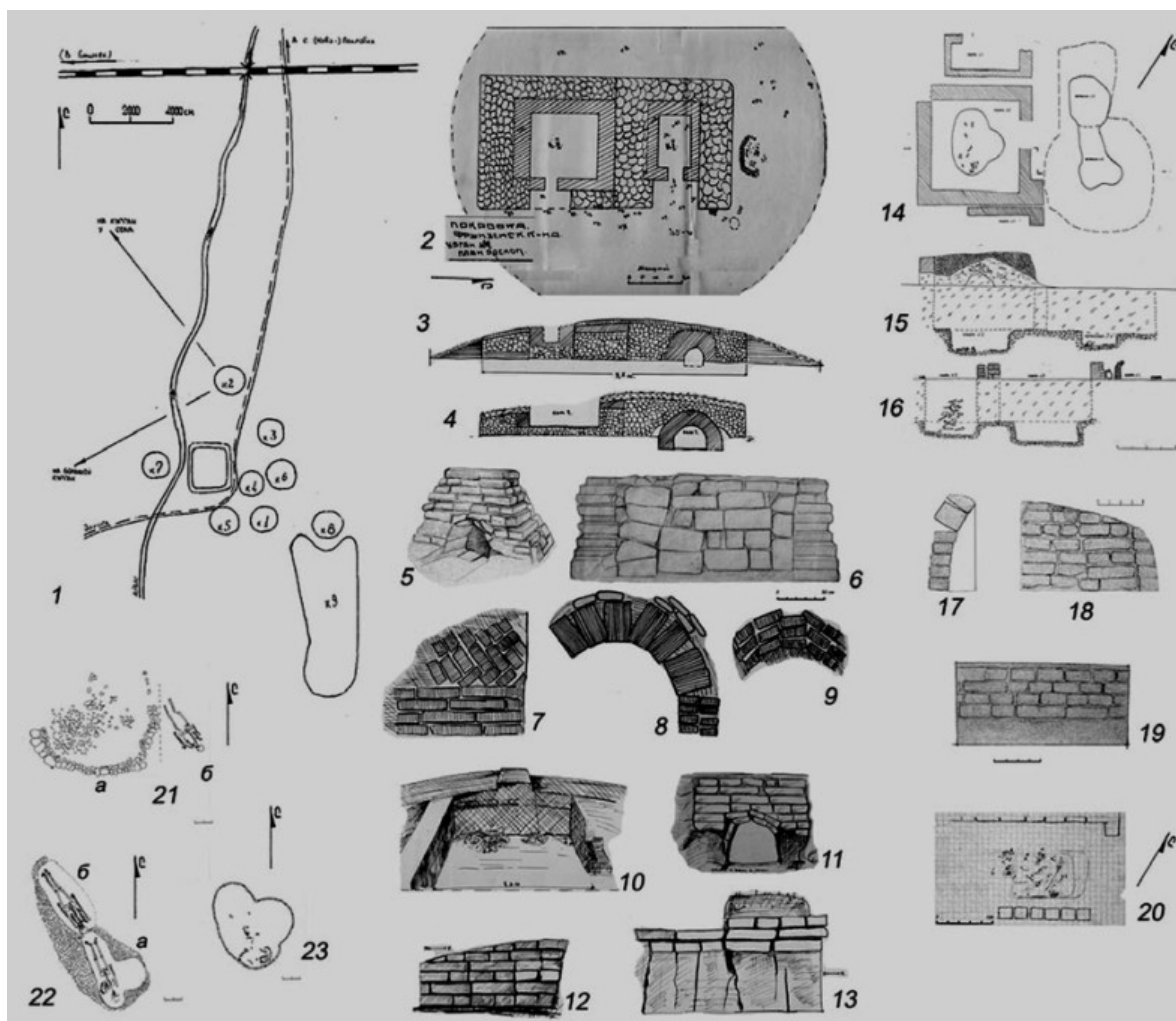
Ряд исследований, как мы уже отмечали [Кольченко 2002: 43—45], попросту выпал из историографии процесса. Настоящей работой мы хотели бы ввести в научный оборот основную информацию, имеющуюся в нашем распоряжении по Новопокровскому некрополю, раскопывавшемуся в 1930 г. Палеоэтнологической экспедицией АИМК (или «Экспедицией Преображенского») под руководством А. Виноградовой и М. В. Воеводского. Оригинальные материалы самих исследователей, озаглавленные «Черновые материалы археологических исследований сотрудника палеоэтнологической экспедиции Академии истории материальной культуры...» [Виноградова 1930] хранятся в рукописном фонде НАН КР. Все приводимые в настоящей публикации описания выполнены, исходя из текстовой и графической информации архивного документа, и потому постоянные отсылки к нему нами опускаются.

Некрополь был расположен у группы так называемых Новопокровских городищ [Кожемяко 1959: 107—111, 141—144], к югу от села, давшего ему свое название, в 50 м южнее железнодорожного полотна. Впрочем, от городищ он отстоит на значительном расстоянии — примерно в 1 км от 2-го Новопокровского городища и 1,5 км от 1-го Новопокровского, наибольшего в этой группе и имеющего т. н. «длинные стены». На момент фиксации он состоял из девяти «курганов», высотой в 1,0—1,4 м, диаметром 13—15 м (рис. 1). Эта группа курганов была вытянута с севера на юг и занимала площадь 59 × 30 м. Наши поиски местоположения некрополя в 2000—2001 гг. оказались тщетными. Не упоминалось о нем и в отчете об археологическом надзоре за строительством Большого Чуйского канала в 1941 г. [Чуйская долина 1950: 90—91], хотя проводимые работы должны были непосредственно его затронуть. Очевидно, он был уничтожен в результате хозяйственной деятельности вскоре после исследования 1930 г.

В 1930 г. раскопками были вскрыты два холма в 56 м друг от друга — на северной и южной оконечностях могильника. Вскрытие 1-го «кургана», судя по записям, осуществлялось М. В. Воеводским, а 2-го — А. Виноградовой. Следует заметить, что комплектность листов архивного документа неполная, в том числе практически отсутствует описание 2-ой камеры первого «кургана».

«Курган 1» был расположен в южной части некрополя («1 курганной группы» в отчете исследователей). Поверхность из лессовидного суглинка. Размеры на момент исследования: высота $h = 1,4$ м; диаметр $d = 13,5$ м. Вскрывалась центральная часть широкой траншеей, ориентированной С—Ю; западная и восточная полы на 3—3,5 м от края (по диаметру 3-В) остались не вскрытыми. В ходе раскопок под насыпью были выявлены две погребальные камеры и погребение под каменной неброской. Камеры примыкали друг к другу и были покрытые со всех сторон — в терминологии описаний М. В. Воеводского — «вальками», т. е., надо понимать, гувалюком, плотными комками глины. Общая длина сооружения — 9,75 м. Причем часть, занимаемая 1-ой камерой, имеет в длину 4,5 м, а 2-ой — 5,25 м; ширина — 5 м. Они ориентированы сторонами по странам света и обращены входом-лазом на восток. Перед входами-лазами в «вальковой» обкладке оставлены «выемки», что должно было создавать эффект открытого вестибюля. Авторами раскопок был сделан вывод, что, «вероятно, раньше сооружение не было покрыто землей и не представляло собою “кургана”».

Камеры поставлены с разного уровня. Так, камера 1 была поставлена с отметки, находящейся на 0,5 м ниже современного горизонта, а камера 2, напротив, приподнята над горизонтом на 0,2—0,3 м платформой из гувалюка (пахсы?). Пол в обеих камерах глинобитный.



Новопокровский некрополь (по рисункам и чертежам 1930 г.)

1 — план 1-ой курганный группы; 2—13 — конструкции кургана 1 (2 — план раскопа; 3 — разрез через входы камер; 4 — разрез по оси С-Ю; 5—9 — конструкции камеры 1: 5 — вид портала; 6 — вид с северной стороны без «вальков»; 7 — конструкция свода у западной стены, вид изнутри; 8 — разрез; 9 — центральная часть свода, вид снизу вверх; 10—13 — конструкции камеры 2: 10 — вид с юга; 11 — вид входа-лаза с наружной стороны; 12 — западная стена с внутренней стороны; 13 — северная стена с внутренней стороны); 14—20 — конструкции кургана 2 (14 — план конструкций кургана 2; 15 — разрез по оси СВ-ЮЗ; 16 — разрез по оси СЗ-ЮВ; 17 — разрез юго-восточной стены камеры 1; 18 — юго-западная стена камеры 1; 19 — стена камеры 2; 20 — план камеры 3 и погребальной ямы в ней); 21 — каменная наброска кургана 1 (а) и погребение под ней (б); 22 — грунтовые погребения 1 (а) и 2 (б) кургана 2; 23 — план погребальной ямы в сооружении 2 кургана 2

Внешние размеры (по чертежу) камеры 1 — без «вальковой» обкладки — 2×3 м, высота 1,5 м. Внутренние размеры — 1,5×2 м, высота — 1 м. Камера ориентирована В-З. Южная, восточная и западная стены сделаны целиком из сырцового кирпича; северная лишь в верхней своей части состоит из сырца, а нижняя ее часть из «вальков». Стены выложены толщиной в один кирпич (две линии по полкирпича), что составляет 50 см, в четыре ряда в высоту (50 см) кирпичом размерами 48×25×9,5 см. С уровня горизонта в нее вел вход-лаз в виде неправильного свода. Его ширина у подножья — 65 см, высота — 70 см. Перекрыта камера полуциркульным сводом, выложенным «наклонными отрезками». В его одной линии использовано 9 кирпичей. Причем авторы раскопок полагали, что по три крайних ряда относятся к стенам, а к потолку — лишь три центральных. Линия кирпичей свода, судя по чертежу, не была прямой: замковый кирпич располагался перпендикулярно продольным стенам; по три прилежащих к нему кирпича с каждой стороны сходились под углом примерно в 30°; по одному кирпичу крайних рядов, т. е. кирпичи, лежащие на стенах, располагались

под углом, близким к прямому по отношению к трем последующим кирпичам. Сверху свод облицовывался одним—двумя рядами кирпичей, уложенными на него плашмя.

Камера до самого потолка была заполнена мелкой, чрезвычайно рыхлой землей. Лишь в 30—40 см от пола она более плотная. Вдоль северной и южной стенок камеры на полу в кучах высотой до 40 см лежало большое количество человеческих костей. Кости все целые, расположены в беспорядке, очень плохой сохранности. У северной стенки их больше, и здесь поверх костей лежало пять черепов. У южной стенки в восточном и западном углу лежало четыре черепа. В средней части камеры костей почти не было. Большое количество обломков костей было найдено у прохода вне камеры. Кроме костей, «было найдено несколько небольших проволочных бронзовых колечек с наде-тыми бусами», а также фрагментированная керамика. К сожалению, более точного контекста обнаружения артефактов, как и их описания в имеющихся документах, не приводится.

Камера 2 располагалась южнее камеры 1. Она в плане подквадратной формы: внешние размеры (по чертежу) без «вальковой» обкладки — 3,8×3 м; внутренние размеры — 2,6×2,4 м. Максимальная сохранившаяся высота — 1,25 м. Стены разной толщины: северная стена выложена в два кирпича, что составляет 95 см; остальные возведены в один кирпич. Западная стена на всю сохранившуюся высоту — 50—75 см (7 рядов) — возведена из сырцового кирпича. По всей видимости, также целиком из кирпича была поставлена и южная стена, сохранившаяся в высоту на 0,5 м. Северная и восточная стены возведены иначе: три сохранившихся (?) ряда кирпичей уложены на пахсовую (?) стену толщиной 53—55 см. В кладке использовался кирпич размерами 42—43×22—23×9,5—10 см.

Вход-лаз в камеру был сводчатых очертаний. Его размеры: основание — 65 см; высота — 55 см. Он был смещен к южной стене — располагался в 40—50 см от нее. Основание лаза возвышалось над полом камеры примерно на 10 см. Этот участок восточной стены с входом-лазом — на 1,4—1,5 м от южной стены — был выложен кирпичами размером 49—50×23—24×9—10 см (сохранилось 7 рядов), поставленными на пахсовую (?) стену высотой около 30 см.

Перекрытие камеры не сохранилось. Авторы раскопа сочли, что «можно предполагать (судя по изгибу западной кирпичной стены), что оно тоже было сводчатым». Однако в наличных материалах мы не нашли достаточных оснований для такого утверждения и предпочитаем вопрос о перекрытии оставить открытым.

Текстовых описаний заполнения камеры и находок в ней в архивном документе фактически нет. Но на одном из наличных рисунков у северной стены изображены кучки костей при свободной центральной части. Это дает основания экстраполировать описания характера захоронений в камере 1 и на камеру 2. Единственным, относительно достоверно зафиксированным артефактом, найденным в камере 2, является «бронзовая серьга с двумя камнями — голубоватым и белым. Голубоватый — ограненный, белый — в виде шарика (жемчуг?)». Серьга была найдена «в 45 см от восточной стенки “склепа”... на глубине 85 см от поверхности кургана». Вышесказанное не означает, что других находок не было, однако документ не позволяет их идентифицировать.

В 25 см севернее обкладки 1-ой камеры на осевой линии было обнаружено человеческое погребение (1) под наброской из гальки по обряду труположения. Скелет находился почти на уровне горизонта. Ориентирован на ЮЮВ. Череп был повернут влево. Костяк лежал несколько наклонно; правая половина выше левой. Ноги и руки вытянуты. Пальцы левой руки выпрямлены. Около локтя левой руки зафиксирован глиняный сосуд с ручкой. Судя по рисунку (М 1:10), это была плоскодонная кружка с перегибом; тулово шаровидное, слегка уплощенное; горловина прямая, расширяющаяся раструбом; пропорции тулова и горловины 3:2. На правой половине таза и у правого бедра лежало по одному черепку. Ниже костяка оказался слой плотного суглинка; пробный раскоп ничего не обнаружил.

На рабочем плане раскопа «кургана 1» отмечено 59 точек нахождения артефактов и костных останков людей и, «изредка, животных». Из них названо в текстовой части лишь 15 находок и их групп. Причем во многих случаях одним словом: «черепки». Среди более информативных записей следует упомянуть об обнаружении у основания обкладки камеры 1 — с восточной стороны к северу от входа — лежавших в беспорядке костей ног и таза человека, а также донной части сосуда («днище») и группы «черепков», найденных в 50 см севернее. Можно предположить, что в данном случае речь идет о потревоженном погребении в сосуде (или его части), традиционно соотносимом с зороастрийской обрядностью.

Среди других названных в документе находок можно упомянуть о находках, отмеченных перед входом в камеру 1 на уровне пола или несколько выше: «плошке с ручкой», «глиняной

плошке», и еще обломках плошек, половине «чашечки», «двух фрагментах небольшого глиняного сосуда», «киздели из глины в виде “вазочки”».

«Курган 2» расположен в северной части группы, несколько отдаленно от остальных курганов. Насыпь кургана округлая, уплощенная посередине, с очень пологими склонами. Материал насыпи — лессовидный суглинок с редкими включениями гальки. Размеры: диаметр — 13,5—14 м, высота — 0,8 м. В ходе раскопок под насыпью были выявлены остатки трех погребальных сооружений из сырцового кирпича и пахсы, два грунтовых погребения с труположением, захоронения кучкой костей и в погребальных урнах. Остатки сырцовых сооружений находились на одной оси, ориентированной ЮВ-СЗ, на некотором расстоянии друг от друга. Фасадной, вероятно, являлась северо-восточная сторона. Впрочем, каких-либо четко обозначенных входных проемов не приведено ни на чертежах, ни в описаниях.

Северо-западное сооружение, обозначенное исследователями как «камера 1», было ориентировано длинной осью СВ-ЮЗ. Сооружено оно из сырцового кирпича. Размеры внутри камеры: длина — 2,4 м, ширина — 1 м, высота — до уровня начала свода — 0,6—0,7 м (потолок обвалился). Юго-восточная стена камеры, сохранившаяся лучше других, имела пять рядов кирпичей; два вышележащих ряда относились уже к своду. Каждый ряд кирпичей стены выступает один за другим, что делает стену несколько наклоненной внутрь. В юго-западной, торцевой стене сохранилось семь рядов кирпичей. Северо-западная стена сохранилась лишь у западного угла на 30 см в длину, а северо-восточная — у восточного угла на 60 см. Юго-восточная стена соединялась с юго-западной таким образом, что лишь один из угловых кирпичей юго-восточной стены — 4-го ряда (снизу) — лежал на угловом кирпиче 3-го ряда юго-западной. Остальные угловые кирпичи лишь соприкасались углами. Ширина стен не одинаковая. Северо-восточная стена вдвое шире остальных, так как она выложена в один кирпич, а остальные стены — в полкирпича. Относительно формата кирпича, в имеющихся данных существует некоторая путаница: в одном месте указываются стены в 36 и 18 см (т. е. кирпич 36×18 см), но двумя строками ниже говорится, что у кирпичей длина — около 50 см; ширина — 18—19 см; толщина — 9—10 см; в другом месте приведены промеры 8 кирпичей, средний формат которых 40—42×19—20×8—9 см, и лишь один из них несколько длиннее — 44×20×9 см. Можно предположить, что кирпичи длиной около 50 см применялись при выведении свода, а в кладке стен использовались кирпичи форматом 36×18—19×8—9 и 40—42×19—20×8—9 см.

От сводчатого (?) потолка сохранилось лишь два ряда кирпичей. Кирпичи, образующие его начало, стоят по отношению к кирпичам стены наклонно, опираясь на стену одним углом и поддерживаемые кусками засохшей глины, служившей цементирующим материалом. Кирпичи в своде ставятся по ширине, несколько наискось к длине кирпичей стены. Лишняя часть кирпича (наружная, которая выступала бы за пределы стены) откалывалась.

В южном углу, на разных уровнях до глубины около 70 см от верхней части сохранившегося свода, были зафиксированы остатки человеческих костяков. Кости принадлежали взрослым индивидам. Среди костей и их обломков находились два черепа. Возможно, к камере относились черепа, некоторые из которых были «удлиненными», и другие человеческие кости, найденные в 25 см к северо-западу от северо-западной разрушенной стены камеры. Все черепа принадлежали взрослым субъектам.

В самой камере предметов найдено не было. Но, как предполагали исследователи некрополя, к камере имел отношение сосуд с ручкой, найденный у края ее, на глубине 70 см. В 75 см на северо-восток от группы черепов в 70 см от поверхности кургана был найден обломок нижней челюсти барана, а на глубине 80 см — бронзовое колечко.

В 30—35 см к юго-востоку от камеры 1 располагалось второе сооружение, получившее в процессе раскопок наименование «центральная камера» и «камера 2». Она была образована четырьмя стенами, сделанными из сырцового кирпича. В архивном документе приведены промеры 12 кирпичей этого сооружения. Их усредненный формат — 47×22—23×8—10 см. Впрочем, указаны единичные экземпляры с размерами 33×19×13, 50×23×10, 52×33×20, 55×29×16 см, в чем мы склонны видеть применение в кладке небольших пахсовых блоков.

Внутри сооружение было квадратным, со сторонами в 3,3 м. Толщина северо-восточной стены — 37 см. У восточного угла она расширяется до 77 см. Судя по плану и разрезу, северо-восточная стена была не сплошной — в центральной части показан разрыв (без четких границ), заполненный «рыхлой глиной с песком и галькой», как бы вытекающими из камеры. Остальные стены толщиной 50 см. Причем юго-западная стена поставлена на слое глины (?) в 35—40 см. Северо-западная стена имела 5 рядов кирпичей в высоту, смещенных друг относительно друга так, что образовывала «заметный наклон внутрь камеры», давший повод раскопщикам предполагать нали-

чие сводчатого перекрытия, что представляется нам маловероятным. Внутренность камеры заполняла — по терминологии А. Виноградовой — «дувальная кладка». В средней части ее слой был относительно тонок — до 10 см, а по краям доходил до уровня основания стен. Под ней конусом выступал рыхлый суглинок с песком и галькой. На уровне горизонта в средней части сооружения рыхлый суглинок переходил в плотный, который на глубине около 2 м от вершины кургана сменялся слоем речной гальки с песком. В гальке была зафиксирована могильная яма — «сначала округлая, а несколько глубже — примыкающая к ней овальная». Обе ямы были заполнены смесью суглинка с галькой. Овальная яма была ориентирована по направлению ЮВ-СЗ. Ее длина — 2,1 м, ширина до границы с круглой ямой — 1,1 м и вместе с круглой — 1,7 м. Глубина дна от вершины кургана — 2,75 м (от уровня горизонта с одного конца — 1,8 м, с другого — 1,7 м). Дно полукруглой ямы, примыкавшей с северо-восточной стороны, было на 10 см выше дна овальной. Кроме того, овальная яма имела как бы подбой в северо-западной стене.

На уровне «пола» камеры, имевшего вид утрамбованного суглинка, была найдена в значительном количестве фрагментированная керамика. Глубже уровня горизонта встречались обломки человеческих костей (взрослого и ребенка), лежащие в беспорядке. Часть костей была местами окрашена в зеленоватый цвет. В этой связи, А. Виноградова писала: «Кусочки вещества, придававшего им эту окраску, были найдены среди костей (окрашенные в ярко зеленый цвет кусочки дерева или кожи)». Представляется, что причиной окраски костей были все же бронзовые изделия, рыхлые окислы которых раскопщики приняли за дерево или кожу.

В 10 см юго-восточнее камеры 2 при расчистке были выявлены остатки камеры 3. От самой камеры сохранилась лишь часть северо-западной стены шириной 25 см на протяжении 2,2 м. К ней примыкала часть северо-восточной стены толщиной (по замерам с чертежа) 48 см. Также сохранился один (нижний) ряд кирпичей размером примерно 20×20 см от юго-восточной стены. Ширина камеры 3 (по промеру с чертежа) — 1,75 м.

Под плотным слоем суглинка, на глубине 1—2,4 м от поверхности кургана, были зафиксированы человеческие кости и несколько обломков керамики. Причем с отметки 2 м от поверхности кургана концентрация костей резко возрастала. Кости, принадлежавшие нескольким человеческим индивидам, были перемешаны между собой. Среди костей взрослых были отмечены и детские.

Верхний слой содержал обломки разрозненных костей. В нижних слоях некоторые кости сохранили первоначальное положение. В связи с этим, А. Виноградова записала достаточно интересное наблюдение: «Расположение костей на глубине 2,4 м напоминает положение костей в погребальной урне. Но имеем ли мы здесь дело с расчлененными костяками, или же погребения были потревожены впоследствии — сказать трудно». Нам представляется более правильным второе предположение, с тем добавлением, что потревожены они были вскоре после погребения — связи полностью еще не успели разложиться.

В простенке между камерами 1 и 2, в 0,5 м от северо-восточного угла центрального сооружения была обнаружена погребальная урна 1. Она была установлена несколько наклонно и прислонена к стене камеры 2, в которой в месте соприкосновения был сделан небольшой затес. Это указывает, что урна поставлена после постройки кирпичных сооружений. Уровень дна сосуда находился на 45 см ниже уровня горизонта. Урна эта представляла собой довольно крупный сосуд с небольшими ушками на плечиках и без орнамента. Ее высота — около 52 см. Она была прикрыта жженым кирпичом размером 26×25,5×3 см. В ней находились человеческие кости, принадлежавшие взрослому индивиду. Относительное расположение костей указывает на искусственное расчленение костяка, сохранявшего в момент погребения сухожилия. Около сосуда лежали обломки костей, которые, вероятно, относились к оссуарию.

Погребальная урна 2 была найдена в 0,5 м от северо-западного угла центрального сооружения. Она была помещена в яме, вырытой в грунте. Граница ямы выявилась при расчистке земли вокруг урны; ее диаметр — около 70 см. Глубина дна ямы от поверхности кургана — 1,3 м (1 м от уровня горизонта). Эта урна представляла собой большой керамический сосуд с довольно узким горлом и отогнутым наружу венчиком (толщиной 2 см) с очень короткой горловиной. Размеры сосуда (урны): высота — 78 см; наибольший диаметр тулова — 60 см; диаметр горла — 24 см; диаметр закраины — 29 см. Отверстие сосуда было прикрыто двумя жжеными кирпичами, положенными рядом так, что граница между ними проходила через середину отверстия. Размеры кирпичей, прикрывавших отверстие урны — 26,5×16×1,8 и 26,5×15,5×2,5 см. Земли в урне не было. В сосуде находились кости от одного человеческого скелета, уложенные, как видимо, в определенном порядке. Расположение костей таково, что позволяет предполагать искусственную расчлененность костяка при по-

гребении. Скелет был положен в урну, по-видимому, с еще не сгнившими связками. Следовательно, делает вывод А. Виноградова, костяк расчленялся, когда связки были еще целы.

В 70 см к юго-востоку от погребальной урны 2, у стены камеры 2, ниже нижнего ряда Кирпичей, на глубине 1,1 м от вершины кургана были обнаружены кости человека, лежавшие кучкой без определенного порядка, получившие при раскопках обозначение «погребение 1». Кости принадлежали взрослому индивиду. Они не были поломаны, но разрушались при очистке вследствие плохой сохранности. Целостность и взаиморасположение отдельных костей вызвали у исследователей сомнения в разграблении погребения и послужили основой для предположения о преднамеренном расчленении костяка. При костях никаких предметов найдено не было.

В северо-восточной части насыпи на глубине 60 см от поверхности кургана было зафиксировано большое количество гальки — крупной и мелкой, залегающей сплошным слоем на площади 4,5×2,5 м. При снятии слоя гальки обнаружилось, что мощность его около 30 см. Под галькой в северо-восточной части лежало несколько фрагментов керамики. Ниже были вскрыты два погребения по обряду труположения. Одно из них, получившее при раскопках обозначение «погребение 2», расположено с восточной стороны от камеры 2. Его могильная яма в верхних горизонтах пробита в очень плотном лессовидном суглинке, и границ ее определить не удалось. Дно могильной ямы зафиксировано на глубине 2,8 м от вершины кургана (от уровня горизонта 2 м). Нижние горизонты — 60 см выше дна — пробиты в слое речной гальки с песком. В этом месте могильная яма прослеживается хорошо, будучи засыпанной плотным бурым суглинком с галькой. Она имеет выемку с юго-восточной стороны. Могильная яма вытянута с юга на север (с некоторым отклонением); углы закруглены; дно из речной гальки. Костяк лежал на спине, головой на юг. Ноги вытянуты, ступни врозь. Правая рука вытянута вдоль туловища, левая согнута в локте так, что пальцы лежат у левого сочленения с лопаткой. Череп совершенно разрушен. Предметов при нем никаких не найдено.

Непосредственно севернее погребения 2 было обнаружено погребение 3, лежащее на том же уровне. Его могильная яма ориентирована ЮЮВ-ССЗ. Глубина дна ямы (от вершины кургана) — 2,7 м. Могильная яма имеет неправильную форму. Ее размеры: длина — 1,75 м; наибольшая ширина — 1,4 м. Костяк лежал на спине, с вытянутыми руками и ногами, ориентированным на ЮЮВ (152°). Череп повернут несколько влево (на три четверти) и слегка книзу. Руки вытянуты вдоль бедер; кисти и пальцы выпрямлены. Ноги несколько сближены в коленях; голени лежат параллельно; стопы обращены пятками несколько внутрь, сводами наружу. Пальцы ног вытянуты. Позвоночник несколько изогнут, таз слегка скошен. Под черепом в височной области найдено незамкнутое бронзовое колечко (серьга?) и обрывок ткани. Других предметов при костяке не было.

Заканчивая описание кургана 2, остается лишь добавить, что при снятии курганной насыпи было зафиксировано большое количество артефактов — порядка 90 позиций полевого реестра. К сожалению, полностью отсутствуют описания находок — констатируется лишь наименование, материал, глубина обнаружения. Позволим себе акцентировать внимание на нахождении трех предметов: бронзового колечка в северной части кургана на глубине 60 см от вершины; небольшого керамического сосуда у западного угла камеры 2, восточнее погребальной урны 2, на глубине 135 см; фрагментов стеклянного сосуда, найденных в южной части кургана на глубине 60 см.

Каких-либо обобщений, атрибуций и датировок авторов раскопок документ не содержит. Возможно ли сделать таковые с позиций современных знаний, не имея непосредственного знакомства со вскрытыми объектами и артефактами, найденными в них? Думается, что возможно.

Итак, всего было вскрыто два холма, т. е. менее 25% из всего комплекса объектов, которые дали хотя и близкий, но имеющий специфические особенности материал. В одном случае — это две примыкающие друг к другу погребальные конструкции (камеры) из сырцового кирпича, под обкладкой из пахсы или гуваляка, с погребениями кучек костей, а также погребение по обряду труположения на дневной поверхности под каменной наброской с четкими границами. В другом — это три погребальные конструкции из сырца: камера с погребениями кучек костей (?); ограда с грунтовым погребением (яма? катакомба?), забутованная сырцом; камера с грунтовым погребением в одной яме нескольких индивидов, и погребениями вне сырцовых сооружений — кучками костей, в сосудах, грунтовых по обряду труположения (в яме? катакомбе?) с наброской без четких границ из камня. И если, исходя из многочисленных аналогий, можно утверждать об относительной одновременности сырцовых конструкций, погребений кучками костей и в сосудах, то синхронность им погребений по обряду труположения требует дополнительной аргументации. Для грунтового погребения в кургане 1 таковой может служить изображенная у локтевого сустава кружка с перегибом раннесредневековых пропорций. Шаткость этого аргумента в недостаточном масштабе (1:20) изображения. Для грунтовых погребений под каменной наброской в кургане 2

синхронность может быть принята, исходя из близости ориентации и абриса контуров могильных ям у них и грунтового погребения в ограде («камера 2»).

Все пять конструкций из сырца сооружались не одновременно. На это указывают разный формат кирпича, неодинаковый уровень оснований сооружений в кургане 1, различная ориентировка построек под разными курганами. С другой стороны, толщина стен и характер кладки достаточно близки между собой; размеры курганов и мощность напластований над конструкциями также практически идентичны. Это, в свою очередь, позволяет предполагать относительно короткий отрезок времени их сооружения — представляется, что порядка 100 лет. Причем строения под курганом 1 (правда, лишь на интуитивном уровне) нами воспринимаются более основательными, традиционными, древними.

Исходя из формата сырцовых кирпичей, определить время сооружения построек в настоящее время невозможно — эволюция размеров сырца для Чуйской долины не разработана. Факт нахождения жженных кирпичей, прикрывавших погребальные урны, дает некоторые основания относить погребения в них, а значит, и под курганом 2 в целом, к периоду не ранее IX в. Широко же в строительную практику региона Чуйской долины жженный кирпич входит в караханидское время — X—XII вв., несколько ранее его использование отмечено для вымостки полов в отдельных строениях.

Другой находкой, подтверждающей предложенную дату, являются фрагменты стеклянного сосуда, найденного в кургане 2. Относительно широкое распространение изделий из стекла, связанное с их местным производством, для Чуйской долины приходится на те же X—XII вв. Впрочем, импорты могли попадать туда ранее, а особенности найденных фрагментов, к сожалению, не приводятся.

Керамика в данном случае почти не работает на датировку ввиду недостаточности данных о ней. разве что погребальная урна 1, исходя из ее мелкомасштабного изображения на разрезе и описания, может быть сопоставлена с аналогичным костехранилищем, найденным в наусе 2 верхнего яруса некрополя Краснореченского городища. Заметим, что его верхний ярус отнесен к середине VIII — середине X вв. [Горячева 1989: 89, 92].

Ввиду ограниченности объема настоящей работы, мы воздержимся от проведения аналогий нашим сырцовым конструкциям. Завершая же эту статью, заметим, что вышеизложенный материал актуализирует вопрос о классификации и типологии раннесредневековых некрополей оседлого населения как в границах Чуйской долины Кыргызстана, так и шире — в центральноазиатском ареале, а также проблему соотношения категорий «некрополь» и «городище» в средневековой археологии Центральной Азии.

Библиография

- Бернштам А. Н.* Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941.
- Виноградова А.* Черновые материалы археологических исследований в р-не с. Покровки Фрунзенского кантона КССР. 1930 // Рукописный фонд Центра манасоведения и художественной культуры Кыргызстана НАН КР. Дело № 9.
- Горячева В. Д.* Наусы некрополя Краснореченского городища // Красная речка и Бурана. Фрунзе, 1989.
- Кожемяко П. Н.* Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины. Фрунзе, 1959.
- Кольченко В. А.* Археологические исследования в Кыргызстане в 1928—1930 гг. (работы М. П. Грязнова, М. В. Воеводского, А. И. Тереножкина и Палеоэтнологической экспедиции ГАИМК) // Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Михаила Петровича Грязнова. Кн. 1. СПб., 2002.
- Кызласов Л. Р.* Археологические исследования на городище Ак-Бешим в 1953—1954 гг. // ТКАЭЭ. Т. II. 1959.
- Мокрынин В. П.* Беловодский некрополь // ПК. Вып. 6. 1982.
- Мокрынин В. П., Заурова Е. З.* Исследования городища Беловодская крепость // АО. 1978. М., 1979.
- Тереножкин А. И.* Археологические разведки по долине р. Чу в 1929 году // ПИДО. 1935. № 5—6.
- Чуйская долина.* Труды Семиреченской археологической экспедиции. М.; Л., 1950 (МИА. № 14).

ХРОНОГРАММЫ НА МОНЕТАХ МОНГОЛЬСКИХ УЛУСОВ XIII В.

В 1990 г. в одной из московских частных коллекций мною были выявлены два серебряных дирхема г. Алматы (совр. Алматы, бывшая столица Казахстана), по всем признакам относящиеся к чагатайскому чекану последней четверти XIII в. — периода так называемой реформы Мас'удбека¹. На одном из этих дирхемов название монетного двора утрачено, но по всем остальным признакам, прежде всего по наличию характерной «местной» тамги, он имеет то же происхождение [Настич 2000: 257—266]. Сенсационный сам по себе (до тех пор не было известно о самом существовании монет Алматы), данный факт интересен еще и тем, что даты на этих дирхемах указаны нетрадиционным способом — не словами по-арабски, как это обычно делалось в первые века хиджры и позднее, и не цифрами, как принято до сих пор, а в виде буквенной хронограммы (араб. *ta'riḫ*).

В арабском алфавите каждая буква имеет свое числовое значение, возрастающее в традиционном порядке **f** **VIA** *абджад*, восходящем к финикийскому, т. е. буква **A** *алиф* соответствует числу 1, **L** *бā* — 2, **X** *джīm* — 3, **e** *дāl* — 4 и т. д., поэтому любое слово или группа слов могут использоваться для передачи определенного числа. В средние века на Востоке было распространено и высоко ценилось искусство составления та'рихов — осмысленных фраз, в которых числовое значение составлявших их букв несло в себе зашифрованные таким образом числа годов по эре хиджры. Обычно та'рихи встречаются в рукописных сочинениях исторического или биографического содержания, но отмечены и случаи (впрочем, в целом весьма редкие) использования их для датировки монет. В частности, один из самых ярких примеров «смысловой» хронограммы — арабская фраза **ع****ب****ا****ل****ب****ا** *«Благо в том, что произошло»* на серебряных и золотых монетах Надиршаха Афшара (1736—1747), где сумма числовых значений всех 12 букв составляет 1148 — дату интронизации шаха в качестве верховного правителя Ирана [Rabino di Borgomale 1945: 10, 51—52].

Однако гораздо чаще — а в нумизматике монгольской эпохи, пожалуй, исключительно — встречается другой, более простой способ буквенной датировки. Например, бесспорная хронограмма помещена на одном из ранних типов хорезмийских дирхемов джучидского времени, где год, обозначенный в надписи без точек в виде **ج** **nY** **Ēm** [Федоров-Давыдов 1960: 180, табл. I, тип 2], раскрывается как 669 (читай: **ج** **na**; числовые значения букв: **d** = 600, **p** = 60, **ç** = 9; соответствует 1270—1271 г.). Сам Г. А. Федоров-Давыдов отметил хронографический характер приведенной графемы, но в описании этот монетный тип оставлен «без года»: вероятно, автор публикации счел 669 г. х. слишком ранней датой для монет этой эмиссии.

Совсем недавно выявлено еще несколько типов монет Хорезма и Сарая XIII в., даты на которых обозначены хронограммами — в виде слов (**l** **ā** = 656, **l** **ā** = 676, **l** **ā** = 677) [Лебедев 1998: 66—68] или буквами в раздельном начертании (**ç** **x** **d** = 699) [Гумаюнов 2004: 156, фототабл. 5, № 6].

На обеих монетах Алматы те части надписи, в которых должны быть указаны годы их чеканки, сохранились полностью: на экземпляре с названием **l** **na** *Алмату*, это — **f** **°Y** **Ēm**, на другом экземпляре — **ĒY** **Ēm** (оба без диакритики). Поначалу эти фрагменты были приняты за искаженные **o** **ā** или **o** **ā** «пять», которые могли расшифровываться с пропуском десятков — [**o** **ā** **n** **Ē**... **Ē**] **o** **ā** / **o** **ā** **ō** **m** «год [6]×5», как, собственно, и предполагалось до недавнего времени [Настич 1993:

¹ Фасмер 1929: 31; Массон 1928: 289; Жуков 1959: 176—207; 1961: 307—312; Давидович 1955: 173; 1956: 100; 1972; 1979: 241—260; о чекане монетного двора **o**, **ā** *Йанги* см.: Настич 1983: 149—150.

50—51]; т. е. в нашем случае это мог бы быть 675, 685 или 695 г. х., либо, хотя и с гораздо меньшей вероятностью, [𐰽𐰺𐰍 𐰽𐰺𐰍] 𐰽𐰺𐰍 / 𐰽𐰺𐰍 «год [70]5». Однако четкие графические различия в последних знаках этих графем заставили пересмотреть эту версию, и сейчас они без сомнений воспринимаются как **полные даты** — указания двух соседних годов, обозначенных набором арабских букв по системе *абджад*. Иначе говоря, в графемах **ф·У** и **ЕУ** тоже заключены хронограммы, в которых, как и на дирхемах Сарая и Хорезма, вместо непунктированного $\dot{\text{d}} = 8$ следует видеть **d** (с точкой) = 600, что дает соответственно 684 г. х. (1285—1286) и 685 г. х. (1286—1287). Такая датировка согласуется со всеми имеющимися данными о реформе Мас'уд-бека: размер и вес монет, их внешний облик, основные детали и стиль оформления, изображение общегосударственной и местной тамги, а также известные даты чеканки монет других городов [ср.: Давидович 1972: 84—95].

Наконец, совсем недавно стало известно о существовании дирхемов ильханской чеканки, выпущенных при Аргун-хане (1284—1291) на монетном дворе *Джурджан*, дата на которых тоже обозначена непунктированными и слегка искаженными буквами по *абджаду*, но не в связанном, а в раздельном начертании — **к² d** = 687/1288 г. или **ф² d** = соотв. 689/1290 г. Об одном экземпляре из своей коллекции мне сообщил Х. Расмуссен (Дания) в личном письме по электронной почте от 07.06.2004 г. с приложением фотоскана монеты (расшифровка хронограммы моя. — *В. Н.*). На то, что наше чтение верно в целом, а дата 689 более вероятна в частности, указывает факт существования джурджанских монет соседнего, 690 г. х. с очень близким, в некоторых деталях почти до идеентичности, обликом лицевой стороны, но датированных традиционным «словесным» способом — [𐰽𐰺𐰍 𐰽𐰺𐰍] 𐰽𐰺𐰍 (неопубликованный экз. из частной коллекции, г. Москва).

Очевидно, теперь можно говорить не об отдельных фактах, а о достаточно регулярной новации, которая проявилась в монетном деле монгольских государств последней трети XIII в.: сначала в джучидском Поволжье, потом в Хорезме (где по каким-то причинам не получила дальнейшего продолжения), еще позднее — на северо-восточных рубежах Чагатайского улуса и, наконец, попала на монеты прикаспийского города при хулагуидском хане Аргуне. Учитывая общее число таких находок и темпы их прироста в последнее время, можно ожидать, что со временем обнаружатся и другие типы джучидских, чагатаидских и хулагуидских монет, датированных подобным образом.

Библиография

- Гумаюнов С. В. Нумизматический материал XIII-XIV вв. Саратовская область. Ч. 2. Монетные сборы с Кондаковского I селища // ДПДР. Вып. V. НС. Т. 4. 2004.
- Давидович Е. А. Неопубликованные монетные находки на территории Узбекистана // ТИИА АН Узбекской ССР. Вып. 7. Ташкент, 1955.
- Давидович Е. А. Монетные находки на территории Таджикистана в 1954 году // ТАН Таджикской ССР. Т. 37. 1956.
- Давидович Е. А. Денежное хозяйство Средней Азии после монгольского завоевания и реформа Мас'уд-бека (XIII в.). М., 1972.
- Давидович Е. А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана. М., 1979.
- Жуков В. Д. Дукентский клад монет (Предварительное сообщение) // ИМКУ. Вып. 1. 1959.
- Жуков В. Д. Чекан Кендже и анэпиграфические монеты в Дукентском кладе (Дополнение к предварительному сообщению) // ИМКУ. Вып. 2. 1961.
- Лебедев В. П. Новые данные о раннем чекане Хорезма и Сарая // Шестая Всероссийская нумизматическая конференция (Санкт-Петербург 20—25 апреля 1998 г.): ТД и сообщений. СПб., 1998.
- Массон М. Е. Монетные находки в Средней Азии 1917—1927 гг. // Известия Средне-Азиатского комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы. Вып. III. Ташкент, 1928.
- Настич В. Н. Алматы — неизвестный монетный двор XIII в. // Бартольдские чтения. Год десятый: ТД и сообщений. М., 1993.
- Настич В. Н. Алматы — монетный двор XIII века // ДПДР. Вып. III. НС. Т. II. 2000.
- Настич В. Н. Новые факты из истории монетного производства и денежного обращения в Южном Казахстане // Средневековая городская культура Казахстана и Средней Азии. Алма-Ата, 1983.
- Фасмер Р. Р. Список монетных находок // СГАИМК. Вып. 2. 1929.
- Федоров-Давыдов Г. А. Нумизматика Хорезма золотоордынского периода // НЭ. Т. 5. 1960.
- Rabino di Borgomale H. L. Coins, Medals, and Seals of the Shâhs of Irân, 1500-1941. Hertford, 1945 (reprint: Dallas, 1973).

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТИГЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ В СРЕДНЕЙ
АЗИИ И ГЛАВА «О ЖЕЛЕЗЕ» МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ТРАКТАТА БИРУНИ:
ОПЫТ СОПОСТАВЛЕНИЯ

Вклад А. М. Беленицкого в российскую и мировую востоковедческую науку трудно переоценить. Одним из аспектов его научной деятельности была работа над письменными источниками. Так, в 1937 г. в Хайдарабаде в Индии было издано написанное по-арабски сочинение знаменитого хорезмийского ученого Мухаммеда Ибн Ахмеда Абу-Рейхана Бируни «Книга собрания (очерков) о познании драгоценных камней», созданное в 1048 г. По мнению исследователей, это сочинение в целом является лучшей средневековой работой по минералогии не только Востока, но и Запада [Allan 2000: 10]. Вместе с тем, имелись и другие списки данного сочинения, которые были введены в научный оборот [Validi 1936: 19—37].

А. М. Беленицкий в 1950 г. опубликовал часть из сочинения Бируни на русском языке, а именно главу «О железе» [Беленицкий 1950]. Рукопись этого перевода до публикации была предоставлена Б. А. Колчину, который в собственной статье того же издания опубликовал свою интерпретацию текста Бируни [Колчин 1950]. Позже, в 1963 г. А. М. Беленицкий опубликовал полный перевод на русский язык сочинения Бируни со стихотворными иллюстрациями и прекрасными исчерпывающими комментариями к переводу [Беленицкий 1963].

Текст из Бируни обычно сопоставляют с текстом более раннего автора — ал-Кинди. Происходит это потому, что текст ал-Кинди насчитывает более 25 видов мечей тогдашнего мира — с Востока (Йемена, Сирии, Египта, Багдада, Куфы, Фарса, Хорасана, Индии, Цейлона) и из Европы (бывшие в обиходе у франков и руссов, т. н. «слиманские мечи»). По мнению А. З. Валиди, информация ал-Кинди о технике производства стали, в том числе дамасской, не столь значительна, тогда как в его классификации мечей по качеству железа и стали содержатся данные о свойствах отдельных видов клинков, говорится о недостатках некоторых сортов железа, даются инструкции по ковке плохого железа и сообщается о методе медленного и осторожного закаливания. Бируни же больше интересуется видами железа и стали для мечей, и потому два средневековых авторитета хорошо дополняют друг друга [Validi 1936: 20—21].

Приведем отрывки из обоих текстов в переводе А. М. Беленицкого. Сначала — из трактата о мечах ал-Кинди:

Железо, из которого куют мечи, распадается на две главные группы: находимое в рудниках (природное) и нерудничное (искусственное). Природное железо, в свою очередь, распадается на два вида: *сабуркани* — мужское, твердое, поддающееся по своей природе закалке, и *нармахани* — женское, которое по своей природе не поддается закалке. Мечи изготавливаются из каждого вида железа в отдельности. Имеется вид железа, сложенный из первых двух видов. Таким образом, имеется три вида «природных» мечей: из *сабуркана*, *нармахана* и один — из смеси двух первых. Для каждого вида имеется отдельный шлифовальный камень.

[Беленицкий 1963: 482]

Теперь — то, что пишет Бируни:

Природное железо делится на две разновидности: одно — мягкое — *нарманан*, и называется оно женским; другое — твердое — *шабуркан*, и называется оно мужским из-за твердости, оно принимает закалку и не поддается и малому сгибанию. *Нармахан*, в свою очередь, делится на два вида: один из них — собственно *нармахан*, другой — жидкость (букв.: вода) его, вытекающая из него при плавке и очистке от камней, называется она *даус*...

[Беленицкий 1963: 231]

Попробуем рассмотреть самую последнюю версию по толкованию вышеизложенного текста в западной литературе, предложенную Дж. Алланом, который, кроме ал-Кинди, использует также тексты других средневековых авторов (Псевдо-Аристотеля, ал-Казвини, ал-Димашки, Туси, Кашани, Фахр-и Мудаббира, ал-Турсуси) [Allan 1979: 71—76]. Он полагает, что предложить определения *шабуркан* и *нармахан*, которые согласовывались бы со всеми приведенными текстами, невозможно. Вместе с тем, необходимо и желательно сделать такую попытку. Кажущаяся невозможность возникает из того факта, что средневековые ученые работали путем наблюдений, а не с помощью тщательных химических анализов и формул реакций. Как результат, разные авторы называли одни

и те же вещества различными названиями или различные вещества одним названием. Таким образом, распознавание одного вещества или состава неизбежно затруднено множеством загрязнений, случайно смешанных с ним. Однако несколько общих, характерных черт, несомненно, можно выделить. Например, похоже, что термины «добываемое» и «недобываемое», как они использовались в текстах, не означают прямо то, что говорят.

Сталь называли «недобываемым» железом, наверное, потому, что она есть результат довольно тщательного процесса производства железа и произведена из железосодержащей руды. Следовательно, название «добываемое» не подразумевает естественно залегающее железо. Даже если железо залегает в довольно чистом виде в метеоритах, число метеоритов, пригодных для использования в средневековье, должно было быть очень ограниченным. Впрочем, в одном своем специфическом примере Бируни имеет в виду метеоритное железо, употребляя при этом термин *шабуркан*. Слово «добываемое», как кажется, означает, что железо опознаваемо как железо: другими словами, оно извлекалось из руды, но не было превращено в сталь.

Данные о том, что *шабуркан* и *нармахан* — виды железа, которые получены изобретенными человеком средствами из железной руды, в самом деле, имеются в нашем распоряжении. Есть два хорошо известных вида, которые, как будто, являются эквивалентами приведенным выше названиям — сварочная сталь, или ковкая мягкая сталь (*wrought iron*) и чугун (*cast iron*). Вместе с тем, если в общем это может быть верно, то в некоторых деталях это соответствие не корректно. Так, ал-Кинди утверждает, что *шабуркан* можно закаливать, а *нармахан* — нет. Это может означать, что чугун нельзя закаливать, в то время как закаливание имеет эффект для кричного железа. В действительности же, неверно переводить *шабуркан* как чугун, а *нармахан* как кричное железо. Более правильно сказать, что *шабуркан* в одних случаях обозначает метеоритное железо, а в других — чугун, но очень часто этот термин прилагается к твердой разновидности железа. Слово *нармахан* иногда можно перевести как кричное железо, однако чаще оно означает просто мягкий тип железа.

По мнению Дж. Аллана, особую важность представляет попытка идентификации еще одного термина, который встречается в тексте Бируни — *дус* (*dus*). Оно соотносится со словом *husai* ал-Казвини, описанным как полученное из железа, когда последнее расплавлено. Тогда оно должно означать *iron dross* («окалина», «шлак»), и из комментария ал-Бируни можно предположить, что эта «вода» и достигает жидкого состояния из железа. Однако дальнейшее описание ал-Бируни как будто бы говорит в пользу того, что *дус* в действительности означает чугун (правда, А. З. Валиди думал, что данный термин может быть переведен как *spiegeleisen* — «зеркальное железо» или «железная руда»). В процессе плавки железной руды, если железо пребывает в тесном контакте с топливом в течение длительного времени, оно станет высокоуглеродистым. Его точка плавления падает, и оно может политься из печи как чугун. В печи останется материал для производства кричного железа, т. е. продукция, которая есть основная цель процесса. Идея такой интерпретации *дус* вытекает из его белизны (предположительно, в разломе) и его твердости. Дж. Аллан оговаривается, что, если предложенное им объяснение термина *дус* верно, то это — важнейший результат в исследовании производства высокоуглеродистой тигельной стали.

Обращаясь к третьему виду черных металлов, часто упоминаемых в средневековых источниках, — *фулад* — этот исследователь высказывает убежденность, что проблема его интерпретации уже не столь затруднительна. Дж. Аллан приводит данные из трактата ал-Кинди, который говорит следующее: «Что касается железа, которое не добывается, это есть *фулад*, что означает «очищенный». Оно делается из добываемого железа, бросая в него что-то в процессе плавки, что очищает его, делает мягкость силой, так что оно становится очень гибким, допускает закалку, и *дамаск* его является в нем». Ал-Кинди затем описывает множество различных мечей, изготовленных из *фулад*. Дж. Аллан считает, что *фулад*, очевидно, означает сталь, и описание ал-Тарсуси дает различные рецепты производства *фулад*, используемые для изготовления мечей в исламском мире. По описанию ал-Тарсуси, железо смешивали с небольшим количеством марганца и различных кусочков растений или растительных веществ в закрытых тиглях, позволяли охлаждаться, и конечный продукт (*baida*) использовали как основу для мечей. Схожий метод описал ал-Бируни в главе «О железе», однако автор указывает на ал-Кинди как на свой источник. В действительности же, само описание производства *фулад* у Бируни представляет совсем другой процесс. Согласно его информации, «смесь *нармахан* и его воды, которая является веществом, которое течет, когда *нармахан* очищен, есть *фулад*. Территория Герата особенно отмечена этим, и он называется *baidat* (“яйца”) за счет его формы. Яйца длинные и с круглым дном, в соответствии с формой тигля, и из них выделяют индийские и другие мечи». Разнообразие *фулад* заключается в процессах, когда *нармахан* и его вода плавятся поровну в тигле и соединяются так, что нельзя отличить один от другого. В этом

случае он пригоден для напильников и подобного. Или оба не смешиваются полностью, но, напротив, отделяются в их частях один от другого. Каждая часть из их двух цветов выглядит отдельно. Это называется *дамаск* (*firind*). Дж. Аллан делает вывод, что под «водой» *нармахан* Бируни должен подразумевать *дус*, который он в другом месте описывает как «воду» железа. И если предположение о том, что *дус* означает чугун, правильно, то описание производства *фулад* у Бируни предполагает, что это был состав железа с очень низким содержанием углерода (*нармахан*) и железа с очень высоким содержанием углерода (чугун) для получения стали с промежуточным содержанием углерода.

Дополним толкование Дж. Аллана более ранней интерпретацией А. З. Валиди [Validi 1936: 19—22], который полагает, что Бируни говорит не только о мягком железе (*нормахан*) и стали (*шабуркан*), но и о третьем компоненте (*даус*). По его мнению, последний — это не шлак, а, насколько можно заключить из описаний Бируни, либо содержащее магний зеркальное (полированное) железо, либо угольное вещество и магний, содержащие более сырое железо. Производство чугунной или высокоуглеродистой стали происходило, согласно Бируни, таким образом, что мягкое железо и зеркальное железо равномерно расплавлялось в тигле и полностью смешивалось друг с другом — это была обычная закаленная сталь, из которой изготавливались, например, напильники. Если компоненты объединялись путем определенной обработки, когда несколько сортов железа (в кристаллах) оставались отдельными, — это дамасская сталь. Овальные слитки для производства дамасских клинков использовали в Северной Индии, во время Бируни их производили чаще всего в Герате и оттуда экспортировали в Северную Индию. В Мультаке из этих стальных слитков ковали мечи. Бируни дает список дамасских сталей и краткое описание их свойств и достоинств. У него есть рецепт кузнеца из Дамаска, Маджида ибн Али, по производству дамасских клинков из мягкого железа, что достигалось посредством применения кислот.

Прежде чем рассмотреть интерпретацию Б. А. Колчина, остановимся на комментарии к термину *дус*, который дал А. М. Беленицкий: «*Дус*, или *даус* — в “Сайдане” о нем говорится следующее: “Мухаммед ибн Закрийа говорит: врачи называют *дус* воду, которую получают из железа (*джаухар ахан*). Из его сортов лучший — *ираки*, а затем — *парси*”. Автор “Ан-Нухаби” говорит: “*Дус* — это минерал (букв.: камень), цвет которого крайне белый. Когда его разламывают, то он (в разломе) для глаз кажется блестящим, подобно от-шлифованному мечу. Когда же проходит некоторое время, он, под воздействием влаги, становится темным, и блеск его исчезает...”. Согласно Видеману, это — персидское слово, означающее воду, в которую опускают раскаленный кусок железа. По Ибн Байтару, это железный шлак...» [Беленицкий 1963: 482—483].

Версия Б. А. Колчина, которую, кстати, оставил без внимания Дж. Аллан, сводится к следующему: «Самая лучшая сталь, которую когда-либо делали, есть, без сомнения, булат. ... для получения булатной стали необходимо, чтобы слиток металла был, по возможности, неоднороден, и температура проковки слитка была бы как можно ниже...». Бируни очень четко разделяет весь черный металл (т. е. железо и его сплавы с углеродом) на четыре вида — кричное железо — «нармохан», сырцовую сталь, уклад — «шабуркан», чугун — «дус» и тигельную сталь — «фулад». Кричное железо и сырцовая сталь получают непосредственно в домнице. Этот процесс, очевидно, считался таким простым и ясным, что Бируни на описании его даже не останавливается.

Белый чугун («белый с серебристым оттенком») образуется в домнице при восстановлении железа; имея температуру плавления намного ниже, чем железо (около 1200—1300°), он вытекает из нее раньше, чем оканчивается процесс образования железной крицы — «жидкость его, вытекающая из него при плавке и очистке...». Здесь чугун, вероятнее всего, является еще отходом сыродутного процесса, но при этом уже широко используется при дальнейшей переработке железа в тигельную сталь. Применяли ли в Средней Азии чугун как литейный материал на изделия — мы сказать не можем, но следует заметить, что в Китае чугун как литейный материал применялся уже с VI в. до н. э. Имеются сведения, правда, без указания источника, что во II в. до н. э. жители Ферганы научились от беглецов из китайских войск лить чугун.

Тигельная сталь — «фулад» — в зависимости от способов получения разделяется на три вида. Первые два получают от сплавления в тигле кричного железа и чугуна — «соединение нармохана и его воды... дает сталь». Отличаются они один от другого температурным режимом плавления металлов, в силу чего получают и разные качества стали:

1) Первый вид стали получается при режиме полного расплавления в тигле железа и чугуна. Для этого требуется температура не менее 1500—1600°. В результате образуется сталь с довольно однородным строением. Бируни указывает, что такая сталь употребляется для напильников и подобных инструментов.

2) Второй вид стали получается при режиме с более низкой температурой, и сплавляемые металлы доходят только до полужидкого состояния. Бируни пишет: «...и между ними (т. е. железом и чугуном) не происходит полного смешивания. Отдельные частицы их располагаются вперемешку, но (при этом) каждая ясно видна по особому оттенку». Этот сорт тигельной стали и является собственно булатом. Получающийся на стали естественный узор по-арабски называется «фаринд», по-персидски — «джаухар».

3) Третий вид стали получается от сплавления в тигле кричного железа — «лошадиных подков и гвоздей, сделанных из нармохана», с веществами, содержащими углеродистые соединения. Металл доводится до полного плавления и затем медленно охлаждается. Из этого сорта стали также изготавливают мечи.

Для достижения столь высокой температуры, при которой стало бы плавиться железо (не менее 1550°), необходима технически совершенная печь. О ее устройстве у Бируни мы находим только косвенные сведения: «...первым делом при выплавке стали (“ал-фулад”) является подготовка печи», и затем: «...поставить его (железо) в печь, заполнить ее углем и раздуть ее румейскими мехами, каждый из которых (приводится в действие) обеими ногами». Перед нами вырисовывается печь, очень похожая на описанную Масальским, применявшуюся персами в начале XIX в. для тех же надобностей. Это была кубической формы камера с несколькими соплами (до четырех), закрытыми стенками и регулируемым отверстием для тяги наверху. В нее насыпали немного угля, затем, так же как у Бируни, ставили и закрепляли тигель, засыпали доверху углем и начинали дуть. Очень важно отметить наличие в Средней Азии в эпоху Бируни мощных воздуходувных мехов с ножным приводом, что позволяло металлургам того времени достигать в печах и горнах очень высоких температур» [Колчин 1950: 145—151].

Как мы видим, версии Дж. Аллана и Б. А. Колчина совпадают. Однако они были предложены в период, когда еще не были известны археологические материалы по тигельному производству высококачественных сталей из Средней Азии. Между тем, за истекший период появились новые материалы по черной тигельной металлургии на городище Ахсикет в Фергане, где были раскопаны мастерские и производственные отвалы металлургов IX—XII вв., в которых были обнаружены полуфабрикаты железа, огнеупорные сосуды-тигли для плавки металла, а также различные предметы из черного металла. Изучение этих находок помогло охарактеризовать производственную деятельность ремесленников железопроизводящей промышленности в крупном средневековом городском центре Средней Азии, удаленном от пунктов железорудного сырья и топлива [Папахристу 1985]. Сталеплавильные тигли были обнаружены на городище Пап, в слоях X—XI вв., и на городище Кува, в слоях XI—XII вв. На территории Узбекистана известны также находки тиглей в слоях XII — начала XIII вв. в Старом Термезе. Близкие материалы, связанные с производством высококачественных тигельных сталей и датированные в пределах VIII—X вв., были обнаружены туркменскими и английскими археологами на городище Гяур-Кала в Старом Мерве (Юго-Восточный Туркменистан). Фрагменты тиглей найдены и в средневековой кузнечной мастерской X—XI вв. на одном из городищ в районе современного города Алматы в Северо-Восточном Семиречье. В научной литературе появились также сведения о находках тиглей на территории Восточного Туркестана, которые, по-видимому, относятся к эпохе Тан.

Тигли, связываемые исследователями с производством стали «wootz», были обнаружены в индийском культурном ареале. Прежде всего, это материалы из Мавалгахи (Шри Ланка), которые представлены как археологическими свидетельствами второй половины I тыс. н. э., так и этнографическими данными XIX в. Соответствующие данные этнографии того же столетия происходят из Конасамудрам и Гаттихосахалли в Индии. Уже была предпринята попытка типологической классификации тиглей и сопоставления физических характеристик высокоогнеупорных сосудов из Средней Азии и Индийского субконтинента [см.: Craddock 1998: 41—66; 2003: 231—257; Rehren, Papachristou 2003: 393—404].

Дж. Аллан и Б. Гилмур попытались сопоставить новые материалы с данными из сочинения Бируни [Allan, Gilmour 2000: 46—69]. Однако они не учли в достаточной степени находки из Ферганы, что, в свою очередь, побуждает к продолжению работы по сопоставлению имеющихся на сегодняшний день археологических данных по тигельному производству восточных высококачественных сталей из Средней Азии с информацией из главы «О железе» минералогического трактата Бируни.

Библиография

- Беленицкий А. М.* Глава «О железе» минералогического трактата Бируни // КСИИМК. Вып. 33. 1950.
- [*Беленицкий А. М.*] *Бируни* Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия) / Пер. А. М. Беленицкого. М.; Л., 1963.
- Колчин Б. А.* Несколько замечаний к главе «О железе» минералогического трактата Бируни // КСИИМК. Вып. 33. 1950.
- Папахристу О. А.* Черная металлургия Северной Ферганы (По материалам археологического исследования городища Ахсикет IX — начала XIII вв.): АКД. М., 1985.
- Allan J.* Persian Metal Technology, 700—1300 A.D. Oxford, 1979.
- Allan J.* Al-Biruni on glaze // Blue of Samatkand. International Symposium on Revitalization of Traditional Ceramic Techniques in Central Asia. UNESCO. Tashkent, 2000.
- Allan J., Gilmour B.* Persian Steel — The Tanavoli Collection. Oxford, 2000.
- Craddock P. T.* New light on the production of crucible steel in Asia // Bulletin of the Metals Museum. 29. 1998.
- Craddock P. T.* Cast Iron, Fined Iron, Crucible Steel: Liquid Iron in the Ancient World // Mining and Metal Production (Through the Ages). London, 2003.
- Rehren Th., Papachristou O.* Similar like white and black: a Comparison of Steel-making Crucibles from Central Asia and the Indian Subcontinent // Man and Mining — Mensch und Bergbau. Studies in honour of Gerd Weisgerber on occasion of his 65th birthday. Bochum, 2003.
- Validi A. Z.* Die Schwerter der Germanen, nach arabischen Berichten des 9.—11. Jahrhunderts // ZDMG. 15. 1936.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЖУЧИДСКИХ МОНЕТ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Находки монет Золотой Орды на территории Средней Азии характерны, главным образом, для территории Хорезма, однако встречаются и за его пределами. Монеты с именами джучидских султанов выпускались также и в Южном Казахстане, однако рассмотрение денежного обращения на этой территории не входит в цель данной работы. По нашим данным, в Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане было выявлено не менее 21 клада с джучидскими монетами (Кыргызстан и Таджикистан — по два клада, Туркменистан и Узбекистан — по семь, точное место находки еще трех кладов неясно). Это небольшое количество кладов, если сравнивать денежное обращение в европейской части Золотой Орды. Так, только в Поволжье выявлено несколько сотен кладов с золотоордынскими монетами. Небольшое количество среднеазиатских кладов, содержащих джучидские монеты, можно объяснить менее тщательной фиксацией монетных находок на территории этого региона.

Среди среднеазиатских кладов три содержали золотые монеты, два — золотые и серебряные, только серебряные монеты были в составе тринадцати кладов, в одном комплексе были представлены как медные, так и серебряные монеты, а три клада состояли исключительно из медных монет. Наибольшее количество кладов (8) относится ко времени «великой замятни» (1360—1370-е гг.). Следующее место занимают клады (6), сокрытые при хане Токтамыше (1380—1390-е гг.). К XV в. относятся три клада. Более редки комплексы, в которых самая поздняя монета относится ко времени Токты (один клад), Узбека и Джанибека (два клада). Клады с джучидскими монетами, сокрытые в Средней Азии в XIII в., мне не известны. Джучидские монеты были также встречены в одном гораздо более позднем монетном комплексе. Монеты XIII в. в среднеазиатских кладах XIV в., как и в Поволжье, практически отсутствуют (имеются только редкие исключения). П. Н. Петров, детально рассмотрев клад времени Токты, пришел к заключению, что в Хорезме реформирование монетной системы было проведено в 706 г. х. (старое серебро при этом было запрещено) [Петров 2003]. В Хорезме, по мнению Г. А. Федорова-Давыдова, происходила смена дотоктамышевских монет монетами, чеканенными в 1380-е гг. Такой вывод был сделан на основании кладов из Куния-Ургенча (1980 и 1989 гг.) [Федоров-Давыдов 2003: 53]. Но надо отметить, что в одном из этих кладов все же присутствуют монеты времени «великой замятни», а в двух кладах с джучидскими монетами, сокрытых в конце XIV в. (из Термеза 1928 г. и из Таджикистана), имеются монеты более раннего времени (при этом в термезском кладе представлено много монет предшественников Токтамышя).

Г. А. Федоров-Давыдов [2003: 58—59] указывал на отсутствие в джучидском Хорезме кладов XV в., предполагая, что «после поражения Едигея в Хорезме в 815 г. х. отчеканенные партии монет Шади-бека и Пулада и других Джучидов были сразу сокрыты и частично вывезены из Хорезма». Этот вывод, сделанный на основании одного клада из Таджикистана, нуждается в уточнении, так как недавно большой клад монет начала XV в. был встречен на территории Хорезма.

В кладах XV в. в очень небольшом количестве представлен чекан XIV в. В Средней Азии встречаются весьма крупные клады с джучидскими монетами. Например, клад из Таджикистана (Ленинабад, 1965 г.) содержал около 4000 экз. серебряных монет XV в., а клад, сокрытый в XV в. где-то на севере Туркменистана, содержал более 1000 экз. Интересно, что самые крупные среднеазиатские клады относятся к началу XV в. Редкость единичных монетных находок конца XIV — начала XV вв. и наличие кладов этого времени, иногда очень больших, сближает денежное обращение европейской части Золотой Орды и золотоордынского Хорезма. В городах в это время оно угасает, а крупные капиталы, связанные с торговой деятельностью, формируются активно.

В составе кладов с джучидскими монетами преобладает чекан Хорезма (девять комплексов). В нескольких кладах центры чеканки джучидских монет остались неясными. При преобладании монет хорезмийской чеканки были встречены также монеты, чеканенные в европейской части Золотой Орды (Сарай ал-Махруса, Сарай ал-Джедид, Гюлистан, Хаджи-Тархан, Орда, Улус ал-Джедид). В кладах с джучидскими монетами имеются также и иноземные монеты. В обоих кладах из Киргизии джучидские монеты составляют небольшое число, а доминируют монеты Джагатаидов. В пяти кладах представлены как джучидские монеты, так и монеты Тимура и его преемников. Два клада особенно интересны по своему составу. В кладе из Термеза 1928 г. имеются монеты четырех династий (Джучиды, Музаффариды, Джелаириды, Тимур). По мнению Г. А. Федорова-Давыдова, этот

клад в своей хорезмийской части был накоплен в Хорезме в 1340—1380-е гг., а уже позднее к нему были присоединены монеты Джелаиридов и Музаффаридов (вероятно, владелец клада бежал из Хорезма в 788 г. х. от нашествия Тимура) [Федоров-Давыдов 2003: 44]. Пестрый состав мест чекана монет демонстрирует и клад из Куня-Ургенча 1989 г., в котором, помимо джучидских монет, содержались золотые монеты хорезмшахов, Джелаиридов и патанских султанов Дели.

Интересный клад был обнаружен случайно в 1931 г. близ Ташкента (среди следов мастерской фальшивомонетчика второй половины XIV в.). Этот материал, переданный находчиками в Среднеазиатский музей истории, опубликовал М. Е. Массон [1933]. В кладе присутствовали инструменты для чеканки монет, детали весов, несколько монетных штемпелей и 150 фальшивых медных монет (с небольшой примесью серебряных). Из монет М. Е. Массоном были определены только 67 экз. Часть монет оказалась джучидскими, чеканенными от имени Хорезма, Сарая, Сарая ал-Джедид, Сыгнака. Два монетных штемпеля были джучидскими: л. с. монеты Бердибека, о. с. монеты беледа Гюлистана 770 г. х. По мнению автора публикации, «осторожность и чувство меры» заставили прибегнуть фальшивомонетчика к выпуску монет далеких джучидских городов. Интересно, что за образец для этих «воровских денег» брались известные типы пулов (например, Хайр Пулад: Сарай ал-Джедид 764 г. х.), а некоторые типы монет далеких от Ташкента городов мастер изобретал, вероятно, самостоятельно. Так, в огромном комплексе находок золотоордынских монет монет Гюлистана 770-х гг. х. вообще не известно, сам город в это время монет уже не чеканил, а в мастерской фальшивомонетчика был обнаружен штемпель для чеканки монет Гюлистана 770 г. х. К сожалению, комплекс был опубликован очень кратко, изображения найденных монет не были приведены, поэтому нельзя установить, насколько сильно отличаются типы фальшивых денег от их оригиналов.

По данным Г. А. Федорова-Давыдова, хорезмийские монеты обращались в течение длительного времени (например, пулы обращались еще в течение двух веков) [Федоров-Давыдов 1958: 522]. В кладе из Таш-Калы (1952 г.) в кладе медных монет XVII в. был пул Хорезма 772 г. х. [Федоров-Давыдов 1963: 188, № 338]¹. Вероятно, это случай повторного использования монет. Пока сложно сказать, насколько широко использовались медные джучидские монеты в постордынское время. Известны также джучидские пулы Хорезма с поздними надчеканами. Редкость кладов с медными монетами и отсутствие данных о перечеканах и надчеканах пулов в золотоордынском Хорезме затрудняют решение вопроса о длительности использования пулов в XIV в. Клад из Миздахкана, найденный в 1986 г., содержал пулы большого хронологического диапазона — от 708 до 775 г. х.

Автору статьи известно 37 мест на территории бывших советских среднеазиатских республик, откуда происходят отдельные находки джучидских монет. Как и в случае с кладами, большинство единичных находок приходится на территорию Хорезма. Джучидские монеты были встречены также в караван-сараях, расположенных на пути из Хорезма в Поволжье. Единичные находки зафиксированы также в Самарканде и Термезе. На территории Киргизии отдельные находки джучидских монет пока не известны.

Г. А. Федоров-Давыдов [2003: 62] отмечал, что монеты Хорезма «проникали в сферу обращения монет Джагатаидов, составляя в нем незначительную долю». Этот тезис нуждается в определенной корректировке. Так, среди новых монетных находок в Таджикистане имеются джучидские монеты (встречены в десяти местах), причем они, судя по предварительным данным, численно даже несколько доминируют над монетами Джагатаидов. Хорезмийские монеты доходили вплоть до Китая. В Харгасе (Синьцзян) в 1948 г. был найден клад, в котором содержались серебряные монеты Хорезма, чеканенные при Узбеке [Федоров-Давыдов 1974: 179, № 1296].

Среди отдельных находок джучидских монет в Средней Азии встречаются монеты, выпущенные в европейской части Золотой Орды. Так, в Косбулаке была встречена серебряная монета азакской чеканки Токтамышша. Практически не проникали в денежное обращение Хорезма джучидские монеты, чеканенные в Южном Казахстане. Это позволяет согласиться с тезисом В. В. Бартольда, отмечавшего, что «в первой половине XIV в. Хорезм был даже теснее связан с бассейном Волги, чем с местностью по Сыр-Дарье» [Бартольд 2002: 134]. Монет Сыгнака на территории Хорезма пока не выявлено. Отдельные монеты с обозначением нижневолжских монетных дворов были встречены не менее чем на десяти среднеазиатских памятниках. В тех случаях, когда металл монеты зафиксирован — это пулы (только металл монет из Джанпык-Кала, Ярбекир-Кала и Шахрисябза остается неясным). Почти все пулы нижневолжской чеканки выпущены с упоминанием Сарая ал-Джедиды. Встречены также две медные монеты времени Узбека, с обозначением сарайского монетного двора. В большом комплексе из Шахерлика был встречен пул, выбитый, очевидно, в Баз(р)джине.

¹ По другой информации, в кладе 1952 г. были и другие монеты XIV в. (но, возможно, это монеты из другого комплекса) [Федоров-Давыдов 1965: 215].

Большинство монет нижневолжской чеканки приходится на 1350-е гг. (7 экз.), к 1330-м гг. относятся 2 экз., а к 1360-е гг. — 3 экз. Монеты нижневолжских монетных дворов составляют небольшую долю в денежном обращении золотоордынского Хорезма. На протяжении всей истории Улуса Джучи Хорезм самостоятельно обеспечивал себя как медной, так и серебряной монетой.

Подавляющее большинство единичных находок хорезмийских монет в Средней Азии составляют пулы. Несколько золотых монет было встречено в Шахерлике и на поселении возле Ак-Калы. Серебряные монеты Хорезма встречены отдельно на шести памятниках. Наибольшее количество серебряных монет приходится на небольшой монетный комплекс, происходящий с поселения возле Ак-Калы — 8 экз. (при этом в значительно большем комплексе из Шахерлика серебряных монет меньше). По времени чекана серебряные монеты распределяются следующим образом: XIII в. (до правления Токты) — 2, Токта — 7, Узбек — 4, Джанибек — 4, Бердибек (?) — 2, Токтамыш — 1.

Денежное обращение среднеазиатских городов в XIII—XV вв. изучено мало. Материалы исследований Хорезмской экспедиции опубликованы не полностью. В Институте этнологии и антропологии РАН хранятся еще неизданные монетные находки из Хорезма. На территории последнего только с поселения Шахерлик в научный оборот введен достаточно большой монетный комплекс золотоордынского времени. Более 600 надежно датированных монет встречено при исследовании этого памятника. По времени монеты из Шахерлика распределяются так: Токта — 9, Узбек — 109, Джанибек — 202, 1360—1370-е гг. — 281, Токтамыш — 48.

К сожалению, с крупнейшего памятника золотоордынского Хорезма, центра монетной чеканки джучидских монет — Куня-Ургенча — мы располагаем пока еще незначительным комплексом находок (в научный оборот введено небольшое количество монет из раскопок Хорезмской экспедиции в 1952 г.). Известно, что монеты Джучидов были встречены при исследованиях Хазараспа и Джанпык-Кала, но они остаются неизданными. В Миздахкане с 1985 по 2000 г. было найдено более сотни джучидских монет, подробно также еще неопубликованных.

На пяти памятниках Хорезма обнаружены небольшие монетные комплексы (по несколько десятков экз.). Сведения о времени чеканки монет приведены ниже, в таблице¹. Резюмируя данные о топографии единичных находок джучидских монет в Средней Азии, надо заметить, что монеты 1360—1370-х гг. были встречены на 21 памятнике. Монеты времени Джанибека — на 16, а времени Узбека — на 11 поселениях и городищах. Менее широко встречаются монеты начала XIV в. (Токта) и конца XIV в. (Токтамыш) — по 6 мест находок. Представленные данные демонстрируют значительное сходство монетного обращения в Поволжье и в Хорезме, которые были объединены в золотоордынский период в рамках одного государства.

	До Токты	Токта	Узбек	Джанибек	1360— 1370-е гг.	Токтамыш
Поселение возле Ак-Калы	2	1	25	12	12	1
Куня-Уаз	-	-	9	11	9	-
Куня-Ургенч	-	-	10	9	15	3
Шемаха-Кала	-	1	13	13	12	-
Ярбекир-Кала	-	2	1	12	23	-

Библиография

- Бартольд В. В.* Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М., 2002.
- Массон М. Е.* Клад мастерской фальшивомонетчика XIV в. под Ташкентом // Материалы Узкомстариса. Вып. 4. Ташкент, 1933.
- Петров П. Н.* Очерки по нумизматике монгольских государств XIII—XIV вв. Нижний Новгород, 2003.
- Федоров-Давыдов Г. А.* Раскопки торгово-ремесленного квартала XV—XVII вв. на городище Таш-Кала в Ургенче // ТХАЭЭ. Т. II. 1958.
- Федоров-Давыдов Г. А.* Находки джучидских монет // НЭ. Т. 4. 1963.
- Федоров-Давыдов Г. А.* Нумизматика Хорезма золотоордынского периода // НЭ. Т. 5. 1965.
- Федоров-Давыдов Г. А.* Находки кладов золотоордынских монет // Города Поволжья в средние века. М., 1974.
- Федоров-Давыдов Г. А.* Денежное дело Золотой Орды. М., 2003.

¹ Состав монетных находок в публикациях Г. А. Федорова-Давыдова [1963; 1965] несколько различается. Сведения в таблице приводятся по публикации 1965 г.

П. Н. Петров
(Нижний Новгород,
Российская Федерация),
А. М. Камышев
(Бишкек, Кыргызстан)

ЧУЙСКАЯ ДОЛИНА ПО НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ
(XIII — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIV ВВ.)

Исторический период монгольского владычества на территории Кыргызстана не балует исследователей подробными сведениями письменных источников [Петров К. И. 1996: 283—374]. Большинство городов и селений были уничтожены Чингиз-ханом и Чуйская долина использовалась для кочевий орд, поэтому для XIII в. Рашид ад-Дином отмечено всего два крупных поселения — Тарсакент и Карбалыг. Но есть мнение, что именно города Чуйско-Таласского междуречья при захвате пострадали мало. Разрушению же они подверглись уже после смерти Мбнгке-каана в период междоусобиц [Там же: 298—300]. В любом случае, недостаточная информативность письменных свидетельств делает нумизматический материал с различных средневековых поселений Кыргызстана важнейшим объективным источником. Здесь мы сообщим о находках чагатайских монет на территории Чуйской долины за 2002—2004 гг.

1) Севернее Краснореченского городища (Ысык-Атинский район) в 2003 г. при рытье арка достали обломок кувшина, на дне которого среди спекшегося грунта оказалось девятнадцать монет (семнадцать серебряных, одна золотая и одна медная). Все были пробиты или с ушком (см. табл. 1). Семь из них практически стертые, вероятно, чагатайские серебряные дирхемы. Одна монета, отчеканенная из низкопробного золота, по возрасту самая ранняя (первой половины XIII в.) и наиболее потеряная.

Таблица 1

№ п/п	Дата, г. х.	Эмитент	МД	Монета	Вес, г	Диаметр, мм	Примечание
<i>Великая Монгольская империя</i>							
1	XIII в.	с именем халифа ан-Насира	стерт	динар (золото)	1,85	23,5	Два отверстия
<i>Государство Чагатаидов</i>							
2	[68x]	анонимный	Ош	дирхам	1,85	21	Два отверстия
3	[68]6	анонимный	Тараз	дирхам	1,85	23	Напаяно ушко
4	[6]98?	анонимный	Шаш	дирхам	1,5	22	Два отверстия
5*	[72]2	Кепек	Бухара	динар	8,20	33	След напайки
6*	724	анонимный	Термез	дирхам	2,15	22	Два отверстия
7*	724	анонимный	Термез	дирхам	1,80	23	Два отверстия
8	72[5]	Кепек	Самарканд	динар	7,80	31	След напайки
9	[727-728?]	анонимный с разделителем	Бадахшан	дирхам	2,35	23	Два отверстия
<i>Золотая Орда</i>							
10	707	Токта	Хваризм	дирхам	2,05	18	Напаяно ушко
<i>Ильханы</i>							
11	720	Абу Сайид	Кайсария	двойной дирхам	3,35	23	Два отверстия
<i>Неопределенная монета</i>							
12	?	стерт	стерт	фельс(?)	3,10	24	Два отверстия

* — изображения монет приведены в фототаблице

Чагатайские монеты здесь обнаружены впервые [Настич 1989: 96—120]. Само городище расположено в 35 км на восток от Бишкека и отождествляется с домонгольским городом Навекат, уничтоженным монголами [Байпаков, Горячева 1983: 74—75].

Датировка клада-монисто по младшим монетам (725÷727/8 гг. х.) не представляется нам убедительной. Конечно, дирхам Бадахшана № 9 — самый младший (начало правления Тармаширина) и наименее потертый среди всех других монет комплекса, но он мог быть вмонтирован в украшение и позднее года своего выпуска. Кроме того, монисто могло использоваться ряд лет и лишь затем превратиться в сокровище. Поэтому правильнее указать время тезаврации в интервале с ~730 до ~740-х гг. х. (однако такие хронологические рамки сокращения клада очень приблизительны).

Важно, что существуют анонимные дирхемы Термеза (724 г. х.) № 6 и 7, битые по весовому стандарту пореформенных (670 г. х.) дирхемов! Это еще раз подтверждает, что никакой реформы Кепек-хан в Термезе в 721—725 гг. х. не проводил [Петров П. Н. 2004: 76, 77]. Кроме термезской продукции, известны серебряные монеты Бадахшана, у которых особым был не только весовой стандарт, но и легенды: вместо имени хана Кепека находим имена шахов Бадахшана (например, в 721 г. х. — султан Йахийя [Schwarz 2002: 60, Taf. 24/400; Петров П. Н. в печати]).

Основным признаком общегосударственной монетной реформы справедливо считается начало чеканки серебряных монет единой пробы и весовых норм на всех монетных дворах державы. Краснореченский клад еще раз указывает нам, что в правление Кепека проводилось реформирование только монетного дела Мавераннахра (монетные дворы Бухары и Самарканда). Их продукция так же присутствует в рассматриваемом кладе.

В Самарканде серебряный динар (№ 8) при Кепеке бился только в 725 г. х. О ранней дате (718 г. х.) именной чеканки динаров в Бухаре сообщает С. Албум, ссылаясь на экземпляр из коллекции Тюбингенского университета [Album 1998: 99, n. 110]. Л. Илиш любезно предоставил нам ее изображение (инв. № 94-1-35) и сообщил метрологические параметры: вес — 8,41 г; диаметр — 32 мм. Из 5 сегментов, содержащих год чеканки, надпись сохранилась лишь в двух и в еще одном — частично; в правом нижнем: стилизованно **Öm** в правом верхнем: **Ė...** ; в левом

верхнем: **... Ė (?jrs (?Ājrs** искаженно. Наиболее часто на монетах этого типа слово, обозначающее число десятков, размещено в соседних секторах: **Ė Āj / jr s** , причем второй сектор, как правило, стерт вовсе. Это создает обманчивое впечатление, что число десятков следует читать *десять* вместо *двадцать*. На рассматриваемой монете число единиц читается нечетко. Другими словами, чтение даты 718 г. х. представляется сомнительным. Однако динары с именем Кепек-хана и годом чеканки 718 г. х. существуют (три таких монеты были осмотрены П. Н. Петровым в частной коллекции Ван Хайлина в г. Урумчи). Этот факт уточняет дату начала проведения реформирования монетного дела в Мавераннахре при Кепек-хане [Петров П. Н. 2004].

Динар нашего клада (№ 5), не сохранивший числа десятков в дате, сохранил число единиц — 2, которое указывает на единственный вариант реконструкции даты — 722 г. х. (поскольку Кепек в 712 г. х. еще не был правителем, а в 732 г. х. уже 7 лет как был мертв). Пока именно на этом динаре зафиксировано самое раннее упоминание эпитета *фахира* («славный») города Бухары. Описание:

Л. с. В поле, заключенном в сложный фигурный картуш:

Ljy iA/Ė m" A' ĀXABY

Справа — эпитет г. Бухары: **ġa B** Из 5 сегментов надпись читается лишь в двух:

в правом верхнем: стилизованно **Öm** в левом верхнем: **ÖĀ**

О. с. В поле, заключенном в сложный фигурный картуш:

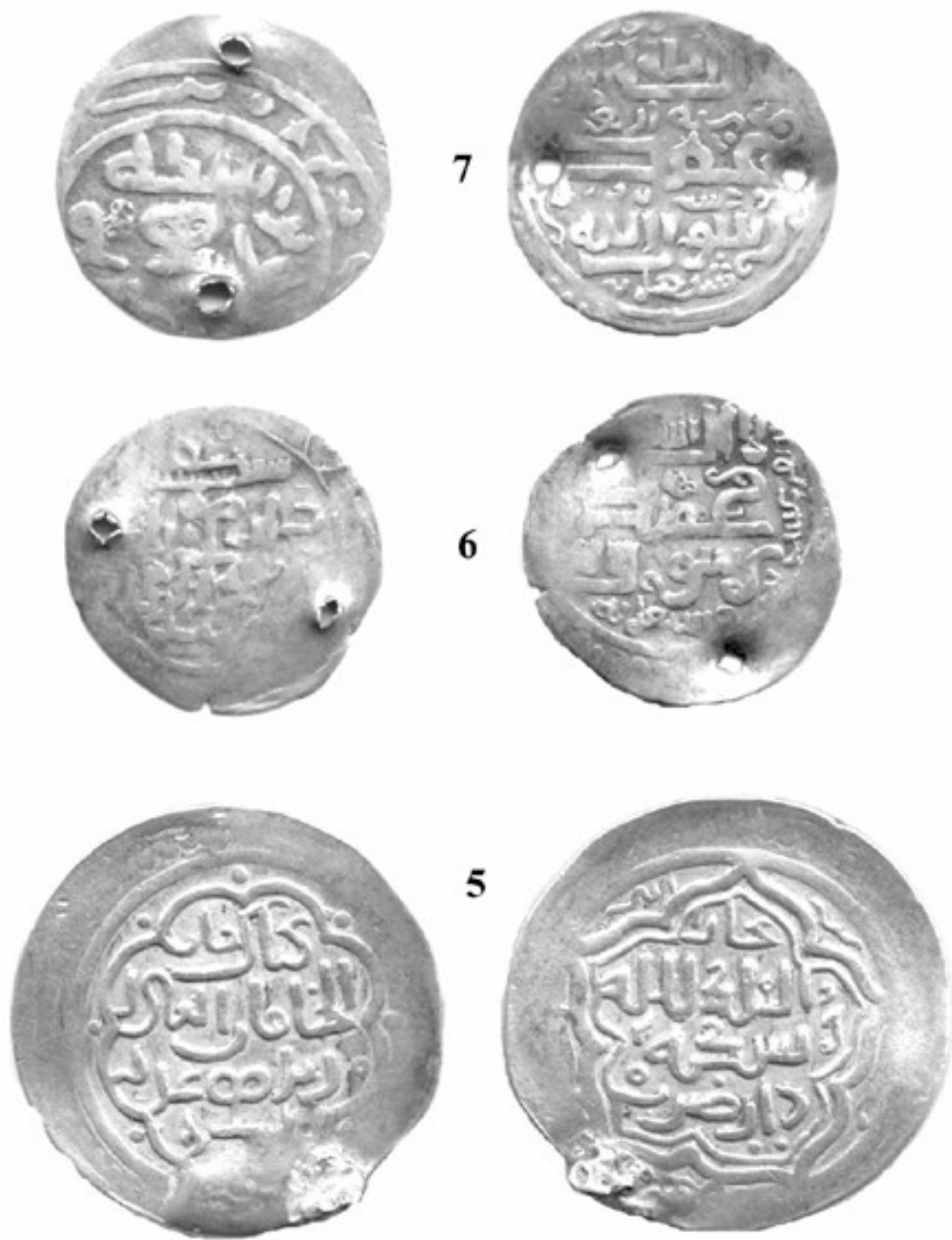
Ėf s f ik / 3B XABEÖXAB ° B

В каждом сегменте по точке.

Обнаружение кладика на Красной Речке не было случайным, что подтвердили находки уже 2004 г. Перечень монгольских монет (без отверстий) приведен в таблице 1а.

Таблица 1а

№ п/п	Дата, г. х.	Эмитент	МД	Монета	Вес, г	Диам. мм	Примечание
<i>Великая Монгольская империя</i>							
13	[650]	с именем Мас'уда ал-Хварезми	[Кашгар]	Фельс (медь)	2,05	27	
<i>Государство Чагатаидов</i>							
14	[638-642]	анонимный	Алмалык	дирхам	2,05	20	
15	680-690-е	анонимный	Стерг [Отрар?]	дирхам	1,85	21	
16	Стерта?	С именем халифа ан-Насира	Обрезан?	дирхам	1,32	16	Ранее не встречался.



Фотогaблицa

2) Следующим местом, где зафиксированы находки чагатайских монет, являются окраины современного села Ак-Бешим (в 3 км от городища Ак-Бешима-Суяба [Горячева, Перегудова 1996: 186], позднее Орду или Ордукента), на месте средневековой крепости. Нами зафиксирована 41 монета, изучено из них 35 экз. (см. табл. 2).

Таблица 2

№ п/п	Дата (г. х.)	Эмитент	МД	Монета	Примечание
<i>Великая Монгольская империя (медь)</i>					
А	[650]	Мас'уд ал-Хварезми	[Кашгар]	Фельс	Отверстие в центре монеты
Б	Г/с	С именем халифа ан-Насира	[Алмалык]	Фельс	(мелкий номинал)
В	[650-660-е]	Анонимный	стерт	Фельс	Среднеазиатский тип. Ушко с колечком и отверстие в центре
Г	?	Неясно	?	Фельс	В центре тамга S-образная (подражание?)
<i>Государство Чагатаидов (серебро)</i>					
Д	[670?]	Анонимный	Отрар	Дирхем	
Е	[6]7[0?]	Анонимный	Отрар	Дирхем	Обломан край монеты
Ж	6[85?]	Анонимный	Отрар	Дирхем	
З	68(?)5	Анонимный	Отрар	Дирхем	
И	Г/с [680-е]	Анонимный	Отрар	Дирхем	
К	Г/с [680-е]	Анонимный	Отрар	Дирхем	Год указан искаженно
Л	686	Анонимный	Тараз	Дирхем	
М	6xx (~680-е)	Анонимный	Тараз	Дирхем	
Н	[6x]3 (680-690-е)	Анонимный	?	Дирхем	Надчеканка с тамгой: 
О	6xx (680-е)	Анонимный	Шаш	Дирхем	
П	Г/с (670-е?)	Анонимные	Алмалык	Дирхем	С тамгой Кайду:  и словом «Ома» тибетскими буквами
Р	Г/с? (680—690-е)	Анонимный	Стерт (тип Кашгара)	Дирхем	Наименование МД искажено; надчеканка
С	Г/о (680—690-е)	Анонимный	Стерт	Дирхем	
Т	XIII в.	Анонимная	Стерт	Дирхем	Редко встречающийся тип (плохое состояние)
У	Г/с? (680 — нач. 700-х)	Анонимный	Бухара	Дирхем	Сильно стерт
Ф	Г/о? (680 — нач. 700-х)	Анонимный	Бухара	Дирхем	
Х	Г/о (710—723)	Анонимный	Термез	Дирхем	Без круговых легенд
Ц	Г/с? (710—723)	Анонимный	Термез	Дирхем	С круговыми легендами
Ч	Г/о (710—723)	Анонимный	Термез	Дирхем	Очень плохого состояния
Ш	722	Кепек	Бухара	Дирхем	
Щ	724	Кепек	Бухара	Дирхем	
Э	72x	Кепек	Бухара	Дирхем	
Ю	725	Кепек	Самарканд	Дирхем	
Я	726/7?	Анонимный с разделителем	Самрканд	Динар	
АБ	Г/с (с 726 по 732)	Анонимный с разделителем	Бухара	Динар	
АВ	Г/с (с 726 по 732)	Анонимный с разделителем	Бухара	Дирхем	
АГ	729	Анонимный	Отрар	Дирхем	
АД	731/2	Санджар и Тармаширин	Самарканд	Динар	
АЕ	731/2	Тармаширин	Отрар	Дирхем	
АЖ	733	Тармаширин	Отрар	Дирхем	
АЗ	736	Дженкши	Отрар	Дирхем	Дата написана искаженно

Особенностью этого комплекса является наличие медных монет первой половины XIII в. (№ А—Г), которые имели хождение достаточно ограниченное время и в обращении до 700 г. х., скорее всего, не сохранились (в отличие от серебряных монет реформы 670 г. х., ходивших вплоть до реформы амира Тимура), т. е. находка сделана в месте длительного пребывания людей — на селище или городище. Однако нет нумизматических следов существования поселения в период правлений ханов Йесун-Тимура — Буйан-Кули и позднее. Но не будем делать далеко идущих выводов на основании изучения всего трех с половиной десятков монет. Наверняка, новый материал с этого поселения позволит уточнить и дополнить в будущем наши наблюдения.

3) Хорошо известны находки с городища Кара-Джигач [Мокрынин, Плоских 1992: 78, 173; Федоров 1994; Fedorov 2002: 404—419; Петров, Кошевар 2004: 226—234; Петров, Камышев *в печати*]. В рамках этого доклада нет возможности рассмотреть весь накопившийся с 2002 г. новый нумизматический материал. Отметим лишь особенности монетного обращения в Кара-Джигаче, замеченные нами:

— большое количество медных монет (как на табл. 2, № А; табл. 1а, № 13) кашгарской чеканки (в Мавераннахре находки их единичны);

— большой процент монет бадахшанской чеканки (на территории Мавераннахра таких находок существенно меньше).

По монетным данным создается впечатление, что Чуйская долина в XIII в. играла важнейшую роль связующего звена между крупнейшими вилайетами сначала Монгольской империи, а затем Чагатайского государства. Кроме того, в это время Чуйская долина в большей степени входила в сферу финансового влияния Кашгара и Алмалыка. Для XIV в. мы этого утверждать уже не можем, поскольку серебряная монета не имела никаких ограничений в обращении и очень активно проникала в любые уголки государства. Но неоднократные находки штемпелей для производства серебряной монеты XIV в. говорят о чеканке монеты на этой территории от имени других городов. Пока определенно локализовать место (места) производства монет не представляется возможным. Тем не менее, чеканка монеты всегда вызвана потребностью в ней, а потребность связана напрямую с экономикой региона. И если речь идет о чеканке монеты, то говорить о Чуйской долине, как о какой-то заброшенной окраине, не приходится. Но на основании анализа имеющихся материалов процветающим регионом ее назвать также трудно.

Библиография

Байпаков К. М., Горячева В. Д. К вопросу о локализации Навеката // Культура и искусство Киргизии. Вып. I. Л., 1983.

Горячева В. Д., Перегудова С. Я. Буддийские памятники Киргизии // ВДИ. 1996. № 2.

Мокрынин В., Плоских В. Клады в Кыргызстане: мифы и реальность. Бишкек, 1992.

Настич В. Н. Монетные находки с городища Красная Речка (1978—1983 гг.) // Красная речка — Бурана. Фрунзе, 1989.

Петров К. И. Латиноязычные источники // Источниковедение Кыргызстана (с древности до XIX в.). Бишкек, 1996.

Петров П. Н. Реформа Кепека-Тармаширина // 12-я Всероссийская нумизматическая конференция: ТД. М., 2004.

Петров П. Н. Бадахшан XIII—XIV веков под властью монгольских ханов // НЭ. Т. XVII (*в печати*).

Петров П. Н., Камышев А. М. Находки чагатайских монет на территории Чуйской долины // Труды первой международной нумизматической конференции «Монетное дело и денежное обращение монгольских государств XIII—XV вв.» в Саратове (сентябрь 2001 г.) (*в печати*).

Петров П. Н., Кошевар В. Г. Клад № 4 из Киргизии (монетные фракции реформы Мас'уд-бека) // ДПДР. Вып. V. Т. 4. 2004.

Федоров М. Н. Новый клад Джагатаидских серебряных монет из Кыргызстана // Хасановские чтения. Вып. 2. Бишкек, 1994.

Album S. A Checklist of Islamic Coins. 2nd ed. Santa Rosa, 1998.

Fedorov M. A. Hoard of Fourteenth Century Chaghatayid Silver coins from North Kirghizstan // NC. Vol. 162. 2002.

Schwarz F. Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen. Balh und die Landschaften am Oberen Oxus. XIV c.: Hurasan III. Berlin, 2002.

ПРАВОВОЕ НАСЛЕДИЕ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ В ГОСУДАРСТВЕ
ТИМУРИДОВ (ПО ДАННЫМ ЛЕТОПИСЕЙ, НУМИЗМАТИЧЕСКОГО
И АКТОВОГО МАТЕРИАЛА)

Принято считать, что с именем Тимура и его потомков связано обращение в ислам Чагатаева улуса. Исламизация затронула все сферы общественной жизни в этом государстве, включая государственное устройство и правовую систему, при этом оттеснив монгольские кочевые традиции и обычаи и возведя шариат в ранг основного и единственного источника права. Подобный вывод напрашивается сам собой на основании летописных источников, авторы которых являлись придворными летописцами самих Тимуридов и всячески старались представить их ревнителями веры, прославить их благочестие. Поэтому официальные историки всемерно старались подчеркнуть отход Тимура и Тимуридов от своих монгольских корней, отказ от монгольских государственных и правовых традиций в пользу «истинной веры» и сопутствующих ей принципов государственного устройства и норм права. Однако более глубокий анализ этих летописей, а также других источников, особенно данных нумизматики и дипломатии, позволяет сделать вывод, что приверженность Тимуридов к исламу и особенно его проявлениям в сфере государственного строительства и права, равно как и их отход от монгольских традиций, были гораздо менее радикальны, чем пытались показать летописцы. Более того, оказывается, что монгольское право на протяжении всего времени правления Тимуридов сосуществовало и нередко успешно соперничало с мусульманским.

Активное распространение ислама в Чагатаевом улусе традиционно связывается с именем Тимура (обращение в ислам более ранних монгольских правителей представляло собой единичные случаи и не влекло обращения в «истинную веру» большинства подданных). Сам Тимур называл себя ревнителем веры и заявлял, что «всячески содействовал процветанию религии Всевышнего и шариата пророка Мухаммада. Всюду и всегда поддерживал Ислам» [Уложение 1999: 67]. Однако в своей политической и завоевательной деятельности он больше придерживался монгольских правовых традиций. Недаром Тимура обвиняли в том, что *туру* (древнее монгольское право) он ставил выше шариата; по сообщению Ибн Арабшаха, сирийские богословы издали *фетву*, объявив его кафиром, а хорезмийский правитель заявил его послам: «долг мусульман — сражаться с вами» [Бартольд 2002а: 171]. Как справедливо отмечает В. В. Бартольд, благочестие Тимура и его приверженность к исламу были существенно преувеличены придворными историками его потомков, при которых мусульманские традиции и в самом деле взяли верх над монгольскими [Бартольд 1992: 477]. В период же правления самого Тимура преобладание монгольских государственных и правовых обычаев не подлежит сомнению: Тимур признавал верховенство законных ханов из дома Чингизидов (хотя в значительной степени и номинально), при которых сам занимал пост *амир аль-умара*, т. е. главнокомандующего, в соответствии с монгольскими правовыми нормами устраивал административное управление и организовывал армию. Ярлыки Тимура официально издавались от имени хана-Чингизида, возведенного им на трон [Уложение 1999: 51]. Монеты, чеканившиеся в Чагатаевом улусе при Тимуре, также отражают признание им верховенства хана и, следовательно, соблюдение норм монгольского права: на них содержатся надписи типа «По повелению хана Суюргатмыша слово Эмира Теймура Гуркана» или «Султана Махмуда по повелению, Мир Тимур Гурган слово наше» [Савельев 1857: 167; 1858: 262].

Но уже при ближайших преемниках Тимура мы наблюдаем коренной перелом в отношении к монгольскому праву. Во-первых, Тимуриды попытались ликвидировать традицию возведения на трон потомков Чингис-хана: сразу же после смерти Тимура ханом был объявлен его правнук Мухаммед-Джехангир, от имени которого стали чеканиться монеты [Давидович 1995: 140] (прежде чекан осуществлялся только от имени ханов-Чингизидов). Абд ар-Раззак Самарканди сообщает, что когда внук и предполагаемый наследник Тимура Пир-Мухаммед предъявил права на трон, ему советовали «испросить грамоту на царство у абассидских халифов, живущих в Египте, и тем самым отменить законы, действовавшие при монголах» [Бартольд 2002б: 46]. А сын Тимура Шахрух, в конечном счете взявший верх над остальными представителями династии, претворил этот совет в жизнь: в официальном письме китайскому императору он сообщает, что законы Чингис-хана в его владениях отменены, и действует только шариат [Бартольд 2002б: 48].

Резким контрастом в сравнении с позицией Шахруха предстает деятельность правителя Самарканда Улугбека, хотя последний (как и остальные сыновья Шахруха) в общем и целом дейст-

вовал в русле политики отца. Улугбек продолжил традицию возведения на трон ханов-Чингизидов, а себя именовал монгольским почетным титулом *гурган* — ханский зять [Хафиз-и 1983: 96]. Также Улугбек в значительной степени опирался и на монгольские правовые обычаи. Полагаю, что подобное различие в политике Шахруха и Улугбека объясняется разделением их сфер влияния: Шахрух больше взаимодействовал со странами мусульманского Востока (Египтом, Индией, монархиями аравийского полуострова и др.), тогда как основные внешнеполитические интересы Улугбека были связаны с правителями кочевых узбеков зарождающегося Казахского ханства, Моголистана — т. е. носителей монгольских традиций. Поэтому отец и сын в своей государственно-правовой позиции избирали ориентацию на те нормы, которые действовали в государствах их основных дипломатических и военных партнеров.

Но отошел ли и сам Шахрух от монгольской правовой традиции столь решительно и бесповоротно? Объявив шариат основным правовым источником, а себя *халифом* и *султаном*, Шахрух, тем не менее, сохранил за собой титулы *хакана* и *бахадур-хана*, которые постоянно упоминаются в летописях [Абд ар-Раззак 1973: 173; Фасих 1980: 100, 123; Quatremere 1836: 214]. Некоторые специалисты склонны считать, что летописцы употребляли эти титулы применительно к Шахруху, желая польстить ему. Однако Хафиз-и Абру приводит текст хутбы на имя «справедливейшего хакана... Шахрух-Бахадур-хана» [Бартольд 2002б: 49]. Таким образом, можно сделать вывод, что Шахрух официально носил эти титулы, желая, видимо, подчеркнуть свою власть в глазах как своих подданных, сохранивших приверженность к монгольским традициям, так и восточных соседей своего государства, все еще живших по монгольским обычаям. Следует отметить, что Тимуриды, женатые на представительницах дома Чингис-хана, предпочитали, подобно Улугбеку, именовать себя монгольским титулом *гурган*, тогда как не имевшие связи с домом Чингизидов довольствовались мусульманским титулом *султан*, который чеканили и на своих монетах [Tiesenhansen 1880: 28—33]. Впрочем, наличие этого титула (в отличие от ханского) вовсе не отражало претензий на верховную власть: даже сам Тимур, с большим пиететом относившийся к ханскому званию и происхождению Чингизидов, именовал себя *султаном* [Григорьев, Телицин, Фролова 2004: 17, 24]. Надо полагать, что в тот период времени титул *султан* не принадлежал еще исключительно Чингизидам, как это произошло в ряде стран и регионов Центральной Азии позднее.

Сохранялась в эпоху Шахруха также социальная и административная система, установленная в соответствии с монгольскими правовыми нормами. Во-первых, согласно данным летописей и сохранившихся до нашего времени жалованных грамот, среди приближенных Шахруха и более поздних Тимуридов было немало влиятельных придворных, носивших титул *тархан*, позаимствованный из правового опыта Чингизидов; Тимуриды не только продолжали признавать тарханов, пожалованных их предшественниками, но и сами активно жаловали тарханские грамоты [Абд ар-Раззак 1973: 173; Фасих 1980: 206; Григорьев 1978: 97—98]. Во-вторых, не была отменена и установленная монголами административно-территориальная система деления на *тюмены*: таковые упоминаются летописцами и в государстве Шахруха, и в более поздних владениях Тимуридов — вплоть до удела Бабура в Кабуле [Бабур 1982: 91 сл.]. Аналогичным образом, наряду с типично мусульманскими административными должностями (*эмиры*, *наибы* и пр.), весьма важными должностными лицами в системе управления оставались *даруги* — правители областей, институт которых является заимствованием из административно-правовой практики Монгольской империи. Абд ар-Раззак Самарканди, автор «Фасихова свода» и Бабур упоминают о *даругах* таких крупных городов, как Бухара, Йезд, Шираз, Фируз и др. [Бабур 1982: 68; Фасих 1980: 168; Quatremere 1836: 219, 348].

Не исчезла и унаследованная от монгольских ханов традиция издания монархами индивидуальных правовых актов — указов. Тимуриды издавали грамоты тех же видов, что и их предшественники — потомки Чингис-хана: жалованные грамоты по освобождению от налогов, грамоты по наделению суйюргалом, охранные грамоты для проезжающих и пр. При этом важно отметить, что Тимуриды, в отличие от Чингизидов, называли свои грамоты *союзом* или *хукм*, т. е. «слово», а не *ярлык* («указ»): последние могли издавать только законные ханы. Это отражает формальное признание потомками Тимура своего нижестоящего статуса по отношению к потомкам Чингис-хана — правителям соседних государств [Григорьев 1978: 94—96, 100—101]. Эти грамоты также позволяют сделать вывод, что в государстве Тимуридов продолжали действовать прежние монгольские институты — ямские станции, сторожевые отряды (*караулы*) и др. [Григорьев, 1978: 108—110]. Считаю необходимым также отметить, что ряд вышеупомянутых монгольских правовых и государственных институтов (деление на *тюмены*, *караулы*, издание *ярлыков*) надолго пережил владычество самих Тимуридов и сохранялся в Мавераннахре в более поздние времена — о них

упоминает такой сравнительно поздний источник, как «Бухарский трактат о чинах и званиях», составленный в XVIII в. [Трактат 1948: 148, 151—152; Подлинник 1970: 43—44].

Новый этап борьбы с монгольской правовой традицией в государстве Тимуридов приходится на 1460-е гг. и связан с именем шейха духовного ордена *накибандийа* Ходжи Ахрара, который, по видимому, считал ниспровержение «Ситамнамеи Чингиз» («Чингисовой книги угнетения») главным делом своей жизни. Об этой его деятельности сообщает, в частности, такой специфический источник, как фрагмент поэмы Абдурахмана Джами «Силсилат аз-захаб» [Болдырев 1985: 55]:

Очистил он милостью и строгостью
Мир от дыма рода Чингиса.
Его усилия с подола веры правильным мнением
Клеймо тамги и грязь яргу смыли.

Следовательно, Ходжа Ахрар выступал против основ правовой политики Чингизидов — налоговой системы (*тамга* — один из наиболее распространенных налогов) и суда (*яргу* или *дзаргу* — суд, созданный Чингис-ханом). Интересно отметить, что деятельность Ходжи Ахрара в этом направлении, похоже, осуществлялась в разрез с намерениями Тимуридов Герата: именно против них Ходжа возмущал народ, обвиняя правителей в ереси и беззаконии [Болдырев 1985: 53]. Впрочем, если Ходжа Ахрар даже и добился каких-то успехов в борьбе с «чингисхановщиной», то успехи эти были непродолжительны. До нас дошел ряд грамот Тимуридов — гератского Султан-Хусейна (Хусейн Байкара), ферганского Омар-шейха (отца Бабур), правивших в 1470—1490-е гг., — в которых, помимо чисто «мусульманских», упоминаются и «монгольские» налоги: пресловутая *тамга*, чрезвычайные налоги и сборы, а также разного рода повинности — участие в облавных охотах, предоставление продовольствия и лошадей проезжающим чиновникам и пр. [Григорьев 1978: 95, 101, 110]. Это позволяет сделать вывод, что налоговая система, установленная монгольскими ханами, продолжала действовать и при их преемниках-Тимуридах, причем до самого конца их правления.

Позиция местного мусульманского духовенства в отношении монгольского права, а также попытки придворных историков представить Тимуридских правителей ревнителями веры и шариата, не отражали реального отношения Тимуридов к монгольским правовым нормам. Лучше всего их позиция в этом вопросе представлена словами члена самой династии — Бабур: «Прежде наши отцы и родичи тщательно соблюдали постановления (тура) Чингиз-хана... Постановления Чингиз-хана не есть непреложное предписание (Бога), которому человек обязательно должен следовать. Кто бы ни оставил после себя хороший обычай, этот обычай надлежит соблюдать; если отец издал хороший закон, его надо сохранить; если он издал дурной закон, его надо заменить хорошим» [Кляшторный, Султанов 2004: 190]. Как видим, с одной стороны, Бабур не считает монгольское право незыблемым и требующим беспрекословного исполнения, а с другой — признает, что оно включает в себя и «хорошие» законы, которые следует соблюдать. Естественно, подобный подход не слишком устраивал мусульманское духовенство Чагатаева улуса, ратовавшее за полную отмену монгольских правовых норм и установление господства шариата. В результате, как известно, именно при поддержке духовенства соперники Тимуридов лишили последних представителей этой династии (в том числе и самого Бабур) власти и всех владений в Мавераннахре.

Интересно отметить, что позиции монгольского права (в частности — «Великой ясы» Чингис-хана) были восстановлены Мухаммедом Шейбани, который вел с «еретиками»-Тимуридами «священную войну» и в большой степени своей победой над ними был обязан поддержке того самого ордена *накибандийа*, который возглавлял борец с «книгой Чингиса» Ходжа Ахрар [Гафуров 1955: 363—365]. Именно Мухаммед Шейбани расставил приоритеты в праве Чагатаева улуса, отдав монгольскому праву значительную роль. Приближенный этого хана Фазлаллах Исфакхани приводит интересный эпизод о решении его повелителем спорного дела. При рассмотрении вопроса о том, может ли внук через покойного сына наследовать от деда долю, равную доле другого сына, улемы Герата не смогли ответить в соответствии с нормами шариата и привели несколько изречений Корана, лишь косвенно отвечающих на этот вопрос. «Дело кончилось тем, что [хан] пожелал отложить это предписание, ибо в тексте не было обоснованного довода, и [велел] поступать по установлению Чингиз-хана» [Фазлаллах 1976: 60]. Таким образом, монгольское право вновь становится существенным элементом правовой системы Чагатаева улуса, заполняя «пробелы» в праве мусульманском.

Но можно ли говорить о том, что Мухаммед Шейбани восстановил действие монгольского права? Думаю, что нет, поскольку оно, как видим, не исчезало и применялось в завоеванном им Чагатаевом улусе, в том числе и непосредственно до его правления. Хотя, конечно же, периодически оно по значению уступало мусульманским правовым канонам.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что монгольские правовые традиции в государстве Тимуридов продолжали действовать на протяжении всего времени правления этой династии. Основными источниками средневекового монгольского права в государстве Тимуридов являлись древнее обычное право «горе» (создание которого, правда, сами Тимуриды, как можно понять из вышеприведенных слов Бабура, приписывали Чингис-хану, что не соответствовало действительности), Великая яса Чингис-хана, а также ярлыки монгольских ханов и самих Тимуридов. Наиболее последовательно монгольское право применялось Тимуридами в области государственного управления и административного устройства (вопросы верховной власти, административно-территориального деления, налоговой системы), а также — суда (сосуществование монгольского суда-*яргу* с традиционным мусульманским судом-*кади*).

По моему мнению, это свидетельствует о жизнеспособности и довольно высоком уровне развития права Монгольской империи, которое сумело приобрести столь важное значение в Мавераннахре и успешно сосуществовать с мусульманским правом, несмотря на то, что последнее имело куда более глубокие корни в этом регионе и, в общем-то, считается более развитым, чем традиционное право Восточной Азии (к каковому может быть отнесено и право средневековых монголов). Подобную ситуацию можно рассматривать как интересный правовой феномен ряда государств — наследников Монгольской империи, особенно ярко проявившийся в Золотой Орде, Моголистане и, как видим, в Мавераннахре, в том числе и в эпоху правления Тимуридов.

Библиография

- Абд ар-Раззак* Самарканди. *Матла' ас-са'дайн ва маджма' ал бахрайн* // Материалы по истории киргизов и Киргизии. М., 1973.
- Бабур*. *Бабур-наме* (Записки Бабура). Кн. 2. Ташкент, 1982.
- Бартольд В. В.* Царствование Тимура // *Тамерлан: Эпоха, личность, деяния*. М., 1992.
- Бартольд В. В.* Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М., 2002а.
- Бартольд В. В.* Работы по истории ислама и Арабского халифата. М., 2002б.
- Болдырев А. Н.* Еще раз к вопросу о Ходже Ахраре // *Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма*. М., 1985.
- Гафуров Б. Г.* История таджикского народа в кратком изложении. Т. I: С древнейших времен до Великой Октябрьской Социалистической Революции 1917 г. М., 1955.
- Григорьев А. П.* Монгольская дипломатика XIII—XV вв.: Чингизидские жалованные грамоты. Л., 1978.
- Григорьев А. П., Телицин Н. Н., Фролова О. Б.* Надпись Тимура 1391г. // *Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки*. Вып. 21. СПб., 2004.
- Давидович Е. А.* О стандартах чистоты и весовых стандартах серебряных монет Тимура и Тимуридов (конец XIV—XV вв.) // *Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины*. Вып. 4. М., 1995.
- Кляшторный С. Г., Султанов Т. И.* Государства и народы Евразийских степей. Древность и средневековье. 2-е изд. СПб., 2004.
- Подлинник* бухарского трактата о чинах и званиях // *Письменные памятники Востока*. 1968. М., 1970.
- Савельев П.* Монеты Джучидов, Джагатаидов, Джалаиридов и другие, обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху Тохтамыша: Выпуск первый. СПб., 1857.
- Савельев П.* Монеты Джучидов, Джагатаидов, Джалаиридов и другие, обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху Тохтамыша. Выпуск второй. СПб., 1858.
- [*Трактат*] Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях их носителей в средневековой Бухаре // *СВ*. Т. 5. 1948.
- Уложение* Тимура. Ташкент, 1999.
- Фазлаллах* ибн Рузбихан Исфাহани. *Михман-наме-йи Бухара* (Записки бухарского гостя). М., 1976.
- Фасих* Ахмад ибн Джалал ад-Дин Мухаммад ал-Хавафи. *Фасихов свод*. Ташкент, 1980.
- Хафиз-и* Таныш Бухари. *Шараф-наме-йи шахи* (Книга шахской славы). М., 1983.
- Quatremere M.* Sur la vie de sultan Schakh-rokh // *JA*. 1836. Sér. III. T. II. 1836.
- Tiesenhause W. de.* Notice sur une collection des monnaies orientales de M. le Comte S. Stroganoff. St. Petersbourg, 1880.

ЖИЗНЬ ДОРОГИ И ДОРОГА ЖИЗНИ: ОТРАЖЕНИЕ ОДНОЙ МЕТАФОРЫ В ЖИВОПИСИ И ЛИТЕРАТУРЕ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ КУЛЬТУР И АРМЯНСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Поговорка гласит: «Жизнь прожить — не поле перейти», ибо жизненная дорога не прямая как стрела времени и не ровная и гладкая как скатерть. Согласно преданию, Магомет утверждал, что путешествие равняется одной шестидесятой мучений ада. Равнины «Мишны», однако, определили именно одну шестидесятую как меру незначительности: сон, например, является одной шестидесятой пророчества — и по сей день арамейское выражение *ботул бэ иишин*, т. е. шестидесятая доля не считается — употребляется в языке идиш. Пророк ислама, очевидно, либо не хотел преувеличить трудности дороги, либо не желал уменьшить страх верующих перед судным днем. Жизненный путь в переносном смысле и так тернист, не говоря уж о собственно дороге. А для значительной части экономически ключевого населения Средней Азии — я имею в виду купеческий слой согдийцев, а также монахов и проповедников различных религий и этнических групп — Великий Шелковый путь действительно был дорогой жизни. Важные торговые пути проходили и через Армянское нагорье, и с раннего средневековья до наших времен международная торговля способствовала образованию армянских общин (*գաղութ*, заимствование от арамейского *галут*[а]) от Средиземноморского побережья до Юго-Восточной Азии.

Соответственно с реальными условиями жизни и хозяйства, в живописи согдийцев и других ираноязычных народов Средней Азии нередко встречается тематика дороги. Значительная часть владельцев пенджикентских домов, в которых на фресках изображены путешественники и подвиги героев, либо состояла из купцов, либо была каким-то образом связана с международной торговлей. Жизнь представлялась как трудная дорога, однако материальные условия жизни зависели в то же время от этой же самой дороги. Само по себе это совсем не удивительно: ведь каждое нравоучение, известное владельцам домов, где были обнаружены фрески, утверждало, что нам выдана лишь транзитная виза по пути в потустороннюю жизнь, где нас ожидает, в зависимости от выбранного вероисповедания, буддийское или манихейское перевоплощение и повторение всего процесса, или же несколько более затяжной цикл, согласно представлениям евреев, зороастрийцев и христиан. Несмотря на существенные различия между этими системами, каждая из них завершается вечностью и считает привязанность к переменчивому земному бытию одинаково суетливой и напрасной.

Поскольку господствующая церковь во многом определяла сферу армянской живописи (в отличие от религиозного плюрализма Центральной Азии, где, по крайней мере, до мусульманского завоевания подобных ограничений не было), то из ее произведений, передававших светские сюжеты, сохранилось очень немногое: это рукописные миниатюры к «Истории Александра Македонского», «Истории Младенца Фармана» и нескольким другим средневековым романам, а также к пособиям по астрологии и колдовству, таким как «Алавид»¹. В настоящем докладе опыт сравнения сосредоточен на одном из редких произведений светской литературы (хотя и само понятие «свет» в данном контексте не совсем точное или удовлетворительное). Собрание притч, житий святых, и назиданий *Ջրոյց պղնձէ քաղաքի* («Повесть о медном городище»), получило свое название еще в средневековье от своей самой длинной части — знаменитой повести из сборника «Тысяча и одна ночь», переведенной с арабского на армянский в нескольких вариантах, начиная с конца X в. Дошедший до нас в самых ранних рукописях текст, очевидно, подвергался языковым и стилистическим изменениям и принадлежит к XIII в.² Рассказ широко известен: халиф Маруан желает посмотреть на злых духов-джиннов, заточенных Соломоном в банках. В поиске этих сверхъестественных узников, посланники дамасского двора проходят пустыни и находят старинные над-

¹ См.: Macler F. L'enluminure armenienne profane. Paris, 1928; Feydit F. Amulettes de l'Armenie Chretienne. Venise, 1986; Симонян А. (ред.). Повесть об Александре Македонском. Ереван, 1989 (на арм. яз.). В связи с последним, интересно заметить, что детали и общая композиция страницы, где изображено единоборство героя с единорогом в «Венецианской рукописи Мхитаристов», № 424, ст. 95а (ст. 384 в издании Симоняна) — явно восходят к персидским прототипам. О книге *Алавид* см. доклад автора: Russell J. R. A Preliminary Report on a Newly-Acquired Armenian Magical Manuscript at ALMA // Armenian Library and Museum of America Newsletter. Fall 2001 (Watertown, MA).

² См.: Հ.Ն. Մկրտչյան, «Պղնձէ Քաղաքի Պատմութեան արարական և հայկական տարբերակները», Պատմա-բանասիրական Հանդես, Երևան, 1986.2 (113), էջ' 130—138:

писи и городища, где все возвещает о тщетности нашей доблести и славы. Наконец, у берегов океана, на краю земли они обнаруживают банки и возвращаются на родину. Однако при вскрытии их темниц джинны восклицают: «Каюсь я, грешник, о пророк Господний!». Халиф в горечи познания надевает ризу юродивого и покидает свой трон¹.

Символика повести и некоторые из ее особенностей имеют древнеиранские корни, в то время как ее тематика отражает нравоучение, типичное для буддизма, а буддийские притчи сами нередко проникали на запад при посредстве манихейских переводчиков: такова судьба знаменитого произведения «Билаухар и Бодасаф», которое в христианизированной переработке очень популярна чуть ли не по сей день. Остальные тексты в армянском печатном собрании — «История вешего Пахлула», «Назидания царя Нуширвана», «Советы Ахикара Премудрого», «История Юноши и Девы», «Житие святого Алексия», «Житие Хусика и сына его Степана» и «Развлечения для молодых» — либо прямо говорят о мудрости и о суете бытия, либо косвенно освещают эту же тему, посредством повествований о длинных и мучительных путешествиях, о преобразовании характера и извилистой переменчивости жизни, о неожиданном обнищании и просвещении некогда гордых, пренебрегавших судьбой, временем и смертью. В некоторых текстах чередуются стихотворные части и проза (как, впрочем, и в армянском варианте «Истории Александра Македонского» вставлены *кафы* средневековых редакторов), в других указываются роли, исполненные различными читателями: вместе с тематикой жизненной дороги и т. п., собрание охарактеризуется постановочным характером².

Почти все произведения этого собрания переводные, в первую очередь, с арабского, хотя сами арабские тексты, за исключением «Ахикара» и «Жития св. Степана», восходят к более древним источникам, по большей части, индийским. Армянское собрание переиздавалось многократно на протяжении двух столетий (последние издания в Тифлисе относятся ко второй половине XIX в., а перевод на западноармянский *ашхархабар* осуществлен в Стамбуле после Первой мировой войны). Большинство рукописей, содержащих три-четыре текста из основного списка, относится к XVI в., однако ссылки на эти тексты показывают, что подобный сборник существовал гораздо раньше. Он, таким образом, сопутствовал развитию купеческого и торгового классов в армянском обществе и возмужанию светской культуры; а тематика дороги и накопления жизненного опыта отражает настоящий быт и религиозное мировоззрение этого социального слоя. Хотя отдельные тексты из собрания частично тщательно редактировались и публиковались³, его феномен пока еще не привлекал должного внимания исследователей. Отсюда и цель настоящего доклада: предварительно определить широчайший контекст этого собрания в целом.

Однако историческую и культурную значительность сборника «Повесть о медном городище» можно установить, только рассмотрев его в цельном, правильном контексте. Для того, чтобы определить этот контекст, я беру группу так называемых *бьен-уэн* — «текстов трансформации преобразования» на китайском языке, найденных в Дуньхуане и относящихся к танской династии — периоду теснейших культурных, культовых и экономических связей между Китаем и иранской Средней Азией. Само название Дуньхуан, греч. *вроана*, является, по всей вероятности, заимствованием с иранского, ср. согд. *drw'n*: «крепость». В. Мэр⁴ охарактеризовал *бьен-уэн* как повествование, имеющее общую форму композиции прозы со стихообразными частями — язык последних часто ближе к современной разговорной речи, чем текст в прозе (то же самое может быть отмечено и в армянских стихах-*кафах* к «Истории Александра»). *Бьен-уэн* также имеют характер исполнения, притом сопровождаемого картинами. Эти тексты рассказывают о путешествиях и переменах судьбы: например, Махамаудагаляяна уезжает по делам службы, а по возвращении узнает, что его мать умерла и за свои грехи попала в ад. Он становится монахом для того, чтобы искупить грехи матери, и боги ее прощают. В этом рассказе есть много общего со средневековым армянским «Житием Степана Артаметского», и не потому, что они обязательно связаны одним источником, а потому, что служили общей цели для читателей и слушателей, образ жизни и интересы которых сходны. *Бьен-уэн* отражают, безусловно, и особенности местной цивилизации: Будда сам цитировал преобразования в проповедях его закона (*дхарми-катхэ*); более того, подобного рода трансформации

¹ См.: Russell J. R. The Tale of the Bronze City in Armenian // Russell J. R. Armenian and Iranian Studies. Cambridge (MA), 2004.

² В своем предисловии к книге: Kevorkian R. H. Catalogue des «Incunables» armeniens (1511—1695) ou Chronique de l'imprimerie armenienne. Geneve, 1986, Жан-Пьер Махе замечает, что назидательный материал в собрании передается в развлекательном виде для того, чтобы предотвратить безостановочное, досадное чтение и заставить читателя активно задумываться над текстом и даже участвовать в нем.

³ Например, Спанян А. (ред.). Повесть о юноше и девушке. Повесть о царе Пахлуле. Ереван, 1983 (на арм. яз.).

⁴ Mair V. H. Tang Transformation Texts. Cambridge (MA), 1989.

типичны для шаманских и даоистских повестей. Это вполне естественно: есть основание предполагать, что именно кризис конфуцианского мировоззрения за несколько столетий до возникновения *бьен-уэн* возбудил в китайском обществе интерес к даоизму и алхимии.

Посредине между армянскими и китайскими ойкиотипами жанра сборников нравоучительных повестей, притч, и назиданий, где применялся образ жизненной стези, есть общий источник, сугубо космополитический и, одновременно, коренной иранский и ближайший к Индии. Волшебная, исчезнувшая страна, о которой с вождением и боготворением сказали бы, «Имя твое — Согд»¹. Согдийские фрески, найденные при раскопках городища Пенджикент и принадлежавшие, очевидно, местной знати (так называемым «свободным», ср. арм. *азаты*), занимают на стенах три регистра, представляя тем самым три социальных и вселенских слоя — божественный, героический и общечеловеческий². Б. И. Маршак сумел истолковать почти полностью темы этих настенных картин, ссылаясь на индийскую литературу, на цикл подвигов сакского героя Рустама и на эзоповские притчи³ (в армянской устной литературе часто встречаются повести о Рустаме в качестве приложения к Сасунскому эпосу, а по свидетельству Моисея Хоренского, повести о геракловых подвигах — *сагджика* — были весьма популярны с незапамятных времен). Некоторые из индийских сюжетов пенджикентских картин засвидетельствованы и на согдийском языке — в текстах, слегка переработанных проповедниками манихейства. Таким путем, как известно, притчи «Панчатантры» и другие тексты проникали через сасанидский Иран на христианский (и, в дальнейшем, на мусульманский) Запад. Многие из пенджикентских фресок изображают тему дороги: купец отправляется в путь, спрятав золото под деревом; другой купец обещает жертвоприношение духу морей; продавец сандала очутился в стране такой далекой, что местные жители либо не знают, что такое сандал, либо такие нищие, что купить его не могут. Эти сказки повествуют о глупости, хитрости и мудрости, о нравственности и о суете мира сего, но в контексте торговли и путешествий — т. е. в духе мироощущения согдийского общества.

В Армении тексты возмещают отсутствие потерянных фресок светского содержания, а на фоне согдийской живописи и дальнего эха Дуньхуана собрание *Չրոյց Պղ նձէ Բաղաբի* — уже не курьез или изолированное явление. Мы можем восстановить его контекст: оно является характерным отражением общей духовной и художественной культуры просвещенного среднеазиатского космополиса купцов, проповедников, монахов, переводчиков, художников и читателей — буддийских, христианских, зороастрийских — скитальцев по жизненной дороге, протянувшейся от крымского побережья, от Су(г)дака, по армянским хребтам и долинам, через иранские равнины до Чинумачина и океана.

¹ Разнообразие языков и письменностей всего красноречивей свидетельствует о космополитизме согдийского общества в эпоху поздней античности, см.: *Sims-Williams N. Sogdian and Turkish Christians in the Turfan and Tun-Huang Manuscripts. Firenze, 1992.*

² Между прочим, и армянское собрание можно разделить, *mutatis mutandis*, на такую троичную композицию, где христианские жития, светские назидательные пословицы и загадки, предназначенные для молодежи, занимают соответствующие места.

³ См.: *Marshak B. Legends, Tales, and Fables in the Art of Sogdiana. New York, 2002.*

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОТЧЕТАХ ПОСЛАННИКОВ
ПАПЫ РИМСКОГО ИННОКЕНТИЯ IV К ХАНУ МОНГОЛОВ
В 1245—1247 ГГ.

В катастрофическом монгольском нашествии на Центральную Европу в 1241 г., помимо разрушительных факторов, имели место и позитивные моменты. Одним из них было пробуждение у западных европейцев интереса к неизвестному до сих пор народу, происходящему из глубины Азии, его отчизне и соседям. Безусловно, такая заинтересованность исходила не из одного только любопытства, а из практических соображений. Европейцы хотели познакомиться с обычаями и реальной силой агрессоров, для того чтобы определить наиболее эффективные способы борьбы с ними, а также найти их возможных неприятелей-соседей, с которыми можно было бы заключить военные союзы. Сведения, которыми в то время располагали жители Западной и Центральной Европы об обширной территории Центральной и Северной Азии, были весьма скромными. Чтобы изменить эту ситуацию, правители Западной Европы сразу же после монгольского нашествия выслали в те края несколько посольств, представители которых должны были выполнить два основных задания: установить контакт с находящимся в глубине азиатских степей монгольским ханом, а также как можно лучше узнать грозного врага. Особенно удачной оказалась миссия под предводительством францисканца Джованни де Плано Карпини в 1245—1247 гг., организованная римским папой Иннокентием IV. Папским посланникам удалось проникнуть вглубь монгольских степей, благополучно вернуться в Европу и, что особенно важно для потомков, составить отчеты об этом походе. Такие отчеты написали три участника похода: сам Карпини и два его товарища — польский францисканец, которого звали Бенедикт Поляк, и таинственный С. де Бридиа, известный только по своему имени¹. Отчеты отличаются друг от друга по объему, содержанию и степени популярности (самым известным, без сомнения, является текст Карпини). В основном все они содержат аналогичные сведения, что, несомненно, следует не только из того, что их авторы были членами одного посольства, но также и из того, что все они подвергались одним и тем же испытаниям, вместе обсуждали и оценивали события своего вояжа. Однако эти отчеты содержат также и различные сведения, не повторяющиеся в других и часто дополняющие друг друга. Все без исключения отчеты являются источниками важных сведений, касающихся истории монголов, (последние называются в их текстах татарами). Большое внимание в них, помимо описания самого путешествия, уделено монгольским завоеваниям во времена правления Чингисхана и его ближайших преемников; материальной культуре монголов с подробным описанием их оружия и военного искусства; духовной культуре и обычаям монголов; географической характеристике территории, на которой те жили; сведениям о странах и народах, покоренных монголами, дополненные замечаниями об их отличительных чертах, местами приукрашенными любопытными историями, услышанными, несомненно, во время путешествия.

Наличие в отчетах миссии Карпини подробного описания пути ее следования позволяет проанализировать те сведения, которые касаются Центральной Азии. Этот географический термин, естественно, ни в одном из трех текстов не присутствует, однако именно к этому региону относится информация об отрезке пути, пройденном посольством от реки Урал до степей, населенных монголами. Этим краям папские посланники посвятили по несколько абзацев в своих отчетах. Основной блок сведений о Центральной Азии присутствует в текстах Карпини и Бенедикта Поляка, тогда как соответствующая информация С. де Бридиа очень лаконична.

Эти данные о Средней Азии можно разделить на две группы:

1) Сведения, услышанные посланниками во время путешествия, т. е. полученные ими от третьих лиц.

2) Собственные наблюдения авторов отчетов.

К первой группе относится информация, касающаяся событий, связанных с завоеванием этой части Азии монголами, в том числе сообщения о трагической судьбе некоторых центрально-азиатских городов и земель, попавших под власть монгольских ханов. Ко второй группе принадлежат сведения об особенностях географического характера тех территорий, которые посетили сами посланники, а также о людях, живущих в этих землях, с подробным описанием языков, на которых они говорят, об исповедуемых ими религиях и т. д.

Итак, начнем с того, что папские посланники переправились через реку Урал. На ее пограничный характер особое внимание обратил Бенедикт Поляк, который написал: «На окраине Комании»

(= половецких степей) мы переправились через реку, называемую Иарах (= Яик, т. е. сегодняшний Урал), где начинается страна кангитаров»². Единственное, что написал по этому поводу Карпини, это то, что Комания — страна «очень большая и длинная», и что «потом мы достигли края кангитов»³. Он упомянул реку Урал в другом контексте. Описывая страну Команов, он отмечает, что эти земли «абсолютно равнинные и на них есть четыре большие реки». Он перечисляет их, начиная с запада: Днепр, Дон, Волга и, наконец, Яик (в оригинальном написании Iaes). Карпини также пишет, что кочуют над Уралом люди двух тысячников армии монгольской, одного — с одной стороны, а другого — с другой. И далее добавляет, что зимой они идут вниз по реке, а летом — вверх, к горам⁴. Столь различные замечания, касающиеся реки Урал, у Карпини и Бенедикта Поляка легко объяснимы. Несомненно, последний передал сведения об Урале как о пограничной реке, восходящие ко времени до монгольского нашествия, а информация Карпини отражает современную ему ситуацию, когда Урал был рекой, протекающей по территории, уже занятой монголами.

За рекой Урал, являющейся восточной границей Комании, по сведениям Бенедикта Поляка, жили кангитары. Карпини же помещает за Команией кангитов. Оба эти этнонима определенно покрывают одну и ту же группу степных кочевников, и можно с уверенностью сказать, что это были канглы (восточные кипчаки).

Через земли кангитов/кангитаров, т. е. через территории, лежащие к северо-востоку от Каспийского моря и к северу от Аральского моря, папские посланники ехали в течение 20 дней. И Карпини, и Бенедикт Поляк обращают внимание на очень редкую плотность населения, «большой недостаток воды», наличие обширных соленых болот и соленых рек. О кангитах/кангитарах Карпини и Бенедикт Поляк пишут, что они были практически истреблены монголами, которые поселились на их земле, а уцелевших кангитов/кангитаров превратили в своих подданных. Карпини и Бенедикт считали кангитов/кангитаров «язычниками», поскольку они не исповедывали ни одной из великих религий: ни христианства, ни ислама. Они не обрабатывали землю, а жили за счет разведения скота. Они не строили домов, а жили в палатках⁵. Данные наблюдения отражают основные черты быта степных народов.

За землей кангитов/кангитаров в течение восьми дней они ехали через «песчаную пустыню». А когда она закончилась, вступили в «страну бисерминов» (по Карпини) или в «Тюркию» (по Бенедикту Поляку). Оба названия понятны. «Тюркия» — это земля, на которой жили тюрки, т. е. люди, говорящие по-тюркски. Слово «бисермин» у Карпини, как и популярные в средневековой Европе названия «бурсорман», «бисурман» или «басурман», — это искаженная форма османотурецкого слова «müsliman», то есть «мусульманин»⁶. Оба эти слова, использованные для названия земель, до которых добрались папские посланники, а также утверждение Карпини о том, что жители этих земель «говорят на языке команов... но придерживаются принципов сарацинов (= арабов)»⁷, указывают на то, что, по крайней мере, в северных районах Хорезма в то время уже по численности доминировало население, говорящее не на хорезмийском (индоевропейском, иранском) языке, а на одном из тюркских (хотя, без сомнения, это не был команский, т. е. половецкий язык, скорее огузский — европейцы не отличали друг от друга эти два языка), а также на то, что эти земли уже подверглись существенной исламизации. Аналогично описал бисерминов и С. де Бридиа: «Сарацины, говорящие на языке команов»⁸. В том, что речь идет именно о Хорезме, убеждают нас дальнейшие сведения. Карпини записал, что в этих землях путешественники встретили «огромное количество разрушенных городов и разоренных деревень»⁹. Таким образом, он отметил существенное отличие этого региона, населенного людьми, ведущими оседлый образ жизни и имеющими густую сеть поселений, от территорий, граничащих с ними на севере, где живут кочевники, не строящие городов и не имеющие постоянных поселений. Некоторые из городов на этих землях папские посланники посетили лично. В частности, они сообщают, что, достигнув какой-то огромной реки, они сначала наткнулись на «крупный город Ианкынт»¹⁰ (по Бенедикту Поляку) или Янкынт (по Карпини). Этот пункт отождествляется с Янгикентом¹¹ (в настоящее время это Джанкент — городище, лежащее в устье Сырдарьи при впадении в Аральское море). В 1946 г. в этом месте были проведены археологические раскопки, которые показали, что это городище с квадратной цитаделью имело прямоугольную форму размером 225×375 м. Оно, как было установлено в ходе этих исследований, было построено по хорезмийскому образцу огузами примерно в X в.¹² Огузский характер Янгикента/Джанкента в середине XIII в. подтвердил и Карпини, который утверждал, что население этих земель говорит на «языке команов», т. е. на тюркском. Археологи считают, что Янгикент/Джанкент так и не превратился в «значительный экономический центр»¹³. Но здесь возникает определенное противоречие с вышеупомянутым утверждением Бенедикта Поляка о том, что это был «крупный город». Едва ли Бенедикт, который был родом из польского

Вроцлава, одного из крупных европейских городов того времени, мог неправильно оценить размеры Янгикента/Джанкента. Если приведенное выше отождествление этого места верно, то в будущем археологические исследования смогут показать большее значение Янгикента/Джанкента в эпоху средневековья, чем это кажется сегодня на основании кратковременных исследований, осуществленных в 1940-х гг.

Жители Янгикента/Джанкента добровольно отдали свой город в руки монголов. Завоеватели не разрушили его, но разграбили. Многие местных жителей убили, иных переселили в другие места и заселили город новым населением¹⁴.

Карпини приводит названия еще двух городов, лежащих за «великой рекой» (Сырдарьей?): Бархин и Орнас. О Бархине (Barlik-känt по П. Пеллье¹⁵) написано, что его жители в течение длительного времени отражали нападение монгольских войск благодаря тому, что вокруг города были выкопаны и замаскированы ямы, в которые попали многие из его осаждавших. Наш источник подчеркивает, что взятие монголами Орнаса расчистило им дорогу вглубь «страны тюрок». Орнас был многолюдным и богатым городом, в котором жили «хазары, русины, аланы» и «сарацины», которые правили этим городом. Чтобы его взять, монголы перегородили реку, направили ее воды на город, который таким образом «затопили вместе с имуществом и людьми»¹⁶. Орнас отождествляется с Ургенчем — столицей Хорезма¹⁷. О правильности такого отождествления свидетельствует описание его взятия, подтверждаемое несколькими персидскими источниками, а также упоминание Карпини об этническом разнообразии его населения. Ургенч, несомненно, был узловым пунктом, в котором перекрещивались важные торговые пути. Опровержением же такой идентификации мог бы быть, на первый взгляд, тот факт, что Карпини размещает Орнас на Сырдарье, тогда как Ургенч лежал на Амударье. Однако следует согласиться с большинством исследователей, которые пришли к выводу, что Карпини, размещая этот пункт на Сырдарье, совершил ошибку¹⁸. Из его отчета следует, что папские посланники посетили упомянутый Орнас, однако это, скорее всего, было не так, поскольку они вообще не знали Амударьи, до которой, судя по всему, так и не добрались. Они могли только слышать об Орнасе/Ургенче от других информаторов. Этот вывод существенно влияет на реконструирование пути, по которому следовали францисканцы. По мнению некоторых исследователей, например, Н. Р. Шастиной, Карпини и его товарищи ехали вдоль южных берегов Аральского моря, посетили Ургенч и переправились через Амударью¹⁹. Однако, если согласиться, что они никогда не были в Ургенче и даже не видели Амударью, то можно заключить, что в район устья Сырдарьи, куда папские посланники действительно добрались, они попали через земли, лежащие к северу от Аральского моря. Они следовали не по торговому пути, ведущему из Восточной Европы в центр Хорезма, а по аральским степям, в сопровождении местных (монгольских) проводников, другими словами, по более короткому пути, ведущему к их цели — «стране татар». Наверняка, миссия Карпини проехала через северные пределы Хорезма: отсюда и подчеркивание ее участниками тюркского характера местного населения.

У Карпини можно встретить упоминание о том, что властелин этого края, называемый «Высоким султаном» (в оригинале *Alti Soldan*), был умерщвлен вместе с потомством монголами. Вслед за П. Пеллье, принято считать, что речь идет о Джелал ад-Дине, сыне последнего шаха Хорезма, Ала ад-Дина Мухаммеда²⁰ (впрочем, по мнению Н. Р. Шастиной, скорее всего, это был сам Мухаммед²¹). К сожалению, смерть обоих властителей этих земель наступила при столь неясных обстоятельствах, что остается вообще неизвестным, действительно ли это сделали монголы. Поэтому нельзя однозначно отождествить «Высокого султана» с кем-либо из последних представителей династии хорезмшахов.

Через Тюркию посланники проехали быстро, по данным Бенедикта Поляка, в течение всего десяти дней²² — это еще одно свидетельство в пользу того, что францисканцы не следовали дорогой к югу от Аральского моря, т. е. практически через весь Хорезм — в этом случае они путешествовали бы значительно дольше.

Внимания заслуживает еще одно свидетельство Карпини о земле «Высокого султана»: «в том краю есть очень высокие горы»²³. Очевидно, папские посланники должны были проезжать через горные цепи западного Тянь-Шаня. Может быть, именно эти гористые территории в пределах сегодняшнего Кыргызстана путешественники, по словам главы миссии, преодолевали в течение целого месяца!²⁴

Оттуда они попали в «землю, называемую Каракитай, т. е. «черных китаев»²⁵. Бенедикт Поляк пишет о последних, что это язычники (т. е. не христиане и не мусульмане), а также, что они не встретили у них ни одного города. Это последнее замечание противоречит сообщению Карпини о том, что «в краю черных китаев [монголы] построили себе только один город. Зовется он

Дивулт»²⁶. Отождествление этого города является очень трудной задачей. Некоторые ученые предполагают, что это Омыл, упомянутый в другом месте отчета Карпини. Однако и его местоположение, несмотря на усилия многих исследователей, остается невыясненным²⁷.

В то же время, Карпини и Бенедикт Поляк сообщают, что «оттуда попали на какое-то, не очень большое море»²⁸. Обнаружили они его «с левой стороны»²⁹. Согласно Карпини, «по берегу этого моря мы шли много дней», «на море этом находится большое количество островов», «край этот [над этим морем] изобилует большим количеством рек, хоть и небольшими по размеру», «по берегам рек, по обеим сторонам, располагаются не очень обширные леса»³⁰. Н. Р. Шастина, ссылаясь на В. Рокхила³¹, считает, что эти описания относятся к озеру Ала-кол³². Однако с таким отождествлением нельзя согласиться. Во всех вышеупомянутых замечаниях Карпини, касающихся этого «моря», акцент делается на большие величины: применительно к данному отрезку путешествия он говорит: «много дней», «много островов», «много рек»! Все это противоречит основным характеристикам озера Ала-кол, его размерам и окружающей среде. Возможно, этим «не очень большим морем» был для Карпини Балхаш, который в семь раз длиннее Ала-кол, с островами и большим количеством впадающих в него с юга рек.

Далее на восток лежала страна найманов, которую Карпини охарактеризовал как слишком «гористую и морозную»³³. О самих найманах Бенедикт Поляк пишет, что «когда-то они господствовали над татарами (= монголами)»³⁴. Оттуда посланники вступили, наконец, в «земли татар».

Сведения посланников папы Иннокентия IV к монгольскому хану, касающиеся земель Центральной Азии, являются лишь незначительной частью их отчетов. Концентрируясь, главным образом, на вопросах, связанных с монголами, все три автора — Карпини, Бенедикт Поляк и С. де Бридиа — значительно меньше внимания уделили территориям, через которые они проезжали по дороге к «землям татар». Однако очень важно то обстоятельство, что они собрали эти, пусть и скромные по объему, но зато интересные по своему содержанию сведения. Францисканские монахи конца первой половины XIII в. сумели запечатлеть образ далекого от них мира именно в то время, когда там уже произошли важные изменения, явившиеся следствием монгольской экспансии.

Примечания

¹ *Wyngaert A. van den. Itinera et relationes fratrum minorum seaculi XIII et XIV // Sinica Franciscana. I. Quaracchi, 1929; Путешествия в восточные страны Плана Карпини и Гильома де Рубрука / Ред., вступ. статья, примеч. Н. Р. Шастиной. Алматы, 1993; Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku. Relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów / Red. J. Strzelczyk. Poznań, 1993.*

² *Benedykt Polak. Sprawozdanie // Spotkanie dwóch światów. S. 225.*

³ *Jan di Piano Carpini. Historia Mongołów // Spotkanie dwóch światów. S. 164.*

⁴ *Jan di Piano Carpini. Op. cit. S. 161.*

⁵ *Jan di Piano Carpini. Op. cit. S. 164; Benedykt Polak. Op. cit. S. 225.*

⁶ Христианский мир и Великая Монгольская империя. Материалы францисканской миссии 1245 года. Критический текст, перевод с латыни *Истории Тартар* брата Ц. де Бридиа С. В. Аксенова и А. Г. Юрченко. Экспозиция, исследование и указатели А. Г. Юрченко. СПб., 2002. С. 263.

⁷ *Jan di Piano Carpini. Op. cit. S. 164.*

⁸ *C. de Bridia. Historia Tatarów // Spotkanie dwóch światów. S. 243.*

⁹ *Jan di Piano Carpini. Op. cit. S. 164.*

¹⁰ *Benedykt Polak. Op. cit. S. 225.*

¹¹ *Pelliot P. Recherches sur les chrétiens d'Asie centrale et d'Extrême-Orient. Paris, 1973. P. 40; Путешествия в восточные страны... С. 196; Христианский мир... С. 267—270.*

¹² *Толстов С. П. Города гузов (историко-этнографические этюды) // СЭ. 1947. № 3. С. 55—102; Nagrodzka-Majchrzyk T. Geneza miast u dawnych ludów tureckich (VII-XII w.). Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1978. S. 111.*

¹³ *Nagrodzka-Majchrzyk. Op. cit. S. 112.*

¹⁴ *Jan di Piano Carpini. Op. cit. S. 139.*

¹⁵ *Pelliot. Op. cit. P. 40; Христианский мир... С. 265—267.*

¹⁶ *Jan di Piano Carpini. Op. cit. S. 139.*

¹⁷ *Pelliot. Op. cit. P. 41; Путешествия в восточные страны... С. 187—188; Христианский мир... С. 270—273.*

¹⁸ *Путешествия в восточные страны... С. 187—188.*

¹⁹ *Путешествия в восточные страны..., карта на с. 246—247.*

²⁰ *Pelliot. Op. cit. P. 39—40.*

- ²¹ Путешествия в восточные страны... С. 196.
- ²² *Benedykt Polak*. Op. cit. S. 226.
- ²³ *Jan di Piano Carpini*. Op. cit. S. 164.
- ²⁴ *Jan di Piano Carpini*. Op. cit. S. 165.
- ²⁵ *Benedykt Polak*. Op. cit. S. 226.
- ²⁶ *Jan di Piano Carpini*. Op. cit. S. 165.
- ²⁷ Путешествия в восточные страны... С. 181—182.
- ²⁸ *Jan di Piano Carpini*. Op. cit. S. 165.
- ²⁹ *Benedykt Polak*. Op. cit. S. 226.
- ³⁰ *Jan di Piano Carpini*. Op. cit. S. 165.
- ³¹ *Rockhill W.* The journey of William of Rubruck to the eastern parts of the world, 1253—1255 as narrated by himself, with two accounts of the earlier journey of John of Plan de Carpine. London, 1900.
- ³² Путешествия в восточные страны... С. 196—197.
- ³³ *Jan di Piano Carpini*. Op. cit. S. 165.
- ³⁴ *Benedykt Polak*. Op. cit. S. 226.

БАЗАРЫ ПАЙКЕНДА

В древности Пайкенд называли «городом купцов». По словам Наршахи, все жители Пайкенда были купцами. Они торговали с Китаем и другими странами и сильно разбогатели на этом [Frye 1954: 18]. Это высказывание относится к внешней торговой деятельности горожан. Что касается внутренней, городской торговли, то другой автор X в., Макдиси, сообщает о двух базарах в Пайкенде: одном, расположенном на цитадели, и другом — в рабаде у ее подножья [Мухамеджанов и др. 1988: 23]. Как видно из описания, в самом городе, т. е. на шахристане базары не упоминаются.

В коллективной монографии 1973 г. А. М. Беленицкий привел высказывание В. В. Бартольда о незначительной роли шахристанов во внутренней торговле: «Только в этом месте близ шахристана (Ворота Базара в Бухаре) был базар, помещавшийся в Бухаре, как вообще в домусульманских городах, вне черты города» [Беленицкий, Бентович, Большаков 1973: 110]. В свою очередь, А. М. Беленицкий опровергал это положение, опираясь на материалы из Пенджикента. В последующие годы, благодаря, прежде всего, работам В. И. Распоповой, на XVI объекте в Пенджикенте были открыты базар и улица с лавками и мастерскими внутри города, небольшой базарчик перед воротами на востоке (IX объект) и ряд лавок и мастерских в разных частях города [Распопова 1990: 130, 142].

В Пайкенде в разные годы на различных участках шахристана были раскопаны лавки, относящиеся в основном к последнему периоду жизни города (концу X — началу XI в.). Данное сообщение — это первая попытка собрать разрозненный материал из Пайкенда по этой теме.

Археологически лавки выделяются по сочетанию двух признаков:

1) Одно- или двухкомнатные строения, без связей с прилегающим домом и отдельными выходами и улицей. Часто они имеют более тонкие стены и столбы от навесов перекрытия.

2) Наличие тандыров или очагов, остатки ремесленного производства.

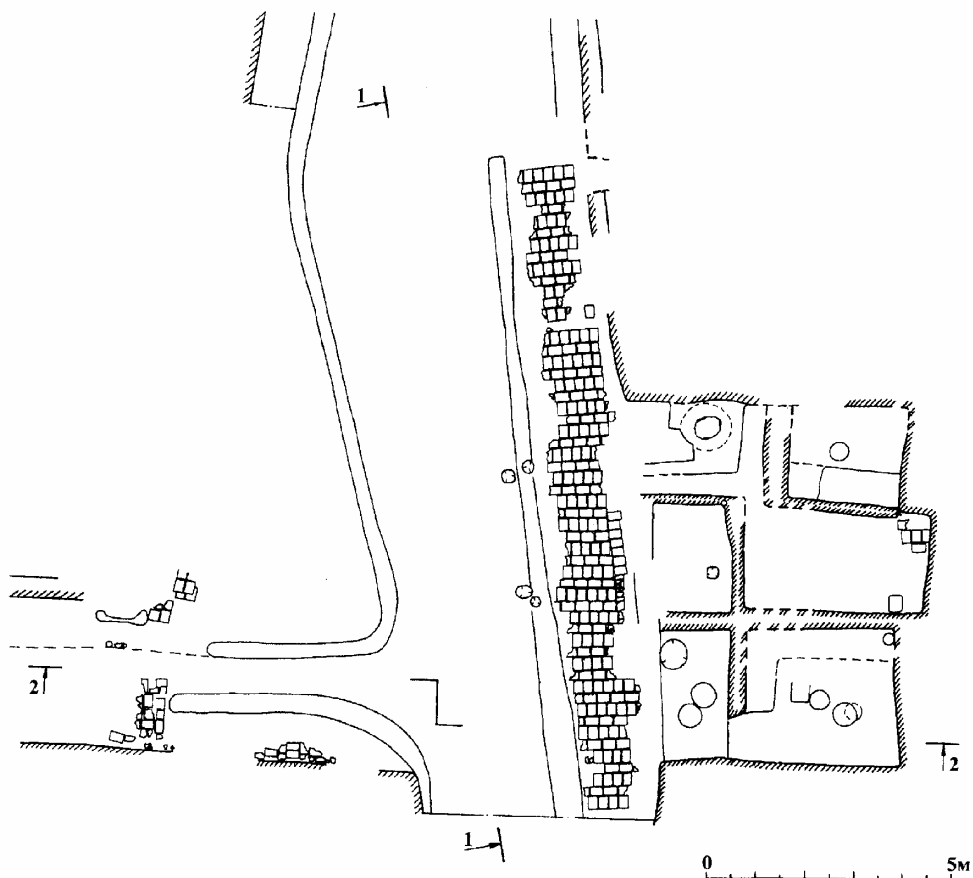
В городе еще не открыто площадей, поэтому пока можно говорить только о лавках вдоль улиц. Как же они концентрируются? На сегодняшний день на шахристане открыто четыре участка с лавками (А—Г).

А. В центре города, возле холма, где в VIII в. располагалась аптека. Теперь известно, что в начале XI в. к северу от засыпанного к тому времени здания аптеки проходила улица с высокой суфой из жженого кирпича, на которой находились три лавки с тандырами, а рядом — общественный туалет. Перед лавками имелся навес на столбах. Лавки имели примерно одинаковую площадь — 6—7 м². В каждой из них имелся наклонный тандыр в сырцовом футляре. Кроме тандыра, в стене имелась ниша, а стены и пол были обмазаны ганчем [Мухамеджанов и др. 1988: 65—68].

Б. На шахристане I открыто три лавки, выходящие на улицу С. Угол с улицей 4 был занят крупным изолированным помещением 9×6 м с мощеным полом и двумя колоннами — возможно, это была квартальная мечеть (михраб в западной стене не сохранился). К северу от него открыто три помещения. Общая стена с запада отделяет их от жилого дома, каждое из этих помещений изолировано и имело отдельный выход на улицу. Два помещения имели тандыры, а в одном в пол было вкопано основание хума [Материалы Бухарской археологической экспедиции 2001: 38—40].

В. На перекрестке улиц 3 и В открыто однокомнатное помещение с выходом на улицу. С уровня раннего пола в помещении имелся *бадраб*, который на следующем полу сменил тандыр. Возможно предположить, что сначала здесь находился общественный туалет, превращенный потом в хлебопекарню [Материалы Бухарской археологической экспедиции 2002: 18].

Г. В 2004 г. раскапывался еще один отрезок уличной сети на шахристане I (см. рис.). Улица А у Т-образного перекрестка с улицей 2 имеет с восточной стороны тротуар-суфу шириной около 2 м и «проезжую» часть шириной 2,5—3,8 м. Высота горизонтальной суфы над наклонной уличной поверхностью в южной части составляет 0,43 м, северной частью она сливается с уличной поверхностью. Раскопанный участок суфы составляет 13,5 м. С восточной стороны она, возможно, примыкала к подрубленной стене шахристана I. Помещения, вероятно, были построены на подрубленной поверхности городской стены. С уровня суфы прослежены четыре прохода на восток. Напротив помещений 3 и 5, в канавке основания суфы и края «проезжей» части улицы расчищено по два гнезда от столбов. Расстояние между гнездами составляет около 2 м. Диаметр гнезд в канавке — 0,3 м и 0,25 м, их глубина — 0,6 м. Диаметр уличных гнезд — 0,39 м и 0,3 м, глубина — 0,5 м.



Лавки на перекрестках улиц Пайкенда

Лавка 1 состоит из айвана и помещения с суфой за ним. В первом стоял хум и остатки двух тандыров из перевернутых сосуда-тагора (в Пайкенде это редкость). В помещении открыто *сандали* в полу и три разновременных тандыра, а также стоявший в углу кувшин.

Лавка 2 состоит из айвана, за которым следует помещение с очагом.

В лавке 3 перед входом находился огромный *тандыр* в футляре, а за ним шло помещение с суфой и еще одним тандыром.

Все эти раскопанные лавки, скорее всего, являлись хлебпекарнями, в которых пекли и продавали лепешки (там не найдено ни шлаков, ни вообще металла). Улица с лавками ведет к воротам и, возможно, череда лавок продолжается от раскопанного участка на юг. Если так, то тогда это торговая улица. Суфы из жженого кирпича на улицах с навесами, на которые выходят лавки в Пайкенде, открыты на двух участках.

Выводы. Лавки в Пайкенде строились на участках вдоль или на самом месте крепостной стены, а также на перекрестках — наиболее оживленных для торговли местах. Лавки не являлись обязательной принадлежностью всех улиц. Их нет, например, на протяжении 120 м раскопанной улицы 1 на шахристане II и на протяжении 209 м улицы 4 шахристана I, которые были самыми длинными из известных пайкендских магистралей.

Лавки примыкают к жилой застройке, но изолированы от нее глухими стенами и имеют свои выходы на улицу. Не всегда производство находилось вне жилого дома. В нескольких случаях керамические печи открыты на территории самих домов. Впрочем, прямая связь печей с помещениями, как правило, не прослеживается и вполне возможно, что их возводили на временно заброшенных участках. В одном случае печь была перекрыта полами дома, а в двух других — впущена сверху. По комплексу обнаруженных предметов некоторые дома могут быть признаны жилищами ремесленников: отсюда в одном случае происходит набор калыбов, а в другом — металлические изделия. В Пенджикенте, в двух случаях в самих жилищах, принадлежавших ремесленнику и мелкому торгов-

цу, были открыты кузница и лавка. Состав находок позволил выявить на этом же городище ряд мастерских, располагавшихся на вторых этажах жилых домов [Распопова 1990: 130; 1999: 38].

Библиография

- Беленицкий А. М., Бентович И. Б., Большаков О. Г.* Средневековый город Средней Азии. Л., 1973.
- Мухамеджанов А. Р. и др.* Городище Пайкенд. К проблеме изучения средневекового города Средней Азии. Ташкент, 1988.
- Материалы Бухарской археологической экспедиции.* Вып. II: Раскопки в Пайкенде в 2000 г. СПб., 2001.
- Материалы Бухарской археологической экспедиции.* Вып. III: Раскопки в Пайкенде в 2001 г. СПб., 2002.
- Распопова В. И.* Жилища Пенджикента. Л., 1990.
- Распопова В. И.* Металлические изделия из Пенджикента (находки 1971—1998 гг.). СПб., 1999.
- Frye R. N.* The History of Bukhara / Translated from a Persian Abridgment of the Arabic Original by Narshakhi. Cambridge (Mass.), 1954.

К ИСТОРИИ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ШАХРИСЯБЗА И ЕГО ОКРУГИ

Главный город Кешского вилоята — Шахрисябз — связан с именем Амира Тимура, который родом из отюреченного монгольского рода Барласов, осевших в степях Кашкадарьи (Южный Согд) в середине XIII в. после вторжения сюда монгольских войск. С тех пор должно было пройти более 100 лет, прежде чем в Мавераннахре развернулись значительные политические события, приведшие Тимура, при поддержке Барласов, к окончательной победе в борьбе за власть. 7 апреля 1370 г., на курултае в Балхе он был провозглашен правителем всего Мавераннахра. При нем Шахрисябз-Кеш превратился в «подножие трона», резиденцию Барласов и вторую столицу государства, на благоустройство которой тратились значительные средства с тем, чтобы превратить этот город в жемчужину Востока.

Охарактеризовать фигуру Тимура однозначно невозможно. Жестокий и беспощадный в борьбе за создание своего обширного государства, за восстановление южной торговой магистрали древнего Шелкового пути в интересах развития экономики городов и укрепления мощи государства, Тимур, вместе с тем, развернул созидательную строительную деятельность. Возведенные при нем дворцы, культовые и мемориальные комплексы сохранились до настоящего времени в разных городах Средней Азии и Казахстана, и по ним можно судить о взлете человеческой мысли и таланте создателей той эпохи.

Особое внимание уделялось Шахрисябзу, где задолго до возвышения Тимура были похоронены его родственники и близкие ему люди. При нем окончательно сложились мемориальные комплексы Доруттиловат и Доруссиадат. К «зданиям джагатаидских султанов», о которых упоминает Мухаммад Бади Малихо, относятся мавзолеи, разбросанные по всей территории бывшего улуса Барласов. Они строились для знатной прослойки этого рода, члены которого были на службе и в окружении Тимура. В основном, это были представители военно-феодалной знати, начальники *туманов*, обеспечивавшие Тимура достаточным количеством войск. К таким мемориальным комплексам относится мавзолей полководца Тимура Эмир Мухаммад бин эмир Айюка, умершего в 1419 г. Мавзолей расположен в 16 км от Шахрисябза на яккабакском перекрестке дорог. Другой богатый, но безымянный мавзолей этого же времени находится в кишлаке Катта Тол Камашинского района. Представителей рода Барласов хоронили с большими почестями у себя на родине, о чем также свидетельствуют недавно открытые мавзолеи в округе Шахрисябза, в 17 км к северо-западу от города — в селении Сапарчи, лежащем на пути из Шахрисябза в Карши и Лянгар через Чиракчи. Из пяти мавзолеев сохранились руины только двух. Первый был в виде восьмигранника с подземным квадратным склепом, перекрытым сводом «балхи», и ведущим к нему дромосом. Кирпич жженный, размером 25×25×4—5 см. В основании стен восьмигранной гурхоны сохранился декор в виде наборной мозаики из расписанных позолотой майоликовых плит. В завалах — большое количество отдельных и спаренных кирпичиков с голубой глазурью, а также майоликовых плиток с рельефным геометрическим орнаментом и росписью растительного характера. Пол гурхоны выложен фрагментами глазурованных плит. Богатый архитектурный декор восьмигранника в виде люстровых и майоликовых плит с характерной цветовой гаммой позволяет датировать памятник концом XIII — началом XIV в.

К югу от восьмигранника расположен второй мавзолей, состоящий из зиаратхоны (11×12 м) и гурхоны (7,00×6,75 м), со склепом (3×3 м) высотой 1,40 м, сводом «балхи». Используемый для его постройки жженный кирпич имеет размеры 24×24×4 см. На полах обоих помещений сохранились орнаментальные полосы из майоликовых плиток. Внешний фасад гурхоны также сохранил майоликовую облицовку, идущую от основания стен.

Оба памятника дают богатый архитектурный декор в виде майоликовых плиток, из которых набирались мозаичные панно, характерные по рисунку и цветовой гамме (синий, белый, марганец, голубовато-зеленый) для XIV в. Набор квадратных красочных майоликовых плиток, включая и с резным орнаментом, очень богат и своеобразен и почти не встречается в декоре архитектурных памятников Шахрисябза XV в. Один только крестообразный узор на майоликовых плитах был использован в виде орнаментальной окаймляющей полосы на портале дворца Аксарай в Шахрисябзе. В целом, архитектурная облицовка загородных безымянных мавзолеев больше тяготеет к майоликовым декорам памятников конца XIII—XIV вв. Хорезма и Самарканда, что позволяет датировать начало мемориального комплекса Сапарчи первой половиной XIV в. Планировка мавзолеев также не противоречит такой датировке этого памятника, так как мавзолеи из двух купольных помещений

и в виде восьмигранника известны уже для начала XIV в. (Бухара, Хива, Куля-Ургенч). Не исключено влияние на постройки второй половины XIV в. в Шахриябзе из Хорезма, откуда Тимуром были вывезены в Шахриябз ремесленники, в том числе строители и мастера по изготовлению майоликовых изразцов.

Строительный материал, планировка двухчастных мавзолеев со склепами, конструктивно не связанными с фундаментами мавзолеев, богатая майоликовая облицовка интерьера и внешнего фасада с использованием оригинальных орнаментальных мотивов и цветовой гаммы позволяют сделать вывод, что безымянные мавзолеи в округе Шахриябза характеризуют эпоху Тимура, отличаясь своими майоликовыми изразцами от мавзолеев XV в.

SOURCES ON ALANO-KHAZAR RELATIONS

The aim of the present communication will be the analysis of the nature, reliability and significance of a broad selection of sources on Alano-Khazar relations, which are given below, divided into three main categories.

I. Historical Sources

— Many Muslim sources deal with events of the 2nd Arab-Khazar war involving Alans: 1) hostile incursion led by the «Turks» into the country of the Alans (103/721—722); 2) defeat of al-Ṭbit al-Nahrānī by Alans and Khazars in Marḡ al-Ḥaāḡrah, Armenia (104/722—723); [2] campaign led by al-Ḡarrḥā b. °Abdallāh al-Ḥakamī against Alans and Khazars (105/724); [3] campaign led by al-Ḥaḡāḡḡ b. °Abd al-Malik against the Alans, who then became tributary to the Umayyads (106/724-5); [4] campaign led by Maslamah b. °Abd al-Malik against the Khazar *āḤqān* through *Bāb al-Lān* «the Gate of the Alans» = the Darial pass (110/728—729); [5] defeat and death of al-Ḡarrḥā b. °Abdallāh al-Ḥakamī at the hands of «Turks» coming from the country of the Alans (112/730—731); [6] conquest of three fortresses (*ḥuṣūnā*) in the country of the Alans by Marwān b. Muḥammad (117/735—736); and [7] definitive campaign led by the latter against Khazaria through the Gate of the Alans (119/737)¹.

— Several authors refer to the travel of the interpreter Sallām to the court of the King of the Khazars (*Ṭarn maāḥlik al-Ḥazar*), crossing the land ruled by the sovereign of the Alans (*malik al-Lān*), under the Abbasid Caliph al-Wāṭiq billāh (227—32/842—47)².

— In the year 237/851, the Turkish general Abū Mūsā Buāḡ the Elder, sent by caliph Mutawakkil, fought the Alans and Khazars and was victorious over them, taking poll-tax (*ḡizyah*) from them all³.

— According to the Cambridge document (Schechter text), the Khazar king Sabriel concluded peace with the king of Alan (*meleḡ Alan*), his neighbour, and it was agreed that they would help each other in case of need. Later, in the days of king Benjamin, when many nations, instigated by the Byzantine emperor (*meleḡ Maqedōn*), rose up against Khazaria, the king of Alan slaughtered them, being the only one to come in support of the Khazars, «because some of them were observing the Torah of the Jews» (*kī mi-qāṣtam ḥāyū šomērēm tōraṭ hayehūdīm*). However, in the days of Aaron, the king of Alan waged war against Khazaria, once again incited by the Byzantine emperor (*meleḡ Yawan*). Then Aaron hired the king of the *Oghuz (*meleḡ Ṭūrḡia*: cf. ORuss. Торкы, Торцы) against him. Finally, after being defeated and captured alive, the king of Alan swore fealty to Aaron, who took his daughter as a wife for his son Joseph. The letter written by the latter to Ḥasdai ibn Šaprūt, a Jew in the service of the Cordovan Caliphs, mentions the Alans (*Alanim*) in a list of nations subjected to the Khazars⁴.

— Constantine Porphyrogenitus states ca. 950 that the ruler of Alania (ὁ ἐξουσιοκράτωρ Ἀλανίας) can plunder the nine regions of Khazaria (τὰ ἐννέα κλίματα τῆς Χαζαρίας), since they border with Alania, causing great damage on the Khazars. And given that this ruler is not at peace with the Khazars (μετὰ τῶν Χαζάρων μὴ εἰρηνεύοντος), but prefers by far the friendship of the Byzantine Emperor, he is able to do them much harm, laying ambushes in their way and attacking them unawares while they cross over towards Sarkel, the Regions and Cherson. Four clans of the Pechenegs lie beyond the river Dnieper towards the eastern and northern parts facing Uzia, Khazaria, Alania, Cherson and the remaining Regions. The land of the Pechenegs is distant a five days journey from Uzia and Khazaria, and a six days journey from Alania⁵.

¹ Al-Ṭabarī, ed. de Goeje, vol. II, p. 1437, 1462, 1472, 1506, 1530, 1573; al-Balʿamī, ed. Dorn, p. 461, 485; al-Balāḍurī 242, ed. de Goeje, p. 207.

² Ibn Ḥurdadbih, ed. BGA VI, p. 163 = Ibn al Faqih, ed. BGA V, p. 301 h; Ibn Rustah, ed. de Goeje, p. 149; al-Muqaddasī, ed. BGA III, p. 362.

³ *Taʿrīḥ Bāb al-Abwāb* in Müneḡḡim-Bašī Ḡāmiʿ al-Duwal A 1051 b; B 721; cf. *Kʿartʿlis Cʿxovreba*, ed. Qauxčʿišvili, p. 256—257.

⁴ Cambridge Document, lines 44—61, ed. Golb, Fol. 1v 21—2r 15 [Golb N., Pritsak O. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. Ithaca; London, 1982, p. 112—115].

⁵ Const. Porph. *De adm. imp.* 10—11, 37; cf. Gr. Σάρκελ = Turk. *Šarkel «White House»; Arab. *al-Bayʿāḍ*, *Sʿrʿšn* = Turk. */Sāriḡčīn/ «the White or Yellow One».

— In the year 6473 (A.D. 965), Svjatoslav of Kiev (964—972), after conquering the Khazars (Козари) and taking their city Бѣла Вежа «White Fortress» (= Sarkel), defeated the Alans and the Circassians (Ясы побѣди и Касогы) ¹.

— Several sources document the conquest by the Mongols of the countries of the Gazars and the Alans, as well as the fact that their lands belonged to the dominions of the Golden Horde ². Furthermore, Alans and Gazars are still mentioned together by the Franciscan friars in the reports on their travels throughout the Mongol empire, often in close connection with the city of Ornas (Ürgenĵ, the former capital of Ҳ^wārizm) ³.

II. Geographical sources

— The country of the Khazars and the Alans (*°amal al-Ḥazar wa'l-Lān*) has a surface of 700 by 500 *farsah* ⁴.

— West of the country of the Khazars and the Alans (*bilād al-Ḥazar wa'l-Lān*) there are four Turkic peoples, who live in peace with the king of the Khazars (*malik al-Ḥazar*) and the lord of the Alans (*ṣāhib al-Lān*): Čāpni Oghuz (*Baġna*), Bashkirs or Magyars (*Baġġird*), Pechenegs (*Baġnāk*) and *Lombards (*Nūk.rdah*). During the siege of the Greek city of *W.l.nd.r*, these four kings convoked the Muslim merchants coming from the country of the Khazars, Darband and Alania (*bilād al-Ḥazar wa'l-Bāb wa'l-Lān*), who tried to convert the Byzantine army to Islām before battle without success ⁵.

— The royal army (*ḡund al-malik*) of Khazaria was made up of Muslims known by the name of *al-Arsīyah* (v.l. *al-Lār[i]sīyah*), and originating from the environs of Ҳ^wārizm; mighty and brave, and the mainstay of the Khazar king, seven thousand of them were mounted bowmen ⁶. It has been suggested that the *Arsīyah* were nothing but Alans, [1] because of the phonetic similarity of *Arsīyah* to both the Greek ethnicon *ῥΑορσοι* and *Arsā*, the name of a Caucasian people mentioned by Abū Ḥamīd after *al-Lān* (cf. the name **ās*- «Alans»), and [2] due to their Ҳ^wārizmian origin, which recalls al-Bīrūnī's report ⁷ on «the tribe of Alans and *Ās*» (*ḡins al-Lān wa'l-Ās*), who inhabited the former «land of the Pechenegs» (*arḍ al-Baġnākīyah*), on the lower course of the Amū-daryā river, between Ҳ^wārizm and Ğurġān, before emigrating westwards to the coast of the Caspian Sea (*baḥr al-Ḥazar*).

— Mt. Caucasus is next to the border of the Khazars and the Alans (*ḥadd al-Ḥazar wa'l-Lān*) ⁸.

— The Muslims living in some infidel countries — those of Khazars and Alans among them — are governed by one of their own people, delegated by the local sovereign ⁹.

— The Caucasus (*Qabq*), after turning back westwards from the Caspian Sea (*daryā-ye Ḥazarān*), passes between the Sarīr and the Khazars, up to the beginning of the frontier of Allān (*ḥadd-e Allān*). The country of Allān lies between the Daghestan Avars (*Sarīr*) and the Khazars (*Ḥazarān*). A region (*nāhyat*) of Khazaria, whose people are warlike and have a large number of arms, is that of *Tūlās*, whose name has been compared with *Twaltæ*, name of the Southern Ossetes (one of the Alan tribes?) ¹⁰.

— The Alans are listed together with the Khazars and other peoples in passages from the Arab geographers dealing with: (a) peoples to the North of the Islamic empire (*mamlakat al-Islām*) ¹¹; (b) inhabitants of the North ¹²; (c) Caucasian peoples descending from Arū^c (Qur^ānic genealogy from Nūḥ / Noah) ¹³.

— To the North of the Caspian Sea (*baḥr Ğurġān wa-Ṭabaristān*) lies the land of the Khazars and the Alans (*arḍ al-Ḥazar wa'l-Lān*) ¹⁴.

¹ *Повесть Временных Лет*, ed. Adrianova-Peretc, p. 47; cf. the Laurentian and Hypatian chronicles, ed. ПСРЛ I² 65; II 53.

² De Bridia. *Hist. Tart. 26 terram Gazarorum et Alanorum*; Marco Polo 220, ed. Moule-Pelliot, p. 477; *K'art'lis C'xovreba*, ed. Qauxč'išvili, vol. II, p. 163, 181, 196, 229, 234.

³ Bened. Pol. 6; De Bridia. *Hist. Tart. 24*; Plan. Carp. *Hist. Mong. 5, 26; 9, 20*.

⁴ Al-Masū^c dī. *Murūġ*, ed. Pellat, § 1366.

⁵ Al-Masū^c dī. *Murūġ*, ed. Pellat, § 493—495.

⁶ Al-Masū^c dī. *Murūġ*, ed. Pellat, § 450—452.

⁷ *Tahdīd nihāyāt al-amākin*, ed. Botschakoff, p. 46—47.

⁸ Ibn al Faqīh, ed. BGA V, p. 295.

⁹ Ibn Ḥawqal, ed. BGA II, p. 227.

¹⁰ *Hudūd al-°ālam* 5, 18; 8, 6; 50, 4; on *Tūlās*, Ibn Rustah, ed. de Goeje, p. 139.

¹¹ Al-Iṣṭāḥrī, ed. BGA I, p. 5; Ibn Ḥawqal, ed. BGA II, p. 9—10.

¹² Ibn Ḥaldūn *Muqaddimah*, ed. Beirut, vol. I, p. 146.

¹³ Al-Masū^c dī. *Murūġ*, ed. Pellat, § 311]; (d) peoples who have no script [al-Nadīm I 1, transl. Dodge, p. 36—37.

¹⁴ Ibn Ḥaldūn. *Muqaddimah*, ed. Beirut, vol. I, p. 80.

III. Legendary Sources

— The Khazars crossed the Daruband and Darial passes and in successive attacks they plundered the land of the descendants of T'argamos (the Biblical *Togorma*), all of whom paid tribute to them from then on. The king of the Khazars (*Xazart'a mep'e*) had a son named Uobos, eponymous ancestor of the Ossetes, to whom he gave the land to the West of the river Lomeki (Terek) as far as the end of the Caucasus (Western Ciscaucasia)¹.

— Alexander the Great (*Alek'sandre Makedoneli*) conquered Eastern Georgia (*K'art'li*), leaving there as *erist'avi* the patrician Azon (Gr. Ἰάσων), who then occupied Western Georgia (*Egrisi*) and subjected the Ossetes, Leks and Khazars to tribute (*da moxarke qvna Osni, Lekni da Xazarni*)².

— Alexander the Great (*Eskandar*) organized a punitive expedition against the Russian Prince Qentāl, who had attacked Barda^c, the capital of Albania (*Arrān*). The latter levied in turn an army «from the seven Russias» (*az haft Rūs*); among his allies were «the troops of the Mordvins, Alans and Khazars» (*ze-Portās ō Ālān ō Ĥazarān gorūh*). As for his order of battle, the Khazars were arranged on the right, to the left the Mordvins, the Alans in the rear and the Finnic Veps (*Īsū*) in the vanguard³.

— Kosaro (Arm. *Xosrov*, 222—238), king of Armenia, was able to defeat K'asre the Sasanian (also named Ardašir = MPers. *Ardaxšīr Pābagān*, 224—240), helped by the Georgian king Asp'agur, who «opened the Gates of the Caucasians» (*ganuxunis karni Kavkasiant'ani*), brought down Ossetes, Leks and Khazars (*Ovsnī, Lekni da Xazarni*) and joined forces with Kosaro. After Asp'agur's death, a Georgian envoy, who was despatched to present submission to the Persian king, is said to have told him about the city of Mc'xet'a and «its proximity to the Khazars and Ossetes»⁴. According to Agat'angelos⁵, Xosrov opened the Gates of the Alans and the Guard of Ćor (*banal zdrowns Alanac' ew zĆoray pahakin*), obliging contingents of Huns (*zōrs Honac'*) to come out and invade the regions of the Persians.

— In response to a raid led by the Ossetes P'eroš and Kavtia against K'art'li, the Georgian king Mirian (284—361) ravaged Ossetia, penetrated as far as Khazaria and returned by the road of Dvalet'i⁶.

— When the Georgian king Vaxtang Gorgasali (447—522) was ten years old, innumerable Ossete troops (*Ovsnī spani uric'xuni*) came down, ravaged K'art'li and led away his sister Miranduxt. However, when Vaxtang grew up, he sought vengeance and waged war on the kings of Ossetia (*mep'et'a Ovset'isat'a*), who assembled their troops and were joined by a force from Khazaria. Vaxtang slained the Khazar *T'arḥan* and the Ossete *Baqat'ar* in single combat, and then a battle was fought, whose outcome was a great Georgian victory: both Ossetia and the lands of Pechenegs and Circassians (*Pačaniket'i da Jik'et'i*) were pillaged, and Vaxtang brought back his sister home⁷.

— Following his father's strategy, Anūšīrwān Kīsa erected Darband (*al-Bāb wa'l-Abwāb*) and fortified, among many other places, Darial (*Bāb al-Lān*), in order to set up an impassable barrier to the incursions of Khazars, Alans and other infidels; had God not inspired the kings of Persia to build them, there is no doubt that the kings of the Khazars, the Alans and other nations would certainly have reached the provinces of Transcaucasia⁸.

— *Bulgariyos*, the eponym of the Bulgars, was allowed to settle in Moesia and Dacia by the Byzantine Emperor Maurice (582—602), while his two brothers — only the elder, *Kazarīġ*, after whom the Khazars were named, is mentioned — set off «to the land of the Alans, which is called Barsalia» (*l-atrā d-Alān, d-meṭqrē Barsaliyā*), in the area of Qaspiyā, also called «The Gate of the Tūrāyē» (*tar'ā d-Tūrāyē*), i. e. the Darband pass⁹.

¹ *K'art'lis C'xovreba*, ed. Qauxč'išvili, p. 11—12; according to Vaxušt, the Khazar attack took place in 1647 B.C.!

² *K'art'lis C'xovreba*, ed. Qauxč'išvili, p. 19.

³ Nežāmi, *Eskandarnāme* [Spitznagel L. (ed.). *Expédition d'Alexandre le Grand contre les russes*. St. Petersburg, 1828, p. 36, 55].

⁴ *K'art'lis C'xovreba*, ed. Qauxč'išvili, p. 59, 63.

⁵ Ed. Tēr Mkrtc'ean-Kanayeanc', p. 16.

⁶ *K'art'lis C'xovreba*, ed. Qauxč'išvili, p. 67—68.

⁷ *K'art'lis C'xovreba*, ed. Qauxč'išvili, p. 145—157. On *T'arḥan*, cf. Arab. *Ās-tarḥān*, name of a Khazar general, and Астрахань < **Ās-Tarḥan* (the headquarters of the commander of the Ās (Alanic) troops in the Khazar khaganate?); on *Baqat'ar*, cf. Arab. *B.ġāy.r.*, name of the Alan kings, emended by Minorsky into **Baġātar* [see *Alemāny A.* Alanenforschung und Orientalistik: der alanische Titel **Baġātar* // Akten des 27. Deutschen Orientalistentages. Norm und Abweichung. Würzburg, 2001].

⁸ al-Balāḍuri, ed. de Goeje, p. 194—195; al-Masū' dī. *Murūġ*, ed. Pellat, § 442, 504.

⁹ Michael the Great, ed. Chabot, p. 391—392; cf. Syr. *Barsaliyā* = Gr. Βερζιλία, Arm. *Basilk'*, Ps.-Zacharias Rhetor *B'grsyq*; Syr. *tar'ā d-Tūrāyē* = Gr. Τζούρ, Arm. *Ćoray pahak*, Arab. *Bāb Šūl*.

THE FORTIFIED FARM-HOUSES OF MERV (TURKMENISTAN)
IN THE 18TH — EARLY 20TH CENTURIES

Introduction. In the 18th—19th centuries, the Merv oasis was the object of continual dispute between competing factions, Uzbeks khanates, Afghan tribes and Iranian rulers. The struggle to control Merv intensified after Nadir Shah's death in 1745, which completely destabilized the region and allowed the khanates of Bukhara and Khiva to launch continuous slave raids against the population of the oasis in total impunity.

This anarchic situation had a direct influence on the way people lived, including the architecture of their settlements. The absence of government led to the emergence of local rulers, usually the landowners [Cambridge History of Iran 1991: 581]. They built small forts or *qal'a*, which were used as refuge for men and animals. The protection offered by these forts was probably insufficient as numerous courtyard houses or *howli* were also fortified with high walls and a refuge building called *ding*. Despite the lack of description, the Merv oasis could have had other defenses such as refuge towers or a wall surrounding the cultivated area.

State of preservation of the fortified farm-houses. The Russian victories in Turkestan in the second half of the 19th century (the Khanate of Khiva was captured in 1873 and Merv in 1884) brought an end to the raids and peace to the region. The fortified domestic architecture became useless and slowly lost its defensive features.

The creation of the Soviet Union had also profound effects on the society of the region with the apparition in the thirties of new forms of settlement like the collective farm or *kolkhoz*, and the promotion of an extensive agriculture. The old forms of settlements, including the fortified houses, were largely abandoned and destroyed, quickly replaced by wheat and cotton fields.

The legacy of the last hundred years explains easily why the fortified houses of the 18th — early 20th centuries have been nearly wiped out from Merv. Not a single complete house was visible in 1998 and only a residential block and few *dings* were still standing. Any attempt to imagine how a fortified house looked like in the past from these buildings would have been very difficult. For instance, the clues proving that the *dings* were not isolated refuge towers are scarce: the existence of a large mound around them and the presence of beam slots on their facades (with the exception of one *ding* situated in the Kalinin Kolkhoz where an animal shelter is built against the *ding*). Therefore, we need to rely on previous studies or descriptions to understand today's remains.

During the 19th and the 20th centuries, travelers gave some account of these fortified houses. E. Markov, a Russian journalist, gave the following description of the Merv oasis at the beginning of this century: «It is difficult to distinguish one howl from another. They are arranged so close together around Merv that their orchards and vineyard fuse together so as to create what appears like one enormous settlement. They are small clay rectangular boxes without rooves. They are large and have a very small door and a single window. A higher outbuilding attached to the dwelling performs the function of a look-out tower in case of attack and facilitates defense» [Левина, Овезов, Пугаченкова 1953: 25].

Scientific expeditions soon followed. An ethnographic expedition studied this domestic architecture in the 1930s and the Yuzhno-Turkmenistanskoi Arkheologicheskoi Kompleksnoi Ekspeditsii (ЮТАКЭ) did the same in the 1950s [Левина, Овезов, Пугаченкова 1953; Пугаченкова 1958; Левина 1959]. With the information they gathered it is possible to reconstitute the fortified farm-house and its *ding*.

Description of the fortified farm-houses. The fortified house was built according to two basic principles. The first one was the protection of intimacy. There was few openings on the outside and the life of the house was directed inward. The second principle was its southern exposure because the air from the south is fresh in summer and relatively cool in winter. On the opposite, the north and west winds bring icy air in winter and burning heat in summer.

Most fortified houses had a rectangular plan, from 22×20 m to the 61×44 m of the merchant's house found in Bairam Ali [Herrmann 1999: 188], which was one of the most impressive ones. In some cases, the plan was trapezoidal or square. The fortified house consisted of a large courtyard within which were erected the residential units, one or more *dings* and pen for animals. The house was designed against the sporadic raiding of lightly armed men and therefore was not strongly fortified.

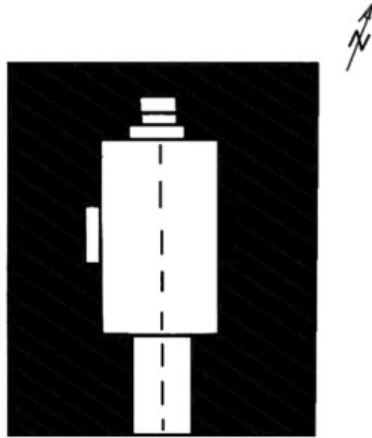


Fig. 1



Fig. 2

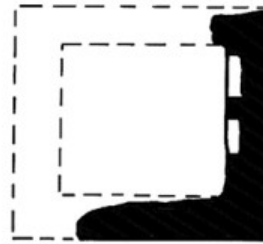


Fig. 3



Fig. 4

Dings, scale 1:100

The main protection was provided by the high wall surrounding the courtyard, built with *pakhsa* blocks. A photograph taken by Zhukovsky shows that the top of this wall could sometimes have a parapet wall had vertical loopholes from which defenders can shoot at approaching enemies [Жуковский 1894: 151]. The only entrance to the courtyard had solid wooden gates.

The courtyard enclosure served as rear wall for most of the buildings of the house. These buildings were generally one storey high, except for the *ding*. The main material used for their construction was the square mud brick, 25—30 cm per side, 5—8 cm thick, although *pakhsa* was sometimes used, usually for the base of the walls.

The residential units were built along the northern side and had between two and six rooms rooved with domes or beams [Левина, Овезов, Пугаченкова 1953: 26]. Tents erected in the courtyard also provided living space. A covered gallery called *iwān* was built in front or on the side of the residential units. The closed rooms were used during the coldest months and, during the rest of the year, life was taking place under the *iwān* or in the open air. As an example, the residential units of the merchant's house of Bairam Ali consisted of two long rectangular blocks (16.50—18×4.9 m) with an *iwān* in front of them. Each block had probably a flat roof and was divided into 4 rooms with doorways leading to the *iwān* [Herrmann 1999: 188].

Around the courtyard, there were a number of outbuildings for the livestock. According to the ethnographic expedition of 1930, these structures were sunk into the ground to keep them warm during winter. The presence of pits for the storage of grains was also mentioned [Левина, Овезов, Пугаченкова 1953: 28]. They were presumably situated near the cooking area.

Ding. The *ding* was the most important building of the fortified house. The term *ding* may derive from the Turkish *dinç*, which means vigorous or robust. If this is correct, two reasons might have motivated the choice of this name. First, the *ding* had the appearance of a stronghold, being usually the only two-three storeys building of the house with walls thicker than those of the courtyard or of the other buildings. Secondly, it performed the function of stronghold of the house in case of raids. Between raids, the *ding* was used for storage, for livestock or as residential unit.

The dual function of the *ding* was reflected in its architecture. The *ding* was usually rectangular and consisted of two or three storeys with a flat terrace at the top (Fig. 1—3). The walls were 1—1.60 m thick at ground level (as opposed to the 0.70—0.90 m thickness found in other courtyard buildings) presumably to carry the weight of multiple storeys (Fig. 2). According to Pugachenkova, its height could be as much as 10—12 m. (Fig. 4) [Левина, Овезов, Пугаченкова 1953: 27]. The *ding* was roofed with a *balkhi* vault or a barrel vault in the Merv oasis. Few of them were roofed with beams. The *ding* was sometimes decorated with geometric patterns or with buttressed corners [Левина, Овезов, Пугаченкова 1953: 63].

The ground floor of the *ding* was, in most cases, a single room entered through an arched doorway, 0.80—1.20 m wide, large enough for bringing stores or for the passage of livestock. The lower storey had usually small openings into the wall for lighting and ventilation. When a *balkhi* vault was used, it seems that these openings were triangular. The presence of others features in the lower room probably depended on its function. For instance, the niches and the chimney incorporated into the wall of a *ding* found near the Electricity Station in Bairam Ali shows the room was primarily residential (Fig. 1) [Herrmann 1999: 190]. When used for storage and livestock, the room had no special features. Adjacent structures, *iwāns* or animal shelter, rooved with beams, were built against the lower part of the *ding*, hence the characteristic beam slots found in its façade.

The upper floors and the terrace of the *ding* were designed to be cut from the rest of the house in case of danger. That is why no direct access was possible from the ground floor. The only access to this part of the *ding* was a small door situated on the first floor (Fig. 4). It was acceded via a ladder, which could be removed if necessary. The door could also be blocked, transforming the *ding* in a sort of keep. The photograph taken by Zhukovsky shows that the first floor of the *ding* had small windows, which could possibly be used as firing slots [Жуковский 1894: 151]. Finally, the parapet wall of the terrace had certainly rows of loopholes and maybe vertical firing slots, quite common in the fortifications of this period. All these defensive features were enough to withstand raids for a short time.

It must be noted that the term *ding* is also used for isolated refuge towers found dotting the fields at the same period. They seem to have been similar to the dings found in farm-houses hence the difficulty to distinguish between them today.

Conclusion. The fortified farm-house with its *ding* was not specific to the Merv oasis. In Turkmenistan, this domestic architecture has been found and studied along the Kopet Dag at Anau, and

Peshtak-Abiverd [Левина 1953: 344—378], along the Amu Darya [Левина, Овезов, Пугаченкова 1953: 28—49] and in the Khorezmian region [Жданко 1952: 461—566]. Other regions with similar landscape and facing the same problems of sporadic raids, also developed a fortified domestic architecture (for instance the murabba'a in the United Arab Emirates and the sabla in the Sultanate of Oman) during the same period. The phenomenon of fortified farm-houses was also not exclusive to the 18th — early 20th centuries. It is a very old form of settlement in regions with flat landscape and it probably reappeared with every new period of insecurity as illustrated by their current use in Afghanistan today.

Bibliography

- Жданко Т. А.* Каракалпаки Хорезмского оазиса // ТХЭ. Т. I. 1952.
Жуковский В. А. Развалины Старого Мерва. СПб., 1894.
Левина В. А. Щилище Анау // ТЮТАКЭ. Т. II. 1953.
Левина В. А. К вопросу о генезисе и типах поздних поселений Южной Туркмении (по данным археологии) // ТЮТАКЭ. Т. IX. 1959.
Левина В. А., Овезов Д. М., Пугаченкова Г. А. Архитектура туркменского народного жилища. Аш-хабад, 1953.
Пугаченкова Г. А. Этнографические памятники туркменской народной архитектуры // ТЮТАКЭ. Т. IX. 1959.
The Cambridge History of Iran. Vol. 7. Cambridge, 1991
Herrmann G. Monuments of Merv. London, 1999.

THE QUALITY V. QUANTITY: SOME BASIC FEATURES OF
THE MONGOL MILITARY SYSTEM

An extraordinary efficiency of Mongol armies of Genghis Khan and his successors in their confrontation with different types of opponents — from nomadic peoples to Western European knights — keeps attract attention of historians. The reason for their victories, thus, is one of the most important questions to answer. This paper intends to discuss some basic features of the Mongol military system that are responsible for their success.

A traditional explanation of their victories refers, mostly, to Mongol overwhelming tactical mobility due to their use of spare horses and their hard discipline, which was in a great contrast to the lack of cohesion and general «disunity» of their enemies. Though some scholars, such as M. Gorelik, pointed out that the Mongols had a good quality arms and armour [see, e. g. Горелик 1987: 163—207], there was no serious analysis of tactical and strategic implications of this fact. As a result, the generally accepted opinion that the Mongols had an excellent army superior to other armies of the epoch [for this view see, e. g. Morgan 1979: 83], was taken for granted without detailed explanation neither sufficient argumentation.

On the contrary, the opposite point of view, developed in a series of articles by J. M. Smith, Jr., which consider the Mongols as poorly equipped horse-archers who gained their victories by sheer weight of numbers, has a substantial and, at a first glance, quite convincing argumentation [see, e. g. Smith 1984: 307—345; 1975: 271—299]. The question of the *quality* of Mongol troops in comparison to that of their enemies, especially the Mamluks (the latter being thoroughly studied by J. M. Smith), is only one, though quite important, to answer. In order to understand the reason of the Mongol military success, however, it is necessary to address a complex of different aspects of Mongol warfare and military organization.

«**Quantity**». First of all, the question of the numerical strength and quality of the Mongols should be specified. I even would agree with J. M. Smith that an average Mongol warrior was inferior to his Mamluk opponent. But the problem lies in other direction. The number of such picked troops of Muslim lords, even if they, indeed, were better trained and equipped than the Mongols in general, was quite limited. Normally, it was a body of several hundreds of perfectly trained professional cavalymen. The Muslims resembled in this respect their Christian antagonists, who also relied on small detachments of professional soldiers, composed mainly from heavy knightly cavalry, though mercenaries, mostly footmen, also played an important role starting from the 12th century. But again, their number was quite limited — hundreds of professional soldiers, rarely few thousands. Medieval Western armies virtually never exceeded 2—3 thousand knights and a similar number of picked footmen. The same is true regarding the Muslim armies, which never had more than several thousands Mamluks, though numbers of auxiliary light cavalry and footmen could be larger than in Europe, but rarely exceeded 10—20 thousand. All figures in Medieval chronicles that mention dozens or even hundreds of thousands strong armies should not be taken literally, and after more than convincing works of J. F. Verbruggen [1977] almost nobody does it, at least as regards Western Europe.

The reason behind relative smallness of these armies is also rather obvious. In the Middle East and Western Europe, as well as in China, the time of a military system rooted in the all-embracing peasant levy, composed of free land-holders, had gone long before the period under consideration. The loss of land and freedom, in different forms, caused also a drastic decline in military quality of the traditional levy. Finally, it was totally replaced in the West by the military knightly aristocracy, the levy being not called at all — except under some extraordinary circumstances. Similar processes in different forms took place in medieval East and Byzantium. As a result, all military systems of developed sedentary societies, however different in detail, possessed the same common feature: they were based on limited contingents of military elite, and, as a result, the armies were rather small.

The Mongols, however, represent a different type of society that produced, in turn, an absolutely different military system, namely the one based on the tribal levy. This system was used by Genghis Khan, who managed to unify the whole of Mongolia, thus unifying and re-arranging the local tribal levies into one centralized army. As a result, his unified army was still based on the principle of the *levy*. On the other hand, the levy itself was not degraded to a state of poorly equipped and inexperienced mob, as it happened in the countries of most of the Mongols' opponents. Every warrior in the Mongol army was an experienced archer, at least, and had also enough skills in dealing with spear, battle-axe and a mace, and sometimes

even with a sword. This unified army of Genghis Khan was quite large and, according to the «Secret History of the Mongols», in 1206 it consisted of around 100 thousand fighting men (95 units of thousand [Secret History of the Mongols: § 202] plus 10 thousand guardsmen, selected mostly from the above units of thousand [Ibid.: § 224—229]). Although not the whole of this army campaigned at a time, most of it certainly participated in major campaigns. Besides, outside Mongolia some auxiliary forces (normally, light cavalry from subjugated nomadic peoples; sometimes, as in China, local infantry) were added.

Due to the above reasons, the quality of an average Mongol warrior was much higher than the quality of an *average* warrior of their opponents: the quality of the levy and auxiliary troops of Muslim and European lords was quite low; the same was true as regards Chinese infantry, though large in size, but virtually useless on the battlefield. However excellent the military elite of sedentary states was, its number was definitely insufficient for the large scale military operations, which required some substantial amount of supporting auxiliary troops, the «arrow-fodder» after all, even if the latter played relatively unimportant role in the actual fighting. For instance, the pitched battle of Ascalan in 1099 fought by the joint Crusaders' forces against a large Fatimid army was won by the charge of a relatively small (a dozen hundreds) bulk of the heavy knightly cavalry, but this became possible only because they were supported by a half a dozen times more numerous auxiliary infantry. Thus, reasonably good quality «second rate» troops were as much important as the picked troops were. But it was exactly what most of the Mongols' opponents lacked!

Their armies were designed, first of all, to maintain the power of ruling classes, and were quite efficient in suppressing local rebellions, even when the city militia was involved (in the East only such exceptionally large cities as Baghdad could make a problem for feudal armies). In purely military matters these armies were able to deal with local conflicts, in which the troops of similar type were involved. They were also rather successful in defending their lands against occasional nomadic raids or small-scale invasions, as poorly organized and equipped nomads had no chances in the confrontation with well-trained sedentary troops (as it was absolutely justly pointed out by J. M. Smith — the problem is that the Mongols followed another pattern). But when they met an absolutely different type of enemy they became helpless. The sedentary defensive system failed to withstand well-organized numerous troops of an emerging nomadic state, as it can be seen throughout medieval Chinese history, or from the examples of Arabic and Seljuk invasions in the Middle East. An assault of such numerous troops, organized by one leader, inspired by a common goal and relatively well equipped and trained, was extremely difficult to stop by the means of traditional armies composed of small bodies of military aristocracy and professional infantry, and low-quality militia, the latter still less numerous than the nomad warriors. It is worth mentioning that the Byzantines were able to stop Arabs only by inventing the *thema* system, based on a well equipped and highly motivated levy of free peasants-landowners. The absence of such a large basis for the army makes it impossible to withstand a large-scale organized nomadic invasion in principle. All the above are well known facts, but I review them here in order to put the Mongol invasion in the context of the medieval military history.

«Quality». Military training. In theory, sedentary armies had a resource which could help them withstand Mongol (and nomadic in general) aggression, which was discussed in detail in the works of J. M. Smith, namely, using the pattern of «quality versus quantity». On the example of the confrontation between the Mongol state of Il-Khans in Persia and the Mamluk state of Egypt, J. M. Smith has tried to show how a limited in number but well-trained «high quality» Mamluk army managed to overrun «low quality» though numerous Mongol troops. There is some reason behind this point of view. On the one hand, the Mamluks were really well-trained warriors prepared in special military schools; on the other hand, relatively small sedentary armies such as that of Byzantine, in many cases were able to withstand nomadic invasions. Besides, the Mamluks, due to different reasons, managed to stop Mongol advance, indeed, and even had won more battles than lost (being in this respect a unique example), which makes the above argumentation convincing enough to be worth discussing in detail.

When we are talking about the training, we have, first of all, to define the purposes of the military training in general and that of Mamluks in particular. The military elite in all medieval societies was always well trained. Thus, European knights were perfectly trained warriors — «fighting machines», as the Arabs called them. But if the professional footmen — mercenaries — of the period had a sort of military «courses», the proficiency of the knights was not achieved by some particular «military drilling», but through all the system of their life. They started preparing themselves for fighting on horseback from their early childhood, and acquired all necessary experience by their mature age not by some regular «drilling», but through occasional exercises, tournaments and feuds. Actually, they got for granted what their originally civilian opponents from growing cities, and even most of the mercenaries (i. e. professional soldiers), could not accomplish despite all their strong wish and organized drilling. Such a skill should be acquired

from the young days. Thus, no wonder that most of communal forces and mercenaries were footmen: one still can get enough skill in swordsmanship through intensive military training when he is adult, but can hardly achieve good results in fighting on the horseback without life-long permanent experience; even intensification of the training can not help.

A similar problem was faced in the case of the Mamluks, and later Janissaries. Young Turks or other tribesmen brought to the slave market, had already lost their links with the nomadic society — a society designed to produce a skillful cavalryman (a horse-archer at least, though for a noblemen the swordsmanship was also important) — before their traditional «education» was completed. Moreover they were coming from different backgrounds and different military traditions, which prevented any basic cohesion between them. As for the Janissaries, they were normally chosen among Christian children from agricultural society, thus most of them had no military background at all. Thus the *only* way to create out of them decent warriors was their intensive drilling, the system of which was gradually developed in Mamluk military contingents of the Middle East and achieved good results in the Mamluk state of Egypt. It means that the Mamluk drilling was not a way to create supermen, but simply to build an effective enough army — not something obviously better than that of their Western or Eastern opponents.

On the other hand, a nomad got such a military experience — an equivalent to the above artificial «military drilling» — for granted, through all his life experience, starting from his birth. Thus, by adulthood he was a skillful cavalryman and a horse-archer. I would agree that in swordsmanship the Mamluks in general were better than the Mongols, but not in the archery! All the contemporary sources agreed about a *particular* skill of the Mongols, and earlier the Turks, in archery, no author ever attempted to compare his own archers with the nomadic ones. Of course, the Mamluks managed to counterweight, to some extent, Mongol archers by applying horse-archery from the standing horses and infantry-archers, including crossbowmen, but it was just a way to cope with the overwhelming foe. Thus, for example, the Crusaders, when they met Turkish horse-archers, quite successfully used infantry bowmen and crossbowmen, though nobody attempts to claim that they were better archers than the Turks! They just had to find some solution to withstand the supreme in archery enemy. Mamluk treatises, such as «Nihayat as-Su'l», demonstrate the same pattern: an overwhelming attention is paid to lance-handling and swordsmanship, the bow and arrow mentioned much rarely. Thus one can hardly expect Mamluks to be particularly good archers.

Besides, it is another misconception to consider the Mamluks as some supermen. They were merely prisoners of war sold to the traders, i. e. just average men of different abilities. Being an ordinary good on the market it embraced the best quality stuff which could afford only the Sultans and a bulk of cheaper, average quality «objects» for lesser emirs. Similarly, the rigid training discussed in the military manuals was obligatory for the Royal Mamluks only, for others simpler courses would be enough. But the Mongol khans did the same: they selected the best warriors for their guard from the same Turkish manpower available in the steppes. Let alone the fact that Baybars, the first Mamluk Sultan who fought the Mongols had simply no time to buy and get trained enough «Royal Mamluks» at the early stages of the Mongol-Mamluk confrontation, and free-born *halka* warriors were important during the whole period.

Thus, there was no significant difference in the level of individual training and personal quality between the Mongol and Mamluk warriors, though their military traditions were different. The same is even more true as regards other Mongol enemies.

Tactical cohesion. Maneuvers. There is another point related to the military training, in fact, the most important one. The problem is that the high quality individual warriors do not produce a high quality army: without large experience in tactical application of their military skills in the battlefield their «quality» was nothing. This was clearly stated by Napoleon the Great in his «Memoires» of the Egypt expedition, where he faced a perfect Mamluk cavalry. He said that one Mamluk was stronger than one French cavalryman as he was better trained and equipped, so he was victorious in case of their confrontation. A hundred of Mamluks still had a chance in fighting with the similar number of the French, but starting from more than two hundred strong detachments the French cavalymen always had an upper hand [Наполеон Бонапарт 2000: 163]. The reason behind it is obvious: regular army warriors had inferior degree of personal training and, in this case, even lower quality military equipment than the Mamluks, but the units of the regular army were specially taught to fight together. At some point the latter not only counterweighted the whole of personal military skills of the Mamluks, but overwhelmed it considerably.

The same situation we find when comparing the Mongols and their opponents. Their enemy in the Middle East, Western and Eastern Europe, and Russia had large experience of feuds-like warfare where picked elite troops (knights, princely *drujina* (body-guards), emirs' *askar* and the like) reinforced by some auxiliary military contingents (professional footmen, light horse-archers of nomadic origin, Bedouins, and the like) were mostly involved. Large scale operations were relatively rare. They required unification of

large number of different contingents (elite troops of different sorts of vassals, auxiliary footmen and light horsemen, sometimes city militia) which had no experience to fight together. When both opponents had similar types of armies this lack of cohesion and discipline was mutual. Normally, the upper hand had the commander who had stronger personal guard and more numerous loyal vassals, however the size of the troops could also play some part, though seldom decisive. But the Mongols had a different type of large army — the one which had long experience in organized common actions.

First, the Mongol tribal and supratribal units already had some basic cohesion because of large-scale periodical hunting and occasional joint military raids. The Mamluk military manuals also consider the hunting as a major training activity, but nothing indicates that this practice was applied in reality on any significant scale [Amitai-Preiss 1995: 218, n. 24]. Secondly, even more importantly, the everlasting wars for the preponderance in Mongolia conducted by Genghis Khan for a couple of dozens years created a bulk of well-experienced and cohesive troops, which became a backbone of the Mongol army. After years-long wars in North China and its eventual occupation his army acquired a great experience of cooperation on the battle-field, the experience which was far too often lacked by Western and Muslim troops.

This was the major reason of the Mongol success. Even if the enemy had a comparable in size army the lack of cohesion between its units inevitably led to their failure. Thus, in the famous battle of Kalka, Russian princes and the joint army of their Polovtzy allies, seemingly, exceeded the number of two *tumens* of Jebe and Subudei (obviously, those *tumens* were not of full size by the time they reached Southern Russia). Nevertheless, the lack of cohesion between the allies led to the most disastrous results. On the other hand, this explains the reason behind the final success of the Mamluks: they created a military state specially designed to fight the Mongols, and almost every year (sic!) they organized great expeditions to Syria or even further to beat off the Mongols or to attack their allies. As a result a good cohesive army emerged. Being also relatively large in numbers it became in position to withstand the Mongols in principle. Later, when the Mongol threat disappeared, without a permanent practice, the Mamluk army degraded quickly to be destroyed by a well-built Ottoman troops. The same is true as regards the Napoleon's time, when nobody challenged Mamluk power for years.

Thus, the aims of two types of armies — nomadic and sedentary — and, consequently, their capabilities were just absolutely different. However excellent military elite of the sedentary states was, the average quality of a warrior in their armies was much lower than that of an average nomad because of the above mentioned objective reasons. Besides, in case of the Mongols, the invaders possessed, if not as excellent as highest military aristocracy of the Muslim and Western states, but still good enough military regiments and military equipment. Moreover, it is quite doubtful that the «quality» of Great Khan's guardsmen were lower than that of the European knights and Muslim Mamluks. As for the equipment, in many points it was even better, as I have tried to show in my previous works [see, e. g. Matveev 1998: 315—319], at least in the 13th century. But even more importantly, those relatively good quality troops heavily outnumbered the above high quality units of their sedentary foes, even if the latter were slightly better than the comparable Mongol detachments.

If we add to the above facts that the Mongols were highly disciplined¹ and experienced troops, used to fight together for years, while their opponents, except for the Mamluks, had non-cohesive armies composed of different types of troops, it is no wonder that the Mongols — despite some local setbacks — had an upper hand in general.

As for the Mamluks, they succeeded in fighting the Mongols not since they were better warriors, but because they managed to create the army comparable to that of the Mongols, thus able to confront them. Some specific circumstances favorable to the Mamluks (first of all, lack of pasture lands in Syria and, especially, large waterless space between Egypt and Syria that barred further advance of the Mongol cavalry²) helped them to defend their lands against the Mongols until the truce between two states, was finally concluded in the beginning of the next, 14th century.

Bibliography

Горелик. М. В. Ранний монгольский доспех (IX — первая половина XIV в. // Археология, этнография и антропология Монголии». Новосибирск, 1987.

Наполеон Бонапарт. Египетский поход. СПб, 2000.

Amitai-Preiss R. Mongols and Mamluks. The Mamluk-Ilkhanid War, 1260—1281. Cambridge, 1995.

¹ Their extraordinary discipline was especially pointed out by Western observers [Richard 1979: 112].

² For other reasons see the book by R. Amitai-Preiss [1995: 233—235].

- Matveev A. S.* Main Aspects of «Classic» Mongol Warfare (late 12th—13th centuries) // Военная археология: оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. СПб., 1998.
- Morgan D. O.* The Mongol Armies in Persia // *Der Islam*. LVI/1. 1979.
- Richard J.* Les causes des victoires mongoles d'après les historiens occidentaux du XIIIe siècle // *CAJ*. 23 1979.
- The Secret History of the Mongols* / Transl. and ed. by F. W. Cleaves. London, 1982.
- Smith, J. M., Jr.* Mongol Manpower and Persian Population // *JESHO*. 18. 1975.
- Smith, J. M., Jr.* Ayn Djalut: Mamluk Success or Mongol Failure? // *HJAS*. Vol. 44/2. 1984.
- Verbruggen J. F.* The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages (from the 8th century to 1340). Amsterdam, 1977.

MONGOL WARFARE WITH CHINESE WEAPONS:
CATAPULTS — AND ROCKETS?

Mongol siege warfare was decisively assisted by a weapon of Chinese invention: the lever catapult, called *pao* in China, *orbu'ur* by the Mongols, *manjaniq* or *'arradah* by the Middle Eastern Muslims, and *trebuchet* or *mangonel* in Europe. Without it, the Mongols might never have subdued China, nor many of the other regions incorporated into their empire. Current scholarship suggests that the Mongols gained access to an improved version of this weapon following their occupation of the Middle East, and sent Arab artillery specialists to Qubilai in the 1270s to build such weapons for his campaign against Sung China (these were the weapons that Marco Polo falsely claimed a part in constructing for the siege of Hsiang-Yang; this siege preceded the arrival of the Polos in China). Early Chinese catapults were powered by traction: men pulling on ropes attached to the short end of a beam rotating on a fulcrum and serving as a lever to propel, from a sling attached to the long end of the beam, the catapult's missile (see fig. 1). The knowledge and use of traction catapults had spread west from early times, but, in the twelfth century, they had been superseded in the Middle East and Europe by catapults with heavy weights attached to the short end of the lever: counterweighted catapults (see fig. 2 & 3) [Allsen 2002: 265—293, esp. 267—269; also Needham 1994: 218—220]. This simpler, user-friendly design produced a much more powerful weapon, one which, in two full-sized modern replicas, can hurl stone balls weighing 250 lbs for 200 yards [see: *Secrets of Lost Empires*].

My paper suggests that the counterweighted catapult originated in China, not in the West. Chinese records of the twelfth century indicate a major increase in power of catapults compared with those of the eleventh century that surely indicates a change from traction to counterweights. One of the earlier Chinese traction catapults, powered by a team of 250 men, propelled a stone of 90 lbs for 33 yards; another (team numbers not given) could manage 53 yards. But in the twelfth century, a third-class (smallest of three) catapult with a crew of only 10 to 15 men could shoot 167 yards; the first class weapon's range was 180 yards; and yet another, «far-reaching» engine ranged 233 yards [Franke 1974: 167—169]. Range was quintupled, from 33 yards to 167, and the crew reduced by 94%, a radical improvement [cf. Needham 1994: 218, n.].

But if the Mongols had already obtained the counterweighted catapult from the Chinese, why did Qubilai import Arab specialists to build them? The answer appears in the pictorial record. In the Chinese artillery tradition, the lever beam of the catapult had a transverse axle borne at either end by notched or socketed elements of the supporting frame; these elements, and the axles, appear to be wooden (the replica catapults in the WGBH video also used wooden bearings). Compare the illustration from the early fourteenth century in Rashiduddin's history that shows a catapult of the Mongol army in Iran (fig. 3): the Middle Eastern catapult's socket bearings, and perhaps axle, are of metal instead of wood. These would have worked more smoothly and suffered much less wear from the tremendous forces exerted upon them (the near-copy of these Mongol catapults in the WGBH video had a counterweight of 6,5 tons to swing a beam of perhaps a ton, like that of the other replica) and would therefore have shot with more consistent accuracy and to a greater distance than their Chinese counterparts, giving the Mongols besieging Sung cities an advantage over the defenders' artillery.

Another weapon of Chinese origin employed by the Mongols was, in my opinion, a rocket, a missile composed of a javelin bearing a tube packed with (proto-) gunpowder, some of which served to add propulsion to the javelin, and some which became an incendiary (if not an explosive) agent on impact (see fig. 4). The javelin was initially projected by an *arcuballista* — an oversized crossbow mounted on a base. Juvaini mentions that, during the Mongol siege of the Assassins' castle of Maymun Diz in 1256, «a *kaman-i-gav* [«ox-bow»], which had been constructed by Khitayan craftsmen and had a range of 2,500 [*gām*], was brought to bear on those fools [the Assassins] ... and ... many soldiers were burnt by those meteoric shafts» [Juvaini 1958: 631]. The Persian word *gām* has several meanings: a step, pace; the distance between the feet in walking; a foot's length; a cubit (the length of a forearm, ca. 17—21 inches) [Steingass 1957: 1072]. A step or pace of 2—2,5 feet would give the missile a range of around a mile, the cubit, the length of the forearm, much more; these are quite implausible ranges for an *arcuballista* missile, even with rocket assistance. The only plausible measure is the foot, and although it is an uncertain quantity for thirteenth century Persia, it would most likely give a range of somewhat under a half-mile: 833 yards (0,47 miles or 760 meters), for instance, using a foot of 12 inches.

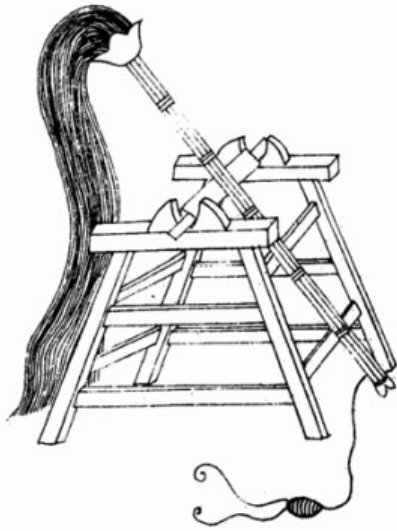


Figure 1. Chinese traction catapult



Figure 2. Chinese counterweight catapult

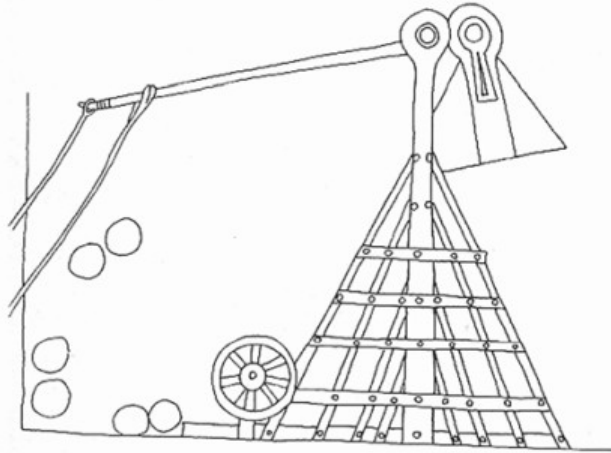


Figure 3. Middle Eastern Mongol catapult

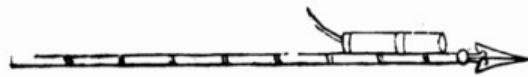


Figure 4. Chinese javelin-rocket

The Chinese *arcuballista* came in several strengths and ranges. Franke cites a statement of effective range of 300 *pu*/paces, which he converts at 2 feet to the *pu*/pace into «something like 200 yards» [Franke 1974: 166]. Needham lists a «large winch-armed» crossbow (which he appears to think was an *arcuballista*) that shot 1160 yards, a distance he acknowledges «seems credible only with difficulty» but which he supports by reference to the 2500 *gām* range of the «ox-bow» in Juvaini, taking the *gām* as a pace and the range as 1100 yards (about 1 km) [Needham 1994: 176—177]. However, Needham converts the Chinese *pu* measure as a «double-pace» of 5 feet, which leads implausible results, e. g. an «arm-drawn» crossbow with a range of 500 yards (300 *pu*) [Needham 1994: 176—217]. W. F. Paterson remarks that a crossbow cannot be hand-spanned (= arm-drawn) if it has a draw-weight of more than about 150 lbs; elsewhere he cites a 1200 lb-draw (probably winched) crossbow with a range of 460 yards [Paterson 1990: 31—40]. This calls Needham's 500 yard range into question, and the likely answer is that Needham has wrongly converted the *pu*. It should be treated a (single) pace, a step — as Franke does. Using Franke's 2-foot *pu*, Needham's arm-drawn crossbow had a range of 200 yards, and (getting back to the main matter) his large, winch-armed weapon's range was about 460 yards. With the double-pace dismissed, the *gām* can also be reduced from pace to foot, and yet have the ox-bow shoot nearly twice as far as Needham's large crossbow/*arcuballista*. Rocket power, I propose, gave the ox-bow's missile its extra range.

The character of Juvaini's missile, indicated by its long range, is also suggested by his statement that «many [assassin] soldiers were burnt by those meteoric shafts». I believe that Juvaini's meteoric effect was the rockets' fiery trail, and that the burns were real, not figurative, produced by the missile's warhead. It is pleasing to note that the javelin-rocket-bomb illustrated in fig. 4 from a seventeenth century Chinese work was named the «meteoric bomb» [Needham 1986: 513].

Bibliography

Allsen Th. T. The Circulation of Military Technology in the Mongolian Empire // Warfare in Inner Asian History (500—1800). Leiden, 2002.

Franke H. Siege and Defense of Towns in Medieval China // Chinese Ways in Warfare. Cambridge (Mass.), 1974.

Juvaini A.-M. The History of the World-Conqueror. Cambridge (Mass.), 1958.

Needham J. [et al.]. Science and Civilization in China. Vol. 5. Pt. 7: Military Technology: The Gunpowder Epic. Cambridge, 1986.

Needham J. [et al.]. Science and Civilization in China. Vol. 5. Pt. 6: Military Technology: Missiles and Sieges. Cambridge, 1994.

Nicolle D. C. Arms and Armour of the Crusading Era, 1050—1350. Vol. 2: Illustrations. White Plains, 1988.

Paterson W. F. A Guide to the Crossbow. [s. l.], 1990.

Secrets of Lost Empires: Medieval Siege. Nova video, available from WGBH Boston (Mass.).

Steingass F. Persian-English Dictionary. London, 1957.

Talbot Rice D., Gray B. The Illustrations to the 'World History' of Rashid al-Din. Edinburgh, 1976.

Sources of Illustrations

Figure 1: Needham 1994: 213.

Figure 2: *ibid.*: 224 fig. 76.

Figure 3: Nicolle 1988: 705, fig. 386A [cf. Talbot Rice, Gray 1976: 146, fig. 54].

Figure 4: Needham 1986: 513, fig. 216.

THE NORTHERN SIDE OF THE ZARAFSHAN ACCORDING TO IBN ḤAWQAL

Ibn Ḥawqal's description of Samarqand's surroundings is the most detailed available in the Arabic sources, while for instance the parallel text in Iṣṭakhrī has been stripped of all its details. This text is of the utmost interest for the political and economic history of High Middle Ages Sogdiana because it gives a map, which can be checked against the earlier, pre-Islamic, texts, whether Sogdian or Chinese. According to it, six rustaqs were to the North of the river, and six also to the South. I would like today to discuss the identifications of the six Northern rustaqs. It should be first noted that, if the question of the localisation of the six Southern rustaqs has been hotly debated, far less discussion has taken place on the six Northern ones. W. Tomaschek [1877], W. W. Barthold [1968] and V. L. Vjatkin [Вяткин 1902] have discussed the texts, and some of them has been identified archaeologically [Ахунбабаев 1983]. A key point is certainly the identification of the canals watering each rustaq, as Ibn Ḥawqal gives also many data on them. I should comment upon the text rustaq by rustaq and ariq by ariq, leaving aside the two northernmost rustaqs of Yārkaṭ and Fūrnamaḍ on the road to Ustrushana, not directly in the valley. A preliminary archaeological survey, conducted in August of this year with P. Gentelle and F. Grenet provided some of the data I will comment on.

1) Būzmājan. Būzmājan is the best known of all the rustaqs. Ibn Ḥawqal is very precise on it. The Būzmājan extended from Ġūbār, the point on the Northern bank where the river goes out of the mountains to enter the valley, to Samarqand. It is the biggest of the Northern rustaqs, being one stage wide and long. A special ariq was derived from Ġūbār to water its capital, Barkaṭ and the rustaq itself. Barkaṭ was at four farsakhs from Samarqand, on the main road to Ustrushana [Ibn Ḥawqal: ed. p. 496, 499; transl. p. 475, 478]. With all these data, placing Būzmājan on the map is not so difficult. Its capital has even been identified with a precise site of ancient town (*gorodishche*): H. Axunbabaev has proposed fifteen years ago that Barkaṭ could be now Aktepemitan, 6 km to the south of the present day town of Bulungur [Ахунбабаев 1983], following an idea forwarded already by Tomaschek [1877: 148]. Situated just on the edge of an old terrace of the Zarafshan, this *gorodishche* dominates the whole valley. The route followed by the old route from Samarqand to the Northeast confirms this identification, as it passes through Aktepe. Following this route it is at about 28 km from Samarqand, which would give a very good match for the four farsakhs quoted in Ibn Ḥawqal. It has been proven since long that the farsakh in the Zarafshan valley was between 7 and 8 km [Пугаченкова 1983]. The distance between the limit of the watered area to the North this region, and Samarqand is by the old route of 5 farsakhs, or one stage, while the distance following the course of the river between Ġūbār and Samarqand is also of 5 farsakhs. So that in the case of the Būzmājan, we have a perfect match between the medieval data and the modern topography.

2) Būzmājan and Sināwāb ariq. The ariq watering Aktepe up to now is named the Aktepe ariq and is indeed taken almost from Ġūbār. It should without difficulty be identified with the Būzmājan ariq of Ibn Ḥawqal. We should be cautious about the word «identification»: since Ibn Ḥawqal, one thousand years have passed and many ariqs were redesigned during the Timurid and Shaybanid periods, not to speak of the Russian and Soviet ones. So that by identification, I mean an ariq following a course roughly similar to the old one. The text is: «the ariq departing from Ġūbār are named Iṣṭīḥan, Sināwāb and Būzmājan. The ariq of Sināwāb is going behind the Būzmājan and irrigates villages up to its entry into the rustaq of Wīḍār, goes beyond it up to the limits of the Iṣṭīḥan rustaq, fertilizing a continuous band of cultivable earth 2 stages long. The Būzmājan begins below this one and reaches the town. It irrigates the Būzmājan rustaq» [Ibn Ḥawqal: ed. p. 496; transl. p. 475]. If the Būzmājan region and ariq are so identified, then the identification of the Sināwāb ariq is without any doubt the Bulungur: this canal, certainly one of the oldest of the whole valley, climbing to the North on the terrace as soon as taken from the Zarafshan, is the only one situated beyond the Būzmājan rustaq and ariq.

3) Wīḍār. So that Wīḍār should be sought on the North of the valley, along the Bulungur to the west of the Būzmājan rustaq: according to Ibn Ḥawqal, this rustaq is supposed to be watered by the Sināwāb as well as by streams and rain. In its territory are mentioned plains and mountains. A text in Sam'ānī, not used up to now, might help to locate more precisely the town of Wīḍār itself. Sam'ānī explained that he went in pilgrimage to Wīḍār, on the tomb of a saint, and on his way back to Samarqand stopped on the tomb of al-Buḥārī [Sam'ānī: t. 5, p. 581]. We know perfectly where is this tomb, in the village of Xodja Ismail, ancient Ḥartank, at 3 farsakhs from Samarqand, while Wīḍār was at 4. So that Wīḍār should be sought at about

8 km somewhere to the North of this village. Wīdār is difficult to find. There is nothing for instance on this town in the 15th and 16th-century waqf documents used by Vjatkin. The traditional identification of Wīdār with present Chilek might be sustained as the road from Chilek to Samarqand pass not far from Xodja Ismail, but some other possibilities might be also considered, more to the east along the Bulungur. A late source writing in Sicilia in the 12th century, Idrīsī, unfortunately quite confused in his description of Central Asia, describes Wīdār at a short stage from Būzmājan [Idrīsī: p. 501; transl. de la Vaissière, cl. 3, s. 8], an indication which, combined with the 4 farsakhs from Samarqand and the one farsakh or so to the North of Xodja Ismail, would entice us to seek for Wīdār in the vicinity or South of Shirkurgan. On Idrīsī's map, the Bulungur is quite exactly drawn, and Wīdār is to the South of it. It should be noted however that Chilek has given many proofs of its pre-islamic existence [Маршак, Крикис 1969]. Only a more complete exploration of the tepa along the Bulungur might help to answer.

4) The Ištīhan ariq. There is a third ariq, the Ištīhan ariq, on which the text goes on saying: «The Ištīhan cannot be used on a 4 farsakhs long distance from its origin. Then it gives birth to many rivers on a 9 farsakhs long distance up to its passage through Ištīhan, where it waters the town and the rustaq. It is the most important of the canals». Barthold has read this passage [Бартольд 1965: 192] as if the Būzmājan was the nearest to Samarqand while the Sināwāb was to the North of the Būzmājan, and the main one, the Ištīhan, even more to the North. We now know that it is plainly impossible as there is no ariq beyond the Bulungur. The Ištīhan ariq should be sought elsewhere.

The detail on the Ištīhan ariq, that «it cannot be used on a 4 farsakhs long distance from its origin» is according to me the key to its identification. The text of Ibn Ḥawqal is a precise description of what is called the «dead head» of a canal, that is the part of his route roughly parallel to river it is taken from, a part along which no water can be taken and whose utility is only to allow the canal to stay on a terrace slowly diverging from the river, before reaching a point where it can more abruptly diverge from the river and begin to water the fields. On the current map of the Northern Zarafshan canals, one of them very precisely correspond to Ibn Ḥawqal's description: this is the Mirza ariq, almost parallel to the Zarafshan during 4 farsakhs, without any old canal derived from it, and then turning on the terrace to the North, watering a large area and then uniting with the Bulungur to pursue up to Ištīhan. The Mirza ariq, although heavily re-drawn now, is an old one, as it is already known in 15th century texts [Вяткин 1902: 65]. It is according to me the Ištīhan ariq.

5) Kīnjakaṭ and Marzuban ariq. Somehow later in the text, Ibn Ḥawqal describes a fourth ariq: «opposite Samarqand, to the east of the river, some canals are branching off from it (*wa 'ammā šarqyyi haḏā al-wādī fatanša 'ibu al-'anhār minhu*) among them the canal of Kīnjakaṭ and some others canals for the villages nearby. The rustaq of Kīnjakaṭ, the rustaq of Marzuban and some others are watered so». This is in fact a very thorny question, that of the Ak Darya in the text of the Muslim geographers. As a branch of a river, it is plainly totally absent, whether in the texts or on the maps. On the other hand, the text of Ibn Ḥawqal describes exactly what is still going on opposite Samarqand, on the other side of Chopan Ata: a ramification of rivers and canals that is the separation of the Kara Darya and the Ak Darya, and some other canals, as the Shahab. So that the question of the status of the Ak Darya during the Middle Ages is raised, especially when being aware of the ambiguity of the word *nahr* in Arabic. This is not to say that the Ak Darya is not a river, although such a hundred kilometres long island as the Miankal is quite un-usual for a river: the existence of nested natural terraces along its course proves it beyond doubts, as P. Gentelle has shown to me on the spot. But the question is how the Ak Darya was regarded, not what it actually was.

Nowadays, the separation of the Kara Darya and the Ak Darya fills exactly the functions of irrigation system. There is a dam and indeed the surface irrigated by each branch and the maximum flow is indicated on it. This was already the case in the 19th century, as Muxamedjanov has shown [Мухамеджанов 1978]: harsh negotiations went on between the Russian colonial power and the emir of Bukhara to distribute the water of the Zarafshan in the Kara Darya, hence to Bukhara, or in the Ak Darya to irrigate the Northern side of the valley. There are some indication that it was already the case during the Middle Ages as there is a complaint in Nasafi of a Bukharan saying that the governor of Samarqand might choose to give water to Bukhara or not. It is not possible to prove that this was already the case during the 10th century, but this would perfectly agree with Ibn Ḥawqal's text.

6) Kabūdanjakaṭ. According to this analysis, the Kīnjakaṭ and Marzuban rustaq should be sought along the Ak Darya or the Shahab. There is a problem with the name Kīnjakaṭ كنجنيك. It is supposed to be a rustaq but there is no rustaq of this name in the list of the 6 Northern rustaq, so that Barthold has supposed that the name is the result of a scribal error for Kabūdanjakaṭ [Barthold 1968: 94]. With one dot less, it can indeed be read *Kabunjakaṭ, which might be a shorter form of the same name. Later in the Xth century, the

«Ḥudūd al-‘Ālam» mentioned K.n.j.k.t: «K.n.j.k.t, Fr.n.kaṭ two towns lying between the river and Ishtīḥan» [Minorsky 1937]. If the reconstructed form *Kabūnjakaṭ is correct, there are some others examples of the shift from b to a nasal in front of nasals, as signalled to me by F. Grenet and P. Lur’e, for instance with Rabinjan/Raminjan, which could explain an evolution from *Kabūnjakaṭ to K.n.j.k.t. The next stage might then be K.m.j.k.t, a form indeed mentioned by Bīrūnī in the early 11th century [Al-Bīrūnī 1879: 221; Аль-Бируни 1957: 254]. Pugachenkova has already shown that from Bīrūnī’s form, the name of the present town of Kumishkent is easily derived [Пугаченкова 1989: 65]. She was not aware of the fact that the «Ḥudūd» testifies for the rightness of her idea by locating K.n.j.k.t in the Miankal.

Kumishkent was indeed a pre-Islamic and early Islamic small town, with monumental buildings, were coins and glasswares have been discovered [Алмазова 1997]. It is at 19 km, or 2,5 farsakhs, from Samarqand on the old route to Ishtīḥan. Its location would fit reasonably well with what we know of Kabūdanjakaṭ, supposed to be at 2 farsakhs from Samarqand, the capital of a country very green and well watered, elongated from the East to the West according to Xuanzang [Beal 1884: 33] and situated between Samarqand and Wīḍār according to Ibn Ḥawqal [ed. p. 499; transl. p. 479].

But I should frankly recognize that all of this is based on Barthold’s correction of the name. It can be also argued that Kumishkent already bore almost its present name already in the 10th century and that none of these toponyms should be corrected. In that case, may be we should seek for Kabūdanjakaṭ in Dagbit, closer to Samarqand, the name of which simply means the Main Town. The question is: the main town of what? It might be a case similar to what happens in Ustrushana with the capital Bunjikaṭ becoming Shahrestan. But if there are some tepa, there is no trace of an old town left in Dagbit.

7) Marzbān. Marzbān seems to be mainly a political entity, the master of which was a Marzubān, a governor on the frontier. Marzbān was supposed to have a common frontier with Wīḍār [Ibn Ḥawqal: ed. p. 499; transl. p. 479] and with Kabūdanjakaṭ [ed. p. 497; transl. p. 476, if Kīnjakaṭ is Kabūdanjakaṭ]. It should be sought more to the Northwest in the Miankal as it was watered by the same ariq. I am wondering, a pure hypothesis, if it might not be in fact identical with the small principality severed from Ishtīḥan by the king of Sogdiana Ġūrak, for his brother Afārūn [Barthold 1968: 96]. We know its capital, present Prinkent really not far from the supposed location of the Marzbān rustaq. If not, we would have two small principalities very close one to the other with both a frontier status. But this hypothesis cannot be demonstrated with the available data.

Bibliography

- Алмазова Н. Стекло Кумышкента // ИМКУ. Вып. 28. 1997.
 Аль-Бируни. Избранные произведения. I. Ташкент, 1957.
 Ахунбабаев Х. Археологическое изучение Булунгурского района в 1979—1980 гг. // ИМКУ. Вып. 18. 1983.
 Бартольд В. В. К изучению орошения Туркестана // Бартольд В. В. Сочинения. Т. III. М., 1965.
 Вяткин В. Л. Материалы к исторической географии Самаркандского вилаета // Справочная книжка Самаркандской области. Вып. 7. 1902.
 Маршак Б. И., Крикис Я. К. Чилекские чаши // ТГЭ. Т. X. 1969.
 Мухамеджанов А. Р. История орошения Бухарского оазиса. Ташкент, 1978.
 Пугаченкова Г. А. Иштиханские древности (некоторые итоги исследований 1979 г.) // СА. 1983. № 1.
 Пугаченкова Г. А. Древности Мианкаля. Из работ Узбекстанской искусствоведческой экспедиции. Ташкент, 1989.
 Al-Bīrūnī. Al-Āthār al-bāqīya ’an al-qurūn al-khāliya / Ed. E. Sachau. Leipzig, 1879; Al-Bīrūnī. The chronology of ancient nations / Transl. by E. Sachau. Leipzig, 1879.
 Barthold W. Turkestan down to the mongol invasion 3rd ed. London, 1968.
 Beal S. Si-yu-ki : Buddhist records of the Western world. Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (AD 629). Vol. I—II. London, 1884 (repr.: New Delhi, 1983).
 Ibn Ḥawqal. Kitāb Šūrat Al-Arḍ / Ed. J. Kramers. 3rd ed. Leiden, 1967; Ibn Ḥawqal. Configuration de la Terre (Kitāb Surat Al-Ard). Vol. 1—2. / Transl. by J. H. Kramers and G. Wiet. Paris; Beyrouth, 1964.
 Idrīsī. Geography: L’agrément de celui qui est passionné pour la pérégrination à travers le monde / Transl. by A. Nef and É. de la Vaissière. Paris, 2000 (CD-Rom).
 Minorsky V. Ḥudūd al-‘Ālam, «The Regions of the World». A Persian Geography 372 A.H. — 982 A.D. Translated and Explained. London, 1937.
 Sam’ānī. Al-Ansab / Ed. ‘Abd-Allah ‘Uāmar Bārūdī.
 Tomaschek W. Centralasiatische Studien. I: Sogdiana // SKAW. LXXXVII/1. 1877.

THE REORGANIZATION OF THE MONGOL ARMY UNDER THE HEIRS
OF THE HOUSE OF TOLUI AND THE ROLE OF NON-MONGOL
TÜMEN IN THE NEW PORTIONS OF THE MONGOL EMPIRE.
A COMPARISON BETWEEN ĪL-KHĀNĪD AND YUAN MILITARY MANPOWER

Činggis Qan commanded 129,000 men at the time of his death in 1227¹. However, this figure applies only to the period before the great imperial expansion because not all of these men were to remain directly under the jurisdiction of the throne. It is important to note that only the nomadic troops were counted in this number, which must have been considered the Mongol army proper; the only exceptions are 20,000 Kitan and Jürčed troops under Ūyār Wanši and Tughan Wanši listed in Rašīd ad-Dīn².

According to Rašīd ad-Dīn, Činggis Qan bequeathed 28 chiliarchies out of a total of 129 to the members of his family as their apanages (mong. *qubi*; pers. *injū*)³. His mother and three younger brothers each received a portion ranging from 1 to 5 chiliarchies (*mingyan*). Four of his sons (Jöči, Čayatai, Ögödei and Kölgen) each received 4. Tolui did not receive any, since he, as the youngest son by Činggis principal wife (*ot-čigin*)⁴, was supposedly to receive the residuary estate, i. e. the father's original seat (*ordo*)⁵.

The remaining 101 chiliarchies are collectively called in the «Secret History» the *γol-un ulus* or the «people of the center». The four chiliarchies received by Jöči and Čayatai formed the nuclei of their respective states, which grew independent from the center after the death of Činggis Qan. The 101,000 of the center, on the other hand, were placed under Tolui who served as the regent before Ögödei's accession to the throne in 1229. Even after the accession of Ögödei (1229—1241), Tolui at least shared the supreme commandship over the army with Ögödei, since he had been assigned by his father to the task of «the command and organization of troops and the equipment of the armies», while Ögödei was responsible for the «administration of the kingdom»⁶.

After the throne was transferred from the house of Ögödei to that of Tolui in 1251, the bulk of the Central Army was under the control of Möngke (1251—1259) and Qubilai (1260—1294), the sons of Tolui who successively accessed to the throne⁷. The reapportion of the Mongol army operated by Möngke Qan during the *quriltay* of 1256 was effecting a reorganization and redistribution of Mongol forces. He was revising the old, four-way division of the Empire that had followed Činggis' death, adjusting for the elimination of most of the descendants of Čayatai and Ögödei by reassignment of their assets. The slaughter of the more senior members of the mentioned royal rival lines led to the extension of Jöčid control over Transoxiana and western Turkestan⁸.

At the same time Möngke Qan was creating new portions of the Mongol army for his brothers, Qubilai and Hülägü⁹. This reapportion of the Mongol army involved only the Mongol and Turkic forces that constituted the main forces of the empire, while we do not find any mention of a similar operation for the non-nomad auxiliary units. From the many sources relating about Hülägüs' campaign in south-western Asia (1256—1260) we can assume that he was leading an army force counting from fifteen to seventeen *tümen*; to this we should add the auxiliary forces of Armenians, Georgians, Chinese and Iranians¹⁰.

The populations subdued under Mongol rule were composed of various ethnic elements. This situation is to be found in specular features in the composition of the Mongol army, especially during the time of large extent of the Mongol Empire. An interesting example of the advantages of the multi-racial composition of the Yuan army is found in the inter-Mongol war between Qubilai and Nayan in Manchuria in 1287. Since the soldiers of both sides were Mongols, they were reluctant to fight each other and, instead, just talked to each other in their native language (Mongol). It was only after Qubilai replaced the Mongol cavalry with Chinese infantry that the Yuan was able to achieve a decisive victory¹¹.

¹ Rašīd ad-Dīn 1834—1835: 3—5; Martin 1950: 13, 14, no. 6.

² Hsiao 1978: 132, no. 65.

³ Barthold 1956—1962: vol. I, 112; Vladimirtsov 1984.

⁴ For *ot-čigin* («earth prince»), see Doerfer 1963—1967: Bd. I, 155—159, no. 38.

⁵ Boyle / Juvaini 1958: vol. I, 186; Hsiao 1978: 11.

⁶ Boyle / Juvaini 1958: vol. I, p. 40.

⁷ Boyle / Juvaini 1958: vol. I, 164; see also Rašīd ad-Dīn 1834—1835: 5—6; and Vladimirtsov 1984: 145.

⁸ See Jackson 1978: 207.

⁹ Smith 1975: 275.

¹⁰ About this campaign see Venegoni (*forthcoming*).

¹¹ *Sung Lien and Wang Wie*. Yuan shih: 173, 15b—16a.

Similarly, in Persia under the Īl-khānīd rule the infantry was composed of local Iranians called Tājīk¹ who substituted the captives used formerly for this purpose.

The use of light-archer cavalry was limited to the Mongol and Turkic élite and if the Mongols were provided with heavy cavalry it is doubtful that these units were composed of Mongol soldiers.

The generals of the *Hwarazmšāh* were emirs with the attitude to act and decide independently about their war conduction². Juvayni reports that the garrison of Samarqand was composed of Turks who referred to their own khans³.

After the first wave of Mongol invasion a sort of double power was established in this region: Mongols and their military city commanders⁴ and others on one side, the lords of war on the other⁵.

Nasavī says that some Turkmen chiefs and some emirs from Hwarazm were fighting about the control of the remnant areas of the town of Marv, opposing one against each others and to the Mongols⁶. This emirs were called by Nasavī *mutagalliba* («usurpators»)⁷.

Other warlords came to Iraq (more precisely to west Iran and to Anatolia) spreading fear and disorders in the area⁸.

In the villages there were the *raʿīs* who decided which attitude to adopt towards the Mongols. Some of them took advantage of the situation to become chiefs of brigands bands supported by the Mongols; some others acted as their spies forces, indicating the locations of the Hwarazmian detachments⁹.

The Mongols had a lack of knowledge in siege techniques. They mainly relied upon Chinese and later Moslems to manufacture and operate siege machines. They did, however, learn how to use catapults and organized catapult troops of their own not long after their invasion of North China had begun. It is also reported that, when Činggis was campaigning in North China, those who were capable of operating catapults were recruited and registered as soldiers¹⁰.

Later, when Hülägü was dispatched to conquer Iran he also brought with him 1,000 households of Chinese mangonel-men and naphta-throwers.¹¹ The Mongols not only utilized firearms to reduce both the Qin and Central and Western Asia, but also relied upon the Moslem trebuchet experts, since the counter-weighted trebuchets of the Arabs was more powerful than its chinese counterpart worked by manpower¹².

The defectors from the Qin included garrison commanders, army officers, and local government officials, as well as members of the prominent local families and elected chiefs who had risen to maintain local order during the chaotic period that followed the Mongol invasions and the collapse of the Qin administration. Many of these brought with them a great number of followers who could bear arms.

Such defectors were usually appointed to oversee a given district, and their functions were always multiple. They were usually allowed to retain their original title, if any. In not a few cases, they were also given the Mongol titles centurions (*po-hu*, *jaγun-u noyad*) and chiliarchies (*ch'ien-hu*, *mingyan-u noyad*). Among other duties, they were responsible for entlisting men to fight for the Mongols¹³.

During Ghazan's military campaigns in Syria in the years 1299—1303 the Mamluk defectors played an important role in the politic military administration of the conquered towns (especially in Damascus).

The chronicles registrate the participation of the defected *amirs* Qibjaq und Bektimur to the campaign for the reconquest of the Syrian territories subtracted by the Mamluks during the previous ten years. A Mongol-Mamluk duumvirate with Qibjaq as city's governor is registred in the town of Damascus in the year 1300. A similar duumvirate governed in northern Syria with Bektimur — another of the refugees from Lachin — as city governor¹⁴.

¹ Smith 1975: 277; Spuler 1985: 333.

² Paul 1997: 38—39.

³ Boyle / Juvayni 1958: 39 (Persian text).

⁴ Spuler 1985: 284, 334.

⁵ Paul 1997: 42.

⁶ Boyle / Juvayni 1958: 127 f./163 f.; 129/164; 131 f./167; Nasavī 1953: 138/113; 181/144.

⁷ Nasavī 1953: 180 f./143 f.

⁸ Paul 1997: 42.

⁹ Nasavī 1953: 135/111.

¹⁰ *Sung Lien and Wang Wie*. Yuan shih: 151, 15a.

¹¹ Boyle / Juvayni 1958: vol. II, 608; Quatremère 1834: 133; Boyle 1968: 341. About Greek fire and *napht* see Quatremère 1850; Reinaud 1850.

¹² Hsiao 1978: 134—135, n. 79.

¹³ Hsiao 1978: 12.

¹⁴ Stewart 2001: 139.

Bibliography

- Barthold W.* Four Studies on the History of Central Asia. Vol. 1—3. Leiden, 1956—1962.
- Boyle J. A.* (ed. and tr.). History of the World-conqueror by 'Alā-ad Din 'A-ā-Malik Juvaini. Vol. 1—2. Cambridge (Mass.), 1958.
- Doerfer G.* Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Bd. 1—3. Wiesbaden, 1963—1967.
- Hsiao C.* The Military Establishment of the Yuan Dynasty. Cambridge (Mass.); London, 1978.
- Jackson P.* The Dissolution of the Mongol Empire // CAJ. Vol. XXII/3—4. 1978.
- Martin H. D.* The Rise of Chingis Khan. Baltimore, 1950.
- Nasavī.* Sīrat al-su-ān Ġalāl al-dīn Mankubirt. Ed. 1953 (Russian transl.: Буниятов З. М. Жизне-описание султана Джалал ад-Дина Манкбурны. Баку, 1973).
- Paul J.* L'Invasion Mongole comme Révélateur de la Société Iranienne // L'Iran face à la Domination Mongole. Tehran, 1997.
- Quatremère E.* Observations sur le feu grégeois // JA. Vol. XV. 1850.
- Quatremère E.* (ed. and tr.). Histoire des Mongols de la Perse par Raschid-eldin. Vol. I. Paris, 1934.
- Rašīd ad-Dīn.* Histoire des Mongols. Vol. II. La Haye ; Amsterdam, 1834—1835.
- Reinaud M.* Nouvelles observations sur le feu grégeois et les origines de la poudre à canon // JA. Vol. XV. 1850.
- Smith J. M., Jr.* Mongol Manpower and Persian Population // JESHO. Vol. XVIII/3. 1975.
- Spuler B.* Die Mongolen in Iran. Politik, Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit, 1220—1350. 4. Aufl. Berlin, 1985.
- Stewart A. D.* The Armenian Kingdom and the Mamluks. War and Diplomacy during the Reigns of Hetum II (1289—1307). Leiden; Boston; Köln, 2001.
- Venegoni L.* Hülāgū's Campaign in the West (1256—1260) (*forthcoming*, now available on line under: www.transoxiana.com.ar/Eran/Articles/venegoni.html).
- Vladimirtsov B.* Le régime social des Mongols: Le féodalisme nomade. Paris, 1984.

РАЗДЕЛ 4

Религии и культы древней Центральной Азии

К. Абдуллаев
(Самарканд, Узбекистан)

СЕРДОЛИКОВАЯ ГЕММА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ИИСУСА ХРИСТА ИЗ САМАРКАНДСКОГО МУЗЕЯ

Труды А. М. Беленицкого явились крупным вкладом в историю изучения художественной культуры Согда. Эти исследования стали своего рода базой для последующих разработок, касающихся вопросов культов и идеологии Средней Азии доисламского периода. Многие положения, выдвинутые А. М. Беленицким, остаются актуальными в настоящее время. Одной из основополагающих работ ученого, касающихся религиозной ситуации доарабского Согда и осуществленной на основе анализа настенных росписей Пенджикента, стала статья в сборнике «Живопись древнего Пенджикента» [Беленицкий 1954].

Одной из важных религий в эпоху раннего средневековья на территории Средней Азии было христианство, и эта его роль отразилась, помимо письменных текстов, в различных произведениях изобразительного искусства. Одним из таких памятников является гемма из Самаркандского музея, которая, несмотря на тот факт, что значительная часть коллекции гемм оттуда уже рассматривалась в различных работах (Г. А. Пугаченковой, А. Я. Борисова и В. Г. Луконина), до сих пор не привлекала внимания специалистов и не была опубликована.

Эта сердоликовая гемма поступила в музей из коллекции Б. Н. Кастальского (№ КП 1870/32). Ее форма представляет в плане неправильный овал (размером 12×7 мм), в профиль — прямоугольник со скругленными углами. По всей видимости, данная инталия представляла собой вставку в кольцо или перстень. На щитке изображен мужской бюст, судя по всему, это образ Иисуса Христа. Его портрет выполнен в технике объемно-выемчатой резьбы, причем в довольно схематичной манере. Так, например, волосы показаны в виде вертикальных насечек. Вдоль линии лба по горизонтали проходит линия, передающая венец (толстыми глубокими линиями показаны капли крови?). Глаза трактованы в виде округлых вдавлений без разработки век. Рот передан в виде глубокой горизонтальной черты.

Одевание состоит из рубахи с треугольным вырезом и вертикальным швом по центру, напоминающим букву «У». Внизу на выбранном участке помещено изображение креста. Вся композиция заключена в рамочку. Слева надпись из трех букв: Х О I, причем средняя буква дана схематично, в виде рыбы в вертикальном положении. Первая и последняя буквы, несомненно, означают имя Иисуса Христа, рыба также является его атрибутом. Форма всего изображения, напоминающая сердце, ассоциируется с *sage ceur*.

Помимо того, что образ самого Христа довольно редок в среднеазиатском искусстве, стиль, в котором исполнена гемма, не характерен для известных христианских сюжетов, обнаруженных в Средней Азии. Присутствие христианской культуры и развитие ее художественного комплекса происходило на среднеазиатской почве своим, не очень приметным, но верным путем. Возникновению и развитию христианской культуры в Центральной Азии было посвящено несколько специальных работ [см.: Бартольд 1894; Никитин 1984; Джаббаров, Дресвянская 1993], а отдельные ее стороны были рассмотрены в контексте археологических открытий в Пенджикенте [Беленицкий 1954]. Известно немалое количество объектов т. н. «сасанидско-христианской» глиптики, в том числе и в Государственном Эрмитаже [Борисов 1939]. Безусловно, термин «сасанидский» носит, скорее, условный характер, тем более, что христианское искусство вряд ли могло развиваться в русле государственной политики Сасанидов. Впрочем, некоторые периоды сасанидской истории были относительно благоприятными для христианства, особенно тогда, «когда христиане появляются на руководящих ролях не только культурной, но и экономической, и даже политической жизни Эран-Шахра» (например, время правления Хосрова II Парвиза — 590—628) [Борисов 1939].

Возвращаясь к самаркандской гемме, отметим некоторые характерные детали в иконографии показанного на ней персонажа. Глубоко вырезаны округлые и близко посаженные глаза, нос, рот и широкие, обрамляющие брови. Тем не менее, изображение создает впечатление плоскости и услов-

ности. Обращает на себя внимание форма бюста, напоминающая сердце с расположенным под ним крестом. Важным атрибутирующим моментом являются буква I и X с расположенным между ними схематичным изображением рыбы.

Аналогичное сочетание символов, передающих имя Иисуса Христа в виде сокращенных букв и знака рыбы, встречается на гемме из Ватикана, на которой изображены по вертикали сверху вниз буква I, затем изображение рыбы влево горизонтально и буква X [Dictionnaire d'Archeologie Chretienne et de Liturgie 1924]. Что касается самого изображения, то точную аналогию к самаркандскому образцу найти не удастся, хотя, если соотнести нашу гемму с общим фоном изобразительной традиции христианской Византии, то уловить общий стиль и манеру не представляет особой трудности.

Раннехристианское искусство, которое подпитывалось традициями античной изобразительной традиции в эпоху раннего средневековья, начиная с конца III—IV вв. приобретает новые черты. Объемность изображения, придающая образам жизненную экспрессию уступает иератичности, условности и орнаментализации. Эти вновь возникшие тенденции перерастают в устойчивый стиль, ставший столь характерным для средневекового искусства и получившим официальное утверждение на Никейском соборе (787 г.). Все жанры византийского искусства объединяет одна особенность, заключающаяся не только в статичности образов, но и в существовании определенных канонов в передаче пропорций изображений. Как правило, это характерное удлиненное лицо с утрировано большими, широко открытыми глазами, расположенными близко к переносице. Четко очерченные, часто дугообразной формы брови, обрамляющие глаза. Все эти детали, с учетом некоторой доли условности, свойственны и для самаркандской геммы. В качестве ее аналогии, мы можем взять лишь один образец из собрания Государственного Эрмитажа, чтобы подчеркнуть общие черты в этих двух произведениях камнерезного искусства. Речь идет о камее с фигурой так называемого Христа Эммануэля, датированной предположительно VI в. [Bank 1977: 290, № 106, инв. № Q373]. Казалось бы, выполненные в разной технике, эти два портрета должны различаться в значительной степени, тем более, что на эрмитажной камее изображен молодой Христос, тогда как самаркандская инталия передает образ зрелого человека с бородой. Однако, если сравнить форму фигур, то можно обнаружить то же схематичное изображение сердца; правда, на эрмитажном экземпляре обыгрывается многослойный камень и бюст — сердце как бы окрашено в кроваво-красный цвет. На гемме из Самарканда сердце (бюст) сверху как бы раздвоено вырезом вокруг шеи.

Другим общим элементом является построение лица с теми же близко посаженными глазами и дугообразными бровями. Иконографические особенности данного изображения выделяют его из ряда образов среднеазиатской глиптики. Самаркандскую гемму мы датировем VI в., местом ее изготовления могли быть восточные области Византийской империи.

Библиография

- Бартольд В. В.* О христианстве в Туркестане в домонгольский период // ЗВОРАО. Т. VIII. 1894.
- Беленицкий А. М.* Вопросы идеологии и культов Согда (По материалам Пенджикентских храмов) // Живопись древнего Пянджикента. М., 1954.
- Борисов А. Я.* Эпиграфические заметки // ТОВЭ. Т. I. 1939.
- Джаббаров И., Дресвянская Г.* Духи, святые, боги Средней Азии. Ташкент, 1993.
- Из истории древних культов Средней Азии.* Христианство. Ташкент, 1994.
- Никитин А. Б.* Христианство в Центральной Азии (древность и средневековье) // Восточный Туркестан и Средняя Азия. М., 1984.
- Bank A.* L'art Byzantin dans les musées de l'Union Sovietique. Leningrad, 1977.
- Barthold W.* Zur Geschichte des Christentums im Mittel Asien biz sur mongolischen Eroberung. Leipzig, 1901.
- Christensen A.* L'Iran sous les Sassanides. Copenhagen, 1936.
- Dictionnaire d'Archeologie Chretienne et de Liturgie.* Т. 6. Paris, 1924.

САКРАЛЬНЫЕ ГОРЫ КЫРГЫЗСТАНА

Большая часть территории Кыргызстана занята горами. Естественно, что у народов, населявших Кыргызстан с древности до современности, к ним было и остается особенное отношение. На это красноречиво указывают многочисленные свидетельства сакрализации гор, скал, ущелий, перевалов, пещер и гротов. Можно с полной уверенностью сказать, что в Кыргызстане до сих пор живы религиозные воззрения и ритуально-обрядовая практика, связанная с культом гор.

Священные горы (*ыйык тоо* по-кыргызски) имеются во всех районах нашей страны. Они различаются по степени своего значения и функционирования. Одни из них — это горы, которые можно назвать региональными (среднеазиатскими) святынями, другие являются объектами поклонения для населения какой-то одной области, третьи почитаются только одним племенем или отдельным взятым родом.

В советское время наблюдалось игнорирование роли и места священных гор как части экологической и религиозной культуры, что вполне соответствовало принципам царившего в обществе воинствующего атеизма. Правда, можно говорить об определенной адаптации тогдашней государственной политики к сложившимся многовековым традициям. Видя безуспешность борьбы с паломничеством на некоторые горы, власть объявляла эти места музеями-заповедниками и зонами отдыха, такие как, например, Сулайман-Тоо в Оше или Сахаба в Ноокате (Южный Кыргызстан).

В последнее же десятилетие в кыргызском обществе формируется представление о священных горах как части природного и культурного наследия страны. Не случайно в Предварительный Список Всемирного наследия (2000 г.) в качестве одного из номинантов вошла гора Сулайман-Тоо. Она находится в черте городской застройки Оша, занимая его центр, и представляет собой причудливой формы пятиглавый известковый останец с пещерами, гротами, археологическими и архитектурными памятниками, культовыми местами. Известно несколько вариантов названия горы: Сулайман-Таг, Сулайман-Тоо, Тахти-Сулеймени др. Благодаря средневековым письменным источникам, зафиксировано также историческое название горы: в XV в. она на фарси называлась Бара-Кух, что означало отдельно стоящую или красивую гору (Захреддин Бабур); это же название в форме «Барак» было известно уже в конце XIII в. (Джелал Карши). Но самым ранним упоминанием Поклонной горы, видимо, следует считать информацию китайских источников (первая половина I тыс. н. э.) о Гуйшан-чэне, «городе у высокочтимой горы», локализуемого некоторыми исследователями именно в районе Оша. Современное название, связанное с мусульманской легендой о пребывании здесь пророка Сулеймана (Соломона), в арабоязычных текстах впервые появляется в XVII в. (Махмуд-ибн-Вали).

Гора имеет длину около 1140 м и ширину 560 м по подошве, ориентирована она с востока на запад. Высота вершин над уровнем моря от 1119 до 1175 м. В конце 1970-х гг. гора вошла в число природных объектов, охраняемых государством. В 1977 г. ей придан статус историко-культурного музея-заповедника. В 1980-е гг. проводились комплексные работы по определению охранной зоны памятника. В 1995 г. Сулайман-Тоо была отобрана экспертами ЮНЕСКО в качестве одного из претендентов в «Список Всемирного природно-культурного наследия». В 2000 г. она была включена в Предварительный Список в номинации «Природный и культурный ландшафт», так как данный памятник существенно связан с идеями и верованиями, с событиями и личностями выдающегося исторического значения, и одновременно с этим представляет собой превосходное природное формирование с исключительным сочетанием естественных и культурных элементов. Это было признано на международной встрече экспертов ЮНЕСКО по священным горам азиатско-тихоокеанского региона, проходившей в сентябре 2001 г. в Японии, где и прошла первая международная презентация этого интереснейшего объекта.

Сама гора Сулайман-Тоо привлекает причудливостью своих очертаний, местоположением и величием. Ее южные склоны почти на половину открыты людям, тогда как северные — наги и суровы. В ней имеются пещеры и гроты [Дядюченко 1970]. Памятники археологии и истории, расположенные на горе, датируются в самом широком хронологическом диапазоне: от мезо-неолитического времени до позднего средневековья и этнографической современности. Как природное святилище, она начала функционировать, видимо, с эпохи бронзы — II — начала I тыс. до н. э., хотя специалисты не исключают и более раннее время (энеолит).

Все пять вершин горы, как и ее пещеры, имеют свои названия. Кроме того, некоторые отдельные скалы, камни и перешейки также имеют наименования и соответствующую легенду. В целом можно сказать, что микротопонимика Сулайман-Тоо отражает различные этапы исторического развития Южного Кыргызстана и Ферганской долины. Самыми ранними являются названия иранского происхождения, затем следуют тюркские, а после утверждения в этих краях ислама появляются арабские. Позднее появляются русские названия.

Наиболее ранними свидетельствами сакрализации горы являются древние культовые места, также имеющие свои названия, а также выбитые там петроглифы [Аманбаева, Дэвлет 1998]. Основная часть культовых мест используется посетителями до сих пор в различных лечебных и магических целях. Петроглифы зафиксированы на всех пяти вершинах, в их расположении наблюдается определенная закономерность: они следуют курсу дневного светила на небосклоне с востока на запад. Особенно эффектны рисунки на вертикальных скальных поверхностях восточного подножья первой вершины. Здесь показаны композиции, включающие фигурные изображения, чаще всего животных или змей. Перед вертикальными плоскостями с петроглифами в большинстве случаев имеются небольшие горизонтальные площадки, которые можно интерпретировать в качестве жертвенных мест, что подтверждается современной практикой. Наблюдается определенная взаимосвязь в расположении петроглифов и культовых мест. Особо следует отметить камни с желобами. Это крупные наклонные скальные выходы, которые пересекаются одним-тремя шлифованными и заполированными желобами длиной от 3,5 до 4,4 м. На некоторых из камней встречаются единичные солярные знаки, изображения креста, раскрытой ладони. В различных частях света подобные желоба связываются, в частности, с идеей женского плодородия. Основная часть культовых мест и наскальных изображений датируется эпохой бронзы (возможно, даже энеолитом). В едином культурном и хронологическом контексте с ними находится и другой памятник Сулайман-Тоо — поселение на южном склоне третьей вершины. Необычайность его местоположения (на горе) и происходящие оттуда многочисленные находки дали археологам основание считать, что оно было ритуальным центром чувстских племен Ферганской долины в XII—VIII вв. до н. э. Есть предположение, что оно служило местом обитания служителей культа. Сами материалы чувстской культуры, к которой относится и Ошское поселение, обнаруживают определенную переключку с памятниками западных районов КНР [Заднепровский 1997].

Еще одним видом памятников Сулайман-Тоо является эпиграфика, включающая надписи, выбитые на скалах и на могильных камнях средневекового кладбища, которое располагалось на южном склоне горы. Написаны они арабской графикой и датируются от X в. до XV—XVI вв. Адаптация горы как значительного культового центра к вероучению ислама относится к X—XII вв. Именно этой эпохой датировалось большинство мечетей и мазаров, снесенных в советское время. На месте сохранившихся построек XVI—XVIII вв. — мечети Рават Абдуллахану и мавзолея Асаф-ибн-Бурхия — также обнаружены остатки монументальных культовых сооружений караханидского времени. Еще одним архитектурным объектом, относящимся к средневековью, является баня, руины которой находятся у восточного подножья Сулайман-Тоо. Она располагалась в черте городского квартала XI—XIV вв. в торгово-ремесленном предместье Оша. В общественной жизни средневекового города бани занимали особое место, являясь не только гигиеническим учреждением.

Другой вид памятников Сулайман-Тоо — это два рукотворных канала, огибающих гору с востока и с севера. Вдоль Жуппас-арыка, ограничивающего гору с севера, находится жилой квартал, где до сих пор сохранились образцы народной архитектуры XVIII — начала XX вв. Именно здесь предполагается устройство этнографической зоны, демонстрирующей традиционный уклад городской среднеазиатской жизни.

По существу, в настоящее время Сулайман-Тоо является единственной священной горой Средней Азии, которая претендует на включение в Список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

Другой известный памятник Кыргызстана — Манас-Ордо, расположенный на северо-западе страны, наряду с другими объектами поклонения, включает и священную гору Манас-Сула (Талчоку, Караул-чоку). Сакрализация этой местности, несомненно, уходит в доисламскую эпоху. Одним из свидетельств этого является микротопонимика этой части Таласской долины. В частности, вторая часть названия горы — Сула, по мнению некоторых исследователей, может быть искаженной передачей слова «ступа». Здесь выполнялись различные ритуально-обрядовые действия, связанные с поклонением духу Манаса и шаманскими культами.

На берегах Иссык-Куля находится известная гора Хан-Тенгри, являющаяся святыней для местного населения. Исключительный интерес представляет и гора Чеш-Тюбе в Атбашинском райо-

не Нарынской области, состоящая из семи адыров (холмов). По всей вероятности, она была священной для племени черик, но в настоящее время ей поклоняются все жители внутреннего Тянь-Шаня.

Примером почитания горных ущелий, пещер, отдельных скал являются местности Абшыр-Ата и Сахоба в Ноокатском районе, Дулдул-Ата в Араванском районе Ошской области, Кунелек на Алае, Лянгар-Буа в Баткенской области на юге Кыргызстана и т. д. В Абшир-Ате имеются священная скала с водопадом, пещера и родник. О давних истоках сакрализации этих мест свидетельствуют древние петроглифы, разбросанные по скальным поверхностям ущелья. По мнению многочисленных паломников, священным считается все ущелье, поэтому здесь они совершают полный цикл обрядов.

Культовое место Сахоба более всего славится своими мазаром и эпитафическими памятниками, выполненными арабской графикой, но в его комплекс также входит священная скала с петроглифами бронзового века у входа в ущелье Чилии-сай, в начале дороги на Алай, и неглубокие гроты Тешик-Таш, являющиеся объектами поклонения местного населения.

В местности Дулдул-Ата, где находится так называемая Араванская скала с выбитыми изображениями даваньских коней, датируемыми I—IV вв. н. э., имеются отполированная каменная площадка с лунками и пещерка с узкой привходной частью. В этом святилище органично переплетаются отголоски различных доисламских культов: поклонения горам, солнцу и плодородию.

Ущелье Лянгар-Буа, находящееся в среднем течении горной реки Кара-Булак в Баткенской области, является сакральным местом одного из родов, проживающих в одноименном селе. В настоящее время ритуальная практика сводится к совершению там коллективных жертвоприношений.

В составе другого культового места, Сафид-Буленда в Джалал-Абадской области, есть гора Арча-Мазар с пещерой и вертикально стоящий камень плодородия. Последний, по всей видимости, является отголоском фаллического культа, на что указывает и современная ритуальная практика.

Список местностей, где фиксируются следы сакрализации гор, ущелий, скал, пещер и камней, гораздо более внушителен, но объем настоящей заметки не позволяет воспроизвести его полностью.

В заключении хочется еще раз подчеркнуть, что священные горы в религиозно-духовной жизни народов Кыргызстана играли и продолжают играть заметную роль. Характерным для Кыргызстана, особенно его южной части, является то, что при смене культур древнее священное место приспособляли к новым религиозным воззрениям. Именно на этой основе сложилось то множество культовых мест, которые продолжают функционировать и сегодня.

Библиография

Аманбаева Б. Э., Дэвлет Е. Г. Петроглифы Сулайман-Тоо // Новое о древнем и средневековом Кыргызстане. Вып. 1. Бишкек, 1998

Дядюченко Л. В пещерах Киргизии. Фрунзе, 1970.

Заднепровский Ю. А. Ошское поселение: К истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. Бишкек, 1997.

ПРОРОЧЕСТВА ДЖАМАСПА И ОРАКУЛЫ ГИСТАСПА. К ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЗОРОАСТРИЙСКИХ АПОКАЛИПТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ *

Tā-θwā pərəsā Ahurā yā-zī āiī jəngħaticā
«Я спрашиваю тебя, Ахура, о том, что происходит и что произойдет»
Заратуштра. Ясна 31, 14

Зороастрийская апокалиптическая литература имеет давнюю традицию, и по общему признанию, оказала значительное влияние на формирование апокалиптических традиций Ближнего Востока и Европы, в особенности иудаистской и христианской (ср. библейские книги Даниила, Езры, Еноха, Иеремии, «Откровение Иоанна» и т. д.). Дошедшие до нас разделы «Авесты» уже содержали основные и ключевые положения зороастрийской апокалиптической мысли. Получили они дальнейшее развитие в сасанидскую эпоху — в период расцвета зороастрийской религии, и были окончательно сформированы зороастрийцами в X—XIII вв., уже после завоевания Ирана арабами и распространения ислама. Большинство зороастрийских книжно-пехлевийских сочинений апокалиптического содержания было скомпилировано и отредактировано после X в. («Бундахишн», «Денкард», «Занд-и Вахман Ясн» и др.). Поэтому интерпретация основных апокалиптических идей зороастризма связана с большими трудностями, и это, в первую очередь, относится к сочинению «Занд-и Вахаман Ясн», известному также под названием «Бахман Яшт». Проблеме интерпретации этого текста посвящен целый ряд статей и исследований [см., например: Hultgård 1991].

Как известно, основная роль в зороастрийском апокалипсисе отводится фигуре самого пророка Заратуштры. Именно он, побывав в трансцендентном сне, получает дар предвидения мировых эпох и раскрывает грядущие события, используя прием вопросов и ответов и получая эти знания о них от верховного бога Ормазда в ответ. Однако в иранской традиции такой дар имеет не только Заратуштра. При разных обстоятельствах им начинают обладать такие близкие Заратуштре люди, как его знаменитый покровитель Виштасп и Джамасп, зять Заратуштры и советник Виштаспа. Джамасп получает способность предвидения непосредственно от Заратуштры («Заратушт-нама», «Айадгар-и Джамаспиг»). Что касается Виштаспа, то Заратуштра предоставляет ему возможность предвидения лишь отчасти, а именно знание своей конечной судьбы и места в последующем бытии. Виштаспа погружается в трансцендентный сон и, подобно жрецу Виразу, видит себя в последующем бытии («Денкард» VII, 4, 84—86; «Пехлевийский Риваят» XLVII, 27—32). Так обстоит дело с Виштаспой, согласно утвердившейся зороастрийской традиции. Вместе с тем, знание об «Оракулах Гистаспа» в греко-римском мире позволяет предполагать, что зороастрийские жрецы и маги западной части Малой Азии все же могли наделять Виштаспа такими же качествами всеведения и предвидения, какими обладали Заратуштра и Джамасп.

Традиционный зороастрийский свод пророчеств Джамаспа сохранился в двух версиях: одна, более объемная пазендская версия — это «Айадгар-и Джамаспиг» («Предание, памятная книга о Джамаспе», рукописи DE, RJ), другая, более краткая и фрагментарная среднеперсидская — «Джамасп-намаг» («Книга Джамаспа», рукописи MU, DE, MU₂, MU₃, MU₄). Известны также датируемая X—XI в. персидская зороастрийская версия «Джамаспи» («Джамасп-намэ», «Ахкам-и Джамасп») (рукописи MN₇, TD, BU 29) и поздняя исламизированная персидская версия «Ахкам-и Джамасп» (Национальная библиотека Парижа, Supplément Persan, 1091; Риваят Дараба Хормозд-йара) [Āmūzgār 1969: 196]. Среднеперсидская (книжно-пехлевийская) версия, по утверждению Э. Уэста, составляла 32 листа, из которых до нас дошли листы 17—19 и 27—31 [West 1904: 110]. В настоящее время она представляет собой всего три небольших фрагмента. Сличенные тексты большинства рукописей были опубликованы знаменитым ученым-парсом Дж. Дж. Модии [Modi 1903].

Поздняя зороастрийская традиция считает Джамаспа автором не только первоначальной пехлевийской версии «Джамасп-намага», но и предполагаемого авестийского оригинала. Джамаспу приписываются также и другие зороастрийские сочинения, которые он якобы записывал под диктовку Заратуштры («Денкард» IV, 21; V, 3, 4; VII, 5, 11 и т. д.). Однако следует обратить внимание на тот факт, что сасанидская «Авеста» не знала никаких книг, посвященных пророчествам Джамаспа. Согласно «Денкарду» (VIII, 38, 68), описанию достоинств и жизни Джамаспа и его брата

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФНФ, грант № 02-01-00080а.

Фрашаоштры был посвящен раздел «Сагадум Наска», о Джамаспе как главном жреце упоминалось также в 19-ом фрагарде «Варшмансар Наска».

Джамасп Хвогва, брат Фрашаоштры, супруг дочери Заратуштры Поуручисты, являлся советником царя Виштаспы и, согласно преданию, занял место Заратуштры после его смерти. В апокалиптической литературе ему отведено значительное место. «Авесте» известен и другой Джамасп — так называемый Джамасп младший (*aparažāta-*) (*Яутм* 13, 127), названный в честь своего прославленного предшественника и сыгравший определенную роль в зороастрийской истории после смерти Заратуштры и Джамаспа старшего. Об этом разделе зороастрийской истории не сохранилось никаких сведений, хотя по содержанию мемориальной части «Фравардин Яшта» можно предположить, что имена героев, приведенных в конце § 127 и в § 128, наряду с именами Медйо-манхи младшего и Урватат-нары младшего, мыслились как будущие помощники спасителей — сыновей Заратуштры: Ухшийат-эреты, Ухшийат-нэмы и Астват-эреты (ср.: «Дадестан-и Дэниг» 36, 4, где упомянуты имена шести других помощников, перечисленных также в *Яутме* 13, 128).

В новоперсидской литературе Джамасп известен как мудрец и астролог, ученик Лукмана, могила которого локализуется возле селения Кирада в Фарсе. Ему приписывается авторство «Джамасп-наме» («*Jāmāsp-Nāme*»), в котором он якобы предсказал, что у пророка Мухаммеда не будет мужского потомства, как и то, что грядет смерть имама Хусейна, явятся Махди и Даджджал, в то время как зороастрийские тексты не содержат таких пророчеств. Эти пророчества Джамаспа, вероятно, основываются на несохранившемся мусульманском предании о Джамаспе (ср. «Ахкам-и Джамасп», где упомянуто имя пророка Мухаммеда). Согласно пятому *tunāzīrah* Асади Туси, которое было посвящено стихотворному прению между арабом и персом (Munāzīra-i ‘arab-ū ‘ajam), «знаток Джамасп, всеведущий в повелениях небосвода» зачислен в список знаменитых и доблестных мужей, прославивших Аджам (id est Иран) [Бертельс 1988: 219, 224]. Турецкие средневековые рассказы о мудреце Джамаспе описаны и рассмотрены в работе Х. Флейшера [Fleischer 1888: 255—260]. Согласно поздней зороастрийской и мусульманской традиции, деятельность Джамаспа связывают с Западным Ираном. Так, известный арабский писатель Мас’уди, перенося места сражений Йустасфа (Виштаспа) к Аланским воротам, называет Джамаспа искаженно Ханасом, мудрецом, происходящим из Азербайджана, который сменил Зерадешта (Заратуштру) и стал первым мобедом (жрецом). В пазендской версии «Айадгар-и Джамаспиг», в самом ее начале также говорится о том, что Джамасп происходил из одной из деревень Азарбадигана (Атропатены) [Modi 1903: 58, 108]. Согласно поздней персидской легенде, до принятия зороастрийской религии Джамасп был учеником индийского мудреца Чангрангхача («Чангрангхач-наме»).

В «Гатах» Джамасп называется Деджамаспа (или Дэ-Джамаспа: *Ясна* 51, 18, *Ясна* 46, 17), и это имя толкуется зороастрийцами как «мудрый (знающий) Джамасп». Вторая часть этого имени сравнивается с вед. *kōāmá-*, пали пракрит. *jhāma-* «burnt, dried, emaciated (выжженный; высушенный; чахлый, худой, истощенный)» (Т. Varrow). Р. Шмитт предложил переводить это имя как «der Pferde mit Brandzeichen besitzt» («имеющий клейменных лошадей»). М. Майрхофер, однако, полагал, что фонетическое соответствие др.-инд. *kō-* / ср.-инд. *jh-* с авест. (d)j- сомнительно. Этимология от другого корня была предложена И. Гершевичем: авест. имя *Jāmāspa-*, засвидетельствованное в Персеполе как *Zamašba*, скорее всего, означает «leading horses» («ведущий лошадей»), что близко значению парфянского корня *žām-* «führen, conduire» (Гилен), нежели значению «exerting; emaciating» («приводящий в действие, напрягающий; выматывающий»), выводимому Бейли, который находил параллель с хотаносакским *ggaunda* [Gershevich 1969: 177].

О Джамаспе говорится в «Младшей Авесте». В песнопениях «Ардвисур Яшта» (*Яутм* 5, 68—70) его образ воспевается и славословится наряду с именами героических царей и богатырей. Джамаспа сыграл особую роль во время войны с «хйаона». Он первый заметил (*pairi.avaēnaŋ*) или предвидел идущее издалека вражеское войско язычников (*даэва*-поклонников):

§68 *tqm yazata jāmāspō*
yaŋ spādēt pairi.avaēnaŋ
dūrāŋ ayaŋtēt rasmaoūō
drvatqm daēvayasnānqm...

§69 *āaŋ hīm jaiḍyaŋ,*
avaŋ āyartēm dazdi.mē
vaŋuhi savište arədvī sūre anāhite
yaḍa azəm avata vərəθra hacāne
yaḍa vīspa anyē aire.

§70 *daḍaŋ ahmāi taŋ avaŋ āyartēm*

68. «Ее почитал Джамасп,
когда он увидел войско,
идущее издалека в боевом порядке,
(войско) грешных *даэва*-поклонников,...

69. Он просил ее так:
“Даруй мне такую благодать,
О, благая, наимогущественная,
Ардви Сура Анахита, чтобы я
одержал такую победу,

Первоначальные пророчества Джамаспа, в отличие от поздних зороастрийских, отражены, пожалуй, в большей степени в зороастрийских сочинениях эпического и дидактического содержания, в частности, в среднеперсидском (пехлевийском) эпическом фрагменте кеянидского героического эпоса, воспевающем подвиги клана Зарера, военачальника Ирана времен Заратуштры и Джамаспа. В «Айадгар-и Зареран» («Предании о Зарере», далее — АЗ) Джамасп снабжен эпитетами *bidaxš* «второй правитель; советник», *dānāg* «мудрец», *wēnāg* «провидец», *šnāsag* «знаток», *pešēntīgān sālār* «глава придворных, приближенных царя»¹. Во время своего марша к месту сражения с хйонами войско Виштаспа сталкивается со странными природными явлениями: день вдруг превращается в ночь (возможно, указание на солнечное затмение, или имеет место чрезмерная гиперболизация в описании выступления войск), что было принято за плохое предзнаменование. По приказу Виштаспа войско остановилось и раскинуло палатки, на 300 веревок которых было повязано 300 золотых колокольчиков. В царском шатре был устроен тайный совет, на котором царь убедил Джамаспа предсказать события будущей битвы. Перед Виштаспом свое нежелание поведать о предстоящих трагических событиях он аргументирует следующим образом: «О, если бы я не был рожден матерью, или, будучи рожден ею, в детстве умер по воле судьбы своей, или был птицей и упал бы в море, или, Вы, Ваше Величество, не задали бы мне этого вопроса, но коль скоро он Вами задан, у меня нет иного желания, как рассказать правду» (АЗ § 40). Весьма сходна речь Джамаспа в «Джамасп-намаге», когда он собирается поведать о трагических событиях, касающихся другого периода истории Ирана: «И я скажу следующее: блажен тот, кто не рождается от матери, а если рождается, умрет и не увидит так много зла и насилия. В конце тысячелетия Зардушта они [сыновья умершего победоносного царя] не увидят той великой битвы (*ān wuzurg kārezār*), которая должна произойти. И в то время прольется много крови, одна треть людей не выживет, но арабы смешаются с ромейцами и тюрками и уничтожат мир (*kišwar*)» («Джамасп-намаг» 70—73) [Bailey 1931: 582]. Предсказание Джамаспа в АЗ было следующим:

36. Ēn-iz *dānēh *kū
dah rōz wārān āyēd
čand srišk ō zamīg āyēd
ud čand srišk abar srišk āyēd
37. Ud ēn-iz dānēh kū
urwarān wiškōfēd
ud kadām ān gul ī rōz <wiškōfēd>
ud kadām ān ī šab
kadām ān ī fradāg...
39. Ēn-iz dānēd kū
fradāg rōz *čē bawēd
andar ān aždahāg
razm ī Wištāspān
az pusrān [ud] brādarān ī man
Kay-Wištāsp-šāh
kē zīwēd ud kē mīrēd...
46. Fradāg rōz ka pahikōbēnd
nēw pad nēw ud warāz pad warāz
was mād *abē-puhr
was *puhr abē-pid
ud was pid abē-puhr

36. «И тебе также ведомо,
если 10 дней идет дождь,
сколько капель падает на землю
и сколько капель падает на каплю [в море]»².
37. И тебе также ведомо,
когда цветут растения,
у каких из них цветы
цветут днем,
у каких — ночью и у каких — утром...
39. И тебе также ведомо,
что случится завтра
в той драконовой (исполинской) битве
рати Виштасповой,
и кто из сыновей и братьев моих,
царя Кай-Виштаспа,
останется в живых, а кто погибнет?»...
46. «Завтра, [когда] сразятся
отважный против отважного,
вепрь против вепря (герой против героя)³,
многие матери лишатся сыновей,
многие сыновья лишатся отцов,

¹ В «Afrīn ī wuzurgān» («Африн великим зороастрийцам») он назван мудрецом: «Будьте мудрыми как Джамасп, советник» (*Kundāg bawēd čiyōn Jāmāsp bidaxš* [knd'k b[w]yt čuywn y'm'sp bthš]). В «Африне Заратушты» он назван «храбрым и могущественным». В «Виштасп Яште» Заратуштра благословляет Виштаспа так, чтобы один из его сыновей был подобен Джамаспу (*Yūm* 24, 11).

² В рукописях *srišk abar srišk* «капля на каплю/капля по капле». Ср. аналогичный пассаж в пазендской версии «Айадгар-и Джамаспиг»: «Я знаю все от бессмертного Зартушта Спитамана, и вот каково это знание: когда идет дождь в одну зиму, сколько капель падает на горы, сколько капель падает на землю, сколько капель падает на равнину и сколько капель падает в море» [Modi 1903: 58—59, 108—109].

³ Буквально: «вепрь с вепрем».

ud was brād abē-brād
 ud was zan šōyōmand
 abē-šōy bawēnd
 47. Was āyēnd bārag ērānagān
 kē wišād arwand āyēnd
 andar ān hyōnān
 xwadāy xwāhēnd
 ud nē windēnd...
 49. U-t az pus tā brād
 wīst [ud] sē murd bawēnd.

многие отцы лишатся сыновей,
 многие братья лишатся братьев,
 многие жены лишатся мужей.
 47. Много придет коней эранцев,
 неоседланных, быстрых,
 будут они искать [своих] хозяев
 среди этих хйонов, но не найдут»...
 49. «И из твоих сыновей и братьев
 погибнут 23 (человека)».

Композиция АЗ также имеет привязку к зороастрийской апокалиптической традиции. Все сочинение разделено на три части. Первая — экспозиционная — описывает начало разгоревшейся религиозной войны между эранским царством Виштаспа и хйонским царством Арджаспа; вторая часть — кульминационная — описывает заседание военного совета в царском шатре и трагические предсказания советника Джамаспа о фатальных последствиях сражения; третья часть освещает ход сражения, в результате которого погибает главнокомандующий войсками Эрана Зарер и другие приближенные царя, и в завершении которого эранцы все же одерживают трудную победу над хйонами. Трехчастная структура композиции, возможно, в сжатом виде символизировала три зороастрийские эры мировой истории: творение Благого Духа, нашествие Злого Духа и смешение добра и зла, и, наконец, победу благих сил над злыми в результате воскрешения. Сын царя Виштаспа и наследный принц Спандьяд одерживает победу над врагом в день Фравардин (19-й день недели), который был посвящен бессмертным душам праведных зороастрийцев. Таким образом, война с хйонами представлялась автору (или составителю) АЗ эсхатологическим событием — как борьба со злыми силами и содействие грядущему спасению от них. Определяя место сражения, царь Виштасп в письме к своему противнику заявляет, что его храбрая армия сразится насмерть, буквально «вкусит бессмертие» в Белой Роще (ср.-перс., парф. *Арос-Разур*, ср.-перс. *Снед-Разур*, авест. *Спаэтиа Разура*), на той равнине кони и храбрые пехотинцы должны будут решить исход битвы. Составитель текста использовал слово *визаришин* («должен быть разрешен»), которое является ключевым в зороастрийском апокалиптическом лексиконе — в роли абстрактного существительного оно представляет собой название предстоящей эры *визаришин* — разделения мира на благую часть — рай (авест. *Гаро-Дмана* «Дом Хвалы», *Паури-Дазза* «убежище») и злую часть — ад (авест. *Дужанху* «злой мир», ср.-перс. *Душох*, перс. *Дузах*).

Такая композиция АЗ схожа с композицией мемориального списка праведных мужчин-зороастрийцев (§ 95—129), в то время как полный мемориальный список охватывает как мужчин, так и женщин (*Яшт* 13, § 80—157). Этот список разделен на три части, каждая из которых завершается почитанием будущего сына Заратуштры Астват-Эреты (*саошйанта*) — спасителя мира, который одержит победу и уничтожит всех врагов зороастрийской религии и который воскресит из мертвых всех праведников и обновит мир (§ 129).

Некоторые из вышеупомянутых пророчеств Джамаспа, возможно, оказали влияние на формирование поздних сочинений, посвященных пророчествам Джамаспа. В них говорится о том, как Джамасп, отвечая на вопросы царя Виштаспа, предсказывает предстоящие события вплоть до арабского нашествия на Иран. Можно предположить, что образ и роль Джамаспа как предсказателя инициировали развитие отдельного направления в среднеперсидской апокалиптической литературе. Как «*Jāmāsp-Nāmag*» («Книга о Джамаспе»), так и «*Ayādgar ī Jāmāspīg*» («Памятная книга о Джамаспе») обнаруживают некоторые параллели с «*Айадгар-и Зареран*». Автор или компилятор пазендской версии — «*Айадгар-и Джамаспиг*» — уверяет, что книга была записана в период правления царя Виштаспа. В «*Айадгар-и Зареран*» царь Виштасп сам рассказывает двору об экстраординарных способностях Джамаспа, в то время как в «*Айадгар-и Джамаспиг*» мы узнаем о них со слов самого Джамаспа. После Заратуштры Спитама мобедом мобедов был Джамасп. Его прозвали Джамаспом-*бидахшем*, потому что Заратуштра при жизни сказал в присутствии царя Виштаспа: «По повелению Бога, я сделал Джамаспа мудрым, и он знает обо всем». Тогда Джамасп пошел к царю Виштаспу и сказал: «Я узнал обо всем от бессмертного Заратуштры Спитама, и каково это знание: когда идет дождь зимой, сколько капель упадет на горы, сколько на землю, сколько на равнину и сколько упадет в море. Кто знает, сколько капель в дожде, сколько цветов цветет, сколько в мире беседок и деревьев, сколько в небе звезд, в какое время падает каждая звезда, и что это значит, и у стада овец и коров сколько волос белых и сколько черных, я знаю счет всему, о, царь царей, спрашивая Ормазда, я получаю ответы на все» [Modi 1903: 58—59, 108—109].

«Джамасп-намаг», как и «Айадгар-и Джамаспиг», находят многочисленные параллели с другими зороастрийскими апокалиптическими сочинениями и фрагментами («Иранский Бундахишн» 33; «Занд-и Вахман Ясн»; и др.). Можно упомянуть наиболее значительные и отличительные особенности «Джамасп-намага». Джамасп, отвечая на вопросы Виштаспа, устанавливает период в 1000 лет, в течение которого будет продолжаться существование зороастрийской религии. Какой-то человек поднимется в Хварасане, захватит страну и умрет. Власть перейдет от иранцев к неиранцам. Ромейскую страну (Византию) захватит некий царь и поступит жестоко с людьми Эраншахра. Его незаконные потомки потеряют власть. В конце тысячелетия Зардушта арабы, ромейцы (византийцы) и турки совместно уничтожат обитаемый мир. Некто поднимется из южной стороны, захватит власть, и затем вернется в Завул. Иранцы будут в великом отчаянии. Человек в Падишхваргаре ¹, с помощью Михр язата (божества Митры), соберет сильную армию и выступит из Завула. И оттуда он направится в Иран и на равнине в Белом Лесу, в котором Виштасп сразился с белыми хйонами, уничтожит несметные полчища врага. Срош и Нерьюосанг по команде Ормазда отправят Пишйотана, сына Виштаспа, из кеянидской крепости Канг со 150 учениками вплоть до Парса, и они учредят огни и воды, и *яшты* водам и огням будут исполняться; злодеи, дэвы и хйоны погибнут также, как и в холодную зиму погибают листья деревьев. Время волков уйдет, и наступит время овец. И, наконец, Хушедар, сын Зардушта, появится, чтобы обновить веру, зло отойдет и наступит счастье. Особая роль в «Джамасп-намаге» отводится божеству Михру-Митре (сражение Михра с Хешмом: *ud pas Mihr ud Xēšm āgenēn bē pahikōbēnd*; сражение Михра с другом Ватйаваканом, «поражающим злаки, ячмень»; содействие Падишхваргару — Михр раскрывает многие сокрытые тайны ² человеку из Падишхваргара; упоминание «царственной благодати Падишхваргара»: *xwarrāh ī Padišxwargar*).

Интересные параллели обнаруживаются в «Оракулах Гистаспа», на них обращал внимание в свое время Э. Бенвенист [Benveniste 1932]. Сочинение, известное в античном мире под названием «Оракулы Гистаспа» [Cumont 1931; Bidez 1938; Windisch 1929; Widengren 1965: 199—205], сохранилось фрагментарно в основном в цитатах христианского писателя Лактанция и у некоторых других авторов. Побывав в трансцендентном сне, Гистасп говорит о несправедливости последней мировой эпохи, о том, что праведные и верующие будут отделены от грешников и злодеев, они «протянут свои руки к небесам с плачем и стоном и попросят у Юпитера прощения; Юпитер же посмотрит свысока на землю, услышит голос рода человеческого и уничтожит грешников» (Lact. *Inst. div.* VII, 18, 2). То наступит век, когда справедливость будет изгнана, когда невиновность и скромность будут презренны, и злодеи сделают добрых людей своей добычей и жертвой; не будет ни законов, ни порядка, ни дисциплины; никто не будет почитать пожилых, никто не будет соблюдать благочестия, относиться благочестиво к женщинам и детям; все объединятся и сговорятся против божественного закона, против закона природы; земля будет ограблена. Когда это случится, праведные и те, которые следуют истине, отделятся от злодеев и уйдут в пустынные места. Когда об этом станет известно, некто безбожный восплает гневом и придет с большим войском и со своими воинами окружит холм, на котором поселились праведники. И они будут осаждены со всех сторон, и громко помолются они Господу и попросят о помощи, и Бог услышит их и пошлет с небес Великого Царя, который вырвет их из осады и освободит. И он же (*rex magnus*) уничтожит всех безбожников огнем и мечом (Ibid. VII, 17, 9—11).

В правление Митридата VI Понтийского (120—63 гг. до н. э.), непреклонного врага Рима, о Гистаспе, как записано у Лактанция, говорилось, что «в очень давние времена он был царем мидийцев» и что задолго до утверждения троянского племени (т. е. основателей Рима) он предсказал, что империя и имя Рима будут стерты с лица земли (Lact. *Inst. div.* VII, 15, 19). Что же касается хаоса и беспорядка, который ожидается в последние дни мира, Гистасп утверждал, что «господство будет возвращено Азии. И тогда Восток вновь станет господином, а Запад станет его рабом» (Ibid. VII, 15, 11). Многие комментаторы из-за митраистических намеков и роли огня и испламенения, содержащихся в тексте, полагают, что оракулы могли использоваться Митридатом в борьбе против Рима.

¹ По предположению А. Дестрэ, в первом случае речь шла о Бахраме Чубине, во втором — о Хосрове Парвезе и, наконец, под царем Падишхваргара имелся в виду будущий наследник Сасанидов [Destrée 1971: 640—646]. Киппенберг полагал, что вместо Бахрама Чубина следует видеть Бахрама, брата Пероза [Kippenberg 1978: 58—70]. К. Черети считает, что нужно отличать Вахрама Варзованда (сына Йездигерда и брата Пероза) от Кай Вахрама или Вахрама Амаванда («Могущественного»), который наряду с Пишйотаном был одной из ключевых фигур в апокалиптическом освобождении Ирана. Кай Вахрам «Занд-и Вахман Ясны» — это олицетворение язата-божества Вахрама/Веретрагны, именно он обладал эпитетом «могущественного» [Cereti 1996: 630, 638].

² Was gāz ī nihān. Об эзотерическом толковании «скрытых секретов» Михра/Митры см. специальную статью Дж. Рассела [Russell 1993: 77—85].

С распространением христианства Великий Царь «Оракулов Гистаспа» стал ассоциироваться с Иисусом Христом, как, например, в «Эпитоме» Лактанция и «Коврах» Клементя Александрийского (Clem. *Strom.* VI, 43, 1). В так называемой «Тюбингенской Теософии» сказано, что Гистасп, царь персов или халдеев, составил хронику от Адама до византийского императора Зенона (ум. в 491 г.), в которой утверждал, что мир достигнет совершенства спустя 6000 лет [Colpe 1983: 831—832]. Согласно грекоязычной традиции, о магах принято было говорить как об астрологах, поэтому в сохранившихся фрагментах из «Оракулов Гистаспа» много места уделено астрологии и звездам. Так, Юпитер то олицетворяет Великого Царя, то иранского верховного бога Ахура-Мазду, хотя о Великом Царе, который станет спасителем, сказано, что он родится от семени Гистаспа. Сходные мотивы обнаруживаются также и в «Оракулах Сивиллы» [Boyce 1989]. Сравните, например, фрагмент, в котором рассказывается, что Азия отомстит Риму за все причиненные ей беды, и только после этого наступит всеобщее счастье и согласие (*Or. Sib.* III, 350—380).

Библиография

- Bertельс Е. Э.* Пятое муназира Асади Тусского // *Бертельс Е. Э.* Избранные труды. История литературы и культуры Ирана, М. 1988, сс. 207-240.
- Āmūzgār Ž.* Adabīyāt-e Zarduštī be zabān fārsī // *Majalle-ye dāneškade-ye adabiyyāt va ‘olūm-e ensānī.* Šomāre-ye 2. Tehrān, 1348/1969.
- Bailey H. W.* To the Zamasp-Namak, I // *BSOAS.* Vol. VI/1. 1930.
- Bailey H. W.* To the Zamasp-Namak, II // *BSOAS.* Vol. VI/3. 1931.
- Benveniste E.* Une apocalypse pehlevie le Zāmasp Nāmak // *RHR.* 106. 1932.
- Bidez J., Cumont F.* Les mages hellénisés. Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d’après la tradition grecque. Vol. 1—2. Paris, 1938.
- Boyce M.* On the Antiquity of Zoroastrian Apocalyptic // *BSOAS.* Vol. 47/1. 1984.
- Boyce M.* The Poems of the Persian Sibyl and the Zand ī Vahman Yašt // *Études irano-aryennes offertes à Gilbert Lazard.* Paris, 1989.
- Cereti C. G.* The Zand ī Vahman Yasn. A Zoroastrian Apocalypse // *SOR.* LXXV. 1995.
- Cereti C. G.* Again on Wahrām ī Warzāwand // *La Persia e l’Asia Centrale.* Rome, 1996.
- Cereti C. G.* Central Asian and Eastern Iranian Peoples in Zoroastrian Apocalyptic Literature // *Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe in 6.—7. Jh.* Budapest, 2000.
- Colpe C.* Development of Religious Thought (Chapter 22. Religious History. Part 6) // *CHI.* 3 (2). 1983.
- Cumont F.* La fin du monde selon les mages occidentaux // *RHR.* 103. 1931.
- Destrée A.* Quelques réflexions sur les héros des récits apocalyptiques persan et sur le mythe de la ville de cuivre // *La Persia nel Medioevo.* Roma, 1971.
- Flusser D.* Hystaspes and John of Patmos // *Irano-Judaica.* Jerusalem, 1982.
- Gershevitch I.* Amber at Persepolis // *Studia classica et orientalia Antonino Pagliaro oblate.* II. Roma, 1969.
- Gignoux Ph.* L’apocalyptique iranienne est-elle vraiment la source d’autres apocalypses? // *AAASH.* T. 31. 1985—1988.
- Gignoux Ph.* Sur l’inexistence d’un Bahman Yasht avestique // *JAAS.* No. 32. 1986.
- Hinnells J.* The Zoroastrian Doctrine of Salvation in the Roman World: A Study of the Oracles of Hystaspes // *Man and his Salvation. Essays in Memory of S. G. F. Brandon.* Manchester, 1973.
- Hultgård A.* *Bahman Yasht: A Persian Apocalypse* // *Mysteries and Revelations. Apocalyptic Studies since the Uppsala Colloquium.* Sheffield, 1991.
- Kippenberg H. G.* Die Geschichte der mittelpersischen apokalyptischen Traditionen // *Sir.* VII. 1978.
- Messina G.* Libro apocalittico persiano Ayātkār i Žāmāspīk. Roma, 1939.
- Modi J. J.* Jāmāspi, Pahlavi, Pāzend and Persian texts with Gujarāti Transliteration of the Pahlavi Jāmāspi, English and Gujarāti Translations with Notes of the Pahlavi Jāmāspi, Gujarāti Translation of the Persian Jāmāpi, and English Translation of the Pāzend Jāmāspi, by Jivanji Jamshedji Modi. Bombay, 1903.
- Philonenko M.* La sixième vision de IV Esdras et les Oracles d’Hystaspe // *L’apocalyptique. Etudes d’histoire des religions.* 3. Paris, 1977.
- Russell J. R.* On Mysticism and Esotericism among the Zoroastrians // *IS.* Vol. 26/1—2. 1993.
- West E.* Pahlavi Literature // *GIPh.* Bd. 2/3. 1904.
- Widengren G.* Die Religionen Irans. Stuttgart, 1965.
- Windisch H.* Die Orakel des Hystaspes. Amsterdam, 1929.

УНИКАЛЬНОЕ ТЕРРАКОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА *

Среди предметов, поступивших в ГМИНВ с территории древнего Хорезма, есть керамический «образок», найденный в 1951 г. в окрестностях крепости Ангка-кала (экспедиционный шифр 51/Ан-к, т/5, номер музея ГМИНВ 2150 Квят?) (см. рис. на с. 338). Предмет имеет плотное тесто розово-коричневого цвета с мелкими примесями, сильно обветрен и «обожжен» на пустынном солнце. Об ангобе судить трудно. Общие размеры: 8,6×6,2 см.

Терракота представляет собой плакетку, посаженную снизу на стержень шириной 3,2 см и толщиной в 1,5 см. Размеры стержня невозможно определить из-за облома, на нем хорошо видны следы подрезки по бокам и спереди и заглаживания сзади. Вероятно, стержень был изготовлен вместе с плакеткой, на которой тоже есть следы подрезки по бокам и сверху и общие следы заглаживания на задней стороне. Толщина плакетки от 0,7 до 0,9 см. На ее лицевой стороне в обрамлении волют мы видим женское погрудное изображение (богини, царицы, жрицы?). Голова отклонена немного вперед за счет размещения между ней и пластиной «расклинки» из глины, тогда как шея и торс фигуры плотно прилегают к плоскости плакетки. Судя по «расклинке» и небольшой трещине на шее, изображение женщины было оттиснуто в отдельной односторонней форме и затем прилеплено к плакетке. Об этом же свидетельствует и то, что правая рука фигурки перекрыла часть волюты на плакетке.

Женская голова удлинённая; нижняя челюсть показана утяжеленной, что свойственно большинству древних хорезмийских терракот; миндалевидные глаза высоко помещены в верхнюю часть лица; брови плавно сходятся на переносице; нос и рот повреждены (стерты). Волосы над лбом слегка обозначены, от висков с каждой стороны отходят по три туго сплетенные косички. Само изображение обрамлено волютами, причем над головой верхняя часть волют соединена шнуром с двойным узлом в центре, от которого вниз, за голову фигурки свисают три конца. Самый верх плакетки, возможно, обрамлял какой-то тонкий орнаментальный пояс, но детали его неразличимы.

Других подобных предметов мелкой пластики на территории древнего Хорезма еще не встречено. Нет их, насколько мне известно, и в других областях древней Средней Азии. Назначение его можно определить довольно условно — его могли носить в ходе ритуальных церемоний, при этом стержень служил своего рода ручкой для переноски. Не исключено также, что последний втыкался в грунт или же вставлялся в какое-то основание во время исполнения каких-то ритуальных действий.

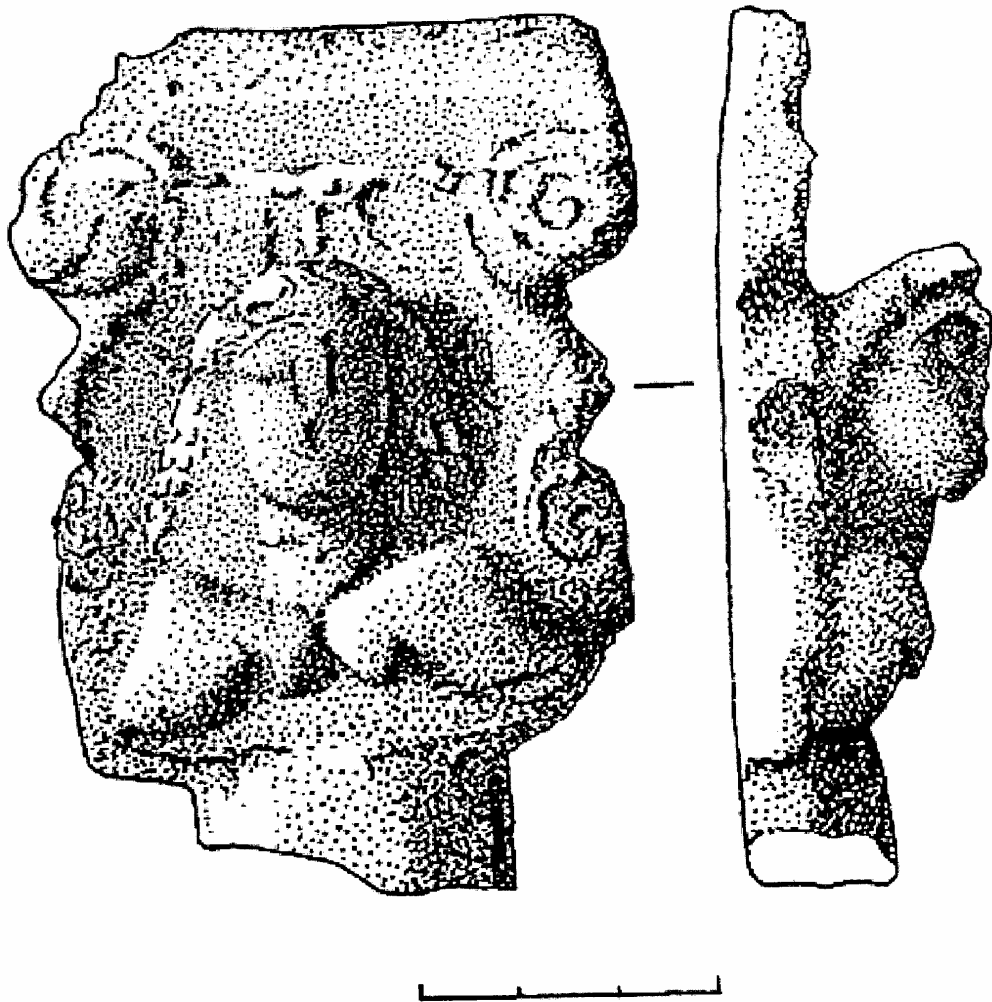
Недалеко от крепости Ангка-кала находились развалины двух небольших построек, вероятно, культового назначения — Кузы-Крылган-кала 1 и 2. На такырах в их окрестностях в разные годы были обнаружены фрагменты многих, в том числе уникальных, изделий из разных материалов (глины, стекла, металла). Возможно, что публикуемый предмет происходит из этого же комплекса.

В отличие от назначения, хронология этого предмета может быть определена довольно точно. Прическа в виде нескольких туго скрученных локонов («косиц»), ниспадающих на плечи, характерна для памятников искусства сасанидского Ирана в III — начале IV в. [см.: Борисов, Луконин 1963: 14—15, рис. 1, 2, 13; там же литература вопроса]. Эта мода под влиянием Сасанидов получила отражение и в нумизматике древнего Хорезма, как это видно на монетах царя Ваземара и нескольких следующих за ним правителей [Вайнберг 1977: 23, 33, табл. X, к IV, табл. XVII, типы B² V, B² 4,5]. Время их также определяется в пределах конца III—IV в. н. э. На основании этих аналогий можно отнести и публикуемое изделие к этому же времени. По стилю и всем техническим данным у нас есть все основания считать его местным хорезмийским.

Библиография

- Борисов А. Я., Луконин В. Г.* Сасанидские геммы. Л., 1963.
Вайнберг Б. И. Монеты древнего Хорезма. М., 1977.

* Заметка подготовлена в ходе работы над грантом РФФИ «Мелкая пластика древнего Хорезма», № 99-01-00302а.



Терракота, найденная у крепости Ангка-кала в Хорезме

ШТАМПОВАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОРЛА НА КЕРАМИЧЕСКИХ СОСУДАХ XI—XII ВВ.
ИЗ САМАРКАНДА

В собрании Государственного музея Востока с середины 1930-х гг. хранятся два фрагмента керамических сосудов с оттисками штампов, изображающими орла (рис. 1 и 2). Оба фрагмента происходят из коллекции Б. Н. Кастальского; достоверно не установлены ни место их находки, ни, тем более, ее археологический контекст. Вместе с тем, известно, что большая часть коллекции была собрана Кастальским в Самарканде и его окрестностях. В 1998 г. при раскопках на цитадели Афрасиаба сотрудниками нашего музея был найден фрагмент сосуда с практически идентичным изображением (рис. 3). К сожалению, и здесь условия находки не были идеальными (подъемный материал с поверхности кешка цитадели), но как датировка верхнего кроющего слоя XII — началом XIII вв., так и характерные особенности самой керамики (тонкий серый черепок, манера орнаментации оттисками отдельных медальонов) позволяют датировать все три предмета XI—XII вв.

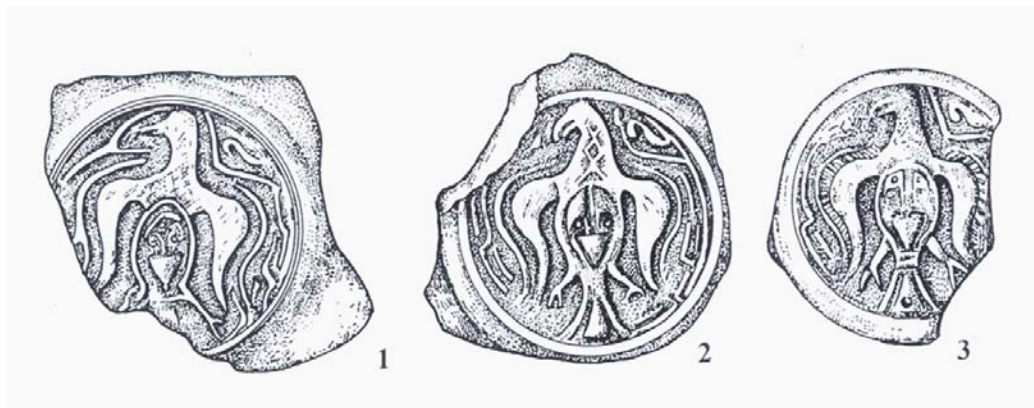
Итак, перед нами серия из трех фрагментов сосудов с практически идентичными изображениями — в круглом медальоне диаметром 4—4,7 см помещена фигура орла. У него развернутые опущенные крылья, голова повернута вправо, когти в виде полумесяца. Эта центральная фигура обрамлена растительным побегом, в нижней части дополненным меандром. Особое внимание обращает на себя одна деталь: на туловище орла помещено изображение сосуда с произрастающими из него двумя побегами — универсальный символ изобилия, процветания и плодородия, например, *пурна-гхата* в буддийской изобразительной традиции.

В средневековом искусстве Средней Азии изображения орла в подобной иконографической манере и с достаточно необычным атрибутом мне не известны, поэтому придется обратиться к более широкому хронологическому и территориальному кругу аналогий. Образы орлов встречаются в искусстве Евразии с глубочайшей древности и достаточно повсеместно. К нашим объектам, как мне представляется, могут иметь отношение две изобразительные традиции. Это, условно говоря, западная, т. е. греко-римско-византийская и восточная, в первую очередь, иранская линии. Обе эти традиции переплетались на всех этапах: взаимовлияния прослеживаются и при Ахеменидах, и в эпоху эллинизма, и в сасанидский период. Западную линию отличала, прежде всего, большая реалистичность изображений и твердо определенная семантика. Орел — это птица власти, спутник или символ верховного божества, птица победы. Даже на поздней византийской шелковой ткани X в. из гробницы Святого Германа Осерского, где под несомненным влиянием сасанидской иконографии орел изображен с развернутыми опущенными крыльями, в клюве он держит венки или диадему — знак царского достоинства [Райс 2002: 101, рис. 93].

В искусстве иранского мира, причем как оседлой, так и в кочевнической его частей изображения орлов данного типа встречаются достаточно часто. Для скифского круга культур подобная иконография является вполне типичной и характерной. Фигуры орлов, выполненные в этой манере, встречаются от южнорусских степей (орел из Мельгуновского кургана VI в. до н. э.) [Ильинская, Тереножкин 1983: 99] до Восточного Алтая (бронзовые золоченые бляшки из кургана 19 могильника Юстыд XII) [Кубарев 1991: 119—120, рис. 31]. При этом некоторые исследователи указывают на распространение этого мотива с запада на восток и связывают его со скифо-сакским влиянием [Кызласов 1960: 142, рис. 53, 21].

В искусстве оседлых ираноязычных народов изображения орла с развернутыми опущенными крыльями встречаются, но не так уж часто. В первую очередь, отметим бляху из Амударьинского клада. Исследователи (О. М. Дальтон, Е. В. Зеймаль и др.) трактуют изображенного на ней орла как типичный сюжет «имперского» ахеменидского искусства V—III вв. до н. э. [Зеймаль 1979: 46, кат. № 25]. Это изображение имеет ряд совпадений в деталях с нашими штампами — когти в виде полумесяца, перья, заштрихованные полосками. В кушанский период данный мотив используется в ювелирных украшениях (серьги из могильника Тулхар в Северной Бактрии) [Stawiski 1979: 69].

При несомненной стилистической разнице всех перечисленных изображений орлов, помимо позы, их объединяет еще одна общая черта: как правило, они не несут никаких атрибутов и не входят ни в какие многофигурные сюжетные композиции (лавровые ветви, сцены терзания, триумфы и др.). Это сильно затрудняет их семантическую интерпретацию, что приводит к априорному присвоению им функции знака царственной власти.



Фрагменты керамических сосудов из Самарканда: 1—2 — из коллекции Б. Н. Кастальского; 3 — с цитадели городища Афрасиаб

Исключение составляет сасанидское блюдо VI—VII вв. из собрания Эрмитажа. На нем изображен орел, держащий обнаженную женщину с виноградной гроздью в правой руке (по версии К. В. Тревер — блюдо со сложенными горкой плодами). Фигура орла обрамлена двумя мощными цветущими растительными побегами. Две человеческие фигурки внизу композиции В. Г. Луконин трактует как символы дня (Митра с луком) и ночи (персонаж с секирой). Вся композиция интерпретируется как олицетворение осеннего равноденствия, связанного с зороастрийским Михраганом — праздником урожая. Существует также версия, что сцена изображает похищение священного растения сомы-хаомы [Тревер, Луконин 1987: 89—90, табл. 57, 58]. Не вдаваясь в нюансы, я бы хотела отметить лишь присутствие в композиции женской фигуры с виноградной гроздью или плодами, вероятно, символизирующими плодородие, а также растительное обрамление.

С несколько иной точки зрения рассматривает истоки этой необычной для сасанидского искусства композиции Г. Азарпай, которая вполне убедительно возводит иконографию данной сцены к распространенному в греко-буддийском искусстве Гандхары II—V вв. сюжету — Гаруда, уносящий женщину, — взятому из «Суссоны-джатаки» [Azarpay 1997: 118—120]. При этом она указывает на то, что индийский мотив, скорее всего, лег на некие иранские фольклорные или мифологические представления и был переосмыслен. Об этом свидетельствует замена атрибутов: в руке женщины вместо змеи появляется виноградная гроздь (блюдо с плодами). Подобная практика заимствования чужой иконографической схемы для изображения собственных божеств характерна для иранской религии и искусства [Луконин 1977: 159]. Инновация прижилась, в пользу чего говорит сходная композиция на золотом кувшине IX—X вв. из клада в Наги Сент Миклош в Венгрии, которая является вариацией того же мотива. Заметим, что на этот раз у женщины в руках цветы-трилистники.

Не пытаясь дать развернутое толкование сложного сюжета, отмечу лишь то, что орел здесь, несомненно, связан с символом плодородия, воплощенном в женской фигуре, держащей цветы или плоды. Это возвращает нас к трем керамическим медальонам из коллекции ГМВ. Изображенные на туловище орла сосуды с произрастающими из них побегами являются полным семантическим эквивалентом женских фигур на изделиях торевтики. Композиционно растительные побеги, обрамляющие фигуру орла, соотносятся с цветами на блюде из Эрмитажа. Замена женской фигуры более простым символом-аналогом связана, в первую очередь, с совершенно иными возможностями керамики как материала, а также, возможно, с утратой смысловых подробностей и нюансов изображаемого сюжета. Тем не менее, образ орла и его связь с культом плодородия и семантически, и иконографически прочно закрепились в народном сознании, что и прослеживается в декоре керамических изделий Самарканда предмонгольской эпохи.

Библиография

- Зеймаль Е. В. Амударьинский клад. Каталог выставки. Л., 1979.
 Ильинская В. А., Тереножкин А. И. Скифия VII—IV вв. до н. э. Киев, 1983.
 Кубарев В. Д. Курганы Юстыда. Новосибирск, 1991.
 Луконин В. Г. Искусство древнего Ирана. М., 1977.
 Райс Д. Т. Искусство Византии. М., 2002.
 Тревер К. В., Луконин В. Г. Сасанидское серебро. Собрание Государственного Эрмитажа. М., 1987.
 Azarpay G. A Jataka Tale on a Sasanian Silver Plate // BAI. NS. Vol. 9 (1995). 1997.
 Stawiski B. Mittelasien — Kunst der Kuschan. Leipzig, 1979.

ИЗ ИСТОРИИ ДОМУСУЛЬМАНСКИХ КУЛЬТОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Средняя Азия, находясь на перекрестке важнейших торгово-экономических и военно-дипломатических путей, связывавших Восток и Запад, всегда находилась в сфере влияния мировых культур и религий. Поэтому в доисламское время среди населения этого региона были распространены различные мировые религии, такие как зороастризм (маздеистского толка), буддизм (хинаянского толка), христианство (несторианского толка) и др. После арабского завоевания в VII—VIII вв. н. э. все эти религии постепенно были вытеснены с территории Средней Азии, уступая место новой мировой религии — исламу. Однако процесс этот происходил не так просто. Многие данные свидетельствуют о том, что, хотя ислам и был утвержден официально на всей территории Средней Азии, доисламские культы еще долгое время играли значительную роль в духовной жизни местного населения, многие представители которого еще не одно столетие продолжали тайно исповедовать веру своих предков.

В средневековых арабо-язычных источниках приводятся ценные сведения по истории распространения ислама среди населения Средней Азии и, в частности, о принятии ислама некоторыми крупными общественно-политическими и религиозными деятелями доисламского времени. Так, по данным Абу Са'да ас-Сам'ани (XII в.) первым согдийцем, принявшим ислам, был огнепоклонник по имени Азракийан, живший в Бухаре в середине VII в. Он был купцом и выехал с торговыми целями из Бухары в Китай. Оттуда он сел на корабль и морским путем прибыл в Басру. Затем он отправился к халифу 'Али ибн Абу Талибу и при его содействии принял ислам. В X в. в Бухаре жил один из его потомков по имени Абу 'Абд Аллах Мухаммад ибн ал-Хасан ибн Наср ибн Бабадж ибн Азракийан ал-Азракийани (ум. в 344/955—956 г.), занимавшийся изучением хадисов.

Интересный рассказ о массовом принятии ислама жителями Бухары приводит другой автор XII в., Абу Хафс ан-Насафи, согласно которому, в то время, когда арабский полководец Кутайба ибн Муслим осадил Бухару, *дихкан*, т. е. правитель города, послал ему письмо следующего содержания: «Я отправлю к тебе одного из самых сильных ученых-огнепоклонников в моих владениях для того, чтобы он вступил с тобой в дискуссию и послушал твои проповеди. Если тебе удастся призвать его к своей вере, то и я последую за тобой. Но если твои старания окажутся напрасными, то я не отступлю от своей веры и буду воевать против тебя». Затем дихкан отправил к нему жреца по имени Хуштийар, который был самым авторитетным из всех зороастрийских жрецов Бухары и жил в селении Курджан. Кутайба ибн Муслим ознакомил его с основами ислама и описал достоинства пророка Мухаммада. После этого Хуштийар убедился, что араб прав, и принял ислам. Когда это известие дошло до дихкана Бухары, то его охватил сильный страх, и он бежал в страну тюрок, а все жители Бухары приняли ислам.

В источниках приводятся сведения еще об одном бухарском огнепоклоннике, человеке по имени Мах, который принял ислам и превратил свой дом (т. е., вероятно, языческий храм), в мусульманскую мечеть. По данным Наршахи, Мах был царем Бухары и поклонялся идолам. Впоследствии жители Бухары превратили его дворец в храм огнепоклонников, который по традиции продолжали называть «храмом Маха» или «домом Маха». После завоевания Бухары арабами на месте этого храма была построена мусульманская мечеть, которая в X—XII вв. называлась «мечетью Маха». Мечеть Маха X—XII вв. отождествляется с более поздней мечетью Магоки Аттори, сохранившейся до нашего времени. По археологическим данным, она действительно была построена на месте домусульманского монументального культового здания.

Таким образом, из средневековых источников нам известны имена нескольких представителей высшего духовенства доисламской Бухары, которые во второй половине VII и начале VIII вв. приняли ислам. К их числу следует добавить также двух предков имама Абу 'Абд Аллага Мухаммада ибн Исма'ила ал-Бухари (ум. в 256/870 г.) по имени Бардизба и ал-Мугира, которые прежде были огнепоклонниками. Первый из них, Бардизба, по-видимому, был современником Хуштийара и Маха, но, в отличие от них, он какое-то время после арабского завоевания оставался верным отеческой религии. Его сын ал-Мугира стал мусульманином уже после смерти Кутайбы ибн Муслима, при содействии арабского наместника Бухары Йамана ал-Джу'фи. Тот факт, что ал-Мугира принял ислам с помощью самого арабского наместника Бухары, свидетельствует о том, что он и его отец Бардизба должны были занимать высокое положение в бухарском обществе предисламского времени и, скорее всего, принадлежали к местной религиозной элите. Потомки этих

бухарских зороастрийцев были уже правоверными мусульманами, а некоторые из них даже стали знатоками хадисов, как, например, потомок Азракийана в шестом поколении, Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн ал-Хасан ал-Бухари (ум. в 344/955—956 г.) и потомок Бардизбы в пятом поколении, Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Исма‘ил ал-Бухари (ум. в 256/870 г.). Однако данные источников свидетельствуют о том, что не все потомки бухарских огнепоклонников после арабского завоевания остались жить в Бухаре: некоторые из них предпочли покинуть город, занятый мусульманами. К числу таковых относятся потомки вышеупомянутого Хуштияра, одного из главных зороастрийских жрецов доисламской Бухары. Источники сообщают, что после того, как Хуштияр принял ислам, его сын по имени ан-Надр переехал в Насаф и пустил там корни. Его потомки в четвертом или пятом поколении, Тахир ибн Махмуд ан-Насафи (ум. в 289/901—902 г.) и ‘Абд Аллах ибн ‘Абдувайх ан-Насафи (ум. в 286/898—899 г.) были известными в Насафе толкователями хадисов.

В этой связи следует отметить, что переезд сына Хуштияра из Бухары в Насаф не был случайным. Для этого достаточно вспомнить политическую ситуацию, сложившуюся в Согде после его завоевания арабами. Мы знаем, что последним представителем династии доисламских правителей Согда был *ихшид* по имени Турхар (или Тургар), точное имя которого известно нам только по монетам. Известны два типа монет Турхара. Первый из них он выпускал по образцу монет своего отца Гурака еще в качестве престолонаследника в Иштихане, который был передан ему во владение в 731 г. После смерти Гурака в 737 или 738 г., Турхар становится ихшидом всего Согда и начинает чеканку монет с дополнительным знаком в виде полумесяца, причем в одном из городов Согда, имевшим второстепенное значение. Судя по топографии и количеству находок монет второго типа, этим городом мог быть Насаф или Нахшаб в Южном Согде, куда, следовательно, было перенесено из Самарканда местопребывание владетелей царствующего рода согдийских ихшидов. Исследуя арабоязычные источники, нам удалось выявить двух жителей этого города, которые, судя по их родословным, могли быть потомками последнего ихшида Турхара. Один из них — Абу Ахмад Талиб ибн ‘Али ибн ал-Хасан ибн Турхар аш-Ширакаси ан-Насафи (ум. в 288/900—901 г.) из селения Ширакас в области Насафа, а второй — Абу Исхак Ибрахим ибн Абу ‘Али Мухаммад ибн Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн ‘Амр ибн Салих ибн ал-Хасан ибн Турхар ан-Насафи ат-Турхари (конец X — начало XI вв.) из Нахшаба. Оба они были известными толкователями хадисов. Написание имени «Турхар» в арабской графике позволяет твердо отождествить его с именем последнего ихшида, зафиксированным на его монетах.

Таким образом, можно с достаточными основаниями предполагать, что после смерти Гурака центр общественно-политической, культурной и духовно-религиозной жизни Согда (включая Бухару и Самарканд, занятые арабами) был перенесен в долину реки Кашкадарья, сначала в Нахшаб — столицу Южного (Кашкадарьинского) Согда доисламского времени, располагавшуюся на месте крупного древнего городища Кала-и Заххок-и Марон. Затем, после того, как Нахшаб захватили арабы, этот центр переместился в Насаф на месте городища Шуллиуктепа, который стал средневековой столицей Кашкадарьинского Согда. Впрочем, жизнь на городище Кала-и Заххок-и Марон не замирает, и оно продолжает функционировать в своей центральной части и в средние века. В источниках оно упоминается как «селение Нахшаб» в области Насафа, и именно в нем жил один из потомков согдийского ихшида Турхара.

Перемещение правителей Согда в Нахшаб, на наш взгляд, явилось следствием вспыхнувшего в 119/737 г. мощного антиарабского восстания жителей Согда и Тохаристана, которым руководил сам верховный тюркский *хакан*. Согласно ат-Табари, в том году хакан во главе 50-тысячного войска, состоявшего из согдийцев и тюрков, выступил против Асада ибн ‘Абд Аллаха, но после продолжительных боев с войсками последнего потерпел сокрушительное поражение. Тем не менее, он стал вновь готовиться к войне с арабами и к осаде Самарканда, но вскоре был вероломно убит одним из своих военачальников, после чего его войска рассеялись, а согдийцы частью возвратились в Согд, а частью перебрались в Шаш (Чач). Тем самым, был положен конец сплоченной национально-освободительной борьбе народов, населявших Согд и Тохаристан, против арабских завоевателей, поскольку все последующие антиарабские выступления проходили уже разрозненно или под руководством отложившихся от Халифата арабов и персов. Во время этого восстания (т. е. в 119/737 г.), очевидно, погиб и ихшид Гурак, после чего согдийский престол (по сути, уже чисто символически) занял его сын Турхар, который перенес свою резиденцию в Нахшаб. В 738 г. китайский Двор отправил к нему своего специального посланника, вручившего грамоту о его «назначении» на место отца. После переезда Турхара в Нахшабе и других соседних с ним городах и селениях области Кашкадарья стали сосредотачиваться все антиарабски настроенные силы, в том числе и из сопредельных территорий. Так, в крепости Касба в области Насафа в IX в. жили потомки Шишпира — одного

из доисламских правителей Кеша. В селении Рухсин в том же столетии проживал один из потомков дихкана Пенджикента Деваштича, казненного арабами в 105/723 г. В селении Утшунд в области Насафа в X в. жил потомок доисламского *марзбана* Мерва Махавейха, сдавшего в 30/651 г. свой город арабам без боя. Кроме того, в Насафе и в его области в IX—XII вв. проживали много-численные потомки слугителей домусульманских культов, принявших ислам в эпоху арабских завоеваний.

В свете этих данных, вовсе не случайным кажется тот факт, что хорасанский мятежник Муканна, возглавивший после своего побега из темницы в Багдаде (152/769 г.) антиарабское восстание жителей Средней Азии, сразу направился не куда-нибудь, а именно в Нахшаб и Кеш, жители которых первыми приняли его веру, перешли на его сторону и убили арабских наместников. В 191/806—807 г., когда мятежный арабский полководец Рафи' ибн ал-Лайс поднял восстание против халифа и занял Самарканд, к нему обратились жители Насафа с выражением своей покорности. Они также просили прислать к ним того, кто помог бы им убить арабского наместника. Их призыв был услышан, и Рафи' ибн ал-Лайс направил в долину Кашкадарьи владетеля Шаша с его тюрками и одного из своих военачальников. Все эти восстания, как известно, имели не только антихалифатский, но и антиисламский характер.

В средневековой арабоязычной историко-биографической литературе приводятся сведения о большом количестве знатоков хадисов, живших в IX—XII вв. в городах и селениях области Насафа. Так, Абу Са'д ас-Сам'ани называет более 40 селений, жители которых занимались толкованием хадисов. Среди них, несомненно, были и потомки обосновавшейся здесь еще в VIII в. тюрко-согдийской аристократии и духовно-религиозной элиты. Нам представляется, что они, являясь представителями знатных семей и хранителями доисламских традиций, в отличие от других слоев согдийского общества, не могли столь просто и быстро отказаться от веры своих предков. Думается, что многие из них, оставаясь внешне правоверными мусульманами и занимаясь изучением и толкованием хадисов, втайне продолжали исповедовать веру своих отцов и дедов. Достаточно вспомнить пример такого яркого представителя местной знати, как сына правителя Уструшаны Афшин Хайдара, который был одним из самых доверенных лиц 'Аббасидских халифов и ярким поборником ислама, но, вместе с тем, как оказалось впоследствии, тайно оставался верным религии своих предков.

В условиях глубокого подполья, доисламские культы впоследствии слились с учением Муканны и продолжали жить в сердцах людей на протяжении нескольких столетий. Известно, что Муканна проповедовал идею о переселении душ и, поэтому, последователи его учения долгое время после смерти своего вождя ожидали его возвращения. Они проявляли активность вплоть до XII в., проводя свою пропаганду не только в областях Насафа и Кеша, но и на других территориях Средней Азии. В этой связи, представляют интерес данные археологии, свидетельствующие о том, что среди жителей селений области Насафа в средние века втайне продолжали сохраняться доисламские культовые традиции. Так, во время раскопок на городище Сарытепа-2 в Камашинском районе Кашкадарьинской области было обнаружено домашнее зороастрийское святилище с алтарем, функционировавшее в VIII—IX вв. Кроме того, на поселениях IX—XII вв. в долине Кашкадарьи в большом количестве были найдены как очаги и керамические подставки к ним — т. е. характерные атрибуты культа огня, так и расписная керамика ритуального назначения с изображениями деревьев, птиц, лягушек, змей и солярных знаков, связанными с культами предков, плодородия, луны, солнца, женского начала и др. Домашние святилища и небольшие тайные зороастрийские храмы функционировали на протяжении арабского господства, когда языческие верования были под запретом и их могли придерживаться только в домашнем быту. После монгольского завоевания необходимость в таких домашних святилищах отпала, так как монголы были толерантными в отношении религий, исповедуемых их подданными. Поэтому в XIII в. в населенных пунктах стали открыто появляться крупные святилища, которые впоследствии трансформировались в *чирагхона*.

Таким образом, комплексное изучение сведений письменных источников, при их сопоставлении с данными археологии, позволяет приоткрыть новые, доселе неизвестные страницы истории религиозных движений в Средней Азии в эпоху арабского завоевания и распространения ислама. Будем надеяться, что дальнейшие исследования в этом направлении прольют больший свет на затронутые в данной работе вопросы.

ТЕНГРИАНСТВО КАК ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА МИРОВОЗЗРЕНИЯ КОЧЕВНИКОВ

Номадизм представляет собой совершенно иную цивилизацию, по сравнению с оседлой. Эти различия можно проследить практически во всем: организации и ведении хозяйства, быте, культуре, религии, ментальности. Кочевое хозяйство представляет собой такой тип деятельности, который находится в сильнейшей зависимости от окружающего его мира. Естественно, что такая неразрывная связь приводит к тому, что окружающий мир оказывается втянутым в его ментальность.

Тюрки — создатели одной из крупнейших степных империй в мировой истории, и поэтому они, как никто другой, помогут нам проиллюстрировать систему воззрений кочевников на божественное, свое место в окружающем мире. Только кочевничество могло породить специфическую религиозную систему, именуемую в европейской литературе шаманизмом. Можно согласиться с теми исследователями, которые называют ее тенгрианством, от имени верховного божества Тенгри. Совершенно неверно, как это делают некоторые ученые, считать шаманизм одной из примитивных религий, таких как фетишизм и тотемизм. Эта религия, с точки зрения ее содержания, имеет под собой развитую основу. Критерий в определении ценности и уровня развитости религий — это понимание сущности божественного, а понятие «бога» в древнетюркском языке было весьма высоким [Арсал 2002].

На примере тенгрианской структуры мироздания можно наблюдать, как тюрки, в частности, и центральноазиатские кочевники в целом, видели окружающую действительность, и на какое место они ставили себя в ней.

Согласно верованиям тюрков, сначала Небо и Земля существовали вместе, составляя хаос. Но однажды Небо и Земля отделились друг от друга: наверху появилось чистое небо, внизу — грязная Земля, не совсем еще освобожденная от хаоса. Человек — одновременно сын и Неба, и Земли. Он воспринимается как герой, отделяющий Небо и Землю от хаоса. Данный факт засвидетельствован в тюркских рунических памятниках: «Вначале было вверху голубое небо, а внизу — темная земля; появились между ними сыны человеческие» [Гумилев 1993: 77]. Затем был утвержден «эль». Государство было вписано в религиозную систему, тюркский эль иногда именовался «Эль Тенгри». Каган рассматривался наместником бога на Земле, его власть считалась божественной и неприкосновенной, и этот факт подтверждает сама титулатура тюркских каганов «Небоподобный, неборожденный тюркский каган» [Древнетюркский мир 2002]. Небо, Тенгри было верховным божеством. Почиталось все, что было на небе: Солнце, Луна и звезды. Древние тюрки поклонялись первым лучам восходящего солнца. Многие обряды, даже ритуал восшествия правителя на трон совершались с учетом движения солнца. На белом войлоке поднимали его наверх и кружили девять раз по движению солнца [Бичурин 1950: 229]. Входы в жилище находились на восточной стороне, почиталась сторона восхода солнца. Время подвластно только Тенгри, он определяет судьбу людей. Вместе с другими божествами, которых он сам создал, Тенгри правит в мире [Древнетюркский мир 2002].

Женское начало у тюрков олицетворяла Умай, богиня плодородия и новорожденных. Вместе с Тенгри она покровительствовала воинам. Согласно тюркским преданиям, Умай — это супруга Тенгри. Этот миф находит свое отражение в реальной действительности. Каганский род Ашина поклонялся и почитал Тенгри, катунский род Ашиде приносил поклонение Умай. Если Небо — это обиталище бога и божественных существ, то поверхность земли — это обиталище людей. Поверхности земли присущи свои особые духи, которые тоже подчиняются Тенгри. У духов земли есть имя *Жер-су* («земля-вода»). В орхонских надписях это божество нигде не упоминается обособленно, но вместе с Тенгри и Умай оно покровительствует тюркам и наказывает согрешивших. Свое отражение культ *Жер-су* находит в поклонении духам земли, воды, гор и др. В енисейских рунических надписях герой эпитафии, ушедший в Нижний мир, вместе с атрибутами Верхнего мира, Солнцем и Луной, от которых он «удалился» и которыми «не наслаждался», называет также «мою Землю-Воду», т. е. покинутый им Средний мир. По сообщениям источников, божество Земли было объектом особого культа. Так, Феофилакт Симокатта пишет, что тюрки «поют гимны земле». В китайских источниках священная гора, почитаемая тюрками, названа ими «бог Земли». Культ священных гор был частью общего культа Земли-Воды у древнетюркских племен [Кляшторный, Султанов 2004: 176].

Владыкой нижнего мира был Ерлик. Нижний мир есть сосредоточие злых сил. Нижний мир в чем-то похож на мир людей: там есть леса, горы, водоемы. В нижнем мире живут те люди, срок жизни которых на земле окончился.

Тюрки населяют все три мира. В каждом из них обитают люди, которые отличаются тем, как они завязывают пояс — на шее, талии, бедрах. Кроме довольно традиционной вертикальной трехчастности, в тюркской традиции обнаруживается и горизонтальное членение мира (по сторонам света, «правый-левый», «передний-задний»). Окружающая реальность была для кочевника четырехугольна. В надписи Кюль-тегина упоминаются народы, обитающие в четырех углах света. При этом линейное положение стран дополнялось указанием на положение солнца на небосводе. Страны света перечислялись по ходу дневного светила: главная позиция наблюдателя — лицом на восток. По представлениям тюрков, восток — это перед, запад — зад, юг — верх, север — низ.

Тюрки наделяли восток положительными качествами. Это — сторона, в которой восходит солнце. Западная сторона небосклона устойчиво связывалась с регулярно исчезающим там солнцем. Юг и север у тюрков противопоставлены друг другу. При ориентации на восходящее солнце север оказывается левым, а юг — правым. В тех случаях, когда положение на местности определяется по вертикали, юг трактуется как «верх», север — как «низ». Таким образом тюрки упорядочивали средний мир [Безретдинов 2002: 43—44].

Своеобразным связующим звеном в такой структуре мироздания является мировое древо (*Байтерек*). Это древо своими корнями уходит в подземный мир, его ствол находится в людском мире, а его крона поддерживает небо. Байтерек является своеобразным стержнем, на который нанизан мир. Ствол дерева или дерево, стоящее на горе, фигурируют у тюрков как центр мира.

Итак, мы видим, что, по представлениям тюрков, мир имел четкую как вертикальную, так и горизонтальную структуру. Своеобразной иллюстрацией модели мироздания у тюрков выступают мемориальные комплексы. В плане они представляют вписанный в круг (Небо, небосвод) прямоугольник (Земля, надземный мир). Так кочевники видели структуру мироздания, и эта структура глубоко специфична. Она основывается на бинарных противоречиях (верх-низ, право-лево, небо-земля). Идеальная модель пространства и времени у тюрков — это летний полдень, безветрие, юрта в долине у подножия горы. Точно такое же описание мы встречаем и в казахском народном фольклоре, генетически родственном тюркскому [Ковальская 2003: 20—21].

Свои особенности имело у кочевников понятие бытия и времени. Для них время — это понятие не векторное, а цикличное, протекающее по кругу. Календарь тенгрианца-кочевника — это 12-летний цикл-мушель.

Таблица
Последовательность смены животных в мушеле

1	<i>Тышкан жылы</i>	<i>Год Мыши</i>
2	<i>Сыйр жылы</i>	<i>Год Коровы</i>
3	<i>Барыс жылы</i>	<i>Год Барса</i>
4	<i>Коян жылы</i>	<i>Год Зайца</i>
5	<i>Улу жылы</i>	<i>Год Дракона</i>
6	<i>Жылан жылы</i>	<i>Год Змеи</i>
7	<i>Жылкы жылы</i>	<i>Год Лошади</i>
8	<i>Кой жылы</i>	<i>Год Барана</i>
9	<i>Мешін жылы</i>	<i>Год Обезьяны</i>
10	<i>Тауык жылы</i>	<i>Год Утки</i>
11	<i>Ит жылы</i>	<i>Год Собаки</i>
12	<i>Доныз жылы</i>	<i>Год Свины</i>

Весь мушель в целом символизирует верблюд, как знак гармонии, который содержит в себе всех животных. Персонификация животных, наделение их человеческой сущностью были характерны для многих народов. У кочевников же данные образы стали основными. Среди всего животного многообразия четыре вида скота обозначали всю полноту социального статуса человека: конь, верблюд, баран и корова. Особое место, безусловно, принадлежит коню. Если обратиться к эпосу, то конь всегда идет рядом с героем. Тарлан помогает Ер-Таргьну, Тайбурыл — Кобланды, Байчубар — Алпамысу. Огромное количество пословиц также подтверждает особое значение этого животного: «Тот не джигит, кто хоть раз не сидел на коне», «Настоящему джигиту конь заменяет крылья», «Можно продать коня, но нельзя продать его снаряжение». Считается, что конь дается

свыше, является символом высшего мира, мира мудрости и предков. Не случайно, все ключевые обряды семейного цикла, такие как роды, похороны и свадьба, никогда не обходились без коня.

Баран символизирует срединный мир. По легендам, именно баран был единственным животным, побывавшим в раю, поэтому мясо данного животного особенно часто используется как в угощении, так и в обрядах семейного цикла. Например, *калым* часто выплачивался баранами и т. д.

Корова вошла в морфологический состав стада кочевников-казахов достаточно поздно и является единственным животным, которого даже поощряется бить и ругать, дабы из него вышли злые силы. Верблюд же, как уже отмечалось выше, вобрал в себя символы самых разных животных и является как бы объединителем трех миров. Животное для кочевника всегда было выражением морально-нравственного, эстетически ценного, абсолютного. Так, например, человек одинокий сравнивался с лошастью без гривы и хвоста [Ковальская 2003: 9—10].

Тенгрианство для кочевника — это не только религия; это, прежде всего, система взглядов на окружающую его реальность. Когда в VIII в. на территорию Евразии пришел ислам, то, несмотря на всю активность миссионеров новой религии, он так и не изжил кочевую ментальность. Изменению подвергались слова, а не мысли. Небо слилось с идеей Аллаха. Но уважение к небу и небесным светилам осталось. Реликты древних верований и обрядов еще сохраняются в быту и мировоззрении старшего поколения казахов, но быстро исчезают в современных условиях. Многие казахские верования становятся понятными, полнее раскрывают свою внутреннюю сущность только после сопоставления их с верованиями и религиями других евразийских кочевников [Сарсекеев 1997: 11—12]. Тот факт, что тенгрианские обряды просуществовали очень длительное время, говорит об устойчивости и органичности этих воззрений.

Библиография

- Арсал С. М.* Тюркская история и право. Казань, 2002 [www.tataroved.ru].
- Безретдинов Р. Н.* Тэнгрианство — религия тюрков и монгол. Набережные Челны, 2002.
- Бичурин Н. Я. (Иакинф).* Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. М.; Л., 1950.
- Гумилев Л. Н.* Древние тюрки. М., 1993.
- Древнетюркский мир: история и традиции.* Материалы научной конференции. Казань, 24—25 января 2001 г. Казань, 2002 [www.tataroved.ru].
- Кляшторный С. Г., Султанов Т. И.* Государства и народы Евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 2004.
- Ковальская С. И.* История культуры Казахстана. Ч. 1. Астана, 2003.
- Сарсекеев Б. С.* Кочевники степи. Акмола, 1997.

БУДДИЙСКОЕ И НЕБУДДИЙСКОЕ ИСКУССТВО
БАКТРИИ-ТОХАРИСТАНА (I—V ВВ. Н. Э.)

На постановку данной темы во многом повлияло распространенное представление о значительной роли буддийского искусства в формировании искусства Бактрии-Тохаристана в домусульманское время. Здесь известно более двадцати разновременных буддийских памятников, украшенных скульптурой и настенной живописью. Количество известных произведений буддийского искусства и, как правило, высокий уровень исполнения создают впечатление о доминирующей роли буддийского искусства в Бактрии-Тохаристане на протяжении почти восьми веков (I—VIII вв. н. э.).

Между тем, имеющиеся данные позволяют скорректировать историю буддийского искусства этого региона. В настоящей статье рассматривается начальный этап этого процесса, охватывающий период с I по V вв. н. э. На сегодняшний день существуют несколько различных точек зрения относительно времени начала распространения буддизма в Бактрии [Литвинский, Зеймаль 1971: 112; Ставиский 1998: 156]. Теоретически, знакомство бактрийцев с буддизмом могло произойти уже во II—I вв. до н. э., в период максимальной экспансии Греко-Бактрийского царства в Индию. Однако фактическое распространение буддизма в этом регионе начинается в период правления второго кушанского императора, Вимы Такто, когда в Бактрии приступают к возведению различных буддийских культовых сооружений. Мы располагаем стратифицированными нумизматическими находками на ряде буддийских памятников (Фаяз-тепе, Айртам, Кара-тепе), датирующими начало их функционирования второй половиной I в. н. э. [Альбаум 1982: 60; Ртвеладзе 1995: 75—76; Мкртычев 2002].

Искусству кушанского государства, и, в частности, одного из основных его регионов — Бактрии — посвящена обширная литература [Пугаченкова 1979; Ставиский 1977: 222—238]. Вслед за Д. Шлюмберже и Дж. Розенфильдом, в кушанском искусстве традиционно выделяют два основных направления — династийное и буддийское [Schulmberger 1970: 63—66; Rosenfield 1967; Ставиский 1982: 318—326]. Поскольку Бактрия была местом, откуда началось возвышение кушан, то считается, что именно здесь происходило сложение династийного культа. Разделяя мнение тех исследователей, которые полагают, что сооружение, открытое в Халчаяне, было одним из самых ранних династийных храмов (первая половина I в. н. э.), можно рассматривать его декор как начальный этап династийного искусства кушан [Ставиский 1977: 223—229]. Анализ технико-технологических характеристик скульптуры и настенной живописи Халчаяна дает основание считать, что они были сделаны местными мастерами — последователями эллинистической традиции, сложившейся в греко-бактрийское время.

Таким образом, к моменту, когда в Бактрии началось строительство буддийских культовых объектов и их оформление, здесь уже существовало или находилось в процессе формирования направление в искусстве, связанное с династийным культом. Позднее оно в полной мере проявилось в оформлении такого династийного храма, как Сурх-Котал. Очень вероятно, что сооружение, открытое Ш. Пидаевым и П. Леришем на Большом Чингизе в Старом Термезе [Пидаев, Лериш 2003: 136—138], также было династийным святилищем. Кроме скульптуры, которая известна по Сурх-Коталу и Большому Чингизу, династийные храмы Бактрии декорировались и настенной живописью. Последняя, помимо Халчаяна, известна по керамическим облицовочным плиткам, изображающим адорантов перед богами кушанского пантеона [Carter 1997a], которые, судя по технологии, имеют бактрийское происхождение и, вероятно, входили в интерьер династийного храма.

Буддийские памятники Бактрии, также как и династийные, были оформлены скульптурой (каменной, глино-ганчевой) и настенной живописью. Технико-технологический анализ декора буддийских памятников (конца I — середины III вв.) показывает, что создавшие его художники принадлежали к эллинистической традиции. Другими словами, они могли быть местными бактрийскими мастерами; либо, что менее вероятно, приглашенными с восточных окраин греко-римского мира [Мкртычев 1998: 195]. В свое время Г. А. Пугаченкова предположила, что художники, украшавшие буддийские памятники Бактрии (в частности, живописцы) были местными жителями, принявшими буддизм [Пугаченкова 1982: 255]. Однако, учитывая этнический состав буддийской общины Бактрии (а в ней значительно преобладали выходцы из Индии), а также наличие здесь местных художников-профессионалов, занимавшихся оформлением монументальных сооружений династийного культа, можно утверждать, что художники, работавшие на буддийских памятниках Бактрии, не

обязательно были последователями буддизма. Скорее всего, их нанимали на работу за определенную плату донаторы, на чьи средства осуществлялось оформление. Косвенным указанием на это может служить надпись, сообщающая об оплате художнику, на одной из живописных сцен буддийского памятника III в. н. э. в Миране (Восточный Туркестан) [Bussagli 1979: 21].

Предполагая, что художники, украшавшие буддийские памятники Бактрии, не были буддистами, мы оказываемся перед вопросом: как же происходила передача буддийской иконографии из ее основных центров — Гандхары и Матхуры? Было ли это персональным путем — посредством личного знакомства бактрийских художников с буддийской иконографией в Индии, или же имперсональным — посредством перемещения либо предметов буддийского искусства, либо неких шаблонов, служивших иконографическими образцами? Мы располагаем разнообразными произведениями индийского искусства, привезенными в Бактрию в кушанское время [Пугаченкова 1982: 244—266], однако вещей, которые стали бы иконографическими образцами для дальнейшего воспроизведения буддийской иконографии в Бактрии, среди них пока нет. Сравнение декора династийных святилищ и буддийских сооружений показывает, что, несмотря на принципиальные различия в изобразительных программах: прославление правящей династии — с одной стороны, и иллюстрация буддийского учения — с другой, между ними существовали определенные репертуарные параллели. Речь идет об изображении представителей правящей династии в династийных святилищах и донаторов на буддийских памятниках. Кроме того, известны случаи включения элементов буддийской иконографии в оформление династийных святилищ — рельефы в Сурх-Котале и на Большом Чингизе [Schlumberger 1961: 90, pl. XIX—XX; Leriche, Pidaev 2002: figs. 1, 2].

Археологические материалы демонстрируют, что ни династийный культ, представляющий официальную идеологию, ни буддизм, получавший поддержку со стороны кушанской знати, не имели широкого распространения среди простого населения Бактрии. О том, каковы были религиозные представления бактрийцев, и каким было искусство, принятое среди них, мы можем в общих чертах судить по ряду храмовых сооружений, а также бактрийской терракоте.

Для понимания художественных процессов, происходящих в регионе, очень существенен тот факт, что, судя по технологии, декор известных бактрийских храмов кушанской эпохи (в частности, на Дальверзин-тепе — в квартале керамистов и в северной части городища) [Пугаченкова 1978: 130—133; Ртвеладзе 1978: 75—90] был сделан художниками, которые работали в той же традиции, что и оформители династийных святилищ и буддийских сооружений. К сожалению, дошедший до нас репертуар живописного оформления бактрийских храмов сильно фрагментирован и не дает оснований для развернутых интерпретаций. Однако очевидно, что используемые образы восходят к западным образцам, которые были переработаны в местной среде.

Информационно важную категорию произведений кушанского искусства представляет бактрийская терракота, технологические и иконографические особенности которой позволяют предполагать, что она была продуктом ремесленного производства гончаров-керамистов. Участие художников-коропластов в процессе изготовления терракоты было минимальным. Анализ известных материалов показывает, что специальных штампов для изготовления терракотовых статуэток было немного. В качестве матриц для штамповки статуэток керамисты использовали, в основном, уже имевшиеся изображения, сделанные из других материалов. В бактрийской коропластике кушанского времени выделяется несколько генетических рядов терракотовых статуэток, изображающих сидящую женщину. Эти ряды демонстрируют редукцию (уменьшение размеров, переработку и исчезновение мелких деталей в иконографии и т. п.), как минимум, трех иконографических типов. Один из них имеет прямые аналогии в восточнопарфянской иконографии. Два других представляют местную переработку заимствованных эллинистических образов [Пуясов, Мкртычев 1992]. Отождествление этих образов (изображающих, возможно, один персонаж) с богиней Наной [Abdullaev 2003: 15—38] пока не имеет надежной аргументации.

При том, что буддийские храмы в одно и то же время соседствовали с храмами бактрийских богов, никакого влияния буддийской иконографии в оформлении последних не прослеживается. Единственный, известный мне пример влияния буддийской иконографии на сложение местной бактрийской культовой иконографии дает образ мужского божества (?), тиражируемого в терракоте [Древности Таджикистана: 138, № 371; Huff 1995: 269—273]. На его формирование определенное влияние оказала иконография бодхисаттвы Авалокитешвары [Мкртычев 2002: 177].

Буддийская терракота в Бактрии (возможно, как и во всей Кушанской империи) была отражением среди простого населения моды на буддизм, принятой в кругу кушанской знати. Характерно, что в бактрийской терракоте, воспроизводящей образы буддийского репертуара, наибольшей

популярностью пользовались те, которые могли быть осмыслены вне контекста буддийского учения (донаторы, якшини, митхуна) [Мкртычев 2000: 166—167].

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно говорить о том, что в кушанской Бактрии на определенном этапе (конец I—II вв. н. э.) не было художников, которые являлись бы членами буддийской общины и, соответственно, работали бы только в русле буддийского искусства. Кушано-бактрийские художники представляли, условно говоря, единую технико-технологическую традицию, которая восходила к эллинистическому искусству греко-бактрийского времени. Внутри традиции существовали локальные школы, а сами мастера в этих школах имели разный профессиональный уровень.

Нам неизвестна профессиональная принадлежность бактрийских художников в кушанское время. Однако, судя по всему, вне зависимости от нее они работали на заказ — от изготовления статуй кушанских правителей для династийных храмов до буддийской скульптуры; от ювелирных украшений для кушанской знати до буддийских реликвариев (в частности, бимаранский реликварий мог быть изготовлен в Бактрии) [Carter 1997b: 76]. Вместе с тем, уже в III в. в Бактрии появляются художники-буддисты. Так, пещерное помещение в комплексе Д Кара-тепе расписал художник, сопроводивший свой рисунок пояснительной надписью на кхароштли [Вертоградова 1995: 37]. В данном случае, его принадлежность к буддизму очень вероятна. Однако пока мы не можем ответить на следующий вопрос: имел ли в буддийской общине Бактрии место процесс формирования группы художников-профессионалов или же художники-буддисты приходили в монастыри Бактрии из Индии. До нас дошли письменные свидетельства о перемещениях художников-буддистов в пределах Северо-Западной Индии уже во времена Канишки [Ставиский 1998: 164]. Не исключено, что они могли переходить из одного монастыря в другой не только внутри Гандхары, но и за ее пределами, в частности, в Бактрии.

Со второй половины III в. н. э. в искусстве Бактрии отмечаются определенные изменения. В это время, в ходе сасанидской экспансии на восток Кушаны утрачивают контроль над Бактрией. Соответственно и династийный культ, и династийное искусство в регионе переживают кризис. Определенные сложности начинает испытывать и буддийская община Бактрии, так как на смену кушанской элите, поддерживающей буддизм, приходят иранские Сасаниды, имевшие свои собственные религиозные предпочтения. Они перестают выделять средства на содержание буддийских памятников. Это самым естественным образом сказывается и на художественном уровне их оформления. Так, в одном из комплексов Кара-тепе живописные работы во время ремонта, имевшем место во второй половине III в., осуществляли уже непрофессиональные художники. Одним из наиболее радикальных изменений в искусстве Бактрии в то время стало прекращение традиции изготовления каменного архитектурного декора и каменной скульптуры.

Впрочем, некоторые местные правители продолжали оказывать поддержку буддизму. Об этом свидетельствует строительство буддийского храма на территории Дальверзин-тепе (Дт-25). Богатый декор памятника (глино-ганчевая и глиняная скульптура, а также настенная живопись) обновлялся, как минимум, три раза [Мкртычев, Русанов 1999: 76—77]. Технология декора говорит о том, что художники по-прежнему работали в рамках местной, бактрийской художественной традиции. При том, что для конца III—IV вв. нам известна только буддийская монументальная скульптура, не исключено, что художники, оформлявшие этот дальверзинский храм, были буддистами.

Можно предположить, что в посткушанское время в Бактрии-Тохаристане внутри буддийской общины происходит сложение своей художественной школы, представители которой были монахами, занимавшимися при необходимости оформлением культовых сооружений. Вероятно, именно буддийская школа скульптуры продолжала сохранять традицию бактрийской скульптуры. Это не могло не сказаться на том, что, когда в Тохаристане в V в. возобновилось строительство сооружений, не связанных с буддизмом, но украшенных глиняно-ганчевой скульптурой, то в ее образах отчетливо стали просматриваться следы буддийской иконографии (скульптура Куев-кургана) [см.: Аннаев 1988: 61—62].

Библиография

- Альбаум Л. И.* О толковании каратепинских комплексов (в свете раскопок Фаяз-тепе) // Буддийские памятники Кара-тепе в Старом Термезе. М., 1982.
- Аннаев Т. Д.* Раннесредневековые поселения Северного Тохаристана. Ташкент, 1988.
- Вертоградова В. В.* Индийская эпиграфика из Кара-тепе в Старом Термезе. М., 1995.
- Древности Таджикистана:* Каталог выставки. Душанбе, 1985.
- Литвинский Б. А., Зеймаль Т. И.* Аджина-Тепе. М., 1971.

- Мкртычев Т. К.* К вопросу о живописной традиции буддийских памятников Северной Бактрии кушанского времени // ВДИ. 1998. № 3.
- Мкртычев Т. К.* Новые раскопки на Кара-тепе в Старом Термезе. История функционирования комплекса Е // Материальная культура Востока. М., 1999.
- Мкртычев Т. К.* Буддийское искусство Средней Азии (I—X вв.). М., 2002.
- Мкртычев Т. К., Русанов Д. В.* Второй буддийский храм на Дальверзин-тепе (Дт-25): история функционирования // VI чтения памяти профессора В. Д. Блаватского. К 100-летию со дня рождения: ТД. М., 1999.
- Пидавев Ш. Р., Лерииш П.* Археологические работы Узбекско-Французской экспедиции на городище Старого Термеза // Археологические исследования в Узбекистане — 2002 год. Вып. 3. Ташкент, 2003.
- Пугаченкова Г. А.* Квартал керамистов // Дальверзинтепе — кушанский город на юге Узбекистана. Ташкент, 1978.
- Пугаченкова Г. А.* Бактрийско-индийские связи на памятниках искусства // Древняя Индия: Историко-культурные связи. М., 1982.
- Ртвеладзе Э. В.* Храм в северной части Дальверзинтепе // Дальверзинтепе — кушанский город на юге Узбекистана. Ташкент, 1978.
- Ртвеладзе Э. В.* К периодизации буддийского комплекса в Айртаме // ОНУ. 1995. № 5—8.
- Ставиский Б. Я.* Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. М., 1977.
- Ставиский Б. Я.* Династийное святилище в сел. Мат и буддийские памятники Термеза (О двух художественных течениях в искусстве Кушанской империи) // Древняя Индия: Историко-культурные связи. М., 1982.
- Ставиский Б. Я.* Судьбы буддизма в Средней Азии (по данным археологии). М., 1998.
- Abdullaev K.* Nana in Bactrian Art — New Data on Kushan Religious Iconography based on the materials of Paayonkurgan in Northern Bactria // SRAA. 9. 2003.
- Bussagli M.* Central Asian Painting. Geneva, 1979.
- Carter M. L.* OEŠO or Śiva? // BAI. NS. Vol. 9 (1995). 1997a.
- Carter M. L.* A Reappraisal of the Bimaran Reliquary // Gandharan Art in Context East-West Exchanges at the Crossroads of Asia. New Delhi, 1997b.
- Ilyasov J. Ya., Mkrtychev T. K.* Bactrian Goddess from Dalverjintepe — attempts of typological analysis // SRAA. 2 (1991/92). 1992.
- Huff D.* An Unusual Type of Terracotta Figurine from North Bactria // In the Land of the Gryphons. Papers on Central Asian archaeology in antiquity. Firenze, 1995.
- Leriche P., Pidaev Ch.* Sculptures d'époque Kouchane de l'ancienne Termez // JA. T. 290/2. 2000.
- Rosenfield J. M.* The Dynastic Arts of Kushans. Berkley; Los Angeles, 1967.
- Schlumberger D.* The Excavations at Surkh Kotal and the Problem of Hellenism in Bactria and India // Proceedings of the British Academy. Vol.47. 1961.
- Schlumberger D.* L'Orient hellénise. Paris, 1970.

МАШАДЫ В МЕМОРИАЛЬНОМ ЗОДЧЕСТВЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Одним из пионеров исследований уникального архитектурного памятника Ходжа Машад XII в. на юге Таджикистана был Александр Маркович Беленицкий. Мемориальная часть памятника, выстроенная из жженого квадратного кирпича, представлена двумя одинаковыми по размерам и форме квадратно-купольными мавзолеями, объединенными сквозным айваном с южным порталом на центральной оси. Удаленный от крупных населенных пунктов, памятник довольно долго находился в забвении. Упомянутый еще в конце XIX в. (Лелиенталь), Ходжа Машад только в конце 40-х гг. XX в. попал в поле зрения ученых (А. М. Беленицкий, М. М. Дьяконов, А. Ю. Якубовский, А. П. Колпаков) в результате работ Вахшского отряда Согдийско-Таджикской экспедиции. В 1950 г. и чуть позже появилось несколько статей с первым обмерным планом и научным осмыслением «двойного мавзолея» (А. М. Беленицкий, М. М. Дьяконов, Л. С. Бретаницкий) Памятник сложен по декоративному убранству, асимметричен в композиции южного фасада, и уже с первого знакомства с ним вызвал разные точки зрения на датировку и периодизацию.

Наиболее верной, как показали последующие исследования, оказалась научная интуиция М. М. Дьяконова, который на основании эпиграфического стиля орнаментальной надписи на южном портале датировал Ходжа Машад XII в. Он также отметил перевязку стен мавзолеев и соединяющего их айвана, свидетельствующую о одновременности возведения всего комплекса. Принцип «двойного мавзолея» — это характерный для Тохаристана и Северного Хорасана композиционный прием (мавзолеи Султан-Саодат, сырцовые постройки X—XII вв. Сурхандарьи, Мерва, северного Афганистана), истоки которого уходят в погребальное зодчество античной Бактрии.

В середине 1960-х гг. на архитектурном памятнике Ходжа Машад впервые были проведены археологические исследования (Н. Б. Немцева, Е. Д. Салтовская). Было установлено, что к мавзолеям с севера примыкает огромный четырехайванный двор (64×46 м снаружи и 40×31 м внутри) из сырцового кирпича и пахсы с худжрами по периметру и со вторым порталным входом в центре северной стороны. Южная мавзолейная часть и сырцовый двор были спланированы и построены, как показали археологические исследования, одновременно во второй половине XII в.. Сооружение активно функционировало вплоть до XVI в. включительно.

Для строительной культуры Средней Азии XI—XII вв. комбинация жженого и сырцового кирпича в одном здании было типичным явлением. План сооружения с внутренним двором, айванами на осях, застройкой по периметру двора и не очень распространенным, но известным приемом — два сквозных порталных входа на продольной оси, характерен для средневековой Средней Азии (Пайкентский рабат IX—X вв., Акыр-Таш в окрестностях Джамбула и др.). В эти же годы Ходжа Машад был несколько раз обмерен (С. Г. Хмельницкий, С. Неумывакин, Х. Мамышев, О. Зайнутдинов и др.). Результаты археолого-архитектурных исследований были опубликованы [Немцева 1969: 171—185].

Возвратиться к данной теме заставляет затянувшаяся полемика по самому серьезному вопросу (кроме разной датировки и строительной периодизации) — определению функции Ходжа Машад, которая продолжается вот уже около 40 лет. Что это? Культовый памятник типа *ханака*, сложившийся около *машада* (Н. Б. Немцева) или медресе с разновременной строительной периодизацией (С. Г. Хмельницкий)? Касаясь функции памятника, надо отметить следующее: Ходжа Машад стоит на материке, не имеет фундаментов, в стороне от синхронного городища или живого города (примерно в 100 км от Термеза, Кабадиана, Балха), с которыми можно было бы связать строительство монументального средневекового медресе (по С. Г. Хмельницкому) — городского высшего учебного центра. Памятник стоит у дороги, примерно в 1—1,5 км от р. Кафырниган. В округе Ходжа Машад находится несколько раннесредневековых доисламских тепе типа замка или крепости. Наиболее крупный районный центр — Шаартуз (возможно, более древний в основе) — находится в 5—6 км от памятника.

Мавзолеи южной сакральной части Ходжа Машад заполнены оплывшими ганчевыми намогильниками XII—XIII вв. (не вскрывались), в настоящее время вся территория памятника перекрыта поздним (не ранее XVI в.) действующим кладбищем селения Саят, расположенного вблизи.

Что же все-таки это такое, архитектурный комплекс Ходжа Машад? Информация о функции памятника, как мне кажется, закодирована в самом названии, которое народная память донесла до наших дней. Ни письменных данных, ни надписей на самом памятнике нет. Легенды и само название памятника — Ходжа Машад — связаны с гибелью за веру (*машад*, *маишад*, *меишад* в

Средней Азии; *муашиир*, *ашара* в Египте — «место мученической кончины», «фиктивная могила») [Гольдциер 1938: 109—110], видимо, одного из сподвижников пророка (*ходжи*) поры раннего ислама, когда шло завоевание земель арабами, распространение новой религии среди непокорного населения Средней Азии.

Впервые машады (*муашиир* от глагола *ашара* — «что-то отмечающее») попали в поле зрения известного венгерского востоковеда и этнографа Игнатия Гольдциера в конце XIX в., во время его поездки по Египту (1896 г.). Уже на ранней стадии утверждения ислама, этого длительного и сложного процесса, сложилось понятие *кабр*, или *турба* — «действительная могила погибшего за веру» и *машад* — «место его фиктивной могилы». Определение термина *машаад* как место погребения *шахида* [Ислам: Энциклопедический словарь 1991: 164] неверно. Это не место погребения, а мемориал в честь погибшего за веру, могила может быть в другом месте.

Машады, как один из видов культа святых мучеников, стали архитектурно оформляться и получили широкое распространение в XI—XII вв. в связи с развитием суфизма и возрождением древнейшего культа святых. Фиктивные могилы одних и тех же святых мучеников организовывались в разных местах стран ислама (с равной претензией на подлинность), являясь объектом паломничества. По народному поверью, место установления машада должно было присниться шейху во сне. Машады устанавливались в разных местах арабского Халифата, иногда предельно отдаленных от реальной могилы, часто были безымянными и множились в большом количестве как выгодные духовенству места паломничества, поклонения и пожертвований. Например, крупный культовый комплекс-машад Мазари-Шариф (первое здание машада над мнимой могилой Али возведено в XII в.) расположен в одноименном городе на севере Афганистана, где, по преданию, похоронен зять пророка Мухаммада, халиф и глава шиитской партии Али (ум. в 661 г.), в то время, как действительные могилы Али и его сыновей Хасана и Хусейна находятся в Ираке — в городах Неджефе и Кербела. На месте мученичества шиитского имама Али ар-Резы (отравлен в начале IX в.) к X в. сложился город Мешхед, и постепенно вырос огромный мемориально-культовый комплекс-машад, включающий гробницу имама Резы, мечеть, медресе, караван-сарай, старый и новый двор.

Один из самых ярких машадов Средней Азии — комплекс Кусамы ибн Аббаса XI в. («Машад Кусамы» по вакфу 1066 г.) в Шахи-Зинде (в южной части Самарканда). До наших дней дошел также важный юридический документ — вакф 1066 г., дополняющий данные натуральных исследований «Машада Кусамы» [Немцева 1995: 127—130]. Этот комплекс был связан с гибелью за веру кровной родни пророка Мухаммада — его двоюродного брата Кусамы ибн Аббаса, реального исторического персонажа, который в конце VII в., еще до окончательного покорения Самарканда, пришел в этот город с войсками арабов и погиб там во время намаза. Похоронен Кусам был якобы на юге Самарканда, на кладбище первых арабов из племени бану-Нахийя в 676/677 г. Дата смерти вплетена в орнаментальную композицию майоликового намогильника XIV в. в *гурхане* комплекса. Этот памятник был возведен в первой половине XI в., т. е. спустя примерно три с половиной столетия после действительной гибели за веру одного из первых миссионеров ислама в Средней Азии. Археологические исследования показали, что в *гурхане* комплекса, под надгробием XIV в., установленном на месте деревянного намогильника XI в. (сообщение Ибн Баттуты, 30-е гг. XIV в.) погребения Кусамы нет. Там было обнаружено непо потревоженное погребение XI в. — так и не разгаданная средневековая тайна.

Реальная могила Кусамы ибн Аббаса, если она действительно находилась на юге Самарканда (как сообщает «Малая Кандийа»), после возведения мемориала в его честь, видимо, была постепенно забыта (по преданию, на могилах ранних мусульман полагался небольшой земляной холм с палочкой в головах и чем больше стиралась могила с поверхности земли, тем большую святость она приобретала). Самое привилегированное кладбище Самарканда вокруг Шахи-Зинды, возникшее в VII в. (кладбище бану-Нахийя), действует до сих пор.

Комплекс Кусамы ибн Аббаса являлся типичным машадом, включая в себя все функционально необходимые структурные части (*гурхану*, *зиаратхану*, *чилляхану*, мечеть, минарет и обводной коридор), предписанные сложившимся к тому времени обрядом поклонения святым местам — *зиаратом*. Значение «Машада Кусамы» для домонгольского Самарканда было столь велико, что термин «машад» распространялся на всю округу этой части города. Южные, Кешские ворота в XII в. назывались «Ворота Мешхад» (согласно «Кандийи»), канал у юго-восточного подножия города до сих пор называется Оби-Машад (в доисламское время — Оби Мугон.). В XI—XII вв. квартал на юге Самарканда, где был возведен «Машад Кусамы», назывался «Кварталом Машада Кусамы» (вакф 1066 г.).

Таким образом, в XI в., при Караханидах в Самарканде был создан городской культовый центр — святыня с фиктивной могилой Кусамы ибн Аббаса, паломничество к которой заменяло *хадж* в Мекку. Позднее, в XIV—XV вв., на основе этого мемориального комплекса сложился загородный царский некрополь Тимуридов — ансамбль Шахи-Зинда.

Во второй половине XIII в. (к 1066 г., согласно вакфу) у «Машада Кусамы» от имени караханидского правителя Ибрахима Тамгач Богра-хана было построено ханифитское медресе, Медресе Кусамийа — столь высоким было значение культа Кусамы в государственной политике и идеологии тюрок-Караханидов. Остатки этого медресе (юго-восточная четверть) были раскопаны в 60-е гг. XX в. Вскрытая часть здания показывает, что это было крупное здание с открытым двором (55×44 м) и с типичной для медресе четыреххайванной композицией с застройкой по периметру [Немцева 1974: 99 сл.]. Здесь сложился характерный для средневековья крупный городской религиозно-культовый и культурно-образовательный центр, где, наряду с совершением всех ритуалов, связанных с поклонением Машаду Кусамы, велось также обучение студентов. В Медресе Кусамийа преподавалось обязательное для всех медресе богословие (изучение Корана, хадисов) и светские дисциплины. По вакфу 1066 г., в медресе была мечеть, помещения для изучения и чтения Корана и ознакомления с основами шариата, а также библиотека, дворик и сад [Большаков 1971: 172].

В архитектурном отношении, Машад Кусамы и Медресе Кусамийа представляли собой ансамбль-*кош* (два здания, разделенные улицей-дорогой) — градостроительный прием, получивший в дальнейшем широкое распространение в Средней Азии.

Архитектура сложившихся машадов была разнообразной, но общим был состав функциональных помещений, определенных ритуалом поклонения святым местам. Это могло быть единовременное многокупольное сооружение только для обрядов (Машад Кусамы) или сооружение дворового типа (Ходжа Машад), где жилье для паломников и гробница совмещались в едином комплексе. В Шахи-Зинде в XIV в. паломники останавливались, возможно, в заброшенном после монгольского разгрома Самарканда Медресе Кусамийа, которое тогда выполняло функцию *завийи*. Планировка бывшего медресе оптимально отвечала требованиям дома для приема паломников.

Мемориальный комплекс-ханака Ходжа Машад возник в качестве машада несколько столетий спустя (как и в случае с Машадом Кусамы), после реальных событий, связанных с гибелью за веру кого-то из ходжей — сподвижников пророка Мухаммада. Ранние суфийские обители — ханака — возникали как загородные структуры (ханака Сайф ад-Дина Бахарзи конца XII — начала XIII в. в местечке Фатхабад близ Бухары; ханака Баха ад-Дина Накшбанди в 30 км от Бухары). Ибн Баттута в своем путешествии от Марокко до Индии описывает множество ханак, где он останавливался. Почти все они были приспособлены для проживания и имели двор с кельями в комплексе с гробницей святого, залами для радений, мечетью, трапезными и помещениями для приготовления пищи, хранения продуктов и инвентаря, банями для зимних омовений [Немцева 2003].

В период классического суфизма (XV—XVI вв.) в Средней Азии, в связи с трансформацией самого течения *тасаввуф*, функция и архитектура ханака изменились. Появились городские купольные ханака (Файзабад, Надир Диван-беги, Баха ад-дина в Бухаре и окрестностях, ханака Ходжа Ахмада Яссави в Туркестане — самая крупная в Средней Азии), где не было предусмотрено проживание большого числа паломников. Эти монументальные комплексы служили местом суфийских радений, диспутов, встреч и поэтических чтений. При этом существовали и ханака дворового типа для проживания паломников (несколько ханака Ходжи Ахрара в Самарканде, XV в.) [Чехович 1974: 27].

Мемориальный комплекс XII в. на юге Таджикистана Ходжа Машад — это единственная дошедшая до наших дней крупная ханака дворового типа. Кроме сакральной, южной части (двойной мавзолеей), она включала помещения-*худжры* по сторонам двора для паломников. Михраб в западном мавзолее свидетельствует о том, что это помещение использовалось и как мечеть. В порталном пилоне западного мавзолея устроена *чилляхана* для сорокадневного поста. По сторонам северного входного портала расположены квадратно-купольные залы для общих собраний (радений, диспутов). Двойной порталный вход в Ходжа Машад с юга и севера позволял останавливаться в ханаке и мирянам. Этот памятник возведен как мемориальный комплекс в честь павшего сподвижника пророка Мухаммада, и в нем с самого начала предусматривались все службы для отправления культового обряда — *зиарата* и проживания паломников. Нельзя согласиться с определением Ходжа Машад как «Ходжи из Мешхеда» [Хмельницкий 1992: 148].

Мавзолеей-ханака Ходжа Машад объявлен С. Г. Хмельницким самым ранним медресе Средней Азии [Хмельницкий 2001]. Археологические данные по датировке и периодизации строительства Ходжа Машад при этом оспариваются либо игнорируются. Единственным аргументом является план памятника — его четыреххайванная композиция, действительно характерная для медресе.

Впрочем, такая деталь планировки Ходжа Машад, как сквозной проход, была не свойственна медресе — закрытом учебном заведении монастырского типа.

Общеизвестно также, что четырехайванная планировочная композиция была многофункциональна. В средние века в Средней Азии и Хорасане эта схема плана использовалась для возведения медресе, караван-сараев, дворцовых комплексов, ханака, госпиталей и даже дворовых мечетей, и поэтому построение выводов на основе только плана не является убедительным. Определению этого памятника как медресе противоречит и самый главный — географический — фактор. Медресе — своего рода университет в мусульманском мире — это городское учебное заведение, особенно на ранней стадии их существования. Медресе в мусульманском мире появились, судя по письменным данным, в начале X в. в крупных городах арабского Халифата (Нишапуре, Мерве, Багдаде, Бухаре, Самарканде и др.), где уже в VIII—IX вв. сложились научные центры. Как учебное заведение, медресе восходит к значительно более ранней образовательной системе — к греко-римским школам, храмам и монастырским школам поздней античности и раннего средневековья.

В странах ислама непосредственно медресе предшествовали школы при мечетях с большими библиотеками, «Дома мудрости», «Дома науки», Академии, которые создавались просвещенными правителями, везирами, богатыми вельможами при Омейядах, а затем и при Аббасидах (халиф Мамун и др.). Медресе, как высшее учебное заведение, не только на первом этапе, но и позже, в XIV—XVII вв. были привилегией крупных городов. Только в XIX—XX вв. медресе начали появляться в некоторых больших селах, и в них готовили, главным образом, служителей культа.

Медресе, программа которых, кроме обязательного богословия, включала ряд светских дисциплин, играли огромную роль в интеллектуальной жизни средневекового мусульманского общества. Медресе были элементом городской структуры и, наряду с мечетью, определяли статус города. Поэтому кажется невероятным строительство такого крупного сооружения, каким являлся Ходжа Машад, в качестве медресе у дороги близ Кафирнигана, примерно в 100 км от крупных населенных пунктов. Это, несомненно, один из немногих дошедших до нас культовых архитектурных памятников типа *ханака-машада* при почитаемой гробнице святого, которые сооружались в Средней Азии в пору широкого распространения мистико-аскетического течения суфизма (XI—XII вв.) и связанного с ним культа святых мучеников.

Библиография

- Большаков О. Ф.* Два вакфа Ибрахима Тамгач-хана в Самарканде // СНВ. Вып. X. 1971.
Гольдциер И. Культ святых в исламе. М., 1938.
Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991.
Немцева Н. Б. Раскопки архитектурного комплекса Ходжа Машад в Саяте на юге Таджикистана // СА. 1969. № 3.
Немцева Н. Б. Медресе Тамгач Богра-хана в Самарканде // Афрасиаб. Вып. III. Ташкент, 1974.
Немцева Н. Б. Многофункциональный мемориально-культовый комплекс Ходжа Машад на юге Таджикистана // ОНУ. 1995. № 5-6-7-8.
Немцева Н. Б. Ханака Сайф ад-Дина Бахарзи в Бухаре (к истории архитектурного комплекса). Бухара, 2003.
Хмельницкий С. Г. Между арабами и тюрками. Берлин; Рига, 1992.
Хмельницкий С. Г. Ходжа Машад. Берлин; Рига, 2001.
Чехович О. Д. Самаркандские документы XV—XVI вв. М., 1974.

О СОХРАНИВШЕМСЯ В ТАДЖИКСКОЙ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ СПОСОБЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АВЕСТИЙСКОГО РИТУАЛЬНОГО НАПИТКА *ХАОМЫ*

Ритуальный напиток *хаома* (хаома), дарящий людям ясность ума, здоровье и долгую жизнь, занимает особое место в зороастрийских ритуалах. О ее священных свойствах говорится в «Яштах», «Вендидаде» и других частях «Авесты» [Авеста 1980; Авеста 2001; Саидмахсум Али Хасан 1948]. Хаому зороастрийцы принимали глотками во время выполнения религиозных обрядов. Большой загадкой является вопрос как о технологии приготовления напитка хаомы, так и о входящих в его состав компонентов. Об этом ничего не написано ни в самой «Авесте», ни в дошедших до нас более поздних иранских письменных памятниках [Саймиддинов 2003].

Как кажется, разгадку этой древнейшей загадки нам посчастливилось найти у жителей горных районов Согдийской области Таджикистана. Среди этих потомков согдийцев на протяжении веков, как по эстафете — из поколения в поколение, от отца к сыну — передавался рецепт приготовления ритуального напитка из плодов эфедры. Умудренные жизненным опытом местные старожилы рассказали нам о нем следующее: *хаома* — это напиток святой и целительный, который готовится из ягод, называемых *хома* или *хума* (эфедра). Необходимо подчеркнуть, что хаомой они называют не само растение, а только напиток, получаемый по особой технологии из ягод эфедры. По их рассказам, этот напиток готовят из зрелых ягод следующим образом: изготовитель, обязательно вымыв тело и настроив свои мысли на добрый лад, рано утром приступает к сбору ягод. Затем они помещаются в корзинку с плотным дном или в эмалированное ведро. В домашних условиях ягоды очищаются от примесей (листьев, веточек и др. частей растения). Потом с помощью большой деревянной ложки ягоды разминаются в большой деревянной чашке (по-таджикски называемой *табак*) до получения густой кашицеобразной массы. Полученная масса после очистки от семян сливается в 3—5 литровую гончарную посуду с узким горлышком, которую плотно закрывают многослойной матерчатой или деревянной пробкой. После этого хаому оставляют для брожения на солнце в течение 4—6 дней. Затем прозрачный готовый напиток хранят в посудине с узким горлышком в прохладном месте. Специалиста, занимающегося приготовлением хаомы, традиционно называют *хаомапаз* («заготовитель хаомы»).

Напиток хаома рекомендуется принимать не только для лечения и профилактики при различных простудных заболеваниях, затрудненном дыхании, ангине, общей слабости организма, поносе, но и как средство-оберег от злых духов.

Горные районы Согда всегда славилась богатейшими запасами эфедры, и при советской власти за пределы Таджикистана ежегодно вывозились десятки тысяч тонн этой лечебной травы, потребителями которой были фармзаводы, производящие лекарственный препарат «Эфедрин».

Другая сложная проблема, связанная с технологией изготовления хаомы, — это выяснение того вида эфедры, ягоды которой служили основным сырьем для ее приготовления. Известно, что только в Таджикистане произрастает 19 видов этого растения [Флора Таджикской ССР 1957], среди которых наиболее распространенными считаются эфедра средняя (*Ephedra intermedia* Schrenk et. C. A. Mey) и эфедра хвойная (*E. Equisetum* Bunge). Все эти виды выделены уже современной ботанической наукой. Естественно, что двадцать пять — тридцать веков тому назад вряд ли кто-нибудь по каким-либо отличительным признакам мог бы разделить их на разные виды. Поэтому можно предположить, что в каждом регионе всего ареала проживания зороастрийцев мастера по производству хаомы в качестве основного сырья использовали тот вид эфедры, который там и произрастал.

Для полного восстановления древней технологии изготовления хаомы крайне важно выяснить еще один вопрос: в процессе обработки свежих ягод эфедры семена удалялись до помещения размятого сырья на солнце (т. е. до брожения), или же они отделялись уже после завершения процесса брожения. Дело в том, что в сохранившейся по сей день среди таджиков Согдийской области технологии мастер-хаомапаз лишь в отдельных случаях очищает ягоды от семян до закладки их на брожение.

Необходимо также с позиции достижений современной фитохимии, фармакологии и биотехнологии взглянуть на химический состав и физико-химические, а также фармакологические свойства основных компонентов состава ягодного сырья, в том числе и семян. Судя по имеющимся публикациям, ягоды эфедры состоят из сахаристых веществ, витаминов С, Р, пирокатехинов, β-ситостерина, комплекса макро- и микроэлементов. Надземная часть растения, наряду с железом и

другими макроэлементами, содержит такие важные для жизни микроэлементы, как селен, цинк, медь, молибден, кремний.

Ягоды содержат до 169 мг витамина С. В мясистой их части содержится до 0,12%, а в семенах плодов — до 0,6% алкалоидов [Ловкова М. Я. и др. 1989; Растительные ресурсы России и сопредельных государств 1996], т. е. в семенах их в 5 раза больше, чем в мякоти.

Лечебные свойства ягод, как и надземной части растения, в основном связаны с содержанием в их составе алкалоидов, флавоноидов, стероидов, макро- и микроэлементов, дубильных и ряда других веществ. Основной алкалоид растения — эфедрин — обладает адреналиноподобным действием, повышает тонус организма, улучшает работу сердца, расширяет бронхи и улучшает дыхание.

Анализ физико-химических свойств биологически активных веществ, входящих в состав ягод эфедры, наводит на мысль, что зороастрийские мастера-хаомапазы при приготовлении ритуального напитка в качестве основного сырья использовали не очищенные от семян ягоды.

В пользу такой гипотезы говорят следующие факты:

1) Мякоть плодов содержит сахаристые продукты, алкалоиды, витамин С, комплекс других кислот, а также макро- и микроэлементы.

2) Семена, в отличие от мякоти, содержат в 5 раз больше алкалоидов, обладающих ощелачивающим действием и дубильные вещества, придающие напитку хаома следующие качества:

— благодаря своим ощелачивающим свойствам предупреждают превращение напитка в уксус, т. е. проявляют стабилизирующее, или закрепляющее действие. Хаома, приготовленная из семяносодержащей массы, может храниться месяцами, а, возможно, и годами;

— содержащиеся в семенах алкалоиды, а также дубильные вещества в процессе брожения в больших количествах накапливаются в составе созревающей, а затем готовой хаомы.

Обогащенная в рамках технологического процесса алкалоидами и другими биологически активными веществами, хаома проявляла широкий спектр целебных свойств и по этой причине широко применялась во всех зороастрийских религиозных церемониях.

Таким образом, на основании анализа сохранившегося в таджикской народной медицине способа приготовления авестийского напитка хаомы можно считать установленным, что зороастрийские мастера в процессе его производства в качестве основного сырья использовали смесь из сока, мякоти и семян ягод эфедры. Вся эта масса заливалась в посуду, которую на 4—6 дней (в зависимости от температуры окружающей среды) оставляли на солнце для брожения, после чего верхнюю прозрачную жидкость (винный экстракт) осторожно переливали в другой сосуд с узким горлом и закрывали плотной пробкой. Готовый продукт хранили в прохладном месте.

Библиография

Авеста. Избранные гимны / Пер. с авестийского и коммент. И. М. Стеблин-Каменского. Душанбе, 1980.

Авеста. Древнейшие гимны и арийские тексты / Сост. и коммент. Дж. Дустхох. Душанбе, 2001 (на тадж. яз.).

Ловкова М. Я. и др. Почему растения лечат. М., 1989.

Растительные ресурсы России и сопредельных государств. СПб., 1996.

Саидмахсум Али Хасан. Вандидад. Тегеран, 1948.

Саймиддинов Д. Пехлевийская литература. Душанбе, 2003 (на тадж. яз.).

Флора Таджикской ССР. Т. I. М.; Л., 1957.

О ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ БАКТРИЙЦЕВ

Когда говорят о погребальном обряде бактрийцев, то всегда цитируют известное сообщение Страбона (XI, 11, 3): «В древности согдийцы и бактрийцы не очень отличались от кочевников по образу жизни и обычаям, хотя у бактрийцев они были немного мягче. Однако и о последних Онесикрит и ему подобные не говорят ничего похвального; [сообщают,] что тех, кто стали беспомощными из-за старости и болезни, они бросают живыми на съедение собакам, нарочно содержащим для этого, которых на своем родном языке называют «погребателями» (ἐνταφιασταί); что за стенами главного города бактрийцев земля выглядит чистой, а внутри большая часть [пространства] полна человеческих костей; что Александр уничтожил этот обычай... [Обычай] бактрийцев много более [чем обычай каспиев] подобен скифскому, и если было такое, достойное отвращения, тогда, когда Александр застал эти [обычаи]...».

Но детальному источниковедческому анализу это сообщение, насколько мне известно, не подвергалось. Что же можно сказать о нем именно в источниковедческом плане? Прежде всего, несомненно, что цитированное сообщение действительно восходит к Онесикриту (fr. 5 изд. Ф. Якоби; fr. 6 изд. К. Мюллера). Онесикрит, философ-киник сопровождал Александра Македонского в его восточном походе и выполнял разные поручения царя, в том числе и философского характера: например, беседовал с индийскими гимнософистами (с помощью нескольких переводчиков) [Нахов 1981: 138—141]. Нельзя точно определить, когда Онесикрит присоединился к войскам Александра [Brown 1949: 7], но нет никаких оснований предполагать [Tapin 1948: 13], что это произошло уже после того, как Александр покинул Бактрию. Сочинение Онесикрита посвящено «пайдейе» Александра — подобно тому, как одно из сочинений Ксенофонта, которому Онесикрит подражал, имело дело с «пайдейей» Кира. Это был апологетический «энкомий» Александру, где последний выведен как цивилизатор варваров — в таком контексте и нужно понимать цитированный отрывок [Brown 1949: 69, 70]. Действительно, в нем отмечены, наряду с жестокостью варваров, именно те стороны их погребального обряда, которые кардинально противоречили греческим нормам. Но Онесикрит выступает в своем сочинении и как просто любознательный наблюдатель, с интересом описывающий природу и обычаи стран, в которых он побывал. Писать свое сочинение он начал, возможно, еще при жизни Александра, а закончил при царе Лисимахе, может быть, около 305 г. до н. э. [Brown 1949: 5—7].

Заимствовал ли Страбон это сообщение у Онесикрита прямо, или же он сделал это через посредника? Имеется ряд признаков, свидетельствующих в пользу второго предположения. Посредником в данном случае должен быть Посидоний — один из главных авторитетов и источников Страбона. В цитированном пассаже обращает на себя внимание то, что начинается оно с общей характеристики согдийцев и бактрийцев, образ жизни которых сближается с кочевническим, причем нравы бактрийцев без объяснений называются более мягкими, а далее погребальный обычай бактрийцев прямо именуется «более скифским» (Σκιθικώτερον), чем у каспиев, хотя подобный обычай у скифов не известен. Все это будет понятно, если учесть, что Страбон здесь оперирует материалами Посидония, долженствующими проиллюстрировать теорию последнего о зависимости образа жизни и обычаев народа от его широтного положения, а также о возможном влиянии того или иного народа на своих соседей по долготе. Поэтому согдийцы, обитатели северного, «скифского» пояса — наиболее дики; бактрийцы, непосредственные южные соседи согдийцев, обитатели среднего пояса — немного мягче, хотя их обряд все же «более скифский», нежели похожий обряд каспиев, восточных соседей бактрийцев [Пьянков 1997: 137]. Все это наводит на мысль, что подобный погребальный обычай был известен и у согдийцев, у которых, по представлению Посидония, бактрийцы и должны были его заимствовать. Действительно, Плутарх (*De Alex. Fort.* I, 5), сведения которого в данном случае восходят если не прямо к Онесикриту, то к какому-нибудь автору кинического круга [Jacoby 1927: 472], сообщает: «Александр научил согдийцев заботиться об отцах и не убивать их». Здесь опять совершенно явственно проступает онесикритова концепция «пайдейи» Александра.

Сообщение Порфирия (*De abstin.* IV, 21 = Euseb. *PE* I, 4, 7), относящееся к рассматриваемой группе источников [Bernard 1985: 32, n. 1], я думаю, тоже восходит к Онесикриту через Посидония, поскольку бактрийцы в нем стоят в ряду диких и жестоких племен скифского и соседнего с ним

пояса [Пьянков 1997: 137]: «И бактрийцы выбрасывали своих стариков живыми на съедение собакам. Стасанор, наместник Александра, желая воспротивиться этому, чуть не был низвергнут».

К иному первоисточнику должны восходить некоторые сообщения Плутарха. Одно из них (*De proverb. Alex. I, 10 = Zenob. Cent. 5, 25*) таково: «В каждой стране свой закон... Бактрийцы (в тексте (Βακχεῖριοι) — вероятно, искаженное Βάκτριοι), если не избавятся от болезни, отдают себя на съедение собакам». Другое (*Vitios. 3, 499*) гласит: «У гирканцев собаки, у бактрийцев птицы поедают мертвецов по закону — так они достигают счастливого конца». Здесь, правда, нет уверенности, что упоминание бактрийцев появилось не по недоразумению. Дело в том, что в аналогичном сообщении Секста Эмпирика (III, 24, 227) говорится: «Гирканцы же дают [мертвецов] в пищу собакам, а некоторые из индийцев — коршунам». Правомерность упоминания «некоторых из индийцев» в данном контексте подтверждается сообщением Страбона (XV, 1, 62), восходящим к Аристубулу: «Мертвецы выбрасываются у них [индийцев страны Таксила] на съедение коршунам». Возможно все же, что и упоминание бактрийцев в контексте данного сообщения не случайно. Первоисточником этих сообщений, где «некоторые из индийцев» (и бактрийцы?) упоминаются в паре с гирканцами, является Аристубул, другой спутник Александра, побывавший и в Бактрии, и в Индии. Отличием последней группы сообщений является то, что бактрийцы в них отдают себя или своих мертвецов на съедение собакам и птицам добровольно, следуя «закону», и даже чтобы достигнуть «счастливого конца».

Является ли погребальный обряд бактрийцев и их соседей каким-то исключительным, изолированным феноменом или представляет собой частный случай более широко распространенной, этнически обусловленной посмертной обрядности? Я уже пытался дать ответ на этот вопрос в своих предшествующих работах [Пьянков 1995б: 30—33; 1995а: 48, 49], поэтому ограничусь здесь лишь кратким пересказом полученных мною результатов. Обряд «выставления», когда труп выставляли на открытом месте, чтобы собаки или птицы оставили от него лишь голые кости, являлся важнейшим определяющим признаком обширной этнической общности, известной в античных источниках ахеменидского и эллинистического времени как Ариана. Предложено называть ее центральноиранской общностью, в отличие от западно- и восточно- (т. е. скифской) иранской, для которых, кстати, указанный обряд совершенно чужд. При этом следует четко отличать обряд «выставления» от «массагетского» обряда и обряда «кафиров»-нуристанцев, имеющих тоже очень древние, но совсем иные корни. Археологическим соответствием этой общности являются культуры круга Яз I—III.

Основными народами Арианы являлись бактрийцы и согдийцы на севере, арахоты, заранги и ареи (северная часть их области ко времени написания Аристубулом своего сочинения административно вошла в состав Гиркании) на юге. На протяжении первой половины и середины I тыс. до н. э. центральные иранцы активно расселялись во всех направлениях, сохраняя свои обычаи и обрядность. На западе такими выселенцами были маги, укоренившиеся в Мидии в качестве одного из ее племен; на севере — хорасмии, носители кюзелигырской культуры и не оставившие по себе памяти в письменных источниках носители чувской культуры; на юге, у берегов Индийского океана — ориты; на востоке, в Северо-Западной Индии, от границ Кашмира до южных склонов Гиндукуша — камбоджи (так индийцы называли всех центральных иранцев), носители культуры «гандхарских погребений» III—IV. Очевидно, в сферу влияния камбоджей должна была входить и страна Таксила. У всех этих народов письменно, археологически или тем и другим способом сразу засвидетельствован обряд «выставления». Отмеченное и античными источниками, и «Авестой» отступление от этого правила в Арахозии относится не к самим арахотам, а к племени дерсеев — по видимому, индийского происхождения.

Археологически обряд «выставления» фиксируется полным отсутствием могильников и частыми находками в пределах поселений — в мусорных ямах или в развалинах старых строений — отдельных человеческих костей, обглоданных животными. Иногда встречаются скорченные погребения в ямах под полами домов или во дворах. Этими чертами культуры круга Яз I—III резко отличаются от предшествующих культур на той же территории и от соседних культур. Потомки носителей культур этого круга продолжают придерживаться своего погребального обряда и позже, вплоть до распространения ислама, хотя теперь у некоторых из них наблюдается стремление как-то сохранить очищенные кости своих покойников: так появляются оссуарии и мавзолеи. Обзоры археологического материала, содержащего следы обряда «выставления», публиковались неоднократно [см., например: Пьянкова 1998: 214, 215; Древнейшие государства... 1985: 178—457; Grenet 1984: 45—279; Литвинский, Седов 1984: 85—176; 1983: 7—116].

Весьма интересна история этого обряда. Страбон говорит, что бактрийский обычай был уничтожен Александром, а Порфирий — что обычаю пытался воспрепятствовать Стасанор, наместник

Александра. Очевидно, Стасанор, получив приказ от Александра, попробовал исполнить его, хотя и неудачно. Но Стасанор, грек-киприот при жизни Александра был сатрапом зарангов (дрангов) и ареев, и лишь Антипатр сделал его наместником бактрийцев и согдийцев. Возможно, это назначение и было обусловлено неудачными мерами Стасанора, предпринятыми в Дрангиане и Арее и возмущившими местное население. Однако в Бактрии Стасанор уже вряд ли решился на эти меры, так как в связи с событиями 316 г. до н. э. он назван в числе тех сатрапов, которых невозможно было сместить, поскольку «они вели себя по отношению к местному населению хорошо и имели много сторонников» (Diod. XIX, 48, 1).

Тем не менее, несомненно, что греки не могли примириться с обрядом «выставления» — слишком уж радикально он противоречил их воззрениям и нормам. Об этом свидетельствует его дальнейшая история. В греко-бактрийскую эпоху бактрийская знать, сотрудничавшая с греками, хоронила своих покойников по обряду трупоположения в мавзолеях, по-видимому, изобретенных селевкидскими греками [Bernard 1973: 621, 622], поскольку подобных сооружений предшествующих эпох в Средней Азии не обнаружено. Таков дальверзинский мавзолей, где самые ранние погребения совершены по обряду трупоположения, а более поздние, относящиеся к постгреческому времени, представляют собой кучи очищенных костей — свидетельство возвращения к обряду «выставления» [Ртвеладзе 1978: 97—114]. Таковы и другие бактрийские мавзолеи того же типа [Литвинский, Седов 1983: 106], хранившие очищенные кости. Бактрийские же низы продолжали хоронить по-прежнему, оставляя кучи очищенных костей под открытым небом. Свидетельством торжества старого обряда являются кучи костей, обнаруженные французскими археологами в греко-бактрийском городе на месте Ай Ханум, причем на площади уже опустевшего после падения греческой власти театра — символа эллинской культуры [Пьянков 1995б: 33]. Поразительно, что таджики, потомки бактрийцев, до сих пор помнят, что существовавший до ислама обычай их предков убивать стариков запретил Искандар, т. е. Александр Македонский [Бабаева 1993: 127].

Почти все без исключения исследователи видят в обряде «выставления» и разных его проявлениях в Средней Азии признаки зороастризма или, по крайней мере, «маздеизма». Многочисленные нестыковки и различия относят за счет «неортодоксальности», периферийного положения среднеазиатского зороастризма. Сходство зороастрийского похоронного обряда с описанным здесь бактрийским в основных моментах действительно велико. Однако при сравнении этих обрядов следует учитывать обстоятельство, о котором я уже говорил: пророки, стоящие у истоков религий откровения, «выступают обычно как основатели той или иной философско-этической доктрины, они... не вводят новых способов погребения и новых норм семейной жизни. Все это в полной мере относится и к Зороастру, основателю зороастризма». То, чем учение Зороастра было дополнено и превращено в полнокровную религиозную систему, обязано почве, на которой это учение выросло, т. е. культуре иранских народов Арианы [Пьянков 2000: 95, 96]. Это относится и к похоронным обычаям.

Поэтому не древнейший среднеазиатский обряд «выставления» нужно объяснять, исходя из зороастрийской обрядности, а наоборот, истоки этой последней искать в древних среднеазиатских обычаях. Действительно, бактрийский обряд выглядит гораздо более архаичным по сравнению с обрядом, описанным в «Видевдате», «первичным» по отношению к нему¹. Обряд Видевдата является модификацией и идеологическим переосмыслением дозороастрийского обряда «выставления» с позиций учения Зороастра, где все делится на светлое и темное начала, на чистое и нечистое; смерть, безусловно, относится к области скверны.

Некоторые существенные детали обряда «выставления» в бактрийском варианте предстают в их первобытной непосредственности, в варианте «Видевдата» — в рудиментарном и переосмысленном виде. Ритуальное умерщвление одряхлевшего или больного человека, совершаемое у бактрийцев родичами «по закону» ради общего блага, — реальное явление (вопреки сомнениям многих современных ученых), объясняемое первобытными представлениями о том, что дух такого человека, умершего своей смертью, будет опасен для его родственников [Бабаева 1993: 127, 128]. Следы возрастных классов и представлений о предельном возрасте широко распространены в Средней Азии, с ними связан очень древний, дозороастрийский, а затем воспринятый зороастрийцами обычай «прижизненных поминок» [Бабаева 1993: 120—130; Хисматулин, Крюкова 1997: 195—198; Мейтарчиан 2001: 165—167]. В «Видевдате» указания на возрастной предел и ритуальное умерщвление относятся в виде пережитка только к грешнику, осквернившему себя перенесением трупа в одиночку [Хисматулин, Крюкова 1997: 198—206].

¹ Впрочем, и реальный зороастрийский похоронный обряд сасанидских персов, описанный Агафием (II, 22—23), ближе к древнему бактрийскому обряду, нежели к обряду «Видевдата».

У бактрийцев собака пожирает испускающего дух человека — несомненный признак первобытного представления о возвращении к тотему [Рапопорт 1971: 26, 27], опять-таки для обеспечения «счастливого конца». В «Видевдате» и у поздних зороастрийцев это действие только имитируется обрядом *сагдид*, толкуемым однако как необходимость нейтрализовать с помощью собаки оскверняющее влияние смерти [Литвинский, Седов 1984: 166; Мейтарчиан 2001: 116, 168]. Пожирают же собаки и птицы лишь выставленный на дахме труп, опять-таки для того, чтобы освободить землю от трупной скверны.

У бактрийцев и других центральных иранцев, судя по археологии, для каких-то категорий покойников существовал особый способ захоронения — скорченные труположения в ямах под полом дома и во дворах. В «Видевдате» и у поздних зороастрийцев этот способ превратился во временное захоронение [Хисматулин, Крюкова 1997: 223], допустимое, но чреватое осквернением почвы и дома. Известен эпизод, который ясно свидетельствует о «первичном», дозороастрийском характере представлений бактрийцев о смерти и мертвом теле, где нет и намек на страх осквернить священные стихии. Согласно версии Курция Руфа (VII, 5, 40—42) и Диодора (XVII, 83, 9), тело Бесса, которого по приказу Александра должны были казнить в Бактрах (Арг. *Anab.* III, 30, 5), разрубили на куски и разбрасывали с помощью пращи, не давая садиться на него птицам: их отгонял, стреляя из лука, бактриец Катан (заметим: человек из рода Каты, сына первого последователя Зороастра). С известным нам зороастризмом такие действия совершенно несовместимы, поскольку ими осквернялась священная стихия земли. А стремление Катана отогнать птиц от тела преступного Бесса явно указывает на очень древнее местное представление, независимое от зороастризма, засвидетельствованное еще для каспиев (Strabo XI, 11, 8), а также — в рудиментарном виде — для современных таджиков [Бабаева 1993: 129], о том, что поглощение птицами тела умершего (или того, что с ним связано) — особо благоприятное для последнего знамение.

О том, что обряд «выставления» у народов Арианы был как-то связан с зороастризмом хотя бы ко времени Александра, можно предполагать только для арахотов, у которых в ахеменидское время существовала своя зороастрийская община [Пьянков 1995: 51, 52].

Конечно, в страны бактрийцев и других центральноиранских народов проникал и собственно зороастрийский погребальный обряд, т. е. обряд, свойственный каноническому зороастризму, выработанному в среде магов (другого зороастрийского канона мы не знаем). Хорошо известно, что маги выполняли жреческие функции у этих народов в эпоху Ахеменидов, а затем при Аршакидах и Сасанидах — в той мере, в какой эти народы входили в пределы соответствующих держав. Да и за их пределами, например, у согдийцев поздней древности маги с их храмами огня играли большую роль [Беленицкий 1954: 52—62]. Но погребения, совершенные в Средней Азии по обряду магов, нелегко отличить по археологическим материалам (по которым только и можно о них судить) от погребений, совершенных в соответствии с дозороастрийскими народными обычаями (как уже было отмечено, даже реальный погребальный обряд сасанидских персов, у которых зороастризм магов был государственной религией, практически не отличался от погребального обряда древних бактрийцев).

Возможно, что об усилении влияния зороастризма магов в центральноиранском этническом ареале свидетельствует появление там (в наименьшей мере — в Бактрии) оссуариев (хумов и простых ящичных, не статуарных). Приход Спасителя и будущее воскресение предусмотрены учением самого Зороастра, а гарантией индивидуального воскресения являются кости умершего [Хисматулин, Крюкова 1997: 194, 195], которые поэтому нуждаются в более бережном отношении. Другим важным признаком служит появление *дахм* классического типа в сасанидское, а на востоке — в кушано-сасанидское время¹. Скорее всего, обряд «выставления» с дахмой имеет в виду и рассказ Вэй-цзе (VII в. н. э.) о погребальном обряде жителей Самарканда, который обычно сопоставляется с рассказом Страбона о бактрийском обряде.

Итак, бактрийский обряд «выставления» является специфической чертой, важным этноопределяющим признаком центральноиранских народов — этнической общности, которую можно называть и «народами Арианы», «авестийским народом» и т. п. На основе этого обряда сформировался зороастрийский обряд. Но откуда взялся сам бактрийский обряд, столь резко отличающийся от погребальной обрядности других иранских народов? К востоку от Бактрии, в горных областях от Гиндукуша и Памира до Кашмира обитали автохтонные племена, которых индоиранцы, а вслед за ними и греки называли «каспиями». Их предки — создатели культур горного неолита в этих местах — стали одним из важнейших субстратов при формировании бактрийцев и родственных им народов, носителей более поздних культур Средней Азии [Пьянков 1990: 53, 54; Пьянкова 1998:

¹ Возможно, к этому времени относится и дахма Еркургана [см.: Grenet 1984: 125], но ее датировка III—II вв. до н. э. плохо вяжется с общей эволюцией такого типа сооружений.

180,187,188]. Погребальный обряд каспиев, описанный Страбоном (XI, 11, 3; 8), по его же словам, почти не отличался от бактрийского, и только исконный, первобытный смысл этого обряда, связанный с тотемистическими воззрениями, здесь предстает совершенно открыто: блаженным считался тот, чей труп растащен птицами (это особенно благоприятный знак) или собаками. Особо отмечается (Val. Flacc. VI, 105), что собак каспии хоронят с теми же почестями, что и людей, в «могилах мужей». Захоронения собак по общепринятым правилам известны бактрийской археологии и предусматриваются «Видевдатом» [Литвинский, Седов 1984: 161, 162, 165]. В археологии неолитической гиссарской культуры [Ранов 1985: 27, 28], переросшей в культуру южнотаджикских горных поселений поздней бронзы [Пьянкова 1998: 166,167], равно как и в археологии близкой к ним бурзахомской культуры Кашмира [Sharif, Thapar 1992: 145, 146], мы находим все то, о чем говорилось выше по поводу погребального обряда бактрийцев и родственных им народов: отсутствие могильников (или могильники с кенотафами на позднем этапе, открытые в Таджикистане), наряду с находками предварительно очищенных костей людей и собак и редких скорченных погребений в пределах поселений.

Библиография

- Бабаева Н. С.* Древние верования горных таджиков Южного Таджикистана в похоронно-поминальной обрядности. Душанбе, 1993.
- Беленицкий А. М.* Вопросы идеологии и культов Согда по материалам пянджикентских храмов // Живопись древнего Пянджикента. М., 1954.
- Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии.* М., 1985.
- Литвинский Б. А., Седов А. В.* Тепаи-шах. Культура и связи кушанской Бактрии. М., 1983.
- Литвинский Б. А., Седов А. В.* Культы и ритуалы кушанской Бактрии. Погребальный обряд. М., 1984.
- Мейтарчиан М. Б.* Погребальные обряды зороастрийцев. М., 2001.
- Нахов И. М.* Киническая литература. М., 1981.
- Пьянков И. В.* Некоторые вопросы этнической предьстории таджикского народа // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. Вып. 2. М., 1990.
- Пьянков И. В.* Ариана по свидетельствам античных авторов // Восток. 1995а. № 1.
- Пьянков И. В.* Некоторые вопросы этнической истории древней Средней Азии // Восток. 1995б. № 6.
- Пьянков И. В.* Средняя Азия в античной географической традиции: источниковедческий анализ. М., 1997.
- Пьянков И. В.* Верования древнеземледельческого населения Средней Азии и зороастризм // Культурное наследие Туркменистана. Ашгабат; СПб., 2000.
- Пьянкова Л. Т.* Энеолит и бронзовый век. Ранний железный век: памятники материальной культуры // История таджикского народа. Т. I. Душанбе, 1998.
- Ранов В. А.* Гиссарская культура — неолит горных областей Средней Азии // Каменный век Северной, Средней и Восточной Азии. Новосибирск, 1985.
- Рапопорт Ю. А.* Из истории религии древнего Хорезма. М., 1971.
- Ртвеладзе Э. В.* Дальверзинский наус // Дальверзинтепе — кушанский город на юге Узбекистана. Ташкент, 1978.
- Хисматулин А. А., Крюкова В. Ю.* Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. СПб., 1997.
- Bernard P.* Campagne de fouilles à Ai-Khanoum (Afghanistan) // CRAIBL. 1973.
- Bernard P.* Fouilles d'Ai Khanoum. IV: Les monnaies hors trésors. Questions d'histoire gréco-bactrienne. Paris, 1985.
- Brown T. S.* Onesicritus. A Study in Hellenistic Historiography. Berkeley; Los Angeles, 1949.
- Grenet F.* Les pratiques funéraires dans l'Asie Centrale sédentaire de la conquête grecque à l'islamisation. Paris, 1984.
- Jacoby F.* Die Fragmente der griechischen Historiker. Bd. II/2. Berlin, 1927.
- Sharif M., Thapar B. K.* Food-producing communities in Pakistan and Northern India // History of civilizations of Central Asia. Vol. I. Paris, 1992.
- Tarn W. W.* Alexander the Great. Vol. I. Cambridge, 1948.

КОСТЕР НОВОБРАЧНЫХ У ТАДЖИКОВ (ПОИСКИ ИСТОКОВ ОСОБЕННОСТЕЙ РИТУАЛА)

Предмет нашего интереса — ритуальная практика обведения молодоженов (или, как вариант, невесты) вокруг костра (*алоугардон*), знаменующая собой завершение цикла свадебных обрядов современных таджиков. Этот ритуал ставит перед исследователями целый ряд трудно объяснимых вопросов. Один из них — это исторические корни (и идейная подоплека) ряда особенностей церемонии, таящей в себе очевидные признаки сакрализации огня. Привлекаемые автором полевые материалы, характеризующие специфику рассматриваемой церемонии, а также отдельные упоминания о ней в этнографической литературе относятся, главным образом, к Зеравшанской долине, изучению далекого прошлого которой Александр Маркович Беленицкий посвятил свою долгую жизнь, внося своими трудами значительный вклад в познание истории и культуры таджикского народа.

В одной из своих работ [1940], зачитанной специалистами, как говорят в таких случаях, «до дыр», О. А. Сухарева писала, что в Самарканде невеста, которую везли в дом будущего мужа «обязательно на лошади, <...> должна была трижды объехать костер», разводящийся «перед домом жениха». Эти слова известного ученого были взяты на заметку многими специалистами по среднеазиатской этнографии. И оказалось, что ритуал *алоугардон* и его отголоски обнаруживаются также в районах, подчас весьма отдаленных от таких больших региональных культурных центров, как Самарканд. На сегодняшний день не существует какой-либо попытки осмысления церемонии *алоугардон* молодоженов, хотя, казалось бы, обязательный характер практики объезда (или, в наше время, обхода) невесты вокруг пламенеющего костра, распространенный преимущественно в областях среднеазиатской оседлости, к этому обязывает. Естественно, возникает соблазн (в хорошем смысле) предположить, что за данным ритуалом в структуре традиционной свадебной обрядности таджиков скрываются определенные символические и идеологические представления, ведущие свое начало от весьма далеких, еще доисламских времен.

Позволю себе привести некоторые личные наблюдения из своего полевого дневника. Несколько неакадемический характер нижеследующего изложения, как кажется, позволит зримо представить себе специфику церемонии и прочувствовать отраженные в ней идеи и поверья.

1) Поздним августовским вечером 1988 г. кортеж невесты направлялся к костру, полыхавшему на относительно небольшой площади (*чорсу/чорраха* — букв. «перекресток») в одном из старых районов Самарканда. По мере его приближения, поддерживавшие огонь мальчики отдалялись от пламенеющего костра, оставляя пространство вокруг него для участников процессии. На смену спонтанно возникшему веселью мальчиков приходит строгий сценарий действия с участием одних лишь женщин (мужчины обычно сторонятся этого ритуала, считая его женским делом). Постепенно оно приобретает черты священнодействия. Невеста одета в длинное традиционное покрывало-*фаранджи* из парчевой ткани с длинными ложными рукавами (откинутыми за спину), ее лицо укрыто занавеской. Две женщины (*янга*), держа новобрачную под руки, медленными шагами начинают водить ее вокруг огня, причем против часовой стрелки. Все происходит безмолвно, как будто действующие лица находятся во власти магической силы огня. Складывается впечатление, что смысл происходящего заключен именно в безмолвии. На лицах участников церемонии — выражение задумчивости, и даже возникает ощущение, что они не замечают друг друга, совершая свои круги в одиночестве. В таком состоянии угадывается раздумье человека, представшего перед алтарем огня. Происходящее подчеркивало благоговейно-почтительное отношение к пламени огня, разведенного на пути следования невесты к дому жениха.

После непродолжительной паузы, которую заполняли музыка и танцы, свадебная процессия движется к открытым воротам, оставив костер позади, под покровом тьмы. Этим пользуются мальчишки, которые, пока огонь не начнет медленно угасать, устраивают свой любимый *алопарак* — «прыжки через костер». Кортеж невесты встречает толпа праздничных женщин. Они приветствуют невесту словами ритуальной песни «Саломнома» («Песня приветствия»). В ней, помимо поэтических сентенций, содержащих пожелания радостной и благополучной семейной жизни молодым, большое место занимает молитва, призванная уберечь новобрачных от всяческих бед и невзгод, сделать их родителями большого числа достойных детей. Славословия Мухаммаду и другим мусульманским святым перемежаются молитвами о покровительстве пророка над будущей супружес-

кой четой. За воротами невесту ждет новая жизнь — расставание с родительским домом и переезд в дом мужа, где она должна осваивать роль замужней женщины.

2) Наиболее распространенную форму рассматриваемой церемонии мне приходилось наблюдать в Пенджикенте. После банкета в ресторане, которому предшествовал мусульманский обряд бракосочетания, выполнявшийся мужчинами во главе с авторитетом в области исламской обрядности, свадебный кортеж направился к дому жениха. Головная машина с молодоженами остановилась напротив ворот праздничного дома, неподалеку от горки хвороста, сложенной посреди перекрестка. Кто-то из женщин зажег этот церемониальный костер. Когда он запылал, друзья жениха и подруги невесты подвели к нему молодых. Там их встретили четыре женщины, державшие в руках ярко вышитое панно (*болинпуш*) размером примерно 1,5×2 м. Молодым было предложено встать под это панно. После этого все шесть участников церемонии начали медленно обходить костер. Они обошли его три раза, каждый из которых против часовой стрелки. Все зрители — а этот ритуал наблюдали в основном женщины и дети, тогда как из мужчин были только друзья жениха — кольцом расположились вокруг костра, оставляя коридор для непосредственных участников *алоугардона*. Несколько любопытствующих мужчин из числа иногородних гостей наблюдали за происходящим на значительном расстоянии от места события. После завершения церемонии молодых подвели к спальному ложу.

3) Ритуал обведения невесты вокруг огня известен и в других местах Пенджикентского района. Так, в кишлаке Гусар на церемонии *арусбаророн* («вывод невесты из родительского дома»), новобрачную, прежде чем ввести в дом будущего мужа, трижды обводили (справа налево) вокруг костра, разложенного на перекрестке улиц, против ворот дома жениха. В другом варианте один за другим были выполнены три обряда, связанных с огнем. Сначала невеста и приставленные к ней женщины трижды против часовой стрелки обходили костер, разведенный во дворе дома родителей жениха. Прежде чем новобрачная начинала подниматься по ступенькам, ведущим в предназначенное для молодоженов помещение на втором этаже, пожилая мать жениха трижды окуривала ее зажженным в металлической миске пучком *hazorispand* (рута, *Peganum harmala*), шепотом приговаривая какие-то заклинания. После этой процедуры новобрачной предлагалось перешагнуть еще и через миску с дымящейся руты, установленную на земле у первой ступеньки лестницы. О комбинированной форме обведения новобрачных вокруг огня с окуриванием руты рассказывали нам и жители Бухары, в частности, из группы *ирани*. В некоторых горных районах в долине Зеравшана (в пределах Республики Таджикистан), где обычай *алоугардон* не практикуется, его заменяет окуривание дымом руты.

Ритуал *алоугардон* отмечен нами в Худжанде, Ура-Гюбе (совр. Истаравшана), Душанбе, в южных районах Таджикистана (Шаартуз, Кабадиан), а также в Бухаре. Его краткие упоминания можно найти и в литературе, описывающей быт недавнего прошлого Бухары (Ф. Зехниева), Пенджикента и его окрестностей, а также Шахристана, Ягноба, Исфары и Чуста (Н. А. Кисляков). Добавим сюда данные по Худжанду (Х. Г. Ишанкулов), долине Варзоба (Р. Л. Неменова) и южным районам Республики Таджикистан (З. Мадамиджанова). Кроме того, интересующий нас обычай (иногда в форме переезда через костер) засвидетельствован этнографами у узбеков-карлуков (К. Шаниязов) и оседлого населения Хивы (Г. П. Снесарев; Н. П. Лобачева). О близких к *алоугардону* формам рассказывают исследователи элементов культуры кочевых и полукочевых народов, например, туркмен (С. М. Демидов) или узбеков Пастдаргомского района (Л. Ф. Моногарова). Из этих сведений ясно, что ритуал обведения новобрачных вокруг костра представлял и продолжает представлять собой достаточно устоявшееся явление традиционной свадебной обрядности народов Средней Азии.

В традициях народов, проживающих на постсоветском пространстве, обведение молодоженов вокруг костра или семейного очага известно у народов Кавказского региона (Ю. Ю. Карпов). Различные формы ритуальных (свадебных) огней, через которые переезжала невеста и весь свадебный кортеж, зафиксированы также у русских (Д. К. Зеленин, Н. В. Зорин). Из бесед с приверженцами зороастрийской религии во время недельного пребывания в Тегеране в 2000 г. у нас сложилось впечатление, что в местной общине существует практика трехкратного обхода молодоженов вокруг костра. В местной же мусульманской среде, по крайней мере, центральных и западных областей Ирана церемонии, подобной *алоугардону*, видимо, не прослеживается. Зато что-то похожее известно в Индии (Р. Б. Пандей). В немусульманской среде этой страны невеста обходит костер «семь кругов» или «семь шагов» вместе с женихом. Относительно недавно по электронным СМИ «проходил» видеосюжет, в котором говорилось об обычае современных итальянцев (предки кото-

рых, как известно, были знакомы с древнеиранской религией митраизма) водить свадебный хоровод с участием новобрачных вокруг костра.

Столь обширный географический диапазон рассматриваемого явления может быть объяснен его глубокими историческими корнями. Об этом свидетельствуют также некоторые общие особенности использования церемониального костра в различных культурах: в частности, это движение участников обряда вокруг огня против часовой стрелки (т. е. против движения солнца). Для костра новобрачных, к примеру, у таджиков правилом являются два следующих условия: а) обход ритуального огня совершается троекратно; б) направление их движения вокруг костра — справа налево, т. е. против часовой стрелки. Довольно трудно найти объяснение истокам последнего обычая. Поэтому приходится идти по пути как прослеживания его элементов в разных мировоззренческих системах, так и попытки сравнительно-исторического анализа практики ритуальных обходов вокруг сакральных центров (пусть и не всегда связанных с огнем).

В исламоведческой литературе отмечается, что ритуал *таваф*, т. е. семикратное хождение паломников во время мусульманского *хаджа* в Мекку вокруг главной святыни мусульман — ал-Ка'бы — совершается по часовой стрелке, иначе говоря, по ходу движения солнца¹. Похоже, что эта информация нуждается в дополнительной проверке и уточнении. Во время нашего посещения мечети *Куббат ас-Сахра* («Купол скалы») в Иерусалиме местный служитель рекомендовал обходить скалу, с которой мусульманская традиция связывает ночное вознесение Пророка Мухаммада (*ме'радж*) и над которой возведен купол, справа налево. Из аналогичных примеров, относящихся к реалиям таджикской обрядовой культуры, можно вспомнить обход посетителями гробницы ученика знаменитого основателя суфийского братства *накибандия* Баха-ад-Дина Накшбанда, Йа'куба Чархи (ум. в 1441 г.), расположенной в пригороде Душанбе, а также усыпальницы другого известного суфия, главы мистического братства *кубравия* Саййида б. Шахаб ад-Дина ал-Хамадани (ум. в 1385 г.) в Кулябе. О церемонии обхода мазара Йакуба Чархи следует сказать особо. Посетители входят в П-образную галерею через южную дверь (лицом к восходу солнца) и идут далее вдоль невысокой металлической ограды, отделяющей их слева от могилы *мавлано* («мусульманский ученый и богослов»). По ходу движения верующие делают три остановки, опускаясь каждый раз на корточки для чтения молитв у ограды. Завершив ритуальный обход по своеобразному трехколенному коридору справа налево, посетители выходят через северную дверь спиной вперед, т. е. лицом (как и при входе) к могиле святого.

Отмеченные черты планировки основной части мазара Йакуба Чархи — в первую очередь, П-образная галерея, заключающая его сакральный центр, заставляет вспомнить обходные коридоры культовых зданий иранцев доисламской эпохи. Таковыми были практически все известные храмы огня — в Тахт-и Сангине, Кух-и Хвадже, Сузах, Сурх-Котале, Дильберджин и др.² Сооружение в центре платформы двухметровой высоты, «состоящее из целлы и окружающей ее серии коридоров», отмечено непосредственно и в Средней Азии — поселение Таш-Кирман-тепе в Хорезме³. Известны также обходные коридоры культовых сооружений Согда. Их исследователь, В. Г. Шкода высказывает предположение, что по этим коридорам верующие совершали ритуальные обходы вокруг сакрального центра. К примеру, пенджикентские храмы состояли «из открытого на восток портика, за которым располагались зал и целла, окруженные обходным коридором». Композиционная схема «зал в обводе» (вариант — «зал и целла в обводе») присуща и многим иранским постройкам.

Как верующие совершали ритуальные обходы сакрального центра — вокруг него или по П-образным коридорам — решение этого вопроса остается за археологами. Но, независимо от этого, возникает ощущение, что планировка гробницы Йакуба Чархи восходит к доисламской традиции. Можно также предположить, что оттуда же ведет свое происхождение и практика круговых движений вокруг костра участников свадебных церемоний у современных таджиков. В пользу этого свидетельствует финальная часть обряда посещения мазара Йакуба Чархи. Речь идет о молитве, которую читает служитель культа. Он находится на тахте, установленной слева от входа в мазар, с внешней (западной) стороны высокой деревянной ограды. К священнослужителю люди подходят, минуя ворота, установленные перпендикулярно могиле святого. Цвет ворот, как и самой ограды, повторяет цвет фасада трехчастной галереи с деревянными поддерживающими колоннами, это определенно говорит о том, что вся эта конструкция — нечленимая часть планировки. Можно сказать, что ритуальный обход могилы святого совершается не с трех сторон, а по периметру, когда

¹ См.: *Ислам. Энциклопедический словарь*. 1991. С. 217.

² *Литвинский Б. А., Пичикян И. Р.* Эллинистический храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. I. Раскопки. Архитектура. Религиозная жизнь. М., 2000. С. 205 (подробнее см. часть II, гл. 4/3).

³ Там же. С. 268.

посетители замыкают прямоугольник, по своему толкованию совпадающий с символом круга. Это напоминает круговые танцы и хороводы вокруг огня, ритуальные обходы алтарей или идолов в разных культурах. Отсюда можно заключить, что обход новобрачными и их спутниками церемониального костра отражает древнюю практику ритуального хождения вокруг сакральных центров. Получается, что огонь, разводимый для свадебного ритуала, по своему значению равен храмовому огню зороастрийцев или же мусульманскому месту поклонения (мазару). Обряд *алоугардон* у современных таджиков можно рассматривать как своего рода подвижный сакральный объект.

Примеры обхода вокруг сакральных объектов справа налево известны во многих культурах. Применительно к свадебной обрядности, такая практика представлена у народов Закавказья. Согласно Ю. Ю. Карпову, в былые времена на грузинской свадьбе, «шафер обводил невесту вокруг очага, обычно трижды, справа налево». Р. Б. Пандей в перечне древнеиндийских свадебных церемоний периода сутр указывает на «обход (будущей супружеской четы. — *Р.Р.*) вокруг огня слева направо». Ближайший пример движения вокруг сакрального центра — это Крестный Ход вокруг храма в ночь Великой Субботы (перед Великой Пасхой) в православии. Как известно, в этом случае движение процессии верующих вокруг храма происходит против часовой стрелки. Это важно еще и потому, что в процессии несут огонь (факелы, свечи и др.).

Приведенные выше сведения, вкупе с накопленными нами полевыми материалами, по многим признакам указывают на доисламские корни основных черт рассматриваемой ритуальной практики. Почти не приходится сомневаться, что когда-то существовала некая индоевропейская концепция совершения трехкратного ритуального движения вокруг сакральных центров справа налево. Основываясь на отмеченных чертах свадебного костра молодоженов у современных таджиков, можно с определенной долей вероятности допускать, что его основные особенности восходят к культу огня в древнеиранском мире. С утверждением ислама в качестве господствующей религии в среднеазиатском регионе и последовавшим в результате этого упразднением местных доисламских верований и соответствовавших им культовых учреждений, исчезает и официально-церковное почитание огня как символа веры. Что же касается самой идеологии огня, то многие свои элементы она продолжает сохранять и в эпоху рыночных отношений. Дело в том, что в исламе, который исповедует местное население, огонь — это метафора адских мук (ср. огонь как символ воздаяния в иудаизме). Стойкость традиции почитания огня в поведении преимущественно женщин объясняется, по всей видимости, характерной для их уклада жизни относительно большей ориентацией на мир такой, «каков он есть», в отличие от мужчин, обычно воспринимающих окружающий мир в динамике, т. е. таким, «какой он должен быть». Все это говорит о целесообразности обращения к механизмам наследования современными мировоззренческими системами тех идей и убеждений, которые скрыты в глубине древних памятников духовной и материальной культуры. Это позволяет проследить, с одной стороны, формы и специфические пути развития некоторых ключевых аспектов системы поверий и представлений в огромном временном диапазоне. С другой стороны, есть возможность раскрыть элементы устойчивости тех воззрений, которые сохраняют свои основные черты в условиях неоднократной смены религиозной и идеологической ориентации населения и продолжают оказывать влияние на социальную реальность.

ТАМЫР — ПОДАТЕЛЬ И ПРОВОДНИК ЖИВОТВОРНОЙ ВЛАГИ

Изданные недавно полевые дневники Теодора (Федора Артуровича) Фиельструпа, погибшего в ГУЛАГ^е, начинаются заметкой о неизвестном культурном феномене киргизского общества, который мог бы стать сюжетом романа местного писателя, обладай он смелостью и свободой выражения Салмана Рушди. Вот оно: «Между холостым парнем и девушкой устанавливаются отношения, при которых каждый из них именуется *ojnaš-tamyr*, т. е. друг по игре. Игрой здесь является физическая близость, продолжающаяся, при случае, и после выхода девушки замуж. ... Браки между любовниками никогда не заключаются. Такие любовные отношения бывают с согласия мужа, неспособного к сожителству, или продолжаются без его ведома» [Фиельструп 2002: 14]. О мнимой тайной до- и внебрачной сексуальной свободе киргизов и казахов, впрочем, было известно и ранее. Так, В. В. Радлов осуждал «обычай интимных отношений между невестой и женихом еще до переселения новобрачных в дом мужа», что порождало «безнравственность невест», имевших затем возможность «безнаказанно вступать в связь и с другими юношами из соседних аулов». Знаменитый лингвист видел здесь «пороки детей природы, находящихся на нижних ступенях цивилизации» [Радлов 1989: 335]. О правах джигитов-тамыров на интимные объятия с их подругами писал в конце XIX в. и Н. Гродеков, отмечая, что на это не обижались их мужья, «так как сами имели наперсниц» [Гродеков 1889: 40—42].

Все, кому знакомы строгие установки среднеазиатского брака на девственность невесты, которая оценивается калымом, проверяется свадебным ритуалом и прославляется исламом, все поймут: речь здесь идет не о «пороках детей природы», но о загадочном древнем феномене, об обычае, входящем в культурную систему того самого общества, что выработало комплекс институтов, контролирующих неперемное соблюдение его норм. *Тамыр* здесь выглядит социальным парадоксом, который, к сожалению, не мог привлечь внимание прежней российской и, тем более, советской этнографии с ее установками на вечную девственность принятых идеалов. Для разрешения такого парадокса нам следует вообще выйти за рамки социологических категорий и отправиться в такие области представлений кочевников, следы которых уже едва различимы в песчаном потоке времени.

Основания для такого демарша дает, прежде всего, само слово *tamyr*, чье обширное семантическое гнездо свито усилиями практически всех тюрко-монгольских народов. В разных фонетических вариантах: *тамыр-дамыр/тамар-дамар*, а также */томур/томир/тымар/тымыр* это слово является наиболее распространенным из всех, что обозначают «корень», главным образом, «корень растения» [Севортян 1980: 143—144]. Будучи продуктивным для образования следующих производных форм: «пускать корни, укореняться, разветвляться, распространяться», слово тамыр служит для определения сходных понятий как в природе, так и в культуре, отсюда его такие значения как «основа, род, племя, родственник», «друг, побратим, приятель».

Однако фундаментальный смысл слова нужно, скорее всего, понимать как «проводник жизненных соков» [Колесникова 1972: 99—100]. Его важнейшие значения, такие как «кровеносный сосуд, артерия, вена, пульс, жила», «канал» известны не только в тюркских, и прежде всего в древнетюркском, но и в монгольских языках. Тувинский язык, близкий в своих кросс-культурных отношениях к монгольскому, избрал основу *damyr* для называния живительных водных артерий: *damyr-ak* «ключ, родник, ручей», столь ценимых в засушливой центральноазиатской степи. Монгольский язык расширил по-своему семантику слова *tamir* в сторону жизненных определений: «сила, энергия, здоровье». Принимая во внимание такие значения слова, как «любовник, любовница, сожитель, сожительница», отсылающие исследователя к интимным забавам, институционализированным, без сомнения, древним обычным правом, можно предположить, что в понятие «корень» в качестве «проводника жизненных соков» включался и «мужской корень», обожествлявшийся народной культурой не менее, чем женское животворящее лоно. Почему в ходе эволюции сознания этот смысл был утерян, но зато приобретен новый — «математический корень», объяснять излишне. Лучше, вспомнив совет Козьмы Пруткова, «смотреть в корень».

Лингвисты, изучавшие историю слова *tamyr*, прошли мимо важнейших источников, содержащихся, прежде всего, в фольклоре и ритуале тюрков Южной Сибири, где вплоть до недавнего времени бытовала игра «Тамыр». Анализ сохранившихся текстов одноименных песен и их разнообразных этнографических связей указывает путь, прежде всего, в киргизскую степь, где бытовали практически неисследованные игры, позволявшие молодым людям образовывать

любовные пары *ojnaš-tamyr*. Лучшим поводом для свободных встреч была «Девичья игра» (*kuz ojun*), входившая в структуру свадебного цикла. Такая же игра *basaganay naadan* была обязательной у бурят накануне первой брачной ночи жениха и невесты. Известно, что такие игры, начинавшиеся вечером и продолжавшиеся до восхода солнца, были отмечены полной сексуальной свободой. У киргизов, по описанию Ч. Валиханова, *kuz ojun* заканчивается тушением огня в юрте, после чего «каждый джигит берет девку и исчезает во мраке ночи» [Валиханов 1985: 75], у бурят — тем, что «жених часто уводит какую-нибудь девку, а невесту берет какой-нибудь другой парень, и все молодые пары расходятся по различным углам» [Галданова 1986: 139].

Нам не известна программа сибирской игры «Тамыр», в которой кумандинский этнограф усматривает «моменты общественного сватовства» [Сатлаев 1971: 141], но зато мы знаем, что эта игра являлась вечерним продолжением ежегодного эротического праздника. Герой его, шаманизирующий персонаж под загадочным именем Коча-кан [Chichlo 1978: 7—72] уже неоднократно привлекал внимание исследователей. Поэтому стоит лишь напомнить, что его основным «орудием труда» был деревянный пенис жеребцового облика — проводник плодородной силы, которую Коча транслировал в течение дня женщинам и мужчинам окрестных селений. В игру «Тамыр» кумандинская молодежь вступала, таким образом, уже заряженная энергией, образуя две группы из 10 или 15 участников, причем в составе каждой был только один мужчина. Соперники обменивались куплетами, сдобренными эротикой, стараясь «перепеть» друг друга. Побеждаемая группа отдавала побеждающей каждый раз одну из девиц, пока в партии проигрывающих не оставался один мужчина, терявший в итоге весь свой «гарем».

Ранние сообщения о явлениях Коча-кана народу связывают их с жертвоприношениями коня небесным божествам у народов Саяно-Алтая, которые, согласно китайским источникам, совершались еще у орхонских тюрок в начале лета на реке Тамир [Потапов 1978: 50—64]. Историк религии древних тюрок Ж.-П. Ру был, пожалуй, единственным, кто всячески подчеркивал культовое значение истоков именно этой реки [Roux 1984: 139—140], имя которой, как будет показано ниже, возможно объяснить теми значениями термина, что оставались скрытыми от исследователей. Сейчас же следует подчеркнуть календарный характер игры «Тамыр», отмечавшей, как якутский «Ысыах» и монгольский «Наадам», начало Нового года. К тому же времени были приурочены свадьбы (и похороны) у тюрко-монголов, неотделимые от ритуалов инициаций. Поэтому анализ сохранившихся песен «Тамыр» («Табыр» у бачатских телеутов) должен учитывать весь комплекс мифологических представлений и поведенческих форм, актуализующих этот лиминарный период.

В основе песенной игры «Тамыр», как и «Девичьих игр» киргизов и бурят, лежит, несомненно, антифонно-диалогическое начало, типичное вообще для ранних форм поэзии и отвечающее пафосу весенне-летнего календарного цикла, в котором противостояние/слияние гендерных групп имитирует, провоцирует и осмысляет в формах культуры природную «борьбу» холодного и теплого сезонов. Но то, что отличало подобные игры тюрко-монголов, скажем, от восточно-славянских типа «Просо» [Агапкина 2000], так это их идеология пасторализма, манифестирующая себя не только выбором близких ей метафор, метонимий и ритмики, но и всей символикой, выраженной у кумандинцев даже в составе «фольклорного коллектива». Ведь не случайно он напоминает идеальный традиционный конский табун, в котором на молодого жеребца приходилось от 9 до 14 трех-, четырехлетних кобылиц [Толыбеков 1971: 548]. Не случайно Фиельструп в заметке о проведении важнейшего праздника года *Žer-Suu-tajy* перед кочевкой на летние пастбища приводит сведения о компоновке такого табуна: отмеченному ритуалом жеребцу поручают 9 кобылиц (*bajtal*). Киргизы молятся, «чтобы было много кобылиц» [Фиельструп 2002: 231]. Сам Коча-кан представляется одновременно сыном Ульгена и инкарнацией жертвенного жеребца, «отправленного» к его отцу. В связи с этим, можно припомнить конский облик верховных якутских божеств, а также «небесных коней» евразийского культурного пространства, роль которых в культовой практике была в свое время подчеркнута А. М. Беленицким [1978: 31—39].

Несмотря на то, что в нашем распоряжении имеется всего лишь несколько отрывков песни «Тамыр», их внимательный текстологический анализ, учитывающий разветвленную систему этнографических связей, может раскрыть содержащуюся в них информацию, которая относится и к невербальным формам ритуальной деятельности. Так, в неопубликованном тексте, присланном мне Д. Функом, после двух начальных строк *Табырдах тообор камчалу, / Табырдыһ кызы т'инд'илү,* которые займут нас чуть ниже, имеется следующее сообщение: *Агыһ тайактаһ көк тайак, / Ай уулдар йаитар ойунга* «У самых седых синяя палка, / Парней-девушек на игру (зовут)». Чтобы понять назначение этого предмета, необходимо, прежде всего, иметь в виду, что окраска его символична. В ритуальной поэзии южносибирских тюрок, с ее принципами параллелизмов и повторов,

один и тот же культовый объект обычно окрашен и в синий (солнечный), и белый (лунный) цвета, как это следует из ниже приводимого текста. Речь здесь идет, по-видимому, об игре, называемой в Монголии *tsagaan mod khaiakh* («бросать белую палку»). Не рискуя пояснять примерами корневой смысл этого инструмента и действия, им совершаемые, дабы не быть обвиненным в «смаковании кочевой «клубнички» (хотя такой упрек и выглядел бы столь же нелепо этнографически, сколь неуклюже стилистически), резюмируем только наблюдения польского этнолога [Kabzińska-Stawarz 1991: 63—75]. Согласно им, в «белую палку» могли играть только молодые люди в возрасте от 16 до 33 лет; игра эта проводилась в первый и второй дни лета, открывая Новый год, а в старые времена была обязательной в свадебных обрядах; связанная с луной, игра способствовала богатству и здоровью; она вызывала сильный дождь и стимулировала лактацию у кобылиц.

Богат информацией и отрывок песни, опубликованный Сатлаевым, перевод которого здесь учитывает коррекции, сделанные Л. Базэном [Bazin 1978: 111—112]:

Tamyr-tomyr kamčylyg,	Тамыр-томыр с плетью,
Tabyska kyzy, čičälyg,	Девушка[из рода] Табыска — с бисером,
Kök tajlyk-la ak tajlyk,	С синим жеребенком и белым жеребенком,
Agatal bažy topčylyg	С пуговицей на белеющем головном уборе,
Ak tajlyk-la kök tajlyg,	С белым жеребенком и синим жеребенком,
Kögödil pažy topčylyg	С пуговицей на голубеющем головном уборе!
Paar bärzän, čibäsım,	Если печень [мне] дашь, не буду [ее] есть,
Parlap kälzän barbasym ;	Если парой придешь, не пойду;
Ukpä bärzän, čibäsım,	Если легкое [мне] дашь, не буду [его] есть,
Ubälig kälzän-ta barbasym;	Даже если с толпой придешь, не пойду;
Kazy bärzän, čibäsım,	Если [мне] сало дашь, не буду [его] есть,
Kadarlap-ta kälzän, barbasym	Даже если снова придешь, не пойду.
Čaga bažy sürlüg —, päri bol!	Ты, (имярек) с красивым головным убором и воротником, иди ко мне!

Данный текст является, скорее всего, кроме первых строк, финалом мужской «дразнилки», где юноша провоцирует одну из участниц песенного соперничества (суженую?) и обращает в то же время свой призыв к другой, избранной им самим. Три лакомства (печень, легкое и сало), обозначенные здесь, обязательно присутствуют на всех ритуальных пиршествах тюрко-монголов, в том числе и на свадьбе; вкус их сдобрен богатым набором символических специй. Более того, они входят в число семи ингредиентов особого жертвенного блюда *andom*, которое готовили парсы Ирана. Наличие того же ритуального блюда у тувинцев с названием *andargan* [Соломатина 2000: 228], производимым от общеарийского **antar* «внутри, внутри» < **antara-ka* «внутренняя часть» [Расторгуева, Эдельман 2000: 160—162], расширяет ареал его бытования и подтверждает заключение о том, что «этот обычай восходит к древнейшим временам» [Кармышева 1986: 168].

Сопоставление кумандинского текста с песней на киргизской «Девичьей игре» [Фиельструп 2002: 261—262] позволяет понять, что отсутствует в южносибирских текстах того же жанра, а именно обращенное к избраннице откровенное воспевание ее красоты, полное эротических желаний, аллюзий и метафор. Заметно, что устами киргизского джигита произносится та же формула, направленная к возлюбленной с призывом выйти к нему, к тому же с аналогичным упоминанием и ее (ритуального?) головного убора с пуговицей, и (обязательного?) ожерелья, как у девушки из рода Табыска. И, наконец, кумандинский текст в заглавной строке упоминает предмет, который отсутствует в поэзии киргизского барда, но знаковый аналог которого зато реально присутствует в ритуале *Kuz ojun*: каждый киргизский участник песенных состязаний начинает свою импровизацию, сжимая в руке свернутый в жгут платок, ударами которого попеременно девушки и юноши обозначают свой выбор.

Киргизское название жгута *tokmok* говорит о его более твердом прототипе — деревянной колотушке, удары которой по спинам напарников были, разумеется, более чувствительными. Принципиально важная символическая роль этого бытового предмета (обыгрываемого, между прочим, в эротических загадках) помогает выяснить назначение плети-*камчи* в кумандинской игре.

Два текста песни «Табыр», которые, благодаря Д. Функу (особая благодарность ему за присланный мне неопубликованный вариант!), отыскались у бачатских телеутов, начинаются неизменным клише. Его смысл уже утеряли (а, может, никогда не понимали) сами поверявшие их московскому этнологу старушки. Один его вариант был приведен выше, другой выглядит почти так же: «*Табырда тообыр камчалу, / Табырдың кызы т'индылу*» [Функ 1992: 101]. Под пагиной информационных помех, образованных локальной фонетикой и наслоением времени, здесь можно распознать ту же кумандинскую формулу: *Tamyr-tomur kamčylyg, / Tabyska kyzy, čičälyg* с тем же значением: «Тамыр-томыр с плетью, / Девушка[из рода] Табыска — с бисером».

Оставим в покое девушку и займемся мужским атрибутом — камчой. Этот предмет, обладающий множеством символических функций, можно часто видеть в руках жениха у тюрков и монголов. Ритуальным ударом по спине невесты жених опознает суженую, спрятанную, в соответствии с обычаем, среди ее подруг [Гаджиева 1979: 96]. Известна животворная сила камчи, особенно проявляющая себя в алтайском эпосе, где она способна пробудить от смерти умершего героя [Суразаков 1985: 129]. Ее удары, как и знаки, наносимые жгутом (колотушкой) идентичны в ритуале жеста Коча-кана, который, как мы видели, с помощью другого инструмента «вливает» в своих пациентов «соки жизни». Плетью как знаком власти над облаками и тучами манипулируют, согласно шаманистским представлениям различных тюркских народов, божества (духи) Верхнего мира.

«Потрясая бичем, бог-громовник вступает в брачный союз с землей, рассыпает по ней семя дождя и дает урожаи. Этим древним представлением объясняется, почему в свадебных обрядах плетью получила такое важное значение...», — писал в своем пионерском исследовании славянских верований А. Афанасьев [1994: 284], писал в то время, когда отдельные группы киргизов, бурят, телеутов и кумандинцев еще не забыли древние игры, сеявшие свои семена и способствовавшие новым всходам. **Тамыр-томыр с плетью.** Эта формула похожа на закличку, которой люди предваряли ритуальное действие, призывая Громовника взмахнуть дождевой плетью и пролиться соком на жаждущую землю. Провоцируя божество к имитации их собственных действий, они хлестали друг друга камчой, сливались в объятьях. *Ak žamgyr žaap ym boldu. Ajkalyp ojnóm žatkanda tokmogumdu algan kim boldu?* «Белый дождь, [все] покрывший, выпал. Пока я забавлялся в любовном сплетении, у меня украли токмок. Кто это сделал?» — с юмором и комической интонацией вступает джигит в серьезный ритуал [Симаков 1984: 180]. *Dambyr-taş! Dambyr-taş! Žer ayralyp čöp čyk! Želin ayralyp, sūt čyk!* «Дамбыр-таш! Дамбыр-таш! Разверзлись земля и появился трава! Разверзлись вымя и появился молоко!» — кричали киргизки при звуках первого весеннего грома, выбегая из своих юрт [Баялиева 1972: 35]. Этим кличем женщины достигали того же эффекта, что и монгольские парни, кидавшие белую палку.

Древнее имя владыки дождя, которое, сами того не ведая, донесли до антрополога кумандинские и телеутские старушки, сохранилось в весеннем ритуале белтиров, небольшого народа, вошедшего в состав хакасов, и его зафиксировал в местном произношении (*Чимир-чамыр*) в своем замечательном словаре хакасский этнолог В. Бутанаев [1999: 217]. Придя к убеждению, что в восклицании *Tamyr-tomur kamčylyg* законсервировано обращение к тому самому божеству, чье имя хранит и монгольская река *Tamir* (об этом — в отдельной статье, которая выйдет в Москве), я продолжал «археологические раскопки» в литературе, надеясь найти тому дополнительные подтверждения. Они увенчались успехом. В алтайских героических сказаниях сохранились редкие идиомы *tabyr-tubur* и *tabur-tobur*, переводимые как «крупный дождь», причем в каждом случае ливень вызывается действиями сверхъестественных существ. Кроме того, в одном из шаманских призываний алтайцев обозначен сакральный топоним *Umar-Tumar* как «поклонное место девяти рек». Шаман помещает его в нижнем мире Эрлика, но здесь нет ничего удивительного после исследований С. Г. Кляшторного [1981: 117—138], показавшего значение этого персонажа в трихотомической картине мира, созданной уже тюркской «орхонской традицией». В «среднем мире» Алтая такой топоним также обнаружен: челканцы устраивали свои моления после вскрытия рек на священной родовой горе *Tabyr* [Потапов 1946: 149].

Тамыр: этимология имени владыки и подателя животворных соков остается неизвестной. Тюркские и монгольские народы дали множество имен Громовнику, сменяя их в ходе собственного внутреннего развития и внешних контактов. Почему это древнее имя удержалось у тюркских меньшинств в пространствах Саяно-Алтая? Опираясь на исследования Д. Г. Савинова [1984], осмелюсь предположить, что именно в этом регионе в условиях изоляции его сохранили потомки телеских племен, оставивших свои этнографические следы также в Средней Азии и за Байкалом.

Библиография

- Агапкина Т. А.* Этнографические связи календарных песен. Встреча весны в обрядах и фольклоре восточных славян. М., 2000.
- Афанасьев А.* Поэтические воззрения славян на природу. Т. I. М., 1994.
- Баялиева Т. Д.* Доисламские верования и их пережитки у киргизов. Фрунзе, 1972.
- Беленицкий А. М.* Конь в культурах и идеологических представлениях народов Средней Азии и евразийских степей в древности и раннем средневековье // КСИА. Вып. 154. 1978.
- Валиханов Ч.* Записки о киргизах // *Валиханов Ч.* Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. Алма-Ата, 1985.
- Бутанаев В. Я.* Хакасско-русский историко-этнографический словарь. Абакан, 1999.
- Гаджиева С. Ш.* Очерки семьи и брака у ногайцев XIX — начале XX в. М., 1979.
- Галданова Г. Р.* Структура традиционной бурятской свадьбы // Традиционная культура народов Центральной Азии. Новосибирск, 1986.
- Гродеков Н.* Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Т. I. Юридический быт. Ташкент, 1889.
- Кармышева Б. Х.* Архаическая символика в погребально-поминальной обрядности узбеков Ферганы // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. М., 1986.
- Кляшторный С. Г.* Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках // Тюркологический сборник 1977. М., 1981.
- Колесникова В. Д.* Названия частей тела человека в алтайских языках // Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л., 1972.
- Потапов Л. П.* Культ гор на Алтае // СЭ. 1946. № 2.
- Потапов Л. П.* Древнетюркские черты почитания неба у Саяно-Алтайских народов // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978.
- Радлов В. В.* Из Сибири. Страницы дневника / Пер. с нем. М., 1989.
- Расторгуева В. С., Эдельман Д. И.* Этимологический словарь иранских языков. Т. I. М., 2000.
- Савинов Д. Г.* Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984.
- Сатлаев Ф. А.* Коча-кан — старинный обряд испрашивания плодородия у кумандинцев // Сообщения Музея антропологии и этнографии. 27. Л., 1971.
- Севортян Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. Т. 3. М., Наука, 1980.
- Симаков Г. Н.* Общественные функции киргизских народных развлечений в конце XIX — начале XX в. Л., 1984.
- Соломатина С. Н.* Символическая культура народов Сибири: кулинарный код ритуала // Культурное наследие народов Сибири и Севера. СПб., 2000.
- Толыбеков С. Е.* Кочевое общество казахов в XVII — начале XX века. Алма-Ата, 1971.
- Фиельструп Ф. А.* Из обрядовой жизни киргизов начала XX в. М., 2002.
- Функ Д. А.* Устное творчество, игры и развлечения бачатских телеутов // Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. 17. М., 1992.
- Vazin L.* Textes altaïens // EMS. 8. Paris, 1978.
- Chichlo B.* Qui est donc Коџа? // EMS. 9. Paris, 1978.
- Kabzińska-Stawarz I.* Games of Mongolian shepherds // LPE. No. 45. 1991.
- Roux J.-P.* La religion des Turcs et des Mongols. Paris, 1984.

ПРОТО-ШИВА ИЛИ ПРОТО-БРАХМА: К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ПЕЧАТЯХ МОХЕНДЖО-ДАРО

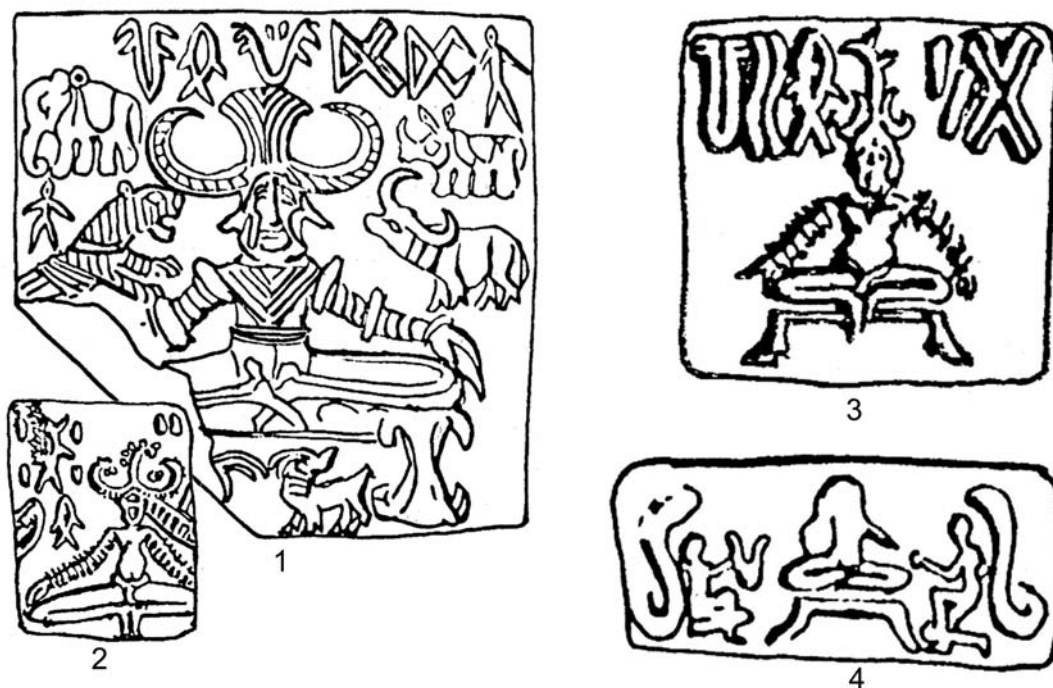
Изображения на печатях протоиндийской цивилизации являются важным источником при воссоздании религиозных представлений и пантеона божеств древнего населения Индостана, исповедующего в настоящее время индуизм. Его связь с культурами населения долины Инда впервые была отмечена Дж. Маршаллом при раскопках Мохенджо-Даро, где каменные предметы цилиндрико-конической формы ученый определил как *лингамы*, а полые кольца — как *йони*, связав их с истоками культа Шивы. С ним же он идентифицировал и изображение антропоморфного трехликого (как ему представлялось) существа на печати 420, сидящего в позе йоги на низком «троне», окруженным шестью животными (рис. 1). Маршалл предположил, что это прототип Шивы в облике покровителя животных Пашупати [Marshall 1931: 53—56, pl. 17].

Э. Маккей описал еще два похожих изображения на малых печатях (222 и 235), но без рисунков животных (рис. 2; 3), отметив их общие черты: позу, обнаженные тела, браслеты на руках, головные уборы — рога с ветками растений [Mackey 1937—1938: 335, pl. LXXXVII/222, 235]. Ю. В. Кнорозов полагал, что на печати 420 изображен верховный бог в образе Владыки мира, покровителя одного из 12-летий в 60-летнем цикле Юпитера. Этот трехликий бог сидит на троне в итифаллическом состоянии [Кнорозов 1972: 203—204; 1975: 12—13]. Его уменьшенные реплики он видел на печатях 222 и 235, добавив к ним изображение фигурки с адорантами и змеями (рис. 4) [Mackey 1937—1938: pl. СП, 9]. За признаки итифаллического состояния (фаллос у бога на печати 420) ученый ошибочно принял складки одежды. Это был пояс, обернутый вокруг талии, один конец которого проходил между ног; такое одеяние очень похоже на *langat*, которое носят и в современной Индии [Mackey 1938: 335]. В прорисовках других исследователей итифаллическое состояние отсутствует на печати 420 [Fairervis 1984: fig. 5, B]. Ю. В. Кнорозов также развил мысль о четырех лицах бога, в соответствии с четверкой окружающих его животных (буйвол, носорог, слон, тигр) — символах основных направлений розы ветров, реконструируя при этом и промежуточные направления [Кнорозов 1972: 205—206].

Как показал анализ письменных источников, эти соответствия изображений животных с определенными сторонам света менялись от эпохи к эпохе. В «Атхарваведе» востоку соответствовал бог Агни, югу — Индра, западу — Варуна, северу — Сома, а в «Пуранах», где впервые четко сформулирована эта идея, соответственно, — Индра, Яма, Варуна, Кубера, или Сома [Mallmann 1963: Tab. A]. И только в «Пуранах» впервые четко сформулирована традиция отождествления основных и промежуточных направлений с определенными богами. Окончательное развитие эта идея получает в буддизме, который различает несколько групп богов, символизирующих страны света [Волчок 1972: 265—266].

Еще больший интерес представляет вопрос об эволюции образа Шивы, его многоликости и производительной силе. Не только в «Ригведе» (далее — РВ), но и в более поздних «Санхитах» имя Шивы не встречается. Частый в поздних ведах и пуранах эпитет Рудры и Махадэвы — Шива (*śivāḥ*, «Благожелательный») всего лишь единственный раз упомянут в поздней мандале РВ (X, 92, 9). Шиваиты считают, что в ведические времена он был известен как Рудра и этим оправдывают поклонение Шиве авторитетом «Вед». Рудре посвящены многие гимны РВ, в которых он как бог, обеспечивающий плодородие животных, выполняет функцию Шивы в ипостаси Пашупати. Впервые это фиксирует «Атхарваведа» (XI, 2, 9). Значит, только в поздневедийский период на первый план выдвинулась созидательная функция Рудры-Шивы, не без влияния, очевидно, религиозных представлений носителей протоиндийской цивилизации.

В послеведийский период основным символом творческого начала Шивы стал *лингам*. В РВ Рудра еще не был богом плодородия; племена, которые его почитали, были враждебны ведийским ариям: «Да победит великий Индра всех врагов, да не явятся на наши священные обряды те, чьим богом является *шишана* (т. е. мужской половой член)» [Томас 2000: 81]. Отрицательное отношение к лингаму провозглашается и в других гимнах разновременных мандал: «Пусть членопоклонники не просочатся в наш обряд!» (РВ VII, 21, 5) и «... он (Индра) овладел имуществом стовратного, убивая членопоклонников» (РВ X, 99, 3).



Изображения на печатях из Мохенджо-Даро

В эпоху РВ боги были немногочисленны и, в конечном счете, могли быть сведены к одному. Но уже в «Пуранах» все они уходят на второй план, уступая место триаде великих: Брахме-творцу, Вишну-хранителю и Шиве-разрушителю миров. В них персонифицируются три главных аспекта Верховного Существа, которые по идее едины, но в жизни последователи Вишну или Шивы (у Брахмы сегодня мало поклонников) соперничают за обладание первенством. Однако в древности, судя по «Ведам» и «Пуранам», Брахма широко почитался и был во главе триады. В «Яджурведе» Верховное Существо говорит: «От меня родился Брахма; он превыше всего, он Пিতамаха, отец всех людей; он Аджа и Сваямбху, или Самосуший». В других местах о нем говорится как о «первом из богов; творце вселенной; защитнике мира» [Томас 2000: 41]. Хотя «Пураны» и употребляют имя Рудры в качестве синонима Шивы, они также говорят о нем как о сыне Брахмы.

Для нашей темы важен облик Брахмы. У него четыре головы, а первоначально их было даже пять, пока одну не отрубил Шива, что отражает победу его последователей над адептами Брахмы. В искусстве Шиву изображают в виде аскета. В образе Махайоги-отшельника он сидит на шкуре антилопы. На голове у Шивы показан узкий серп луны, а на лбу — третий глаз. Его кудри стянуты кольцом змеи, капюшон которой раскрыт над его головой. Вторая змея обвивает его шею, а третья служит священным шнуром. Неизменный спутник Шивы — это любимый бычок Нанди, символ его плодотворящей мощи.

Очевидно, что в иконографии Шивы эпохи «Пуран» нет ничего общего с изображением божества на печати 420, где отсутствуют его спутники — змеи и бычок. Следовательно, если первоначально главным арийским богом был Брахма, который имел какие-то связи с культом верховного бога хараппцев, то т. н. «трехликое» существо на печати следовало бы именовать «прото-Брахма». Однако трехликость божества — это фикция. Две пряди волос, торчащие из-за головы, были приняты исследователями за носы, а профили подбородка и надбровий отсутствуют. Нет трех ликов и на малых копиях йогов (рис. 2—4), что отметил и Ю. В. Кнорозов [1972: 208], но у них есть «косы», служившие, вероятно, одним из атрибутов божества. Отметим, что самое раннее скульптурное изображение трехликого Шивы в позе йоги относится к периоду Паллава — около VIII в. до н. э. [Волчок 1972: 265].

Итак, очевидно, что Брахма предшествовал ипостаси Шивы-Пашупати, и только в эпоху «Пуран» производительная функция Шивы становится преобладающей. Связующим звеном между верховным божеством протоиндийцев и Рудрой-Шивой мог быть один из богов РВ Пушан, характерной чертой которого была коса (РВ IX, 67, 12), затем борода (X, 26, 7). В «Пуранах», где его имя встречается очень редко, это уже старик без зубов, которые ему выбил Шива [Томас 2000: 98].

Интересна эволюция образа Пушана. Вначале, он — возлюбленный дочери Солнца, посол бога солнца Сурьи (РВ VI, 58; X, 85). Ему приписывается большая мужская сила, его называют же-

нихом своей матери и любовником сестры (VI, 55, 5), просят наделить девицами (IX, 67, 10—12). Пушан — покровитель скота, он постоянно движется на колеснице, запряженной парой козлов (или быков — в колеснице *apas*); он — охранитель дорог, находит путь к богатству, охраняет клады, провозит умерших по пути предков (X, 17). В этой ипостаси Пушан связан с Ямой, царем преисподней. В РВ постоянно упоминаются змеи, но только в «Атхарваведе» и «Яджурведе» фиксируется их культ; в поздний ведийский период они становятся спутниками Ямы. Голуби, которые в поздних частях РВ трактуются как зловещие птицы, в «Агни пуране» уже упоминаются как спутники Ямы [Majumuria 1977: 147]. Собака также выступает помощницей Ямы при сопровождении душ умерших на небеса (РВ X, 14, 10). Такую собаку увидел М. С. Ватс на одной из погребальных урн могильника Н [Vats 1940: 234], но не отметил птиц — представителей Ямы и, возможно, самого Пушана (персонаж между двумя козлами), а также Индру в виде быка-зебу с рогами с отростками-трезубцами — символами Индры, а позднее Шивы.

Антропоморфные характеристики Пушана вполне угадываются и в облике возницы колесницы из Даймабада [Щетенко, в печати]. Это крепкий сильный мужчина, с подчеркнутой функцией производителя, с пучком или короткой косой на затылке, при помощи стрекала управляющий быками священной колесницы. Здесь уже присутствуют атрибуты Шивы (змеи) и Ямы (собака и голуби). Все это указывает на ведийско-брахманский период (1200—800 гг. до н. э.) для схемы Б. Б. Лала [1984: 118], которым и можно датировать скульптурное изображение Пушана из Даймабада.

До прихода арийцев почитание изображений было в обычае у хараппцев: антропоморфные божества и их адоранты представлены на печатях и амулетах. Процесс взаимовлияний идеологий элит проходил постепенно, по мере контаминации пришлых и аборигенных богов, и это было связано с проникновением в индоарийскую среду практики *бхакти* — мистического почитания божества. Уже в РВ есть намеки на существование изображений: в одном случае говорится о Рудре (II, 33, 9), в другом — об Индре: «Кто купит этого моего Индру за десять коров? Когда он [Индра] убьет его Вритру, тогда тот может отдать мне его обратно». Самое раннее (V в. до н. э.) изображение богов отмечает Панини, который называет его *apanya*, т. е. «то, что не для продажи», в отличие от упомянутого изображения Индры, которое можно купить.

Эволюция Пушана — яркий пример контаминации религиозных представлений ариев и хараппцев. Первоначальный образ (на печати 420 из Мохенджо-Даро) статичного бога-созерцателя (прото-Брахмы), восседающего в позе йоги на троне, в окружении постоянных символов времени и пространства, превращается в мобильного арийского бога пути и богатства, покровителя животных. Козы у подножия трона становятся *ваханой* Пушана. Переход ариев к оседлому образу жизни в долине Ганга отражается и на судьбе Пушана. Его производительные функции отходят к другим богам, и уже в «Пуранах» он оказывается не у дел. Но облик его сохранился, благодаря ярким описаниям в гимнах РВ, а также случайной находке клада в Даймабаде, где он в виде возницы своей священной колесницы весь устремлен в будущее и не знает о своей печальной судьбе.

Библиография

Волчок Б. Я. Протоиндийские божества // Сообщения об исследовании протоиндийских текстов. Ч. II. Proto Indica: 1972. М., 1972.

Кнорозов Ю. В. Формальное описание протоиндийских изображений // Сообщения об исследовании протоиндийских текстов. Ч. II. Proto-Indica: 1972. М., 1972.

Кнорозов Ю. В. Классификация протоиндийских надписей // Сообщения об исследовании протоиндийских текстов. Proto-Indica: 1973. М., 1975.

Лал Б. Б. Культура серой расписной керамики // Древние культуры Средней Азии и Индии. Л., 1984.

Томас П. Индия. Легенды, мифы и эпос Древней Индии. СПб., 2000.

Щетенко А. Я. К проблеме интерпретации клада культовых предметов из Даймабада (Центральная Индия) // Искусство и религия. Луганск (в печати).

Fairservis W. A., Jr. Harappan Civilization According to Its Writing // South Asian Archaeology: 1981. Cambridge, 1984.

Mackey E. J. H. Further Excavations at Mohenjo-Daro. Vol. I—II. Delhi, 1937—1938.

Majumuria T. C. Sacred and Symbolic Animals of Nepal. Kathmandu, 1977.

Mallmann M. T. Les enseignements iconographiques de l'Agni-Purana. Paris, 1963.

Marshall J. Mohenjo-Daro and the Indus Civilization. Vol. 1—3. London, 1931.

Vats M. S. Excavations at Harappa. Vol. 1—2. Delhi, 1940.

THE CULT OF THE OXUS: A RECONSIDERATION

The importance of the cult of the river-god Oxus in the religious life of ancient Bactria, Sogdiana and Choresmia was fully recognized quite recently.

The god Oxus was completely ignored in the «canonical» Zoroastrian literature, the only clue to the religious value attributed to the river being its identification in the «Bundahishn» with the Vahvi Daitya, the «Good River» where Zoroaster had his great vision. J. Markwart's classical book on the Oxus in historical geography (completed in 1907, published in 1938)¹ entirely ignores the religious side of the question. Until the 1970s the only pieces of evidence were al-Biruni's mention of the festival of the «angel» of the Oxus still performed in 10th-century Chorasmia, and a unique Kushan coin (it still is) with the legend *Oaxsho* identifying a Poseidon-like god holding a fish. Then came the discovery of numerous theophoric names formed on the base *Wakhshu* (Oxus) in the three languages concerned (Bactrian, Sogdian, Choresmian), and the excavations at the Takht-i Sangin temple built in the early Hellenistic period on the northern (Tajik) bank of the river. The identification of this edifice as the temple of the Oxus, proposed by the excavators B. A. Litvinskij and I. R. Pichikian after the discovery of a votive base bearing a Greek dedication to this god, has recently been substantiated by a stone vase with an inscription *theou Oxou* «to the god Oxus» [*Drujinina A. // AMIT. 33. 2001. P. 263* (reading corrected from the original exhibited in the Dushanbe museum)]. The excavations at Takht-i Sangin, still in progress, have given rise to a substantial literature².

Several issues will be addressed in the present paper.

a) The regional context of the Oxus temple. The importance of the god Oxus in the onomastic stock of Sogdiana is quite surprising, as the country known as Sogdiana in the early Middle Ages bordered on the Amu Darya only on a very short stretch of land to the southwest of Bukhara. N. Sims-Williams (personal communication) suggests that many Sogdians had to cross the river during their commercial travels anyway, and therefore felt the need to propitiate it. Another possible explanation is that the cult of the Oxus was inherited from the pre-Kushan period, when Sogdiana occupied the whole northern bank of the Amu Darya, at least as far as the Wakhsh which was regarded as the upper course of the Oxus³. The town Oxeiana, located by Ptolemy on the Sogdian side of the Oxus, in the same sector as Cholbesina (Hulbuk) in Sogdiana and Eucratidia (Ai Khanoum) in Bactria, is almost certainly to be identified with the temple-town of Takht-i Sangin, which presumably had a confederative value for both Sogdians and Bactrians.

b) Oxus temple and Oxus treasure. B. A. Litvinskij and I. R. Pichikian consider the Oxus treasure discovered in 1877 as part of the belongings of the Takht-i Sangin temple. E. V. Zeimal and P. Bernard attribute it to an earlier temple which would have preceded the Hellenistic temple on a different location, presumably at Takht-i Qobad (a site 5 km to the south of Takht-i Sangin, given as the find spot of the Oxus treasure by the independent reports of the Russian engineer Maev and the British captain Burton). The recent discovery of the razed remains of a pre-Greek temple below the courtyard, if it was confirmed, would nicely reconcile both points of view. In any case, one object in the Oxus treasure provides an epigraphic link with the cult of the river god: a finger ring carrying a seal with the image of a man-headed bull and an Aramaic legend *Whshw* «Oxus»; this seal can be considered as the distant predecessor of the seals of the god Oxus mentioned in the Bactrian archives from Afghanistan [on which see *Sims-Williams N. // CRAIBL. 1996. P. 646—647*].

The discussion about the provenance of the Oxus treasure has recently been spurred by the discovery of the huge «Mir Zakah II» treasure in the mountains to the east of Gardez, southeastern Afghanistan⁴. The

¹ *Markwart J. Wehrot und Arang. Untersuchungen zur mythischen und geschichtlichen Landeskunde von Ostiran. Leiden, 1938.*

² The reference publication for the factual architectural material is now *Litvinskij B. A. & Pichikjan I. R. Taxt-i Sangin. Der Oxus-Tempel. Mainz, 2002*. It corrects some mistakes of the previous book by the same authors: *Литвинский Б. А., Пичикян И. Р. Эллинистический храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. I. Раскопки. Архитектура. Религиозная жизнь. М., 2000.*

³ See lastly: *Grenet F., Rapin C. Alexander, Ai Khanum, Termez: Remarks on the Spring Campaign of 328 // BAI. NS. Vol. 12 (1998). 2001. P. 88; contra: Пьянков И. В. Античные источники о Средней Азии и их интерпретация (По поводу двух работ Ф. Грене и К. Рапена) // ВДИ. 2004. № 1. С. 96—110.*

⁴ *Treasures of Ancient Bactria. The Miho Museum, 2002.*

striking similarities have given rise to two conflicting and equally fanciful theories: the Mir Zakah treasure would be the main part of the Oxus treasure, lost in transportation on its way to India [*Pichikjan I. R. // ACSS. 4. 1997. P. 306—383*], or both treasures would be mostly products of modern forgerers working with a remarkable consistency over more than one century [*Muscarella O. W. // ACSS. 9. 2003. P. 259—275*]. The similarities in contents and style can in fact be explained as a reflection of the religious and artistic *koine* of the eastern regions of the late Achaemenid empire. The Mir Zakah treasure, which was stored in bags which were eventually thrown in wells, was most probably looted or evacuated from a temple, the location of which is still to be discovered. Some of its objects help to interpret objects from the Oxus treasure, e. g. the images of worshippers more or less crudely drawn on gold leaves are often provided with twisted pedonculae (there are a few in the Oxus treasure), which suggests that these ex-votos were attached to branches; compare the pieces of cloth in Muslim sanctuaries. At Mir Zakah most worshippers are lay people, like in the Oxus treasure (they hold weapons as well as *barsoms*, which in present Zoroastrian use are restricted to priests), but an original feature is the presence of a few crowned women holding the *barsoms* (cf. the description of Anahita in the «Aban Yasht»). Another specificity is the abundance of curative ex-votos, totally absent from the Oxus treasure.

c) The reconstruction of the cult at Takht-i Sangin. I. R. Pichikian, approved by B. A. Litvinskij, has proposed to affiliate the Takht-i Sangin temple to a series of pre-Sasanian Iranian «fire temples», the two advanced chambers on the facade being interpreted as fire chambers (*ateshgah*). P. Bernard [Slr. T. 23. 1994. P. 81—121] has argued that all the parallels invoked are uncertain both in date and function, and that the function of the Takht-i Sangin chambers is established only for the last phase of the existence of the temple. All these criticisms have been discarded without discussion in the excavators' subsequent publications. An unprejudiced attempt at reading the final description of the so-called fire chambers, both in the Russian and the German versions, and a comparison with the photographs and the graphic records (none of which, apparently, was completed *in situ*), suffice to convince that the facts were not properly registered and are now beyond recovery. A. Drujinina's new chronology of the monument, accepted by Litvinskij, ascribes the last phase of its functioning to the Kushano-Sasanian period (3rd—4th centuries A.D.), which opens the possibility that the cult was reformed at that time (cf. the Kushan temple at Surkh Kotal where two one or two fire chambers were built beside the cella in that later period).

d) Syncretic associations. An enormous quantity of weapons, enough to justify the publication of a special volume¹, has been discovered in the temple. They consist mostly of arrowheads and apparently belong to all periods. This category of votive offerings seems difficult to explain only by a cult to a river god. There are in fact some reasons to suspect that the cult of the Oxus was associated in one way or the other with that of Tishtrya, the astral god of rain who is assimilated to an archer in the «Tishtar Yasht»; he is also hailed for providing hunters with abundant mountain game. A local legend recorded near Takht-i Sangin by Chinese travellers in the 8th century mentions a temple visited every year by a golden horse which comes out of the river. This is a direct echo of the myth told in the «Tishtar Yasht» about the horse that every year agitates the waters and provokes the clouds. The divine horse is said in the text to frequent mainly the Vahvi Daitya, the mythical river which at an early stage was identified with the Ochus (= Wakh < Vahvi), one of the rivers which join to form the Oxus near Takht-i Sangin. A. M. Belenitsky had noticed the importance of this Chinese record, which he viewed in the broader perspective of the Central Asian folklore of the «water horse»². The association between the Oxus and Tishtrya might have been established already in the Achaemenid period, as suggested by the name Wakhshu-abra-data «given by the cloud of the Oxus» recently read in the Aramaic texts from Bactra [Shaked and Naveh (*forthcoming*)].

¹ Литвинский Б. А. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 2. Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. М., 2001.

² Беленицкий А. М. Конь в культах и идеологических представлениях народов Средней Азии и евразийских степей в древности и раннем средневековье // КСИА. Вып. 154. 1978. С. 31—39.

RHYTA IN PRE-MUSLIM CENTRAL ASIA — APPEARANCE, FORM AND USE:
LIBATION IN MULTI-RELIGIOUS CONTEXTS OR SIMPLE DRINKING VESSELS?

Unfortunately, I never had the chance to meet or even contact the great Russian archaeologist and orientalist, Aleksandr M. Belenitsky (1904—1993). One reason was our common history; i. e. the so-called «Cold war» between the West and the East. Nevertheless, A. M. Belenitsky twice reached me through the books translated into German [Belenickij 1968; Belenizki 1980] early in my high-school time. Since then, at latest, I was fascinated by the pre-Muslim cultures of the former Soviet Central Asia (or, as it is called in Russian: Средняя Азия).

One of many of A. M. Belenitsky's interests was the study of the religions in Central Asia before Islam. Due to this fact I would like to bring up the question once again what was the use of rhyta in pre-Muslim Central Asia; especially within the period between the post-Kushan Hephthalites and the end of the so-called «paganism», which came with the spread of Islam in the 8th century A.D onwards.

What is the rhyton in general? First of all it is a vessel, of course. It could be made from metal, ceramic or ivory, the last material being used in the case of the noted Parthian (?) rhyta from Old Nisa [Массон, Пугаченкова 1956; 1959], which are not specially concerned in this article. Its form was very often that of an animal-horn, open at the upper part. Downwards, it could have the shape of the protoma of an animal, frequently that of a horse [see, e. g. Masson 1982: 171—172], sometimes with its front-legs. In some cases there was the figure of a rider on horseback or on another animal, or the representation of a human head, as in the case of the rhyta from Khohna Masdjid in Afghanistan (fig. 2) [Schlumberger 1971: 3—7], Khotan in the Tarim basin (fig. 4) [Baumer 1996: 59] and the Dalaiman region (?) of Iran (the so-called «Drvaspa rhyton», now in the Cleveland Museum of Art) (fig. 5) [Shepherd 1966: 289—325; Carter 1974: 309—325] At the bottom of all the actual rhyta we find a small spout, and the liquid, whichever that was, could run out after taking off the finger from it. The rhyton was always filled from the upper, open, part.

It seems to be a common agreement among archaeologists and orientalists that the origin of the rhyta took place in the midst of the Iranian peoples, particularly the Achaemenid Persians, even if one can find it much earlier in the region of Amlash (Iran) [Shepherd 1966: 296]. From the Achaemenid empire this vessel form spread to the Greeks and the Thracians in the West [Svoboda 1956: 1—89; Hoffmann 1961: 21—26; 1989: 131—166], as well as to the East, up to the Tarim Basin (Khotan) [Baumer 1996: 59] and even farther — to China and the ancient kingdoms of Korea. A question of the relationship between Korean and Central Asian rhyta cannot be examined here; I will have another opportunity to do so in the near future. It should be mentioned that rhyta found in China were, as far as it is known by now, never produced by the Han Chinese [Parlasca 1980: 297—308], but were products either imported or made by Iranians for their own use when they lived within the borders of Han China.

A red-figured Apulian krater of the Hellenistic period, now in the Kunsthistorisches Museum (Vienna), shows a member of a symposium holding a rhyton with a horse-protoma in his right hand (fig. 1) [Shepherd 1966: 300, fig. 13]. The liquid runs into a phiale, which the man holds in his left hand. Is he going to drink the liquid out from the phiale? We do not know for sure. This is not exactly visible on this krater. We should have in mind that such symposiums had the Dionysian background deeply connected to the Greek cult practices.

Even on a Sogdian stone relief from Ch'eng-te-fu in Honan Province, China, belonging to the Northern Ch'i period (6th century A.D.), now in the Museum of Fine Arts, Boston, one can see a noble Sogdian to be raising a rhyton up over his head, as if he wants to drink out from it (fig. 6) [Scaglia 1958]. However, is the real drinking here a correct interpretation? On a wall-painting from Panjikent in Sogdia (Room XXIV/1) we also see a man raising a rhyton in his left hand [Belenizki 1980: Abb. 55] (fig. 3). The rhyton has the typical horn-form and ends in the head of a goat with curved horns. The goat head seems to look very strictly into the man's eyes. However, one cannot say again, whether the man does drink from the rhyton. Behind its holder we see a flying winged camel spirit. The man's headdress is a turban-like one with small branches of an unknown plant with leaves. This feature hints to me that he is not a simple Sogdian nobleman taking part in a feast. Moreover, it is rather not a normal banquet scene but that of religious character, and the man in question is probably a priest!



1



3



5



4

2



6

Rhyta in ancient art: 1 — on Apulian crater; 2 — from Khohna Masjid; 3 — on painting from Panjikent; 4 — from Khotan; 5 — from the Cleveland Museum of Art collection; 6 — on relief from Ch'eng-te-fu

I believe, after listing only these, very few, examples that the simple interpretation of rhyta as just drinking vessels may be ruled out. We are not trapping into the pitfall if we conclude that rhyta were used by the Iranian people in their religious acts, which in many cases had a connection with the hereafter. Were they all Zoroastrians? This is not so easy to answer. In pre-Muslim Central Asia not all archaeological contexts, where rhyta came from, were of pure Zoroastrian culture. Central Asia was a syncretistic world, and there were various religions. Zoroastrian-type cults, Buddhism [Litvinsky 1968; Litvinskij 1999], Manichaeism [Adam 1969; Widengren 1961; 1977] and Nestorianian Christianity [Tubach 1999] existed in the area under review side by side. As A. M. Belenitsky has pointed out, Central Asia before Islam was a region full of followers of many religions, which in other parts of the Ancient world were persecuted [Belenickij 1968: 200, 217—221]. It is known for long that not all Iranian peoples of pre-Muslim Central Asia were Zoroastrians in the strict sense of this word (unlike, for instance, the Sasanians).

If we, for instance, look at the so-called «Drvaspa rhyton» in the Cleveland Museum (fig. 5), the two main ideas have been brought to the interested audience. The first one belongs to D. G. Shepherd [1966: 289—325], who argues for a Sogdian provenance of the rhyton and its date going back to the 6th/7th century. The other brought forward by M. L. Carter [1974: 309—325] assumes its origin within the Indo-Iranian borderlands, i. e. between Gandhara and the area of Kashmir. As its date she supposes the 7th or 8th century A.D. Due to the iconography, D. G. Shepherd thinks that the head of the goddess means the Zoroastrian Drvaspa, the master of the horses; M. L. Carter believes that it is the Hindu goddess Durga-Mahisasuramardini, because of the fact that the lowest part of the rhyton shows an Indian water-buffalo, the slaughtered animal of this manifestation of Durga. B. I. Marshak, it seems, very rightly detects that the face of the goddess is too peaceful to represent Durga [Marschak 1986: 269—270]. If to follow B. I. Marshak so far, one has to conclude that it could be any goddess of Hinduism, who found her way into Buddhism. We must leave the matter who is it out for a moment. The more interesting question is what a connection exists between this Buddhist goddess and the buffalo-head forming the spout of this rhyton. Concerning this question I would like to draw the reader's interest to a little Buddhist cave-temple at Jaughuri (Afghanistan) which may have been of a Kushan date. There, buffalo-heads play an important role in the decoration of the cave [Verardi 1981: 261—270]. G. Verardi argues that these buffalo-heads might have their background in the Hellenistic «bucrania-and-garland-motive». So, they are simply meant as decorations!

The same problem we find with the small gray-coloured ceramic rhyton from Khohna Masdjid (fig. 2) [Schlumberger 1971: 3—7], when trying to analyze a combination of the head of a young god (?) and the head of a wild-goat — the animal that is called in German «Suleiman-Schraubenziege» and living today only in the high mountains of Pakistan and Afghanistan. The latest publication dealing with this kind of animals and their religious symbolism is a large paper of B. A. Litvinsky [Litvinskij 2003: 15—93, esp. 56—62]. This wild goat is deeply connected with the ancient believe of «peris», i. e. fairies and hunting magics in pre-Muslim Central Asia. On the other hand, this animal might be a manifestation of the Zoroastrian god Verethragna who is mentioned like this in the *Yasht* 14, 27. The head of the youth on the rhyton of Khohna Masdjid, with his curled hairstyle, has the same peaceful face like the personage of the Cleveland rhyton. The style of the head is very close to the faces of statues from Fondukistan in Afghanistan [Hackin 1959: 49—58] and from Ushkur and Akhnur in Kashmir [Fabri 1939: 592—598], as well as to those found at Tapa Sardar near Ghazni (in Afghanistan), which appear to be dated to the late 7th/8th century A.D. [Taddei 1968: 109—124]. However this might be, one cannot rule out that one part of such a rhyton has a Buddhist background, whereas the animal-heads — another one. The best interpretation at the moment seems to be the following: such rhyta were made both for syncretistic forms of the religions widespread in the Indo-Iranian borderlands and for being in use for ritual libation during religious ceremonials.

If we look at the mentioned rhyton from Khotan (fig. 4) made in the so-called «Yotkan» ceramic style and dated perhaps to the 2nd or 3rd century A.D. (now in the Regional Museum of Khotan?), it should be remembered that it is G. Gropp, the well-known Iranist from Hamburg in Germany, who in his publication of the Emil-Trinkler-Collection of archaeological finds from Khotan in the Übersee-Museum Bremen has brought up the important question: was the majority of decorated «Yotkan» vessels made for the use in burial rites? [Gropp 1974: 306]. Then, another one could be raised: does a complete rhyton in the Khotan Regional Museum with the head of an elderly man [Baumer 1996: 59] represent the Iranian god Yima referred to in the Avestan *Vendidad* (II)? However, the funeral rite of cremation would have been strange for the Saka-Iranian «Zoroastrians» of Khotan, who never cremated their dead. In Khotan, cremation could have its background solely in Buddhism: so this means, once again, a syncretistic admixture of «Zoroastrian» and Buddhist notions [Jäger 2004 (*forthcoming*)]. Obviously, one may say that we are only at the very beginning of studying the use and functions of rhyta in pre-Muslim Central Asia.

Bibliography

- Массон М. Е., Пугаченкова Г. А.* Парфянские ритоны Нисы: Альбом иллюстраций. М., 1956.
Массон М. Е., Пугаченкова Г. А. Парфянские ритоны из Нисы. Ашхабад, 1959 (ТЮТАКЭ. Т. IV).
Adam A. (ed.). *Texte zum Manichäismus. Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen.* Berlin, 1969.
Baumer C. *Geisterstädte der südlichen Seidenstrasse. Entdeckungen in der Wüste Taklamakan.* Stuttgart; Zürich, 1996.
Belenickij A. *Zentralasien.* München; Genf; Paris, 1968.
Belenizki A. *Mittelasien — Kunst der Sogden.* Leipzig 1980.
Carter M. L. *An Indo-Iranian Silver Rhyton in the Cleveland Museum of Art // ArtAs.* 41. 1974.
Fabri C. *Buddhist Baroque in Kashmir // Asia Magazine (October).* Lahore, 1939.
Gropp G. *Archäologische Funde aus Khotan / Chinesisch-Ostturkestan. Die Trinkler-Sammlung im Übersee-Museum Bremen.* Bremen 1974.
Hackin J. *Le monastere de Fondukistan // Diverses recherches archéologiques en Afghanistan (1933—1940).* Paris, 1959.
Hoffmann H. *The persian origin of the Attic Rhyta // Antike Kunst. Halbjahresschrift der Vereinigung der freunde antiker Kunst.* 4/1. 1961.
Hoffmann H. *Rhyta and Kantharoi in Greek ritual // Greek vases in the Paul Getty Museum. 4 (Occasional Papers on Antiquity 1.4).* 1989.
Jäger U. *Buddhistische Stiftergräber und Bestattungssitten an den alten Seidenstrassen // Skizzen zu Aspekten eines Problemkreises. Dieter Metzler zum 65. Geburtstag am 18. Mai 2004. 2004 (Hephaistos. 22).*
Jäger U. *Archäologische Funde aus Khotan/Chinesisch-Ostturkestan. Die A. H. Francke/H. Körber-Sammlung (von 1914) im Staatlichen Museum für Völkerkunde in München (forthcoming).*
Juliano A. L. *Chinese pictorial space at the cultural crossroads // Webfestschrift Eran ud Aneran. Studies presented to Boris Ilich Marshak on the Occasion of his 70th Birthday. Electronic Version. October 2003.*
Litvinsky B. A. *Outline of the History of Buddhism in Central Asia.* Moscow, 1968.
Litvinskij B. A. *Die Geschichte des Buddhismus in Ostturkestan.* Wiesbaden 1999.
Litvinskij B. A. *Relikte vorislamischer Religionsvorstellungen der Pamirbevölkerung (Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts) // Die vorislamischen Religionen Mittelasiens.* Stuttgart, 2003.
Marschak B. I. *Silberschätze des Orients. Metallkunst des 3.-13. Jahrhunderts und ihre Kontinuität.* Leipzig, 1986.
Masson V. M. *Das Land der tausend Städte. Die Wiederentdeckung der ältesten Kulturgebiete Mittelasiens.* München, 1982.
Parlasca K. *Griechisches und Römisches im Alten China // Beiträge zur Allgemeinen und vergleichenden Archäologie.* 2. 1980.
Scaglia G. *Central Asians on a Northern Ch'i Gate // ArtAs.* 21. 1958.
Schlumberger D. *Le Rhyton de Khohna Masdjid // ArAs.* 24. 1971.
Shepherd D. G. *Two Silver Rhyta // The Bulletin of the Cleveland Museum of Art. Vol. 53.* 1966.
Svoboda B. *Zur Geschichte des Rhytons // Monumenta Archaeologica.* 4. 1956.
Taddei M. *Tapa Sardar. First Preliminary Report // EW.* 18. 1968.
Tubach J. *Die nestorianische Kirche in China // Nubica et Aethiopia. IV/V.* Warszawa, 1999.
Verardi G. *Un ipotesi sulla decorazione di una grotta del Jaughuri (Afghanistan) // AIUO.* 41. 1981.
Widengren G. *Mani und der Manichäismus.* Stuttgart, 1961.
Widengren G. (ed.). *Der Manichäismus.* Darmstadt, 1977.

STONE FUNERARY BED'S FACADE IN THE VICTORIA & ALBERT MUSEUM

The white marble base of the funerary couch, now on exhibit at the Victoria & Albert Museum in London (Eumorfopoulos Collection, A.54—1937), has never been taken into consideration in the research of funerary monuments of the Northern Dynasties in China (fig. 1). This is probably due to the fact that the base has never been reproduced since the publication of G. Eumorfopoulos' collection catalogue, printed in black and white in 1932 [Yetts 1932: 56—57, pl. 26, 27]. The author of this catalogue, W. P. Yetts, presented this base in a volume devoted to Buddhist sculpture and compared it to stone sculptures, terracotta figurines, murals, etc. found in China, among which the famous base of the Freer Gallery of Art in Washington is an example. Later, in 1958, G. Scaglia identified the Freer Gallery's base as the same type as those of funerary couches prevalent in Northern China, and attributed it to a Sogdian immigrant of the Northern Qi period [Scaglia 1958]. Her attribution has been confirmed by the successive discovery of Sogdian tombs containing stone funerary monuments embellished with painted reliefs in Taiyuan in 1999 and in Xi'an in 2000. Actually, nine funerary monuments or its elements are considered as those of Sogdians who died in Northern China during the second half of the sixth century: 1) the sarcophagus of Yu Hong (deceased in 591) found from Taiyuan; 2) the couch with panels of An Jia (deceased in 579) from Xi'an; 3) the sarcophagus of Wirkak (deceased in 579) from Xi'an; 4) the couch with panels from Tianshui; 5) the couch with panels probably from Anyang (the facade is in the Freer Gallery, the other elements in the Guimet Museum in Paris, in the Museum für Ostasiatische Kunst in Cologne, and in the Museum of Fine Arts in Boston); 6) the panels in the Miho Museum in Japan; 7) the couch with panels of the Vahid Kooros collection in Paris; 8, 9) two base's facades in the Shelby White and Leon Levy collection in New York (it is said that a white marble facade is the base of the panels in the Miho Museum) [Marshak 2001; 2004; Carter 2002; Riboud 2003; Musée Guimet 2004; Xi'an Municipal Institute 2004; Grenet, Riboud, Yang 2004]. The epitaph in Sogdian of Wirkak or Shi was translated by Y. Yoshida [*forthcoming*]. He also confirmed the Sogdian origin of Yu Hong through his other given name, Mufan — the Chinese transcription of Sogdian given name *maxfarn* («glory of the moon») [Yoshida, Kageyama 2002].

The museum's present label «Railing from a Temple» derived from the former interpretation should be corrected. From the size — 243 cm in width, 55 cm in height and 11 cm in thickness — it is, without any doubt, a funerary bed's base facade. However, its form, its workmanship, and especially its motifs differ from those of the Northern Dynasties. In general, the long horizontal panel of the facade, of the Northern Dynasties possesses three square legs and the legs are decorated in high relief, but the panel is carved in very low, flat relief [Juliano, Lerner 2004]. Furthermore, the dominating iconography is of geometric motifs and supernatural creatures. The possibility that the funerary couch whose base's facade is now in London was intended for a Sogdian rather than for a Chinese would be fully worth considering.

Let us first examine two half-human — half-bird creatures who are on either side of a barely distinguishable incense burner or fire-altar on a lotus pedestal. These half-human, half-bird beings appear in all funerary monuments of the Sogdians except those from Anyang, Tianshui and in Paris. They wear padam, the mask of Zoroastrian priests, and are thus sometimes referred to as priest-birds. These half-man, half-bird beings served as an absolute proof to attest the Sogdian origin of the two bases in New York for which we have no archaeological information. It is regrettable that the faces of these creatures on the Victoria & Albert Museum's facade are so damaged that it is impossible to tell if they are wearing a padam.

The guardians on either end of the facade are almost symmetric, represented with small differences in their garments, hairstyles and arms. They each have a nimbus with scalloped edge, earrings, a torque, bracelets, and each hold a sword. The guardian on the right holds a trident and the one on the left holds a spear with two points. W. P. Yetts gives several analogues in Buddhist art; I will just refer to a pair of guardians at the entrance of the Dazhusheng cave, dated A.D. 589, in the Baoshan Lingquan shi caves in Anyang.

A pair of guardians is also represented on the two base facades in New York, on the base facade in the Freer Gallery and on the sarcophagus of Wirkak in Xi'an. Their appearance is varied: they trample demons or animals, certain aggressively, others passively; and certain have two arms, others have four. The series of guardians on the funerary monuments of the Sogdians resemble those in a rage, trampling a demon or an animal unearthed in the tombs of the Tang period. However, the guardians of Chinese tombs dating from the second half of the sixth century and the early seventh century do not yet portray supernatural figures and they do not tread on a demon or on an animal with the exception of the guardians on the coffin of Li He, buried in 582 in Sanyuan, near Xi'an [Fong 1991, Karetzky 1986].



Fig. 1: Stone funerary bed's facade of the Victoria & Albert Museum



Fig. 2a: Wall paintings, the tomb chamber of Xicheng (663)



Fig. 2b: Wall painting, the Afrasiab paintings (about 658)

On the seven square panels of the upper part of the facade are represented seven half-naked, male musicians seated on round carpets playing instruments. From left to right: a mouth organ, a harp, two completely faded instruments, a horizontal flute, a drum and Panpipes. They each have a nimbus, a torque or a necklace, a scarf and a diadem. A group of musicians is on the long panels of each of the bases from Anyang, from Tianshui and in Paris. Among them, the musicians on the base from Tianshui are the closest to those of the Victoria & Albert Museum. They are similar to the celestial musicians on the paintings of the Dunhuang caves and on a fragment of terracotta found in Khotan ¹.

A pair of male dancers and a pair of female dancers, not divine but human, are represented on the two panels of the lower part of the base. All of the dancers wear garments with sleeves much longer than their arms. Close parallels to the female dancers have been found in the tomb of Zhang Sheng in Anyang, dated A.D. 595 [see Kaogu 1959/10]. A female dancer on one of the panels in the Miho Museum also wears this kind of dress.

The analysis above show that the base of the Victoria & Albert Museum shares almost all its motifs with funerary monuments attributed to the Sogdians which are dated to about the second half of the sixth century. We can conclude that this base served as a funerary couch of a Sogdian or a Sogdian couple. Victoria & Albert Museum's base, as well as the sarcophagus of Yu Hong from Taiyuan, is made in white marble. Quyang, in Hebei, is famous for the extraction of this stone used in the territory of the Northern Qi, mostly to make Buddhist statues. The Victoria & Albert Museum's facade can be further determined as a base of a funerary couch for a Sogdian (couple) buried in a town of the Northern Qi territory during the second half of the sixth century.

Incidentally, I would like just to mention wall paintings from the tomb of Princess Xincheng who died in A.D. 663, which caught my attention while I studied objects found in tombs (fig. 2). Her tomb was constructed in the Zhao Ling Mausoleum, dedicated to her father Taizong [see Kaogu yu Wenwu 1997/3]. Hairdo, ornamental hairpins and dresses of the court ladies depicted in the tomb chamber are very similar to those of the ladies painted on the Northern wall of the Afrasiab paintings (fig. 2b) that were completed during the reign of Varkhuman, the king of Samarkand, around 658. We have no reason to doubt the Chinese ethnicity of these ladies which has recently been challenged [Yatsenko 2004].

¹ Dunhuang Institute (ed.). 2001: fig. 36 (musicians and dancers of cave 288, the Western Wei period); Whitfield 1985: pl. 74 (the terracotta from Khotan, dated to the 4th or 5th century).

Bibliography

- Carter M. L.* Notes on two Chinese stone funerary bed bases with Zoroastrian symbolism // Iran, questions et connaissances. Actes du IVe congrès européen des études iraniennes organisé par la Societas Iranologica Europaea, Paris, 6—10 septembre 1999. Vol. 1: La période ancienne. Paris, 2002.
- Fong M. H.* Antecedents of Sui-Tang burial practices in Shaanxi // *ArtAs*. Vol. 51, 3/4. 1991.
- Grenet F., Riboud P., Yang Junkai.* Zoroastrian scenes on a newly discovered Sogdian tomb in Xi'an, Northern China // *SIr*. T. 33. 2004.
- Juliano A. L., Lerner J. A.* Stone mortuary furnishings of Northern China // *Ritual objects and early Buddhist art*. Brussels, 2004.
- Karetzky P. E.* The engraved designs on the late sixth century sarcophagus of Li Ho // *ArtAs*. Vol. 47/2. 1986.
- Marshak B. I.* La thématique sogdienne dans l'art de la Chine de la seconde moitié du VIe siècle // *CRAIBL*. 2001.
- Marshak B. I.* The sarcophagus of Sabao Yu Hong, a head of the foreign merchants (592—98) // *Orientalia*. 35/7. 2004.
- Musée Guimet.* Lit de pierre, sommeil barbare. Présentation, après restauration et remontage, d'une banquette funéraire ayant appartenu à un aristocrate d'Asie centrale venu s'établir en Chine au VIe siècle. Paris, 2004.
- Riboud P.* Le cheval sans cavalier dans l'art funéraire sogdien en Chine: à la recherche des sources d'un thème composite // *ArAs*. T. 58. 2003.
- Scaglia G.* Central Asians on a Northern Ch'i gate shrine // *ArtAs*. 21. 1958.
- Whitfield R.* The art of Central Asia, the Stein Collection in the British Museum. 3: Textiles, sculpture and other arts. Tokyo, 1985.
- Xi'an Municipal Institute of Ancient Monument Preservation and Archaeology.* Shi sarcophagused tomb of the Northern Zhou period in Xi'an // *Kaogu*. 2004. 7 (*in Chinese*).
- Yatsenko S. A.* The costume of foreign embassies and inhabitants of Samarkand on wall painting of the 7th c. in the 'hall of ambassadors' from Afrasiab as a historical source // *Transoxiana*. 8. 2004 (http://www.transoxiana.com.ar/0108/yatsenko-afrasiab_costume.html).
- Yetts W. P.* The George Eumorfopoulos Collection. Catalogue of the Chinese & Korean bronzes, sculpture, jades, jewellery and miscellaneous objects. Vol. 3: Buddhist sculpture. London, 1932.
- Yoshida Y.* Sogdian version of the new Xi'an inscription // *Les sogdiens en Chine* (Proceedings of the congress in Beijing, April 23—25, 2004). Paris (*forthcoming*).
- Yoshida Y., Kageyama E.* The Sogdians, study based on the new archaeological materials which complement Chinese historical sources // *Sinica*. 2002. 9 (*in Japanese*).

ASPECTS OF ASSIMILATION: THE FUNERARY PRACTICES AND
FURNISHINGS OF CENTRAL ASIANS IN CHINA

Introduction. The identification and discovery in north and northwest China of the tombs and funerary furniture of Sogdians have provoked lively interest and much scholarly discussion. Here we have a group of Central Asians living among the Chinese in the Northern Qi, Northern Zhou, Sui and early Tang periods — that is, from the second half of the 6th to the middle of the 7th centuries — and, as individuals, selectively adopted various Chinese mortuary practices.

With Gustina Scaglia's recognition 50 years ago that the three stone panels in Boston and Paris and two gate posts in Cologne depict Central Asians and thus belonged to a member of a Sogdian community in China, subsequent discoveries—through documented excavation and by way of the art market—have expanded the corpus of these funerary furnishings to eight: six stone beds — three actually excavated (that found in Tianshui, Gansu; those of An Qie and Kang Ye in Xi'an, Shaanxi) and three others now in museums (Scaglia's bed, attributed to Anyang, Henan; panels in the Miho Museum, Shigaraki, Japan; the bed in the Vahid Kooros collection, recently displayed at the Musée Guimet, Paris) — and two stone sarcophagi, both from good archaeological contexts (Yu Hong in Taiyuan, Shanxi; Shi Jun in Xi'an). This corpus provides an important stepping stone into the areas of ethnic identity and its converse, the assimilation and sinicization of «the other».

Much of the discourse on the stone beds and sarcophagi has centered on iconography and style, as well as on the lives of the tomb owners—those for which epitaphs have survived having been elites, holding the rank of *sabao* or administrator of the foreign communities in which they lived. As one contemplates the entire phenomenon of these mainly Sogdian descendants who lived and died in China, one is struck by the different expressions of ethnic identity as well as the degrees of assimilation that are revealed by their funerary practices and remains. Ethnic identity is generally reinforced by crises in the life cycle — with death the ultimate crisis. In the rites of passage that mark the death crisis, rituals and the material objects used in these rites become symbolic expressions of ethnic identity.

In this tribute to the scholarship and legacy of Aleksandr Belenitsky, I explore the varying degrees of ethnic identity and its converse, assimilation or sinicization that can be inferred from the Sogdian tombs and their contents. With two recent discoveries in Xi'an significantly expanding the corpus (the tombs of Shi Jun and Kang Ye), we now have sufficient variations in burial type, artistic style and iconography to begin exploration and speculation of this phenomenon. Added to this group are the burials of the Shi family of Yanzhou (present-day Guyuan, Ningxia Autonomous Republic) which did not contain elaborate stone furnishings. Nevertheless, they figure strongly in the complementary phenomena of ethnic identity and assimilation. Of lesser rank than men like An Qie, Shi Jun and Yu Hong, members of the Shi family of Guyuan attained distinction in the Chinese military and administrative systems. From their epitaphs we learn that into the fifth generation in China they maintained their Sogdian ethnicity, at least in their appearance, by marrying women with Sogdian family names and who were thus also non-Chinese.

I touch on this practice toward the end of this paper, but I begin with a discussion of the tombs themselves, and then move on to details of burial and the funerary furniture of the individual tomb occupants. The following summarizes five specific areas that I discuss:

- The adoption of the Chinese tomb form
- The use of stone mortuary furniture
- The treatment of the corpse
- The style and imagery of the stone beds and sarcophagi
- The presence of autobiography and narrative

The Chinese tomb form. Although there is evidence in Sogdiana for burial practices other than exposure of the corpse and the subsequent deposition of the bones in ossuaries, the choice to be buried in a Chinese-type tomb, an underground square chamber with a domed roof, already reveals some sense of identity with or an acceptance of Chinese cosmological beliefs. A domed chamber, however, is not completely alien to Sogdian belief as at Panjikent similarly-shaped mausoleums contained ossuaries housing the bones of the dead as well as whole articulated skeletons; nonetheless, underground burial does seem to be antithetical to Zoroastrian practice.

Another aspect of assimilation is the pictorial embellishment of tomb walls and funerary furnishings, as well as the inclusion of grave goods, such as personal belongings and funerary models (*mingqi*). The robbing of many of the Sogdian tombs prevents us from understanding the full extent of these Sogdians' adoption of Chinese practice and imagery, but Yu Hong's tomb as well as those of the Shi family still retained many of the objects buried with their owners. The pictorial decoration of the beds and sarcophagi will be discussed later on.

The use of stone mortuary furniture. Stone beds and sarcophagi to support or contain the deceased's remains is a Chinese custom, deriving from Chinese domestic furniture and architecture, respectively. Their appearance in Chinese tombs seems to have been a development of the 5th century, a century before the known Sogdian beds and sarcophagi; the two forms continue to be used by the Chinese in their tombs into the 6th and early 7th centuries, the same span of time as the Sogdian burials. Thus, these Sogdians' use of a stone bed or a sarcophagus may be seen as further evidence of their adoption of Chinese practice—and a sign of assimilation—although a stone platform or container fits well with Zoroastrian belief: such furnishings elevate the bones from the floor of an underground tomb chamber and isolate them from contact with earth and water.

Treatment of the corpse. Another indication of the degree to which these Central Asian descendants had assimilated into Chinese society is the treatment of the corpse. Using a stone bed or sarcophagus to hold the complete body of the deceased seems to me as likely as its use for the unarticulated bones that would have been gathered after the body had been exposed according to Zoroastrian practice. The fragmentary remains of wooden coffins in the tombs do not allow us to tell whether they were long and wide enough to hold a complete body or were more compact and ossuary-sized, but from the available evidence of the skeletal remains, it seems that at least some of these Sogdians were not exposed prior to burial: Kang Ye's complete skeleton, *with silk garments still intact*, was lying supine on his stone bed; the stone pillow, gold hairpin and bronze mirror that were found on the Tianshui bed suggest that it bore the intact bodies of the tomb owner and his wife.

That exposure may have been practiced by at least some of these Sogdians residing in China is implied by the central panel on the Miho bed that depicts the *sag-did* ceremony, performed prior to removing the corpse to the *dakhma* for exposure, as well as by the recorded use in Taiyuan of an open, *dakhma*-like pit for the corpses of a group of monks and their disciples. Further evidence may be the building-shaped ceramic container in the Palace Museum, Beijing, which seems to have been an ossuary. Thus, the Sogdian tombs so far known to us in some cases seem to reveal the Sogdian practice of exposure and subsequent burial of the bones, while at least one clearly shows the Chinese practice of interring the complete corpse.

Decoration of the stone beds and sarcophagi. The main tomb furnishings — specifically, the beds and sarcophagi — offer the most graphic evidence of the extent to which these Sogdians identified with their Central Asian roots and also appropriated the «funerary idioms» of the Chinese. The selection of images to decorate a bed or sarcophagus and the artisans to carve them would have been a personal choice; such a decision is further evidence of how an individual tomb owner expressed his ethnic identity.

With the exception of those on Kang Ye's bed, the pictorial panels that form the sides and rear of the other five beds and enclose the two sarcophagi are vertical in their organization of space. This kind of organization seems to have been derived from actual hinged screens that enclosed the Chinese formal sitting couch (*chuang*) and the canopied bed (*chazuchuang*). Although there are different ways of organizing the vertical space within each panel of a bed or sarcophagus, the panels are generally meant to be read as a single coherent image, beginning at the bottom with the foreground and working upward to the background or the sky above (the Anyang panels, the Tianshui and Kooros beds, Shi Jun's sarcophagus, some of the Miho and An Qie panels) or as a combination of two events, placed in a two-tiered composition, with each tier depicting a discreet occurrence (the Miho and An Qie beds); Yu Hong's panels, though vertical in format, each contains a single image separated from a predella-like rectangle below which seems in only some instances to be related to the events portrayed above. In contrast, Kang Ye's bed utilizes a horizontal format that is similar to a horizontal scroll painting, but with separately delineated panels which recall some late Northern Wei (386—535) funerary beds. This arrangement of scenes makes Kang Ye's bed, of all the Sogdian funerary furniture, the most «Chinese» in its use of space.

Kang Ye's bed is also the most *traditionally* Chinese in its style of carving, in which the figures are engraved into the otherwise smooth surface of the stone. A carving technique that is prevalent on Chinese funerary monuments of the Northern Wei and still employed in Tang times, it contrasts with another Chinese way of carving in which the images are delineated in a smooth, low-relief silhouette that is distinct

from the carved-away background. This technique, found in the Northern Wei and continuing well into the 6th century, is used on the Anyang and Tianshui beds and Shi Jun's sarcophagus. The other beds and Yu Hong's sarcophagi, however, reflect a more sculptural trend that began in the latter part of the 6th century in which plastic volumes are more developed.

Turning to what is represented on the panels of the beds and sarcophagi, much of the subject matter — banquets, entertainments and hunting expeditions—has a long history in the Iranian/Sogdian world as well as in the Chinese realm, where such subjects appeared in tomb art at least as early as Han times (206 BCE — 220 CE). However, in Chinese tombs of the 5th and 6th centuries coffins, coffin-bed screens and paintings of screens on the burial chamber walls tend to be decorated with auspicious scenes or exemplary figures (such as scenes of filial piety). The beds and sarcophagi made for the tombs of Sogdians or for other non-Chinese such as Yu Hong typically show scenes of the deceased's life on earth as well as in the afterlife, with an immediacy and vibrancy that make these feasts, entertainments and hunts more than «set pieces» based on earlier models. Thus, the banqueting scenes that typically include entertainers may superficially recall Chinese examples, but the male performer of the «Sogdian whirl» that is usually included in these scenes is a depiction of an actual Sogdian dance. The caparisoned but riderless horse that appears on several of the monuments (Miho, Kooros, Anyang and Kang Ye beds; Yu Hong's sarcophagus) is a trope in Chinese funerary art of the 5th and 6th centuries, where it represents the horse of the deceased. But the riderless horse is also a recurring theme in Sogdian imagery where it is associated with funeral rites (a dedication to the god Mithra, a judge of the dead) as well as with the New Year festival. Thus, the riderless horse on these Sino-Sogdian funerary monuments has a double meaning: a reference to these foreigners' high-rank in a Chinese context and an acknowledgment of their Central Asian or Sogdian religious and cultural heritage.

In China, in both Chinese and Sogdian funerary contexts, the riderless horse appears opposite the standard image of an oxcart which transports the women of the deceased's household. As the female counterpart of the male riderless horse, the oxcart is a purely Chinese tomb motif, occurring as early as the Han period. Absent only from Yu Hong's sarcophagus, it complements the riderless horse in the monuments just cited.

The specifically Sogdian divine images and ritual and eschatological scenes should be noted briefly: Nana (Miho bed), Vaksh, the god of the Oxus River (Miho bed), Mithra (Yu Hong's and Shi Jun's sarcophagi); the No Ruz festival (Shi Jun's sarcophagus, Anyang bed), the *sag-dīd* ceremony (Miho bed), the crossing of the Činvat Bridge (Shi Jun's sarcophagus). Also noted are fire altars (Miho bed, Yu Hong's sarcophagus), fire bowls (Anyang bed gateposts), the *afirinigān* table and camel base fire altar attended by the priestly birdmen (lunette over the door to An Qie's tomb), similar birdmen (base in a New York collection, which Annette Juliano and I believe is the base of the Miho bed). Tantalizingly, much of the imagery on the Kooros bed seems drawn from Indian religious iconography.

Narrative and biography. The narrative character of Sogdian art — at least of that known in Sogdiana as early as the 6th century — is certainly reflected in the monuments under discussion. However, what differentiates the mortuary art made for Sogdians in China from much, if not all, of art in the Sogdian homeland, is its *strong autobiographical* character, which is completely absent in Sogdiana. Among the conventional subjects of the hunt and banquet on the beds and sarcophagi are specific incidents in the life of the deceased or allusions to the kind of life he led: An Qie, who was both a *sabao* and a «Grand Commander of non-Han troops» (*dadudu*), memorializes his diplomatic mission among the Turks; Yu Hong depicts a series of eclectic images that allude to his role as emissary to countries in Central and West Asia (although they are side-by-side with elements that are Indian in origin); Shi Jun represents his promotion to *sabao* and documents with great poignancy his religious quest that ends with his return to the Zoroastrianism of his forefathers; Kang Ye shows himself in Chinese garb in a scene of trade or tribute.

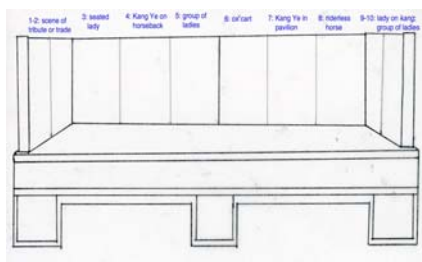
Biography is the basis of the epitaph (*muzhiming*), which by the 5th and 6th centuries was an essential element in Chinese tombs and most of the excavated Sogdian tombs in China have yielded epitaph stones. With the exception of Shi Jun's epitaph, which is in Sogdian and Chinese, the others (An Qie, Yu Hong, Kang Ye, and the Shis of Guyuan) are written in the language and literary style of their adopted land. An Qie's epitaph, as analyzed by K. M. Linduff's and M. J. Wu's careful reading shows in its combination of Zoroastrian cosmologic references and standardized Confucian rhetoric and imagery An Qie's deliberate choice of Sogdian and Han Chinese elements.

Conclusion. The available evidence suggests that these Sogdian elites adopted the ways of their Chinese hosts while at the same time maintaining, at least through several generations, their physical if not cultural ethnicity. Even as the Shi family men married women with Sogdian surnames, they integrated into

Chinese society by taking positions in the Chinese administration and military; others of Sogdian descent, such as Shi Jun, also tended to marry women of similar ethnic background.

Yet these Sogdian descendents' adoption of Chinese burial forms and even artistic conventions came about through their acceptance by Chinese society as well as by their need to integrate into it. The integration of Sogdians into the Chinese political and economic system undoubtedly led to the erosion of Sogdian ethnic identity. This resulted in their eventual cultural and biological assimilation into Chinese society, so that today such family names as An and Kang are among the few reminiscences of the Sogdian presence in China. In this survey of the burials and funerary monuments of Sogdians who lived in China in the 6th and early 7th centuries we can see the different ways these foreigners construct and maintain their ethnic identity and at the same time the degrees by which they begin to yield it up.

1. Excavated funerary beds



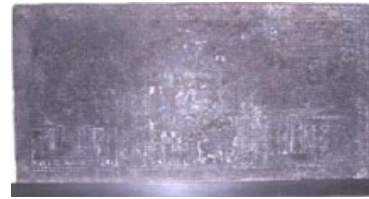
Kang Ye

An Qie



Tianshui

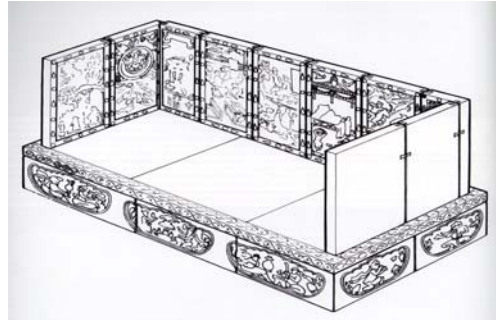
2. Unexcavated funerary beds



Anyang

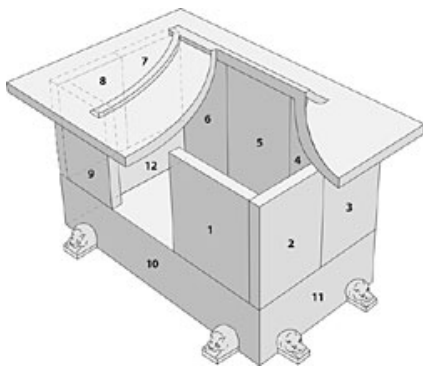


Miho

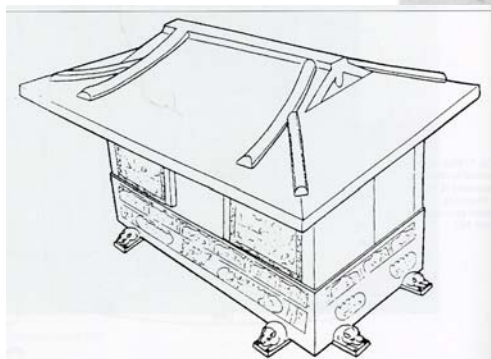


Kooros

3. Sarcophagi



Shi Jun



Yu Hong

THE RELATION BETWEEN THE DEER CULT
AND THE KINGSHIP OF THE ANCIENT TURKS

Preface. In the Eurasian steppe, we know that there were many nomad and hunting peoples that have a close relation with animals such as wolves, bears, ox, falcon, cow, etc. as the ancestors in their mythology. In particular, the wolf was respected by the ancient Turkic people named the *Gaoche* tribe or the *Tujue* tribe in Chinese sources as one of their ancestors¹. In this paper, I will first analyze another, the deer cult among the ancient Turks, through proceeding from a Chinese source named «Youyang Zazu», and then I will consider aspects of relation between the deer cult and kingship in their midst through examining the available archaeological data.

The role of the deer in the myth told in the «Youyang Zazu». The classical Chinese source named «Youyang Zazu» that I would like to introduce here was compiled in approximately 860 A.D. by a Chinese *Duanchenshi* of the Tang Dynasty. As far as I know, there is nobody who has analyzed the significance of the deer cult among the ancient Turkic peoples. At first, let me translate a relevant chapter from the text in question:

«The ancestor of <*Tujue*> is called <*Shemo*>². The (Sea) God lived in the <*Jieli*> Sea. *Shemo* lived in the west of the <*Ashide*> tribes' cave. *Shemo* had mysterious power. In the sunset every day the daughter of the Sea God meets *Shemo* with her white deer and dives under the Sea, in the sunset she comes out of the water to send him. Several years later, the great hunting was being planned among this tribe. This night the Sea God said to *Shemo*: “Tomorrow, when you are going to hunting, you will certainly find a white deer with golden antlers in the *Ashide*'s cave. If you shoot an arrow and hit it, you will be able to continue bearing a close relationship with me in the future. If you cannot do so, our relationship cannot be continued any more”. At dawn he went into that cave, he found there a white deer with golden horns on the head. *Shemo* intended to make his followers catch it, so they enclosed it in the circle; however, the white deer was about to jump over the circle, and so they killed it. *Shemo* was angry at what they had done. At last, he killed the leader of the *Aer* tribe by his own hands, and made an oath saying the following words: “After the deer was killed, I worship Tängri God with human sacrifice ever since down to this day”. Then *Shemo* ordered his followers to catch and kill the descendants of the *Aer* tribe, and served human sacrifice to worship Tängri God. Even now, the peoples of the ancient Turks (*Tujue*) worship the standard of their tribes with human sacrifice, for this they choose to serve Tängri God as human sacrifice with those chosen among the *Aer* tribes. Now let us turn back to *Shemo*. Suddenly, *Shemo* killed one of the *Aer* tribe. At sunset he came back to his tent. The daughter of the Sea God visited him and said to *Shemo*: “You killed a man by your own hands, so you are smelling bloody and already defiled (the holy body)”. Then their relationship came to an end»³.

According to this myth, *Shemo* is described as the leader of the *Tujue* tribe, who has mysterious power to communicate with the Sea God through the daughter of the Sea God, i. e. Sea Goddess. And the white deer may be regarded as one of attributes of the holiness of the Sea God. This view may be supported by using the word *bai* in Chinese that is «white», because a corresponding word to this is *aq* in Turkish, which etymologically means «white color» and derivatively — «pure, superior», i. e. as a symbolic colour of the holiness among the nomad and hunting peoples of the Inner Eurasia⁴. Needless to say, in this mythology the white deer possessing golden horns is described as a symbol of mysterious power. In my opinion, the esteem of the deer must be traced back to nomad and hunting peoples of the Stone Age through the Neolithic Age, and then to those of the Scythian and Hun-Sarmatian periods. In the Old Stone Age the deer with the golden horns was considered as a symbol of the sun that can move from east to west

¹ On the mythology regarding female wolves as their ancestors among the *Tujue* tribe see «Sui shu». Chonguo shuju (Beijing, 1973): 84, 1863; and «Zhou-shu». Chongguo shuju (Beijing, 1971): 50, 907—908. On another version regarding male wolves as their ancestor among the *Gaoche* see «Bei shi» (Chronicle of the Northern Chinese dynasty). Zhong hua shu ju (Beijing, 1983): 98, 3270.

² *Shemo* can be pronounced as *Dzia Mua* in ancient Chinese phonetics [cf. Karlgren 1923: n. 865, no. 593] and this may be identified as Yamı Qaghan in the 1st line of the Ongi Inscription.

³ «Youyang zazu». Chongguo shixue congshu. 35 (Tai bei, 1985): 30—31 [cf. Imamura 1982: 241—243]. This story is also recorded in the «Taiping kuangji Chongguoshujiu» (Beijing, 1961): 480, 3957, with some difference that, however, gives no effect this interpretation.

⁴ As for the analysis of «white color» of the Turkic peoples see Laude-Cirtautas 1961: 40—50.

with shining the world [Okladnikov 1968: 239]. We know as well that the deer was commonly respected as the symbol of fertility, and it was often pictured as the representative animal of hunting game in the rock art of Inner Eurasia. Now, being aware of the narrative of our myth, one may note that it reflects a typical Altaic custom of hunting animals by surrounding them, with the culmination when a ruler kills the driven prey by his own hands [Baldick 2000: 48]. For example, we can read about such a scene in the *Īrq Bitig* («Fortune book») of the 10th century: «The army of the Qaghan went out to hunt. (Meanwhile) a roebuck came inside the circle. The Qaghan caught it with his hand. All his followers rejoice, it says. Know thus: (The omen) is good» [Tekin 1993: 26—27]. From this it follows that a success in hunting deers was regarded as a good omen for nomad peoples.

The deer can be regarded not only as a symbol of fertility since the Old Stone Ages, but also as one of sovereignty gifted by Tängri-God to nomad leaders. One may compare the latter meaning with the Turkic *qut* that means basically «the charisma imparted, distributed, or sent from Heaven to human beings, particularly to sovereigns» and is often met with in Old Turkic inscriptions [Mori 1981: 72]. In this sense, the deer is to be *qut* as a symbol of sovereignty. In addition, this reminds the same or similar relationship between Iranian kingship and Ahuramazda through the deer figure, which was considered as a symbol of *Xuwarnā* that means «glory, fortune, victory» for ancient Iranian kings and «good fortune, property, good luck» for the Iranian nobles, whom the Ahuramazda gave it¹. With regard to this, a picture carved on stone should be mentioned, bearing the representation of an enthronement ceremony of an ancient Turkic qaghan. It was discovered in the Ubtuin Aman, 30 km from Ulyastay, in the Hangay Mountains (northwestern Mongolia) by G. P. Potanin and, then, by E. Heanish and A. von Le Coq². It is to be noted that there two deer are sitting, facing to each other, in the place of legs on what can be identified as the carpet that was used in the enthronement ceremony of a new Turkic qaghan, according to the Chinese records³ [Кызласов 1998]. Therefore, the two deers are represented supporting the kingship of the qaghan.

So, we can say, bearing the legend of *Shemo* in mind, that he was first supported by the white deer, however, in the course of hunting he failed to catch it and so his relationship with the Sea God was discontinued. This means that *Shemo* lost his charisma to rule over ancient Turkic tribes.

The role of the silver deer of the Bilge Qaghan site of Mongolia. Now, I would like to support my theory with some archaeological data. First of all, it is the figure of silver deer that came to light as a part of the very rich garments excavated at the Bilge Qaghan site in the Orkhon steppes of Mongolia by researchers from Mongolia and Turkey under the TICA sponsorship in August 2002⁴. Right now, I have no information about measures of the silver deer; however, judging by photographs, it cannot be very big and seems miniature. It is important to quote in this connection the words of Menander the Guardsman who vividly talks about the stay of the mission of Zemarchus, an envoy of the Byzantine Empire, in the Turkic Qaghan's headquarters (568 A.D.). In particular, our source informs us as to the opulent ornaments inside the tent of the Turkic ruler Sizabul (i. e. the well known Istemi Qaghan): «On the following day, they [the Byzantines] came to another dwelling in which there were gilded wooden pillars and a couch of beaten gold which was supported by four golden peacocks. In front of this dwelling were drawn up over a wide area wagons containing many silver objects, dishes and bowls, and a large number of statues of animals, also of silver and in no way inferior to those which we make; so wealthy is the ruler of the Turks» [Blockley 1985: 120—121].

This description seems to be a close parallel to the treasure assemblage discovered in the Bilge Qaghan site. Our silver deer, like the other animal figurines from there, could symbolize both the ruler's sovereignty and fertility of his country during his lifetime; upon his death it probably turned into a symbol of the fertility and his revival in the next world. The golden and silver cups and vessels excavated from the same site are also small in their dimensions, and so may be regarded as ritual, funeral, things. Very interesting is what is written concerning such vessels and cups in the *Īrq Bitig*: «A woman went away, leaving behind her cups and bowls. Then she stopped and thought thoroughly. “Where am I going apart from my cups and bowls?”, she says. She again came back and found her cups and bowls safe and sound. She rejoices and becomes delighted, it says. Know thus: (The omen) is good» [Tekin 1993: 18—19, no. 42]. In my point of view, this situation must be interpreted as a description of the movement of this dead woman's spirit. After her death the spirit was flying away and drifting in the air, but it did not contend with this and so came back to her cups and bowls that were buried in her tomb, and she rejoiced. Therefore, the cups and

¹ Tanabe 1982: 64; Osawa 2001: 234—235.

² Le Coq 1929: Bd. 5, Taf. 32, no. 1/a, b.

³ «Zhou-shu»: 50, 909.

⁴ TICA 2002; 2003; 2004.

bowls buried in the tomb may be thought as a dwelling place of the spirit of the death. Of course, this conclusion concerns the rich funeral objects from the Bilge Qaghan site as well. The silver deer figurine from there certainly reflects the widespread of the cult of this animal among the ancient Turks.

Furthermore, we can observe the similar usage of the word «deer» in the funeral ceremony from the First Altun Köl Inscription (E-27), which was found in the steppe area along the Abakan River (in the middle Yenisei Basin), runs as follows:

(R3) altun Songa yis keyiki, artgıl, tog[g]ıl. tad içinge, Barsım adrılı bardı. Yıta! (Translation: «The wild animal of the golden Sunga Forest-Mountain, increase and revive! To the foreign peoples, my Bars departed [from me]. I am regretful!»)¹.

In this inscription, Bars bąg — the person whose honor is memorized here — is described as one of the noble leaders of the Yenisei Kirghiz tribes and a brave warrior as well. He had fallen in the battle, and this epitaph was built by his brothers and family. Here, we can see that the Kirghiz people prayed that the animal (meaning rather deer) would be numerous and revived in the golden Sunga Mountain so that their leader Bars would be not hungry in the next world. In particular, what is remarkable is that the word *keyik*, implying a beast and a deer, confirms that the Kirghiz people recognized the deer as a representative animal. The scenes showing the hunting of deers can be observed in the rock carving of the Sulek in Khakassia². Besides, the drawing of a deer is on a bone plate unearthed in Unga (the Angara river valley), where the Qurikan tribe lived³. It is especially important that a Turkic runic epitaph on a bone article also came from the same site, and so one can conclude that these artifacts belong to the ancient Turkic culture.

For the future, it seems needful to examine, from the point of view of the deer cult development, cultural contacts between the ancient Turkic tribes and neighboring peoples, particularly the Sogdians and the Chinese. Another task is to compare what is known about the deer cult in the midst of the early Turks with the role of this animal in the mythology of the «Secret History» of Mongols.

Bibliography

- Кызласов И. Л.* Изображение Тенгри Умай на сулекской писаннице // ЭО. 1998. № 4.
Маришак Б. И. Согдийское серебро. Очерки по восточной тюревтике. М., 1971.
Окладников А. П. Новые данные по истории Прибайкалья в тюркское время (Согдийская колония на р. Унге?) // Тюркологические исследования. Л., 1962.
Appelgren-Kivalo H. Alt-Altäische Kunstdenkmäler. Briefe und Bildermaterial von J. R. Aspelins Reisen in Sibirien und der Mongolei 1887—1889. Helsingfors, 1931.
Baldick J. Animal and Shaman, Ancient Religions of Central Asia. New York, 2000.
Blockley R. C. The History of Menader the Guardsman. Liverpool, 1985.
Laude-Cirtautas I. Der Gebrauch der Farbbezeichnungen in den Türkdialekten. Wiesbaden, 1961.
Clauson G. Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972.
Imamura Y. Youyang Zazu by Duanchensh. 1—5. Tokyo, 1982 (in Japanese).
Karlgren B. Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese. Paris, 1923.
Le Coq A. von. Steine mit Menschen Darstellungen aus der Mongolei // Ostasiatische Zeitschrift. Bd. 5. 1929.
Mori M. The Tu-chüeh Concept of Sovereign // Acta Asiatica. The Institute of Eastern Culture. 41. 1981.
Mori M. The Historical Studies of the Old Turkic Peoples. II. Tokyo, 1992 (in Japanese).
Okladnikov A. P. Ogonno Tonakai, Kita Ajiano Gannpekiga. Tokyo, 1968.
Osawa T. An Analysis of the figures with the tree-triangular headdress of the Sulek Rock carving in Republic of Hakassiya // The Studies of Languages and Cultures of the Middle East and Africa. Osaka, 2001 (in Japanese).
Sertkaya O. F., Alyılmaz G., Battulga T. Album of the Turkish Monuments in Mongolia. Ankara, 2001.
Tanabe K. The Golden camel and a two haped camel with wings of the Bukhara country // Orient. 25/1 (in Japanese).
Tekin T. Irq Bitig: The Book of Omens. Wiesbaden, 1993.
[TICA.] Turkish International Cooperation Agency. Treasury of Bilge Khagan was revealed by TICA. Eurasian File 145 Ankara, 2002.
[TICA.] Motar Dörcüncü saha Çalışmaları Tamamlandı. Eurasian File 15 Ankara, 2003.
[TICA.] Mogolistan' daki Türk Anıtları Projesi. Eurasian File 23. Ankara, 2004.

¹ This transcription and translation are based on: Mori 1992: 497, 500—501. According to Clauson, *keyik* means «wild four-legged gameanimals; wild goat; gazelle etc.» [Clauson 1972: 755a, b].

² Cf. Appelgren-Kivalo 1931: 77—81; Кызласов 1998; Osawa 2001.

³ Окладников 1963; Okladnikov 1968: 150—163; Mori 1992: 216—229.

РАЗДЕЛ 5

Varia

Д. Абдуллоев
(Санкт-Петербург,
Российская Федерация)

ДОИСЛАМСКАЯ ТРАДИЦИЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА У ТАДЖИКОВ (VII—XX вв.)

Средняя Азия является одним из очагов земледельческой культуры. Земледелие здесь зародилось с глубокой древности [Вавилов, Букинич 1929: 170—190]. Проблемы, связанные с земледелием, привлекали пристальное внимание историков, археологов, этнографов [Андреев 1958; Гулямов 1957; Мухиддинов 1989; Кисляков 1947; Рахимов 1957; 1966: 116—146; Кисляков 1969: 118—126; Якубов 1979; 1988]. Вместе с тем, до сих пор остается неизученным такой важный вопрос, как хранение зерна. Этой теме и посвящается настоящая заметка.

Незначительные сведения об основных видах зерновых культур, выращиваемых в Средней Азии в доисламское время, имеются в письменных источниках. Так, в китайских хрониках говорится, что существовали большие посевы зерновых, особенно пшеницы [Бичурин 1950: 280]. В согдийских документах с горы Муг сообщается, что возделывались такие виды зерновых культур, как пшеница, ячмень, просо [Боголюбов, Смирнова 1963: 12—20]. О больших посевах зерновых культур имеются сведения и в средневековых текстах.

Археологические материалы дополняют данные письменной традиции. Так, в замке Балалыктепе (VI—VII вв.) на юге Узбекистана были обнаружены зерна пшеницы, проса, маша [Альбаум 1960: 67—68]. Остатки проса, пшеницы, ячменя также были найдены на городище древнего Пенджикента и в замке на горе Муг [Данилевский, Кононов, Никитин 1940: 48]. Таким образом, судя по сведениям письменных источников и данным археологии, в Средней Азии в доисламское время сеяли в основном пшеницу, просо, ячмень и маш.

Перед тем, как перейти к вопросу хранения зерна, вкратце остановимся на процессе его транспортировки с тока в хранилища. Прекрасным иллюстративным материалом для этого является настенная роспись в парадном зале одного из домов VIII в. Пенджикента. Судя по остаткам больших зернохранилищ на втором этаже, дом, видимо, принадлежал зерноторговцу. На одной из стен этого зала был изображен ток зерна, который с одной стороны имеет пологий склон, а с другой, уже разобранной — крутой. С этой стороны коленопреклоненный мужчина, держащий цилиндрическую емкость с дуговидной ручкой, черпает зерно. Рядом стоит человек, который завязывает наполненный мешок. Справа от него мы видим момент передачи завязанного мешка с зерном от одного горожанина другому. Неподалеку от них стоят ослы белой и черной масти, готовые под погрузку (рис. 1) [подробно см.: Маршак, Распопова 1984: 108—116]. Как видим, зерно с тока на хранилище перевозили в мешках на ослах. Такие мешки из полосатой ткани, изображенные на этой росписи, бытуют у местного населения по настоящее время; они называемые по-таджикски «джувол» [Таджикско-русский словарь 1954: 519]. В персидско-таджикских толковых словарях XI—XIX вв. это слово дается в значении как вьючного зернового, так и всякого вьючного мешка [Фарханги забони точики 1969: 791; Бурхони котеъ 1993: 327; Гиес-ул-лугот 1987: 251]. Каким термином в доисламской Средней Азии назывался ток зерна — неизвестно. Судя по этнографическим данным, слово «ток» переводится как «хирман». Существовал обычай: перед тем, как забирать зерно с тока, надо было отдавать несколько тюбетеек зерна страннику или бедняку. Это называлось «божьей долей» («хаки олох») [Кисляков 1969: 118—120; 1947: 108—125]. Однако в средние века слово «хирман» обозначало сноп необмолоченного зерна («тудаи галла», «гарам галла») [Фарханги забони точики: 480, Тухфат-ул-ахбоб 1992: 204, Бурхони котеъ: 299, Гиес-ул-лугот: 301]. Ток обмолоченного зерна в это время назывался «чош» [Фарханги забони точики: 547; Тухфат-ул-ахбоб: 213; Гиес-ул-лугот: 255]. В современном таджикском языке ток обмолоченного и необмолоченного зерна называется «хирман» [Таджикско-русский словарь: 422], но встречается слово «чош» [Там же: 446]. Следует отметить, что и в настоящее время, как и в доисламскую эпоху, транспортировка зерна с тока в хранилище нередко осуществляется в мешках на ослах.

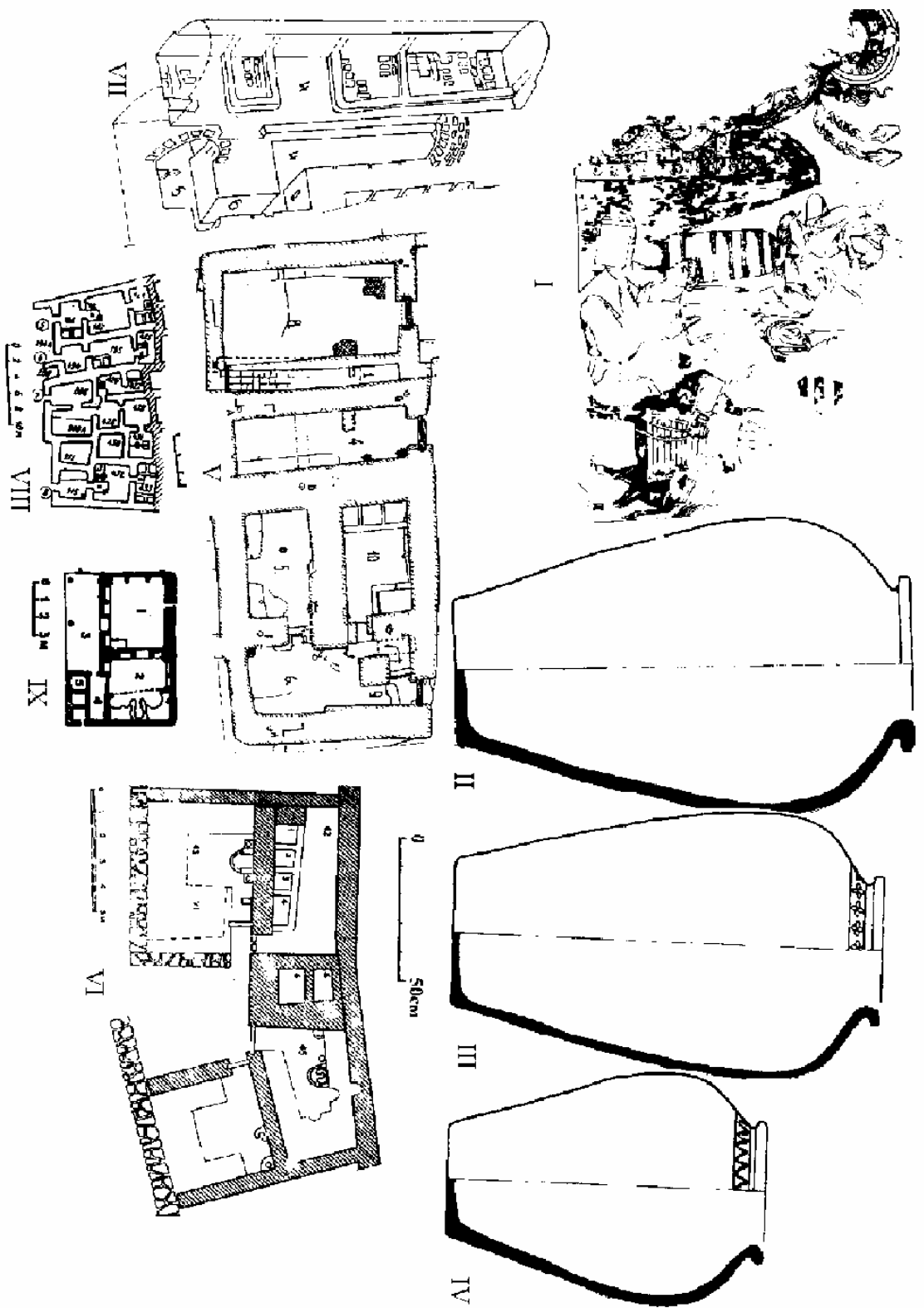


Рис. к статье Д. Абдыримова

Теперь перейдем непосредственно к вопросу о хранении зерна. Об этом почти нет сведений в письменных источниках, однако на этот счет имеются археологические материалы. Для VII—VIII вв. ценные данные были получены при раскопках Пенджикента и горных поселений Согда в Верховьях Зарафшана. Они показывают, что существовали несколько способов хранения зерна:

1) Хранение в мешках («чувол»). Этот способ является самым простым и доступным. Мешки были матерчатые и кожаные. Возможно, на упомянутом выше фрагменте стенописи из Пенджикента был изображен шерстяной мешок. Подобные мешки с ленточным орнаментом в настоящее время горные таджики ткнут из шерстяных ниток на станках и называют их «чувол». В них вмещается от 50 до 80 кг зерна. Хотя этот способ хранения не защищает зерно от грызунов, он до сих пор распространен среди местного населения. Большим спросом также пользовались и кожаные мешки. Так, в документе Б-1 с горы Муг говорится, что Фармандар выдал некоему Ширеару два, Пиву один, Номпиру четыре кожаных мешка [Боголюбов, Смирнова: 45]. Кроме того, фрагменты кожаных мешков были обнаружены в замке на горе Муг [Якубов 1979: 91].

Судя по этнографическим данным, кожаные мешки назывались «саноч». В них помещалось от 3 до 5 пудов зерна [Материальная культура таджиков 1973: 138]. Следует отметить, что слово «саноч» в джагатайском диалекте тюркского языка обозначало кожаный мешок для хранения зерна и муки [Будагов 1869: 616]. В персидско-таджикских толковых словарях XI—XVIII вв. оно отсутствует. Возможно, слово «саноч» в таджикский язык вошло в конце XVIII в. с джагатайского. В «Таджикско-русском словаре» [341] оно дается в значении мешка из шкуры животного для хранения и перевозки жидкостей, например вина. В настоящее же время таджики не хранят зерно в кожаных мешках, да и само слово «саноч» вышло из употребления.

2) Хранение зерна в ямах («чох»). Судя по археологическим данным, этот способ хранения в доисламское время был не очень популярен. Пока он зафиксирован в некоторых жилищах Пенджикента. Так, автором этих строк в одном из помещений богатого домовладения в центральной части городища была обнаружена яма диаметром около 1 м, вырытая под полом и перекрытая трапециевидными кирпичами, под которыми находился слой гальки. В ней были обнаружены остатки проса.

Археологические и этнографические материалы свидетельствуют о том, что в мусульманское время хранение зерна в ямах получает широкое распространение. Такие ямы были обнаружены в жилищах XIII—XV вв. на городище Отрар в Южном Казахстане. Здесь, так же как и в Пенджикенте, устья ямы, как правило, выкладывали сырцовыми кирпичами. Размеры этих ям почти идентичны пенджикентским: диаметр 1,2 м, глубина около 2 м. Однако, в отличие от пенджикентских, их стенки были обмазаны глиной. В некоторых из них были обнаружены зерна пшеницы [Акишев, Байпаков, Ерзакович 1987: 52, 61, 64].

Согласно этнографическим данным, яма для хранения зерна называлась «чох» [Таджики Каратегина и Дарваза 1970: 72, 81, Материальная культура таджиков: 63—64]. Ее устраивали в полу помещения глубиной от 2 до 3 м, диаметром внизу 2 м, сверху — около 1 м. Стенки и дно ямы обмазывали глиной, а в некоторых горных районах облицовывали большими каменными плитами. Перекрытие ямы находилось на уровне пола помещения. Оно состояло из бревен, на которые укладывали каменные плиты или булыжники и замазывали глиной. Для доступа в яму в нем оставляли отверстие, в которое мог пролезть человек. Отверстие закрывалось крышкой. Ямы устраивали в сухих, не имеющих подпочвенной влаги местах с тем, чтобы зерно не сгнивало.

3) Хранение зерна в больших керамических сосудах («хунба, «ханба») (рис. II—IV). Судя по археологическим данным, этот способ был широко распространен в Средней Азии с древнейших времен до XV в. Объем пенджикентских сосудов достигал 250—300 кг, но они могли быть и поменьше, объемом в 150—200 кг. Такие сосуды ставили в специальных помещениях, на полу вдоль стен, на суфах или на невысоких от пола деревянных полках. В частности, на городище Отрар в углу одного из помещений на полу был обнаружен керамический сосуд высотой 0,7 м с остатками зерна [Акишев, Байпаков, Ерзакович 1987: 42]. Другой способ установки сосудов для хранения зерна — их вкапывание в пол до самого венчика.

Этнографически способ хранения зерна в больших керамических сосудах не зафиксирован. Точное название и назначение этих сосудов дают средневековые персидско-таджикские толковые словари. Так, в «Убахи» (XV—XVI вв.) говорится, что «хунба» — это большой и длинный керамический сосуд для хранения зерна [Тухфат-ул-ахбоб: 204]. «Бурхони котей» [403] дает почти такое же определение, однако сосуд назван «ханба». Слово «хунба» в «Фарханги забони точки» — это большой хум из глины или дерева, в котором хранили зерно или муку. Там же приводится пример из «Лугати фурс», где это слово дано в том же значении [Фарханги забони точки: 505—506].

Таким образом, судя по сведениям средневековых толковых словарей, большой керамический сосуд для хранения зерна назывался «хунба» или «ханба». Однако это слово в толковых словарях XIX в. не встречается. О прекращении такого способа хранения зерна с XIX в. также свидетельствуют этнографические данные. Возможно, это было связано с присоединением Средней Азии к России и, в связи с этим, с широким применением в быту местным населением промышленных товаров, в частности, дешевого мешка из мешковины.

4) Хранение зерна в помещениях со специальными пристенными отсеками («хамба», «хамма»). Согласно археологическим и этнографическим данным, этот способ существовал с VII до середины XX вв. После предыдущего (3) он занимал второе место по популярности. Почти во всех городских и пригородных жилищах Пенджикента (рис. V) и на поселениях горного Согда (рис. VI) существовали специальные помещения с пристенными отсеками для хранения зерна. В одном помещении могли располагаться от одного до нескольких таких отсеков. Они сооружались из сырцового кирпича. Толщина их внешних стенок была около 25—30 см, высота стенок достигала от 0,5 м до 1,5 м. Они изнутри были обмазаны алебастром. Обмазка предохраняла зерно от грызунов. В помещениях с пристенными отсеками могло храниться от 1,5 до 3 т зерна. Такое количество зерна, видимо, предназначалось для одной семьи. Вместе с тем, существовали специальные помещения с большими пристенными отсеками, где помещалось более десятка тонн зерна, возможно, для продажи. Такое хранилище было обнаружено автором этих строк в одном из жилищ Пенджикента. Оно было разделено на пять отсеков. Стенки отсеков сохранились не полностью, но тем не менее можно установить высоту (1,2 м). Толщина их стенок, сложенных из сырцового кирпича, 0,3 м. Первый отсек — самый большой — размером 3,65×1,7 м, второй — 2×1,7 м, третий — 1,9×1,7 м, четвертый — 1,5×1,7 м, пятый — 2,55×1,7 м. Все полы отсеков были вымощены из обожженным кирпичом. Стенки и полы отсеков были обмазаны тонким слоем алебастровой штукатурки. Отсеки при полном заполнении их могли вместить 16—17 т зерна (рис. VII).

Похожие помещения с отсеками для хранения зерна были обнаружены в жилищах XIII—XV вв. в Отраре (рис. VIII). Здесь также в каждом помещении встречались от одного до нескольких отсеков. Они аналогичны пенджикентским как по размерам (0,7×0,6 м, 1,2×0,6 м, 1,75×1,6 м), так и по толщине стенок (20—30 см) [Акишев, Байпаков, Ерзакович 1987: 39, 53, 59, 65, 89]. Как назывались такие помещения с отсеками — неизвестно. В средневековых персидско-таджикских толковых словарях о них нет сведений. В «Таджикско-русском словаре» [418] помещения с отсеками для хранения ячменя и пшеницы названы «хамма». Судя по этнографическим данным, они назывались «хамба» [Материальная культура таджиков: 62]. По своей конструкции они ничем не отличаются от доисламских и средневековых (рис. IX). Кроме того, этим термином также назывались лари, представляющие собой глиняный ящик на четырех ножках [Материальная культура таджиков: 63].

Таким образом, доисламские традиции хранения зерна почти без изменения сохранились до наших дней, за исключением способов хранения в «хунба» и в специальных помещениях с большими отсеками.

Библиография

Источники

Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. II. М.: Л., 1950.

[Бурхон] Мухаммадхусейни Бурхон. Бурхони котеъ. Ч. 1. Душанбе, 1993.

[Гиесиддин] Мухаммад Гиесиддин. Ч. 1, 2. Душанбе, 1987.

Таджикско-русский словарь. Лугати тоҷики-руси. М., 1954.

[Убахи] Хофизи Убахи. Тухфат-ул-ахбоб. Душанбе, 1992.

Фарханги забони тоҷики (аз асри X то ибтидои асри XX). Ч. 1, 2. М., 1969.

Исследования

Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзакович Л. Б. Отрар в XIII—XV веках. Алма-Ата, 1987.

Альбаум Л. И. Балалык-Тепе. Ташкент, 1960.

Андреев М. С. Таджики долины Хуфа. Вып. II. Сталинабад, 1958.

Боголюбов М. Н., Смирнова О. И. Хозяйственные документы с горы Муг. М., 1963.

Вавилов Н. И., Букиннич Д. Д. Земледельческий Афганистан. М.; Л., 1929.

Гулямов Я. Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. М., 1957.

Данилевский В. В., Кононов В. Н., Никитин В. А. Исследования растительных остатков из раскопок согдийского замка на горе Муг в Таджикистане // Труды Таджикской базы АН СССР. Т. VIII. 1940.

- Кисляков Н. А.* Старинные приемы земледельческой техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна реки Хингоу // СЭ. 1947. № 1.
- Кисляков Н. А.* Некоторые материалы по сельскохозяйственной терминологии у таджиков // СЭ. 1969. № 3.
- Маршак Б. И. Распопова В. И.* Согдийское изображение Деда-Земледельца // Вопросы древней истории Южной Сибири. Абакан, 1984.
- Материальная культура таджиков* верховьев Зарафшана. Душанбе, 1973.
- Мухиддинов И.* Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима. М., 1975.
- Мухиддинов И.* Реликты доисламских обычаев и обрядов у земледельцев Западного Памира. Душанбе, 1989.
- Рахимов М. Р.* Земледелие таджиков бассейна реки Хингоу в дореволюционный период (историко-этнографический очерк). Сталинабад, 1957.
- Рахимов М. Р.* Сельское хозяйство // Таджики Каратегина и Дарваза. Вып. 1. Душанбе, 1966.
- Якубов Ю.* Паргар в VII—VIII веках нашей эры. Душанбе, 1979.
- Якубов Ю.* Раннесредневековые сельские поселения горного Согда. Душанбе, 1988.

РОЛЬ А. Н. ОЛЕНИНА В ОПРЕДЕЛЕНИИ НАУЧНОЙ ЦЕЛИ
ЭКСПЕДИЦИИ Р. КЕР ПОРТЕРА В ИРАН

В статье о рисунках ахеменидских и сасанидских памятников, выполненных Робертом Кер Портером (1777—1842), мы уже указывали на то, что именно благодаря научным интересам и наставлениям Алексея Николаевича Оленина (1763—1843) путешествие Р. Кер Портера в Иран в 1817—1820 гг. стало носить характер научной археологической экспедиции [Vasileva 1996: 340]. Это же отметила и Е. Ренне [Ренне 2002: 159—160]. В последние годы стали известны некоторые факты биографии Кер Портера, которые объясняют действительные мотивы, побудившие Кер Портера отправиться в Персию, и раскрывают обстоятельства, способствовавшие осуществлению его намерения [Ancketil]. В этой связи напомним ход событий и еще раз обратим внимание на большой опыт и требовательность А. Н. Оленина, предъявляемую к рисункам предметов материальной культуры и древних произведений искусства. Опубликованное нами ранее в переводе на английский язык Представление А. Н. Оленина в Министерство духовных дел и народного просвещения об итогах экспедиции и заслугах Кер Портера публикуется здесь полностью в том виде, в котором оно сохранилось в архиве (на русском языке).

Руины Персеполя и Пасаргад, клинописная надпись и барельеф на скале Бехистун, Сасанидские скальные барельефы в Накш-и Рустам, Накш-и Раджаб, Так-и Бостан и других местах Ирана были известны европейским ученым начала XIX в. по публикациям XVIII в.: Шардена (1711), Ла Брьюна (1718) и Нибура (1776—1780). В начале XIX в. Иран посетил Дж. Морьер (1812). Во всех указанных изданиях древнеиранские памятники представлены в виде гравюр, выполненных по рисункам либо непрофессиональных художников, либо по беглым наброскам, показывающим, что у художников не было достаточно времени и опыта документального изображения исторических памятников. По таким рисункам трудно было представить настоящие очертания памятников, их стиль и художественные достоинства. Они дают представление о содержании рельефов в отвлеченной манере. Рисунки разных авторов, изображающие один и тот же рельеф, значительно отличаются друг от друга. К тому же, граверы не учли, что при оттиске изображение будет зеркальным.

На эти публикации особое внимание обратил А. Н. Оленин, изучавший искусство и культуру древних народов. Памятники очень его заинтересовали, но изображения их на рисунках вызвали у А. Н. Оленина большое недоумение. Выбрав один и тот же рельеф, представленный в публикациях четырех путешественников по Персии, Оленин в 1817 г. заказал копии с гравюр из упомянутых изданий, чтобы соединить их на одном листе для наглядного сопоставления и обратить внимание ученых на различие. Единственным способом выяснить, какой из рисунков более всего соответствовал оригиналу, было сличение рисунков с подлинными памятниками. Для этого необходимо было организовать экспедицию в Иран, и А. Н. Оленин обдумывал такую возможность. Своим безупречным чутьем историка, глубокого знатока и ценителя искусства он предвидел, что древнеиранские памятники интересны как с исторической, так и с художественной точки зрения.

В то же время в Санкт-Петербурге английский художник Р. Кер Портер готовился к путешествию по Персии. Приехавший в Россию еще в 1805 г. в чине капитана (в 1803 г. под воздействием политической ситуации он по примеру своих братьев вступил в ряды Вестминстерского милиционного ополчения), Кер Портер исполнил заказ императора Александра, украсив портретом Петра I и батальной живописью главный зал Адмиралтейства. Но в 1807 г., после прекращения дипломатических отношений между Россией и Англией, ему пришлось покинуть Петербург, и он отправился путешествовать по Финляндии и Швеции, а затем посетил Германию и Испанию, ожидая возможности вернуться в Россию. В 1809 г. в Лондоне он опубликовал «Путевые заметки, сделанные в России и Швеции в 1805—1808 годах»; издание содержит 41 иллюстрацию — гравюры по рисункам автора с видами Москвы, Петербурга, Стокгольма, пейзажами и этнографическими зарисовками, среди рисунков портрет короля Швеции Густава IV. В 1808 г. Кер Портер вместе с сэром Джоном Муром стал участником войны на Пиренейском полуострове; в 1810 г. он анонимно опубликовал «Письма из Португалии и Испании», в которых описал военные сражения с флотом Наполеона. Более четырех лет ждала его в России невеста — княжна М. Ф. Щербатова, кузина А. Н. Оленина. Лишь 7 февраля 1812 г. состоялась их свадьба. В этом же году армия Наполеона вторглась в пределы России, и началась Отечественная война, очевидцем которой стал Кер Портер. Он дал подробный отчет об этих событиях в книге «Рассказ о кампании в России в 1812 году», где высоко

оценил патриотизм русских людей [Ренне 2002: 151—163]. Перечисленные выше публикации содержат непосредственные впечатления автора. Рисунки, гравированные в некоторых изданиях, возможно, претерпели качественные изменения от руки гравера.

Многие достоинства деятельной и незаурядной личности Р. Кер Портера описала Е. Ренне, подчеркнув большой интерес, который Кер Портер проявлял к политике. Путешественником он стал вынужденно, в ожидании возможности вернуться в Россию для заключения брака с княжной М. Ф. Щербатовой. Писать и публиковать записки его поощряла сестра Джейн, которая сама была писательницей и хорошо знала, что было интересно английскому обществу и могло, к тому же, принести некоторый доход. После заключения брака Кер Портер стремился при помощи родственных связей получить пост атташе в Англии, куда намеревался переехать с семьей, либо дипломатический пост в Петербурге.

В 1815 г. Петербург проездом посетил британский консул в Персии — сэр Гор Оузли, возвращавшийся из Тегерана в Лондон. Как известно, А. Н. Оленин имел с ним встречу по поводу прочтения поврежденной надписи на персидском языке, вычеканенной на золотом кольце [Васильева 2003: 51—54]. В тот же приезд с ним беседовал и Кер Портер. После увлекательных рассказов сэра Гора Оузли о Персии он обсуждал с ним возможность поступить туда на дипломатическую службу. С тех пор мечта о Персии постоянно волновала воображение Кер Портера [Ancketil: 320]. В январе 1816 г. его интерес к Персии еще более усилился после того, как он познакомился с прибывшими в Петербург членами персидского посольства и особенно подружился с послом мирзой Абу-л-Хасан-ханом. Однако, несмотря на ходатайство сэра Гора Оузли и других лиц, Кер Портеру не удалось получить дипломатический пост в Персии. Только благодаря рекомендации Абу-л-Хасан-хана, который заочно представил его принцу Аббасу-мирзе — в кабинете Аббаса-мирзы висел гравюрный оттиск картины Кер Портера «Битва при Серингапатаме» — Кер Портер получил частное и весьма лестное для него приглашение от персидского принца совершить продолжительное путешествие по Персии [Ancketil: 321—324, British Library, Add. MS 14758, 211—215]. Художник, наслышанный о любви принца к лошадям, надеялся написать для него в течение нескольких месяцев еще одну или две батальные сцены [Ancketil: 325].

Ожидая к началу мая курьера, с которым он намеревался ехать от Петербурга до Константинополя, Кер Портер стал посещать Публичную библиотеку, интересуясь картами Персии. Он получил от Джейн из Англии учебник грамматики персидского языка У. Джонса и персидско-английский словарь. В 1812 г. вышла книга его соотечественника Дж. Мориера «Путешествие в Константинополь через Персию, Армению и Малую Азию» с рисунками автора; Кер Портер просил Джейн выслать ему эту книгу из Англии. Но книга вовремя не пришла, и ему пришлось взять с собой в путешествие издание этой книги на французском языке [Ancketil: 325]. Кер Портер обсуждал с Джейн будущую публикацию описания своего путешествия. Он надеялся найти в Персии много любопытного для английского общества, к тому же полная независимость, которую ему предоставлял персидский двор, обещала принести свои плоды. Он собирался посетить Персеполь и Керманшах и сделать там зарисовки, а также сосредоточить свое внимание на всех интересных деталях и подробностях, которые можно было бы выгодно представить в публикации [Ancketil: 320—325]. Среди интересов Кер Портера политика и военные вопросы занимали весьма существенное место [Ренне 2002: 161—162].

Научные же интересы А. Н. Оленина всегда были сосредоточены на древней истории и древних памятниках. Кропотливый исследователь, он приобрел большой опыт рисовальщика и гравера. Изучая появившиеся в Европе в последние столетия труды Б. де Монфакона, графа П. Келюса, Ленуара, Виллемена, Струдта и многих других, Оленин, несмотря на все достоинства этих трудов, давно уже досадовал на «большую неисправность гравированных в них рисунков», изображающих памятники [Архив ИИМК РАН, Ф. 7, № 27, л. 22]. По примеру названных авторов, он замыслил подготовить издание «Древностей Российского государства», так как считал необходимым зафиксировать уцелевшие памятники древнерусской архитектуры, скульптуры, монументальной живописи и этнографии в виде абсолютно точных рисунков, дающих верное представление о памятнике, и снабдить такие рисунки краткими аннотациями. Тщательно продумывал он разделы издания, систематизированные по отдельным темам, а также разработал жесткие требования к художникам, которым приходилось делать рисунки предметов искусства и этнографии, и методику выполнения таких рисунков:

1) Прежде всего, чтобы делать рисунки с произведений искусства, необходимо иметь хорошую практику.

2) Глаз художника должен безукоризненно точно уловить «истинный характер предмета», его очертания. Без этого даже самый превосходный рисунок не может соответствовать поставленной цели, то есть точному изображению предмета.

3) Художник не должен пытаться «исправить» предмет, приукрасить его, или скрыть недостатки, добавить утраченный фрагмент, дабы дать возможность исследователю определить назначение предмета, эпоху, страну, а иногда и личность, которой этот предмет мог принадлежать.

Иными словами, художник, выполняющий такой рисунок (назовем его условно «археологическим». — *Н. В.*), должен быть самым строгим портретистом, «не обращающим внимания на кажущуюся некрасивость предметов». «Рабски» повторять очертания и характер оригинала. Не всякий художник, по мнению А. Н. Оленина, годился для выполнения таких рисунков. Самому прилежному иногда необходимы были годы, чтобы достичь хороших результатов. Оленин требовал такой же безупречной точности и от мастеров гравировального искусства, делающих по «археологическим рисункам» гравировальные доски для публикации гравюр в издании. Он сам хорошо владел «археологическим рисунком» и гравировальным мастерством и всегда пристально следил за выполнением таких работ. Постепенно Оленин расширял кругозор художников, указывал литературу, побуждая изучить не только памятник, который приходилось рисовать, но и эпоху его создания, историю. Его наблюдение за работой художников продолжалось до тех пор, пока он окончательно не убеждался, что художник достиг хороших результатов и далее мог совершенствоваться в своем мастерстве сам.

Когда А. Н. Оленину стало известно о намерении Р. Кер Портера путешествовать по Персии, он показал художнику несоответствующие друг другу в деталях рисунки знаменитых путешественников Шардена, Ла Бройна, Нибура и Мориера и попросил сопоставить эти рисунки на месте с оригиналами, чтобы выяснить, чьи рисунки точнее и ближе к оригиналу. Он также предложил Кер Портеру самому сделать точные рисунки ахеменидских и сасанидских наскальных рельефов, руин Персеполя и надписей, руководствуясь разработанными им правилами. Пояснил, какая неоценимая это услуга для науки. Предложение Оленина было принято охотно и с благодарностью, о чем Кер Портер неоднократно вспоминает на страницах своего дневника. В отношении его к исследованию персидских памятников древности чувствуется влияние Оленина, который, наверное, порекомендовал и исторические труды, которые Кер Портер взял с собой в путешествие. До отъезда было еще время подготовиться, так как почтовый курьер вместо начала мая прибыл в начале августа.

Находясь в Персии, в процессе работы Кер Портер все более и более стремился к исключительной точности в рисунке, неукоснительно следуя наставлениям А. Н. Оленина. Правила выполнения «археологического рисунка», а также задачи, стоящие перед художником, Оленин изложил в «Письме» на французском языке, которое вручил Кер Портеру накануне его отъезда из Петербурга 4 августа 1817 г. Копия «Письма государственного секретаря Оленина сэру Кер Портеру» опубликована [Vasileva 1996: 343—346]; его можно рассматривать как научную статью. В «Письме» поставлена задача выяснить, что собой представляют персидские древности, и изложены методы обследования памятников и копирования надписей. Во время путешествия Кер Портер вел с Олениным переписку и отчитывался о проделанной работе, обсуждал маршрут путешествия. Он был не только «одержим» желанием послужить науке, но также как художник и ценитель искусства восхищался творениями древних мастеров и все более увлекался историей Персии.

Советы А. Н. Оленина легли на благодатную почву. Он был глубоко удовлетворен результатами работы Р. Кер Портера и постарался сделать все возможное, чтобы бесценные оригиналы навсегда остались в Петербурге, в Публичной библиотеке. Оленин первым высоко оценил научное значение точных рисунков Кер Портера и до конца своих дней пользовался именно этими рисунками для исследования персидского вооружения, костюма, конского снаряжения [Васильева 1995: 246—247]. Выполненные в трудных условиях, под палящим солнцем, с исключительным старанием и несомненным талантом рисовальщика, рисунки Кер Портера требовали достойной награды, и А. Н. Оленин пытался ее для него выхлопотать. Об этом свидетельствует документ, хранящийся в РГИА, в котором Оленин, описывая и подчеркивая заслуги художника, о своем участии упоминает весьма скромно [Ф. 733, оп. 15, дело 77, л. 1—4]:

Министерство Духовных Дел и Господину Министру Народного Просвещения Духовных Дел и Народного Просвещения

Департамент Народного Просвещения

Отделение III

Стол I

О приношении Г-ном Кер Портером

В дар Императорской Публичной Библиотеке подлинных рисунков

Путешествия его в Персию
5 июля 1821
От директора Императорской Публичной Библиотеки

Трудное, смелое и полезное во многих отношениях предприятие, путешествовать по Южной Персии, единственно в пользу наук и художеств выполнено было весьма удачно, известным Вашему Сиятельству англичанином г-ном Кер Портером.

Окончив благополучно сие важное предприятие, он в прошлом году возвратился в Россию с богатою добычею для наук, а более того для художеств. По искренней приверженности и по предпочтению к Особе нашего Государя Императора, г-н Кер Портер пожелал, чтоб французское издание путешествия его в Персию было украшено именем Его Величества.

Государь Император Всемилостивейше на сие благоволил и г-н Кер Портер немедленно отправился в Англию и во Францию для напечатания своего путешествия на обоих языках. Распорядясь сим делом, он возвратился опять в Россию в нынешнем году, и ожидая к будущей осени присылки некоторых уже печатных экземпляров, он занимался здесь приведением в порядок привезенных им из Персии подлинных рисунков, чертежей и карты некоторой части сего государства на местах им рисованных и поверенных, которые служили материалами к изданию его путешествия. Сию драгоценнейшую коллекцию он решился принести в дар здешней Императорской Публичной Библиотеке и на сей конец доставил мне оную в богатом переплете при письме на французском языке, с которого копию при сем прилагаю, а равным образом и самую сию книгу для поднесения, если Ваше Сиятельство рассудит, на Высочайшее воззрение.

Представляя на уважение Ваше сей драгоценный подарок, особенно в отношении художеств, я должен объяснить почему к таковому его почитаю. Сколько бы копии с оригинальных рисунков и с чертежей в гравированных досках ни были тщательно сделаны, но всегда в подлинниках останется сила мастерской свободной руки и некоторая характеристика, которые почти невозможно сохранить в подражаниях, а потому коллекция, подаренная г-м Кер Портером Императорской Публичной Библиотеке, будет всегда иметь существенную и великую цену для ученых, художников и любителей. Я уверен по известной мне ныне страсти многих богатых англичан к собиранию редких книг и особенно рукописей, что они многого бы не пожалели для приобретения сего сокровища. Но оно, к счастью, теперь уже принадлежит Императорской Публичной Библиотеке.

В случае, если б сие приношение г-на Кер Портера обратило на себя Всемилостивейшее Его Императорского Величества внимание, то может быть Вашему Сиятельству угодно бы было предварительно знать покорнейшее мое мнение о средствах к изъявлению г-ну Кер Портеру приличного возмездия, за его бескорыстное пожертвование.

На сей конец и осмеливаюсь представить, что в постановлениях, Высочайше учрежденных для Императорской Публичной Библиотеки, а именно в начертании подробных правил для управления сею Библиотекою Высочайше утвержденных в 23-й день февраля 1812 года в 95-й статье сказано: «Всякое пожертвование, сделанное частными людьми в пользу Императорской Публичной Библиотеки к приращению хранящихся в ней сокровищ, будет принято с отменным уважением правительства; имя дарителя, если оно известно, с Высочайшего дозволения припечатается в Публичных ведомостях, и в самой Библиотеке написано будет на столбах, внутренность сего здания украшающих. Сверх того, по важности сделанного пожертвования, даритель в возмездие за усердие его к общей пользе, ожидать может и других знаков Монаршего благоволения».

К сему Всемилостивейшему постановлению, уже много пользы принесшему Императорской Публичной Библиотеке, я полагаю применить 12-ю статью изданного в 12-й день декабря 1801-го года Высочайшего Манифеста о восстановлении Ордена Св. равноапостольного князя Владимира, коею дается право на получение сего ордена и тем, «кто редкими дарованиями и трудами в кругу человеческих познаний обратил на себя внимание не только Российских, но и иностранных знатнейших ученых обществ до того, что сочинение его сделалось классическим, или по крайней мере в ученых рассуждениях приемлется за основание».

Руководствуясь сим постановлением можно соразмерить степень награды с драгоценностью приношения.

Предавая все сие в благосклонное усмотрение Вашего Сиятельства и во Всемилостивейшее внимание Государя Императора посредством начальнического Вашего ходатайства, я в заключение сего излишним полагаю несколько распространиться о достоинствах труда предпринятого г-ом Кер Портером.

Занимаясь в свободные часы от службы по особой моей страсти к древностям всем, что до сей части касается, в том числе и чтением путешествий, я заметил, что знаменитые путешественники, изобразившие нам развалины Персеполиса и другие памятники древней персидской славы, а именно: Шарден, Фон-Брюйн, Нибур и Мориер, одни и те же предметы представили нам в разных совсем видах. Удивленный сими несходствами, я выбрал самые из них разительные и приказал оные тщательно и с отличною точностью с подлинников выгравировать, предполагая сие странное обстоятельство предста-

вить на суд ученых людей. Едва я успел кончить мою работу изготовлением прилагаемых при сем гравированных картин — (приложение: литера А), как вдруг г-н Кер Портер открыл мне свое намерение ехать в Персию по стопам вышеупомянутых путешественников для обозрения на месте всех тех памятников древностей, которые они в своих путешествиях столь небрежно представили. Намерение г-на Кер Портера остановило мое собственное предприятие, я рассудил поверить ему изготовленные под присмотром моим рисунки, дабы он на самих местах уже мог открыть, кто из сих путешественников прав — или неправ. На сей конец я положил на бумагу мысли мои, каким образом для пользы наук и художеств должно действовать в подражаниях с древних памятников. Г-н Кер Портер, как человек просвещенный и несамолюбивый принял мои предложения с изъявлением чувствительной своей благодарности. Несколько раз он ее повторял в самых тех местах, где он под знойным небом, не жалея здоровья своего и презирая все опасности, спокойно поверял работу предшественников его с самими подлинниками.

Со временем я надеюсь издать в свет мой малый труд для сведения ученых, художников и любителей древности. Но до того времени я представлю оный при сем для любопытства Вашему Сиятельству, может быть Вы рассудите оный поднести на благоусмотрение Его Императорского Величества, в свободную от дел минуту. В третьем и последнем из сих рисунков я представил для сравнения одни и те же три Персеполитанских фигуры, взятых из путешествий Шардена, Фон-Брюйна и Нибура, с таковыми же фигурами, рисованными г-м Кер Портером.

Привезенные в Англию сэром Гор Оузли настоящие обломки сих знаменитых памятников, напоминающих Ксерксовы и Дариевы времена разными на них изображенными барельефами торжественно доказать могут исправность рисунков г-на Кер Портера в сравнении с его предшественниками: Шарденом, Фон-Брюйном, Нибуром и даже г-ом Мориером.

Г-н Кер Портер просил меня довести до сведения Государя Императора, что вслед за изданием путешествия его по древней, или классической части Персии, он намеревается издать наблюдения свои о нынешнем состоянии сего государства. На сей конец он изготовил уже несколько рисунков, из коих для примера он доставил мне два, которые при сем имею честь представить в приложении Б, с тем что может быть Вашему Сиятельству угодно будет оные показать Его Императорскому Величеству.

Директор Алексей Оленин

Приведенные материалы позволяют считать путешествие Роберта Кер Портера первой археологической экспедицией в Иран, а А. Н. Оленина — ее научным руководителем и консультантом. Следует отметить, что Кер Портер был удостоен высокой чести быть гостем персидского двора. В Тегеране он был представлен Фатх-Али-шаху и в числе его гостей присутствовал на празднике Ноуруз. Он рисовал портрет шаха и получил от него пропуск (фирман) на свободный проезд по всей стране, обеспечение продовольствием и всем необходимым, а также сопровождающими людьми.

Библиография

Исследования

Васильева Н. Е. Альбом Р. Кер Портера с рисунками древних памятников скульптуры и архитектуры // Эрмитажные чтения 1986—1994 гг. памяти В. Г. Луконина. СПб., 1995.

Васильева Н. Е. Золотой перстень с надписью на персидском языке // 300 лет иранистике в Санкт-Петербурге. Материалы международной конференции. СПб., 2003.

Оленин А. Н. Рязанские русские древности, или Известия о старинных и богатых великокняжеских или царских убранствах, найденных в 1822 году близ села Старая Рязань. СПб., 1831.

Оленин А. Н. Археологические труды. Т. 1. СПб., 1877.

Ренне Е. Художник сэра Роберт Кер Портер в России // Наше наследие. 2002.

Vasileva N. E. About the History of Sir Robert Ker Porter's Album with his Sketches of Achaemenid and Sassanian Monuments // AMI. NF. Bd. 27 (1994). 1996.

Архивные материалы

Архив ИИМК РАН. Ф. 7. № 27; № 83 и др.

РГИА. Ф. 733. Оп. 15. № 77. Л. 1—4.

Ancketil M. D. Strange Destiny (Рукопись) // Оксфорд. Сент-Антониз-Колледж. Архив.

British Library. Add. MS 14758. 211—215.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АДД	Автореферат докторской диссертации.
АКД	Автореферат кандидатской диссертации.
АН	Академия наук.
АО	Археологические открытия. М.
АРТ	Археологические работы в Таджикистане. Душанбе.
АСГЭ	Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.
БСАГУ	Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. Ташкент.
ВАН	Вестник АН СССР. М.
ВВ	Византийский временник. М.
ВДИ	Вестник древней истории. М.
ВЛГУ	Вестник Ленинградского государственного университета. Л.
ВОН	Вестник общественных наук.
ДАН	Доклады Академии наук.
ДПДР	Древности Поволжья и других регионов. Нижний Новгород.
ЗВОРАО	Записки Восточного Отделения Российского Археологического Общества. СПб.
ЗНОРАО	Записки Нумизматического Отделения Императорского Русского Археологического общества. СПб.
ИАН	Известия Академии наук.
ИБ МАИКЦА	Информационный бюллетень Международной ассоциации по изучению культур Центральной Азии. М.
ИИА	Институт истории и археологии.
ИИАЭ	Институт истории, археологии и этнографии.
ИМКУ	История материальной культуры Узбекистана. Ташкент.
ИООИАз	Известия общества обследования и изучения Азербайджана. Баку.
ИООН	Известия Отделения общественных наук.
КД	Каракумские древности. Ашхабад.
КСИА	Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М.
КСИВАН	Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР. М.
КСИИМК	Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР. М.
КСИНА	Краткие сообщения Института народов Азии. М.
МИА	Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.
МКТ	Материальная культура Таджикистана. Душанбе.
МТЭ	Материалы Тохаристанской экспедиции. Ташкент.
МХЭ	Материалы Хорезмской экспедиции. М.
НАА	Народы Азии и Африки. М.
НС	Новая серия.
НЦА	Нумизматика Центральной Азии. Ташкент.
НЭ	Нумизматика и эпиграфика. М.
ОНУ	Общественные науки в Узбекистане. Ташкент.
ООН	Отделение общественных наук.
ПИДО	Проблемы истории докапиталистических обществ. Л.
ПК	Памятники Киргизстана. Фрунзе.
ПТ	Памятники Туркменистана. Ашхабад.
РА	Российская археология. М.
СА	Советская археология. М.
СВ	Советское востоковедение. М.
СГАИМК	Сообщения Государственной Академии истории материальной культуры. Л.
СГН	Серия гуманитарных наук.
СГЭ	Сообщения Государственного Эрмитажа. Л.
СНВ	Страны и народы Востока. М.
СОН	Серия общественных наук.
СТ	Советская тюркология. М.
СЭ	Советская этнография. М.

ТАН	Труды Академии наук.
ТВОРАО	Труды Восточного Отделения Императорского Русского Археологического общества. СПб.
ТГИМ	Труды Государственного Исторического музея. М.
ТГЭ	Труды Государственного Эрмитажа. Л.
ТД	Тезисы докладов.
ТИИ	Труды Института истории.
ТИИА	Труды Института истории и археологии.
ТККАЭЭ	Труды Киргизской комплексной археолого-этнографической экспедиции. М.
ТОВЭ	Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа. Л.
ТСАГУ	Труды Среднеазиатского государственного университета. Ташкент.
ТХАЭЭ	Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М.
ТЮТАКЭ	Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Ашхабад.
УЗ ЛГУ	Ученые записки Ленинградского государственного университета. Л.
ЭВ	Эпиграфика Востока. М.; Л.
ЭО	Этнографическое обозрение. М.
AAASH	Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
AArchASH	Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
ACSS	Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Leiden.
AIUO	Annali Istituto Universitario Orientale. Napoli.
AJA	American Journal of Archaeology. Concord; etc.
ALUB	Annales littéraires de l'Université de Besançon. Paris.
AMI	Archaeologische Mitteilungen aus Iran. Berlin.
AMIT	Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Berlin.
ANRW	Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. Berlin; New York.
AOr	Archiv Orientální. Praha.
ArAs	Arts Asiatiques. Paris.
ArtAs	Artibus Asiae. Ascona.
BAI	Bulletin of the Asia Institute. Bloomfield Hills; etc.
BAOMus	Bulletin of the Ancient Orient Museum. Tokyo.
BHAColl	Bonner Historia–Augusta–Colloquium. Bonn.
BSOAS	Bulletin of the School of Oriental and African Studies. London.
CAJ	Central Asiatic Journal. The Hague; Wiesbaden.
CHI. 3 (1—2)	The Cambridge History of Iran. Vol. 3 (1—2) / Ed. by E. Yarshater. Cambridge; etc., 1983.
CIr	Corpus Inscriptionum Iranicarum. London.
CRAIBL	Comptes Rendus de la Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris.
DOP	Dumbarton Oaks Papers. Washington.
EDE PR	The Excavations at Dura-Europos. Preliminary Report of ... Season of Work. New Haven; etc.
EIr	Encyclopaedia Iranica / Ed. E. Yarshater. London; Boston; Henley; etc.
EMS	Études mongoles et sibériennes. Paris.
EW	East and West. Rome.
FAH	Fasciculi Archaeologiae Historicae. Wrocław; etc.
FO	Folia Orientalia. Wrocław; etc.
GIPh	Grundriss der Iranischen Philologie. Strassburg.
HAm	Handes Amsorya. Wien.
HJAS	Harvard Journal of Asiatic Studies. Cambridge (Mass.).
IA	Iranica Antiqua. Gent.
JEAA	Journal of East Asian Archaeology. Leiden.
IJ	Indo–Iranian Journal. The Hague; etc.
IM	Istanbuler Mitteilungen. Tübingen.
IS	Iranian Studies. Chestnut Hill.
JA	Journal Asiatique. Paris.
JAAS	Journal of Asian and African Studies. Tokyo.
JESHO	Journal of the Economic and Social History of the Orient. Leiden.
JNSI	The Journal of the Numismatic Society of India. Bombay; etc.

JRAS	The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London.
JRS	The Journal of Roman Studies. London.
JSAA	The Journal of the Society of Archer-Antiquaries. Canterbury.
LPE	The Library of Polish Ethnography. Warsaw.
MRDTB	Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko (The Oriental Library). Tokyo.
NC	The Numismatic Chronicle. London.
NF	Neue Folge.
NIB	Nāme-ye Irān-e Bāstān. Tehran.
NNum	Notae Numismaticae. Kraków.
NS	New Series.
OAr	Oriental Art. London.
OHt	Orientalwissenschaftliche Hefte. Halle/Saale.
OS	Orientalia Suecana. Uppsala.
PZ	Praehistorische Zeitschrift. Berlin.
RA	Revue Archéologique. Paris.
RAAO	Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale. Paris.
RE	Pauly's Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung, begonnen von G. Wissowa. Stuttgart.
RHR	Revue de l'histoire de religions. Paris.
RIHM	Revue Internationale d'Histoire Militaire. Paris.
RMF	Revue Militaire Française. Paris.
RN	Revue Numismatique. Paris.
RSO	Rivista degli Studi Orientali. Roma.
SIr	Studia Iranica. Paris.
SKAW	Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. Wien.
SOR	Serie Orientale Roma. Roma.
SPAW	Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Berlin.
SRAA	Silk Road Art and Archaeology. Kamakura.
UAJ	Ural-Altäische Jahrbücher. Wiesbaden.
YCS	Yale Classical Studies. New Haven; etc.
ZDMG	Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Leipzig.